This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

9130.318

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

ЕВГ. СОЛОВЬЕВЪ.

(АНДРЕЕВИЧЪ).

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

XIX ВѢКА.

ИЗДАНІЕ 3-е, исправленное,

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА

И ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ

ПЕТРА ПИЛЬСКАГО.

Цѣна 2 рубля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. П. Карбасникова.
1907.

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Н. П. КАРБАСНИКОВА.

КОМИССІОНЕРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФІИ, ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ, ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО И ВАРШАВСКАГО УНИВЕРСИТЕТОВЪ И ВИЛЕНСКАГО УЧЕБНАГО ОКРУГА.

С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, № 19; **Москва**, Моховая, д. Бажепова; **Варшава**, Новый Свѣтъ, 69; **Вильно**, Большая ул., д. Гордона.

Продаются, между прочими, слѣдующія книги:

Аксаковъ, С. Т. Сочин., въ 6 том. М. 1906 г. Ц. 9 р.

Александровскій, Г. В. Чтенія по новѣйшей русской литературѣ. Изд. 4-е Кіевъ. 1906 г. Ц. 1 р.

Алмазовъ, Б. Н. Сочиненія, въ 3-хъ томахъ, съ портретомъ, гравированнымъ на стали и краткимъ біографическимъ очеркомъ. М. 1892 г. Ц. 5 р

Алферовъ, А. Десять чтеній по литературѣ. М. 1903 г. Ц. 1 руб.

Апухтинъ, А. Н. Стих. Изд. 5-е. Спб. 1905 г. Ц. 4 р.

Богучарскій, В. Изъ прошлаго русскаго Общества съ 6 портретами Спб. 1904 г. Ц. 2 р.

Буличъ, Н. Н. Очерки по исторіи русской литературы и просвѣщенія съ начала XIX вѣка. Томъ I. Спб. 1902 г. Ц. 2 р.

То-же. Томъ II. Спб. 1905 г. Ц. 2 р.

Бѣлинскій, В. Соч., въ 4-хъ том. Спб. Ц. 4 р. 25 к.

Веселовскій, А. Западное вліяніе въ новой русской литературѣ М. 1906 г. Ц 1 р. 75 к.

Гаршинъ, Всеволодъ. Разсказы. Ц. 2 р.

Гоголь, Н. В. Сочин. въ 6 том. Ц. 2 р. 50 к.

Головинъ, К. Ѳ. Русскій романъ и русское общество. Изд. II-е Спб. Ц. 3 р.

Гончаровъ, И. А. Полное собраніе сочин. въ 9-ти томахъ, съ портрет. Спб. 1896 г. Ц. 13 р. 50 к.

Гнѣдичъ. Н. И. Собраніе сочиненій, въ 6 томахъ, съ портретомъ, факсимиле и біографіею. Спб. Ц. 3 руб.

Горбуновъ, И. Ф. Сочиненія. Ц. за 2 тома 4 р., въ переплетѣ 5 р.

Градовскій, А. Д. Полное собраніе сочиненій, въ 9 томахъ. Спб. 1901 г. Ц. 20 р.

Грановскій, Т. Н. Сочиненія. М. Ц. 1 р.

Грибоѣдовъ, А. С. Полное собраніе сочинен. Подъ ред. Арс. И. Введенскаго. Спб. 1892 г. Ц. 1 р.

Григоровичъ, Д. В. Полное собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Спб. 1896 г. Ц. 12 р.

Добролюбовъ, Н. А. Сочин. въ 4-хъ том. Спб. Ц. 7 р.

Достоевскій, Ѳ. М. Полное собраніе сочиненій, въ 12-ти томахъ. Изд. 3-е Ц. 12 р.

То-же. Лучшее изданіе, въ 14 том. Спб. 1904—1906 г. Ц. 25 р.

Жадовская, Ю. В. Полное собраніе сочиненій въ 4-хъ томахъ. Спб. 1885—86 г. Ц. 6 р.

Жемчужниковъ, А. М. Стихотворенія въ 3-хъ томахъ. Съ портретомъ и автобіографическимъ очеркомъ. Спб. Ц. 3 р.

Жуковскій, В. Собраніе стихотвореній въ одномъ томѣ. Спб. 1901 г. Ц. 2 р. 25 к.

То-же. Въ 2-хъ томахъ. М. 1902 г. Ц. 3 р. 50 к.

То-же. Лучшее изданіе 2 тома М. 1902 г. Ц. 7 р.

Жураковскій, Е. Траги-комедія современной жизни. Литературно—критическіе очерки М. 1906 г. Ц. 1 р.

Загоскинъ, М. Н. Сочиненія, въ 3-хъ томахъ. М. 1902 г. Ц. 3 р. 50 к.

Златовратскій, Н. Собраніе сочиненій въ 3-хъ томахъ. Съ портретомъ автора. М. 1897 г. Ц. 4 р.

Ивановъ, Ив. Новая культурная сила. Русскіе писатели XIX вѣка. Спб. 1901 г. Ц. 1 р. 50 к,

Исторія русской критики. 4 части въ двухъ томахъ. Ч. I и II-я Спб. 1898 г. Ц. 2 р. Ч. III и IV Спб. 1900 г. Ц. 2 р.

Ивановъ—Разумникъ. Исторія русской общественной мысли. Индивидуализмъ и мѣщанство въ русской литературѣ и жизни XIX в. 2 тома Спб. 1907 г. Ц. за оба тома 3 руб.

Кавелинъ, К. Д. Соч. въ 4 том. Спб. Ц. 15 р.

Костомаровъ, Н. И. Собраніе сочиненій, въ 8 том. Ц. 25 р.

ЕВГ. СОЛОВЬЕВЪ.
(АНДРЕЕВИЧЪ).

SOLOV'EV

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

„RUSSKAIA LITERATURA"

XIX ВѢКА.

ИЗДАНІЕ 3-е, исправленное,

съ

ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ

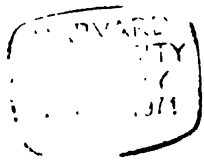
Петра Пильскаго.

ДОМАШНЯЯ
БИБЛІОТЕКА
УЛИТИНА
Алексея В[illegible]ровича

Для историка литературы существуетъ то же правило, что и для философа: не забывать, что „сова Минервы вылетаетъ лишь по ночамъ", т. е., что всякая идея, всякій новый художественный образъ, какъ стрѣлки на часахъ, отмѣчаютъ лишь переворотъ и перераспредѣленіе силъ внутри общественнаго организма, что безъ переворота въ обществѣ не бываетъ и переворота въ литературѣ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Н. П. Карбасникова.
1907.

Slav 4120.313
V



Тип. Монтвида. Уг. Конной ул. и Телѣжнаго пер., д. 3—5.

Евгений Андреевичъ Соловьевъ.

(Андреевичъ).

Род. 6 авг. 1866 года. † 25 авг. 1905 года.

ДОМАШНЯЯ
БИБЛИОТЕКА
УЛИТИНА
Ал

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Первое изданіе этой книги претерпѣло не мало критическихъ нападокъ. Были указаны частичные недочеты. Подчеркнули спѣшность составленія. Сдѣланы были попытки уличенія даже въ заимствованіи. Особенно подробно и,—рѣшимся сказать,—ревниво оцѣнили „Очерки изъ исторіи русской литературы“ двое: г. Шулятиковъ (въ московской газетѣ „Курьеръ“) и г. Ашевскій (въ „Мірѣ Божіемъ“). Здѣсь не мѣсто, да и не нужно входить въ полемику съ рецензентами: автора книги уже нѣтъ на свѣтѣ, книга пересмотрѣна и кое-гдѣ измѣнена. И надо сознаться, что среди нападокъ на типографскіе недосмотры, (напр., на отсутствіе предательскихъ ковычекъ), среди второстепенныхъ и несущественныхъ (большею частью) замѣчаній, въ критической литературѣ о книгѣ попалось не мало основательныхъ и серьезныхъ поправокъ.

Покойный авторъ отнесся къ нимъ съ тѣмъ безпокойнымъ вниманіемъ, съ какимъ настораживаются люди при серьезныхъ укорахъ, сдѣланныхъ тому, что мы любимъ, и что есть наше. Е. А. Соловьеву пришлось исправлять и дополнять,—„чистить“ книгу съ большимъ вниманіемъ, и чтобы выправить ея недочеты, онъ послѣдовательно проредактировалъ „*Очерки*“ по... шести экземплярамъ. Покончивъ съ однимъ, онъ чрезъ нѣкоторое время бралъ другой и по его страницамъ снова бѣжали пестрѣющія поправки, поля книги изъ бѣлыхъ становились черными, среди мертвыхъ печатныхъ строкъ появлялась живая рука человѣческая.

Если теперь пересмотрѣть всѣ сдѣланныя критикою замѣчанія, и сравнить первое изданіе „*Очерковъ*“ съ этимъ,—третьимъ,—придется признать книгу исправленной. Все обновлено по авторскимъ указаніямъ, новыхъ ошибокъ быть не можетъ, ибо нѣтъ того, который одинъ былъ вправѣ ихъ сдѣлать. Слѣдуетъ прибавить, что цѣлый рядъ дополненій, отмѣченныхъ на поляхъ и въ текстѣ, самимъ Евг. Соловьевымъ не перешелъ въ новое изданіе: переносить ихъ—зна-

чило бы дополнять съ чрезвычайнымъ рискомъ, по наброскамъ, по намекамъ, полуфразамъ и значкамъ.

Словомъ: это—изданіе исправленное, но не безусловно дополненное.

Впрочемъ, эти дополненія считалъ нужными пока только одинъ человѣкъ: самъ авторъ, ибо критика въ этомъ отношеніи не указала почти ничего, и въ этомъ смыслѣ не высказала никакихъ пожеланій.

Къ этому третьему изданію предпосылается литературная характеристика Евг. Соловьева, принадлежащая перу П. М. Пильскаго; о Соловьевѣ онъ писалъ еще раньше, тотчасъ послѣ его смерти, въ нынѣ умершемъ московскомъ журналѣ „Правда" (№ 9—10, 1905 г.) [1]).

Авторъ вступительной статьи строго ограничилъ свою задачу именно *литературной* характеристикой, избѣгнувъ совершенно біографическаго матеріала, не претендуя на характеристику личности Соловьева—человѣка: въ этомъ онъ не видѣлъ нужды. Кромѣ того, авторъ помнилъ, что писалъ самъ Евгеній Соловьевъ по этому поводу и какъ смотрѣлъ онъ на біографически-кумовскія справки:

„Первое и самое элементарное мое требованіе,—писалъ онъ въ своемъ „*Опытѣ*",—это отрѣшиться отъ біографическаго матеріала. Признаюсь, мнѣ совершенно никакого нѣтъ дѣла до того, былъ ли Некрасовъ честнымъ и благороднымъ человѣкомъ, какъ утверждаетъ А. Н. Пыпинъ, или героемъ-рабомъ (?), какъ нелѣпо доказываетъ Г. Е. Елисѣевъ, или литературнымъ Ruffiano (разбойникомъ), какъ звалъ его Герценъ; но мнѣ есть дѣло до поэзіи Некрасова, особенно же до тѣхъ ея мотивовъ, въ которыхъ я слышу народолюбіе, или голосъ городского пролетарія". (Стр. VII).

Рисуя фигуру Соловьева—писателя, авторъ вступительной статьи чаще всего цитировалъ всетаки „*Опытъ философіи русской литературы*", а не „*Очерки изъ исторіи русской литературы XIX вѣка*", къ которымъ писалось его вступленіе. Но въ „*Опытѣ*"—синтезъ всѣхъ идей и всей литературно-критической системы Соловьева. Къ „*Опыту*" „*Очерки*" относятся, какъ подготовительная ступень, они его вчера, одинъ изъ шаговъ того процесса мысли, который привелъ Соловьева и къ плану „*Опыта*" и къ его выводамъ, и даже къ расположенію главъ. „Безъ „*Очерковъ*" не могло быть и „*Опыта философіи*"

---

[1]) Изъ некрологовъ укажемъ: „Русь" 1905 г. № 210; „Новое Время" 1905 г. № 10,595, „Биржевыя Вѣдомости" 1905 г. № 9,001; „Разсвѣтъ" 2-го сентября; „Слово" 1905 г. № 240; „Рус. Вѣд." № 235; „Моск. Вѣд. № 243; „Одес. Нов". № 6,729; „Южн. Обозрѣніе" № 2,910; „Кіевск. Газета" № 239 и др.

Евг. Соловьевъ (Андреевичъ)

(1866—1905)

I.

Я пишу о человѣкѣ, который всегда стоялъ въ лагерѣ гнѣвающихся, въ станѣ враждующихъ, среди презирающихъ и бурныхъ людей.

Вотъ почему онъ всегда былъ мыслью съ Горькимъ, его ненавистью и враждой къ мѣщанству и пошлости. Вотъ почему его любовь была съ Герценомъ и его презрѣніемъ къ западно-европейской буржуазной толпѣ; его уваженіе и восторгъ были предъ Толстымъ и его негодованіемъ мудреца на развратъ и разложеніе городской культуры. Вотъ почему первое вліяніе на Андреевича было вліяніе Писарева съ гнѣвомъ на рутину, съ протестомъ на существующее и признанное, съ революціонной жаждой „Sturm und Drang'а", а его преклоненіе было всегда предъ первымъ возвѣстникомъ демократизма—Руссо.

...Полтора года тому назадъ, въ одинъ изъ тихихъ вечеровъ августа, отъ кровоизліянія въ мозгъ, умеръ Евгеній Соловьевъ.

Это былъ типичный русскій журналистъ, съ обычной неурядливостью личной жизни, съ гнѣвнымъ сердцемъ, связанными руками, капризной судьбой, необезпеченностью, всегда рвущійся и вѣчно неудовлетворенный. Въ покойномъ писателѣ сошелъ въ могилу горячій боецъ, пылкій публицистъ, смѣлый критикъ, рѣдко живой литературный историкъ.

Жизнь сыграла съ нимъ грустную и тяжелую, какую-то неуклюжую шутку, въ немъ лишній разъ она посмѣялась надъ судьбой и участью русскаго умницы, по нуждѣ и съ горемъ развѣявшаго силы по вѣтру, горящаго и сгорающаго, какъ свѣча, зажженная съ двухъ концовъ. Исторія Евгенія Соловьева — характерная исторія лучшаго человѣка, вдругъ становящагося „лишнимъ", мечущагося

въ тискахъ рабства, вкладывающаго свои силы не туда, куда хотѣлось— безъ счета, безъ системы и плана, отдающаго энергію свою на глухіе протесты, быстро изнемогающаго, съ истерзаннымъ сердцемъ и надорваннымъ, изстрадавшимся умомъ.

Человѣкъ, несомнѣнно, блестящихъ способностей, онъ ждалъ для себя ученой карьеры, но все свернулось такъ, что пришлось на минуту стать даже сибирскимъ учителемъ, повторять скучные зады, скверно себя чувствовать, дышать въ атмосферѣ лжи и педантизма педагогическаго чиновничества, уступать, замирать, мириться и злиться—и рваться на волю. Работалъ Соловьевъ порывисто, нервно, влюбленно, скачками, запоемъ, всегда съ оттѣнкомъ быстраго постиганія, съ легкой и упорной мыслью, весь кипя, мѣняя темы, мѣняя жанры, но неизмѣнно со страстью, неугасимо горя въ статьяхъ.

Среди современныхъ писателей на литературныя темы,— равнодушныхъ, большею частью тусклыхъ, безъ огня, безъ искръ, безъ вдохновенья, среди тихоголосыхъ кастратовъ „критики", среди будничныхъ и сѣрыхъ, залежалыхъ статей,—покойный со своими писаньями прошелъ, какъ съ факеломъ бодрости, какъ съ призывной пѣснью, неугомонный, будящій и рвущійся.

Евгеній Соловьевъ умеръ въ той порѣ, которую маленькіе газетные человѣчки обыкновенно называютъ „расцвѣтомъ", но которая, на самомъ дѣлѣ, является въ большинствѣ случаевъ для писателя періодомъ мукъ, возрастомъ неудовлетворенности, многихъ разочарованій и настоящей тоски. Это былъ настоящій литераторъ, считавшій первый меридіанъ не отъ конторы, а отъ направленія, всѣмъ сердцемъ любившій родную литературу, не имѣвшій ни одного полуприговора: онъ—о другихъ, другіе о немъ одинаково неожиданны, и одинаково спорны. Спорнаго вообще много оставилъ въ своихъ книгахъ покойный. Пожалуй, не было у него ни одного сужденія, подъ которымъ могли бы подписаться всѣ.

Его мысли приходили къ нему какъ-то иначе, чѣмъ къ другимъ, отливались въ его формулахъ необычно, вездѣ выдавая въ одно и то же время, страстность и капризъ мышленія: страстность— отъ искательства, капризъ—отъ жажды новизны, — той святой жажды, которая родится изъ оскомины, набившейся шаблонными, тихими-тихими, шепотливыми строчками, гдѣ все—рутина и старинка, нѣтъ ни одного прямого слова, и самыя слова старыя-старыя, какъ отставныя чиновницы у всенощной.

Въ послѣдніе годы критикѣ стало дурно везти: на ея рынкѣ то и дѣло появлялись книжки о писателяхъ, появлялись часто, то разростаясь, то суживаясь, и всѣ онѣ

были какими-то вдовьими домами: порядка много, а жизни нѣтъ, и изъ всѣхъ угловъ тянетъ затхлостью израсходованныхъ, оброшенныхъ существованій. Въ ряду ихъ спѣшащія, книжки и статьи Соловьева были, какъ молодая поросль,— гнущаяся, но цвѣтущая. Во всѣхъ писаньяхъ его красиво волнуется, какъ-то безудержно спѣшитъ молодая мысль, безъ оглядки, безъ оговорокъ.

Спорить было можно, не любить ее было нельзя.

II.

Евг. Соловьевъ былъ наканунѣ своего опредѣленія. Еще немного оставалось отмести, еще немногое забыть, сжечь немногое изъ того, чему покланялся онъ,—и предъ нами была бы законченная фигура цѣльнаго мыслителя, оригинальнѣйшаго философа литературы, историка субъективнаго, писателя съ рѣзко - самостоятельной индивидуальностью. Судьба захотѣла остановить его ходъ на послѣдней ступенькѣ и вырвала изъ жизни тогда, когда вся эта жизнь, какъ лава, перелилась, въ трескѣ тысячи выстрѣловъ, сотнями ручьевъ, чтобы схоронить свое прошлое подъ своимъ же горячимъ потокомъ. А въ это бурное, стремительное, безъ удержу несущееся время наше такъ нуженъ, такъ дорогъ, такъ умѣстенъ и необходимъ былъ бы этотъ человѣкъ съ собственными, формулами и своей программой. Съ своей мыслью!

Конечно, противорѣчія нашлись бы у Соловьева для того, кому захотѣлось бы ихъ искать. Но и эта „противорѣчивость“ у Соловьева не отъ недостатковъ умственнаго аппарата, не отъ туманности идеаловъ, не отъ спутанности убѣжденій. Она, эта противорѣчивость, именно отъ излишней логичности: отъ неудержимой въ своемъ бѣгѣ мысли, отъ смѣлаго ума, неумѣвшаго останавливаться на полдорогѣ, никогда благоразумно не ставившаго точку тогда, когда за ней открывалась область загадокъ и риска, афоризма и опасности, когда золотая средина вдругъ становилась красной крайностью. Это былъ человѣкъ, который не умѣлъ молчать изъ страха.

„Личность требуетъ свободнаго броженія общественныхъ силъ и классовыхъ противорѣчій“, и въ историческомъ, развитіи личности онъ наблюдательно и точно отмѣчаетъ моментъ, когда наступаетъ „рядъ противорѣчій внутри самой личности“.

Не то, чтобъ эта „противорѣчивость“, а нѣкоторая колючесть мысли, тотъ клинъ, который вбивалъ во всякое міроозерцаніе Соловьевъ своимъ „я“, своими послѣдними выво-

дами, дотягивавшимися до вершинъ и далей, доходившихъ до парадоксовъ и обрывовъ, до безднъ и глубинъ; угловатость рѣзкой и рѣшительной, страстной литературной натуры, какой былъ Соловьевъ—вотъ что даетъ иногда отсвѣтъ нѣкоторой преломленности, нѣкотораго диссонанса, точно неуживчивости его мыслей между собой: эти мысли не только спорили другъ съ другомъ, но—казалось временами—будто ссорились.

И былъ Соловьевъ весь стремительность, неожиданность и горячность. Съ первыхъ же его строкъ ясно обозначилось на немъ основное вліяніе, подъ знакомъ котораго болѣе или менѣе до конца своихъ дней Соловьевъ такъ и остался.

Это—вліяніе Писарева.

Отъ него къ покойному перешло многое, начиная съ тона и манеры, даже стиля и разговорнаго языка, кончая сугубой демократичностью вкусовъ, суровостью приговора, афористическимъ блескомъ, склонностью къ формулѣ, къ упрощенію доказательной системы, къ популяризаціи и фельетонизму, отъ которыхъ Соловьевъ не могъ отказаться ни въ своихъ „Очеркахъ изъ исторіи Русской литературы", ни въ „Опытѣ ея философіи".

Писаревъ оставилъ на Соловьевѣ несомнѣнный слѣдъ,—печать, стереть которую во многихъ отношеніяхъ Соловьеву,—пожалуй, не удалось до самой смерти. И все же, за немногими исключеніями, это была только печать, т. е. нѣчто внѣшнее,—скорѣе, наружное вліяніе, чѣмъ внутреннее; б. м., благодарная память о сладкой порѣ первыхъ работъ, первыхъ писательскихъ увлеченіяхъ, первыхъ цвѣтахъ первой весны популярности, улыбнувшейся Соловьеву за его изящныя и умныя біографическія книжечки въ Павленковской библіотекѣ. Серьезнаго, глубокаго, реформирующаго, перерождающаго воздѣйствія Писаревъ на Соловьева все таки не могъ имѣть; по крайней мѣрѣ, продолжительнаго воздѣйствія. Этому воспротивилась бы и соловьевская эрудиція, этого не могло быть и въ той эволюціи, которую Соловьевъ пзжилъ, и въ которой гораздо болѣе важное, болѣе серьезное и рѣшающее значеніе имѣлъ, несомнѣнно, Герценъ.

Это былъ настоящій учитель для Соловьева. Это было настоящее, кумирное поклоненіе у Соловьева. Герценъ имъ былъ не только усвоенъ, осмысленъ и по своему истолкованъ, не только чтимъ, но и любимъ, но и воспѣтъ съ соловьевской тревогой самообличающаго писателя, съ радостнымъ и восторженнымъ сознаніемъ общей духовной близости, общаго родства, общихъ симпатій и общей ненависти.

Если Писаревъ имѣлъ значеніе для Соловьева оселка, о который оттачивалъ свой аналитическій ножъ молодой писатель, учась и критикуя вмѣстѣ; если Горькій окрылилъ и осмѣлилъ его, благословилъ и заставилъ послѣдній разъ

задуматься, если онъ положилъ послѣднюю краску, то Герценъ былъ учителемъ Евг. Соловьева въ самомъ настоящемъ, въ самомъ истинномъ смыслѣ слова, углубившимъ его мысль, расширившимъ его міросозерцаніе, подсказавшимъ не одинъ и не два его вывода.

Бываетъ такое ученическое брыканье,—внутренній глухой споръ съ учителемъ, стремленіе свергнуть нѣкогда сладостное иго. Иногда это и кончается только внутреннимъ процессомъ и наружу выступаютъ лишь результаты: новое пониманіе системы учителя, внесенныя въ учительскую теорію поправки. Это—только хорошо.

Но бываетъ иначе, когда глухой, неоконченный, неоформленный споръ внутри, тутъ же, въ самомъ процессѣ своего образованія, выходитъ наружу: и тогда онъ—золъ и ненуженъ уже потому, что золъ. Ни того, ни другого отношенія къ Герцену у Соловьева не было. Онъ Герцена изучалъ, надъ Герценомъ думалъ, Герцена комментировалъ, Герцена дополнялъ, но нигдѣ нѣтъ Герцена свергнутаго, Герцена уловленнаго, Герцена оспореннаго. Да, это была кумирная, алтарная любовь...

О ней, собственно, можно было бы и не говорить, но слишкомъ важно то, изъ чего это чувство выросло. Помилуйте! какъ могъ Соловьевъ не быть влюбленнымъ, не поклоняться и не превозносить Герцена, когда Герценъ „боялся всякаго подчиненія“, когда „онъ мечталъ о человѣческой личности, безусловно свободной, безусловно самостоятельной“, когда идеаломъ Герцена была „анархія въ смыслѣ признанія высшей, верховной санкціи за самимъ человѣкомъ, за его „я“? Когда „личность, ея свобода и самостоятельность было то „все“, что Герценъ хотѣлъ и искалъ въ жизни, когда „это былъ его богъ и кумиръ“, когда для Герцена и, пожалуй, только для него одного „проблемы чести были не книжныя, не вычитанныя, а, сопоставленныя съ окружающей обстановкой русскаго рабства и западноевропейскаго мѣщанства“, когда онъ самъ, этотъ Герценъ, „былъ такъ ярко выраженной личностью,“—„гордой, самолюбивой и властной“,—и такъ прекрасно и восторженно писалъ объ этомъ властолюбіи, когда онъ такъ рѣшительно возсталъ противъ цѣлей общественныхъ и государственныхъ? Развѣ можетъ не быть кораномъ для Соловьева книга Герцена, того Герцена, который такъ твердо требовалъ „отдѣленія человѣка отъ офиціальной жизни своего народа, признанія за личностью ея религіозной, нравственной и даже политической автономіи“.

И Соловьевъ резюмируетъ: „Идея освобожденной личности дошла до анархіи и до атеизма“. Именно у Герцена онъ впервые видитъ „тотъ теоретическій анархизмъ“, кото-

рый многими своими положеніями перешелъ затѣмъ въ рѣчи Бакунина, въ статьи Кропоткина.

Несомнѣнно: именно этими сторонами приблизилъ къ себѣ Соловьева Герценъ, именно этимъ поработилъ его, на этихъ дрожжахъ взошла та любовь къ учителю-другу и родственнику, съ которой не разставался Евг. Соловьевъ во всю свою жизнь. Эта любовь—вездѣ. Въ сравненіяхъ съ Герценомъ, въ вѣчныхъ возвращеніяхъ къ Герцену, въ цитатахъ изъ Герцена, въ справкахъ тоже у Герцена.

Безъ всякаго сомнѣнія: то, на что натолкнулъ Соловьева Писаревъ, что получило окраску и ширь подъ вліяніемъ образовъ Горькаго,—то нашло свое публицистическое и теоретическое обоснованіе въ книгахъ Герцена. То, что только смутно, больше сердцемъ, подсказывалось Соловьеву, какъ бы только предчувствовалось имъ, то оформилось и окончательно отлилось подъ вліяніемъ Герцена. Въ той многозахватывающей, не вездѣ строгой, и не вездѣ пропорціональной, многокрасочной картинѣ, которая называется сочиненіями Евг. Соловьева—Андреевича, въ картинѣ этой грунтъ положенъ Писаревымъ и Герценомъ. Горькій расписалъ только узоры, хотя многое и въ этихъ узорахъ было не положено, а выжжено. Несомнѣнно и то, что именно Горькій заставилъ Соловьева не одинъ разъ вернуться къ Герцену, не одинъ разъ его перечитать и передумать, быть можетъ, именно онъ, Горькій, и сдѣлалъ окончательно Герцена толмачемъ Соловьева. Горькій, впрочемъ, имѣлъ на Андреевича и много иныхъ вліяній.

III.

Восторженное отношеніе къ Горькому привело Соловьева къ идеологіи силы, однако, поддержанной и основанной непремѣнно трудомъ, (отъ этого никакъ не могъ бы отказаться старый писаревецъ изъ уваженія къ тріединой формулѣ: „любовь“, „знаніе“ и „трудъ“). Но идеологія силы отлилась опредѣлительно, какъ формула: „только сила кристаллизуется въ право, а не безсиліе“. „Каждое право должно быть заработано; не заработанное право—миѳъ, мечта, прекраснодушіе“.

Вообще формулы разсыпаны въ сочиненіяхъ покойнаго изобильно.

Афористическій это былъ умъ, упругій, горячій и стремительный, и языкомъ говорилъ этотъ умъ тоже горячимъ и тоже рвущимся.

Отъ Горькаго же, надъ которымъ много передумалъ покойный, о которомъ написалъ цѣлую „Книгу“, и отъ кото-

раго многое пришло въ его душу (въ душу, а не въ мысль),— быть можетъ, и индивидуализмъ Соловьева, тоже не остановившійся: индивидуализмъ, росшій, роднившійся съ общественной идеологіей, проэволюціонировавшій отъ личности съ ея „хочу“ къ индивидуальному самосознанію пролетаріата, къ индивидуализму классовому.

Соловьевъ вездѣ неустанно и неизмѣнно прославляетъ жажду жизни, желанье счастья, хотѣнье стать и волю бытія. Сила, страсть, рискъ—вотъ чѣмъ кипѣлъ самъ публицистъ. Онъ такъ и писалъ: „безъ риска нельзя“. Но требовалъ риска безъ надрыва, риска безъ прекраснодушія, риска во имя всѣхъ здоровыхъ элементовъ и началъ общественности,— словомъ, во имя всего, завѣщаннаго намъ лучшей частью нашей прошлой интеллигенціи, и отъ чего мы не можемъ отказаться, не отказавшись отъ самихъ себя.

Презрѣніе къ буржуазному строю жизни, идеологія силы, прославленіе страсти и риска и та личная суровость, съ которой никогда не разставался покойный, должны были неизбѣжно зажечь въ немъ симпатію къ русскому „нежившему“ разночинцу, видѣвшему много обидъ и униженій, который „свирѣпо хочетъ жить“. И Соловьевъ-Андреевичъ любитъ его за то, что у него нѣтъ „устали бытія“; что въ основѣ его могучая жажда радости, смутное желанье отмщенья и непримиримый духъ. „Современному герою жизни“ „кое-что суровое запало въ душу“, но „чѣмъ суровѣе онъ, тѣмъ непримиримѣй“. Этого героя „безъ плаща и безъ свиты“ нищета должна была ожесточить, но никогда не могла ни задушить въ немъ стремленій, ни забить его. Со дна его души она подняла много злобы, зажгла и вызвала гнѣвъ и раздраженіе, но не обезличила, не затерла, и въ этомъ пролетаріи Соловьевъ видитъ носителя протеста, который такъ нуженъ и такъ дорогъ въ тѣ дни, когда „завтра—огромное неизвѣстное“, гдѣ всегда стерегутъ насъ „непредвидѣнныя неожиданности“.

И герои Горькаго ему дороги именно потому, что они— „продуктъ недоѣданья, а не пресыщенія“, и оттого еще ближе ко всѣмъ алчущимъ и жаждущимъ: „въ нихъ есть презрѣніе ко лжи и условностямъ обыденнаго существованья“, есть гнѣвъ на жизнь, и ея уклады, есть недовольство. Но отвращеніе ихъ полно жизни, но гнѣвъ далекъ отъ апатіи, недовольство чуждо равнодушію: они жадны и это ихъ плюсъ, ихъ заслуга и сила.

Отсюда же—безповоротное осужденіе къ мѣщанской личности и бубновый тузъ на спинѣ такъ называемаго мѣщанскаго индивидуализма,—ибо онъ хищникъ съ головы до ногъ, ибо весь онъ въ кастраціи духа, въ порабощеніи и угнетеніи личности, съ одной стороны; въ освобожденіи ея отъ широкой и прогрессивной общественности—съ другой.

Его принципы узки. Его литература—литература завитушекъ. Его человѣкъ—орудіе и средство. Его цѣль—накопленіе. И Соловьевъ проклялъ его огненнымъ проклятьемъ пролетарскаго идеолога, исповѣдника пролетарскаго индивидуализма.

Но этотъ индивидуализмъ священенъ и прекрасенъ: ибо въ немъ человѣкъ—самоцѣль; ибо его принципъ—распредѣленіе, ибо онъ революціоненъ и анархиченъ, силенъ, бодръ и живучъ; ибо за нимъ — будущее, тогда какъ за мѣщанствомъ только — черное прошлое; ибо въ немъ и отъ него ростъ чести, отъ него „расширенная" личность грядущей исторіи, стремленіе къ свободѣ и независимости, къ простору и власти.

Прямой выходъ изъ индивидуалистическихъ дверей — въ храмъ романтизма, потому что въ немъ личность — все, ибо человѣческое „я" въ романтизмѣ всегда на первомъ планѣ, — и личность обожествленная, залитая огнями поклоненія и силы,—ибо самозаконность этой личности—самый яркій и самый излюбленный мотивъ романтизма; ибо романтическая красота въ жаждѣ расширенія опять-таки личной жизни.

Здѣсь ищите корни индивидуалистической идеологіи, сросшіеся съ глубокой и крѣпкой любовью къ Горькому. Съ нимъ Соловьева сближало все: общее гордое презрѣніе къ мѣщанству, пламенная сила протеста, ярость бойца, огненная смѣлость, любовь къ жизни, простору и волѣ, непокорность, вражда съ пошлостью, обожествленіе личности, кровавый звѣрь гнѣва,—наконецъ, въ огромной степени общая пролетарская идеологія.

Одинъ изъ любимыхъ „коньковъ" Соловьева было убѣжденіе, что „въ Горькомъ пролетаріатъ впервые заявилъ о себѣ, о своемъ правѣ на жизнь и счастье, а не только на жалость": и вотъ почему появленіе Горькаго—„грань двухъ историческихъ эпохъ".

То же „я", имъ чтимое въ себѣ, чтилось имъ въ другихъ, стояло въ центрѣ его міропониманія, отъ него и къ нему шла вся его литературная философія, освобожденное „я" было цѣлью литературнаго и всего культурнаго прогресса, — несомнѣнно, оно же стало бы во главѣ угла его религіи, надъ систематизаціей которой Евг. Соловьевъ явно и серьезно задумывался въ послѣдніе годы.

Идеологія личности, воспѣтое „я", прекрасная, горячая, нервная „осанна" индивидуальности—вотъ становой хребетъ міросозерцанія Соловьева, вотъ основная идея его книгъ и статей, стержень и корень его философіи, его морали, его эстетики и критики, его исторической системы. Какой-то крѣпкій и послѣдовательный катэдръ-анархистъ жилъ въ немъ, — упрямомъ мыслителѣ, страстномъ писателѣ, буй-

номъ журналистѣ, —по странному и неожиданному родня классовую точку зрѣнія съ проповѣдью возстанія личности, протеста силы, мятежа души. И всегда эта проповѣдь вражды и бунтарства была полна преклоненія предъ темнымъ и сѣрымъ, сильнымъ и „суровымъ героемъ въ свитѣ“ и рабочей рубахѣ: косоворотку онъ надѣлилъ гордостью возставшаго раба, мудростью будущаго бога и пропѣлъ отходную мѣщанству. Сѣмена марксизма боролись съ индивидуализмомъ въ Соловьевѣ и индивидуализмъ его собственной сильной личности уже явно и рѣшительно побѣждалъ въ немъ возможнаго соціалъ-демократа.

IV.

Евгеній Соловьевъ умеръ до того момента, когда размежевались русскія партіи, и уже въ открытую пошелъ споръ соціалистовъ между собой въ газетныхъ листахъ и журналахъ: какъ сотрудникъ легальныхъ изданій, участія въ войнѣ онъ тогда принять еще не могъ. Но если бъ авторъ „Опыта философіи русской литературы“ и „Рабочихъ людей“ даже дожилъ до этой горячки разобщенія, до этой лихорадки спора, онъ все же не вошелъ бы въ эту полемику, какъ партійный членъ, съ партійнымъ голосомъ и словами узаконеннаго и установленнаго „credo“. И въ этомъ сказалась бы, конечно, литературная личность, но главнымъ образомъ, *вообще личность*: партійная дисциплина была бы едва ли по натурѣ и силамъ тому, для кого сама литература была „борьбой прежде всего за освобожденіе личности и личнаго начала“, кто выдѣлилъ борьбу даже „съ крѣпостнымъ правомъ и всей оффиціальной жизнью“ *во имя интересовъ развитія личности*,—и это подчеркивалъ упорнымъ курсивомъ.

Характерно—и опять съ этой же точки зрѣнія—отношеніе Евг. Соловьева и къ Толстому, и къ Руссо.

И здѣсь снова и опять Соловьева интересуетъ ихъ борьба за свое „я“. Толстой ему дорогъ своей критикой, своей борьбой за индивидуальность, своимъ напряженнымъ исканіемъ смысла и правды жизни, непримиримой гордыней своего духа. Но особенно,—главнѣйше, въ своемъ конечномъ выводѣ, въ итогахъ,—Соловьевъ возноситъ Толстого за то, что онъ „и черезъ прошлые грѣхи своего класса, сознаніе которыхъ живетъ въ немъ, и черезъ сознаніе грѣховности своей личной привилегированной жизни, и черезъ свою любовь къ природѣ, — которая всегда заставляла его ощущать наибольшую полноту и радость жизни и служила въ его глазахъ воплощеніемъ стихійной правды, молчаливо упрекавшей исполненную лжи, обмановъ и лицемѣрія жизнь

людей,—и черезъ идеализацію мужицкой общинной жизни приходитъ къ неотразимо для него привлекательной мечтѣ о *нравственномъ коммунизмѣ* (курсивъ автора) людского общежитія" [1]).

Борьба за свободу и самостоятельность своего „я" у Толстого и у Руссо слилась съ борьбой противъ разврата культуры, культуры вообще.

„Развратъ—это ложь. Развратно все, что лживо, все, что не отвѣчаетъ истиннымъ потребностямъ и влеченіямъ *человѣка*, все, что ведетъ его совѣсть *къ компромиссу*, все, что позволяетъ ему жить чужимъ трудомъ и *носить чужое лицо*." (Курсивъ мой. П. П.).

Настойчивая упрямая мысль Толстого — не блестящій фейерверкъ, а какое-то стальное сверло, буравящее гранитъ и его толщину, — разъ направившись на борьбу съ развратомъ, стремилась добраться сквозь толщу и пласты всякихъ „такъ принято", „такъ надо", такъ всегда „было и будетъ", такъ „всѣ дѣлаютъ"—до самой сущности, до корней и нитей этого понятія. И она добралась. „Изъ темнаго убѣжища, гдѣ за толщей и пластами нашихъ предразсудковъ, красивыхъ оправдывающихъ словъ, скрылось чудовище—развратъ, она вытащила его на свѣтъ Божій, и, повторяя уже сдѣланное Руссо, прибила его къ позорному столбу. Чужой трудъ, чужое счастье, чужое здоровье и чужія силы — словомъ привилегіи и неравенства — вотъ источникъ разврата, а жизнь за счетъ всего этого чужого, ради удовлетворенія своего тщеславія, похоти— это и есть развратъ.

Отсюда главное правило Толстовскаго индивидуализма: жить своимъ трудомъ, за свой счетъ и страхъ, чтобы сохранить святыню своей личности.

Отсюда же первое и едва ли не единственное основаніе его общественной этики: воздать труду должное, т. е. уничтожить эксплуатацію массъ, все равно подъ какимъ бы знаменемъ — государственности, или капитализма ни происходила эта эксплуатація".

Такъ у Толстого.

Но стихія Толстого—стихія все-таки русскаго барина, русскаго „кающагося дворянина". И по своей опредѣленности, органичности, по своей цѣльности Руссо счастливѣй Толстого. Великій женевецъ—первая ласточка идеи европейскаго пролетаріата. Для борьбы за свою индивидуальность, для защиты своего „я" у Руссо были еще болѣе внушительные мотивы, чѣмъ у Толстого. „Онъ—великій плебей и великій пролетарій, попавшій въ общество герцоговъ и принцевъ крови, которые смотрѣли на него, какъ на рѣдкаго звѣря.

---

[1]) Л. Н. Толстой. Монографія *Андреевича* ц. 1 р. Изд. А. Е. Бѣляева Спб. 1905. Стр. 141—166.

Его всячески соблазняли, чтобы онъ перешелъ на сторону праздныхъ и сильныхъ. Но Руссо остался вѣренъ себѣ. Несмотря на всѣ соблазны, онъ ни на минуту не прекращалъ войны съ „частными людьми хорошаго тона", съ приличнымъ обществомъ. И тутъ онъ безпощаденъ. Его краснорѣчіе стихійно. *Здѣсь ненависть вѣковъ и поколѣній, здѣсь злоба и негодованіе всѣхъ трудящихся и обремененныхъ.* Здѣсь *гордое могучее „я", выступившее на защиту своего попираемаго достоинства* (курсивъ мой. П. П.), ревниво оберегавшее свое одиночество и независимость противъ соблазновъ лести, богатства, славы"...

И если, въ концѣ концовъ, „напуганный великимъ дерзновеніемъ своей мысли и своимъ одиночествомъ, разбитый и искалѣченный духовно физически, онъ, какъ смертельно раненый левъ, думалъ только о томъ, гдѣ бы ему умереть въ полномъ и гордомъ одиночествѣ, серьезно и тайно отъ безстыдныхъ и торжествующихъ взглядовъ своихъ враговъ", если даже *„дерзновенію своей мысли* онъ далъ умереть въ общественномъ договорѣ", гдѣ онъ похоронилъ его, т. е. *лучшее свое я"*, то онъ похоронилъ, задушивъ, предварительно и своего врага—неравенство...

Страницы, посвященныя Толстому и Руссо—однѣ изъ блестящихъ страницъ Евг. Соловьева. Вобще лучшія строки къ нему приходятъ тогда, когда затронутъ вопросъ о правахъ и гордости личности, объ автономности человѣка, самоцѣльности „я", объ индивидуализмѣ, ницшеанствѣ, объ анархическомъ мотивѣ. Въ этомъ смыслѣ, органически-логичнѣй и послѣдовательнѣй Соловьева просто трудно быть.

По отношенію къ идеѣ, онъ былъ всегда однолюбъ, все и вездѣ, всегда и во всемъ примѣривая и охватывая своей единой мыслью, къ ней сводя, отъ нея отправляясь, чрезъ нее фильтруя, съ ней миря.

Концы мыслей его иногда далеки другъ отъ друга. Ихъ начала сплетены.

Нѣкоторая зараженность Ницше привела его лишь къ болѣе афористической формулировкѣ своихъ взглядовъ на личность, но кореннымъ образомъ не измѣнила ничего, и рядомъ съ авторитетами Герцена, Писарева и Горькаго, въ ряду ихъ вліяній, ницшеанское начало, само по себѣ, какъ-то смеркло и растворилось.

V.

При темпераментѣ стремительномъ, при рвущемся потокѣ силъ, подвижный и загорающійся, Соловьевъ-Андреевичъ умѣлъ съ головой бросаться въ глубину темъ, какъ-то быстро схватывать сущность вопросовъ, рѣзко и выпукло выдавливать

ихъ основной смыслъ, легко и четко ихъ формулировать. Журнальный боецъ въ немъ слышится изъ каждой строки, изъ каждаго абзаца, нетерпѣливый, спѣшащій и гнѣвный.

Въ нѣкорыхъ некрологахъ—я помню—мелькнуло сожалѣніе о потерѣ въ лицѣ Соловьева историка литературы.

Это конечно, вздоръ, если не фраза.

Ни по своему темпераменту, ни по ищущему характеру мысли, ни по своей воинственной горячности, ни по острой впечатлительности, собственно историкомъ покойный не былъ, не могъ и не хотѣлъ имъ быть. Для этого ему не хватало объективности, безпристрастія, холода изслѣдователя, спокойствія и выдержки.

„Мы"—онъ не зналъ. Вездѣ и всюду у него было—„я".

„Я" говорило. „Я" осуждало. „Я" хвалило. „Я" радовалось, признавало, или отрицало. Во всѣхъ своихъ планахъ Соловьевъ былъ и остался полемическимъ застрѣльщикомъ, журнальнымъ работникомъ; безпокоющимъ противниковъ, вызывающимъ на схватку фельетонистомъ, жаднымъ до новаго публицистомъ. Для историка не оставалось мѣста. Для него Соловьевъ былъ слишкомъ самъ, слишкомъ индивидуаленъ, слишкомъ споренъ, слишкомъ парадоксаленъ, черезчуръ идеологичнымъ. Идеологія же всегда цвѣтна, но всегда и одностороння и неполна. Изслѣдователь въ немъ неизмѣнно терялся и пикъ предъ глашатаемъ, историка убилъ обличитель.

И все, что ни предпринималъ покойный съ цѣлью разобраться шагъ за шагомъ, годъ за годомъ, въ ходѣ развитія, въ эволюціи литературныхъ настроеній и образовъ, формъ и идей, все это было перемѣшано мотивами текущаго момента, „сейчасъ" клало свою печать всюду, „сегодня" безжалостно и дерзко вторгалось въ картину: изъ ровнаго голосъ становился звенящимъ, стальныя ноты злобы звенѣли въ немъ, перо бѣжало не по линейкѣ,—то вверхъ, то внизъ,—летѣли стрѣлы, скрещивалось оружіе, историческая статья завершалась полемическимъ и политическимъ выпадомъ въ сторону современности, прошедшее уступало мѣсто настоящему, а въ этомъ настоящемъ и въ этой современности было что казнить и было отъ чего казниться.

Борцу по натурѣ, Соловьеву приходилось со многимъ бороться, противъ многаго ополчаться, на многое обрушиваться. Это было тѣмъ естественнѣй, что самъ онъ никогда не былъ, не чувствовалъ и не считалъ себя конченнымъ, готовымъ, вызрѣвшимъ, установившимся, или остановившимся. Стоять на мѣстѣ онъ не могъ, успокоиться не хотѣлъ, вѣчно рвался, сомнѣваясь и пересматривая. Сюртукъ идейный на немъ, правда, былъ одинъ и тотъ же, но обновлять и передѣлывать его приходилось и, конечно же, не изъ подчиненія модѣ, а все по той же причинѣ,—вслѣд-

ствіе кипучести натуры, жажды пересмотра, переоцѣнки цѣнностей, новой самокритики, новыхъ сомнѣній, новыхъ проектовъ, неудовлетворенности исканій, умственнаго голода. Съ „Жизнью“ вошелъ онъ въ лагерь марксистовъ. Въ качествѣ постояннаго критика пересмотрѣлъ вновь литературу: отказываться не пришлось почти ни отъ чего, многое дополнить стало необходимымъ; раскрылись двери, разрослись воззрѣнія, раздольнѣй и шире раскинулась система міра и жизнепониманія, окрѣпли симпатіи, и тверже и непримиримѣй стало отрицаніе.

Его „Опытъ философіи“—уже совершенно самостоятельная система,—длинная и послѣдовательная повѣсть о томъ, какъ литературная личность стремилась къ свободному самоопредѣленію, какія препятствія встрѣчала она на своемъ пути, какъ боролась она съ обезцѣнивающимъ и нивеллирующимъ вліяніемъ государства, защищая свое достоинство, честь, творчество и иниціативу.

...Гаданья требуютъ осмотрительности. Особенно гаданья о покойныхъ: ихъ не провѣритъ даже самое время, и само будущее не внесетъ въ нихъ поправокъ. Но поскольку есть данныя въ прошломъ, позволительно набрасывать рисунокъ будущаго. Евгеній Соловьевъ смотрѣлъ на причины подавленности русской личности чрезвычайно разносторонне и широко. И среди этихъ причинъ (характерно!) ставилъ въ первую главу „всемогущее государство“. Понятенъ тотъ выводъ, который просился подъ перо Соловьева.

Но именно разностороннее изученіе причинъ не позволило ему остановиться и ограничиться только этимъ „всемогущимъ государствомъ“ и рядомъ съ нимъ онъ выдвигаетъ „слабое развитіе классового начала“ и почти совершенное и полное отсутствіе „классовой борьбы“, все то, о чемъ твердимъ мы теперь уже подробно и легко. Цѣлая серія условій: — вмѣстѣ съ государствомъ „охранительная система канцелярій, крѣпостное право“, „отсутствіе классовой борьбы“, „отсутствіе воспоминаній о борьбѣ вообще за право“, — „принижала личность, отдавая ее подъ опеку семьи, общины, климата, государства“.

Въ системѣ Соловьева много отъ того, что называется анархизмомъ-индивидуализмомъ, и все же это опредѣленіе его не исчерпываетъ. Отдѣльныя нити его міропониманія протянуты къ слишкомъ многимъ угламъ, дороги его мысли никогда не были проторенными проселками, путь его шелъ не по прямой линіи. Онъ былъ сильно вросшимъ въ почву общественности, чтобъ дать просторъ индивидуалистическому началу, и наиболѣе близкое опредѣленіе его, быть можетъ, въ его собственныхъ строкахъ и, конечно, опять о литературѣ: „Нашу литературу преслѣдовала мечта о счастьи

народа — говорилъ онъ — о сохраненіи *коммунистическихъ* (курсивъ мой. П. П.) устоевъ его жизни".

„Возстаніе противъ обычая и закона, вскормили личность". Человѣкъ долженъ „преступать". Онъ долженъ рваться „изъ — подъ патріархальной власти семьи", отвергать и отбрасывать „общепринятые догматы вѣры" [1]), смѣлымъ скептицизмомъ провѣрять и контролировать заповѣдныя области морали и религіи; ростъ личности — ростъ ея потребностей и этимъ потребностямъ нѣтъ и не должно быть никакихъ границъ; въ поступательномъ движеніи ея руководители внутри ея самой: ея эгоизмъ, ея властолюбіе, „ея творческая индивидуальность и жажда безсмертія". И „личность должна признать во всей полнотѣ своей эгоистическое стремленіе къ свободному творчеству и развитію, должна признать законность своихъ философскихъ, религіозныхъ и правовыхъ запросовъ, не жертвуя ими ничѣмъ и никому. Не въ порядкѣ подчиненія ,самопожертвованія, а лишь *свободнаго союза и свободнаго сотрудничества* (курсивъ мой. *П. П.*) должны опредѣляться ея отношенія къ обществу."

Соловьевъ не писалъ, а горѣлъ.

Главной мишенью его нападокъ, самымъ ненавистнымъ, лютымъ и свирѣпымъ врагомъ его стояло мѣщанство. Его онъ пробовалъ много разъ формулировать, отмахивался отъ него статьями, вновь возвращался къ нему, ради него прерывалъ на срединѣ мысль отступленіемъ, какимъ нибудь стороннимъ соображеніемъ, нападалъ, громилъ, уловлялъ на западѣ, оплевывалъ, грызъ и терзалъ на части въ родной литературѣ. Въ этой ненависти мѣстами онъ доходилъ до паѳоса, проклиная мѣщанство, изжившее свою юность безъ пользы и смысла, за его грубость, консервативность и пошлость, за обрѣзанныя крылья, за полумысли и полушаги, за его захваты въ жизни. Однако, та громадная, рѣдкая любовь къ литературѣ, которой былъ полонъ покойный, сказалась даже и здѣсь,— та интимная, нѣжная и хорошая любовь къ милому божеству, которая оправдываетъ и самый грѣхъ, прощаетъ и забываетъ ошибки. Эта любовь простила и мѣщанскую литературу, и Соловьевъ готовъ былъ признать, что она „по своей проницательности, по своимъ задачамъ и цѣлямъ выше,—и гораздо выше,—того строя, которому она служила отраженіемъ". Правда, „она не могла не подчиниться господствующему духу, невольно представляла она его, но и въ своемъ подчиненіи сохранила свою гордую независимость своихъ мечтаній, могучіе порывы къ чему-то не только лучшему, но и безусловно прекрасному". Если даже въ этой литературѣ и „есть мѣщанское въ симпатіяхъ, въ настроеніяхъ, потому что она родное дѣтище

[1]) „Опытъ философіи русской литературы" стр. 28—34.

мѣщанскаго строя", то нигдѣ, ни разу нѣтъ въ ней „ни слѣда услужливаго заискиванья, ни дозы лакейской предупредительности и лакейскаго забѣганья впередъ".

Очень любилъ покойный литературу...

Самое же мѣщанство—проклято: его сила покоилась на недоразумѣніи; мѣщанство не обособилось въ классъ и, искренно считая себя то за ремесленника, который погибалъ въ его атмосферѣ, то за крестьянина, развращавшагося въ его тискахъ, принимало себя за народъ.

Но тамъ, на западѣ, мѣщанство сумѣло воспользоваться хоть предыдущимъ опытомъ человѣчества, оно выступило на историческую сцену съ грандіознымъ запасомъ силъ, грандіозными идеями; оно пробовало хоть опираться на идею человѣческой свободы, и здѣсь есть глубина, есть сила, даже величественность есть; здѣсь нервное возбужденіе, вызванное мѣщанскимъ строемъ, не пропало и не прошло даромъ, а литературные памятники западнаго мѣщанства не ниже памятниковъ всѣхъ другихъ эпохъ. Но ничего похожаго,—ни силы, ни raison d'être, ни правъ, ни идей,—не было и нѣтъ въ мѣщанствѣ русскомъ.

„Мнѣ смѣшно смотрѣть",—пишетъ въ одномъ мѣстѣ Соловьевъ,—„какъ наши доморощенные буржуйчики говорятъ словами европейскаго общества. Просто смѣшно, потому что пока тутъ ничего, кромѣ претензій, и все, что по дружбѣ хочется сказать имъ, это вотъ:„ не надо человѣку малаго роста итти въ глубокое мѣсто: можетъ потонуть".

Общій характеръ русскаго мѣщанства рисовался покойному писателю въ очень опредѣленныхъ чертахъ: ничего грандіознаго, увлекающаго, возбуждающаго вдохновеніе широкими замыслами, смѣлостью и дерзостью мысли,—ничего такого, что было на Западѣ. „Все очень мелко, и крупны лишь бумажники".

Кромѣ того, непочатый уголъ традиціоннаго холопства и хамства, аршинничества и самоварничества, настолько очевиднаго и такъ ярко мечущагося въ глаза, что старо-барская литература, расцвѣтъ которой совпадаетъ съ 70-ыми годами, имѣла значительное основаніе презрительно относиться къ этимъ кулакамъ и міроѣдамъ, третировать ихъ, говорить о ихъ силѣ, но совсѣмъ не бояться ихъ".

И все равно, какъ въ области „добродѣтели" мѣщанство можетъ возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, такъ въ сферѣ жизни вообще оно можетъ охранять всѣ права собственника и никогда достоинства человѣка.

И это потому, что идеи справедливости и человѣческаго достоинства относятся къ принципу распредѣленія, а не накопленія. Задачу же распредѣленія мѣщанство на себя

не беретъ, чувствуя, что здѣсь оно встрѣтится съ разными неожиданными препятствіями и сюрпризами.

И оно, естественно, предоставило ее игрѣ стихійныхъ силъ и случайностей, на биржѣ довело эту случайность до высоты вавилонской башни, а это все равно, какъ въ игорномъ домѣ: расплата за проигрышъ и выигрышъ можетъ быть скрупулезно честна, но причемъ тутъ справедливость? „И я люблю,—пишетъ Соловьевъ,—когда мѣщане говорятъ о промышленной предпріимчивости и ростѣ національнаго богатства: это выходитъ у нихъ хорошо, даже восторженно; и я ничего не имѣю, когда они говорятъ о добродѣтели и честности,—это можетъ быть по ихъ части, но терпѣть не могу, когда они разсуждаютъ о справедливости. Что имъ справедливость и что они ей?“ [1])...

VI.

Психологіей и исторіей пролетаріата, его смысломъ и его будущимъ Евг. Соловьевъ интересовался горячо и дѣятельно, живо и возбужденно. Надъ философіей пролетаріата онъ работалъ все послѣднее время и въ его рукописяхъ, въ значительной своей части ненапечатанныхъ, развита цѣлая теорія, только намеками пока сказавшаяся въ тѣхъ немногихъ страницахъ, которыя онъ успѣлъ напечатать предъ самой своей смертью, за нѣсколько дней до могилы, въ тѣхъ немногихъ листахъ, которыя составили его послѣднюю книгу *„Рабочіе люди и новыя идеи“* Тайно, въ глубокихъ родникахъ души, психологически, съ пролетаріатомъ Соловьева роднила безпредѣльность будущаго, громадность масштабовъ, новизна путей и все та же сила и страсть.

У темпераментныхъ людей сила всегда была въ почетѣ. Только сильные умѣютъ любить мощь. Только страстные не боятся страсти. Только смѣлые вѣрятъ въ рискъ.

Вопросъ о пролетаріатѣ, рабочее движеніе для Соловьева, однако, никогда не имѣло экономическаго значенія, во всякомъ случаѣ только экономическая сторона не играла для него рѣшающей роли. Едва ли больше важности придавалъ онъ и собственно политической сторонѣ.

Въ пролетаріатѣ его интересовала иное и другое, волновали скрытыя глубины, влекла къ себѣ философія вопроса, его психологія, религія пролетаріата, его культъ. „Ограничивать рабочій вопросъ его политико-экономическими рамками значитъ—умалять его“. Здѣсь „экономика и политика играютъ свою значительную, но не первенствующую

---

[1]) См. „Вольница“.

роль". Онѣ—только тѣло вопроса, но не духъ его: ими онъ входитъ всего только „въ группу рядовыхъ вопросовъ государственнаго и общественнаго благоустройства", тогда какъ „своей идеей и философіей" рабочій вопросъ весь—въ группѣ міровыхъ, общечеловѣческихъ ученій и религій. И Соловьевъ вноситъ поправки въ лассалевское ученіе. Лассаль ошибся. Онъ слишкомъ снисходительно отнесся къ *государству*. Слишкомъ повѣрилъ ему, считая его способнымъ превратиться въ разсадникъ, питомникъ и царство добродѣтели. И „одинаково не правъ онъ, связавъ любовь съ идеей пролетаріата", тогда какъ эта идея „предполагаетъ и требуетъ развитія, торжества и господства забытаго нами чувства товарищества". Вникая глубже, расширяя вопросъ до его историческихъ краевъ, до его психологическихъ глубинъ, Соловьевъ находитъ, что тутъ, именно въ этомъ вопросѣ

„мы не только передъ возрожденіемъ христіанства въ духѣ его, но и передъ одной изъ величайшихъ загадокъ арійскаго человѣчества, его цивилизаціи."

И эту „загадку" Соловьевъ формулируетъ такъ:

„Готовясь къ какому нибудь важному дѣлу, стихійно предчувствуя приближеніе роковой минуты пересмотра и обновленія всей жизни, растерявшись среди разбитыхъ кумировъ, несбывшихся надеждъ, обломковъ разныхъ устоевъ, утомленное своей безпощадной борьбой за жизнь, за славу, за чувственныя наслажденія, напуганное малокровіемъ, малодушіемъ и развратомъ подрастающаго поколѣнія- общество стихійно и необходимо обращается къ массѣ, къ нищетѣ, идеѣ пролетаріата за помощью и обновленіемъ... Еще вчера эта оборванная, презираемая, униженная масса, этотъ высшій классъ рабочаго скота внезапно обращается въ свѣточъ, послѣднее пристанище. Дружный кликъ къ народу, въ народъ, вырывается изъ груди растерянныхъ. Пойдемъ къ нищему, голодному и холодному! Спросимъ его, въ немъ поищемъ опоры! Онъ —чистый, онъ новый... Онъ внѣ нашего политиканства интригъ, нашего разврата! Въ немъ могучія, нетронутыя силы.

Такъ говорила римская цивилизація, встрѣтившись съ религіей рабовъ—христіанствомъ; такъ говоритъ и наша цивилизація, встрѣтившись съ идеей пролетаріата.

Что же, нищій, голодный, масса—не обманывали никогда. Не обманутъ они и теперь, если, отдышавшись, не обманемъ мы ихъ.

Но, повторяю, это обращеніе къ нищетѣ, къ голоду и рабству за новыми силами, за новыми путями—одна изъ величайшихъ загадокъ нашей цивилизаціи и нашего духа.

Что говоритъ она намъ? [1])

. . . . . .

На этихъ точкахъ оборвалась не статья о пролетаріатѣ, а жизнь Соловьева.

То, что осталось въ его бумагахъ по этому вопросу, пока не подлежитъ опубликованію,—если вообще допустимо обнародовать сырыя мысли, которыя могли измѣниться въ обработкѣ и передѣлкѣ, и для которыхъ владыкой должна бы навсегда быть лишь рука самого автора.

---

[1]) *Евгеній Соловьевъ (Андреевичъ).* Рабочіе люди и новыя идеи (Послѣдніе труды), съ портретомъ автора ц. 80 коп. Спб. 1906. стр. 185—201.

[illegible] выйти въ болѣе, или менѣе закон-
[illegible] его пера, указываетъ на огромный
[illegible] большія раздумья, на серьезную пристальность,
[illegible] авторъ „Рабочихъ людей и новыхъ идей“
[illegible] новому вопросу обновляющейся русской жизни.
[illegible] неумѣнье ограничиваться лишь
[illegible] звенящая неудовлетворенность ограниченностью
[illegible] захваты въ ширь и въ глубь—сказа-
[illegible].

[illegible] и почувствовалъ носи-
[illegible] будущаго, и еще неформулированно, но
[illegible] психологіи интеллигентскаго отно-
[illegible] пролетаріату.

[illegible] своемъ его поклоненіе интеллигента, конечно,
[illegible] все того же дворянскаго покаянства,
[illegible] дворянскому окаянству. Несомнѣнно,
[illegible] отношеніе къ пролетаріату въ интеллигент-
[illegible] только новый молебенъ предъ тѣнью
[illegible]. Внезапность проявленія огромной вулка-
[illegible] весь тотъ взрывъ, который произошелъ въ
[illegible] ударѣ еще при жизни Соловьева, въ своемъ
[illegible] нѣсколько дней послѣ его смерти,—смутилъ
[illegible], которая готова была еще такъ недавно
[illegible] подарить свое милосердіе и сочувствіе рабо-
чему классу, и которая теперь въ тайномъ изумленіи и
уважении уже протягивала ему свою руку „товарища“.
Интеллигенція, чья вся идеологія, казалось, была индиви-
дуалистической, которая выдавала себя за самую настоящую
философію, вчера еще презирала толпу и массу,—эта интел-
лигенція сегодня же спѣшила стряхнуть пыльной тряпкой
своего страха вчерашній анархизмъ настроеній и пойти
каяться, чего не просилъ у нея, и чего не требовалъ отъ
нея пролетаріатъ ни одной минуты.

Для Соловьева—публициста это была бы тема. И хотя
очень отдаленно, но уже нащупывается кое-гдѣ въ его со-
чиненіяхъ. Почти навѣрно: онъ, бывшій товарищъ, — по
„Жизни“, -Горькаго, вмѣстѣ съ нимъ пришелъ бы къ отри-
цательному взгляду на интеллигенцію, къ ея осмѣянію и
обличенію, и именно имъ должна была написаться та кара-
тельная противъ массовой интеллигенціи статья, которая
теперь такъ и осталась ненаписанной. Противъ той интел-
лигенціи, которая умѣла весело и побѣдоносно-вызывающе
жестикулировать подъ яркимъ солнцемъ всходившаго новаго
дня. Но безъ солнца,—какъ только зашло оно,—эта же интел-
лигенція побѣжала домой, чтобы суетливо и торопливо
смѣнить свою нелегальную косоворотку на корректный чи-
новн[illegible]ръ.

[illegible]

Евгеній [illegible] вѣтствовалъ и [illegible] ство, непривычное [illegible] Вѣра въ будущее [illegible] чиненіяхъ, [illegible] симизмъ далекъ. [illegible] критикъ умѣлъ [illegible] а для этого [illegible] онъ,—„склоненъ [illegible] имъ полный просторъ, [illegible] то ни было стѣсненія [illegible] даже красоты [illegible].

Молодые [illegible] нечно, ниже себя и [illegible] вать какое-ни[illegible] избыткѣ силъ и страсти [illegible] вать свои [illegible] нихъ, и не имъ чета.

Онъ могъ смѣяться добрымъ смѣхомъ [illegible] летовыми людьми будущаго, но и тогда, когда смѣялся, вѣрилъ въ судьбу новаторовъ русской литературы, искусства и жизни, и это будущее, убѣжденный демократъ, онъ опять-таки ставилъ въ связь съ повышеніемъ и съ пробужденіемъ индивидуальнаго классоваго сознанія. „Должна настать пора",—замѣчаетъ онъ,—„новаго блеска въ нашей литературѣ, но не раньше, чѣмъ прояснится сознаніе массъ".

Знамя свободы творчества Соловьевъ никогда не выпускалъ изъ рукъ, освобожденіе мысли было его девизомъ, ея независимость—закономъ. Она должна быть не этической, какъ у Толстого, какъ у литературы 70-хъ годовъ, какъ христіанская мысль вообще, а свободной и творческой.

Чуждый метафизики, неизмѣнно въ прямой послѣдовательности съ лучшими завѣтами прошлаго, индивидуальный индивидуалистъ, пламенный идеологъ правъ на жизнь и независимость творчества, весь въ мечтахъ о лучшей и великой будущности пролетаріата, онъ былъ далекъ отъ теоретиковъ неоидеализма, не забрелъ въ лагерь доктринеровъ, и, отрѣшившись отъ культа народничества, лишь на время остался во власти марксизма, и то дорожа имъ только въ видахъ пролетарскаго индивидуализма, въ его глазахъ марксизмъ былъ „религіей все того же пролетаріата".

Критики Соловьева съ особеннымъ чувствомъ любили подчеркивать неряшливость его писаній, спѣхъ его книгъ, небрежность его мысли. И принимали за неряшливость...

Но и то, что успѣло выйти въ болѣе, или менѣе законченномъ видѣ изъ подъ его пера, указываетъ на огромный интересъ, на большія раздумья, на серьезную пристальность, съ которыми авторъ „Рабочихъ людей и новыхъ идей“ отнесся къ новому вопросу обновляющейся русской жизни. Стремленіе къ обобщенію, неумѣнье ограничиваться лишь внѣшнимъ, вѣчная неудовлетворенность ограниченностью рамокъ изслѣдованія, захваты въ ширь и въ глубь—сказались и здѣсь.

Въ пролетаріатѣ онъ усмотрѣлъ и почувствовалъ носителя новой религіи будущаго, и еще неформулированно, но уже близко подходилъ къ психологіи интеллигентскаго отношенія къ пролетаріату.

Въ корнѣ своемъ это поклоненіе интеллигента, конечно, лишь новая форма все того же дворянскаго покаянства, которое шло на смѣну дворянскому окаянству. Несомнѣнно, что почтительное отношеніе къ пролетаріату въ интеллигентской массѣ есть всего только новый молебенъ предъ тѣнью великаго сапога. Внезапность проявленія огромной вулканической силы, весь тотъ взрывъ, который произошелъ въ своемъ первомъ ударѣ еще при жизни Соловьева, въ своемъ второмъ—чрезъ нѣсколько дней послѣ его смерти,—смутилъ ту интеллигенцію, которая готова была еще такъ недавно благосклонно подарить свое милосердіе и сочувствіе рабочему классу, и которая теперь въ тайномъ изумленіи и уваженіи уже протягивала ему свою руку „товарища“. Интеллигенція, чья вся идеологія, казалось, была индивидуалистической, которая выдавала себя за самую настоящую ницшеанку, вчера еще презирала толпу и массу,—эта интеллигенція сегодня же спѣшила стряхнуть пыльной тряпкой своего страха вчерашній анархизмъ настроеній и пойти каяться, чего не просилъ у нея, и чего не требовалъ отъ нея пролетаріатъ ни одной минуты.

Для Соловьева—публициста это была бы тема. И хотя очень отдаленно, но уже нащупывается кое-гдѣ въ его сочиненіяхъ. Почти навѣрно: онъ, бывшій товарищъ, — по „Жизни“,—Горькаго, вмѣстѣ съ нимъ пришелъ бы къ отрицательному взгляду на интеллигенцію, къ ея осмѣянію и обличенію, и именно имъ должна была написаться та карательная противъ массовой интеллигенціи статья, которая теперь такъ и осталась ненаписанной. Противъ той интеллигенціи, которая умѣла весело и побѣдоносно-вызывающе жестикулировать подъ яркимъ солнцемъ всходившаго новаго дня. Но безъ солнца,—какъ только зашло оно,—эта же интеллигенція побѣжала домой, чтобы суетливо и торопливо смѣнить свою нелегальную косоворотку на корректный чиновничій мундиръ.

VII.

Евгеній Соловьевъ умѣлъ любить и не бояться, привѣтствовалъ и зажигался радостью. Его не пугало новшество, непривычное не отталкивало его: не мучило рѣзкое. Вѣра въ будущее глубокой волной выступаетъ въ его сочиненіяхъ, молодое всегда ему было близко и дорого,—пессимизмъ далекъ, и, весь искренній и ищущій, покойный критикъ умѣлъ находить новаторовъ, ободрять молодость, а для этого стоило жить. „Я лично, напримѣръ“,—писалъ онъ,—„склоненъ сдѣлать ту ошибку, чтобы предоставить имъ полный просторъ, чѣмъ наложить на нихъ какія бы то ни было стѣсненія правилъ, теоріи догмы, тенденціи, даже красоты и пользы“. (Жизнь, 1900).

Молодые причетники умирающей критики считаютъ конечно, ниже себя и опаснымъ для литературы привѣтствовать какое-нибудь красивое salto-mortale изнемогающаго въ избыткѣ силъ и страсти таланта, боятся юности и закрывать свои ослѣплые глаза кротовъ. Евг. Соловьевъ—не изъ нихъ, и не имъ чета.

Онъ могъ смѣяться добрымъ смѣхомъ надъ ультрафіолетовыми людьми будущаго, но и тогда, когда смѣялся, вѣрилъ въ судьбу новаторовъ русской литературы, искусства и жизни, и это будущее, убѣжденный демократъ, онъ опять-таки ставилъ въ связь съ повышеніемъ и съ пробужденіемъ индивидуальнаго классоваго сознанья. „Должна настать пора“,—замѣчаетъ онъ,—„новаго блеска въ нашей литературѣ, но не раньше, чѣмъ прояснится сознаніе массъ“.

Знамя свободы творчества Соловьевъ никогда не выпускалъ изъ рукъ, освобожденіе мысли было его девизомъ, ея независимость—закономъ. Она должна быть не этической, какъ у Толстого, какъ у литературы 70-хъ годовъ, какъ христіанская мысль вообще, а свободной и творческой.

Чуждый метафизики, неизмѣнно въ прямой послѣдовательности съ лучшими завѣтами прошлаго, индивидуальный индивидуалистъ, пламенный идеологъ правъ на жизнь и независимость творчества, весь въ мечтахъ о лучшей и великой будущности пролетаріата, онъ былъ далекъ отъ теоретиковъ неоидеализма, не забрелъ въ лагерь доктринеровъ, и, отрѣшившись отъ культа народничества, лишь на время остался во власти марксизма, и то дорожа имъ только въ видахъ пролетарскаго индивидуализма, въ его глазахъ марксизмъ былъ „религіей все того же пролетаріата“.

Критики Соловьева съ особеннымъ чувствомъ любили подчеркивать неряшливость его писаній, спѣхъ его книгъ, небрежность его мысли. И принимали за неряшливость—

нервность, за спѣшность—темпераментъ, въ легкости и быстротѣ обобщеній видѣли небрежность, типографскія ошибки выписывали на счетъ незнаній, неловкую корректуру принимали за развязное отношеніе къ именамъ и цитатамъ. А это былъ удивительный по усидчивости работникъ, рѣдкій по многосторонней начитанности писатель, ясный, въ прозрачности своей мысли, философъ, кропотливо учившійся, тихо и много читавшій, о всемъ передумавшій, во всемъ разобравшійся, съ острымъ литературнымъ чутьемъ, съ хорошей скупой памятью,—изъ тѣхъ, что берутъ жадно и ничего не отдаютъ времени, памятью-копильщицей, памятью-Плюшкинымъ, памятью-ростовщикомъ, умѣвшимъ наживать, и съ умомъ—мотомъ, любившимъ разбрасывать золото идей направо и налѣво, транжирившимъ свое богатство одинаково въ книгахъ, какъ въ мелкихъ журналахъ, въ серьезныхъ статьяхъ, какъ въ газетныхъ строкахъ. Все же это—только одна сторона Соловьева, правда, болѣе извѣстная, правда, болѣе бросавшаяся въ глаза,—все-таки только одна.

То, что дѣлалось днями и вечерами, ночами и утрами, наединѣ съ зеленымъ абажуромъ рабочей лампы, съ бѣлымъ листомъ бумаги, съ своей записной книжкой и томами философіи, соціологіи, экономики и литературы,—эта тихая, эта закулисная, сладкая и тяжелая работа писателя оставалась въ тѣни тѣхъ видимыхъ строкъ, которыя публика (и, увы!—и критика!) только и умѣли видѣть на столбцахъ газетъ, или журнала. Его постоянная фраза была одна: „Надо учиться“. Онъ и умеръ съ этимъ, съ книгою въ рукахъ, и этой книгой былъ Ж. Ж. Руссо.

Въ сущности, ни одна изъ книгъ Соловьева не написана сразу. Всѣ они—плодъ годовъ, выношенныя дѣти, результаты многолѣтняго утробнаго питанія, сумма тысячъ его тетрадныхъ, тайныхъ, скрытыхъ записей,—этого, по натурѣ, тоже тайнаго и тоже скрытнаго человѣка.

Его *„Очерки по исторіи литературы“* вынашивались, вызрѣвали, писались и передѣлывались больше, чѣмъ въ теченіе трехъ лѣтъ. Громаду труда взялъ для себя „Опытъ философіи русской литературы“. Его созданіе—былъ періодомъ нужды, всякихъ лишеній, ради него были брошены всѣ работы, въ теченіе цѣлыхъ девяти послѣднихъ мѣсяцевъ не была написана ни одна строка ни въ одинъ журналъ, ни въ одну газету: это—трудъ-баловень, трудъ-любимецъ, трудъ-синтезъ и исповѣдь. Онъ и написанъ съ какой-то интимной и радостной, простой и искренней любовью, совсѣмъ простымъ, на рѣдкость точнымъ языкомъ; въ немъ почти ни одного образа, ни одного сравненія. Здѣсь мысль писателя достигла своей высшей точности, той хрустальной прозрачности, какая пріобрѣтается у тѣхъ, кто выяснилъ и опредѣлилъ себѣ все до мелочей и деталей и также точно,

и также ясно,—съ какой-то особенной учительской и вмѣстѣ любовной осторожностью, ровнымъ голосомъ,—разсказываетъ объ этомъ другимъ.

Начиная съ первыхъ строкъ Скрибы (псевдонимъ Евг. Соловьева), проникая его біографическія книжечки, писанныя имъ для библіотеки Павленкова, его статьи въ *„Жизни“* (за подписью Андреевичъ), въ *„Научномъ Обозрѣніи“*, въ „Журналѣ для всѣхъ“ (псевдонимъ: Мірскій), его *„Очерки изъ исторіи русской литературы XIX вѣка“*, по своему написанные, не похожіе, согрѣтые особенной любовью, связанные единой ищущей мыслью; его серьезный и оригинальный *„Опытъ философіи русской литературы“*, наконецъ, даже его газетные фельетоны въ *„Руси“* (псевдонимъ: Анд. и Ан.) и *„Одесскихъ Новостяхъ“* (Скриба),—черезъ всѣ эти сотни печатныхъ листовъ проходитъ одна и та же идея,—она одна волнуетъ, мучитъ, зажигаетъ и окрыляетъ покойнаго. Это—идея освобожденія личности, идея автономнаго существованія на землѣ человѣка, его независимости, красоты и доблести, и силы. Въ вѣкъ замурованныхъ сердецъ, въ тусклую эпоху 80-хъ годовъ, въ сипягинское и плевенское время голосъ Андреевича-Соловьева раздавался, какъ звонъ предчувствія утра.

Но на зарѣ его умеръ звонарь,—„на рубежѣ земли обѣтованной“. Судьба надъ русскимъ писателемъ шутитъ злыя шутки, заставляя умирать не во время, жить безъ радости, работать случайно, мало смѣть и мало мочь, сотрудничать не тамъ, гдѣ хочется, „историку литературы“ помѣщаться на газетныхъ листахъ.

VIII.

Конечно, не все въ писаніяхъ Евг. Соловьева цѣльно и стройно. Но въ нихъ много нужнаго, много яркаго, выпуклаго и вѣрнаго,—и это заслуга большая для человѣка и писателя той политической и общественной ночи, тѣхъ мглистыхъ сумерекъ,—когда всѣ кошки сѣры,—въ которыя пришлось ему жить, учиться, работать и учить. А самъ Евг. Соловьевъ навсегда останется характерной, любопытной и въ высшей степени интересной иллюстраціей тѣхъ горестей и печали мысли, которыя пришлось вынести на своихъ плечахъ ему и его сверстникамъ.

Но онъ же — лучшее и живое доказательство того, что наиболѣе чуткіе изъ этихъ сверстниковъ, наиболѣе честные и пламенные, наиболѣе сильные и бодрые шли и тяготѣли къ пролетарской идеологіи, къ заботамъ и тревогамъ о пролетарской судьбѣ, къ мечтаньямъ о лучшемъ будущемъ все

того же пролетаріата, къ пролетарскому индивидуализму, къ „осаннѣ“ и хвалѣ освобождающейся личности.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Евг. Соловьевъ останется для всѣхъ, его читавшихъ, дорогимъ воспоминаніемъ о бодрыхъ впечатлѣніяхъ, которыя всегда выносились изъ его книгъ, изъ его статей и даже замѣтокъ. Чѣмъ-то молодымъ, чѣмъ-то отважнымъ и юнымъ вѣетъ отъ всей его литературной дѣятельности, отъ его безстрашныхъ нападокъ, прямой и рѣзкой полемики, бурнаго паѳоса, нѣжной лирики, открытой защиты, упорнаго заступничества, глубокой любви и ненависти къ пошлости.

Въ его писаньяхъ много благородства, гордости и силы.

Если этого мало для патента на талантливость, мы не забудемъ его рѣдкаго языка, его четкихъ формулъ, неожиданныхъ мыслей, прекраснаго стиля. Мало этого? — Мы вспомнимъ его умъ, его блескъ, его свѣтъ и тѣ радости, которыя онъ несъ къ намъ съ собой, въ своемъ гнѣвномъ сердцѣ, въ своей умѣвшей пѣть и чувствовать, страдать и плакать, будить и окрылять душѣ. А этого достаточно для человѣка вообще, для писателя въ особенности, для русскаго писателя—тѣмъ болѣе, для русскаго писателя эпохи сломившихся силъ и отчаявшихся душъ — вдвойнѣ.

Но можетъ быть: это былъ писатель безъ выдержки, мыслитель безъ новой системы, литераторъ безъ стилистическаго новаторства, историкъ безъ архивныхъ знаній, филологъ безъ оффиціальной учености. Зато это былъ публицистъ съ дальнозоркостью, литературный философъ съ оригинальнымъ міровоззрѣніемъ, полемистъ съ огнемъ и бунтарскимъ темпераментомъ, журналистъ съ дерзкимъ паѳосомъ, критикъ съ острымъ слухомъ и настоящимъ чутьемъ, стилистъ съ красотой и точностью, умница съ большой наблюдательностью и съ мощью широкихъ обобщеній, человѣкъ съ крылатой душой, рвущейся мыслью, неугомоннымъ безпокойствомъ и горячимъ пылающимъ сердцемъ бойца. Что-жъ удивительнаго, что это сердце повстанца и бунтаря, горѣвшее и терзавшееся, такъ скоро перестало биться?

...Быстро догораютъ свѣчи, зажженныя съ двухъ концовъ!..

Петръ Пильскій.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Русскому человѣку трудно любить что-нибудь другое изъ области своей духовной жизни съ такой горячей признательностью, какъ свою литературу. Историческое прошлое русскаго человѣка цѣлые вѣка представляло однообразный процессъ; государственныя формы его жизни вырабатывались большею частью помимо его воли и прямого участія; достоинства его живописи, музыки, науки, скульптуры и т. д. проявляются лишь очень и очень поздно; только въ одной литературѣ успѣлъ онъ проявить себя съ самой лучшей и богатой своей стороны. Здѣсь, несмотря на всѣ многочисленныя препятствія и преграды, несмотря на то, что необходимый элементъ литературнаго развитія—читатель—заставилъ ждать себя почти до 40-хъ годовъ прошлаго вѣка, успѣхи наши поразительны и, если вѣрить Достоевскому, служатъ единственнымъ, хотя и большимъ залогомъ нашего „славнаго будущаго". Такъ относиться къ своей литературѣ, какъ относится къ ней русскій человѣкъ, европеецъ едва ли можетъ. Мало ли у него предметовъ гордости и въ области искусства и общественной жизни, или науки и религіи, появленіе и развитіе которыхъ онъ одинаково приписываетъ себѣ. За нихъ онъ боролся въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, за нихъ шелъ на костеръ и плаху, любить и почитать ихъ онъ училъ своихъ дѣтей въ предсмертномъ словѣ; въ нихъ онъ выразилъ свою личность и личность своего народа, свои стремленія и стремленія своего народа. У насъ, въ нашей духовной и общественной жизни литература и только литература.

„Милостивые государи,—писалъ Щедринъ въ своемъ „Кругломъ годѣ",—вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе scripta manent [1]). Я же подъ личною за сіе отвѣтственностью присовокупляю: semper manent in seacula seculorum [2]). Да господа, литература не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ раз-

---

[1]) Написанное остается.
[2]) Остается во вѣки вѣковъ.

валины, частью въ навозъ—одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеей о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ее, какъ представленіе о литературѣ. Мы испытуемъ вѣчность, мы стараемся понять ее—и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; но вспомнимъ о литературѣ, и мы хотя отчасти откроемъ тайну вѣчности".

Я бы могъ привести нѣсколько такихъ же мѣстъ изъ произведеній Щедрина, могъ бы напомнить извѣстныя слова Бѣлинскаго или предсмертный завѣтъ Тургенева, или гордость Достоевскаго при сознаніи, что онъ литераторъ и только литераторъ—но всѣ эти цитаты ничего не прибавили бы къ той простой мысли, что для русскаго читателя, а тѣмъ болѣе русскаго писателя печатное слово есть вещь, съ которой надо обращаться не только „честно", но и богобоязненно.

„Только въ литературѣ и можно найти жизнь"—писалъ Бѣлинскій въ одну изъ мертвыхъ эпохъ нашей общественности, и эти слова кажутся мнѣ тѣмъ болѣе справедливыми, что русская литература съ первыхъ же шаговъ своей самостоятельной жизни всегда исполняла *миссію*. Она проповѣдническая, учительская и миссіонерская по преимуществу. Это можно утверждать по поводу, по крайней мѣрѣ, главнаго ея русла, насчетъ котораго и сказано scripta manent in secula seculorum *).

Основная идея русской литературы—религіозно-нравственная и основана на сознаніи святости человѣческой личности и человѣческой жизни вообще. Эта идея, зародившаяся еще въ концѣ XVIII вѣка, выросла и окрѣпла какъ сталь, выкованная булатомъ, въ безконечно долгой борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ и духомъ крѣпостничества, еще и теперь далеко не исчезнувшимъ изъ нашей жизни.

Въ родной литературѣ есть человѣкъ и писатель, скорбная фигура котораго стоитъ у самаго начала ея самостоятельной жизни. Но мысль этого человѣка и писателя жива

*) Вообще, думается мнѣ, надо строго отличать литературу отъ словесности. Словесность это все безбрежное море написаннаго и напечатаннаго; литература выражаетъ общественно-историческія идеи и общественно-историческое настроеніе въ каждую данную эпоху развитія. Чеховъ и Горькій напр.,—это литература, а Потапенко—словесность. Въ настоящее время очень много словесности и очень мало литературы. Въ своихъ очеркахъ я занимаюсь исключительно послѣдней.

и теперь. Я говорю о Радищевѣ. И его трагическая судьба, и настроеніе, продиктовавшее ему его знаменитую книгу, являются какъ бы прообразомъ и символомъ цѣлаго вѣка нашего литературнаго развитія.

„Человѣкъ родится въ міръ и равенъ во всемъ одинъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю". Вотъ основное воззрѣніе, изъ котораго исходитъ Радищевъ *). Этого разума и воли никто отнять не можетъ. „Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законѣ. Если законъ или не въ силахъ его заступить, или того не хочетъ... тогда пользуется гражданинъ природнымъ правомъ защищенія... Ибо гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаетъ быть человѣкомъ, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояніе". Основывая святость человѣческой личности на идеѣ естественнаго права, Радищевъ переходитъ къ критикѣ крѣпостнаго состоянія.

„Рядъ разбросанныхъ въ книгѣ фактовъ, — говоритъ біографъ Радищева, — посвященъ изображенію отягченнаго жребія крестьянства... Помѣщикъ, заставляющій крестьянъ 6 дней въ недѣлю работать на господской пашнѣ и лишь воскресенье оставляющій имъ для работы на ихъ собственныя семьи; крѣпостные, осужденные за убійство семьи помѣщика, который не только обратилъ ихъ въ бараковъ, отнялъ у нихъ всю землю и истязалъ ихъ жестокими наказаніями, но еще и безчестилъ ихъ женъ и дочерей; помѣщикъ, введшій въ своемъ имѣніи jus primae noctis и лишь случайно спасшійся отъ смерти, уготованной ему крестьянами; распродаваемые съ аукціона люди, въ томъ числѣ дядька, кормилица, любовница и сынъ продающаго ихъ барина; дворовый, по барскому капризу получившій образованіе и, благодаря этому, тѣмъ съ большею силою чувствующій тяготѣющій надъ нимъ произволъ; крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина; казенные крестьяне, покупающіе крѣпостныхъ у помѣщика для отдачи ихъ въ рекруты, — таковы важнѣйшія фигуры этой галлереи, наглядно убѣждающія Радищева въ томъ, что въ Россіи „крестьянинъ въ законѣ мертвъ". Какъ бы заключая рядъ впечатлѣній, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цѣлое ихъ разрозненныя черты, Радищевъ въ одной изъ послѣднихъ главъ своей книги изображаетъ внѣшнюю обстановку жизни крестьянина. Рѣзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетой. Жилище крестьянина—курная изба съ покрытыми сажей и грязью стѣнами, съ затянутыми пузыремъ окнами, изба, въ которой люди спятъ ночью вмѣстѣ съ животными, въ спертомъ воздухѣ которой свѣча горитъ, какъ въ туманѣ. Внутреннее убранство этой избы состоитъ изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ—„счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи", — деревянной чашки и кружковъ вмѣсто тарелокъ, срубленнаго топоромъ стола, корыта для корма свиней и телятъ и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина — „посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода". „Вотъ въ чемъ, — восклицаетъ писатель, — почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества; но тутъ же видны слабость,

*) См. сборникъ „На славномъ посту". Спб. 1900 г.

недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежъ, мучительство наше и беззащитное нищеты состояніе. — Звѣри алчные, піявицы ненасытныя, что крестьянину мы оставляемъ?—то, чего отнять не можемъ,— воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ нерѣдко у него не токмо даръ земли, хлѣбъ и воду, но и самый свѣтъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь.—Но развѣ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всесиліе; съ другой немощь беззащитная. Ибо помѣщикъ въ отношеніи крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего рѣшенія и, по желанію своему, истецъ, противъ котораго отвѣтчикъ ничего сказать не смѣетъ. Се жребіи заклепеннаго въ узы, се жребіи заключеннаго въ смрадной темницѣ, се жребіи вола въ ярмѣ"...

Вотъ что видѣлъ передъ собою Радищевъ и вотъ отъ какихъ картинъ „душа его страданіями человѣческими уязвлена стала". Въ заключеніе онъ горячо убѣждаетъ современниковъ приступить къ освобожденію крестьянъ. И не то же ли самое убѣжденіе слышали „русскіе современники" отъ русской литературы въ теченіе слѣдующихъ 70-ти лѣтъ? Мнѣ кажется, что съ книги Радищева можно начинать исторію нашей самостоятельной литературно-общественной мысли.

Та же идея святости человѣческой личности, особенно яркая, потому что безличный крѣпостной мужикъ былъ на глазахъ у всѣхъ, создала самое оригинальное наше литературно-общественное теченіе—наше народничество. Ему, какъ извѣстно, предшествовалъ періодъ сомнѣнія и отрицанія, періодъ безнадежнаго отрицанія русскаго будущаго.

Но вотъ на помощь и во спасеніе нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю нашу психологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея—мы вступили на твердую почву, на цѣлыя десятилѣтія опредѣливши и наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, тутъ можно и должно сказать спасибо нашей деревнѣ, послужившей превосходной школой нашей мысли. Это началось съ Радищева, но опредѣлилось лишь въ сороковые годы.

Растерзанной фигурѣ Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полъвѣка — правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности тѣмъ же самымъ. Здѣсь заключалась цѣлая программа, здѣсь былъ данъ лозунгъ — одинъ изъ тѣхъ лозунговъ, которые являются въ десятилѣтія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло первую историко-литературную роль. Послѣ него можно было писать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе: на него смо-

трѣли только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія къ нему не относились серьезно. „Мужикъ“ и мужицкій вопросъ стали воистину нравственной цензурой—строгой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избѣжать которой не было никакой возможности. Было признано, и всѣ согласились, что это „самое важное“. Сотни и тысячи произведеній посвящались „самому важному“; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчиняло себѣ эстетику, оно стало душою критики, мало того—у Толстого оно вылилось въ цѣлую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствовалъ это Бѣлинскій, когда писалъ Боткину: „Будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты сибаритъ, сластена... тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертаціею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества—она для меня тѣмъ не менѣе интересна“... (Письмо начала 1848 г.).

Несомнѣнно, что благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концѣ сороковыхъ годовъ, мы перестали быть „странниками“; появилась дѣйствительная „сфера опредѣленнаго существованія, нѣчто такое, что „привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное чувство“—появилась „почва мышленія и жизни“... Мужикъ выручалъ не разъ, надо сознаться, и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчивомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опекѣ, въ которой онъ держалъ нравственность не только отдѣльныхъ людей, но и цѣлыхъ историческихъ эпохъ.

Трудно сказать, насколько національныя особенности нашего характера, несомнѣнно существующія, хотя и неопредѣленныя, несмотря на попытки первыхъ славянофиловъ, потомъ Ап. Григорьева, Достоевскаго и т. д.—трудно, говорю я, сказать, насколько эти національныя особенности обусловливаютъ практицизмъ нашего мышленія. Во всякомъ случаѣ въ области теоретической мысли мы почти не проявили ни малѣйшей самостоятельности и мы, повторяю, практичны въ томъ смыслѣ, что все наше передовое художественное творчество насквозь проникнуто нравственными запросами. По поводу эпохи тридцатыхъ годовъ Герценъ говоритъ: „проповѣдь шла все сильнѣе... *все одна про-*

повѣдь. И смѣхъ, и плачъ, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума и источникомъ всего этого было *проснувшееся сердце*". Но развѣ нельзя ту же самую характеристику распространить на литературу всего вѣка? Думается, что, имѣя во главѣ нашей литературы Толстого и Достоевскаго, мы не можемъ иначе какъ положительно отвѣтить на этотъ вопросъ. Это придало особый проповѣдническій характеръ нашей литературѣ вообще, а въ частности нашей критикѣ.

Первымъ, кто рѣзко выразилъ особенности этой послѣдней, былъ, если не ошибаюсь, К. Аксаковъ. „Въ наше время,—писалъ онъ,—поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ, можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который выслушавъ изящное произведеніе спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ, что этимъ доказывается... Такова наша эпоха". Этими словами пропаганда объявляется главной задачей литературы. Сама литература обращается въ пропаганду. Бѣлинскій высказалъ ту же мысль въ словахъ: „Главное, чтобы повѣсть вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе". Совершенно справедливо замѣчено о Добролюбовѣ: „онъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовмѣстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несовмѣстимыя съ другими категоріями и, главнымъ образомъ, категоріей красоты". Мнѣ нечего говорить, что въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи русская критика, почти безъ исключеній, подчинилась вліянію идей Добролюбова.

Наша критика была проникнута той же религіозно-нравственной идеей святости человѣческой личности, какъ и наша литература. Но реализмъ русскаго мышленія она довела до крайняго его логическаго развитія. Вотъ что я говорю ниже о Добролюбовѣ: „быть можетъ это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-хъ годовъ... Я особенно настаиваю на словахъ „глубокая и серьезная" и хотѣлъ бы даже удесятерить ихъ значеніе, замѣнивъ однимъ опредѣленіемъ: Добролюбовъ былъ *натура религіозная*, счастье человѣчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ съ страстной любовью, нѣжнымъ умиленіемъ, но и безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всѣхъ людей иной вѣры, иного кумира. Даже у противниковъ 60-ыхъ годовъ по поводу Добролюбова вы-

рываются порою хорошія строки, какъ вырываются онѣ у всѣхъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ холодности, его называютъ подчасъ мертвой головой затвердившей одно слово: „счастье всѣхъ“ и безконечное число разъ переворачивавшей его на всѣ лады. Да, отъ него дѣйствительно вѣетъ холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти кристализованной, поглотившей всего человѣка, сдѣлавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконецъ. „Милый другъ я умираю оттого, что былъ я честенъ“ – не пустыя слова и не гордыня духа. Честность, не та, конечно, пошлая мѣщанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всѣхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всѣ ихъ слезы, сдѣлавшая задачу ихъ отмщенія своей задачей, дѣйствительно свела ее въ могилу. И онъ ушелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаянія съ тѣми же словами предсмертнаго завѣта, съ которыми онъ при жизни.—обращался въ толпѣ учениковъ: „вѣрьте, что богъ—счастье всѣхъ людей, богъ, которому мы служимъ—теперь обиженный и опозоренный еще сойдетъ на землю во всей красотѣ и величіи и сдѣлаетъ изъ этой юдоли страданія и плача—юдоль красоты и веселья. Вѣрьте, что вы будете отомщены, потому что всѣ униженные и оскорбленные достойны отомщенія“.

Религіозно-нравственная идея нашей художественной литературы во всякомъ случаѣ не обходилась безъ нѣкоторой примѣси мистицизма, безъ нѣкотораго содроганія передъ тайнами и загадками жизни. Это видно хотя бы изъ постановки вопроса о злѣ. Несомнѣнно, напр., что у Гоголя, особенно у Достоевскаго это зло является чѣмъ-то абсолютнымъ, органически присущимъ человѣческой натурѣ, чѣмъ-то грознымъ и пугающимъ, какъ первородный грѣхъ, какъ зараженный источникъ нашей жизни вообще. Читая нѣкоторыя страницы Достоевскаго, не можешь отказаться отъ мысли, что онъ порою склонялся къ самому простому и конкретному дуалистическому міросозерцанію, признавая самостоятельность Злого Начала. Но уже ничего мистическаго не видимъ мы въ нашей критикѣ. И все же идея ея остается *религіозно*-нравственной, такъ какъ нравственныя начала жизни и дѣятельности понимались ею, какъ имѣющія абсолютную санкцію. Въ глазахъ Бѣлинскаго счастье человѣка было началомъ абсолютнымъ, не требующимъ оправданія,—Добролюбовъ называлъ религіей такое дѣло, „которое было бы для людей жизненной необходимостью, сердечной святыней, которое бы органически срослось съ ними, такъ что отнять его у нихъ, значило бы лишить ихъ жизни“. Общественное благо развитія и нравственная обя-

занность жить и умирать во имя его были несомнѣнными догматами.

Нашу критику часто упрекаютъ въ односторонности и узости ея основной точки зрѣнія, все сводившей къ общему благу. Просто говорятъ: критики, какъ самостоятельнаго искусства, у насъ еще не было; была публицистика, соціологія, проповѣдь – все что угодно, но не критика. Отчасти это справедливо, конечно, потому что критика наша всегда отводила искусству служебную роль и охотно смѣшивала его съ наукой. Спрашивается, какая другая критика могла развиться на почвѣ нашей великой художественной литературы, всегда стремившейся обличать, философствовать, учить,—той литературы, которая въ лицѣ своихъ признанныхъ главъ—Гоголя, Достоевскаго, Толстого, отрицала самостоятельное значеніе искусства, ставила его цѣлью благо общества и презирала служеніе красотѣ. Проведите внимательно параллель между взглядами на искусство Гоголя и Бѣлинскаго, Добролюбова и Толстого и серьезнаго принципіальнаго различія между ними вы не найдете. Итакъ душа нашей кратики, какъ и литературы „страданьями человѣческими уязвлена была“, но для нея съ самаго начала не представляла ни малѣйшаго сомнѣнія мысль, что „бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка же“.

Итакъ практицизмъ, т.-е. взглядъ на литературу, какъ на общественное служеніе, является для насъ русскихъ какъ бы традиціонно-обязательнымъ. Этимъ объясняются и великія ея достоинства и нѣкоторые недостатки. Великое достоинство въ томъ, что она стремилась утвердить въ умахъ людей идею святости человѣческой личности, естественно равной и равноцѣнной всѣмъ другимъ личностямъ; недостатокъ въ томъ, что доходя въ своемъ служеніи до аскетизма, она не избѣгла нѣкоторой суровости, пристрастія къ догматамъ, фанатизма въ проповѣди пользы, полезнаго, въ вопіяніи противъ красоты. По этому поводу мнѣ хочется прибавить нѣсколько словъ.

Русская интеллигенція, вообще говоря, привержена къ догмѣ. Какъ ни часто мѣняется эта догма, преданность къ каждому новому исповѣданію является почти что самоотверженной. Въ 30-хъ и сороковыхъ годахъ у насъ была догма гегеліанская, въ 60-хъ—матеріалистическая, въ 70-хъ народническая, въ 80-хъ индивидуалистическая, въ 90-хъ марксистская. По нашей юной культурности, съ одной стороны, по лѣности мысли и горячей впечатлительности сердца, обойтись безъ догмы мы не можемъ. Она намъ нужна, чтобы не думать самимъ. Въ прошломъ—только скромные ученики Европы,—мы такъ привыкли къ этому ученичеству, что, сами

думая, чувствуемъ себя въ состояніи полной растерянности. Наша философская мысль дѣйствительно очень слаба, прямо таки плачевна. Ничего оригинальнаго и цѣннаго. Даже свое собственное народничество мы разработали такъ плохо съ логической стороны (напр., труды Юзова, В. В., публицистика Ап. Григорьева и Достоевскаго и т. д.), что намъ было бы стыдно предъявить его Западу въ качествѣ tastimonium philosophandi, т. е. свидѣтельства о способности философствовать. Больше того: само по себѣ логическое развитіе идей интересуетъ насъ очень мало. У насъ нѣтъ той огромной дисциплины мысли, которую дала европейскому мозгу средневѣковая схоластика, и подступая въ какой-нибудь системѣ, мы прежде всего смотримъ на ея послѣднюю страницу—ея нравственные выводы и—бѣдные—всегда и во всемъ ищемъ правилъ поведенія. Нѣсколько грубо, но въ сущности совершенно справедливо сострилъ Влад. Сер. Соловьевъ надъ 60-ыми годами, сказавъ: „тогда разсуждали слѣдующимъ образомъ: такъ какъ ты, смертный, произошелъ отъ плѣшивой обезьяны, *то* долженъ быть нравственнымъ и общественно полезнымъ“. Разсуждали, положимъ, не такъ, но дѣйствительно связь между теоретическими посылками и нравственными выводами была случайна и произвольна, и о томъ, чтобы сдѣлать ее прочной и логически-нравственной позаботились уже 70-ые годы. Но даже и это относится въ сущности не столько къ особенностямъ нашей мысли, сколько общественнаго строя. Имѣя въ виду нѣкоторыя его стороны, мы до самозабвенія увлекались, напр., матеріализмомъ. И мнѣ кажется, что матеріализмомъ увлеклись совсѣмъ не потому, что находили особенно привлекательнымъ считать себя продуктомъ „слѣпыхъ силъ природы“, а по другой причинѣ: въ матеріализмѣ видѣли доктрину наименѣе таинственную и будто бы наиболѣе свѣтскую, лишенную всякаго мистическаго тумана и проистекающихъ изъ него обществоположеній жизни—говоря проще анти-клерикальную. Матеріализмъ прежде и больше всего былъ боевымъ орудіемъ.

Все это такъ, и въ жесткихъ словахъ Тургенева: „главное, чтобы былъ у насъ баринъ... То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору“...—много справедливаго. При нашей впечатлительности извѣстная догма закрываетъ отъ насъ весь Божій міръ. Ея признаніе или непризнаніе дѣлитъ насъ на враждебныя другъ другу и злобно другъ друга ненавидящія партіи или, чтобы не такъ громко—кружки. Мы любимъ падать въ ноги и часто падаемъ... прямо въ грязь. Что станете дѣлать, если такое воспитаніе дала намъ исторія, если ни къ чему другому она насъ не научила, если всѣ ея внушенія сводились къ тому, чтобы лишить насъ всякой вѣры въ себя, всякаго чувства собствен-

наго достоинства. У насъ нѣтъ чувства мѣры, ибо мы привыкли къ безмѣрному, мы выросли въ школѣ Батыя и Мамая, Грознаго и Никона, Бирона и Шешковскаго, Аракчеева и Клейнмихеля и т. д.

Мысль человѣческая сильна не столько своей логикой, своимъ раціонализмомъ, сколько своей исторической традиціонной основой, своей близостью къ дѣйствительности, къ непреложнымъ фактамъ жизни и своимъ нравственнымъ содержаніемъ—элементами своего чувства и воли, хотѣнія. Но по части исторической основы у насъ очень слабо, и сомнѣніе Чаадаева въ томъ, чтобы у насъ вообще была бы какая-нибудь историческая основа для бытія и мысли, остается въ значительной силѣ и въ наши дни. Дѣйствительности мы не знаемъ или, вѣрнѣе сказать, только что начинаемъ узнавать ее. Поэтому въ нашихъ глазахъ мысль сильна только своимъ нравственнымъ содержаніемъ.

И тутъ-то вотъ выступаетъ на сцену красивая, хорошая сторона нашего догматизма. Въ любой теоріи мы ищемъ не системы доказательствъ, не стильной цѣпи логическихъ аргументовъ—мы ищемъ лишь оправданія своего нравственнаго существа, выхода для накопившейся жажды общественной дѣятельности, любви, стремленія помочь обездоленнымъ—этого святого стремленія, завѣщаннаго намъ всей нашей хорошей и честной въ главномъ своемъ руслѣ русской литературой.

Этого Тургеневъ, поддавшись минутному, впрочемъ, раздраженію противъ матреновцевъ, не замѣтилъ. Но какъ хорошо, какъ проникновенно замѣтилъ и отмѣтилъ это Достоевскій, сказавъ, что русскому интеллигенту нѣтъ дѣла до его личнаго счастья, мало дѣла до счастья своего народа, но настоящее его дѣло—это счастье всѣхъ, счастье всего человѣчества.

Изучая прошлое нашей мысли, т. е. прошлое неосуществленной пока русской цивилизаціи, мы въ каждомъ теоретическомъ увлеченіи, подъ каждой догмой должны искать и нравственнаго содержанія, и нравственнаго фундамента. Безъ этого не будетъ понятнымъ „чтеніе до дыръ ничтожныхъ брошюрокъ о Гегелѣ“—котораго въ концѣ концовъ мало кто и понялъ, конечно. Ничего не будетъ понятно безъ этого. И какъ поймешь, напр., такую формулу: „такъ какъ ты любишь только себя, то жертвуй собою для счастья всѣхъ“ или: „пусть сѣкутъ: мужика сѣкутъ же“ и т. д.? Догма, теорія—это одежда, часто совсѣмъ не подходящая, уродливая и безобразящая скрытую подъ ней истинную нравственную сущность.

И все же она намъ нужна, именно потому, что мы не умѣемъ, не привыкли думать. Когда мы тратимъ свои силы на установленіе логической связи—у насъ по большей части

ровно ничего не получается, когда же по части логики мы успокоены, когда мы только усваиваемъ Гегеля, Фейербаха, Милля, Прудона, Маркса и т. д., всѣ наши духовныя силы бурнымъ потокомъ устремляются по руслу чувства или—по нравственному руслу.

Въ этомъ наша слабость и наша сила. Слабость—потому что безъ исторической основы, безъ знанія дѣйствительности, безъ строгой логической аргументаціи—мысль вообще слаба; сила,—потому что мы быстро мѣняемъ теоріи—одежду нашей воли, нашего хотѣнія, цѣль котораго счастье народа и счастье всѣхъ. Преобладаніе нравственнаго элемента дѣлаетъ насъ исконными врагами всякой схоластики, всякаго „теоретическаго" самодовольства.

Пока—наша стихія чисто этическая.

Идея, что литература служитъ обществу и его нравственному совершенствованію заставляла нашихъ писателей особенно чутко прислушиваться къ голосу своей совѣсти—этого главнаго вдохновителя барской эпохи нашего литературнаго творчества. Неправоту общественной жизни, основанной на чужомъ трудѣ, неправоту своего общественнаго положенія, своихъ привилегій—русскіе люди заподозрѣли уже со временъ Радищева. Не всегда совѣсть говорила совершенно ясно, не всегда опредѣленно указывала она на источникъ своего возмущенія и негодованія—но она почти всегда говорила. Какъ было трудно заглушить ее софизмами мысли, видно изъ печальнаго эпизода съ „Перепиской" Гоголя и его оправданіемъ крѣпостничества. Эта возмущенная и негодующая совѣсть всегда ставила передъ человѣкомъ грозный вопросъ о смыслѣ его личной жизни, о ея нравственномъ оправданіи. Недавно еще Толстой спросилъ, какъ же можемъ мы жить, зная, что, для исполненія нашихъ прихотей, люди должны работать 37 часовъ подъ рядъ? Этотъ вопросъ цѣлыхъ сто лѣтъ не сходилъ въ той или другой формѣ со страницъ нашей литературы. И развѣ теперь мы не можемъ повторить „Деревни" Пушкина, хотя бы этихъ строкъ:

Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ;
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя...

Отказъ отъ своего привилегированнаго общественнаго положенія, вызванный муками возмущенной совѣсти, вы слышите и у Радищева, и у декабристовъ, и у Лермонтова и, чѣмъ дальше, тѣмъ больше и яснѣе. Лермонтовъ не дорожитъ ни славой, купленною кровью, ни полнымъ гордаго довѣрія покоемъ, хотя, очевидно, что на этихъ двухъ устояхъ зиждились привилегіи его и близкихъ ему людей. Прослѣдите дальше борьбу съ крѣпостнымъ правомъ, вспомните „ганнибаловскую клятву" Тургенева, скорбь

Герцена, негодованіе Щедрина, весь первый періодъ нашего народничества и вы увидите, что голосъ совѣсти тутъ слышнѣе всего. Лучшіе люди нашего стараго барства не только усердно, но и вдохновенно, съ фанатизмомъ иконоборцевъ подрубали тотъ сукъ, на которомъ сами они сидѣли. Это дѣйствительно оригинальное и красивое зрѣлище. Въ 60-ые годы совѣсть была до нѣкоторой степени удовлетворена, потому что рухнула твердыня крѣпостного права. Но скоро она опять заговорила и еще слышнѣе, и еще напряженнѣе. Тутъ передъ нами на первомъ планѣ одинъ изъ самыхъ красивыхъ, хотя и болѣзненныхъ русскихъ типовъ—типъ кающагося дворянина. Тутъ—голосъ совѣсти, встревоженной воспоминаніями о неправдѣ предковъ, тутъ безкорыстнѣйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрѣнія.

Въ кающемся дворянинѣ прежде всего и слышнѣе всего голосъ совѣсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія откуда тонкость вкуса, откуда благороднѣйшія побужденія—и на все это у него готовъ одинъ отвѣтъ: „все оттуда же, все изъ условій крѣпостного состоянія, въ которомъ цѣлые вѣка томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одѣвалъ, услаждалъ моихъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнѣ, полнымъ пренебреженіемъ къ личности человѣка“... Онъ можетъ, конечно, успокоить себя, вотъ какимъ разсужденіемъ: „мои пріятели, крѣпостные Ѳедька и Яковъ проданы, и этою цѣною оплачено мое воспитаніе; такимъ образомъ создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширитъ предѣлъ гуманности, образованности, развитія и либерализма“,—но онъ не хочетъ, не можетъ сдѣлать этого. Его мучитъ совѣсть. Его тяготитъ дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвѣтить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спѣшитъ, торопится, хотя каждый шагъ дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ приступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

„Но во имя правды,—восклицаетъ онъ,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости“. Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впослѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое. Нѣтъ, тутъ не бывало и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свѣта!.. Какъ не каяться, если совѣсть

мучитъ? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да вѣдь мучитъ. Это—фактъ"...

Къ голосу совѣсти прибавились другіе мотивы, не менѣе властные и внесенные въ нашу литературу преимущественно разночинцемъ. Все всегда вело къ одному: къ борьбѣ съ рабствомъ человѣка, къ выполненію добровольно возложенной на себя освободительной миссіи.

Кончилось ли это движеніе? Спросить себя объ этомъ значитъ спросить себя о томъ, кончилась ли неправда жизни, кончилось ли рабство нашихъ дней, живъ ли Толстой, перестали ли мы чтить Достоевскаго, кончились ли мы сами, наконецъ? Достоевскій, назвавъ русскаго человѣка скитальцемъ по преимуществу, сказалъ про него: „русскому скитальцу необходимо именно всемірное счастье, чтобы успокоиться: дешевле онъ не примирится,—конечно, пока дѣло только въ теоріи".

Во имя той религіозно-нравственной сущности, которая заключена въ человѣкѣ и дѣлаетъ для него невозможнымъ пользоваться себѣ подобными, какъ орудіями и средствами, шли чудно-красивые отказы нашей интеллигенціи. Отрекались отъ барства, отъ малѣйшаго наслѣдства его, брали на себя неоплатный долгъ передъ народомъ, отрекались отъ культуры и искали опрощенія. Рядъ отказовъ еще не окончился, и вотъ босячество... Но къ чему же сводится все это?

Достоевскій сказалъ, что Пушкинъ унесъ съ собою въ могилу нѣкоторую великую неразгаданную тайну. Но можно, кажется, подозрѣвать ее. Я, по крайней мѣрѣ, слышу ее въ словахъ не „надо человѣку ни земли, ни дома, ни огорода" и въ другихъ такихъ же: „принято говорить, что человѣку нужно только три аршина земли. Но вѣдь три аршина нужны трупу, а не человѣку. Человѣку нужно не три аршина земли, а весь земной шаръ, вся природа, гдѣ на просторѣ онъ могъ бы проявить всѣ свойства и особенности своего свободнаго духа" (Чеховъ).

II.

На всю русскую литературу, въ ея главномъ руслѣ—(включая сюда, разумѣется, и журналистику) я смотрю, какъ на превосходно исполненное художественное произведеніе. Мнѣ обидно, поэтому, когда слишкомъ „учено" и старательно отмѣчаютъ западныя вліянія. Не потому, конечно, чтобы я ихъ отрицалъ. Отрицать факта нельзя, и у нашей культурной мысли, конечно двѣ родины—Россія и Европа. Но *выбирать* приходилось изъ многаго и разнообразнаго; *выбиралось* же по преимуществу одно и однообразное. Въ этомъ выборѣ и

въ толкованіи выбраннаго наша оригинальность. Наша русская литература можетъ представиться превосходно исполненнымъ художественнымъ произведеніемъ, потому что она представляетъ изъ себя развитіе той же освободительной идеи. Въ разной формѣ, конечно, и при разной глубинѣ пониманія, но *все той же*, такъ какъ есть многое одинаково какъ положительное, такъ и отрицательное, стихійно насъ къ ней влекущее.

Намъ надо ближе и пристальнѣе вглядѣться въ особенный характеръ русской литературы и опредѣлить основную ея идею. Существуютъ и тотъ, и другая и притомъ свои, ни откуда не взятые, ни съ какого другого языка не переписанныя. Даже при самомъ поверхностномъ взглядѣ на нашу русскую литературу, сразу бросается въ глаза и ея преобладающій проповѣдническій характеръ и первенствующая роль мотивовъ совѣсти и покаянія, къ которымъ присоединяются, никогда однако не первенствуя, мотивы чести и личнаго достоинства и такая, лишь съ виду незначительная, но въ сущности серьезная и характернѣйшая особенность, какъ возведеніе въ перлъ созданія „божьихъ людей“ и „юродивыхъ“. Не смѣйтесь, прошу васъ. Это послѣднее важнѣе, чѣмъ кажется и находится, какъ скоро увидимъ, въ органической связи со всѣмъ строемъ нашего исчезнувшаго или исчезающаго общинно-земледѣльческаго міросозерцанія, упрямо настаивавшаго, несмотря на жестокія обиды и неудачи, на томъ, что „не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“. И вотъ служители этого Бога—Правды являются излюбленными людьми нашей литературы, часто ея героями, какъ бы въ пику и въ противорѣчіе раціоналистическому западно-европейскому пониманію, вылившемуся въ совершено другую формулу: „сила есть право“. Дурачекъ Левка Герцена, дуракъ Щедрина. Парамонъ—юродивый Успенскаго, Платонъ Каратаевъ и старикъ Акимъ Л. Н. Толстого [1]). Любимъ Торцовъ Островскаго, Перчихинъ Горькаго — не случайность, не обмолвка. Эти „божьи люди“ и юродивые и ихъ культъ, признаніе на ихъ сторонѣ высшей правды и высшей силы находится, повторяю, въ органической связи и съ нашимъ общинно-земледѣльческимъ міросозерцаніемъ...

Вѣрная своему характеру проповѣди, пропаганды, сохраняя и лелѣя свою освободительную миссію - русская литература въ главныхъ своихъ произведеніяхъ, главномъ руслѣ своемъ, насчетъ котораго и сказано: „scripta manent in saecula seculorum“ (написанное остается во вѣки вѣковъ) от-

1) Тотъ же Толстой въ одной изъ своихъ сказокъ создалъ цѣлую утопію царства дураковъ. Въ этой сказкѣ далеко не все сатира. Это обостренное и преувеличенное выраженіе излюбленной идеи нашего славянофильства, что сила жизни не въ прогрессѣ наукъ правоваго самосознанія, не въ раціонализмѣ, а въ „нравственномъ“ трудѣ.

личается ей болѣе всего свойственнымъ ригоризмомъ и суровостью. По формѣ она часто аскетическая. Какъ бы въ глубочайшемъ сознаніи великаго, ею совершаемаго подвига, устраняется она отъ „чарованья красныхъ вымысловъ", отъ соблазновъ слова. Служенье музъ не терпитъ суеты — сказалъ Пушкинъ. Служенье массѣ и при томъ закабаленной массѣ несовмѣстимо съ соблазнами слова, съ эффектами внѣшней красоты или *красивости*. Но вѣдь это служеніе массѣ и было тѣмъ подвигомъ, тою задачей, выполняя которые, русская литература выработала свои лучшія традиціи и дала преобладающее значеніе голосу своей совѣсти.

Тутъ нѣтъ ничего страннаго, неестественнаго и натасканнаго на себя. Наша художественная литература вскормлена крѣпостнымъ трудомъ. Это былъ слишкомъ очевидный фактъ жизни, чтобы не видѣть его. Это былъ жестокій и ужасный фактъ жизни въ то время, когда кружки, откуда выходили наши лучшія литературныя силы, одолѣли и западно-европейскую науку и западно-европейскую философію, когда критика ихъ изощрялась уже не только на своей русской, но и западно-европейской дѣйствительности. И вдругъ, рядомъ, застоявшееся крѣпостное право, противорѣчащее самымъ элементарнымъ требованіямъ разума и нравственности, отъ выгодъ котораго самъ человѣкъ не имѣетъ однако силъ отказаться... Какъ тутъ не заговорить, не закричать, не завопить стыду и совѣсти?!

Литература въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей вовсе не думала, поэтому, о забавѣ и развлеченіи, не думала о виртуозности слова: она учила, вела, указывала путь и при томъ обыкновенно въ довольно тяжеловатой формѣ. Со времени же 60-хъ годовъ мы какъ то особенно усиленно хотимъ простоты и еще простоты. Мы боимся всего блестящаго, считая его вычурнымъ. Наша дѣйствительность такъ сѣра, неожиданное, яркое, поражающее такъ глубоко запрятаны въ душѣ человѣка и такъ рѣдко выходятъ оттуда на свѣтъ Божій, что нѣтъ ничего удивительнаго, если сверкающія краски приподнятой фантазіи кажутся намъ не вполнѣ естественными, какъ бы съ умысломъ подобранными, чтобы поразить насъ. По части красокъ и эффектовъ въ нашей литературѣ дѣйствительно господствуетъ ригоризмъ, какая-то стыдливость, почти что цѣломудренная. Посмотрите, какъ обидно скупъ Достоевскій на описанія природы, или какъ небреженъ (и часто умышленно небреженъ) въ своемъ языкѣ Толстой, или какъ мало дѣла тому же Толстому до того, какъ чувствуетъ себя читатель отъ его безконечныхъ разсужденій и отступленій: онъ разсуждаетъ и отступаетъ когда и зачѣмъ ему вздумается. Очевидно, что полезное мы предпочитаемъ прекрасному, что въ насъ есть боязнь эффектовъ красоты, „вопіяніе" противъ ея соблазновъ. Конечно, за послѣднее

время взгляды наши значительно расширились; мы не станемъ уже говорить, что эстетическая точка зрѣнія интересна только для институтокъ, или что красивое слово, красивый образъ—пустая побрякушка. Но все же есть у насъ нѣчто родственное со взглядами эпохи, когда литература была служеніемъ закабаленной массѣ, когда исполняла она свою ганнибалову клятву, совершала свой подвигъ освобожденія рабовъ.

Воспитанные скудной природой и еще болѣе скудной дѣйствительностью мы привыкли къ сѣрымъ краскамъ и сѣрымъ мутнымъ тонамъ художественной живописи и они съ избыткомъ искупаются въ нашихъ глазахъ требовательностью нравственнаго чувства, подъемомъ нравственнаго вдохновенія. На соблазны красиваго слова мы могли бы сказать то же, что говорилъ когда-то Пушкинъ своему насмѣшливому критику:

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій;
За ними—черноземъ; равнины скатъ отлогій,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ-жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка...

И въ этой-то унылой обстановкѣ литература совершала свое „служеніе". Не природѣ и ея красотамъ, не радостямъ жизни, не блестящему калейдоскопу дѣйствительности отдавала она свое вдохновеніе, а тоскѣ по неправдѣ жизни, мукамъ своей привилегированной совѣсти, печали о сѣрой массѣ тѣхъ, „чьи работаютъ грубыя руки, предоставивъ почтительно намъ наслаждаться искусствомъ, наукой, предаваться мечтамъ и страстямъ"...

Благодаря тому обстоятельству, что литература въ нашихъ глазахъ есть прежде всего служеніе, миссія, подвигъ, мы въ отношеніи къ ней, лишь съ виду противорѣчиво, а въ сущности, вполнѣ естественно,—и очень требовательны, и очень *не*-требовательны.

Мы не требовательны по части формы; у насъ не рѣдки успѣхи произведенія и писателя очень мало даровитаго; мы выносимъ скуку и сѣрость изложенія и тоску разглагольствованія. Но въ то же время мы все еще очень требовательны по части идей, направленія, по части симпатій и антипатій автора, по части его любви и ненависти. Безъ ясной формулировки мы хотѣли бы, чтобы хорошія книги писались хорошими людьми. Фетъ, напр., прямо-таки подрѣзалъ свою поэтическую репутацію „письмами изъ деревни", Майковъ — своимъ равнодушіемъ къ общественнымъ вопросамъ и своими идеалами государственника. Въ русской литературѣ есть масса именъ, затерявшихся и забытыхъ, несмотря на весь талантъ ихъ носителей, просто потому, что

эти „носители“ не были передовыми людьми, не отвѣчали передовымъ стремленіямъ общества. Мы хотимъ знать, чего человѣкъ, писатель, хочетъ, куда онъ ведетъ насъ, какой путь указуетъ. Пока это неясно,—мы только присматриваемся къ нему; когда это выясняется, мы или возводимъ его въ кумиры, или подвергаемъ остракизму, забвенію и по нѣкоторой свойственной намъ жестокости закапываемъ живымъ въ гробъ. Правы мы или неправы,—это очень большой вопросъ, но несомнѣнно, что сама наша литература пріучила насъ предъявлять къ ней такого рода требованія, больше всего пріучила цѣнить ея *волю*, ея нравственно-освободительное стремленіе, а не ея созерцаніе.

Еще разъ приходится указать поэтому, что до вчерашняго дня наша стихія чисто этическая и что проблеммы другой (правовой) жизни какъ то мало интересовали насъ...

Другой особенностью нашей литературы является то обстоятельство, что въ центрѣ ея мы видимъ *общинно-земледѣльческое* міросозерцаніе. Съ нимъ она борется, его выясняетъ, его поддерживаетъ и, наконецъ, въ лицѣ Толстого даетъ ему высшее художественное выраженіе.

Впервые сознательно камнемъ краеугольнымъ своей философіи исторіи и критеріумомъ въ вопросахъ жизни поставили общинно-земледѣльческое міросозерцаніе наши славянофилы. Но въ этомъ земледѣльческомъ міросозерцаніи было очень много *землевладѣльческихъ* элементовъ.

Надъ тѣмъ, чтобы формулировать это общинно-земледѣльческое міросозерцаніе, больше всего поработалъ Хомяковъ. Обращаюсь поэтому ненадолго къ его замѣчательному изслѣдованію „Записки о всемірной исторіи“. Его формулы, измѣненныя или преувеличенныя или въ отзвукахъ вы найдете и у славянофиловъ вообще, и у Толстого и Достоевскаго, и у нашихъ почвенниковъ и даже у нашихъ народниковъ, хотя тѣ, въ лицѣ своихъ радикальныхъ вождей, и чураются всякаго родства съ славянофильствомъ.

Въ общинно-земледѣльческомъ строѣ народной жизни и въ общинно-земледѣльческомъ характерѣ русскаго мышленія Хомяковъ видитъ главныя и лучшія особенности нашей культуры. Онъ любовно отмѣчаетъ консерватизмъ земледѣльца и его демократическія убѣжденія и его вѣротерпимость въ самомъ широкомъ смыслѣ слова и знаменитыя „кротость и незлобивость“ его характера и отсутствіе въ немъ идеи личности, идеи чести и права. Его главная мысль—противопоставленіе народовъ-завоевателей народамъ-земледѣльцамъ.

*

„Народы завоевательные,—говоритъ онъ,—по первоначальному своему характеру сохраняютъ навсегда чувство гордости личной и презрѣнія не только ко всему побѣжденному, но и ко всему чуждому".

„*Народы земледѣльческіе ближе къ общечеловѣческимъ началамъ.* На нихъ не дѣйствовало гордое волшебство побѣды; они не видали у ногъ своихъ поверженныхъ враговъ, обращенныхъ въ рабство закономъ меча, и не привыкли считать себя выше своихъ братьевъ, другихъ людей. Оттого они воспріимчивѣе ко всему чуждому. Имъ недоступно чувство аристократическаго презрѣнія къ другимъ племенамъ; но все человѣческое находитъ въ нихъ созвучіе и сочувствіе..."

Въ этихъ словахъ Хомякова трудно не видѣть прообраза все-человѣка Достоевскаго. Пойдемъ однако дальше:

..."Когда наступаютъ враждебныя племена пастухъ и звѣроловъ сражаются и, въ случаѣ пораженія, охотно бѣгутъ въ другіе края. Имъ вездѣ хорошо, гдѣ только есть просторъ да лугъ для пастбищъ.

Участь народа земледѣльческаго совсѣмъ иная. Утомленные борьбою съ племенами, вѣчно готовыми къ разбою и войнѣ, и въ то же время привязанные къ землѣ своей неразрывными узами привычки и труда, они *мѣняютъ прежнюю свободу на смиренную подчиненность или на безусловное рабство.* Побѣдители дорожатъ ими *какъ слугами кроткими и трудолюбивыми, какъ чѣмъ-то среднимъ между человѣкомъ и полезнымъ животнымъ.* Имъ препоручаетъ воинъ соху, которую онъ презираетъ, и домашнюю работу, къ которой онъ не способенъ. Побѣжденнаго же воина, если онъ не убѣжалъ отъ побоища, предаютъ смерти, какъ недостойнаго свободы и неспособнаго къ рабству.

Здѣсь Хомяковъ въ ореолѣ ученаго изслѣдованія, очевидно, восхваляетъ то, что и для многихъ народниковъ является перломъ русскаго нравственнаго строя—наше смиреніе, нашу кротость и незлобивость [1]). Фактически онъ въ большей или меньшей степени правъ, но въ немъ несомнѣнно говоритъ землевладѣлецъ, а не философъ землѣдѣльческой стихіи, когда онъ перлы русскаго нравственнаго строя начинаетъ съ очень сомнительнымъ успѣхомъ розыскивать и отыскивать и въ крѣпостномъ строѣ,—когда онъ увѣряетъ, напр., что ему извѣстна земля (т. е. Россія), гдѣ рабство (весьма недавно введенное государственною властью) не внушало владѣльцамъ презрѣнія къ своимъ невольникамъ хлѣбопашцамъ, земля, въ которой выслужившійся крестьянинъ уравнивается не только закономъ, но и обычаемъ и святыней общественнаго мнѣнія къ потомкамъ основателя самого государства"—или слишкомъ рѣшительно говоритъ, что „земледѣлецъ былъ искони помѣщику роднымъ, кровнымъ братомъ..."

---

[1]) Лѣвое крыло народнической и общинноземледѣльческой мысли внесло очень серьезную поправку и въ этотъ славянофильскій культъ смиренія и незлобія. Ихъ отмѣчая и любуясь ими, быть можетъ, больше, чѣмъ слѣдуетъ, оно выдвигало однако впередъ и *стояніе за правду*, въ огромномъ большинствѣ случаевъ чисто пассивное. Человѣкъ въ себя беретъ зло жизни, не противится ему но и не уступаетъ ему, не идетъ на его соблазны. Только себя отдаетъ онъ ему въ жертву, т. е. тѣло свое, духъ же свой, личность свою соблюдаетъ неприкосновенными. Онъ неподвиженъ, но это твердыня, о которую разобьются всѣ подкупающіе и насилующіе волю усилія жизни.

Въ земледѣльческой стихіи видитъ Хомяковъ источникъ и нашего *демократизма*:

...Мы,—говоритъ онъ,—будемъ, какъ всегда и были, *демократами между прочихъ семей Европы: мы будемъ представителями чисто-человѣческаго начала, благословляющаго всякое племя на жизнь вольную и развитіе самобытное.* Законы могутъ создать у насъ на время родовое дворянство, можетъ быть и родовое боярство, могутъ учредить у насъ маіоратства и право семейнаго первородства; ложное направленіе народности въ литературѣ можетъ раздувать въ насъ слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего передъ нашею братіею, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно въ насъ вселить то чувство, тотъ ладъ и строй души, изъ котораго развиваются маіоратство и аристократія и родовое чванство и презрѣніе къ людямъ и народамъ. Это невозможно, этого не будетъ. Грядущее покажетъ, кому предоставлено стать впереди всеобщаго движенія; но если есть какая-нибудь истина въ братствѣ человѣческомъ, если чувство любви и правды и добра не призракъ, а сила живая и неумирающая, зародышъ будущей жизни міровой,—не Германецъ, аристократъ и завоеватель, а Славянинъ, труженикъ и разночинецъ, призывается къ плодотворному подвигу и великому служенію".

Тамъ же, въ той же стихіи,—быть можетъ, крупнѣйшій фактъ нашей цивилизаціи — слабое *развитіе личности*, а, значитъ, добавлю я отъ себя, и правового самосознанія.

„Самая способность (земледѣльца) сочувствовать всѣмъ видамъ человѣческаго развитія, принимать впечатлѣнія внѣшнія и сживаться съ жизнью иноплеменниковъ, лишаетъ земледѣльца упорнаго характера личности, неизмѣнно сохраняющей свои первоначальныя черты. Борьба ихъ противъ стихіи, менѣе уступчивой и гибкой, кончается почти всегда уступкою врожденныхъ коренныхъ стихій. Тотъ, кто охотно говоритъ на языкѣ чужомъ, охотно забываетъ свой собственный языкъ".

Утѣшеніемъ Хомякову въ этомъ случаѣ является то соображеніе, что какъ ни легко принимаетъ земледѣльческій народъ весь образъ своихъ завоевателей—„не должно думать, чтобы духъ народный погибалъ безъ слѣда". „Такъ, Россія,—продолжаетъ онъ,—увлеченная бурнымъ движеніемъ дикихъ вѣковъ и соблазномъ западной науки, давно живетъ жизнью чуждою и несогласною съ ея настоящимъ характеромъ. Она утратила свое мирное братолюбіе въ раздорахъ удѣльныхъ, свое устройство гражданское въ возрастающей силѣ князей и особенно великокняжескихъ престоловъ, свою областную жизнь въ потопѣ Монгольскомъ, свой чисто демократическій ладъ въ борьбѣ съ аристократической Польшей. Наконецъ, при всемъ наружномъ блескѣ она представлялась глазамъ наблюдателя глубоко, вполнѣ, безнадежно искаженною. Пришло ей время узнать себя, и отовсюду, нежданно негаданно, пробиваются ростки старыхъ корней, которые считались погибшими и народная жизнь является со всѣми признаками личности самобытной"...

Эта самобытная личность народной жизни и для Хомякова, и для первыхъ славянофиловъ вообще, и для Толстого, и для всего праваго крыла нашихъ народниковъ, и для вѣрующаго Златовратскаго, и для скептика Успенскаго—об-

щинно-земледѣльческій строй и выработанныя въ немъ, въ сердцѣ его, нравственныя начала. Освободить этотъ строй изъ подъ ферулы системы оффиціальной народности [1]) и изъ подъ крѣпостного права и его переживаній было задачей всѣхъ только что указанныхъ лицъ и группъ.

Самъ Хомяковъ нисколько не скрываетъ отъ себя того обстоятельства, что въ земледѣльческомъ „простодушномъ" міросозерцаніи много рабьихъ и даже хамскихъ элементовъ и часто оно сливается въ его глазахъ съ міросозерцаніемъ побѣжденныхъ народовъ вообще. Но его до конца привлекаетъ эта кротость и незлобіе земледѣльца, это отсутствіе въ немъ гордыни, эта пластичность и вѣротерпимость его натуры, хотя и слишкомъ уже легко уступающей чужому вліянію, но за то позволяющей другимъ жить и развиваться подлѣ себя. Больше всего его радуетъ то обстоятельство, что у раба и у холопа нѣтъ недостатковъ властелина, что рабъ ближе къ идеалу христіанской личности, чѣмъ господинъ. „Народъ порабощенный,—говоритъ онъ,—впитываетъ въ себя много злыхъ началъ; душа падаетъ подъ тяжестью оковъ, связывающихъ тѣло, и не можетъ уже развивать мысли истинно человѣческія. Но господство еще худшій наставникъ, чѣмъ рабство и глубокій развратъ побѣдителей мститъ за несчастье побѣжденныхъ"...

Что народъ, простой народъ, крестьянство, хранитъ въ себѣ истинныя основы и земледѣльчески-общиннаго строя, и земледѣльчески-общиннаго мышленія — это была литературная вѣра наша въ теченіе почти цѣлаго столѣтія. Конечно, она не обходилась безъ преувеличеній, безъ идеализаціи; закабаленное состояніе массы, въ которомъ всѣ лучшіе люди Россіи видѣли своего врага и какъ бы даже свой личный грѣхъ—только подливало масла въ огонь и крѣпостной народъ обращался въ истинно христіанскій народъ, носителя, хотя бы въ зародышѣ только, всѣхъ лучшихъ стремленій и надеждъ человѣческой жизни. Отъ соприкосновенія съ нимъ, при мысли о немъ, въ литературѣ созданной, конечно, людьми привилегированными пробуждались совѣсть, стыдъ, покаяніе. Роль ихъ въ прошломъ нашей мысли дѣйствительно велика. Возможно, что когда-нибудь исторія русской литературы XIX в. будетъ построена на анализѣ этихъ понятій и анализѣ ихъ художественныхъ воплощеній. Прежде и больше всего будетъ слѣдить она за внушенными ими словами и образами. Она услышитъ, какъ голосъ стыда и совѣсти переходилъ въ ропотъ и негодованіе, какъ стоны покаянія обращались въ молитву. Она покажетъ, что кромѣ какъ къ идеѣ мужика не къ чему было

---

[1]) См. 42—47 стр. моей книги.

прислониться растерянному, измученному безсильной жалостью русскому барину и интеллигенту. И эту идею она выставитъ передъ нами, какъ святыню нашей литературы, какъ ковчегъ ея завѣта, потому что чаще и больше всего представленіе объ общинной жизни крестьянъ земледѣльцевъ сливалось съ представленіемъ о древней христіанской общинѣ и о такомъ строѣ, гдѣ находятъ себѣ воплощеніе лучшія общечеловѣческія стремленія, не суженныя, не озлобленныя ни борьбой за существованіе, ни требованіями „священнаго права частной собственности".

Но въ чемъ же сущность этого стихійнаго земледѣльческаго міросозерцанія? Читатель понимаетъ, конечно, что въ данномъ случаѣ для меня важна не столько его дѣйствительная сущность, сколько та форма, въ какой она понималась,—его литературное выраженіе.

Хомяковъ отмѣтилъ пластичность, вѣротерпимость и демократизмъ общинно-земледѣльческаго мышленія, его религіозный характеръ. Онъ и другіе славянофилы (К. Аксаковъ, Ю. Самаринъ и т. д.) видѣли въ немъ дальше несомнѣнную враждебность по отношенію къ западно-европейскому раціоналистическому мышленію. Западно-европейскій строй мысли созданъ завоеваніемъ и завоевателями. Онъ преисполненъ гордыни, вѣры въ личный разумъ, личную иниціативу, онъ прежде всего стремится выразить себя въ правовыхъ, юридическихъ нормахъ, онъ вѣритъ въ договоръ, прогрессъ науки и знанія, онъ развилъ до крайности идею чести и личнаго достоинства. Его задача завоевать природу и подчинить неразумную стихію общественной жизни разумнымъ началамъ. Ничего этого не хочетъ, ни къ чему этому не стремится общинно-земледѣльческое мышленіе [1]). Его задачи и цѣли, его любовь и ненависть—другія.

Какія—это лучше и ярче всего выражено Толстымъ въ его проповѣди и его художественныхъ образахъ. Алгебраическія формулы Хомякова превратились подъ его перомъ въ мѣдные барельефы, литыя бронзовыя фигуры.

Поэзія Толстого развернула всю мощь и силу, всю нравственную красоту, все волевое содержаніе, всю гамму чувствъ идеи, общины и мужика,—и въ то же время все ея жизненное практичекое безсиліе. Исконная русская стихія высказалась въ немъ съ небывалою, неслыханною полнотой и смѣлостью. Она прокляла его устами искусственную цивилизованную жизнь, она осмѣяла мышленіе, лишенное нравственнаго содержанія, искусство, неодушевленное идеей служенія, разумъ, поскольку онъ хочетъ быть устроителемъ жизни, волю, поскольку она хочетъ власти надъ другими,—она дала послѣднее, грандіозное сраженіе западно-европейскому ра-

---

[1]) Подробнѣе о немъ см. стр. 96—99, 336—339 и др. моей книги.

ціоналистическому міросозерцанію и въ концѣ концовъ должна была отступить передъ исконныхъ своимъ врагомъ и пойти на уступки. О пораженіи тутъ не можетъ быть рѣчи, тутъ, говорю я, можетъ быть рѣчь только объ отступленіи.

Эта многолѣтняя борьба Толстого съ западно-европейскимъ строемъ мысли, воли и чувства—во имя идеи русскаго мужика, русской общины, зрѣлище грандіозное и поучительное. Толстой, какъ будто поставилъ себѣ цѣлью разрушить все дѣло Петра Великаго, стереть въ душѣ русскаго человѣка всѣ слѣды реформы, обособить его отъ всего міра и создать ему такую своеобразную жизнь, которая не вынесла бы, вѣроятно, ни одного дня столкновенія съ дѣйствительностью. Всѣ лучи чисто русскаго патріархальнаго настроенія, весь ореолъ, которымъ русскій народъ въ его прошломъ окружалъ отрѣшившихся отъ себя „божьихъ людей" и юродивыхъ,—эту народную „интеллигенцію", вносившую, по словамъ Успенскаго, не лѣсную, не звѣриную правду, а божескую въ народную среду—все пониманіе красоты чисто растительной жизни, которая просто живетъ, но не размышляетъ по поводу себя, не мудрствуетъ,—страстное обожаніе природы и восторгъ передъ ея стихійной правой—(не даромъ же Толстой, какъ и Радищевъ, какъ всѣ лучшіе люди изъ среды русскаго барства—поклонникъ Руссо)—все соединилось какъ въ фокусѣ, чтобы создать картину той жизни, которую Толстой съ вызывающей ироніей и съ обиднымъ пренебреженіемъ къ господствующему духу раціонализма назвалъ царствомъ дураковъ. И ее, эту жизнь, онъ въ мечтахъ своихъ, очевидно, готовилъ для своего излюбленнаго русскаго народа.

Въ такомъ идеалѣ, какъ и въ большей части русской литературы, созданной въ эпоху крѣпостной Россіи—вы ясно различаете два голоса—и голосъ русской земледѣльческой стихіи, и голосъ покаянія, наполнявшій чуткое сердце русскаго барина, такъ непосредственно связаннаго съ прошлымъ народной жизни—ея крѣпостнымъ состояніемъ. Мало отрадныхъ, возвышающихъ душу воспоминаній оставило оно, но много тревожащихъ и раздражающихъ совѣсть, взывающихъ къ ней и говорящихъ: расплатись. Огромность долга требовала полной расплаты, безъ всякихъ компромиссовъ, безъ всякихъ сдѣлокъ. Все равно какъ русское барство для созданія своей довольной, обезпеченной жизни, полной высшихъ культурныхъ наслажденій, взяло у мужика все—свободу, собственность, право на личное счастье, такъ тою же цѣною хотѣло оно расплатиться съ нимъ, отказавшись отъ всѣхъ надстроекъ надъ его жизнью отъ всей красоты и роскоши, созданной вѣковымъ потомъ и трудомъ. Общинная, земледѣльческая жизнь русскаго народа продиктовала форму идеала, чувство раскаянія предписало ему свои законы.

Подчиняясь прежде всего этому чувству, Толстой ненавидитъ все, что стало достояніемъ привилегированныхъ, что помогаетъ имъ упрочить свою власть надъ другими, себѣ подобными,—надъ этой огромной неисчислимой массой рабовъ. Онъ громитъ науку, технику, искусство, все утонченное и просвѣщенное, наполняющее жизнь праздныхъ, создаетъ свое государство юродивыхъ, видитъ въ цивилизаціи источникъ всякаго зла и рабства и всѣ вопросы общественной жизни подчиняетъ голосу совѣсти. У него полное отсутствіе юридическаго и политическаго самосознанія, у него верховная, всѣмъ управляющая мечта о совмѣстной жизни людей, цементируемой лишь любовью, взаимнымъ довѣріемъ, но ни въ какомъ случаѣ не договоромъ. У него покаянная жажда уйти въ массу народа, растворить похотливые и властные порывы личной жизни въ *ея* жизни, стереть съ лица земли свое гордое, самонадѣянное, избалованное я и всего себя отдать въ распоряженіе Природы и Естественнаго—и вмѣстѣ съ этимъ у него то же стихійное самосознаніе какъ и у русскаго народа, отрицающее силу отдѣльнаго „я“ и даже его право не существованіе.

Да, здѣсь, быть можетъ, ist Hund begraben, здѣсь, быть можетъ, самое важное.

Общинно-земледѣльческая стихія это скорѣе отрицаніе личности, чѣмъ признаніе ея.

Первобытное земледѣліе все зависящее отъ случая, отъ дождя, отъ солнца, отъ всего *независящаго* отъ человѣка собственно, можетъ внушить вѣру во что угодно только не въ личныя усилія.

Община своимъ властнымъ принципомъ „какъ міръ“... предписываетъ отдѣльному человѣку тоже невѣріе въ себя, развиваетъ его стадные инстинкты, склонность къ стадному мышленію и вѣрѣ.

Этотъ голосъ общинно-земледѣльческой стихіи Толстой вслѣдъ за славянофилами возводитъ въ философско-историческій догматъ (см. послѣднюю часть „Войны и Мира“) и съ высоты его громитъ идею личности и все созданное ею въ цивилизованной жизни.

Невѣріе въ человѣческое я, признаніе массоваго общиннаго разума, гораздо болѣе могущественнаго и правильнаго, чѣмъ отдѣльный человѣческій разумъ—вотъ аксіома славянофиловъ и аксіома Толстого. Но что такое массовый разумъ?—Это инстинктъ, это нравственная интуиція, это религіозное творчество,—пожалуй—это все, что выливается въ искусствѣ. Но только не личность въ ея раціоналистическомъ правовомъ выраженіи.

Въ стихійномъ, массовомъ разумѣ—смыслъ и центральная пружина исторіи. „Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды—училъ Толстой въ „Войнѣ и

Мирѣ"—и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ процессѣ, никогда не понимаетъ его значенія. Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью (человѣческихъ усилій)". Въ другомъ мѣстѣ Толстой выражается еще рѣшительнѣе: „если допустить, что жизнь человѣческая управляется разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни".

Вотъ какое признаніе, наиболѣе рѣшительно формулированное Толстымъ, таилось всегда въ нашемъ славянофильствѣ и въ міросозерцаніи нашего барства. Вотъ чему научила Россію община, жившая подъ гнетомъ крѣпостного права.

Жизнь человѣческая управляется не разумомъ. Отрицаніе науки и техники [1]), отрицаніе западно-европейской раціоналистической цивилизаціи, презрѣніе къ договору—отсюда. Вслѣдъ за Хомяковымъ Толстой все сводитъ къ вѣрѣ, въ ней одной видитъ онъ исходъ, спасеніе, истинную силу жизни. Вполнѣ послѣдовательно ставитъ онъ интуицію выше знанія, искусство выше науки, нравственность выше политики. Онъ хочетъ для человѣка свободы, даже безграничной свободы, но это совсѣмъ не та свобода, которая влечетъ къ себѣ западно-европейскаго, гордаго своимъ разумомъ человѣка. Это свобода одинаково доступная и осуществимая на всѣхъ степеняхъ общественнаго развитія, это свобода „округлаго человѣка" Платона Каратаева — раба фактически и юридически.

Въ своей критикѣ окружающаго Толстой всегда говоритъ отъ лица русской земледѣльчески-общинной жизни. Въ сущности больше чѣмъ кто-нибудь другой, онъ имѣетъ на это право. Насколько возможно это ему, кровному русскому барину, онъ дѣйствительно приблизился къ крестьянскому міру (преимущественно выразившемуся въ сектантствѣ и расколѣ) и оттого его окончательные итоги, его „мѣдные барельефы и бронзовыя фигуры" особенно цѣнны.

По Толстому смыслъ нашего земледѣльчески-общиннаго міросозерцанія сводится къ тому, что не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ, что внутренняя истинная свобода человѣка не зависитъ отъ внѣшнихъ формъ его жизни, что истинныя основы жизни — нравственныя, продиктованныя взаимной любовью, сознаніемъ братства и равенства между людьми, а не юридическія или правовыя, т. е. обезпеченныя договоромъ, что цѣль жизни—въ осуществленіи общины первыхъ вѣковъ христіанства.

Это и есть какъ разъ то, что часто зовется русской ми-

---

[1]) Въ міросозерцаніе Толстого проникаютъ, конечно, и раціоналистическіе элементы. Но не ими живо оно. Никакой раціонализмъ не можетъ примириться съ философіей „Войны и Мира".

стикой и съ чѣмъ такъ долго, настойчиво и пока лишь съ малымъ успѣхомъ боролся нашъ либерализмъ. Тутъ отрицаніе культуры и юридическихъ нормъ жизни, какъ чего-то внѣшняго, тутъ „не противься злу“ и „Богъ есть любовь“.

Я говорилъ выше, что это земледѣльческое міросозерцаніе въ различной переработкѣ является центромъ нашего мышленія въ теченіе почти цѣлаго столѣтія.

Оффиціальные люди выдѣлили изъ него одни рабскіе элементы и создали грандіозную систему оффиціальной народности эту истинную философію крѣпостного права [1]).

Славянофилы пытались представить его въ чистомъ видѣ, ратовали за его освобожденіе отъ ферулы и опеки бюрократизма, но примѣшали къ нему національную гордыню, панславизмъ и землевладѣльческія, дворянскія стремленія [2]).

Почвенники опошлили ученіе первыхъ славянофиловъ и подошли какъ только возможно близко къ системѣ оффиціальной народности. Ихъ націонализмъ сталъ крикливъ и задоренъ. Отъ красивой утопіи панславизма они почти отказались [3]).

Правое крыло народничества, къ которому въ сущности примыкаетъ и Толстой, представило намъ общинно-земледѣльческое мышленіе въ его наиболѣе чистомъ видѣ, осложненное однако мотивами покаянія [4]).

Лѣвое крыло народничества (критическое народничество), воспріявшее въ себя весь потокъ западничества, западническаго отрицанія, западнической идеи чести, личнаго достоинства, личнаго развитія и личной эмансипаціи, ушло очень далеко отъ общинно-земледѣльческаго мышленія, сближаясь съ нимъ лишь въ конечномъ идеалѣ [5]).

Все, однако, вертится возлѣ того же центра. Все во имя его косится на идею права и компромисса. Оно—любовь и ненависть нашей литературы, а часто то и другое вмѣстѣ, странное смѣшеніе ихъ, странная психологія „odi cum amo“.

III.

Если задача славянофиловъ заключалась прежде и больше всего въ освобожденіи изъ-подъ гнета системы оффиціальной народности земледѣльчески-общиннаго строя и земледѣльчески-общиннаго мышленія (NB. Еще разъ: *какъ* они его понимали. И до сей поры это мышленіе X, и глубина

---

[1]) См. стр. 42 sqq. моей книги.
[2]) Ibid., стр. 86—112.
[3]) Ibid., стр. 266 sqq.
[4]) Ibid., стр. 347 sqq., 418 sqq.
[5]) Ibid., стр. 352 sqq.

его исполнена неожиданностей)—то задачей западническаго теченія русской мысли была борьба съ той же системой во имя *освобожденія личности.*

Понятіе *личности* мѣнялось въ каждую эпоху нашего литературнаго развитія, но, кажется, вотъ его главнѣйшіе типы:

a) личность государственная, созданная реформой Петра:

b) личность гуманиста, выработавшаяся подъ вліяніемъ просвѣтительной философіи;

c) личность въ пониманіи сантименталиста;

d) личность въ пониманіи романтика. Въ этой послѣдней чувствуется уже что-то современное. Глубина недовольства, переходившая у сильныхъ натуръ въ негодованіе, очень характерна для нея;

e) личность эстетика-гуманиста. Высшее ея выраженіе поэзія Пушкина и литература 40-ыхъ годовъ [1]);

f) личность протестующая, личность разночинца. Надо замѣтить, что всѣ выше перечисленные типы личностей принадлежатъ нашей барской культурѣ и созданы ея средой. Вмѣстѣ съ Полевымъ и Бѣлинскимъ выступаетъ на сцену разночинецъ. Въ 60-ые годы его роль первенствующая [2]);

g) критическая личность [3]);

h) цѣлостная, гармонически развитая личность [4]);

i) личность опрощенная, воплотившая въ себѣ земледѣльческое міросозерцаніе въ пониманіи его Толстымъ [5]);

k) личность мыслящаго пролетарія.

Литературная роль идеи освобожденія личности очень велика. Эта идея росла и ширилась, она двигала горами, она поглотила нашу обломовскую, земледѣльческую стихію, она снесла наше славянофильство и то славянофильское, что есть въ каждомъ изъ насъ русскихъ людей, гордо и властно воцарилась она въ нашемъ міросозерцаніи, потому что въ ней и только въ ней выказалась полнота нашего отрицанія—полнота нашей вѣры. Откуда она, откуда это ея все еще непонятная для многихъ власть и могущество? Отсылая читателя къ своей книгѣ, здѣсь я ограничусь лишь нѣсколькими замѣчаніями.

Идея гармонически-развитой автократической личности есть лишь высшее, квалифицированное, такъ сказать, выраженіе *идеи освобожденія* личности, которая по всей справедливости можетъ быть названа основной идеей всей русской литературы за послѣднія сто лѣтъ. 70-ые годы—это завершеніе всего того умственнаго развитія, которое мы пережили въ обстановкѣ дореформенной крѣпостной Россіи.

[1—5]) См. стр. 184 sqq 197 sq. 340 sq. 374 sq. 455 sq. 531 sq. моей книги.

Естественно, что и идея освобожденной личности достигла высшаго, даже абсолютнаго выраженія какъ разъ въ эту эпоху.

Сто лѣтъ тому назадъ, подъ вліяніемъ возмущеннаго русской дѣйствительностью чувства справедливости и великихъ идей освободительной философіи, чудная мечта выработалась въ самосознаніи русскаго человѣка. Эта мечта говорила ему о жизни согласно съ природой, о естественныхъ правахъ на свободу и счастье всякаго, въ какомъ бы положеніи онъ ни былъ рожденъ, о равенствѣ и братствѣ всѣхъ людей. И подъ ея вліяніемъ русскій человѣкъ—стихійно тяготѣющій къ природѣ и естественному—сталъ сознавать свою личность и это свое самосознаніе распространять на окружающее.

Личность XVIII-го вѣка, личность, созданная реформой Петра Великаго, была государственной по преимуществу и, кажется, искренне государственной. Литература, т. е. выраженное въ словѣ общественное и личное самосознаніе, одинаково была создана государствомъ и находилась у него въ услуженіи. Она оправдывала его приказанія, воспѣвала его побѣды, осмѣивала его противниковъ, говорила ему безчисленныя льстивыя рѣчи и, повидимому, не мечтала даже о своей собственной идеѣ и о своей собственной физіономіи. Она (литература) изобрѣла свой особенный языкъ, научилась писать правильнымъ размѣромъ, украшать свои тяжелыя неповоротливыя мысли риѳмами и лирическимъ безпорядкомъ, все съ тою же и тою же цѣлью выхвалять силу и могущество государства, которое одно только заслуживало въ ея глазахъ похвалъ, восторговъ и пѣснопѣній. Вокругъ себя она не видѣла ни природы, ни человѣка, не интересовалась даже ими; ни лѣсъ, ни горы, ни собственное сердце не говорили съ ней; ея думы, надежды и стремленія были въ огромномъ большинствѣ случаевъ строго оффиціальныя, а зачастую чисто канцелярскія. Ломоносовъ—вотъ стихія генія, прилѣпившаяся къ государству, и даже такое яркое дарованіе, какъ Державинъ, лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ рѣшается говорить о себѣ и своей самостоятельной внутренней жизни. Въ Державинѣ геній едва смѣетъ показать намъ свою личность, *робко выглядывающую изъ-за громады государства.*

Какъ отдѣлилась личность отъ государства? Какъ постигла она, что у нея есть своя собственная жизнь, которой очень и очень мало дѣла до взятія Очакова и Измаила, что она можетъ жить сама собой и для себя? Какъ встала она наконецъ въ противорѣчіе съ государствомъ? Это величайшій вопросъ исторіи русской цивилизаціи, но для исторіи литературы собственно важно отмѣтить лишь тотъ фактъ, что

безъ проснувшагося личнаго самосознанія не было бы и самой литературы.

Очень интересны первые шаги, первый лепетъ проснувшейся личной мысли. Я думаю, что мы можемъ видѣть его въ знаменитой, все еще необъяснимо находящейся подъ спудомъ, книгѣ Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву"... Радищевъ описываетъ произволъ помѣщиковъ, ужасное положеніе крѣпостныхъ крестьянъ и говоритъ, что страданіями человѣческими душа его уязвлена стала. Онъ совѣтуетъ во имя гуманности и личной выгоды приступить къ освобожденію крестьянъ. Несомнѣнно, что онъ имѣетъ въ виду и благо государства, интересы его богатства и развитія, но не это на первомъ планѣ. На первомъ планѣ—жалость, жалѣніе, гуманность, его собственное пониманіе, что бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка же, его личное возмущеніе рабствомъ.

Даже нашъ скромный сантиментализмъ выясняетъ намъ кое-какія подробности великаго факта—*отдѣленія личности отъ государства.* Только съ этой точки зрѣнія можетъ онъ заинтересовать историка литературы. Сантиментализмъ—жизнь сердца и даже чувствительнаго сердца—такого значитъ, которое печалится и радуется прежде всего при столкновеніи съ судьбою отдѣльнаго человѣка, отдѣльной личности. Онъ плачетъ о страданіяхъ бѣдной Лизы, негодуетъ на пошлость Эраста и такъ занятъ человѣкомъ, отчасти и природой, что, очевидно мысль его значительно освободилась отъ обаянія грома побѣдъ. Робко, отвлеченно, но несомнѣнно въ то же время призналъ онъ жизнь человѣческую, даже самую незамѣтную, достойной художественнаго созерцанія. Конечно, въ немъ были и другія стороны, но для меня важно лишь это вотъ признаніе, что рядомъ съ государствомъ, рядомъ съ этой огромной организованной силой существуютъ и люди, чьи печали и радости способны поглотить все наше вниманіе.

Въ Жуковскомъ сразу три человѣка—и сантименталистъ, и романтикъ, и государственникъ. Но послѣдній—самый слабый, самый незначительный. Оффиціальныя чувства и оффиціальное вдохновеніе почти не даются пѣвцу Леноры и Свѣтланы. Съ наибольшимъ наслажденіемъ слѣдитъ онъ за призраками собственной фантазіи, скачетъ по воздуху при лунѣ, разговариваетъ съ мертвецами, предается грустнымъ размышленіямъ на кладбищѣ. Личное настроеніе Жуковскаго, совершенно независимое отъ событій государственной жизни, такъ властно говоритъ въ немъ, что онъ весь отдается ему и слышитъ только его голосъ. Онъ поэтъ своего я и только „я". Его меланхолія, его грусть съ государственной точки зрѣнія не только необъяснимы, но и незаконны. Государство съ полнымъ основаніемъ (и такіе примѣры дѣй-

ствительно бывали) могло бы сказать ему: „о чемъ грустить теперь, когда побѣжденъ Наполеонъ, освобождены Россія и Европа, заключенъ священный союзъ и т. д. Какъ можетъ русскій гражданинъ грустить въ такое время?“ И въ этомъ упрекѣ, въ этомъ недовольствѣ государства не было бы ничего неожиданнаго: не потому ли самому прежде и больше всего была недовольна Екатерина Великая книгой Радищева? Но съ прямыми интересами и общимъ направленіемъ государственной жизни Жуковскій не сталкивался: онъ просто сторонился отъ нихъ въ своей поэзіи, какъ отъ чего-то для него—художника, посторонняго и ненужнаго. Тягости государства онъ не чувствовалъ.

Но уже очень почувствовалъ ее Пушкинъ. Помните ли вы взрывъ его брагороднаго и чуткаго негодованія, когда онъ увидѣлъ часовыхъ возлѣ картины, изображавшей Распятіе:

Къ чему, скажите мнѣ, хранительная стража!
Или распятіе—казенная поклажа?
Или боитесь вы воровъ или мышей?
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительствомъ спасаете могучимъ
Владыку, терніемъ вѣнчаннаго колючимъ...
...Иль опасаетесь, чтобъ чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь родъ Адамовъ искупила?
И чтобъ не потѣснить гуляющихъ господъ
Пускать не велѣно сюда простой народъ.

Это не мелочь. Такія строки, какъ „иль мните важности придать Царю царей“ „илъ покровительствомъ спасаете могучимъ Владыку“ исполнены язвительнѣйшей ироніи по адресу тупого самодовольства [1]... Вспомните затѣмъ о его отношеніяхъ къ Бенкендорфу и Дуббельту, о его цензурныхъ и иныхъ непріятностяхъ, а больше всего, конечно, о глубоко-человѣческомъ характерѣ всей его поэзіи. Ничто человѣческое не было чуждо ей и прежде всего интимно-человѣческое, ни въ какомъ случаѣ не государственное. Но нечего и говорить, что возлѣ этого интимно-человѣческаго стояли двое часовыхъ. Положительно слѣдутъ на приведенное стихотвореніе взглянуть, какъ на символъ всей поэтической дѣятельности Пушкина. За что гнали его, за что преслѣдовали? Прямое свое несогласіе съ ходомъ оффиціальной, государственной жизни онъ заявлялъ рѣдко и рѣдко же протестовалъ противъ самыхъ даже вопіющихъ фактовъ дѣйствительности. Онъ чувствовалъ ихъ безобразія, какъ, напр., ясно и ярко чувствовалъ безобразіе крѣпостного права, но натура художественная и эстетическая прежде всего онъ наибольшее свое вниманіе сосредоточивалъ на

[1]) Ср. Д. С. Мережковскій „Толстой и Достоевскій“, стр. 147.

другомъ. Лишь въ самомъ скромномъ смыслѣ и на основаніи лишь случайныхъ строкъ можно назвать его поэтомъ-гражданиномъ. Но самый его умъ живой и свободный, самый его характеръ, вся его личность находились въ прямомъ противорѣчіи съ оффиціальной государственной жизнью. Тамъ были свои интересы, воплощавшіеся въ дѣятельности сначала Аракчеевыхъ и Магницкихъ, потомъ Бенкендорфовъ и Дуббельтовъ, у него—свои и, конечно, другія, и прежде всего „служеніе красотѣ", претворенія жизни въ художественные образы, и эти его интересы совершенно не мирились съ практикой и стремленіемъ оффиціальной жизни. Свобода мысли и слова, свобода духа вообще—были его стихіей.

И дальше все то же, но больше, шире, съ большимъ раздраженіемъ и негодованіемъ, съ большимъ сознаніемъ отвѣтственности передъ закабаленной массой и идеей свободнаго человѣка. Потому что въ этой идеѣ самое главное, самое дорогое и драгоцѣнное, всякая возможность развитія, все стремленіе въ область безконечнаго совершенствованія, вѣчно влекущую къ себѣ человѣка, пока она человѣкъ. Этому процессу посвящена моя книга. Поэтому, пока, я позволю себѣ остановиться.

Но уже изъ того, что сказано здѣсь въ предисловіи, мнѣ кажется, съ очевидностью выступаетъ тотъ фактъ, что отдѣленіе личности отъ оффиціальныхъ интересовъ было началомъ ея духовнаго освобожденія.

Это теоретическое освобожденіе, говорю я, въ концѣ концовъ и стало главнымъ русломъ русской литературы. Совершалось же оно, разумѣется, въ условіяхъ и среди идей, выработанныхъ и созданныхъ земледѣльческимъ строемъ.

Выше я упоминалъ и о борьбѣ за эмансипацію этого послѣдняго. Какъ относится она къ борьбѣ за освобожденіе личности? Прямого непосредственнаго отношенія здѣсь нѣтъ, но есть серьезное *косвенное*. Дѣло въ томъ, что первые славянофилы, защищая эмансипацію общинно-земледѣльческаго строя и общинно-земледѣльческаго мышленія, тѣмъ самымъ служили и „идеѣ" личности, хотя въ принципѣ они и отрицали ее. Но, преслѣдуя свою задачу, они проповѣдовали и свободу мысли, и свободу слова, и вѣротерпимость. Мышленіе ихъ было столько же земледѣльческое, сколько и землевладѣльческое, но въ то же время и противное бюрократизму. И эта проповѣдь свободы слова и вѣротерпимости несомнѣнно вошла въ главное литературное русло—борьбу за освобожденіе личности.

Мнѣ думается, что все это вмѣстѣ взятое даетъ мнѣ право сказать, что у нашей литературы была *своя* воля, *своя идея*, стремленіе, которыя ставили ее въ противорѣчіе съ окружающей дѣйствительностью. Не значитъ непремѣнно, что воля, идея, стремленіе были всегда и непремѣнно созна-

тельны и выражались всегда въ ясныхъ и опредѣленныхъ терминахъ: художественные образы, стихійно создаваемые литературой, говорили, конечно, больше формулъ и программъ. Но и стихійно, и сознательно, одинаково, наша литература имѣла свою любовь и свою ненависть. Это была любовь къ человѣку, это была ненависть къ рабству. Къ человѣку—въ какомъ бы униженномъ и забитомъ положеніи ни находился онъ, и къ рабству—какая бы сила жизни не проявлялась въ немъ, какія бы слова не приводило оно въ свое оправданіе. *Воля* литературы не имѣла ничего общаго съ волей оффиціальной жизни. Ея стремленіемъ было освободить жизнь и человѣка. И она добивалась этой цѣли своей проповѣдью гуманности, своимъ призывомъ къ стыду и совѣсти всѣхъ привилегированныхъ, своимъ негодованіемъ при видѣ обидъ и униженія человѣка, своимъ протестомъ противъ нихъ.

Теперь уже я могу поставить одинъ вопросъ:

Какова формула главнаго русла русской литературы? Люди оспариваютъ не только формулу, данную мною, но и самую возможность ея. Они ссылаются при этомъ на свободу творчества. Мнѣ кажется, что свобода творчества, тутъ не при чемъ. Богатая русская жизнь XIX в. легко однако, укладывается въ формулу эмансипаціи личности и перехода отъ потребительно-земледѣльческаго хозяйства къ капиталистическому. Богатая литературная жизнь Россіи за тотъ же вѣкъ одинаково имѣетъ формулу.

Борьба съ крѣпостнымъ правомъ и его переживаніями во имя освобожденія общинно-земледѣльческаго строя народной жизни и общинно-земледѣльческаго мышленія, какъ дѣятельное начало славянофильскаго теченія—борьба съ тѣми же устоями во имя эмансипаціи личности и ея развитія, какъ дѣятельное начало теченія западническаго,—таковъ смыслъ исторіи нашей литературы въ ея главномъ руслѣ, такова формула нашего литературнаго развитія за XIX вѣкъ.

Я думаю дальше, что эта формула должна быть изложена въ процессѣ ея *діалектическаго* развитія, хотя пока далеко не всѣ звенья этого діалектическаго процесса могутъ быть ясно и опредѣленно формулированы. Попытку такого изложенія и формулы его я даю на послѣднихъ страницахъ книги.

Составляя свою книгу, я пользовался многими источниками, общими курсами исторіи литературы, монографіями и журнальными статьями. Большая ихъ часть названа мною въ текстѣ. Здѣсь я укажу лишь тѣ пособія, зависимость отъ которыхъ я особенно часто чувствовалъ и къ которымъ я особенно часто обращался за руководствомъ. Это: 1) „Исторія русской литературы“ А. Н. Пыпина; 2) „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“, его же; 3) „Общественное развитіе при Александрѣ I“, его же; 4) Характеристика литературныхъ мнѣній; его-же; 5) М. А. Протоповъ „Литературно-критическія характеристики“, 6) Сочиненія Н. К. Михайловскаго; 7) „Литературныя воспоминанія и современная смута“. его же; 8) А. И. Герценъ. Сочиненія; 9) „Жизнь и труды Погодина“ Н. Барсукова I—XV; 10) Сочиненія Н. В. Шелгунова. Затѣмъ для своей книги я использовалъ собственныя статьи монографіи, замѣтки, напечатанныя: a) въ біографической библіотекѣ Ф. Павленкова; b) въ журналахъ „Жизнь“ и „Русское Богатство“; c) въ газетѣ „Русская Жизнь“ и т. д.

Домашняя
библіотека
А
Александровича

ЛИТЕРАТУРА КРѢПОСТНОЙ РОССІИ.

Тезисъ русской литературы.

Когда Константинополь былъ взятъ турками, книжники (а также и фарисеи) московскаго государства объявили Москву третьимъ Римомъ, а государя московскаго наслѣдникомъ и преемникомъ всѣхъ правъ византійскихъ императоровъ. Говорилось это не для красоты слога, а выражало истинную сущность московскаго правительственнаго настроенія, его огромную гордыню, его самоувѣренность, дошедшую, въ упоеніи, отъ внутреннихъ удачъ и одолѣній, до крайней степени самохвальства. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше, и никакія бѣды, постигавшія Русь, не вывели московскихъ книжниковъ и фарисеевъ изъ ихъ пріятнѣйшаго душевнаго состоянія. Оно оставалось нерушимымъ, несмотря на побѣды Баторія, перенесло смутное время и разгромъ Руси и достигло высшей точки своей при Алексѣѣ Михайловичѣ. Это было естественное и исторически неизбѣжное состояніе ума дѣтскаго и довѣрчиваго, чувства грубаго и напыщеннаго. Оно одинаково извѣстно зулусамъ и французамъ (XVI—XVII в.), кафрамъ и нѣмцамъ, китайцамъ и русскимъ, древнимъ перувіанцамъ и англичанамъ, вообще всѣмъ молодымъ народамъ при любой формѣ правленія. По мнѣнію славянофиловъ, оно свидѣтельствуетъ лишь о невинности души и отсутствіи въ ней грѣховныхъ помысловъ. Быть можетъ,—но нѣтъ народа, который въ ту или другую эпоху своей жизни не называлъ бы себя христіаннѣйшимъ, лучшимъ и не считалъ бы культуру свою первой, какъ бы оправдывая этимъ свой пренебрежительный и даже исполненный презрѣнія взглядъ на другихъ народовъ, какъ низшихъ передъ Богомъ. Символомъ такого самодовольства можетъ служить великая китайская стѣна, а единственно возможной при немъ политикой является

поддержаніе строжайшаго порядка во имя строя, объявленнаго наилучшимъ. Но постепенно внѣшнія политическія обстоятельства Россіи до того осложнились, что въ эпоху Петра волей-неволей пришлось пробить брешь въ великой китайской стѣнѣ, сказать русскимъ, что они неучи, что у европейцевъ почти все лучше и умнѣе устроено, чѣмъ у нихъ. Русскіе люди покорно выслушали обидныя слова, но нисколько имъ не повѣрили, продолжали думать свою прежнюю горделивую думу и были безконечно рады, когда Екатерина Великая отчасти своими побѣдами, отчасти манифестами и громадными проектами не напомнила имъ строй московской формулы, что Русь—это третій Римъ. Вѣкъ Екатерины—блестящій и утопическій, поражаетъ грандіозностью своихъ замысловъ, широкимъ размахомъ мечтаній. Исполненіе было часто посредственное, часто мизернѣйшее (напр., внутреннія преобразованія), но все равно: оглушенные громомъ побѣдъ, слыша о такомъ проектѣ, какъ изгнаніе турокъ изъ Европы и возстановленіе византійской имперіи съ новымъ, русскимъ Константиномъ Порфиророднымъ во главѣ—или о ребяческихъ соображеніяхъ Бецкаго, какъ созданіе новой породы людей, русскіе люди окончательно утвердились въ мысли, что времена Бирона или гольштинцевъ, когда ихъ, наслѣдниковъ третьяго Рима, держали въ передней (гдѣ, впрочемъ, они усерднѣйше холопствовали) нѣмецкаго дома средней руки—не болѣе какъ кошмаръ. Конечно, пораженіе Наполеона, взятіе Парижа и пр. должно было окончательно вскружить голову, и возстановленіе византійской имперіи казалось уже нестоющимъ вниманія: рѣчь шла о большемъ—о міровой роли, о водвореніи царства Божія здѣсь на землѣ подъ главенствомъ Россіи. Какъ возстановлялось на землѣ царство Божіе при помощи Меттерниха и Аракчеева, Магницкаго, Рунича и Фотія—достаточно извѣстно и распространяться объ этомъ излишне, но никто не скажетъ, что такая мечта страдала избытками скромности.

Самодовольство, какъ у отдѣльнаго человѣка, такъ одинаково и цѣлаго народа, говоритъ не о его „умонаклоненіи къ добру", а просто объ отсутствіи какого бы то ни было ума и способности сравнивать себя съ кѣмъ и чѣмъ бы то ни было. Но какъ ни широко было оно развито по всему русскому обществу (крѣпостная Русь—не въ счетъ), какъ ни могущественна была оказываемая ему оффиціальная поддержка—оно не обошлось безъ нѣкотораго, хотя бы робкаго протеста. Все равно, какъ нѣкогда протестовалъ Максимъ Грекъ, послѣ него Котошихинъ, такъ теперь стала протестовать литература, уже зародившаяся, въ лицѣ сатирическихъ журналовъ, пьесъ Фонъ-Визина и, наконецъ, знаменитой книги Радищева о его путешествіи изъ Петербурга въ Москву.

Такимъ образомъ русская литература при самомъ вступленіи своемъ

въ XIX-й вѣкъ имѣла уже передъ собой нѣкоторый тезисъ, различное отношеніе къ которому и создало главнѣйшія направленія. Тезисъ этотъ прекрасно формулировали книжники XIX вѣка, называя Москву—третьимъ Римомъ и высказывая отъ лица этого третьяго Рима претензіи даже на всемірное владычество. Страстная полемика Екатерины II противъ всего того, что она называла злобными клеветами иностранцевъ (напр. „Антидотъ“ или „Противоядіе“), очевидно служила тому же тезису. Наивно выразилъ его Шишковъ, сказавъ, что реформы и преобразованія нужны несчастнымъ народамъ запада, погрязшимъ въ развратѣ и революціяхъ, но не намъ, русскимъ людямъ, которыхъ Богъ милуетъ отъ внутреннихъ потрясеній и чьему оружію онъ даруетъ побѣду и славу. Въ сухой бюрократической формѣ, но тѣмъ болѣе неуступчивой и непримиримой, тезисъ этотъ былъ формулированъ министромъ народнаго просвѣщенія графомъ Уваровымъ уже при императорѣ Николаѣ I-мъ. Эта формулировка извѣстна подъ именемъ оффиціальной народности, и ниже намъ придется познакомиться съ ней очень подробно. Пока же достаточно замѣтить, что основой исконнаго русскаго быта, залогомъ величія Россіи и ея самобытности, панацеей всѣхъ золъ, могущихъ грозить ей въ будущемъ, было признано крѣпостное право. По мнѣнію Уварова, все, затрагивающее его такъ или иначе, есть уже бунтъ и возмущеніе—безразлично будетъ ли это расколъ или проповѣдь крестьянской свободы. Такимъ образомъ тезизъ можно формулировать просто: *мы, русскіе люди, пользуемся совершеннымъ гражданскимъ устройствомъ, и ни въ критикѣ, ни въ реформахъ не нуждаемся.*

Имѣя передъ собой такой тезисъ, какъ завѣщанный намъ глубокой стариной и самодовольно отвергавшій какія бы то ни было поправки, литература могла 1) или развивать и совершенствовать его или же 2) пользуясь возможностью критики, отнестись въ большей или меньшей степени скептически къ всепроникавшему крѣпостному праву.

Въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей она избрала второй путь,—въ чемъ и заключается ея жизненная идея въ теченіи первой половины XIX вѣка. Почему, желая дать читателю проспектъ скептическаго движенія, я начинаю съ Радищева.

Радищевъ и скептическое движеніе въ Россіи.

Радищевъ (1749—1802). Хотя книга Радищева (*Путешествіе изъ Петербурга въ Москву*) не сыграла и не могла сыграть непосредственно роли въ исторіи нашего умственнаго развитія, потому что публика

не знала и еще до сихъ поръ (т. е. черезъ 100 лѣтъ послѣ смерти автора и 110 по выходѣ книги) не знаетъ ея, но все же она характерна, какъ показатель *настроенія*, а ея авторъ—человѣкъ замѣчательный, чтобы не сказать исключительный. Онъ, конечно, баринъ и баринъ состоятельный, *серьезно* и основательно учившійся за границей, между прочимъ у знаменитаго въ свое время Платнера, послѣдователя Лейбница. Я подчеркнулъ слово серьезно, такъ какъ въ нашей исторіи литературы (гг. Галаховъ, Порфирьевъ, Тихонравовъ) утвердилось почему-то мнѣніе, что Радищевъ былъ легкомысленный человѣкъ, нахватавшійся бойкихъ мыслей у французскихъ философовъ, преимущественно у Гельвеція. (Странное мнѣніе, а еще болѣе страненъ его источникъ—т. е. статья о Радищевѣ Пушкина. Пора бы съ этимъ источникомъ распроститься и признать справедливость словъ Герцена о немъ. Вотъ эти слова: „статья не дѣлающая особенной чести поэту. Онъ или перехитрилъ ее изъ цензурныхъ видовъ, или въ самомъ дѣлѣ такъ думалъ—и тогда лучше было бы не печатать". Не только большая философская начитанность Радищева, но и умѣнье философски размышлять превосходно доказываются большимъ трактатомъ о „безсмертіи"). Но меня интересуетъ теперь его „Путешествіе". Написана эта книга въ модномъ тогда тонѣ. Это наблюденія, случайныя замѣтки, философскія мысли, пришедшія въ голову по поводу видѣннаго и слышаннаго, воспоминанія изъ личной жизни и проч. Ничего особеннаго, или рѣзкаго, хотя вы видите передъ собой человѣка вдумчиваго и „чувствительнаго", любящаго размышлять и предаваться созерцанію. Знаменитостью своей эта книга обязана лишь тѣмъ мѣстамъ, гдѣ авторъ говоритъ о крѣпостномъ правѣ. Онъ описываетъ произволъ помѣщиковъ, насильственную свадьбу и проч., и удивляется, какъ такіе нравы могутъ существовать въ мудромъ столѣтіи. Нигдѣ не выражаетъ онъ требованія уничтожить это гнусное состояніе, а только возмущается имъ и призываетъ самихъ помѣщиковъ приступить къ освобожденію. Но и это дѣйствительно страшно много для того времени. И откуда такое искреннее негодованіе? Говорятъ, изъ французскихъ книжекъ—главное изъ Руссо. Однако, кто въ концѣ прошлаго вѣка не читалъ Руссо, не увлекался имъ, не возводилъ въ кумиры. И все же всѣ оставались спокойными рабовладѣльцами, и, отложивъ въ сторону „Discour sur l'inègalité", шли на конюшню или въ Армидинъ садъ или вообще творили безчинства. И своимъ-то негодованіемъ, своимъ возмущеніемъ Радищевъ безконечно выше этихъ нашихъ Мирабо. Дальше, когда онъ размышляетъ о томъ, можетъ ли достичь благосостоянія и истиннаго величія рабская страна, вы слышите въ немъ настоящаго умницу. Но, повторяю—ничего рѣзкаго. Книга благополучно прошла черезъ цензуру; Радищевъ разослалъ уже ее друзьямъ,—но кто-то,

должно быть, въ нехорошую минуту подсунулъ ее императрицѣ. Дальнѣйшее извѣстно. Радищева послѣ крѣпости отправили въ ссылку, затѣмъ вернули уже при Павлѣ. При Александрѣ I одному изъ генералъ-губернаторовъ вздумалось пригрозить ему ссылкой. Измученные нервы не выдержали, и, вернувшись домой, Радищевъ отравился азотной кислотой.

Если мы поймемъ, *чѣмъ* было крѣпостное право для Россіи того времени, мы увидимъ, какъ серьезна скептическая мысль Радищева, и поэтому мы его смѣло можемъ назвать отцомъ русскаго общественнаго или, что то же относящагося къ общественному устройству, скептицизма. И это я утверждаю безъ колебанія, зная въ то же время, что книга Радищева прошла совершенно безслѣдно, что ее никто почти не читалъ, а послѣ смѣшной статьи Пушкина прямо махнули на нее рукой—дребедень-де и мальчишество. Отмѣчаю еще одну характерную черту „Путешествія"—ту именно, что главный мотивъ Радищева въ отношеніи къ крѣпостному праву—это чувство *жалости* къ мужику, къ бѣдному закабаленному народу, испуганно выглядывающему изъ подслѣповатыхъ избъ „на каждаго проѣзжающаго". До голоса совѣсти, до раскаянія въ грѣхахъ своихъ, до сознанія своей отвѣтственности передъ народомъ, до мысли, что ученикъ Запада долженъ притти на помощь этому напуганному мужику и закабаленному народу—еще очень далеко, но есть уже почва, на которой все это выростетъ. Это та почва, которой не зналъ Западъ въ своихъ сословныхъ отношеніяхъ—почва жалости. Самъ Радищевъ говоритъ объ этомъ въ предисловіи къ „Путешествію".

„Я взглянулъ окрестъ меня, *душа моя страданіями человѣческими уязвлена стала*, обратилъ взоры во внутренность мою и узрѣлъ, что *бѣдствія человѣка происходятъ отъ человѣка*, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы. Ужели, вѣщалъ я самъ себѣ, природа толика скупа была къ своимъ чадамъ, что отъ блудящаго невинно скрыла истину навѣки? Ужели сія грозная мачеха произвела насъ для того, чтобъ чувствовали мы бѣдствія, а блаженства николи? Разумъ мой вострепеталъ отъ сей мысли, и сердце мое далеко ее отъ себя оттолкнуло. Я человѣку нашелъ утѣшителя, въ немъ самомъ: „отъими завѣсу отъ очей природнаго чувствованія, и блаженъ будеши". Сей гласъ природы раздавался въ сложеніи моемъ. Воспрянулъ я отъ унынія моего, въ которое повергли меня чувствительность и состраданіе, я ощутилъ въ себѣ довольно силъ, чтобы противиться заблужденію и—веселіе неизреченное, я почувствовалъ, что возможно всякому быть соучастникомъ въ благоденствіи себѣ подобныхъ. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь".

И эти слова вполнѣ передаютъ настроеніе, диктовавшее его книгу.

Скептическое отношеніе въ русской литературѣ. Сдѣлаю теперь небольшой предварительный очеркъ скептическаго движенія въ нашей литературѣ, такъ какъ оно-то въ сущности наполняетъ собой всю первую половину XIX вѣка.

Скептицизмъ въ литературѣ XIX вѣка начинается съ Радищева. Могутъ сказать, что это наносное, не русское, могутъ конечно всѣ тѣ, кому еще не надоѣло повторять славянофильскіе начатки и хомяковскія катилинаріи противъ „выводовъ свирѣпой имманенціи". Обращаюсь поэтому къ помощи авторитета и дѣлаю справку у основательнѣйшаго и лучшаго историка нашей литературы, г. Пыпина.

„Скептицизмъ,—пишетъ онъ въ своихъ „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній",—тѣсно связанъ съ прошедшей умственной исторіей нашего общества". „Онъ кажется въ Чаадаевѣ неожиданнымъ на первый взглядъ; онъ выражается съ такою силою, такъ много захватываетъ, что мы съ удивленіемъ встрѣчаемъ его среди литературной рутины. Его появленіе будетъ однако понятно, если мы сопоставимъ его съ тѣми критическими запросами и сомнѣніями, которые давно высказывались въ русской литературѣ и жизни, съ первой русской литературы до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоѣдова. Въ этомъ рядѣ различныхъ ступеней общественной мысли мы въ состояніи будемъ прослѣдить постоянно возростающій уровень идеальныхъ требованій, и если вспомнимъ при этомъ, что литература всегда далеко не вполнѣ высказывала накопившееся недовольство, что истинная мысль лучшихъ людей развилась вполнѣ про себя, и что нужно принять въ соображеніе эту скрытую, но тѣмъ не менѣе дѣйствительную работу мысли, мы найдемъ объясненіе для этой *неожиданной степени скептицизма*. У Чаадаева эта затаенная мысль высказалась такъ полно потому, что, предполагая писать только для ближайшихъ друзей, онъ могъ обойтись безъ умолчаній и безъ лицемѣрія. *Мы будемъ обманывать себя, если станемъ считать вырывающіяся изрѣдка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу,—если будемъ скрывать отъ себя эти симптомы внутренняго процесса, который происходитъ въ сознаніи общества и который можетъ служить указателемъ развитія.* Мы убѣдимся въ органической законности явленія, если обратимъ вниманіе на то, что это явленіе имѣетъ, какъ свои анцетеденты, такъ и свои послѣдствія".

Нисколько не удивительно, что скептическое настроеніе молчало до 20-хъ годовъ прошлаго вѣка. Если оно и было при Павлѣ, то проявиться все равно не могло. „Цензура, какъ черный медвѣдь, стоитъ посреди дороги и отнимаетъ всякую охоту браться за перо",—писалъ по этому поводу Карамзинъ, который, какъ извѣстно, самъ, если и страдалъ наклонностями къ скептицизму, то въ другую сторону.—Затѣмъ мы занялись войной съ Наполеономъ, сначала правительственной, потомъ народной, и эта война отвлекала всѣ наши силы, сосредоточивала всѣ помыш-

ленія. Изгнаніе Наполеона было тріумфомъ почти неожиданнымъ, даже невѣроятнымъ и дало такую пищу любви къ отечеству и народной гордости, что скептики показались бы прямо чудовищами. Однако уже съ начала 20-хъ годовъ тамъ и здѣсь, преимущественно въ аристократіи, началось броженіе, которое закончилось бунтомъ на площади 14-го декабря. Причинъ этого движенія много, и здѣсь не мѣсто ихъ перечислять. Достаточно, если мы скажемъ, что тутъ повинны, между прочимъ, несбывшіяся надежды на преобразованія, возбужденныя восшествіемъ на престолъ юнаго императора Александра I-го—надежды, такъ долго поддерживаемыя имъ самимъ. Любопытно, что самъ Александръ считалъ эту причину наиважнѣйшей. По крайней мѣрѣ, когда въ 1824 году будущій „великій" Бенкендорфъ, тогда простой флигель адъютантъ, подалъ ему докладную записку, гдѣ не только всѣ замыслы будущихъ декабристовъ, но и всѣ имена ихъ обозначены полностью, а приближенные стали требовать мѣропріятій, государь сказалъ: „какъ могу я преслѣдовать *ихъ*, если я самъ такъ долго поощрялъ подобное настроеніе" (Шильдеръ, IV). Повинно далѣе и то, что „молодые люди, побывавшіе за границей и познакомившіеся съ тамошними порядками, возмечтали ввести ихъ въ Россіи". Такъ говорятъ наши учебники. Повинна тяжелая рука проходимца Аракчеева и мракобѣсіе Магницкихъ и Руничей, бѣснованіе Фотія. Повинно общее романтическое направленіе европейской литературы, такъ какъ—любопытная черта—декабристы-литераторы (Рылѣевъ, Кюхельбекеръ, Бестужевъ-Марлинскій) были романтиками чистой крови. Повинно и то, что въ послѣдніе годы царствованія Александра I дѣйствительно нечѣмъ было дышать, и, по словамъ одного современника, всѣ ходили такими же понурыми, „унылыми и испуганными, какъ при блаженной памяти императорѣ Павлѣ Петровичѣ". Декабристы продолжали радищевскую традицію, но его „чувствительности" придали политическую окраску, которой самъ Радищевъ былъ совершенно чуждъ. Ихъ мечтанія сосредоточивались возлѣ перемѣнъ государственнаго строя Россіи, но на соціальную сторону дѣла, т. е. крѣпостное право, они обращали слишкомъ мало вниманія, въ чемъ ихъ много упрекалъ „одинъ изъ своихъ", Н. Тургеневъ.

Заглянемъ еще далѣе, чтобы не растеряться въ пестротѣ картины.

Тридцатымъ годамъ присвоено и установлено за ними прозвище,—годовъ идеализма. Терминъ идеалиста „тридцатыхъ годовъ" такъ сжился съ нашей литературой, что всякій мало-мальски знакомый съ нею связываетъ съ нимъ не только опредѣленныя представленія, но и цѣлый рядъ знакомыхъ образовъ—Станкевича, Бѣлинскаго, Герцена, Огарева и т. д.

Что всѣ они были идеалистами—въ этомъ, разумѣется, сомнѣваться невозможно, но одинаково несомнѣнно, что, прежде чѣмъ стать идеалистами, они пережили бурно или тихо, скоро или медленно серьезный скептическій процессъ мысли. Даже Станкевичъ не избѣжалъ его, хотя казалось бы, что его мягкая любвеобильная и поэтическая натура меньше всего могла искать близости къ демону отрицанія. Если вы возьмете тотъ „духъ", который онъ привилъ своему кружку,—вы увидите, что тамъ „восторги передъ поэзіей и красотой" далеко не исчерпывались одними словами, да это было бы слишкомъ печальнымъ явленіемъ въ жизни только что зародившейся русской интеллигенціи. Нѣтъ, этотъ восторгъ, это пониманіе, эта любовь отражались прежде всего, какъ *требованіе суроваго нравственнаго долга*, преображались въ дѣйствительный подвигъ собственнаго очищенія, цѣломудрія, духовной возвышенности. Надо быть самому прекраснымъ и чистымъ, чтобы пониманіе красоты не исчезло въ душѣ, а, напротивъ того, ширилось и росло въ ней. И друзья невольно выработали для взаимныхъ своихъ отношеній строгій, немного даже монастырскій уставъ. Здѣсь на первомъ планѣ стояли безусловная искренность, откровенность и отрицаніе всего условнаго. Вообще же, что духъ отрицанія былъ далеко не чуждъ кружку, видно хотя бы изъ факта его восторженнаго преклоненія передъ Гоголемъ. Но, если бы даже не было этого, остается очевиднымъ, что Станкевичъ, выдвигая на первый планъ высокія нравственно-эстетическія требованія, становился въ полное противорѣчіе съ традиціонной жизнью барской русской среды—той ея стороной, по крайней мѣрѣ, которую Лермонтовъ такъ геніально охарактеризовалъ словами:

И предковъ скучны намъ *роскошныя забавы*,
Ихъ *добросовѣстный ребяческій развратъ*...

Источникъ идеализма несомнѣнно кроется столько же въ темпераментѣ Станкевича и усвоенія философіи Шеллинга, сколько и въ отрицаніи всѣхъ прежнихъ нравственныхъ устоевъ жизни. На самомъ дѣлѣ, передъ нами безусловно скептическое исповѣданіе вѣры, смыслъ которой сводится къ тому, что въ окружающей общественной жизни нѣтъ ни одной стороны, къ которой стоило бы и можно бы „прилѣпиться сердцемъ своимъ", не запачкавъ себя нравственно. Но о томъ же самомъ говорилъ и Чаадаевъ.

Не надо также забывать, что первымъ литературнымъ трудомъ Бѣлинскаго (кромѣ несохранившихся стихотвореній) была его трагедія. Правда по мнѣнію многихъ, объ этой трагедіи не стоитъ даже говорить, но почему не стоитъ? Конечно, она явленіе подражательное, въ ней слишкомъ много раздирательныхъ и жестокихъ сценъ и т. д.;—но, она не только

не хуже, а пожалуй, и лучше массы драматическихъ произведеній того времени. Если дѣйствующія лица говорятъ слишкомъ много, если они не могутъ безъ монолога, страницъ въ 15, не только убить себя, но даже выпить чашку чаю—то вѣдь это ошибка всей романтической школы. Идейная же подкладка пьесы, *вдохновленной ненавистью къ крѣпостничеству*, не оставляетъ желать ничего лучшаго. Это именно отрицаніе крѣпостничества, затѣмъ всякой ферулы, всякаго стѣсненія личной свободы, все равно, какъ и обыденной пошлой морали--это и было тѣмъ здоровымъ зерномъ, откуда, хотя и томительно медленно, развился геній Бѣлинскаго.

О Герценѣ *нечего* и говорить. Самымъ фактомъ своего рожденія *) (кромѣ, разумѣется, общихъ причинъ), онъ необходимо становился въ противорѣчіе съ окружавшей обстановкой. Онъ гордо носилъ случайно данное ему имя, но эта гордость не могла не оттолкнуть его отъ кружка стараго барства, къ которому принадлежалъ его отецъ, а его пылкая, съ головы до пятокъ интеллигентная натура толкала его въ другую обстановку, въ кругъ такихъ отщепенцевъ, какъ Чаадаевъ, или, послѣ, такихъ борцовъ и прирожденныхъ протестантовъ, какъ Бѣлинскій.

Но самымъ важнымъ какъ для характеристики, такъ и для пониманія тридцатыхъ годовъ остается то, что они создали и воспитали поэзію Лермонтова. Бѣлинскій былъ безусловно правъ, называя поэзію Пушкина „завершеніемъ“ всего прежняго періода русской литературы—на девять десятыхъ стихійной и безсознательной. Дальше, по пушкинской дорогѣ, итти было некуда: оставалось или перепѣвать его мотивы, или выбрать новые. Перепѣваніе же было бы совершенно безполезно, не только какъ перепѣваніе вообще, но и потому еще, что въ послѣдніе годы своей дѣятельности самъ Пушкинъ, очевидно, утерялъ почву подъ ногами и рѣшительно не понималъ ни потребностей, ни запросовъ окружавшей его жизни. Какъ поэтъ, онъ оставался великъ попрежнему, но исчезало его значеніе, какъ выразителя думъ, какъ талантливѣйшаго представителя своей исторической эпохи. Онъ пересталъ волновать сердца.

Поэзія Лермонтова,—(какъ и письма Чаадаева, о которыхъ—послѣ)—вся цѣликомъ выросла на отрицаніи прошлаго и настоящаго. Это было отрицаніе рѣзкое, мучительное, часто—страстное, въ лучшихъ вещахъ безпощадное. Когда вы читаете, напр. „Думу“, вы слышите смертный приговоръ и „добросовѣстному разврату предковъ“, и „нашему поколѣнію“, которое спѣшитъ къ смерти

---

*) Герценъ--незаконнорожденный.

...безъ славы и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой.
Ни геніемъ начатаго труда.

Эту строгость Лермонтова можно объяснить, разумѣется, лишь тѣмъ, что въ немъ, хотя бы стихійно и безсознательно, таились нравственно-общественныя требованія. Отрицая ихъ, вы никогда не поймете послѣднихъ строкъ „Думы“:

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Слово „гражданинъ“ было бы совершенно неумѣстно, будь Лермонтовъ занятъ исключительно одними метафизическими вопросами, противорѣчіемъ между небомъ и землею, борьбою между злымъ и добрымъ началами жизни, рожденіемъ и смертью. Все это въ немъ, конечно, было, какъ былъ и гордый вызовъ божеству и природѣ, и тоска по кратковременности земной страсти, и мистическая вѣра въ ея безсмертіе, но это не весь Лермонтовъ. Весь онъ не опредѣлился, хотя бы уже потому, что до конца дней своихъ не сумѣлъ сбросить съ себя романтическаго костюма, на что огромное, безусловное право давалъ ему его геній. Но одинъ голосъ настойчиво звучитъ въ его поэзіи, благодаря которому она такъ близка, такъ сродни намъ. Это голосъ совѣсти.

Обстоятельство это представляется мнѣ особенно важнымъ и существеннымъ. Надо же, наконецъ, согласиться, что мы, русскіе люди, въ высшей степени плохіе философы и что, въ сущности говоря, мы совершенно не склонны къ философскому мышленію. На какую „систему“ можемъ мы указать въ своемъ прошломъ и настоящемъ? Систему Сковороды? заимствованный мистицизмъ масонства? на ученія Чернышевскаго или Писарева, Данилевскаго или Страхова, Толстого или В. С. Соловьева? Какъ хотите, все это не философія, тѣмъ менѣе -русская философія. Не говоря уже о подражательномъ, заимствованномъ характерѣ многихъ изъ названныхъ системъ и ученій,—ни одно изъ нихъ не отвѣчаетъ требованіямъ дисциплинированной философской мысли—и каждое преставляетъ изъ себя не что иное, какъ *нравственную проповѣдь*. Это доказываетъ лишь то, что мы люди очень практичные—въ высшемъ смыслѣ этого слова, практичны не по стремленію къ наилучшему приспособленію, а по желанію урегулировать свою жизнь, подчинять ее извѣстному вѣроисповѣданію, извѣстной догмѣ. Поэтому-то и русскій скептицизмъ только чисто внѣшнимъ образомъ связанъ съ философскимъ скептицизмомъ запада.

Источникъ его не внутреннія противорѣчія метафизической мысли, а сердце, совѣсть, сознаніе незаконности своихъ сословныхъ преимуществъ.

Отчетливо слышенъ голосъ совѣсти у Лермонтова. Всмотритесь внимательно въ извилины и трещины этой измученной, со дня рожденія надломленной души и вы ясно увидите, что она находится подъ давленіемъ какого-то тяжелаго грѣха и въ трепетномъ ожиданіи возмездія за него. Конечно, это не личный грѣхъ Лермонтова. Какіе у него, въ сущности, грѣхи? Такъ себѣ—гвардейскіе и уланскіе—не больше. А между тѣмъ человѣкъ, и притомъ несомнѣнно великій человѣкъ, постоянно и искренно страдаетъ, постоянно недоволенъ собою и окружающимъ, чувствуетъ на своей головѣ терновый вѣнецъ страданія. Тутъ заговорила властно и настойчиво совѣсть, измученная грѣхами прошлыхъ поколѣній.

Лермонтовъ осудилъ себя и свое поколѣніе. Именно идея „суда", „возмездія" и была особенно сильна въ немъ, и любопытно въ этомъ отношеніи не только припомнить „Думу" или „Первое января", но и сравнить его „Пророка" съ „Пророкомъ" Пушкина. Пророческій даръ пріобрѣтается послѣднимъ въ высшей степени легко, что видно хотя бы изъ стиха:

Перстами легкими, какъ сонъ,
Моихъ зеницъ коснулся онъ.

Пушкинскій пророкъ идетъ къ людямъ съ тѣмъ, чтобы жечь „глаголомъ ихъ сердца",—т. е. возбуждать ихъ къ подвигамъ, ко всему высокому и прекрасному,—короче сказать, къ благу. Пророкъ Лермонтова получилъ свой даръ отъ высшаго Судіи. Это даръ мучительный, дающій возможность читать лишь „страницы злобы и порока". Куда же, въ такомъ случаѣ, должна обращаться проповѣдь? Очевидно, она будетъ взывать къ совѣсти, она будетъ исполнена упрековъ, она будетъ состоять изъ словъ „облитыхъ горечью и злостью": у нея только одна цѣль—вызвать раскаяніе, напомнить о возмездіи.

„Грѣховность жизни", смутное, но стихійно-могучее сознаніе ея не давали покоя Лермонтову, естественно и необходимо вызывая въ немъ отвѣтственность передъ жизнью, съ которой такъ не мирился его гордый саркастическій умъ. Но онъ былъ проникнутъ ею во всемъ и даже въ своей литературной дѣятельности. Вы, конечно, помните его знаменитое стихотвореніе, гдѣ онъ говоритъ, что не хочетъ:

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка сонъ спокойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ.

О, нѣтъ! Преступною мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

„Я вашей славы не куплю!“—а вѣдь Лермонтовъ любилъ эту „славу“ и дорожилъ ею. Но онъ слишкомъ хорошо понималъ, какою „тяжелою цѣною“ можетъ быть она куплена.

Эта тяжелая цѣна—нарушеніе цѣльности жизни, цѣльности міросозерцанія, это разрывъ со всѣмъ прошлымъ во имя никому невѣдомаго будущаго—разрывъ, возбужденный лишь голосомъ возмущенной совѣсти. И онъ не рѣшался, не смѣлъ взять на себя такой отвѣтственности и лишь въ грустномъ раздумьѣ спрашивалъ себя:

...Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но ежечасно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... Зачѣмъ?

Это удивительное „зачѣмъ“ звучитъ чѣмъ-то робкимъ и тоскливымъ, и мнѣ кажется, что Лермонтовъ, несмотря на всю свою сатанинскую гордость, несмотря на озлобленный, суровый умъ, былъ въ основѣ своей натуры тоскующимъ и робкимъ. Совѣсть властно говорила въ немъ, властно терзала его.

Я послѣ скажу о произведеніяхъ Гоголя и Грибоѣдова. Самъ Гоголь, какъ это прекрасно извѣстно, никогда не видѣлъ въ нихъ „вѣрнаго и талантливаго изображенія дѣйствительности“, а прежде всего видѣлъ проповѣдь. Это прекрасно понялъ и оцѣнилъ Герценъ въ извѣстныхъ словахъ: „Проповѣдь (въ тридцатые годы) шла все сильнѣе... *все одна проповѣдь*... И смѣхъ, и плачъ, и рѣчь, и книга, и Гоголь, и исторія—все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ; все указывало на науку и образованіе, на очищеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце“. Люди тосковали, рвались на просторъ, одни зная, другіе не зная, почему они тоскуютъ и чего хотятъ.

Тутъ же намъ придется основательно и почтительно вспомнить „Московскій Телеграфъ“ Полевого—этотъ умный и трезвый органъ нашего литературнаго романтизма, и знаменитыя „Философическія письма“ Чаадаева и всю дѣятельность Бѣлинскаго и критику славянофильскаго лагеря, заблудившуюся, впрочемъ, среди семи сосенъ, окружавшихъ родное Пошехонье XIX вѣка, и мы увидимъ въ концѣ концовъ, что зерно, брошенное Радищевымъ, упало не на каменную почву.

Конечно, скептическое начало не единственное въ нашей литературѣ и кажется, никто кромѣ министра народнаго просвѣщенія Ширинскаго-Шихматова не считалъ ее сплошь отравленной духомъ отрицанія. Тамъ, гдѣ что-нибудь есть, должно быть и ему противоположное,—училъ Гегель. Было такъ и у насъ. Рядомъ съ скептицизмомъ, рука объ руку шла работа созиданія и построенія, и мы то и дѣло будемъ встрѣчаться съ ея отдѣльными проявленіями. Мы увидимъ эту работу въ знаменитой „Запискѣ о старой и новой Россіи“ Карамзина, который всю надежду Россіи полагалъ въ подысканіи 54 четырехъ губернаторовъ,—въ филологическихъ бредняхъ и наивностяхъ Шишкова, отрицавшаго всякія реформы, кромѣ реформъ языка, и думавшаго, что разъ вмѣсто „министръ“ будутъ говорить „дѣлецъ государственный“, то и все остальное пойдетъ прекрасно, — во второй части „Мертвыхъ душъ“, гдѣ встрѣтимся съ экономными помѣщиками, честными откупщиками, чуть не святыми генералъ-губернаторами,—въ „Перепискѣ съ друзьями“ того же Гоголя, гдѣ преподается, какъ честно и правдиво жить, оставаясь заядлымъ крѣпостникомъ и пользуясь чуть ли не всей безграничной полнотой помѣщицьей власти,—въ ученіи славянофиловъ съ ихъ призывомъ „назадъ домой“ и т. д. Ничуть не меньшую построительную работу мы найдемъ у самихъ скептиковъ, начиная съ „Естественнаго права“ Куницына, — въ бумажной бѣдненькой конституціи декабристовъ, въ ихъ романтическихъ мечтаніяхъ о вольности. Углубляется эта работа въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, когда молодежь увлекается натурфилософіей Шеллинга, Параболой и Новымъ Евангеліемъ Сенъ-Симона и сенсимонистовъ, затѣмъ гегельянствомъ и, наконецъ, Жоржъ Зандъ и участью собственнаго закабаленнаго народа, который съ этой поры становится главной думой и камнемъ краеугольнымъ русской литературы... И замѣчательно, что какъ бы ни различны были разсматриваемыя нами эпохи, какъ бы ни различны были отвѣты, даваемые на поставленные вопросы, и изъ какого бы лагеря ни исходили эти отвѣты—всегда открывается огромный антагонизмъ, скрывающійся въ двухъ противоположныхъ рѣшеніяхъ. Первое рѣшеніе это то, что мы сами достаточно сильны, и основы нашей жизни достаточно мощны, и мы должны почерпать поэтому все отъ нѣдръ собственнаго духа, лишь съ мудрой осторожностью заимствуя подробности и техническія усовершенствованія у западныхъ сосѣдей. Второе рѣшеніе: сами мы слабы, все, что есть у насъ добраго, взято у запада, мы нисколько не самобытны и не оригинальны (въ положительную сторону, развѣ въ отрицательную, ибо варвары), никакого самостоятельнаго культурнаго типа мы изъ себя не представляемъ, почему и должны оставаться въ роли покорныхъ учениковъ запада... Это споръ западниковъ и славяно-

филовъ. Онъ не законченъ еще и теперь. Въ немъ таится большое зерно раздора. Мы должны внимательно прослѣдить его.

Все скептическое движеніе вращалось, какъ вокругъ своей оси — около вопроса о крѣпостномъ правѣ. Откуда пришло къ намъ „право“ и почему—это въ данномъ мѣстѣ для насъ безразлично; для насъ важно, что оно изъ себя представляло и какія общественныя мысли о жизни возбуждало оно? Прежде всего надо совершенно отказаться отъ прикрашеннаго и намалеваннаго слова „крѣпостное состояніе“ и замѣнить его просто рабствомъ. На самомъ дѣлѣ, разъ существовала полная возможность продавать крестьянъ оптомъ и въ розницу *безъ земли*, ни о какомъ крѣпостномъ состояніи не можетъ быть и рѣчи. Крѣпостной крестьянинъ крѣпокъ землѣ; русскій крѣпостной былъ крѣпокъ не землѣ, а помѣщику, который могъ дѣлать съ нимъ все, что угодно. Не могъ (по указамъ) онъ только убить его, но это ограниченіе фактически не оказывало никакого дѣйствія.

Впрочемъ, для насъ въ настоящую минуту даже неважно, было ли крѣпостное право — рабствомъ, или же просто крѣпостнымъ состояніемъ, принявшимъ, благодаря произволу помѣщиковъ и слабости центральной власти, форму рабства,—важно для насъ указать на фактъ, что крѣпостное состояніе массъ играло въ жизни государства роль огромную и даже первенствующую. Русскіе люди въ громадномъ большинствѣ случаевъ не могли представить себѣ существованія своего отечества безъ этого уклада. Павелъ Петровичъ считалъ его не только укладомъ но и устоемъ всего правительственнаго механизма *): „у меня 100.000 даровыхъ полицеймей-

---

*) Вотъ оффиціальная точка зрѣнія на крѣпостное право, изложенная гр. Уваровымъ уже при Николаѣ I.

1) Вопросъ о крѣпостномъ правѣ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи, даже единодержавіи.

2) Это двѣ параллельныя силы, какъ развивавшіяся вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало, *законность ихъ одинакова.*

3) Что было у насъ прежде Петра I-го, то все прошло, кромѣ крѣпостного права, которое, слѣдовательно, не можетъ быть тронуто безъ всеобщаго потрясенія.

4) Крѣпостное право существуетъ, какое бы ни было нарушеніе его повлечетъ за собой неудовольствіе дворянскаго сословія, которое будетъ искать себѣ вознагражденія гдѣ-нибудь, а искать негдѣ кромѣ области самодержавія...

5) Могутъ отдѣлиться даже части — остзейскія провинціи, самая Польша и т. д. все въ томъ же тонѣ. (См. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина“ Т. 9, стр. 305—339).

стеровъ"—говорилъ онъ, подразумѣвая подъ полицеймейстерами помѣщиковъ. Крѣпостное право создало такія понятія, какъ „дворянская честь", „сословный духъ", „дворянская гордость" и пр. Оно вызвало на свѣтъ Божій обломовщину, а обломовщина представлялась даже Добролюбову однимъ изъ существеннѣйшихъ, наиболѣе грустныхъ, но и наиболѣе трудно поддающихся леченію недостатковъ „нашего русскаго общества", „Пусть крѣпостное право исчезло, слѣды его остались и надолго еще останутся самыми глубокими въ нашей жизни. Глубочайшимъ же слѣдомъ мы вслѣдъ за Добролюбовымъ должны признать явленіе, окрещенное имъ именемъ обломовщины" — писалъ Кавелинъ. Крѣпостное право позволяло нашей внутренней жизни оставаться почти безъ измѣненій, такъ какъ отъ Петра до Екатерины (дворянская грамота) и отъ Екатерины до Александра I-го не было произведено ни одной сколько-нибудь серьезной реформы. Все царствованіе Николая I-го прошло въ засѣданіяхъ разныхъ комитетовъ и комиссій, въ безплодныхъ разговорахъ и преніяхъ о реформахъ. Крѣпостное право, т. е. право на чужой даровой трудъ, позволяло вести хозяйство спустя рукава,—и все же, слава Богу, помѣщики были сыты, плодились и множились. Къ чему было вводить какія бы то ни было улучшенія, когда и безъ нихъ три четверти погребовъ были завалены недурной провизіей, а кладовыя ломились отъ никому не нужныхъ холстовъ, полотенъ и домашнихъ суконъ. Крѣпостное право вызвало наружу, упрочило и даже кристаллизировало такія народныя добродѣтели, какъ смиренномудріе, вѣра въ свою „планиду", полное безвѣріе въ человѣка, его силы и способности — словомъ полную резиньяцію, какъ говорили наши прабабушки и прадѣдушки, „полное холопство", какъ скажемъ мы. Крѣпостное право вызвало славянофильское настроеніе у тѣхъ, кто, какъ Тургеневъ, помнилъ Лутовиново... Наконецъ, благодаря крѣпостному праву, слишкомъ долго застоявшемуся и позволившему горсти людей дойти до вершинъ мысли и образованія, при общей ничтожности окружающаго, такъ невѣроятно пышно и быстро распустилась наша художественная литература.

Какъ это ни странно, но это так. Позволю себѣ по этому поводу небольшое отступленіе.

Уже со времени Тэна стало совершенно немыслимымъ и даже противонаучнымъ разсматривать художественное произведеніе, какъ нѣчто самодовлѣющее, какъ продуктъ индивидуальнаго духа. Вмѣсто этой точки зрѣнія Тэнъ съ особенной силой выдвинулъ другую, болѣе широкую точку зрѣнія — среды.

„Чтобы понять данное художественное произведеніе,—говоритъ Тэнъ,—даннаго артиста, данную группу артистовъ, надо съ точностью представить

себѣ общее состояніе умовъ и нравовъ ихъ времени. Тамъ лежитъ послѣднее объясненіе, тамъ находится первая причина... Если мы прослѣдимъ главныя эпохи исторіи, то найдемъ что искусства появляются и исчезаютъ вмѣстѣ съ извѣстными состояніями умовъ и нравовъ... Великая греческая трагедія является вмѣстѣ съ побѣдой грековъ надъ персами, въ моментъ героическаго напряженія народнаго духа, и исчезаетъ вмѣстѣ съ независимостью республики, когда измельчаніе характеровъ и македонское завоеваніе отдаютъ Грецію во власть иностранцевъ". Художественное произведеніе, съ этой точки зрѣнія, не создаетъ, а только закрѣпляетъ общественное настроеніе. Возьмите напр., „Потерянный Рай" Мильтона. Въ этой поэмѣ — все религіозное вдохновеніе, всѣ народовольческіе восторги англійскихъ пуританъ XVII вѣка. Ни Кромвель, ни Пимъ, ни Гамденъ, ни сами пуритане ни разу не названы въ ней, нигдѣ нѣтъ даже прямыхъ указаній на волненія и революцію, и все же вы чувствуете, что весь интересъ „Потеряннаго Рая" въ нихъ-то и заключается, что, неназванные, они присутствуютъ на каждой страницѣ, что вездѣ ихъ чувства, ихъ мысли, ихъ настроеніе. Пусть даже это не та пуританская Англія, которую мы знаемъ изъ исторіи. Мы не видимъ ея мелочности, ханжества практическихъ стремленій; она является передъ ними очищенной отъ земной грязи. Мильтонъ взялъ свое время въ высшемъ его появленіи — въ проявленіи героизма, радостно идущаго на смерть за свою вѣру, героизма гордаго и непреклоннаго.

Нашъ Пушкинъ суммировалъ, закрѣпилъ общественную энергію, вызванную реформаторскими вожделѣніями первой половины царствованія Александра Павловича, борьбой съ Наполеономъ и тѣмъ движеніемъ мысли, которое такъ грустно закончилось среди тяжелыхъ „недоразумѣній"; Некрасовъ захватилъ огромную полосу нашего нравственнаго развитія: въ лучшихъ его вещахъ мы постоянно слышимъ кающагося дворянина; главная тема Достоевскаго — встрѣча дворянина съ разночинцемъ, т. е. тема историческая, очень рельефная въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій, пока, какъ теперь, все не свалилось въ общую кучу.

Не будемъ однако останавливаться на этомъ. Къ индивидуальному творчеству мы прибавили среду. Сдѣлаемъ еще шагъ впередъ. Исторія литературы постоянно подтверждаетъ глубокую справедливость формулы Гегеля, который говорилъ, положимъ, на счетъ философіи, что „сова Минервы вылетаетъ только по ночамъ"—это значитъ, что задача философа только претворить въ мысль уже существующее въ жизни, а это бываетъ возможнымъ лишь тогда, когда существующее изжило само себя, раскрыло все свое содержаніе, износило свои жизненныя силы и все свое тайное превратило въ явное. Сова Минервы вылетаетъ по ночамъ также и въ

области литературы. Великія философскія системы и великія созданія художественнаго творчества появляются послѣ того, какъ содержаніе ихъ, какъ жизненные факты, послужившіе ихъ матеріаломъ, сдѣлались уже достояніемъ прошлаго и отступили на задній планъ подъ напоромъ новыхъ вѣяній.

„Рисовать трудно и по-моему просто нельзя,—говоритъ Гончаровъ,—съ жизни еще не сложившейся, гдѣ формы еще не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно лишь въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ, но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются каждый день и будутъ неуловимы для пера“...

Это удивительно глубокое и важное замѣчаніе и, чтобы оцѣнить его стоитъ перелистать любую исторію литературы, хотя бы нашей. „Писать самый процессъ броженія нельзя“. Даже такіе гиганты слова, какъ Гончаровъ и Тургеневъ, въ своихъ Волоховыхъ, Тушиныхъ, Неждановыхъ, Миличъ потерпѣли неудачу и лишь въ общихъ блѣдныхъ чертахъ намѣтили новыхъ людей. Вся современная литература относится къ періоду броженія,—чего же особеннаго хотите вы отъ нея?

Крѣпостная, дореформенная Россія въ годы своей агоніи выдвинула цѣлую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Корни творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островского, Толстого—въ той эпохѣ, когда крѣпостное право стояло, „какъ скала“. Крѣпостному праву можно было воспѣвать панегерики, воплотивъ его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, смиренія, всепрощенія, какъ то сдѣлалъ Гоголь въ „Перепискѣ“, можно было безстрастно анализировать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячей ненавистью, какъ Тургеневъ,—это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвѣ, уже выслушавшей свой смертный приговоръ отъ исторіи, на почвѣ, уходившей изъ-подъ ногъ, но *выразившейся въ рѣзкихъ, какъ бы изъ мрамора высѣченныхъ формахъ*. Истинно художественный образъ—цѣльный образъ, какъ Ричардъ III, Лиръ, Донъ-Кихотъ или наши Маниловы, Коробочки. Но, чтобы изобразить цѣльный образъ, художникъ долженъ имѣть его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія совершенно сложились и какъ бы застыли въ своей неподвижности, т. е. эпоху умирающую. Скажу прямо: „Расцвѣтъ искусства совпадаетъ съ періодомъ, когда извѣстная, опредѣленно и рѣзко сложившаяся историческая эпоха умираетъ, но уже занимается заря новой жизни, и человѣкъ особенно страстно и нетерпѣливо хочетъ жить и безпокойно мечется, выискивая то неясное и таинственное, что сулитъ ему будущее“...

Такимъ переходомъ въ нашей исторіи были 40-е года. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе, и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великолѣпная художественная и критическая литература. На сцену сразу выступила цѣлая плеяда талантовъ.

Не говорю уже о чисто матеріальной сторонѣ вопроса. Такіе совѣты, какъ совѣтъ Гоголя: написать—отложить, переписать—еще отложить и т. д., могли зародиться лишь въ эпоху, когда наши литературныя задачи не имѣли въ себѣ ничего ремесленническаго, когда писателю не приходилось торопиться и онъ былъ обезпеченъ извнѣ. Огромная часть первыхъ нашихъ писателей—дворяне; крѣпостное право поддерживало ихъ творчество и съ этой матеріальной стороны.

Словомъ, крѣпостное право опредѣленностью своихъ общественныхъ отношеній, а значитъ и опредѣленностью индивидуальныхъ физіономій доставило отчетливый матеріалъ для художественнаго творчества, а своими рѣзкими противорѣчіями всему—и просвѣщенному духу вѣка, и развитію народнаго богатства, и элементарному чувству справедливости, породило богатую публицистическую литературу. Но не породила и не могла породить она двухъ вещей, безъ которыхъ никакая культурная жизнь немыслима—ни привычки къ труду, ни уваженія личности къ собственному достоинству,

---

Литература первой четверти вѣка.

Здѣсь, въ своемъ введеніи, я могу дать лишь самую общую характеристику, предполагая факты, изложенные въ учебникахъ литературы, извѣстными читателю. Вообще эта литература, вплоть до Пушкина, еще вся въ XVIII вѣкѣ. Серьезной общественной подкладки въ ней нѣтъ и очень хорошее опредѣленіе дала ей г-жа Сталь своей остроумной фразой: „въ Россіи есть нѣсколько дворянъ (gentilhommes), занимающихся также литературой“. Литература только организовалась, только пробивала себѣ дорогу, искала себѣ читателей и вѣрныхъ слугъ, находя ихъ конечно, но въ очень ограниченномъ количествѣ. Но все же въ воздухѣ чувствуется уже новое вѣяніе, которое выразилось прежде всего въ томъ, что появилась довольно большая журналистика и такіе прирожденные журналисты, какъ Карамзинъ, Пнинъ и т. д.

Въ 1802 г. Карамзинъ выступилъ съ своимъ „Вѣстникомъ Европы“, выходившемъ въ Москвѣ 2 раза въ мѣсяцъ. Это былъ общелитературный журналъ, по типу приближающійся къ нашимъ современнымъ, но самою характерною его особенностью было то, что въ немъ впервые стали пра-

вильно появляться политическія обозрѣнія, не особенно глубокія, какъ все, что вышло изъ-подъ пера знаменитаго историка, но любопытныя, тѣмъ болѣе, что Карамзинъ прилагалъ всѣ усилія сдѣлать ихъ интересными. Считая гражданское устройство Россіи незыблемымъ и являясь въ этомъ смыслѣ консерваторомъ, онъ придерживается однако точки зрѣнія просвѣщеннаго либерализма, признаетъ общественный прогрессъ, говоритъ о развитіи мысли, но въ очень опредѣленныхъ рамкахъ „покорной преданности закону и власти". Очень часто возвращается онъ къ французской революціи и видитъ въ ней прежде всего высокій урокъ народамъ о святости гражданскаго строя, но онъ не негодуетъ на нее, а какъ бы даже признаетъ ея историческую неизбѣжность. Въ статьѣ „Прекрасные виды, надежды и желанія нашего времени" онъ говоритъ между прочимъ:

„Революція объяснила идеи: мы увидѣли, что гражданскій порядокъ священъ даже въ самыхъ мѣстныхъ и случайныхъ недостаткахъ своихъ; что власть его есть для народовъ не упрямство, а защита отъ тиранства; что, разбивая сію благодѣтельную эгиду, народъ дѣлается жертвою ужасныхъ бѣдствій, которыя несравненно злѣе всѣхъ обыкновенныхъ злоупотребленій власти... Съ половины XVIII вѣка всѣ необыкновенные умы страстно желали великихъ перемѣнъ и новостей въ учрежденіи обществъ; всѣ они были въ нѣкоторомъ смыслѣ врагами настоящаго, теряясь въ лестныхъ мечтахъ воображенія. Вездѣ обнаруживалось какое-то внутреннее неудовольствіе; люди скучали и жаловались отъ скуки; видѣли одно зло и не чувствовали цѣны блага. Проницательные наблюдали, ожидая бури; Руссо и другіе предсказали ее съ разительною точностью; громъ грянулъ изъ Франціи... мы видѣли издали ужасы пожара, и всякій изъ насъ возвратился домой благодарить небо за цѣлость крова нашего и быть разсудительнымъ. Теперь всѣ лучшіе умы стоятъ подъ знаменами властителей и готовы только способствовать успѣхамъ настоящаго порядка вещей, не думая о новостяхъ. Никогда согласіе ихъ не бывало столь явнымъ, искреннимъ и надежнымъ. Съ другой стороны, правительства чувствуютъ важность сего союза и общаго мнѣнія, нужду въ любви народной, необходимость истребить злоупотребленія. Почти на всѣхъ тронахъ Европы видимъ юныхъ государей, дѣятельныхъ и ревностныхъ къ общему благу. Революція была злословіемъ свободы; правительства, не хвалясь именемъ, дозволяютъ гражданамъ пользоваться всѣми ея выгодами, согласными съ основаніемъ и порядкомъ общества. Революція обѣщала равенство состояній; государи, вмѣсто сей химеры, стараются, чтобы гражданинъ во всякомъ состояніи былъ доволенъ, чтобы ни которое не было презрительнымъ, ни угнетеннымъ. Будемъ справедливы: гдѣ теперь добрый человѣкъ не можетъ наслаждаться безопасностью? Свирѣпствуетъ ли гдѣ-нибудь тиранство въ Европѣ, если исключимъ Турцію? Не вездѣ ли начальства желаютъ способствовать успѣхамъ воспитанія и просвѣщенія, которое есть не только источникъ многихъ удовольствій въ жизни, но и самой благородной нравственности, которое образуетъ мудрыхъ министровъ,

достойныхъ орудій правосудія, сыновъ отечества въ семействахъ, рождая чувство патріотизма, чести, народной гордости, и безъ котораго люди служатъ только одному идолу—подлой корысти. Государи, вмѣсто того, чтобы осуждать разсудокъ на безмолвіе, склоняютъ его на свою сторону".

Съ точки зрѣнія просвѣтительной литературы временъ Екатерины II, особенно же ея „Наказа" тутъ нѣтъ ничего новаго. Несомнѣнно все же, что Карамзинъ былъ очень и очень далекъ отъ надеждъ и мечтаній правительства первыхъ 10—11 лѣтъ прошлаго вѣка и въ заслугу ему приходится поставить лишь то, что обскурантъ во всемъ, что касалось соціальнаго устройства Россіи, т. е. прежде всего конечно крѣпостного права—онъ этотъ свой обскурантизмъ не распространялъ ни на литературу, для которой онъ требовалъ признанія и благоразумной свободы, ни на просвѣщеніе, понимая подъ нимъ просвѣщеніе привилегированныхъ классовъ. Вообще Карамзинъ только литературный либералъ и реформаторъ, реформаторъ нашего языка и типа нашей журналистики, на знамени которой онъ написалъ: „разнообразіе, поучительность и общедоступность"...

Беллетристика „Вѣстника Европы" продолжала сантиментальныя и романтическія традиціи первыхъ журналовъ и сборниковъ Карамзина („Московскаго Журнала" и „Аглаи"). Здѣсь онъ напечаталъ свою большую повѣсть „Марѳа Посадница", гдѣ, всецѣло восхищаясь новгородскими вольностями, опять пользуется всякимъ случаемъ, чтобы прочесть народамъ нравоученіе о пользѣ сильной власти и необходимости полной ей покорности.

Вообще съ годами Карамзинъ дѣлался все болѣе государственникомъ и нравоучительнымъ. Скоро оставивъ „В. Е." (1804) онъ принялся за свои историческіе труды, за записку „о древней и новой Россіи" и за свою „Исторію". Въ „Исторіи" онъ старается въ особенности возвеличить русскія духовныя качества—покорность и смиреніе; видитъ истиннаго своего героя въ Іоаннѣ III, создавшемъ мощное государство на патріархальныхъ началахъ народной жизни. Слишкомъ риторъ, онъ постоянно увлекается краснорѣчіемъ, почему не всегда съ опредѣленностью высказываетъ свои взгляды. Но несомнѣнно, что своими симпатіями къ патріархальности онъ протягиваетъ руку славянофиламъ и какъ бы подготовляетъ почву для нихъ. Недаромъ впослѣдствіи М. Погодинъ возвелъ его въ герои. Въ запискѣ, предназначенной для государя, а не для публики, онъ высказывается еще рѣзче. Онъ недоволенъ Петромъ Великимъ, больше же всего—Екатериной II, за ея пристрастіе къ Западу. Скрытно онъ вездѣ полемизируетъ со Сперанскимъ, считаетъ его преобразовательные замыслы безусловно вредными и смѣло высказываетъ мысль, что Россія Александра I-го должна учиться у московской Руси Іоанна III-го. Это уже настоящая ячейка будущаго знаменитаго спора западниковъ и славянофиловъ.

Пнинъ гораздо либеральнѣе. Онъ радостно откликнулся на всѣ либеральныя вѣянія своей эпохи и часто заходилъ дальше нихъ.

„Литературная дѣятельность его была непродолжительна, зато отмѣчена характеромъ безупречной честности и послѣдовательности въ проведеніи своихъ мыслей. Онъ былъ сторонникомъ человѣколюбивой философіи XVIII-го вѣка, служилъ ей искренно, преданно и притомъ не только въ литературѣ, но и въ жизни".

„Будучи весьма не богатъ—говоритъ его біографъ—онъ любитъ помогать несчастнымъ. Съ жаромъ друга человѣчества, всякую скорбь угнетеннаго людьми или судьбою человѣка бралъ онъ близко къ сердцу своему и не щадилъ ни трудовъ, ни покоя, ни иждивенія для облегченія судьбы несчасныхъ. Въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ, въ оригинальныхъ статьяхъ, въ переводахъ, даже въ стихахъ Пнинъ выказывалъ занимавшія его мысли о наилучшемъ политическомъ устройствѣ и, насколько позволяли внѣшнія препятствія, дѣлалъ болѣе или менѣе прозрачные намеки на современное ему положеніе Россіи".

(*Пятковскій*)

Онъ задумываетъ издавать „Народный Вѣстникъ", „Опытъ о просвѣщеніи", „Вопль невинности, отвергаемой закономъ", и подъ тѣмъ же настроеніемъ историческую драму „Велизарій";—много стиховъ,—„О возбужденіи патріотизма", и т. д., и во всемъ, что выходитъ изъ-подъ его пера является самымъ ревностнымъ просвѣтителемъ. Самый замѣчательный его взглядъ конечно тотъ, что между просвѣщеніемъ и политическимъ состояніемъ народа онъ видитъ тѣснѣйшую связь и зависимость, что отказывался признать XVIII-й вѣкъ. Просвѣщеніе онъ понимаетъ шире чѣмъ образованіе, для него оно нераздѣльно съ господствомъ законности, съ уничтоженіемъ произвола. Оттого-то для него ясно, что при господствѣ крѣпостного права никакого истиннаго просвѣщенія въ Россіи быть не можетъ. Сочувствуя Радищеву, онъ въ болѣе отвлеченной и разсудочной формѣ повторяетъ его взгляды, очень оригинально обосновывая ихъ восторженной защитой собственности. „Собственность,—пишетъ онъ,—священное право, душа общежитія, источникъ законовъ. Гдѣ ты уважена, гдѣ ты неприкосновенна—тамъ только спокоенъ, благополученъ гражданинъ. Но ты бѣжишь отъ звука цѣпей, ты чуждаешься невольниковъ. Права твои не могутъ существовать ни въ рабствѣ ни въ безначаліи". Первое практическое требованіе Пнина заключается, значитъ, въ томъ, чтобы *право собственности было обезпечено за земледѣльческимъ сословіемъ*. Это идея наполеоновскаго кодекса и „коренного" проекта Сперанскаго, идея чисто западническая, очень замѣчательная по своей опредѣленности.

Резюмируя свою характеристику Пнина біографъ пишетъ:

„Назвавъ русскія сословія, Пнинъ замѣчаетъ, что одно изъ нихъ, именно земледѣльческое, находится въ страдательномъ состояніи, бу-

дучи отдано во власть рабовладѣльцевъ, поступающихъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ со скотомъ. Важнѣйшая забота законодателя должна состоять по его мнѣнію, въ огражденіи правъ собственности земледѣльческаго класса: только этимъ путемъ можно распространить истинное просвѣщеніе въ народѣ. Рисуя печальную картину крестьянскаго быта, авторъ порицаетъ многія явленія въ жизни другихъ сословій, не щадитъ и системы управленія во всѣхъ ея отрасляхъ. О купцахъ говорится, что они не поддерживаютъ другъ друга въ несчастныхъ случаяхъ; богатый купецъ, видя неудачу и гибель своего собрата, не только не подаетъ ему помощи, но еще спѣшитъ притѣснить его, чтобы воспользоваться его несчастьемъ. Въ службу гражданскую, по словамъ автора, опредѣляютъ безъ всякаго разбора; чины и мѣста раздаютъ людямъ, едва умѣющимъ читать и подписывать свое имя; люди же достойные избѣгаютъ службы, опасаясь подпасть подъ начальство господъ, заслуживающихъ не почета, а презрѣнія и т. д.".

(*Пятковскій*).

Пнинъ во всякомъ случаѣ счастливое и рѣдкое исключеніе въ ту эпоху, когда „въ Россіи нѣкоторые дворяне занимались также литературой". Такими счастливыми исключеніями не надо увлекаться и надо представить себѣ ту ужасающую бѣдность общественной жизни, ту духовную нищету, которая ничѣмъ не интересовалась, никуда не стремилась, ничего не искала, совершенно довольная своей рабской обстановкой и приходившая въ восторгъ отъ разрѣшенія носить фраки и круглыя шляпы, какъ это было въ началѣ царствованія Александра I-го. Русское масонство, напр., представляло изъ себя дѣтскій переводъ западнаго теченія, и какъ ни стараются теперь преувеличить его значеніе, фактъ тотъ, что содержаніе его совершенно ничтожно. Лучшее въ немъ сводилось къ филантропіи, къ мало-дѣятельному отрицанію кастовыхъ различій, обычное же къ ребяческой игрѣ въ тайныя общества и къ такой же игрѣ въ алхимію, магію, астрологію. Уже потому, что Сперанскій все время оставался однимъ, что его паденіе вызвало общую радость, что ни одинъ изъ либеральныхъ проектовъ самого императора не осуществился, наткнувшись столько же на подозрительность собственнаго его характера, сколько и на полное равнодушіе общества и его непріязнь къ какимъ бы то ни было преобразованіямъ. Высшіе слои общества разлеглись на молчаливой народной массѣ и, совершенно придавивъ ее своею тяжестью, чувствовали себя превосходно.

Что читали? Старые писатели XVIII вѣка—Херасковъ, Державинъ, Ломоносовъ и т. д. пользовались полнымъ авторитетомъ. Очень нравились сантиментальныя повѣсти Карамзина, потому что сантиментализмъ ни къ чему не обязывалъ, но давалъ пріятное настроеніе сердечной чувствительности — онъ былъ даже въ большой модѣ, что видно по журналистикѣ того времени;—фуроръ произвела „Исторія государства россійскаго" Карам-

зина. Историку приходится удовлетворяться крупицами. Только 12-й годъ заставилъ встряхнуться это стоячее болото.

„Въ новѣйшей исторіи не было событія, которое до такой степени охватило бы не только общество, но и цѣлую народную массу однимъ могущественнымъ чувствомъ, потребовало бы напряженія физическихъ и нравственныхъ силъ, затронуло бы такъ глубоко національное сознаніе. Если потомъ возникали вопросы о народѣ, о національныхъ отношеніяхъ Россіи къ Западу, о необходимости внутренней общественной работы, то богатую почву для этихъ вопросовъ дали въ особенности эти событія и ихъ ближайшія послѣдствія. Первыя впечатлѣнія были пока смутны и развились потомъ весьма разнообразно. Прежде всего національная опасность сближала людей въ общемъ дѣлѣ, сообщала чувство нравственной связи, общественнаго и народнаго долга: манифесты, писанные Шишковымъ, едва ли не первый разъ говорили не сухимъ оффиціальнымъ языкомъ, требовавшимъ только безмолвнаго повиновенія, а исполнены были настоящаго краснорѣчія, которое способно было пробудить искреннее одушевленіе, едва ли не впервые правительственная власть обращалась къ народу, говоря или стараясь говорить его языкомъ, какъ въ афишахъ Ростопчина. Люди стараго вѣка, безуспѣшно искавшіе древнихъ патріархальныхъ добродѣтелей, нашли въ событіяхъ двѣнадцатаго года новое обвиненіе противъ людей, приверженныхъ къ „французскому“ образованію, и считали ихъ чуть не сообщниками Наполеона, какъ старались выставить такимъ его сообщникомъ Сперанскаго, — но въ умахъ болѣе свѣжихъ и чуткихъ этотъ подъемъ національнаго чувства положилъ основу для гораздо болѣе глубокаго пониманія истинныхъ потребностей національной жизни“.

(*Пыпинъ*).

Это патріотическое воодушевленіе, быстро впрочемъ, выродившееся въ самохвальство, немедленно отразилось на литературѣ. Въ то время какъ Жуковскій воспѣвалъ русскихъ воиновъ своими звучными стихами,— С. Глинка собиралъ въ своемъ журналѣ („Русскій Вѣстникъ“) анектоты о храбрости, отвагѣ, мудрости и неустрашимости русскихъ людей; подъ громъ пушекъ былъ основанъ „Сынъ Отечества“, быстро пріобрѣвшій громкую извѣстность и не мало подписчиковъ; нѣсколько позже появился „Пантеонъ славныхъ россійскихъ мужей“. Судя по этимъ изданіямъ, можно подумать, что у россіянъ закружилась голова отъ грома побѣдъ, отъ занятія Парижа, отъ міровой роли своей страны. А между тѣмъ внутри дѣла шли все хуже: готовилось господство Аракчеева, а потомъ Магницкихъ и Руничей. Другія же послѣдствія 12-го года оказались позже.

Можно, такимъ образомъ сказать вообще, что тонъ журнальной литературы эпохи Императора Александра I-го задалъ Карамзинскій „Вѣстникъ Европы“. Всѣ журналы наперерывъ старались быть интересными, сантимен-

тальными и разнообразными. Отечественная война сдѣлала ихъ патріотами. Имъ надо отдать ту справедливость, что они стояли на высотѣ умственныхъ требованій современниковъ, иногда предупреждали ихъ, а часто шли навстрѣчу ихъ ничтожнымъ вкусамъ. Эта журналистика интересна лишь какъ вступленіе къ настоящей, т. е. руководительницѣ духовной жизни общества, которая создана позже Полевымъ и Бѣлинскимъ.

Такимъ же вступленіемъ къ Грибоѣдову и Пушкину является и художественная литература разсматриваемой эпохи. Разсматривать ее съ психологической или эстетической точки зрѣнія у меня нѣтъ рѣшительно никакой возможности. Общественнаго же настроенія и хода русской мысли она не отражала. И мнѣ достаточно напомнить общеизвѣстныя имена Жуковскаго, Озерова, Гнѣдича, Батюшкова, чтобы въ этомъ случаѣ считать свою задачу поконченной. Нужна была не ихъ сила и не ихъ дарованіе, чтобы вывести русскую литературу изъ роли покорной и, большею частью, малоуспѣвающей ученицы Запада. Нуженъ былъ Пушкинъ, чтобы вскрыть то, что таилось въ народномъ одушевленіи 12-го года и въ неясныхъ преобразовательныхъ грезахъ первой половины царствованія Александра I.

А. С. Пушкинъ (1799—1837).

Бѣлинскій о Пушкинѣ. „Писать о Пушкинѣ,—говоритъ Бѣлинскій,—значитъ писать о цѣлой русской летературѣ: ибо какъ прежніе писатели объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей“. Въ своемъ разборѣ Бѣлинскій намѣренъ держаться правилъ реальной критики и, не ограничиваясь областью одной эстетики, опредѣлить связь писателя съ обществомъ, вникнуть въ духъ того времени, когда онъ явился и дѣйствовалъ.

Задача, какъ всякій видитъ, широкая и въ сущности—единственно нужная, такъ какъ ни отъ какого критика ничего большаго и требовать нельзя, и ужъ никакъ не вина Бѣлинскаго, что онъ не исполнилъ ее полностью. Конечно, сидя за своей конторкой, онъ могъ сколько угодно „вникать въ духъ своего времени“, но увы, всѣ пути сообщить о результатахъ этого вниканія своимъ читателямъ были для него заказаны. Мнѣ кажется, это обстоятельство болѣе всего помѣшало Бѣлинскому достигнуть художественной полноты труда. „Духъ времени“ 43—46 гг., когда Бѣлинскій писалъ свои статьи, и 33—37 гг.—самаго критическаго періода жизни Пушкина, былъ въ сущности тотъ же самый, а если и измѣнился, то скорѣе невидимо, чѣмъ видимо—тамъ, гдѣ-то въ подземныхъ слояхъ бытія, и по поводу этого духа Бѣлинскій, конечно, могъ бы сказать намъ

многое интересное, но онъ только намекнулъ на это интересное въ своихъ письмахъ, въ статьѣ же ограничился однимъ академическимъ „принимая во вниманіе духъ времени“ и только. Избѣжать недочетовъ при такой обстановкѣ дѣла невозможно. Но такъ какъ мы знаемъ, приблизительно впрочемъ, какъ смотрѣлъ Бѣлинскій на духъ Пушкинской эпохи, то и не въ правѣ упускать этихъ его взглядовъ при чтеніи его великолѣпныхъ статей, что впрочемъ дѣлали до сей поры совершенно безпечно. Иначе мы будемъ совсѣмъ неправы къ нему, и самыя драгоцѣнныя страницы, которыя только у насъ есть о Пушкинѣ, наполовину пропадутъ для насъ.

Бѣлинскій видѣлъ въ Пушкинѣ прежде всего *артиста* и *художника*, въ этой артистичности видѣлъ „пафосъ“ его поэзіи и, какъ артиста, страстно любилъ его. Но въ то же время ему казалось, что великій поэтъ „прячется въ своемъ геніальномъ художественномъ дарованіи,— прячется отъ тревожнаго духа времени, отъ его запросовъ и не чувствуетъ при этомъ никакого раскаянія. Этого, какъ онъ ни старался, онъ совсѣмъ ему простить не могъ. Отсюда нѣкоторая двойственность отношенія, нѣкоторая боязнь отдаться своимъ восторгамъ, неизбѣжныя, все возраставшія оговорки, такъ участившіяся къ концу статей, и какой-то слишкомъ уже разсудительный окончательный приговоръ. Тутъ еще далеко до шестидесятыхъ годовъ, до того настроенія, когда и Некрасовъ сказалъ: „Поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ“,— но уже чувствуется, что почва, когда обострившаяся гражданственность призоветъ къ себѣ на судъ Пушкина за то, что онъ *только* поэтъ, расчищается, что этотъ призывъ будетъ не случайностью и что его можно было предвидѣть за 15—20 лѣтъ до того.

Я приведу нѣсколько выписокъ и пусть хоть эти штрихи возстановятъ въ памяти читателя блѣдное воспоминаніе о томъ лучшемъ, что есть у насъ о Пушкинѣ,— о статьяхъ Бѣлинскаго и ихъ двойственномъ, колеблющемся настроеніи:

„Муза Пушкина—это дѣвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болѣе возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдѣлалась ея природой...

„Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи...

„Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринѣ, въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія онъ, какъ художникъ по премуществу, былъ гражданинъ вселенной, и *въ самой исторіи, такъ же, какъ и въ природѣ видѣлъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій.*

Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если бъ его натура была другая и онъ шелъ по этому нествойственному ей пути, то безъ сомнѣнія это было бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ, но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только вѣренъ своей натурѣ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не черные...

„Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль объ его личности. Чувство лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, гуманно.

„И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художнически спокойной, столь граціозной. Что составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свѣтла и прозрачна, она усмиряетъ муку души и цѣлитъ раны сердца. *Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической—внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность.* Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человѣческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человѣческое, а не животное, то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здѣсь разумѣемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна: нѣтъ, каждое чувство, лежащее въ основаніи каждаго его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себѣ, это не просто чувство человѣка, а чувство человѣка-художника, человѣка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина"...

Выше я подчеркнулъ нѣсколько строкъ насчетъ того, что „Пушкинъ и въ самой исторіи, и въ природѣ видѣлъ лишь матеріалъ для поэтическихъ концепцій" и что за это его такъ же мало можно обвинять и оправдывать, какъ человѣка вообще за его черные или русые волосы. Пушкинъ слѣдовалъ своей натурѣ—въ этомъ вся суть. Но вѣдь точка зрѣнія на природу и исторію—какія все это большія слова—только какъ на матеріалъ для художественныхъ концепцій можетъ съ одной стороны, повести Богъ знаетъ куда—къ полному равнодушію къ людямъ и ихъ судьбѣ, а въ крайнемъ, извращенномъ случаѣ даже къ устройству надъ ними всевозможныхъ экспериментовъ, съ другой—совершенно не соотвѣтствуетъ „духу времени", все болѣе рвущемуся къ самосознанію и гражданственности. Оттого-то Бѣлинскій и говоритъ довольно жестоко:

„Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного

великаго поэта. Духъ *анализа*, неукротимое стремленіе изслѣдованія страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи".

Словомъ, время исключительной художественной артистичности, надъ которой Бѣлинскій подсмѣивался (отчасти и побаивался ея), по его мнѣнію прошло. Настало другое, когда мышленіе, „полно любви и ненависти", но—увы,—ни той, ни другой не зналъ Пушкинъ, Поэтому, онъ—„властитель думъ лишь своего поколѣнія". Эту свою точку зрѣнія Бѣлинскій особенно хорошо высказалъ въ разборѣ „Сцены изъ Фауста".

Какъ бы то ни было, Бѣлинскій сдѣлалъ все, что могъ, все, что требовало его время для оцѣнки Пушкина. Эстетическая часть этой оцѣнки, особенно разборъ „Евгенія Онѣгина", „Бориса Годунова", лирическихъ пьесъ и драматическихъ опытовъ превосходны и такъ же свѣжи и оригинальны въ наши дни, какъ и въ дни своего появленія. Великій критикъ заканчиваетъ свою статью словами:

„Заключаемъ: Пушкинъ былъ по преимуществу поэтомъ-художникомъ и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя подъ этимъ словомъ безконечное уваженіе къ достоинству человѣка, какъ человѣка Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ, по самой натурѣ своей, былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему „человѣкомъ". Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтски-кроткаго, мягкаго и нѣжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство"...

Бѣлинскій, какъ мы видимъ, смотрѣлъ на Пушкина совершенно трезво и, преклоняясь предъ его геніемъ, дѣлалъ оговорки съ точки зрѣнія своего времени. Быть можетъ, вся его ошибка заключалась въ томъ, что онъ мѣстами противопоставлялъ поэзію Пушкина кодексу радикальныхъ убѣжденій 40-хъ годовъ, а не тому, чему ее дѣйствительно слѣдуетъ противопоставлять—мертвой казенщинѣ и бюрократическому формализму 20-хъ и 30-хъ годовъ, подъ которые она подкапывалась самымъ вольнымъ духомъ своимъ. О, конечно, въ этомъ послѣднемъ случаѣ ея, все еще плохо оцѣненная, обновляющая роль должна выказаться съ особенной яркостью, во всей своей нетлѣнной красотѣ.

Пушкинъ въ исторіи. О Пушкинѣ писано и переписано, и, замѣчательно, что вы въ этихъ поистинѣ безчисленныхъ статьяхъ почти не найдете двухъ одинаковыхъ мнѣній, и разнообразіе ихъ прямо одуряющее, чувствуешь, что какъ будто очутился среди несыгравшагося оркестра со всевозможнѣйшими инструментами и артистами, начиная отъ первоклассныхъ и кончая совсѣмъ „малыми и нисколько не безсмертными". Это съ любой точки зрѣнія характерно, такъ какъ указываетъ и на трудность задачи, и на сложность натуры Пушкина, и на разнообразіе мыслей и настроеній въ его книгахъ, иногда поразительное. Онъ возбуждалъ къ себѣ любовь, доходившую до преклоненія, онъ возбуждалъ и презрѣніе, и ненависть; полубогъ, пророкъ-предвозвѣстникъ—для однихъ, онъ оказывался пустымъ, хотя и ловкимъ стихоплетомъ для другихъ; вызывая къ себѣ огромное вниманіе со стороны почти всѣхъ выдающихся людей пережитыхъ нами эпохъ, онъ накопилъ на своей характеристикѣ слѣды самыхъ различныхъ историческихъ настроеній, порою случайныхъ, и все же знаемъ мы его очень мало... Но все же ясно, что огромное большинство писавшихъ и говорившихъ о Пушкинѣ чувствовали, что передъ ними литературное явленіе прямо исключительное, дѣйствительно важное и часто поразительное по своему вліянію на умы. Распредѣляя въ одномъ изъ разговоровъ съ Сергѣенко вліяніе разныхъ представителей на ходъ развитія нашей общественной мысли по процентамъ, Толстой наибольшее ихъ количество удѣлилъ Пушкину—именно 18%, тогда какъ на долю, напримѣръ, Герцена досталось всего 10%, а Тургенева и этого меньше—7%. Конечно, можно спросить себя, почему собственно 18%, а не 15% или 29%, можно было бы пожелать, чтобы Л. Н. Толстой высказался о смыслѣ этого вліянія, но все же важно то, что мысль объ этихъ 18% несомнѣнно присутствовала въ головѣ большинства критиковъ Пушкина—даже Писарева.

Особенно интересны наслоенія историческихъ эпохъ и ихъ наростаніе на оцѣнкѣ нашего великаго поэта. По его поводу каждой изъ этихъ эпохъ надо было сказать что-нибудь дѣйствительно свое собственное и выставить дѣйствительно свою точку зрѣнія. Превосходно предсказалъ это Бѣлинскій:

„Пушкинъ принадлежитъ къ вѣчно живущимъ и движущимся явленіямъ, не останавливающимся на той точкѣ, на которой застала ихъ смерть, но продолжающимъ развиваться въ сознаніи общества. Каждая эпоха произноситъ о нихъ свое сужденіе и какъ бы ни вѣрно поняла она ихъ, но всегда оставитъ слѣдующей за ней эпохѣ сказать что-нибудь новое и болѣе вѣрное, и ни одна и никогда не выскажетъ всего"...

Бѣлинскій былъ правъ: оцѣнки Пушкина мы не имѣемъ, зато „своихъ сужденій"—сколько угодно. И кажется, ближайшая причина такого невеселаго явленія ясна: въ Пушкинѣ хотѣли видѣть учителя жизни, чѣмъ онъ

никогда не былъ и даже не хотѣлъ быть, какъ хотѣли того изъ равныхъ ему—Гоголь, Достоевскій, Толстой. Поэтому одни, не видя въ немъ учителя, обижались, другіе же, видя въ немъ учителя, естественно ошибались. И мы въ точности знаемъ только то, что въ нашей жизни Пушкинъ—величина огромнѣйшая, хотя насчетъ количества процентовъ вліянія можно все еще спорить много, долго и безрезультатно.

Только въ томъ я нисколько не сомнѣваюсь, что для 20-хъ годовъ Пушкинъ имѣлъ гораздо больше значенія, чѣмъ для нашихъ дней: тогда онъ дѣйствительно былъ „любимцемъ публики"; теперь можно говорить скорѣе объ уваженіи къ нему, даже о преклоненіи передъ его геніемъ, чѣмъ о любви, но живая связь между поэтомъ и обществомъ не могла уже не порваться за слишкомъ 60 лѣтъ, всякіе виды видавшихъ и имѣвшихъ столько другихъ любимцевъ.

Я нисколько не отрицаю, что быть можетъ, настанетъ день, и значеніе Пушкина станетъ еще большимъ, чѣмъ въ то далекое отъ насъ время. Но я сомнѣваюсь, чтобы наши дни могли быть сколько-нибудь соотвѣтствующей обстановкой для поэзіи Пушкина. Наши дни—все еще „дни скорби и печали", дни напряженныхъ поисковъ счастья и истины, дни ожесточенной борьбы человѣка съ человѣкомъ, и можетъ ли найти полные отзвуки своему господствующему настроенію Пушкинъ,—этотъ „поэтъ свѣтлой жизни", какъ превосходно назвалъ его Вл. С. Соловьевъ. Пусть наша тяжелая и грустная эпоха, требующая ежедневно столько и столько человѣческихъ жертъ, придавившая человѣка своей артиллерій, крѣпостями, мониторами, безчисленными машинами, — „пусть смѣнится она свѣтлой жизнью", пусть обида, таящаяся въ нашемъ сердцѣ, обида ежедневно наносимая намъ неправдой, дастъ мѣсто лучшему, болѣе радостному настроенію, и, думаю, Пушкинъ возродится во всемъ прежнемъ своемъ блескѣ величія.

Еще въ 1839 году Варнгагенъ, одинъ изъ умнѣйшихъ людей своего времени, написалъ о Пушкинѣ прекрасную статью, гдѣ опредѣляя значеніе Пушкина, говоритъ между прочимъ:

„... Но отъ Байрона отличается Пушкинъ существенно уже тѣмъ, что онъ тотчасъ же противопоставляетъ скукѣ и исполненной сомнѣнія досадѣ, тоскѣ объ утраченномъ и недостижимомъ счастьѣ—свѣжую веселость, которая освѣщаетъ его поэзію подобно солнечному лучу и при непріятныхъ происшествіяхъ и отчаяніи чувствъ сохраняетъ утѣшеніе и надежду.

„Въ этомъ направленіи къ веселости, добру и силѣ, которое укрѣпляетъ сердце и возбуждаетъ духъ, можно его сравнить съ Гете.

„Истинное поэтическое призваніе основано собственно на томъ, что поэзія есть радость и утѣшеніе, и только для того снисходитъ ко всѣмъ

скорбямъ и страданіямъ. Воодушевляющую, живительную силу Пушкина можетъ испытать всякій, кто имъ занимается. Онъ столько же приверженъ къ комическому и шуткѣ, какъ и къ трагическому и страстному, но преобладаетъ у него иронія, и до такой степени, что онъ часто достигаетъ въ высочайшемъ смыслѣ юмора. Его веселость всегда составляетъ основное настроеніе, которому прочія настроенія служатъ тѣнями. Выраженіе его также выказываетъ такой характеръ: вездѣ быстрая краткость, свѣжія, сжатыя картины, яркіе блестки ума, рѣзкіе обороты. У рѣдкаго поэта встрѣчается менѣе слѣдовъ изысканности, отступленій къ любви, безполезныхъ распространеній, его естественность довольствуется самымъ простымъ словомъ, быстро охватываетъ и оставляетъ каждый предметъ, его пылкое воображеніе, исполненное искренности и величія, его то нѣжная, то ѣдкая острота, все соединяется къ тому, чтобы произвести пріятное, благотворное впечатлѣніе на читателя, всегда заинтересованнаго и всегда свободнаго, никогда не терзаемаго".

Характеристика Пушкина. Конечно, поэзія Пушкина не сплошная пѣснь, далеко не сплошь торжествующая радость,—но я не боюсь нисколько обидѣть его великую тѣнь, сказавъ, что его мораль была прежде всего моралью эпикурейца, а наша имѣетъ другой, болѣе сумрачный общественно-подвижническій характеръ. Это мораль тяжелая, требовательная, возлюбившая страданія жизни, совѣстливо отстраняющаяся отъ ея радостей, мораль отвѣтственности, раскаянія, и грознаго: „ты долженъ". Да, Пушкинъ, прежде всего, по преимуществу поэтъ свѣтлой жизни. Мѣткія замѣчанія Варнгагена на этотъ счетъ давно оцѣнены между прочимъ и такимъ серьезнымъ ученымъ, какъ А. Н. Пыпинъ, который говоритъ: „въ поэзіи Пушкина сказались другіе мотивы: удивительная свѣжесть и сила его таланта предохранили его отъ романтическаго мистицизма. Это, былъ, напротивъ, поэтъ наслажденія живой дѣйствительности, романтическіе порывы его фантазіи обращались къ русской народной жизни, и русская поэзія впервые усвоила здѣсь истинно народные мотивы. Вліяніе Байрона отразилось у Пушкина тѣмъ разочарованіемъ, которое впослѣдствіи прошло цѣлой полосой въ нашей поэтической литературѣ. Байроновское вліяніе было чужимъ элементомъ въ поэзіи Пушкина, которая вскорѣ и освободилась отъ него; Пушкинъ не могъ даже понять байроновскаго отрицанія во всей силѣ его общественно-политическаго и философскаго значенія,—но это вліяніе не было однако случайностью. Оно отвѣчало его тогдашнему либеральному настроенію, недовольство настоящими порядками, съ одной стороны, дѣлало для него сочувственнымъ байроновское отрицаніе, съ другой—внушало его свободолюбивыя стихотворенія". Если же теперь мы считаемъ—правильно или неправильно, что безразлично—исканіе радостей жизни чѣмъ-то презрѣннымъ

и даже буржуазнымъ, если, по нашему мнѣнію, человѣкъ не можетъ жить вполнѣ нравственно, не принимая постоянно во вниманіе своей отвѣтственности передъ обществомъ и своей зависимости отъ него—то какъ можемъ мы вполнѣ оцѣнить поэта наслажденія, радости и свѣтлой жизни, и въ состояніи ли мы съ легкимъ сердцемъ повторить хоть бы такую вотъ программу жизни:

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И вѣдаю: мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и треволненья:
Порой опять гармоніей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть—на мой закатъ печальный
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

Пушкинъ—поэтъ прошлаго и, надѣюсь, будущаго, но для того, чтобы быть поэтомъ настоящаго, въ его „лирѣ“ не достаетъ многихъ и многихъ струнъ. Мнѣ кажется, что желаніе сдѣлать его „руководителемъ“ и вызывало десятки разъ прямо отрицательное и жестоко несправедливое отношеніе къ нему и со стороны Полевого, и Писарева и отчасти даже со стороны Бѣлинскаго.

Не то, совершенно не то было въ двадцатые годы, когда слава Пушкина поднялась сразу, затмила собою другія, когда его геній разрушилъ на дорогѣ искусства всѣ преграды, разбросалъ, какъ пухъ, тяжелыя бревна классическихъ теорій, когда онъ возбуждалъ восторги, любовь, поклоненіе, ненависть, недоумѣніе, когда его стихи быстро разлетались по всей Россіи, когда онъ дѣйствительно былъ центральной фигурой умственной русской жизни.... Каждый конечно знаетъ, чѣмъ были двадцатые годы, и я лишь въ самыхъ общихъ чертахъ напомню ихъ характеристику. Время было тяжелое, мрачное, съ черной тучей аракчеевщины, нависшей надъ нимъ, но далеко не безъ просвѣтовъ. Съ одной стороны—Аракчеевъ скучный, тусклый и жестокій, стремившійся превратить всю Россію въ одно огромное военное поселеніе, уставить ее рядами домиковъ, окрашенныхъ въ мутно-сѣрую краску съ плацъ парадами на извѣстныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга,—гдѣ бы люди вставали и ложились, обѣдали и ужинали, работали и экзерцировались, шли подъ вѣнецъ все подъ тотъ же однообразный бой барабана,—люди, одѣтые въ ту же форму, съ невольными товарищами и даже женами, „одинаковаго роста“, безъ мысли, безъ чувства, съ одной готовностью быть машинами и только,—или князь Голицынъ, наивный и добродушный мистикъ, довѣрчивый и недалекій, любившій всякія кувырканья съ будто бы религіозной цѣлью и дѣйствовавшій то по наущеніямъ кликушъ-

проходимцевъ, то по внушенію Магницкаго, однако изъ крупнѣйшихъ предателей того времени,—или архимандритъ Фотій, мечтавшій разыграть роль Сильвестра, усвоившій его излюбленные пріемы внезапныхъ появленій, страшныхъ угрозъ и ни капли его бодраго честнаго духа, узкій фанатикъ и едва ли не поврежденный въ разумѣ своемъ, которому лишь обстоятельства помѣшали добиться перваго мѣста,—или общій тонъ, общее направленіе „политики", развѣрившейся въ самой себѣ, боявшейся всякаго крошечнаго проявленія человѣческаго въ человѣкѣ,—политики, полной противорѣчій и находившей успокоеніе и конечную свою цѣль въ общемъ окостенѣніи... Вотъ что мы видимъ съ одной стороны. Съ другой— небольшая кучка романтически настроенныхъ людей, съ честнѣйшими сердцами и горячей головой, побывавшихъ на Западѣ, видѣвшихъ ту далекую жизнь и мечтавшихъ о томъ, чтобы не дать остыть великому одушевленію, охватившему Россію въ 1812 году, не дать народу, „освободившему Россію единственно своимъ беззавѣтнымъ мужествомъ, пребывать въ унизительномъ и постыдномъ состояніи рабства и невѣжества". Были гоненія на все живое, самостоятельное, на всѣ ростки будущаго, было и смутное броженіе умовъ и, въ основѣ всего, народъ грубый, молчаливый, съ непреоборимой силой терпѣнія и вѣрой въ судьбу, наполнявшей все существо его и дававшей ему могучую силу молча страдать и терпѣть. Многіе помнили еще первые годы царствованія Александра I-го, ихъ радужныя надежды, ихъ несбывшіяся мечтанія, ихъ общій радостный тонъ, когда казалось, еще немного доброй воли, еще нѣсколько шаговъ впередъ,—и „надъ отечествомъ, свободой просвѣщеннымъ", взойдетъ дѣйствительно прекрасная и свѣтлая заря новой жизни. И черная туча аракчеевщины, медленно и вѣрно раздвигавшая свои тяжелыя крылья надъ всей страной, раздражала, выводила изъ себя, вызывала негодованіе. Молодежь предавалась романтическимъ грезамъ. Вотъ, напр., что дѣлалось въ Царскосельскомъ лицеѣ того времени:

„Исторія первыхъ двухъ годовъ лицея,—пишетъ г. Пыпинъ,—достаточно извѣстна, первый кружокъ лицейскихъ воспитанниковъ освѣщается личностью Пушкина-мальчика, потомъ юноши, который, по выходѣ изъ лицея тотчасъ занимаетъ высокое мѣсто въ русской литературѣ. Вокругъ него сближаются всѣ поколѣнія литературы, отъ Державина, котораго онъ привелъ въ восторгъ, до самаго юнаго поколѣнія, въ которомъ поэзія Пушкина господствовала безраздѣльно.

„*Лицейское воспитаніе началось подъ впечатлѣніями двѣнадцатаго года*, первый выпускъ воспитанниковъ оставилъ лицей въ тотъ періодъ, когда молодая часть общества, особенно аристократическо-военнаго, была полна идеальными гражданскими увлеченіями". Ближайшій лицейс ій другъ Пушкина И. И. Пущинъ тотчасъ по выходѣ изъ лицея вступилъ въ первое тайное общество, основанное въ 1817 г. Самъ Пушкинъ не былъ

его членомъ ни теперь, ни послѣ, но онъ подозрѣвалъ, потомъ положительно зналъ о его существованіи, иногда самъ порывался вступить въ него,—но его не принимали, отчасти бережливо охраняя геніальнаго поэта отъ роковыхъ случайностей тайнаго общества, отчасти не довѣряя его подвижному, непостоянному характеру".

Въ Пушкинѣ, конечно, былъ вольный духъ, много вольнаго духа, но не въ формѣ политическихъ мечтаній и „необходимыхъ преобразованій общественности", а совершенно въ другой. Его живая натура, гордая и свободолюбивая, капризная и радостная, не могла ни на минуту мириться съ тусклымъ и чаднымъ духомъ аракчеевщины; она требовала себѣ простора и свободы, и эта боязнь передъ жизнью, которую старались заключить въ казармы, этотъ общій страхъ передъ „человѣкомъ"—то пугали, то смѣшили его. Послѣ первыхъ же его полудѣтскихъ стихотворныхъ опытовъ, отъ него ждали страшно много, и ждали лучшіе люди того времени.

Пушкинъ не обманулъ.

„Въ обществѣ этого времени,—продолжаетъ А. Н. Пыпинъ,—среди увлеченій либерализмомъ и столкновеній съ дѣйствительностью, развилась цѣлая легкая литература, не попадавшая въ печать,—литература, гдѣ недовольство и остроумная насмѣшка сдерживались тѣмъ меньше, чѣмъ больше цензура стѣсняла ихъ въ печати. Въ то время, какъ либералы тайнаго общества приходили къ убѣжденію въ испорченности различныхъ формъ русской жизни, въ необходимости для нея новыхъ идей и учрежденій, эта литература—безъ всякой связи съ тайнымъ обществомъ—дѣйствовала противъ тѣхъ же людей и вещей, которые, по мнѣнію общества, были виною застоя и бѣдствій русскаго народа, противъ смѣшныхъ и уродливыхъ явленій жизни. Остроуміе Пушкина было неистощимо въ эпиграммахъ, мелкихъ и крупныхъ стихотвореніяхъ, выражавшихъ это зарожденіе независимаго общественнаго мнѣнія. У насъ всего чаще ославляли этотъ разрядъ стихотвореній Пушкина, какъ дѣло легкомыслія, отъ котораго впослѣдствіи онъ самъ „торжественно отказывался". Правда, нѣкоторыя изъ стихотвореній этой поры были только легкомысленны; зато въ очень многихъ другихъ эпиграмма наводила и на серьезныя мысли, или легкомысленная форма оправдывалась самой сущностью дѣла: чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, надо было дѣйствовать противъ людей, противъ которыхъ безполезно, а кромѣ того и невозможно было бы спорить инымъ образомъ? Таковы были его эпиграммы на кн. А. Н. Голицына, Аракчеева, архим. Фотія и другія подобныя. Это было единственное возможное отмщеніе за нарушаемый здравый смыслъ. Стихотворенія Пушкина ходили по рукамъ, переписывались, читались наизусть. „Не было живого человѣка, который не зналъ бы его стиховъ",—говорятъ современники, и этому можно повѣрить, потому что и тридцать лѣтъ спустя эти стихотворенія ходили по рукамъ въ тетрадкахъ и усердно переписывались, когда потерялась уже и ихъ современность".

Этими колкими эпиграммами,—ничуть не презрѣнными и, къ счастью,

оцѣненными уже по достоинству такими серьезнѣйшими людьми науки, какъ Пыпинъ,—часто пробивавшими иначе непроницаемыя шкуры, Пушкинъ шелъ рука объ руку съ лучшей частью общества. Имъ-то, быть можетъ, онъ обязанъ большею частью своей первоначальной славы, благодаря имъ онъ такъ поразительно скоро сдѣлался любимцемъ публики, ея баловнемъ, славой и гордостью.

Но у него, кромѣ „тусклой аракчеевщины", голицынской хлыстовщины, мракобѣсія Магницкаго, лицемѣрія Фотія и пр., былъ и другой врагъ, свившій себѣ гнѣздо въ самой дорогой для поэта области—области искусства. Тутъ тоже царила дисциплина, тутъ тоже были свои плацъ-парады, свои фельдфебели, обучавшіе по регламенту французскихъ теорій и такъ же строго преслѣдовавшіе за нарушеніе единства дѣйствія, или отсутствіе лирическаго безпорядка, или пренебреженіе къ александрійскому стиху, какъ строго наказывалось въ строю плохое равненіе или „носки вмѣстѣ", или еще что-то такое, чего теперь умъ человѣческій не можетъ и постигнуть; были и свои генералы „всѣ важны, въ сорокъ пудъ", въ родѣ Петрова или Хераскова, которыхъ хотя и мало читали, но передъ которыми искренно благоговѣли за ихъ воспареніе духа, за кимвалы бряцающіе ихъ поэзіи, за мѣдь звенящую ихъ лиризма, за вѣчный громъ побѣды въ ихъ стихахъ и гигантскую черепаху ихъ вдохновенія.

Ни „легкій" талантъ Богдановича, ни геній Державина, ни даже романтика Жуковскаго съ ея дѣвами, луной, мертвецами и часто воистину превосходнымъ стихомъ, не могли разбить этихъ оковъ, опутавшихъ только протиравшее себѣ послѣ вѣкового сна очи россійское творчество.

Все равно, какъ „система" Аракчеева считала совершенно невозможнымъ подойти къ человѣку просто, предварительно не оглушивъ его, такъ точно и поэзія того времени оглушала читателя или эпическимъ бубномъ, или лирическимъ кимваломъ и патріотическимъ бряцаніемъ. Въ превосходной пародіи на оду гр. Хвостова Пушкинъ осмѣялъ, и уже разъ навсегда, эту музу поэзіи „болѣе похожую на патріотическую Θеклу, самолично перебившую 40 тысячъ китайцевъ, чѣмъ на изящную грацію древности":

Султанъ ярится. Кровь Эллады
И рѣзко скачетъ, и кипитъ.
Открылись грекамъ древни клады,
Трепещетъ въ Стиксѣ лютый Питтъ,
И се—летитъ предерзко судно
И мещетъ громы обоюдно.
Се Байронъ, Феба образецъ,
Притекъ, но недугъ быстропарный,
Строптивый и неблагодарный,
Внесъ смерти на него рѣзецъ. И пр.

Рядомъ съ этими троглодитами русскаго Парнаса дѣйствовали и троглодиты русской критики. Надо представить себѣ ихъ недоумѣніе, часто переходившее въ гнѣвъ, когда передъ ними съ веселой усмѣшкой предстала поэзія Пушкина, съ виду легкомысленная и капризная и въ то же время такая прекрасная. Не спрашивая ни у кого ни совѣта, ни указаній, зародившаяся гдѣ-то тамъ, далеко отъ всякихъ теорій, піитикъ и риторикъ, увѣренная въ себѣ, рѣзвая и блестящая, какъ сама юность, она явилась передъ сонными глазами этихъ наивныхъ мудрецовъ, измѣрявшихъ поэзію ея тяжеловѣсностью. Она не боялась никого, смѣялась надо всѣмъ и вышла на свою собственную дорогу сразу безъ всякихъ усилій и потугъ. Конечно, критика троглодитовъ не оцѣнила и не могла оцѣнить ее, но Пушкину этого и не надо было: его оцѣнила публика и оцѣнила очень дружно. „Вольнымъ духомъ“, неслыханной до сей поры смѣлостью мысли, легкостью ея выраженій вѣяло отъ каждаго прихотливаго стиха юнаго поэта. Ясно было, что юный поэтъ какъ-то особенно смѣло и свободно смотритъ на всю окружающую его жизнь, на всѣ тяжеловѣсныя теоріи и почтенные стихи. Неожиданными шутками вызывала эта поэзія невольную улыбку, и эта улыбка разгоняла дремоту мысли, боролась безъ устали со спячкой мозга и точно подходила къ каждому съ привѣтомъ разсказать, что солнце встало, что оно горячимъ свѣтомъ по листамъ затрепетало. И тутъ суть дѣла заключалась не столько въ дѣйствительномъ, реальномъ содержаніи,— такъ какъ, что, на самомъ дѣлѣ, за содержаніе въ „Русланѣ и Людмилѣ“,— напримѣръ?—сколько въ отношеніи къ жизни, къ формѣ стиха, порядку и стройности изложенія, и — въ этомъ юномъ задорѣ генія... Если борьба и началась, то исходъ ея былъ ясенъ съ самаго начала. Когда читателю предлагали на выборъ: „вотъ поэма, составленная по всѣмъ правиламъ, прочтя которую, ты отупѣешь“, или: „вотъ стихи: прочти ихъ, и ты восчувствуешь радость бытія, смѣлый порывъ къ новой свободной жизни“ — съ его стороны не могло быть сомнѣнія. Аристархи удалились на очередное засѣданіе, гдѣ и заснули навѣки, а молодая критика пошла за Пушкинымъ, слѣдя за каждымъ его произведеніемъ, учась у него тому, что есть истинное искусство... Успѣхъ былъ колоссальнымъ.

Въ 20-хъ годахъ Пушкинъ не слышалъ другихъ прозвищъ, какъ „полночная звѣзда“, „сѣверное сіяніе на снѣжныхъ пустыняхъ нашей словесности“, „Любимецъ Публики“ (съ большой буквы); но еще не успѣли кончиться эти наивные 20 ые годы, какъ картина рѣзко измѣняется. Публика перестала понимать своего Любимца, а поэтъ, повидимому, пересталъ хотѣть понимать свою Публику. Разладъ обнаружился какъ-то сразу и рѣзко, и восторжествовала всякая мелкая литературная сошка — и, увы, даже не сошка. Что такое случилось и кто виноватъ? Вопросъ тѣмъ болѣе

любопытный, что, въ сущности говоря, и въ шестидесятыхъ годахъ по тѣмъ же причинамъ говорилось то же самое.

Начиная съ тридцати-лѣтняго возраста любимымъ мотивомъ его поэзіи является жалоба на увяданіе юности, на холодность чувства, на рѣдкость вдохновенія:

Душа, какъ прежде, каждый часъ
Полна томительною думой,
Но огнь поэзіи погасъ,
Ищу напрасно впечатлѣній.
Она прошла, пора стиховъ,
Пора любви, веселыхъ сновъ,
Восторговъ краткій день протекъ
И скрылась отъ меня навѣкъ
Богиня чистыхъ пѣснопѣній...

Въ этихъ преувеличенныхъ жалобахъ слышится дѣйствительная, глубокая грусть. Мнѣ нечего разсказывать общеизвѣстныхъ фактовъ его біографіи, изъ которыхъ несомнѣнно, что перемѣна внѣшнихъ обстоятельствъ его жизни въ значительной степени отразилась и на самомъ его характерѣ. Вольный духъ юности, вѣчная готовность къ протесту, насмѣшка надъ всѣмъ отжившимъ и отживающимъ, броженіе неустановившагося ума,— словомъ, все то, что такъ привлекало къ Пушкину поколѣніе 20-хъ годовъ, исчезло, такъ какъ не могло не исчезнуть. Съ одной стороны, Пушкинъ попытался „укротить свою свободную лиру нѣсколькими оффиціальными струнами“, съ другой, въ немъ происходилъ дѣйствительно серьезный и важный внутренній переворотъ, разсмотрѣть и оцѣнить который было не легко, едва ли даже возможно.

Онъ началъ съ участія въ масонской ложѣ, той самой ложѣ, „изъ-за которой были закрыты всѣ остальныя“...

Членомъ ложи былъ Грибоѣдовъ, въ степени мастера, и въ масонской должности находимъ „офицера гусарскаго“ Чаадаева, которому Пушкинъ въ это самое время, въ 1818 году, писалъ свое посланіе, гдѣ находятся извѣстные стихи:

...Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души прекрасные порывы.
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,—
Россія вспрянетъ ото сна...

Но теперь отъ этого либерализма мало что осталось.

Въ немъ, повторяю, происходила важная внутренняя перемѣна, стре-

ленiе сосредоточиться въ самомъ себѣ, въ своемъ внутреннемъ мiрѣ, отдать себѣ отчетъ въ смыслѣ жизни, ея загадкѣ, ея предназначенiи. „Подъ тридцать лѣтъ,—пишетъ В. С. Соловьевъ, прекрасно характеризуя этотъ перiодъ развитiя Пушкина, — рѣшительно обозначается у Пушкина „смутное влеченiе чего-то жаждущей души“,—неудовлетворенность игрою темныхъ страстей и ея свѣтлыми отраженiями въ легкихъ образахъ и нѣжныхъ звукахъ. „Позналъ онъ гласъ иныхъ желанiй, позналъ онъ новую печаль“. Онъ понялъ, что „служенье музъ не терпитъ суеты“, что „прекрасное должно быть величаво“, т. е., что красота, прежде чѣмъ быть прiятною, должна быть достойною, что красота есть только ощутительная форма добра и истины“...

Осматриваясь на свое прошлое, Пушкинъ опять-таки съ огромнымъ преувеличенiемъ говоритъ:

Воспоминанiя безмолвно предо мной
Свой длинный развиваютъ свитокъ.
И съ отвращенiемъ читая жизнь мою,
Я трепещу, я проклинаю
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

Или:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмелье,
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй...

Тутъ есть значительный отказъ отъ прошлаго, но разумѣется, ни о какой измѣнѣ юности не можетъ быть и рѣчи. Все равно, какъ въ области поэзiи онъ не перешелъ къ александрiйскому стиху, такъ и ни въ какой другой не перешелъ къ мракобѣсiю. Страшно рѣзко измѣнился кругъ знакомства, свободолюбивыя мечты не находили пищи ни въ дѣйствительности, ни въ горячихъ рѣчахъ, и Пушкинъ, нисколько даже не отказываясь отъ нихъ, просто-на-просто пересталъ ими вдохновляться. Но и выступившiе на сцену вѣчные вопросы бытiя, поэтъ, оставаясь вѣренъ себѣ, рѣшаетъ также какъ истинный эпикуреецъ и даже въ самомъ характерномъ для эпикурейства направленiи, сближающемъ его съ стоицизмомъ.

...И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сiять.

При такой точкѣ зрѣнія очевидно, что центръ тяжести всѣхъ жизненныхъ вопросовъ для человѣка внутри его „я“, а не во внѣшнемъ мірѣ. По-видимому, Пушкинъ стихійно стремился перейти на путь самосовершенствованія. Путь этотъ, какъ извѣстно, тернистый, и особенно тяжелы его первые шаги. Какъ-то невольно, незамѣтно для него самого, человѣкомъ овладѣваетъ неизбѣжная гордыня. Возвысившись надъ собою, онъ думаетъ, что возвысился и надъ всѣмъ остальнымъ; „читая съ отвращеніемъ свою жизнь“, онъ съ отвращеніемъ начинаетъ читать и жизнь другихъ людей; увидя столько грязнаго, ничтожнаго въ самомъ себѣ, онъ склоненъ выискивать только грязное и ничтожное въ окружающихъ. Тутъ нѣтъ духовнаго равновѣсія, нѣтъ ясности и безпристрастія внутренняго міра, — есть гнѣвъ противъ прежнихъ ошибокъ, гнѣвъ противъ ошибокъ міра, всегда соблазнительныхъ, всегда соблазняющихъ. Таинственная работа собственнаго „я“, давшая толчокъ къ возрожденію, занимаетъ все поле зрѣнія, переоцѣнивается, выростаетъ въ глазахъ до размѣровъ огромной важности и закрываетъ весь міръ.

Но—замѣчательная черта—въ Пушкинѣ и въ этотъ періодъ преобладаетъ поэтъ свѣтлой мысли. Ни одной мистической строчки нѣтъ въ его произведеніяхъ; соблазны мистики, такъ хорошо примиряющіе гордыню духа со смиреніемъ его, очевидно даже неизвѣстны ему. Онъ твердо стоитъ на землѣ и если мечтаетъ о безсмертіи, то развѣ земномъ, такъ же, какъ и въ прежніе годы:

Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,—
Напомнилъ хоть единый звукъ...

Онъ не хочетъ быть даже учителемъ жизни, не читаетъ никому ни совѣтовъ, ни нравоученій, ни въ чемъ никого не упрекаетъ и упрекать не хочетъ, ни передъ кѣмъ не выставляетъ себя примѣромъ достойнымъ подражанія, огненнымъ столпомъ, который можетъ и долженъ быть единственнымъ руководителемъ въ пустынѣ бытія. Онъ просто замкнулся въ себѣ, загородилъ себя отъ общественныхъ треволненій, которыя, впрочемъ, были настолько незначительны, что отъ нихъ и загородиться не стоило ровно ничего. Богъ его юности—искусство, которому раньше онъ служилъ такъ своенравно и какъ бы шутя, все больше выросталъ въ его глазахъ по своему значенію и важности, требовалъ все новыхъ жертвъ, обновленнаго духа и обновленной жизни, и поэтъ съ гордостью человѣка, познавшаго истинный путь, провозглашалъ:

Ты царь,—живи одинъ...

Это не было просто романтическимъ взглядомъ на искусство, а настоящимъ исповѣданіемъ вѣры.

Обстановка, въ которую попалъ Пушкинъ послѣ 1825 года, не только не служила противовѣсомъ его эстетическому индивидуализму, а напротивъ того, всѣми внушеніями и впечатлѣніями укрѣпляла въ немъ этотъ духъ. Онъ не слышалъ болѣе вокругъ себя страстныхъ рѣчей будущихъ декабристовъ или своихъ друзей-масоновъ и не получалъ ниоткуда ни малѣйшаго толчка къ тому, чтобы интересоваться политикой въ широкомъ смыслѣ этого слова. Послѣ сновидѣній царствованія Александра I и безпокойной дремоты мысли, прельщавшейся романтическими конституціями, политика окончательно заснула и уже надолго. Гдѣ-то совсѣмъ-совсѣмъ въ тиши готовился общественный переворотъ громаднѣйшей важности, но чтобы предвидѣть исходъ этого процесса, совершавшагося за семью печатями, надо было быть уже не только прозорливцемъ, но настоящимъ пророкомъ. Поле, усѣянное мертвыми костями, едва ли могло вдохновить такую живую, непосредственную и требующую все новыхъ и новыхъ впечатлѣній натуру, какъ натура Пушкина. Люди и посильнѣе его, въ смыслѣ общественнаго настроенія и общественнаго интереса, должны были сознаться, что въ этомъ смыслѣ ихъ роль сыграна. Пушкинъ нашелъ вѣрный для своей натуры выходъ въ искусствѣ...

Пушкина, какъ человѣка, постоянно тянуло въ высшія, даже экзотическія сферы. Это черта рѣзкая и для него характерная. Ему нужно было упиваться игрою ума, той обстановкой, которая, хотя и не безъ значительной примѣси нижегородскихъ элементовъ, напоминала собой обстановку салоновъ 18-го вѣка, въ родѣ салона Смирновыхъ. Нападать на него за это, я, откровенно говоря, не вижу никакой причины, и наши специфическіе на этотъ счетъ взгляды можно, пожалуй, оставить про себя. Былъ ли Пушкинъ общественнымъ дѣятелемъ въ нашемъ смыслѣ слова? Конечно, нѣтъ. Былъ ли онъ проникнутъ демократическими тенденціями? Нисколько. Былъ ли онъ подвижникомъ? Какъ разъ напротивъ. Онъ былъ прежде всего великимъ поэтомъ, въ самомъ простомъ и понятномъ смыслѣ этого слова. И, наконецъ, куда же было ему приткнуться? Въ народъ? Тогда объ этомъ никто не думалъ. Въ журнальную среду? Но, за самыми ничтожными исключеніями, она представляетъ нѣчто прямо непристойное. Къ интеллигенціи? А гдѣ въ то время находилась такая интеллигенція? Какъ разъ около самого Пушкина. Никто, разумѣется, не мѣшаетъ намъ празднословить и ставить ему въ упрекъ отсутствіе въ его жизни общественно-героическихъ поступковъ, но что же дѣлать, если онъ совершенно не былъ способенъ на нихъ. Если бы онъ и совершилъ нѣчто подобное, то въ юности это объяснилось бы волненіемъ крови молодой, а послѣ— это было бы сознательной ложью въ отношеніи къ самому себѣ. Мнѣ кажется, совершенно достаточно и того, что Пушкинъ не слился съ окру-

жавшей его обстановкой, не проникся ни ея духомъ, ни ея симпатіями, все же оставался вѣренъ себѣ до конца дней и, очевидно, лишь противъ себя заставлялъ звучать оффиціальную струну своей совершенно неприспособленной къ ней лиры. За *несліяніе* онъ заплатилъ своею кровью, все равно, какъ Чаадаевъ за свое *непримиреніе*—оффиціальнымъ титуломъ сумасшедшаго. И тотъ, и другой были лишь случайными пришельцами и гостями той эпохи, которая въ концѣ концовъ ненавидѣла и гнала ихъ, гнала злобно и съ ожесточеніемъ и держала постоянно направленныя свои копья противъ ихъ груди. Тотъ и другой были ранены смертельно—одинъ духовно, другой физически.

О Пушкинѣ можно сказать, что новая обстановка, среди которой онъ очутился, только закрѣпила въ немъ его *эстетическій индивидуализмъ*. Это не нравилось уже въ 30-хъ годахъ.

Я говорилъ выше, что въ Пушкинѣ цѣнили больше всего не изящество формы, не поразительную подвижность мысли, а вольный духъ, въ отношеніи къ чему бы онъ ни проявлялся. Когда онъ стихъ, когда вдохновеніе поэта выбрало для себя другое русло—его или перестали понимать, или съ упрекомъ указывали на прежнее. Доходили до странныхъ вещей—до полнаго отрицанія въ немъ поэзіи, до низведенія его въ разрядъ ловкихъ стихотворцевъ.

Трагическая смерть Пушкина и послѣдовавшія за нею дуббельто-бенкендорфскія безобразія его отпѣванія и похоронъ въ очень сильной степени примирили съ нимъ и критиковъ, и большинство публики. Правда, некрологи безжалостно вычеркивались цензурою и искажались ею до неузнаваемости, но по тѣмъ отрывкамъ, которые дошли до насъ, можно видѣть, что знаменитая фраза „солнце русской поэзіи закатилось“ была у каждаго на перѣ. Поняли, что произошло нѣчто важное, ужасное и непоправимое; поняли это не столько даже умомъ своимъ, сколько непосредственнымъ чувствомъ, и только схоластика конца вѣка въ лицѣ Вл. С. Соловьева попыталась доказать, что ничего во всемъ этомъ ни важнаго, ни непоправимаго не было, а случилось нѣчто совершенно естественное и даже разумное, въ чемъ онъ, Вл. Соловьевъ, подписуется. Но въ то время произошло такъ, что критика точно раскаялась въ своихъ ничтожныхъ нападкахъ на великаго поэта, и свои вѣнки на гробъ ему постаралась украсить самыми свѣжими и красивыми цвѣтами. Было почти полное единодушіе въ общемъ сожалѣніи, и только люди бенкендорфской партіи держались другого мнѣнія и ликовали, и въ ликованіи ихъ скрывалась ненависть... Какъ хотите, а въ

этой ненависти къ Пушкину *такихъ* людей, ненависти, не остывавшей ни на минуту въ теченіе слишкомъ 10-ти лѣтъ, есть много характернаго и не лишена она большого историческаго значенія. Нельзя никакъ объяснить ее тѣмъ только, что и лично Пушкинъ не ладилъ съ Александромъ Христофоровичемъ Бенкендорфомъ, позволяя себѣ даже смѣяться надъ нимъ. Тутъ скрывалось нѣчто большее, тутъ былъ повиненъ тотъ духъ вольности, вольной мысли, царящій во всемъ, что вышло изъ-подъ пера поэта, духъ ненавистный властямъ аракчеевской школы. Этого они не могли простить никогда, потому что въ немъ они несомнѣннѣйшимъ образомъ читали свой смертный приговоръ и знали, что распространись онъ—и все ихъ казарменное зданіе тогдашней государственности разлетится прахомъ.

Поэты Пушкинской эпохи.—К. О. Рылѣевъ. При программѣ моего обзора литературы крѣпостной Россіи, большинство ихъ достаточно только перечислить; это были: А. А. Дельвигъ (1798—1831); К. Ѳ. Рылѣевъ (1792 - 1826); П. А. Вяземскій (1792 —1878 г.); Е. А. Баратынскій (1800— 1844): Д. В. Веневитиновъ (1805—1827); Н. М. Языковъ (1803—1846). Изъ только что перечисленныхъ наиболѣе серьезнымъ поэтическимъ дарованіемъ обладалъ Е. А. Баратынскій, но общественное содержаніе его произведеній настолько ничтожно и отвлеченно, что мнѣ приходится оставить ихъ въ сторонѣ. Остановлюсь поэтому на одномъ изъ самыхъ горячихъ нашихъ поэтовъ-романтиковъ и извѣстномъ декабристѣ Кондратіи Ѳедоровичѣ Рылѣевѣ. Свое некрупное дарованіе онъ одушевилъ идеей, странно звучащей въ 20-хъ годахъ. Въ посвященіи къ „Войнаровскому“ онъ говоритъ:

Какъ Аполлоновъ строгій сынъ,
Ты не увидишь въ нихъ искусства,
Зато найдешь живыя чувства—
Я не поэтъ, а гражданинъ.

Эти пылкія гражданскія чувства самое цѣнное, что осталось отъ Рылѣева. Вынесенный волной александровской эпохи, двѣнадцатымъ годомъ, общимъ либеральнымъ движеніемъ, запрятавшимся въ тайныя общества, благодаря политикѣ Аракчеева—онъ отдалъ свой даръ и свою молодую жизнь тѣмъ идеямъ, которыя считалъ справедливыми. Всѣ эти идеи группируются возлѣ понятія „истинный патріотизмъ“, какъ самоотверженнаго служенія родинѣ во имя ея блага и развитія. Въ своихъ думахъ онъ восхваляетъ—Ермака, Матвѣева, Волынскаго, Годунова—всѣхъ, кто такъ или

иначе сочувствовалъ простому народу и боролся съ гнетомъ деспотизма. Свобода „плѣнила его“, но скорѣе не въ своихъ опредѣленныхъ общественно-политическихъ формахъ, а какъ романтическая мечта, какъ греза, навѣянная столько же воспоминаніями о новгородской вольницѣ, о вѣчѣ, сколько и знакомствомъ съ западно-европейскимъ строемъ. Все свое очарованіе этой свободой онъ выразилъ въ своихъ „Одахъ и думахъ“—часто неуклюжихъ, стилистически неправильныхъ, но искреннихъ и воодушевленныхъ, какъ все, что выходило изъ-подъ его пера. Въ тайномъ обществѣ онъ игралъ выдающуюся роль, что, впрочемъ, доказывается его трагической кончиной (повѣшенъ 13-го іюля 1826 г.); первоначально же судьи приговорили его къ четвертованію. По сохранившимся у него письмамъ, мы видимъ передъ собой человѣка очень мягкаго, даже нѣжнаго, человѣка радищевскаго типа, скромно, но правильно цѣнившаго свое дарованіе, очень демократически настроеннаго, наконецъ человѣка съ горячимъ темпераментомъ, умѣвшаго вѣрить „вплоть до костра и плахи“.

Эпоха Николая I-го.

Система. Всякій, думается намъ, знаетъ, что въ николаевскую эпоху господствовала „система“. Эта система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражаетъ насъ своимъ грандіознымъ размахомъ. Эта система являлась какъ бы живымъ воплощеніемъ непреклонной личности самаго Императора Николая I. Идея, которая проникала собой всю систему и какъ мозгъ наполняла кости ея, была идеей внѣшняго могущества и силы Россіи—съ одной стороны, безусловнаго единства ея духовной жизни—съ другой. Относительно внѣшняго могущества будемъ кратки: его не только добивались, имъ пользовались. Познакомившись хотя немного съ исторіей дипломатическихъ сношеній времени Николая I-го, вы прежде всего видите тотъ фактъ, что въ продолженіе долгаго ряда лѣтъ въ европейскомъ концертѣ Россія держала первую скрипку. Императоръ былъ настоящимъ рѣшителемъ европейскихъ судебъ, чьему приказанію волей-неволей должны были подчиняться за границей. Въ дѣла другихъ европейскихъ государствъ онъ вмѣшивался властно и требовательно; его голосъ раздавался, какъ голосъ власти, силу и право имѣющей, главное—силу. Стоитъ припомнить классическую угрозу Николая I-го отправить въ Парижъ милліонъ слушателей, т. е. солдатъ, въ случаѣ, если будетъ допущена къ представленію пьеса, гдѣ выводилась далеко не въ привлекатель-

номъ видѣ Екатерина II; Луи-Филиппъ послушался: пьесу поспѣшили упразднить. Участіе Россіи въ венгерскомъ возстаніи — новая иллюстрація того же самаго. Венгерцы возстали потому, что у нихъ были съ австрійцами свои собственные счеты; но такъ какъ Императоръ Николай I-й возложилъ на себя трудную задачу сохраненія европейскаго мира и считалъ безусловнымъ своимъ долгомъ заботиться о прочности всѣхъ европейскихъ престоловъ и поддерживать династическую идею вездѣ и повсюду, то Россіи пришлось вмѣшаться и въ венгерское возстаніе ради его успокоенія. Русскій колоссъ въ эту удивительную эпоху расправлялъ свои могучіе члены и явился въ полномъ блескѣ величія и власти. Но, очевидно, чтобы пользоваться въ Европѣ такой первенствующей ролью, ему пришлось пустить въ ходъ всѣ свои силы, которыя только были, пришлось дѣлать невѣроятное напряженіе, пришлось идеѣ внѣшняго могущества подчинить все остальное и принести ей въ жертву лучшія дарованія, лучшія способности.

Однимъ изъ необходимѣйшихъ условій внѣшняго могущества, по мнѣнію Императора Николая, являлось полное, безусловное, нетерпящее никакихъ даже самомалѣйшихъ уклоненій, духовное единство всѣхъ русскихъ людей. Имъ должны были проникнуться всѣ, начиная съ перваго вельможи и кончая послѣднимъ мужиченкомъ. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себѣ всѣ мысли и чувства пятидесятимилліоннаго населенія. Это была поистинѣ грандіозная попытка. Всѣ усилія правительства, въ области внутренней политики, сводились къ дисциплинѣ, идеаломъ которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое, строго опредѣленное мѣсто; отъ каждаго требовалось, чтобы онъ говорилъ, думалъ и чувствовалъ именно такъ, какъ было предписано. Одинъ долженъ былъ чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; въ мысляхъ одного могло быть больше развязности и бойкости, чѣмъ въ мысляхъ другого или третьяго, которому совсѣмъ не полагалось имѣть никакихъ мыслей. Все это было строго предусмотрѣно системой, все это математически точно соотвѣтствовало положенію человѣка на землѣ.

Все равно какъ царствованіе Екатерины было высшимъ „расцвѣтомъ“ крѣпостного права, а значитъ и дворянства, такъ и царствованіе Николая I-го — высшимъ расцвѣтомъ государственности, какъ системы общественныхъ отношеній, основанныхъ на строжайшихъ сословныхъ подраздѣленіяхъ. Государство—земной богъ. Все должно служить ему, все должно полагать на это служеніе всѣ свои силы. Общества, общественной жизни нѣтъ и быть не можетъ.

Государственность *въ этомъ смыслѣ* слова и полное обезличеніе

идуть всегда рука объ руку. Это два тождественныя явленія, изъ которыхъ одно порождаетъ другое, образуя въ концѣ концовъ переплетъ взаимно дѣйствующихъ силъ. Такая государственность не признавала за человѣкомъ ни права любить, ни права думать, ни права говорить, ни даже права выбирать себѣ занятіе. Онъ долженъ былъ отдать себя всего, безъ остатка, въ службу. Его жизнь была предопредѣлена заранѣе, она вся проходила по чужой волѣ. Лучшій примѣръ такого полнаго поглощенія человѣка — это военная служба при Николаѣ Павловичѣ, продолжавшаяся цѣлыхъ 25 лѣтъ, иногда больше. Спрашивается, что же оставалось человѣку самому, когда могъ онъ пожить для себя, поѣсть не изъ казеннаго котла, лечь и встать не по барабану, повернуться въ ту сторону, въ которую хочетъ, завестись своей семьей? Ничего и никогда.

Прежняя государственность была безжалостна. Она, какъ Кальвинъ, объявляла, что для нея не существуетъ людей, а только поступки. Въ Женевѣ ребенокъ, провинившійся въ богохульствѣ, подвергался суровому наказанію. У насъ дореформенная государственность объявила Чаадаева сумасшедшимъ за то, что онъ думалъ иначе, чѣмъ слѣдуетъ, ввела безконечно долгую военную службу, регулировала частную жизнь человѣка, и горе тому, кто отступалъ отъ правила: наказаніе постигало его немедленно, несмотря ни на что. Государственность была вездѣ, въ канцеляріяхъ и департаментахъ, въ казармахъ и семьяхъ. Отъ крестьянина она требовала только труда, отъ солдата — только службы, отъ чиновника — только исполнительности, отъ дѣтей — только повиновенія. Даже священники того времени были обязаны проповѣдывать, что главная заслуга заключается въ *покорности* властямъ.

Больше всего, конечно, боялись мысли, и какъ жилось ей въ этой обстановкѣ — сообразить не трудно. Интеллигентная мысль менѣе всего подходила подъ требованія системы. Вѣдь вся привлекательность умственной или творческой дѣятельности въ томъ и заключается, что въ ней человѣкъ выражаетъ свою особенность и индивидуальность. Разъ нѣтъ послѣдняго, разъ нѣтъ свободы, позволяющей проявить самого себя, — то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую. Но какое дѣло „системѣ“ до особенности и индивидуальности? Крупныхъ людей, какъ, напр., Пушкина, она старалась привлечь на свою сторону. Съ мелкими она совершенно не церемонилась, и даже мрачные казематы Соловецкаго монастыря для „заживо погребенныхъ“ никогда не оставались пустыми.

„Было говоритъ г. Пыпинъ — полное отсутствіе публичности, слѣдовательно незнаніе того, что дѣлается въ странѣ или знаніе изъ одного оффиціальнаго бюрократическаго источника“. Поэтому „литература этого

періода, взятая въ цѣломъ, не говоритъ о самыхъ насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорила во времена Александра I-го. Такъ, литература ни словомъ не заикалась о политическихъ предметахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о внутреннихъ дѣлахъ вообще". Все, кромѣ побѣдъ надъ иноплеменниками, считалось канцелярской тайной, и эта тайна, вредная сама по себѣ была еще въ 10 разъ вреднѣе потому, что ею обусловливалось могущество этой ужасной смѣси застоя, рутины, самодовольства, пошлости, жестокости, непониманія, т. е.—русскаго чиновника. „Въ своихъ лучшихъ представителяхъ,—продолжаетъ г. Пыпинъ,—литература ушла въ чистую художественность, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе нравственные вопросы. Публицистика не существовала. Предметы политическіе были до такой степени удаляемы отъ общественнаго мнѣнія, какъ вещь опасная, что новѣйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и литературы, политическая экономія считалась наукой разрушительной, а преподаніе философіи въ концѣ концовъ упразднили, прикомандировавъ къ богословію".

Господствовала теорія, которую г. Пыпинъ какъ нельзя удачнѣе называетъ „оффиціальной народностью". Признавалось и вѣрилось, что „Россія есть совершенно особое государство и особая національность, не похожая на государства и національности Европы. Европа имѣетъ свои основы быта—католицизмъ, протестантство, конституціонныя и республиканскія учрежденія, свободу слова, печати и свободу общественную. Всѣмъ этимъ она гордится, какъ прогрессивными и культурными явленіями, но такая гордость есть заблужденіе и результатъ французскаго вольнодумства. Россія, къ счастью, осталась свободной отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, почему ей, какъ особой части свѣта, и предстоитъ особенная будущность. Въ цѣлости и неприкосновенности сохранила она преданія вѣковъ, которымъ и должна пребывать неизмѣнно вѣрной. Сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы,—Россія не можетъ, какъ не можетъ она не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія страна православная и даже наиболѣе православная. „Ея исповѣданіе заимствовано изъ древняго византійскаго источника, вѣрно хранившаго преданія церкви, и она осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средѣ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами". Правда, и у насъ есть раскольники, „но правительство и церковь употребляютъ всѣ усилія, убѣжденія и мѣры строгости къ возвращенію заблудшихъ и

къ искорененію ихъ заблужденій". Раскольники, по ихъ невѣжеству, заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія, но вообще терпимы быть не могутъ.

И во внутреннемъ своемъ бытѣ Россія не похожа на европейскіе народы, продолжая оставаться особой, шестой частью свѣта. „Съ оригинальными учрежденіями, съ древней вѣрой она сохранила патріархальныя добродѣтели, мало извѣстныя народамъ западнымъ... Добродѣтели эти слѣдующія: 1) народное благочестіе, 2) полное довѣріе подданныхъ къ предержащимъ властямъ, 3) безпрекословное повиновеніе имъ и 4) простота нравовъ и потребностей. Нашъ бытъ удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія, но онъ отвѣчаетъ нашимъ нравамъ и свидѣтельствуетъ о неиспорченности народа: такъ крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеніи и преобразованіи) сохраняетъ въ себѣ много патріархальнаго, и хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянина, чѣмъ могли бы сдѣлать они сами... Управленіе государствомъ учреждается на всеобщемъ, всестороннемъ и исключительномъ попеченіи власти о благѣ народа". Само по себѣ управленіе совершенно, а если въ практическомъ теченіи дѣлъ замѣчаются недостатки, то повинны въ нихъ людскіе пороки. „Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинѣ, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой" и т. п.

Если мы и отстали отъ Европы въ цивилизаціи и наукѣ, то обстоятельство это служитъ на нашу же пользу, такъ какъ наука получается у насъ въ томъ видѣ, когда всѣ сѣмена ея тщательно отдѣлены отъ плевелъ. „Высшія учрежденія блюдутъ за тѣмъ, чтобы наука приносила намъ только полезное, и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ".

Такова въ общихъ чертахъ была система „оффиціальной народности", съ достаточной полнотой разработанная во всѣхъ своихъ частяхъ и имѣвшая на все готовые отвѣты. Основная ея мысль—уваженіе къ преданію, отождествленіе терминовъ „патріархальный" и „добродѣтельный", „древній" и „истинный", взглядъ на правительство, какъ на исключительно сдерживающую, консервативную силу. Россія отказывалась имѣть что-нибудь общее съ либеральными стремленіями, провозглашала себя опорой и защитницей существующаго и съ негодованіемъ смотрѣла на тѣ правительства, которыя относились къ новшествамъ съ снисхожденіемъ. Послѣднимъ словомъ политической мудрости, единственнымъ залогомъ народнаго счастья и благосостоянія провозгласила она полную административную власть надъ гражданами, и въ этомъ отношеніи не желала дѣлать никакихъ уступокъ.

Масса общества, конечно, стояла на сторонѣ этихъ оффиціальныхъ теорій, да и не было ничего другого, къ чему она могла бы прислониться. То же надо сказать и о литературѣ. Жуковскій, этотъ удивительно доволь-

ный собою и всѣмъ окружающимъ человѣкъ, съ самаго начала былъ склоненъ къ оффиціальной восторженности и чисто консервативному міросозерцанію. Впрочемъ, его заоблачная туманная поэзія никакимъ путемъ и не могла сталкиваться съ земною дѣйствительностью; она не заключала въ себѣ ничего историческаго съ точки зрѣнія общественнаго развитія, удовлетворяла своими чарующими напѣвами, а не стремленіями. Пѣвецъ „Леноры“ и „Свѣтланы“ сначала, переводчикъ „Одиссеи“—потомъ, Жуковскій, какъ писатель, служилъ украшеніемъ своему времени, но жизнь этого времени, его тайныя думы, его волевое начало, его порывы и стремленія не находили мѣста въ мечтательныхъ и грустно-красивыхъ созданіяхъ поэта. Жуковскій и его муза—иноземныя растенія, и что *здѣсь* вообще русскаго, нашего—я не знаю, если не считать нѣсколькихъ оффиціально-патріотическихъ стихотвореній. Ближе другихъ къ Жуковскому—Батюшковъ, несмотря на нѣкоторую свою разочарованность и стремленіе философствовать. О Вяземскомъ нечего и говорить. Какъ поэтъ, онъ совершенно ничтоженъ и извѣстенъ лишь своими литературными связями. Пушкинъ началъ съ либерализма, но онъ былъ слишкомъ аристократиченъ, слишкомъ любилъ жизнь, какъ она есть, чтобы долго удержаться на этой точкѣ зрѣнія. Другъ многихъ декабристовъ, онъ однако не интересовался ни политикой, ни общественностью и не любилъ ихъ. Эта непріязнь, а можетъ быть усиленная осторожность, проявилась въ немъ очень рано. Еще когда въ обществѣ Арзамасъ, сначала исключительно литературномъ, появился расколъ и нѣкоторые члены пожелали разговаривать о вопросахъ внутренней жизни—Пушкинъ былъ противъ этого. Гоголь—не только литературный, но и духовный крестникъ Пушкина и Жуковскаго.

Система ломала все, что встрѣчалось у ней на пути, и огромная часть ея усилій была направлена къ тому, чтобы оградить себя отъ возможности и въ дальнѣйшемъ встрѣтиться съ какими бы то ни было непріятностями. Тутъ на первомъ планѣ выступаютъ заботы о цензурѣ.

Исторія цензуры эпохи императора Николая I—это рядъ анекдотовъ то комическихъ, то печальныхъ, оставляющихъ однако по себѣ чувство какого-то недоумѣнія. Читая, напримѣръ, исторію русской цензуры А. М. Скабичевскаго, или дневникъ Никитенко или матеріалы, собранные Барсуковымъ, начинаешь жалѣть нашихъ цензоровъ, хотя между ними и попадались удивительные экземпляры въ смыслѣ типичности, съ какой они воплотили въ себѣ духъ времени и бурбонства. Послѣ введенія новаго цен-

зурнаго устава эти маленькіе чиновники совершенно растерялись, не зная, чего же въ концѣ-концовъ отъ нихъ требуютъ. Не малая бѣда заключалась, конечно, и въ томъ, что, кромѣ одного спеціальнаго цензурнаго вѣдомства при министерствѣ народнаго просвѣщенія, было ихъ еще одиннадцать при разныхъ другихъ министерствахъ и управленіяхъ. Эта спеціальная цензура слѣдила за тѣмъ, чтобы литература не только не обидѣла ихъ канцелярій и департаментовъ, но и вообще не заглянула туда нескромнымъ окомъ своимъ.

Нѣсколько выписокъ изъ дневника Никитенко (самого цензора) дадутъ намъ представленіе о томъ невѣроятномъ, что творилось въ этой области.

„Сочиненіе мое о „Политической экономіи" во многихъ мѣстахъ урѣзано цензурою. Между прочимъ, въ одномъ мѣстѣ у меня сказано: „Адамъ Смитъ, полагая свободу промышленности краеугольнымъ камнемъ обогащенія народовъ" и прочее. Слово „краеугольный" вычеркнуто потому, какъ глубокомысленно замѣчаетъ цензоръ, что краеугольный камень есть Христосъ, слѣдовательно, сего эпитета нельзя ни къ чему другому примѣнять.

„Былъ въ театрѣ на представленіи комедіи Грибоѣдова „Горе отъ ума". Нѣкто остро и справедливо замѣтилъ, что въ этой пьесѣ осталось одно только горе: столь искажена она роковымъ ножемъ бенкендорфской литературной управы.

„Вечеръ провелъ у Плетнева. Тамъ засталъ Пушкина. „Европейца" запретили. Тьфу. Да что же мы, наконецъ, будемъ дѣлать на Руси? Пить и буянить? И тяжко, и стыдно, и грустно...

„Новое гоненіе на литературу. Нашли въ сказкахъ Луганскаго какой-то страшный умыселъ противъ верховной власти и т. д.

„Сидонскій разсказывалъ мнѣ, какому гоненію подвергался онъ отъ монаховъ, разумѣется отъ Филарета, за свою книгу: „Введеніе въ философію". Отъ него услышалъ я также забавный анекдотъ о томъ, какъ Филаретъ жаловался Бенкендорфу на одинъ стихъ Пушкина въ „Онѣгинѣ", тамъ, гдѣ онъ описывая Москву, говоритъ: „и стая галокъ на крестахъ". Здѣсь Филаретъ нашелъ оскорбленіе святыни. Цензоръ, котораго призывали къ отвѣту по этому поводу, сказалъ, что „галки, сколько ему извѣстно, дѣйствительно, садятся на крестахъ московскихъ церквей, и что, по его мнѣнію, виноватъ здѣсь болѣе всего московскій полицеймейстеръ, допускающій это, а не поэтъ и цензоръ". Бенкендорфъ отвѣчалъ учтиво Филарету, что это дѣло не стоитъ того, чтобы вмѣшивалась такая почтенная духовная особа: еже писахъ, писахъ.

„У насъ на образованіе смотрятъ какъ на заморское чудовище: повсюду устремлены на него рогатины, немудрено, если оно взбѣсится".

Когда въ „Библіографическихъ Запискахъ" появилось стихотвореніе:

Красавицѣ.

Когда бъ я былъ царемъ всему земному міру,
Волшебница, тогда бъ повергъ я предъ тобой
Все, все, что власть даетъ народному кумиру:

Державу, скипетръ, тронъ, корону и порфиру,
За взоръ, за взглядъ единый твой.
И если бъ Богомъ былъ—селеньями святыми
Клянусь—я отдалъ бы прохладу райскихъ струй,
И сонмы ангеловъ съ ихъ пѣснями живыми,
Гармонію міровъ и власть мою надъ ними
За твой единый поцѣлуй.

пропустившій ихъ Никитенко былъ посаженъ на гауптвахту, такъ какъ стихотвореніе оказалось „атеистическимъ“.

Лучше всего принципъ цензуры того времени изложилъ министръ народнаго просвѣщенія кн. Ширинскій-Шихматовъ. Онъ запретилъ одно стихотвореніе Ив. Аксакова и на вопросъ „почему“?. отвѣчалъ: „оно можетъ подать поводъ къ толкованіямъ“. Поэма того же Аксакова „Бродяга“ была запрещена на томъ основаніи, что авторъ выбралъ себѣ въ герои безпаспортнаго человѣка.

Между тѣмъ литература существовала. Мало того—эпоха Николая I одна изъ самыхъ плодотворныхъ эпохъ въ исторіи русскаго общественнаго развитія. Это доказываетъ лишь то, какъ безполезны вообще стѣсненія и уставы противъ всемогущаго духа времени.

А жить мыслящему человѣку было все-таки тяжело. Недаромъ Бѣлинскій воскликнулъ какъ-то въ одномъ изъ своихъ писемъ къ Боткину: „страшное время переживаемъ мы теперь“. Недаромъ Грановскій писалъ Герцену послѣ 49-года: „благо Бѣлинскому, умершему во время“! Недаромъ скромный *средній человѣкъ* (а вѣдь это ужасно много значитъ, когда даже средній человѣкъ почувствуетъ) Никитенко дѣлаетъ такія вотъ записи въ своемъ дневникѣ:

„Было время, что нельзя было говорить объ удобреніи земли, не сославшись на тексты изъ Священнаго Писанія. Тогда Магницкіе и Руничи требовали, чтобы философія преподавалась по программѣ, сочиненной въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, чтобы, преподавая логику, старались бы въ то же время увѣрить слушателей, что законы разума не существуютъ, а преподавая исторію, говорили бы, что Греція и Римъ вовсе не были республиками, а такъ чѣмъ-то похожимъ на государства съ неограниченною властью, вродѣ турецкаго и монгольскаго. Могла ли наука принести какой-нибудь плодъ, будучи такъ извращаема? А теперь? О, теперь совсѣмъ другое дѣло! Теперь требуютъ, чтобы литература процвѣтала, но никто бы ничего не писалъ ни въ прозѣ, ни въ стихахъ; требуютъ, чтобы учили лучше, но чтобы учащіе не размышляли, потому что учащіе—что такое? Офицеры, которые сурово управляются съ истиной и заставляютъ ее вертѣться во всѣ стороны передъ своими слушателями. Теперь требуютъ отъ юношества, чтобы оно училось много и притомъ не механически, но чтобы оно не читало книгъ и никакъ

не смѣло думать, что для государства полезнѣе, если его граждане будутъ имѣть свѣтлую голову, вмѣсто свѣтлыхъ пуговицъ на мундирѣ.

„Въ странномъ положеніи находимся мы. Среди людей, которые имѣютъ претензію дѣйствовать на умъ общественный, нѣтъ никакой нравственности. Всякое довѣріе къ высшему порядку вещей, къ высшимъ началамъ дѣятельности исчезло. Нѣтъ ни общественолюбія, ни человѣколюбія; мелочный, отвратительный эгоизмъ проповѣдуется тѣми, которые призваны наставлять юношество, насаждать образованіе или двигать пружинами общественнаго порядка.

„Нравственное безчиніе, цинизмъ обуялъ души до того, что о благородномъ, о великомъ говорятъ съ насмѣшкою даже въ книгахъ. Сословіе людей, сильныхъ умомъ, литераторовъ, наиболѣе погрязало въ этомъ цинизмѣ. Они въ своихъ произведеніяхъ восхваляютъ чистую красоту, а сами исполнены нравственнаго безобразія. Они говорятъ объ идеяхъ, а сами живутъ безъ всякаго сознанія высшихъ потребностей духа, выставляютъ въ жизни своей самыя позорныя стороны житейскихъ страстей. Можетъ быть, и всегда такъ было, но отъ иныхъ причинъ. Причина нынѣшняго нравственнаго паденія у насъ, по моему наблюденію, въ политическомъ ходѣ вещей. Настоящее поколѣніе людей мыслящихъ не было таково, когда исполненное свѣжей юношеской силы, оно впервые вступало на поприще умственной дѣятельности. Оно не было проникнуто такимъ глубокимъ безвѣріемъ, не относилось такъ цинично ко всему благому и прекрасному. Но власти объявили себя врагами всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дѣятельности духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, они однако до того затруднили насъ цензурою, частными преслѣдованіями, что мы вдругъ увидѣли себя въ глубинѣ души, какъ бы запертыми со всѣхъ сторонъ, отторженными отъ той почвы, гдѣ духовныя силы развиваются и совершенствуются.

„Сначала мы судорожно рвались на свѣтъ. Но когда увидѣли, что съ нами не шутятъ, что отъ насъ требуютъ безмолвія и бездѣйствія, что талантъ и умъ осуждены цѣпенѣть и гноиться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму, что всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка, когда, однимъ словомъ, намъ объявили, что люди образованные считаются въ нашемъ обществѣ паріями, что оно пріемлетъ въ свои нѣдра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственнымъ началомъ, на основаніи котораго позволено дѣйствовать—тогда все юное поколѣніе вдругъ нравственно оскудѣло: всѣ его высокія чувства, всѣ идеи, согрѣвавшія его сердце, воодушевлявшія его къ добру, къ истинѣ, сдѣлались мечтами безъ всякаго практическаго значенія,—а мечтать людямъ умнымъ смѣшно. Все было приготовлено, настроено и устроено къ нравственному преуспѣянію—и вдругъ этотъ складъ жизни и дѣятельности оказался несвоевременнымъ, негоднымъ, его пришлось ломать и на развалинахъ строить канцелярскія камеры и солдатскія будки.

„Но, скажутъ, въ это время открывали новые университеты, увели

чивали штаты учителямъ и профессорамъ, посылали молодыхъ людей за границу для усовершенствованія въ наукахъ. Это значило еще увеличивать массу несчастныхъ, которые не знали, куда дѣться со своимъ развитымъ умомъ, со своими требованіями на высшую умственную жизнь.

„Вотъ картина нашего положенія; оно незавидно. Мудрено ли теперь, что мы, воспитавъ себя для высшаго назначенія и униженные въ собственныхъ глазахъ, кидаемся, какъ голодныя собаки, на всякую падаль, лишь бы доставить какую-нибудь пищу нашимъ силамъ.

„Конечно, и у насъ есть люди, дѣйствующіе въ другомъ духѣ, но ихъ очень мало и они слишкомъ безсильны, слишкомъ робки слишкомъ недовѣрчивы къ собственнымъ чистымъ побужденіямъ, чтобы могли перетянуть вѣсы на сторону добра; есть затворники, постники, которые рѣшались пребыть до конца вѣрными своимъ идеямъ и лучше задохнуться, чѣмъ измѣнить имъ. Но эти люди—исключеніе, и они несчастнѣе первыхъ, ибо не вкушаютъ сладости даже минутнаго забвенія. Ничего удивительнаго, если иные изъ молодыхъ людей доходятъ до самоубійства, какъ то было съ нашимъ Поповымъ.

„Конечно, эта эпоха пройдетъ, какъ и все проходитъ на землѣ, но она можетъ затянуться надолго—на пятьдесятъ, на шестьдесятъ лѣтъ. Тѣмъ временемъ успѣешь умереть въ этой глухой, дикой, каменистой Аравіи, вдали отъ Земли Святой, отъ Сіона, гдѣ можно жить и пѣть высокія пѣсни. Увы!

Рабы, влачащіе оковы,
Высокихъ пѣсенъ не поютъ"...

Журналистика эпохи Николая I-го.

Если не считать „Вѣстника Европы", издававшагося Карамзинымъ въ началѣ столѣтія (1802 –1804), „Московскій Телеграфъ", (1825—1834), былъ первымъ русскимъ журналомъ, заслуживающимъ это названіе даже съ нашей точки зрѣнія. Братья Полевые вели его, не только живо и разнообразно, но, что удивительно для той эпохи, въ совершенно опредѣленномъ направленіи. Перелистывая ветхія страницы „Вѣстника Европы" Карамзина, вы видите, что онъ заботился лишь о томъ, чтобы быть интереснымъ, не больше. И это, конечно, было почтенной задачей для того добраго стараго времени, когда читатель былъ прямо рѣдкость, а имена субскрибентовъ, т. е. подписчиковъ печатались крупнымъ шрифтомъ въ каждой книгѣ журнала, „какъ покровителей литературы". Но все же „В. Е." Карамзина не журналъ въ нашемъ смыслѣ слова. Исторію журналистики надо начинать или съ сатирическихъ листковъ временъ Екатерины или, повторяю, съ „Московскаго Телеграфа" Полевого.

Бѣлинскій, Панаевъ и вообще кружокъ „Современника" произнесли

когда-то Полевому суровый приговоръ. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Панаевъ въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ: „Немногіе даже изъ замѣчательныхъ людей оберегаютъ до старости то живое начало, ту смѣлость духа, тѣ благородныя стремленія, которыя одушевляли ихъ и давали имъ силу въ молодости... Грустно смотрѣть на этихъ ослабѣвшихъ людей, но... ничто не можетъ быть жалче и печальнѣе, когда видишь человѣка разбитаго жизнью, безсильнаго, пережившаго самого себя, старающагося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему нѣкогда по праву человѣка, прикидывающагося молодцомъ, когда уже ноги дрожатъ и измѣняютъ ему на каждомъ шагу, и съ робкой завистью отрицающаго дѣйствительную силу, проявляющуюся въ новомъ поколѣніи. Такое зрѣлище представлялъ, къ сожалѣнію, въ послѣдніе годы своей жизни нѣкогда сильный литературный боецъ, подъ вліяніемъ котораго воспитывалось почти все наше поколѣніе. Я говорю о Полевомъ... Если бы онъ, послѣ рокового произвола, обрушившагося надъ нимъ, примирѣлъ поневолѣ и продолжалъ бы честно и смиренно трудиться, съ единственною цѣлью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнаннымъ въ исторіи русской литературы. Но Полевой съ испугу поспѣшилъ употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которыхъ никто отъ него не требовалъ, безпрестанно унижалъ безъ нужды свое литературное и человѣческое достоинство, протягивая свою руку людямъ отсталымъ, пошлымъ и защитникамъ тѣхъ принциповъ, противъ которыхъ онъ когда-то ратовалъ, отъявленнымъ негодяямъ, и,—что всего хуже,—съ завистливою ненавистью обратился къ новому поколѣнію... Хотя онъ совершенно потерялъ въ послѣдніе годы свое литературное значеніе, но смерть его на мгновеніе примирила всѣхъ съ нимъ. Полевой, восхвалявшій романы частнаго пристава Штевена, писавшій „Парашъ Сибирячекъ“ и другія тому подобныя произведенія, былъ забытъ. Въ простомъ деревянномъ гробѣ, выкрашенномъ желтою краскою,—онъ завѣщалъ похоронить себя какъ можно проще,—передъ нами лежалъ прежній Полевой, тотъ энергичный редакторъ „Моск. Тел.“, которому мы были такъ много обязаны нашимъ развитіемъ...“

Жестокая правда скрыта въ этихъ словахъ, но правда односторонняя, слишкомъ, я бы сказалъ, сухая. Мы имѣемъ полное право нѣсколько иначе отнестись къ Полевому. Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю. Нуженъ художникъ, чтобы изобразить эту простую и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненную трагизма жизнь. Авторъ „Исторіи русскаго народа“, сильный боецъ и передовой человѣкъ, гибкій и энергичный умъ, открытое, живое сердце—это Полевой въ первой половинѣ своей жизни. Авторъ заядло-патріотическихъ произведеній, сотрудникъ Булгарина, человѣкъ, не

останавливавшійся ни передъ какими униженіями, торговавшій своимъ талантомъ и быстро промотавшій свою великую славу на скользкомъ пути подслуживанія,—это тотъ же Полевой, но уже послѣ закрытія „Московск. Тел.“. Что же случилось? Панаевъ объясняетъ такую перемѣну испугомъ и матеріальными затрудненіями. Полевой былъ сломленъ, по словамъ пословицы: сила солому ломитъ.

Разскажемъ вкратцѣ его литературную біографію.—это избавитъ насъ отъ необходимости произносить непріятный приговоръ самому видному изъ русскихъ журналистовъ вплоть до Бѣлинскаго и, быть можетъ, хоть нѣсколько послужитъ ему оправданіемъ. Тѣмъ мрачнѣе представятся намъ различнаго рода независящія обстоятельства, среди которыхъ приходилось дѣйствовать и Бѣлинскому. Кстати же увидимъ, чѣмъ этотъ послѣдній обязанъ Полевому, такъ какъ, во всякомъ случаѣ, одинаково можно говорить о вліяніи Полевого на Бѣлинскаго, какъ и о вліяніи Надеждина на Бѣлинскаго. Въ сущности, „Отечественныя Записки“ были прямымъ продолженіемъ „Московскаго Телеграфа“, а не „Телескопа“.

Полевой—сынъ купца и самоучка. Ему было съ небольшимъ 20 лѣтъ, когда онъ принялся за изданіе „Телеграфа“. Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, онъ былъ, какъ нельзя лучше, приготовленъ къ роли журналиста. Не особенно образованный, онъ обладалъ однако многочисленными и разнообразными знаніями, писалъ онъ легко, свободно и литературно, прекрасно владѣя своимъ нѣсколько рѣзкимъ и оригинальнымъ юморомъ, а главное - онъ былъ достаточно смѣлъ, чтобы довѣрять своему вкусу и настроенію. Какъ истинный журналистъ, писалъ онъ обо всемъ,—о русской и всеобщей грамматикѣ, о санскритскомъ языкѣ, объ исторіи всеобщей и русскихъ лѣтописяхъ, о театрѣ и политической экономіи, о промышленности и о Шекспирѣ, о научныхъ теоріяхъ и объ искусствѣ, о преобразованіяхъ и успѣхахъ по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности, даже о новыхъ модахъ.

Конечно, академія имѣетъ полное право не причислять его къ лику своихъ членовъ, а наука—отнюдь не меньше—забыть его, но намъ трудно не вспомнить съ благодарностью объ этой кипучей, разносторонней дѣятельности. Она имѣла большой смыслъ и въ свое время прекрасно сыграла роль толчка—и при томъ очень энергично.

Полевой повсюду съ рѣзкимъ и грубоватымъ даже юморомъ нападалъ на заснувшихъ лѣнтяевъ и педантовъ; онъ буквально не давалъ имъ покоя, въ какія бы спеціальныя сферы или норы они не прятались. Онъ по пятамъ преслѣдовалъ ученое и литератудное самодовольство, безжалостно осмѣивая его представителей, искренно утвержденныхъ въ мысли о своей геніальности, вслѣдствіе какой-нибудь плохо изданной компиляціи по

нѣмецкимъ учебникамъ. Если и въ настоящее время нерѣдко попадаются люди, основывающіе всѣ свои претензіи на величіе на томъ, что имъ извѣстна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что же было 60—70 лѣтъ тому назадъ? Все равно, какъ каждый, строчившій библіографическія замѣтки, наивно воображалъ себя критикомъ, какъ авторъ дикаго стихотворенія требовалъ причисленія къ сонму поэтовъ,—такъ и ничтожный компиляторъ находилъ въ своей душѣ достаточно самоувѣренности, чтобы мнить себя жрецомъ науки и съ этой высоты съ презрѣніемъ посматривать на окружающее вообще, и на человѣчество въ частности. У Полевого на этотъ счетъ была своя собственная точка зрѣнія, недостаточно рѣзко формулированная, быть можетъ, не совсѣмъ ясная даже для него самого, и все же замѣчательная, и для насъ очевидная. Эта точка зрѣнія, одушевленная впослѣдствіи геніемъ Бѣлинскаго, согрѣтая его чуднымъ, безконечно любящимъ и вѣрующимъ сердцемъ, составила всю славу нашего великаго критика. Я говорю, конечно, объ общественной точкѣ зрѣнія. Не особенно симпатичная, когда ее примѣняютъ механически и односторонне къ произведеніямъ науки и искусства, она однако всегда имѣла и будетъ имѣть большое значеніе. Прекрасно формулирована она Бѣлинскимъ: „Свобода творчества, — говоритъ онъ,—легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазію, для этого нужно быть только гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями; для этого нужна симпатія, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни“. Всякому извѣстно, какой переворотъ въ нашихъ взглядахъ и понятіяхъ произвела эта общественная точка зрѣнія; несомнѣнно, что она была у Полевого. Понятно теперь, почему онъ съ такой энергіей преслѣдовалъ всякихъ ученыхъ педантовъ и птичьихъ поэтовъ, ибо на всякую дѣятельность — все равно научную или литературную — онъ смотрѣлъ, прежде всего, какъ на дѣятельность общественную. Большой поклонникъ Пушкина, вполнѣ убѣжденный въ его геніальности, онъ нападалъ даже на него. „Полевой, — говоритъ А. Скабичевскій въ своей „Исторіи новѣйшей литературы“,— представилъ въ своемъ „Моск. Тел.“ первые задатки оцѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантливости и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ имъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, что былъ, и, нападая на его стремленія къ великосвѣтскости, ясно намекалъ на тѣ новыя оффиціальныя связи и отношенія, которыя завязались у Пуш-

кина послѣ 1826 года". Сильный и остроумный писатель, врагъ всякаго авторитета, прекрасный полемистъ, Полевой очевидно долженъ былъ возбудить противъ себя цѣлую стаю литературныхъ недруговъ, буквально не дававшую ему ни минуты покоя. Совершенно правъ его братъ, говоря:

„Издатель „Московскаго Телеграфа" только началъ свое литературное поприще и уже въ первое время существованія его журнала, былъ, можно сказать, осыпанъ нападеніями всякаго рода, начиная отъ обыкновенныхъ литературныхъ противорѣчій до самыхъ дерзкихъ и нелитературныхъ выходокъ. Онъ былъ не Карамзинъ, не прославленный ученый и профессоръ, онъ учился не въ университетахъ, не въ академіяхъ,—а въ глазахъ тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломовъ ни на какое ученое званіе, что такъ усердно старались пояснить его благородные, повитые на щитахъ, противники. Они упрекали, кололи его званіемъ, выводили послѣдствія, по ихъ мнѣнію, очень логическія, что званіе купца, слѣдовательно торговца, промышленника, несовмѣстно съ литературными занятіями, и, почитая его какимъ-то паріею среди благородныхъ кастъ, на этомъ основаніи позволяли себѣ дерзости, какихъ не осмѣлились бы сказать другому. Наконецъ, издатель „Московскаго Телеграфа" могъ опасаться, что съ нимъ сбудется то, что Бомарше вложилъ въ уста Донъ-Базиліо о клеветѣ: „самая пошлая, самая нелѣпая клевета оставляетъ послѣ себя слѣдъ".

Въ этихъ клеветахъ, злостныхъ и упорныхъ нападкахъ на Полевого, какъ нельзя лучше проявились булгаринскіе нравы литературы того времени. Но и Полевого нападали и съ другой стороны.

Въ немъ на самомъ дѣлѣ была та самостоятельность мысли и чувства, которая такъ не нравилась 50 лѣтъ тому назадъ. Въ литературѣ Полевой выступилъ защитникомъ романтизма, въ исторіи—противникомъ Карамзина. Обратимъ вниманіе на послѣднее обстоятельство — оно это заслуживаетъ: Какъ писалъ Карамзинъ свою исторію—извѣстно, это исторія государства, а не народа, это панегирикъ внѣшней силѣ и внѣшнему могуществу, это прекрасный арсеналъ для всѣхъ аргументовъ національнаго самодовольства. Народа на сценѣ нѣтъ, вмѣсто философской точки зрѣнія господствуетъ нравственная. Пріобрѣтеніе удѣла—великая заслуга, эпитеты добродѣтельный и недобродѣтельный пестрятъ страницы. Сантиментальный моралистъ повсюду стоитъ рядомъ съ панегиристомъ государства. Какъ бы въ отвѣтъ „Исторіи Государства Россійскаго" Полевой пишетъ свою „Исторію русскаго народа".

Прекрасная книга, не утерявшая своей цѣны еще и до настоящаго времени: для людей же 20-хъ и 30-хъ годовъ она была настоящимъ откровеніемъ. Молчаливый и закабаленный народъ впервые заявилъ о своемъ

непосредственномъ участіи въ дѣлѣ созданія и государства и исторіи. Ему было отведено свое мѣсто, и тѣмъ ярче выступило противорѣчіе между народомъ, создавшимъ исторію, и крѣпостной безправной массой, въ которую превратился тотъ же народъ, и о чемъ совсѣмъ забылъ Карамзинъ.

Одна эта книга могла бы обезсмертить имя Полевого, а если прибавить къ ней его заслуги, какъ издателя „Московскаго Телеграфа", то, право, становится грустнымъ, что у насъ нѣтъ даже его приличной біографіи, и только десятокъ статей, разбросанныхъ въ журналахъ, да давно затерявшійся памятникъ на Волковомъ кладбищѣ — вотъ и все, что осталось отъ сильнаго бойца, когда-то передового дѣятеля нашего общества...

Правда, впослѣдствіи Полевой самъ себя опровергъ и набросилъ на свое имя очень темную тѣнь. Случилось это послѣ неожиданнаго прекращенія „Московскаго Телеграфа", когда его издатель остался безъ всякихъ средствъ къ жизни и къ довершенію всего получилъ строгое внушеніе. Человѣкъ умалился. Теперь, если ужъ надо о чемъ разсказывать, то не о прежней почти героической борьбѣ съ самодовольствомъ и обскурантизмомъ, а о писаніи только патріотическихъ произведеній, о сотрудничествѣ съ Булгаринымъ, объ откровенномъ ухаживаніи и забѣганіи передъ силой жизни. Полевой дѣлалъ все, что могъ, чтобы забыли его же самого и первую половину его дѣятельности. Однако, онъ не достигъ этого.

За что закрыли „Телеграфъ?" Разсказываютъ про это обыкновенно такъ. Кукольникъ написалъ патріотическую пьесу подъ заголовкомъ „Рука Всевышняго отечество спасла" и эта пьеса удостоилась высочайшаго одобренія. Не зная объ этомъ, Полевой въ своемъ журналѣ помѣстилъ не особенно хвалебную замѣтку о ней. За это „Телеграфъ" пріостановили навсегда, а издателю пригрозили ссылкой. По поводу этого обстоятельства какой-то шутникъ написалъ эпиграмму: рука Всевышняго три чуда совершила: отечество спасла, поэту крестъ дала и Полевого погубила. Но, конечно, погубила не „она". „Она" явилась только предлогомъ, придиркой, причина лежала глубже—въ томъ, что къ Полевому давно присматривались и давно на него косились. Не нравилось, во-первыхъ, то, что онъ никому не кланялся и не льстилъ, не нравилась его репутація человѣка независимаго, не нравилось просто то, что онъ думаетъ, и конечно, его насмѣшливая изворотливость, которая не позволяла такъ долго наложить на него руку. Наконецъ-то онъ оступился, и тутъ уже не было ему пощады. Въ докладѣ про него было даже сказано, что онъ стремится продолжать дѣло декабристовъ. А кто знаетъ обстановку царствованія Николая I-го, тотъ пойметъ, что значитъ такое обвиненіе или подозрѣніе въ устахъ сильнаго

человѣка. Въ данномъ случаѣ этимъ сильнымъ человѣкомъ явился министръ народнаго просвѣщенія — Уваровъ. По крайней мѣрѣ раньше, говоря съ Никитенко о Полевомъ, онъ доказывалъ необходимость запрещенія его журнала вотъ на какомъ основаніи:

„Это проводникъ революціи,—говорилъ Уваровъ,—онъ уже нѣсколько лѣтъ систематически распространяетъ разрушительныя правила. Онъ не любитъ Россіи. Я давно уже наблюдаю за нимъ, но мнѣ не хотѣлось вдругъ принять рѣшительныхъ мѣръ. Я лично совѣтовалъ ему въ Москвѣ укротиться и доказывалъ ему, что наши аристократы не такъ глупы, какъ онъ думаетъ. Послѣ былъ сдѣланъ ему оффиціальный выговоръ: это не помогло. Я сначала думалъ предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить съ публикою —это правительство всегда властно сдѣлать и при томъ на основаніяхъ вполнѣ юридическихъ: ибо въ правахъ русскаго гражданина нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ. Это привиллегія, которую правительство можетъ дать и отнять, когда хочетъ. Впрочемъ,—продолжалъ онъ,—извѣстно, что у насъ есть партія, жаждущая революціи. Декабристы не истреблены. Полевой хотѣлъ быть органомъ ихъ. Но, да знаютъ они, что найдутъ всегда противъ себя твердыя мѣры въ кабинетѣ государя и его министровъ. Съ Гречемъ и Сенковскимъ я поступилъ бы иначе: они трусы, имъ стоитъ погрозить гауптвахтою и они смирятся. Но Полевой—я знаю его: это фанатикъ. Онъ готовъ претерпѣть все за идею. Для него нужны рѣшительныя мѣры. Московская цензура была непростительно слаба“.

Онъ фанатикъ, онъ готовъ все претерпѣть за идею. Не все, конечно, но кое-что, и это кое-что не давало покоя, потому что, во всякомъ случаѣ, онъ производилъ впечатлѣніе сильнаго человѣка. Интересный портретъ его рисуетъ Никитенко:

„Былъ на вечерѣ у Смирдина. Тамъ находились также Сенковскій, Гречъ и недавно пріѣхавшій изъ Москвы—Полевой. Съ послѣднимъ я теперь только познакомился. Это изсохшій, блѣдный человѣкъ, съ физіономіей сумрачной, но и энергичной. Въ наружности его есть что-то фанатическое. Говоритъ онъ не хорошо. Однако, въ рѣчахъ его—умъ и какая-то судорожная сила Какъ бы ни судили объ этомъ человѣкѣ его недоброжелатели, которыхъ у него тьма, но онъ принадлежитъ къ людямъ необыкновеннымъ. Онъ себѣ одному обязанъ своимъ образованіемъ и извѣстностью — а это что-нибудь да значитъ. При томъ онъ одаренъ сильнымъ характеромъ, который твердо держится въ своихъ правилахъ, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильныхъ. Его могутъ притѣснять, но онъ, кажется, мало объ этомъ заботится“.

„Мнѣ могутъ,- сказалъ онъ,—запретить изданіе журнала: что же? я

имѣю, слава Богу, кусокъ хлѣба и въ этомъ отношеніи ни отъ кого не завишу".

Что онъ проповѣдывалъ? Прежде всего романтизмъ. Конечно, послѣ Жуковскаго и Баратынскаго, послѣ первыхъ произведеній Пушкина въ этомъ не было ничего особенно новаго: романтизмъ уже былъ привитъ вкусу публики и въ особенной защитѣ не нуждался. Но, во-первыхъ, надо было упрочить его побѣду въ журналистикѣ, гдѣ псевдоклассическія теоріи имѣли еще такихъ упрямыхъ защитниковъ какъ „Вѣстникъ Европы" Каченовскаго, а во-вторыхъ, Полевой понималъ романтизмъ очень широко, какъ свободу мысли, чувства и выраженія, какъ свободу творческаго духа вообще. Здѣсь-то защита Полевого и становится интересной, потому что въ указанной сторонѣ и заключалось прогрессивное, жизненное значеніе романтизма. Псевдоклассическая теорія, выросшая въ обстановкѣ французскаго двора, навсегда сохранила на себѣ его отпечатокъ: она стремилась соблюдать этикетъ во всей его строгости и преклонялась передъ авторитетными именами. Ни то, ни другое къ Полевому не подходило.

Литературную историческую роль романтизма г. Пыпинъ въ своей „Исторіи русской литературы" сводитъ къ слѣдующему:

„Романтизмъ... началъ съ того, что отвергъ въ псевдо-классицизмѣ самое его пониманіе древности, узкую эстетическую теорію, и провозгласилъ свободу поэтическаго творчества; онъ отвергъ пренебреженіе къ среднимъ вѣкамъ и находилъ въ нихъ образцы высокой поэзіи: онъ не только не презиралъ народной поэзіи, но искалъ и изучалъ ее, какъ непосредственное проявленіе народнаго духа, старался возсоздать ее и открывалъ въ ней живительный источникъ для современнаго художества, если оно хотѣло стать истинно-національнымъ; на мѣсто педантическихъ правилъ старой піитики онъ ставилъ свободу геніальнаго художника, который долженъ былъ быть самъ для себя закономъ. Немудрено, что люди ложно-классическаго вѣка приходили въ ужасъ отъ этого литературнаго безначалія и считали его паденіемъ поэтическаго искусства"...

Но романтическія стремленія Полевого не ограничились, какъ я только что указалъ, областью литературы. Въ области воспитанія онъ проповѣдывалъ отсутствіе рутины и стѣсненія; въ области жизни вообще онъ защищалъ свободу личности и необходимость иниціативы, возставалъ противъ преданій и авторитетовъ, опиравшихся лишь на свои лѣта.

Въ одномъ изъ №№ „Московскаго Телеграфа" есть интересная карикатура: самъ Полевой и его братъ (Ксенофонтъ) сидятъ за ужиномъ, встрѣчая новый годъ. Вдругъ со всѣхъ сторонъ выступаютъ костяки и размахивая своими длинными безобразными руками подвигаются къ столу, грозно оскаливъ зубы и потряхивая своими костями. Этимъ образомъ Полевой вѣрно передалъ свою роль, свое значеніе, всю ненависть, какую возбуждалъ онъ своею дѣятельностью.

Послѣ закрытія журнала сильнымъ человѣкомъ онъ себя не проявилъ. Но не трудно, кажется, вообразить себѣ иную обстановку, гдѣ съ такими людьми, какъ Полевой, никакого зла не случилось бы, не пришлось бы ему въ этой иной обстановкѣ ни холопствовать, ни лицемѣрить, не пришлось бы отрекаться отъ себя и восхвалять романы частнаго пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли разсуждать съ точки зрѣнія этой, не идеальной, но все же лучшей обстановки?

Намъ думается, что да. Вѣдь общество существуетъ совсѣмъ не для героевъ, а общественная жизнь—не для героическихъ поступковъ. Героевъ такъ мало, что изъ-за нихъ бы не стоило хлопотать. Большинство смертныхъ представляетъ изъ себя коллекцію весьма и весьма дюжинныхъ людей. Умныхъ, не глупыхъ по крайней мѣрѣ, между ними достаточно, но тѣ, кто одаренъ исключительной силой воли, могучей вѣрой и способностью приносить въ жертву идеалу свое тщеславное, вѣчно алчущее „я“,—встрѣчаются въ видѣ исключенія. Герой въ любой обстановкѣ—развѣ уже самой исключительной, не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена къ людямъ средней воли, и ихъ-то чувство достоинства она и должна оберегать. А если она не дѣлаетъ этого, если она это человѣческое достоинство топчетъ въ грязь, если она возводитъ въ принципъ неуваженіе къ нему, въ систему—преслѣдованіе его, то кто же виноватъ? Неужели слабый человѣкъ средней руки, обремененный многочисленнымъ семействомъ?..

Тридцатые же и сороковые года нашего вѣка къ этикѣ, основанной на уваженіи къ человѣку, приспособлены не были, а какъ бы, наоборотъ, задались спеціальной цѣлью доказать, что чувства собственнаго достоинства у человѣка нѣтъ, да и быть не можетъ. На Полевомъ они проявили все свое могущество, и онъ былъ сломленъ. Конечно, никто не мѣшаетъ намъ обвинять его; „жестокія“ слова и такъ уже не разъ градомъ сыпались по его адресу. Но будетъ ли правда въ этихъ „жестокихъ“ словахъ? Если и будетъ, то не полная. Не знаю, какъ другіе, но я, вчитываясь въ письма Полевого, относящіяся къ послѣдней эпохѣ его дѣятельности, чувствовалъ одну лишь жалость и состраданіе къ этому когда-то сильному человѣку. Долги, заботы о семействѣ, о насущномъ кускѣ хлѣба, тревожныя думы о подневольной работѣ, постоянное насильственное напряженіе своихъ силъ—вотъ тема этихъ писемъ. Передъ нами, слабый, несчастный, подъяремный человѣкъ, боязливо оглядывающійся, боязливо протягивающій руку.

Мнѣ кажется, можно просто сказать: пусть въ Полевого броситъ камень тотъ, кто чувствуетъ себя лучше и выше его. Онъ дѣлалъ все, что могъ, онъ бился, какъ можетъ только биться рыба, выброшенная на берегъ; больной, разслабленный, онъ работалъ по 16-ти часовъ въ сутки—но ничего

не выходило: судьба слишкомъ крѣпко затянула свой узелъ. Съ невыразимой тоской неудачника, поставившаго надъ собой крестъ, смотрѣлъ онъ и на свою жизнь, и на свои послѣдніе труды. Онъ видѣлъ, какъ изо дня въ день мельчаетъ и гибнетъ его репутація, какъ отворачиваются отъ него прежніе друзья, какъ презираютъ его бывшіе поклонники, но очевидно, что онъ началъ катиться съ слишкомъ крутой горы. Остановиться не было силъ, и за свое малодушіе, которое,—къ ужасу своему,—прекрасно сознавалъ, онъ расплатился сторицею, быть можетъ, даже слишкомъ жестоко расплатился за него.

Конечно, Бѣлинскій не поступилъ бы такъ, и въ этомъ все наше утѣшеніе. Онъ не разъ бывалъ въ такомъ же положеніи, какъ Полевой, не разъ нищета и томительная неопредѣленность положенія надрывала его силы,—повидимому, онъ предпочелъ бы умереть съ голоду, чѣмъ сдаться... Но все же, изъ всѣхъ враговъ знаменитаго публициста, онъ одинъ отнесся къ нему по-человѣчески, понялъ его, пожалѣлъ и... простилъ въ душѣ.

Полевой шелъ въ уровень съ публикой, учился вмѣстѣ съ нею, но учился настойчиво, проникновенно. Этимъ въ значительной степени объясняется его вліяніе. Не совсѣмъ то представляетъ изъ себя Надеждинъ, издатель и редакторъ одинаково шумѣвшаго когда-то „Телескопа". Это былъ, прежде всего, профессоръ и ученый человѣкъ. Какъ профессоръ, онъ былъ вполнѣ на своемъ мѣстѣ и пользовался большими симпатіями слушателей:

„Надеждинъ производилъ, съ начала своего профессорства, большое впечатлѣніе своими лекціями,—разсказываетъ К. Аксаковъ.—Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почуявъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи, Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей: скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ знаній. Тѣмъ не менѣе, справедливо оцѣнивъ Надеждина, студенты его любили и, уже не увлекаясь, охотно слушали его рѣчи. Я помню, что Станкевичъ, говоря о недостаткахъ Надеждина, прибавлялъ, что Надеждинъ много пробудилъ въ немъ своими лекціями, и что если онъ, Станкевичъ, будетъ въ раю, то Надеждину за то обязанъ. Тѣмъ не менѣе, благодарный ему за это пробужденіе, Станкевичъ чувствовалъ бѣдность его преподаванія. Надеждина любили за то еще, что онъ былъ очень деликатенъ со студентами, не требовалъ, чтобъ они ходили на лекціи, не выходили во

время чтенія, и вообще не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ. Это студенты очень цѣнили,—и, конечно, ни у кого не было такой тишины на лекціяхъ, какъ у Надеждина. Обладая текучею рѣчью, закрывая глаза, и покачиваясь на кафедрѣ, онъ говорилъ безъ умолку, и случалось, что проходилъ назначенный часъ, а онъ продолжалъ читать: онъ былъ крайнимъ. Однажды, до поступленія моего на второй курсъ, прочелъ онъ два часа слишкомъ, и студенты не напоминали ему, что срокъ его лекціи давно прошелъ".

Но если студенты прощали Надеждину и сухость его словъ и нѣкоторую неясность выраженій и даже „собственное безучастіе къ предмету", — то публика не простила ему этого. Прежде всего она плохо его понимала. Не то чтобы Надеждинъ писалъ слишкомъ уже тяжело—нѣтъ, но, воспитанный на произведеніяхъ нѣмецкихъ философовъ, онъ усвоилъ себѣ и ихъ безконечные періоды, совершенно не подходящіе для русскаго нетерпѣливаго и невнимательнаго мозга, а также довольно трудную терминологію, которая приводила провинцію въ искреннее недоумѣніе и даже замѣшательство. Не понимала публика и тонкой ироніи Надеждина. Ей въ то время надо было говорить рѣзко и прямо: „это вотъ прекрасно и возвышенно", а „это скверно и низко". А тутъ человѣкъ смѣялся, да еще такъ странно и ехидно, что никакъ нельзя было отличить, гдѣ онъ говоритъ серьезно, гдѣ иронически. Но самое главное, конечно, въ томъ, что Надеждинъ, какъ въ лекціяхъ, такъ и въ критикѣ одинаково проявлялъ собственное безучастіе къ предмету. Этого-то ужъ нельзя было не замѣтить, и это было непростительной ошибкой. Вѣдь въ то время задача критики сводилась не только къ тому, чтобы оцѣнить произведеніе, растолковать его общественный смыслъ и поставить на подобающее мѣсто—первымъ ея дѣломъ было возвысить любовь и уваженіе къ русской литературѣ. Эту задачу Надеждинъ просмотрѣлъ, и всю ее цѣликомъ вынесъ Бѣлинскій одинъ на своихъ плечахъ. Однако Чернышевскій, теперь Милюковъ, и при томъ съ очень значительнымъ основаніемъ, видитъ въ Надеждинѣ предшественника Бѣлинскаго [1]).

Если Бѣлинскій рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ трескучій романтизмъ и шарлатанскую пустоту тогдашней ходячей литературы и проч., то въ этомъ онъ шелъ по слѣдамъ Надеждина. Надеждину наша литература также казалась безплоднымъ пустыремъ, на которомъ только изрѣдка возникаютъ прекрасные цвѣты, почти приводящіе въ недоумѣніе своимъ появленіемъ. Надеждинъ видѣлъ мало отраднаго въ старыхъ преданіяхъ русской литературы и въ самой исторіи: древняя русская жизнь представля-

[1]) Г. Венгеровъ это отрицаетъ, но я предпочитаю держаться мнѣнія Чернышевскаго.

лась ему „дремучимъ лѣсомъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса“, и онъ даже спрашиваетъ: „имѣемъ ли мы прошедшее, — жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе?“ Возникновеніе умственной жизни онъ начинаетъ только съ Петра, и литература, или вся образованность русская съ тѣхъ поръ казалась ему только слабой копіей европейскаго просвѣщенія, гдѣ „все европейское забрасывается къ намъ рикошетами, черезъ тысячи скачковъ и переломовъ, и потому долетаетъ въ слабыхъ издыхающихъ отголоскахъ“. Въ „Телескопѣ“ онъ съ язвительностью прежняго Надоумки (его псевдонимъ) говоритъ о новѣйшемъ романтизмѣ, нападаетъ, какъ и раньше въ „Вѣстникѣ Европы“ Каченовскаго, на Пушкина за отсутствіе въ его поэзіи общественности, но—надо отдать ему справедливость—и самъ не отличается ею. Появляется въ немъ какая-то напускная вычурность, страсть оригинальничать, какая-то гимнастика ума. Никитенко очень язвительно замѣтилъ въ своемъ дневникѣ: „это они какъ будто стараются перещеголять одинъ другого пышностью варварской терминологіи и туманнымъ краснорѣчіемъ. Надеждинъ, напримѣръ, столпъ вавилонскій почитаетъ изряднѣйшимъ произведеніемъ древняго зодчества, на коемъ почили тайны вѣковъ, первообразомъ древняго міра и т. д...“

До такихъ тонкостей публика того времени не доросла.

Собственный журналъ Надеждина успѣха не имѣлъ. Тогда издатель рѣшилъ прибѣгнуть къ героическому средству и напечатать въ немъ письмо Чаадаева. Письмо воздѣйствовало: „Телескопъ“ былъ прекращенъ въ 1836 г., самъ Надеждинъ отправленъ въ ссылку въ Устьсысольскъ, что, впрочемъ, его чиновничьей карьерѣ не помѣшало: вернувшись, онъ благополучно служилъ при Перовскомъ и умеръ въ 1855 году.

Мало, къ сожалѣнію, даже слишкомъ мало симпатичнаго можно сказать о третьемъ знаменитомъ журналистѣ современникѣ Бѣлинскаго — Осипѣ Ивановичѣ Сенковскомъ, еще болѣе извѣстномъ подъ псевдонимомъ барона Брамбеуса.

Профессоръ университета и блестящій лекторъ, знатокъ восточной литературы и Востока вообще, ученый, прекрасно владѣвшій языками: персидскимъ, арабскимъ, турецкимъ, коптскимъ, французскимъ, англійскимъ, нѣмецкимъ, русскимъ, польскимъ, итальянскимъ и испанскимъ, свободно писавшій на пяти языкахъ, и вмѣстѣ съ этимъ талантливый публицистъ, критикъ, авторъ безчисленныхъ повѣстей, единственный редакторъ и почти единственный сотрудникъ самаго распространеннаго когда-то журнала,— таковъ Осипъ Ивановичъ Сенковскій съ внѣшней стороны своей дѣятель-

вости. Громадная память, блестящій умъ и не менѣе блестящая фантазія, невѣроятное трудолюбіе, разносторонній талантъ и энциклопедическое образованіе, дѣлали его самымъ замѣтнымъ и вліятельнымъ человѣкомъ среди русскихъ журналистовъ.

Прочтите любую страницу изъ произведеній Сенковскаго, все равно откуда выхваченную,—изъ его повѣстей или фантастическихъ разсказовъ, изъ его критики или литературной лѣтописи, изъ его фельетоновъ или ученыхъ трактатовъ,—вамъ сейчасъ же бросится въ глаза рѣзко очерченная индивидуальность автора. Послѣ самаго незначительнаго опыта, безчисленные псевдонимы Сенковскаго не будутъ затруднять васъ. Какъ бы онъ ни подписывался—баронъ Брамбеусъ, Тютюнджю-Оглу, Т.—О., О. О. О., Б. Б., Осипъ Морозовъ, Бѣлкинъ, Снѣгинъ и пр. пр.,—вы его сейчасъ узнаете, какъ узнавала его нѣкогда публика тридцатыхъ годовъ. У Сенковскаго не только рѣзко очерченная индивидуальность, это—индивидуальность утрированная, утрированная самимъ Сенковскимъ. Тамъ, гдѣ вы увидите блестящее и общедоступное изложеніе самыхъ трудныхъ вопросовъ лингвистики, или политической экономіи, или даже медицины, внезапно прерванное веселой шуткой или иронической фразой, въ которой авторъ подсмѣивается и надъ предметомъ, и надъ самимъ собой, тамъ, гдѣ послѣ одушевленныхъ красивыхъ строкъ вы натолкнетесь на другія, въ которыхъ дается полный просторъ скептицизму, готовому заподозрить все—сдѣланные выводы, усилія ученыхъ, собственную эрудицію автора, и даже самого себя, тамъ, гдѣ шутка зачастую переходитъ въ буффъ, полный утрировки, гдѣ читателю нельзя подчасъ разобраться, серьезно ли говорятъ ему, или шутятъ, гдѣ насмѣшливая улыбка автора ни на минуту не исчезаетъ съ написанныхъ строкъ, гдѣ все такъ искусственно, гдѣ все такъ тревожитъ и тормошитъ вашъ умъ и такъ мало дѣйствуетъ на сердце, волю,—тамъ вы угадаете руку Сенковскаго.

Но не останавливайтесь на первыхъ страницахъ, не поддавайтесь очарованію безусловно умнаго человѣка, у котораго, кажется, весь организмъ пропитанъ умомъ,—идите дальше. Идите дальше, и вами скоро начнетъ овладѣвать утомленіе. Вашъ умъ удовлетворенъ стройной логикой, смѣлыми парадоксами, интересомъ аргументаціи, ваше воображеніе пріятно провело время, слѣдуя за прихотливой фантазіей автора, за ея изысканными арабесками, но ваша воля и чувство остались незатронутыми. Сенковскій объяснитъ вамъ все, что угодно, но гдѣ тотъ предметъ, который бы онъ заставилъ полюбить, гдѣ та цѣль, ради которой весь этотъ шумъ и блескъ? Ваша воля осталась безъ напряженія, нѣтъ слезъ негодованія, нѣтъ любовнаго волненія сердца. Вызванная чтеніемъ работа ума и игра фантазіи не замѣняетъ остающейся отъ него пустоты и холодности чувства.

Задача художника, актера, артиста вообще, какъ служителя искусства,— разогрѣть предметъ. Мнѣ простятъ неудачное выраженіе „разогрѣть“, но оно лучшее по краткости. Можно сказать иначе: „задача искусства—представить вамъ предметъ или всю совокупность предметовъ, указать съ ихъ симпатической стороны“, т. е. затронуть любовь и ненависть вашего сердца, повліять на вашу волю. Этого не было у Сенковскаго.

Сравните его съ Бѣлинскимъ. По всей вѣроятности, несомнѣнно даже, онъ былъ въ десять разъ образованнѣе послѣдняго, если не болѣе того. Но Бѣлинскій умѣлъ угадывать, тогда какъ Сенковскій только понималъ. Бѣлинскій носилъ въ своей груди благородное, смѣлое сердце, въ немъ таились всѣ муки и надежды современности, онъ воспитывалъ наши стремленія и умѣлъ обсуждать ихъ; какъ истинный художникъ, онъ вызывалъ наши восторги и наши негодованія; какъ человѣкъ съ творческой силой,— онъ былъ всегда самостоятеленъ. А главное, статьи Бѣлинскаго—сама жизнь измученной, но не утерявшей героической вѣры, души, поэма, созданная вѣрой въ грядущее счастье, мукой и страданіями своей эпохи. Сенковскій уменъ, уменъ какъ Мефистофель, но какъ часто оставляетъ онъ насъ при одномъ безцѣльномъ, безсодержательномъ смѣхѣ!.. Бѣлинскій — боецъ, Сенковскій—наблюдатель.

Есть умное изреченіе, которое гласитъ: „жизнь представляется трагедіей тому, кто смотритъ на нее съ точки зрѣнія чувства, и комедіей тому, кто стремится только понять ее“. Вся жизнь для Сенковскаго преобразовалась въ комедію, часто въ водевиль, иногда въ скверный анекдотъ. Онъ не любилъ касаться высокихъ страстей, героическихъ порывовъ, не вѣрилъ даже въ мрачныя силы человѣческой природы. Рѣдко возвышался онъ до взгляда на жизнь, какъ на таинственную драму, разыгрывающуюся на нашей маленькой сценѣ-землѣ, онъ предпочиталъ видѣть въ ней интересную комбинацію довольно-таки безсмысленныхъ случайностей. Величіе не поражало его, зло не пугало. Въ первомъ онъ находилъ всегда яркіе слѣды эгоизма, во второмъ—тотъ же эгоизмъ, въ формѣ мелкихъ страстей, если угодно— мошенничества, тщеславія, подобострастія.

Строго говоря, онъ ни во что не вѣрилъ, ничего не хотѣлъ, ни къ чему не стремился.

Въ его рукахъ „Библіотека для чтенія“ стала журналомъ интереснымъ, разнообразнымъ и, по существу, совершенно безпринципнымъ.

Передъ нами болѣе ста томовъ журнала, изъ которыхъ каждый—плоть отъ плоти и кость отъ костей самого Сенковскаго. Признаемся, мы не безъ уваженія просматривали ихъ. Мирно и спокойно стоятъ они теперь въ библіотекѣ, плотно прижатые другъ къ другу, всѣ въ переплетахъ, съ по-

желтѣвшими, запятнанными страницами. Изрѣдка тревожитъ ихъ рука спеціалиста или такого случайнаго работника, какъ я, большую же часть времени никто ни на минуту не чувствуетъ въ нихъ ни малѣйшей надобности. Груды книгъ вырастаютъ возлѣ нихъ, надъ ними, внизу, и эти небольшіе томы съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе затериваются среди новыхъ пришельцевъ. Ихъ дѣло сдѣлано, покончены всѣ расчеты, итогъ подведенъ, и, молчаливые свидѣтели прошлаго, они не имѣютъ достаточно внутренней силы, чтобы хоть чѣмъ-нибудь заявить о себѣ новымъ поколѣніямъ. А вѣдь было время, когда выходъ каждой изъ этой сотни книжекъ ожидался съ нетерпѣніемъ, когда торопливыя руки нервно разрѣзали страницы, и добродушный читатель, съ невольной улыбкой, выражавшей предчувствіе удовольствія, набрасывался на „Литературную лѣтопись", или критическія статьи, ожидая веселой шутки, бойкой остроты. Но все это прошло. Какъ замирающее эхо доносятся до насъ восторги читателей барона Брамбеуса, тотъ говоръ и шумъ, который возбуждала „Библіотека"; спокойные и забытые стоятъ ея томы. Habent sua jata libelli — родятся и умираютъ, и одна изъ сотни тысячъ достигаетъ безсмертія...

„Библіотека для чтенія" — журналъ Сенковскаго. Это, повторяемъ, плоть отъ плоти его; онъ самъ фигурируетъ передъ нами на каждой страницѣ, и, зная его, мы уже предчувствуемъ, чѣмъ должны быть и онѣ. Мы видѣли, что у Сенковскаго было много данныхъ, чтобы быть хорошимъ редакторомъ; такимъ же вышелъ и его журналъ.

У редактора-энциклопедиста журналъ не могъ не быть энциклопедическимъ: отдѣлы наукъ, иностранной словесности и смѣси были тѣ отдѣлы, въ которые Сенковскій вложилъ всю свою душу. Онъ былъ нѣсколько англоманомъ, особенно въ литературѣ. Новой французской школы онъ не долюбливалъ и даже энергично преслѣдовалъ ее, доходя подчасъ до страннаго и неприличнаго даже вышучиванія такихъ крупныхъ величинъ, какъ Жоржъ Зандъ. Эту послѣднюю онъ именовалъ не иначе какъ г-жею Егоръ Зандъ. Ему больше нравилась англійская литература, съ ея спокойнымъ анализомъ человѣческаго сердца, и почти всѣ лучшія ея произведенія появлялись въ „Библіотекѣ". Постоянно встрѣчаемъ мы переводы изъ Кольриджа, Водсворта, Диккенса, Теккерея, Скотта, Брума, Соммервиль и т. д. Не мало и статей посвящено этимъ талантливымъ писателямъ, такъ что въ общемъ читатели „Библіотеки" могли быть благодарны ея редактору. Въ „Смѣси" печатались каждый мѣсяцъ краткія обозрѣнія новостей англійской и французской литературъ, съ библіографическими списками появившихся на рынкѣ книгъ. Въ отдѣлѣ наукъ, особенно интересномъ и разнообразномъ, Сенковскій знакомилъ публику со всѣми открытіями и новинками въ области положительныхъ знаній.

Въ отдѣлахъ „Критики“ и „Литературной лѣтописи“ въ первые годы изданія „Библіотеки“ почти всѣ статьи написаны Сенковскимъ, хотя не всѣ онѣ статьи критическія: многія представляютъ лишь обозрѣніе содержанія книги, съ выписками изъ нея для образца и съ немногими, иногда серьезными, но большею частью шутливыми, юмористическими замѣчаніями. „Литературная лѣтопись“ посвящена была почти исключительно подобнымъ замѣткамъ; отдѣлъ „Критики“ всегда былъ серьезнѣе. Въ первые годы существованія журнала рецензіи „Лѣтописи“ писались вообще спокойнымъ тономъ, хотя не безъ саркастическихъ выходокъ и отступленій. Онѣ-то всего болѣе и нравились публикѣ, ими то всего болѣе и восхищались.

Тутъ Сенковскій сдѣлалъ великую ошибку: онъ послушался публики. Та, повидимому, рѣшительно не имѣла ничего противъ гаерства и балагана, даже требовала того и другого, и вскорѣ почти вся „Литературная лѣтопись“ превратилась въ непрерывную шутку: стали разсматриваться преимущественно такія сочиненія, которыя представляютъ наиболѣе смѣшныхъ сторонъ, наконецъ шутка дошла даже до буффа, и „Лѣтопись“ заставляетъ новыя книги плясать передъ собою, играть комедію, водевиль и представлять сцены изъ „Тысячи и одной ночи“... „Литературная лѣтопись“ была какъ бы отдыхомъ и гимнастикою для ума, требовавшаго перемѣны занятій, и въ то же время жертвою вкусу публики“.

Противъ гимнастики ума и потворства вкусу публики можно, конечно, возразить очень много.

Можно свести къ немногимъ основнымъ пунктамъ міровоззрѣніе „Библіотеки для чтенія“.

1. Читатель глупъ—его надо учить.

2. Читатель настолько глупъ, что въ сущности ничему научить его нельзя.

3. Безъ читателя нѣтъ журнала. Надо нравиться читателю, забавлять его, смѣшить его, льстить его вкусамъ, а такъ какъ онъ неисправимо глупъ, то и смѣяться надъ нимъ.

4. Литературы нѣтъ,—есть книжная торговля.

5. Всѣ литераторы пошляки, сплетники, прыщи больного самолюбія, подчасъ доносчики. Надо ихъ бить и крѣпко бить словомъ, разумѣется.

6. Смѣйтесь же, господа, надъ своей несуществующей литературой, несуществующей общественностью. А не хотите смѣяться,—плачьте или патріотически во все горло кричите „ура!“ на драмахъ Кукольника,—Кукольникъ выше Гоголя...

Теперь,—еще ниже, читатель; недалеко и до дна. Единственная газета съ политическимъ отдѣломъ была знаменитая „Сѣверная Пчела“. „Она помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ и усердно проповѣдывала такую точку зрѣнія: Россія и Европа, особенно Европа конституціонная представляютъ рѣзкую противоположность—порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволія—съ другой; Россіи нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводитъ Западъ только къ безбожію и революціямъ; намъ, напротивъ, слѣдуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникала его зараза“. „Сѣверная Пчела“ не находила словъ, чтобы выражать свое отвращеніе къ конституціямъ и насмѣяться надъ ними: парламентскіе ораторы Франціи и Англіи были крикуны, вольнодумцы, которыхъ слѣдовало просто усмирить полицейскими внушеніями... Правда, „Сѣверная Пчела“, ужъ съ первыхъ дней своего существованія, стала пріобрѣтать очень и очень некрасивую репутацію, но эта репутація, дѣлавшая ее предметомъ презрѣнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мѣшала ей представлять особое мнѣніе цѣлаго огромнаго слоя русскаго общества изъ средняго грамотнаго класса — чиновничества, дворянства, гостиподворской публики, военнаго сословія... Гречъ, который, говоря о своихъ связяхъ съ Булгаринымъ, самъ, какъ разсказываютъ, съ изумительной откровенностью сравнивалъ себя съ „каторжникомъ, таскающимъ за собою свое ядро“ — Гречъ, и его сподвижникъ, имѣли своего рода популярность, въ тѣ времена очень обширную. И какъ эта популярность, Богъ вѣсть какъ пріобрѣтенная и еще худшими способами поддерживаемая, популярность Сенковскаго, Греча, Булгарина должна была стоять поперекъ пути такихъ людей, какъ Бѣлинскій, раздражая и обижая ихъ...

Объ „Отечественныхъ запискахъ“—самомъ вліятельномъ журналѣ 1840—1847 г. я скажу ниже въ главѣ о Бѣлинскомъ.

Были на сценѣ, конечно, и другіе журналы, но такъ какъ я пишу не исторію журналистики собственно, а лишь исторію литературныхъ идей то для меня совершенно достаточно ограничиваться лишь наиболѣе типичными представителями общественной мысли. Жаль только, что я могу очень мало сказать о читателѣ собственно — этомъ таинственномъ незнакомцѣ, создающемъ успѣхъ или неуспѣхъ произведенія, опредѣляющемъ силу или безсиліе даннаго направленія. Опираясь на скудныя данныя, можно сказать, что любимыми писателями разсматриваемаго періода (1826—1840) были Бестужевъ-Марлинскій, Бенедиктовъ, Гречъ, Булгаринъ, Сенковскій, Н. Полевой, а самыми распространенными органами—„Телеграфъ“, „Сѣверная

Пчела", „Библіотека для чтенія". Нельзя сказать, чтобы эти имена, кромѣ Полевого, говорили о высокомъ вкусѣ публики и о большихъ умственныхъ запросахъ, и ошибаются тѣ, кто думаетъ, что первое мѣсто занимали Пушкинъ и Гоголь. Они были первыми—это конечно, но масса предпочитала имъ другихъ. Всѣ современники единогласно—кто съ прискорбіемъ, кто съ завистью свидѣтельствуютъ о поразительномъ успѣхѣ „Сѣверной Пчелы": это былъ настоящій, непререкаемый авторитетъ для всѣхъ ея читателей, ея приговоры для нихъ не подлежали ни кассаціи, ни апелляціи, ея подозрительное остроуміе смѣшило всю провинцію. Романтическія повѣсти Бестужева—часто, впрочемъ, дѣйствительно талантливыя, но слишкомъ пряныя ультраромантическія, такъ сказать, наполненныя приключеніями благородныхъ разбойниковъ, дикими возгласами страсти, зубовнымъ скрежетомъ нечеловѣческихъ страданій и т. д.—читались нарасхватъ, давая острыя ощущенія среди утомительной скуки, пустоты и однообразія жизни. Почти одинаково дѣйствовали и стихи Бенедиктова. Между прочимъ, появился вкусъ къ исторической беллетристикѣ. Созданная романтизмомъ, любившимъ образы прошлаго, она быстро расцвѣла. Къ ней относятся повѣсти и романы Н. Полеваго (напр. „Абадона"), Лажечнико а, Загоскина (особенно его „Юрій Милославскій"), Кукольника, Булгарина („Выжигинъ") и т. д. Разумѣется, никакой исторіи въ этой исторической беллетристикѣ нѣтъ, тутъ господствуетъ романтическій шаблонъ, пристрастіе къ необычному, къ сильнымъ страстямъ, смѣсь неизвѣстныхъ Россіи рыцарскихъ преданій съ дешевкой мѣстнаго приготовленія. Впрочемъ, историческая беллетристика не процвѣтаетъ у насъ и теперь, и чѣмъ въ самомъ дѣлѣ Г. Данилевскій лучше Лажечникова, а что онъ хуже Загоскина—это уже несомнѣнно. Какъ бы то ни было, литература демократизировалась. Росла масса читателей; разночинецъ быстро завоевывалъ себѣ мѣсто въ журналистикѣ, а журналистика стала чѣмъ-то дѣйствительно нужнымъ, безъ чего стало просто немыслимо обходиться. „Дай Богъ намъ болѣе журналовъ, плодитъ читателей они", а такъ какъ безъ читателей литература не можетъ стать общественной силой—то, если бы результаты сводились лишь къ этому, все же журналистика свое дѣло сдѣлала.

Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ.

Мнѣ надо говорить теперь объ этихъ трехъ крупнѣйшихъ представителяхъ художественной литературы разсматриваемаго періода. Очень сожалѣю, что психологическій и *эстическій* анализъ ихъ произведеній мнѣ придется оставить почти-что въ сторонѣ. Такой анализъ не входитъ въ планъ моей работы и можетъ только нарушить ея единство. Я ограничусь

болѣе скромнымъ дѣломъ и разсмотрю, какъ историческій моментъ отразился въ этихъ гигантахъ слова и какую степень общественнаго самосознанія выразили они. Я очень хорошо знаю, что въ нихъ было больше, гораздо больше, что люди интересуются (и совершенно основательно) подробностями ихъ личной психики, всякимъ шагомъ въ развитіи ихъ творчества, обстоятельствами ихъ жизни; — что не все создано въ нихъ эпохой, что ихъ самосознаніе шире и глубже—но, я спрашиваю себя: если политическая экономія имѣетъ право разсматривать человѣка только, какъ производителя и потребителя цѣнностей; если физіологія видитъ въ немъ только организмъ, а соціологія только члена общества—то почему же историкъ литературы изъ всего огромнаго матеріала, который подлежитъ его разсмотрѣнію, не можетъ выдѣлить одинъ наиболѣе существенный для него элементъ, одну наиважнѣйшую для него сторону? Все это не только необходимо, но и прямо неизбѣжно для него, разъ онъ, по возможности, хочетъ приблизиться къ требованіямъ научности, а не расплываться въ необозримомъ морѣ біографическихъ, библіологическихъ данныхъ или, всегда произвольныхъ, эстетическихъ сужденій и оцѣнокъ. Мнѣ скажутъ, что такая оцѣнка будетъ не полной. Совершенно вѣрно. Но передъ исторіей литературы стоитъ диллема: или обратиться въ энциклопедическій словарь всевозможныхъ свѣдѣній и данныхъ о людяхъ, писавшихъ книги или сочинявшихъ журнальныя статьи, или попытаться стать наукой. Въ сущности обѣ эти задачи одинаково почтенны, но лично мнѣ представляется невозможнымъ смѣшивать оба ремесла, и я предпочитаю ограничиться попыткой. Герой моей книги *общество въ его литературныхъ представителяхъ*, а не сами литературные представители. Вотъ, что прошу имѣть въ виду.

У всѣхъ трехъ, названныхъ мною въ заголовкѣ, было не мало общаго и это общее заключалось въ скептическомъ — даже болѣе того — въ пессимистическомъ отношеніи къ русской дѣйствительности, въ мучительномъ и напрасномъ исканіи идеала и положительныхъ данныхъ для него, — а также въ полной раздвоенности ихъ духа. Ихъ скептицизмъ и критика окружающаго—страдающіе, и въ этомъ смыслѣ ихъ сатира, ихъ недовольство сдѣлала дѣйствительно огромный шагъ сравнительно съ прошлымъ. Въ этомъ ихъ истинная оригинальность и значеніе, что, впрочемъ, нисколько не можетъ заставить насъ забыть ихъ предшественниковъ. Этими предшественниками были—сатирическіе журналы эпохи Екатерины II-й, графъ Капнистъ и его великолѣпная комедія „Ябеда“, журналы и басни Крылова. Относительно этихъ басенъ слѣдуетъ сказать, что въ своемъ родѣ и въ литературномъ смыслѣ они представляютъ нѣчто близкое къ совершенству, лучшимъ доказательствомъ чему служитъ одинаковое удовольствіе, получаемое отъ нихъ и взрослыми и дѣтьми. Можно ли смотрѣть на басни

Крылова, какъ на замаскированную исторію своего времени — вопросъ большой и окончательно не рѣшенный, но кажется, что въ такомъ предположеніи много справедливаго. Въ смыслѣ положительнаго стремленія (участь большинства русскихъ писателей) Крыловъ даетъ очень мало, но его критика всегда мѣтка, ядовита и лукава. И это, конечно, критика самодовольнаго до напыщенности общественнаго строя и его властныхъ представителей.

А. С. Грибоѣдовъ. (1795—1829). Грибоѣдовъ прославился своей комедіей „Горе отъ ума". Больше онъ не создалъ ничего достойнаго своего имени.

Прочтя комедію, Пушкинъ сказалъ: „Грибоѣдовъ очень умный человѣкъ , но Чацкій не уменъ". Это лучшая критика не только всего произведенія, но и общественной его роли.

Грибоѣдовъ человѣкъ умный—это безспорно. Каждое его слово рѣжетъ, какъ бритва; вся комедія состоитъ изъ афоризмовъ, ставшихъ поговорками и представляющихъ изъ себя самый сложный и остроумный синтезъ жизненныхъ наблюденій. Но Чацкій, несмотря на все свое краснорѣчіе, несмотря на все глубочайшее основаніе для своего гнѣва, производитъ впечатлѣніе человѣка напрасно и безполезно мечущагося, не знающаго чего онъ хочетъ и чего ему надо. Продолжая его исторію, Щедринъ съ удивительной мѣткостью заставилъ его жениться на Софьѣ Фамусовой, надѣть на себя маниловскій халатъ, подружиться съ Молчалинымъ, а въ предчувствіи близкой кончины написать завѣщаніе всего изъ одной фразы: „все оставляю другу моему Соничкѣ". Конечно, другъ мой Соничка ничего не получила, зато Молчалинъ поползовался болѣе, чѣмъ могъ ожидать.

Весь геніальный умъ Грибоѣдова сказался въ его отрицаніи, все недомысліе Чацкаго въ его утвержденіи, и поэтому-то тамъ, гдѣ Грибоѣдовъ является однимъ изъ лучшихъ нашихъ сатириковъ, Чацкій машетъ въ воздухѣ руками. Русская дѣйствительность не дала Грибоѣдову ничего положительнаго, онъ былъ лишь пораженъ и возмущенъ ея ужасающей пустотой, ея безпримѣрнымъ ничтожествомъ. Произнести ей приговора онъ не хотѣлъ, ему мучительно надо было ухватиться за что нибудь цѣнное и вѣсское, что открывало бы перспективы въ лучшее будущее, и онъ ухватился, какъ сейчасъ увидимъ, за что-то дѣтское, ребяческое. Стараясь воплотить это въ живомъ человѣкѣ—онъ создалъ Чацкаго.

Въ этомъ большомъ человѣкѣ, Грибоѣдовѣ, былъ еще и маленькій человѣкъ Грибоѣдовъ—въ этомъ и загадка той странности, что величайшая русская комедія страдаетъ такимъ крупнымъ недостаткомъ, какъ ходульная, неживая фигура своего главнаго героя.

Въ симпатіяхъ маленькаго Грибоѣдова было что-то старовѣрческое, такъ проницательно и съ такимъ знаніемъ дѣла отмѣченное А. Н. Пыпинымъ въ его „Исторіи русской литературы". И эти старовѣрческія симпатіи имѣютъ не лично-психологическое, а общественное значеніе, потому что онѣ являются основой классоваго самосознанія русскаго барства, такъ пышно выразившагося въ концѣ концовъ въ славянофильствѣ. Любопытны нѣкоторые факты.

Въ юности Грибоѣдовъ сочувствовалъ Шишкову и морщился отъ нововведеній Карамзина. Въ своихъ замѣткахъ о путешествіи на Кавказъ онъ пишетъ:

„Разгоряченный тѣмъ, что̀ видѣлъ и проглотилъ, я перенесся за двѣсти лѣтъ назадъ въ нашу родину. Хозяинъ представился мнѣ въ видѣ добродушнаго москвитянина, угощающаго пріѣзжихъ нѣмцевъ, фараши—его домочадцами, самъ я—Олеарій. Крѣпкіе напитки, сырыя овощи и блюда съ сахарными брашнами, все это способствовало къ переселенію моихъ мыслей въ нашу сѣдую старину, и даже увертливый красный человѣкъ, который хотя и называется англичаниномъ, а право, нельзя ручаться, изъ какихъ онъ,—этотъ анонимъ только разсыпался въ нелѣпыхъ разсказахъ о томъ, что дѣлается за-моремъ, я видѣлъ въ немъ Маржерета, выходца при Дмитріи, прозванномъ Самозванцемъ, и *всякого другого бродящаго иностранца того времени, который въ нашихъ теремахъ пилъ, ѣлъ, разживался и, возвратясь къ своимъ, ругательствомъ платилъ русскимъ за русское хлѣбосольство.* И эриванскій Маржеретъ... язвительно отзывается насчетъ персіянъ, которые не допускаютъ его умереть съ голоду".

Эти строки какъ будто взяты изъ оффиціальныхъ и оффиціозныхъ опроверженій, сообщаемыхъ иностранцами свѣдѣній о Россіи, опроверженій, которыми такъ богата литература XVII-го и XVIII-го вѣковъ. Опровергающіе всегда упрекали критиковъ за то, что тѣ пили, ѣли, а потомъ по хамству своему начинали бранить. Выше этого Грибоѣдовъ не поднялся, какъ не поднялся въ видѣ восторговъ передъ гостепріимствомъ русскихъ и странной формулы: „гостепріимство должно притупить насмѣшливыя стрѣлы".

„Преслѣдуя иноземцевъ въ русской старинѣ, Грибоѣдовъ еще больше не терпитъ ихъ въ современной жизни. Забавенъ разсказъ, (въ письмѣ къ Бѣгичеву, 1818) о путешествіи его вмѣстѣ съ сослуживцемъ Амбургеромъ, котораго Грибоѣдовъ хотѣлъ увѣрить въ непохвальности его нѣмецкаго происхожденія. „Вообще,—пишетъ Грибоѣдовъ съ дороги,—вездѣ на станціяхъ остановка ;къ счастію, что мой товарищъ—особа прегорячая, бичъ на смотрителей, хорошій малый, я уже увѣрилъ его, *что быть нѣмцемъ очень глупая роль на семъ свѣтѣ,* и онъ уже подписывается Амбургевъ, а не—ръ, и вмѣстѣ со мною нѣмцевъ ругаетъ наповалъ, а мнѣ это съ руки". Онъ прибавляетъ вслѣдъ за тѣмъ: „Одинъ томъ Петровыхъ акцій у меня въ бричкѣ, и я зѣло на него и на его

колбасниковъ сержусь: коли найдешь что-нибудь чрезвычайно забавное въ Дѣяніяхъ, пожалуй напиши, я этимъ воспользуюсь". (Пыпинъ, IV, 305).

Сравнивая эти отрывки съ монологами Чацкаго, вы видите, что ихъ настроеніе произошло изъ того же источника. На самомъ дѣлѣ, что могъ видѣть передъ собой Чацкій? Картину невыразимой пошлости, тупости, безсердечія, пронырства, самодовольства, полной духовной прострацiи, цинической откровенности, наглаго деспотизма—словомъ, всего того, что такъ геніально изобразилъ Грибоѣдовъ въ отрицательныхъ лицахъ своей комедіи. И что же оказывается въ концѣ концовъ? Оказывается, что ничего бы этого не было, если бы мы не носили фраковъ и заняли бы у китайцевъ хоть немного „премудраго незнанья иноземцевъ". Вы отказываетесь вѣрить, что Грибоѣдовъ могъ это сказать, вы чувствуете что это слова Шишкова, который увѣрялъ, что Россія благоденствовала бы, если бы вмѣсто „министръ" значилось „дѣловѣцъ государственный"!..

Это старо-барское старовѣріе въ такомъ проницательномъ и умномъ человѣкѣ, какъ Грибоѣдовъ, очень характерно. Очевидно, оно могло явиться результатомъ лишь такихъ глубокихъ и непровѣренныхъ критикой влеченій человѣческой натуры, надъ которыми самъ онъ не властенъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ исторической традиціей, и та же властная, могущественная традиція помѣшала Грибоѣдову отнестись хоть сколько-нибудь внимательно къ крѣпостному праву. Жизнь не дала ему принципа, съ высоты котораго онъ могъ бы охватить этотъ предметъ. Онъ, конечно, мимоходомъ говоритъ о немъ, возмущается тѣмъ, что набранные въ кордебалетъ Амуры и Психеи были потомъ распроданы по одиночкѣ, но очевидно, что въ этомъ случаѣ его поражаетъ фактъ распродажи въ розницу. А если бы оптомъ? спрашиваете вы себя... Какъ бы Грибоѣдовъ отнесся къ такому факту? По всей вѣроятности—никакъ.

На сцену выступаетъ полное раздвоеніе духа. Съ одной стороны, мощная критика, обращенная на современность, на самую кронку общественнаго строя—его „великихъ писцовъ", какъ Фамусовъ; „полководцевъ", какъ Скалозубъ; вездѣ принятыхъ мошенниковъ, какъ Загорѣцкій; титулованныхъ плантаторовъ и т. д.—съ другой, полное безсиліе создать хоть что-нибудь положительное, указать хоть на какой-нибудь выходъ. Выхода не было. Чацкій служитъ. На службѣ онъ разсорился съ министрами. По обстоятельствамъ дѣла выходитъ, что это хорошо. Но представьте себѣ, что Чацкій самъ сталъ бы министромъ? Что бы онъ сдѣлалъ, какую бы идею осуществилъ онъ въ своей дѣятельности? Очевидно, что ровно никакой, хотя и издалъ бы томъ циркуляровъ, предписаній, увѣщевалъ бы не брать взятки, съ прискорбіемъ узнавалъ бы, что взятки берутся даже при

приведеніи вѣрноподданныхъ къ присягѣ и т. д., а все же министерство продолжало бы управляться письмоводителями и столоначальниками.

Но это „полное безсиліе создать что-нибудь положительное“ показываетъ, что отвращеніе къ жизни созрѣло, что она, эта жизнь, оскорбляла лучшихъ людей, давала имъ великолѣпный матеріалъ для сатиры и ровно ничего для созиданія. Развѣ старовѣріе Грибоѣдова выходъ? Развѣ выходъ— католицизмъ Чаадаева? или проповѣдь Домостроя со стороны Гоголя? или самоубійство [1]) Лермонтова? Конечно, нѣтъ. У Пушкина было нѣчто положительное,—это его отношеніе къ жизни, но только отношеніе; общественной же творческой идеи у него не было, какъ и у другихъ его сверстниковъ.

Н. В. Гоголь. (1809—1852). Въ Гоголѣ это раздвоеніе еще сильнѣе, чѣмъ въ Грибоѣдовѣ. Онъ такъ и не вышелъ изъ него до конца своихъ дней, и всѣ попытки, которыя онъ дѣлалъ, чтобы примириться съ собой, были печально неудачны. Эти попытки—вторая часть „Мертвыхъ душъ“ и „Переписка съ друзьями“. Великій геній погибъ оттого, между прочимъ, что не могъ найти никакого положительнаго идеала и даже просто положительной стороны жизни. На самомъ дѣлѣ, легко себѣ представить, какимъ уничтожающимъ смѣхомъ осмѣялъ бы онъ своихъ Костанжогло, добродѣтельныхъ откупщиковъ, ангеловъ, спустившихся на землю, чтобы принять видъ генералъ-губернатора, и какимъ бы удивительно страннымъ человѣкомъ показался бы ему прежде всего самъ Николай Васильевичъ Гоголь, который, только что нарисовавъ своихъ Ноздревыхъ, Собакевичей, Маниловыхъ, и Плюшкиныхъ, вдругъ принялся оплакивать паденіе дворянства въ Россіи, приписывая его тому обстоятельству, что дворяне пьютъ слишкомъ много шампанскаго!

Одни пытаются объяснить драму жизни Гоголя ненормальностью его натуры, которая (т. е. ненормальность) приняла въ концѣ-концовъ угрожающіе размѣры въ формѣ меланхоліи религіознаго помѣшательства, другіе, признавая въ немъ огромный талантъ и даже геній, считаютъ его человѣкомъ съ дурнымъ характеромъ, нравственно испорченнымъ и т. д. Энергичнѣе всего мнѣніе высказывалъ всегда самъ Гоголь. Въ такихъ словахъ, напр., описывалъ онъ процессъ собственнаго творчества:

„...Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Если бы

[1]) Лермонтовъ убитъ на дуэли, но все направленіе жизни его было самоубійствомъ. (См. страницу 79).

кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что, когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ „Мертвыхъ Душъ“ въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи—онъ же былъ охотникъ до смѣха,—началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: *„Господи, какъ грустна наша Россія!“*...

Но у Гоголя—замѣчу—было слишкомъ много наклонности къ покаянію чтобы можно было особенно полагаться на его слова; вообще же разслѣдованіе подробностей его психологіи совершенно не входитъ въ програму этого обзора.

Драма жизни Гоголя представляется мнѣ гораздо глубже во всякомъ случаѣ и гораздо общественно содержательнѣе, почему я считаю нужнымъ остановиться на ней. Это на самомъ дѣлѣ жажда вѣры и невозможность вѣрить, это дѣйствительное непониманіе, куда мчится тройка—Россія, куда мчится самая жизнь.

Гоголь былъ сатирикомъ, значитъ такимъ дарованіемъ, которое видитъ и въ жизни и въ людяхъ прежде всего ихъ отрицательныя стороны. Но странно, онъ какъ бы не замѣчалъ преступленій, жестокостей, которыя ежедневно и ежеминутно творились возлѣ него, не замѣчалъ человѣческой злобы, взаимной ненависти, зависти и т. д., словомъ всего того, что дѣлаетъ существованіе невыносимымъ и преступнымъ. Не замѣчалъ онъ и слезъ людскихъ, людского страданія, и трудно болѣе мягкими красками описывать крѣпостное право, чѣмъ дѣлалъ это онъ. Вѣдь ему даже не пришло въ голову заглянуть, что творится среди мужиковъ Манилова, Плюшкина, Ноздрева и какія драмы происходятъ тамъ. Его мужички добродушно подсмѣиваются надъ Плюшкинымъ, добродушно разсуждаютъ о томъ, доѣдетъ ли колесо до Казани, или не доѣдетъ, и больше ничего. О цензурномъ стѣсненіи тутъ, разумѣется, говорить нечего: позволили же Пушкину напечатать его „Деревню“; не запретили же первыхъ повѣстей Григоровича. Значитъ дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что Гоголь не думалъ и думать не хотѣлъ о страданіяхъ людей, вызванныхъ какими-нибудь общественными причинами. Но, не видя преступленій, злобы и жестокости, Гоголь, какъ никто и никогда, чувствовалъ человѣческую пошлость—тупую, застоявшуюся, самодовольную и неизлѣчимую. Эта пошлость заслоняла передъ нимъ всю жизнь; густымъ туманомъ окутывала она всякій горизонтъ; это были какія-то теплыя, зловонныя испаренія затхлаго болота, нагло закрывавшія самое солнце. Откуда эта пошлость, спрашивалъ онъ себя? Отчего люди, которымъ такъ скоро предстоитъ смерть, даже не думаютъ о ней, не „встрепенутся отъ ужаса, представляя себѣ ея мрачный и неумо-

линый образъ, и не повысятъ своего существованія такъ, чтобы оно имѣло смыслъ настолько цѣнный и яркій, чтобы въ его лучахъ терялся самый призракъ пугающей смерти, этотъ призракъ вѣчной ночи?“...

О ненависти Гоголя къ пошлости мы находимъ нѣсколько любопытныхъ строкъ въ знаменитыхъ „Воспоминаніяхъ“ Анненкова:

„Важнѣе всего была въ Гоголѣ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ *объ энергичномъ пониманіи вреда, производимаго пошлостью*, лѣнью, потворствомъ злу съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и ничтожествомъ моральныхъ основаній—съ другой. Въ его преслѣдованіи темныхъ сторонъ человѣческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выраженіе его физіономіи. Онъ и не думалъ еще тогда представлять свою дѣятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласился видѣть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примиренія и проч. *Онъ ненавидѣлъ пошлость откровенно*, и наносилъ ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цѣлью: потрясти ее, если можно, въ основаніи... Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самого добра и *по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни*, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самаго, если бы нужно было“.

Его влекло къ наблюденію общества и къ дѣйствію на него,—на первыхъ шагахъ своего поприща, онъ хватается за сатиру и комедію.

Эту „пошлость“, даже въ лучшую эпоху своей дѣятельности, Гоголь и не думалъ связывать съ условіями общественной жизни. Онъ не приписывалъ ее ни крѣпостному праву, ни канцелярскому бюрократизму, ни однообразію духовныхъ интересовъ или, вѣрнѣе, полному ихъ отсутствію. Сначала онъ просто удивлялся ей, слѣдилъ за ея разнообразнѣйшими проявленіями, нанося ей каждой строкой своихъ произведеній мѣткіе и неожиданнѣйшіе удары,—потомъ онъ начинаетъ склоняться къ мысли, что пошлость жизни это нѣчто роковое, неизбѣжное, что въ ней проявляется сокровеннѣйшая основа человѣческой натуры—ея ничтожество, и наконецъ приводитъ ее въ связь съ отсутствіемъ религіозности. Нужно вѣрить, чтобы жизнь получила смыслъ, нужно вѣрить, чтобы избавиться отъ пошлаго самодовольства, на которое человѣкъ не имѣетъ никакого права, нужно вѣрить, потому что одна вѣра даетъ идеалъ, одухотворяющій бытіе и наполняющій его вѣчнымъ и цѣннымъ содержаніемъ. Вотъ къ чему онъ пришелъ, понявъ, что пошлая жизнь это прежде всего жизнь невѣрующая, наполненная мелочами, удовлетворяющаяся малымъ и ничтожнымъ и забывающая о существеннѣйшемъ—о смерти, той смерти, которая его Гоголя—эту вѣчно ищущую, религіозную, хотя и эгоистическую натуру—повергала всегда въ мистическій ужасъ. Выхода Гоголь не нашелъ. Этимъ выходомъ нельзя считать и „Переписку“.

„Человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ“.

А затѣмъ его интересы поднялись еще выше:

„Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анархиста и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ Немъ ключъ къ душѣ человѣка, и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ на ту высоту познанія душевнаго, на которой стоялъ Онъ. Повѣркой разума повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой, и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой... Итакъ, на нѣкоторое время занятіемъ моимъ сталъ не русскій человѣкъ и Россія, но человѣкъ и душа человѣка вообще... Жизнь я преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми—и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу“.

Въ религіозности Гоголя была одна черта, напоминающая религіозность Лермонтова. Это было лишь алканіе вѣры, но не вѣра; это было вожделѣніе религіознаго экстаза, но не самый экстазъ, иногда вожделѣніе настолько страстное и напряженное, что принималось за самое обладаніе. Какъ бы то ни было, выходъ—вѣра, былъ найденъ, и Гоголя—при его огромномъ самолюбіи, при сознаніи своей огромной славы и при свойственной каждому русскому человѣку жаждѣ пророчествовать—онъ неотразимо повелъ къ учительству. Гоголь рѣшился научить людей, какъ жить, каковы у нихъ семейныя, общественныя и личныя обязанности и какъ они должны эти обязанности исполнять. Задача была трудная, тѣмъ болѣе трудная, что Гоголь никогда не зналъ семьи, никогда даже не сближался ни съ одной женщиной, никогда не ласкалъ ни одного ребенка и никогда не интересовался обществомъ. Все же онъ издалъ свою знаменитую „Переписку съ друзьями“.

Когда вы читаете эту удивительную книгу, этотъ истинный „Домострой“ XIX вѣка, возобновляющій, а иногда буквально повторяющій произведеніе попа Сильвестра, написанное за три вѣка до того—вы невольно спрашиваете себя—откуда она? Я думаю, что въ данномъ случаѣ много и много помогли Гоголю его друзья Аксаковы, особенно же Константинъ, помогли, разумѣется, совершенно безсознательно, потому что, какъ извѣстно,

старикъ Сергѣй Тимофѣевичъ одинъ изъ первыхъ возмущался „Перепиской“. Но Гоголь часто бывалъ у нихъ, онъ видѣлъ передъ собой прекрасную, безупречную патріархальную семью,—прекрасныхъ и безупречныхъ патріархальныхъ помѣщиковъ, слышалъ восторженныя рѣчи о старой Руси, о безобразныхъ идеяхъ Запада, все сводившихъ къ личному началу въ человѣкѣ и все выводившихъ изъ него,—и сѣмя упало на добрую почву. Что собственно хочетъ сказать Гоголь своимъ „Домостроемъ“? То, что человѣкъ, личность, не можетъ быть самъ собой, не можетъ и не смѣетъ полагаться самъ на себя. Прежде всего онъ долженъ быть тѣмъ, чѣмъ сдѣлалъ его случай рожденія, и не стремиться выйти изъ своего состоянія. Затѣмъ, какъ членъ семьи, онъ обязанъ безусловно повиноваться ея главѣ, а какъ членъ общества—главѣ общества. Главными добродѣтелями, спасающими человѣка отъ грѣховныхъ ошибокъ и преступленій гордости,—это смиреніе, довольство малымъ, покорность. Лучшей книги въ защиту того, что существовало кругомъ, въ защиту крѣпостного права и патріархальнаго идеала, усугубленнаго славянофильствомъ, нельзя было и написать. Но Гоголь забылъ одно, что немного раньше („Мертвыя души“ вышли въ 1842 г., „Переписка“ въ 1847 г.) всѣ его геніальные удары, направлялись какъ разъ противъ существующаго, и хотя онъ призналъ все раньше имъ написанное ненужнымъ, лживымъ и даже вреднымъ—но этого противорѣчія ему не простили. Извѣстно, какъ обрушился на Гоголя Бѣлинскій, и въ этомъ случаѣ Бѣлинскій былъ не одинъ. Я уже упоминалъ, что его другъ и почитатель, старикъ Аксаковъ, тоже обратился къ нему съ негодующимъ письмомъ.

Конечно, однимъ вліяніемъ Аксаковыхъ, одной, часто разнузданной, проповѣдью Константина нельзя объяснить „Переписки“. Причины ея появленія глубже. Ихъ надо искать также въ духовномъ одиночествѣ Гоголя, его жаждѣ аскетическихъ подвиговъ, его постоянной мысли о роковой грѣховности человѣческой природы и объ окружающихъ ее соблазнахъ,—надо искать и въ томъ, что никакого другого выхода онъ не видѣлъ. Быть можетъ, даже онъ старался найти этотъ выходъ въ будущности Россіи и ея народа, по крайней мѣрѣ, въ мечтахъ объ этой будущности. Но у него не было даже такихъ мечтаній. Сравнивая Русь со скачущей тройкой, онъ съ недоумѣніемъ спрашивалъ—куда она скачетъ?—и не получалъ отвѣта.

Его геніальная сатира—истинный смыслъ которой и глубину намъ разъяснили потомъ Гончаровъ (своимъ Обломовымъ), Островскій и Щедринъ, эти его три ближайшихъ преемника—вскрыла всю пошлость жизни крѣпостной Россіи, весь ужасъ этой пошлости, затянувшей всѣ правящіе классы общества, выражала собой одну сторону его духа, а другая цѣли-

комъ запуталась въ безнадежномъ признаніи, что выхода нѣтъ, и въ тщетныхъ попыткахъ найти этотъ выходъ. Тутъ-то и скрывается драма его жизни—та же, которую пришлось испытать и Лермонтову, а вѣроятно, и сотнямъ другихъ менѣе извѣстныхъ русскихъ людей. Да, выхода нѣтъ! Люди—пошляки и мерзавцы, занятые сплетнями и пересудами, погруженные въ самодовольство, такіе, которыхъ даже ужасъ смерти не можетъ остановить отъ самаго ничтожнаго мошенничества. Что же можетъ измѣнить эту жизнь, обратить ничтожное въ великое, безсмысленное—въ прекрасное и исполненное вѣры? Утилизація отбросовъ, которой занимался Констанжогло, или человѣколюбіе послѣ основательнаго грабежа, какое мы видимъ въ откупщикѣ Муразовѣ? Повторяю, никто бы не разсмѣялся такимъ злымъ смѣхомъ надъ такимъ рѣшеніемъ вопроса, какъ самъ Гоголь. Если бы великій сатирикъ былъ дѣйствительно религіозенъ, а не мучился бы только тоскою по религіозности и вожделѣніямъ экстаза—онъ создалъ бы своего старца Зосима за 40 лѣтъ до Достоевскаго. Но его безсиліе создать что-нибудь положительное, такъ же ярко бросается въ глаза, какъ, напримѣръ, въ сатирѣ Свифта. И отсюда полное раздвоеніе духа, потому-то, оплевавъ всю крѣпостную Россію, какъ никто, онъ вдругъ возвелъ ее въ перлъ созданія.

Вотъ это-то „нѣтъ выхода“ со стороны такого человѣка, какъ Гоголь, и было лучшимъ приговоромъ того положенія дѣлъ, среди котораго создались его произведенія. Все, очевидно, доходило до своего тупика, упиралось въ глухую стѣну, несмотря на славу, купленную кровью, и полный гордаго довѣрія покой. Впрочемъ, скоро отъ этой славы и этого покоя не осталось и слѣда, такъ какъ значились они въ рапортахъ, а не въ дѣйствительности.

М. Ю. Лермонтовъ. (1815—1841).

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой
Еще невѣдомый избранникъ;
Какъ онъ, гонимый въ мірѣ странникъ.
Но только *съ русскою душой*...

—говоритъ о себѣ Лермонтовъ. И въ этихъ строкахъ каждое слово—правда, каждое слово—чистое золото, какъ вообще всѣ слова Лермонтова. Онъ, дѣйствительно, не былъ Байрономъ, и въ настоящее время можно говорить о сходствѣ ихъ характеровъ, объ общемъ имъ страстномъ, хотя и исполненномъ недовѣрія отношеніи къ жизни—но не о подражаніи великаго русскаго поэта великому англичанину. Опять правъ Лермонтовъ, называя себя невѣдомымъ избранникомъ. Благодаря своей ранней кончинѣ,

которую онъ съ пророческой прозорливостью предвидѣлъ до мелочей („Сонъ“) и ускорить которую онъ такъ стремился („Давно пора мнѣ міръ увидѣть новый“, или „Я рано началъ, кончу ранѣ“)—онъ былъ и остался невѣдомымъ, какой-то грозной и таинственной загадкой, негодующимъ упрекомъ своему времени. Но что хотѣлъ сказать онъ строкой о „своей *русской* душѣ“? Какія свои особенности подчеркнулъ онъ этимъ словомъ? Ту ли совѣстливость своего духа, которая не позволяла ему радостно пользоваться благами жизни? Или презрѣніе къ внѣшнему блеску? Или его жажду самосожженія, потому что онъ въ жизни своей дѣйствительно жегъ себя съ двухъ концовъ? Или то кроткое любящее настроеніе, которое то и дѣло смѣняли его бурные негодующіе порывы? Или, наконецъ, стихійность своей натуры, не вылившуюся ни въ одномъ опредѣленномъ стремленіи? Увы! Мы, русскіе люди, такъ мало знаемъ, что такое „русское“—что пока этотъ вопросъ долженъ остаться безъ отвѣта. Но эта „безотвѣтность“ только усиливаетъ впечатлѣніе слѣдующихъ строкъ:

Я рано началъ, кончу ранѣ.
Мой умъ немного совершитъ:
Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ—
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ.
Кто хочетъ, океанъ, угрюмый,
Твои извѣдать тайны? кто
Толпѣ мои разскажетъ думы?
Или поэтъ—или никто!..

Будто греческій богъ, Лермонтовъ ушелъ съ земли окутанный облакомъ.

Но вотъ у него на той же почвѣ ужаса передъ пошлостью жизни, ея развратомъ, ея безвыходностью—мотивъ негодованія. Его слава началась съ этого негодованія, съ великолѣпнаго стихотворенія „На смерть Пушкина“, съ особенно великолѣпной второй его части, гдѣ онъ грозно клеймитъ презрѣнныхъ потомковъ „извѣстной подлостью прославленныхъ отцовъ“, называя ихъ палачами „свободы генія и славы“. И то же негодованіе въ знаменитомъ „На 1-е января“, гдѣ онъ бросаетъ этой окружающей его толпѣ прямо въ лицо, „желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью“. И это негодованіе, такое рѣдкое въ Россіи, совершенно непонятное Пушкину, такъ робко звучащее въ рѣчахъ Чацкаго, несвойственное Гоголю—является чѣмъ-то новымъ, неслыханнымъ, и вамъ кажется, что передъ вами говоритъ не русскій Лермонтовъ, а одинъ изъ его отдаленныхъ предковъ, грозныхъ шотландскихъ бароновъ, ведущихъ за собою дружину отмщенія,—или тутъ рокочетъ Терекъ, или кто-то страшный, неизмѣримый „въ блескѣ власти всталъ могучій, какъ гроза“!.. Но въ этомъ-то Лермонтовскомъ негодованіи русскій человѣкъ и созналъ себя впервые воистину человѣкомъ,

и оно отъ Лермонтова передалось Герцену, съ такой гражданской опредѣленностью выразилось у Бѣлинскаго, потомъ у Добролюбова и Щедрина, что придало совсѣмъ особенный тонъ нашей литературѣ—тонъ протестующій, что такъ не нравится всѣмъ искреннимъ и неискреннимъ сторонникамъ нашего славянофильства, считающимъ коренными русскими добродѣтелями—незлобіе, смиреніе, кротость и полноту вѣры. Но какъ тутъ быть съ Лермонтовымъ и тѣми, кто въ своихъ произведеніяхъ отразили ту же негодующую струю?

На что негодовалъ Лермонтовъ—сказать не трудно. Здѣсь прежде всего окружающая его пошлость, ложь враговъ и клевета друзей, неисполненныя надежды, обманы жизни, наглое самодовольство сильныхъ, муки чуткой совѣсти за всю эту неправду жизни; дальше — всѣ эти реальные, отчасти даже личные мотивы преобразуются въ суровый приговоръ надъ жизнью вообще и заканчиваются гордымъ презрительнымъ вызовомъ самому Провидѣнію въ стихахъ: „за все, за все Тебя благодарю я“ и—жаждой смерти.

Но гораздо труднѣе сказать *во имя чего* негодовалъ Лермонтовъ? Что положительное было у него на душѣ, словомъ, какой идеалъ носилъ онъ въ себѣ?

Этотъ идеалъ, очевидно, нельзя искать въ прошломъ. Это прошлое онъ разъ навсегда заклеймилъ, сказавъ въ своей „Думѣ“: „и предковъ скучны намъ роскошныя забавы, ихъ легкомысленный ребяческій развратъ“ и признавъ про себя и свое поколѣніе, что—

Богаты мы едва изъ колыбели
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ.

Нельзя искать этого идеала и въ настоящемъ. Отношеніе Лермонтова къ настоящему отчасти негодующее. На свое поколѣніе онъ смотрѣлъ, какъ на обреченное. Онъ не вѣрилъ, что изъ него выйдетъ толкъ, не вѣрилъ, чтобы что-нибудь могло вдохнуть духъ живъ въ это истощенное, дряблое племя людей, съ дѣтскихъ лѣтъ знакомыхъ съ тоской, томленіемъ и усталостью духа. Какой безнадежностью звучатъ послѣднія строки его „Думы“:

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ...

Остается будущее... Но увы—Лермонтовъ не говоритъ о немъ совершенно. Во всякомъ случаѣ ясно, что оно не звало его къ себѣ и не манило какими-нибудь дающими отраду призраками. Ему не хотѣлось быть

тамъ—среди новыхъ людей и новыхъ поколѣній, оттого-то онъ такъ торопился покончить съ собою, хотя и сознавалъ въ себѣ всю мощь своего генія.

Во имя же чего негодовалъ Лермонтовъ—опять приходится спросить себя? Мнѣ думается, что изо всей гаммы чувствъ особенно сильно было въ немъ развито чувство человѣческаго достоинства. Не только сильно, но часто болѣзненно, до демонической гордости, до презрѣнія ко всѣмъ окружающимъ. И во имя этого человѣческаго достоинства, обиженнаго и непризнаваемаго въ жизни, онъ и негодовалъ. Ему казалось, что не только общество, не только палачи свободы и генія, но самое божество, наградившее его жизнью, посягаютъ на его неотъемлемыя права, какъ человѣка, не давая ему возможности жить той полной, вѣчной жизнью, которая единственно казалась ему цѣнной. А разъ не было этой вѣчной жизни, этой полноты существованія, любви безъ измѣны и страсти безъ пресыщенія—то онъ не хотѣлъ брать меньшаго, какъ не хочетъ развѣнчанный властелинъ брать подачку отъ побѣдителя. Оттого-то на всѣ соблазны жизни онъ отвѣчалъ презрѣніемъ, стараясь оградить себя отъ той пошлости, которую эти соблазны неминуемо вели за собою... „Какъ ты,—говорилъ онъ, объ окружающемъ его мірѣ,—не вижу въ немъ предмета ни сильной злобы, ни любви",—или же называлъ жизнь пустою и глупою шуткой.

Лермонтовъ натура религіозная, но его религія—это исканіе прежде всего, это лишь неопредѣленное, неоформленное признаніе роковой тайны бытія.

Форма всего этого, конечно, романтическая, но основаніе—реально и жизненно. Развѣ одна смерть Пушкина, и обидная и преступная, не давала Лермонтову права на подобное негодованіе противъ современниковъ, съ постыднымъ равнодушіемъ отнесшихся къ гибели великаго поэта, и противъ жизни вообще, такъ холодно принявшей ненужную ей жертву. „Смерть Сократа создала Платона, сдѣлала его непримиримымъ врагомъ демократіи, вызвала въ немъ то безконечное презрѣніе къ толпѣ, т. е. порочному большинству людей, которое заставило его считать рабство ихъ вѣчнымъ удѣломъ". Смерть Пушкина создала Лермонтова,—и на самомъ дѣлѣ: реальные мотивы неудовлетворенной мести и грознаго негодованія начинаютъ звучать у него лишь послѣ катастрофы 1837 г. Къ этому рѣшающему факту прибавились другіе, и создалась поэзія Лермонтова—романтическая, негодующая, полная мысли о величіи человѣка въ идеѣ и обиды за его низкое, ничтожное положеніе на землѣ.

Есть такіе, которые все же хотятъ выставить его вѣрующимъ человѣкомъ, вѣрующимъ во все—и въ Бога, и въ безсмертіе, и въ любовь, и въ счастливое будущее. Такимъ вѣрующимъ онъ не былъ никогда. Что отли-

чаетъ его отъ Грибоѣдова, Гоголя, Чаадаева, романтиковъ вообще, это то, что онъ даже не искалъ выхода, потому что самоубійство—это не выходъ. Онъ утвердился въ своей негодующей безнадежности, какъ никто, и его поэзія лучше, ярче всего доказываетъ, въ какой тупикъ ударилась русская жизнь того времени. Но живому человѣку нуженъ принципъ жизни, и русская мысль, раздвоившись, старалась найти его въ ученіи славянофиловъ и западниковъ.

Славянофилы и западники.

Я уже говорилъ выше, что сначала въ спорѣ, а затѣмъ и во враждѣ этихъ двухъ направленій воплотилась одна изъ главнѣйшихъ идей нашей литературной исторіи. Этотъ споръ и эта вражда не закончились еще и теперь, въ чемъ легко можетъ убѣдиться каждый, прослѣдивъ полемику между марксистами и народниками.

Славянофильство это стремленіе опереться на народныя, чисто русскія основы жизни,—воплотить въ общественныхъ отношеніяхъ идеалъ патріархальнаго быта, основанный на довѣріи, сознаніи кровной родственной связи и религіозныхъ представленіяхъ,—это признаніе за русскимъ народомъ особаго историко-культурнаго назначенія и даже провиденціальной миссіи утвержденія христіанства и царства Божія здѣсь на землѣ. Славянофильство—гордыня нашего духа его самовозвеличеніе; все равно, какъ западничество—его самоотрицаніе, или по крайней мѣрѣ его скромное сознаніе собственныхъ недостатковъ. Вмѣсто идеи патріархальности, основной идеей западничества является идея законности и личнаго развитія, вмѣсто взгляда на русскій народъ, какъ на особый культурно-историческій типъ - признаніе, что единственно вѣрный для него путь—это тотъ же, по какому шли народы Запада.

Славянофильство и западничество вышли изъ того же источника—изъ философскаго броженія 30-ыхъ и 40-хъ годовъ, различіе ихъ создано темпераментомъ, разнымъ пониманіемъ прошлаго, разными историческими традиціями. Вскорѣ къ этому присоединилось и различіе общественнаго положенія. Съ извѣстной осторожностью на славянофильство можно смотрѣть, какъ на смутное стремленіе дворянства сохранить патріархальный бытъ Россіи,—только улучшивъ его, очистивъ отъ всей грязи, которую насидѣло на немъ чиновничество,—а вмѣстѣ съ этимъ бытомъ и свое привилегированное положеніе. Западничество съ самаго начала выбирало своихъ руководителей изъ разночинцевъ. Дворяне-западники всегда тяготѣли и тайно и

ДОМАШНЯЯ
БИБЛИОТЕКА
№ [illegible]
Алексея Ив[illegible]

явно къ славянофильству, во всякомъ случаѣ непримиримой вражды къ нему не питали и держались закраины, довольно свободно переступая границы обоихъ ученій. Это были воистину западники съ славянофильскимъ настроеніемъ, и такая черта очень поучительна *).

---

*) Среди западниковъ называютъ обыкновенно Герцена и Чаадаева... Были ли они въ дѣйствительности ими? О Герценѣ возможны по этому поводу очень серьезные споры и нельзя не видѣть, что въ немъ была славянофильская закваска, хотя онъ и разошелся съ Аксаковымъ, долго полемизировалъ съ „славянами" и полемизировалъ жестоко.

Но Чаадаевъ на основаніи своей статьи долгое время оставался, какъ западникъ, безъ всякаго подозрѣнія, и только очень недавно было сдѣлано открытіе... Нашлось одно его письмо, въ которомъ онъ пишетъ неизвѣстному другу слѣдующее:

„*Мы русскіе искони были люди смирные и умы смиренные. Такъ воспитала насъ наша церковь. Горе намъ, если мы измѣнимъ ея мудрому ученію; ему обязаны мы своими лучшими народными свойствами, своимъ величіемъ, своимъ значеніемъ въ мірѣ.* Къ сожалѣнію, новое направленіе избраннѣйшихъ умовъ нашихъ именно къ тому клонится... Пути наши не тѣ, *по которымъ идутъ другіе народы.* Мы, конечно, достигнемъ всего того, изъ за чего они бьются, но по сіе время мы столь мало еще содѣйствовали общему дѣлу человѣческому, что безумно намъ величаться предъ старшими братьями нашими. Они не лучше насъ, но они опытнѣе насъ... Не повѣрите, до какой степени личности людей въ нашемъ краю измѣнились съ тѣхъ поръ, какъ облеклись этой народной гордынею, невѣдомой отцамъ нашимъ".

Приводя это письмо, авторъ приложеній къ „Запискамъ Казанскаго Университета" очень осторожно, но и основательно говоритъ:

„Когда полиція въ 1852 г., составляя оффиціальный списокъ славянофиловъ, какъ людей опасныхъ для правительства, внесла туда и Чаадаева, наравнѣ съ Аксаковыми и Кирѣевскими, къ негодованію и смѣху лицъ, понимавшихъ дѣло, какъ, напримѣръ, того же кн. Вяземскаго, то она, конечно, не руководилась какими-либо философскими анализами сходственности ихъ ученій. Но будущій историкъ литературы несомнѣнно натолкнется на весьма любопытныя и неожиданныя сближенія... даже и въ частномъ случаѣ—одинаковыхъ и у Чаадаева, и у славянофиловъ—симпатій къ Шеллингу".

Чаадаевъ повернулъ къ православію и славянофильству уже подъ старость; другіе сдѣлали это значительно раньше, иные всю жизнь колебались между обоими ученіями, стоя на закраинѣ. Вначалѣ это было очень нетрудно дѣлать, тѣмъ болѣе, что, какъ славяне, такъ и западники такъ сходились въ большинствѣ случаевъ въ критикѣ современнаго имъ общественнаго строя, что не всегда есть возможность сказать по поводу одного, что онъ былъ славянофилъ, по поводу другого, что онъ былъ западникъ. Это нѣсколько затрудняетъ изслѣдованіе. Второе поколѣніе славянъ и западниковъ высказалось гораздо опредѣленнѣе—одни пошли

Я сказалъ выше, что славянофильство и западничество, не какъ настроенія и вѣянья, а какъ попытка историческаго и теоретическаго обоснованія двухъ міровоззрѣній, явились результатомъ философскаго броженія русской мысли 30-ыхъ и 40-ыхъ годовъ. Здѣсь очевидно вліяніе Запада, и вообще, когда мы говоримъ о русской литературѣ, этого вліянія забывать нельзя. Оно вездѣ, всегда и во всемъ. То является оно въ видѣ догмы, неумолимой и воспринимаемой до послѣдней буквы,—то прошедшимъ черезъ горнило нашего самосознанія, въ видѣ готовыхъ и разработанныхъ формъ, напримѣръ, псевдоклассицизма, сантиментализма, романтизма и т. д.—то въ видѣ теоріи. Но безъ него мы еще не обходились и пока обойтись не можемъ—да и было бы это совершенно ненужнымъ и задорнымъ дѣломъ. Центромъ этого философскаго движенія явился московскій университетъ въ лицѣ своихъ профессоровъ—Велланскаго, Павлова, Давыдова, Надеждина и пр. Всѣ они знакомили главнымъ образомъ съ Шеллингомъ, но думается, что его натуръ-философія, возбуждая большой интересъ своей новизной, оказалась для насъ русскихъ слишкомъ трудной. По крайней мѣрѣ ея изложеніе у Велланскаго смутно и запутанно до послѣдней степени. Но важно здѣсь не увлеченіе натуръ-философіей Шеллинга, а увлеченіе работой мысли вообще, которая жадно искала выхода. Въ этомъ исканіи одинаковое участіе принимали профессора и студенты. Особенно студенты, выдѣлившіе даже изъ своей среды типъ „студента 30-ыхъ годовъ"—горячей головы, благороднѣйшаго сердца, романтика и утописта, и нѣсколько кружковъ, въ которыхъ, по словамъ увлекавшагося Герцена, заключалось въ то время будущее Россіи. Не Россіи, конечно, а пожалуй,—независимой русской мысли. Глава одного изъ этихъ кружковъ—Станкевичъ, „вывезъ изъ Германіи Гегеля". О! Это было не только открытіемъ, это было откровеніемъ, за которое жадно и страстно ухватились мыслящіе люди того времени. Своей круглой законченной и дивно разработанной системой Гегель давалъ отвѣты на всѣ вопросы бытія не только отдѣльныхъ людей, но и цѣлыхъ націй, всего человѣчества. Сначала ухватились за его знаменитую формулу „все дѣйствительное разумно". Это значило оправдывать все, именно оправдывать, признавая разумнымъ существующее и преклоняясь передъ нимъ, какъ проявленіемъ Единаго Абсолютнаго Разума. Даже

въ сторону государственности и націонализма, другіе развивали теорію личнаго начала и мечтали о европейскихъ формахъ общежитія. Вначалѣ же такого раздѣленія не было. Но я надѣюсь все-же ясно представить читателю различіе обоихъ ученій, прося его помнить объ одномъ, что съ классовой точки зрѣнія славянофильство—доктрина несомнѣнно барская, дворянская, барами и дворянами формулированная и выношенная всѣмъ ихъ вѣковымъ прошлымъ.

страстный Бѣлинскій противъ себя самого, противъ истинной протестующей сущности своей натуры принялъ эту формулу, видя „разумное“ въ безудержномъ произволѣ, чуть ли не въ татарщинѣ. Подъ вліяніемъ Гегеля русскіе люди стали эстетиками. Они стремились къ нравственной красотѣ своего духовнаго міра и, оправдывая все окружающее, не думали даже о немъ, сосредоточившись исключительно на себѣ.

Гегель не то хотѣлъ сказать, что поняли въ немъ русскіе люди. Онъ хотѣлъ сказать: „все дѣйствительное разумно“. Но далеко не все существующее онъ считалъ дѣйствительнымъ. Дѣйствительнымъ онъ считалъ лишь то, *что развивается*, что идетъ впередъ, что является одной изъ необходимыхъ стадій, однимъ изъ логически неизбѣжныхъ звеньевъ самопознанія Единаго Разума. Мертвый, неподвижный Китай въ его глазахъ былъ существующимъ, но не дѣйствительнымъ, потому что въ будущемъ онъ не ждалъ отъ него ничего. Китай, по Гегелю, свое дѣло сдѣлалъ. Когда-то онъ былъ нуженъ, когда-то въ немъ была жизнь, было развитіе, движеніе, божество пребывало въ немъ, но Богъ ушелъ въ другой народъ, въ другую культуру, двинулся на Западъ, и существующій Китай пересталъ быть дѣйствительнымъ, а значитъ, и разумнымъ.

Не оправданію существующаго училъ Гегель. Его философія была строго эволюціонной, философіей развитія прежде всего. Онъ могъ воспитать человѣка въ мысли, что нѣтъ ничего вѣчнаго, застывшаго, навсегда опредѣленнаго, что всякая мысль, всякій идеалъ, всякая форма жизни и общественныхъ отношеній являются лишь переходомъ къ дальнѣйшему высшему, что само Божество находится въ процессѣ вѣчнаго совершенствованія, т. е. самопознанія.

Этого долго не понимали, въ чемъ значительная вина падаетъ на самого Гегеля, безусловно *оправдывавшаго* современное ему прусское государство и провозгласившаго свою философскую систему совершенствомъ. Его ученики въ почтительномъ недоумѣніи спрашивали: что же дѣлать Божеству послѣ Гегеля, въ ученіи котораго Оно познало себя?

Тотъ же вопросъ задавали себѣ и русскіе ученики. Но вотъ что,—какъ ни склонны мы къ теоретическимъ увлеченіямъ, съ какимъ фанатизмомъ ни прилѣпляемся мы къ философскимъ и научнымъ догматамъ—мы въ концѣ концовъ ищемъ вездѣ нравственной сущности, оправданія своей жизни, своихъ поступковъ, своей любви и ненависти и своихъ общественныхъ стремленій.

Всеоправдывающее пониманіе теоріи Гегеля натолкнулось прежде всего на этотъ основной и чудно-красивый фактъ нашего духовнаго міра. Во имя нравственныхъ и религіозныхъ стремленій человѣка пошли противъ Гегеля славянофилы, признавъ своей задачей созданіе своей русской куль-

туры; возстали и западники, особенно въ лицѣ Герцена и Бѣлинскаго (съ 1842 г.), во имя справедливаго общественнаго устройства. Опять помогла Европа въ лицѣ своихъ соціалистовъ первой формаціи—Сенъ-Симона, его учениковъ, Леру, Жоржъ-Зандъ. Это направленіе оказалось наиболѣе для насъ подходящимъ и вскорѣ стало господствующимъ.

Славянофилы.

„Славянофильство,—писалъ Герценъ,—или руссицизмъ не какъ теорія, не какъ ученіе, *а какъ оскорбленное народное чувство*, какъ темное воспоминаніе и массовый *инстинктъ*, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало со времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ.

„Противодѣйствіе петербургскому „объевропеиванію" Россіи никогда не перемежалось; казненное, четвертованное, повѣшанное на зубцахъ Кремля и тамъ пристрѣленное Меньшиковымъ и другими царскими „потѣшными" въ видѣ буйнымъ стрѣльцовъ, оно—это противодѣйствіе—является, какъ партія Долгорукихъ при Петрѣ II, какъ ненависть къ нѣмцамъ при Биронѣ, какъ разнузданная брань геніальнаго Ломоносова, какъ сама Елисавета, опиравшаяся на тогдашнихъ славянофиловъ, чтобы сѣсть на престолъ: вѣдь народъ въ Москвѣ ждалъ, что при ея коронованіи выйдетъ приказъ избить нѣмцевъ. Всѣ раскольники—славянофилы по настроенію. Солдаты, требовавшіе смѣны Барклая-де-Толли за его нѣмецкую фамилію, были предшественники Хомякова и его друзей.

„Война 1812 года сильно развила чувство народнаго сознанія и любви къ родинѣ, но патріотизмъ 1812 года не имѣлъ старообрядчески-славянскаго характера. Мы его видимъ въ Карамзинѣ и Пушкинѣ, въ самомъ Императорѣ Александрѣ. Практически онъ былъ выраженіемъ того инстинкта силы, который чувствуютъ всѣ могучіе народы, когда ихъ задѣваютъ чужіе; потомъ это было торжественное чувство побѣды, гордое сознаніе даннаго отпора. Но теорія его было слаба; для того, чтобы любить русскую исторію, патріоты перекладывали ее на европейскіе нравы; они вообще переводили съ французскаго на русскій римско-греческій патріотизмъ Корнеля и Расина и не шли далѣе стиха:

Pour un coeur bien né que la patrie est chère!
Какъ дорого отечество для благородно рожденнаго сердца!

„Правда, Шишковъ бредилъ уже и тогда о возстановленіи стараго слога, но вліяніе его было ограниченно. Что же касается до настоящаго народнаго слога, то его зналъ одинъ офранцуженный графъ Растопчинъ, да и тотъ частенько перевиралъ его, преобразовывая въ „балаганный стиль„.

„По мѣрѣ того, какъ война забывалась, патріотизмъ этотъ утихалъ и выродился наконецъ, съ одной стороны, въ подлую циническую лесть „Сѣверной Пчелы“, съ другой—въ пошлый Загоскинскій патріотизмъ, называвшій Шую-Манчестромъ, Шебуева—Рафаэлемъ, хваставшій штыками и дистанціей огромнаго размѣра „отъ стѣнъ Кремля до стѣнъ Китая...“

Теоретическое славянство и самая славянская идея, никогда, впрочемъ, ясно не формулированная, какъ будто боявшаяся свѣта ясныхъ опредѣленій, явилась лишь во время Николая Павловича. Изъ настроенія „славянство“ обратилось въ теорію. Въ этомъ многое было повинно. Усиленный государственный режимъ, гнетъ „оффиціальной народности“, не могъ не вызвать чисто инстинктивнаго желанія опереться хотя бы въ мечтахъ своихъ на голосъ живой души. Внѣшнимъ поводомъ приведенія себя славянофилами въ военное положеніе можно считать знаменитое письмо Чаадаева (о немъ ниже), гдѣ проводилась мысль, что для Россіи „нѣтъ выхода“, что мы—бродяги мысли и чувства, блуждающіе въ мірѣ безъ всякаго интереса, безъ всякой цѣли. „Это почти значило, что пора умереть, и Чаадаевъ прислонился къ католицизму“.

„Славянофилы,—продолжалъ Герценъ,—рѣшили вопросъ иначе. Въ ихъ рѣшеніи лежало вѣрное сознаніе живой души въ народѣ, чутье ихъ было проницательнѣе ихъ разумѣнія. Они поняли, что современное состояніе Россіи не смертельная, а лишь временная болѣзнь. И въ то время, какъ у Чаадаева слабо мерцаетъ возможность спасенія *лицъ*, а не народа, у славянофиловъ ясно проглядываетъ мысль о гибели лицъ, захваченныхъ современной эпохой, и вѣра въ спасеніе народа—его будущность.

„Выходъ за нами, -говорили славянофилы, -выходъ въ отреченіи отъ петербургскаго періода, возвращеніе къ народу, съ которымъ разобщило иностранное образованіе; воротимся къ прежнимъ допетровскимъ нравамъ.—И чтобы не оставалось никакого сомнѣнія, они требовали возвращенія во всемъ—въ языкѣ, одеждѣ, презрѣніи и ненависти къ иностранцамъ. К. С. Аксаковъ одѣлся такъ національно, что народъ на улицахъ принималъ его за персіянина, какъ разсказывалъ Чаадаевъ.

„Мурмолки и персидскіе кафтаны должны были набрасывать тѣнь на всѣ славянофильскія теоріи. Эта тѣнь по необходимости сгустилась, когда узкій, назойливый, даже наглый націонализмъ нашелъ себѣ убѣжище и радушный пріемъ въ славянофильскомъ лагерѣ.

„Письмо Чаадаева заставило славянъ организоваться. Въ началѣ 40-хъ годовъ они были въ полномъ боевомъ порядкѣ съ своей легкой кавалеріей, подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, со своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все бывшее послѣ кіевскаго періода, и умѣренными, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои каѳедры въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе, какъ бы символически выходившее всегда двумя мѣсяцами позже, чѣмъ слѣдо-

вало, но все же выходившее. При главномъ штабѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр. и пр. По всей линіи происходили ожесточенныя стычки съ западниками. Эти постоянныя, черезъ день повторявшіяся стычки очень интересовали литературные салоны въ Москвѣ. Надо замѣтить вообще, что Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр., „Мертвыхъ Душъ" составляло событіе".

Исторія нашей литературы до такой степени разработана, что не трудно отдать себѣ ясный отчетъ въ сущности славянской доктрины и убѣдиться въ ея утопичности. Но сначала ознакомимся съ главными ея дѣятелями— правда, возможно короче, потому что слишкомъ уже мало внесли они пока въ наше самосознаніе. Защитникамъ славянства не мѣшаетъ спросить себя: гдѣ ихъ ученые труды, гдѣ ихъ публицистическая дѣятельность, въ чемъ проявилось ихъ гражданское мужество? Славянофиловъ можно подраздѣлить на нѣсколько группъ: Первая это *славянофилы-москвичи* вродѣ Загоскина, Фролова и т. д. Сущность ихъ „теоріи" заключалась въ томъ, что они приходили въ восторгъ отъ одного имени Москвы, бранили Петербургъ, возили каждаго на Воробьевы горы, заставляли любоваться на Замоскворѣчье, кормили селянкой и пирогами, а сами благополучно проходили служебную карьеру. Загоскинъ—тотъ написалъ, по крайней мѣрѣ, „Юрія Милославскаго"—знаменитый романъ въ героически сантиментальномъ тонѣ, другіе не оставили и такого слѣда по себѣ. Это, такъ сказать, приматы славянства, смѣсь пошлости и добродушія, глупости и восторженности, гостепріимства и удивительной обломовщины. Далѣе идутъ *теоретики славянства* съ Ю. Самаринымъ, А. С. Хомяковымъ, К. С. Аксаковымъ и братьями Кирѣевскими во главѣ. На этихъ надо остановиться подробнѣе.

Алекс. Степ. Хомяковъ (1804—1860 г.) столбовой дворянинъ, сынъ богатаго помѣщика и самъ богатый помѣщикъ—натура въ высшей степени талантливая, даровитая. Памятью онъ обладалъ прямо исключительной, зналъ наизусть имена всѣхъ византійскихъ патріарховъ, всѣхъ московскихъ митрополитовъ, римскихъ папъ, и т. д. Онъ носилъ въ своей головѣ цѣлую библіотеку, сыпалъ цитатами, былъ страстнымъ спорщикомъ и любилъ споръ, какъ искусство, при чемъ всегда готовъ былъ спорить о чемъ угодно—о философскихъ основаніяхъ вѣры (любимая тема), о преимуществахъ православія (также), о первоначальномъ мѣстѣ жительства алановъ и лангобардовъ и вообще о чемъ угодно. Натура блестящая, но въ то же время едва ли особенно глубокая, нетерпѣливая и порыви-

стая, за все хватавшаяся. Всю жизнь онъ не могъ найти своего настоящаго призванія, хотя было оно у него, несомнѣнно было—это поэзія и поэзія гражданская—звучная, мѣткая и умная, часто злая, всегда искренняя. Кто не знаетъ его знаменитыхъ стиховъ: „въ судахъ черна неправдой черной и игомъ рабства клеймлена“, которыя онъ сымпровизировалъ, а у него такихъ импровизацій масса. Но ему некогда было остановиться, его тянуло въ разныя стороны. Сегодня онъ полемизировалъ съ Грановскимъ о переселеніи народовъ, завтра... изобрѣталъ паровую машину, отправлялъ изобрѣтеніе въ Лондонъ, очень безпокоился о его участи, потомъ метался по Москвѣ, все опровергая и все доказывая,—засиживался у себя въ деревнѣ, спорилъ цѣлыми днями съ мѣстнымъ архіереемъ и вводилъ улучшенныя системы хозяйства. Онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю жизнь сначала въ московскихъ гостиныхъ, затѣмъ за границей и все во славу православія и славянства. Богословомъ онъ былъ нешуточнымъ и даже не разъ приводилъ втупикъ отцовъ іезуитовъ. Но вотъ что хорошо—онъ не былъ изувѣромъ ни въ чемъ, даже въ своемъ славянствѣ. Для него было наслажденіемъ привести въ замѣшательство своего противника и тутъ онъ самъ начиналъ добродушно смѣяться. Слишкомъ подвижной и умный, онъ и не могъ стать фанатикомъ: ему нужны были не костры для еретиковъ, а игра для ума и онъ игралъ имъ, всю свою жизнь игралъ имъ. Убѣжденія его были очень благородны и очень отвлеченны: тутъ и панславизмъ, и ненависть къ крѣпостничеству, и ненависть къ чиновникамъ, и мистика, мистика безъ конца, но мистика отвлеченная, во всеоружіи діалектики—оттого сухая и безплодная, закончившаяся въ догматическихъ спорахъ и тяжелыхъ брошюрахъ. Онъ любилъ Москву, и конечно, Москва съ своими гостиными, своими безконечными „шумнимъ братецъ, шумнимъ“, литературными интересами, а главное обломовщиной—великолѣпно подходила къ нему. Герценъ такъ описываетъ московскія гостиныя 40-хъ годовъ:

„...Тутъ К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, гдѣ Р. выводилъ логически личнаго Бога ad majorem gloriam Hegelii, гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью, гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича, гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными, гдѣ молодой старикъ А. П. Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы отъ Шатобріана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгагенъ, гдѣ Боткинъ и Крюковъ патетически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда наконецъ падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало...“

„Въ этихъ кружкахъ за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипѣло. Москва принимала дѣятельное участіе въ спорахъ за мурмолки и противъ нихъ, барыни и барышни читали статьи очень скучныя, и слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или за Грановскаго, жалѣли только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ. Споры возобновлялись на всѣхъ литературныхъ и нелитературныхъ вечерахъ, на которыхъ встрѣчались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадава, въ пятницу—у Свербѣева, въ воскресенье—у Елагиной. Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобы посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ и какъ отдѣлаютъ его самого: пріѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ за Рогожской заставой.

„...Ильей Муромцемъ, разившимъ всѣхъ со стороны православія и славянизма, былъ А. С. Хомяковъ, „Горгіасъ, совопросникъ міра сего“, по выраженію Морошкина. Умъ сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый въ нихъ, богатый памятью и быстрымъ соображеніемъ, онъ горячо и неутомимо проспорилъ всю свою жизнь. Боецъ безъ устали и отдыха, онъ билъ и кололъ, нападалъ и преслѣдовалъ, осыпалъ остротами и цитатами, пугалъ и заводилъ въ лѣсъ, откуда безъ молитвы выйти было нельзя“.

И онъ требовалъ молитвы на основаніи діалектики!..

„Философскіе споры его состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины (одинъ изъ краеугольныхъ догматовъ славянофильства); онъ приписывалъ разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемыя откровеніемъ, получаемыя вѣрой. Если же разумъ оставленъ на самого себя, то, бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ за ними шагъ за шагомъ и подъ конецъ дулъ на карточный домикъ выстроенный ими...“

И въ концѣ концовъ грустно, что такая богатая натура потеряла себя на борьбу съ карточными домиками, на блестящіе, ненужные турниры въ гостиныхъ. И еще больше жаль, что тутъ затерялся большой поэтическій талантъ, не нашедшій себя среди московской безалаберности, деревенской обломовщины и общаго безвременья эпохи... Впрочемъ, большая часть написаннаго имъ все еще находится подъ спудомъ.

Взгляды Хомякова на крестьянскій вопросъ характерны для славянофиловъ вообще. Въ изложеніи Самарина они сводятся къ слѣдующему: Устраняя вопросъ о правѣ на личность, онъ основывалъ будущій поря-

докъ вещей на чисто-поземельныхъ отношеніяхъ между землевладѣльцемъ и сельскою общиною. Необходимость сохранить ея неприкосновенность при всѣхъ будущихъ преобразованіяхъ составляла одно изъ коренныхъ его убѣжденій. Онъ дорожилъ ею не только, какъ самороднымъ произведеніемъ народной жизни, и какъ вѣрнѣйшимъ средствомъ застраховать право крестьянъ на землю отъ тѣхъ несчастныхъ и неизбѣжныхъ случайностей, которыхъ бы не вынесли разобщенныя личности, но еще болѣе, какъ нравственною средою, въ которой лучшія черты народнаго характера спасались отъ заразительнаго крѣпостного права. Эта мысль, въ одномъ изъ его писемъ, выражена въ слѣдующихъ словахъ: „Чѣмъ болѣе я всматриваюсь въ крестьянскій бытъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что міръ для русскаго крестьянина есть какъ бы олицетвореніе его общественной совѣсти, передъ которою онъ выпрямляется духомъ, міръ поддерживаетъ въ немъ чувство свободы, сознаніе его нравственнаго достоинства и всѣ высокія побужденія, отъ которыхъ мы ожидаемъ его возрожденія. Можно бы написать легенду на слѣдующую тему: Русскій человѣкъ, порознь взятый, не попадетъ въ рай, а цѣлой деревни нельзя не допустить“.

Глубже и уже, нетерпимѣе (но опять безъ изувѣрства) былъ К. Аксаковъ (1817—1860), сынъ знаменитаго автора „Семейной хроники“, братъ Ивана Сергѣевича Аксакова, одинаково знаменитаго публициста и издателя „Руси“. Старшій сынъ и любимецъ, онъ провелъ всю жизнь подъ семейнымъ кровомъ, и ни одно жизненное горе не коснулось его вплоть до смерти отца, которой онъ не перенесъ, и сошелъ въ могилу недолго спустя.

„Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектикѣ Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель, какъ Н. Кирѣевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убѣдительными. Онъ въ началѣ 40-хъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гаксгаузена понимать ихъ и, послѣдовальный до дѣтства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ рубашку съ кривымъ воротомъ. „Москва—столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ—только резиденція“.

„Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей: онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ“. (Герценъ).

Въ 1844 году, когда споры славянофиловъ съ западниками дошли до того, что они уже не хотѣли болѣе встрѣчаться, Герценъ какъ-то шелъ по улицѣ. К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Г. дружески поклонился ему.

Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ къ Г. „Мнѣ было слишкомъ больно,—сказалъ онъ,—проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вашу руку и проститься". Онъ быстро пошелъ къ своимъ санямъ, но вдругъ воротился. Г. стоялъ на томъ же мѣстѣ; ему было грустно. Аксаковъ бросился къ нему, крѣпко обнялъ его и крѣпко поцѣловалъ. У него на глазахъ были слезы. Этому-то младенцу сердцемъ, но убѣжденному и непреклонному фанатику и пришлось играть видную роль въ проповѣди славянофильства. Можно себѣ впередъ представить, сколько горячности было внесено въ эту проповѣдь и къ какимъ жизненнымъ практическимъ результатамъ могла она привести! Быстро и далеко зашла ссора изъ-за теоретическихъ разногласій между западниками и славянофилами, и полемика за литературными чаями мало-по-малу перешла въ журнальную...

Ни на чемъ такъ хорошо не можете вы изучить старо-барскаго обломовскаго духа, его лѣни и безалаберности, его мечтаній о патріархальномъ строѣ общества, какъ на произведеніяхъ К. Аксакова. Они многочисленны и разнообразны, въ стихахъ и прозѣ, въ формѣ драмъ и повѣстей, историческихъ изслѣдованій и характеристикъ, и вездѣ во всемъ одна идея: народъ чудно хорошъ своей дѣтской вѣрой, своимъ смиренномудріемъ, но его портитъ Петербургъ, чиновники и культуртрегеры. Народъ святыня. Прочь отъ него со своими грязными лапами и хищническими душами, дайте ему жить, какъ онъ жилъ 200 – 300 лѣтъ тому назадъ, съ одними священными книгами, съ завѣтами предковъ. Подходите къ нему съ чистыми сердцами, будьте старшими и ведите народъ не принужденіемъ, а любовью.

Своего ученія К. Аксаковъ нигдѣ не излагалъ въ совершенно стройномъ и систематическомъ порядкѣ, мы знаемъ только, что идеаломъ его была Русь XVII или даже XVI вѣка съ земскими соборами, выборнымъ началомъ. Но входили ли въ этотъ идеалъ и дворяне? Да, несомнѣнно, хотя дворяне любовные, радушные, патріархи—старшіе надъ дѣтьми и чисто русскіе люди *). На этомъ-то, какъ мнѣ думается, и выясняется лучше всего слѣдующее положеніе.

Славянофильство было несомнѣнно классовой теоріей. Лучшіе изъ славянофиловъ были благороднѣйшими представителями стараго родовитаго дворянства: выйдя изъ его среды, они всѣмъ сердцемъ прониклись его идеаломъ—патріархальнымъ строемъ жизни, они распространили этотъ идеалъ на всю совокупность общественныхъ отно-

*) Отношеніе славянъ къ крѣпостному праву въ сущности аналогично съ ихъ отношеніемъ къ вѣротерпимости.

шеній; страстные, фанатически убѣжденные, почерпавшіе свой аргументъ изъ воспоминаній дѣтства, изъ преданій цѣлаго поколѣнія семей,—они не хотѣли знать, что идеалъ, строй жизни—историческая категорія, что патріархальность отношеній немыслима во второй половинѣ XIX-го вѣка.

Когда я говорю, что славянофильство „классовая теорія", я нисколько не хочу обидѣть благородной памяти Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ, Хомякова, Самарина. Они были невольными представителями своей среды.

Впитавши съ молокомъ матери извѣстныя традиціи, они, конечно, расширили ихъ путемъ серьезнаго образованія, но осталось нѣчто неподдающееся разложенію—это закваска стараго барства. Искренне, отъ всей души ненавидя крѣпостное право, возставая противъ него, они въ то же время смутно сознавали, что подрубаютъ тотъ сукъ, на которомъ сами сидятъ. И въ сущности, въ крѣпостномъ правѣ они ненавидѣли не столько самый институтъ, сколько помѣщичьи безобразія и увлеченія своими привиллегіями. „Если мы вспомнимъ,—говоритъ С. А. Венгеровъ,—съ какимъ добродушіемъ относился Сергѣй Тимофеевичъ къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, что и въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергѣевича на возможно рѣзкій протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣпостного права, для него были несимпатичны уже въ источникѣ своемъ, потому что помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о враждѣ и фрондерствѣ, столь нелюбимыхъ имъ. Общее же его міросозерцаніе и складъ восточно-русской натуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Конечно, это не умаляло степени нелюбви Константина Сергѣевича къ крѣпостному праву, въ ненависти къ коему онъ едва ли уступалъ кому бы то ни было. Но со стороны, т. е. для читателя,—получалось очень странное впечатлѣніе, получался тотъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ, то идиллистическое изображеніе крѣпостного быта, по поводу коего каждый крѣпостникъ могъ сказать: зачѣмъ отмѣнять крѣпостное право, когда при немъ такъ хорошо живется народу?"

Константинъ Аксаковъ рисовалъ въ своихъ произведеніяхъ крѣпостническія идилліи—это несомнѣнно, но онъ сдѣлалъ нѣчто еще большее—онъ далъ намъ настоящую утопію беззаконнаго существованія. Знаменитые стихи:

По причинамъ органическимъ
Мы совсѣмъ не снабжены
Смысломъ здравымъ *юридическимъ*,
Симъ исчадьемъ сатаны.
Широки натуры русскія;

Нашей правды идеалъ
Не влѣзаетъ въ формы узкія
Юридическихъ началъ.

вполнѣ примѣнимы къ нему.

Законъ всегда, съ юныхъ лѣтъ и до смерти, представлялся ему чѣмъ-то холоднымъ, мертвымъ, формальнымъ. Онъ презиралъ его такъ же, какъ и его представителей—чиновниковъ. Идеалъ крѣпостного права—любовное, заботливое отношеніе старшихъ къ младшимъ, не юридическую, а нравственную звязь между людьми онъ распространялъ на всю общественную жизнь. Что законъ? Законъ можно нарушить, обойти, неправильно истолковать; нравственная связь и нравственный долгъ—крѣпче. Если кому-нибудь нужны доказательства этого послѣдняго обстоятельства—пусть онъ посмотритъ на жизнь крестьянскаго міра, „ученаго лишь по церковнымъ книгамъ, да по преданіямъ старины“.

Тутъ старшіе и младшіе, отцы и дѣти, соединенные любовью, но не договоромъ. Тутъ живая нравственная связь между людьми, которая поддерживается общинными укладами. При ней нѣтъ мѣста для формальной справедливости, защищающей лишь интересы большинства, при ней есть полная свобода для проявленія внутреннихъ позывовъ къ добру, есть мѣсто для непрестанно дѣйствующей религіозности.

Нельзя не найти эту утопію нѣсколько странною. Вѣдь если любовь да старыя книги—все, то намъ ровно ничего не надо: ни образованія, ни законовъ, ни борьбы, а все, что намъ нужно—имѣется въ изобиліи. И все это говорилъ человѣкъ, изучившій гегелевскую премудрость, побывавшій за границей, одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, обладавшій несомнѣнно самостоятельной мыслью, но мыслью, совершенно затуманенной преданіями рода и помѣщичьей среды Только эти преданія, сохранившіяся еще съ XVI-го и XVII вѣковъ, и могли заставить Константина Аксакова такъ упрямо держаться своихъ выводовъ, утверждать, что Европа намъ не нужна, а завѣщанный стариною крестьянскій міръ спасетъ насъ отъ всякихъ несправедливостей, бѣдъ и напастей. Нечего и говорить, что барство вообще очень симпатично относилось къ теоріямъ Аксакова, и даже такіе баре, какъ Герценъ и Грановскій, зато вотъ Бѣлинскій никакъ не могъ взять въ толкъ всей этой премудрости, до конца дней негодовалъ на нее, не переставая попутно и упрямо ворчать на всѣхъ устроителей примиряющихъ обѣдовъ. Очевидно, что ничто, прямо или косвенно связанное съ феодализмомъ, его преданіями, его господствующимъ настроеніемъ, никакой своей стороной не могло подкупить его. Для него, нищаго разночинца и интеллигента, нужна была несомнѣнная опора въ жизни, а не только довѣріе или милостивая по-

дачка. И онъ видѣлъ эту опору въ образованіи, правахъ, лучшемъ экономическомъ устройствѣ. Онъ рвался впередъ: это „впередъ“ обѣщало ему полное признаніе его, какъ человѣка, признаніе его правъ на личное счастье и активную роль въ общественной жизни. Признаніе славянофильскаго „назадъ“, домой, къ до-петровскимъ временамъ было для него — разночинца и интеллигента — чистымъ самоубійствомъ.

Въ сущности политическія идеи К. Аксакова довольно неопредѣленны и изъ путаницы противорѣчій можно выдѣлить лишь 1) мечты о земскомъ соборѣ и 2) требованіе свободнаго слова. Мечты о земскомъ соборѣ были формулированы имъ такъ: Правительству—неограниченная власть государственная, народу — полная свобода нравственная, свобода жизни и духа. Правительству—право дѣйствія и, слѣдовательно, закона; народу — право мнѣнія и, слѣдовательно, слова.

Положительный человѣкъ нашихъ дней, конечно, спроситъ себя: возможно ли такъ рѣзко отдѣлять „власть государственную отъ свободы нравственной“ и не окажется ли послѣдняя въ любой моментъ отданной въ распоряженіе первой? Отвѣтъ на этотъ вопросъ долженъ показать положительному человѣку, что онъ имѣетъ дѣло съ благороднымъ идеалистомъ 40 хъ годовъ, который всѣмъ существомъ былъ преданъ прекраснымъ словамъ. Да, К. Аксаковъ былъ дѣйствительно благороднѣйшимъ идеалистомъ, человѣкомъ высоко цѣломудреннымъ физически и нравственно. Его можно уважать, какъ одного изъ лучшихъ и красивѣйшихъ представителей нашего стараго барства.

Изъ его сочиненій, очень, какъ я сказалъ выше, разнообразныхъ и многочисленныхъ, ни одно не пережило его самого, кромѣ общеизвѣстныхъ двухъ статей „Объ основныхъ началахъ русской исторіи“ и „О древнемъ бытѣ у славянъ вообще“, гдѣ онъ, мѣстами блестяще, проводитъ мысль объ исконномъ различіи народа русскаго отъ народа Запада, такъ какъ русскій народъ всегда отдѣлялъ землю отъ государства, т. е. никогда не стремился къ политической власти, даже чурался ея, и что истиннымъ укладомъ древне-русской жизни былъ не родовой (какъ думали Эверсъ, Соловьевъ, Кавелинъ), *а общинно-вѣчевой бытъ*. Это послѣднее—если не открытіе, то все же серьезная поправка ко всѣмъ теоріямъ о „юридическомъ бытѣ древнихъ славянъ“, но и она цѣнная сама по себѣ, доказываетъ только, въ сопоставленіи съ другими взглядами, какъ многое было смутно въ головѣ добраго и хорошаго К. С. Аксакова, потому что какъ же это можно утверждать, что русскій народъ всегда чурался государственной власти, и въ то же время, что истиннымъ укладомъ его жизни былъ общинно-*вѣчевой*. Развѣ вѣче—не власть государственная?

Необходимо опредѣлить „большой разумъ“ славянофильства, его историческія и общественныя основы, чтобы уловить его истинную сущность. Изученіе Шеллинга и Гегеля мало помогутъ дѣлу, потому что философія дала славянамъ лишь нѣкоторые пріемы мышленія, нѣкоторыя второстепенныя идеи, но корни истинной сущности ихъ ученія гораздо глубже. Потому что славянофильство дѣйствительно органическая теорія, вскормленная русской жизнью, русскими историческими преданіями, и нисколько не странно предположить, что со временемъ славянофильство съ его изгибами и развѣтвленіями, его странной смѣсью дерзости мысли и ея холопства, политической безтактности и фанатизма, протеста и оправданія дастъ драгоцѣнный матеріалъ соціологу-этнографу, желающему проникнуть въ психологическую и таинственную сущность русской народности. Быть можетъ, при всей неправильности, и произвольности толкованія, при всей фантастичности освѣщенія выступаетъ однако наружу исторически и стихійно сложившійся духъ этой теоріи. Вотъ ея важнѣйшія, хотя отрицательныя черты:

1) Невѣріе въ человѣческое „я“, признаніе массоваго разума, гораздо болѣе могущественнаго и правильнаго, чѣмъ отдѣльный человѣческій разумъ. Когда впослѣдствіи народники (извѣстная ихъ часть) требовали слѣдовать *мнѣніямъ* народа, его массовому самосознанію, а не плану реформъ и преобразованій—они, конечно, только повторяли аргументъ славянофиловъ. [1]) Когда Толстой въ 8-ой части „Войны и міра“ далъ свою философію исторіи, гдѣ сводилъ къ нулю работу геніевъ и талантовъ—онъ шелъ, конечно, за Самаринымъ, К. Аксаковымъ, Хомяковымъ, съ обычной для него теоретической прямолинейностью, развивая до конца ихъ точку зрѣнія. Тутъ ясно слышится голосъ исторіи, потому что русская исторія дѣйствительно никогда не давала (за самыми рѣдкими и несущественными исключеніями) простора личности, личной работѣ и предпріимчивости. „Личность“ она держала—въ оковахъ, стѣсненіи, невѣжествѣ, робкой покорности и рабскомъ подчиненіи. Міромъ отражала она насѣдавшихъ на нее враговъ, міромъ заняла и колонизовала безконечныя пространства. Въ русской исторіи вы видите прежде всего медленную и молчаливую работу массоваго стихійнаго приспособленія, не считающаго жертвъ, не печалящагося о нихъ и массой своей наполняющаго ровъ—разъ ровъ встрѣтится на дорогѣ, чтобы могли перейти слѣдующія толпы. Это вѣчное повтореніе живого моста, изображеннаго на картинѣ одного извѣстнаго художника: рыт-

*) Ниже мнѣ не разъ придется указывать на близость основныхъ философско-историческихъ воззрѣній славянофиловъ и Толстого. 8-ая часть „Войны и мира“ въ сущности рѣдкая критика теорій, признающихъ активную роль личности (въ высшемъ ея проявленіи—героевъ) въ исторіи.

вина до верху переполнена солдатами, а по ихъ головамъ переѣзжаетъ артиллерія. И вотъ это-то стихійное, массовое, безсознательное славянофилы и возводили въ перлъ созданія. Оттого-то въ первый планъ они и выдвигали такія качества, которыя въ концѣ концовъ противорѣчатъ личному началу—смиреніе, покорность, *покаяніе* и даже, особенно понимаемую ими, *религіозность*, какъ низведеніе своего „я" къ безмѣрно малому передъ безмѣрно большимъ, передъ *православнымъ* Богомъ.

2) Недовѣріе къ разуму, къ разсудку человѣческому вообще (философски это отъ Шеллинга), признаніе его ограниченности, отрицаніе его полновластія. Рѣзко и отчетливо формулируетъ это Ю. Самаринъ:

„Какъ у насъ, такъ и во Франціи, Англіи, Германіи, на первомъ планѣ одинъ вопросъ: *законно ли самодержавное полновластіе разсудка въ устройствѣ души человѣческой, гражданскаго общества, государства?* Въ правѣ ли разсудокъ ломать и коверкать духовныя убѣжденія, семейныя и гражданскія преданія,—словомъ исправлять по-своему жизнь? Тиранія разсудка въ области философіи, вѣры и совѣсти соотвѣтствуетъ на практикѣ, въ общественномъ быту, тираніи центральной власти. Страсть всѣмъ управлять, все регламентировать, подставлять на мѣсто преданія и свободнаго вдохновенія правило, выведенное изъ отвлеченнаго принципа—вотъ наша болѣзнь. Власть относится къ обществу, какъ разсудокъ къ душѣ человѣческой. *Законное чувство тоски и пресыщенія, вызванное самовластіемъ разсудка и правительства, лежитъ въ основаніи стремленій Монталамбера, Токвиля и „Русской Бесѣды"*.

Монталамберъ и Токвиль тутъ собственно не при чемъ. Но при этомъ вопросъ о преимуществѣ вѣры надъ разсудкомъ, при этомъ Платонъ Каратаевъ въ своемъ язвительномъ разсказѣ о бумажномъ исканіи правды, при этомъ Л. Толстой съ своимъ „не суди", при этомъ Хомяковъ, считавшій вѣру, религію основаніемъ народности, общественнаго и семейнаго строя, при этомъ К. Аксаковъ съ своимъ презрѣніемъ къ юридическимъ началамъ, къ регламентаціи разсудкомъ междучеловѣческихъ отношеній. Тутъ, несмотря на смутность формулировки, чувствуется психологическая глубина, потому что, конечно, не однимъ разсудкомъ живетъ человѣкъ, но тутъ же на сцену выступаетъ и весь утопизмъ славянофильства, потому что, мечтая объ основаніи общественныхъ отношеній на довѣріи, любви, нравственной связи, славянофилы не спросили себя, гдѣ и когда видѣли мы что-нибудь подобное и можетъ ли оно быть безъ предварительной огромной работы разсудка, закрѣпляющаго въ юридическихъ нормахъ успѣхи общественности? Законы святы, да исполнители лихіе супостаты. И, конечно, свято довѣріе, любовь, нравственная связь, но гдѣ и въ чемъ ихъ гарантія? Что помѣшаетъ имъ перейти въ произволъ?

3) Несмотря на отдѣльныя очень смѣлыя и даже по тому времени „революціонныя" мнѣнія славянофиловъ, ихъ ученіе, взятое въ цѣломъ,

безусловно консервативно. Земледѣльческій и дворянскій строй старой Россіи нашелъ здѣсь истинное свое выраженіе. Опять-таки совершенно откровенно раскрываетъ подоплеку славянофильства Ю. Самаринъ. Сказавши объ общей для Россіи и Европы борьбѣ съ полновластіемъ разсудка, онъ продолжаетъ:

„Но вотъ разница: Токвиль, Монталамберъ, Риль и другіе, отстаивая свободу жизни и преданія, обращаются съ любовью къ аристократіи, потому что въ историческихъ данныхъ Западной Европы аристократія лучше другихъ осуществляетъ жизненный торизмъ. Самъ Монталамберъ только признаетъ, и то съ прискорбіемъ, что демократическое начало имѣетъ на своей сторонѣ удивительный перевѣсъ. Напротивъ, *мы обращаемся къ простому народу*, но по той же самой причинѣ, по которой они сочувствуютъ аристократіи, т.-е. потому, что у насъ народъ хранитъ въ себѣ даръ самопожертвованія, свободу нравственнаго вдохновенія и *уваженіе къ преданію. Въ Россіи единственный пріютъ торизма— т.-е. консерватизма—черная изба крестьянина*".

Конечно, не въ отдѣльныхъ параграфахъ славянофильской доктрины надо искать ея торизма (такъ какъ, повторяю, есть очень радикальные параграфы), а въ ея духѣ, ея настроеніи. Этотъ „торизмъ" лучше и ярче всего выразился въ отношеніи къ крѣпостному праву, въ тѣхъ идилліяхъ, которыя безсознательно выливались изъ-подъ пера К. Аксакова и особенно его знаменитаго отца, одного изъ талантливѣйшихъ русскихъ бытописателей—*С. Т. Аксакова* (1791—1859). Въ его „Семейной хроникѣ" и „Дѣтскихъ годахъ Багрова внука" передъ нами въ замѣчательно красивой, эпической формѣ развертывается жизнь помѣщиковъ начала XIX-го вѣка. Вотъ, кажется, совершенно правильная оцѣнка этихъ произведеній: „необыкновенно горячая симпатія къ патріархальной обстановкѣ жизни помѣщиковъ временъ крѣпостного права, любовь къ окружающей природѣ заслоняютъ отъ него всѣ мрачныя стороны личной зависимости крестьянъ отъ землевладѣльцевъ. *Любовь* и *уваженіе* являются, по мнѣнію Аксакова, связующимъ цементомъ обѣихъ сторонъ". Это въ высшей степени важно особенно потому, что все это высказано въ яркихъ художественныхъ формахъ, въ процессѣ творческаго ясновидѣнія. Въ этой идиллической окраскѣ „крѣпостныхъ отношеній" вылился весь полувѣковой опытъ С. Т. Аксакова, она же, конечно, обусловливала и политическіе взгляды славянофиловъ.

4) Совершенно теперь понятно враждебное отношеніе славянофиловъ къ Петру I-му и его реформамъ. Въ этихъ послѣднихъ Петръ, конечно, не справлялся съ самосознаніемъ массы и мнѣніями народа; несомнѣнно, что онъ признавалъ *самовластіе разсудка*. Во имя государственной выгоды онъ безжалостно ломалъ патріархальныя основы жизни, доходя до насмѣшекъ надъ самой религіей. И съ этой точки зрѣнія Самаринъ совершенно правъ, говоря:

„Два недуга разъѣдали древнюю жизнь: лихоимство и обрядность— противъ этого г. Соловьевъ спорить не будетъ. Древняя Русь ихъ не скрывала, напротивъ, она каялась въ нихъ во всеуслышаніе, искала противъ нихъ, но не находила исцѣленія,—съ этимъ также согласится г. Соловьевъ. Итакъ, съ полнымъ и яснымъ сознаніемъ своей болѣзни, съ готовностью на все для кореннаго исцѣленія, поступила Русская земля на попеченіе безстрашнаго хирурга (Петра I), привезшаго изъ-за границы новую систему лѣченія. Она теперь испробована, прошло полтараста лѣтъ. Мы не спрашиваемъ: здорова ли Россія? Нѣтъ—это было бы много. Мы просимъ только, чтобы намъ указали, какое новое, притомъ дѣйствительное и древней Руси невѣдомое или недоступное, средство открыто и употреблено въ дѣло? Противъ двухъ коренныхъ недуговъ, лихоимства и обрядности, которыхъ всѣ признаки такъ подробно описаны, *что пріобрѣла Россія?* И когда намъ укажутъ, что она пріобрѣла, *мы беремся показать, что она утратила*".

Что утратила? Конечно, религіозность, конечно, любовь и довѣріе, какъ цементъ общественныхъ отношеній.

Но было ли это когда-нибудь въ дѣйствительности—вотъ вопросъ. А другой не менѣе важный: не является ли реформа Петра органическимъ и необходимымъ результатомъ всей московской государственности?

5) Но, конечно, больше всего любопытно это постоянно повторяющееся настойчивое „назадъ" или это закрѣпленіе разъ навсегда формъ общественной жизни. Потому что *дворянству, какъ классу, впереди и нечего было искать.* Все было у него или въ прошломъ или въ настоящемъ, раньше и теперь, но не впереди. И *большой безсознательный „историческій" разумъ цѣлаго сословія громче и отчетливѣе всего высказался въ этомъ „назадъ"*.

Любовь, нравственность и религія замѣняли славянофиламъ всякую политику. Религія въ формѣ православія играла въ ихъ ученіи роль преобладающую. Но у Хомякова потребность ея вытекала изъ доктрины, Аксаковъ преклонялся передъ ней, какъ основой древне-русскаго быта, только у Кирѣевскихъ, особенно у Ивана, она имѣла мистическую окраску. Любовную характеристику братьямъ Кирѣевскимъ даетъ Герценъ:

„Оба брата Кирѣевскихъ стоятъ печальными тѣнями на рубежѣ народнаго воскресенія: не признанные живыми, не дѣлившіе ихъ интересовъ, они не скидывали савана.

„Преждевременно состарѣвшееся лицо Ивана Васильевича носило рѣзкіе слѣды страданій и борьбы, послѣ которыхъ уже выступилъ печальный покой морской зыби надъ потонувшимъ кораблемъ. Жизнь его не удалась. Съ жаромъ привялся онъ за ежемѣсячное обозрѣніе „Европеецъ". Двѣ вышедшія книжки были превосходны; при выходѣ второй, „Европеецъ" былъ запрещенъ. Онъ помѣстилъ въ „Денницѣ" статью о

Новиковѣ,—„Денница“ была схвачена, и цензоръ Глинка посаженъ подъ арестъ. Кирѣевскій, разстроившій свое состояніе „Европейцемъ“, уныло почилъ въ пустынѣ московской жизни; ничего не представлялось вокругъ,—онъ не вытерпѣлъ и уѣхалъ въ деревню, затая въ груди глубокую скорбь и тоску по дѣятельности. И этого человѣка, твердаго и чистаго какъ сталь, разъѣла ржа страшнаго времени. Черезъ десять лѣтъ онъ возвратился въ Москву изъ своего отшельничества мистикомъ и православнымъ.

„Жаль было разрушать его мистицизмъ,—эту жалость я прежде испытывалъ съ Витбергомъ. Мистицизмъ обоихъ былъ художественный: за нимъ будто не исчезала истина, а пряталась въ фантастическихъ очертаніяхъ и монашескихъ рясахъ. Безпощадная потребность разбудить человѣка является только тогда, когда онъ облекаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздираетъ сердце и не даетъ покоя.

„И что же было возражать человѣку, который говорилъ такія вещи: „Я разъ стоялъ въ часовнѣ, смотрѣлъ на чудотворную икону Богоматери и думалъ о дѣтской вѣрѣ народа, молящагося ей; нѣсколько женщинъ, больные, старики стояли на колѣняхъ и, крестясь, клали земные поклоны. Съ горячимъ упованіемъ глядѣлъ я потомъ на святыя черты и мало-по-малу тайна чудесной силы стала мнѣ уясняться. Да, это не просто доска съ изображеніемъ... вѣка цѣлые поглощала она эти потоки страстныхъ возношеній, молитвъ людей скорбящихъ, несчастныхъ; она должна была наполниться силой, струящейся изъ нея, отражающейся отъ нея на вѣрующихъ. Она сдѣлалась живымъ органомъ, мѣстомъ встрѣчи между творцомъ и людьми. Думая объ этомъ, я еще разъ посмотрѣлъ на старцевъ, на женщинъ съ дѣтьми, поверженныхъ въ прахъ и на святую икону—тогда я самъ увидѣлъ черты Богородицы одушевленными: она съ милосердіемъ и любовью смотрѣла на этихъ простыхъ людей... и я палъ на колѣни и смиренно молился ей“.

„Петръ Васильевичъ былъ еще неисправимѣе и шелъ дальше въ православномъ славянизмѣ—натура, можетъ быть, меньше даровитая, но цѣльная и строго послѣдовательная. Онъ не старался, какъ Иванъ Васильевичъ или какъ славянскіе гегелисты, мирить религію съ наукой, западную цивилизацію съ московской народностью; совсѣмъ напротивъ: онъ отвергалъ всѣ перемирія. Самобытно и твердо держался онъ на своей почвѣ, не напрашивался на споры, но и не миновалъ ихъ. Бояться ему было нечего: онъ такъ безвозвратно отдался своему мнѣнію и такъ спаялся съ нимъ горестнымъ состраданіемъ къ современной Руси, что спорить ему было легко. Соглашаться съ нимъ нельзя было, какъ и съ братомъ его, но понимать его можно было лучше, какъ всякую безпощадную крайность. Въ его взглядѣ, и это я оцѣнилъ гораздо позже, была доля тѣхъ горькихъ, подавляющихъ истинъ объ общественномъ состояніи Запада, до которыхъ и мы дошли послѣ бурь 1848 года. Онъ понялъ ихъ печальнымъ ясновидѣніемъ, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петромъ во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, какъ у его брата, рядомъ съ право-

славіемъ и славянизмомъ, стремленія къ какой-то гуманно-религіозной философіи, въ которую разрѣшалось его невѣріе въ настоящее. Нѣтъ, въ его угрюмомъ націонализмѣ было полное, оконченное отчужденіе отъ всего западнаго".

Впрочемъ, Петръ Кирѣевскій мало интересенъ для историка литературы: онъ почти ничего не писалъ. Но Иванъ это довольно крупная литературная величина, которой лишь обстоятельства не позволили развернуться во всю ширь. Разносторонне, хотя по преимуществу философски, образованный, онъ скрывалъ въ себѣ рѣдкій Божій даръ настоящаго журналиста и къ журналу его тянуло постоянно. Сначала онъ самъ принялся издавать „Европейца". Любопытная вещь — спеціально славянофильскаго въ журналѣ ничего нѣтъ. Все вниманіе редакціи обращено на Западъ. Западъ въ лицѣ своихъ мыслителей возбуждаетъ восторгъ. Только какой-то странный тонъ статей, особенно статей самого Кирѣевскаго (его нашумѣвшихъ въ свое время обозрѣній литературы) выдѣляетъ „Европейца" изъ другихъ журналовъ. Это тонъ не примиреннаго человѣка, но такого, который хочетъ примириться, который не даетъ простора своему недовольству, ищетъ чего-нибудь положительнаго, къ чему бы можно было прислониться, чѣмъ можно было бы жить. Полемики нѣтъ, важно, сосредоточенно, серьезно, все говоритъ о томъ, что во главѣ дѣла стоитъ человѣкъ созерцанія, какимъ и былъ Кирѣевскій. Если читатель знакомъ съ обозрѣніями или статьями о Стефенсѣ — онъ согласится со мной. Жаль, что Кирѣевскій не сказалъ прямо, чего онъ хочетъ отъ литературы, что такое вообще въ его глазахъ литература. Но и косвенныхъ указаній достаточно. Литература для него одно изъ выраженій *религіознаго* духа человѣка, ищущаго *правды* жизни и тѣхъ основъ, на которыя можетъ опираться нравственная, т. е. стремящаяся къ самоусовершенствованію жизнь. Эта страшно важная мысль осталась невыясненной и неразработанной: помѣшали обстоятельства. Просуществовавъ нѣсколько мѣсяцевъ, „Европеецъ" былъ закрытъ, а новая попытка Кирѣевскаго примкнуть къ журналистикѣ, взявши на себя редакцію Погодинскаго „Москвитянина", кончилась такъ же скоро и плачевно. Кирѣевскій остался не у дѣлъ...

Таковы вожди славянофильства.

Обыкновенно говорятъ о заслугахъ славянофиловъ въ дѣлѣ историческаго изученія. Отрицать этихъ заслугъ невозможно тѣмъ болѣе, что передъ нами люди образованные, часто ученые, которыхъ сама ихъ доктрина обязывала заниматься исторіей. Ихъ идеалъ былъ въ прошломъ и они любовно вглядывались въ него. Погодинъ всю свою жизнь просидѣлъ

за Несторомъ и другими лѣтописями, К. Аксакову удалось выяснить значеніе вѣча въ древней Руси, Хомяковъ интересовался преимущественно прошлымъ Запада. Послѣ него остались мало извѣстныя „Записки о всемірной исторіи“ — незаконченныя и необработанныя, но поражающія широтой плана, невѣроятнымъ запасомъ свѣдѣній и выдержанностью основной точки зрѣнія. Среди нашей бѣдной философско-исторической литературы, эти „Записки“ занимаютъ несомнѣнно очень видное мѣсто. Во всякомъ случаѣ это первый на русскомъ языкѣ опытъ философскаго обозрѣнія судебъ міра и человѣчества, гдѣ проявилась вся „иррегулярная“, но удивительная даровитость ихъ автора. Въ подробное разсмотрѣніе взглядовъ Хомякова входить не могу, ограничусь лишь общими замѣчаніями. Очевидно, что двѣ задачи стояли передъ умомъ автора. Во-первыхъ, онъ хотѣлъ отвѣтить на формулу Гегеля: „люди и славяне“, совершенно уничтожающую историческую роль славянскаго племени, и показать, что славяне свою историческую роль въ судьбахъ міра сыграли,—больше того: что эта историческая роль была велика и почетна. За судьбами излюбленныхъ славянъ Хомяковъ и слѣдитъ съ особой охотой, начиная чуть ли не съ третичной формаціи, не пренебрегая ни малѣйшей подробностью, почти безъ критики пользуясь всѣми фактами. Во-вторыхъ, Хомяковъ не устаетъ говорить о великомъ значеніи вѣры, религіи, религіозныхъ представленій въ жизни народовъ. Для него дѣленіе человѣчества на расы, племена, государства (особенно государства) не представляется особенно существеннымъ и совершенно стушевывается передъ дѣленіемъ по вѣрамъ. Вѣра, являясь результатомъ всѣхъ племенныхъ и историческихъ особенностей народа, въ то же время сама характеризуетъ ихъ. Разумѣется, въ результатѣ оказывается, что славяне представляютъ изъ себя высшій нравственный типъ человѣчества, и этому типу принадлежитъ будущее, и такимъ образомъ „Записки“ Хомякова представляютъ собою настоящее правовѣрное исповѣданіе вѣры славянофильской школы. Его философія исторіи просто и кратко резюмирована Ю. Самаринымъ такъ: „Борьба религіи нравственной свободы (начало Иранское), окончательно осуществляющейся въ полнотѣ божественнаго откровенія, *хранимаго православною церковью*—съ религіей необходимости вещественной или логической (начало Кушитское) — эта борьба олицетворяющаяся въ вѣроученіяхъ и въ исторической судьбѣ передовыхъ народовъ—такова основная тема, связывающая разрозненныя изслѣдованія Хомякова въ одно органическое цѣлое“.

Попытаюсь резюмировать смыслъ этой главы въ нѣсколькихъ замѣчаніяхъ.

Нечего и говорить, что никакой ненависти и раздраженія противъ первыхъ славянофиловъ питать нельзя. Напротивъ, трудно не видѣть въ нихъ

людей, дѣйствовавшихъ или, лучше сказать, мыслившихъ по побужденію благороднѣйшаго сердца. „Ложь не оскверняла уста ихъ“. Они не были холопами и не выслуживались ни передъ кѣмъ, мало этого, ихъ преслѣдовали, сажали въ крѣпость, какъ Самарина, брали подъ надзоръ, какъ Аксаковыхъ, Кошелева, Хомякова, Свербѣева и т. д. *). Въ критикѣ существующаго они шли рука объ руку съ лучшими умами своего времени. Они искренно ненавидѣли крѣпостное право, черную неправду судовъ, произволъ чиновниковъ. Въ отвращеніи и непріязни, которыя они питали къ нашему служилому сословію, быть можетъ, заключается главная ихъ заслуга. Они были правы и въ критикѣ западническихъ увлеченій, начиная отъ теоріи родового быта Соловьева и Кавелина и кончая „lasciate ogni speranza“ Чаадаева. Они превосходно понимали, что намъ, русскимъ, надо работать и работать. Они первые узаконили гражданскіе мотивы въ поэзіи въ лицѣ К. Аксакова, Ив. Аксакова и Хомякова, которые въ этомъ отношеніи были предшественниками Некрасова. Они вполнѣ раздѣляли взглядъ Бѣлинскаго на реальныя, общественныя задачи литературы и критики, и любопытныя слова сохранились намъ въ этомъ смыслѣ отъ К. Аксакова.

Вотъ что писалъ этотъ учитель, наставникъ, и, я бы сказалъ, начетчикъ славянофильства: „Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны) можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудовыя эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха“. Какой изъ критиковъ шестидесятниковъ лѣваго, конечно, лагеря литературы отказался бы подписаться подъ этими словами? Принадлежатъ же они, какъ сказано, К. Аксакову, начетчику славянофильства...

Все это плюсы. Я не забываю и еще одного, поставленнаго на счетъ славянофиловъ уже позже, въ эпоху 50-хъ годовъ, Н. Г. Чернышевскимъ. Чернышевскій заявлялъ, что всѣ теоретическія заблужденія, всѣ фантастическія увлеченія славянофиловъ съ избыткомъ вознаграждаются уже однимъ убѣжденіемъ ихъ, что общинное устройство нашихъ селъ должно оставаться неприкосновеннымъ при всѣхъ перемѣнахъ въ экономическихъ отношеніяхъ. Эти заявленія тѣмъ характернѣе, что, вообще говоря, „Современникъ“ относится къ позднему славянофильству лишь съ насмѣшливымъ

*) См. слѣд. главу.

за Несторомъ и другим[illegible] Чернышевскій, нашъ первый народ-
ченіе вѣча въ [illegible] это открытіе „общины“, „ар-
прошлымъ [illegible]
всемірно[illegible] старой жизни, этотъ взглядъ на общину, артель
широт[illegible] откуда духъ живъ не ушелъ, гдѣ онъ пребывалъ
ной [illegible] крѣпостного права, гдѣ онъ долженъ жить неза-
ту[illegible] просвѣщенной бюрократіи?..
у [illegible] къ области критики, отрицанія и ежели бы
[illegible] ограничились бы только ею, они не могли бы вызвать къ
[illegible] почтительнаго удивленія. Но роль критиковъ казалась
[illegible] и даже малоцѣнной. Въ душѣ они даже презирали ее,
[illegible] Хомяковъ и Аксаковъ, эманаціей лишь „низшаго“ разума,
[illegible] натуры. Всѣ усилія ихъ творчества обра-
[illegible] созиданіе и утвержденіе. И они утверждали и созидали, раз-
[illegible] правой рукой, что было сдѣлано лѣвой. И какъ только
[illegible] доходило до созиданія и утвержденія, даже такіе мягкіе, вѣротерпи-
мые люди, какъ Грановскій, — не говоря уже о Бѣлинскомъ — выходили
изъ себя.

„Ты не можешь себѣ вообразить,— писалъ Грановскій Станкевичу о Кирѣевскихъ,—какая у этихъ людей философія. Главныя ихъ положенія: Западъ сгнилъ и отъ него не можетъ быть уже ничего; русская исторія испорчена Петромъ. Мы оторваны насильственно отъ родного историческаго основанія и живемъ наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоитъ въ возможности безпристрастно наблюдать чужую исторію это даже наше назначеніе въ будущемъ; *вся мудрость человѣческая истощена въ твореніяхъ св. отцовъ греческой церкви, писавшихъ послѣ отдѣленія отъ западной* (!). Ихъ только нужно изучать: дополнять нечего, *все сказано*. Кирѣевскій говоритъ это всегда въ прозѣ, Хомяковъ въ стихахъ“...

Всѣ утвержденія славянофиловъ похожи на это.

Они возставали противъ невѣрія и „фейербаховщины“ современныхъ имъ людей—*во имя* утрени и вечерни, какъ К. Аксаковъ; оптинской пустыни, какъ Кирѣевскіе; догматическаго православія, какъ Хомяковъ. Они возставали противъ безобразія современной имъ обстановки *во имя* русской жизни XVII-го вѣка или аскетическаго идеала отцовъ церкви; они защищали лучшее и главнѣйшее свое положеніе, что духъ русскаго народа живъ, хочетъ и долженъ жить, и не забывали немедленно же прибавлять къ этому, что Западъ гніетъ и разлагается.

Въ конечномъ анализѣ, послѣ долгихъ тревогъ надъ этимъ вопросомъ, я думаю, что ошибка славянофиловъ, прежде всего дискретировавшая ихъ ученіе у современниковъ и потомства, органическій недостатокъ ихъ доктрины,

заключались въ томъ, что положительная ея сторона была въ сущности лишь нѣсколько исправленнымъ и улучшеннымъ тезисомъ, стоявшимъ все время въ видѣ угрозы и предостереженія передъ русской литературой— формулой оффиціальной народности.

Начать съ того, что они охотно допускали въ свою среду лицъ, для которыхъ, какъ, напр., для Загоскина, Фролова, Погодина, Шевырева и т. д., это было неопровержимымъ символомъ вѣры, благодаря чему вмѣсто патріотизма получался самый узкій націонализмъ. Когда невѣдомый поэтъ мечталъ о томъ, что упьется „кровью мадьяровъ и нѣмцевъ“ или когда Языковъ, обращаясь къ западникамъ, называлъ ихъ „измѣнниками“ и говорилъ:

Вы—людъ заносчивый и дерзкій,
Вы—опрометчивый оплотъ
Ученья школы богомерзкой,
Вы всѣ—не русскій вы народъ!
Умолкнетъ ваша злость пустая,
Замретъ проклятый вашъ языкъ!
Крѣпка, надежна Русь святая,
И русскій Богъ еще великъ..

то было надъ чѣмъ призадуматься, и дальнѣйшій фазисъ славянофильства стремился утвердить такія вотъ мысли за русскимъ самосознаніемъ. Недаромъ умирающій Грановскій, узнавъ, что славянамъ распечатали уста и позволили издавать свой органъ, писалъ Кавелину: „Хорошо... Надо будетъ сказать послѣднее слово системы, а это послѣднее слово православная патріархальность, несовмѣстимая ни съ какимъ движеніемъ впередъ. Ив. Кирѣевскій уже удостоился искомой награды и достигъ своей цѣли. Здѣшніе п... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смѣло говоритъ о необходимости изгнать изъ государства всѣхъ иновѣрцевъ или по крайней мѣрѣ подчинить ихъ строгому надзору православной церкви“.

Вотъ, значитъ, какое утвержденіе таилось въ славянофильствѣ, по мнѣнію Грановскаго. И еще любопытное обстоятельство: историку литературы приходится имѣть дѣло не съ развитіемъ славянофильской доктрины, а лишь съ исторіей ея вырожденія, какъ бы для иллюстраціи положенія: живое живетъ, а мертвое лишь разлагается. Даже генія Достоевскаго оказалась недостаточнымъ, чтобы вдохнуть жизнь въ эту мертвечину и одухотворить благородную мечту вымирающаго дворянства.

Но посмотримъ на критику славянофиловъ. Надо спросить себя, во-первыхъ, кто эту критику слышалъ? Она происходила въ московскихъ гостиныхъ, барскихъ угольныхъ, за семью замками и семью печатями не по волѣ, конечно, самихъ славянъ, однако она все же была ученіемъ почти что тайнымъ. Когда же она увидѣла свѣтъ Божій, то другая, большая кри-

тика уже сдѣлала свое дѣло. Это бы, впрочемъ, не бѣда, хотя все-таки замѣтимъ, что славянофилы вполнѣ удовлетворялись крошечнымъ кружкомъ своихъ друзей и знакомыхъ, и совсѣмъ не особенно ретиво рвалось наружу ихъ вѣрное слово „отрицанія и сомнѣнія". Наоборотъ, если наружу и рвалось какое слово—это слово утвержденія и признанія, и это слово склоняется во всѣхъ падежахъ, числахъ и родахъ на каждой страницѣ ихъ „Москвитянина", не говоря уже о „Маякѣ", и даже „Московскаго Сборника", редактировавшагося Ив. Аксаковымъ. Это слово утвержденія и признанія было: „мы народъ особенный, избранный, мы народъ православный, и у насъ другіе пути, задачи и цѣли, чѣмъ у другихъ неспособныхъ, неизбранныхъ и неправославныхъ народовъ. Земля наша создана святителями. Въ сокровищницахъ нашего прошлаго мы найдемъ все нужное для нашего обновленія, для нашего счастья. Домой же, назадъ!"... Вотъ что слышали люди. Назадъ, куда назадъ? Исторія не возвращается. Самый торжествующій тонъ такихъ призывовъ, такихъ восторговъ передъ прошлымъ былъ огромною безтактностью. И эта безтактность становилась вредной, когда крѣпостное право въ воображеніи своего ненавистника К. Аксакова оказывалось чуть ли не райскимъ уголкомъ. И тутъ-то выступаетъ на сцену во всей своей силѣ второе: „но". Но... лучшіе славянофилы были большія дѣти. Увы, это даже не я говорю, это говоритъ человѣкъ глубоко любившій К. Аксакова, не позволявшій слова дурного сказать о немъ и даже выросшій подъ его вліяніемъ—его собственный младшій братъ Ив. Аксаковъ. „Вотъ и Константинъ здѣсь,—писалъ онъ 20 января 1850 г.—Онъ пріѣхалъ какъ бы къ давно знакомымъ людямъ. Съ одной стороны, это ему пріятно, съ другой, я бы желалъ, чтобы онъ лицомъ къ лицу встрѣтился *съ дѣйствительностью*. До сихъ поръ это не совсѣмъ ему удавалось; теперь же я теряю надежду, чтобы когда-либо онъ былъ способенъ ее увидать. *Этотъ человѣкъ никогда не смущался, не сомнѣвался въ своихъ убѣжденіяхъ*—и мы во многихъ взглядахъ поэтому съ нимъ расходимся". Въ другомъ письмѣ: „я не могу, подобно Константину, утѣшаться такими фразами: *главное—принципъ, остальное случайность*; или—что *русскій народъ ищетъ царствія Божія* и т. д. *Равнодушіе къ пользамъ общимъ, лѣнь и апатія, и предпочитаніе собственныхъ выгодъ — признается за исканіе царства Божія!*.. *). Что касается до принципа, то, признаюсь, это выраженіе Константина заставило меня улыбнуться. Это все равно, что говорить голодному: другъ мой, ты будешь сытъ на томъ свѣтѣ, а теперь голодай,—это случайность; намажь хлѣбъ принципомъ вмѣсто масла, по-

*) Въ словахъ и тонѣ этого письма слышно даже возмущеніе.

Авт.

сыпай принципомъ—и вкусно; нужды нѣтъ, что сотни тысячъ умрутъ; другіе сотни уйдутъ—это случайность. Легкое утѣшеніе. Если бы я такъ вѣрилъ въ принципъ и въ жизненность этого принципа въ русскомъ народѣ, то, право, и горевать бы не сталъ. Возмущаютъ меня факты—ничего; вынулъ изъ кармана табакерку, понюхалъ принципа и счастливъ! Гдѣ онъ этотъ принципъ? Куда дѣвался? Поди, Константинъ, достань пыльную лѣтопись, поищи его въ XII и XIII вѣкахъ, когда князья терзали русскую землю, воюя другъ у друга удѣлы. Поздравляю съ этой находкой"...

Ну, можно ли съ большей язвительностью написать критику на младенчество „общественной" мысли у Константина Аксакова, на ея наивность.

И, конечно, это очень странное на первый взглядъ, однако несомнѣнное обстоятельство, что правительство Николая I очень подозрительно относилось къ славянофиламъ. Многіе изъ нихъ пострадали (даже Погодинъ былъ подъ надзоромъ полиціи), но никто серьезно. Чѣмъ же собственно были подозрительны славянофилы? Тѣмъ прежде всего, что большая ихъ часть не служила, тѣмъ, во-вторыхъ, что они представляли изъ себя тѣсно сплоченный кружокъ, тѣмъ, въ-третьихъ, что они занимались литературой, тѣмъ, въ-четвертыхъ, что у нихъ были какія-то панславистскія мечтанія. Хотя всѣ эти обвиненія напоминаютъ нѣсколько горбуновскій обвинительный актъ: „признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что въ неизвѣстное время, въ неизвѣстномъ мѣстѣ, вели съ неизвѣстнымъ лицомъ бесѣду о предметахъ, оставшихся суду неизвѣстными?"—однако *это дѣйствительно такъ было.* По крайней мѣрѣ въ 1852 г. Дубельтъ писалъ министру народнаго просвѣщенія: „съ нѣкотораго времени образовалось въ Москвѣ *общество* славянофиловъ; что цѣль этихъ людей состоитъ въ томъ, дабы сдѣлать переворотъ въ русской литературѣ, не подражать иностраннымъ западнымъ писателямъ, искать для своихъ сочиненій предметовъ самобытныхъ и народныхъ; что хотя секретное наблюденіе за членами сего общества не обнаружило до сей поры ничего положительнаго вреднаго, но какъ общество это подъ вліяніемъ людей неблагонамѣренныхъ легко можетъ получить вредное политическое направленіе и *какъ члены онаго большею частью литераторы*... То... государь императоръ соизволилъ высочайше повелѣть, дабы на представляемыя сочиненія въ духѣ славянофиловъ было обращено со стороны цензуры особенное и строжайшее вниманіе"...

Я привелъ это отношеніе для того, чтобы показать, какъ легко было въ тѣ времена стать подозрительнымъ, подпасть подъ надзоръ полиціи и даже лишиться возможности говорить съ своими читателями, потому что

при особенномъ и строжайшемъ вниманіи цензуры славянофилы дѣйствительно лишились ея *). Я привелъ это отношеніе еще и потому, чтобы на прощанье оттѣнить одну хорошую, быть можетъ, лучшую сторону стараго славянофильства, ту именно, что, не будучи противъ, оно не было за. Не всѣ, конечно. Въ самыхъ первыхъ ихъ рядахъ были люди, которыхъ Герценъ съ полнымъ правомъ называетъ добровольными холопами и преданными рабами—Погодинъ и Шевыревъ, но зато другіе не имѣли ничего общаго ни съ оффиціальнымъ міромъ, ни съ оффиціальной народностью. Но эти-го *другіе* и создали славянство, больше даже, придали ему ореолъ какой-то исключительной чистоты и гражданской порядочности.

Какъ бы то ни было, они должны были оставить свои бесѣды съ публикой. Для многихъ, особенно же для К. Аксакова, который былъ агитаторомъ по природѣ—это было мучительно тяжело.

Часто осмѣиваемые и часто побиваемые на самыхъ разнообразныхъ пунктахъ, почти безъ читателей, обыкновенно безъ подписчиковъ, чувствуя, что ихъ понимаютъ какъ разъ такъ, какъ понимать не слѣдуетъ, славянофилы то и дѣло брались за журналистику. У нихъ былъ свой почти постоянный органъ „Москвитянинъ“ Погодина, они были недовольны имъ. „Москвитянинъ“ прославился своею неаккуратностью, сухостью своего содержанія, „неметенымъ“ слогомъ самого Погодина и тѣмъ, что Погодинъ разсылалъ его черезъ военнаго московскаго полицеймейстера. Главная задача журнала была отстоять старину. „За нашу старину“—такъ называется одна изъ статей Погодина, и здѣсь исповѣданіе вѣры журнала. Погодинъ старательно отмѣчаетъ все, что было хорошаго въ старой Руси, удивляется Котошихину, удивляется историкамъ, которые довѣряютъ человѣку, повѣшенному за мошенничество. Впрочемъ—это обычная славянофильская пѣсня, гораздо громче и не разъ пропѣтая К. Аксаковымъ. На страницахъ „Москвитянина“ разыгрывались политическія стычки славянъ съ западниками. „Москвитянинъ“ по пятамъ преслѣдовалъ „Отечественныя Записки“ и „Современника“; ему отвѣчали насмѣшливо и полупрезрительно. Онъ не унывалъ и снова начиналъ свою старую пѣсню о томъ, что у насъ есть собственная культура, есть собственныя преданія, которыя выше западныхъ. Есть ли они? Вотъ *основной* вопросъ полемики—его развѣтвленія неинтересны и малопоучительны. Обѣ стороны находились въ ужасно непріятномъ положеніи: имъ нельзя было договориться до конца, нельзя было затронуть самыхъ насущныхъ вопросовъ, но на сторонѣ за-

---

*) Прекратился совсѣмъ „Московскій Сборникъ“ на 3-мъ выпускѣ.

падниковъ было вліяніе, сочувствіе публики, были такіе извительные таланты, какъ Герценъ и Бѣлинскій, такія молодыя научныя силы, какъ Грановскій и Кавелинъ. Бѣлинскій, какъ всегда, былъ непримиримъ и неистовствовалъ. Послѣ схватки Кавелина съ Самаринымъ онъ рѣзко писалъ послѣднему о славянофилахъ вообще: „Церемониться съ славянофилами нечего. Я не знаю Кирѣевскихъ, но, судя по разсказамъ Грановскаго и Герцена, это—фаталисты, полупомѣшанные, особенно Иванъ, но люди благородные и честные: я хорошо знаю лично К. С. Аксакова; это человѣкъ, въ которомъ благородство—врожденный инстинктъ. За исключеніемъ этихъ людей, всѣ остальные славянофилы, знакомые мнѣ лично или по сочиненіямъ, странные и на все готовые, или пошлецы... Катай ихъ“ *)...

Остановлюсь теперь на кое какихъ подробностяхъ спора.

Особенно раздражало Бѣлинскаго то, что онъ видѣлъ, какъ его друзья-баричи колеблются между обоими лагерями и, нѣтъ-нѣтъ, печатаются въ „Москвитянинѣ“. Онъ сердился, негодовалъ, пока не научился наконецъ пожимать плечами. Въ этомъ фактѣ какъ нельзя лучше выразилась истинная „закваска и основаніе“ кружка Станкевича. Члены его, отяжелѣвши отъ праздности, все больше и больше склонялись къ незлобію, добродушію и всепримиренію. Примирить западниковъ и славянофиловъ имъ очень хотѣлось, хотя Бѣлинскій и предупреждалъ ихъ, какая это смѣшная, безполезная задача. Къ этому времени относится одинъ эпизодъ, очень характерный, разсказъ о которомъ сразу выяснитъ намъ отношеніе обѣихъ партій.

„Въ концѣ ноября 1843 г., Грановскій открылъ публичный курсъ объ исторіи среднихъ вѣковъ, окончившійся въ апрѣлѣ слѣдующаго года. Лекціи имѣли необычайный успѣхъ. Чаадаевъ назвалъ эти лекціи „событіемъ“, и справедливо, потому что это было первымъ подобнаго рода испытаніемъ умственныхъ интересовъ публики: находили, что въ Москвѣ никогда ничего подобнаго не было. Успѣхъ былъ таковъ, что сами славянофилы его признали, какъ ни мало сочувствовали они характеру и содержанію лекцій. Талантъ Грановскаго, искреннее убѣжденіе, которое слышалось въ каждомъ его словѣ, побѣдило всѣ препятствія. „Лекціи Грановскаго,—сказалъ Чаадаевъ, выходя съ третьяго или четвертаго чтенія изъ аудиторія, биткомъ набитой дамами и всѣмъ московскимъ свѣтскимъ и интеллигентнымъ обществомъ,—имѣютъ историческое общество“. Его рѣчь была строга, чрезвычайно серьезна, исполнена силы, смѣлости и поэзіи, которыя мощью потрясали слушателей, будили ихъ. Смѣлость его сходила ему съ рукъ,—онъ читалъ о средневѣковой исторіи Франціи и Англіи,—не отъ уступокъ, а отъ кротости выраженій, которая была ему такъ естественна, отъ отсутствія сентенцій во вкусѣ

---

*) Позже Бѣлинскій призналъ здоровое зерно слафянофильской доктрины, но, конечно, попрежнему отрицательно продолжалъ относиться къ ихъ историческимъ толкованіямъ.

французскихъ авторовъ, ставящихъ огромныя точки надъ крошечными *i*. Излагая событія, художественно группируя ихъ, онъ говорилъ ими, такъ что мысль, не высказанная имъ, но совершенно ясная, представлялась тѣмъ болѣе извѣстной слушателю, что она казалась его собственной мыслью.

„Главный характеръ чтеній Грановскаго: чрезвычайно развитая человѣчность, сочувствіе, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствіе, готовое на все отозваться, любовь широкая и многообъемлющая, любовь къ возникающему, которое онъ радостно привѣтствуетъ, и любовь къ умирающему, которое онъ хоронитъ со слезами. Нигдѣ, ничему не вырвалось слово ненависти въ его чтеніяхъ, онъ проходилъ мимо гробовъ, вскрывалъ ихъ, — но не оскорблялъ усопшихъ. Дерзкая мысль поправлять царственное теченіе жизни человѣчества— далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ вездѣ покорялся объективному значенію событій и стремился только раскрыть смыслъ ихъ. Мнѣ кажется, что именно этотъ характеръ преподаванія возбудилъ такое участіе общества къ чтеніямъ Грановскаго. Умѣть во всѣ вѣка, у всѣхъ народовъ, во всѣхъ проявленіяхъ найти съ любовью родное, человѣческое, не отказаться отъ братій, въ какомъ бы они рубищѣ ни были, въ какомъ бы неразумномъ возрастѣ мы ихъ ни застали, видѣть, сквозь туманныя испаренія временнаго, просвѣчиваніе вѣчнаго начала, т. е. вѣчной цѣли--великое дѣло для историка“. Отсутствіе ненависти къ Западу и національнаго самохвальства, вмѣстѣ съ искренней, горячей любовью къ наукѣ, знанію, мысли—вотъ что одушевляло и самого профессора и его блестящую аудиторію. Грановскаго обвиняли въ пристрастіи къ Западу, онъ отвѣчалъ на это: „я явился читать часть его исторіи и не вижу, почему долженъ читать ее съ ненавистью. Западъ кровавымъ потомъ выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нѣтъ права не любить ея“.

„Между тѣмъ продолженіе лекцій Грановскаго, имѣвшее въ публикѣ прежній успѣхъ, начало производить въ противномъ лагерѣ совсѣмъ иное дѣйствіе, которое наконецъ могло стать неблагополучнымъ. „Славяне“, какъ называли тогда „Москвитянъ“ и славянофиловъ, быть можетъ, раздраженные и новыми нападеніями изъ западнаго лагеря, подняли говоръ о лекціяхъ Грановскаго,—негодовали, что читая о среднихъ вѣкахъ въ Европѣ, онъ не говоритъ о Руси, о православіи, слѣдуетъ западной наукѣ, мало говоритъ о христіанствѣ. Возраженія и обвиненія были нелѣпы, но имѣли свое дѣйствіе. Второй отчетъ Герцена о лекціяхъ уже не былъ разрѣшенъ, университетское начальство стало думать о мѣрахъ противъ распространенія нѣмецкой философіи,—митрополитъ московскій поручилъ обличеніе Гегеля извѣстному профессору московской академіи Голубинскому...

„При такомъ положеніи дѣлъ невольно возникалъ вопросъ,—„въ чью-же руку играютъ московскіе друзья и пріятели, мѣшаясь съ славянофилами и „Москвитяниномъ?“ Бѣлинскій прекрасно понималъ, сердился и больше всего боялся, какъ бы и Герцена не засосало это московское болото. Въ маѣ 44 г. онъ написалъ въ Москву цѣлое длинное посланіе. „Я жидъ по натурѣ,--говорилось тамъ между прочимъ—и съ

филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ „Москвитянинѣ". Нѣтъ, и не буду читать, скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія". Предположенія Бѣлинскаго о непрочности мира съ славянофилами оправдались уже скоро. Къ осени 44 г. отношенія московскихъ его друзей къ славянофильскому кружку, который они такъ защищали отъ Бѣлинскаго, стали портиться, друзья приходили къ заключенію, что не можетъ быть мира съ людьми, которые такъ расходятся съ нимъ въ понятіяхъ, открылась наконецъ явная война. Грановскій, въ то время наиболѣе видное лицо „западной" партіи въ Москвѣ,—сдѣлался предметомъ самыхъ непріязненныхъ нападеній съ „славянской" стороны въ университетѣ, въ печати и за угломъ, въ стихотвореніяхъ, ходившимъ по рукамъ. Въ ноябрѣ 1844 г., въ университетѣ хотѣли не принять представленной имъ магистерской диссертаціи и съ позоромъ возвратить ему ее, какъ неудовлетворительную. Это не удалось врагамъ Грановскаго, но раздражить его они, конечно, успѣли. Грановскій теперь самъ отказался отъ участія въ „Москвитянинѣ". Славянофильскій кружокъ обнаруживалъ тотъ мрачный фанатизмъ, который друзья имѣли и прежде случаи видѣть. Хомяковъ, нѣсколько позднѣе, напалъ на Грановскаго въ печати. Языковъ, извѣстный поэтъ, „славянофилъ по родству", истощивши свою музу на мниморазгульной поэзіи, напалъ на „западную" партію въ стихотвореніяхъ, которыя можно было бы назвать памфлетами, если бъ современники не считали ихъ за „юридическія бумаги", какъ тогда говорилось. Онъ началъ это въ декабрѣ 1844 г., кажется, стихотвореніемъ „Къ не-нашимъ", направленнымъ противъ Грановскаго, Герцена и Чаадаева, которыхъ онъ обвинялъ не меньше, какъ въ измѣнѣ отечеству, затѣмъ послѣдовали еще два такихъ же: изъ нихъ одно было посвящено спеціально обличенію Чаадаева, другое было посланіе къ К. Аксакову, гдѣ за изъявленіями дружбы и славянофильскаго союза слѣдовали упреки Аксакову за то, что онъ подаетъ руку людямъ, которые „нашу Русь ненавидятъ всей душой и передались лукавой нѣметчинѣ", и наконецъ поощреніе на борьбу съ этими врагами отечества.

„Раздоръ продолжался.

„Въ февралѣ 1845 г. Грановскій защищалъ свою диссертацію; факультетъ, въ которомъ были непримиримые враги его изъ славянъ, наконецъ долженъ былъ принять ее. Диспутъ снова раздражилъ партіи. Грановскому сдѣлана была овація, его противникамъ шикали. Въ новомъ „Москвитянинѣ" дѣло не ладилось между самими „славянами". Бѣлинскій смѣялся или сердился на воображаемыя примиренія, на торжественные обѣды и лобызанія съ своими противниками, и теперь московскимъ друзьямъ пришлось согласиться съ нимъ. Московскіе друзья разошлись наконецъ съ тѣми людьми „славянскаго" кружка, которые внушали имъ наиболѣе сочувствія по характеру и таланту".

Я не могъ избѣжать нѣкоторыхъ, быть можетъ, даже излишнихъ подробностей, но дѣло въ томъ, что споръ этотъ представляется мнѣ не только

важнымъ, но и основымъ для исторіи русской литературы. Все начинается съ него и все къ нему возвращается. Въ совершенно ребяческой формѣ является онъ передъ нами у Шишкова съ его защитой высокаго, средняго и низкаго стилей, съ его ненавистью къ иностраннымъ словамъ. Славянофилы и западники подняли его до философской высоты, до вопроса о самосознаніи русскаго общества. И вы ясно видите, какъ этотъ споръ растетъ и ширится, принимая въ себя все болѣе важные вопросы. Рѣчь идетъ сначала о томъ, чѣмъ была Россія во времена Алексѣя Михайловича и переходитъ въ другую—чѣмъ она должна быть, какія ея отношенія къ западной жизни вообще, къ наукѣ и мысли Запада, къ его политическимъ формамъ и укладамъ? Есть у насъ русскихъ такіе устои, опираясь на которые мы можемъ сами самобытно рѣшить роковые вопросы общественной жизни, передъ которыми самъ Западъ остановился съ недоумѣніемъ? Или такихъ устоевъ нѣтъ, и нашъ путь уже проторенная дорога? Что значатъ наши коренныя добродѣтели, которыхъ по славянофильскому списку 12: смиреніе, смиреномудріе, религіозность, радушіе, общинность, отсутствіе самоувѣренности, преклоненіе передъ тѣмъ, что получило освященіе вѣковъ, доброта, способность довольствоваться малымъ, презрѣніе къ благамъ жизни, безсеребренность и удаль — остатокъ ли это архаическихъ временъ или камни краеугольные новой жизни? Истинна ли цѣнность, какую придаютъ западные люди писаному закону, или эта цѣнность закона и договора вообще—преувеличена, и вся суть заключается въ любви одного къ другому, въ довѣріи младшаго къ старшему, въ „опекѣ“ слабыхъ сильными? Даетъ ли человѣку какое-нибудь нравственное удовлетвореніе исполненная, писанная правда, или есть нѣчто высшее этой писанной формальной правды—правда сердца, стихійно въ насъ заложенная? И какой правдѣ долженъ слѣдовать человѣкъ? Славянофилы высказались за правду сердца (вспомнимъ о презрѣніи Аксакова къ договору), правду старыхъ книгъ, любви, патріархальныхъ любовныхъ отношеній. Въ этомъ ихъ главная „историческая“ ошибка. Еще дальше на почвѣ того-же спора, и мы достигаемъ вершинъ философскихъ вопросовъ человѣчества—вопроса о роли личности въ исторіи. Потому-то очевидно, что славянофилы и западники должны были рѣшать этотъ вопросъ разно.

Первые съ своимъ смиреномудріемъ, своимъ признаніемъ высокаго религіознаго начала, управляющаго жизнью людей, не могли довѣрить отдѣльному, самонадѣянному разуму, который для нихъ съ любой точки зрѣнія былъ недостаточенъ; они говорили о вѣрѣ, какъ Хомяковъ, объ общинномъ мышленіи, какъ Аксаковъ, объ откровеніи, какъ Кирѣевскій. Западники, на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ, безусловно полагались на науку и въ ней, т. е. въ *маломъ* разумѣ человѣка видѣли все спасеніе.

Вотъ „антиномія“ нашей общественной мысли, наполняющія всю исторію нашей литературы...

Западники.

Говорятъ, что въ ученіи славянофиловъ есть нѣчто отъ Востока взятое, оттуда идущее и близкое его духу. При этомъ указываютъ на религіозный элементъ ихъ міросозерцанія, на отрицаніе личнаго начала и признаніе, какъ въ жизни отдѣльныхъ людей, такъ и цѣлыхъ народовъ какой-то даже судьбы, все опредѣляющей и властно требующей отъ всѣхъ исполненія своихъ приказаній. Къ этому прибавляютъ еще, что въ ученіи славянофиловъ есть лѣнивые, квіэтическіе элементы, въ концѣ концовъ все сводящіе къ примиренію. Есть, словомъ, то, что заставило поэта сказать:

...Все, что здѣсь доступно оку,
Спитъ, покой цѣня.

И, конечно, славянофилы, несмотря на громы и молніи слова, порою вырывающіяся у нихъ, были люди примиренные и даже въ концѣ концовъ сознательно примирившіеся. Всѣ ихъ начала, какъ „масса“ и „массовой разумъ“, какъ „религія“ и притомъ религія догматическая, какъ презрѣніе къ отдѣльному разуму и боязнь раціонализма—все это должно было возстановлять ихъ противъ постоянныхъ исканій, недовольства и томительной неудовлетворенности отдѣльныхъ личностей и заставить ихъ воскликнуть (какъ впослѣдствіи Достоевскаго): смирись гордый человѣкъ, спасеніе—не въ твоихъ исканіяхъ, не въ гордомъ возстаніи противъ преданій и устоевъ старины, а въ чистой догмѣ православія (Хомяковъ), въ умиленіи передъ иконой (Кирѣевскій), въ отреченіи отъ себя, отъ личнаго въ себѣ во имя общаго, цѣлаго и стройнаго—общенародныхъ основъ жизни.

Западъ сталъ поэтому, чуть ли не пугаломъ въ ихъ глазахъ, потому что оттуда-то шло это неудержимое возстаніе личности противъ сложившихся и упроченныхъ формъ жизни, этотъ ея байронизмъ, эти ея безпокойныя исканія. Но тутъ-то и больше всего понадобилась поправка западниковъ, даже страстная и невоздержанная зачастую поправка ихъ, какъ у Герцена и Бѣлинскаго, вся страстность ихъ отрицанія восхваляемыхъ и превозносимыхъ основъ истинно русской жизни, какъ у Чаадаева, все глубоко заложенное въ нихъ недовольство, не соглашавшееся ни на какое примиреніе. Тутъ надо было вспомнить и громко сказать, чѣмъ былъ всегда для насъ Западъ, чѣмъ его наука выше, чѣмъ его личность, несмотря на свое постоянное броженіе, больше и даже красивѣе въ своемъ гордомъ

исканіи хотя бы самого Парамова Юродиваго или дурака Левки или вообще всей огромной толпы „божьихъ людей“.

Чѣмъ былъ для насъ Западъ? Порою—единственнымъ пристанищемъ, постоянно—„учителемъ“, щедро дѣлившимся всѣми своими завоеваніями въ области мысли и знанія, и ужъ, конечно, постояннымъ, суровымъ напоминаніемъ, что смыслъ человѣческаго существа не въ обладаніи и пользованіи, а въ вѣчномъ стремленіи и исканіи чего-то таинственнаго и все еще не дающагося человѣку, но страстно манящаго его къ себѣ. Даже такую элементарную и простую вещь, какъ „надо учиться и работать“, все же сказала намъ Европа, ея культура, ея дисциплина. И западники всегда помнили это громадное различіе между недвижимой, сожженой солнцемъ *божьей* страной и суровыми требованіями все усложняющейся жизни, гдѣ

...Желѣзная лопата
Въ каменную грудь.
Добывая мѣдь и злато,
Врѣжетъ страшный путь.

Человѣкъ—одинъ изъ великихъ ищущихъ русскихъ людей, но слишкомъ нервный и впечатлительный и любившій часто и неосторожно повторять, что Западъ гніетъ, Западъ сгнилъ, Западъ умеръ, все же лучше другихъ сумѣлъ опредѣлить для насъ, русскихъ, значеніе этого гніющаго, сгнившаго и умершаго уже Запада. Этимъ человѣкомъ былъ Достоевскій.

„У насъ русскихъ—говоритъ онъ—двѣ *родины*—Россія и Европа.—Европа—но вѣдь это страшная и святая вещь! О, знаете ли вы господа, какъ намъ дорога, намъ мечтателямъ славянофиламъ, эта самая Европа, эта страна святыхъ чудесъ!.. знаете ли вы, до какихъ слезъ и сжатій сердца мучаютъ и волнуютъ насъ судьбы этой дорогой и *родной* намъ страны, какъ пугаютъ насъ эти мрачныя тучи, все болѣе и болѣе заволакивающія ея небосклонъ? Русскому Европа такъ же драгоцѣнна, какъ Россія. О, болѣе! Нельзя болѣе любить Россію, чѣмъ люблю ее я, но я не упрекалъ себя за то, что Венеція, Римъ, Парижъ, сокровища ихъ наукъ, вся исторія ихъ мнѣ милѣе, чѣмъ Россія. О, русскимъ дороги эти старые чужіе камни, эти чудеса стараго божьяго міра, эти осколки святыхъ чудесъ; и даже это намъ дороже, чѣмъ имъ самимъ...—Я хочу въ Европу съѣздить, Алеша—говоритъ Иванъ Карамазовъ—и вѣдь я знаю, что поѣду лишь на кладбище, но на самое дорогое, на самое дорогое кладбище—вотъ что! Дорогіе тамъ лежатъ покойники, каждый камень надъ ними гласитъ о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вѣрѣ въ свой подвигъ, свою истину, въ свою борьбу, въ свою науку, что я, знаю заранѣе, паду на землю и буду цѣловать эти камни и плакать надъ ними,—въ то же время убѣжденный всѣмъ сердцемъ моимъ, что все это давно уже кладбище и никакъ не болѣе!“

Конечно, больше чѣмъ кладбище, но все же удивительно вѣрна мысль о *двухъ родинахъ* русскаго человѣка и о *святыхъ* чудесахъ Европы.

И вотъ это не сразу даже поняли, а почувствовали западники. И вы слышите ту же мысль, когда *Грановскій* говоритъ вамъ: „Западъ *кровавымъ потомъ* выработалъ свою исторію, плоды ея достались намъ почти даромъ, нѣтъ *права* не любить ея“,—когда *Чаадаевъ* указываетъ на идеи долга, закона, порядка, какъ необходимыя условія міра общественнаго,—когда *Герценъ*, скатившись въ глубину невѣрія и отрицанія, все же и оттуда проповѣдуетъ смиреніе передъ наукой и истиной,—когда *Бѣлинскій* пишетъ свое грозное письмо Гоголю или умирающій ходитъ любоваться на строющійся вокзалъ желѣзной дороги, какъ на даръ Запада,—когда молодые ученые, какъ *Кавелинъ*, начинаютъ въ прошломъ искать *юридическаго* обоснованія русскаго существованія,—когда *Гончаровъ* твердитъ вамъ свое аккуратное „надо работать“—или когда *Тургеневъ* боязливо отстраняется отъ мистики и вообще отъ вѣры въ широкую русскую натуру—и т. д., и т. д.—во всемъ этомъ голосъ Европы. Но онъ еще слышнѣе тамъ, гдѣ идетъ споръ о смыслѣ человѣческаго существованія, потому что Востокъ, славяне, барская обломовщина говоритъ о покоѣ, о забвеніи, а Западъ объ исканіи и о вѣчномъ стремленіи, хотя бы и неудовлетворенномъ.

Страстность западническаго отрицанія, сводившая на нѣтъ всю Россію въ ея прошломъ и настоящемъ, такъ же мало обязательна для кого-нибудь, какъ и мысли о гниломъ Западѣ или славянофильское утвержденіе, что мы призваны обновить міръ—но все это лишь крайности спора крайности полемическаго увлеченія. Сущность же глубже, серьезнѣе. *Она въ противорѣчіи личности и массы, личнаго и общественнаго развитія „съ полнымъ гордаго довѣрія покоемъ“, стремленія и пользованія, старо-барской Россіи и того новаго общественнаго слоя разночиннаго,—который въ сороковыхъ годахъ сталъ выходить изъ-подъ барства и впервые въ общихъ крупныхъ чертахъ сознаръ себя въ Бѣлинскомъ*,—мистики, доходившей до поклоненія передъ полупудовыми желѣзными колпаками юродивыхъ, и раціонализма, утверждавшаго, что все спасеніе въ наукѣ, знаніи... Тутъ столько противорѣчій, что и теперь, черезъ 60 лѣтъ работы, они не рѣшены. Но на той и другой сторонѣ—наше родное русское, и вотъ, переверните нѣсколько страницъ исторіи и вы увидите уже попытку примиренія обоихъ началъ, увидите, какъ раціонализмъ западничества, его разсудочность становятся въ ученіи народниковъ *мистическими*!

Девизомъ западниковъ было: мы ученики Европы и должны еще больше, еще самоотверженнѣе учиться у нея и первое, что намъ нужно—это развитіе въ себѣ чувства *законности* и собственнаго достоинства.

Западники начали, конечно, съ полнаго отрицанія настоящаго и само-

бытнаго будущаго Россіи и здѣсь (хронологически) первая роль принадлежитъ П. Я. Чаадаеву.

П. Я. Чаадаевъ (1793—1856). Біографію Чаадаева можно разсказать въ 10-ти строкахъ. Вообще замѣчательно, что у русскихъ людей біографіи нѣтъ, что совершенно естественно при полной скудости нашей общественной жизни. Знатный и богатый баринъ, Чаадаевъ, сначала блестящій гвардейскій офицеръ съ великолѣпной карьерой впереди, послѣ одного рѣзкаго замѣчанія Александра I, вышелъ въ отставку и сталъ разносить свое недовольство по гостепріимнымъ московскимъ гостинымъ, гдѣ и скороталъ свой вѣкъ.

Въ 1836 г. онъ напечаталъ свое „Письмо" въ Надеждинскомъ „Телескопѣ", за что былъ объявленъ сумасшедшимъ и еженедѣльно, до помилованія, подвергался освидѣтельствованію полицеймейстера. Онъ писалъ и еще, кромѣ напечатаннаго въ „Телескопѣ", но письмо" создало ему славу, какъ „Горе отъ ума" Грибоѣдову. Находился въ дружбѣ со многими славными современниками (Пушкинымъ, Герценомъ и т. д.) и велъ переписку съ Шеллингомъ.

Однако глубокую *русскую* драму нашелъ Герценъ въ этой въ сущности пустой и безцвѣтной жизни талантливаго, а можетъ быть, и геніальнаго русскаго человѣка.

„Въ мірѣ не было ничего противоположнѣе славянофиламъ, какъ безнадежный взглядъ Чаадаева, которымъ онъ мстилъ русской жизни,—какъ его обдуманное, выстраданное проклятіе ей, которымъ онъ замыкалъ свое печальное существованіе и существованіе цѣлаго періода русской исторіи. Онъ долженъ былъ возбудить въ нихъ сильную оппозицію, онъ *горько* и *уныло-зло* оскорблялъ все дорогое имъ, начиная съ Москвы... Въ Москвѣ, говаривалъ Чаадаевъ, каждаго иностранца водятъ смотрѣть большую пушку и большой колоколъ. Пушку изъ которой стрѣлять нельзя, и колоколъ, который свалился, прежде чѣмъ звонилъ. Удивительный городъ, въ которомъ достопримѣчательности отличаются нелѣпостью; или, можетъ быть, этотъ большой колоколъ безъ языка—гіероглифъ, выражающій эту огромную нѣмую страну, которую заселяетъ племя, назвавшее себя *славянами*, какъ будто удивляясь, что имѣетъ слово человѣческое... Чаадаевъ и славяне равно стояли передъ неразгаданнымъ сфинксомъ русской жизни: они равно спрашивали: Что же изъ этого будетъ? Такъ жить невозможно, тягость и нелѣпость настоящаго очевидны, невыносимы—гдѣ же выходъ?—Его нѣтъ, отвѣчалъ человѣкъ петровскаго періода, исключительно западной цивилизаціи, вѣрившій при Александрѣ I въ европейскую будущность Россіи. Онъ *печально* указывалъ, къ чему привели безплодныя

усилія цѣлаго вѣка. „Исторія другихъ народовъ—повѣсть ихъ освобожденія. Русская исторія—развитіе крѣпостного состоянія“.

„Переворотъ Петра сдѣлалъ изъ насъ худшее, что можно сдѣлать изъ людей,—просвѣщенныхъ рабовъ. Довольно мучились мы въ этомъ тяжеломъ смутномъ нравственномъ состояніи, непонятые народомъ—пора отдохнуть, пора свести миръ въ свою душу, прислониться къ чему-нибудь... Это почти значило—пора умереть, и Чаадаевъ думалъ найти обѣщанный всѣмъ страждущимъ и обремененнымъ покой въ католической церкви“.

Свои горькія и уныло-злыя мысли Чаадаевъ и изложилъ въ „Философическомъ письмѣ“. Вотъ отрывки, которые дадутъ ясное представленіе о немъ:

„Посмотрите вокругъ себя. Все, какъ будто, на ходу. Мы всѣ, какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... нѣтъ ничего, что бы привязало, что бы пробуждало ваши сочувствія расположенія, нѣтъ ничего постояннаго, непремѣннаго; все проходитъ все протекаетъ, не оставляя слѣдовъ ни на внѣшности, ни на васъ самихъ. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ, какъ чужіе, въ городахъ, какъ будто, кочуемъ и даже больше, чѣмъ племена блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаннѣе къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ своимъ городамъ... У всѣхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной дѣятельности, періоды юношескаго развитія; когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнѣйшія идеи, въ нихъ источникъ и основаніе дальнѣйшей ихъ исторіи... Мы же не имѣемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унизительное владычество татаръ-завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донынѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности: мы совсѣмъ не имѣли возраста этой безмѣрной дѣятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвѣтствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвѣтнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка, нами прожитые, все пространство земли, нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ прошедшее сильно, живо, картинно. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, что у другихъ сдѣлалось инстинктомъ, привычкою. Наши воспоминанія не дальше вчерашняго дня, мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ“.

У насъ нѣтъ ничего: „ни чарующихъ воспоминаній“, ни „сильныхъ, наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ“, и мы живемъ въ „тупомъ равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ безъ прошедшаго, безъ будущаго“... Мы—невольные бродяги вольной и широкой исторической дороги, и осмысленная жизнь Запада—не для насъ. Тамъ

этотъ смыслъ дается прежде всего идеями. „Хотите ли — спрашиваетъ Чаадаевъ—знать, что это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онѣ—необходимыя начала міра общественнаго“. Чѣмъ же мы замѣняемъ все это? Ничѣмъ, и происходитъ страшное, грустное явленіе: „даже лучшія идеи отъ недостатка связи и послѣдовательности, какъ безплотные призраки, цѣпенѣютъ въ нашемъ мозгу. Человѣкъ теряется, не находя средства притти въ соотношеніе и связать себя съ тѣмъ, что ему предшествуетъ, онъ лишается всякой увѣренности, всякой твердости *потому, что имъ не руководитъ чувство общаго существованія*, и онъ заблуждается въ мірѣ. Такія *потерявшіяся существа* встрѣчаются во всѣхъ странахъ. Но у насъ это *черта общая*“.

Неужели же все это только злоба, только раздраженіе? Прослушайте въ такомъ случаѣ еще одно небольшое мѣсто изъ „Апологіи сумасшедшаго“:

„Повѣрьте—пишетъ Чаадаевъ,—я больше, чѣмъ кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умѣю цѣнить высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсѣмъ по тому способу какъ то, чьи крики разрушили мое существованіе. Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что время слѣпыхъ амуровъ прошло, что теперь, прежде всего, мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня нѣтъ этого блаженнаго патріотизма, этого лѣниваго патріотизма, который устраивается такъ, чтобы видѣть все въ лучшую сторону, который засыпаетъ за своими иллюзіями, и которымъ, къ сожалѣнію, въ наше время страдаетъ много хорошихъ умовъ“...

Въ своемъ „Письмѣ“ Чаадаевъ выразилъ крайнюю степень отрицательнаго отношенія къ Россіи и русской жизни съ западнической точки зрѣнія. Онъ не видитъ ничего хорошаго не только въ прошломъ и настоящемъ, но и въ будущемъ. Это сатира Грибоѣдова и Гоголя, переведенная на публицистическій языкъ, и на знаменитый вопросъ поставленный впослѣдствіи въ „Мертвыхъ душахъ“—„куда мчится русская тройка?“, Чаадаевъ заранѣе отвѣчалъ: „никуда“. Но что хорошаго видѣлъ онъ на Западѣ? Его отвѣтъ на вопросъ, какъ и большинство отвѣтовъ русскихъ людей того времени, мысль которыхъ только начинала работать, не отличается опредѣленностью. Онъ говоритъ объ идеяхъ закона, долга, правды, порядка, но нигдѣ и никогда точно ихъ не формулируетъ. Его знаменитое „Письмо“ имѣетъ лишь критическую, отрицательную цѣнность! Оно знаменовало собою то, что *русская идея*, такъ величественно и такъ самодовольно истолкованная

книжникали XVI-го вѣка, возродившаяся, какъ идея офиціальной народности при императорѣ Николаѣ, вступила въ фазисъ своего чистаго отрицанія. Оттого-то Чаадаевъ и прислонился къ католицизму, нисколько не заботясь о томъ, что католицизмъ его времени меньше всего воплощаетъ въ себѣ идеи долга, закона, правды, порядка, и что часы исторіи показывали уже не IX-ый, а XIX вѣкъ. Но все же вы чувствуете въ Чаадаевѣ очень дѣятельное броженіе мысли, напряженную и потому уже одностороннюю критику, стараніе добраться до глубины дѣла, и легко представить себѣ, какое ошеломляющее впечатлѣніе должно было это „Письмо“ произвести на современниковъ. Вопросъ былъ поставленъ рѣзко: есть ли у Руси какія нибудь основы для самостоятельнаго будущаго? Или же намъ суждена одна ученическая роль вплоть до полнаго сліянія съ культурой Запада? Что въ концѣ концовъ можетъ дать намъ Западъ?

Идею личнаго развитія, и общественнаго совершенствованія—отвѣчали Бѣлинскій и Герценъ, беря критику Чаадаева исходнымъ своимъ пунктомъ.

В. Г. Бѣлинскій (1810—1848). Сынъ бѣднаго уѣзднаго врача. онъ независимо, впрочемъ, отъ семьи получилъ все же нѣкоторое скудное образованіе, побывалъ даже въ университетѣ, но былъ исключенъ оттуда, подъ предлогомъ малоуспѣшности, за написанную имъ трагедію „Дмитрій Калининъ“, въ которой ярко и рѣзко-негодующе выставлялъ ужасы крѣпостного права. Потомъ онъ сталъ литераторомъ, пребывалъ въ этомъ унизительномъ для того времени званіи всю жизнь до послѣдняго вздоха, теперь онъ *легенда*—самое чистое, свѣтлое и великое имя русской литературы.

Уже съ выходомъ изъ гимназіи начинается дѣйствительно самостоятельная жизнь Бѣлинскаго, полная невзгодъ и тяжелыхъ испытаній, и тутъ же завязывается узелъ его жизненной драмы, опредѣлить смыслъ и значеніе которой—задача не легкая. Мы видимъ, какъ Бѣлинскій, полагаясь исключительно на свои силы и едва ли опредѣленныя ожиданія чего-то лучшаго, переѣзжаетъ въ Москву, бросивъ почти навсегда родныя палестины, гдѣ во всякомъ случаѣ ему съ матеріальной стороны живется легче, благодаря родственнымъ и инымъ связямъ. Онъ оказывается въ огромномъ городѣ одинъ, безъ друзей, безъ знакомыхъ, съ запасомъ нѣсколькихъ несчастныхъ грошей въ карманѣ—настоящій Робинзонъ Крузоэ на необитаемомъ островѣ. Все надо сдѣлать самому, все надо добыть своими руками, начиная съ пищи и кончая положеніемъ въ обществѣ. А у него нѣтъ ничего, даже необходимыхъ свѣдѣній, даже ничтожной практической опытности. Впрочемъ, надо думать, что онъ не особенно боится матеріальныхъ лишеній: онъ уже привыкъ къ нимъ, и его потребности доведены до минимума. Желудокъ

рѣдко безпокоитъ его и быстро умолкаетъ при малѣйшемъ къ нему вниманіи. По части одежды Бѣлинскій совсѣмъ уже не стѣсняется, также и по части помѣщенія. Но ему нуженъ театръ, книги, наука... да мало ли что вообще нужно живому человѣку съ горячимъ, нѣсколько фантастическимъ даже, воображеніемъ. И предстоитъ борьба,—тяжелая, огромная, полная невзгоды и разочарованія, предстоятъ безконечные сѣрые дни безплодныхъ ожиданій, злобныхъ проклятій и скрежета зубовнаго. Только духъ крѣпнетъ въ этой борьбѣ,—тѣло и самая жизнь рушатся...

Узелъ жизненной драмы Бѣлинскаго, между прочимъ, и въ его нищетѣ,—нищетѣ, доходившей подчасъ до того, что онъ цѣлыми недѣлями сидѣлъ дома за неимѣніемъ необходимѣйшихъ принадлежностей носильнаго платья. Крѣпко схватила его нищета своими костистыми руками и въ сущности не выпускала изъ нихъ до самой смерти и дальше: умирая, онъ оставилъ нищую семью. Эта нищета постоянно ставила передъ нимъ вопросъ, на что же онъ имѣетъ право и имѣетъ ли онъ вообще право на что-нибудь въ жизненномъ пиру? Только этотъ вопросъ и интересовалъ его. Отвѣты на него въ зависимости отъ обстоятельствъ жизни, и постоянно получались самые разнообразные.

Бѣлинскій былъ пролетаріемъ, *слѣдовательно*, онъ не имѣлъ права ни на что: далѣе онъ былъ недоучившимся студентомъ, — *слѣдовательно* — ни на что; наконецъ онъ былъ литераторомъ, а не „служивымъ“, *слѣдовательно* — ни на что. Словомъ, куда ни кинь все клинъ. Извнѣ шли впечатлѣнія самыя неблагопріятныя. Жизнь ежеминутно твердила человѣку, что ты—нуль, и какъ таковой и можешь пропасть, не требуя даже, чтобы при этомъ, для тебя трагическомъ обстоятельствѣ, шевельнулся листъ на деревѣ. Бѣлинскій, далѣе, сошелся съ кружкомъ интеллигентныхъ баричей, Станкевича и à la Станкевичъ. Что грѣха таить — къ нему тамъ относились покровительственно. Необразованный, дикій, хотя и геніальный, жадно искавшій истины и готовый признать за истину всякое самоувѣренно высказанное слово, онъ игралъ самую жалкую роль и не могъ ничего возразить, когда „друзья“ на одномъ изъ своихъ совѣщаній съ шампанскимъ и рейнвейномъ постановили потребовать, чтобы Бѣлинскій больше ничего не писалъ, такъ какъ у него нѣтъ „эстетическаго вкуса“. Дѣло въ томъ, что „друзья“, обезпеченные наслѣдствомъ, не понимали, какъ это возможно пускать въ толпу высокія мысли и получать за это гривенники. А Бѣлинскій, которому ѣсть было нечего и который самъ былъ сыномъ этой толпы, все это великолѣпно понималъ, только не могъ, по робости, ничего возразить противъ дикихъ репликъ гг. столбовыхъ и потомственныхъ. Да и гдѣ ему было, несчастному, отовсюду прогнанному человѣку, возражать, когда онъ чувствовалъ себя еже-

минутно идущимъ по краю пропасти. Онъ молчалъ или кланялся изъ уваженія къ той высокой премудрости, которая яко бы таилась въ прочтенныхъ его пріятелями брошюркахъ о Шеллингѣ и Гегелѣ.

Подъ ихъ вліяніемъ онъ дошелъ до настоящаго индѣйскаго квіэтизма, и, если хотите, это дѣйствительная психологическая несообразность. И онъ, нищій, брошенный человѣкъ, гордо говорилъ: все существующее разумно; человѣкъ, въ какомъ бы положеніи онъ ни находился, не имѣетъ права протестовать противъ чего бы то ни было; онъ можетъ страдать, кусать себѣ руки отъ боли въ сердцѣ, но все же... существующее—разумно. Дѣйствительно странно. И Бѣлинскій не останавливался передъ самыми крайними выводами изъ этого фантастическаго ученія; онъ презираетъ всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣляетъ его, онъ готовъ не только спорить, но и ссориться со всѣми, возстававшими противъ его оригинальнаго гегеліанства. Разъ дѣло касалось ученія, догмы, истины—для него переставали существовать друзья и знакомые. „Все существующее разумно". Я замѣчу прежде всего, что Бѣлинскій далеко не сразу увлекся этой формулой, что онъ подошелъ къ ней тихими шагами, быть можетъ, даже незамѣтно для самого себя. И путь, который велъ его къ ней, не представлялъ ни угрозъ, ни ужасовъ. Формула подкупала незамѣтно: она проникла въ душу среди страстныхъ разговоровъ объ искусствѣ, въ обстановкѣ суровой борьбы человѣка съ самимъ собою во имя нравственнаго долга и красоты, она выросла изъ обстоятельныхъ рѣчей Станкевича, а потомъ Мих. Бакунина о германской философіи и германской эстетикѣ, она оправдывалась восторженнымъ настроеніемъ духа.

Но, самое главное, знаетъ ли кто-нибудь, почему Бѣлинскій сталъ такимъ горячимъ ея приверженцемъ? Нѣтъ, не знаетъ никто, потому что еще нѣтъ возможности проникнуть въ тайники этой страстной, увлекающейся, почти безумной души нищаго поэта. Кто знаетъ, не искалъ ли онъ въ ней, въ этой всепримиряющей формулѣ утѣшенія отъ бурь и невзгодъ жизни, которыя еще долго не давали ему ни минуты покоя,—искалъ безсознательно, подчиняясь лишь инстинктивному чувству самосохраненія? Не давала ли она ему бодрости и силы? Не оправдывала ли она того ничтожнаго мѣста, которое онъ занималъ во вселенной? Если—разсуждалъ онъ—разумно все существующее, то, значитъ, разумна и моя нищета, и мои муки, и мои неудачи, и мои горести. Ницъ же передъ этой всемогущей, всепроникающей разумностью, потому что иначе мнѣ остается лишь прицѣпить веревку къ первому торчащему изъ стѣны гвоздю.

Вы не вѣрите въ возможность такого рода психологіи, но надо замѣтить, что мы имѣемъ дѣло не съ обыкновеннымъ человѣкомъ, а человѣ-

комъ огромной фантастичности, огромной способности самозабвеннаго увлеченія.

„Бѣлинскій, самая дѣятельная, порывистая, діалектически-страстная натура бойца, проповѣдывалъ тогда, въ 1840 г., индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ нравственнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, чего такъ страшатся люди слабые и несамобытные.

— Знаете ли,—сказалъ я ему однажды, что съ вашей точки зрѣнія вы можете доказать, что и чудовищный произволъ разуменъ и долженъ существовать.

— Безъ всякаго сомнѣнія,—отвѣчалъ Бѣлинскій, и прочелъ мнѣ „Бородино“ Пушкина.

„Это-то,—разсказывалъ Герценъ,—я не могъ вынести и отчаянный бой закипѣлъ между нами“.

Гегеліанской мудрости своей онъ предавался до самозабвенія. Въ то время съ нимъ встрѣтился Герценъ.

Разныя жизненныя обстоятельства (между прочимъ переѣздъ въ Петербургъ), слѣдить за которыми возможно лишь въ отдѣльной монографіи, заставили Бѣлинскаго одуматься и отрезвѣть, и, отрезвѣвши, онъ „опрокинулся со всей язвительностью своей рѣчи, со всей своей неистощимой энергіей на свое прежнее міросозерцаніе“. Литература скоро почувствовала, кто у нея хозяинъ.

„Кто не помнитъ его статей о „Тарантасѣ“, о „Парашѣ“ Тургенева, о Державинѣ, о Мочаловѣ, о Гамлетѣ? Какая вѣрность своимъ началамъ, какая неустрашимая послѣдовательность, ловкость въ плаваніи между цензурными отмелями и какая смѣлость въ нападкахъ на литературную аристократію, на писателей первыхъ трехъ классовъ, на статсъ-секретарей литературы, готовыхъ взять противника не мытьемъ, такъ катаньемъ, не антикритикой—такъ доносомъ“.

„Бѣлинскій стегалъ ихъ безпощадно, терзая мелкое самолюбіе чопорныхъ, ограниченныхъ творцовъ эклогъ, любителей образованія, благотворительности и нѣжности; онъ отдавалъ на посмѣяніе ихъ дорогія, задушевныя мысли, ихъ поэтическія мечтанія, цвѣтущія подъ сѣдинами, ихъ наивность, прикрытую лентой.

„Какъ же они за то его и ненавидѣли.

„Славянофилы, съ своей стороны, начали оффиціально существовать съ войны противъ Бѣлинскаго: онъ ихъ додразнилъ до мурмолокъ и зипуновъ.

„Статьи Бѣлинскаго судорожно ожидались въ Москвѣ и Петербургѣ съ 25-го числа каждаго мѣсяца. Пять разъ хаживали студенты въ кофейныя спрашивать, получены ли „Отечественныя Записки“, тяжелый № рвали изъ рукъ въ руки: „Есть Бѣлинскаго статья?—„Есть“,—и она поглощалась съ лихорадочнымъ сочувствіемъ, со смѣхомъ, со спорами... и трехъ-четырехъ вѣрованій, уваженій какъ не бывало“.

Недаромъ Скобелевъ, комендантъ Петропавловской крѣпости, говорилъ шутя Бѣлинскому, встрѣчаясь на Невскомъ проспектѣ: „Когда же къ намъ? У меня совсѣмъ готовъ тепленькій казематъ, такъ для васъ его и берегу“ (Герценъ).

Нѣтъ ничего отраднѣе и даже,—сказалъ бы я,—болѣе возвышающаго душу, какъ зрѣлище возрожденія человѣка, который послѣ долгихъ, томительныхъ годовъ исканія нашелъ твердую опору для своего духовнаго міра, для своего нравственнаго и умственнаго развитія и, вернувшись къ себѣ, сознавъ истинныя потребности своей натуры и темперамента, является передъ нами какъ бы преображеннымъ. Тоска замѣняется вѣрою, упадокъ духа—бодростью. Это именно и случилось съ Бѣлинскимъ. Что возродило его? Городъ Петербургъ съ дѣловитымъ, холоднымъ складомъ своей жизни? Конечно, нѣтъ. Ни одного петербургскаго принципа жизни Бѣлинскій не облюбовалъ и ни однимъ не увлекся. Онъ до самой своей смерти остался такимъ же идеалистомъ, какимъ былъ раньше въ Москвѣ и еще до того—въ Пензѣ. Правда, самъ онъ не разъ говорилъ, что его „передѣлалъ Питеръ“,—но не надо придавать особеннаго значенія этимъ словамъ. „Питеръ“ никогда никого не возрождалъ и возродить не можетъ по самому существу своему,—вотъ наоборотъ развѣ. Бѣлинскаго, конечно, возродила работа и любовь—первая и единственная въ его жизни раздѣленная любовь къ женщинѣ. Когда мало-по-малу онъ началъ сознавать свою силу и вліяніе, когда онъ увидѣлъ, что съ нимъ считаются, онъ, какъ работникъ по призванію, не могъ не приподнять своей усталой головы, и успѣхъ влилъ значительную бодрость въ его измученное сердце. Да, надо работать, только работать, не думая о себѣ, думая лишь о человѣкѣ, котораго жизнь растаптываетъ такъ презрительно и равнодушно.

„Для меня человѣческая личность выше исторіи, выше общества, выше человѣчества“,—говоритъ онъ въ письмѣ къ Боткину. Эта-то человѣческая личность и была тѣмъ камнемъ краеугольнымъ, на которомъ онъ воздвигъ свое новое міросозерцаніе. Пусть жизнь огромна, велика, могущественна, пусть она считаетъ за собой миріады вѣковъ прошлаго, все же человѣкъ не обязанъ падать передъ ней ницъ, а напротивъ того—онъ долженъ призывать ее къ суду передъ своимъ сознаніемъ, своими нравственными запросами и добиваться во что бы то ни стало своего личнаго и общаго счастья. Теперь передъ нами уже настоящій Бѣлинскій, тотъ, который не выносилъ никогда никакого внѣшняго давленія и почти ребенкомъ понялъ всѣ ужасы крѣпостного права.

„Если несчастенъ я, и несчастны другіе, значитъ—жизнь неразумна“, такъ разсуждаетъ онъ; и инстинктивно онъ всегда такъ думалъ, хотя и не рѣшался высказать подобнаго рода ересь. Когда исходная точка найдена,—

сдѣлать изъ нея выводъ не трудно, и Бѣлинскій съ обычной своей страстностью и неистовствомъ принялся за эту работу. Въ это время онъ уже рѣзко измѣнилъ свой взглядъ на Шиллера. Презрѣнный Шиллеръ сталъ для него великимъ Шиллеромъ. Онъ ненавидѣлъ его прежде за то, что его поэзія исполнена интимными запросами души человѣческой, что въ ней кипитъ страсть, что въ ней слышатся проклятія злу жизни. Но теперь, когда онъ призналъ законность всего этого—Шиллеръ сталъ ему дорогъ и даже дороже олимпійски спокойнаго, величаваго Гёте. По той же причинѣ онъ примирился съ французами и пересталъ находить глупыми и пошлыми ихъ увлеченія идеалами лучшаго общественнаго устройства.

Отсюда уже простъ переходъ къ общественности. Въ послѣднихъ своихъ статьяхъ онъ отдаетъ себя въ жертву обществу и въ служеніи этому обществу видитъ единственное назначеніе человѣка. Его безконечно тяготила мысль, что много голода и холода на землѣ, и онъ готовъ отказаться отъ самого себя, отдать послѣднюю рубашку, чтобы поправить жизнь и сдѣлать ее болѣе соотвѣтствующей достоинству человѣка. Его оскорбляютъ чужія страданія, ему не даютъ покоя чужія слезы, онъ думаетъ, что человѣкъ имѣетъ право на счастье здѣсь на землѣ, и если этого счастья нѣтъ, то виноваты обстоятельства, которыя можно и должно устранить. Наивный, онъ много разъ вздыхаетъ о томъ, что у него нѣтъ какой-нибудь сотни милліоновъ, которая дала бы ему возможность гдѣ-нибудь въ Южной Америкѣ или Австраліи основать колонію и показать людямъ, какъ они могутъ жить почеловѣчески и какъ безмѣрно могутъ быть они счастливы здѣсь на землѣ. Здоровый, свѣжій воздухъ, работа сообразно съ призваніемъ и назначеніемъ, свободная обязательность, любовь безъ страха передъ завтрашнимъ днемъ—все это мерещилось Бѣлинскому, все это вдохновляло его. Въ этомъ своемъ настроеніи онъ твердо вѣритъ, что все зло жизни—не что иное, какъ результатъ невѣжества и глупости; онъ отрицаетъ какіе-бы то ни было законы исторіи, которые будто бы предопредѣлили страданія человѣка. Онъ ненавидитъ эти страданія, онъ вѣритъ, что причина ихъ въ несправедливыхъ общественныхъ условіяхъ, онъ готовъ схватиться съ самою судьбой во имя достоинства личности и гордо, стоя одной ногой въ могилѣ, говоритъ, что человѣкъ имѣетъ право на все, даже на безсмертіе: счастье же на землѣ—его назначеніе.

И высшимъ выраженіемъ этой общественности является, конечно, знаменитое письмо его къ Гоголю, гдѣ онъ писалъ между прочимъ:

„Проповѣдникъ кнута, апостолъ невѣжества, поборникъ обскурантизма и мракобѣсія, панегиристъ татарскихъ нравовъ, что вы дѣлаете? Взгляните себѣ подъ ноги, вѣдь вы стоите надъ бездною!.. Вспомнилъ я еще, что въ вашей книгѣ вы утверждаете, какъ великую и неоспори-

мую истину, будто простому человѣку грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать вамъ на это? Да проститъ вамъ Богъ за эту мысль, если только, передавая ее бумагѣ, вы вѣдали, что творили... Теперь судите сами можно ли удивляться тому, что ваша книга уронила васъ въ глазахъ публики и какъ человѣка? Вы, сколько я вижу, не совсѣмъ хорошо понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, и, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ есть жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почтенно, почему у насъ такъ легокъ вѣрный успѣхъ, даже при маленькомъ талантѣ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ мнѣніемъ такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта. И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не отъ ея дурного направленія, а отъ рѣзкости истинъ, будто бы высказанныхъ вами всѣмъ и каждому? Положимъ, что вы могли это думать о пишущей братіи, но публика-то какъ могла попасть въ эту категорію? Неужели въ „Ревизорѣ“ и „Мертвыхъ Душахъ“ вы менѣе рѣзки, съ меньшей истиной и талантомъ, и менѣе горькой правды высказали? И она дѣйствительно разсердилась на васъ до бѣшенства, но „Ревизоръ“ и „Мертвыя Души“ не пали отъ этого, тогда такъ ваша послѣдняя книга провалилась сквозь землю. И публика тутъ права; это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя и въ зародышѣ, свѣжаго здраваго чувства, и это показываетъ, что у нея есть будущность. Если вы любите Россію, порадуйтесь вмѣстѣ со мною паденію вашей книги“.

И это слова умирающаго человѣка. И тотъ же умирающій человѣкъ, котораго Достоевскій встрѣтилъ какъ-то у Знаменья, сказалъ ему:

— Я сюда часто захожу взглянуть, какъ идетъ постройка (вокзала Николаевской желѣзной дороги). Хоть тѣмъ сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконецъ то и у насъ будетъ хоть одна желѣзная дорога. Вы не повѣрите, какъ эта мысль иногда облегчаетъ мнѣ сердце.

„Это было горячо и хорошо сказано“, замѣчаетъ при этомъ Достоевскій. Хорошо сказано—это такъ. Но въ то же время, сколько общественнаго интереса надо имѣть въ душѣ, чтобы въ послѣднемъ градусѣ чахотки интересоваться постройкой вокзала Николаевской желѣзной дороги!

Изъ трехъ періодовъ литературной дѣятельности Бѣлинскаго для насъ важенъ лишь первый и послѣдній. Отъ перваго намъ остались такія крупныя вещи, какъ трагедія съ ея страстнымъ протестомъ противъ крѣпостного права, и исповѣданіе вѣры новой критики „Литературныя мечтанія“ (1834); отъ послѣдняго все, что мы разумѣемъ обыкновенно подъ словами „литературная дѣятельность Бѣлинскаго“. Второй періодъ (1836—1842), когда Бѣлинскій „поклонялся философскому колпаку Гегеля“, при-

знавалъ все, даже турецкія звѣрства, разумнымъ—этотъ періодъ исканія и насильственнаго примиренія съ дѣйствительностью очень интересенъ для психологіи самого Бѣлинскаго и мало для исторіи литературы.

Обращаюсь къ „Литературнымъ мечтаніямъ“. Важность этой статьи заключается не въ мысляхъ, высказанныхъ въ ней (это въ большинствѣ случаевъ мысли Надеждина и Полевого), а въ небываломъ до той поры и совершенно неслыханномъ отношеніи къ литературѣ.

Васъ поражаютъ въ статьѣ двѣ вещи. То, во-первыхъ, что *здѣсь литература разсматривается не по кусочкамъ, а въ своемъ цѣломъ,—разсматривается, словомъ, вся изящная литература въ процессѣ своего историческаго развитія.* Юноша-авторъ не пошелъ, значитъ, по торной дорогѣ, не ограничился уголкомъ темы, а взглянулъ на свою задачу широко и смѣло, какъ истинный геній. Въ этомъ пріемѣ не было, пожалуй, сознательной философіи—критической точки зрѣнія, быть можетъ, онъ явился невольно, подсказанный инстинктомъ, но вѣдь важность его нисколько отъ этого не уменьшается. Во-вторыхъ, Бѣлинскій отнесся къ литературѣ не только съ любовью, но и съ полной серьезностью. Литература для него, очевидно, огромное и важное дѣло, которое можетъ наполнить всю жизнь человѣка, пробудить въ немъ лучшія его чувства, расширить до безконечности его умственный горизонтъ. Здѣсь, въ своей первой статьѣ, Бѣлинскій не позволяетъ себѣ ни одной шутки. Онъ—весь восторгъ, весь—увлеченіе и весь—серьезность. А это и было нужно, чтобы положить начало истинной критикѣ и литературному самосознанію. Шутниковъ было всегда достаточно, а скоро они появились въ обильномъ изобиліи.

Въ парадоксальной мысли „Литературныхъ мечтаній“—и у насъ нѣтъ литературы, а есть лишь великія художественныя произведенія“ - скрывается однако почти несомнѣнная истина. Что такое литература? Можно отвѣтить на этотъ вопросъ очень просто и коротко: *литература—это проявленное въ написанномъ словѣ самосознаніе общества.* Самосознаніе бываетъ разное: историческое, политическое, художественное и, какъ разное, воплощается и въ разныхъ формахъ. Поэтому и отдѣловъ литературы очень много, но когда мы употребляемъ слово литература,—мы понимаемъ ихъ всѣ сразу. Нечего и говорить, что всякому самосознанію присущи и критика окружающаго и исходящій изъ нея практическій идеализмъ, т. е. желаніе чего-то лучшаго и болѣе совершеннаго. Такой литературы у насъ дѣйствительно не было; были лишь намеки на нее, преимущественно въ журналистикѣ и именно въ „Московскомъ Телеграфѣ“ Полевого. Но „Московскій Телеграфъ“ плачевно закончилъ свое существованіе, какъ разъ въ этомъ 1834 году, за рецензію на драму Кукольника

„Рука Всевышняго“, Полевой какъ-то сразу сдѣлался другимъ человѣкомъ, и, странно, вся тяжесть литературы, какъ общественнаго и художественнаго самосознанія, упала на 24-хъ-лѣтняго юношу, котораго презрительно третировали недоучившимся студентомъ! Страшная тяжесть, но вѣдь и силы были огромныя!

Прежде всего надо было выбрать изъ всей массы печатной бумаги то, что можно было бы назвать „литературой будущаго“, о которой такъ восторженно говорилось въ „Мечтаніяхъ“. Бѣлинскій на первыхъ же порахъ сдѣлалъ это, поставилъ Пушкина рядомъ съ Шекспиромъ и Гете, принявшись въ слѣдующей своей статьѣ толковать Гоголя. Да, онъ сразу оцѣнилъ этотъ великій талантъ, прозрѣлъ его славное будущее; это большая заслуга, хотя отчасти мы обязаны ею и кружку Станкевича.

„Гоголь былъ постоянно на глазахъ, устахъ Бѣлинскаго; фразы и отдѣльныя слова изъ его произведеній вошли у друзей, и у Бѣлинскаго особенно, въ привычное употребленіе“... (Анненковъ). Съ какимъ восторгомъ онъ говорилъ о Гоголѣ еще въ 1835 г. въ первомъ разборѣ его повѣстей, это извѣстно.

Имѣя передъ глазами Пушкина и Гоголя, Бѣлинскій дѣйствительно могъ смѣло смотрѣть на будущее русской литературы и самъ, какъ представитель этого будущаго, смѣло относиться къ признаннымъ авторитетамъ. Не мало ихъ онъ развѣнчалъ, не мало и похоронилъ ихъ, но поступать иначе онъ не могъ, какъ призванный реформаторъ. „Литературныя Мечтанія“ произвели большое впечатлѣніе—не въ публикѣ, разумѣется, которая почти не читала „Молвы“, а упивалась преимущественно „Сѣверной Пчелой“ и другими издѣліями Греча съ комп.,—а въ кружкахъ, такъ или иначе прикосновенныхъ къ литературѣ. „Одобряли прекрасный языкъ, удивлялись горячности, съ какой написана статья, ея неподдѣльному увлеченію, и въ то же время большинство негодовало“. Негодовали за то, что Ломоносовъ былъ объявленъ *не*-поэтомъ, Бенедиктовъ простымъ риторомъ—словомъ, прежде всего за смѣлость, съ какою неизвѣстный авторъ нападаетъ на общепризнанные авторитеты. Дѣло дошло до того, что Шевыревъ—тогда извѣстный профессоръ, прочтя относящіяся къ нему страницы „Мечтаній“, затопалъ ногами и закричалъ: „какъ *смѣлъ* этотъ *писака* такъ судить обо мнѣ?“ Особенно дерзкой казалась основная мысль статьи. Авторъ рѣшительно и безъ обиняковъ заявилъ, что у насъ на Руси нѣтъ никакой литературы и цитатой къ первой главѣ выбралъ извѣстный афоризмъ барона Брамбеуса: „есть ли у насъ хорошія книги?—Нѣтъ, у насъ есть великіе писатели.—Такъ, но крайней мѣрѣ, у насъ есть Словесность? Напротивъ, у насъ есть только книжная торговля“. Правда, въ заключительныхъ строкахъ авторъ старался смягчить свой суровый приго-

воръ: „У насъ нѣтъ литературы,—писалъ онъ,—я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, *ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ*“—но самое отсутствіе логики въ двухъ частяхъ этой фразы, связанныхъ между собою произвольнымъ „*ибо*“ было очень подозрительно.

Послѣ долгихъ и тяжелыхъ исканій, Бѣлинскій отъ всѣхъ своихъ абстракцій пришелъ къ соціализму, къ нѣсколько утопическому, конечно, но единственно извѣстному и возможному въ тѣ дни. Онъ былъ сенъ-симонистомъ, насколько успѣлъ ознакомиться съ Сенъ-Симономъ по произведеніямъ Жоржъ Зандъ. Онъ понялъ очень простую для насъ, но совсѣмъ не простую для своего времени вещь, что человѣкъ прежде всего продуктъ окружающихъ его реальныхъ обстоятельствъ жизни и измѣняется вмѣстѣ съ ними. Не съ человѣка надо начинать, а съ обстоятельствъ. Поэтому онъ долженъ былъ признать огромное значеніе дѣйствительности и съ обычнымъ воодушевленіемъ заявилъ, что дѣйствительность для него теперь все. Надо знать эту дѣйствительность для того, чтобы бороться съ ней. И хороша только та литература, которая знакомитъ насъ съ этой дѣйствительностью. Отсюда—восторги Бѣлинскаго передъ натуральной (реальной) школой искусства.

Но, конечно, не этими восторгами, отдѣльными признаніями и отдѣльными отрицаніями опредѣлялось литературное значеніе Бѣлинскаго; это значеніе лучше всего охарактеризовано человѣкомъ, страстно любившимъ Бѣлинскаго и страстно преклонявшимся передъ нимъ—Ап. Григорьевымъ, и мнѣ остается только привести его слова.

„Было время,—начинаетъ Ап. Григорьевъ,—что критика наша стояла во главѣ всего нашего развитія, мы разумѣемъ, конечно, критику литературную. Эта роль принадлежала критикѣ въ то время, когда въ литературѣ совмѣщались для насъ всѣ серьезные духовные интересы,—когда критикъ, не переставая ни на минуту быть литературнымъ критикомъ, въ то же самое время былъ и публицистомъ,—когда его художественные идеалы не разрознивались съ идеалами общественными. Этимъ—кромѣ своего огромнаго таланта—былъ такъ силенъ Бѣлинскій; въ его эпоху всѣ другія убѣжденія, кромѣ его убѣжденій, и всѣ другіе взгляды, кромѣ его взгляда, не считались и не могли считаться благородными и современными убѣжденіями и взглядами. Кто не видѣлъ въ Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ того, что видѣлъ въ нихъ Бѣлинскій,—попадалъ неминуемо въ число ограниченныхъ, отсталыхъ людей и мраколюбцевъ. И тогда это было совершенно нормально, потому что литература была тогда все для насъ, и двухъ убѣжденій въ отношеніи къ высшимъ литературнымъ явленіямъ быть

не могло. Уровень единства литературнаго взгляда проводимъ былъ съ безпощадною послѣдовательностью, но, вѣроятно, ни у кого языкъ не повернется, даже и теперь, назвать эту безпощадную послѣдовательность, этотъ деспотизмъ мысли—несправедливымъ. Идея изящнаго тѣсно сливалась тогда съ идеями добра и правды, или, лучше сказать, идея правды и идея добра не имѣли возможности проявляться иначе, какъ черезъ идею изящнаго. Бѣлинскій былъ поставленъ въ такія же условія борьбы, какъ Лессингъ Пламенно толкуя Пушкина, пламенно выдвигая Лермонтова, пламенно ратоборствуя за Гоголя и т. д., онъ былъ въ то же самое время главнымъ общественнымъ двигателемъ нашимъ и великимъ глашатаемъ истины. Весь умственно и нравственно пропитанный философскою системою, до нашихъ временъ еще не смѣненною никакою другою, онъ проводилъ ее въ жизнь черезъ органъ литературной критики. Его противочѣчія и измѣненія мнѣній могли казаться противорѣчіями и измѣненіями мнѣній только людямъ дѣйствительно ограниченнымъ въ его эпоху. Для него самого, для его учениковъ, т. е. для всѣхъ насъ болѣе или менѣе, это были моменты развитія, моменты стремленія къ истинѣ. Бѣлинскій стоялъ впереди умственнаго прогресса и смѣло велъ впередъ поколѣніе. Въ высочайшей степени одаренный художественнымъ пониманіемъ, способный трепетать, какъ пифія, отъ всего прекраснаго, переживавшій съ каждымъ великимъ явленіемъ нравственнаго міра всю жизнь этого явленія: чистую ли поэзію Пушкина, злую ли скорбь и иронію Лермонтова, карающій ли смѣхъ Гоголя, мучительную ли игру Мочалова и т. д., отзывавшійся на все съ необыкновенной чуткостью, онъ однако, какъ человѣкъ стремленія и прогресса, не задумывался замѣнять явленія явленіями, когда они казались ему ближе къ истинѣ, т. е. по его вѣрованію, ближе къ послѣднему слову прогресса, чѣмъ другія. Своего рода террористъ литературный, онъ приносилъ жертвы за жертвами, хотя, конечно, едва ли бы принесъ въ жертву Пушкина и его значеніе въ нашей жизни. Дѣло нравственнаго возбужденія, совершенное въ лицѣ его нашею критикою, было велико и благотворно по своимъ послѣдствіямъ".

Это какъ нельзя болѣе справедливо. Бѣлинскій былъ гораздо больше, чѣмъ литературный критикъ и больше, чѣмъ историкъ литературы: онъ былъ трибуномъ своего времени (да и позднѣйшаго) въ области его семейныхъ и общественныхъ отношеній, его религіи и нравственности, отчасти даже и политики. Роль его воистину была революціонна, но не только въ сторону разрушенія, но и созданія того новаго строя, который какъ мечта о правахъ личности и человѣка, о счастьѣ всѣхъ, преслѣдовалъ его въ теченіе всей жизни и особенно настойчиво, особенно опредѣленно въ первый и послѣдній періоды его дѣятельности.

Онъ былъ революціонеромъ въ литературѣ и по самому факту своего происхожденія, какъ разночинецъ. Не первый по времени, конечно, но первый по своему значенію, твердо и разъ навсегда установившій литературныя права разночинцевъ вообще. И разночинецъ ясно виденъ въ немъ, и въ дѣлѣ сокрушенія авторитетовъ, и въ страстной ненависти къ барствовавшему славянофильству, и въ той узкой даже практичности, къ которой онъ пришелъ послѣ долгихъ и мучительныхъ исканій. Своимъ талантомъ и своимъ нравственнымъ величіемъ онъ безгранично раздвинулъ права человѣка въ литературѣ, гдѣ, какъ это ни странно, въ его время все еще упорно держались сословные предразсудки, такъ какъ литература считалась дѣломъ (или времяпрепровожденіемъ) барскимъ, и на всякаго, кто пришелъ со стороны, очень и очень косились, какъ на армейца. Стоитъ только припомнить отношеніе литературной аристократіи къ Полевому, или тотъ фактъ, что Пушкинъ хотѣлъ переслать первый № своего „Современника" Бѣлинскому такъ, *чтобы никто, никто не зналъ объ этомъ*, боясь mésalliançʼа. Но Бѣлинскаго признала, по крайней мѣрѣ, молодежь, хотя все же настоящей своей оцѣнки онъ дождался лишь въ эпоху полнаго торжества разночинцевъ—въ 60-е годы. Собственно говоря, въ литературѣ 60-е годы начались со статей о Бѣлинскомъ и съ воспоминаній о немъ. Здѣсь-то онъ и былъ поставленъ на настоящую свою высоту, здѣсь онъ былъ признанъ не какъ проникновенный эстетикъ, что было лишь частью его, а тѣмъ, чѣмъ былъ въ дѣйствительности — истиннымъ борцомъ за права *человѣка*.

Понятна теперь вся страстность и непримиримость его западничества, такъ какъ, если уже барину Чаадаеву пришлось жаловаться, что у него, несмотря на столько-то портретовъ предковъ и записи въ такія-то книги, никакихъ корней въ русской жизни нѣтъ,—если русская литература только и дѣлала, что занималась лишними людьми, не чувствовавшими подъ ногами почвы—то какіе же корни, какая же почва могли быть у разночинца Бѣлинскаго? *Назадъ* ничто и никогда не тянуло его, теперь — ничто не привязывало, привязывало лишь будущее родины, но будущее, не какъ повтореніе вчера и сегодня, а какъ новое, подъ вліяніемъ Запада выработанное,—то новое, что обезпечивало бы личности полноту ея свободы, а обществу полноту его благосостоянія и самодѣятельности.

Мужикъ въ русской литературѣ. Послѣднія статьи Бѣлинскаго были посвящены горячей защитѣ натуральной школы,—школы, созданной Гоголемъ, которая понимала искусство, какъ в спроизведеніе въ типахъ— дѣйствительности во всей ея истинѣ съ точки зрѣнія общественнаго идеала

самого автора. Своими типами литература должна была разъяснять разумъ явленій, т. е. смыслъ и содержаніе жизни, и быть руководительницей человѣка въ его познаніи окружающаго. Бѣлинскій разночинецъ, Бѣлинскій, въ которомъ, въ концѣ концовъ, такъ властно заговорили практическія дѣйственныя стремленія—страстно увлекся такимъ вотъ искусствомъ, видя въ немъ выходъ изъ безцѣльнаго существованія литературы. Имъ все больше овладѣвало желаніе воздѣйствія на жизнь, но, очевидно, чтобы воздѣйствовать, надо знать и знать именно самую жизнь во всей ея глубинѣ. Но о чемъ же могло говорить это знаніе жизни? О пошлости окружающаго? о преступно-ничтожномъ содержаніи человѣческихъ стремленій, т. е. о всемъ томъ, о чемъ твердили Гоголь, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ? Да, объ этомъ, но къ концу сороковыхъ годовъ воспроизведеціе дѣйствительности, все углубляясь, дошло наконецъ до истинной подпочвы—до крѣпостного мужика и его ужаснаго безправнаго состоянія.

Слово было найдено, и у литературы явилось знамя. Это слово, говорю я, былъ мужикъ. Это знамя—жалѣніе мужика, печаль о немъ.

Безпокойныя томительныя исканія литературы закончились. Она вышла на свою настоящую дорогу и нашла свое настоящее дѣло. И въ сущности все давнымъ давно, уже со времени Радищева, вело къ этому, все кричало о немъ, все указывало здѣсь единственный выходъ. Весь идеализмъ 30-хъ и сороковыхъ годовъ, все увлеченіе западной философіей и западнымъ искусствомъ должно же было вылиться въ опредѣленную форму. Тутъ и мечты о нравственномъ самоусовершенствованіи и увлеченіе соціалистическими утопіями и вліяніе народолюбивой Жоржъ-Зандъ—все сошлось въ томъ, чтобы указать русскому лишнему, безпочвенному человѣку его настоящее дѣло.

Съ 1847 года мужикъ становится властителемъ думъ. И въ этомъ, повторяю, нѣтъ ничего страннаго. Русское самосознаніе доросло теперь до пониманія, что въ основѣ всѣхъ бѣдъ, всей этой безцѣльности жизни лежитъ безправное состояніе народной массы и существованіе на чужой кабальный трудъ... Но это было не просто сознаніемъ. Это было чѣмъ-то большимъ, что въ концѣ концовъ захватило всего человѣка и прежде всего его совѣсть, властный и настойчивый голосъ которой я отмѣчалъ уже раньше у тѣхъ и другихъ представителей литературы.

О народѣ много говорили уже славянофилы. Лучшіе изъ нихъ возмущались крѣпостнымъ состояніемъ. Но странно, это возмущеніе сопровождалось всегда такой массой восхищенія передъ нравственными качествами и достоинствами закабаленнаго народа, что никакого вліянія на русскую мысль оно оказать не могло.

Но вотъ заговорили западники, т. е. люди, наиболѣе подчинившіеся

вліянію демократическихъ европейскихъ идей,—заговорилъ Григоровичъ своей „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, заговорилъ Герценъ своей „Сорокой-Воровкой“, Тургеневъ—„Записками Охотника“, Бѣлинскій своими статьями о натуральной школѣ,—и вмѣсто „восхищенія“ выдѣлился во всемъ ужасѣ своемъ фактъ, поражавшій еще Радищева, тотъ,—что человѣкъ съ человѣкомъ можетъ дѣлать все, что ему угодно, что у милліоновъ людей отнята личность и всякая тѣнь права, что существуетъ русская деревня, не какъ мѣстопребываніе пейзановъ, не какъ хранительница принциповъ русскаго духа, а какъ тюрьма и каторга, гдѣ

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здѣсь барство дикое безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца.
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ,
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя.
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ
Для прихоти развратнаго злодѣя.
Опора милая старѣющихъ отцовъ
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.

И вотъ этотъ-то закабаленный мужикъ воззвалъ теперь къ разуму и совѣсти русскаго человѣка и руской литературы...

Прежде было проще: въ народѣ видѣли главнымъ образомъ простонародье, (такъ его понимали и беллетристы, и драматурги, и историки, и самъ Пушкинъ) нѣчто стадное, само по себѣ склонное къ буйству и неистовству, но великолѣпно покорное при наличности хорошихъ руководителей. И все было ясно и понятно. По міросозерцанію всѣхъ плававшихъ и неистовствовавшихъ на поверхности жизни человѣковъ, народъ находился тамъ гдѣ-то, внизу, чуть-чуть не въ преисподней, молчалъ и работалъ, работалъ и молчалъ, распахивая десятину за десятиной, выкорчевывая лѣса муромскіе и брянскіе, размножаясь съ быстротой низшаго организма, пестуя русское государство и русскую культуру и безъ задержки уплачивая всѣ протори и убытки исторіи. Хорошо, должно быть, жилось ему въ обществѣ лѣшихъ, домовыхъ, русалокъ, и онъ обыкновенно оставался за сценой. Но случалось,

что его выводили на показъ, какъ бы въ доказательство того, что онъ дѣйствительно существуетъ, что онъ—не миѳъ какой-нибудь, не мечта, а нѣчто осязаемое и обоняемое, „волнующееся, какъ море, способное кричать, бѣжать, двигаться". „Идемъ братцы, бѣжимъ братцы!" вдохновенно восклицала какая-нибудь борода, и „русскій" народъ точно спросонокъ, не прозѣвавшись хорошенько и не протеревъ слипшихся глазъ, шелъ и бѣжалъ, по дорогѣ выбрасывалъ какого-нибудь „вора" изъ окна, давилъ кого-нибудь, а добѣжавши до площади, сначала вопіялъ „ура", а потомъ падалъ на колѣни. Не прелесть ли это на самомъ дѣлѣ? И подобныя картины не возбуждали ни въ комъ сомнѣнія и представлялись совершенно правдоподобными не только Сумарокову, Озерову, Кукольнику, Полевому—но и исторіографу Карамзину, и славянофилу Аксакову и самому Пушкину, у котораго въ „Борисѣ Годуновѣ" народъ только и знаетъ итти и бѣжать.

Но, начиная съ конца 40-ыхъ годовъ, — народъ это прежде всего сѣрая, закабаленная крестьянская масса, стонущая отъ всякой жизненной неправды. Въ такомъ видѣ онъ впервые появился въ интеллигентной литературѣ у Григоровича, грязный, обтрепанный, въ рваномъ зипунишкѣ, котораго обижаютъ и обижаютъ всѣ. Прославленная повѣсть Григоровича „Антонъ Горемыка" (1847 г.), въ сущности говоря, совсѣмъ даже не художественное, а лубочное произведеніе, сразу же возбудившее къ себѣ сердечное отвращеніе людей, обладавшихъ эстическимъ развитіемъ, напр., В. П. Боткина. Въ ней все дѣлано, искусственно, грубо, аляповато, и дѣйствительная правда жизни выставлена въ ней такъ неумѣло, что даже и не вѣрится правдѣ этой правды. Схема русской трагедіи, та именно, что человѣкъ, разъ „споткнувшись", разъ перенеся извѣстное несчастіе или потерю, не только не имѣетъ силы болѣе встать, но, напротивъ, случайно и противъ своей воли, путемъ сцѣпленія чортъ знаетъ какихъ обстоятельствъ, доходитъ до преступленія, полной гибели и Сибири,—намѣчена совершенно вѣрно: у Антона украли лошадь и Антона же отправили по владимірскому тракту, но отъ этой „вѣрности" до художественности, повторяю, очень далеко. Однако повѣсть произвела поистинѣ громадное впечатлѣніе. По нелицепріятному свидѣтельству Щедрина, она была и „живымъ лучомъ", и „свѣжимъ глоткомъ воздуха". Бѣлинскій писалъ о ней Боткину: „Вѣроятно ты уже получилъ XI-й № Современника. Тамъ повѣсть Григоровича („Антонъ Горемыка"), которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты!.. Цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ—выкинута сцена разбоя, въ которой Антонъ участвуетъ". И далѣе: „Я знаю, что сужу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и

болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ Антонѣ я не замѣтилъ длинноть, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! Какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки... Но перечитывать Антона я не буду, хотя всегда перечитываю по нѣсколько разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ"...

Бѣлинскій—проникновенная проницательность котораго въ этомъ случаѣ выразилась по-моему гораздо ярче, чѣмъ, скажемъ, въ признаніи величія Гоголя, передъ которымъ и раньше уже преклонялся весь кружокъ Станкевича, отрицая художественность въ „Антонѣ Горемыкѣ", видѣлъ однако въ этой повѣсти „дѣло—произведеніе, способное возбуждать вопросы и производить нравственное впечатлѣніе на общество". Для него въ то время это было дороже всего. Повѣсть на самомъ дѣлѣ была историческимъ моментомъ въ развитіи русской литературы и сыграла историческую роль.

Д. Григоровичъ сказалъ то слово, которое было на языкѣ у всѣхъ, и котораго почему-то никто не рѣшался высказать:—слово это было мужикъ, самый обыкновенный сермяжный мужикъ, не мужикъ-пастушокъ начала вѣка и безчисленныхъ „Пѣсенниковъ", не мужикъ-орало и скоморохъ патріотическихъ драмъ и комедій, а мужикъ сѣрыхъ будень, обыденной жизни, обыденныхъ, но тяжелыхъ страданій. Слово было найдено, и мужикъ воцарился въ литературѣ. Бѣлинскій защищалъ его вторженіе всѣми силами своего таланта.

„Что за охота наводнять литературу мужиками?" восклицаютъ аристократы извѣстнаго разряда,—писалъ онъ.—Въ ихъ глазахъ писатель—ремесленникъ, которому, какъ что закажутъ, такъ онъ и дѣлаетъ. Имъ въ голову не входитъ, что, въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія, писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ; ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи. А чѣмъ объяснить, что одинъ любитъ изображать предметы веселые, другой—мрачные: если не натурой, характеромъ и талантомъ поэта? Кто что любитъ, чѣмъ интересуется, то и знаетъ лучше, а что лучше знаетъ, то лучше изображаетъ. Вотъ самое законное оправданіе поэта, котораго упрекаютъ за выборъ предметовъ; оно не удовлетворительно

только для людей, которые ничего не смыслятъ въ искусствѣ и грубо смѣшиваютъ его съ ремесломъ. Природа вѣчный образецъ искусства, а величайшій и благороднѣйшій предметъ въ природѣ — человѣкъ. А развѣ мужикъ не человѣкъ? Но что же можетъ быть интереснаго въ грубомъ, необразованномъ человѣкѣ?—Какъ что?—его душа, умъ, сердце, страсти, склонности—словомъ, все то же, что и въ образованномъ человѣкѣ. Положимъ, послѣдній выше перваго; но развѣ ботанистъ интересуется только садовыми, улучшенными искусствомъ растеніями, презирая ихъ полевые, дико-растущіе первообразы? Развѣ для анатома и физіолога организмъ дикаго австралійца не такъ же интересенъ, какъ и организмъ просвѣщеннаго европейца? На какомъ же основаніи искусство въ этомъ отношеніи должно такъ разниться отъ науки? А потомъ — вы говорите, что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это нисколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его, напримѣръ, со стороны ума, чувства, характера. Образованіе только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоцѣннѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, что природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ. „Чему можно научиться изъ книги, въ которой описывается какой-нибудь спившійся въ кругу горемыка?“—говорятъ еще эти аристократы средней руки. Какъ чему? разумѣется, не свѣтскому обращенію и не хорошему тону, а знанію человѣка въ извѣстномъ положеніи. Одинъ спивается отъ лѣности, отъ дурного воспитанія, отъ слабости характера; другой отъ несчастныхъ обстоятельствъ жизни, въ которыхъ онъ, можетъ быть, нисколько не виноватъ“.

Въ сущности, впрочемъ, нечего было и защищать. Въ обществѣ вѣдь всегда есть, да и не можетъ не быть предчувствія близкаго будущаго, а это будущее скоро, всего черезъ какія-нибудь десять лѣтъ пошло по одному руслу и вылилось въ одномъ—въ „эмансипаціи“ мужика.

Въ предчувствіи этомъ нѣтъ ничего таинственнаго, мистическаго. Оно доказываетъ только, что всякій фактъ жизни, всякая ея перемѣна, прежде чѣмъ быть сознанными и получить названіе революціи или реформы, уже произошли въ матеріальной, стихійной обстановкѣ, и люди чувствуютъ ихъ, хотя и не понимаютъ.

На помощь нашему интеллигенту пришелъ мужикъ и перевернулъ всю

нашу психологію. Такъ сказать, изъ небытія мысли, хотя и огромной жажды ея,—мы вступили на твердую почву, на цѣлыя десятилѣтія опредѣлившую наше настроеніе, и нашу работу. Тутъ есть за что, тутъ можно и должно сказать спасибо нашей деревнѣ, послужившей превосходной школой нашей мысли.

Растерзанной фигурѣ Антона Горемыки русская литература положительно должна была бы воздвигнуть памятникъ. Ея духомъ, ея содержаніемъ она жила почти полъ-вѣка—правда, содержаніемъ расширеннымъ и углубленнымъ, но въ сущности тѣмъ же самымъ. Здѣсь заключалась цѣлая программа, здѣсь былъ данъ лозунгъ—одинъ изъ тѣхъ лозунговъ, которые являются въ десятилѣтія, и второстепенное литературное произведеніе сыграло первую историко-литературную роль. Послѣ него можно было написать о чемъ угодно и сочинять что угодно, но тотъ писатель, который такъ или иначе не выяснилъ своего отношенія къ мужику, къ народу, не могъ уже разсчитывать на продолжительное общественное вниманіе; на него смотрѣли только, какъ на забавника, его читали только для развлеченія, къ нему не относились серьезно. „Мужикъ“ и мужицкій вопросъ стали воистину нравственной цензурой — строгой, непреклонной, подчасъ неумолимой, избѣжать которой не было никакой возможности. Было признано и всѣ согласились, что это „самое важное“. Сотни и тысячи произведеній посвящались „самому важному“; оно создавало репутаціи и уничтожало ихъ; оно подчинило себѣ эстетику, оно стало душою критики, мало того— у Толстого оно вылилось въ цѣлую философски-религіозную систему. Какъ превосходно предчувствовалъ это Бѣлинскій, когда писалъ Боткину: „Будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты сибаритъ, сластена... тебѣ, вишь давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истина, т. е. не впадала въ шаржъ и аллегорію или не отзывалась диссертаціею. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли, и вовсе безъ поэзіи и творчества — она для меня тѣмъ не менѣе интересна“... (Письмо начала 1848 г.).

Несомнѣнно, что, благодаря мужику или, лучше сказать, мужицкому вопросу, ясно и широко сознанному лишь въ концѣ сороковыхъ годовъ, мы перестали быть „странниками“; появилась дѣйствительная „сфера опредѣленнаго существованія“, нѣчто такое, что „привязывало, что пробуждало наше сочувствіе, наше расположеніе и нравственное сочувствіе“— появилась „почва мышленія и жизни“... Мужикъ выручалъ не разъ, надо сознаться; и есть что-то положительно трогательное въ этомъ настойчи-

вомъ появленіи мужика, въ той молчаливой опекѣ, въ которой онъ держалъ нравственность не только отдѣльныхъ людей, но и цѣлыхъ историческихъ эпохъ.

Отношеніе къ Антонамъ было сначала покровительственно-сантиментальное, отчасти даже слезливое. Чисто барская эпоха и не могла выработать другого. Въ Антонахъ видѣли людей, но что нужно этимъ людямъ, на что они способны, что они представляютъ изъ себя, кромѣ нѣкотораго вмѣстилища страданія, этого въ сущности не знали. Матеріалъ былъ ничтоженъ, случаенъ, и одна поэзія Кольцова глубоко заглядывала въ мужицкую душу. Но любопытно, что къ этой поэзіи даже Бѣлинскій отнесся прежде всего, какъ эстетическій критикъ, и только Майковъ взглянулъ на дѣло пошире и написалъ нѣсколько блестящихъ страницъ о значеніи „экономическихъ условій въ крестьянской жизни“ и о возможности подвергать экономическія темы поэтической обработкѣ. Но теперь литература почти исключительно задалась цѣлью возбудить состраданіе къ мужику и заставить видѣть въ немъ человѣка съ плотью и кровью, жаждой свободы и развитія.

Д. В. Григоровичъ. (1822- -1900). „Григоровичъ,—писалъ Бѣлинскій въ 48-мъ году, посвятилъ свой талантъ исключительно изображенію жизни низшихъ классовъ народа. Въ его талантѣ много аналогіи съ талантомъ Даля. Онъ также постоянно держится на почвѣ хорошо извѣстной и изученной имъ дѣйствительности, но его два послѣдніе опыта—„Деревня“ и въ особенности „Антонъ Горемыка“,—идутъ гораздо дальше физіологическихъ очерковъ. „Антонъ Горемыка“—больше чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антонъ-мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ итти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многаго... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта: чѣмъ большая ихъ стая бѣжитъ вслѣдъ успѣха, тѣмъ значитъ, успѣхъ огромнѣе“...

Своей „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“ Григоровичъ попалъ въ первые ряды литературы. На извѣстной фотографіи онъ снятъ рядомъ съ

Тургеневымъ, Толстымъ, Островскимъ. По его значенію и вліянію здѣсь ему неоспоримое мѣсто, хотя, конечно не по силѣ художественнаго творчества.

Онъ былъ человѣкомъ сороковыхъ годовъ. Этимъ сказано не все, а многое, потому что эпоха была такова, что налагала неизгладимый отпечатокъ на каждаго, кто принадлежалъ къ ея высшимъ интеллигентнымъ слоямъ. Несомнѣнно, чѣмъ-то красивымъ и свѣжимъ, чѣмъ-то молодымъ и барски щедрымъ, барски самонадѣяннымъ вѣетъ оттуда. То была героическая эпоха нашей мысли, рыцарскій періодъ ея исторіи. Кто провелъ въ ея атмосферѣ свою юность, тотъ къ воспоминаніямъ о ней, или, лучше о ея, литературѣ, сохранилъ какое-то восторженное, пожалуй, колѣнопреклоненное отношеніе. Щедринъ сравниваетъ эту литературу со сказочной царевной, которая, заключенная въ неприступномъ чертогѣ, дремала, окутанная сновидѣніями. И хороши были эти сонныя грезы о правдѣ, добрѣ, истинѣ и справедливости человѣческихъ отношеній.

Григоровичъ примкнулъ къ общему настроенію, подчиняясь скорѣе его стихійности, чѣмъ влеченію своей натуры. Мало того, ему удалось создать главный его „моментъ“. Онъ первый заговорилъ о жалости и состраданіи къ мужику, первый въ яркихъ краскахъ обрисовалъ его несчастное положеніе и, такимъ образомъ, положилъ основаніе нашему народничеству. Его „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ (обѣ вещи въ 1847 г.) сыграли серьезную историческую роль потому, конечно, что ими была дана конкретная форма идеализму 40-хъ годовъ, который съ той поры и сталъ постепенно спускаться съ туманныхъ высотъ на землю. Тутъ былъ найденъ выходъ для чувства, для одушевленія.

Это было нѣсколько неожиданно для самаго Григоровича.

Деревни онъ, конечно, не зналъ; въ чемъ и самъ охотнѣйшимъ образомъ признавался, да и кто зналъ ее въ то время? Кто и теперь ее знаетъ? Не въ томъ суть, а въ томъ, что онъ первый сказалъ громко и выразительно: „Бѣдное, загнанное и забитое существо этотъ мужикъ, и его жалѣть надо“. И стало это слово потрясать сердца. Конечно, черезъ пятьдесятъ лѣтъ кажется страннымъ огромное вліяніе такого слова, вліяніе чисто историческое, и невольно спрашиваешь себя: да неужели же раньше никто до этого не додумался? Додумался—это такъ, напр., Радищевъ,—но великая это вещь во-время повторить даже самое простое слово. А его-то Григоровичъ какъ разъ во-время и повторилъ.

Григоровичъ вообще представляется мнѣ натурой прежде всего артистической. Онъ былъ эстетикомъ и любилъ красоту во всѣхъ ея видахъ. Даже въ жалости къ мужику онъ видѣлъ прежде всего ея красивую и поэтическую сторону. Да и онъ самъ весь былъ красивъ красотой хоро-

шаго старо-барскаго типа—спокойный уравновѣшенный, знатокъ изящнаго, довѣрчивый и щедрый въ своемъ неглубокомъ, но ласковомъ вниманіи даже къ незнакомымъ людямъ. Онъ обладалъ талантомъ общительности, и это въ высокой степени, быть можетъ, потому, что никогда особенно пристально не всматривался въ людей и не требовалъ отъ нихъ большаго, чѣмъ они могутъ дать по самому существу своей натуры. Онъ былъ очень милъ и легко сходился съ людьми самыхъ различныхъ положеній, но предпочиталъ высшіе слои, куда влекли его изящные вкусы...

Въ началѣ 60-хъ годовъ онъ какъ бы разсорился съ литературой и не брался за перо около 25 лѣтъ; быть можетъ, ему было не по натурѣ и рѣзкость демократическаго движенія, и чисто практическія цѣли его главарей. Формула „мужика жалѣть надо и проливать слезы надъ его грустной участью“ какъ-то сузилась въ эту эпоху, переродилась въ программы, налагала обязательства и лишилась своей поэтической и потому, для Григоровича, симпатичной окраски. Да и не въ жалости только была уже главная сила. Въ жизни происходило что-то другое, происходила борьба. Григоровичъ отшатнулся.

Впрочемъ, я не думаю, чтобы ссора съ литературой слишкомъ дорого ему стоила. Вѣдь это не Тургеневъ, который десятки разъ проклиналъ писательство, а какъ только хандра и обида проходили, сейчасъ же опять брался за перо. Это не Тургеневъ и не Толстой, это—Григоровичъ. Никогда дѣйствительнымъ литераторомъ, въ томъ смыслѣ, какъ понимали эти слова его современники—Бѣлинскій, Герценъ, Толстой, Достоевскій, Тургеневъ, Некрасовъ—онъ не былъ: онъ только занимался литературой, какъ однимъ изъ изящныхъ искусствъ, сталъ писать потому, что въ его кружкѣ писали рѣшительно всѣ, и всѣ рѣшительно вѣрили, что писательство—самое большое изъ искусствъ. Одинаково, если не больше, тянуло его къ живописи, но всѣ его попытки въ этомъ направленіи оказались неудачными.

Какъ натура художественная и артистическая, онъ былъ, конечно, дилетантомъ. Изящное и красивое онъ любилъ во всѣхъ проявленіяхъ, такъ какъ для него они были цѣнны и дороги сами по себѣ, безъ всякаго отношенія къ задачамъ и цѣлямъ общественной жизни. Передаютъ, что главный его талантъ заключался въ умѣньѣ разговаривать. Онъ говорилъ безъ всякаго принужденія, удивительно просто и красиво, вполнѣ увѣренный, что людямъ, слушающимъ его, интересно каждое слово, что и было въ дѣйствительности,—говорилъ обо всемъ, преимущественно о своихъ заграничныхъ путешествіяхъ и художественныхъ музеяхъ, которые онъ осматривалъ,—говорилъ барскимъ бархатнымъ тономъ, безъ рѣзкой горячности, но съ очевиднымъ увлеченіемъ и удовольствіемъ. Говорилъ онъ въ

сущности одинъ, но какимъ-то образомъ умѣлъ придавать своимъ рѣчамъ видъ бесѣды. Слушать его можно было цѣлые часы безъ всякаго утомленія. Это тоже одинъ изъ „героевъ слова“.

И. С. Тургеневъ. (1818—1883). Корни тургеневскаго вдохновенія находятся въ эпохѣ крѣпостныхъ отношеній. Изъ нея, изъ этой обстановки извлекъ онъ свои мастерскіе художественные образы и руководящія чувства своей жизни. Онъ сталъ западникомъ прежде всего изъ отрицанія крѣпостничества, изъ ненависти къ родному лицемѣрному рабству, а когда онъ творилъ, дореформенная Россія наполняла его воспоминанія, возбуждая то ненависть, то поэтическую созерцательную меланхолію, которую мы всѣ испытываемъ на кладбищѣ, или при видѣ покойника. На самомъ дѣлѣ что-то грустное проникаетъ всѣ произведенія Тургенева, какая-то темная тѣнь легла на все, что вышло изъ-подъ его пера. „Дворянское гнѣздо“— вѣроятно, самая грустная повѣсть новѣйшей русской литературы. Но неужели эта грусть, тоска и меланхолія—результатъ сожалѣнія о томъ, что прошло и прошло невозвратно? Послѣ фактовъ, извѣстныхъ намъ изъ біографіи, на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ, безусловно отрицательный отвѣтъ. Тургеневъ груститъ не какъ гражданинъ, а какъ художникъ: вѣдь въ той обстановкѣ, какова бы она ни была, прошли его дѣтство и юность, вѣдь тамъ осталось много хорошихъ воспоминаній сердца, вѣдь тамъ онъ нашелъ матеріалъ для своихъ чудныхъ женскихъ образовъ—Вѣры („Фаустъ“), Лизы („Дворянское гнѣздо“), Наташи („Рудинъ“), идеалиста Пунина, честнаго и добраго Николая Петровича Кирсанова, родителей Базарова, Фомушки и Фимушки („Новь“) и многихъ другихъ имъ подобныхъ, къ которымъ и мы не можемъ не отнестись иначе, какъ съ глубокимъ уваженіемъ и даже любовью... Безобразны были крѣпостныя отношенія, эти писанныя и неписанныя статьи, отдавшія человѣка въ безусловную власть ему подобнаго,—но не люди, такіе же какъ и мы, иногда лучшіе, чѣмъ мы. Припомните пушкинскую няню Арину, двороваго изъ Спасскаго, восторгавшагося Херасковымъ, основательнаго, умнаго Хоря, поэта Калиныча, долговязую фигуру суроваго охотника Ермолая, съ его дѣтски-чистымъ, чуткимъ сердцемъ, а главное припомните тургеневскихъ женщинъ и дѣвушекъ, особенно дѣвушекъ, и поэтическая эмоція коснется и васъ. Вы не дадите ей всецѣло овладѣть вами, не станете восторгаться вѣрными холопами, и вѣрными рабами,—мрачный образъ Салтычихи или Варвары Петровны Тургеневой немедленно же возстанетъ передъ вами и отравитъ ваше сердце,—вы поймете, что, какъ ни хороши тѣ исчезнувшіе люди,—на каждомъ изъ нихъ крѣпостныя отношенія нало-

жили свою печать, неистребимую и съ нашей точки зрѣнія позорную. Вѣрнымъ холопамъ и рабамъ вы пожелаете больше чувства собственнаго достоинства, другимъ, какъ Лизѣ, — большаго простора для мысли, для правъ своей личности,—и все же сердце ваше будетъ задѣто. Тѣмъ сильнѣе такіе типы должны были задѣвать сердце художника. Вызывая ихъ, онъ стоялъ какъ бы на кладбищѣ, подъ холодными плитами котораго похоронено столько жестокаго, безобразнаго, столько добраго, честнаго, высокаго, а вмѣстѣ съ ними—его собственное дѣтство, его собственная юность и ея мечты.

Къ новой, начавшейся послѣ 61-го года, жизни Тургеневъ могъ относиться съ симпатіей, интересомъ, но она уже не захватывала такъ всецѣло его сердце, какъ дореформенная Русь. Онъ не понималъ многаго и не могъ понять многаго. Его художественное творчество постоянно обращалось туда, къ старымъ дворянскимъ гнѣздамъ, къ аллеямъ густолиственныхъ кленовъ, гдѣ полная красоты и печали стояла „она“, вся сотканная изъ лунныхъ лучей, изъ чистыхъ влеченій дѣтскаго, искренняго сердца... Лиза или Вѣра. Дѣйствіе большинства его романовъ происходитъ въ эпоху крѣпостного права, къ ней же относятся и лучшіе его разсказы. Вѣрный преданіямъ юности, онъ любитъ прежде всего идеалистовъ сороковыхъ годовъ съ ихъ благородными порывами, ихъ надломленной волей. Только ихъ въ сущности онъ и изображаетъ. Онъ придалъ Базарову рудинскія черты, онъ сдѣлалъ изъ Нежданова лишняго, хотя и благороднаго человѣка.

„Я творю, когда гуляю по кладбищу своего сердца“ —сказалъ Гейне, и эту фразу Тургеневъ съ полнымъ правомъ могъ примѣнить къ самому себѣ. Мы знаемъ, какія могилы были на кладбищѣ его сердца: тамъ покоились Станкевичъ и Бѣлинскій, покоились старыя дворянскія гнѣзда... Тургеневъ видѣлъ исчезновеніе этихъ гнѣздъ, видѣлъ, какъ вѣковые дубы срубались на дрова, какъ заростали сады и парки всякими плевелами, какъ покрывались плѣсенью стѣны старыхъ домовъ, изъ оконъ которыхъ выглядывало когда-то грустное личико Лизы. Онъ могъ радоваться, видя, какъ падаютъ и разрушаются стѣны тюремъ, но какая же радость можетъ быть на могилѣ своего честнаго товарища по заключенію... Онъ творилъ, когда гулялъ по кладбищу своего сердца. Что могла сказать ему новая, начавшаяся при немъ жизнь? Онъ былъ связанъ съ нею головой, но не сердцемъ, онъ признавалъ, что она полезна, нужна, хороша — онъ этимъ исполнилъ долгъ гражданина, но герои, „Что дѣлать?“—не его герои. Онъ несомнѣнно имѣлъ въ виду идеалистовъ сороковыхъ годовъ, когда пытался создать своего Нежданова или писалъ слѣдующія строки въ одномъ изъ писемъ по поводу 60-хъ годовъ:

„Теперь—говоритъ онъ—не нужно ни особенныхъ талантовъ, ни даже особеннаго ума—ничего крупнаго, выдающагося, слишкомъ, индивидуальнаго,—нужно умѣть смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже жизненной работы—я беру слово „жизненный"—въ смыслѣ простоты, безпристрастности...—Чувство долга, славное чувство патріотизма въ истинномъ смыслѣ этого слова—вотъ все, что нужно... Мы вступаемъ въ эпоху только полезныхъ людей... и это будутъ лучшіе люди. Ихъ вѣроятно, будетъ много; красивыхъ, плѣнительныхъ—очень мало".

А ему нужны были красивые и плѣнительные Рудины, Шубины, Станкевичи, понимавшіе красоту, преклонявшіеся передъ искусствомъ. Въ средѣ „только полезныхъ людей" баринъ Тургеневъ чувствовалъ себя не дома.

Это одинъ изъ источниковъ его меланхоліи, другой—наслѣдственность. Онъ былъ баричемъ съ головы до ногъ, баричемъ стараго времени, съ привычками широкой жизни, добродушный, недѣятельный... „У Ивана Сергѣевича,—вспоминаетъ Вогюэ — рука была щедра и открыта, какъ и сердце его. Онъ безъ разбора жертвовалъ всѣмъ неимущимъ: достаточно было носить имя русскаго, чтобы быть принятымъ въ его домѣ, чтобы найти его кошелекъ открытымъ и слышать изъ его устъ ласковое слово". Въ немъ не было ни мелочной разсчетливости, ни мелочной зависти, созданныхъ конкуренціей и слишкомъ обострившимися отношеніями нашихъ дней. Свободно уступалъ онъ первое мѣсто Толстому, свободно признавалъ онъ юные таланты, напримѣръ, Гаршина.

Лучшія черты, стараго барства несомнѣнно воплотились въ его скромной, представительной, внушавшей невольное уваженіе, фигурѣ.

Ригористомъ и доктринеромъ онъ не былъ и не могъ быть по самымъ условіямъ своихъ жизненныхъ впечатлѣній, по устройству своего ума, склоннаго къ скептицизму, по слабости воли, наконецъ. Однажды онъ такъ формулировалъ свое міросозерцаніе „Я преимущественно реалистъ и болѣе всего интересуюсь живою правдою людской физіономіи, ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни въ какіе абсолюты и системы не вѣрю, люблю больше всего свободу, и, сколько могу судить, доступенъ поэзіи. Все человѣческое мнѣ дорого, славянофильство мнѣ чуждо, какъ и всякая ортодоксія. Больше ничего не имѣю доложить вамъ о себѣ"...

Онъ былъ мнителенъ и склоненъ къ меланхоліи. Стоитъ припомнить, какъ по-дѣтски боялся онъ холеры и убѣгалъ за тысячи верстъ при первомъ же слухѣ о ея приближеніи. Онъ самъ признался, что мужество — не его добродѣтель. Въ письмахъ своихъ онъ постоянно жалуется на все— на болѣзни, старость, нужду. Его излюбленная фраза: „Я человѣкъ конченный". Онъ любилъ славу, горячо дорожилъ ею, но никогда не могъ повѣрить въ нее вполнѣ. Ему постоянно казалось, что публика его не лю-

бить, молодежь презираетъ, что его повѣсти и разсказы проваливаются съ трескомъ. Сколько разъ сообщаетъ онъ о своемъ непремѣнномъ желаніи бросить литературу „и уже навсегда“, хотя самъ, вѣроятно, понималъ, что это для него совершенно невозможно, такъ же органически невозможно, какъ не пить и не ѣсть. Однажды судьба подвергла его жестокому испытанію, и несомнѣнно, что онъ не сумѣлъ перенести его, не сумѣлъ встрѣтиться лицомъ къ лицу съ бурей и непогодой. Это было въ 60-е годы, во время литературной исторіи съ „Отцами и дѣтьми“. Тургеневъ обидѣлся, загрустилъ, не писалъ нѣсколько лѣтъ, жаловался на свою судьбу, поторопился подписать себѣ приговоръ, хотя рѣшительно никакой надобности въ этомъ не чувствовалось. Онъ поступилъ, какъ избалованный, капризный ребенокъ, — большой ребенокъ, ребенокъ-гигантъ, но все же ребенокъ. Онъ далъ полный просторъ своей меланхоліи, создалъ свое знаменитое „довольно“—эту лучшую по картинности пѣснь нашей славянской тоски, славянскаго пессимизма... А вѣдь недоразумѣніе должно было разсѣяться рано или поздно. И это чувствовалось уже въ самомъ началѣ. Часть молодежи была на сторонѣ Тургенева, Писаревъ прямо провозгласилъ Базарова героемъ. Но слѣдуя пріему всѣхъ слабыхъ людей, нашъ великій писатель, чтобы найти какое-нибудь утѣшеніе, вообразилъ свою неудачу полной и безусловной. Разъ все кончено — и жалѣть больше не о чемъ.

Натура созерцательная по преимуществу, Тургеневъ не былъ ни общественнымъ, ни политическимъ дѣятелемъ. Это прежде всего поэтъ, художникъ, мечтатель, котораго неотразимо тянуло къ себѣ творчество. Онъ любилъ писать, любилъ страстно, хотя принимался за работу съ трудомъ и даже отчаяніемъ. Онъ весь вылился въ своемъ языкѣ, своемъ стилѣ, какъ Толстой въ своемъ. Его музыкальныя фразы, граненые періоды, аристократическая сдержанность выраженій, умѣнье вызвать настроеніе по преимуществу меланхолическое однимъ построеніемъ словъ, ихъ созвучіемъ—все это дѣлаетъ изъ него первоклассного писателя и въ то же время позволяетъ намъ заглянуть въ его душу. Въ каждаго изъ своихъ героевъ онъ вложилъ частицу собственнаго духа, и посмотрите, какіе это люди—мягкіе, нѣжные, красивые, настоящіе женщины—безъ дерзости духа, безъ гордости, даже безъ жестокости—кромѣ развѣ одного, да и то совершенно неудавшагося Инсарова, изъ „Наканунѣ“. И самъ Тургеневъ относится къ нимъ съ такимъ же вниманіемъ, такой же предупредительной ласковостью, какъ будто всѣ они, безъ исключенія, дѣйствительно женщины. Совершенно справедливо назвали его поэтомъ лишнихъ людей, этихъ героевъ слова, этихъ мужчинъ съ красивою женской душой. Одного взгляда на этихъ героевъ достаточно, чтобы сказать, что они не сдѣлаютъ ничего,

что ни къ какой упрямой борьбѣ они не способны, что всякое усиліе глубоко претитъ ихъ вялой натурѣ, ихъ выхоленнымъ рукамъ — красоту которыхъ самъ Тургеневъ отмѣчаетъ постоянно — и выхоленнымъ сердцамъ, гдѣ таится все честное, хорошее, благородное, но переливается не въ работу — тѣмъ болѣе въ черную упрямую работу 60-хъ годовъ—а въ слезы умиленія, въ восторги слова, въ художественные образы. Они способны лишь на красивые порывы, какъ Рудинъ, умирающій подъ звуки марсельезы, а больше всего на тихую созерцательную грусть, какъ Лаврецкій, какъ самъ Тургеневъ. Даже про суроваго на видъ Базарова вы, послушавъ его разговоръ на сѣнѣ съ Аркадіемъ, принуждены будете сказать то же самое. И всѣ они родные братья Тургенева по духу; оттого онъ такъ любитъ ихъ, такъ ласково относится къ нимъ и тратитъ весь свой изумительный художественный талантъ на описаніе тонкихъ изгибовъ ихъ души.

Въ другое время и въ другой обстановкѣ онъ непремѣнно увлекся бы въ сторону отчаянія, быть можетъ даже мистицизма. Его любимымъ писателемъ былъ Шопенгауеръ, самъ онъ всю жизнь не могъ отдѣлаться отъ тоски и грусти, подъ старость онъ создалъ свои „Стихотворенія въ прозѣ“... Любовь, красота, искусство—все, чему онъ служилъ, во имя чего жилъ и работалъ, — все это то и дѣло представлялось ему ненужнымъ, пустымъ, тлѣннымъ. Но онъ крѣпко держалъ себя въ рукахъ, и мы знаемъ—почему.

Мнительный и склонный къ меланхоліи по наслѣдству, съ широкими, размашистыми, иногда обломовскими привычками, Тургеневъ однако такъ долго и часто подвергался вліянію европейской дисциплинированной культурой жизни, что выработалъ въ себѣ и стойкость и вѣротерпимость западнаго образованнаго человѣка. Холопская формула „либо въ зубы, либо ручку пожалуйте“, не менѣе холопская привычка падать собственной своей физіономіей въ грязь, для выраженія собственнаго своего восторга — претили ему до тошноты. Чувство собственнаго достоинства и чувство мѣры были для него не пустыми словами и какъ для художника, и какъ человѣка. Въ роли пророка и Мессіи, такъ привлекавшей Гоголя, Достоевскаго, а теперь привлекающей Толстого, онъ не выступалъ никогда и добродушно подсмѣивался надъ пророками и мессіями. Скептикъ по натурѣ, проникнутый сознаніемъ безконечной сложности человѣческой жизни, онъ не могъ бы никогда сказать, что „я — истина“, а все остальное чепуха. Онъ цѣнилъ въ человѣкѣ прежде всего его свободу, его критическія способности, а не всероссійскую наклонность „итти и бѣжать“ куда прикажете — въ исповѣдальню Достоевскаго или въ интеллигентную колонію. Всякая ортодоксія была ненавистна ему, и наклонность къ ортодоксіи онъ порицалъ чаще и рѣзче всего — по-моему, слишкомъ даже рѣзко. Припомните его рѣзкія выходки противъ „идола“ Губарева

или секты матреновцевъ, т. е. послѣдователей взбалмошной бабы Матрены Савишны („Дымъ“). Справедливо замѣчено, что русскій человѣкъ—сектантъ по преимуществу, что ему необходимо восторгаться или плевать, иначе никакъ невозможно. Противъ этого узкаго сектантскаго духа и направлены всѣ рѣзкія выходки Потугина въ „Дымѣ“. „Намъ во всемъ и всюду нуженъ баринъ,—говоритъ Потугинъ,—бариномъ этимъ бываетъ большею частью живой субъектъ; иногда какое-нибудь, такъ называемое, направленіе надъ нами власть возымѣетъ: теперь, напримѣръ, мы всѣ къ естественнымъ наукамъ въ кабалу... Почему, въ силу какихъ резоновъ мы записываемся въ кабалу—это дѣло темное, такая ужъ, видно, наша натура. Но главное, чтобы у насъ былъ баринъ. Ну вотъ онъ и есть у насъ, это значитъ нашъ, а на все остальное—наплевать. Чисто холопы! и гордость холопская, и холопское угожденіе... Новый баринъ народился—старый долой. То былъ Яковъ, а теперь Сидоръ: въ ухо Якову, въ ноги Сидору... Кто палку взялъ, тотъ и капралъ“...

Что въ этихъ словахъ много вѣрнаго, это несомнѣнно, только не совсѣмъ вѣрно они сказаны. Въ силу какихъ резоновъ записываемся мы въ кабалу—знать можно, и натура наша тутъ не при чемъ. Все же это исканіе, это вѣра какая ни на есть, и куда она выше пустопорожней погони за лишнимъ рублемъ...

Но это между прочимъ.

Европейски дисциплинированной натурѣ Тургенева претило наше холопство, какъ претило и наше самодовольство. Онъ слишкомъ ясно видѣлъ и зналъ превосходство европейской культуры надъ нашей, чтобы колебаться въ выборѣ пути, по которому слѣдуетъ итти. Надо перенимать, но какъ? „Кто же васъ,—спрашиваетъ онъ,—заставляетъ перенимать зря? Вѣдь вы чужое берете не потому, что оно чужое, а потому, что оно вамъ пригодно, стало быть, вы соображаете, вы выбираете. А что до результатовъ,—такъ вы не извольте безпокоиться: своеобразность въ нихъ будетъ въ силу этихъ мѣстныхъ, климатическихъ и прочихъ условій... Вы только предлагайте пищу добрую, а народный желудокъ переваритъ ее по-своему, и со временемъ, когда организмъ окрѣпнетъ, онъ дастъ свой сокъ... Весь вопросъ въ томъ, крѣпка ли натура? а наша натура—ничего, выдержитъ: не въ такихъ была передѣлкахъ. Бояться за свое здоровье, за свою самостоятельность могутъ одни нервные больные, да слабые народы, точно такъ же какъ восторгаться съ пѣной у рта тому, что мы—русскіе, способны одни вздорные люди“.

Въ этомъ пунктѣ не согласиться съ Тургеневымъ, какъ кажется, совершенно невозможно. Наша культура все болѣе сближается съ западно-европейской, сближается не по днямъ, а по часамъ, съ каждымъ новымъ

торговымъ трактомъ, каждой новой переведенной статьей, каждой построенной фабрикой. Мы такъ далеко зашли по пути европейскаго просвѣщенія и европейскихъ экономическихъ отношеній, что если бы отъ Вержболова до Границы, а отъ Границы вдоль Карпатъ до устья Дуная воздвигнуть Гималайскій хребетъ, намъ все же бы пришлось итти тою же дорогой, какъ европейцы. Перенимать—выгоднѣе, экономнѣе, благоразумнѣе, да и безопаснѣе... особенно когда „перенимается", хотимъ ли мы того или не хотимъ.

Но спѣшу оговориться, западническія убѣжденія нисколько не мѣшали Тургеневу любить Россію. Вмѣстѣ съ Потугинымъ онъ могъ-бы сказать: я люблю и ненавижу Россію, свою странную, милую, скверную, дорогую родину.

Если бы теперь мнѣ предложили возможно короче опредѣлить міросозерцаніе Тургенева— я бы не употребилъ ни пошлаго слова „либералъ", ни неопредѣленнаго „западникъ", а сказалъ бы, что нашъ великій писатель былъ гуманистомъ. Человѣчность—вотъ что одухотворяетъ его произведенія, вотъ что составляетъ ихъ красоту.

Какъ умъ европейски дисциплинированный, Тургеневъ не могъ, разумѣется, имѣть никакого пункта соприкасательства съ нашими доморощенными консерваторами или, какъ ихъ лучше звать, „охранителями". Нашъ консерватизмъ, на самомъ дѣлѣ, вещь странная, въ XIX-омъ вѣкѣ почти невѣроятная. Такъ или иначе, въ той или другой формѣ, онъ—мракобѣсіе. Это совсѣмъ не то, что представляетъ изъ себя, напр., англійскій консерватизмъ. Послѣдній эгоистиченъ, остороженъ, но онъ никогда не ломится въ открытую дверь и никогда не стучитъ лбомъ въ стѣну. Англійскіе консерваторы, исторически дисциплинированные, проводятъ въ жизнь смѣлыя, демократизирующія общество, реформы, какъ Дизраэли въ 66 г., какъ Салисбери въ 84 г. Они понижаютъ цензъ, увеличиваютъ число голосовщиковъ на парламентскихъ и муниципальныхъ выборахъ. Они понимаютъ, что задерживать исторію можно, но становиться ей поперекъ дороги—опасно и не къ чему. Русскій консерваторъ—это прежде всего добровольный соглядатай—въ худшемъ случаѣ, мистикъ—въ лучшемъ. Онъ знаетъ только одно, что надо поварачивать назадъ. Онъ стоитъ за розги въ школѣ, кнутъ—въ судѣ, крѣпостничество—въ деревнѣ. Его благополучную голову не смущаетъ даже мысль о томъ, что поворачивать назадъ не только глупо, но и невозможно. Русскій консерваторъ убѣжденъ, что нѣтъ ничего на свѣтѣ сильнѣе розги или оффиціальной бумажки.

Тургеневъ не былъ и либераломъ въ европейскомъ смыслѣ слова. Западный либерализмъ живетъ формулой: „права, свобода, счастье для собственника". Тургеневъ просто любилъ права, свободу, счастье; но не дѣлилъ человѣчество на чистыхъ и нечистыхъ. Онъ былъ гуманистомъ въ широкомъ смыслѣ слова.

Любилъ ли онъ мужика, народъ? Не столько любилъ, пожалуй, сколько видѣлъ въ мужикѣ, человѣка, признавалъ въ немъ живую человѣческую душу и цѣнилъ ее. Онъ не народникъ, онъ не говоритъ, что надо учиться у мужика, что надо дѣлать такъ, какъ мужикъ хочетъ; онъ видитъ, что мужикъ грязенъ, невѣжественъ, голоденъ, что звѣрь еще сидитъ въ немъ, и желаетъ для него счастья, не особеннаго какого-нибудь, въ родѣ того, которое мерещилось прежде Достоевскому, а теперь мерещится Толстому,—а единственно возможнаго: основаннаго на знаніи, достаткѣ, правахъ.

Какъ гуманистъ, Тургеневъ безусловно искрененъ. Онъ гуманистъ не только по убѣжденіямъ, но по природѣ. Онъ прежде всего добръ, какъ человѣкъ, какъ художникъ. Не трудно замѣтить, что отрицательные типы не давались ему. Два-три урода выведены имъ въ „Запискахъ охотника", къ нимъ онъ относится съ негодованіемъ, но что значатъ эти два-три типа въ громадной галлереѣ образовъ, созданныхъ имъ? Въ этомъ смыслѣ Ренанъ правъ, говоря:

„Его миссія была вполнѣ умиротворяющей. Онъ былъ, какъ Богъ въ книгѣ Іова, творящій на высяхъ. То, что у другихъ производило разладъ, у него становилось основой гармоніи. Въ его широкой груди примирялись противорѣчія, проклятія и ненависть обезоруживались волшебнымъ обаяніемъ его искусства"...

Въ этомъ гуманизмѣ близость Тургенева съ народной душой, съ народной совѣстью. Заклейменный каторжникъ, убійца, жестокій истязатель для него прежде всего несчастный, которому слѣдуетъ сострадать. И Тургеневъ сострадалъ всѣмъ всю жизнь.

„Любовь,—писалъ онъ,—сильнѣе смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь"...

Изъ всемірно-литературныхъ типовъ Тургеневъ выше всего цѣнилъ Донъ-Кихота. Почему?

„Жить для себя, заботиться о себѣ,—говорилъ онъ,—Донъ-Кихотъ почелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ, если можно такъ выразиться, внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для истребленія зла, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ—волшебникамъ-великанамъ, т. е. притѣснителямъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда эгоизма, онъ не заботится о себѣ, онъ весь — самопожертвованіе, оцѣните это слово, онъ вѣритъ крѣпко и безъ оглядки... Смиренный сердцемъ, онъ духомъ великъ и смѣлъ"...

Тургеневъ и самъ хотѣлъ порою, чтобы и его захватилъ и „закрутилъ порывъ вѣры, любви, самопожертвованія и не въ творчествѣ лишь, а въ жизни",—но „каждому свое".

Въ Тургеневѣ не было злобы. Онъ оставался добрымъ, добродушнымъ,

даже когда сердился. Иногда на словахъ онъ давалъ увлечь себя личному раздраженію, но это было лишь минутнымъ настроеніемъ. Великія слова: „миръ между людьми“ и всепрощеніе были написаны на его знамени, какъ человѣка, мыслителя и художника.

Еще нѣсколько словъ объ этомъ большомъ и славномъ русскомъ человѣкѣ. Какъ сталъ онъ писателемъ?

Почти въ одно время съ „Антономъ Горемыкой“ появились и первые очерки „Записокъ охотника“. Странно, что они не понравились Бѣлинскому,—просто, вѣроятно, потому, что онъ видѣлъ въ нихъ слишкомъ много „щегольства“, отъ обаянія котораго, въ то время по крайней мѣрѣ, онъ совершенно старался освободиться. Однако, тутъ было и дѣло—притомъ очень серьезное дѣло: „Записками охотника“ Тургеневъ исполнилъ свою „ганнибаловскую клятву“—бороться „до послѣдняго издыханія“ съ страшнымъ врагомъ—крѣпостнымъ правомъ.

Позволю себѣ здѣсь маленькую оговорку. Преклоняясь передъ огромнымъ художественнымъ дарованіемъ Тургенева, мы, кажется, не совсѣмъ справедливо относимся къ нему, какъ къ человѣку. Мы все еще не можемъ отрѣшиться отъ взгляда на него, какъ на геніальнаго пейзажиста и далеко не всегда довѣряемъ искренности его либерализма, подозрѣвая, что за нимъ скрывается огромная доля обломовщины. Въ 60-хъ и 70-хъ годахъ было прямо въ модѣ упрекать Тургенева въ запгрываніи передъ современностью и дѣлать косвенные намеки, что онъ, какъ плоть отъ плоти и кость отъ костей стараго барства, ничему народному, демократическому сочувствовать не можетъ. Скажу прямѣе, что, если въ этихъ упрекахъ и намекахъ и скрывается истина, то лишь въ дозѣ самой незначительной. Мы всегда забываемъ, что Тургеневъ былъ и по образованію, и по впечатлѣніямъ молодости, и по самому складу своего свѣтскаго аналитическаго ума—настоящимъ европейцемъ. Допустимъ даже, что онъ преувеличиваетъ ужасъ своихъ дѣтскихъ крѣпостныхъ впечатлѣній, допустимъ, что крѣпостное право мало сравнительно задѣвало моральную сторону его натуры, что онъ не чувствовалъ за собою „грѣха“, видя народъ невѣжественнымъ и закабаленнымъ—но спросите себя, какъ долженъ былъ онъ, европейски образованный человѣкъ, относиться къ сценамъ на конюшнѣ или административнымъ мѣропріятіямъ своей матери? Тутъ можно даже оставить въ сторонѣ вопросъ о „совѣсти“ и моральномъ воздѣйствіи, тутъ надо помнить лишь, что для человѣка другой, *высшей* культуры факты *низшей* кажутся прямо невозможными, противоестественными и отвратительными. Такъ, между прочимъ, и смотрѣлъ на дѣло Тургеневъ, и ужъ въ этомъ случаѣ никакія подозрѣнія невозможны. Но думается, что они невозможны и ни въ какомъ другомъ: мы уже слиш-

комъ утвердились въ признаніи своей обломовщины—гражданской и общественной, и на всякое отклоненіе отъ нея смотримъ недовѣрчиво.

Искренняя ненависть Тургенева къ крѣпостному праву для меня несомнѣнна; сомнительно его народолюбіе, но вѣдь имъ онъ никогда не красовался, никогда даже не говорилъ о немъ. Высшая культура просто тѣмъ фактомъ, что она жила въ немъ, предъявляла свои требованія, и всѣ эти требованія шли противъ крѣпостничества. Эта высшая культура во всякомъ случаѣ не могла не научить уваженію къ личности, и имъ былъ полонъ Тургеневъ.

Какъ бы то ни было, первые очерки „Записокъ охотника“ появилис въ „Современникѣ“ 1847 года. Тутъ цѣлый рядъ портретовъ нашихъ крѣпостныхъ людей, красивая исторія того, какъ приспособлялась душа человѣческая къ своему невыносимому положенію, и неопредѣленно высказанный протестъ Тургенева противъ этихъ ужасовъ. Именно неопредѣленно, потому что стоитъ вамъ сравнить любой изъ очерковъ „Записокъ“ съ появившимся въ тѣ же дни „Сорокой-Воровкой“ Герцена, вы сразу замѣтите огромную разницу. Тамъ, гдѣ Герценъ волнуется и негодуетъ,—Тургеневъ только задумывается, а иногда весь уходитъ въ свое меланхолическое настроеніе, самое для него родное и близкое. Такимъ Тургеневъ оставался на всю жизнь, какъ будто образъ смерти ни на минуту не оставлялъ его, образъ не столько даже страшный и ужасающій, сколько тѣснящій сердце, навѣвая на него тоску, говоря о безсмысленности и кратковременности его существованія. Но все же какая огромная разница между „Записками охотника“, въ которыхъ Тургеневъ, какъ могъ, исполнялъ свою ганнибаловскую клятву и исполнялъ общественное дѣло,—и „Стихотвореніями въ прозѣ“. Этими стихотвореніями Тургеневъ прощался не съ читателями, не съ Россіей, не съ своей собственной жизнью даже, а съ жизнью вообще, жизнью всего живого, что когда-либо страдало и радовалось на землѣ. Въ лучшемъ изъ этихъ стихотвореній земля представляется ему уже мертвой, замерзшей глыбой льда, безумно и безцѣльно несущейся въ безконечномъ пространствѣ. Все молчитъ; ни звука надъ этой могилой человѣчества, и какимъ-то грознымъ шепотомъ разговариваютъ между собою однѣ горы. И эти горы торжествуютъ свою побѣду. Теперь онѣ спокойны. Люди надоѣдали имъ, надоѣдали своими криками, плачемъ, смѣхомъ, своей неугомонною дѣятельностью. Такія маленькія и въ же время исполненныя такого самомнѣнія, существа! Вообразили себѣ, что земля создана для нихъ и распоряжались на ней, какъ господа, какъ цари! Но—теперь хорошо. Вѣчное молчаніе могилы, вѣчное сіяніе льда, вѣчный холодъ... И съ такой философіей и вмѣстѣ съ какимъ-то робкимъ полупризнаніемъ чего-то таинственнаго, мистическаго въ жизни, что онъ выразилъ въ своихъ предсмертныхъ разска-

захъ „Пѣснь торжествующей любви“ и „Клара Миличъ“—Тургеневъ ушелъ въ могилу. Философія отчаянія, конечно, и отчаянія не протестующаго даже, а какъ бы примиряющагося съ тѣмъ, что выхода—нѣтъ! Какое-то предсмертное равнодушіе—но, повторяю, эта философія всегда, даже въ годы юности была у Тургенева, какъ была она у всѣхъ художественныхъ натуръ сороковыхъ годовъ... И не казались ли имъ нѣсколько смѣшными угловатые и взвинченные гражданскіе мотивы слѣдующаго поколѣнія, а если не самые мотивы, то, по крайней мѣрѣ, этотъ фанатизмъ, та любовь и ненависть, та непримиримость, которая влагалась въ нихъ?.. Этого, какъ все испытавшіе и пресыщенные баре, они не понимали...

А. И. Герценъ (1812—1870). Получивши для своего альманаха интермедію къ роману „Кто виноватъ“, Бѣлинскій писалъ Боткину: „Я изъ нея окончательно убѣдился, что Герценъ большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ—объ этомъ смѣшно и толковать: но вѣдь и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ Генріадѣ, но и въ Кандидѣ,—однако, его Кандидъ потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережилъ и еще переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію,—и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно огромно умны, а какъ люди, ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборотъ, чувства ушли въ умъ, осердеченный и согрѣтый гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ, не выѣзженнымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку“.

На мой взглядъ, въ этой коротенькой и, въ сущности, случайной характеристикѣ каждое слово на своемъ мѣстѣ и каждое имѣетъ огромное значеніе. Это ничего, что Бѣлинскій видѣлъ лишь часть литературной дѣятельности Герцена и притомъ, несомнѣнно, часть слабѣйшую по сравненію съ другой, опредѣлившейся лишь послѣ европейской катастрофы 1848 года: онъ обладалъ великой и цѣнной способностью угадыванія. И онъ угадалъ Герцена по немногимъ, хотя и крупнымъ намекамъ, далъ ключъ къ пониманію его творчества, „подчиненнаго уму и просвѣтленнаго имъ“, даже и не подозрѣвая, какую злую и трагическую шутку сыграетъ это „страшно много ума“ въ жизни знаменитаго эмигранта. Проницательная, скептическая мысль, сознаніе, ясное до предвидѣнія, неподкупный, мучительный анализъ, ежеминутно готовый обратить свое орудіе даже про-

тинъ самого себя—на самомъ дѣлѣ первое, что бросается въ глаза, при чтеніи Герцена. Припомните, какъ рѣзко и рѣшительно предсказалъ онъ крушеніе европейскихъ надеждъ 1848 года, хотя большинство еще носилось съ своими мечтами. Свою знаменитую фразу: „теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дѣло, пожалуйте“, Герценъ написалъ еще до Садовой—и въ это время для него была ясна не только неизбѣжность борьбы Германіи съ Франціей, но и побѣда первой. Онъ никогда, ни на минуту не вѣрилъ въ успѣхъ польскаго дѣла 1863 года и прекрасно сознавалъ, чѣмъ оно могло и должно было окончиться.

Никто, какъ онъ, не видѣлъ такъ ясно все безсиліе европейской эмиграціи 50-хъ годовъ, хотя онъ самъ находился въ центрѣ ея, а Гарибальди, Мадзини и Кошутъ были еще живы и полны, если не надеждъ, то силъ. Онъ не умѣлъ подчиняться ни обману, ни самообольщенію, хотя бы на одинъ день или даже минуту. Онъ первый понялъ, что послѣ 63-го года его роль въ Россіи сыграна, что никакими усиліями не удастся вернуть „Колоколу“ его прежняго положенія, и приневолилъ себя уйти почти исключительно въ свои воспоминанія—обстоятельство, счастливое для литературы, обогатившейся такою удивительною вещью, какъ „Былое и думы“, но далеко не особенно счастливое для него самого.

Да, это былъ огромный умъ. Его способность провидѣнія приводитъ въ продолжительное изумленіе даже покойнаго Страхова и это совершенно понятно, потому что надо перенестись въ обстановку 60-хъ годовъ, въ ту сумятицу международныхъ отношеній, припомнить обаяніе Наполеона III-го, никому невидный и незамѣтный ростъ Пруссіи, чтобы по достоинству оцѣнить проникновенныя слова „теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дѣло“, въ которыхъ высказанъ смертный приговоръ второй имперіи.

Но въ то же время это чисто-русскій умъ, несмотря на полунѣмецкое происхожденіе Герцена,—умъ, не знающій предѣла своей скептической работѣ, стоящій насторожѣ противъ всякой иллюзіи, вдохновенно работающій лишь при голосѣ совѣсти. Это умъ безъ традицій, безъ историческихъ догматовъ, безъ тѣни предразсудковъ и самообольщенія, подавленный своимъ могуществомъ, органической невозможностью остановиться на чемъ-нибудь положительномъ въ окружающей жизни. Какъ хорошо идетъ къ нему—хотя, какъ скоро увидимъ, не покрываетъ его—извѣстная характеристика Чаадаева:

„Посмотрите вокругъ себя. Все (у насъ), какъ будто, на ходу. Мы всѣ, какъ будто, странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... Нѣтъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія, ничего постояннаго, непремѣннаго: все проходитъ, все протекаетъ, не оставляя слѣдовъ ни на внѣшности, ни на васъ самихъ“.

На этой-то почвѣ выросъ и развился Герценъ. Сынъ родовитаго барина, онъ однако не могъ чувствовать особеннаго уваженія къ портретамъ предковъ уже потому, что онъ былъ незаконнорожденнымъ и еще ребенкомъ презрительно называлъ генеалогію зоологіей, а генеалогическія таблицы—зоологическими. Главный устой жизни того времени, крѣпостное право стало ему несносно и отвратительно съ двѣнадцатилѣтняго возраста, хотя деревенскіе ужасы были знакомы ему лишь по наслышкѣ. 17-лѣтнимъ мальчикомъ онъ поступилъ въ московскій университетъ, и начались годы чисто-абстрактнаго восторга передъ сенъ-симонизмомъ, затѣмъ годы ссылки въ Вятку, въ Новгородъ и службы въ губернскомъ правленіи. Разумѣется, все время онъ чувствуетъ себя совершенно чуждымъ провинціальному обществу и, только возвратившись въ Москву, онъ поступаетъ въ самый центръ интеллигентной жизни. Но и это длится немного лѣтъ 1840—1846. Его скоро начинаетъ тянуть за границу, подальше отъ вѣжливаго Дуббельта и всемогущаго III-го отдѣленія. Онъ радостно переѣзжаетъ заставу, жадно вдыхаетъ въ себя европейскій воздухъ, долго не можетъ повѣрить, что онъ въ Парижѣ, потомъ въ Римѣ, что онъ видитъ около себя взволнованныя толпы народа, слышитъ высокія, звучныя фразы. Увы, фразы скоро замолкли, и бѣдный Герценъ, безповоротно загубившій свою репутацію въ 1848 г., обращается въ вѣчнаго странника, держать котораго боится Швейцарія, котораго гонитъ отъ себя Франція. Онъ не смѣетъ показаться ни въ Италіи, ни въ Австро-Венгріи, одна Англія не отказываетъ ему въ пріютѣ. О возвращеніи въ Россію онъ уже и не думаетъ

Исторія на самомъ дѣлѣ не завѣщала ему ни одной традиціи, которая была бы для него привычкой, ни одного воспоминанія, которое бы сдѣлалось для него инстинктомъ. Все завѣщанное прошлымъ было отвратительно. до послѣдней степени, потому что это завѣщаніе исчерпывалось рабствомъ, ложью, низкопоклонствомъ. Исторія начиналась для него дѣйствительно со вчерашняго дня—съ реформы Петра Великаго, она вся была въ будущемъ, но и въ это будущее вѣрилось плохо. И онъ всю жизнь былъ странникомъ—и въ домѣ родного отца, съ которымъ не чувствовалъ никакой связи, и въ университетѣ, такъ какъ что же общаго между теоріей Сенъ-Симона и практикой николаевской эпохи, и въ провинціи, гдѣ всѣ люди представлялись ему помѣшанными, и потомъ за границей, гдѣ Наполеонъ III преслѣдовалъ его, какъ Дуббельтъ, а Швейцарія вѣжливо просила освободить ее отъ „весьма лестнаго при иныхъ обстоятельствахъ въ ней пребыванія“...

Представьте себѣ теперь могучій, пытливый умъ въ такой странной обстановкѣ, гдѣ все воспитывало ненависть къ прошлому и отвращеніе къ окружающему, гдѣ на каждомъ шагу безконечно и беззастѣнчиво подавля-

лось самое святое для Герцена,—свобода человѣческой личности и ея достоинство, подавлялось и крѣпостнымъ правомъ, и чиновничьимъ произволомъ, и всякими случайностями,—гдѣ все, казавшееся прекраснымъ и благороднымъ, быстро погрязало въ пошлости, лицемѣріи и предательствѣ,—жизнь тяжелую и утомительную, надъ которой лишь въ недосягаемой высотѣ, блѣдными призраками, рѣяли чудные завѣты свободы и братства, и вы поймете то разочарованіе, ту усталь, въ которую онъ долженъ быть впасть.

Но до крушенія февральской революціи, до страшныхъ іюньскихъ дней, подвиговъ Кавеньяка, торжества Наполеона, у Герцена была еще радостная вѣра въ „Западъ и его могучую мысль". Отраженнымъ свѣтомъ эта вѣра падала и на русскую жизнь. Критикуя впослѣдствіи славянофиловъ, онъ говорилъ: „Ихъ ошибка состояла въ томъ, что имъ казалось будто Россія имѣла когда-то свойственное ей развитіе, затемненное разными событіями и наконецъ петербургскимъ періодомъ. Россія никогда не имѣла этого развитія и не могла имѣть. То, что приходитъ къ сознанію у насъ, то, что начинается въ мысли, въ предчувствіи, то, что существуетъ безсознательно въ крестьянской избѣ и на полѣ—то теперь только всходитъ на пажитяхъ исторіи, утучненныхъ кровью, слезами и потомъ двадцати поколѣній. Эти основы нашего быта не воспоминанія, это живыя стихіи, существующія не въ лѣтописяхъ, а въ настоящемъ, но онѣ только уцѣлѣли подъ труднымъ историческимъ вырабатываніемъ государственнаго единства и подъ государственнымъ же гнетомъ только сохранились, но не развились. Я даже сомнѣваюсь, нашлись ли бы внутреннія силы для ихъ развитія безъ петровскаго періода, періода европейскаго образованія. Непосредственныхъ основъ было недостаточно. Въ Индіи теперь испоконъ вѣка существуетъ сельская община, очень сходная съ нашей и основанная на раздѣлѣ полей, однако индѣйцы съ ней недалеко ушли. Одна мощная мысль Запада, къ которой примыкаетъ вся исторія его, въ состояніи оплодотворить зародыши, дремлющіе въ патріархальномъ быту славянскомъ".

Только въ самыхъ общихъ чертахъ, только откладывая осуществленіе мечты все дальше на вѣка и поколѣнія, пораженный въ то же время ужасомъ и отвращеніемъ къ тому, что дѣлалось въ Европѣ его дней, Герценъ сохранилъ вѣру въ могучую мысль Запада до конца. Но эта вѣра не имѣла уже въ себѣ ничего радостнаго, торжествующаго, это было скорѣе умственное обязательство—ничтожный кристаллъ, осѣвшій среди постоянныхъ разочарованій и напряженной скептической работы. Эта вѣра не питалась ничѣмъ конкретнымъ, жизненнымъ, въ ней не было уже яркихъ красокъ вдохновенія. Вокругъ все противорѣчило ей, все было ей враждебно. Оттого-то жалобы, стоны все чаще начинаютъ вырываться у

Герцена, какая то безнадежная грусть слышится въ его словахъ, становится его господствующимъ настроеніемъ, а по прежнему могучій, но уже значительно озлобленный умъ, непрестанными усиліями подтачиваетъ послѣднія основы жизни...

Это серьезная, мучительная драма. Рядомъ съ скептическимъ, безстрашнымъ умомъ, такъ легко освободившимся отъ преданій и завѣтовъ „несуществующей русской старины"—умомъ, начавшимъ свою работу, безъ воспоминаній о вчерашнемъ днѣ, безъ инстиктовъ, безъ преградъ, поставленныхъ жизнью и исторіей, а въ дни юности радостно принимавшимъ всѣ выводы „свирѣпой имманенціи", чего бы они ни касались: Бога, религіи допетровской старины, русской общественности,—Герценъ обладалъ въ высшей степени живымъ, даже страстнымъ темпераментомъ, который не позволялъ ему ни на минуту оставаться на мѣстѣ, въ покоѣ, постоянно толкалъ его въ самую свалку жизни и дѣлалъ его агитаторомъ, хотя для такой роли онъ былъ слишкомъ мало фанатикъ и слишкомъ много скептикъ. Его радовала борьба, онъ упивался ея атмосферой, онъ любилъ ее и вдохновенную, и напрягающую всѣ силы человѣка. Въ видѣ спора онъ любилъ борьбу еще въ дѣтскіе и университетскіе годы. Онъ привѣтствовалъ ее въ знаменитомъ спорѣ западниковъ и славянофиловъ, въ статьяхъ Бѣлинскаго, въ лекціяхъ Грановскаго, а еще раньше въ знаменитомъ „Философическомъ письмѣ" Чаадаева, онъ отправился искать ее на Западъ, со всѣмъ увлеченіемъ примкнулъ къ ней въ началѣ шестидесятыхъ годовъ,—но все это оказалось однѣми иллюзіями, случайными порывами въ далекое будущее. Сомнѣнія, анализъ, этотъ тревожный, вѣчно дѣятельный анализъ замолчалъ на минуту, чтобы сейчасъ же наверстать потерянное, обнаружить факты жизни и ея основы во всей ихъ уродливости, облить ядомъ ироніи мгновенный восторгъ. Приходилось замыкать себя на ключъ, слушать „дикія бредни" эмигрантовъ, мучительно сознавать свое безсиліе, а темпераментъ, эта основа жизни, не давалъ покоя и, застоявшись, не находя себѣ исхода, осаждался въ безконечную грусть, въ уныніе, въ разочарованность... „Сядемте съ вами на корабль, будемъ переплывать океанъ, будемъ всегда наготовѣ помочь тѣмъ, кто борется за свободу",—говорилъ какъ-то Гарибальди Герцену. Онъ могъ лишь улыбнуться тоскливо въ отвѣтъ,—нѣтъ свободы въ жизни, есть „дѣло А. И. Герцена, дворянина"—въ рукахъ Дуббельта, въ канцеляріи Наполеона, десятокъ другихъ въ Пруссіи, Австріи, Италіи, Швейцаріи. Нѣтъ свободы въ жизни и не можетъ быть ея пока, потому что „теперь, графъ Бисмаркъ, ваше дѣло"...

Въ удивительномъ и въ высшей степени своеобразномъ стилѣ Герцена вы ясно видите отраженіе этой постоянной, глухой борьбы между пылкимъ, дѣятельнымъ темпераментомъ и скептическимъ умомъ— гораздо менѣе склон-

нымъ къ добродушной насмѣшкѣ, чѣмъ къ злой ироніи. Ничего подобнаго стилю Герцена русская литература не знаетъ: онъ самъ по себѣ. Если хотите, онъ до послѣдней степени небреженъ, его слова, языкъ—не правиленъ, тутъ немало нѣмецкихъ оборотовъ рѣчи и англійской краткости. Герценъ пишетъ до невозможности сжато: безъ всякаго особеннаго труда вы можете распространить каждую его фразу на десятокъ. Оттого-то у него такое пристрастіе ко всевозможнымъ причастіямъ, дѣепричастіямъ и вводнымъ предложеніямъ. Онъ положительно скупъ на точки. Онъ нагромождаетъ одинъ эпитетъ на другой, и каждый его эпитетъ цѣлая мысль. Возьмите хотя бы начало его знаменитой характеристики славянофильства: „Славянофильство,—пишетъ онъ,—или руссицизмъ, не какъ теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе, какъ противодѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовало со времени обритія первой бороды Петромъ Великимъ“.. Такъ по-русски ни до, ни послѣ Герцена не писалъ никто: это почти сжатость Тацита, это въ немногихъ словахъ сконцентрированная мысль, даже цѣлый рядъ мыслей, это мѣткій намекъ на цѣлую доктрину, о которой вы получаете однако яркое представленіе, благодаря такимъ эпитетамъ, какъ „оскорбленное народное чувство“, „темное воспоминаніе“. Вы сразу видите, что Герценъ признаетъ законность славянофильства, какъ возстанія противъ обиды и оскорбленія, и осуждаетъ его, какъ темное воспоминаніе, какъ стихійный инстинктъ. И этимъ сжатымъ, своеобразнымъ стилемъ, въ которомъ вы не найдете ни одного непродуманнаго слова, гдѣ каждый эпитетъ говоритъ вамъ объ огромной вдумчивости, объ огромномъ запасѣ чувства, потраченнаго на процессъ мысли, написаны цѣлые томы, начиная „Съ того берега“ и кончая послѣднею страницею „Былого и думъ“. Именно, много чувства, но чувства сконцентрированнаго, сдержаннаго, много порабощенной страсти слышится въ каждой фразѣ Герцена. Конечно, поэтому-то онѣ—эти фразы производятъ такое неотразимое впечатлѣніе. И когда онъ порою даетъ полный просторъ тому, что у него въ душѣ—своей обидѣ, горечи, — это чувство вырывается наружу, разбиваясь то на безчисленныя брызги желчной неподражаемой ироніи — настоящей ироніи Свифта, предлагавшаго когда-то поджаривать ирландскихъ ребятишекъ, чтобы они не умирали съ голоду,—или гордаго вызова грубому и безпощадному населенію жизни, или безконечной нѣжности, при грустныхъ воспоминаніяхъ о любимомъ и утерянномъ въ жизни. Вся гамма чувствъ была доступна Герцену, и онъ превосходно приспособилъ къ ней свой стиль, всегда готовый ко всякимъ неожиданнымъ переходамъ, гдѣ умъ всегда сторожитъ чувство, гдѣ нѣжность смѣняется гнѣвомъ. Совершенно невольно, но какъ нельзя болѣе кстати, вспоминается при этомъ фраза изъ

приведенной выше характеристики Бѣлинскаго: „умъ Герцена—осердеченный и согрѣтый гуманистическимъ направленіемъ, но не привитымъ извнѣ, а присущимъ его натурѣ“.

Рядомъ съ нимъ, во всемъ, что вышло изъ-подъ пера Герцена, вы чувствуете какое-то особенное благородство, даже аристократизмъ, пожалуй, которые производятъ на васъ сильное и серьезное впечатлѣніе. Вы не можете не замѣтить совершенно инстинктивной и невольной боязни передъ общими мѣстами, избитыми фразами, всяческой банальности. Онъ говоритъ только о томъ, что глубоко затронуло его, и умѣетъ передать вамъ глубину своего настроенія. Это благородство стиля совсѣмъ не французское даже, за которымъ можетъ скрываться плачевная пустота, это даже гораздо больше чѣмъ порядочность,— это своеобразное рыцарство духа, органически отвращающееся отъ всего пошлаго и низменнаго, тѣмъ болѣе низкаго: это высшая красота огромнаго ума, которая не нуждается ни въ какомъ крикливомъ нарядѣ, ни въ какихъ побрякушкахъ, ни въ какой вычурности. Вы должны всмотрѣться въ нее, чтобы оцѣнить всю почти сверхчеловѣческую правильность формъ и линій, чтобы почувствовать у себя на душѣ отраженіе этой гармоніи. Оттого-то, быть можетъ, Герценъ и пользовался такъ осторожно своей ироніей, оттого-то его озлобленіе и разрѣшалось всегда раздумьемъ. Да, благородство, сдержанность, еще лучше англійское reserve—это слова, которыя удачнѣе другихъ характеризуютъ стиль Герцена. И здѣсь, конечно, рыцарскій стиль только отражаетъ рыцарскій духъ. Я напомню читателю извѣстную параллель, сдѣланую Герценомъ („Къ вопросу объ историческомъ развитіи чести“ и „Западныя арабески“) между рыцаремъ и мѣщаниномъ, гдѣ первому отдается полное предпочтеніе, хотя онъ страшный невѣжда, „драчунъ“, „бреттеръ, и разбойникъ и монахъ, пьяница и піэтистъ“ по сравненію со вторымъ, этимъ „истертымъ и промежуточнымъ лицомъ“. Рыцарь былъ больше „онъ самъ“, больше „лицо“, былъ всегда открытъ и откровененъ—и этого совершенно достаточно, чтобы поставить его безконечно выше современнаго буржуа, отяжелѣвшаго въ своей полезной добродѣтели. Я помню далѣе извѣстный разсказъ о пребываніи Гарибальди въ Лондонѣ, когда министры мѣщанской Англіи постарались внушить знаменитому революціонеру, что его драгоцѣнное здоровье очень разстроено,—что конечно, они въ восторгѣ отъ лестнаго его пребыванія въ портахъ острова, но опасаются, какъ бы сырой климатъ не повредилъ, и т. д. и т. д.—говорилъ Гладстонъ. Надо перечесть этотъ разсказъ, надо вникнуть въ этотъ тонъ сдержаннаго негодованія, чтобы понять, съ какой силой ненавидѣлъ и презиралъ Герценъ эти экивоки, это лицемѣріе, эту дипломатическую ложь.

Быть открытымъ и откровеннымъ все время и до конца,—это былъ

девизъ его жизни и его стиля. Онъ не задумался порвать съ Грановскимъ на долгіе годы, послѣ того какъ тотъ, въ значительной степени обмосквившійся, попросилъ, и притомъ рѣзко и раздражительно, не затрогивать нѣкоторыхъ вопросовъ. Герценъ сразу понялъ, что произошло въ этой маленькой сценѣ, и что образовавшейся трещины не заполнить ни дружескими словами, ни визитами. Благородная прямота—лучшее украшеніе его характера и лучшее же украшеніе—его стиль.

Стиль этотъ порою, благодаря изумительному сочетанію раздумья и ироніи, капризовъ чувства и глубокой прозрачной мысли, достигаетъ неожиданныхъ и даже грандіозныхъ эффектовъ. Казалось бы, какъ легко затеряться въ этомъ рядѣ фразъ, періодовъ, такъ мало связанныхъ между собою и проникнутыхъ такимъ разнообразнымъ настроеніемъ. Но въ томъ-то и заключается могущество таланта Герцена, что онъ заставляетъ васъ, и не поверхностно какъ-нибудь, а дѣйствительно глубоко, какой-нибудь дюжиной словъ пережить цѣлую гамму чувствъ, вызывая ихъ иногда одними эпитетами и намеками. Когда вы встрѣчаете подобную страницу, вы видите ясно, что она можетъ принадлежать только великому писателю и мало того — человѣку, который много испыталъ и много перечувствовалъ,—человѣку, который имѣлъ полное право сказать о себѣ: „жизнь учитъ насъ годами лишеній, муки и горя“... Еще одно замѣчаніе: такой ль, какъ стиль Герцена, очевидно, можетъ принадлежать только дѣйствительно чуткому человѣку, способному глубоко любить, глубоко ненавидѣть и глубоко негодовать. И конечно, это негодованіе было у Герцена особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда насиліе или лицемѣріе затрогивали то, что онъ считалъ за святое святыхъ нашей жизни—свободу человѣческой личности. Малѣйшее посягательство на нее бросало его въ дрожь, и эта дрожь всего организма слышна въ слогѣ его. Въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ Герценъ выростаетъ до размѣровъ Байрона. Та же тоска и тотъ же сарказмъ въ его фразѣ, та же печаль, любовь и негодованіе въ его настроеніи, та же грусть на гордой и холодной высотѣ одиночества, та же милая дѣтская улыбка рядомъ со словомъ проклятія и невѣрія. И тотъ же стиль, всегда свободный и могучій, несмотря на уныніе, близкое къ отчаянію...

Литературная дѣятельность Герцена въ Россіи исчерпывается собственно слѣдующими крупными произведеніями: „Письмами объ изученіи природы“, „Письмами о дилетантизмѣ и буддизмѣ“, романомъ „Кто виноватъ“, „Записками молодого человѣка“. „Еще изъ записокъ молодого человѣка“, „Записками доктора Крупова“, „Сорокой Воровкой“ и “Письмами изъ Avenue Marigny“ и немногими другими. Были мелкія публицистическія работы, напримѣръ, письма изъ Москвы о лекціяхъ Грановскаго,

полемика съ славанофилами и т. д.,—но эти мелкія публицистическія работы яснаго представленія о настоящемъ Герценѣ намъ не даютъ. Настоящій Герценъ весь въ „Письмахъ о дилетантизмѣ“, въ „Запискахъ Крупова“, въ его романѣ. Сопоставляя эти вещи, вы видите уже ту роковую борьбу, которая происходила въ душѣ знаменитаго писателя въ теченіе всей его жизни—борьбу между страстной вѣрой въ силу знанія, въ конечное торжество справедливости, въ возможность полной перестройки жизни при помощи положительной науки и смутнымъ въ то время, но уже глубокимъ скептицизмомъ, видѣвшимъ порою въ жизни торжество какой-то темной и безсмысленной силы.

Сначала о вѣрѣ.

Въ своихъ философскихъ статьяхъ Герценъ ставитъ вопросъ: почему наука не можетъ водворить счастья на землѣ? Казалось бы, для этого въ ея распоряженіи всѣ средства: къ тому же, если ложь человѣческаго существованія и ея непримиренныя противорѣчія ведутъ къ враждѣ, гибели, мученичеству, то очевидно, что наука, какъ истина, не можетъ не вести къ торжеству справедливости и любви. Почему же этого нѣтъ? Виновата, конечно, не наука, виноваты прежде всего и только сами люди, которые не умѣютъ и не знаютъ, какъ относиться къ этому сокровищу.

Онъ близко подходитъ къ этому вопросу уже въ „Письмахъ объ изученіи природы“. Въ этой крупной работѣ (стр. 34—300 II-го тома) онъ разсматриваетъ борьбу и соотношеніе между различными философскими системами, дѣлая ихъ основательное историческое обозрѣніе. Его смѣлая юная мысль стремится здѣсь къ высшему синтезу между идеализмомъ и реализмомъ, между философіей и естествознаніемъ. Онъ особенно недоволенъ разграниченіемъ, часто враждебнымъ, всегда рѣзкимъ, этихъ двухъ послѣднихъ областей мышленія. Естествознаніе сознательно ставитъ себѣ точку передъ цѣлымъ рядомъ вопросовъ, не обращая вниманія „на голосъ вопіющаго разума, не умѣющаго останавливаться на полдорогѣ,—голосъ самой naturae rerum, стремящейся вполнѣ просвѣтлѣть въ мышленіи человѣчества“, „Вѣроятно, вы замѣчали, — говоритъ Герценъ, — съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего воззрѣнія, какъ бы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣтить не могутъ; *но такого рода границы несостоятельны;* поставленныя личной волей, онѣ столько же внѣшне чужды предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорятъ, что имъ дѣла нѣтъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить“... „Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ?—Наполеонъ считалъ пароходы невозможностью“—съ страстнымъ возмущеніемъ

замѣчаетъ Герценъ и пишетъ дальше: „Большею частью смѣлость (цеховыхъ ученыхъ) подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни... У иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею и бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ; они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полнаго успѣха, что предметъ не побѣжденъ... Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подъ силу, какъ скупому стяжателю знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его“... Изъ этихъ строкъ совершенно ясно видно, какъ Герценъ относился къ позитивизму. Очевидно, что идея научной философіи, вѣдающей смыслъ и связь всѣхъ явленій жизни, всѣхъ данныхъ, добытыхъ опытомъ, была уже ясна ему. „Правильно развиваясь, эмпирія (опытъ) должна перейти въ спекуляцію и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ“. Отсюда—необходимость высшаго синтеза. „Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что умозрѣніе и эмпирія равно виноваты во взаимномъ непониманіи... И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имѣютъ всѣ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состоитъ его историческая необходимость—одно только унаслѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать обветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно объясниться во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе“... „Что тутъ за мѣстничество? Наука одна; двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; испоконъ вѣка сравнивали науку съ вѣтвящимся деревомъ — сходство чрезвычайно вѣрное; каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность; ихъ можно принять за особыя растенія; но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому растенію этихъ растеній—дереву: отнимите вѣтви—останется мертвый пень, отнимите стволъ—вѣтви распадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непремѣнно вошло нѣчто данное, впередъ идущее, не ими узаконенное. Они только органы, принадлежавшіе одному существу, отдѣлите органъ отъ организма и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью: и организмъ, въ свою очередь лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ трупомъ, кучею частицъ... Смерть и гніеніе трупа—полное освобожденіе частей“...

Наука должна отдѣлаться отъ метафизическихъ бредней, отъ тьмы тьмущей спеціальностей (кромѣ технической своей части), и въ такомъ только

случаѣ она станетъ доступной всѣмъ людямъ и будетъ въ состояніи потребовать голоса во всѣхъ дѣлахъ жизни. Это возможно и достижимо. Герценъ мечтаетъ о полной демократизаціи науки, потому что нѣтъ „мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно, особенно въ ея діалектическомъ развитіи“.

Въ одинъ радостный для человѣчества день, наука отпразднуетъ свое бракосочетаніе съ жизнью. Но для этого должны предварительно исчезнуть и *цеховые ученые*, замкнувшіеся въ отдѣльной вѣтви какой-нибудь спеціальной науки,—и *дилетанты*, смотрящіе въ жизнь въ телескопъ, и *буддисты*, которыхъ калачомъ не заманишь въ міръ дѣйствительности: такъ имъ хорошо и почетно въ мірѣ отвлеченностей.

Идея научной философіи, борьба съ духомъ спеціализаціи и цехового самодовольства; мечта о наукѣ какъ общемъ достояніи, отрицаніе всякихъ абстракцій и сущностей—въ чемъ трудно не видѣть вліянія фейербаховской философіи,—требованіе переработать дѣйствительность и привести ее въ согласіе съ разумомъ, единой истинной наукой и нравственнымъ чувствомъ человѣка и вѣра въ возможность осуществленія этой грандіозной задачи—вотъ Герценъ въ большинствѣ своихъ статей до рубежа его жизни—краха февральской революціи и романтическихъ надеждъ Европы. Рядомъ съ этимъ боевое отношеніе къ факту дѣйствительности, исполненная печали насмѣшка надъ глупостью, самодовольствомъ и пошлостью тѣхъ, кто распоряжается жизнью, имѣетъ власть надъ нею, пользуется ея привилегіями,—тѣнь мысли, что человѣчество неизлѣчимо и неисправимо и яркій свѣтъ вѣры въ скорое грядущее возрожденіе... Стремясь къ полнотѣ научнаго знанія, никогда не мирясь съ дѣйствительностью и ея зломъ, умѣй бороться и даже погибнуть, но не лги никогда передъ собой, ни передъ требованіями высшей истины. Это—нравственная сторона проповѣди Герцена.

Не разрѣшивъ безусловно поставленныхъ вопросовъ, Герценъ тѣмъ не менѣе сдѣлалъ очень много: роль его статей и статей Бѣлинскаго въ области публицистическаго мышленія такая же, какъ Пушкина въ области художественнаго творчества. Пушкинъ былъ первымъ реалистомъ, первымъ, который умѣлъ вдохновляться дѣйствительностью. Герценъ и Бѣлинскій были первыми истинными реалистами, первыми, которые признали практическую дѣйствительную жизнь за необходимый элементъ мышленія, которые потребовали *отвѣтственности передъ обществомъ* отъ жрецовъ искусства и науки.

Именно этой стороной своего міросозерцанія Герценъ оказалъ наибольшее вліяніе на своихъ современниковъ. Онъ удачно развязалъ путы гегелевской философіи, стѣснявшія многихъ и прежде всего, конечно, Бѣлинскаго. Въ его статьяхъ звучалъ бодрый призывъ къ работѣ, къ борьбѣ со

зломъ, къ водворенію правды въ человѣческихъ отношеніяхъ. Онъ былъ противъ всякаго примиренія и противъ буддизма, уходившаго отъ дѣйствительности, и противъ дилетантизма, отворачивавшагося отъ нея.

Статьи Герцена пользовались успѣхомъ, ими зачитывались. Въ нихъ было что-то новое, вѣяло новымъ духомъ точной науки, положительнаго знанія, общественныхъ преобразованій, которыя должны явиться, разъ наука войдетъ въ жизнь. Было и самое дорогое для русскаго читателя — нравственная проповѣдь, хотя, разумѣется, въ тонъ проповѣдника Герценъ не впадалъ никогда. Но онъ, очевидно, требовалъ отъ всякаго, чтобы тотъ, какъ первое элементарное условіе нравственности, защищалъ отъ жизненной лжи, лицемѣрія и насилія то единственное несомнѣнное, что есть— „человѣческую личность“ и ея достоинство. Ни тѣни метафизическихъ увлеченій, уже набившихъ оскомину. Никакихъ отвлеченностей, взятыхъ у Гегеля или Шеллинга: все просто и ясно, все подчинено одному верховному принципу: наша общественная жизнь есть ложь; только наука можетъ и должна водворить истину вмѣсто этой лжи. Но гдѣ же взять эту науку? Конечно, на Западѣ, старшемъ годами и мудростью, и Герценъ преклонялся передъ мощной мыслью Запада.

Но былъ ли онъ дѣйствительно западникомъ? Это очень трудный вопросъ. Если вы соберете воедину его работы того времени, его письма и разговоры, его корреспонденціи, мелкія публицистическія статьи, его насмѣшки надъ славянофилами—надъ „Маякомъ“ и „Москвитяниномъ“, Погодинымъ и Шевыревымъ, вспомните о его дружбѣ съ Бѣлинскимъ и Грановскимъ—вы должны будете признать въ немъ истиннаго западника. Потому что для Россіи онъ видѣлъ одинъ выходъ—въ европейской наукѣ, европейской мысли. Но въ то же время что-то тянуло его къ славянофильству, это „что-то“, опредѣлившееся гораздо позже, лишь въ началѣ 60-ыхъ годовъ. Ненависти къ славянофильству онъ во всякомъ случаѣ не чувствовалъ. Онъ, баринъ, не *могъ* оборвать съ славянами такъ рѣзко и сразу, какъ Бѣлинскій (за что и слышалъ постоянно упреки отъ послѣдняго), его насмѣшки добродушны, *идея* славянофильства, очевидно, смущаетъ его, притягиваетъ къ себѣ. Онъ расправляется съ нею совершенно свободно, когда она является передъ нимъ въ видѣ воспринятой Шевыревымъ и Погодинымъ формулы оффиціальнаго руссофильства, но мистическія, вдохновенныя рѣчи Аксакова и Хомякова, очевидно, заразили его. Онъ колебался, двоился, онъ думалъ о примиреніи двухъ лагерей, примиреніи, которое тотъ же Бѣлинскій, напр., считалъ совершенно невозможнымъ, заявляя: „я жидъ по натурѣ, и сидѣть за однимъ столомъ съ гоями не могу!“ Повторяю— его смущала идея. На самомъ дѣлѣ, чего хотѣли славяне? Они хотѣли исторически обосновать право русскаго народа и русскаго человѣка на само-

стоятельное существованіе. Они хотѣли узаконить его личность, его природу среди личности и природы другихъ національностей. Они хотѣли показать, что русскіе—славяне не случайные гости всемірной исторіи, не безплатное и обременительное приложеніе къ германскому міру, а нѣчто „само по себѣ“ сущее, съ своимъ прошлымъ, своимъ настоящимъ и будущимъ, своими задачами и своими же средствами для осуществленія этихъ задачъ. Пунктъ за пунктомъ старались они опровергнуть Чаадаева,[1] который думалъ, что у насъ „ничего нѣтъ“, что мы странники и бродяги исторіи, духовные босяки. И эта большая идея смущала Герцена, какъ мыслителя, привлекала къ себѣ, какъ художника. Впослѣдствіи, обрадованный первыми нашими реформами, онъ защищалъ ее въ „Колоколѣ“, теперь—онъ больше склонялся на сторону западничества, потому что оно обѣщало борьбу, науку...

Еще о его раздвоеніи.

Этими философскими статьями все равно, какъ и случайными публицистическими работами, не исчерпывалась дѣятельность Герцена въ Россіи, собственно говоря, онѣ даютъ лишь половинчатое представленіе о немъ, какъ о человѣкѣ. „Вѣрой въ торжество положительнаго знанія“ не обманетъ себя тотъ, кто хорошо знаетъ натуру Герцена. Герценъ признавалъ, конечно, въ далекое время, въ дни молодости и увлеченій, окончательную побѣду добра надъ зломъ, но въ немъ всегда таилась мысль,—„никогда не исправится родъ человѣческій“,—которую онъ прибавилъ въ окончательной редакціи къ „Запискамъ Крупова“. Рядомъ съ умомъ, побѣдами науки, величіемъ разума и пр., онъ видѣлъ въ жизни какую-то огромную и страшную силу, силу чисто стихійную, которая ведетъ людей независимо отъ ихъ воли, даже противъ нея... куда—неизвѣстно, толкаетъ ихъ на преступленія, кладетъ въ основу ихъ существованія ложь и неправду. Впослѣдствіи онъ назвалъ эту силу—силой исторической необходимости и съ проклятіями, со скрежетомъ зубовнымъ призналъ ее первенствующей. Но онъ видѣлъ все могущество ея уже и въ дни молодости, выставилъ торжество ея въ „Запискахъ Крупова“ и, въ своемъ романѣ „Кто виноватъ“. Тутъ на самомъ дѣлѣ передъ вами гибель трехъ честнѣйшихъ и благороднѣйшихъ людей, гибель совершенно безсмысленная, ничѣмъ не оправданная, вызванная случайною встрѣчей. Кто на самомъ дѣлѣ виноватъ въ гибели Круциферскихъ и Бельтовыхъ? Недостатокъ образованія, дряхлость натуры, „отсутствіе раціональнаго бракоразводнаго законодательства“? Конечно, нѣтъ. Представьте себѣ на самомъ дѣлѣ, что Круциферская ушла бы къ своему возлюбленному Бельтову. Что же, кто-нибудь изъ троихъ сталъ бы счастливъ? Никогда и ни на минуту. Круциферскій одинаково спился бы, Лизу замучила бы совѣсть, а Бельтовъ замучился бы муками Лизы. И

вотъ получается какой-то роковой кругъ, изъ котораго нѣтъ и не можетъ быть выхода. Виноваты очевидно „обстоятельства“, т. е. что-то отъ воли человѣческой независящее, что-то стихійно необходимое, такъ сразу раздавившее трехъ людей. На вопросъ о виновникѣ Герценъ не отвѣтилъ, онъ въ то время и не могъ отвѣтить на это такъ прямо и ясно, какъ онъ привыкъ отвѣчать на всѣ имъ же поставленные вопросы. Въ немъ, говорю я, боролись два начала, изъ которыхъ одно звало его къ борьбѣ, вызывало въ немъ радостные и торжествующіе гимны наукѣ, прогрессу, человѣчеству, другое бросало въ объятія религіи или вызывало полное разочарованіе, полное низведеніе человѣка до нуля передъ огромной силой „исторіи“... Въ концѣ концовъ подъ старость, утомленный жизнью, видя вокругъ себя одни кресты надъ могилами жены, друзей, надъ мечтами и надеждами своей юности, онъ сказалъ: намъ остается смиреніе передъ наукой и истиной... А что если истина въ нашей гибели, а не въ конечномъ торжествѣ „добра“ надъ зломъ—что тогда? Тогда, говорилъ этотъ гордый духъ, ни разу въ жизни не преклонявшійся передъ кумиромъ, разрушавшій всѣ кумиры вплоть до кумира справедливости, кромѣ одного человѣческаго достоинства—тогда остается то же смиреніе. Странно, безумно звучитъ это слово въ устахъ Герцена, но оно звучитъ; оно набросило грустную тѣнь сумерокъ на всѣ его воспоминанія; оно окрашиваетъ каждую страницу его „Былого и думъ“, оно заставляетъ рыдать его чудное, геніальное перо... Нѣтъ выхода—нѣтъ, кромѣ того, куда поведетъ исторія... И какъ онъ, агитаторъ и эмигрантъ, похожъ въ данномъ случаѣ на славнаго русскаго барина Тургенева, подслушавшаго въ старости разговоръ между Юнгфрау и Финстерааргорномъ надъ замерзшей уже землею. Это родные братья по духу: у обоихъ—нѣтъ выхода!

Это невольное раздвоеніе преслѣдовало Герцена всю жизнь. Его страстный темпераментъ, настоящій темпераментъ борца, тянулъ его въ самую свалку жизни. Это было для него совершенно неизбѣжно, потому что вокругъ него были факты, были явленія жизни, съ которыми онъ не могъ мириться. Онъ не могъ признать законной и справедливой ложь, въ какомъ бы красивомъ видѣ ни являлась она передъ нимъ, какими бы нерушимыми законами ни была она узаконена. Въ поддержку этому темпераменту являлась его вѣра въ науку, въ положительное знаніе, въ могучую мысль Запада, вѣра радостная и торжествующая. И онъ звалъ людей за собою—онъ, гордый, блестящій и вѣрующій. Онъ ссорится съ Бѣлинскимъ, когда тотъ хочетъ все оправдать, и со всѣмъ примириться, потому что знаетъ, что со всѣмъ мириться нельзя, ссорится съ Грановскимъ, когда тотъ отказывается слышать критику слишкомъ дорогихъ для него вещей, потому что знаетъ, что права критики неограничены... И въ

то же самое время, въ его меланхолической барской натурѣ поднимается какой-то странный загробный голосъ пресыщенныхъ поколѣній предковъ и говоритъ ему, что все безполезно, что всѣ усилія людей ни къ чему, что — выхода нѣтъ! Тогда онъ издаетъ первую часть „Записокъ Крупова", „Кто виноватъ", стараясь самъ разобраться въ этой мучительной раздвоенности. Такъ идетъ дѣло до 1846 г., когда Герценъ поѣхалъ за границу, гдѣ все уже волновалось въ предчувствіи 48-го года и февральскихъ дней въ Парижѣ.

Онъ поѣхалъ, чтобы больше не возвращаться, и—странно— ему улыбнулись только первые дни пребыванія на Западѣ. Страшно скоро наступило новое разочарованіе, какое-то капризное и даже раздраженное, основанное на проницательности генія и, пожалуй, дѣтской наивности. Но, все равно,—разочарованіе наступило. Онъ думалъ, что Западъ дастъ ему то, чего не доставало дома—широкой и смѣлой общественной дѣятельности. Онъ думалъ, и эту мечту раздѣляло большинство современниковъ, что люди Запада готовы стряхнуть съ себя всѣ цѣпи и путы прошлаго и дружной семьей народовъ вступить въ новую жизнь. Онъ думалъ, что еще одно усиліе—и отъ вѣкового рабства не останется и слѣда. Первые дни онъ на все смотрѣлъ съ точки зрѣнія этого ожиданія, и радостно волновалось его сердце. Однако буря промчалась, и наступили дни возмездія— эти страшные іюньскіе дни, когда кровь лилась потокомъ, когда Кавеньякъ готовилъ тронъ Людовику Наполеону. Герценъ понялъ, что съ революціей кончено, что ея нѣтъ больше, что *то* „стихійное и грозное", о которомъ онъ писалъ въ своихъ „Запискахъ Крупова", въ своемъ „Кто виноватъ", выступило на сцену, и теперь человѣкъ, даже тысячи людей безсильны передъ нимъ.

Онъ написалъ тогда книгу, одну изъ самыхъ грустныхъ книгъ, какую я только знаю во всемірной литературѣ.—Это Am andern Ufer—„Съ того берега" (1851 г.). Онъ разсказалъ намъ, на что надѣялся, что видѣлъ и какъ странно разрѣшилось „грозное ожиданіе". Онъ не отказался ни отъ чего, никому не сдѣлалъ онъ уступки, прежніе враги его остались врагами, но онъ самъ съ какою-то грустью, какимъ-то печальнымъ недоумѣніемъ останавливается передъ той грозной силой, которой онъ не замѣчалъ раньше, силой чисто стихійной, прикрытой было блестящими фразами, заслоненной надеждами и вдругъ выступившей на сцену, чтобы разсѣять мечты, чтобы сказать свое грозное „veto" человѣческимъ надеждамъ. Какая это сила, какъ назвать ее?—онъ не зналъ, но теперь только онъ почуялъ ея огромность, какъ будто эти пережитыя волненія вскрыли передъ нимъ гранитные слои, на которыхъ покоится жизнь людей. И при видѣ ихъ мощи, обвѣянный и напуганный ихъ холодомъ, онъ отступилъ

съ незалѣченной раной въ сердцѣ, съ обиднымъ сознаніемъ человѣческаго безсилія. И онъ громко сказалъ, что революція кончена, и что систематическій правительственный терроръ вступаетъ въ свои права. За эту чудную книгу,—въ которой, быть можетъ, только та ошибка, что онъ хотѣлъ сказать въ ней всю правду, какъ будто вся правда доступна человѣку, какъ будто въ лексиконѣ человѣчества есть слова всей правды,—его прозвали чуть ли не предателемъ. Взволнованное чувство не улеглось еще, оно стало, напротивъ того, уже, фанатичнѣе, нетерпѣливѣе и каждую минуту прислушивалось, не раздастся ли набатъ... Всякій, кто прямо и откровенно говорилъ, что вѣчевой колоколъ народовъ замолкъ и надолго, что еще вчера мы шли за блѣдными призраками ночи,—могъ показаться предателемъ. Но нѣтъ, онъ не былъ, никогда не былъ предателемъ: онъ былъ только проницательнѣе другихъ. Его вина, если вообще тутъ есть вина въ томъ, что онъ слишкомъ откровенно признался въ своемъ утомленіи и разочарованіи революціей, слишкомъ вслухъ это отмѣтилъ и этимъ многихъ обидѣлъ. „Книга твоя,—сказалъ ему по этому поводу Грановскій,—дошла до насъ. Я читалъ ее съ радостью, гордымъ чувствомъ. Но при всемъ томъ въ ней есть что-то усталое; ты стоишь слишкомъ одиноко и, можетъ, сдѣлаешься великимъ писателемъ, но что было въ Россіи живого и симпатичнаго въ твоемъ талантѣ, какъ будто исчезло на чужой почвѣ“.

Въ этой лучшей, быть можетъ, книгѣ Герцена несомнѣнно лучше всего сказалась и его капризная барская натура. Но въ то же время, сколько проницательности. Въ этой проницательности огромное проклятіе его жизни. Онъ видѣлъ слишкомъ много тамъ, гдѣ для душевнаго спокойствія, для красиваго самообмана, для увлеченія борьбой и идеей было бы лучше ровно ничего не видѣть. Онъ видѣлъ пошлость подъ маской добродушія, безсиліе, прикрытое громкими фразами, трусость за смѣлыми, красивыми жестами, и полное презрѣніе къ труду и народамъ у тѣхъ, кто объявлялъ себя ихъ вождями. И въ грустномъ раздумьи остановился онъ передъ этой странной и страшной картиной, поразившей его своею преданностью прошлому и мощью своего гранитнаго основанія. Съ прежней проницательностью, но уже руководимой недовѣріемъ и разочарованностью, онъ изучалъ западно-европейскую жизнь и „гегелевскаго бога, живущаго въ Берлинѣ“, и величайшаго изъ комиссаровъ полиціи, царившаго въ Парижѣ, и все больше расходился съ ними, расходился—говорю я—и съ какимъ-то капризнымъ раздраженіемъ... Теперь онъ не жалѣетъ уже мрачныхъ красокъ. Мрачные іюньскіе дни разсѣяли его вѣру въ Европу, въ мощную мысль Запада. Что-то говорило ему, что и тутъ нѣтъ выхода. Я приведу нѣкоторыя изъ его капризныхъ европейскихъ впечатлѣній, но надо помнить, что его оцѣнка Европы—оцѣнка разочарованнаго и начинающаго уже уставать человѣка,

оттого-то она такъ одностороння, такъ узка, такъ прямолинейна наконецъ, несмотря на всю свою дѣйствительно геніальную проникновенность. Вмѣстѣ съ послѣднимъ взрывомъ романтическихъ страстей и героическихъ проектовъ обновленія, для него исчезла вся прелесть, все обаяніе западной жизни. Минута — и онъ готовъ былъ ставить надъ ней крестъ, совсѣмъ похерить ее, потому что вся она сосредоточилась для него въ мѣщанинѣ, мѣщанствѣ, потому что и въ 48-омъ году даже онъ не увидѣлъ ничего другого, кромѣ парада политической романтики. Онъ не разсмотрѣлъ нѣкоторыхъ мрачныхъ и сердитыхъ фигуръ, дополнявшихъ картину и не увидѣлъ, что эти мрачные и сердитые въ эти-то страшные дни поняли, чего могутъ они ожидать отъ всѣхъ этихъ шумныхъ и блестящихъ проектовъ единства народовъ, вѣчнаго мира, величія свободы и священныхъ правъ собственности. Мѣщанинъ и мѣщанство, и это уже навсегда, закрыли отъ него Европу.

И конечно, для него, благороднаго рыцаря и капризнаго барина, это мѣщанство было особенно отвратительно. Но вотъ его слова:

„Рыцарская доблесть, изящество аристократическихъ нравовъ, строгая чинность протестантовъ, гордая независимость англичанъ, роскошная жизнь итальянскихъ художниковъ, искрящійся умъ энциклопедистовъ и мрачная энергія террористовъ—все это переплавилось и переродилось въ цѣлую совокупность другихъ господствующихъ нравовъ—мѣщанскихъ. Они составляютъ цѣлое, т. е. замкнутое, оконченное въ себѣ воззрѣніе на жизнь, со своими преданіями и правилами, со своимъ добромъ и зломъ, со своими пріемами и со своей нравственностью низшаго порядка... Политическій вопросъ съ 1830 года дѣлается исключительно мѣщанскимъ, и вѣковая борьба высказывается страстями и влеченіями господствующаго сословія, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось въ мѣняльныя лавочки и рынки — редакціи журналовъ, избирательныя собранія, камеры. Англичане до того привыкли все приводить къ лавочной номенклатурѣ, что называютъ старую свою церковь—старая лавочка... Всѣ партіи и оттѣнки мало-по-малу раздѣлились въ мірѣ мѣщанскомъ на два главные стана: съ одной стороны, мѣщане-собственники, упорно отказывающіеся поступиться своими монополіями, съ другой — неимущіе мѣщане, которые хотятъ вырвать изъ рукъ достояніе, но не имѣютъ силы, т. е., съ одной стороны—скупость, съ другой—зависть. Такъ какъ дѣйствительно нравственнаго начала во всемъ этомъ нѣтъ, то и мѣсто лица въ той или другой сторонѣ опредѣляется внѣшними условіями состоянія, — общественнаго положенія. Одна волна оппозиціи за другой достигаетъ побѣды, т. е. собственности или мѣста, и естественно—переходъ со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не можетъ быть лучше, какъ качка

парламентскихъ преній—она даетъ движеніе и предѣлы, даетъ видъ дѣла и форму общихъ интересовъ для достиженія своихъ личныхъ цѣлей.

„Мѣщанскіе вопросы это, само мѣщанство—грозная, могучая сила. Подъ его вліяніемъ все перемѣнилось въ Европѣ. Рыцарская честь замѣнилась бухгалтерской честностью, изящные нравы—нравами чинными, вѣжливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для всѣхъ, т. е. для всѣхъ имѣющихъ деньги.

„Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелѣе и невыносимѣе тамъ, гдѣ современное западное состояніе наибольше развито, тамъ, гдѣ оно вѣрнѣе своимъ началамъ, гдѣ оно богаче, т. е. промышленнѣе. И вотъ отчего гдѣ-нибудь въ Италіи или въ Испаніи не такъ невыносимо удушливо жить, какъ въ Англіи и во Франціи. И вотъ отчего горная бѣдная сельская Швейцарія--единственный клочокъ „Европы, въ который можно удалиться съ миромъ“.

А тутъ еще преслѣдованія не столько мучительныя, сколько назойливыя, невозможность дѣйствительно гдѣ-нибудь основаться и всякое шпіонство и доносы. Не брезгливость только, но и нѣчто болѣе глубокое возмущалось въ немъ.

Далекая родина и великая работа обновленія, готовившаяся и совершавшаяся уже въ ней съ воцареніемъ Александра II-го, на время подняли усталый духъ. При первыхъ же вѣстяхъ, донесшихся оттуда, съ прежней юной силой проснулся въ немъ борецъ и романтикъ *). Онъ пошелъ на-

*) Онъ сталъ издавать „Полярную Звѣзду“, затѣмъ знаменитый „Колоколъ“ съ еще болѣе знаменитымъ отдѣломъ „Подъ судъ!“ гдѣ предавалъ гласности всѣ продѣлки административныхъ лицъ, не скрывая ихъ именъ. Освѣдомленъ онъ былъ всегда великолѣпно и документально, благодаря массѣ корреспондентовъ изъ Россіи. „Колоколъ“ пользовался огромной популярностью и расходился одно время почти въ 4000 экземпляровъ. Огромное значеніе имѣли въ немъ статьи по крестьянскому вопросу, въ которыхъ, защищая общину, міръ, право крестьянъ на землю, Герценъ какъ бы проектировалъ всесословную волость,—полное сліяніе верхнихъ и низшихъ слоевъ общества во имя устройства такого самоуправленія, которое освободило бы Русь отъ опеки бюрократіи. Но послѣ 63-го года имъ какъ-то перестали интересоваться. Съ одной стороны „общество“ не могло простить Герцену его сочуствія полякамъ, да и безъ этого оно, пройдя черезъ горнило патріотическаго одушевленія, всегда по существу своему консервативнаго, просто устало играть въ радикализмъ, съ другой—молодежь рѣшительно отшатнулась отъ заграничной эмиграціи, находя что та устарѣла и слишкомъ умѣренна. Это послѣднее обстоятельство призналъ самъ Герценъ. „Вы насъ считаете отсталыми--писалъ онъ—мы не сердимся за это, и если отстали

встрѣчу всѣмъ неопредѣленнымъ и смѣлымъ ожиданіямъ, всѣмъ прекраснымъ и высокимъ надеждамъ. Великанъ просыпался и, казалось, готовъ былъ стряхнуть съ себя вѣковой сонъ, готовъ былъ встать въ блескѣ и силѣ сказочнаго богатыря. Герценъ повѣрилъ всему со страстью и самозабвеніемъ. Онъ, который когда-то такъ зло высмѣивалъ „гегелевскаго бога, живущаго въ Берлинѣ, и едва ли не съ прусской каской на головѣ",— онъ рѣшилъ, что этотъ богъ обновленной молодой жизни переселился на безконечныя пространства далекой родины. Сердце жаждало вѣры, и онъ отдался ей... Онъ не сторонился даже мистическихъ ожиданій, и сколько мистики хотя бы въ этихъ вотъ словахъ, напр.:

„Мнѣ кажется, что есть нѣчто въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества, это нѣчто трудно уловить словами, а еще труднѣе указать пальцемъ. Я говорю о той внутренней, но вполнѣ сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ турецкихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и подъ западными капральскими палками,—о той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія, которая, на царскій приказъ образоваться, отвѣтила черезъ сто лѣтъ колосальнымъ явленіемъ Пушкина,—о той наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую вѣру въ себя, сберегла внѣ всякихъ формъ, и противъ всякихъ формъ, для чего?.. покажетъ время". Дальше: „Россія является послѣднимъ народомъ, полнымъ юношескихъ стремленій къ жизни въ то время, когда другіе чувствуютъ себя усталыми и отжившими".

Новое разочарованіе не замедлило явиться, но не было уже силъ справиться съ нимъ, и онъ ушелъ въ себя и въ ту область, къ которой воистину онъ былъ предназначенъ, въ художественное творчество, въ элегическую лирику своихъ воспоминаній, въ одинокое творчество генія, не нашедшаго себѣ мѣста въ жизни и ея борьбѣ. Результатомъ этого явились „Былое и думы". Основой этого замѣчательнаго произведенія были воспоминанія Герцена о личной жизни. Было что вспомнить—и о барскихъ московскихъ кружкахъ 20-хъ годовъ, и о годахъ университетской науки, и о кружкѣ Бѣлинскаго, и о расколѣ интеллигенціи на западниковъ и славянофиловъ, и о скучныхъ 20 слишкомъ годахъ заграничной жизни. Передъ нами цѣлая галлерея портретовъ, нарисованныхъ рукою мастера, такъ хорошо и мѣтко характеризующихъ главные моменты развитія нашей мысли, что ни-

---

отъ васъ въ мнѣніяхъ, то не отстали отъ васъ сердцемъ, а сердце даетъ тонъ".

какая исторія не можетъ замѣнить „Былого и думъ“. Но это лишь фонъ. Самое цѣнное въ книгѣ это, вѣроятно, тѣ размышленія, которымъ предается Герценъ по поводу разсказанныхъ событій. Я не говорю уже объ остроуміи этихъ разсужденій, въ нихъ столько же глубины. Всѣ эти разсужденія сводятся въ концѣ концовъ къ одному вопросу: по свободному ли своему желанію, путемъ ли накопленія знаній и опыта устраиваетъ свою жизнь человѣкъ здѣсь на землѣ, или же есть сила безличная, стихійная, толкающая человѣчество къ невѣдомому концу? Склонившись передъ послѣдней, Герценъ, очевидно, призналъ побѣжденнымъ себя и свой романтизмъ. Но здѣсь та же торопливость, та же капризность, какъ и въ безнадежности выводовъ „Съ того берега“. „Былое и думы“ произведеніе прежде всего художественное. Собственно это философско-лирическая поэма на почвѣ строго фактической. Здѣсь человѣкъ и его гордый духъ, безпокойно мятущійся въ положенныхъ на него государствомъ, обществомъ, исторіей, личными привязанностями—цѣпяхъ, борется во имя своей внутренней свободы и своего достоинства съ человѣчествомъ и исторіей. Человѣкъ неподкупенъ; онъ не хочетъ продать себя ни за довольство, ни за спокойствіе, ни даже за справедливость. Онъ ищетъ свободы и самостоятельности и, не находя ихъ—тоскуетъ. Въ этомъ смыслъ поэмы. Онъ великъ и выраженъ въ дивныхъ художественныхъ образахъ. Это настоящій байронизмъ, такой же глубокій, но болѣе разнообразный, чѣмъ у Байрона, потому что у Байрона, какъ у англичанина, было что-то положительное, у Герцена, кромѣ смутной мистической вѣры въ особое будущее Россіи—не было ничего. „Исторія ничего ему не завѣщала“. Тѣмъ глубже, острѣе и безнадежнѣе тьма. И, правда, сколько тоски въ „Былое и думы“, сколько порою отчаянія, обрывающагося на рѣзкомъ геніальномъ сарказмѣ—le sarcasme d'un pendu, какъ говорилъ Гюго. И чѣмъ дальше—тѣмъ больше. Есть еще добрая, ласковая улыбка на страницахъ дѣтскимъ воспоминаній, есть веселый смѣхъ при разсказѣ объ университескихъ увлеченіяхъ, о кружковой жизни 40-хъ годовъ, но потомъ тьма все гуще и гуще и наконецъ мракъ, какъ предчувствіе смерти, но смерти, ведущей не къ возрожденію, а поглощающей совсѣмъ. И тутъ хохотъ измученнаго пыткой человѣка: „признать, что нѣтъ исхода... значитъ тоже найти исходъ“...

Вотъ итогъ этой богатой, исполненной борьбы и впечатлѣній жизни, начавшейся такъ радостно и хорошо:

„Разочарованіе, усталь,—сказали бы о моихъ выболѣвшихъ строкахъ демократическіе рецензенты. Да,—разочарованіе, да, усталь. Разочарованіе—слово битое, пошлое, дымка, подъ которой скрывается лѣнь сердца, эгоизмъ, придающій себѣ видъ любви, звучная пустота самолюбія, имѣющаго притязанія на все, силы—ни на что. Давно надоѣли намъ всѣ эти высшія

неузнанныя натуры, исхудалыя отъ зависти и несчастныя отъ высокомѣрія въ жизни и романахъ. Все это совершенно такъ, *а врядъ ли нѣтъ чего-нибудь истиннаго, особенно принадлежащаго нашему времени* на днѣ этихъ страшныхъ психическихъ болей, вырождающихся въ смѣшныя пародіи и пошлый маскарадъ!" О да! конечно, Герценъ могъ разсчитывать на лучшую участь. Суровость, съ какою съ нимъ поступали въ юности, обидѣла эту властную, гордую натуру, и онъ далъ себѣ клятву не мириться никогда. Роковой шагъ эмиграціи всю жизнь тяготѣлъ надъ нимъ своими тяжелыми послѣдствіями. Герцену пришлось скитаться всю жизнь; какъ Байронъ, онъ не нашелъ нигдѣ покоя. Швейцарія опротивѣла ему своимъ мелкимъ разсчетливымъ мѣщанствомъ, Англія—своимъ крупнымъ мѣщанствомъ, Франція—своей трусливой покорностью Наполеону. А сжечь корабли эмиграціи, вернуться въ Россію онъ не могъ, не хотѣлось—да и къ чему бы это повело? Бросая его изъ угла въ уголъ, изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, эмиграція окружала его всегда чужимъ обществомъ или, лучше сказать, это общество было его только наполовину. Съ эмигрантами другихъ странъ онъ не могъ чувствовать никакой кровной связи, свои собственные эмигранты доставляли больше горя, чѣмъ радости...

Но почему же онъ не могъ сойтись съ эмиграціей ни молодой, ни старой? Да просто по той причинѣ, что его интересы и интересы всевозможныхъ эмигрантовъ были въ сущности совершенно различны. Онъ постоянно смотрѣлъ впередъ и гораздо больше видѣлъ въ немъ, читалъ въ немъ, чѣмъ вѣрилъ въ него. Онъ предсказалъ неуспѣхъ революціи 48-го года, франко-германскую войну, торжество политики Бисмарка. Онъ былъ настроенъ на мрачный ладъ, и что же было дѣлать ему среди фанатиковъ, ожидавшихъ торжества своихъ идей, проектовъ, предложеній чуть ли не на завтрашній день. Ему не было мѣста между ними еще и потому, что въ немъ крѣпко сидѣла черта, общая почти всѣмъ дѣятелямъ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ одного Бѣлинскаго,—это черта умственнаго аристократизма, своего рода даже пресыщенія. Старое барство отзывалось въ этомъ и всегда съ невыгодой для тѣхъ, кто былъ его преемникомъ. Возьмите Тургенева и его,—оба они, несмотря на весь демократизмъ своихъ убѣжденій, никакъ не могли сойтись съ тѣми людьми, которые были плоть отъ плоти и кровь отъ крови демократіи. Ихъ коробили манеры, языкъ, замашки „новыхъ людей", выступившихъ въ Россіи на сцену въ шестидесятыхъ годахъ. Они искали изящества, особенной утонченности чувствъ и идей и, разумѣется, не находили ихъ у дѣятелей, явившихся на смѣну ихъ поколѣнію. Но больше всего ихъ мутило—и это настоящее слово—отъ догматизма мысли, отъ всего, что провозглашалось съ безусловной самоувѣренностью и съ ненавистью къ какому бы то ни было ограниченію, возраженію, колебанію.

Они извѣдали слишкомъ много, ихъ жизнь была слишкомъ богата, они не признавали никакого подчиненія. Въ ихъ взглядѣ всегда слышится пресыщеніе и утомленность. Художественная закваска, своего рода дилетантизмъ жизни ставилъ между ними и истинными „практиками“ непреодолимую преграду—и это, несмотря на искреннее желаніе обѣихъ сторонъ сговориться, несмотря даже на общность теоретическихъ убѣжденій.

Кѣмъ же былъ онъ въ концѣ концовъ, этотъ таинственный человѣкъ и странный незнакомецъ русской жизни?

Онъ былъ, думаю, идеалистъ и романтикъ. Онъ преувеличивалъ силы людей и ихъ увлеченія, вызванныя высокими чувствами. Онъ думалъ, что достаточно одного мгновенія, чтобы переродить нашу землю и избавить ее отъ зла, несправедливости и насилія, и здѣсь-то жизнь нанесла самые сильные и жестокіе удары его сердцу... Грозная и неожиданная возстала передъ нимъ историческая дѣйствительность, стихійный ходъ ея развитія, и онъ долженъ былъ признать ея могущество, но и признавъ его, онъ продолжалъ видѣть въ ней врага. Отсюда его разочарованность и усталь, его проклятія по адресу историческаго хода вещей...

„Кто-то,—говоритъ онъ,—обѣщалъ, что все въ мірѣ будетъ изящно, справедливо и итти, какъ по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и историческаго развитія, пора догадаться, что въ природѣ и исторіи много случайнаго, глупаго, неудавшагося, спутаннаго. Разумъ, мысль—это заключеніе; все начинается тупостью новорожденнаго, возможность и стремленіе лежатъ въ немъ, но прежде, чѣмъ онъ дойдетъ до развитія и сознанія—онъ подвергается ряду внутреннихъ и внѣшнихъ вліяній, отклоненій, остановокъ...

„Сознаніе безсилія идеи, отсутствіе обязательной силы истины надъ дѣйствительнымъ міромъ огорчаетъ насъ. Мы скорбимъ, болѣемъ. Боль эта пройдетъ со временемъ, трагическій и страстный характеръ уляжется, ея почти нѣтъ въ Новомъ Свѣтѣ—Соединенныхъ Штатахъ.

„Но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое призваніе, наше дѣяніе въ томъ и состоитъ, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія. Наше человѣчество протрезвляется, мы—его похмелье, мы—его боли родовъ.

„Мы знаемъ, какъ природа распоряжается съ личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что̀ попало,—десятки тысячъ лѣтъ наноситъ какой-нибудь коралловый рифъ, всякую весну покидая смерти забѣжавшіе ряды. Полипы умираютъ, не подозрѣвая, что они служили прогрессу... Чему-нибудь послужимъ и мы... Войти въ будущее, какъ элементъ—не значитъ

еще, что будущее исполнитъ наши идеалы. Римъ не исполнилъ ни Платонову республику, ни вообще греческій идеалъ. Средніе вѣка не были развитіемъ Рима. Современная западная мысль воплотится въ исторію, будетъ имѣть свое вліяніе и мѣсто, такъ какъ тѣло наше войдетъ въ составъ травы, людей. Намъ не нравится это безсмертіе, что же съ нимъ дѣлать?..“

Онъ, идеалистъ, дошелъ и, конечно, слишкомъ скоро, слишкомъ поспѣшно и, повторяю, слишкомъ страстно до безсилія идеи. Это не его ошибка, это ошибка цѣлаго поколѣнія, выросшаго на грезахъ романтики. Онъ не зналъ, что, кромѣ идей, которыми гордые люди предназначили роль руководительницъ исторіи и жизни, ея законодателей,—идей высокихъ и славныхъ, стремящихся свернуть дѣйствительность съ ея пути,—есть другія, болѣе скромныя, но и могущественныя зато... Эти идеи проникнуты сознаніемъ, что только сила побѣждаетъ въ жизни, что свою силу они могутъ взять только изъ дѣйствительности и соотвѣтствія съ ней, съ ходомъ ея развитія, ея необходимыми итогами, которые, все равно хотимъ ли мы этого или не хотимъ, она вноситъ, хотя бы кровавыми цифрами, въ приходо-расходную книгу человѣчества...

„Теперь, графъ Бисмаркъ,—ваше дѣло“... Это стонъ и крикъ души человѣка, выросшаго на грезахъ и утопіяхъ, это отчаяніе художника, которому кто-то, грубый и невѣжественный, испортилъ чудную картину, нарисованную его же воображеніемъ, раскрашенную дивными красками горячаго и благороднаго чувства... И онъ, художникъ, ушелъ самъ въ себя обиженный и оскорбленный, ушелъ и потому еще, что исторія не исполнила его „святого каприза“...

Есть много драмъ въ жизни человѣка, есть много драматическихъ коллизій, но и эта *драма столкновенія страстной мечты съ суровой и безличной исторіей не меньше другихъ*. Кто же для кого, въ концѣ концовъ,—исторія для человѣка или человѣкъ для исторіи и ея невѣдомыхъ, можетъ быть, и совсѣмъ несуществующихъ цѣлей?.. Неужели вся наша работа, наши мечты и наши стремленія—простая иллюзія, прихотливая игра стихійныхъ силъ природы на поверхности земного шара?

Онъ склонился къ послѣднему отвѣту въ минуты тяжелаго раздумья, когда онъ остался почти одинокимъ въ жизни, одинокимъ среди людей и истомленный работой невѣрующаго духа.

Онъ говорилъ: „Мы знаемъ, какъ природа распоряжается личностями: послѣ, прежде, безъ жертвъ, на грудахъ труповъ—ей все равно, она продолжаетъ свое, или такъ продолжаетъ, что попало“...

Ему страшно было написать такія слова, потому что святая святыхъ его настроенія, его романтическаго чувства, его міросозерцанія заключалась въ словѣ „человѣкъ“. Въ этомъ онъ и Бѣлинскій шли рука объ руку.

На самомъ дѣлѣ въ ихъ натурахъ и убѣжденіяхъ было по существу много общаго. Свою личную самостоятельность они оба цѣнили выше всего, это право самостоятельности они оба распространяли на всѣхъ людей, они оба искали для нея опоры въ дѣйствительности и находили ее въ образованіи, наукѣ, матеріальной обезпеченности. Въ словѣ „человѣкъ“ для нихъ заключалась разгадка жизни, звучало что-то святое. Они какъ бы впитали въ себя знаменитый афоризмъ Новалиса: „Помни, что когда ты дотрогиваешься до руки человѣка, ты дотрогиваешься до колонъ храма, въ которомъ обитаетъ божество“. И когда оба они видѣли храмъ, это человѣческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, эту жизнь его, сведенную къ приходо-расходной книгѣ, къ мелкимъ и пошлымъ заботамъ „чтобы не быть хуже другихъ“—они скорбѣли то сильно и горько, то въ тяжеломъ раздумьи. И въ это же время оба они одинаково были исполнены вѣры. То мрачное, тоскливое настроеніе, которое впослѣдствіи рѣзко окрасило все міросозерцаніе Герцена и которому онъ слишкомъ даже подчинялся по излишней требовательности своей натуры, еще таилось въ глубинѣ его души и рѣдко и какъ бы случайно прорывалось наружу.

Да, личность, ея свобода и самостоятельность было то „все“, что онъ хотѣлъ и искалъ въ жизни. Это былъ его богъ и кумиръ,—которымъ ни для кого и ни для чего онъ не хотѣлъ жертвовать. Идея личности и личнаго развитія, вообще говоря, проходитъ красною нитью черезъ все написанное имъ,—или, лучше, черезъ все, имъ продуманное и пережитое. Въ своемъ университетскомъ кружкѣ онъ увлекался Сенъ-Симономъ, а не Гегелемъ или Шеллингомъ;—пройдя черезъ необходимую стадію мистицизма, онъ быстро освободился отъ него, увлекшись философіей Фейербаха. Не теоретически только, а и органически ненавидѣлъ онъ крѣпостное право и произволъ. Атмосфера современной ему русской жизни заставила его эмигрировать за границу. Во имя личности, ея правъ, ея свободы, онъ полемизировалъ со славянами. Въ защитѣ своей личности и личнаго достоинства—онъ видѣлъ первую ступень нравственности. Всякая сильная, оригинальная, ярко выраженная личность неотразимо привлекала его къ себѣ. Онъ—гордый, самолюбивый и властный, преклонялся передъ Гарибальди, а въ прошломъ—передъ Петромъ. И въ Прудонѣ привлекало его не столько его ученіе, сколько то, что Прудонъ былъ всегда самъ собой и даже одинъ. Съ той же точки зрѣнія—личности, трактуетъ онъ философію Прудона. Когда тотъ утверждалъ, что все должно служить торжеству справедливости, онъ спрашивалъ: „какъ, свергнувъ Молоха-государственность, вы хотите поставить на его мѣсто Молоха-справедливость?“ Оттого же онъ такъ глубоко ненавидѣлъ всякую доктрину и самодовольство доктринеровъ, потому что зналъ, что нѣтъ большихъ цѣпей для человѣка,

какъ цѣпи догматическаго ученія, за которымъ не слышно ни слезъ, ни стоновъ...

Онъ зналъ и вѣрилъ, что свободный человѣкъ долженъ населять свободную землю, и если онъ отчаялся въ концѣ концовъ въ возможности достигнуть этой свободы—то это было не его личной ошибкой, а ошибкой всего его поколѣнія, поколѣнія романтиковъ общественности, поколѣнія нашихъ гуманистовъ, геніальнѣйшимъ представителемъ котораго онъ былъ.

Не стану пока ничего говорить о Кавелинѣ тоже человѣкѣ 40-ыхъ годовъ; онъ тоже былъ напуганъ 60-ми годами. Но довольно и приведенныхъ фактовъ. Ясно, что разрывъ между двумя поколѣніями долженъ былъ произойти. Тутъ встрѣтились два міропониманія, двѣ разныхъ натуры, встрѣтились Тургеневъ съ Рѣшетниковымъ, Герценъ съ Чернышевскимъ, баринъ съ разночинцемъ. И они говорили другъ съ другомъ на разныхъ языкахъ. Младшее въ душѣ смѣялось надъ старшими, язвительно (какъ, напр., Добролюбовъ и Чернышевскій) упрекало ихъ въ прекраснодушіи, въ томъ, что они способны лишь на красивыя слова, а не на смѣлые поступки, что они, какъ русскій дворянинъ на rendez vous (герой „Аси“), готовы ретироваться отъ дѣла назадъ въ самую рѣшительную минуту. И разумѣется, чѣмъ дальше развивалось движеніе 60-ыхъ годовъ, чѣмъ болѣе рѣзкія и угловатыя формы принимало оно—тѣмъ разрывъ становился глубже, непримиримѣе. Даже то большое общее, что было между людьми 40-ыхъ и 60-ыхъ годовъ, было забыто; на сценѣ осталась вражда.

Н. П. Огаревъ, (1813—1877) поэтъ, другъ Герцена, въ концѣ концовъ эмигрантъ, какъ и онъ соиздатель и сотрудникъ „Полярной Звѣзды“, „Колокола“, и т. д, является однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ и красивыхъ представителей талантливой группы людей 40-ыхъ годовъ. Имя Огарева знаютъ всѣ, но его личность какъ бы утонула въ яркихъ лучахъ блестящей личности Герцена и остается все еще малоизвѣстной, все еще въ тѣни. Нѣсколько робкій и застѣнчивый, несмотря на свое огромное богатство и очень знатное дворянское происхожденіе, совѣстливый въ лучшемъ и высшемъ смыслѣ этого слова—онъ не производитъ импонирующаго яркаго впечатлѣнія. Его убѣжденія тѣ же, что у Герцена—та же вѣра въ науку и мощную мысль Запада, то же разочарованіе въ европейскомъ строѣ и порядкахъ, то же отрицаніе, не безъ ненависти къ дореформенной Россіи. Это впечатлительный, чуткій, духовно-красивый русскій баричъ нѣсколько обломовскаго типа и въ своей жизни, гдѣ онъ постоянно дѣйствовалъ по чужой ини-

ціативѣ и подъ чужимъ вліяніемъ (охотно, напр., на ряду съ Герценомъ подчиняясь вліянію и Мих. Бакунина). „У Огарева,—говоритъ одинъ изъ новѣйшихъ его біографовъ,—не было самаго необходимаго—выдержки для труда; поэтому отъ него осталась масса набросанныхъ плановъ, начатыхъ работъ, да и тѣ не сохранились до насъ въ цѣльномъ видѣ; мы узнаемъ о нихъ по письмамъ; цѣльнаго же осталось одно стихотвореніе, да нѣсколько стихотворныхъ повѣстей и поэмъ—вообще очень мало извѣстныхъ въ Россіи“. Огаревъ былъ поэтомъ преимущественно личной своей интимной жизни, своей дружбы съ Герценомъ, но и къ своему несомнѣнному поэтическому дарованію онъ, цѣня его, относился небрежно, пожалуй даже болѣе небрежно, чѣмъ Хомяковъ. Онъ только набрасывалъ и рѣдко-рѣдко исправлялъ. Онъ писалъ какъ будто для себя и для близкихъ друзей, но на то, чтобы заковать свою работу въ броню обработки, у него не доставало ни энергіи, ни охоты. Не онъ виноватъ въ этомъ, виноватъ весь строй жизни среди русскаго барства, бездѣятельный и распущенный, не имѣвшій ничего общаго съ трудомъ, презиравшій даже его. Въ этой атмосферѣ богатѣйшіе замыслы обращались въ маниловскія мечтанія, порывы разсѣивались гдѣ-то въ междупланетномъ пространствѣ, и какія большія, важныя перспективы открываютъ намъ біографіи такихъ прекрасподушныхъ людей, какъ Огаревъ, въ прошлую исторію нашего дворянства. Воля оказывалась парализованной, анемичной съ самаго дѣтства, и никакое образованіе, никакое благородство натуры не могли замѣнить ея. А между тѣмъ для поэзіи у Огарева были и достаточныя средства и богатѣйшій матеріалъ. Онъ выросъ подъ вліяніемъ нѣмецкой идеалистической философіи и соціальныхъ утопій; въ его стихахъ нѣмецкій идеализмъ и французскій соціализмъ впервые подали другъ другу руки во имя протеста противъ существовавшаго тогда въ Россіи нравственнаго и общественнаго строя. Недовольство нравственными и общественными условіями той среды, которая его окружала, опроверженіе догматовъ оффиціальной народности отвлеченными началами умозрительной философіи и соціалистическими теоріями Запада, тщетное стремленіе успокоиться въ созерцаніи природы и грустный фантастическій колоритъ — вотъ отличительные признаки его недоразвившейся лирики. Въ ней лучше всего—ея протестующее настроеніе, ея порывы къ свободѣ (напр. „Искадеру“ 1858 г)., ея ненависть къ крѣпостничеству. И при большей настойчивости со стороны поэта она могла бы имѣть серьезное общественное значеніе. Кончилъ Огаревъ тѣмъ же, чѣмъ и Герценъ—résignation: это не примиреніе, конечно, а только признаніе того, что существуютъ въ жизни огромныя могущественныя силы, передъ которыми поневолѣ склоняется человѣкъ.

Эта résignation иногда съ пессимистической, иногда съ скрытно-

негодующей (какъ у Герцена) окраской должна считаться однимъ изъ характернѣйшихъ, заключительныхъ мотивовъ нашей старо-барской литературы.

Лучшими вещами Огарева считаютъ его „Монологи“, „Старый домъ“, его стихотворенія „Купанье“, „Искандеру“, „У моря“ и нѣкоторыя лирическія пьесы.

И. А. Гончаровъ. (1812—1891 г.). Съ какимъ-то опасеніемъ, даже неохотой, — иногда какъ будто просто изъ вѣжливости люди присоединяютъ имя Гончарова къ именамъ Тургенева, Толстого, Достоевскаго и ставятъ его такимъ образомъ въ первомъ ряду нашей литературы, хотя мысль о томъ, что онъ едва ли принадлежитъ къ этому первому ряду, смущаетъ ихъ. „Гончаровъ,—писалъ еще въ сороковыхъ годахъ Аполлонъ Григорьевъ,—дарованіе примѣчательно яркое, но, да позволено будетъ сказать прямо, дарованіе чисто внѣшнее, безъ глубокой мысли въ задаткѣ, безъ истиннаго стремленія къ идеалу“. Строго говоря, это общее мнѣніе. Что-то недѣятельное, что-то далеко отстоящее отъ *ищущаго* теченія русской литературы видимъ мы въ Гончаровѣ, и это больше всего удаляетъ отъ него читателей, къ счастью—не отстраняетъ, потому что авторъ „Обломова“ величина во всякомъ случаѣ крупнѣйшая. Эта отдаленность видна столько же въ литературной дѣятельности, сколько и въ личной жизни Гончарова.

Гончаровъ — купеческаго происхожденія, но барскаго воспитанія. Его отецъ—богатый симбирскій купецъ, умеръ рано, оставивъ послѣ себя крупное состояніе, благодаря которому Гончаровъ жилъ и выросъ въ совершенно помѣщичьей обстановкѣ. Онъ получилъ прекрасное домашнее, а затѣмъ и общее образованіе—сначала въ пансіонѣ, а затѣмъ въ московскомъ университетѣ въ лучшую его годину, когда тамъ процвѣтало шеллингіанство и романтизмъ. Очень сдержанный по характеру, Гончаровъ отдалъ дань юности своимъ увлеченіемъ романтизмомъ. Но и здѣсь дальше прекраснодушія и кое-какихъ туманныхъ грезъ о будущемъ онъ не пошелъ. Послѣ университета онъ немедленно опредѣлился въ чиновники и тянулъ эту лямку всю жизнь до самой смерти, за исключеніемъ того промежутка времени, когда онъ на фрегатѣ Паллада совершилъ свое кругосвѣтное путешествіе. Въ жизни его не было ни волненій, ни передрягъ, ни сильныхъ привязанностей. Онъ держался въ сторонѣ отъ жизни—даже отъ литературы, въ которую вступилъ въ 1847 г., напечатавъ, въ „Современникѣ“ свою „Обыкновенную исторію“. Въ 1858 г. появился, какъ великолѣпное созданіе его медлительнаго, но вдумчиваго творческаго духа—„Обломовъ“, въ 1868—„Об-

рывъ". Этими тремя романами опредѣляется и исчерпывается его литературное значеніе.

„Обыкновенная исторія" сразу обратила общее вниманіе на молодого писателя и поставила его на очень замѣтное мѣсто. Но при ея появленіи Бѣлинскій уже замѣтилъ: „Гончаровъ—поэтъ, художникъ, больше ничего; у него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю, онъ какъ будто думаетъ: кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ".

На эти скрытые упреки и скрытыя требованія Бѣлинскаго—Гончаровъ могъ отвѣчать, разумѣется, только своей улыбкой. Онъ вообще не понималъ этого кипѣнія, этого исканія правды жизни, этого проповѣдническаго жара. Жизнь представлялась ему интересной, но не захватывающей, поучительной, конечно, но не такой, которая бы непремѣнно требовала подвига. Онъ любилъ ее тихую и ровную „съ постепеннымъ движеніемъ впередъ" и морщился, когда она вдругъ выходила изъ русла, какъ это случилось въ 60-хъ годахъ. Конечно, ничего крѣпостническаго, ничего реакціоннаго въ его міросозерцаніи вы не найдете и слѣда, онъ просто не понималъ, зачѣмъ это люди слишкомъ ужъ горячатся. Старую русскую жизнь онъ любилъ не въ ея безобразныхъ барскихъ или бюрократическихъ проявленіяхъ,—а въ ея укладахъ, строго опредѣленныхъ, ясно очерченныхъ, и любовался ими издали какъ художникъ; въ новой нахлынувшей волнѣ онъ просто не умѣлъ, не могъ разобраться, хотя и понималъ, что старая жизнь свое послѣднее слово сказала и должна сойти со сцены. И должна сойти прежде всего потому, что она была слишкомъ праздная, слишкомъ лѣнивая, слишкомъ недѣятельная. Прежде же всего надо работать, работать осмысленно и упорно—это Гончаровъ зналъ и это было камнемъ краеугольнымъ его міросозерцанія. Характерный мотивъ нашей литературы—мотивъ больной совѣсти, создавшій столько трагическихъ фигуръ среди нашихъ писателей, остался неизвѣстенъ Гончарову. Его творчество носитъ на себѣ явные слѣды его умиротворенной, тихой отъ начала и до конца и обезпеченной жизни.

Крѣпостное право, крѣпостническая обстановка не были воспитательной школой для Гончарова, какъ, напр., для Тургенева или Герцена. Онъ не замѣчалъ ихъ ни въ дѣтствѣ, ни въ юности, а впослѣдствіи относился къ нимъ съ полнымъ благодушіемъ. Ни одно отрицательное чувство не успѣло зародиться и вырости въ его душѣ: легко и спокойно принялъ онъ свою барскую долю, не задавая себѣ тревожнаго вопроса о своемъ правѣ; легко и спокойно до конца дней своихъ пользовался онъ привилегіями и преимуществами. Натолкнуть его на сомнѣнія, недовольства, протесты—было

некому; даже Якубовъ, (его воспитатель) хотя и просвѣщенный человѣкъ, хотя и масонъ, держался примирительнаго взгляда на окружающее.

На литературное поприще онъ выступилъ поздно.

Философію своей „Обыкновенной исторіи“ онъ самъ превосходно растолковалъ въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“: „Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ,—говоритъ онъ,—отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка понятій и нравовъ—сантиментальности, каррикатурныя преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзія праздности,—семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напр., любви съ желтыми цвѣтами старой дѣвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. п. Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности—къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго. Первое, т. е. старое исчерпывалось въ фигурѣ племянника— и оттого-то онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе. Второе, т. е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ; но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника... Адуевъ (племянникъ) кончилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился; словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается „обыкновенная исторія“.

Гораздо глубже „Обломовъ“.

Добролюбовъ первый понялъ и разъяснилъ, что тутъ дѣло не въ героѣ романа—Обломовѣ, а въ общественномъ явленіи—обломовщинѣ, этой отрицательной квинтъ-эссеціи нашего мало дѣятельнаго, растительнаго и мелочнаго феодализма, т. е. крѣпостного барства.

„Обломовка,—говоритъ онъ,—есть наша прямая родина, ея владѣльцы—наши воспитатели, ея триста Захаровъ- всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово Обломовкѣ“... „Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности, я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ. „Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ - Обломовъ. „Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности тихаго шага и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ—Обло-

мовъ. „Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали, — я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки. „Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждахъ человѣчества и въ теченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода,—я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку".

Обломовщина для Добролюбова—эта капризная лѣнь, барская изнѣженность, созданная услугами трехсотъ Захаровъ и наложившая какъ бы неизгладимое пятно на всю нашу культурную интеллигентную жизнь.

Разумѣется, Добролюбовъ не находитъ въ душѣ ни крупицы симпатіи къ Обломову и обломовщинѣ. Онъ разсматриваетъ этотъ типъ исключительно съ точки зрѣнія его общественной пригодности. При такой постановкѣ вопроса обвинительный приговоръ неизбѣженъ. Вѣдь нельзя же не видѣть, что пухлый, красивый, добрый Илья Ильичъ—не болѣе какъ тунеядецъ чистой воды, что рабочее начало не привилось къ нему, да и не могло привиться, разъ къ его услугамъ триста Захаровъ.

Писаревъ въ своей юношеской, но блестящей статьѣ „Обломовъ" удѣляетъ гораздо больше мѣста психологической критикѣ.

„Мысль Гончарова,—говоритъ онъ,—проведенная въ его романѣ, принадлежитъ всѣмъ вѣкамъ и народамъ, но имѣетъ особенное значеніе въ наше время, для нашего русскаго общества. Авторъ задумалъ прослѣдить мертвящее, губительное вліяніе, которое оказываютъ на человѣка умственная апатія, усыпленіе, овладѣвающее мало-по-малу всѣми силами души, охватывающее и сковывающее собою всѣ лучшія, человѣческія, разумныя движенія и чувства. Эта апатія составляетъ явленіе общечеловѣческое, она выражается въ самыхъ разнообразныхъ формахъ и порождается самыми разнородными причинами, но вездѣ въ ней играетъ главную роль страшный вопросъ—зачѣмъ жить? къ чему трудиться?—вопросъ, на который человѣкъ часто не можетъ найти себѣ удовлетворительнаго отвѣта. Этотъ неразрѣшенный вопросъ, это неудовлетворенное сомнѣніе истощаетъ силы, губитъ дѣятельность: у человѣка опускаются руки, и онъ бросаетъ трудъ, не видя ему цѣли. Одинъ съ негодованіемъ и желчью отброситъ отъ себя работу, другой—отложитъ ее въ сторону тихо и лѣниво, одинъ будетъ рваться изъ своего бездѣйствія, негодовать на себя и на людей, искать чего-нибудь, чѣмъ можно было бы наполнить внутреннюю пустоту, апатія его приметъ оттѣнокъ мрачнаго отчаянія, она будетъ перемежаться съ лихорадочными порывами къ безпорядочной дѣятельности и все-таки останется апатіей, потому что отниметъ у него силы дѣйствовать, чувствовать и жить. У другого равнодушіе къ жизни выразится въ болѣе мягкой безцвѣтной формѣ, животные инстинкты тихо, безъ борьбы выплывутъ на поверх-

ность души, замрутъ безъ боли высшія стремленія, человѣкъ опустится въ мягкое кресло и заснетъ, наслаждаясь своимъ безсмысленнымъ покоемъ, начнется вмѣсто жизни прозябаніе, и въ душѣ человѣка образуется стоячая вода, до которой не коснется никакое волненіе внѣшняго міра, который не потревожитъ никакой внутренній переворотъ... Во второмъ случаѣ является апатія покорная, мирная, улыбающаяся, безъ стремленія выйти изъ бездѣйствія, это обломовщина, какъ назвалъ ее Гончаровъ, это болѣзнь, развитію которой способствуетъ и славянская природа, и жизнь нашего общества.

„...Илья Ильичъ стоитъ на рубежѣ двухъ взаимно-противоположныхъ направленій: онъ воспитанъ подъ вліяніемъ обстановки старо-русской жизни, привыкъ къ барству, къ бездѣйствію и къ полному угожденію своимъ физическимъ потребностямъ и даже прихотямъ; онъ провелъ дѣтство подъ любящимъ, но неосмысленнымъ надзоромъ совершенно неразвитыхъ родителей, наслаждавшихся въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ полной умственной дремотою, въ родѣ той, которую охарактеризовалъ Гоголь въ своихъ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“. Онъ изнѣженъ и избалованъ, ослабленъ физически и нравственно, въ немъ старались, для его же пользы, подавлять порывы рѣзвости, свойственные дѣтскому возрасту, и движенія любознательности, просыпающіяся также въ годы младенчества: первые, по мнѣнію родителей, могли подвергнуть его ушибамъ и разнаго рода повреждеиіямъ, вторыя могли разстроить здоровье и остановить развитіе физическихъ силъ. Кормленіе на убой, сонъ въ волю, поблажка всѣмъ желаніямъ и прихотямъ ребенка, не грозившимъ ему какимъ-либо тѣлеснымъ поврежденіемъ, и тщательное удаленіе отъ всего, что можетъ простудить, обжечь, ушибить или утомить его—вотъ основныя начала Обломовскаго воспитанія. Сонная, рутинная обстановка деревенской, захолустной жизни дополнила то, чего не успѣли сдѣлать труды родителей и нянекъ. На тепличное растеніе, не ознакомившееся въ дѣтствѣ не только съ волненіями дѣйствительной жизни, но даже съ дѣтскими огорченіями и радостями, пахнуло струей свѣжаго живого воздуха. Илья Ильичъ сталъ учиться и развился настолько, что понялъ, въ чемъ состоитъ жизнь, въ чемъ состоятъ обязанности человѣка. Онъ понялъ это умомъ, но не могъ сочувствовать воспринятымъ идеямъ о долгѣ, трудѣ и дѣятельности. Роковой вопросъ: къ чему жить и трудиться? вопросъ, возникающій обыкновенно послѣ многочисленныхъ разочарованій и обманутыхъ надеждъ, прямо самъ собою, безъ всякаго приготовленія, во всей своей ясности представился уму Ильи Ильича... Образованіе научило его презирать праздность; но сѣмена, брошенныя въ его душу природой и первоначальнымъ воспитаніемъ, принесли плоды“.

Эти плоды извѣстны—постоянное лежаніе, лѣнь, развившаяся до полнаго безволія, и болѣзненный страхъ передъ требованіями дѣйствительной жизни.

Болѣзнь Обломова была бы не болѣе какъ интересным патологическимъ случаемъ, если бы Гончаровъ не показалъ намъ, какъ глубоко пущены ея корни и въ русскую жизнь, и въ русскую исторію. Анализируйте эту болѣзнь, и вы увидите, что источникъ ея—услуги трехсотъ Захаровъ и легкая, праздная жизнь на чужой счетъ. Обломовъ—высшее достигнутое въ нашей литературѣ обобщеніе дореформенной, барской Россіи.

Обломовъ — баринъ. Съ дивнымъ комизмомъ выводитъ Гончаровъ на сцену его сословные взгляды въ разговорѣ съ Захаромъ, который имѣлъ несчастіе въ спорахъ о переѣздѣ на квартиру сказать, что „другіе-де переѣзжаютъ“... Этимъ приравненіемъ себя къ другимъ Илья Ильичъ обидѣлся до глубины души.

— „Другой“ работаетъ безъ устали, — негодовалъ онъ, — бѣгаетъ, суетится, не поработаетъ, такъ и не поѣстъ, другой кланяется, другой проситъ, унижается. А я? Ну-ка, рѣши: какъ ты думаешь, „другой“ я-а?.. Да развѣ я мечусь, развѣ я работаю? Мало ѣмъ что ли? Худощавъ или жалокъ на видъ? Развѣ не достаетъ мнѣ чего-нибудь? Кажется, подать, сдѣлать—есть кому. Я ни разу не натянулъ себѣ чулокъ на ноги, какъ живу, слава Богу. Стану ли я безпокоиться? Изъ чего мнѣ? И кому я это говорю? Не ты ли съ дѣтства ходилъ за мною? Ты все это знаешь, видѣлъ, что я воспитанъ нѣжно, что я ни холода, ни голода никогда не терпѣлъ, нужды не зналъ, хлѣба себѣ не зарабатывалъ и вообще чернымъ дѣломъ не занимался.“

На сущности всѣхъ этихъ выраженій и основывается сословная гордость Обломова. И это не сатира. Ильѣ Ильичу на самомъ дѣлѣ больно и странно было бы очутиться въ толпѣ „другихъ“, работающихъ, худощавыхъ, полуголодныхъ, видѣвшихъ нужду и лишенія. „Бѣлая кость“, пухлое нѣжное тѣло, матеріальная обезпеченность — все это, съ его точки зрѣнія, необходимыя принадлежности званія. Если бы онъ мыслилъ послѣдовательно, если бы не воспоминанія дѣтства, не запасъ—почти неистощимый—добродушія, онъ не могъ бы и къ своему другу Штольцу относиться иначе, какъ съ презрѣніемъ...

Образованіе расширило мысль и симпатіи Обломова, онъ мечтаетъ даже о всеобщемъ благополучіи, но это не мѣшаетъ ему обижаться, и притомъ глубоко, искренно обижаться, когда его приравниваютъ къ разношерстной суетливой толпѣ разночинцевъ. Онъ баринъ, но баринъ эпохи вырожденія сословная гордость котораго опирается не на положительныя заслуги, а на отрицательное превосходство надъ другими... Счастья онъ не можетъ понимать иначе, какъ сытое довольство, какъ физическое блаженство.

„Теперь—пишетъ Гончаровъ—Обломова поглотила любимая мысль, онъ думаетъ о маленькой колоніи друзей, которые поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ отъ его деревни, какъ попеременно будутъ съѣзжаться каждый день другъ къ другу въ гости, обѣдать, ужинать, танцовать, ему видятся все ясные дни, ясныя лица, безъ заботъ и морщинъ, смѣющіяся, круглыя, съ яркимъ румянцемъ, съ довольнымъ подбородкомъ и неувядающимъ аппетитомъ, будетъ вѣчное лѣто, вѣчное веселье, сладкая ѣда, да сладкая лѣнь"... Добролюбовъ пытался свести къ типу Обломова, къ воплощенію вырождающагося, больного барства, всѣхъ „героевъ нашего времени"—Онѣгиныхъ, Печориныхъ, Рудиныхъ, Бельтовыхъ. Отчасти это справедливо. Обломовская закваска есть у всѣхъ поименованныхъ героевъ, но только закваска. Генеалогія Ильи Ильича нѣсколько другая. Онъ—прямой сынъ и наслѣдникъ Манилова или Тентетникова, дѣдомъ или прадѣдомъ его можно считать Митрофанушку Простакова, въ близкомъ родствѣ съ нимъ состоятъ московскіе славянофилы, не Хомяковъ, не Аксаковъ, разумѣется, а тѣ, кто пониже, напр., Загоскинъ.

Обыкновенно говорятъ: „Обломовъ — это старая крѣпостная Россія, 19-го февраля 61-го года Обломова не стало". Но даже и теперь это справедливо только отчасти. Точно ли совершенно и окончательно умеръ Илья Ильичъ?

Присмотритесь повнимательнѣе къ жизни и вы, пожалуй, придете къ заключенію, что Обломовъ совсѣмъ умереть и не можетъ. Нѣтъ, Обломовъ—типъ не только временный, историческій, а племенной, стереть который изъ жизни можетъ лишь работа многихъ поколѣній.

Въ юные годы мы всѣ зачитывались романомъ Гончарова, не могли оторваться отъ дивныхъ страницъ, посвященныхъ сну Обломова, весело смѣялись надъ безпечностью и гомерическою лѣнью этого вѣчно лежащаго человѣка, напряженно слѣдили за его отношеніями къ Ольгѣ и немного даже плакали, услышавъ о его ужасно скучной смерти. Потомъ, когда мы стали постарше и вернулись къ Ильѣ Ильичу, перечли о немъ, намъ стало грустно. Насъ испугала рѣзкая правда романа, но особенно стало ясно то, что добродушный Илья Ильичъ, вся дѣятельность котораго заключается въ лежаніи, вся красота въ добродушіи, все жизненное назначеніе въ тунеядствѣ, никакъ не умѣщается въ рамкахъ романа, а выходитъ изъ нихъ, захватываетъ какъ будто большую полосу жизни, расплывается по всѣмъ общественнымъ отношеніямъ. Мы увидѣли, словомъ, что герой романа совсѣмъ не Обломовъ,—какой же онъ герой,—а обломовщина, что эта обломовщина удивительно какъ близка намъ и понятна до того, что мы сразу и невольно начинаемъ отыскивать въ себѣ обломовскія черты и, къ нашему ужасу, находимъ ихъ. А реформа Петра Великаго? Вѣдь достаточно

краткаго учебника, чтобы понять, какіе удары были нанесены обломовщинѣ даже самыми маленькими мѣрами великаго преобразователя. Вся же его реформа—это борьба съ обломовщиной не на животъ, а на смерть, это живое отрицаніе ея во всемъ, это преслѣдованіе ея въ самыхъ затаенныхъ уголкахъ души человѣческой и общественной жизни. Однако обломовщина осталась и черезъ 200 лѣтъ послѣ смерти Петра является передъ нами во всемъ своемъ великолѣпіи... Вѣдь вотъ, кажется сотни лѣтъ муштруютъ насъ по части государственности и исполненія гражданскихъ обязанностей. А кому вошли они въ плоть и кровь? Кто изъ насъ — изъ громаднаго большинства—способенъ на какую-нибудь иниціативу, не обладаетъ глубокою кротостью, мягкодушіемъ и лѣнью Обломова, на почвѣ которыхъ возможны всякія посягательства на нашу самостоятельность, личное счастье, счастье близкихъ намъ людей? какъ угодно, Обломовъ глубоко засѣлъ въ насъ, и даже въ одномъ изъ недавнихъ нашихъ движеній—толстовщинѣ—трудно не замѣтить чертъ, свойственныхъ обломовскому типу. Толстовщина—это послѣднее слово, сказанное русскими людьми послѣ краткаго періода воодушевленія, — по духу своему какъ нельзя лучше напоминаетъ Илью Ильича и присныхъ его.

Толстовцы хотятъ отрѣшиться отъ всѣхъ формъ, выработанныхъ государственной жизнью, отъ культуры и цивилизаціи, гражданскаго общества и семьи, дѣятельности воли и разума; они могутъ мудрить сколько имъ угодно, но ихъ идеалъ — растительная жизнь. Они — люди усталые, не терпящіе ни рынка, ни конкуренціи, прямо себя рекомендуютъ таковыми. Ихъ привлекаетъ нирвана, полное спокойствіе души, полная неподвижность и однообразіе бытія. Бороться съ жизнью и ея зломъ они не намѣрены; уставши, они уходятъ на покой въ деревню, на подножный кормъ, гдѣ могутъ дышать свѣжимъ воздухомъ, спать спокойнымъ сномъ. Трудъ — простая необходимость, имѣющая цѣлью только поддержать жизнь, а не совершенствовать ее: если бы можно было питаться однимъ воздухомъ, они отбросили бы работу, какъ отбросили науку и цивилизацію. Да, Обломовъ живъ. Онъ возрождается съ каждымъ поколѣніемъ, мѣняя свою форму, но въ глубинѣ души пребывая тѣмъ же мягкосердечнымъ, горизонтальнымъ человѣкомъ, не видящимъ и не понимающимъ смысла дѣятельности, во имя покоя готовымъ отрицать развитіе. Обломовъ живъ, и со стороны даже жалко смотрѣть, какъ его муштруютъ, дисциплинируютъ, открываютъ ему европейскую науку и европейскіе идеалы. Онъ лежать хочетъ, а его гонятъ въ департаментъ, заставляютъ сочинять проекты, усовершенствовать одно, передѣлывать другое, бороться въ жизни... Бѣдный горизонтальный человѣкъ, которому всѣ эти призывы къ дѣятельности ужасно надоѣли и

которому, вѣроятно, спать хочется, на всѣ эти призывы и воззванія отвѣчаетъ: „пустите душу на покаяніе, хочу опроститься“.

Въ любимомъ дѣтищѣ Гончарова — его романѣ „Обрывъ“ все хорошо, что относится къ прошлому (бабушка, Марфинька, провинціальная глушь, Райскій, какъ герой 40-ыхъ годовъ) и все несовершенно, что относится къ настоящему и будущему (Волоховъ, Тушинъ). По собственному признанію Гончарова, трудно было разбираться въ неопредѣлившихся фигурахъ современности. Онъ и не разобрался въ нихъ.

Общія замѣчанія о литературѣ 40-ыхъ годовъ. Эта превосходная, исполненная гуманности литература была, за однимъ лишь крупнымъ исключеніемъ (Бѣлинскій), барской. Говоря такъ, я разумѣю лишь высшіе слои литературы—тѣ, которые вошли въ ея исторію и эту исторію создали. Низшіе теперь меня не интересуютъ, но въ высшихъ, говорю я, преобладаетъ баринъ, барскія или проникнутыя барствомъ идеи, барское настроеніе, которое бросало свой обликъ даже на такія вотъ, повидимому, общеинтеллигентныя чувства, какъ ненависть къ крѣпостничеству, какъ стремленіе къ личной свободѣ. Заслуживаетъ ли это обстоятельство вниманія? Думаю, что да, и очень доволенъ, что не одинъ я такъ думаю, хотя знаю, что это далеко не обычная точка зрѣнія. Люди сороковыхъ годовъ, этотъ цвѣтъ нашей интеллигенціи—такъ дороги намъ и такъ высоко стоятъ въ нашихъ глазахъ, что мы охотно забываемъ о ихъ сословномъ происхожденіи, смотримъ на нихъ просто какъ на людей, чутко прислушивавшихся къ голосу своей человѣческой чести и совѣсти и смѣло вставшихъ по его призыву на защиту правъ и интересовъ закабаленной массы. Такъ оно и было въ дѣйствительности. Но все же барство, какъ традиція, какъ рядъ воспоминаній и опытовъ, укрѣпленныхъ и кристализованныхъ наслѣдственностью, какъ сумма впечатлѣній, полученныхъ отъ извѣстнаго воспитанія, въ извѣстной обстановкѣ—является такимъ огромнымъ психологическимъ фактомъ, что забывать о немъ, умалчивать о немъ болѣе чѣмъ странно. И зачѣмъ? Развѣ въ этомъ обстоятельствѣ есть что-нибудь постыдное, принижающее? Развѣ для кого-нибудь секретъ, что въ такой малокультурной, тѣмъ болѣе крѣпостной странѣ, какъ Россія, все образованіе и даже возможность образованія вплоть до эпохи реформъ сосредоточивалось въ одномъ классѣ общества? Развѣ сообразно съ чѣмъ-нибудь предположеніе, что человѣкъ путемъ развитія можетъ до конца стереть съ своего духа *всю* наслѣдственность, *всѣ* впечатлѣнія дѣтства, *все* вліяніе обстановки? Требовать этого значитъ требовать большаго, чѣмъ доступно оно природѣ человѣка. Мнѣ думается, что заслуга людей 40-ыхъ

годовъ не въ томъ, что они перестали быть барами, а въ томъ, что свою барскую культуру они довели до высшей ступени ея развитія, что, оставаясь барами, они не защищали кровныхъ интересовъ своего сословія, а, напротивъ, боролись съ ними и ихъ представителями, какъ и сколько могли, что защищали они и чужіе интересы, напр., закабаленной массы, но, конечно, защищали ихъ по-барски.

Вотъ что пишетъ по этому поводу г. Протопоповъ:

„Мы, русскіе, гордимся своей литературой, въ особенности такъ называемой изящной—и по праву: она блеститъ такими яркими и могучими талантами, которыя сдѣлали бы честь любой европейской литературѣ. Пересчитаемъ по пальцамъ эти таланты, принимая во вниманіе только ихъ непосредственную художественную силу, безъ всякаго отношенія къ ихъ относительному знанію, ихъ направленію и тенденціямъ Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, Гончаровъ, Левъ Толстой, Некрасовъ, Салтыковъ и, можетъ быть, Сергѣй Аксаковъ и Григоровичъ—вотъ корифеи нашей художественной литературы, вотъ тѣ наши классики, произведенія которыхъ составляютъ нашу гордость и славу. И что жъ? Фактъ въ своемъ родѣ единственный, ни въ какой другой странѣ небывалый: всѣ эти первоклассные литературные дѣятели принадлежатъ къ одному и тому же общественному слою, всѣ они безъ исключенія вышли изъ стародворянскихъ, коренныхъ помѣщичьихъ родовъ. По рожденію, по воспитанію, по семейнымъ традиціямъ, по всѣмъ безчисленнымъ нитямъ, связывающимъ человѣка съ средою, они—*господа*, въ буквальномъ значеніи этого слова. Это роскошные цвѣтки, выросшіе среди лютой зимы, въ оранжерейной атмосферѣ счастливой, сытой обезпеченности, на тучномъ черноземѣ крѣпостного рабовладѣльчества. Нужно ли говорить, что въ нашей метафорѣ нѣтъ даже малѣйшей тѣни упрека этимъ писателямъ? За *общіе* факты не можетъ быть *личной* отвѣтственности. Напротивъ, высшая заслуга и лучшая красота большинства этихъ писателей въ томъ и состоитъ что, они, вопреки своимъ сословнымъ интересамъ и несмотря ни на какія традиціи, говорили вслѣдъ за своимъ учителемъ и главою:

Увижу ли, друзья, народъ освобожденный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

„Нравственные идеалы были для нихъ всего дороже, духовные интересы стояли въ ихъ глазахъ ближе и выше интересовъ матеріальныхъ, и въ этомъ отношеніи, съ этой точки зрѣнія, они безукоризненны и неуязвимы. Большинство изъ нихъ сдѣлали все, что можно было ожидать даже отъ лучшихъ, совершеннѣйшихъ людей въ ихъ положеніи — они сострадали, жалѣли, любили и защищали, какъ могли, кого могли просто забыть и не замѣчать тѣхъ, кого мало кто любилъ и жалѣлъ. Почти каждый изъ нихъ чистъ отъ нареканій этого рода, почти къ каждому изъ нихъ примѣнимы слова ихъ вождя:

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его *увѣнчанную* тѣнь.

„Пусть же спятъ спокойно въ своихъ гробахъ эти первые передовые дѣятели во имя „прекрасной зари“ и, конечно, „освобожденный народъ“ не развѣнчаетъ ихъ тѣней, не оскорбитъ „укоромъ“ ихъ памяти.

„Слабъ человѣкъ и охотно преклоняетъ онъ ухо къ внушеніямъ злого духа эгоизма и только въ рѣдкія, лучшія минуты своего бытія возвышается до чистаго альтруизма, до полнаго забвенія своего себялюбиваго, неугомоннаго вѣчно недовольнаго и вѣчно требовательнаго я. Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами. Благородные, гуманные, совѣстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были много обязаны—и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью и всѣмъ изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые, сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бѣдой, надъ горемъ, которое—язвительная иронія судьбы—собственно имъ, лично имъ, приносило или выгоду въ родѣ „легкаго оброка“ и „ярема барщины старинной“, или цвѣты удовольствія въ родѣ „младого и свѣжаго поцѣлуя смуглянки черноокой“. Дѣйствіе этого разлада, этого отсутствія гармоніи между идеалами и интересами не могло не сказаться умѣряющимъ образомъ и на силѣ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ. Повторяю опять-таки, что не въ судъ и не осужденіе подчеркиваю я это обстоятельство, а исключительно въ видахъ исторической и психологической точности“.

Даже и въ этихъ предѣлахъ изученіе барской психологіи должно занять почетное мѣсто въ исторіи русской литературы, но эти предѣлы очень и очень раздвинутся, если мы сравнимъ литературу 40-ыхъ годовъ съ литературой 60-ыхъ, созданной *разночинцами* прежде всего, если вспомнимъ, что въ 60-хъ годахъ отъ литературы должны были отшатнуться такіе ея дѣятели, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Григоровичъ, Кавелинъ, Герценъ, Огаревъ, Фетъ и т. п. И отшатнулись они потому, что на сцену выступилъ другой слой общества съ своими требованіями, задачами, стремленіями, взглядами на науку и искусство, на красоту и матеріальную обезпеченность, на горе и радости жизни, выступилъ классъ, еще не жившій до той поры, значитъ, свирѣпо хотѣвшій жить во имя своихъ идеаловъ добра и справедливости и своимъ страстнымъ натискомъ оттѣснившій, на второй планъ значительно пресыщенныхъ и утомленныхъ „забавами предковъ“ баръ. И не только оттѣснилъ, но и шпынялъ ихъ постоянно и даже черезъ мѣру такими классическими прозвищами какъ „баре“, „обломовы“, „лишніе люди“, „романтики“ и т. п. Потому что человѣку 60-ыхъ годовъ мало было „хотѣть“, „чувствовать, „плакать“, „созерцать“—ему прежде всего нужно было дѣло, дѣло и дѣло...

Гуманистъ съ нѣсколько отвлеченными стремленіями встрѣтился съ революціонеромъ общественности, который очень зналъ, чего онъ хочетъ, и мало того, стремился каждое свое требованіе закрѣпить въ непреложныя формы законодательства. Гуманистъ жалѣлъ униженнаго человѣка, признавалъ въ немъ то достоинство, выше котораго нѣтъ ничего въ жизни, и старался возбудить къ нему состраданіе. Онъ чувствовалъ ложь и жестокость существованія, плакалъ надъ ними, но какъ-то безсильно опускалъ въ то же время руки. Онъ уходилъ въ свои отвлеченнѣйшія метафизическія системы, въ художественное творчество, въ храмъ вѣчной красоты, чаще всего—въ тревоги повседневной жизни, свои личныя чувства, свою меланхолію. Его заслуга въ томъ, что онъ сильно чувствовалъ...

Встрѣча 40-ыхъ годовъ съ 60-ыми это въ малыхъ размѣрахъ встрѣча гуманизма и реформаціи. Красивые, блестящіе, даровитые, образованные гуманисты встрѣтились съ суровыми монахами и ригористами—Эразмъ съ Лютеромъ, Шекспиръ съ Ноксомъ, Раблэ съ Кальвиномъ. Они не поняли другъ друга и разошлись съ взаимными проклятіями. Одни мечтали прежде всего о свободѣ духа, о радостяхъ свободной жизни, другіе о чемъ-то неизмѣримо большемъ—о перерожденіи всѣхъ людей, о томъ, чтобы всѣ люди стали праведниками и безстрашно выступили на страшномъ судѣ передъ грознымъ судьей... Одни съ упоеніемъ занимались отрицаніемъ стараго, разрушеніемъ его авторитетовъ, другіе сочиняли катехизисы. Одни хотѣли уничтожить папство и инквизицію, другіе водворить царство Божіе здѣсь на землѣ.

Повторяю, въ малыхъ, конечно, размѣрахъ у насъ случилось то же самое, произошла встрѣча гуманистовъ 40-хъ годовъ съ реформаторами и революціонерами 60-хъ. И эта встрѣча двухъ *теченій* мысли хорошо оттѣняется личной встрѣчей Чернышевскаго съ Герценомъ. Приведу характерный отрывокъ изъ ихъ разговора:

„— Что вы заступаетесь за этихъ *лѣнтяевъ*,—говорилъ Чернышевскій. — *дармоѣдовъ, трутней, бѣлоручекъ, тунеядцевъ à la Онѣгинъ?*... извольте видѣть, они образовались иначе, имъ міръ, ихъ окружающій, слишкомъ грязенъ, не довольно натертъ воскомъ, замараютъ руки замараютъ ноги. То ли дѣло стонать о несчастномъ положеніи и при томъ спокойно ѣсть да пить!

„Мы (т. е. Герценъ) было ввернули слово въ защиту, но Чернышевскій и слушать не хотѣлъ. Напротивъ, онъ напалъ на насъ за нашу защиту и, пожимая плечами, говорилъ, что онъ смотритъ на насъ, какъ на хорошій остовъ мамонта, какъ на интересную ископаемую кость, принадлежащую міру иного солнца и другихъ деревьевъ.

„— Позвольте же мнѣ хоть на этомъ основаніи защитить нашихъ сопластниковъ. Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что эти люди по доброй волѣ ничего не дѣлали, или дѣлали вздоръ?

„— Безъ всякаго сомнѣнія, они были романтики и аристократы: они ненавидѣли работу, они себя считали бы униженными, взявшись за топоръ или за шило. Да и того, правда, они не умѣли!

„— Въ такомъ случаѣ я буду называть имена: напримѣръ, Чаадаевъ,— онъ не умѣлъ взяться за шило, но умѣлъ написать статью, которая потрясла всю Россію и провела черту въ нашемъ разумѣніи о себѣ. Статья эта была началомъ его литературнаго поприща. Что вышло, вы знаете. Чаадаевъ сдѣлался празднымъ человѣкомъ. Иванъ Кирѣевскій, положимъ, не умѣлъ сапогъ сшить, но умѣлъ издавать журналъ; издалъ двѣ книжки—запретили журналъ: онъ помѣстилъ статью въ „Денницѣ", цензора Глинку посадили на гауптвахту. Кирѣевскій сдѣлался лишнимъ человѣкомъ. Николая Полевого, конечно, нельзя обвинить въ лѣни; человѣкъ онъ былъ изворотливый, а все-таки крылья „Телеграфа" подвязали, и признаюсь въ моей слабости, когда читалъ, какъ Полевой говорилъ Панаеву о томъ, что онъ, женатый человѣкъ, обремененный семьей, боится квартальнаго, я не смѣялся, а чуть не плакалъ."

Конечно, Чернышевскій былъ очень и очень неправъ, но вѣдь все же самая большая уступка, которую онъ могъ сдѣлать Герцену, вся исчерпывается словами: виновны, но заслуживаютъ снисхожденія. И что, какъ не „виновны", скажете вы о людяхъ, проклинавшихъ крѣпостное право и жившихъ все же насчетъ своихъ собственныхъ крѣпостныхъ крестьянъ или— чтобы окончательно раздѣлаться съ этой мерзостью, т. е. крѣпостными отношеніями—закладывавшихъ мужиковъ въ ломбардъ? Вотъ чего—этого великолѣпія мысли и этой скудости нравственнаго содержанія жизни—не могъ понять человѣкъ 60-хъ годовъ. Первый его вопросъ: что же сдѣлали вы для осуществленія своей идеи, для воплощенія ея въ жизни? оставался безъ отвѣта или съ такимъ лишь отвѣтомъ: „мы писали" или еще лучше: „мы пытались писать".

Все равно какъ центральной фигурой 60-хъ годовъ являлся разночинецъ, такъ центральной фигурой 40-хъ является баринъ-идеалистъ, выросшій на Сенъ-Симонѣ, Шеллингѣ, Гегелѣ, Леру, Жоржъ-Зандъ и т. д. Это красивая и содержательная фигура, къ которой воистину стоитъ приглядѣться поближе. Многіе даже думаютъ, что это единственно цѣльное и гармоничное, созданное русской культурой. Не забираясь такъ глубоко, можно сказать, что баринъ-идеалистъ, какъ продуктъ крестьянскаго хлѣба и иностраннаго образованія—нѣчто въ высокой степени самобытное, русское. Онъ превосходно извѣстенъ намъ по фигурамъ всѣхъ этихъ когда-то первенствовавшихъ героевъ нашей литературы—Рудиныхъ, Лаврецкихъ, Бельтовыхъ: его больше нѣтъ, онъ умеръ, сохранилась лишь память о немъ, лишенная ненависти, но лишенная и любви. Когда понадобилось настоящее дѣло, простое и даже черное, неблагодарное по своимъ результатамъ, баринъ-идеалистъ горячо взялся за него, но какъ-то быстро отсталъ, потому

что не въ „дѣлѣ“, не въ работѣ было его истинное назначеніе. Натура артистическая, художественная, склонная къ меланхоліи, къ созерцанію конечныхъ цѣлей бытія, онъ провелъ свою юность (въ ту пору затягивавшуюся очень долго) въ чтеніи превосходныхъ книгъ, въ дружескихъ горячихъ бесѣдахъ, въ романтическихъ мечтахъ и грезахъ о чудныхъ странахъ и океаническихъ островахъ, гдѣ царствуютъ добро, красота, истина. За рѣдкими исключеніями, онъ не работалъ, предпочиталъ обходиться безъ службы. Но таланты рвались наружу, не давали покоя, и въ часы, свободные отъ романтическихъ радостей и огорченій, онъ, какъ прирожденный дилетантъ, занимался поэзіей, музыкой;—самъ писалъ стихи или прозу, изобрѣталъ летающія машины, сочинялъ филологическіе или историческіе трактаты, или даже увлекался химіей. Отъ его ученой работы мало что осталось. Кажется, даже ничего не осталось, потому что наука требуетъ усидчивости,—но наше искусство, особенно наша литература многое взяли у него. Главныя силы уходили, впрочемъ, на разговоры и споры объ умныхъ и высокихъ предметахъ. Кажется, никогда и нигдѣ на Руси не разговаривали такъ много, какъ въ интеллигентныхъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Эти разговоры—такъ хорошо питавшіе въ одно и то же время и барскую лѣнь, и жажду умственной дѣятельности—замѣняли всю общественную жизнь. И Хомяковъ, и Рудинъ, и Райскій проговорили и проспорили всю жизнь. Эти разговоры были яркимъ отраженіемъ богатой жизни Запада, потому что тамъ, конечно, а не у себя дома баринъ-идеалистъ находилъ достойную его умственную пищу. Дома были невѣжество, нищета; тамъ—самое дорогое близкое и въ сущности даже понятное. Никогда, конечно, русскій интеллигентный человѣкъ не былъ такъ духовно близокъ Европѣ, какъ въ эти приснопамятные красивые 30-е и 40-е годы.

„Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ,—читаемъ мы въ четвертой главѣ „За рубежомъ“,—для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то-есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе.

„Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература, а за нею, конечно, и молодая читающая публика подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этотъ лагерь не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подростающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не

къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда.

„Въ Россіи,—впрочемъ, не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли „образъ жизни". Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе „Собранія русскихъ пословицъ", являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что, когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью-печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи—все какъ будто только что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться...

„Въ особенности эти симпатіи (къ Франціи) обострились около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались „Исторіей десятилѣтія" Луи-Блана... Луи-Филиппъ и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ—все это были какъ бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ А. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ радовалъ. Процессъ министра Теста, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, палата, составленная изъ депутатовъ, нагло называвшихъ себя conservateurs endurcis, наконецъ февральскіе банкеты—все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера".

Ни смѣяться, ни иронизировать надъ подобными увлеченіями, разумѣется, нельзя. Въ нихъ было исканіе того, что такъ нужно человѣку и въ чемъ такъ плачевно отказывала ему русская дѣйствительность—общественной жизни, было и нѣчто серьезное, скрывавшееся за этими увлеченіями и разговорами—было *теоретическое* прощаніе съ крѣпостнымъ правомъ. А больше всего было, конечно, игры воображенія, фееріи мысли.

Но въ словахъ и разговорахъ спасались отъ страшной дѣйствительности, закрывали ими себя отъ нея.

„Были слова,—продолжаетъ Щедринъ въ другомъ мѣстѣ,—которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ (т. е. самъ сатирикъ) въ свои юные годы готовъ былъ повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомнѣнными и обязательными, до того его прельщалъ самый звукъ ихъ...“

„Слова. Слова“,—сказалъ Гамлетъ... но какъ люди могли насыщаться словами? Какъ могли они не спрашивать себя о ихъ содержаніи, которое людямъ Запада далось лишь вѣками кровавой борьбы? Здѣсь-то и выступаетъ характерная особенность эпохи, и даже не одной эпохи сороковыхъ годовъ, а позднѣйшихъ. Принципы были широчайшіе и великолѣпнѣйшіе въ родѣ миражей пустыни. Побробуйте-ка на самомъ дѣлѣ одолѣть такія слова, какъ добро, истина, красота, человѣкъ, свобода, историческое развитіе... Попробуйте, не умиляясь дорогими звуками, отдать себѣ отчетъ въ томъ, когда человѣкъ есть дѣйствительно человѣкъ, когда добро есть точно добро, когда свобода есть свобода доподлинная, и вы увидите, что и теперь еще, послѣ пятидесяти лѣтъ работы и опыта, не такъ-то легко это сдѣлать... А тогда и совсѣмъ нельзя было это сдѣлать, потому что сказочная царевна только дремала и всякіе хорошіе сны видѣла. Но все же въ отвѣтъ на поставленный вопросъ приходится сказать, что люди насыщались не одними словами: для этого они были слишкомъ молоды и не даромъ воспитывались на Бѣлинскомъ и Жоржъ-Зандъ. Пониманія не было это такъ, „маленькій разумъ“, отдающій себѣ отчетъ въ содержаніи—еще спалъ, но „большой разумъ“—это стихійное сознанье человѣка—уже проснулся и создалъ настроеніе эпохи. Отвлеченное настроеніе, красивое, которое все исчерпывалось понятіемъ „гуманизмъ“, гуманность, жалость къ обездоленному... Правда, и это—слова, но этими словами наше старое барство прощалось со своимъ прошлымъ, прощалось, говоря кратко, съ крѣпостнымъ правомъ.

На ряду съ другими словами и слово „дѣйствительность“ у всѣхъ на умѣ и на языкѣ. Но это не значило, чтобы кто-нибудь серьезно думалъ изу-

чать дѣйствительность, тѣмъ менѣе практически воздѣйствовать на нее. Эстетика и дилетантизмъ стояли на первомъ планѣ. И несомнѣнно поэтому, что и сороковые годы отличались не малой отвлеченностью.

Да! Сороковые годы отличались не малой отвлеченностью. Гегель былъ объявленъ царемъ мысли. Къ нему обращались всѣ мыслящіе и чувствующіе люди за рѣшеніемъ всѣхъ своихъ сомнѣній, какъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его: „что есть истина?“ Къ сочиненіямъ Гегеля подходили „со страхомъ и вѣрою“, какъ выразился Огаревъ, и готовы были „стоять передъ ними на колѣняхъ“, какъ говорилъ Грановскій. „Есть вопросы,—писалъ послѣдній,—на которые человѣкъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта. Ихъ не рѣшаетъ и Гегель, но все, что доступно теперь знанію человѣка, и самое знаніе у него чудесно объяснено“... Изученіе философіи Шеллинга и Гегеля превратилось въ настоящій культъ. Философскія системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя книженки о Гегелѣ „исправно выписывались и зачитывались до дыръ, до пятенъ въ нѣсколько дней“. Увлеченіе доходило до смѣшного: „всякое простое чувство возводилось въ категоріи“, все опредѣлялось по субстанціямъ, гуляли не для того, чтобы освѣжиться и отдохнуть, а чтобы „предаться пантеистическому чувству единства съ космосомъ“. Все это любопытно и поучительно. Гегельянская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки тѣ же шестидесятые годы въ извѣстной статьѣ Антоновича (о книгѣ Гайма) не только попытались развѣнчать Гегеля, но и обратить его въ ничто. Въ искусствѣ сороковыхъ годовъ Гегель также былъ учителемъ. Съ его точки зрѣнія, цѣль искусства — воспроизводить прекрасное, проявлять гармонію. Таково его единственное назначеніе. Всякая другая цѣль: очищеніе, нравственное совершенствованіе, поучительность—только подробности, аксесуары, или слѣдствія. Созерцаніе красоты вызываетъ въ насъ тихое и чистое наслажденіе, несовмѣстимое съ грубыми удовольствіями чувственнаго характера: оно поднимаетъ душу надъ обычною сферою ея помысловъ, предрасполагаетъ ее къ благороднымъ рѣшеніямъ и великодушнымъ поступкамъ путемъ тѣснаго сродства, существующаго между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповѣданіемъ вѣры людей 40-хъ годовъ, оттого-то Бѣлинскій и написалъ между прочимъ цѣлый томъ о Пушкинѣ, а Анненковъ просидѣлъ нѣсколько лѣтъ надъ изданіемъ сочиненій поэта. Гдѣ на самомъ дѣлѣ, такъ проявилась гармонія, гдѣ такъ воспроизводилось прекрасное, какъ не у Пушкина? Ему поклонялись, его „обожали“, читали и комментировали, впервые поняли его.

Искусство, творчество—вотъ высшее въ жизни. Только здѣсь человѣкъ лучше всего, полнѣе всего, безъ всякой зависимости проявляетъ самого

себя и получаетъ наслажденіе, равнаго которому нѣтъ на землѣ. Григоровичъ трогательно высказалъ этотъ взглядъ въ заключительныхъ словахъ своихъ воспоминаній. Разумѣется, это не мѣшало людямъ сороковыхъ годовъ быть гуманистами; въ нихъ жило сознаніе человѣческаго достоинства, и они возмущались, видя это достоинство затоптаннымъ въ грязь. Но еще больше, чѣмъ возмущенія, было радости, высокой, несоизмѣримой ни съ чѣмъ радости творчества, созерцанія красоты, проявленія гармоніи.

Это одна сторона сороковыхъ годовъ. Была въ нихъ и другая, развившаяся и опредѣлившаяся лишь въ шестидесятые. Я говоры о демократической струнѣ, о жалости ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ, о желаніи счастья человѣку, какимъ бы онъ ни былъ въ настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонію, по крайней мѣрѣ, недостаточно. Вѣдь у того же пророка Гегеля есть прямо обидныя слова. Напримѣръ, „нечего,—говоритъ онъ,—проливать слезы и жаловаться, что хорошимъ и нравственнымъ людямъ часто и даже большей частью плохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ хорошо“. Позвольте, какъ такъ нечего плакать? Нѣтъ, тутъ есть отъ чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонію, но и думать о томъ,—во имя того работать, чтобы „хорошимъ и нравственнымъ людямъ“ на самомъ дѣлѣ хорошо желось. „Мы,—говорила демократическая партія сороковыхъ годовъ,—ровно ничего не имѣемъ противъ красоты и гармоніи. Мы обожаемъ ихъ и поклоняемся имъ, только что же прикажете дѣлать съ униженными и оскорбленными?“ Бѣлинскій глубоко задумался надъ этимъ и съ своей обычной страстностью написалъ слѣдующія строки: „Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа, для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай, чортъ съ тобой, таковскій и былъ, с... с... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку, но со всѣмъ подобающимъ нашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ удалось влѣзть на высшую ступень развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи Филиппа II и пр., иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ собратій по крови“.

Это прямо пророческія слова. Бѣлинскій какъ нельзя лучше угадалъ то направленіе, по которому пойдетъ мысль русская. И она поклонится „философскому колпаку“, и она будетъ имѣть честь донести, что „если

дисгармонія—условіе гармоніи, то ужъ конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи".

Сороковые годы выработали идеалъ человѣка, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развитія. Это было настолько ново въ Россіи, что мудрено было не увлечься такимъ идеаломъ. И имъ увлекались, больше даже—его боготворили. Надо, необходимо надо воззвыситься надъ мерзкой и пошлой дѣйствительностью, надо умѣть находить красоту во всемъ и въ сіяніи солнца, и въ жизни мужика. Только тотъ, кто достигъ высшей ступени развитія, кто позналъ наслажденія творчества -можетъ съ полнымъ достоинствомъ носить названіе человѣка. Есть одна таинственная, притягательная область—область искусства, въ которой, отдаваясь порывамъ вдохновенія, талантъ можетъ постигнуть всю красоту, всю гармонію жизни.

Но тутъ же началась и реакція. Человѣкъ—человѣкомъ, но гдѣ же гражданинъ? Русская мысль сороковыхъ годовъ слишкомъ мало думала о гражданствѣ. Обиженный жизнью, окружающимъ его формализмомъ, жестокостью, человѣкъ инстинктивно искалъ какого-нибудь примиренія съ дѣйствительностью и находилъ его въ творчествѣ, искусствѣ. Но звучала уже въ эти богатые годы другая струна (Некрасова):

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ...

Этой струнѣ не всѣ сочувствовали, не всѣ, прямо говоря, поняли ее. Слишкомъ трудно было отказаться отъ принятыхъ взглядовъ, съ этими взглядами связано было такъ много дивныхъ воспоминаній, имъ же люди были обязаны „долей истиннаго счастья". На сцену выступили люди „весьма даровитые", но „холодные и замкнутые". Опираясь на тѣ же сороковые годы, на ихъ демократизмъ, на ихъ увлеченіе Жоржъ Зандъ, на ихъ стремленіе осуществить свою мысль въ дѣйствительности,—они выдвинули на сцену прежде всего гражданскіе мотивы и идею нравственнаго долга человѣка передъ обществомъ. Это было нѣсколько сухо. Прежніе кумиры не легко могли найти себѣ мѣсто и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. Въ сороковыхъ годахъ мирно уживались два направленія: эстетическое и гуманитарное. Лучшіе представители сороковыхъ годовъ, какъ Тургеневъ, Григоровичъ и т. д., соединяли въ себѣ то и другое. Они столько же взывали къ состраданію и уваженію къ униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красотѣ формы. Они были классиками искусства и вмѣстѣ съ тѣмъ людьми, глубоко сочувствовавшими страданіямъ Антона Горемыки.

Но настала пора, и „общегуманитарныя" воззрѣнія пришлось переве-

сти на практическій языкъ. Какъ же, спросили себя, устроить дѣло такъ, чтобы Антонъ Горемыка не только возбуждалъ сочувствіе и состраданіе людей, достигшихъ высшихъ ступеней развитія, но и вообще „былъ бы счастливъ“? Законно ли, чтобы человѣкъ, описывая страданія Горемыки, чувствовалъ высочайшее художественное наслажденіе и „испытывалъ истинное счастье“?..

Тутъ, какъ хотите, что-то такое есть.

Подвергнувъ „что-то такое“ тщательному анализу, нашли, что люди сороковыхъ годовъ, воспитанные на Гегелѣ и его эстетикѣ, на общегуманитарныхъ воззрѣніяхъ, на доктринѣ, которая хотя и соглашалась признавать зло существующаго, но постоянно старалась примириться съ нимъ во имя дивной красоты и общей гармоніи мірозданія,—были больше людьми, чѣмъ гражданами, имѣющими ясное и опредѣленное представленіе о тѣхъ путяхъ, которыми можетъ процвѣтать, развиваться и совершенствоваться родина. Надо было найти эти пути. Расколъ неминуемо долженъ былъ явиться, и люди сороковыхъ годовъ временно или навсегда устранили себя отъ литературной дѣятельности.

Вмѣсто вопросовъ эстетики, философіи и религіи, на первый планъ выступили вопросы соціальные, политическіе, и тутъ разночинецъ оказался сильнѣе барина. Барскій романтизмъ и барскую эстетику, все равно какъ и барскую меланхолію, онъ отбросилъ съ презрѣніемъ въ сторону, что впрочемъ, не помѣшало скоро обзавестись ему своимъ романтизмомъ и своей меланхоліей.

Въ 60-ые годы — на сценѣ новые люди, разночинцы, люди въ большинствѣ случаевъ испытавшіе сами суровую нищету. Что же удивительнаго, если они не могли столковаться какъ слѣдуетъ ни по одному вопросу. Возьмите, напр., отношеніе къ Пушкину. Кумиръ и богъ для поколѣнія, создавшаго Тургенева и Гончарова, онъ вызвалъ нѣсколько равнодушныхъ словъ у Добролюбова, такихъ же у Чернышевскаго и враждебныя, злыя насмѣшки Писарева. Посмотрите дальше, какъ относится Гончаровъ къ своему Обломову? Безъ преувеличенія можно сказать, что онъ любитъ его и порою прямо любуется мягкостью, добродушіемъ и красивымъ изяществомъ его барской натуры. Для Добролюбова Обломовъ и обломовщина— самое отвратительное, прямо гнусное явленіе нашей русской жизни. Не снисхожденія заслуживаетъ этотъ классическій тунеядецъ, а лишь искорененія. Въ отношеніи къ нему никакой пощады все равно, какъ и къ его братьямъ по духу, опять-таки несомнѣнно красивымъ Рудинымъ, Бельтовымъ, Онѣгинымъ, Печоринымъ, Лаврецкимъ и т. д. Все это избалованные и красивые баричи. И совершенно достаточно, — разсуждалъ Добролюбовъ, — попользовались они всѣми радостями бытія, пора очистить мѣсто... Возь-

мите наконецъ и самое важное—отношеніе къ народу. Для людей 40-хъ годовъ онъ былъ прежде всего предметомъ глубочайшей жалости, 60-ые годы совершенно отбросили эту точку зрѣнія. Для нихъ народъ былъ огромной новой общественной силой со всѣми задатками прекраснаго будущаго, выступавшій на историческое поприще. Требовалось уже не жалѣть его, а любить и уважать его, вѣруя въ его предназначеніе. Требовалось только расчистить почву для его дѣятельности. Жалость, совершенно искренняя, вызывала, конечно, *желаніе* освобожденія, но и требованія его. Можно было ненавидѣть крѣпостное право, но ненавидѣть весь связанный съ нимъ дореформенный строй дѣло мудреное, а еще мудренѣе было требованіе мести въ отношеніи къ нему, еще мудренѣе было мечтать о мужицкомъ царствѣ подъ главенствомъ разночинной интеллигенціи, т. е. раздѣлять основную мечту 60-ыхъ годовъ. Дальше желанія эмансипаціи и нѣкоторыхъ реформъ внутренняго строя люди 40-ыхъ годовъ не шли. Шестидесятники пошли гораздо дальше, и разрывъ былъ неизбѣженъ.

Разрывъ этотъ произошелъ съ взаимнымъ раздраженіемъ. У Чернышевскаго, Добролюбова, даже Писарева установилось прямо-таки насмѣшливое отношеніе къ барству. Жалость баръ къ мужику, идеализація его, исканіе въ немъ человѣка—Чернышевскій прямо называлъ „чесаніемъ пятокъ"; для Добролюбова они Обломовы; въ Писаревѣ ихъ тоска, грусть, разочарованіе не возбуждаютъ ни малѣйшаго сочувствія, и въ своей статьѣ о „Войнѣ и мирѣ" онъ съ подавляющимъ презрѣніемъ говоритъ о барствѣ. Но мы лично такъ далеко ушли отъ этой эпохи, что съ нашей стороны всякое раздраженіе было бы несправедливымъ. Мы охотно назовемъ лучшихъ изъ баричей сороковыхъ годовъ красивыми людьми, исполненными благородныхъ идеалистическихъ порывовъ; намъ не покажется, конечно, только маской ихъ меланхолія, потому что корни ея—въ пресыщеніи и въ обстоятельствахъ времени; мы поймемъ трагизмъ положенія людей, которые ѣли чужой вкусный хлѣбъ и понимали минутами, что хлѣбъ этотъ дѣйствительно чужой; мы оправдаемъ, по крайней мѣрѣ дадимъ снисхожденіе всѣмъ обломовскимъ чертамъ характера стараго барства; мы полностью оцѣнимъ все, что оно сдѣлало, чтобы привить къ нашей умственной жизни интересы религіозныхъ, философскихъ и нравственныхъ проблемъ, и тѣмъ неизбѣжнѣе станетъ для насъ разрывъ двухъ поколѣній, изъ которыхъ одно потратило лучшія свои силы, чтобы создать типъ высококультурной личности, страстно стремящейся удовлетворить свои философскіе и религіозные запросы,—другое же попыталось создать культурную обстановку для только что освобожденной массы, отдало этой массѣ всѣ свои силы, всѣ лучшіе свои порывы и изъ служенія ей сдѣлало свою религію.

ДОМАШНЯЯ
БИБЛИОТЕКА
УЛИТИНА
Алексея Викторовича

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ [1]).

Общая характеристика.

Шестидесятые годы понимались разно, такъ разно, что по однимъ представленіямъ тамъ жили и дѣйствовали одни нигилисты, а по другимъ— какіе-то архистратиги всевозможныхъ гражданскихъ доблестей. Безпристрастное изслѣдованіе въ далекомъ или недалекомъ будущемъ покажетъ, насколько то или другое представленіе близко къ истинѣ, и выскажется вѣроятно, въ томъ смыслѣ, что на сценѣ работали и боролись люди въ большей или меньшей степени обыкновенные, ничего исключительнаго, тѣмъ не менѣе, противоестественнаго въ себѣ не заключавшіе. Было у нихъ, впрочемъ, одно свойство, очень драгоцѣнное, почти что утерянное нами,— свойство, которое даже на ординарнѣйшую физіономію накладывало особый несомнѣнно красивый и горделивый отпечатокъ. Была значительная удо

---

[1]) **50-ые годы**. Ихъ называютъ обыкновенно пустымъ мѣстомъ русской литературы. Это преувеличеніе, конечно,—но, дѣйствительно, эти годы создали очень мало своего, оригинальнаго. Своей физіономіи у нихъ нѣтъ, есть только внѣшнія очертанія. Тянулись эти годы цѣлыхъ семь лѣтъ отъ 1848-го до 1855—отъ февральской революціи во Франціи, до наступленія освободительной эпохи. Надъ литературой въ это время свирѣпствовалъ знаменитый бутурлинскій комитетъ, и литература, разумѣется, притаилась, такъ какъ комитетъ имѣлъ цѣлью оградить общественную мысль отъ всякихъ „вѣяній" и такимъ образомъ обезпечить торжество охранительныхъ началъ. Въ то время, какъ русскія войска востановляли потрясенный порядокъ въ Венгріи,—русская литература отчасти продолжала прежнюю свою работу, формулированную Бѣлинскимъ,—отчасти очень робко и неумѣло пыталась сказать свое новое слово, хотя бы въ женскомъ вопросѣ, напр.,—отчасти спасалась отъ преслѣдованія и подозрѣній въ эстетику. Возродился культъ Пушкина, оцѣниваемаго исключительно съ точки зрѣнія красоты; журналистика, даже передовая въ лицѣ „Отечественныхъ Записокъ" и „Современника" стала попрежнему стремиться лишь къ интересному. Особенно характе-

влетворенность жизнью, полное сознаніе правоты и нужности своего интеллигентнаго положенія, была увѣренность въ себѣ, своихъ силахъ, было вдохновеніе работы. Это красивое освѣщеніе, потому что въ немъ чувствуется сила. Не всякая эпоха знаетъ его, а большинство эпохъ только тоскуетъ о немъ и мечтаетъ. „Что хорошо?—спрашиваетъ Ницше.—Все, что возвышаетъ въ людяхъ чувство силы, стремленіе къ силѣ, самую силу.—Что плохо? Все, что вытекаетъ изъ слабости". И Ницше, какъ большинство его современниковъ, проклиналъ слабость, болѣзнь, малодушіе.

Вѣра нужна, бодрость духа. Люди въ концѣ концовъ любятъ то только, что дѣлаетъ ихъ сильными и смѣлыми. Если они еще плохо понимаютъ, гдѣ и въ чемъ источникъ ихъ силы и слабости, то въ этомъ бѣда не велика. Поймутъ рано или поздно. Въ этой силѣ и смѣлости вся красота жизни,

---

ренъ, разумѣется, эстецизмъ какъ теорія, какъ принципъ, что у молодыхъ народовъ можетъ говорить лишь объ упадкѣ духа, о временномъ разочарованіи въ себѣ. Самыми крупными именами этой эпохи были имена Дружинина и П. Анненкова. Анненкова еще помнятъ, какъ біографа и комментатора Пушкина, но кто помнитъ Дружинина, хотя нельзя не отдать полной справедливости его красивому языку и легкому изложенію. Изложенію образцовыхъ иностранныхъ писателей (напр., Карлейля), онъ и отдалъ преимущественно свои силы. Критика же его безцвѣтна, потому что исходила изъ такихъ началъ, которыя сами по себѣ, отдѣльно взятыя, не удовлетворяютъ насъ. Такими началами являлись красота, изящество, тепленькая гуманность, искусство для искусства и т. д. Все это гашишъ переутомленнаго духа, для массы же читателей такая проповѣдь вразумительна лишь въ той степени, насколько „интересно", литературно и красиво изложена. Но не больше. Приходится поэтому сказать, что наиболѣе плодотворнымъ элементомъ литературы 50-хъ годовъ является ея продолженіе прежней работы.

Отмѣчаю критико-литературную дѣятельность Дудышкина, очень осторожно и безъ всякихъ крайностей развивавшаго основныя положенія Бѣлинскаго.—а главное то литературное теченіе, которое извѣстно подъ именемъ „изученія русской народности". Тутъ чувствуется что-то новое и все это новое въ словѣ „изученіе", въ стремленіи проникнуть въ истинную сущность дѣйствительной жизни народа. Здѣсь на первомъ планѣ стоятъ имена С. В. Максимова (1831—1901), П. И. Якушкина (1820—1872), П. И. Мельникова (1819—1883), отчасти Г. П. Данилевскаго, (1829—1890). Двое изъ перечисленныхъ (С. В. Максимовъ и П. И. Якушкинъ), начавши просто съ этнографическихъ очерковъ, ими и ограничились; Мельниковъ возвелъ свои богатыя наблюденія въ превосходные художественные образы; Г. П. Данилевскій измѣнилъ этнографіи ради историческихъ романовъ, благодаря которымъ добился если не славы, то извѣстности и широкаго распространенія. Но это движеніе оформилось лишь въ 60-ые годы, которые внесли въ него свою идею.

а разочарованность, Blasierkeit,—къ чему она? Разочарованные люди, если они честные люди, если они настолько искренни, что не хотятъ жить самообманомъ, должны признать себя больными, устарѣвшими, переутомленными и скромно удалиться подъ сѣнь, на теплыя воды—вообще убрать себя, потому что проповѣдывать уныніе и невѣріе—то же, что давать камень вмѣсто рыбы. А нужна рыба, —изображеніе которой было символомъ для первыхъ христіанъ, нужна бодрость передъ бездной зла и несчастій открытой передъ нами, нужна цѣлящая пища, а не экзотическій майонезъ изъ мистики, самолюбованія и новой красоты. Какъ подумаешь, сколько ненужнаго зла въ жизни, ничѣмъ не оправданнаго зла, все впередъ идущаго, и такого, что какъ будто нѣтъ ему предѣла, нѣтъ мѣры его движенію, становится больно и страшно. И научить борьбѣ съ этимъ зломъ—лучше и выше, чѣмъ, видя передъ собой лежащаго и обезсиленнаго, молча поставить надъ нимъ крестъ.

Обращаюсь однако къ скромной своей задачѣ—напомнить цѣнное изъ пережитой нами эпохи бодрости духа. Полагаю, что какъ ни случайно оно по многимъ причинамъ и отрывочно по еще большему количеству причинъ, оно и теперь имѣетъ свой смыслъ. Человѣкъ прежде и послѣ всего работникъ здѣсь на землѣ. Безъ работы онъ никому и ни для чего не нуженъ. Все сводится къ ней, ей только все должно служить, и даже наши страсти должны быть направлены такъ, чтобы сдѣлать трудъ человѣка возможно болѣе удовлетворительнымъ.

Вотъ простой и совершенно понятный теоретическій принципъ шестидесятыхъ годовъ. Но, конечно, когда принципъ переходитъ въ жизнь, онъ по необходимости становится уже, непримиримѣе и враждебнѣе, чѣмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. Сороковые годы и красотѣ поклонялись, и мужику глубоко сострадали, шестидесятые—прежде всего рабочіе годы, и, какъ отъ таковыхъ, смѣшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами съ цитатами изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того: имъ надо было по красивому и изящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что пачкались въ пыли и мусорѣ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всѣхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свѣтлой лазури и т. д.—вамъ придется услышать, вѣроятно, что-нибудь очень рѣзкое.

Психологія торопливаго труда, труда, одушевленнаго во имя вполнѣ ясно сознанной цѣли, по вполнѣ опредѣленной программѣ, и притомъ неотложнаго,—такова психологія шестидесятыхъ годовъ; другой нечего искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому

нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ совершенно другой эпохѣ. И такихъ эпохъ—достаточно.

Посмотрите, повторяю, на шестидесятые годы безъ предубѣжденія, а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугали въ дѣтствѣ, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживаетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ „уклюжее", не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное, —поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа—ликвидація крѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили „обществомъ", общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гегеля,—имъ надо было разрѣшить, и не принципіально, а подробно и практически, вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д.

Всю эту черную, подготовительную работу они сдѣлали —и вдругъ отъ насъ видятъ одну неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ. Работа, тѣмъ болѣе торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажется дилетанту и ограниченнымъ, и узкимъ потому что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота погрустить о роковой тайнѣ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для шестидесятыхъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности и подчасъ прямо бранились, когда имъ очень ужъ надоѣдали эстетикой. По части манеръ и пріятнаго обхожденія—тутъ дѣйствительно есть недочетъ. Журнальныя статьи того времени зачастую писались съ плеча, фразы подбирались рѣзкія, бьющія, то и дѣло вставлялись, для украшенія стиля, слова очень рѣшительныя... Но вѣдь тогда было не до пріятнаго обхожденія—это во первыхъ, а во-вторыхъ,—соединить въ себѣ сразу и чернорабочаго, и джентльмена подъ силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершеніе всего—

ошибка, а не преступленіе, и наша обязанность — указывать ошибки, крайности увлеченія, но не винить.

Многія „ошибки“, по тщательномъ разсмотрѣніи, могутъ вѣроятно, оказаться очень простительными. Возьмите, напр., отношеніе шестидесятыхъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. И той, и другимъ увлекались. Лучшія серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой, напр, прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаетъ его, что единственная опора труда – это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію шестидесятыхъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подчасъ подсмѣиваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряхлѣвшій, съ усталымъ сердцемъ и пустой жизнью, смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ, и намъ пора отдѣлаться отъ нея.

Человѣкъ—работникъ. Это конечно. Но еще красивѣе, когда онъ работникъ, вѣрующій въ безусловную нужность своего дѣла. А тогда было много такихъ на сценѣ, и странно, что эпоха, изображаемая въ нашихъ полулегендахъ мрачной, была въ сущности полна жизнерадостности. Кто, какъ не преисполненный жизнерадостности и вѣры человѣкъ, могъ написать такія вотъ воистину руководящія строки объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства и дѣйствительности:

„Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любитъ онъ;—потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется, что опредѣленіе: „прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ: прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни“,—кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго.“

Это удивительно характерныя строки, въ которыхъ схвачена суть настроенія, помогшаго людямъ совершить дѣла, представляющіяся намъ почти

что чудодѣйственными, — отдѣлаться отъ крѣпостного права и поставить жизнь на другой, болѣе правильный и широкій путь. Это настроеніе, несмотря на свою поразительную трезвость, повторяю, красиво, потому что человѣкъ говоритъ вамъ отъ своей силы и бодрости, а не своего безсилія и пригнетенности.

Припомните главныя литературныя произведенія того времени, его критику и беллетристику, и прежде всего вамъ опять-таки бросится въ глаза ихъ въ высокой степени жизнерадостное и боевое настроеніе. Закрывая, напр., „Что дѣлать?"—читатель не ощущаетъ не только грусти но и мечтательной задумчивости. Онъ совершенно спокоенъ за участь заинтересовавшихъ его людей, потому что онъ знаетъ, что они носители бодраго и вѣрующаго духа, и что этотъ духъ вынесетъ много такихъ испытаній, которыя разбили бы другой, болѣе слабый. Даже такая неудача, какъ измѣна любимой женщины, не ставитъ этихъ людей втупикъ, не заставляетъ ихъ растеряться: они думаютъ, что есть выходъ даже изъ этого положенія и что земля вѣдь не клиномъ сошлась на одной Вѣрѣ Павловнѣ. Они разсуждали такъ: человѣкъ созданъ не для эгоистическаго наслажденія, а для работы, но такъ какъ эгоистическія наслажденія, поднимая жизненную энергію, содѣйствуютъ успѣшности работы, то они законны и необходимы. Величайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигаетъ и вдохновляетъ трудъ. Но любовь безъ взаимности, безъ полной своей удовлетворенности становится изъ благодѣтельной—злой силой. Надо всѣми способами бороться противъ этого, такъ какъ единственная задача разума въ дѣлѣ устроенія жизни заключается въ томъ, чтобы заставить страсти служить интересамъ труда. Только тогда можно будетъ достигнуть наибольшей напряженности работы и наибольшей успѣшности ея результатовъ. Все работа, все для нея и во имя ея. Она святая святыхъ жизни и молитва человѣка. И когда она является полнымъ и свободнымъ проявленіемъ всѣхъ его силъ, когда въ ней онъ успѣваетъ выразить себя цѣликомъ, тогда только наступаетъ счастье, которое возможно и достижимо.

Въ такомъ взглядѣ навсегда лучше всего, конечно, отразилось боевое настроеніе эпохи. Это упоеніе борьбы и борьбы удачной, это ликующее чувство при видѣ разрушенныхъ плодовъ, это гимнъ радости по поводу того, что жизнь признала человѣка въ человѣкѣ и открыла ему пути для свободной дѣятельности. Это естественная въ то время вѣра въ свои силы и жестокая насмѣшка надъ прежними ученіями, которыя хотѣли лишь смиренія и покорности отъ человѣка, того чтобы онъ безропотно выносилъ всѣ тягости жизни, всю ея неправду и не смѣлъ бы возвышать голоса въ защиту себя и близкихъ своихъ. Человѣкъ просто какъ человѣкъ имѣетъ право на все, на счастье и радость столько же, сколько на свѣжій воз-

духъ, пищу и питье. Осуществляя, путемъ работы, въ жизни свои идеалы счастья и радости, *человѣкъ* исполняетъ человѣческое...

Но уже у Чернышевскаго было предчувствіе, что борьба потребуетъ напряженія всѣхъ силъ, потребуетъ самопожертвованія и жертвъ, жертвъ безъ конца. Онъ создалъ фигуру своего Рахметова. Не предчувствіе даже, а полное и ясное пониманіе мрачныхъ дней грядущаго вы видите у Добролюбова. Не на радости и не на счастье призываетъ онъ людей, а на подвигъ, на суровыя лишенія.

Чѣмъ дальше, тѣмъ больше выясняется призывъ Добролюбова, заглушенный сначала общимъ ликованіемъ. Сначала опѣшившее и растерявшееся темное царство оправляется. Лозунгъ „прекрасное есть жизнь“ и „жизнь можетъ быть прекрасной для всѣхъ“, смѣняется другимъ: „жизнь это борьба во имя долга и борьба суровая, страшная“.

Еще объ одной характерной чертѣ времени.

Бываютъ эпохи, какъ это всякому извѣстно, когда общество состоитъ изъ личностей особенно пластичныхъ, особенно воспріимчивыхъ, налету схватывающихъ новыя вѣянія; бываютъ эпохи, гораздо болѣе тяжелыя и скучныя—личности нелегки на подъемъ и глухи ко всему, что не носитъ на себѣ печати старины. Значеніе внѣшнихъ условій ничуть отъ этого не умаляется, такъ какъ степени воспріимчивости и глухоты могутъ быть очень различны.

Шестидесятые годы были движеніемъ массовымъ, движеніемъ, охватившимъ значительную часть общества и проникшимъ въ такіе уголки, что просто приходится диву даваться, какъ это такъ могло произойти. Другой разъ недостаточно десяти томовъ капитальнѣйшаго научнаго изслѣдованія, чтобы убѣдить въ чемъ-нибудь человѣка; тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но отвѣтить такъ—значитъ ровно ничего не отвѣтить.

Пластичность и воспріимчивость людей шестидесятыхъ годовъ рѣзко бросаются въ глаза, какъ только начинаешь знакомиться съ большимъ числомъ біографій людей этого времени. Мысли и убѣжденія хватались тогда налету съ такою же нетерпѣливой страстностью, такою же удивительной торопливостью, какъ это было, скажемъ, въ иныя эпохи французской или нѣмецкой исторіи. Эта „физіологическая“ сторона историческихъ явленій разработана такъ мало, что гораздо легче указать на нее, чѣмъ разъяснить. А между тѣмъ странно было бы отрицать ея значеніе, еще страннѣе отрицать фактъ ея существованія.

С. В. Ковалевская въ своихъ въ высшей степени любопытныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ разсказываетъ о томъ переполохѣ, который произошелъ въ ихъ уѣздѣ при заревѣ шестидесятыхъ годовъ.

„Жили себѣ,—читаемъ мы,—жители Палибина мирно и тихо; росли и старились, ссорились и мирились другъ съ другомъ; ради препровожденія времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи и того или другого научнаго открытія, вполнѣ убѣжденные однако, что всѣ эти вопросы принадлежатъ чуждому, удаленному отъ нихъ міру и никогда непосредственнаго соприкосновенія съ ихъ обыденной жизнью имѣть не будутъ. И вдругъ, откуда ни возьмись, совсѣмъ рядомъ съ ними объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое несомнѣнно подступало все ближе и ближе и грозило подточиться подъ самый строй ихъ тихой, патріархальной жизни. И не только съ одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла какъ будто разомъ, отовсюду. Можно сказать, что въ этотъ промежутокъ времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всѣ интеллигентные слои русскаго общества были заняты только однимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми. О какой дворянской семьѣ ни спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились съ дѣтьми. И не изъ-за какихъ-нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ-за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. „Не сошлись убѣжденіями",—вотъ только и всего, но это „только" вполнѣ достаточно, чтобы заставить дѣтей побросать родителей, а родителей—отречься отъ дѣтей. „Дѣтьми", особенно дѣвушками, овладѣла въ то время словно эпидемія какая-то—убѣгать изъ родительскаго дома. Въ нашемъ непосредственномъ сосѣдствѣ, пока еще Богъ миловалъ, все обстояло благополучно, но изъ другихъ мѣстъ уже приходили слухи: то у ого, то у другого помѣщика убѣжала дочь, которая за границу—учиться которая въ Петербургъ—къ „нигилистамъ".

Самъ Писаревъ разсказываетъ намъ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее:

„Уже въ 1858 и 1859 гг. студенты, поступившіе въ университетъ не были похожи на насъ студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университетъ, мы были робки, склонны къ благоговѣнію, расположены смотрѣть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на пищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смѣлы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, они приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той же благотворительной цѣли, они устроили студенческую библіотеку, а мы старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ недовѣріе и иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: „шумите вы и только". Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и жизнь пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ."

А вѣдь всего-на-всего прошло 2 года... Но, подхваченные массовымъ одушевленіемъ,—люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самихъ себя.

Совершенно о томъ же самомъ говоритъ намъ и біографія Добролюбова. Очень тихій, вдумчивый и глубоко религіозный мальчикъ почти что вдругъ, даже безъ видимаго внѣшняго толчка, становится въ ряды отрицателей и превращается въ непримиримаго и даже мстительнаго борца за *свою* правду и во имя своихъ нравственныхъ требованій. И было бы клеветой подумать, что такое быстрое обращеніе было легкомысленнымъ и поверхностнымъ. Напротивъ, оно охватило всего человѣка и перевернуло весь его духовный строй.

Не буду умножать примѣровъ. Достаточно сказать, что призывной голосъ времени услышали и люди уже пожилые, сформировавшіеся въ совершенно другой обстановкѣ и при другомъ общественномъ настроеніи. Но и они не могли устоять противъ необычной атмосферы, противъ ея возбуждающаго вліянія. И имъ захотѣлось общественной самодѣятельности, активнаго участія въ борьбѣ. Да, это было странное, полное неотразимаго призыва время.

При переходѣ отъ литературы 40-хъ годовъ къ литературѣ 60-хъ вы чувствуете такую разницу въ тонѣ, идеяхъ, настроеніяхъ, что если бы не звено—Бѣлинскій, такъ странно соединившій въ себѣ барина и разночинца, эстетика и поклонника пользы,—вы бы сказали, что имѣете дѣло съ литературой другого народа. Однако это литература только другого класса общества. Идеалистъ и теоретикъ баринъ 40-хъ годовъ уступилъ мѣсто интеллигенту разночинцу. Отвлеченная этика, стержнемъ которой была идея личнаго самосовершенствованія, уступила мѣсто этикѣ утилитарной, красота была отодвинута на второй планъ—пользой; вопросы отвлеченно философскіе уступили мѣсто—чисто практическимъ и т. д. Призванный къ жизни разночинецъ задавалъ тонъ всему, и больше, — онъ дѣйствительно былъ руководителемъ эпохи. Онъ внесъ въ свою работу свою философію, свое міросозерцаніе; въ свои взгляды—совершенно понятное нетерпѣливое желаніе овладѣть жизнью и ея благами—наукой, искусствомъ, обезпеченностью (для себя и другихъ, конечно), которые еще наканунѣ казались ему чѣмъ-то недостижимымъ. Онъ внесъ и раздраженіе противъ вчерашнихъ господъ, передъ которыми онъ долженъ былъ такъ долго молчать. Его любовь къ обездоленному и униженному собрату была равносильна его ненависти къ тому, кто обездоливалъ, развращалъ и унижалъ. Часто онъ просто мстилъ, тѣмъ болѣе что видѣлъ, что врагъ, хотя и сбитый съ позиціи, все еще живъ и надѣется рано или поздно восторжествовать.

И онъ торопился въ своихъ презрительныхъ и, увы, совершенно заслуженныхъ, гнѣвныхъ насмѣшкахъ излить накипѣвшую злобу и отомстить за свое вынужденное раньше молчаніе. Вотъ основы его міросозерцанія:

1) Матеріализмъ въ философіи. Въ жизни человѣка и общества все *просто* объясняется естественно-механическими законами. Все — матерія. Внѣ этого нечего искать. Всякое исканіе безплодно и даже вредно, такъ какъ отвлекаетъ человѣка отъ общественныхъ задачъ. Матеріализмъ вообще боевой кличъ эпохи въ ея схваткахъ съ оффиціальнымъ спиритуализмомъ.

2) Утилитаризмъ въ этикѣ. Главная сила человѣка въ его разумѣ, разсудкѣ. Путемъ науки, знанія онъ достигаетъ побѣды надъ природой и собственнаго благополучія и счастья. Но собственное благополучіе и счастье возможно лишь при счастьѣ всѣхъ. Поэтому санкціей нравственности должна быть польза общества и стремленіе къ такому его состоянію, которое обезпечиваетъ для каждаго равную долю въ пользованіи жизненными благами

3) Утилитаризмъ въ искусствѣ. Роль искусства подчиненная. Само, стоятельнаго значенія оно не имѣетъ. Оно одинаково должно служить счастью всѣхъ. Единственный источникъ прекраснаго — жизнь, дѣйствительность. Всякое ея украшеніе, всякая неосуществимая мечта вредна потому что прежде всего надо сосредоточить всѣ силы людей на устройствѣ земного благополучія. Въ литературѣ 60-хъ годовъ слышится даже „вопіяніе“ противъ красоты, которая отвлекаетъ человѣка отъ его прямыхъ земныхъ задачъ.

Однако все это временное, случайное, историческими обстоятельствами вызываемое и исчезающее вмѣстѣ съ ними. Но вотъ святое и вѣчное подъ этой случайной оболочкой: уваженіе къ достоинству человѣка какъ человѣка, каковъ бы онъ по своему происхожденію не былъ, — признаніе полнаго равенства и полной равноправности между людьми во всей совокупности общественныхъ отношеній. И все это слилось въ одномъ маленькомъ и даже чуждомъ для насъ словѣ—эмансипація. Это ключъ къ пониманію эпохи. Эмансипировались крестьянинъ отъ помѣщика, женщина отъ семейной кабалы, гражданинъ отъ государства, мысль отъ преданій и кумировъ прошлаго. Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. И въ этомъ красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму.

Мнѣ кажется такъ: въ любую историческую эпоху въ человѣчествѣ и обществѣ—огромный, даже безграничный запасъ силы. Много талантовъ, даже геніевъ, много самыхъ разнообразныхъ дарованій, много также честныхъ и безкорыстныхъ замысловъ. Но все это находится лишь въ „возможности“; большая часть гибнетъ въ самомъ зародышѣ; другая выбираетъ себѣ неправильный путь и теряется, заблудившись; третья далеко не развертываетъ всей своей силы и ограничивается первыми ступенями,

и т. д. И, разумѣется, чѣмъ жизнь ничтожнѣе, скуднѣе—тѣмъ больше этихъ безполезныхъ жертвъ, этихъ даромъ разсѣянныхъ силъ, этихъ не проявившихся дарованій. Даже наша русская исторія можетъ доставить положительно любопытную иллюстрацію этой мысли, и говоря такъ, я, разумѣется, имѣю въ виду всѣ рядомъ стоящія эпохи—эпоху 1848—1855 и затѣмъ 1855—1863 гг. На сценѣ, собственно говоря, тѣ же люди и то же поколѣніе, тѣ же Ростовцевы, Самарины, Арцимовичи, Кавелины, тѣ же Хомяковъ и Аксаковъ и даже тотъ же Чернышевскій и тотъ же Герценъ. Но до 55—56 года никто изъ нихъ не находилъ настоящаго, нужнаго слова или высказывалъ его такъ робко; что оно терялось и замирало въ окружающей мертвой жизни, какъ въ глухомъ лѣсу. Но измѣнилось настроеніе высшихъ сферъ, произошла крымская война, люди поняли, что идея освобожденія созрѣла, что она жизненно оправдывается и потребностями государства,—и вмѣсто бутурлинскаго комитета, передъ нами комиссія освобожденія крестьянъ, комиссія о новыхъ судахъ, земствѣ и т. д., и т. д.,—передъ нами, словомъ, красивая и бурная эпоха 60-хъ годовъ. Красивая совсѣмъ не потому, что создала какія-нибудь особенныя художественныя произведенія, изобрѣла оригинальныя философскія системы, а потому, что жизнь расширилась, идейно разбогатѣла и ей понадобились люди, ей понадобилось человѣческое творчество. Вотъ въ чемъ красота. Вчера ненужные, никѣмъ не признанные, загнанные куда-то въ уголъ таланты и дарованія, люди свободной мысли вдругъ оказались на первыхъ мѣстахъ, а всѣ эти человѣки въ футлярѣ, всѣ эти жрецы и холопы жестокой и формальной правды, оказались не у дѣлъ.

Намъ надо однако внимательнѣе присмотрѣться къ герою эпохи—разночинцу, смѣнившему барина-идеалиста. Тѣмъ болѣе, что споръ между тими двумя типами не законченъ, и жизненный синтезъ, единеніе ихъ, взглядовъ не найденъ.

Разночинецъ. Вѣдь это не Богъ знаетъ какая прелесть и какое совершенство, вѣдь чаще всего, это человѣкъ, измученный и загрязненный жизнью (напр., алкоголизмъ Рѣшетникова, Н. Успенскаго, Щапова, Помяловскаго, Левитова и т. д.)—обыкновенно еще до начала своей литературной дѣятельности жестоко растерзанный всякими и, въ большинствѣ случаевъ, дѣйствительно ужасными обстоятельствами, какъ нищета, бурса пьянство.

Въ смыслѣ образованія, начитанности, дисциплины мысли это—за рѣдкими, хотя и крупными исключеніями—совсѣмъ ничтожество передъ человѣкомъ 40-ыхъ годовъ. Однако, временно по крайней мѣрѣ, побѣда была на его сторонѣ и именно въ той области, гдѣ образованіе, начитанность, дисциплина мысли имѣютъ такое важное значеніе. Мнѣ думается, что причина

этого въ томъ, что баринъ-идеалистъ *сильно чувствовалъ*, разночинецъ *сильно хотѣлъ*. Волѣ же, хотѣнію всегда принадлежитъ въ жизни первенствующая роль. Баринъ-идеалистъ сильно чувствовалъ и художественно созерцалъ. Въ этомъ его неотъемлемая заслуга. Онъ сильно чувствовалъ мерзость и пошлость жизни, безправное положеніе народной массы, красоту человѣческой свободы и независимости,—это чувствованіе преобразовывалось въ его душѣ, какъ художественное воспріятіе, было почвой для идеала.

Но чего онъ хотѣлъ? Всего? да. Ничего?—тоже да. Онъ хотѣлъ очень и очень многаго, но гдѣ тотъ элементъ его настроенія, который помогъ бы хотѣнію обратиться въ фактъ жизни? Такого элемента не было. Послѣ минуты страстнаго хотѣнія, наступало полное разочарованіе, и все, вся жизнь представлялась дымомъ, а всѣ усилія людей—скачками земляныхъ блохъ. Не было „свинца" въ хотѣніи, не было упрямства, настойчивости, непримиренности. Было много капризнаго, еще больше—словеснаго. Психологія нашего барина-идеалиста въ значительной степени психологія пресыщенности и необходимыхъ при ней меланхоліи и разочарованности. Такими богатыми, но *обреченными* натурами, какъ Тургеневъ и Герценъ, жизнь слишкомъ даже щедро иллюстрировала эту элементарную истину. Что такое пресыщенность—дѣло извѣстное. При ней въ мірѣ своихъ чувствованій человѣкъ быстро можетъ дойти до высшей точки кипѣнія, но—увы!—такъ же быстро и остываетъ онъ. Только что будущее расцвѣтилось всѣми цвѣтами радуги, только что показалось оно самымъ дорогимъ и цѣннымъ, какъ сейчасъ же нахлынуло въ душу что-то новое, и мечта утеряла свой блескъ, будущее—свою привлекательность. Все погрузилось въ сѣрые тусклые будни. Наслѣдственно усталые нервы отказываются поддерживать чувство на прежней высотѣ, и оно падаетъ въ глубь, въ отрицаніе самого себя настолько же, насколько прежде высоко поднялось. Никакого упорства, никакой дѣйствительной силы хотѣнія. Дилетантизмъ чувства, столько же, сколько дилетантизмъ мысли.

Но возвращаюсь къ разночинцу.

Разночинецъ голоденъ. Голодъ можно понимать буквально, какъ голодъ физическій (былъ и такой),—но, вѣрнѣе, что на первомъ планѣ былъ голодъ духовный. Долгое время содержимый въ черномъ тѣлѣ, встрѣчая передъ собой большею частью запертыя двери, не находя доступа къ вліянію на общество, видя близкихъ своихъ въ кабалѣ и приниженности—разночинецъ вздыхалъ. Даже въ литературѣ, гдѣ существовалъ своего рода табель о рангахъ, гдѣ на разночинца косились какъ на parvenu, или попросту проходимца, гдѣ заклевали Полевого за его „купечество", гдѣ исключеніе, да и то съ оговорками, было сдѣлано для одного Бѣлинскаго—разночинецъ чувствовалъ себя въ значительной степени чужимъ. Тамъ, въ выс-

шихъ сферахъ, по крайней мѣрѣ требовалось столько красоты, изящества, такой преданности интересамъ отвлеченной философіи, что удовлетворить этимъ требованіямъ онъ не могъ. Тонъ литературѣ 50-хъ годовъ задавалъ Тургеневъ. Поставьте теперь рядомъ съ этой благообразной, съ головы до ногъ барской фигурой какого-нибудь коряжистаго Рѣшетникова и вы увидите, что Рѣшетникову до того момента, какъ на сцену выступили практическіе вопросы, когда понадобилась правда и только правда, а искусство замѣнилось *дѣломъ*—настоящаго мѣста въ литературѣ не было: онъ могъ говорить лишь, и это безъ всякихъ прикрасъ, о гноѣ и язвахъ жизни. Но вотъ голодному, алкавшему и для себя, и для другихъ всякихъ благъ жизни, разночинцу была предоставлена возможность и право высказаться. Въ экзотическую, созданную бариномъ культуру, которая дѣлала для человѣка возможнымъ, послѣ восторговъ передъ Жоржъ-Зандъ, итти въ ломбардъ закладывать крестьянъ—онъ вступилъ варваромъ. Но хорошій это былъ варваръ, съ здоровыми чувствами, съ здоровымъ, хотя часто злымъ и мстительнымъ, настроеніемъ. Изъ дебрей и трясинъ жизни принесъ онъ ничѣмъ неприкрашенные разсказы о страданіи массы, ея голодѣ, нищетѣ, невѣжествѣ, разсказы такіе же сухіе, лишь ужасомъ фактовъ своихъ поражающіе, какъ судебные отчеты. Но онъ сказалъ еще, что эта вотъ сѣрая масса хочетъ жить и всячески ищетъ путей для своихъ мечтаній. Какъ же удовлетворить это хотѣніе жизни, какъ облегчить исканіе путей? Разночинецъ весь отдался этому вопросу, а по дорогѣ, не безъ злобы и раздраженія, разбивалъ барскіе кумиры, временно ему ненужные, разбивалъ ихъ съ суровымъ фанатизмомъ протестанта, вопіялъ противъ красоты, противъ соблазновъ художественнаго творчества, отвлекавшихъ человѣка отъ дѣла—и не столько не понималъ, сколько боялся цвѣтовъ поэзіи, созданій искусства, ихъ притягивающаго и одуряющаго аромата. Наука, знаніе, какъ средство наилучшаго воздѣйствія на практическую жизнь, стальной скальпель, а не скальпель діалектическій, анатомія организмовъ, а не силлогизмовъ—вотъ что обѣщало ему побѣду. И онъ склонился передъ этимъ новымъ, но уже своимъ кумиромъ!

Этой своей работѣ онъ придалъ особую окраску страстнаго увлеченія на почвѣ практическихъ интересовъ и отомщенія не лицамъ, конечно, а всему прошлому, старобарской культурѣ, которая какъ бы воплотилась для него въ образѣ лишняго человѣка, въ образѣ Рудина, быть можетъ, и любившаго въ идеѣ массу, но чуждаго ей и ничего для нея не дѣлавшаго. *Масса* же была истиннымъ предметомъ заботы разночинца. Но что нужно массѣ? Вещи самыя простыя и понятныя: 1) обезпеченность; 2) просвѣщеніе; 3) независимость отъ произвола. Поэтому:

Трезвый реализмъ—вотъ что характерно для 60-хъ годовъ. Разночинецъ

не хотѣлъ уходить съ земли, онъ жилъ цѣликомъ ея интересами, заботами, ея думами о счастьѣ. Въ элементарной грубоватой формѣ эту земную основу идеализма выразилъ Рѣшетниковъ, сказавъ: человѣкъ созданъ для того, чтобы самому себѣ добывать пропитаніе, а такъ какъ человѣку нужно для этого немного, то онъ былъ бы вполнѣ доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тѣ, кому хочется жить въ свое удовольствіе. Но не тоже ли самое сказалъ и Добролюбовъ или Чернышевскій своими картинами семейнаго счастья Лопухова и Кирсанова, или Помяловскій своимъ „Молотовымъ“ и „Мѣщанскимъ счастьемъ“? Не трезвый ли реализмъ слышите вы въ проповѣди пользы, полезнаго, этой проповѣди, которая такъ назойливо даже наполняетъ собой журналистику? Но рядомъ съ этимъ безмѣрность хотѣнія, проявившаяся въ мечтахъ о счастьѣ всѣхъ, о водвореніи на землѣ фаланстеровъ и коопераціи, въ настойчивомъ вопросѣ о томъ, когда же придетъ настоящій день?

Трезвый реализмъ 60-хъ годовъ заключается въ пониманіи, какъ велико значеніе въ жизни человѣка матеріальныхъ, экономическихъ условій; весь идеализмъ въ вѣрѣ, что назначеніе человѣка—безконечное, непрестанное развитіе, полное развертываніе всѣхъ его духовныхъ и физическихъ силъ. Экономическое благосостояніе—первая ступень, а дальше—просторъ и свобода личному и общественному творчеству.

Литература записокъ и писемъ, какъ предисловіе къ литературѣ 60-хъ г.г. собственно.

Я сказалъ выше, что 60-е годы—суровые рабочіе годы, видѣвшіе смыслъ жизни только въ работѣ и только въ ней одной. Въ передовомъ лагерѣ все служило этой центральной идеѣ, все даже пригонялось къ ней. Возьмете ли вы критику, публицистику, философію—вездѣ и повсюду тотъ же взглядъ на человѣка, какъ на носителя трудового начала, та же оцѣнка его съ точки зрѣнія пользы, которую онъ приноситъ обществу. И это была проповѣдь совершенно прямолинейная, безъ какихъ-нибудь поблажекъ и уклоненій въ сторону. И ясно, что такая проповѣдь могла появиться, пользоваться успѣхомъ и находить себѣ самоотверженныхъ поклонниковъ лишь въ эпоху повышеннаго общественнаго настроенія. А что оно дѣйствительно было—это несомнѣнно, особенно если вы знакомитесь по подлиннымъ документамъ конца 50-хъ и начала шестидесятыхъ годовъ. Кто же создалъ его? Что толчокъ былъ данъ правительствомъ—спорить объ этомъ трудно, но общество радостно подхватило его и заволновалось, сначала робко и неувѣренно относясь къ новому курсу, а затѣмъ все сильнѣе и восторженнѣе. Отдѣльныя слова, случайные циркуляры, слухи о поданныхъ и

принятыхъ запискахъ, объ отставкѣ какого-нибудь важнаго и наканунѣ еще всемогущаго лица (напр. Клейнмихеля), о тостахъ въ честь „общественнаго мнѣнія“, какъ извѣстный тостъ К. Аксакова и пр. и пр.—все это поддерживало общественное возбужденіе. Скоро подошли разговоры и разсужденія о предстоящей отмѣнѣ крѣпостного права и заняли первое мѣсто. Приходится удивляться, какъ малымъ были довольны люди первое время, и какъ быстро росли ихъ желанія. Надо, впрочемъ, замѣтить, что всѣ эти желанія направлялись въ одну сторону — сторону общественной самодѣятельности. Но вначалѣ помыслы были въ высшей степени умѣренны, и люди приходили въ восторгъ отъ мелочей...

Первымъ пришлось порадоваться славянофиламъ. Въ царствованіе Николая I-го ихъ дѣйствительно преслѣдовали, заставили черезъ полицію сбрить бороду, перемѣнить сорочку на нѣмецкое платье и не печатать *ничего*. Теперь вопросъ о русскомъ платьѣ былъ рѣшенъ въ пріятномъ для самолюбія смыслѣ. „Говорятъ, Государь сказалъ о бородѣ въ отвѣтъ на вопросъ о бородѣ и русскомъ платьѣ вообще: А мнѣ какое дѣло? *Пусть одѣваются, какъ хотятъ*“. Эти слова облетѣли, конечно, всѣ дворянскія угодья, и тамъ возликовали, какъ ликуютъ дѣти. Хомяковъ писалъ: „Здѣсь всѣ радуются проявленію стремленія къ народному и русскому. Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно, какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли, какъ вызовъ къ самомышленію“. К. Аксаковъ съ удовольствіемъ сообщаетъ, что „камергеровъ переименовываютъ въ стольниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ“. Кошелевъ писалъ Погодину: „скажу вамъ радость: въ Сапожковскомъ уѣздѣ начинаютъ носить русское платье“. На эту тему сочинялись цѣлыя диссертаціи. Были и другіе слухи, болѣе существенные, но все объ одинаково необычныхъ и совершенно невозможныхъ какіе-нибудь мѣсяцы назадъ вещахъ. „Государь намѣренъ лично слушать докладъ только министровъ Двора, Финансовъ и Военнаго, а прочіе будутъ докладывать Комитету и Государственному Совѣту“. „Преслѣдованіе раскольниковъ прекращено“. „Императрица подарила Тютчевой Маколея“. Странно, что изъ того же славянофильскаго лагеря вышли двѣ вещи большого литературно-общественнаго интереса, которыя лишь недавно увидѣли свѣтъ. Это записка о Царевомъ времени М. П. Погодина, знаменитаго редактора „Москвитянина“, и тоже записка К. Аксакова. Вотъ что писалъ Погодинъ (Апрѣль, 1855).

„Время царское дороже всего. Оно должно быть сберегаемо и соблюдаемо до послѣдней минуты, для рѣшенія важнѣйшихъ вопросовъ государственныхъ, для размышленія о существенныхъ предметахъ управленія. Занимать свѣтскостями и подробностями, развлекать формами и церемоніями—есть величайшее гражданское преступленіе.

„Петръ I, отличавшійся отъ природы особенной дѣятельностью, и работавшій во всю жизнь отъ утра до вечера, жаловался часто на недостатокъ времени. А у него въ управленіи было только десять милліоновъ. Теперь Русское государство считаетъ до семидесяти милліоновъ жителей, слѣдовательно, число дѣлъ умножилось всемеро, по естественному приращенію народонаселенія, въ семьдесятъ разъ по вновь возникшимъ разнообразнымъ отношеніямъ между гражданами, не имѣющимъ сравненія съ прежними. Въ такой же соразмѣрности всѣ дѣла стали сложнѣе и труднѣе для рѣшенія. Войско Петра I едва равнялось одному нынѣшнему отдѣльному корпусу. Что такое была торговля, внѣшняя и внутренняя, финансовая часть при немъ, и что онѣ при насъ. О печати ему нечего было почти думать, между тѣмъ какъ для современнаго государя печать есть одинъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ заботы. Сравните число служащихъ чиновниковъ, которыхъ надо руководствовать, наблюдать, награждать и наказывать А донесенія объ особыхъ происшествіяхъ со всѣхъ концовъ Имперіи, оффиціальные пріемы, осмотры, путешествія, проекты, доносы, жалобы, мнѣнія. Присоедините множество дѣлъ, назову ихъ искусственными,—дѣлъ пустыхъ и ничтожныхъ коимъ придается иногда важность для полученія лишней аудіенціи, для сообщенія докладу разительности, при чемъ запутываются понятія, и должны напрягаться умственныя способности, съ заблужденіемъ часто въ награду.

„Мы не говорили еще о внѣшнихъ отношеніяхъ, кои ограничивались при Петрѣ I, сосѣдними государствами. Нынѣ къ Русскому царю везутся депеши изъ всѣхъ пяти частей свѣта, изъ Европы и Азіи, Африки, Америки и Австраліи. Политика отдаленнѣйшихъ государствъ, со всѣми ея превратностями, связь ихъ между собою, требуютъ неусыпнаго вниманія. До какихъ же колоссальныхъ размѣровъ достигло количество дѣлъ, повергаемыхъ на высочайшее воззрѣніе, утвержденіе. Мысль цѣпенѣетъ.

„Есть ли физическая, не только умственная возможность заниматься ими, съ перерывами и отвлеченіями, еще болѣе тягостными, безъ противуестественнаго напряженія, безъ неизбѣжнаго утомленія, безъ разслабленія всѣхъ силъ, иногда медленнаго, но всегда гибельнаго, не зародивъ въ глубинѣ своего сердца этого страшнаго внутренняго червя тоски, досады, неудовольствія, который подточитъ самое крѣпкое тѣлесное здоровье и истомитъ самую твердую душу? Какое зрѣніе не притупится отъ однихъ взглядовъ, бросаемыхъ по заказу на всю эту пестроту?“

Далѣе Погодинъ говоритъ о томъ, какія бы дѣла могъ взять на себя Государственный Совѣтъ. Но вотъ, вѣроятно, самыя любопытныя и смѣлыя строки, за которыя въ эпоху Николая авторъ ихъ прослылъ бы декабристомъ со всѣми послѣдствіями для такого званія: „Надо опредѣлить, въ какой степени можетъ быть допущена *гласность* въ видахъ предохраненія правительственныхъ и прочихъ рѣшеній отъ произвольности и учрежденія подъ ними новой необходимой инстанціи—бдительнаго общественнаго мнѣнія, безъ котораго самому правительству остается часто бродить во тьмѣ“...

„Государь получитъ такимъ образомъ возможность посвящать полное вниманіе на дѣла, достойныя его высокаго сана“—заканчиваетъ Погодинъ—тотъ самый Погодинъ, который раньше занимался исключительно сочиненіемъ докладныхъ записокъ о своей благонамѣренности. Очевидно, что если человѣкъ можетъ красить время, то еще больше—время можетъ красить человѣка. Записка, повидимому, довольно свободно обращалась въ обществѣ и заинтересовала собою многихъ. Читая ее теперь и зная, кѣмъ и чѣмъ былъ Погодинъ, невольно думаешь: „воистину горы тронулись съ мѣста!“ На ту же тему—желанія нѣкоторой общественной самостоятельности, писалъ и К. Аксаковъ, высказывая въ запискѣ „О внутреннемъ состояніи Россіи“ свои излюбленныя уже извѣстныя намъ мысли (смотри стр. 95) о томъ, что „русскій народъ никогда не стремился принять участіе въ дѣлахъ государственныхъ... но желаетъ вполнѣ жить своей нравственной христіанской жизнью... При этомъ развитіи духовнаго начала онъ не хотѣлъ ограниченія въ своей жизни семейной и домашней... Цари русскіе до Петра благопріятствовали развитію жизни народной, но Петръ... наложилъ руку на народъ, на святилище жизни семейной, на все, чѣмъ дорожитъ въ человѣкѣ память его сердца. Увлекаясь жаждой перемѣнъ, Преобразователь принуждалъ черезъ полицію ходить въ ассамблеи, брить бороды, носить кафтанъ нѣмецкій. Со времени его уже болѣе не созывались земскіе соборы... Нынѣ земскіе соборы созывать невозможно, но въ необходимыхъ случаяхъ полезно было бы совѣщаться съ сословіями по предметамъ непосредственно ихъ касающимся“.

„Насчетъ народа, предоставить лицамъ всѣхъ сословій полную свободу въ ихъ частной жизни, не стѣсняя ихъ никакими ограниченіями. Пускай всякій занимается дѣломъ по своей наклонности, живетъ, гдѣ заблагоразсудитъ, ѣздитъ, куда хочетъ, одѣвается, какъ ему вздумается и все это дѣлаетъ безпрепятственно, пока дѣйствія его не противны существующимъ узаконеніямъ. Вмѣшательство во внутреннюю жизнь народа, не принося никакой пользы правительству, производитъ неудовольствіе и даже негодованіе. Свободу слова и письма подчинить благоразумному контролю относительно вопросовъ, касающихся вѣры, верховной власти и нравственности, допуская, во всякомъ случаѣ, благонамѣренное сужденіе о всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ правительственныхъ и другихъ, относящихся до народнаго благосостоянія“.

И въ этой запискѣ и въ томъ, что ее обсуждали, повинны конечно, все тѣ же слухи о новыхъ вѣяніяхъ. Люди ловили слова и намеки на новое, что должно было замѣнить собою утомительную тяготу предыдущаго режима, и откликались на этотъ тогда еще неоформленный призывъ всѣмъ, что было лучшаго въ нихъ. Слухи росли и ширились, переходили въ факты. Циркуляръ В. Кн. Константина, требовавшій правды отъ оффи-

ціальныхъ отчетовъ—правда, скоро отобранный, вызвалъ огромное впечатлѣніе. Нельзя было не порадоваться разрѣшенію издать сочиненія Гоголя „безъ всякихъ помарокъ и измѣненій". Даже такой фактъ комментировали на всѣ лады.

„Разсказываютъ еще, что недавно будто бы въ какомъ-то отелѣ собрались студенты, потребовали особую комнату и хотѣли покутить. Къ нимъ привязался шпіонъ и такъ приставалъ, что они его вытолкали и заперлись на ключъ. Изъ этого возникло дѣло, доложили царю, что дескать задумывали юноши заговоръ и т д. На это послѣдовало рѣшеніе весьма мудрое: Не видно еще заговора въ томъ, когда люди не хотѣли кутить при постороннемъ, особливо котораго они считали шпіономъ, потому что очень свойственно желать друзьямъ и пріятелямъ пировать и бесѣдовать между собою безъ свидѣтелей."

Во всей этой радости, особенно въ первыхъ ея проявленіяхъ, конечно, не мало ребяческаго и дѣтскаго, напоминавшаго ликованіе и даже иллюминаціи петербуржцевъ по поводу разрѣшенія носить круглыя шляпы послѣ смерти Павла Петровича,—но есть тутъ кое-что и серьезное. Кавелинъ превосходно отмѣтилъ эту сторону въ одномъ изъ самыхъ прочувствованныхъ и горячихъ писемъ:

„Здѣсь, въ Петербургѣ, общественное мнѣніе расправляетъ все болѣе и болѣе крылья. Нельзя и узнать больше этого караванъ-сарая солдатизма и невѣжества. Все говоритъ, все толкуетъ вкось и вкривь, иногда и глупо, а все-таки толкуетъ и чрезъ это, разумѣется, учится. Если лѣтъ пять-шесть такъ продлится, общественное мнѣніе, могучее и просвѣщенное, сложится, и позоръ недавняго еще безголовья хоть немного изгладится. Можетъ быть, и не слѣдуетъ, и еще рано, и еще глупо въ мои лѣта, а я не на шутку начинаю сердцемъ привязываться къ нынѣшнему царю, который... дѣлаетъ умно, и котораго доброе, исполненное вѣрнаго чутья сердце мало-по-малу выводитъ насъ изъ работы египетской. Дай-то Боже, чтобъ хватило у него силъ на благо... Меня также въ ужасъ приводитъ, что когда вымрутъ послѣдніе Александровскіе, ни одной головы не останется. Повѣрьте, что я не преувеличиваю и говорю, къ сожалѣнію, какъ по писанному, ибо подъ глазами у меня происходитъ: какъ только намордники свалились, старичье разболталось, и тутъ-то вы видите всю разницу между поколѣніемъ Александровскимъ и солдатами и писарями.... Не Богъ знаетъ какъ густы графъ Киселевъ и Блудовъ, а я просто боюсь, когда вспоминаю, что имъ обоимъ за семьдесятъ, за ними идутъ Долгорукіе, Норовы, Броки, Панины, Анненковы, Ростовцевы. Побывайте въ кухнѣ, гдѣ готовятся государственныя мѣры и законы, да послушайте этихъ господъ и васъ страхъ возьметъ; нѣтъ, лучше мужикъ изъ-за сохи, лучше торгашъ базарный, чѣмъ эти.... годные только на мелкія интрижки... потерявшіе изъ-за нихъ простой здравый смыслъ, которымъ русскіе люди одарены такъ богато",

Къ этому быстро присоединилось и женское движеніе. Началось оно, положимъ, раньше во время увлеченія Жоржъ Зандъ и ея романами (въ сороковыхъ годахъ). но только теперь, связанное съ другимъ болѣе могущественнымъ общественнымъ движеніемъ перешло въ жизнь и заставило считаться съ собой, какъ чѣмъ-то реальнымъ. У него нашлись свои подвижники и подвижницы, свои рыцари, какъ Михайловъ, С. Шашковъ, свои беллетристы, какъ Авдѣевъ. Брошюра Милля объ эмансипаціи была, разумѣется, настольной книгой для всѣхъ передовыхъ людей. Прежнія требованія или лучше сказать пожеланія, не выходившія за предоставленіе женщинамъ нѣкоторой свободы въ ихъ домашней обстановкѣ или интимныхъ отношеніяхъ—отвѣтомъ на которыя и являлись такія вещи, какъ „Поленька Саксъ“ Дружинина,—смѣнились стремленіемъ къ полной равноправности въ области общественной и экономической и встрѣчали большое сочувствіе. И опять это женское движеніе впадало въ то же русло, которое вело къ отрицанію прошлаго и полному разрыву съ нимъ.

Еще два слова о литературѣ записокъ, чтобы покончить съ ней. Уже въ 1855 г. Кавелинъ писалъ Погодину:

„Я, съ своей стороны, убѣжденъ и сердцемъ, и умомъ, и всѣмъ моимъ существомъ, что изъ всѣхъ вопросовъ,—вопросъ, изъ всѣхъ золъ,—зло, изъ всѣхъ несчастій нашихъ,—несчастье есть крѣпостное право. Не то, чтобъ мало было у насъ худого и отвратительнаго и безъ того, но все, что вы ни возьмете, прицѣплено къ этому коренному злу и легко измѣнится къ лучшему, когда его не будетъ. Оттого-то, только что царствованіе смѣнилось, я сталъ писать объ этомъ предметѣ большую статью въ примирительномъ тонѣ, съ одною мыслью свести всѣхъ къ соглашенію, а не къ враждѣ; я живо представилъ себѣ,—что бы я сталъ говорить, если бъ былъ закоренѣлый помѣщикъ, и чего бы потребовалъ, и такъ далѣе, старался войти въ мысль мужика и правительства. Плодомъ этого была большая статья, больше въ видѣ программы съ доводами и разсужденіями, въ которой говорится: о вредѣ отъ крѣпостного права, хозяйственномъ или экономическомъ, нравственномъ, политическомъ. Историческій взглядъ, предлагается общій планъ освобожденія выкупомъ съ владѣемою крестьянами землею по существующимъ цѣнамъ, посредствомъ банковъ, съ уплатою крестьянами выкупной суммы въ теченіе тридцати семи лѣтъ, и наконецъ разныя приготовительныя и косвенныя мѣры. По примирительному своему характеру, она принята даже самыми закорузлыми и деревянными помѣщиками весьма хорошо, была уже и находится: у графа Киселева, у великаго князя Константина, у товарища министра Внутреннихъ Дѣлъ. Есть надежда довести до царицы. Здѣсь я ѣзжу, читаю, толкую и разжевываю, сколько понимаю дѣло, и, кажется, не безъ успѣха; скучновато подчасъ.... Но что

дѣлать. Это служба и служба прямая родинѣ, дѣло любви, святѣйшая изъ святѣйшихъ обязанностей.

Я отмѣтилъ это письмо Кавелина, потому что въ немъ лучше всего сознаніе важности исходнаго и даже центральнаго пункта движенія шестидесятыхъ годовъ—т. е. освобожденія крестьянъ. Въ сочувствіи ему, въ признаніи его необходимости и сошлись, и разночинецъ, и баринъ. Но дальше этого дороги ихъ разошлись, и они перестали понимать другъ друга. На сцену явились чрезмѣрность стремленій и чрезмѣрность требованій. „Умственное волненіе было тогда чрезвычайное; всѣ вопросы поднимались съ самаго корня, рѣшались, перерѣшались и опять поднимались. Знакомые, не видѣвшіе другъ друга годъ или два, встрѣчались между собой съ горячими и жадными вопросами: „ну что, къ чему вы пришли? На чемъ вы теперь остановились?“ Едва ли когда повторится въ такихъ размѣрахъ эта лихорадка мысли.

Журналистика 60-хъ годовъ.

Но всѣ эти слухи, всѣ эти неясные намеки и надежды на новый курсъ должны были наконецъ сгруппироваться возлѣ одного какого-нибудь центра, сосредоточиться на немъ по взаимному согласію возможно большаго числа людей и преобразоваться въ опредѣленную, оформленную задачу передъ обществомъ. Этимъ центромъ и этой задачей оказался, какъ и слѣдовало ожидать вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Въ свою очередь, литература записокъ и писемъ, въ которой чувствуется серьезное и искреннее возбужденіе, должна была найти себѣ новое русло, выйти изъ сферы частныхъ кружковъ, гостиныхъ и застольныхъ и явиться передъ всѣмъ обществомъ, говоря ему понятнымъ и доступнымъ языкомъ. Это исполнила знаменитая журналистика, къ разсмотрѣнію которой мнѣ и надо теперь перейти.

Начну съ любопытной страницы изъ „Воспоминаній“ Шелгунова.

„Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856—58 гг. Изданія появлялись какъ грибы, хотя точнѣе было бы сказать, какъ водяные пузыри въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, также много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было оклеить башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ фасоновъ, размѣровъ и направленій, большія и малыя, дешевыя и дорогія, серьезныя и юмористическія, литературныя и научныя, политическія и вовсе неполитическія. Появлялись даже летучіе уличные листки. Вся печать съ оффиціальной доходила до 250 изданій“,

„Тогда, правда, и время было такое,—читаемъ мы въ другомъ мѣстѣ,—что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору.

Никогда, ни раньше, ни послѣ, литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго мѣста. Когда на литературныхъ вечерахъ впервые является на эстрадѣ писатель, пользовавшійся симпатіями публики, стонъ стоялъ отъ криковъ, восторга и апплодисментовъ и стучанья стульями и каблуками. Это былъ не энтузіазмъ, а какое-то бѣснованіе, но совершенно вѣрно выражавшее то воодушевленіе, которое вызываетъ писатель въ публикѣ. И, дѣйствительно, между тѣмъ временемъ, — когда можно было разсказывать и всѣ вѣрили, что Пушкина высѣкли за какое-то стихотвореніе,— и 60-ми годами легла уже цѣлая пропасть. Теперь писатель всталъ сразу на какую-то недосягаемую высоту. Въ умчавшуюся пору, когда, по общему мнѣнію, Пушкина *можно* было высѣчь, писатель не имѣлъ корней въ обществѣ и по своимъ интересамъ былъ для общества негосягаемъ. Поэтъ и беллетристъ услаждали тогда лишь праздный досугъ, доставляли занимательное чтеніе, а вкусы и требованія были еще настолько неразвиты, что извѣстной части образованной публики трагедіи Баркова были понятнѣе и выше „Полтавы“ Пушкина. Въ шестидесятыхъ годахъ, точно чудомъ какимъ-то, создался внезапно совсѣмъ новый, небывалый читатель съ общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавшій думать объ общественныхъ дѣлахъ, желавшій научиться тому, что онъ хотѣлъ знать. Когда можно было высѣчь Пушкина, у насъ была только литература. Сенковскій же увѣрялъ, что у насъ была тогда не литература, а только книжная торговля; теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, какъ творецъ этой литературы, сталъ общественнымъ учителемъ, воспитателемъ и пророкомъ, открывавшимъ горизонты будущаго, указывавшимъ идеалы и цѣли стремленіямъ. Отношенія между читателемъ и писателемъ установились теперь вполнѣ практическія, осязательныя, такъ сказать, земныя, утилитарныя, писатель пересталъ только развлекать праздный досугъ, онъ сталъ наставникомъ и учителемъ общественнаго строительства. Словомъ, когда весь успѣхъ реформъ зависѣлъ отъ общественнаго развитія, нельзя было не ставить высоко тѣхъ, кто творилъ это развитіе“.

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, если бы талантъ не соблазнился ею.

„Главными мѣстами изданій,—продолжаетъ Шелгуновъ,—какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербургъ. Въ петербургскихъ изданіяхъ слѣдилось преимущественно за интересами дня, за тѣмъ, что дѣлалось въ русскомъ мірѣ, за вопросами, которые намѣчались и разрѣшались. Петербургская печать была передовымъ и главнымъ боевымъ полкомъ. Она стремилась руководить и не однимъ общественнымъ мнѣніемъ, и ставила иногда вопросы, если не опережавшіе правительственную мысль, то пытавшіеся расчистить ей путь и въ дѣйстви-

тельности его расчищавшіе. Москва больше теорезировала и углублялась въ основы русскаго духа. Какъ только явилась большая свобода, и повѣяло духомъ перемѣнъ, Москва принялась издавать славянофильскіе и полу-славянофильскіе органы, объявила войну исторіи Запада и Петру Великому (конечно, вмѣстѣ съ Петербургомъ), и въ поддержку „Русской Бесѣды" Кошелева явился „Парусъ" Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный органъ на западно-европейской подкладкѣ — „Русскій Вѣстникъ", основанный въ 1856 г. въ умѣренно-либеральномъ направленіи и сразу завоевавшій популярность интересомъ и дѣльностью содержанія... Въ Москвѣ же издавался тогда критическій органъ „Московское Обозрѣніе", въ которомъ участвовали только безыменные сотрудники, поставившіе себѣ задачей полную свободу и независимость отъ авторитетовъ.

„Но умственный центръ былъ не въ „сердцѣ" Россіи, а въ ея головѣ—въ Петербургѣ, гдѣ началъ издаваться и занялъ первое мѣсто между журналами „Современникъ". За „Современникомъ" стояли „Отечественныя Записки" и „Библіотека для чтенія". Петербургъ не уступилъ Москвѣ, а превзошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ органовъ. Въ Петербургѣ явился „Экономическій Указатель", проповѣдывавшій свободу торговли, неограниченную конкуренцію и личную поземельную собственность; „Искра", юмористическій и сатирическій журналъ, основанный В. Курочкинымъ съ цѣлой компаніей поэтовъ и юмористовъ; „Русскій Дневникъ" Павла Мельникова, а въ 1858 г, „Русское Слово" графа Кушелева".

При первомъ же взглядѣ на литературу 60-хъ годовъ для каждаго очевидно, что журналистика преобладала. И дѣйствительно, она играла руководящую роль. Преобладающій ея характеръ былъ критически-обличительный. Обличительная литература одно время выражала собою сущность настроенія эпохи. Она развилась съ легкой руки Щедрина и его замѣчательныхъ „Губернскихъ очерковъ", закрѣпилась „Свисткомъ" Добролюбова, имѣла спеціальное свое мѣстопребываніе въ „Искрѣ" Курочкина, вообще же вездѣ и повсюду являлась на первомъ планѣ. Оно и понятно, если взять во вниманіе настроеніе эпохи, которая первой своей задачей ставила рѣшительное свое желаніе освободиться отъ всего стараго и обновиться съ головы до ногъ во имя новаго и несомнѣнно европейски-новаго.

„Современникъ". Основанный по мысли А. С. Пушкина и Плетнева въ 1836 году, занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ, только тогда, когда перешелъ къ Некрасову и Панаеву (1847 г.) и, главнымъ образомъ, благодаря участію въ немъ Бѣлинскаго. Скорая смерть Бѣлинскаго (1848 г.), а главное бутурлинскій комитетъ и невозможная для мысли удушливая атмосфера приснопамятнаго семилѣтія (1848 — 1855) позволяли лишь влачить существованіе, сосредоточивъ всѣ заботы на „ин-

тересности". Но съ новымъ духомъ, повѣявшимъ въ жизни, „Современникъ" переродился и вспомнилъ, что онъ журналъ Бѣлинскаго. Онъ сталъ Современникомъ своихъ дней въ полномъ смыслѣ этого слова, выразителемъ самыхъ смѣлыхъ и затаенныхъ думъ своей эпохи, самымъ отзывчивымъ ея органомъ. На его страницахъ вы найдете отраженіе всего, что волновало людей сорокъ лѣтъ тому назадъ, заставляло ихъ любить, ненавидѣть, надѣяться или приходить въ отчаяніе. Здѣсь всѣ шероховатости стиля, вся грубость и блескъ полемики — такъ характерные для того времени, вся гамма общественнаго настроенія отъ первыхъ глухихъ и робкихъ нотъ первыхъ упованій до полныхъ самоувѣренныхъ аккордовъ людей, думавшихъ, что они изъ глупой Россіи сдѣлали уже Россію умной, изъ Россіи молчаливой — Россію говорящую. Здѣсь напечатаны лучшіе стихи Некрасова, здѣсь прошла вся дѣятельность Добролюбова и почти вся Чернышевскаго—здѣсь, словомъ, главный умственный центръ эпохи. Успѣхъ журнала былъ поразителенъ; его читали вездѣ, гдѣ думали, а его редакторовъ -- Некрасова и Чернышевскаго, почти боготворили. Насъ „Современникъ" можетъ интересовать только какъ характерный памятникъ эпохи, какъ выразитель ея правды, ошибокъ и увлеченій... Что дѣлать, habent sua fata libelli — родятся и умираютъ, и сегодня живыя, полныя огня, страсти и волненій страницы, завтра ужъ угрюмо и скучно смотрятъ на насъ съ книжныхъ полокъ, не возбуждая ни любви, ни гнѣва.

Характеристику Некрасова, какъ поэта, читатель найдетъ ниже, теперь нѣсколько словъ о томъ, чѣмъ онъ былъ для „Современника". Прежде всего онъ былъ превосходнымъ редакторомъ, съ дѣйствительно поразительной проницательностью разгадывавшій таланты и нужныхъ ему людей подъ какой бы непривлекательной внѣшностью они ни являлись къ нему. Онъ разгадалъ Чернышевскаго, Помяловскаго, Рѣшетникова, М. Михайлова, Елисеева и т. д. Но онъ дѣлалъ еще больше и лучше: замѣтивъ, что человѣку есть что сказать, и что онъ можетъ высказать себя, онъ предоставлялъ ему полную свободу и уже не вмѣшивался въ его отдѣлъ. Противники Некрасова, которыхъ у него и теперь еще очень много, называютъ это ловкостью, а особенно отмѣчаютъ то искусство, съ какимъ онъ проводилъ свой журналъ сквозь цензурные рифы. Дѣло не въ имени, а ловкость въ хорошемъ дѣлѣ вещь хорошая, заслуживающая искренняго уваженія. Если мы скажемъ про кого: онъ ловко и умѣло сдѣлалъ многое—то развѣ это не похвала?

Какъ поэтъ, онъ въ „Современникѣ" былъ прежде всего поэтомъ униженныхъ и оскорбленныхъ, воплотивъ ихъ въ образъ мужика. И я настаиваю на томъ, что онъ былъ искреннимъ поэтомъ, вдохновеннымъ защитникомъ слабаго.

„Онъ *чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго царства*, этихъ необозримо богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для „сильныхъ міра“. „Народъ безмолствовалъ“, но это только придавало еще болѣе трагическій оттѣнокъ пѣснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видѣлъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то грѣхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣльной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ“.

И онъ несомнѣнно былъ имъ, былъ именно страдальцемъ и жалѣтелемъ, изъ обстановки личной жизни почерпавшимъ толчки и стимулъ къ дѣйствительно страстному состраданію и жалѣнію.

Пока довольно о Некрасовѣ. О *Чернышевскомъ* надо сказать много больше, потому что онъ воистину „центральный“ человѣкъ. Жалѣю только, что не м гу сообщить ничего изъ его біографіи, кромѣ двухъ, трехъ чисто внѣшнихъ фактовъ. Но внутренняя интимная жизнь этого замѣчательнаго журналиста совершенно скрыта отъ насъ. Ни одной подробности, ни одного письма не появилось въ печати, и мы знаемъ только, что сынъ богатаго саратовскаго протопопа, Чернышевскій родился въ 1828 году, получилъ сначала домашнее воспитаніе, затѣмъ поступилъ въ семинарію, гдѣ блестяще окончилъ курсъ, но оттуда по обычной для поповичей дорогѣ не пошелъ, а отправился въ Петербургъ, въ университетъ. Здѣсь его выдающіяся способности обратили на себя общее вниманіе, и онъ, получивши дипломъ историко-филологическаго факультета, былъ оставленъ для приготовленія къ каѳедрѣ. Но изъ этого не вышло ничего, такъ какъ его диссертація „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“ не была утверждена министромъ народнаго просвѣщенія Норовымъ. Чернышевскій занялся журналистикой, и съ 1853 года мы видимъ его уже сотрудникомъ „Современника“, гдѣ онъ скоро напечаталъ два обширныхъ трактата: „Очерки Гоголевскаго періода русской литературы“ и „Лессингъ и его время“. „Очерки Гоголевскаго періода“ были чѣмъ-то совершенно новымъ, такъ какъ, строго говоря, это восхваленіе, признаніе и защита Бѣлинскаго, котораго Чернышевскій, впрочемъ, не называетъ: съ точки зрѣнія цензуры того времени, Бѣлинскій былъ чѣмъ-то въ родѣ государственнаго преступника, которому лишь преждевременная, хотя и безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія, смерть помѣшала понести заслуженную кару. Чернышевскій на все критико-философское движеніе до Бѣлинскаго смотритъ, какъ на подготовку его дѣя-

тельности, и ясно высказывается, что мы обязаны продолжать начатое великимъ критикомъ.

Съ новымъ духомъ и съ переходомъ изъ критическаго отдѣла въ публицистическій, Чернышевскій занялъ первое мѣсто въ текущей журналистикѣ, и слава его выросла до огромныхъ размѣровъ. Съ нимъ считались даже высшія сферы, министры (напр., Норовъ) принимали его у себя на раутахъ, интеллигенція считала его главой освободительнаго движенія. Работалъ онъ массу, причемъ главный предметъ его работъ былъ, разумѣется, крестьянскій вопросъ. Тутъ замѣчательны его статьи: „Критика философскихъ предупрежденій противъ общиннаго землевладѣнія“ и „О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа“. Полнѣе всего его міросозерцаніе высказалось въ статьѣ „Антропологическій принципъ философіи“. Много занимался онъ также популяризаціей историческихъ знаній и несомнѣнно, что это онъ привилъ къ русскому мышленію политико-экономическую точку зрѣнія (особенно переводами и примѣчаніями къ „Основаніямъ“ Милля). Слава и значеніе, и еще что-то темное и страшное, неясное и невыясненное не прошли ему даромъ. Арестованный въ 1862 году, онъ былъ сосланъ сначала на каторгу въ Александровскій заводъ, оттуда на поселеніе въ Вилюйскъ. Возвращенный въ 1883 году, онъ съ совершенно разстроеннымъ здоровьемъ жилъ въ Астрахани и умеръ въ 1889 году въ Саратовѣ. Кромѣ этихъ фактовъ и его статей изъ „Современника“—его жизнь легенда.

Журналистомъ онъ былъ замѣчательнымъ по темпераменту, настроенію, по огромному литературному таланту. Въ пріемахъ его публицистики, въ его краткихъ молніеносныхъ фразахъ, гдѣ говорятъ то страсть, то негодованіе, то ядовитый сарказмъ, вы слышите боевой призывъ къ освобожденію отъ стараго, дореформеннаго, къ полной перестройкѣ жизни. Его мысль отличалась прямолинейностью, часто предумышленной, высказанной нарочно, съ обдуманнымъ намѣреніемъ, чтобы читатель не увлекался въ сторону, не путался ни въ діалектическихъ, ни въ схоластическихъ тонкостяхъ, а зналъ бы одно и одно: что онъ не читатель, не мыслитель, а прежде всего *работникъ* во имя общаго блага и радости. Каждой своей статьей онъ указываетъ *путь* къ живой работѣ, какъ любили тогда выражаться, и поэтому самымъ характернымъ его произведеніемъ является его романъ „Что дѣлать?“. Онъ комментировалъ Милля, полемизировалъ съ Юркевичемъ и со всей русской журналистикой, соблазнялъ идеаломъ Фурье все съ одной и той же цѣлью создать единую всероссійскую партію интеллигентныхъ работниковъ, которая не позволила бы молодому, только что проснувшемуся обществу погрузиться въ прежнюю спячку, уже невозможную теперь, когда даровой мужицкій трудъ ушелъ въ область пре-

данія, и чувствуется полное обновленіе всѣхъ сторонъ жизни, всего міросозерцанія.

Вначалѣ (до появленія на сцену Добролюбова) Чернышевскій выступалъ прежде всего, какъ литературный критикъ и историкъ литературы. Рѣшительно нельзя отказать ему въ критической проницательности, лучшимъ доказательствомъ чему могутъ служить хотя бы его отзывы о Толстомъ и Островскомъ. Имѣя въ своемъ распоряженіи лишь „Дѣтство и отрочество“ и „Военные разсказы“, онъ дѣлаетъ о талантѣ Толстого много, дѣйствительно, остроумныхъ и глубокихъ замѣчаній. Напримѣръ: „Вниманіе графа Толстого болѣе всего обращено на то, какъ однѣ чувства и мысли развиваются изъ другихъ, ему интересно наблюдать, какъ чувство, непосредственно возникающее изъ даннаго положенія или впечатлѣнія, подчиняясь вліянію воспоминаній и силѣ сочетаній, представляемыхъ воображеніемъ, переходитъ въ другія чувства, снова возвращается къ прежней исходной точкѣ и опять и опять странствуетъ, измѣняясь по всей цѣпи воспоминаній; какъ мысль, рожденная первымъ ощущеніемъ, ведетъ къ другимъ мыслямъ, увлекается дальше и дальше, сливаетъ грезы съ дѣйствительностью, мечты о будущемъ съ рефлексіею о настоящемъ... Гр. Толстого занимаетъ всего болѣе самъ психическій процессъ, его формы, его законы, діалектика души, чтобы выразиться опредѣлительнымъ терминомъ“... Или: „есть живописцы, которые знамениты искусствомъ уловлять мерцающее отраженіе луны на быстро катящихся волнахъ, трепетаніе цвѣта на шелестящихъ листьяхъ, переливы его на измѣнчивыхъ очертаніяхъ облаковъ; о нихъ по преимуществу говорятъ, что они умѣютъ уловлять жизнь природы. Нѣчто подобное дѣлаетъ Толстой относительно таинственнѣйшихъ движеній психической жизни. Въ этомъ состоитъ, какъ намъ кажется, совершенно оригинальная черта его таланта. Изъ всѣхъ замѣчательныхъ русскихъ писателей онъ одинъ мастеръ на это дѣло“. Нечего и говорить, что Чернышевскій привѣтствуетъ выступленіе Толстого на литературное поприще, называетъ его „прекрасной надеждой нашей литературы“ и заканчиваетъ свою статью, написанную въ 1856 г. словами: „мы предсказываемъ, что все, данное донынѣ графомъ Толстымъ нашей литературѣ, только залоги того, что совершитъ онъ впослѣдствіи, но какъ богаты и прекрасны эти залоги!“ Въ Островскомъ Чернышевскій признавалъ огромный талантъ и въ то же время онъ понималъ, что этотъ талантъ совершенно чуждый и „Современнику“, и западничеству, что истинныя симпатіи великаго драматурга на сторонѣ патріархальной русской жизни, ея старыхъ родовыхъ устоевъ. Опять-таки тотъ же Чернышевскій среди общихъ восторговъ публики и критики и наперекоръ имъ поставилъ на свое мѣсто Авдѣева, Евг. Туръ и т. д. Но главная его заслуга заключается, какъ я думаю, въ томъ, что

онъ съ увлеченіемъ и большимъ знаніемъ дѣла напомнилъ Бѣлинскаго, передъ которымъ онъ преклонялся, и далъ связный обзоръ русской литературы и особенно русской журналистики, въ своихъ „Очеркахъ Гоголевскаго періода". Тутъ журналистика впервые разсматривается, какъ выраженіе общественной мысли, какъ общественная *сила* и общественное *служеніе*. Теоретическіе взгляды на искусство Чернышевскій высказалъ въ своей неодобренной министерствомъ диссертаціи „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности". Въ высшей степени любопытно вспомнить, что видѣли въ этой работѣ наиболѣе чуткіе изъ современниковъ. Обращаюсь поэтому къ „Воспоминаніямъ" Шелгунова:

„Умственное направленіе шестидесятыхъ годовъ (я говорю преимущественно о литературномъ движеніи мысли), выразившееся наиболѣе ярко съ 1859 по 1862 годъ, создалось не въ эти годы. Оно проходитъ черезъ цѣлый рядъ годовъ и въ первый разъ въ своемъ зачаточномъ видѣ было провозглашено въ 1855 году на публичномъ диспутѣ въ петербургскомъ университетѣ. Я говорю о публичной защитѣ Чернышевскимъ его диссертаціи: *О эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности*. Задолго до публичной защиты о ней было уже извѣстно въ кружкахъ, болѣе близкихъ къ автору... Небольшая аудиторія, отведенная для диспута, была биткомъ набита слушателями. Тутъ были и студенты, но кажется было больше постороннихъ, офицеровъ и статской молодежи. Тѣсно было очень, такъ что слушатели стояли на окнахъ. Я тоже былъ въ числѣ этихъ... Чернышевскій защищалъ диссертацію съ своей обычной скромностью, но съ твердостью непоколебимаго убѣжденія. Послѣ диспута Плетневъ (предсѣдательствовавшій) обратился къ Чернышевскому съ такимъ замѣчаніемъ: „Кажется, я на лекціяхъ читалъ вамъ совсѣмъ не это!" И дѣйствительно, Плетневъ читалъ не то, а то, что онъ читалъ, было бы не въ состояніи привести публику въ тотъ восторгъ, въ который ее привела диссертація. Въ ней было все ново и все заманчиво: и новыя мысли, и аргументація, и простота, и ясность изложенія. Но такъ на диссертацію смотрѣла только аудиторія, Плетневъ ограничился своимъ замѣчаніемъ, обычнаго поздравленія не послѣдовало, а диссертація была положена подъ сукно... Я напомню читателю главное содержаніе диссертаціи.

„Уваженіе къ дѣйствительной жизни, недовѣрчивость къ апріористическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазіи гипотезамъ,—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ; къ тому же знаменателю слѣдуетъ привести и наши эстетическія убѣжденія,—говорилъ молодой магистрантъ.—Наука о прекрасномъ, эстетика, имѣетъ разумное право на существованіе только въ томъ случаѣ, если прекрасное имѣетъ самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Здоровый человѣкъ встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходитъ ему въ голову желать, чтобы они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно „совершенство"—мнѣніе фантастическое, если подъ „совершенствомъ" по-

нимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ. Прихотливая строгость требованій ведетъ только къ праздности, холодности и пресыщенности. Русскія женщины не такъ красивы какъ итальянки, которыхъ рисовалъ Рафаэль, но какъ бы ни было велико наше недовольство этимъ, русскія женщины отъ него не похорошѣютъ. Недовольство дѣйствительностью совершенно безплодно и нелѣпо, когда оно обращено на красоту, и напротивъ того, оно необходимо когда направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ умами и руками людей. „Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такою какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни". Искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дѣйствительности, и оно должно воспроизводить дѣйствительность, т. е. все то, что интересно для человѣка въ жизни. Для чего же нужно это воспроизведеніе? А вотъ для чего. Потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли насъ, а для того чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познакомить насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности. Содержаніе, достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто оно пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ такими пустяками? Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. Человѣкъ самъ себѣ цѣль; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ. Въ этомъ отношеніи чаще другихъ погрѣшали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка: вообще вся поэзія и изображаемая въ ней жизнь принимаетъ какой-то сантиментальный, розовый колоритъ; вмѣсто серьезнаго изображенія человѣческой жизни, произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношею, котораго разсказы интересны только для людей того же нравственнаго или физіологическаго возраста. Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности: это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности: это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ примѣнить къ пользѣ человѣчества свои объясненія: пусть и искусство не стыдится

признаться, что цѣль его,—для вознагражденія человѣка, въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью, — воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоцѣнную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности, быть нѣкоторою замѣною ея и быть для человѣка учебникомъ жизни.

„Эти прекрасныя мысли, выраженныя съ такой страстной любовью къ людямъ, и до сихъ поръ дышатъ свѣжестью и будятъ въ душѣ благородныя чувства. Какой же увлекающей силой онѣ явились тридцать лѣтъ назадъ! Это была цѣлая проповѣдь гуманизма, цѣлое откровеніе любви къ человѣчеству, на служеніе которому призывалось искусство. Вотъ въ чемъ заключалась влекущая сила этого новаго слова, приведшаго въ восторгъ всѣхъ, кто былъ на диспутѣ, но не тронувшаго только Плетнева и засѣдавшихъ съ нимъ профессоровъ. Плетневъ, гордившійся тѣмъ, что онъ угадывалъ и поощрялъ новые таланты, тутъ не угадалъ и не прозрѣлъ ничего; онъ даже и не предчувствовалъ, что передъ нимъ возстала во всемъ своемъ будущемъ величіи новая идея, которой суждено овладѣть всѣмъ движеніемъ мысли и указать новый путь, которымъ и пойдетъ затѣмъ наша литература и журналистика...

„Явись эта диссертація только шестью-семью годами раньше, когда кончалъ Бѣлинскій и выступалъ В. Майковъ, вліяніе ея, конечно, не перешло бы литературныхъ предѣловъ. Но теперь было другое время, теперь мы ужъ узнали Севастополь. Общественное вниманіе, хотя и смутно, но уже устремилось къ оцѣнкѣ дѣйствительности. И моментъ не могъ быть выбранъ болѣе удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дѣла у него не можетъ и не должно быть, какъ только думать о своихъ дѣлахъ. Еще внушительнѣе и необходимѣе было это указаніе для художниковъ слова, раньше не знавшихъ, о чемъ имъ слѣдуетъ говорить: „говорите о жизни, и только о жизни,—возвѣстилъ имъ одинъ изъ лучшихъ представителей своего времени.—отражайте дѣйствительность, а если люди не живутъ по человѣчески, учите ихъ жить, рисуйте имъ картины жизни хорошихъ людей и благоустроенныхъ обществъ“.

Я сомнѣваюсь, чтобы книга Чернышевскаго могла бы вызвать теперь хоть частицу восторговъ Шелгунова. Нечего и говорить, что область искусства шире, что никакихъ обязательствъ передъ обществомъ брать на себя оно не можетъ, что заставить его отражать дѣйствительность, значитъ, въ сущности, упразднить его, что у него есть своя „красота“, которой оно служило и служитъ, что по природѣ своей оно романтично, а не натуралистично, что оно не только напоминаетъ, а и ведетъ, и радуетъ, и печалитъ, что желанія, мечты, идеалы человѣка, его скорбь и надежды такъ же для него дороги, какъ и дѣйствительность—доставляющая лишь кирпичъ для его построекъ—но все это не можетъ нисколько помѣшать намъ признать интересъ и значеніе „Эстетическихъ отношеній“. Тутъ разночинецъ впервые создаетъ свою теорію искусства (чего не успѣлъ сдѣлать Бѣлинскій) и

его пользу для человѣка, его служеніе обществу ставитъ верховнымъ принципомъ. Здѣсь полное опроверженіе эстетическихъ теорій Станкевича и его кружка, теорій прекрасныхъ, но слишкомъ барскихъ, слишкомъ индивидуалистическихъ для новой эпохи.

Чѣмъ дальше, тѣмъ текущія событія, текущая жизнь получали все большее значеніе въ глазахъ Чернышевскаго. Въ концѣ концовъ, онъ весь отдался имъ съ тѣмъ страстнымъ увлеченіемъ, на которое была способна его глубокая натура. Онъ былъ учителемъ и, конечно, въ извѣстномъ направленіи:—съ идеаломъ общественной свободы и самодѣятельности, съ идеаломъ крестьянскаго матеріально и духовно-обезпеченнаго царства въ душѣ. Онъ весь ушелъ въ интересы дня, которые казались ему наиболѣе удобными для осуществленія завѣтнѣйшихъ думъ. Первая и завѣтнѣйшая изъ этихъ думъ была полное отреченіе отъ дореформеннаго патріархальнаго строя, его идеаловъ и его устоевъ. Поэтому вмѣсто нравственности, основанной на идеѣ долга, онъ проповѣдывалъ утилитаріанизмъ. „*Добро*,—говорилъ онъ,—*это польза для всѣхъ, по крайней мѣрѣ, для большинства* и если добро чѣмъ-нибудь отличается отъ пользы, то развѣ тѣмъ, что въ немъ съ особенной силой выдвинута черта постоянства, прочности, плодотворности съ наиболѣе хорошими, долговременными и многочисленными результатами. Польза — качество поступка, добро — качество человѣка, т. е. огромнаго ряда поступковъ. Добро—это польза въ превосходной степени, это—какъ будто очень полезная польза. Творя полезное и доброе, человѣкъ дѣлаетъ пріятное себѣ, осуществляетъ идею своего личнаго счастья, но *дѣйствительно прочное, истинное счастье человѣка возможно лишь при счастьѣ всѣхъ*.

Нравственное ученіе Чернышевскаго построено исключительно на естественно-научныхъ данныхъ. Можно спросить себя, откуда такое уваженіе къ естественнымъ наукамъ, которыя объявлялись камнемъ краеугольнымъ всѣхъ человѣческихъ знаній вообще? Почему такъ дорожили открытіями Фохта, Бюхнера и Молешотта, почему ихъ сочиненія давались какъ первое, необходимое руководство всякому, желавшему, по терминологіи того времени, стать мыслящимъ субъектомъ? Почему, далѣе, даже такіе критики, какъ Писаревъ, считали популяризацію естествознанія едва ли не главной задачей своей работы? Мнѣ кажется, что здѣсь, въ этомъ фактѣ, проявляется прежде всего стремленіе къ выработкѣ яснаго и опредѣленнаго міросозерцанія. Думали, что данныя естествознанія наиболѣе способны разрушить всѣ предразсудки и порвать всякую связь человѣка съ прошлымъ. Вѣдь собственно говоря, данныя изъ книгъ Молешотта и Бюхнера не имѣли ровно никакого отношенія къ основнымъ задачамъ времени, тѣмъ, кото-

рыя зажигали сердца, и едва ли существуетъ какая-нибудь дѣйствительная связь между происхожденіемъ человѣка отъ плѣшивой обезьяны и требованіемъ самопожертвованія въ пользу общества. Но все равно—люди искали безспорнаго и положительнаго и брались за первое, что попадалось имъ въ руки. Подъ вліяніемъ Запада попалось естествознаніе.

„Въ движеніи 60-хъ годовъ,—пишетъ г. Головинъ,—была одна, такъ сказать, общечеловѣческая черта, нѣсколько приближавшая его къ раціонализму конца прошлаго вѣка въ Западной Европѣ. Черта эта заключалась въ восторженномъ, даже въ страстномъ поклоненіи точному знанію, отъ котораго ожидалось не только расширеніе научнаго кругозора, но и нравственное обновленіе. Какъ разъ въ десятилѣтіе съ 50-го по 60-й годъ естественныя науки не только сдѣлали большіе успѣхи сами по себѣ, но проникли собою и своимъ методомъ чуждую имъ до того область обществознанія. Имена Фарадея, Гельмгольца, Тиндаля, Дарвина, Ляйеля, Вирхова, Гексли обозначаютъ собою такой подъемъ естествовѣдѣнія, что за эту эпоху оно совершенно затмило собою прочія науки, тѣмъ болѣе, что, благодаря его методу изслѣдованія, открылись новыя широкія гипотезы, совершенно измѣнявшія господствовавшее до того міросозерцаніе. Не обращая вниманія на то, сколько въ этихъ гипотезахъ было сомнительно и недоказаннаго, масса читающей публики и на Западѣ, и въ особенности у насъ ринулась на новые пути съ тѣмъ большимъ довѣріемъ, чѣмъ менѣе она была въ состостояніи критически отнестись къ научнымъ догадкамъ. Съ этимъ расширеніемъ области естествовѣдѣнія шла рука объ руку иная работа—попытка распространить на ходъ развитія человѣческихъ обществъ законы и методы естественныхъ наукъ,—объединить, такъ сказать, въ одно цѣлое всю природу, отъ движенія небесныхъ тѣлъ до ощущенія души человѣка. Понятно, что въ этой области, менѣе доступной провѣркѣ опыта, было еще болѣе мѣста для фантазіи, лишь прикрытой именемъ науки, чѣмъ въ области такъ называемыхъ точныхъ знаній. Строго говоря, новыя философскія ученія, получившія названія позитивизма, эволюціонизма, утилитаризма, были ученіями вполнѣ матеріалистическими, такъ какъ они стремились подвести подъ одинъ уровень явленія физической и нравственной жизни. Отъ чистаго матеріализма ихъ отличалъ только способъ постановки вопроса—именно отсутствіе какихъ-либо доктринальныхъ признаній единства матеріи и духа и допущенное ими симптоматическое различіе между физическими процессами съ одной стороны и психическими съ другой. Но едва ли будетъ ошибкою признать, что быстрая популярность, именно у насъ пріобрѣтенная именами Лекки, Милля, Литрэ, Бокля, Спенсера, была вызвана всего болѣе сходствомъ ихъ выводовъ съ матеріалистическимъ ученіемъ".

Изученіе литературной дѣятельности Чернышевскаго лучше всего показываетъ, что матеріализмъ лишь внѣшняя форма, случайная одежда того бьющаго черезъ край идеализма, который формулируется нами какъ движеніе 60 хъ годовъ. По интенсивности своего идеалистическаго порыва, по той самоотверженности, которую проявляли представители этого движе-

нія, по силѣ вѣры, вложенной въ него—оно можетъ быть названо даже религіознымъ. Ибо такими словами, какъ общество, общественныя задачи, служеніе обществу, человѣкъ воистину не только малымъ разумомъ своимъ—разсудкомъ, но и большимъ разумомъ, т. е. всѣмъ своимъ существомъ, всей волей своей и своими стремленіями отвѣчалъ на страшный и таинственный вопросъ о смыслѣ жизни. Только для *этого* и стоитъ жить. И въ служеніи массѣ, еще вчера закабаленной, въ дѣятельности, которая приподнимала бы ея самосознаніе, заключался идеализмъ эпохи.

Матеріалистическое міросозерцаніе было, повторяю, лишь оболочкой, одеждой истинной сущности движенія 60-хъ годовъ, было прежде всего протестомъ противъ оффиціальнаго спиритуализма предшествовавшей эпохи. Разсудокъ, какъ верховный руководитель человѣка, польза, какъ конечная цѣль его поступковъ, матеріальное благосостояніе, какъ необходимое и первое условіе жизни—все это, конечно, нравственный матеріализмъ. Но не надо обманываться внѣшностью, не надо допускать, чтобы внѣшность скрывала истинное содержаніе и значеніе вещей. Потому что этимъ истиннымъ содержаніемъ и значеніемъ были интересы массы. Вотъ они-то и придали совершенно особенный характеръ всему міросозерцанію. „Разсудокъ“ „польза“, „матеріальное благосостояніе“—все это узенькое, маленькое мѣщанство, все это принципы, которымъ ничего не стоитъ опошлиться до pig's philosophy—философіи свиного корыта. Но въ руслѣ этого узенькаго мѣщанства 60-ые годы пробыли, быть можетъ, одинъ лишь день, или даже лишь случайно заглянули туда. Безмѣрность желаній и стремленій русской интеллигенціи быстро оттѣснили всѣ проявленія этого духа. Идеалъ счастья становился все болѣе отвлеченнымъ, идеалъ героизма и подвижничества все болѣе жизненнымъ. Но и раньше, и всегда было нѣчто серьезно противо-мѣщанское въ проповѣди наиболѣе мѣщанскаго. Возьмите хотя бы идею матеріальнаго благосостоянія. Естественно, что ее выставили на своемъ знамени люди, сами вышедшіе изъ массы, изъ среды тѣхъ, кто жилъ „между нищими и средними“. Имъ она была дорога, безконечно дороже, чѣмъ, скажемъ, барину-идеалисту. Но вѣдь это матеріальное благосостояніе понималось не какъ конечная цѣль, а лишь какъ необходимое условіе развитія, потому что нищета дѣйствительно душитъ и гадитъ человѣка. И потомъ въ какихъ грандіозныхъ картинахъ рисовалось это общее матеріальное благосостояніе! Тутъ были и дворцы изъ агата и хрусталя, былъ общій земной праздникъ, была веселая земля, населенная веселыми людьми,—приволье и радость разумно трудящихся работниковъ. Фурье никогда не возбуждалъ такихъ восторговъ, какъ въ это время.—Нѣтъ это не такъ просто! Нравственный матеріализмъ есть нѣчто отвратительное, когда онъ соединенъ съ малостью и робостью духа и съ сухимъ эгоизмомъ натуры,

но не когда онъ является однимъ изъ рычаговъ для переоцѣнки нравственныхъ цѣнностей. А это-то и было въ 60-ые годы, которымъ надлежало переоцѣнить цѣнности, созданныя крѣпостной эпохой.

Экономическія статьи Чернышевскаго были руководящими для журнала, и естественно, какой огромный интересъ возбуждали онѣ въ то время, когда мысль объ устройствѣ крестьянскаго быта была у всѣхъ на умѣ, пугая однихъ или возбуждая—увы!—несбывшіяся мечты въ другихъ. Чернышевскій въ этихъ статьяхъ выступалъ съ совершенно опредѣленными взглядами и требованіями, чѣмъ и обусловливается ихъ значеніе и ихъ историческая роль. Прекрасно начитанный по части западной экономической литературы, онъ ясно видѣлъ, что экономическая эволюція Россіи представляетъ изъ себя нѣкоторыя особенности, остальнымъ европейскимъ государствамъ или неизвѣстныя или извѣстныя очень мало, и понимая, что эти особенности, главной изъ которыхъ было существованіе общины, хороши съ точки зрѣнія экономической самостоятельности крестьянъ, естественно проповѣдывалъ ихъ сохраненіе, поддержку и развитіе. Основную свою точку зрѣнія на крестьянскій вопросъ „Современникъ“ выразилъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Фантазія—способность очень слабая, она не въ силахъ отдаляться отъ дѣйствительности. *Она не въ силахъ создать для своихъ картинъ ни одного элемента, кромѣ даваемыхъ ей дѣйствительностью.* Въ дѣйствительности по вопросу о пользованіи продуктомъ труда высшій элементъ, знакомый нашему воображенію — положеніе поселянина-собственника. Всѣ теоріи коренныхъ улучшеній человѣческаго быта построены на этомъ понятіи. Со временемъ, конечно, будетъ представлять дѣйствительность данныя для идеаловъ, болѣе совершенныхъ, но теперь никто не въ силахъ отчетливымъ образомъ описать для другихъ или хотя бы представить самому себѣ иное общественное устройство, которое имѣло бы своимъ основаніемъ идеалъ болѣе высокій. Да, изъ этого скромнаго основанія возникаютъ и эту скромную цѣль преслѣдуютъ всѣ такъ называемыя утопіи: *дайте намъ такой бытъ, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы занимать положеніе поселянина-собственника* или другое положеніе равнозначительное ему, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы работать дѣйствительно въ свою пользу“.

Подчеркнутыя слова лежатъ въ основаніи всѣхъ экономическихъ разсужденій Чернышевскаго. Передъ собой онъ видѣлъ воистину мужицкое царство и онъ думалъ, что это мужицкое царство можетъ развиваться безъ конца, пока въ немъ не осуществятся сны Вѣры Павловны о дворцахъ изъ агата, о вѣчной радости и весельи людей. Въ основу этого царства онъ полагалъ общину и общинный духъ, духъ круговой поруки и артелей, изъ котораго должно выработаться новое братство и единеніе. Онъ считалъ общину камнемъ краеугольнымъ нашего экономическаго развитія; онъ ду-

малъ, что эта община, вызванная къ новой жизни реформами и западной наукой, допустившая въ свою среду интеллигенцію, легко перейдетъ въ другое, безконечно лучшее существованіе. Община представлялась ему живучей и устойчивой, оттого-то такъ и раздражали его выходки бюрократовъ. Въ двухъ словахъ его идеалы на этотъ счетъ можно выразить такъ: Чернышевскій *считалъ не только желательнымъ, но и безусловно возможнымъ влить самое богатое и разнообразное культурное содержаніе въ самыя примитивныя и даже архаическія формы экономическаго быта безъ обмѣна, безъ капитала и даже безъ государственнаго вмѣшательства въ строй общинной жизни.* Онъ вѣрилъ, что такъ должно было бы быть, но уже и въ ту эпоху, когда считались осуществимыми самыя смѣлыя надежды, сомнѣніе нѣтъ-нѣтъ овладѣвало имъ, и онъ тоскливо спрашивалъ, будетъ ли такъ?

Н. А. Добролюбовъ. (1836—1861). Быть можетъ, это самая глубокая и серьезная фигура всей нашей литературы 60-ыхъ годовъ. Я не говорю—самая вліятельная: самымъ вліятельнымъ журналистомъ былъ, конечно, Чернышевскій. Но я настаиваю на словахъ глубокой и серьезной и хотѣлъ бы даже удесятирить ихъ значеніе, замѣнивъ однимъ опредѣленіемъ: Добролюбовъ былъ натура *религіозная*; счастье человѣчества было его богомъ, и онъ служилъ ему, какъ жрецъ, съ страстной любовью, нѣжнымъ умиленіемъ, но и съ безпощаднымъ негодованіемъ въ то же время противъ всѣхъ людей иной вѣры, иного кумира. Даже у противниковъ 60-ыхъ годовъ по поводу Добролюбова вырываются порою хорошія строки, какъ вырываются онѣ у всѣхъ, кто проникъ въ истинный смыслъ хотя бы одной изъ статей, написанной такъ безжалостно рано умершимъ критикомъ. Его обвиняютъ въ холодности, его называютъ подчасъ мертвой головой, затвердившей одно слово: „счастье всѣхъ“ и безконечное число разъ переворачивавшей его на всѣ лады. Да, отъ него дѣйствительно вѣетъ холодомъ, но это холодъ сдержаннаго негодованія, холодъ страсти, кристализованной, поглотившей всего человѣка, сдѣлавшей изъ него въ одно и то же время маньяка и ясновидца и испепелившей его наконецъ. „Милый другъ, я умираю, оттого что былъ я честенъ“—не пустыя слова и не гордыня духа. Честность не та, конечно, пошлая мѣщанская честность, которая не воруетъ платковъ, а та большая, мучимая муками всѣхъ обездоленныхъ, откликающаяся на всѣ ихъ слезы, сдѣлавшая задачу ихъ отомщенія своей задачей, дѣйствительно свела его въ могилу. И онъ ушелъ въ нее безъ слезъ и безъ отчаянія съ тѣми же словами предсмертнаго завѣта, съ которыми онъ при жизни обращался къ толпѣ учениковъ: „вѣрьте, что богъ—счастье всѣхъ людей, богъ, которому мы служимъ—теперь обиженный и опозоренный, еще сой-

детъ на землю во всей красотѣ и величіи и сдѣлаетъ изъ этой юдоли страданій и плача—юдоль красоты и веселья. Вѣрьте, что вы будете отомщены, потому что всѣ униженные и оскорбленные достойны отомщенія".

Онъ умеръ на 26-мъ году, и конечно, у него нѣтъ біографіи. На его могилѣ Некрасовъ прекрасно сказалъ: „бѣдное дѣтство въ домѣ бѣднаго сельскаго священника, бѣдное полуголодное ученье; потомъ 4 года лихорадочнаго, неутомимаго труда и наконецъ годъ за границей, проведенный въ предчувствіи смерти—вотъ и вся біографія Добролюбова". Но за этимъ послужнымъ спискомъ скрывается богатая интимная жизнь, и къ счастью любящая рука его друга и учителя, Чернышевскаго, сохранила намъ кое что изъ нея. И все сохраненное изъ дневника, изъ писемъ, изъ воспоминаній знавшихъ Добролюбова говоритъ о томъ, что все его дѣтство и юность прошли въ страстной вѣрѣ въ простого русскаго Бога, въ страстномъ желаніи положить за Него душу свою, въ подвигахъ самобичеванія, въ пыткахъ, добровольно наложенныхъ на себя. Потомъ простой русскій Богъ замѣнился Богомъ—человѣчествомъ, и вся религіозная страсть, ничуть не ослабленная, но какъ будто еще больше раскалившаяся, направилась въ новое русло, вся неудовлетворенность жизни и счастья, всѣ вынесенныя униженія бѣдности, вызвышенныя и очищенныя религіознымъ экстазомъ, одухотворенныя имъ, вылились въ мучительной жаждѣ счастья для всѣхъ. Многое ли онъ сдѣлалъ, сдвинула ли горы вѣра его? Послушаемъ враговъ его эпохи, его настроенія.

„Связать литературу съ жизнью,—говоритъ В. Розановъ,—заставивъ первую служить послѣдней и понимая послѣднюю черезъ явленія первой—это составило смыслъ и задачу второго періода нашей критики, высшимъ выразителемъ котораго явился Добролюбовъ. Прекрасное въ литературѣ было отодвинуто на второй планъ, какъ и наслажденіе только имъ было признано мало достойнымъ. Какъ на самое существенное указывалось въ ней на то, что она можетъ глубже и вѣрнѣе, нежели что-либо другое, отражать въ себѣ жизнь, и притомъ не только съ внѣшней стороны, которую одну мы наблюдаемъ въ дѣйствительности, но и съ внутренней, болѣе глубокой, которая часто ускользаетъ отъ насъ. Художникъ или поэтъ есть какъ бы безсознательный мудрецъ, который въ выводимыхъ имъ образахъ или передаваемыхъ фактахъ концентрируетъ разсѣянныя черты жизни, иногда схватываетъ глубочайшую ихъ сущность и даже угадываетъ ихъ причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаемъ самую жизнь, а съ тѣмъ вмѣстѣ и научаемся, какъ относиться къ послѣдней. Но не всякое литературное произведеніе выполняетъ всѣ эти задачи одинаково и совершенно: несмотря на совершенство, напримѣръ, въ изображеніи и обобщеніи, оно можетъ невѣрно опредѣлять смыслъ изображаемаго или, еще чаще, можетъ погрѣшать въ указаніи его причинъ. Задача критики и состоитъ въ томъ, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгій и обстоятельный ком-

ментарій къ литературѣ, который вноситъ въ нее недостающее, исправляетъ неправильно сказанное, осуждаетъ и отбрасываетъ ложное, и все это—на основаніи сравненія ея содержанія съ живою текущею дѣйствительностью, какъ ее понимаетъ критикъ.

„Невозможно было придать литературѣ болѣе жизненное значеніе, пробудить къ ней болѣе глубокій интересъ, такъ слить ее съ душой исторически-развивающагося общества, чѣмъ какъ это сдѣлалъ подобный взглядъ на ея сущность и на задачи критики. Именно подъ его вліяніемъ литература пріобрѣла въ нашей жизни такое колоссальное значеніе. Не знать ея, не любить ея, не интересоваться ею—это значило съ того времени стать отщепенцемъ своего общества и народа, ненужнымъ отбросомъ родной исторіи, узкимъ и невѣжественнымъ эгоистомъ, которому никто не нуженъ и который самъ никому не нуженъ. Писатель сталъ главнымъ, центральнымъ лицомъ въ нашемъ обществѣ и исторіи, къ мысли котораго всѣ прислушиваются. И все это совершилось безъ словъ, даже безъ видимыхъ, осязаемыхъ вліяній, просто черезъ измѣненіе взгляда на литературу, черезъ новое отношеніе къ ней, въ которое стала критика, а за ней—общество.

„Великое значеніе исторически развивающейся жизни заключается въ томъ, что она, въ своемъ ровномъ и могущественномъ теченіи, удерживаетъ въ себѣ все истинное и доброе, что въ нее вносится индивидуальною волею, даетъ ростъ ему и силу, и сама отъ него возрастаетъ, ложное же и дурное почти все и безъ усилій оставляетъ въ сторонѣ. Дѣятельность Добролюбова, какъ ни кратка она была по времени, вошла органическимъ звеномъ въ духовное развитіе нашего общества, и трогательныя слова, написанныя имъ въ предвидѣніи близкой смерти въ виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ,

осуществились такъ, какъ только онъ самъ могъ пожелать для себя, даже болѣе—какъ могъ онъ пожелать для самыхъ дорогихъ своихъ надеждъ. Цѣлый рядъ поколѣній, какъ то быстро выступившихъ и быстро же сошедшихъ со сцены, неотразимо подчинился его вліянію, усвоилъ тотъ особый душевный складъ, тотъ оттѣнокъ чувства и направленіе мысли, которое жило въ этомъ еще такъ молодомъ и уже такъ странно могущественномъ человѣкѣ. И кто изъ насъ теперь живущихъ и уже свободныхъ отъ этого вліянія людей, обратясь къ лучшимъ годамъ своей юности, не вспомнитъ, какъ за томомъ сочиненій Добролюбова забывались и университетскія лекціи, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена изъ разныхъ старыхъ и новыхъ книгъ. Къ нему примыкали всѣ надежды, вся любовь и всякая ненависть“.

Это хорошо, сильно, а главное, вѣрно сказано. Добролюбовъ не думалъ отрицать ни эстетики, ни художественности, но онъ органически, всѣмъ существомъ своимъ понималъ, что бываютъ эпохи и задачи, несовмѣстимыя съ эстетикой, что есть категоріи добра и зла, несовмѣстимыя съ другими категоріями, и главнымъ образомъ, съ категоріей красоты. Какъ настоящій

шестидесятникъ, какъ одинъ изъ творцовъ эпохи, онъ былъ работникомъ-ригористомъ, чуждавшимся всякой роскоши даже художественной и боявшимся ея. Поэтому онъ очень мало говорилъ о Пушкинѣ и Гоголѣ, о Толстомъ, недолюбливалъ Тургенева за его очевидную красивость и любовное свое вниманіе сосредоточилъ на Гончаровѣ и особенно на Островскомъ, который хотя и не отвѣтилъ на главный вопросъ жизни самого Добролюбова; „какъ устроить такъ, чтобы всѣмъ было хорошо?"—зато картинами и типами своего темнаго царства ближе всего, по мнѣнію критика, подходилъ къ отвѣту на другой вопросъ: отчего людямъ не хорошо? Отъ самодурства, отъ предразсудковъ, отъ собственной трусости самихъ страдающихъ, а главное, отъ той страшной экономической зависимости, въ которой находится большинство людей. Въ то же время скептикъ Добролюбовъ спрашивалъ себя, достаточно ли велики дѣятели современной литературы и вообще всей русской литературы, чтобы заслуживать разбора съ самостоятельной художественной точки зрѣнія — и спокойно отвѣчалъ: „нѣтъ: они не Гете, не Шекспиръ, не Данте или Байронъ". Ихъ романы и комедіи вызываютъ интересъ настолько лишь, насколько они даютъ намъ живое отраженіе русской жизни; и потому эта жизнь съ ея вопросами и тревогами гораздо болѣе заслуживаетъ разбора, чѣмъ герои повѣстей и комедій. И черезъ голову этихъ героевъ, которыми онъ почти и не занимается вовсе, Добролюбовъ направляетъ свои удары противъ ненавистнаго ему строя русской жизни. За современной литературой онъ признаетъ одно лишь значеніе, значеніе прикладное и служебное — будить въ обществѣ сознаніе уродливости этой жизни, вызывать его на борьбу съ темными силами застоя. Хотя Добролюбовъ при этомъ говоритъ, что литература не должна становиться орудіемъ партіи, что отъ нея требуется одно лишь — безусловная, неумолимая правда, но едва ли онъ имѣлъ что-нибудь и противъ чисто партійной литературы. Въ статьѣ „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ" онъ спрашиваетъ себя, что должно служить мѣриломъ при оцѣнкѣ литературныхъ произведеній, всякихъ — художественныхъ и не художественныхъ, и отвѣчаетъ на этотъ рѣзко и опредѣленно поставленный вопросъ такъ:

„Мѣрою достоинства писателя или отдѣльнаго произведенія мы принимаемъ то, насколько служатъ они выраженіемъ естественныхъ стремленій извѣстнаго времени и народа. *Естественныя стремленія человѣчества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: чтобы всѣмъ было хорошо*".

Совершенно естественно поднимается вопросъ „почему же людямъ плохо?" и почему все въ жизни идетъ противъ естественныхъ стремленій людей? Добролюбовъ прямого и яснаго отвѣта на только что поставленные вопросы не далъ; слишкомъ увлеченный быстрой смѣной событій

своего времени, онъ давалъ лишь случайные и частные отвѣты. Отъ души ненавидя дореформенный русскій строй, онъ зло и мѣтко подводилъ ему итоги. Онъ указывалъ на самодурство темнаго царства, на то, въ какое безвыходное положеніе ставитъ людей экономическая зависимость, на зло отъ робости, невѣжества и трусости людей. (Статьи „Темное царство“ и „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“). Но, вѣроятно, лучшей его статьей слѣдуетъ признать „Что такое обломовщина?“. Тутъ онъ весь искренній и непримиримый. Тутъ онъ весь разночинецъ, возставшій противъ барской культуры и ея „героевъ“. Обломовщина для него самое отвратительное явленіе нашей жизни, и понимаетъ онъ ее очень широко. Рудинъ, Бельтовъ, Онѣгинъ и т. д. — всѣ герои нашей литературы въ барскую эпоху ея развитія—тѣ же Обломовы съ его лѣнью, прекраснодушіемъ и полной пустотой своей прикрашенной чужимъ трудомъ жизни. Они прежде всего тунеядцы и привиллегированные люди, а этихъ двухъ „грѣховъ“ Добролюбовъ не прощалъ никому...

Вся дѣятельность Добролюбова прошла до эмансипаціи, хотя онъ и пережилъ „Манифестъ“ на нѣсколько мѣсяцевъ. Ясно, что онъ не могъ не удѣлять большого вниманія и крестьянскому вопросу.

О правоспособности мужика къ свободѣ Добролюбовъ высказался въ сущности одинъ только разъ, но высказался такъ рѣзко и рѣшительно, какъ только этого можно желать, въ своей знаменитой статьѣ, посвященной разсказамъ *Марко-Вовчокъ*. Напомнить ее читателю для меня прямо необходимо; къ тому же и данная здѣсь характеристика М.-Вовчка имѣетъ для насъ значеніе.

„Новая книжка „Народныхъ разсказовъ“, — писалъ Добролюбовъ,— проникнута тѣмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія „Народні Оповідання“. Великія силы, таящіяся въ народѣ, и разные способы ихъ проявленія подъ вліяніемъ крѣпостного права — вотъ, что мы видимъ въ этихъ разсказахъ. Тонъ автора, обрывисто пѣвучій, характеръ разсказа грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свѣжей поэзіи въ описаніяхъ — все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ разсказахъ“.

Конечно, это очень большая похвала и сама по себѣ взятая, и несомнѣнно еще большая, разъ она принадлежитъ такому суровому критику, какъ Добролюбовъ, который вообще не долюбливалъ комплиментовъ. Онъ, впрочемъ, нисколько не увлекался и превосходно видѣлъ, съ кѣмъ и съ чѣмъ имѣетъ дѣло. Характерно, съ этой точки зрѣнія, самое заглавіе его статьи: „Черты для характеристики русскаго простонародья“. Замѣтьте: только „черты“, и этого Добролюбовъ не забываетъ ни на минуту. Онъ пишетъ:

„...Мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нѣсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

„Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественной полнотой, а только лишь намѣчены въ коротенькихъ разсказцахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни,—это было бы уже слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамѣстъ нечего еще и думать о ней... Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономіи человѣческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезныя, искренно и съ любовью сдѣланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числѣ этихъ наблюденій едва ли не самое почетное мѣсто принадлежитъ очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочного, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, разсказывается безъ поясненія его внутреннихъ или внѣшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но... для насъ довольно и того, что въ разсказахъ Марка Вовчка мы видимъ желаніе и умѣнье прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себѣ, гулу народной жизни: мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встрѣчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тѣ требованія и наклонности, которыя мы и сами замѣчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чѣмъ и дороги для насъ эти разсказы; вотъ почему и цѣнимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни на которую смотрятъ такъ узко и убого многіе изъ образованнѣйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувеллистовъ и пр., и пр.“

Что Добролюбовъ подразумѣвалъ подъ „широкимъ пониманіемъ“ народной жизни, извѣстно всѣмъ и каждому. Больше всего возмущалъ его взглядъ на народъ, какъ на безличную массу, живущую лишь стихійными инстинктами и коллективно-физіологическими процессами. Оттого-то онъ съ особенной любовью отмѣчалъ проявленія личнаго начала, прощая даже его заблужденія, какъ, напримѣръ, при разборѣ характера Ефима изъ разсказа М. Вовчка: „Купеческая дочка“. Онъ вѣритъ, что это „личное начало“ существуетъ, что оно только притаилось, запуганное внѣшними обстоятельствами крѣпостного права и гнетущей мыслью о невозможности для человѣка сдѣлать хоть что-нибудь и хоть чѣмъ-нибудь заявить о самостоятельности своей мысли и чувства. Въ то же время онъ старается доказать хотя бы чисто апріорнымъ путемъ, что отсутствіе подобнаго „начала“ было бы вещью совершенно необъяснимой и даже противоестественной, что оно есть, что его не можетъ не быть, что оно должно быть, наконецъ. Оно предсказываетъ ему полное и разумное развитіе въ будущемъ, когда исчезнетъ не только внѣшній гнетъ крѣпостного права, но и всевозможныхъ его остатковъ и переживаній. Поэтому главная задача его за-

Это лучшая характеристика „Свистка“.

По самой натурѣ своей Добролюбовъ не любилъ карнаваловъ - онъ былъ постникомъ и подвижникомъ и боялся этого ребяческаго увлеченія красивой иллюминаціей. Впереди ему представлялась одна работа, которая потребуетъ отъ человѣка всѣхъ его силъ, а можетъ быть, и жизни. Оттого то такъ мало радовали его даже личные успѣхи и личная слава. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній онъ говоритъ:

...Боюсь,
Чтобъ кто-нибудь въ усердьи глупомъ
На гробъ цвѣтовъ мнѣ не принесъ...
Чтобъ безкорыстною толпою
За нимъ не шли мои друзья,
Чтобъ подъ могильною землею
Не сталъ любви предметомъ я.

У него было слишкомъ мало друзей, были люди, только сочувствовавшіе ему, понимавшіе его лишь съ внѣшней стороны, но которые даже и не заглядывали въ истинную глубину его требованій отъ жизни. „Чтобы всѣмъ было хорошо“—вотъ его девизъ, вотъ смыслъ всей его проповѣди увлекались же больше тѣмъ, какъ онъ отдѣлалъ Пирогова за снисхожденіе къ розгѣ, осмѣялъ Погодина за его напыщенное академическое самодовольство. И чѣмъ больше страдалъ онъ, тѣмъ злѣе и безпощаднѣе становилось его перо, отъ уколовъ котораго не могли не корчиться несчастныя жертвы „Свистка“.

Послѣ смерти Добролюбова и ссылки Чернышевскаго журналъ перешелъ въ руки эпигоновъ, такихъ какъ М. А. Антоновичъ, Ю. Г. Жуковскій, Г. З. Елисеевъ, А. Н. Пыпинъ и т. д. Нельзя сказать, что онъ остался на прежней высотѣ, несмотря на яркій расцвѣтъ таланта Некрасова и на фельетоны Щедрина, принявшагося теперь за ежемѣсячную литературную дѣятельность. Труднѣе стало самое время. Освобожденіе крестьянъ было дѣломъ настолько назрѣвшимъ, такъ хорошо подготовленнымъ самою жизнью, всѣхъ прошлымъ нашего экономическаго и умственнаго развитія, даже нашими международными отношеніями (это, кстати сказать, смутно чувствовалось самими современниками, которые думали, что освобожденіе было потребовано Наполеономъ и союзниками)—что русская мысль двигалась въ сущности по одному руслу, и лагерь крѣпостниковъ былъ ей не страшенъ. Но теперь наступила разноголосица, такъ какъ, очевидно, предстояли дальнѣйшія реформы, по поводу которыхъ мнѣнія очень раздѣлились. Одни требовали полнаго обновленія всего строя, другіе рекомендовали умѣренность, третьи хотѣли вер-

нуться назадъ. какъ будто исторія возвращается. Выступили на сцену вопросы: дворянскій, судебный, педагогическій, университетскій и т. д., которые требовали самаго пристальнаго вниманія къ себѣ. Со всѣмъ этимъ приходилось считаться, что было очень трудно „Современнику", гдѣ главная роль перешла теперь къ М. Антоновичу, человѣку очень талантливому, очень образованному, но которому во всякомъ случаѣ не подъ силу было замѣнить сразу публицистику Чернышевскаго и критику Добролюбова. Но все же вліяніе журнала но уменьшилось, оно стало лишь уже, партійнѣе. Въ 1866 г. „Современникъ" былъ закрытъ по причинѣ „смутнаго состоянія умовъ",

---

„Русское Слово" (основано въ 1858 г.). Въ смыслѣ популярности „Русское Слово не уступало „Современнику", но въ смыслѣ вліянія на жизнь его приходится поставить на второе мѣсто. Къ голосу „Современника" прислушивались даже въ высшихъ сферахъ, съ нимъ считались всѣ партіи. „Русское Слово" такого значенія не имѣло. Издаваемое подъ редакціей Благосвѣтлова, одухотворенное талантомъ Писарева, собравшее вокругъ себя немало замѣтныхъ дарованій, такихъ какъ Шелгуновъ, Зайцевъ, Соколовъ, Омулевскій и пр., оно поражаетъ насъ смѣлостью и яркостью своей мысли, своимъ молодымъ задоромъ, полнымъ отсутствіемъ какого бы то ни было скептицизма. Тонъ журналу давали статьи Писарева, но какъ ни велико было дарованіе этого третьяго замѣчательнаго нашего критика, никакъ нельзя забывать и его товарищей. Каждый изъ нихъ дѣлалъ свое дѣло и дѣлалъ его хорошо. *Шелгуновъ* занимался преимущественно популяризаціей, и если статьи его не представляютъ ничего оригинальнаго, то несомнѣнно, что онѣ были очень нужны въ то время. Нельзя, на самомъ дѣлѣ, забывать, что въ какихъ бы яркихъ краскахъ не представлялась намъ эпоха великихъ реформъ—невѣжество русскаго общества было поразительное. Это было общество младенческое, наивное, едва выходившее изъ состоянія крѣпостной дикости. Оно ничему не училось, ничего не знало, ему нужно было разсказывать о самыхъ элементарныхъ вещахъ, выяснять самыя обыденныя представленія. Оно столько же нуждалось въ руководителяхъ, сколько въ популяризаторахъ. И взявшись за это безъ всякихъ претензій, безъ всякаго самомнѣнія, съ обычной милой скромностью, Шелгуновъ, разумѣется, отвѣчалъ потребности, вполнѣ и безусловно назрѣвшей. Замѣтнѣе дѣятельность *Зайцева* — совершенно несправедливо забытаго и даже заживо забытаго. Тѣмъ же, чѣмъ былъ Писаревъ для критики, тѣмъ былъ Зайцевъ для библіографіи. Своими крошечными статейками, проникнутыми одною мыслью, что намъ необходимо разстаться

со всѣмъ прошлымъ,—его авторитетомъ и его „вѣрой“ (для Зайцева только суевѣріями), онъ дѣйствовалъ точно изъ скорострѣльнаго орудія, постоянно дисциплинируя и возбуждая читательскую мысль. Но было и еще нѣчто въ его дѣятельности—это то, что онъ *одинъ изъ первыхъ, если не первый, серьезно и внимательно отнесся къ рабочему движенію на Западѣ и старался ознакомить съ нимъ общество.* Здѣсь приходится отмѣтить его переводъ рѣчей и мелкихъ брошюръ Лассаля.

Имѣло ли „Русское Слово“ право на самостоятельное существованіе была ли его постоянная полемика съ „Современникомъ“ результатомъ задора или вызывалась необходимостью? Мнѣ думается, что имѣло и вызывалось необходимостью. Обращу пока вниманіе на одинъ только, но существенный пунктъ, на отношеніе къ мужику. Для „Современника“ этотъ мужикъ, въ смыслѣ ли великихъ таящихся въ народѣ силъ Добролюбова или въ смыслѣ крестьянина-собственника Чернышевскаго, или истиннаго начала всѣхъ началъ Елисеева, былъ дѣйствительно камнемъ краеугольнымъ всего мышленія. Елисеевъ, напр., писалъ не только съ точки зрѣнія его интересовъ, но, по возможности, его языкомъ, подражая его грубоватому юмору, его уступчивому лукавству — вообще его „себѣ на умѣ“. Онъ тонко подсмѣивался надъ барскими затѣями, надъ интеллигентными мечтаніями, всѣми своими статьями онъ говорилъ, что пока въ крестьянствѣ, въ сѣрой молчаливой массѣ не будетъ для этого почвы — то вообще не будетъ ничего. Вѣрилъ же онъ и въ то, что такая почва можетъ быть очень скоро подготовлена. „Современникъ“ поэтому по всей истинѣ и справедливости можетъ быть названъ органомъ стараго народничества. „Русское Слово“ въ лицѣ своихъ главарей, по крайней мѣрѣ, было къ мужику сравнительно равнодушно. Писаревъ очень опредѣленно высказался по этому поводу, указывая, что единственное горе народа въ его невѣжествѣ, единственное лѣкарство—просвѣщеніе. „Пока наука не перестанетъ быть барскою роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простаго мужика,—до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло — невѣжество, противъ этого зла есть только одно лѣкарство— наука, но это лѣкарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого лѣкарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что спасительное лѣкарство считается ядовитымъ“.

Вотъ и все, что могло сказать „Русское Слово“ по адресу мужика. Тутъ нѣтъ не только порыва, но и особенной сердечности. Ни малѣйшей мысли о томъ, что мужикъ—начало всѣхъ началъ. Начало всѣхъ началъ—наука, просвѣщеніе и — какъ превосходно добавлялъ Зайцевъ — рѣшеніе экономическихъ противорѣчій современнаго общества, взятаго цѣликомъ. И несомнѣнно, что конечный идеалъ „Современника“—мужицкое царство, гдѣ каждый былъ бы „крестьяниномъ-собственникомъ“, былъ совершенно чуждъ „Русскому Слову“.

Главной силой „Русскаго Слова“ и, вѣроятно, самымъ блестящимъ и остроумнымъ русскимъ критикомъ, на котораго всѣ другіе сотрудники журнала, по откровенному признанію Н. В. Шелгунова, смотрѣли снизу вверхъ, былъ *Дмитрій Ивановичъ Писаревъ* (1841—1868), работавшій въ „Русскомъ Словѣ“ и только въ немъ цѣлыхъ 5 л. (1861—1866), послѣ закрытія котораго перешелъ въ „Дѣло“, гдѣ успѣлъ напечатать одну статью, и затѣмъ, разсорившись съ редакторомъ Благосвѣтловымъ, остался не у дѣлъ. Сынъ полураззорившихся помѣщиковъ, онъ, получивши приличное домашнее образованіе, поступилъ въ 3-ю гимназію С.-Петербурга, оттуда въ университетъ, который и окончилъ благополучно въ 1860 г. Вышелъ онъ кандидатомъ, съ медалью и самыми милыми убѣжденіями, которыя потомъ съ веселымъ юморомъ изложилъ въ своихъ статьяхъ „Наша университетская наука“; но духъ времени быстро измѣнилъ его, и уже черезъ годъ онъ является передъ нами передовымъ журналистомъ. Писалъ онъ много, скоро и всегда превосходно. Главной своей задачей онъ считалъ популяризацію естественно-научныхъ и историческихъ знаній, о чемъ онъ говоритъ между прочимъ въ одномъ изъ писемъ къ своей матери: „общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать всѣ необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по силамъ и по душѣ“. Эта задача, такъ подходившая къ духу времени, когда масса, ея интересы, ея роль и значеніе въ жизни дѣйствительно пріобрѣли огромное значеніе во всѣхъ соображеніяхъ и надеждахъ мыслящаго человѣка,—нашла въ Писаревѣ талантливѣйшаго исполнителя. Писаревъ прекрасно понималъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, что надо эту массу приподнять до себя, чтобы потомъ уже на ея знаніяхъ, на ея самостоятельной жизни построить что-нибудь прочное и цѣнное. Много преданныхъ людей пошло за нимъ и между прочимъ ихъ усиліями эпохѣ 60-ыхъ годовъ былъ приданъ ея раціоналистическій, просвѣтительный характеръ.

Какъ извѣстно, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора „Русскаго Слова". Успѣхъ его статей превзошелъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ, и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово, весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дѣло, онъ любилъ читателя, и на такое къ себѣ вниманіе читатель того времени имѣлъ полное право.

„Теперь къ моему характеру,—пишетъ онъ 17 января 1866 года,—присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла. Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе, мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.

„Это навѣрное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства"...

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того: во время пятилѣтняго заключенія въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ „Наша университетская наука", „Реалисты", „Романъ кисейной дѣ-

вушки", „Промахи незрѣлой мысли"—гдѣ же тутъ хотя бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность положенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ - не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той же работой, съ такими же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ „Русскомъ Словѣ".

Отмѣчу любопытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей притомъ самыхъ блестящихъ, написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Послѣ выхода изъ крѣпости Писаревъ прожилъ всего около 2 л. и умеръ въ іюлѣ 1868 года. Съ этой стороны онъ можетъ быть воистину причисленъ къ великомученикамъ русской литературы, которая и замѣнила ему жизнь. Жизнь (опять таки внѣ литературы) прямо не улыбнулась ему, да и была ли она?.. Положительно приходится удивляться духовной мощи этого человѣка, его заражающей бодрости, его настойчивому призыву къ работѣ, несмотря ни на что.

Онъ не ликовалъ—о нѣтъ! Слишкомъ ясно понималъ онъ, какую толщу невѣжества, предразсудковъ, крѣпостническаго наслѣдства вообще надо пробить, чтобы дать ходъ новому человѣку; онъ сознавалъ, что работа, предстоявшая новому человѣку, велика и серьезна, онъ не обѣщалъ скорой побѣды и скораго наступленія пира жизни, онъ зналъ, что въ одинъ моментъ не поумнѣютъ и не пріобрѣтутъ ни гражданской выправки, ни гражданскаго мужества 80 мил. русскихъ людей, изъ которыхъ 79 находились въ первобытномъ состояніи, но онъ вѣрилъ, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовалъ, чтобы каждый шелъ по истинному пути „мыслящаго реализма".

Писаревъ никогда не формулировалъ ясно своего общественнаго идеала, но у него былъ „герой", въ выясненіи индивидуальности котораго и заключается суть его критическихъ статей. Этотъ герой—*мыслящій реалистъ*, нашедшій свое литературное воплощеніе въ типѣ Базарова. Писаревъ облюбовалъ этотъ типъ, облюбовалъ, какъ эстетикъ, потому что для

него жизнь мыслящаго реалиста не только самая полезная, но и самая красивая. Въ мыслящемъ реалистѣ на первомъ планѣ стоитъ его ярко выраженная индивидульность. Этотъ человѣкъ всѣми способами защищаетъ свою духовную самостоятельность. Онъ вѣритъ только въ умъ, знаніе, науку. Онъ врагъ всякихъ предразсудковъ, стѣсняющихъ личную свободу. онъ врагъ всякихъ сословныхъ, кастовыхъ перегородокъ, мѣшающихъ человѣку работать въ сферѣ истиннаго своего призванія, „гдѣ онъ только и можетъ принести наибольшую пользу обществу съ наибольшимъ наслажденіемъ для себя". Онъ имѣетъ дѣло прежде всего съ дѣйствительностью, которая, вслѣдствіе нищеты и невѣжества людей, требуетъ постоянныхъ улучшеній и настойчивой работы. Эта работа, руководимая и вдохновляемая всѣмъ прежнимъ реальнымъ опытомъ человѣчества,—истинное его назначеніе. Но во имя чего станетъ работать мыслящій реалистъ? Во имя долга? Конечно, нѣтъ, такъ какъ Писаревъ не признавалъ долга. Во имя нравственной отвѣтственности передъ людьми? Тоже нѣтъ, потому что реалистъ такой отвѣтственности не знаетъ. Во имя общественной пользы?— Польза, конечно, будетъ, но не она вдохновляетъ къ труду. *Вдохновляетъ лишь красота самой работы, наслажденіе, получаемое отъ нея, вдохновляетъ творческое осуществленіе цѣли и вліяніе на жизнь.*

Этимъ Писаревъ какъ бы замыкаетъ кругъ рѣшенія задачи о смыслѣ жизни. Все выходитъ изъ личности, все возвращается къ ней. Она не требуетъ для себя никакой опеки, никакого руководства, кромѣ руководства науки и знанія. Внѣ себя она не ищетъ ни опоры, ни цѣли. Она совмѣщаетъ въ себѣ весь Божій міръ, и даже работа, которую она отдаетъ обществу, возвращается къ ней въ видѣ наслажденія и вліянія. Ея первая, главная, единственная цѣль—собственное развитіе, собственное совершенствованіе. Внѣ личности, важнѣе личности нѣтъ ничего; все, что отвлекаетъ личность отъ самой себя,—все это вредно. И Писаревъ всею силою возставалъ противъ мистики, говорящей о началахъ высшихъ, чѣмъ личность—и противъ схоластики и метафизики, т. е. той же мистики, только преображенной, введенной въ логическія схемы и формулы.

Личность мыслящаго реалиста есть нѣчто самоцѣнное и самодовлѣющее, значитъ, нѣчто такое, что можетъ пользоваться абсолютной, безграничной свободой и полной безотвѣтственностью. Реалистъ всегда поступаетъ за свой счетъ и на свой страхъ. Если разумъ и наука оправдываютъ его поведеніе, то никакого другого оправданія ему и не нужно. И Писареву въ сущности оставалось сдѣлать одинъ только шагъ, чтобы дойти до „потребляющей ближнихъ своихъ" личности Штирнера или даже до сверхъчеловѣка Ницше. Но этого шага онъ не сдѣлалъ и не могъ сдѣлать. Сынъ

60-ыхъ годовъ, ученикъ Чернышевскаго, Писаревъ долженъ былъ считаться съ идеей общественной пользы и интересовъ массы, т. е. господствующей центральной идеей эпохи,—такой даже, которая составляла истинное ея содержаніе, ея одухотворяющее начало. И эту идею онъ принялъ такъ же цѣльно, такъ же органически, съ тѣмъ же увлеченіемъ, съ какимъ и идею личной свободы. Она-то и ставитъ не совсѣмъ логичныя, но серьезнѣйшія ограниченія его индивидуализму.

Надо замѣтить, что полную, безграничную свободу Писаревъ предоставляетъ только мыслящимъ реалистамъ, а никакъ не всѣмъ людямъ. На мыслящихъ реалистовъ онъ надѣется — и вѣритъ, что наука и знаніе не допустятъ ихъ до ложнаго шага. Эти наука, знаніе, разумъ очень требовательны. Они не только требуютъ, чтобы человѣкъ работалъ, но и работалъ непремѣнно въ извѣстномъ направленіи, *сообразно съ интересами массы.* Для своей эпохи онъ не видѣлъ, напр., ничего болѣе полезнаго, чѣмъ популяризація историческихъ и естественно-научныхъ свѣдѣній и борьба съ невѣжествомъ и нищетой. Конечно, внутренняя свобода реалиста этимъ не нарушается, потому что такая работа (по схемѣ Писарева) какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ истиннымъ требованіямъ его натуры, и голоса ведущей его науки онъ слушается не по приказанію или указкѣ, а съ радостно раскрытымъ его внушеніямъ сердцемъ, но все же у насъ получается и *опредѣленная* работа и *опредѣленная* цѣль, а значитъ, и самоограниченіе. Чтобы сдѣлать такое самоограниченіе свободнымъ и независящимъ отъ чего-нибудь внѣшняго, посторонняго — Писаревъ создаетъ свою систему средняго и высшаго образованія. Школа и литература—вотъ двѣ главныя силы, вырабатывающія мыслящаго реалиста, и обѣ онѣ должны быть сплошь реорганизованы, чтобы реалистъ получился должныхъ размѣровъ и сообразныхъ съ своимъ призваніемъ качествъ. Въ школѣ на первомъ планѣ реальныя знанія, самостоятельная работа, духовная независимость ученика: въ литературѣ — реальные общественные вопросы, указаніе истинныхъ путей для борьбы съ нищетой и невѣжествомъ, распространеніе полезныхъ свѣдѣній, а главное, борьба съ предразсудками, борьба не на животъ, а на смерть со всѣми пережитками схоластики, метафизики и крѣпостного права.

Кромѣ того, чтобы пользоваться свободой, *реалистъ долженъ быть самъ свободенъ не только уже отъ предразсудковъ или пережитковъ; но больше того: онъ долженъ быть мыслящимъ пролетаріемъ.* Почему, когда говорятъ о Писаревѣ, или свысока называютъ его талантливымъ мальчикомъ, или отказываются видѣть въ немъ что-нибудь другое, кромѣ бойкаго и талантливаго пера,—не считаютъ нужнымъ упомянуть объ этомъ пунктѣ его ученія,—я не знаю, но это ничуть не умень-

шаетъ его важности. Мыслящій реализмъ, получившій уже свои ограниченія отъ науки и знанія, этимъ вотъ требованіемъ Писарева обращается, пожалуй, даже въ подвижничество, потому что только ради идейнаго самоуслажденія, ради полноты своего духовнаго міра работаетъ мыслящій реалистъ, а не ради какой-нибудь внѣшней выгоды. Писаревъ требовалъ отъ человѣка работы и думалъ, что истинную работу можетъ совершать лишь пролетарій, который знаетъ, въ чемъ дѣйствительно нуждается его бѣдная и невѣжественная родина. Онъ, человѣкъ настоящихъ, а не выдуманныхъ потребностей, будетъ стремиться къ полезному и необходимому по существу; или въ рѣзкой формулировкѣ — научитъ сначала шить сапоги, а затѣмъ уже понимать Шекспира. И мало того, его личные интересы, какъ пролетарія, органически, безкорыстно, безъ душевнаго надрыва сольются съ интересами нищей и голодной массы. Владѣніе чѣмъ-нибудь, какая-нибудь привилегія, все это не можетъ не явиться помѣхой въ трезвой работѣ реалиста.

И вотъ странное, повидимому, явленіе, что самъ баринъ и чуткій эстетикъ, Писаревъ съ поражающей силой благороднаго негодованія или съ уничтожающей насмѣшкой обрушивается на все барское и на эстетику прежде всего! Онъ прямо-таки вопіетъ противъ эстетики, противъ самодовлѣющей красоты, онъ мечетъ на нихъ громы и молніи, хотя идеѣ самодовлѣющей и самоцѣнной личности онъ нисколько не противорѣчитъ. Но настроеніе эпохи и тонъ, приданный ей господствующимъ типомъ разночинца, оказались сильнѣе барской закваски Писарева и заставили его самое цѣнное пріобрѣтеніе барской культуры, идею красоты подчинить идеѣ пользы. Вообще по этому поводу мнѣ хотѣлось бы сдѣлать небольшое замѣчаніе. Я думаю, что не слѣдуетъ быть слишкомъ большимъ теоретикомъ въ вопросахъ „живой жизни“, которая, разумѣется, своею сложностью всегда перещеголяетъ самую сложную теорію, а по своему разнообразію не хочетъ уложиться ни въ какія строго опредѣленныя рамки. Поэтому, придавая очень большой смыслъ вопросу о сословномъ происхожденіи человѣка — я никогда не думалъ однако требовать, чтобы у каждаго барина были непремѣнно идеи барскія, а у каждаго разночинца—„разночинныя“. Это равнялось бы требованію, чтобы всѣ кошки были непремѣнно сѣрыя. Въ той же сословной средѣ возможны самыя разнообразныя вліянія, а значитъ, и разные результаты. Я думаю только, что основной типъ своего сословія человѣкъ дѣйствительно сохраняетъ очень упрямо, такъ что и попа въ рогожѣ узнаютъ. Но въ то же время всякій культурный слой, всякая общественная идея—при чемъ, *конечно*, и слой, и идеи создаются преимущественно жизнью и духомъ извѣстнаго сословія—обладаютъ силою *внушенія*, притомъ очень часто распространяютъ свою власть и вліяніе на

области совершенно для нихъ чуждыя. Благодаря этой силѣ, онѣ способны находить себѣ самыхъ неожиданныхъ послѣдователей даже тамъ, гдѣ, казалось бы, кромѣ вражды онѣ не могли встрѣтить ничего. Поэтому барское происхожденіе Писарева меня рѣшительно не смущаетъ. Подчинившись многимъ идеямъ господствовавшаго разночинца, радостно подрубая тотъ самый сукъ, на которомъ сидѣли его предки и родичи, волнуясь и спѣша, съ юношеской восторженностью опрокидывая всѣ барскія традиціи, провожая ихъ пинками и насмѣшками,—Писаревъ однако очень упрямо сохранялъ основной типъ своего сословія. Вѣдь не даромъ все же такъ недолюбливалъ его „Современникъ", напр., въ лицѣ Антоновича, потому что въ глазахъ „Современника" „мыслящій пролетарій" Писарева очень напоминалъ „мыслящаго аристократа-бѣлоручку", а г. Михайловскій въ своихъ воспоминаніяхъ съ большимъ основаніемъ говоритъ о Писаревѣ: „въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны" и т. д.,—т. е. просто напросто упрекаетъ Писарева въ прекраснодушіи, воистину отличавшемъ передовыхъ представителей нашего барства. Развитая личность для Писарева была дѣйствительно выше всего. Величія массы понять онъ не могъ. Никакого мистическаго влеченія къ массѣ (какъ у Добролюбова, напр.) онъ не чувствовалъ. Онъ видѣлъ, что она глупа и бѣдна, и мало ею интересовался. Даже лучъ свѣта въ темномъ царствѣ нисколько его не радовалъ: онъ не могъ повѣрить, чтобы лучъ этотъ самъ собою загорѣлся внутри массы, и думалъ, что этотъ лучъ долженъ быть внесенъ въ массу реалистами. Я думаю, что Добролюбовъ очень и очень не одобрилъ бы Писарева за это отсутствіе вѣры въ народъ и въ таящіяся тамъ великія силы. Но тотъ же Добролюбовъ едва ли бы отказался отдать справедливость Писареву не только уже за огромный, прямо-таки исключительный литературный талантъ, но и за ту неутомимость, за ту мѣткость, съ какою онъ разстрѣливалъ барскіе идеалы и пережитки барской культуры, и какъ славно и лихо велъ онъ съ ними свою партизанскую войну, воистину не давая имъ ни отдыха, ни срока.

Установить связь идей Писарева съ идеями его предшественниковъ — не трудно. Припомните, какъ отстаивалъ Бѣлинскій личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дѣло обвиняли его за то, что онъ не признаетъ никакихъ литературныхъ авторитетовъ и осмѣливается по поводу каждаго разбираемаго автора свое сужденіе имѣть. Обвиненіе совершенно справедливое, но мы, разумѣется, поставимъ его въ заслугу великому критику.

Это „свое сужденіе“ и создало его славу, оно—его право на безсмертіе. Литературный авторитетъ такъ же вреденъ, какъ и всякій другой, разъ человѣкъ подчиняется ему не сознательно, а лишь изъ робости мысли и чувства, словомъ – съ чужого голоса. Личность всякаго человѣка должна быть свободна. Этому училъ Бѣлинскій. Разумѣется, что эмансипація личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тѣмъ же принципомъ, онъ смѣло подходилъ къ вопросамъ любви, семейной и государственной жизни.

„Нашъ романтизмъ, — говорилъ онъ,—хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастія его жизни. Одинъ такъ, другой иначе, тотъ – одинъ разъ въ жизни, этотъ— десять разъ, оба равно правы, лишь бы только на совѣсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье“.

Любовь должна быть свободна, и человѣку нечего взваливать на себя какихъ бы то ни было обязательствъ въ дѣлѣ чувства. „Нѣтъ болѣе чувства,—пишетъ Бѣлинскій,—и вѣрность теряетъ свой смыслъ“. То же и на счетъ власти родительской: „если бы отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ,—всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо, если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца“.

Не такое было время, чтобы Бѣлинскій могъ высказываться свободно, но все же его симпатіи и антипатіи намъ извѣстны очень хорошо. Что привлекало когда-то въ его статьяхъ, что продолжаетъ привлекать въ нихъ и въ настоящее время? Очевидно, одно: уваженіе къ человѣку, настойчивое требованіе простора для мысли и чувства. Не даромъ же Писаревъ съ такой почтительностью относился къ Бѣлинскому: онъ продолжалъ его дѣло.

Идея эмансипаціи личности разрушила крѣпостное право, создала реформы 60-хъ годовъ и внесла много свѣта въ темную область старинныхъ семейныхъ условій. Для русской жизни она была откровеніемъ и продолжаетъ быть имъ до настоящаго времени.

Слѣдуя духу времени, Писаревъ придалъ ей рѣзкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего міросозерцанія онъ вплотную приросъ къ 60-мъ годамъ и несомнѣнно является однимъ изъ самыхъ яркихъ и талантливыхъ представителей „идеализма земли“. Онъ цѣнилъ все, что улучшаетъ бытіе человѣка здѣсь на землѣ, но одинъ вопросъ постоянно смущалъ—и притомъ совершенно основательно смущалъ его мысль: можно ли вливать новое вино въ старые мѣхи? Какой прокъ можетъ выйти изъ

всѣхъ реформъ и благихъ начинаній, разъ самые люди ничтожны? Что подѣлаете вы съ карликами и господами, приспособленными лишь къ мартышкину труду? Только то обновленіе прочно, которое воспринято критически-мыслящими умами. Оттого-то онъ и сосредоточилъ всѣ свои усилія на созданіи интеллигентныхъ людей, мысль которыхъ являлась бы основой хорошей человѣческой жизни. Оттого-то онъ такъ страстно проповѣдывалъ критику и науку. Остановимся на минуту на терминѣ интеллигентный человѣкъ. Это приведетъ насъ къ философско-историческимъ взглядамъ Писарева.

Интеллигентнымъ человѣкомъ Писаревъ называетъ того, у кого въ головѣ есть своя самостоятельная мысль. Дѣло не въ образованіи, не въ знаніи даже, а дѣло въ томъ, чтобы человѣкъ въ своей собственной жизни, по мѣрѣ силъ и способностей, повторилъ умственный опытъ человѣчества, насколько это, конечно, возможно. Если говорятъ, что надо повторить опытъ человѣчества, то это совсѣмъ не значитъ, что слѣдуетъ каждому начинать съ состоянія троглодита, изобрѣсти самому хижины и куртки, пройдя предварительно черезъ стадію звѣриныхъ шкуръ, потомъ— огонь, и т. д. вплоть до философіи Канта и Спенсера включительно. Это совсѣмъ пустяки. Хижины и куртки изобрѣтены и довольно уже давно. Кантъ и Спенсеръ свою философію написали, и изобрѣтать изобрѣтенныя вещи—значитъ совсѣмъ напрасно тратить время. Но начать съ того, что въ самомъ способѣ воспріятія выработаннаго уже матеріала есть большая разница: можно воспринимать механически, можно и съ полнымъ уваженіемъ къ авторитету, и вмѣстѣ съ полнымъ желаніемъ сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское „doute absolute“ еще и теперь не утеряло своего громаднаго значенія для развитія и, я думаю, никогда его не утеряетъ. Нельзя, конечно, во всемъ сомнѣваться и ко всему относиться недовѣрчиво. Это мотовство и самомнѣніе. Когда вамъ говорятъ: „дважды два—четыре“, что тутъ спорить?

Писаревъ постоянно твердилъ, что дорога самостоятельнаго мышленія съ должной дозой скептицизма—вотъ единственно, что вырабатываетъ интеллигентныхъ людей, а не ходячія формулы. Формулы могутъ быть очень симпатичны, но люди, воплощающіе ихъ, могутъ тѣмъ не менѣе никуда не годиться. Они очень мизерны—это во-первыхъ, очень подозрительны— это во-вторыхъ. Да, подозрительны. Вѣдь, если они съ такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто же поручится, что завтра они не воспримутъ съ одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной первой? Выработавъ себя путемъ самостоятельнаго мышленія, интеллигентный человѣкъ отличается поэтому двумя качествами: чувстви-

тельностью къ личному опыту — во-первыхъ, вѣротерпимостью — во-вторыхъ.

Люди, у которыхъ прекрасно развита шишка двуперстія, къ личному опыту, да и не только къ личному, а и вообще ни къ какому опыту не чувствительны. Имъ хоть колъ на головѣ теши, а они знай свое повторяютъ: „Исусъ", да „Исусъ". Не помню, какому-то типичному аббату среднихъ вѣковъ ученикъ сообщилъ свое астрономическое открытіе, что „на солнцѣ есть пятна".

— Другъ мой,—отвѣчаетъ типичный аббатъ,—я всю жизнь читалъ Аристотеля и никакихъ пятенъ на солнцѣ у него не показано. Совѣтую и тебѣ перечесть внимательно творенія мудреца.

Въ данномъ случаѣ очевидно, что между двуперстіемъ и твореніями мудреца рѣшительно никакой разницы нѣтъ. Но это-то двуперстіе и уничтожаетъ всю красоту, всю полезность интеллигентной дѣятельности. Писаревъ ни въ чемъ другомъ ея красоты не видѣлъ, какъ именно въ оригинальности, въ самостоятельности, а когда передъ человѣкомъ, вмѣсто этихъ прекрасныхъ качествъ, штампъ, то, признаться, ничего кромѣ скуки и самаго искренняго позыва къ зѣвотѣ—никто и ощутить не можетъ.

„Увлечься идеею,—говоритъ онъ,—не трудно, подчиниться идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ. Чтобы переработать идею, напротивъ того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими избранныя личности, оттого въ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга, какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, иначе она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться..."

Въ этихъ словахъ Писарева, какъ нельзя лучше изложена разница между человѣкомъ интеллигентнымъ, въ которомъ идея живетъ, и человѣкомъ образованнымъ, въ которомъ она лишь пребываетъ.

Интеллигентныхъ людей характеризуетъ творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности можетъ быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучшихъ условіяхъ можетъ быть и у большинства.

Такъ смотрѣлъ Писаревъ на интеллигентныхъ людей. Они—соль земли,

иниціаторы всего хорошаго, ихъ критическая мысль—залогъ прогресса и устойчивости этого прогресса.

Слѣдовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу, какъ къ развитію, такъ и проявленію самой себя.

Совершенно понятно, почему идея эмансипаціи такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея пробужденія и проходитъ красною нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала къ себѣ вниманія и уваженія, хотя бы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: „hier stehe ich und anders kann ich niht. Gott helfe mir“, т. е. „я настаиваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить не могу. Богъ да поможетъ мнѣ“. Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ онъ его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ своимъ разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятіе личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ самой же буржуазной средѣ личность достигла и экономической независимости.

Какъ бы то ни было, въ теченіе XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каѳедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Зандъ, Луи Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцовъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ и въ 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ, или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

Бѣлинскій уже очень серьезно занимается этимъ вопросомъ, еще больше вниманія удѣляетъ ему Герценъ. Наступаютъ наконецъ 60-ые годы. Вино подается новое, но мѣхи остаются прежними. Эти мѣхи—крѣпостная личность, крѣпостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невѣжеству, умственной робости.

Отчаяннымъ натискомъ и геройскимъ приступомъ 60-ые годы заняли много позицій, гдѣ очень самодовольно и въ кажущейся безопасности гнѣздились устои прежней жизни. Если ихъ можно было, притомъ сра-

вительно легко, выкурить изъ кодекса законовъ, то выкурить ихъ изъ понятій оказалось куда труднѣе—прямо не подъ силу никому. Писаревъ посвятилъ этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талантъ, и мнѣ думается, что онъ шелъ вѣрной дорогой, дополняя „Современникъ", съ его строгой „политико-экономической программой"...

„Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, воспитателемъ и воспитанникомъ—все это,—говорилъ онъ,—должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. И это обсужденіе не должно привести къ составленію законовъ семейной жизни. Боже упаси. Догматизмъ вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященныя вѣками и потому подернувшіяся вѣковою плѣсенью".

Русская исторія постоянно грѣшила какимъ-то вполнѣ систематическимъ отрицаніемъ личности. Въ этомъ повинны столько же монгольское иго, сколько и Петръ Великій. Человѣка на сценѣ не было никогда, развѣ въ легендарный періодъ, когда соловьи-разбойники прятались по лѣсамъ муромскимъ и брянскимъ. Люди, создавшіе русское просвѣщеніе, какъ нельзя лучше понимали это, и эмансипація личности—нервъ прогрессивной русской мысли.

Проповѣдуя ее, Писаревъ становится на почву выгоды и экономіи силъ, оставляя такимъ образомъ шаткіе подмостки добра и зла. Онъ, обращаясь къ здравому смыслу и разсудку своихъ читателей, старается доказать имъ, что счастье можетъ быть достигнуто только при этомъ условіи. И это не личное маленькое счастье, а напротивъ—широкое, общечеловѣческое счастье. Ему жаль, и притомъ совершенно основательно жаль, тѣхъ иногда недюжинныхъ силъ, которыя разбрасываются на служеніе обычаямъ и приличіямъ, въ погонѣ за различными иллюзіями, жаль и той работы, которая совершенно не отвѣчаетъ влеченію ихъ природы. И такая постановка вопроса совсѣмъ не пустяшная, а какъ разъ наоборотъ. Одинаково смотрѣли на дѣло Сократъ и Платонъ и всѣ, кто умѣлъ трезво взглянуть на человѣческую и общественную жизнь. „Познай самого себя" училъ здравый, глубоко практическій геній Греціи. Что собственно означаетъ это познаніе самого себя? Оно означаетъ, что обязанность каждаго, какъ человѣка и гражданина, заключается прежде всего въ томъ, чтобы взвѣсить свои силы, тщательно и безъ всякаго самообольщенія опредѣлить

ихъ размѣры и найти для нихъ такую точку приложенія, когда онѣ могли бы обезпечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таковъ истинный смыслъ эмансипаціи личности, какъ понималъ ее Писаревъ. Личность свободно опредѣляетъ свои силы и свое влеченіе и свободно работаетъ на избранномъ поприщѣ. Въ результатѣ—прежде всего экономія силъ.

Это существеннѣйшій пунктъ.

Было когда-то въ модѣ восторгаться мудростью природы и писать на тему, какъ все прекрасно устроено въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Наконецъ наука пришла къ той простой мысли, что хотя природа и совершенствуется по части приспособленія, но дѣлаетъ это съ безумной расточительностью. Лотце уподобляетъ природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускаетъ во всѣ стороны 10,000 выстрѣловъ, въ чаяніи, что авось который-нибудь зарядъ и попадетъ, куда нужно. А не попадетъ—что за бѣда?

Путемъ безконечно долгой и упорной работы мысли человѣкъ отдѣлилъ себя отъ природы и увѣровалъ, что онъ можетъ и долженъ устроить свое благополучіе, пользуясь собственными силами и средствами. Слѣдовательно онъ призналъ, что его дорога къ счастью другая, чѣмъ у природы-матери, если у послѣдней вообще есть какая-нибудь дорога, и различіе двухъ дорогъ рѣзче всего проявляется въ двухъ пунктахъ:

1) въ экономизированіи силъ и

2) въ уваженіи къ личности, какъ таковой.

Экономія силъ для природы—вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нея уваженіе къ личности, индивидууму. Къ нимъ она относится съ обиднымъ даже пренебреженіемъ и жертвуетъ милліонами, не чувствуя при этомъ ни малѣйшаго угрызенія совѣсти. Всякій знаетъ, я думаю, какая это въ сущности жестокая, съ нашей, человѣческой точки зрѣнія, вещь—естественный подборъ. Гибнутъ десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что дѣятельность Писарева заключалась главнымъ образомъ въ пропагандѣ этихъ двухъ великихъ идей новой науки, т. е. экономіи силъ и признанія за каждымъ права на полноту существованія,—излишне. Но надо замѣтить, что онъ—русскій человѣкъ, слѣдовательно—мотъ. Онъ забылъ на свои философско-историческіе взгляды налѣпить соотвѣтствующіе ярлыки, забылъ указать въ нужномъ мѣстѣ, что это его мысль, что раньше, до него, этого никто не говорилъ.

Причина, какъ видитъ читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще большая бѣда,

что какъ журналистъ, Писаревъ не успѣлъ придать своимъ взглядамъ научный характеръ и систематически изложить ихъ въ двухъ—или сколько тамъ—томахъ съ соотвѣтствующими ссылками на первоисточники.

Но что будешь дѣлать? Не удалось Бѣлинскому написать своей „Исторіи литературы“, а пришлось разбросать ее на протяженіи XII томовъ, не удалось и Писареву разработать свою идею „до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня“, какъ выражается онъ въ письмѣ къ матери. Онъ ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой посторонняго текущаго матеріала. Но все же очевидно, что онъ больше, чѣмъ кто-нибудь изъ русскихъ писателей, сдѣлалъ для того, чтобы закрѣпить за русскимъ самосознаніетъ идею объ исторической силѣ эмансипированной, критической личности. Что бы вышло изъ этой идеи потомъ, какъ измѣнилась бы она подъ вліяніемъ обстоятельствъ времени, мы не знаемъ, но, конечно, для своего времени идея его была самая живая и подходящая...

Главное обаяніе Писарева въ той юной силѣ, которая бьетъ въ немъ ключемъ. Оттого-то его сочиненія и имѣютъ неувядаемую прелесть, что съ вами какъ будто разговариваетъ самъ богъ молодости. Мы и теперь съ непонятнымъ наслажденіемъ перечитываемъ его статьи, готовые шагъ за шагомъ опровергать ихъ содержаніе. Но обаяніе юности сильнѣе всего. Иногда попадается въ руки забытая тетрадь съ пожелтѣвшими уже страницами, съ сѣрыми, вмѣсто черныхъ, строками, размашисто и торопливо написанными. Очевидно, время не ждало, очевидно, человѣкъ, подчиняясь внутреннему непреоборимому импульсу, какъ въ бреду записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со всѣми препятствіями и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда въ область утопій и счастливаго грядущаго. Это—юность съ своими несоразмѣрными размахами, своею гордостью и самонадѣянностью и вмѣстѣ съ тѣмъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такія тетради и вливать свѣжіе соки въ свое сердце. А сочиненія Писарева какъ разъ—есть тетрадь пылкой и вѣрующей юности.

Впрочемъ, не все юность... Въ мысляхъ Писарева объ искусствѣ, въ его педагогическихъ статьяхъ, въ общемъ строѣ его міросозерцанія есть много цѣннаго, что останется цѣннымъ надолго, если не навсегда. Сдѣлаемъ краткій обзоръ основныхъ его взглядовъ. Говорятъ, что онъ отрицалъ искусство, и ссылаются при этомъ на его статьи „Пушкинъ и Бѣлинскій“ и „Разрушеніе эстетики“. Это неправда. Натура глубоко-худо-

жественная, съ чуткимъ пониманіемъ всего прекраснаго, онъ никогда искусства не отрицалъ. Онъ отрицалъ лишь замкнутое въ себѣ самомъ служеніе красотѣ. Напротивъ, болѣе горячей и страстной тирады во славу поэтовъ и поэзіи, чѣмъ та, которая сорвалась съ пера Писарева, вы не найдете ни въ нашей, ни въ иностранной литературѣ. Я считаю нужнымъ цѣликомъ напомнить ее:

„Истинный „полезный“ поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и народа. Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. „Я пишу не чернилами, какъ другіе, — говоритъ Берне: — я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ“. Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тотъ долженъ шить сапоги и печь кулебяки.

„Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно, не можетъ составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть. А чтобы любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явленіями, когда онъ понялъ, что надо и что можно дѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой яснѣе и какъ будто ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ вдаль на ту же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути...

„Человѣкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не сумѣетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понялъ

и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ волей и неволей въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду.

„Итакъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ — или великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный „рыцарь духа", какъ говоритъ Генрихъ Гейне, или же—ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ — или титанъ, потрясающій горы вѣкового зла, или же козявка копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина".

Чѣмъ-то могучимъ и страстнымъ вѣетъ отъ этой патетической тирады, и гдѣ тутъ хотя бы только намекъ на отрицаніе искусства?..

Педагогическими вопросами онъ занимался очень внимательно. Онъ посвятилъ имъ цѣлый рядъ статей. „Наша университетская наука", „Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ". „Педагогическіе софизмы" и т. д. И все равно, какъ въ искусствѣ онъ отрицалъ педантизмъ искусства, такъ и здѣсь онъ боролся лишь противъ педантизма школьной схоластики. Онъ хотѣлъ, чтобы школа выпускала здоровыхъ, сильныхъ, по возможности умныхъ людей, снабженныхъ реальными свѣдѣніями, а не чучелъ, набитыхъ вокабулами.

Но, конечно, главное значеніе Писарева въ его общественныхъ идеяхъ. Что онъ увлекался, что онъ переоцѣнивалъ роль критическихъ личностей, что онъ призналъ огромность этой роли на вѣру — все это элементарныя, азбучныя вещи, которыя и повторять не стоитъ. Оно говорилъ: „обязанность критической личности опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно, и обязанность мыслящаго человѣка совершать общественную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому мыслью и опытомъ жизни. Общеполезно же прежде всего то, что дѣлаетъ насъ умнѣе и богаче". Это голосъ эпохи — громкій и самонадѣянный, полный вѣры. Но мнѣ кажется, вотъ идеалъ, во имя котораго Писаревъ совершилъ свою гигантскую литературную работу, и идеалъ несокрушимый, такой, который надолго будетъ служить еще путеводной звѣздой. Это проповѣдь принципа экономіи силъ...

Во-первыхъ,—говоритъ онъ,—мы бѣдны, а во-вторыхъ глупы... Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія а реальныя, и чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая полезная дѣятельность?

„Во-первыхъ, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ производителя, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ, можно дѣйствовать на непроизводящихъ потребителей, но, конечно, надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ потребителямъ, которые желаютъ взяться за полезный увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые, по своему положенію, могутъ и, по своему личному характеру, желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью; то-есть они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу.—Такая экономія умственныхъ силъ необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы въ сравненіи съ ними—нищіе. Но чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить себѣ до послѣдней степени ясности, что́ полезно обществу и что́ безполезно"...

„Экономія умственныхъ силъ есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ"...

Н. В. Шелгуновъ. (1824—1891 г.). „Мы бѣдны и глупы"—говорилъ Писаревъ. Шелгуновъ обратилъ особенное свое вниманіе на вторую половину этой формулы. „Намъ нужны школы, еще школы и еще школы"—любилъ говорить онъ. Но, конечно, не однѣми только школами ограничивались его вожделѣнія, да и сама школа для того, чтобы дѣйствительно просвѣщать, требуетъ куда какъ много отъ жизни. Въ общую литературу (именно въ „Русское Слово") Шелгуновъ вступилъ въ 1862 г. и совершенно въ духѣ своего міросозерцанія началъ съ популяризаціи историческихъ и экономическихъ знаній. Затѣмъ онъ сотрудничалъ въ „Дѣлѣ", а въ 1885 г. началъ въ „Русской Мысли" свои извѣстные и популярные „Очерки русской жизни", въ которыхъ съ удивительной искренностью и уваженіемъ къ чужому мнѣнію, старался разобраться въ наступившей послѣ крушенія народничества смутѣ умовъ и вывести заблудившуюся русскую мысль на путь простого и яснаго міросозерцанія 60-ыхъ годовъ. Ему

больно было видѣть въ молодежи или разнузданный индивидуализмъ, или „толстовство“; карьеризмъ, конечно, былъ прямо ненавистенъ ему. Радостно привѣтствовалъ онъ всякія культурныя начинанія, какъ бы ни малы были ихъ размѣры, указывалъ постоянно на огромность общественныхъ задачъ, лежащихъ на интеллигенціи,—на бѣдность и невѣжество народа, которому *помочь* надо,—на чудное сознаніе исполненнаго общественнаго долга. Особенно, повторяю, подкупалъ онъ своею искренностью, своею душевной бодростью, которую онъ такъ счастливо сохранилъ и въ преклонномъ возрастѣ. Совершенно, поэтому, былъ правъ г. Михайловскій, сказавъ про него: „Съ шестью десятками лѣтъ на плечахъ, послѣ десятковъ лѣтъ утомительной литературной работы, послѣ всяческихъ житейскихъ невзгодъ, онъ не зачерствѣлъ, не состарился умомъ и чувствомъ и не сложилъ рукъ. Онъ—все тотъ же *идеалистъ земли* и на фонѣ нынѣшней литературы онъ кажется даже моложе, чѣмъ когда-нибудь“.

Шелгуновъ не весь въ Писаревѣ, не весь въ умственномъ самоусовершенствованіи. Онъ знаетъ уже настоящую цѣну общественныхъ и экономическихъ условій и, высоко ставя интеллигенцію, онъ однако не преувеличивалъ ея роли. Онъ зналъ, что интеллигенція должна опираться на умный, просвѣщенный и во всякомъ случаѣ не на нищій народъ. Поклонники Шелгунова въ особенную заслугу ставятъ ему дѣйствительно талантливую полемику съ „абрамовщиной“, т. е. проповѣдью малыхъ дѣлъ на пользу народа, съ популяризаціей отрадныхъ фактовъ и свѣтлыхъ явленій, что, разумѣется, должно было бы повести къ самоуслажденію, и съ ученіемъ Л. Толстого, особенно его знаменитымъ непротивленіемъ злу. Но съ этимъ намъ придется встрѣтиться еще позже. Пока же замѣчу, что Шелгуновъ одна изъ самыхъ твердыхъ, выработанныхъ эпохой общественнаго подъема фигуръ, до конца не измѣнившій основамъ міросозерцанія своей юности.

М. Н. Катковъ и „Русскій Вѣстникъ“. Очень значительное и, въ началѣ по крайней мѣрѣ, очень плодотворное участіе въ движеніи 60-ыхъ годовъ принималъ и Мих. Ник. Катковъ съ своимъ „Русскимъ Вѣстникомъ“. И самъ Катковъ, и его журналъ—явленія въ нашей жизни настолько крупныя и прямо характерныя, что намъ нѣтъ возможности обойтись безъ подробнаго отчета о нихъ.

М. Н. Катковъ родился въ 1818 г. въ Москвѣ. Отецъ его совершенно разорившійся русскій дворянинъ рано умеръ, и послѣ его смерти семья осталась безъ всякихъ средствъ къ существованію. Отмѣчаю и подчеркиваю это обстоятельство, придавая ему серьезнѣйшее значеніе. Каткову

пришлось испытать крайнюю бѣдность и необходимо сопровождающія ее униженія, пришлось не разъ натолкнуться на равнодушіе людей, чувствовать свое безсиліе хоть въ чемъ-нибудь помочь матери, самоотверженно отдавшейся воспитанію дѣтей, и мнѣ кажется—весь вопросъ въ томъ, на какую почву упадутъ такія впечатлѣнія. Представьте себѣ натуру гордую, властолюбивую, замкнутую въ себѣ, натуру ищущую и требующую отъ другихъ людей и поклоненія и подчиненія, и въ то же время въ теченіе долгихъ лѣтъ обреченную на заботы о кускѣ хлѣба, на необходимое смиреніе, по крайней мѣрѣ, на постоянное самоограниченіе. Не вызоветъ ли это въ ней раздраженнаго и даже озлобленнаго отношенія къ жизни, желанія властно захватить ее въ свои руки и при нѣкоторой удачѣ выразить свое непремѣнное желаніе, чтобы никто кругомъ не смѣлъ даже пикнуть? Мнѣ кажется, что натура Каткова была именно такова, какъ я сказалъ, и онъ въ теченіе жизни пережилъ только что указанный мною психологическій процессъ:—онъ хотѣлъ властвовать, онъ любилъ мстить - особенно подъ старость, необходимымъ спутникомъ которой является обыкновенно духовная черствость и сухость. Къ этому прибавьте еще обиды отъ литературы, которая не признавала его таланта, считала его измѣнникомъ лучшимъ убѣжденіямъ юности и памяти Бѣлинскаго, видѣла въ его огромномъ вліяніи на бюрократическія сферы результатъ мѣропріятій съ его стороны, имѣющихъ лишь самое отдаленное родство съ литературнымъ мастерствомъ собственно, и вы прибавите еще лишній штрихъ къ раздраженной и мстительной психологіи этого человѣка. Нечего при этомъ придавать какую бы то ни было вѣру его будто бы презрѣнію къ литературѣ во всемъ ея составѣ: онъ при своемъ огромномъ самолюбіи хотѣлъ, чтобы и здѣсь, въ этой сферѣ склонились бы передъ нимъ, его умомъ, проницательностью, талантомъ. А свой талантъ онъ очень цѣнилъ, что видно хотя бы изъ его хвастливой фразы: „трижды одинъ на одинъ ходилъ на Искандера“.

Очень радъ, что могу для избѣжанія упрековъ въ пристрастіи, привести характеристику Каткова, принадлежащую перу одного изъ его духовныхъ питомцевъ—В. Розанова. Трудно не согласиться съ большею частью сказаннаго въ ней:

„Катковъ“ и его „десятилѣтняя“ память, Катковъ „какъ великій государственный человѣкъ“. Нѣтъ—малый. Почему? Онъ—среди идущихъ, а не тѣхъ, которые ведутъ. Его сущность, какъ она правдиво формулирована г. Грингмутомъ, и заключается не только въ отсутствіи, но до извѣстной степени въ коренномъ отрицаніи—въ отрицаніи на вѣка, въ отрицаніи для всего народа этихъ „зовущихъ голосовъ“, этихъ таинственныхъ „зововъ“, на которые оборачивая во всѣ стороны голову, мы не понимаемъ, откуда они несутся, но почему-то, всѣ дѣла бросая, спѣшимъ ихъ выполнить. Какъ это прекрасно выразилъ нашъ поэтъ, очевидно, въ себѣ эту глубокую тайну почувствовавъ:

...Изъ пламя и свѣта
Рожденное слово...

„Мы выше назвали Каткова „мечтателемъ“: это—потому, что имъ не принята въ разсчетъ коренная дѣйствительность исторіи, самый главный ея нервъ, хотя въ то же время и наиболѣе тонкій, менѣе всего грубо нащупываемый, и потому же еще мы назвали его „неопытнымъ сердцемъ“: онъ не зналъ человѣческаго сердца въ древнѣйшихъ, исконнѣйшихъ его основаніяхъ—тѣхъ основаніяхъ, которыя бросили военную Францію за 17-ти лѣтнею дѣвушкою, кинули Карно и даже позднѣе Бонапарта распространять „исповѣданіе савойскаго викарія“ и, наконецъ, циничную и растлѣнную, какова она была при Борджіяхъ, римскую церковь повлекли вслѣдъ страннаго паладина, еще менѣе разсудительнаго, чѣмъ герой Ла-Манча. Все это, вся эта громада психики и реальнѣйшей дѣйствительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобныхъ движеній мы у себя не знали, все было у насъ меньше, блѣднѣе, и суженность русской исторіи, сравнительно съ европейскою, заключается въ томъ, что „ветхій деньми“ туманъ „юродства“ и истинной „хромоты духа“ чуть-чуть брежжилъ у насъ въ почти-политическихъ, т. е. узкихъ и сухихъ, слишкомъ „умныхъ“ для настоящей значительности партіяхъ славянофиловъ и западниковъ. Но и это ему не понравилось: даже блѣдную зарю „взыскуемаго града“—какъ еще говоритъ и, говоря, конечно, освящаетъ Апостолъ—онъ хотѣлъ бы согнать съ сѣренькаго неба нашей исторіи. Онѣ еще „ищутъ“, эти партіи, онѣ „алчутъ“—когда онъ такъ „сытъ“. Въ самомъ дѣлѣ, какая бѣда и „мука“ для уравновѣшенности отъ этого! И вотъ „великій государственный человѣкъ“, взявъ въ руки „государственную клюку“, хотѣлъ бы вымести всю эту „мистику“, или, какъ говоритъ Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ своей женѣ „кликушѣ“: „я изъ тебя эту мистику-то выбью“, не подозрѣвая, что „малѣйшій въ царствѣ семъ“ непреоборимо сильнѣе его, и, какъ гиппопотамъ Іова, безъ труда и даже равнодушно мнетъ „выгребающія клюки“, подобныя для него „мягкому тростнику“. Вотъ мы, „искренно уповая“, какъ и г. Гринвмутъ, „на Бога“, окончили анализъ „идеала“ и опредѣлили „великое“ какъ малое, поставивъ на мѣсто его кой-что „малое“, но что и для Бога, а главное—для самихъ людей, есть истинно „великое“, оплакиваемое и возлюбленное“.

Возвращаюсь къ нѣкоторымъ штрихамъ изъ біографіи Каткова. Повидимому еще въ студенческіе годы онъ познакомился съ Бѣлинскимъ и примкнулъ, хотя совсѣмъ не вплотную, къ его кружку. Вплотную онъ ни къ чему и ни къ кому не примыкалъ. Мѣшало властолюбіе, мѣшало и то, что онъ постоянно съ кѣмъ-нибудь да ссорился *). Онъ ссорился даже съ Бѣлинскимъ, который прямо-таки надоѣдалъ своимъ друзьямъ хвалебными отзывами о его дарованіяхъ. Любопытные отзывы о Катковѣ мы находим въ письмахъ Бѣлинскаго къ В. П. Боткину. Вотъ что писалъ Бѣлинскій:

*) Ссора съ М. Бакунинымъ едва не разрѣшилась дуэлью.

„Что это дѣлается съ К.? Онъ въ восторгѣ отъ Одесскаго альманаха, отъ стиховъ Огарева и Сатина — недостаетъ ему приходить въ восторгъ отъ повѣстей К. Ф. Павлова... Онъ полонъ дивныхъ и дикихъ силъ, и ему предстоитъ еще много, много надѣлать глупостей. Я его люблю, хотя и не знаю, какъ и до какой степени. Я вижу въ немъ великую надежду науки и русской литературы. Онъ далеко пойдетъ, далеко, куда нашъ братъ и носу не показывалъ, и не покажетъ. Славная его статья о книгѣ Максимовича, прекрасная статья, мысль такъ и свѣтится въ каждомъ словѣ. Вообще, преобладаніе мысли въ опредѣленномъ и яркомъ словѣ—есть отличительный характеръ его статей и высокое ихъ достоинство, а отсутствіе сосредоточенной, непосредственной теплоты сердца — недостатокъ, но это недостатокъ не его натуры, а его лѣтъ. Общее поглощаетъ его духъ и, такъ сказать, обезличиваетъ его индивидуальность. Это—чудное начало,—оно всегда останется съ нимъ укрѣпляясь наукой, а когда онъ перестанетъ пылить... то и недостатокъ, о которомъ я говорю и который опредѣленно не умѣю назвать, исчезнетъ. Я читаю его статьи съ особеннымъ уваженіемъ—наслаждаюсь ими и учусь мыслить“...

Слѣдующій отзывъ уже далеко не такой восторженный:

„Въ немъ бездна самолюбія и эгоизма—и мы много развили въ немъ и то, и другое. Сперва держали его въ черномъ тѣлѣ, а съ исторіи Щ. начали носить его въ хлопочкахъ—вотъ онъ и зазнался.

„Вспоминая объ извѣстной тебѣ моей исторіи съ нимъ, ясно сознаю, что я тогда же видѣлъ то, чего никто не видѣлъ, и ты особенно, и что съ другимъ кѣмъ у меня была бы невозможна подобная исторія, что онъ слишкомъ безчестно наслаждался плодами своей побѣды надо мною и что его ненависть послѣ того, какъ все объяснилось въ его пользу выходила изъ самаго черстваго эгоизма и что не онъ, а я жестоко оскорбленъ былъ. Да, Боткинъ, признаюсь въ слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить объ этой исторіи. Вотъ этотъ человѣкъ какъ-то не вошелъ въ нашъ кругъ, а присталъ къ нему. И онъ не могъ войти въ него: онъ для этого слишкомъ молодъ, и онъ еще только теперь страдаетъ тѣми болѣзнями, которыя мы или давно перестрадали, или къ которымъ притерпѣлись, такъ что не чувствуешь ихъ, какъ лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство -- одновременность развитія. Да, много, много пятенъ въ этой, впрочемъ, прекрасной натурѣ. Время образуетъ ее: есть натуры, трудно и туго развивающіяся—къ такимъ принадлежитъ и натура нашего юноши. А между тѣмъ, это натура, полная силы, энергіи, могучая, натура широкая, если пока еще не глубокая, онъ никогда не сдѣлается ни піэтистомъ, ни резонеромъ, ни сантиментальнымъ шутомъ. *Только онъ носитъ въ себѣ страшнаго врага — самолюбіе, которое... чортъ знаетъ до чего можетъ довести его.* Удивительно вѣрно твое выраженіе: „бравады субъективности“ *). *Это конекъ, на которомъ нашъ юноша легко можетъ свернуть себѣ шею.* Самолюбіе ста-

*) На „птичьемъ“ языкѣ нашихъ гегеліанцевъ „бравадами субъективности“ назывались самонадѣянность, самохвальство, самомнѣніе и пр.

витъ его въ такія положенія, что отъ случайности будетъ зависѣть его спасеніе или гибель, смотря по тому, куда онъ повернется, пока еще есть время поворачивать себя въ ту или другую сторону".

Надо замѣтить, что, вообще говоря, Бѣлинскій былъ не мастеръ различать людей: въ этомъ очень мѣшала ему его доброта. Но его характеристикѣ Каткова не можемъ отказать въ значительной проницательности и даже духѣ предвидѣнія.

Кончивъ курсъ университета, Катковъ, сталъ готовиться къ профессурѣ и въ то же время занялся писательствомъ. Печатался онъ почти исключительно въ „Отечественныхъ Запискахъ", и надо сказать, что каждая его статья обращала на себя очень серьезное вниманіе. Бѣлинскій часто приходилъ въ восторгъ отъ его статей, а публика принимала написанное имъ за написанное Бѣлинскимъ. Но уже въ этихъ раннихъ юношескихъ произведеніяхъ обращаетъ на себя вниманіе ихъ риторичность. Теплыми словами и знаками восклицанія, прикрываются очень холодныя и часто пустыя мысли. Мнѣ кажется, опять правъ Бѣлинскій, сказавшій „читаю статьи Каткова и восторгаюсь: закрываю книгу—и не помню ничего". В. П. Боткину, человѣку очень чуткому и первоклассному стилисту, статьи Каткова не нравились. Но какъ бы то ни было, Катковъ въ то время (начало сороковыхъ годовъ) работалъ рука объ руку съ вождями юной Россіи.

Занявши кафедру философіи въ Москвѣ, Катковъ вскорѣ вынужденъ былъ оставить профессуру, такъ какъ преподаваніе философіи свѣтскими людьми было признано ненужнымъ и вреднымъ, и философію было рѣшено прикомандировать къ кафедрѣ богословія. Такъ рѣшилъ бутурлинскій комитетъ, образованный, какъ извѣстно для искорененія „французской революціи въ Россіи". Катковъ остался не у дѣлъ, повидимому сильно нуждался, пока ему не удалось получить редакцію „Московскихъ Вѣдомостей". Между прочимъ онъ изда алъ съ К. Леонтьевымъ сборникъ „Пропилеи", посвященный изученію классической древности. Отмѣчаю этотъ фактъ, самъ по себѣ въ исторіи литературы неважный, но какъ любопытный въ томъ отношеніи, что онъ является какъ бы предисловіемъ къ классической (во всѣхъ смыслахъ) реформѣ средней школы, произведенной впослѣдствіи графомъ Д. Толстымъ, Катковымъ и Леонтьевымъ. Но это дѣло его не удовлетворяло: „Московскія Вѣдомости" были изданіемъ оффиціальнымъ, его тянуло на широкую литературную дорогу, и онъ при первой же возможности выступилъ на ней. Это случилось въ 1857 году, когда ему было разрѣшено издавать „Русскій Вѣстникъ".

Каковы были его убѣжденія въ это время, можно судить по тому, что критикуя, напр., программу „Русской Бесѣды", онъ почти наканунѣ изданія собственнаго журнала писалъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ": „изъ про-

граммы, признаемся, не видно, чѣмъ именно новый журналъ будетъ отличаться отъ другихъ нашихъ журналовъ. Правда, въ программѣ говорится о посильномъ содѣйствіи къ развитію русскаго воззрѣнія на науки и искусства, но вѣдь науки и искусства допускаютъ лишь одно воззрѣніе— просвѣщенное, слѣдовательно *общечеловѣческое*". Это очень ядовито сказано для будущаго „защитника русскаго единства", какъ назвало Каткова московское дворянство, поднося ему чернильницу.

Разрѣшеніе на изданіе „Русскаго Вѣстника" было получено въ 1855 г., и редакція составилась изъ Е. Ѳ. Корша, Кудрявцева, Леонтьева и самого Каткова. Душою всего дѣла былъ, конечно, онъ самъ, и надо отдать ему полную справедливость, повелъ его прямо блестяще, особенно съ 1858 года, когда онъ взялъ въ свои руки политическія обозрѣнія. Въ нихъ онъ задался странной мыслью привить къ русской жизни нѣкоторыя формы общественнаго и государственнаго строя Англіи, правовое самосознаніе ея гражданъ и вмѣстѣ съ этимъ... англійскій лендлордизмъ. Послѣднее обстоятельство очень любопытно отмѣтить; думаю, что это-то и есть то горчишное зерно, изъ котораго впослѣдствіи распустилось пышное дерево Катковщины въ общеупотребительномъ смыслѣ этого слова, подъ сѣнью которой мы прожили почти 20 лѣтъ! Однако, на первыхъ порахъ, Катковъ выдвигалъ впередъ не свои аристократическія симпатіи, а свои несомнѣнно либеральные, мѣстами даже демократическіе взгляды. Это нравилось; даже такой благопристойный въ политическомъ смыслѣ человѣкъ, какъ Кавелинъ, очень одобрялъ Каткова и его журналъ.

„О „Вѣстникѣ", кажется, приговоръ вашъ строгъ. При такомъ министерствѣ и цензурѣ и надежды-то нѣтъ разгуляться, а что вы сдѣлаете, когда перо ходитъ подъ вліяніемъ убійственной мысли: этого-то цензоръ не пропуститъ, это исковеркаетъ, это въ III-е отдѣленіе пошлетъ. Цѣпи на рукахъ, и на мысли тѣ же цѣпи. Бросимте предубѣжденія, которыя насъ губятъ, пусть хорошее будетъ хорошо и для насъ, хотя бы врагъ сказалъ или написалъ. Хоть и разныхъ приходовъ, а все свои. Теперь такое время, что даже за нѣсколько выходящихъ изъ ряда мыслей и даже фразъ, внушенныхъ любовью къ добру и высказанныхъ смѣло, можно сказать спасибо".

Такъ въ то время понимали Каткова благопристойные люди и имѣли на это полное основаніе. Какъ въ нашей полудикой странѣ было, на самомъ дѣлѣ, не привѣтствовать хотя бы англоманство, тѣмъ болѣе, что лендлордизмъ почти не выпячивался впередъ, а скрывался подъ звучными словами: правовое самосознаніе, самоуправленіе, гражданская отвѣтственность и т. д. И выговаривалъ эти слова не кто другой, какъ человѣкъ

обширной учености и начитанности, какъ бывшій профессоръ университета, и выговаривалъ ихъ горячо, съ темпераментомъ...

„Съ давнихъ поръ, еще съ прошлаго столѣтія, государственное устройство Англіи было предметомъ тщательныхъ изученій. Интересъ этихъ изученій возрасталъ съ теченіемъ времени, непрерывно обогащая теорію и практику государственнаго права новыми элементами. Но никогда страна эта не возбуждала столь сильнаго и столь сознательнаго интереса, какъ въ наше время. Публицисты всѣхъ странъ поставляютъ одною изъ главныхъ задачъ своихъ изученіе всѣхъ особенностей англійскаго устройства, которое раскрывается передъ взорами, какъ неистощимо разнообразный и многосложный міръ, требующій такихъ же пріемовъ изученія, какъ и природа. Здѣсь нѣтъ написанныхъ словъ, готовыхъ формулъ, отвлеченныхъ понятій, англійское устройство не есть конституція на бумагѣ, это не книга, это даже не нація, это—жизнь и природа въ своемъ развитіи, въ своемъ дѣйствительномъ созиданіи".

Чему же хорошему можетъ, по мнѣнію Каткова, научить Англіи, хотя бы даже и Россію? Прежде всего чувству законности и законности твердой и затѣмъ свободѣ общественныхъ отношеній... По этому поводу онъ высказывается очень опредѣлительно—я прошу внимательно прочесть хотя бы слѣдующія строки:

„Возможно и должно поставить гражданъ въ такое положеніе, чтобы они не скрывали того, что думаютъ, и не говорили того, чего не думаютъ. Въ Англіи болѣе, нежели гдѣ-либо, эти требованія находятъ себѣ удовлетвореніе, и вотъ почему мы расположены всегда сказать доброе слово объ Англіи и при всякомъ случаѣ указываемъ на нее нашимъ читателямъ... *Единственнымъ ручательствомъ за искренность сужденій служитъ гражданское обезпеченіе личной свободы. Обезпеченіе это заключается въ твердости и ясности закона и въ безпристрастіи его примѣненія.* Разсматривая съ этой точки зрѣнія западныя европейскія государства, мы опять находимъ, что въ Англіи болѣе, нежели въ которомъ-либо изъ нихъ, личность и собственность обезпечены, а законъ, безъ всякаго сомнѣнія, стоитъ твердо и примѣняется безпристрастнѣе, нежели гдѣ бы то ни было... До сихъ поръ,—замѣчаетъ Катковъ,—только англичане выучились искусству дѣлать реформы безъ революцій, и мы, кажется, ничего не потеряемъ, если будемъ соревновать имъ въ этомъ отношеніи... Если на страницахъ нашего журнала,—заявляетъ въ заключеніе та же статья,—часто говорится объ Англіи, если мы часто обращаемъ на нее вниманіе нашихъ читателей и во многихъ случаяхъ представляемъ ее классическою страной новѣйшей цивилизаціи, то пусть вспомнятъ, что не одни мы это дѣлаемъ".

Слова эти прямо золотыя и написаны въ декабрѣ 1861 года. Въ нихъ implicite заключается требованіе судебной реформы, которая, впрочемъ, въ то время была у всѣхъ на умѣ и на языкѣ. Въ томъ же 1861 г. Катковъ въ своемъ журналѣ принялъ подъ свою защиту и судъ присяжныхъ, который даже Спасовичъ признавалъ для насъ несвоевременнымъ,

находя, что у насъ слишкомъ мало „зрѣлой опытности въ сужденіи объ общественныхъ дѣлахъ, а въ случаѣ надобности, нѣтъ даже и рѣшимости взять на свою душу осужденіе обвиняемаго преступника. Катковъ горячо возсталъ противъ такого мнѣнія — доказывалъ, что и нравственная простота народа, является скорѣе достоинствомъ, чѣмъ недостаткомъ и нимало не препятствуетъ введенію у насъ этой формы суда“... Англія въ этомъ случаѣ могла служить Каткову превраснѣйшимъ аргументомъ; судъ присяжныхъ одно изъ исконныхъ ея учрежденій.

Въ то же время поднимался вопросъ, куда приткнуться дворянству послѣ реформы, на самомъ дѣлѣ выбившей его изъ исторической колеи? Совершенно естественнымъ представлялось въ это время слѣдующее рѣшеніе вопроса. То были неосуществимыя пожеланія о всесословной общинѣ, Отмѣчаю фактъ, что эту всесословную волость одинаково горячо защищали Герценъ, Щедринъ и Катковъ.

Интересную страницу находимъ мы по этому поводу въ его біографіи:

„По вопросу о сословности въ „Современной Лѣтописи“ 1871 года, помѣщена статья М. Салтыкова, нашего знаменитаго сатирика, въ которой указывается на необходимость общенія дворянъ съ народомъ, какъ на единственный предстоящій для нихъ исходъ, при чемъ помѣщикамъ рекомендуется для этого обращаться въ члены тѣхъ сельскихъ обществъ и волостей, въ которыхъ находятся ихъ имѣнія. Съ своей стороны, Катковъ счелъ нужнымъ весьма рѣшительно высказаться по сословному вопросу, въ виду падавшихъ на него въ то время нареканій въ „аристократическомъ направленіи“. „Когда бароны были господами вассаловъ,—говоритъ онъ,—когда дворяне владѣли населенными имѣніями и крѣпостнымъ людомъ, они могли дорожить своимъ исключительнымъ состояніемъ, которое давало имъ право власти надъ другими людьми, но когда эта власть исчезла, то для людей особой породы нѣтъ причины находиться въ исключительномъ и разобщенномъ состояніи. Все, что имѣло цѣну этому состоянію, исчезло, остается лишь только то, что даетъ чувствовать его невыгоду“. „Аристократическое начало,—формулируетъ онъ свою мысль—никакъ не должно существовать подъ фирмой особой породы или благорожденнаго сословія“ („Совр. Лѣт.“, 1861 г. № 51, стр. 17). „У насъ, славу Богу,—продолжаетъ онъ,—особыя гражданскія состоянія, основанныя на родовомъ началѣ, или гражданскія породы—дѣло не туземное, не домашнее, не коренное, а случайное и пришлое. Это дѣло со многимъ другимъ заимствовано нами изъ Германіи. Особыя гражданскія породы, или, какъ мы выражаемся, сословія у насъ происхожденія очень недавняго. Въ прежнюю пору были у насъ исключительно служебные и общественные разряды, но они не были породами, не были особыми гражданскими состояніями“.

Нечего и говорить, что защита крестьянской реформы (путемъ выкупа) входила въ программу „Р. Вѣстника". А сколько превосходныхъ мелочей на которыя впослѣдствіи съ недоумѣніемъ долженъ былъ смотрѣть самъ Мих. Ник. Катковъ...

„Искра"—юмористическій журналъ, издававшійся В. С. Курочкинымъ въ сотрудничествѣ главнымъ образомъ съ извѣстнымъ каррикатуристомъ Степановымъ. Въ свое время „Искра" пользовалась большимъ успѣхомъ и вліяніемъ, являясь грозой всей мелкой администраціи и всѣхъ крѣпостническихъ остатковъ русской жизни. „Искра" обличала. Въ этомъ было ея главное назначеніе; она обличала своими стихами, пародіями, каррикатурами, иногда очень даже серьезными статьями (напр., противъ Н. С. Лѣскова), и попасть въ „Искру" значило больше, чѣмъ сѣсть на скамью подсудимыхъ: судъ общественнаго мнѣнія въ то время значилъ больше, чѣмъ судъ оффиціальный, былъ болѣе жестокъ и требователенъ, разъ дѣло касалось застоя, взяточничества, административнаго произвола. Кто были сотрудниками „Искры"? Кромѣ Курочкина, Степанова, Д. Минаева, кромѣ нѣкоторыхъ извѣстныхъ литераторовъ, всѣ такъ называемые *литераторы-обыватели* прогрессивнаго лагеря—этотъ интересный типъ, выдвинутый на сцену русской жизни обновившими ее реформами и нѣкоторой струйкой повѣявшей на нее свободы. Называя этихъ литераторовъ-обывателей литературной богемой, Елисеевъ говоритъ о нихъ: „она—явленіе не случайное, не дѣло каприза или бездѣлья тѣхъ или другихъ лицъ, а явленіе необходимое, неизбѣжное, потому что времена созрѣли... Представители богемы дѣйствуютъ не по постороннимъ побужденіямъ, корыстнымъ разсчетамъ и т. п., а по чувству долга, въ твердой увѣренности что *обличать*—это ихъ нравственная обязанность, ихъ призваніе, за которое они готовы подвергнуться какимъ угодно непріятностямъ, страданіямъ. Эта черта (т. е. безкорыстіе и самоотреченіе) рѣзко отдѣляетъ богему начала 60-ыхъ годовъ, отъ длиннаго ряда обличителей послѣдующаго времени. Богема по своимъ талантамъ и свѣдѣніямъ была разнообразна до безконечности. Большая часть ея, вѣроятно, не знала ничего, или, можетъ быть, развѣ немного болѣе десяти заповѣдей. Но этого было совершенно достаточно для ея дѣйствій. Не убій, не укради, не послушествуй на друга твоего свидѣтельства ложна и т. д.—вотъ весь тотъ кодексъ нравственности, за исполненіемъ котораго въ общественной жизни она слѣдила, въ тѣхъ, впрочемъ, только явленіяхъ, которыя окружены были тайною для закона, суда и полиціи или истинная духовная сущность и смыслъ которыхъ были неуловимы для нихъ, какъ преслѣдующихъ неисполненіе только буквы закона или которыя происходили публично, въ наглой расправѣ надъ лицами безза-

щитными. Ложь, лицемѣріе, своекорыстіе, самоуправство, наглость, эксплоатація, нахальство—вотъ тѣ общественные пороки, которые преимущественно преслѣдовала богема со всею неутомимостью, имѣя при этомъ всегда въ виду защиту эксплоатируемыхъ, притѣсняемыхъ, обижаемыхъ,—въ особенности если они беззащитны по возрасту, полу, своему общественному положенію и т. п.".

Эти-то литераторы-обыватели и были главными поставщиками матеріала для „Искры". Обработанный Курочкинымъ, иллюстрированный Степановымъ, этотъ матеріалъ возвращался въ провинцію, производя впечатлѣніе взрыва бомбы. Провинціальный администраторъ, по словамъ одного изъ современниковъ, плохо спалъ наканунѣ полученія № „Искры".

„Искра"—въ концѣ концовъ была трибуналомъ общественнаго мнѣнія и совѣсти, главнымъ образомъ по домашнимъ, мелкимъ дѣламъ. Для болѣе крупныхъ былъ другой трибуналъ—это знаменитый отдѣлъ „Колокола" „Подъ судъ".

Славянофильскіе органы. Про славянофиловъ, какъ про Бурбон въ послѣ ихъ реставраціи, можно сказать, что „они ничему не научились". Оффиціальная реставрація славянофильства произошла, какъ мы видѣли, въ началѣ новаго царствованія, а въ 1857 г. у нихъ, хотя и послѣ усиленныхъ хлопотъ, былъ уже свой органъ „Русская Бесѣда". На какія силы разсчитывали они? Прежде всего на старыхъ славянъ - К. Аксакова и Хомякова, а затѣмъ славянъ юныхъ, изъ которыхъ, по общему мнѣнію, особенной благонамѣренностью отличался Т. И. Филипповъ. Какъ на критика была надежда на удивительно даровитаго и удивительно безпутнаго русскаго человѣка Аполлона Григорьева, про котораго его покровитель Погодинъ какъ-то съ большой проницательностью замѣтилъ: „странный онъ: подъ лѣстницей молится, а въ переднемъ углу"... Обѣщалъ свое участіе и Ив. Аксаковъ, который, впрочемъ, въ то время былъ очень и очень далекъ отъ славянофильскаго правовѣрія.

Въ программѣ „Русской Бесѣды" значилось:

„Основное начало мнѣній, распространенію коихъ посвящается сей журналъ, есть Православіе. Оно душа всей Русской *) жизни, оно же должно опредѣлить характеръ всякой умственной дѣятельности въ нашей родинѣ: таково убѣжденіе издателей.

„Посвящая себя преимущественно служенію Русскаго начала, журналъ сей ни мало не будетъ враждебнымъ къ западной цивилизаціи. Всякій просвѣщенный Русскій знаетъ, сколь много онъ ей обязанъ сво-

*) По орѳографіи славянъ прилагательное Русскій", всегда писалось съ большой буквы.

имъ умственнымъ развитіемъ, и убѣжденъ, что еще весьма многому онъ долженъ у нея научиться, преимущественно по части такъ называемыхъ положительныхъ знаній, но вмѣстѣ съ тѣмъ, очевидно для всякаго истиннаго Русскаго, что западная цивилизація, лишенная необходимаго основанія всякаго истиннаго Просвѣщенія—Религіи, можетъ быть для Россіи полезною только по пропущеніи ея черезъ критику Русскаго духа и его коренныхъ началъ. Заимствовать какъ можно болѣе у богатаго свѣдѣніями Запада, переливать занятое въ Русскія формы, показывать отношенія Запада къ Россіи и Россіи къ Западу и содѣйствовать настоящей оцѣнкѣ въ Россіи западной цивилизаціи,--вотъ предметы, которые „Русская Бесѣда“ постарается имѣть постоянно въ виду.

„Будутъ прилагаться къ журналу виды замѣчательныхъ Русскихъ и Византійскихъ зданій, изображенія Русскихъ одеждъ и уборовъ и пр“...

Если мы вспомнимъ время, когда появлялась „Р. Б.“ то не правы ли были мы, сказавши, что славянофилы ничему не научились! На самомъ дѣлѣ, кого въ 57 г., когда ожидалась отмѣна крѣпостного права и, слѣдовательно, необходимый историческій переломъ всего строя русской жизни — могли интересовать виды Византійскихъ зданій и изображенія (!) Русскихъ одеждъ и кокошниковъ?

Какъ бы усугубляя впечатлѣніе программы, А. С. Хомяковъ въ первомъ же № „Русской Бесѣды“ писалъ: „Русскій духъ создалъ Русскую землю въ безконечномъ ея объемѣ, ибо это дѣло не плоти, а духа; Русскій духъ утвердилъ навсегда мірскую общину, лучшую форму общежительности въ тѣсныхъ предѣлахъ; Русскій духъ понялъ святость семьи и поставилъ ее, какъ чистѣйшую и незыблемую основу всего общественнаго зданія: онъ выработалъ въ народѣ всѣ его нравственныя силы, вѣру въ святую истину, терпѣніе несокрушимое и полное смиреніе. Таковы были его дѣла, плоды милости Божіей, озарившей его полнымъ свѣтомъ Православія. Теперь, когда мысль окрѣпла въ знаніи, когда самый ходъ исторіи, раскрывающей тайныя начала общественныхъ явленій, обличилъ во многомъ ложь западнаго міра, и когда наше сознаніе оцѣнило (хотя, можетъ быть, еще не вполнѣ) силу и красоту нашихъ началъ, *намъ предлежитъ снова пересмотрѣть всѣ тѣ положенія, всѣ тѣ выводы, сдѣланные западною наукою, которымъ мы вѣрили такъ безусловно;* намъ предлежитъ подвергнуть все шаткое зданіе нашего просвѣщенія безстрастной критикѣ нашихъ собственныхъ духовныхъ началъ и тѣмъ самымъ дать ему несокрушимую прочность“. (Хомяковъ. Соч. т. I, изд. 1861 г.).

Любопытно отмѣтить, что эта статья подписана не Хомяковымъ, а редакціей „Бесѣды“. Статья очень значительная и естественно, что у Грановскаго, бывшаго уже наканунѣ смерти, вырвалось такое рѣшительное слово:

„Надобно будетъ сказать послѣднее слово системы, а это послѣднее слово—Православная патріархальность, несовмѣстная ни съ какимъ дви-

женіемъ впередъ. Иванъ Кирѣевскій уже удостоился искомой награды и достигъ своей цѣли. Здѣшніе и... нарекли его Русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смѣло говоритъ о необходимости изгнать изъ государства всѣхъ иновѣрцевъ или, по крайней мѣрѣ, подчинить ихъ строгому надзору Православной Церкви. Изъ всей этой безобразной партіи, только у Петра Кирѣевскаго и у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра".

Да, это пожалуй, главная заслуга „Русской Бэсѣды", что она первая дала возможность славянофильству явиться съ изложеніемъ задушевныхъ своихъ мыслей, изображеніемъ византійскихъ видовъ, и разрушить легенду, сложившуюся около него, благодаря неосторожнымъ преслѣдованіямъ III-го отдѣленія.

Близко къ редакціи „Бесѣды" стоялъ замѣчательнѣйшій русскій риторъ И. С. Аксаковъ. Онъ старался удержать редакцію отъ преувеличенныхъ выходокъ, отъ византійскихъ увлеченій но напрасно. Его не слушали, ибо: славяне не научились начему. Вотъ что писалъ И. Аксаковъ:

Въ письмѣ 17 сентября 1857 г.;

„Будьте, ради Бога, осторожны съ словами *народность и православіе.* Оно начинаетъ производить на меня то же болѣзненное впечатлѣніе, какъ и Русскій баринъ, Русскій мужикъ и т. д. Будьте умѣрены и безпристрастны и не навязывайте насильственныхъ, неестественныхъ сочувствій къ тому, чему нельзя сочувствовать, къ до-Петровской Руси обрядовому православію, къ монахамъ, какъ И. В. Кирѣевскій. До-Петровской Руси сочувствовать нельзя, а можно сочувствовать только началамъ, невыработаннымъ или ложно направленнымъ, проявленнымъ русскимъ народомъ; но ни одного скверного часа настоящаго я не отдамъ за прошедшее! Что касается до православія, т. е. не до догматовъ вѣры, а до бытового историческаго православія,—то, какъ ни вертись, а не станешь ты къ нему въ тѣ же отношенія, какъ и народъ или какъ до-Петровская Русь: ты постишься, но не можешь ты на постъ глядѣть глазами народа. Тутъ себя обманывать нечего и зажить одною цѣльною жизнью съ народомъ, обратиться опять въ народъ ты не можешь, хотя бы и соблюдалъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ всѣ его обычаи, обряды и подчинялся его вѣрованіямъ. Я вообще того убѣжденія, что не воскреснетъ ни Русскій, ни Славянскій міръ, не обрѣтетъ цѣльности и свободы, пока не совершится внутренней реформы въ самой церкви, пока церковь будетъ пребывать въ такой мертвенности, которая не есть дѣло случая, а законный плодъ какого-нибудь органическаго недостатка"...

Въ письмѣ 9 октября изъ Екатеринослава:

„Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, которые бы не знали наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только те-

перь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ, рабство, подлость грозитъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ, говорятъ мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціяхъ"...

И дальше въ томъ же письмѣ:

„... О славянофильствѣ же здѣсь въ провинціи и слыхомъ не слыхать, а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направленію. *Да оно и не можетъ возбуждать сочувствія молодежи*, лѣзущей впередъ, оно требуетъ большой справедливости, безпристрастнаго разумѣнія, основательности и проч. Требованія эмансипаціи, желѣзныхъ путей и проч. и проч., сливающіяся теперь въ одинъ общій гулъ по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ, а я помню время, когда, къ сожалѣнію, Славянофилы, хотя и не всѣ, противились желѣзнымъ дорогамъ и эмансипаціи, послѣдней потому только, что она формулирована была подъ вліяніемъ западныхъ идей. ...Вотъ въ Екатеринославской губерніи во всей нѣтъ ни одного экземпляра „Русской Бесѣды", а получается „Русскій Вѣстникъ" и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе Просвѣщенія, жизни, простора; ему сочувствуютъ съ жаромъ и, невольно подчиняясь авторитету журнала, вмѣстѣ съ хорошимъ принимаютъ и дурное"...

„Бесѣда", конечно, не пользовалась никакимъ успѣхомъ. Не только молодежь, но и вся Россія „лѣзла" впередъ. Со страницъ же журнала все же раздавался призывъ: „назадъ... домой" и какія-то странныя *для насъ* панславистскія стремленія... „Русская Бесѣда" скоро перешла подъ редакцію И. Аксакова, но странно, что онъ, высказавшій такъ много дѣйствительнаго умнаго и дѣльнаго въ своихъ „письмахъ въ редакцію", ровно ничего не сдѣлалъ для улучшенія журнала и продолжалъ самоотверженно тянуть старую лямку славянофильства, не „бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда". То же можно сказать о собственномъ его журналѣ „Парусъ": Россіи, ея жизни почти нѣтъ, зато на каждой страницѣ:

..На Ладу, Мареву, на дальнюю Саву.
На Тиссу, на Дриссу, на Драву, Молдаву,
На синій прозрачный Дунай...

Приходится отмѣтить странное обстоятельство: и „Русская Бесѣда", и „Парусъ", котораго вышло только два №№, были скоро закрыты. Причину этого обстоятельства я вижу исключительно въ томъ, что славянофилы съ своими панславистскими стремленіями всегда слишкомъ близко подходили къ области международныхъ отношеній (съ Австріей), прямо таки затрогивали ее, мечтая все о томъ же и о томъ же времени,

Когда славянскіе ручьи сольются въ русскомъ морѣ...

т. е. о какомъ-то всеславянскомъ государствѣ, какъ политическомъ и духовномъ противовѣсѣ германскому міру.

О журналахъ братьевъ Достоевскихъ „Время“ и „Эпоха“ я не считаю нужнымъ распространяться. Оба они просуществовали очень недолго и вліянія на общество не имѣли. Во „Времени“ читали „Записки изъ мертваго дома“, въ „Эпохѣ“ не было и этого, и вся тяжесть лежала на Н. Страховѣ, человѣкѣ очень талантливомъ, какъ говорятъ его поклонники, но несомнѣнно плохомъ журналистѣ.

Не стану одинаково распространяться о журналѣ В. И. Аскоченскаго „Домашняя Бесѣда“. Это уже не литература. Это изувѣрство бывшаго атеиста, ставшаго ханжей. Достаточно сказать, что Аскоченскій травилъ нигилистовъ съ такимъ же бѣшенымъ ожесточеніемъ, съ какимъ въ наши дни нѣкоторые травятъ „жидовъ“.

Но еще о двухъ писателяхъ новаго славянофильства надо сказать нѣсколько строкъ.

Ап. Ал. Григорьевъ (1822—1864). Выражаясь собственными стихами Аполлона Григорьева, онъ въ литературѣ и жизни

Стоитъ съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской, чистою душою...

„Безалаберность“ Ап. Григорьева— вотъ что прежде всего бросается въ глаза и въ его жизни, и въ литературной дѣятельности. Такъ онъ и умеръ, не выяснивъ себѣ ни тамъ, ни здѣсь настоящихъ своихъ стремленій. А между тѣмъ въ его сочиненіяхъ видна большая работа мысли, видна оригинальность творчества и критическихъ пріемовъ, видна живая душа, широко открытая всѣмъ лучшимъ впечатлѣніямъ окружающаго. Но выражая „путанымъ языкомъ“ свою „мутную мысль“, Григорьевъ такъ и остался непонятымъ своими современниками, недостаточно еще оцѣненный потомками, хотя имя его и растетъ постепенно.

Онъ жилъ и работалъ въ эпоху нашего раціонализма. Совершенно сложившимся явился онъ въ обстановку 60-хъ годовъ, и надо сказать прямо— онъ понималъ ее и сочувствовалъ ей гораздо больше и лучше, чѣмъ она понимала его и сочувствовала ему. Всѣ его убѣжденія были глубоко демократичны, и въ этомъ отношеніи онъ воспринялъ лучшія традиціи славянофиловъ первой формаціи. Еще больше расширилъ онъ ихъ своимъ увлеченіемъ французскими соціалистами. Никакихъ дворянскихъ или вообще

классовыхъ симпатій онъ не имѣлъ: его кумиромъ былъ народъ, *русскій* народъ, какъ трудящаяся въ потѣ лица своего, достойная счастья и радости, но еще не добившаяся ихъ масса. Этотъ взглядъ онъ вносилъ въ свои критическія работы. Онъ спорилъ всегда съ дилетантами и теоретиками искусства; безсмысленной представлялась ему формула „искусство для искусства". Искусство,—писалъ онъ,—всѣмъ истиннымъ художникамъ открывалось въ видѣ великой, ввѣренной имъ міровой воли, въ видѣ великаго служенія на пользу души человѣческой, на пользу жизни общественной". Или: „Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпоху упадка, въ эпоху разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства дилетантовъ съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ... Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ—организмовъ во времени и народовъ—*организмовъ въ пространствѣ*". Такимъ образомъ требованіе Аксакова, чтобы художественное произведеніе „что-нибудь доказывало" и отвѣчало какой-нибудь потребности, какому-нибудь общественному запросу, осѣло въ трудахъ Ап. Григорьева.

На этой почвѣ, почвѣ своего демократизма и общественности, Григорьевъ могъ, повидимому, столковаться съ главарями шестидесятниковъ; однако онъ видѣлъ съ ихъ стороны одно пренебреженіе, одни насмѣшки, и чѣмъ ближе мы знакомимся со взглядами Григорьева, тѣмъ очевиднѣе становится для насъ, что иначе оно не могло и быть. Главари шестидесятниковъ были прежде всего раціоналистами съ вѣрою въ рѣшающую силу разума. Въ эту рѣшающую силу разума Григорьевъ не вѣрилъ, тѣмъ менѣе вѣрилъ въ разсудокъ, т. е. въ расчетъ выгоды или невыгоды, создавшій нашъ (области нравственныхъ началъ) далеко не философскій утилитаризмъ. Онъ думалъ, что въ жизни человѣкъ руководится и долженъ руководиться *цвѣтной*, какъ онъ называлъ, или органической истиной. Что такое цвѣтная истина? Это истина плюсъ весь человѣкъ—т. е. чувство, его воля, его идеалы, словомъ весь онъ со всѣми своими особенностями, съ голосомъ и вліяніемъ всѣхъ создавшихъ его условій, всей его исторической обстановки. Конечно, идеалъ души человѣческой всегда и повсюду остается неизмѣннымъ, но такой идеалъ въ чистомъ его видѣ никогда не можетъ быть ни познанъ, ни воплощенъ. Для своего познанія и воплощенія онъ нуждается во внѣшней формѣ, въ конкретной оболочкѣ, которая, конечно, случайна и временна. Но зато въ результатѣ мы получаемъ нѣчто *органическое*, т. е. выраженіе всего человѣка. Но далеко не всѣ способны найти такое выраженіе для себя, тѣмъ менѣе для массы.

для даннаго общества, для данной эпохи, для народа. Это дѣло художниковъ, дѣло искусства.

Какъ бы развивая взгляды нѣмецкаго романтизма, Ап. Григорьевъ смотрѣлъ на искусство, какъ на высшее выраженіе творческой дѣятельности человѣка; онъ прямо переоцѣнивалъ его значеніе и съ обычнымъ своимъ эмфазомъ говорилъ порою, что искусство—это все. Только искусство *осмысливаетъ* жизнь, говорилъ онъ. Или „искусство должно осмысливать жизнь, опредѣлять разумъ ея явленій,—положительно или отрицательно—на что имѣетъ два орудія: трагизмъ или, лучше сказать, лиризмъ и комизмъ". Тутъ опять проявляется недовѣріе Григорьева къ разсудочнымъ основамъ жизни. „Теоріи, какъ итоги, выведенные изъ прошлаго разсудкомъ, правы всегда только въ отношеніи къ прошедшему, на которое онѣ какъ на жизнь опираются. Прошедшее же—трупъ". Поэтому никогда теоріи не даютъ ничего *новаго*, нужнаго, органическаго. Одно искусство способно дать его, способно заставить повѣрить въ свои мысли, свои идеалы. „Для того, чтобы въ мысль повѣрили,—пишетъ Григорьевъ,—нужно, чтобы мысль приняла тѣло, и съ другой стороны, мысль не можетъ принять тѣла, если она не рождена, а сдѣлана искусственно". *Родить* же мысль можетъ лишь художникъ-творецъ.

„Искусство опредѣляетъ разумъ явленій жизни", выражаетъ сущность стремленій и идеаловъ массъ, эпохи, народа. Особенно важна его функція въ послѣднемъ случаѣ. Говорить отъ лица народа, его голосомъ—вотъ высшее, на что можетъ разсчитывать художникъ. Отъ лица русскаго народа говорили полнѣе, правдивѣе всѣхъ Пушкинъ сначала, потомъ Островскій.

Существуетъ ли русскій народъ, какъ нѣчто отдѣльное отъ другихъ, отдѣльное не только во времени и пространствѣ, но отдѣльное органически, по самому существу своему, отнынѣ и до вѣка? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ со стороны Григорьева быть не могло. Конечно, говорилъ онъ и истратилъ массу мысли и работы, чтобы опредѣлить эти коренныя, существенныя особенности народа русскаго, чтобы утвердить въ русской литературѣ ясное и точное содержаніе понятія народности. „Не только въ мірѣ художественномъ, но и въ мірѣ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ нашихъ сочувствій, Пушкинъ есть первый и полный представитель нашихъ сочувствій". „Въ Пушкинѣ надолго, если не навсегда завершился, обрисовавшись широкимъ очеркомъ, весь нашъ душевный процессъ". Пушкинъ мѣрка нашихъ принциповъ, говоритъ потомъ безудержный критикъ. Надо замѣтить, что въ Пушкинѣ онъ больше всего цѣнилъ созданіе имъ типа Бѣлкина. Но что такое Бѣлкинъ? Это „наше, настоящее, русское", это воплощенная кротость,—въ противоположность самомнящимъ, разсудочнымъ хищникамъ Запада, это смиреніе, постигшее религіозную

тайну жизни. Правда, Григорьевъ понималъ, что „голосъ за простое и доброе (т. е. за Бѣлкина—мужика—русскій народъ), поднявшійся въ душахъ нашихъ противъ ложнаго и хищнаго (т. е. западно-европейскаго), есть, конечно, прекрасный, возвышенный голосъ, но заслуга его есть только отрицательная: его положительная сторона, есть застой, закись, моральное мѣщанство“—но понимая это, Григорьевъ все же, какъ основныя свойства русскаго духа, выдвигалъ кротость, смиреніе, смиренномудріе, *православіе*. Воплощеніемъ же этого оказывается или безхитростный Бѣлкинъ или Любимъ Торцовъ!

Отсюда необходимый разладъ съ эпохой.

Пользуясь прекрасной работой г. Гольцева, привожу сдѣланный имъ сводъ мнѣній Аполлона Григорьева о задачахъ критики: „Что художество въ отношеніи къ жизни,—писалъ онъ,—то критика въ отношеніи къ художеству: разъясненіе и толкованіе мысли, распространеніе свѣта и тепла, таящихся въ прекрасномъ созданіи“. Чисто эстетической, замкнутой критики быть не можетъ: жизнь такъ или иначе задѣнетъ. Критика чисто техническая была безполезна и для художника, и для массы. „Въ наше время можетъ существовать только историческая критика, которая разсматриваетъ литературу, какъ органическій продуктъ вѣка и народа, въ связи съ развитіемъ государства, общества и моральныхъ понятій“. Во всемъ временномъ есть частица вѣчнаго, непримѣтнаго, поэтому „общіе эстетическіе законы подразумѣваются исторической критикой художественныхъ произведеній“. „Показать относительное значеніе всѣхъ литературныхъ произведеній въ массѣ, опредѣлить каждому подобающее мѣсто, какъ органическому, живому продукту жизни,—и повѣрить каждое безотносительными законами изящнаго,—непремѣнно повѣрить каждое—вотъ дѣло исторической критики“... Органическая же критика признаетъ, что идеалъ можетъ быть затерянъ, но остается всегда одинъ и тотъ же, всегда составляетъ единицу, норму души человѣческой... Искусство заранѣе чувствуетъ приближающееся будущее, какъ птицы заранѣе чувствуютъ грозу или ведро. Въ немъ поэтому, съ особенной силою выражается историческое чувство: сознаніе цѣльности души человѣческой и единства ея идеала. Для художника необходимо, съ этой точки зрѣнія, субъективное стремленіе къ идеалу и объективная способность воспроизводить явленія внѣшняго міра въ типическихъ образахъ“.

Этимъ взглядамъ Григорьева, какъ вообще всѣмъ его взглядамъ, не достаетъ ясности и опредѣленности.

Н. Н. Страховъ (1828 — 1896). Страховъ писалъ много, писалъ всю свою жизнь и умеръ почти что съ перомъ въ рукахъ. Но вліянія онъ не имѣлъ никогда, не имѣетъ его и теперь, послѣ смерти, несмотря на всѣ даже талантливыя попытки гальванизировать его имя и идеи. Между тѣмъ у него несомнѣнно есть очень цѣнныя критическія изслѣдованія (напр. о „Нигилизмѣ", о „Войнѣ и мирѣ", о борьбѣ съ Западомъ или лучше сказать съ раціонализмомъ въ русской и европейской литературѣ и т. д.)—но онъ былъ слишкомъ журналистомъ, чтобы ученые могли признать его своимъ, и слишкомъ ученымъ (въ смыслѣ теоретичности своихъ воззрѣній), чтобы журналисты хоть сколько-нибудь дорожили имъ. Каждый вопросъ, съ которымъ ему приходилось сталкиваться, онъ разсматривалъ, какъ нѣкоторую научную проблему изъ области естествознанія и при непремѣнномъ требованіи нашей журналистики принадлежать душой и тѣломъ, къ какому-нибудь лагерю, защищать какъ его ошибки такъ и истину, имѣть прежде всего въ виду практическіе результаты идеи. Страховъ былъ просто не на мѣстѣ, особенно въ 60-ые и 70-ые годы. Благодаря своей „научности", привычкѣ высказывать свои воззрѣнія съ дюжиною оговорокъ, онъ попадалъ порою прямо въ комичныя положенія: въ то время, какъ надъ нимъ потѣшались радикалы, правительство запретило журналъ за его статью (напр., за статью „Роковой вопросъ" было запрещено „Время").

Въ началѣ своей литературной дѣятельности въ 60-хъ годахъ онъ игралъ роль мишени для „Современника". Потомъ его какъ-то забыли временно, впрочемъ; позже онъ дважды и очень неудачно выступалъ какъ защитникъ „анти-дарвинистскихъ" и „почвенныхъ" взглядовъ Н. Я. Данилевскаго. Обѣ его полемики съ проф. Тимирязевымъ и Влад. С. Соловьевымъ были печальны.

По всѣмъ даннымъ своей натуры Страховъ былъ приспособленъ лишь ко второй роли, но такъ какъ его вожди - Апол. Григорьевъ и Н. Я. Данилевскій ни извѣстностью, ни вліяніемъ не пользовались, то естественно, что еще меньше вліянія и извѣстности выпало на долю ихъ послѣдователя, хотя по разносторонности своего образованія и по своему литературному таланту онъ былъ выше обоихъ.

Направленіе, котораго держался Страховъ, носитъ названіе *почвеннаго*, это славянофильство, но безъ его панславистской утопіи и исправленное въ грубѣйшей ошибкѣ, будто намъ надо вычеркнуть два вѣка своей исторіи и вернуться назадъ, домой въ до-петровскую Русь. Вычеркнуть два вѣка исторіи и забыть ихъ—нельзя. Это почвенники знали. Но съ тѣмъ большею цѣпкостью и, пожалуй, страстью (особенно Ѳ. М. Достоевскій, какъ публицистъ, и Ап. Григорьевъ) ухватились за другую часть славянофиль-

скаго наслѣдства—за самобытность основъ нашего духовнаго развитія, за существованіе особаго (русскаго или славянскаго) культурно—историческаго типа, который, пользуясь пріобрѣтеніями европейскаго разума и просвѣщенія, ему однако не подчиняется и идетъ *своей* дорогой.

Проповѣдуя эти взгляды въ области литературной критики, Страховъ слѣдовалъ, конечно, взглядамъ Хомякова и Григорьева. По его мнѣнію, „въ произведеніяхъ ряда поэтовъ и художниковъ, начиная отъ Пушкина, послѣ нѣкотораго колебанія и склоненія въ сторону западно-европейскихъ типовъ духовной красоты человѣка, мы замѣчаемъ возвращеніе къ самостоятельности и созданіе типовъ и характеровъ, въ безусловной нравственной красотѣ которыхъ мы не можемъ сомнѣваться, передъ которыми преклоняются, какъ только узнаютъ ихъ, и западные писатели — и которые вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно гармонируютъ съ душевнымъ складомъ, до сихъ поръ живущемъ въ нашемъ простомъ народѣ? Ап. Григорьевъ много говорилъ о немъ, но не выяснилъ его; Страховъ также много о немъ говорилъ, но одинаково не выяснилъ. Въ сущности, даже послѣ знаменитой пушкинской рѣчи Достоевскаго этотъ вопросъ остался открытымъ. Собирая крупицы яснаго и опредѣленнаго, находящагося въ сочиненіяхъ почвенниковъ, находимъ прежде всего мотивъ Тютчева:

Не пойметъ и не оцѣнитъ
Гордый умъ иноплеменный,
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ *наготѣ* твоей *смиренной*.

Эта смиренная нагота фигурировала у Григорьева, какъ кротость, противоположная хищническому, завоевательному западно-европейскому типу. Страховъ на этотъ счетъ высказался въ своихъ критическихъ статьяхъ о „Войнѣ и мирѣ“.

„То, — говоритъ его комментаторъ, В. Розановъ, — чего онъ смутно искалъ, чего ожидалъ съ сомнѣніемъ, появилось въ образахъ удивительной красоты и твердости, передъ которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего ихъ значенія. Ни для кого это значеніе не могло быть такъ ясно, какъ для него (Страхова). Въ 6-ти томахъ громаднаго литературнаго произведенія онъ нашелъ двѣ строчки, мимоходомъ брошенныя авторомъ, въ которыхъ была сгруппирована вся мысль романа, быть можетъ не такъ отчетливая для самого знаменитаго художника. Эти строки онъ и избралъ эпиграфомъ для своего разбора. „*Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды*“ — въ этихъ короткихъ словахъ содержится указаніе иного и высшаго типа для всемірной исторіи, по которому она еще никогда не двигалась и который хранится, какъ нравственный идеалъ, безсознательно, въ нѣдрахъ народа нашего;

по нему, конечно, вступая и вкривь и вкось, развивался и бытъ нашъ до реформы Петра. Этотъ типъ можетъ быть удержанъ при всей сложности развитія, при всякой высотѣ умственныхъ созерцаній или обширности замысловъ и стремленій. Нельзя не согласиться, что онъ есть норма для человѣческаго духа и мѣрило достоинства для человѣческой дѣятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствуетъ неудовлетворенности и тревоги, а вторая успѣетъ достигнуть всякихъ цѣлей. Если мы всмотримся въ двухтысячелѣтнюю исторію западной Европы, мы увидимъ, что все великое, въ ней совершившееся, совершилось по инымъ типамъ, нежели этотъ. Могущество внѣшняго авторитета въ одни моменты ея развитія, свобода личной совѣсти въ другіе, гражданское равенство въ третьи, далѣе спиритуализмъ или матеріализмъ воззрѣній, чувствъ и отношеній —вотъ окончательныя цѣли, которыя преслѣдовались западными народами и породили великіе циклы ихъ развитія: католицизмъ и реформацію, систему централизованныхъ государствъ и революцію, рыцарство и промышленность, аскетизмъ монастырей и шумъ энциклопедистовъ. Идеалъ всегда бываетъ несложенъ, онъ называется двумя-тремя словами, но его осуществленіе на всѣхъ ступеняхъ жизни, проникновеніе имъ всѣхъ формъ развитія, всѣхъ моментовъ личнаго существованія и общественныхъ отношеній наполняютъ собою вѣка народной жизни, поглощаютъ трудъ безчисленныхъ поколѣній. Западная Европа въ теченіе всего послѣдняго столѣтія движется въ предѣлахъ мысли, которую мы можемъ читать въ двухъ словахъ, вырѣзанныхъ на французскихъ пушкахъ, хранимыхъ въ Московскомъ Кремлѣ „liberté, égalité“: сюда примыкаютъ рядъ монархій и республикъ, законодательства и журналистика, индустрія и пролетаріатъ. Итакъ, слова эти кратки, но смыслъ ихъ дологъ. Не трудно понять, какъ забвеніе великаго идеала, хранимаго въ нашемъ народѣ, пренебреженіе которою-нибудь изъ его чертъ, порождаетъ наше безсиліе достигнуть хоть какихъ-нибудь изъ своихъ цѣлей, и не нужно быть особенно проницательнымъ, чтобы предвидѣть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы ихъ всѣхъ, если бы въ стремленіи своемъ дѣйствительно были всегда просты, совершенно правдивы и не заботились ни о чемъ, кромѣ добра. Но къ добру мы примѣшали лживость, къ правдѣ—ожесточеніе, извратились сами и извратили свою жизнь, и несемъ ее какъ бремя, ненавистное для себя и для другихъ“.

Все это, какъ видитъ читатель, довольно наивно: до торжества Москвы, до раззоренія Новгорода Грознымъ наша исторія смиренія не знала. Смиреніе вколочено, вбито въ русскую натуру казнями Грознаго, дубинкой Петра,—а больше всего монгольскимъ игомъ и крѣпостнымъ правомъ, когда смиреніе оказывалось единственнымъ средствомъ самозащиты. Но надо отмѣтить, что панегирики Страхова и Григорьева кротости не скрывали за собой никакой задней мысли, и оба эти почвенника воистину не знали, что творятъ...

У Страхова была еще идея, общая всѣмъ славянофиламъ, всегда, какъ я указывалъ раньше, тяготѣвшимъ къ Шеллингу (во второй половинѣ его

дѣятельности). Это недовѣріе къ разуму, разсудку, раціонализму, вообще неудовлетворенность ими. Здѣсь Страховъ опять таки шелъ за Аполлономъ Григорьевымъ (вообще своихъ главныхъ мыслей у него не было). Григорьевъ, проповѣдуя свою *органическую* критику, разсматривалъ каждую идею, каждое художественное произведеніе не какъ продуктъ личнаго индивидуальнаго творчества, а какъ результатъ работы *общаго*, *большого* разума, разума „мѣстности, массы народа"—т. е. какъ продуктъ чего-то стихійнаго. Это, несомнѣнно, самая драгоцѣнная идея славянофильства, и жаль, что они говорили о ней такъ блѣдно, вяло и неясно. Этотъ *большой стихійный разумъ* Григорьевъ называлъ *органическимъ*, Хомяковъ *вѣрой*. Самаринъ видѣлъ всецѣло въ его неприкосновенности, нетронутости, въ томъ, что онъ уцѣлѣлъ у насъ, а не раздробился на мелкіе индивидуальные разсудки—наше преимущество передъ Западомъ, залогъ нашего будущаго. И опять надо сказать, что у Страхова и Григорьева это недовѣріе къ раціонализму, къ разсудочному, чисто механическому толкованію природы и человѣка не переходило въ мракобѣсіе. Но оно перешло въ мракобѣсіе у ихъ меньшихъ сторонниковъ, которые для своихъ цѣлей воспользовались ихъ аргументами. Вотъ, повторяю, горе Страхова, что онъ никогда не зналъ и не понималъ, въ чью руку онъ играетъ, какъ не понимали, въ концѣ концовъ, и всѣ славянофилы.

„Неудовлетворенность—и безотчетная—одною изъ самыхъ общихъ и великихъ формъ европейской цивилизаціи, дала ему возможность безошибочно опредѣлить подобное же недовольство ею и въ другихъ умахъ, которое сказалось такъ же враждебно, повело къ такимъ же, какъ и у него, страстнымъ отрицаніямъ. Раціонализированіе природы въ философіи и наукѣ, безграничное стремленіе, избѣгая всякаго страданія, улучшать каждую частность жизни и черезъ это надежда достигнуть ея полнаго совершенства, вѣра въ могущество своей природы и отверженіе необходимости для себя какой-нибудь помощи въ религіи—все это можетъ считаться главными и самыми общими чертами европейскаго общества второй половины XIX-го вѣка. Въ цѣломъ рядѣ западныхъ писателей онъ (Страховъ) открываетъ, какъ вѣра въ раціонализмъ, столь же горячая, какую онъ исповѣдывалъ нѣкогда, привела къ недовольству и отрицанію другихъ сторонъ европейской цивилизаціи, то подавляемому еще, какъ у Штрауса, то, колеблющемуся, какъ у Д. С. Милля, то исполненному какого-то недоумѣнія, какъ у Фейербаха, то открытому и рѣзкому, какъ у Ренана и отчасти у Герцена.

„Но если для западно-европейскихъ писателей за отрицаніемъ своей цивилизаціи остается только сумракъ и отчаяніе, то для писателя иного народа, еще не вошедшаго окончательно въ формы этой цивилизаціи, остается надежда на возможность иной культуры. Къ этой надеждѣ при-

мыкаетъ, изъ нея исходитъ вся критическая дѣятельность Н. Страхова".

Надежда превосходная, но когда вся она строилась на стихахъ Тютчева и Хомякова и сомнительной философско-исторической теоріи Данилевскаго,—нечего удивляться, что вліянія она не имѣла, что вызывала она лишь насмѣшки и даже вражду. Потому, между прочимъ, что не у Страхова, а у меньшихъ она перешла въ шовинизмъ, націонализмъ, гордыню духа, тѣ самыя вожделѣнія и мечты о третьемъ Римѣ, которыя въ концѣ концовъ могли сыграть лишь чисто отрицательную, реакціонную роль.

Полемика. Для полноты картины мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о журнальныхъ буряхъ 60-хъ годовъ. Много было этихъ бурь, очень много и, быть можетъ, онѣ—одно изъ характернѣйшихъ явленій того времени. Онѣ поражаютъ своей страстностью, высокимъ вздыбомъ своихъ полемическихъ волнъ, своею рѣзкостью. Поводы зачастую были малы и случайны, напр. вопросъ о томъ, откуда пришли первые князья - изъ Литвы или изъ „норманновъ",—но это не мѣшало людямъ влагать въ нихъ весь свой темпераментъ. Масса электричества, которымъ была наполнена атмосфера 60-ыхъ годовъ, разряжалась въ этихъ полемикахъ, потому что, какъ ни случайны были поводы, рѣчь въ концѣ концовъ сводилась къ тому, какъ и какимъ образомъ переустроить на новыхъ началахъ общественную жизнь для огражденія ея гражданской самодѣятельности? И надо отдать полную справедливость публикѣ того времени: ея настроеніе было главнымъ источникомъ высокой журнальной температуры того времени. Какое бы, казалось, дѣло этой публики до ученаго спора между Костомаровымъ и Погодинымъ; до того—литовское ли это имя „Игорь" или нѣтъ?—Но публика знала, что Костомаровъ человѣкъ передовой, Погодинъ—академикъ, издатель славянофильскаго „Москвитянина", человѣкъ очень сомнительныхъ общественныхъ симпатій, очень близкій къ теоріи оффиціальной народности, вообще журналистъ и ученый—*чиновникъ*, и этого было достаточно, чтобы всѣ симпатіи были на сторонѣ Костомарова. Погодина освистали. Въ болѣе близкихъ для нея вопросахъ, публика проявляла еще болѣе рѣшительности. Это прекрасно доказывается трагической исторіей „Вѣка" (редакт. П. Вейнбергъ). Въ этомъ журналѣ П. И. Вейнбергъ, въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ осмѣялъ нѣкую г-жу Толмачеву за то, что та на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ прочла „Египетскія ночи" Пушкина. Насмѣшка была воистину неосторожная, и публика ея не простила. Въ какіе-нибудь 2—3 мѣсяца всѣ подписчики „Вѣка", которыхъ было около 4000, разбѣжались, и журналъ перешелъ въ другія

руки. Было вообще много чуткости, страстнаго увлеченія, много и ребячества, конечно,—надъ чѣмъ такъ ядовито подсмѣивался Добролюбовъ въ своемъ „Свисткѣ“, но надо вспомнить, что время было горячее.

Почти весь 1860-ый годъ тянулась знаменитая полемика между Чернышевскимъ и Юркевичемъ. Вопросъ шелъ о матеріалистическихъ и идеалистическихъ основахъ человѣческаго бытія. Публика примкнула, конечно, къ Чернышевскому и его матеріализму. Почему? Отчасти и потому, конечно, что Юркевичъ былъ профессоромъ духовной академіи, но главнѣйше по той причинѣ, что правильно или неправильно, но въ идеализмѣ она видѣла одну изъ основъ стараго русскаго быта, что она знала оффиціальную боязнь николаевской эпохи къ матеріализму.

Волна настроенія была высокая. Многихъ подняла она, еще больше кого захлестнула. Не только всѣ двуличные и двуязычные, но и всѣ недостаточно рѣшительные оказались не у дѣлъ, загнанными въ уголъ.

Многихъ удивляетъ ожесточенная полемика между „Современникомъ“ и „Русскимъ Словомъ“, хотя оба они стояли во главѣ передового движенія и оспаривали одинъ у другого симпатіи молодежи. Однако ничего страннаго въ этой полемикѣ нѣтъ. Вѣрный духу Чернышевскаго, „Современникъ“ держался народнически-соціалистской программы; „Русское Слово“—программы мыслящаго реализма. Различіе обоихъ журналовъ также велико, какъ различіе между Чернышевскимъ и Писаревымъ, особенно ярко проявилось оно въ оцѣнкѣ Базаровскаго типа, по поводу появленія „Отцовъ и дѣтей“ Тургенева (1862).

„Современникъ“ въ лицѣ Антоновича нашелъ, что Тургеневъ, рисуя своего Базарова, унизилъ молодежь. Онъ спрашивалъ, что дѣлаетъ этотъ всеотрицающій нигилистъ? Неужели осмысленный человѣкъ можетъ удовлетвориться рѣзаньемъ лягушекъ и любовью къ полной барынѣ Одинцовой? Неужели его не тянетъ въ ряды погибающихъ за великое дѣло любви? Если не тянетъ—то, очевидно, онъ—клевета. Писаревъ посмотрѣлъ на дѣло иначе. Для него Базаровъ властитель думъ. Онъ—человѣкъ безъ предразсудковъ, онъ занимается естественными науками, онъ построилъ свою жизнь на тріединомъ принципѣ любви, знанія, труда. Что онъ не думаетъ о переустройствѣ жизни—это несущественно, потому что самымъ фактомъ своего существованія онъ переустраиваетъ ее. Отсюда полемика, которая, только благодаря исключительному таланту Писарева, кончилась не въ пользу „Современника“.

Страстность журналистики 60-ыхъ годовъ можно, кажется, объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что вопросы, интересовавшіе ее, были чисто практическаго свойства. Нужна ли розга въ школахъ? Нужна ли розга въ крестьянскомъ быту? Какъ произвести крестьянскую реформу? Каковъ дол-

женъ быть размѣръ выкупа? И т. д. Всѣ эти вопросы слились въ концѣ концовъ въ одинъ: Что надо дѣлать, чтобы закрѣпить жизнью новыя начала общественной самодѣятельности?

Беллетристика 60-ыхъ годовъ.

Беллетристика 60-ыхъ годовъ по преимуществу *учительская*. Она вела читателя, указывала ему смыслъ и цѣль жизни, отвѣчала на вопросъ: что дѣлать? Надо работать во имя счастья всѣхъ, надо работать во имя того, чтобы освободить и массу, и отдѣльныя личности отъ предразсудковъ, надо работать во имя водворенія на землѣ справедливости—вотъ ея отвѣтъ. Задачи и средства художественнаго творчества были отодвинуты на второй планъ. Часто беллетристика являлась лишь иллюстраціей ко взглядамъ, изложеннымъ въ журнальныхъ статьяхъ. Во всякомъ случаѣ это была проповѣдь, было учительство, проникнутое вѣрой во всемогущество человѣческаго разума и его зиждущую роль на землѣ.

Высокія художественныя произведенія, одно за другимъ, какъ бы изъ рога изобилія, появлявшіяся въ шестидесятые годы, внутренне духовно имъ не принадлежатъ: они связаны съ нею только хронологически и для нея не характерны за исключеніемъ, быть можетъ, „Отцовъ и дѣтей“ Тургенева, „Тысячи душъ“ Писемскаго. Но все же надо помнить, что на сценѣ были Толстой, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Писемскій, и первенствовавшая въ эту эпоху критика извлекла изъ ихъ произведеній полезные для себя публицистическіе выводы чисто общественнаго содержанія и при томъ такого, о которомъ самимъ авторамъ, быть можетъ, и не снилось. Такъ, Добролюбовъ для своихъ статей „Темное царство“ и „Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ“ взялъ матеріалъ у Островскаго; для статьи „Что такое Обломовщина“--у Гончарова; Писаревъ особенное вниманіе обратилъ на произведенія Тургенева (особенно его женскіе типы и типъ Базарова) и Писемскаго. Любопытно, что на „Войну и миръ“ критика передового лагеря мало откликнулась, но этотъ романъ Толстого появился въ концѣ эпохи.

Мнѣ бы слѣдовало, повидимому, посвятить особыя главы произведеніямъ двухъ первоклассныхъ нашихъ художниковъ слова—Островскаго и Писемскаго, но я этого не сдѣлаю и вотъ по какимъ причинамъ. Преклоняясь передъ художественнымъ геніемъ Островскаго (1823—1886 г.), я думаю, что истинную свою оцѣнку онъ можетъ найти въ общеэстетической части исторіи литературы, или той, которая поставитъ себѣ цѣлью опредѣлить проявленіе русскаго духа, русской народной индивидуальности, поскольку она отразилась въ художественныхъ произведеніяхъ. Но эта почтенная этнографиче-

ская задача не входитъ въ программу моей работы, такъ какъ я совершенно теряюсь передъ ея громадностью и сложностью. Какъ понимали *русскіе* художники слова русскія начала своей жизни—на этотъ вопросъ, конечно, долженъ отвѣтить анализъ творчества Кольцова, Островскаго, С. Т. Аксакова, Толстого и т. д.—и *особенно*, конечно, Островскаго и Толстого. Островскій, несомнѣнно, старательно, любовно и проникновенно отмѣтилъ все то положительное, что можно найти даже въ нашихъ самодурахъ-купцахъ. Я едва ли буду далекъ отъ истины, если скажу, что героемъ, центральной фигурой его творческой дѣятельности является Козьма Мининъ Сухорукъ. Въ этой легендарной фигурѣ онъ вплѣлъ истинное воплощеніе русскаго народнаго генія, русскаго народнаго духа. Но частица яркаго свѣта, озаряющаго могучую личность Минина, несомнѣнно падаетъ и на всѣхъ положительныхъ героевъ Островскаго, которыхъ у него *очень* много. Этой вотъ стороной своего міросозерцанія Островскій, несомнѣнно примыкалъ къ славянофиламъ, и превосходныя, прямо таки художественно-прекрасныя статьи Добролюбова о его произведеніяхъ—едва ли проникаютъ въ ихъ истинную сущность. Россія для Островскаго свѣтлое, а не темное царство, съ темной развѣ закраиной. А. Ѳ. Писемскій (1820—1881 г.), этотъ истинный нашъ натуралистъ, даже (порою) протоколистъ, опять таки въ высокой степени важенъ для характеристики русскаго народнаго духа, русскаго характера къ которому онъ, въ противоположность Островскому, относился совершенно отрицательно. Русская жизнь для него тускла, сѣра, окутана пошлостью и какой-то ненужностью. Истинные ея герои—это Тюфяки, ипохондрики, Калиновичи—люди безъ воли, безъ идеи. „Возрождающее“ движеніе 60-ыхъ годовъ одинаково не создало ничего цѣннаго, положительнаго, и Писемскій отнесся къ нему съ явной насмѣшкой и неодобреніемъ. Для чего живемъ мы, русскіе люди—это никому не извѣстно, да и не живемъ, а просто прозябаемъ. Писемскій несомнѣнный сатирикъ, прямой ученикъ Гоголя, но безъ всякихъ исканій, спокойно ставящій крестъ на всѣхъ своихъ пошленькихъ герояхъ.

Перехожу къ беллетристикѣ 60-ыхъ годовъ собственно.

Беллетристика Чернышевскаго. Существуютъ два рода художественныхъ произведеній, достоинство которыхъ можетъ быть совершенно одинаковымъ по степени и совершенно различнымъ по типу. Одни изъ этихъ произведеній дѣйствуютъ прежде на наше эстетическое чувство и возбуждаютъ нашу эстетическую эмоцію красотой своихъ образовъ и изложенія; чтобы оцѣнить ихъ, надо очень мало рефлексіи: заключающіяся въ нихъ чувства передаются, такъ сказать, телепатическимъ путемъ. Они могутъ

быть вѣчны, по крайней мѣрѣ, долговѣчны, но въ нихъ такъ тщательно удалено все временное и случайное, ихъ настроеніе такъ обще, что вы ни за что не опредѣлите, когда они написаны. Что, напр., за превосходная вещь „Довольно“ Тургенева или его „Призраки“, или его „Собака“, однако, попробуйте установить ихъ хронологію безъ документовъ и свидѣтельствъ, ничего общаго съ этими произведеніями не имѣющихъ, и вамъ ни за что это не удастся: „Довольно“, „Призраки“, „Собака“ и пр. принадлежатъ рѣшительно каждому вѣку. Еще относительно „Довольно“ вы по проникающей его слишкомъ барской меланхоліи, догадаетесь, пожалуй, что оно написано русскимъ человѣкомъ, но другія можетъ создать и французское, и нѣмецкое и вообще любое человѣческое гуманное воображеніе. Въ такихъ вещахъ на первомъ планѣ психологическій анализъ и чувства, принадлежащія или могущія принадлежать каждому человѣческому существу. Онѣ иногда чудно красивы, но всѣ безъ роду, безъ племени, настоящіе метеоры, приносящіеся неизвѣстно откуда: такъ, изъ нѣдръ духа человѣческаго.

Переходя теперь ко второму роду художественныхъ произведеній, немилосердно бракуемыхъ эстетической критикой, надо сказать, что ихъ главный характеръ заключается въ ихъ въ высшей степени рельефной историчности. Каждая строчка, каждая страница въ нихъ носитъ печать своей эпохи и тѣхъ интересовъ, которыми жило тогда общество. Здѣсь уже невозможны никакія сомнѣнія по части хронологіи: она подсказывается всѣмъ— и ходомъ дѣйствія, и общимъ настроеніемъ автора, и отношеніемъ къ дѣйствующимъ лицамъ, и самымъ стилемъ, который не могъ бы быть раньше или позже. Это извѣстные продукты общественной эволюціи. Они такъ плотно приросли къ извѣстной ея стадіи, что по необходимости чувствуютъ себя чужеземными растеніями во всякой другой. Плоть отъ плоти и кость отъ костей, и они прекрасны, и ярки лишь при особенномъ освѣщеніи своего времени: только это освѣщеніе можетъ открыть всѣ ихъ достоинства и соединить въ одно гармоническое превосходное цѣлое ихъ неясныя и кажущіяся угловатыми данныя. Чтобы сдѣлать ихъ памятными и привлекательными для другого времени, другихъ людей, выросшихъ въ другихъ условіяхъ общественности и въ другихъ ея интересахъ, критика должна стать прежде всего исторической и критикъ обратиться прежде всего въ историка. Конечно, это нисколько не помѣшаетъ ему перейти потомъ къ ихъ научному анализу и къ эстетическому, но тотъ и другой будутъ въ значительной степени страдать погрѣшностями, если для нихъ не приготовятъ предварительно чисто историческаго фундамента. Какъ относились люди къ жизни въ ту прошлую эпоху, въ чемъ видѣли ея смыслъ, какъ понимали важнѣйшіе вопросы личнаго счастья, долга, будущности

человѣчества, „роль личности въ исторіи“ и т. д.,—вотъ вопросы, на которые прежде всего должна отвѣтить критика, разсматривая подобныя произведенія. Насчетъ же степени ихъ художественности, сужденіе должно быть установлено по общимъ правиламъ, т. е. по правиламъ, приложимымъ рѣшительно ко всякаго рода произведеніямъ творческаго духа человѣка. Насколько широко захвачена въ нихъ жизнь, насколько ярки выведенные въ нихъ типы и—насколько полно собраны общія черты даннаго типа и т. д. Если по всѣмъ указаннымъ пунктамъ получатся удовлетворительные отвѣты, то произведеніе должно быть названо художественнымъ. Художественность выражается прежде всего въ красотѣ выполненія, въ той полнотѣ впечатлѣнія, которую выноситъ читатель, въ силѣ и яркости образовъ и, въ сущности, ни въ чемъ больше.

Романъ Чернышевскаго „Что дѣлать?“, такъ же, какъ и первый незаконченный его романъ, въ которомъ разсказывается жизнь четы Волгиныхъ—принадлежитъ, конечно, ко второму роду художественныхъ произведеній. Это, прежде всего, документы своего времени, въ которыхъ лучше, чѣмъ гдѣ-нибудь отразилось его настроеніе, въ то же время это программа жизни, какъ она понималась тогда... когда розы росли безъ шиповъ... и развѣ съ самыми маленькими. Если это и не рѣшаетъ вопроса о степени художественности, то вопросъ о важности и значительности во всякомъ случаѣ уже рѣшенъ. Прежде всего, что поражаетъ или лучше сказать—бросается вамъ въ глаза въ романахъ Чернышевскаго, это ихъ въ высокой степени жизнерадостное настроеніе. Закрывая книгу, читатель не ощущаетъ не только грусти, но даже „мечтательной задумчивости“. Онъ совершенно спокоенъ за участь заинтересовавшихъ его раньше героевъ, ни одна ужасная сцена, исполненная трагизма, не встрѣтилась ему на протяженіи сотенъ страницъ, ни разу не было упомянуто о смерти, выведенные на сцену люди всегда достигали чего хотѣли и, въ сущности, безъ особенныхъ усилій, человѣческая жизнь заключалась въ работѣ для счастья и въ достиженіи этого счастья. Это важнѣйшій и, по моему мнѣнію, самый интересный признакъ романовъ Чернышевскаго. Имѣетъ ли онъ общее историческое значеніе для своей эпохи или же самъ авторъ просто проявилъ себя въ немъ—вотъ вопросъ, на который мы пытаемся отвѣтить.

Личное счастье человѣка законно,—личное счастье человѣка грѣховно. Личное счастье человѣка достижимо,—личное счастье человѣка недостижимо. Возлѣ этихъ двухъ полюсовъ колебалась мысль человѣка, особенно русскаго человѣка и, разумѣется, русскаго интеллигента. Съ этой точки зрѣнія было бы положительно интересно разсмотрѣть исторію русской литературы, хотя бы за одинъ только XIX вѣкъ. Конечно, къ этому надо прибавить разное пониманіе счастья въ разныя эпохи.

То или другое пониманіе счастья кажется мнѣ центральнымъ пунктомъ нравственной философіи человѣчества. Отъ какихъ причинъ зависитъ его разнообразіе—для насъ это въ настоящую минуту не важно. Но все равно, какъ нельзя отрицать его, такъ нельзя не признавать въ немъ одного изъ самыхъ характерныхъ признаковъ самосознанія той или другой эпохи.

Какъ отнеслись къ вопросу о счастьѣ шестидесятые годы? Насчетъ законности или права на него не могло быть, конечно, и рѣчи. Но, самое главное, счастье считалось совершенно достижимымъ, и главная отвѣтственность за него возлагалась на самого человѣка. Онъ можетъ его заработать, если захочетъ. Такъ рѣшаетъ вопросъ Чернышевскій въ своихъ романахъ, Писаревъ въ своихъ статьяхъ,—только скептикъ Добролюбовъ никогда не забывалъ прибавить: „если обстоятельства позволятъ". Возьмите всѣхъ героевъ Чернышевскаго, кромѣ одного — Рахметова, разсмотрите всю ихъ жизнь отъ начала до конца, и вамъ невольно захочется воскликнуть: „какъ все это просто и изъ-за чего на самомъ дѣлѣ люди мучаются?" Какъ будто и правда не изъ-за чего. Стоитъ только „пошевелить мозгами", „раскинуть умомъ" съ точки зрѣнія двухъ верховныхъ принциповъ „наибольшей полезности и наилучшаго примѣненія силъ, и всѣ жизненныя затрудненія распадаются сами собой"... Припомните на самомъ дѣлѣ, извѣстный эпизодъ разрыва Лопухова съ Вѣрой Павловной. Въ чемъ тутъ суть? Мужъ убѣждается въ томъ, что жена больше не любитъ его. Правда, съ ея стороны нѣтъ измѣны тѣла, но есть измѣна души. На лицо, слѣдовательно полная программа для той романической коллизіи, которую щедринъ осмѣялъ въ своей программѣ для всякаго рода беллетрестическихъ произведеній: „возьми, сказалъ онъ, двухъ мужчинъ и одну женщину и не стѣснийся". Читатель естественно ожидаетъ драмы, что и предчувствовалъ Чернышевскій, начавши романъ съ примѣрнаго самоубійства. Драмы однако ровно никакой не происходитъ. Лопуховъ превосходно знаетъ, кого любитъ его жена. Видя, какъ та худѣетъ и блѣднѣетъ, и понимая, что возврата къ прошлому быть не можетъ, онъ начинаетъ „шевелить мозгами" и „раскидывать умомъ", при чемъ для него становится все болѣе и болѣе очевиднымъ, что такъ дѣло продолжаться не можетъ и не должно. Можно, разумѣется, убить Кирсанова на дуэли, запереть хорошенькую Вѣру Павловну подъ замокъ, наконецъ застрѣлиться самому, но будетъ ли какой-нибудь прокъ? Очевидно ровно никакого. Слѣдовательно, произойдетъ лишь напрасная трата силъ. Съ другой стороны, принципъ наибольшей полезности требуетъ, чтобы всѣ люди были по возможности счастливы. Чтобы достигнуть этого, Лопуховъ

устраиваетъ примѣрное самоубійство, удаляется въ Америку и представляетъ Кирсанову и Вѣрѣ Павловнѣ устраивать жизнь по-своему.

Коллизія страстей разрѣшается просто, даже слишкомъ просто, особенно съ точки зрѣнія нашихъ дней, когда мы склонны переоцѣнивать страсти человѣка и когда каждый изъ насъ ставитъ себя куда „превыше" общества и даже цѣлой вселенной. Но вѣдь наша точка зрѣнія рѣшительно не годится для оцѣнки 60—хъ годовъ и точки зрѣнія Чернышевскаго. Послѣдняя въ краткихъ словахъ заключается въ слѣдующемъ: человѣкъ созданъ не для эгоистическаго наслажденія, а прежде всего для работы, но такъ какъ эгоистическія наслажденія, поднимая жизненную энергію, содѣйствуютъ успѣшности работы, то они законны и необходимы. Высочайшимъ изъ этихъ наслажденій для огромнаго большинства людей является любовь. Она двигаетъ и вдохновляетъ трудъ. Но любовь безъ взаимности становится изъ благодѣтельной злой силой. Поэтому надо достигать этой взаимности или содѣйствовать ея достиженію. Становясь именно на эту чисто трудовую точку зрѣнія, Лопуховъ и отдаетъ свою жену Кирсанову, такъ какъ понимаетъ, что безъ Вѣры Павловны тотъ обратится въ нуль, да и самъ онъ. Лопуховъ, видя страданія близкихъ людей, не избѣгнетъ той же грустной участи. Поступивъ иначе, онъ, несомнѣнно, измѣнилъ бы тому, что составляетъ сущность его натуры и костный мозгъ его твердыхъ и непоколебимыхъ убѣжденій, т. е. трудовой теоріи. Конечно, Лопуховъ — натура разсудочная, къ тому же никакой страсти къ женѣ онъ въ сущности не питалъ, онъ скорѣе любитъ ее, какъ товарища и друга: — иначе бы онъ и не выпутался такъ легко изъ своего затруднительнаго положенія, но все же полагаю, что нѣтъ рѣшительно никакого основанія считать его лишь чиновникомъ особыхъ порученій при теоріи экономіи силъ. Въ его душѣ много жизни, много движенія, и легко представить себѣ обстоятельства, при которыхъ онъ выросъ бы въ героя: напр., если бы ему предложили отказаться отъ своихъ убѣжденій. На это онъ не пойдетъ никогда. Посмотрите дальше, какъ легко подавляетъ онъ въ себѣ свое мелочное самолюбіе. Допустимъ, дѣйствительно, что онъ совсѣмъ не любитъ Вѣры Павловны, но вѣдь въ немъ могъ бы заговорить мужчина со всѣмъ его эгоизмомъ и себялюбіемъ. Однако этого нѣтъ и слѣда.

Заставить страсти человѣка служить интересамъ труда — вотъ задачи разума въ дѣлѣ устроенія человѣческой жизни. Только тогда можно будетъ достигнуть наибольшей напряженности въ работѣ и наибольшей успѣшности ея результатовъ. Все работа, все для нея, все во имя ея. И когда она является новымъ и свободнымъ проявленіемъ всѣхъ силъ человѣка, когда въ ней онъ успѣваетъ выразить самого себя цѣликомъ, тогда наступаетъ моментъ счастья.

Такъ понимаетъ Чернышевскій счастье, въ законности, необходимости и достижимости котораго онъ не сомнѣвается ни на минуту.

Свѣтлые сны Вѣры Павловны представляютъ изъ себя не что-нибудь постороннее для романа, напротивъ того, они органически связаны съ его основной идеей. Потребность въ чемъ-нибудь исключительномъ, экстраординарномъ, такъ сказать, Чернышевскій объясняетъ прежде всего противоестественными условіями нашего бытія, необходимостью жестокой борьбы съ силами окружающаго насъ зла, а совсѣмъ не естественной эволюціей человѣческаго рода. Его привлекаютъ прежде всего простые и искренніе люди, люди дѣла, а не подвига, обыденной жизни, а не исключительныхъ обстоятельствъ. Онъ съ наслажденіемъ погружается въ интересы ихъ существованія, слѣдитъ за борьбою ихъ страстей и съ спокойнымъ сердцемъ устраиваетъ ихъ благополучіе и, строго говоря, благополучіе очень некрупныхъ, а съ героической точки зрѣнія, даже мелкихъ размѣровъ. Все это простые работники, которые разнятся между собою лишь по степени талантливости. Припомните на самомъ дѣлѣ его дѣйствующихъ лицъ.

Литераторъ Волгинъ *) пользуется большою популярностью среди учащейся молодежи. Онъ стоитъ во главѣ передового журнала, проповѣдующаго демократическія идеи, и передъ нами постоянно цѣлая груда самой неотложной работы: его читатели привыкли, чтобы онъ самъ лично откликался на всѣ вопросы текущей жизни и просвѣщалъ ихъ съ своей, излюбленной ими, точки зрѣнія. Онъ дѣлаетъ это охотно, съ увлеченіемъ, но ни слѣда самомнѣнія найти у него нельзя. „Литературнаго таланта у меня нѣтъ,—говоритъ онъ о себѣ,—я пишу плохо, длинно, часто безжизненно. Десятки людей у насъ умѣютъ писать гораздо лучше меня. Мое единственное достоинство, но важное, важнѣе всякаго мастерства писать, состоитъ въ томъ, что я правильнѣе другихъ понимаю вещи“.

Волгинъ не придается никакимъ несбыточнымъ мечтамъ, никогда не выходитъ за предѣлы обычной журнальной публицистики и проповѣдуетъ лишь „примѣненіе разума къ жизни“. Онъ хочетъ, чтобы люди думали больше и не бросали свои думы въ окошко, разъ въ нихъ заговорила страсть. Онъ нисколько не аскетъ, напротивъ, свое настоящее наслажденіе жизнью онъ находитъ лишь у себя въ семьѣ возлѣ своей красавицы жены, ласки которой совершенно вознаграждаютъ его тяжелую, неутомимую работу. Онъ не только не фанатикъ, но полагаетъ даже, что всѣ стремленія и надежды

---

*) Любопытно, что псевдонимомъ Волгинъ подписывался Добролюбовъ въ „Современникѣ“ (подъ стихотвореніями).

людей должны прежде всего сообразоваться съ окружающими условіями и ни въ коемъ случаѣ имъ не противорѣчить. Фанатизмъ онъ можетъ цѣнить, можетъ восторгаться имъ, но прежде всего онъ хотѣлъ бы видѣть возлѣ себя искреннюю убѣжденность: ее-то намъ и недостаетъ прежде всего. Онъ въ сущности счастливъ, любимый трудъ, и любимая жена, и успѣхъ—вотъ условія его счастья, и никакія необычныя ожиданія не тревожатъ его трезвую, ясную голову. Онъ талантливый работникъ и только.

О Лопуховѣ мы говорили выше и къ его характеристикѣ намъ остается прибавить очень немногое. Съ нашей точки зрѣнія онъ, несомнѣнно, самая несимпатичная личность изъ всѣхъ, нарисованныхъ Чернышевскимъ. Насъ невольно отталкиваетъ его раціоналистическая бухгалтерія, его отношеніе къ жизни и къ женщинѣ, лишенное всякой эстетичности, всякой поэзіи. Но надо имѣть въ виду, что Лопуховъ прежде всего человѣкъ массы, въ высшей степени простой, нѣсколько грубо обдѣланный и безъ всякихъ барскихъ затѣй. Онъ дорогъ Чернышевскому, потому что тотъ знаетъ, какъ дороги такіе люди во всѣхъ обстоятельствахъ жизни: на нихъ можно положиться безусловно. И естественно, что онъ съ особенной любовью отмѣчаетъ заботы Лопухова о чужомъ счастьѣ, которое должно быть куплено цѣною его собственнаго. Онъ даже подсмѣивается нѣсколько надъ Лопуховымъ, когда тотъ старается заглушить голосъ собственнаго сердца двойной бухгалтеріей принципа наибольшей полезности.

Лопуховъ—рядовой рабочей арміи.

Цѣлой головой выше его Кирсановъ. Талантливость расширила его горизонтъ, познакомила его съ вдохновеніемъ и—что можетъ показаться страннымъ для всѣхъ, основательно забывшихъ Чернышевскаго,—дала ему то, чего недоставало прежде всего Лопухову—эстетичность. Онъ эстетикъ въ самой своей работѣ, для которой нужна обстановка, онъ эстетикъ въ своей любви къ Вѣрѣ Павловнѣ, онъ можетъ весь цѣликомъ отдаться своей страсти. Ничего суроваго нѣтъ въ его натурѣ, напротивъ, въ ней все удивительно нѣжно, а часто и капризно. Но зато, когда его страсти не противъ, а за его дѣло—онъ работаетъ вдохновенно, съ упоеніемъ и огромнымъ успѣхомъ.

О женскихъ типахъ Чернышевскаго надо говорить или очень много, или совсѣмъ ничего не говорить. Ограничусь поэтому лишь однимъ замѣчаніемъ. Неправы, даже очень неправы тѣ, кто считаетъ Чернышевскаго хоть на каплю повиннымъ къ крайностяхъ и рѣзкостяхъ женскаго движенія. Какъ разъ наоборотъ: всѣ эти крайности и рѣзкости рѣшительно противорѣчатъ тѣмъ образцамъ, которые онъ далъ своимъ читателямъ и читательницамъ: его героини не имѣютъ ничего общаго съ вѣчной памятью

„нигилистками“ и очень даже не прочь заботиться о своихъ нарядахъ, не забывая, разумѣется, обо всемъ прочемъ. Писаревъ былъ десять разъ неправъ, когда увидѣлъ въ проповѣди Чернышевскаго какое-то разрушеніе эстетики. Никакого разрушенія эстетики на самомъ дѣлѣ не было. Вся суть лишь въ томъ, что для Чернышевскаго красота никогда не была самодовлѣющимъ началомъ, такъ же какъ и женская красота. Та и другая должны были служить высшей цѣли—работѣ.

Передъ нами такимъ образомъ различные представители „единой“ и „нераздѣльной“ жизнерадостной трудовой арміи, во главѣ которой мы видимъ однако не личность, а болѣе отвлеченное понятіе—разумъ. Ничего особенно эффектнаго и поразительнаго нѣтъ во всѣхъ этихъ людяхъ, и Чернышевскій съ особеннымъ удовольствіемъ подчеркиваетъ, что его „герои“—такіе же люди, какъ и всѣ, но только съ головой, устроенной получше, и съ мыслями, которыя у нихъ не способны расходиться съ дѣломъ. Вѣрнѣе, у него совсѣмъ нѣтъ героевъ въ общепринятомъ смыслѣ слова, единственная героиня его романовъ -жизнь, которая за тѣ блага, какія она даетъ человѣку, требуетъ отъ него работы. А какъ работать—это ужъ его дѣло: носить ли рѣшетомъ воду, или же, наоборотъ „пораскинувъ умомъ“, сообразить, какъ важна и драгоцѣнна, какъ, прямо говоря, дорого стоитъ каждая крупица силы и какъ выгодно не только использовать ее полностью, но и все болѣе увеличивать ея производительность, призвавши на помощь ей страсти и разумъ—выборъ между этими двумя крайностями предоставленъ ему самому. Его герои выбираютъ второй членъ дилеммы и благо имъ: въ награду за это имъ дается полнота земного, человѣческаго счастья.

Я уже сказалъ выше, что въ общемъ это простое счастье не заключаетъ въ себѣ ничего героическаго. Это именно счастье, а не блаженство, въ немъ нѣтъ никакого порыва, и свѣтитъ оно тихо и ровно. Оно не результатъ служенія идеѣ, самоотверженія во имя ея, оно живетъ не будущимъ—хотя и вдохновляется имъ, а прежде всего настоящимъ. Просто силамъ человѣческимъ данъ просторъ, и для нихъ найдено наилучшее и самое плодотворное примѣненіе. Остальное приложилось къ этому такъ же естественно, какъ прикладывается прибыль къ капиталу, затраченному на выгодное предпріятіе.

Но все ли этимъ сказано, вся ли жизнь исчерпывается такимъ ея раціоналистическимъ пониманіемъ и просвѣщеннымъ эгоизмомъ ея работниковъ? Развѣ сны Вѣры Павловны уже осуществились? Развѣ трудно представить себѣ такія обстоятельства, когда двойная бухгалтерія Лопухова и слабовольная талантливость Кирсанова окажутся недостаточными? Волгина

минутами томитъ тяжелое предчувствіе, что надъ жизнью вообще, надъ его личнымъ счастьемъ въ частности, соберутся когда-нибудь черныя тучи. Къ чему же приводится въ такомъ случаѣ идеалъ личнаго счастья, хотя бы безукоризненно честно пріобрѣтеннаго, хотя бы даже и общественно полезнаго, какъ обусловливающаго наибольшую продуктивность работы? Нужны будутъ другіе идеалы и другіе стимулы труда, и, понимая это, Чернышевскій выдвигаетъ на заднемъ фонѣ движущейся картины могучую фигуру Рахметова.

Рахметовъ—не дѣйствующее лицо въ романѣ, или лучше сказать, все его „дѣйствіе" ограничивается тѣмъ, что онъ говоритъ съ Вѣрой Павловной, съѣдаетъ кусокъ ветчины, выкуриваетъ сигару и ложится спать. Однако, съ добавленіями изъ его прошлой жезни, онъ сразу же производитъ впечатлѣніе человѣка, неизмѣримо болѣе сильнаго, чѣмъ всѣ его окружающіе. Это человѣкъ долга, идеи, воля котораго настолько сильна, что сумѣла претворить этотъ долгъ въ свою вторую натуру. Настоящимъ Рахметовъ не живетъ, онъ весь въ будущемъ,—въ служеніи народу, къ которому и готовится, какъ къ схимѣ или постриженію. Пока онъ самъ считаетъ себя на положеніи послушника и лишь закаляетъ свою душу и тѣло. Естественно, что онъ аскетъ, ѣстъ случайно и наскоро, какъ въ походѣ, спитъ на доскѣ, утыканной гвоздями, съ какимъ-то наслажденіемъ вырывая изъ себя всѣ остатки барства. Но это совсѣмъ не значитъ, чтобы онъ стремился къ состоянію полнаго безразличія. Напротивъ—онъ живой человѣкъ, который не только понимаетъ, но и любитъ всѣ радости бытія, но только—онѣ „не для него".

Рахметову нѣтъ ни малѣйшаго дѣла въ окружающей его жизни. Оттого-то онъ и держится въ сторонѣ; онъ готовится. Это герой 70-хъ годовъ, которыхъ онъ и ждетъ. Тогда на самомъ дѣлѣ всѣ идеи долга и самоотреченія, дающія ему жизнь, окажутся наиболѣе подходящими и заражающими.

Чернышевскій, мнѣ кажется, поступилъ превосходно, удаливъ Рахметова на вторую сцену. Его романъ, какъ историческій документъ, исчезъ бы совершенно, будь Рахметовъ впереди. Что бы мы подумали тогда о Лопуховѣ, Кирсановѣ и т. д.? и какую дозу вниманія могли бы мы удѣлить ихъ жизни? Очевидно, слишкомъ незначительную и совершенно недостаточную для художественнаго впечатлѣнія. Одинъ Волгинъ, быть можетъ, не стушевался бы передъ этой могучей фигурой, дышащей жизнью, правдой и героизмомъ и способной однимъ случайнымъ взглядомъ подчинять себѣ людей, но и Волгину пришлось бы почтительно отступить въ сторону.

Я такъ подробно остановился на романѣ Чернышевскаго, потому что онъ—самое яркое и главное, что дала намъ спеціальная, просвѣтительная беллетристика 60-ыхъ годовъ. Его верховный принципъ, что жизнь

человѣка можетъ быть устроена лишь при помощи разума и знанія, повторяется безчисленное множество разъ. Такимъ образомъ въ этомъ отношеніи ничего новаго не даетъ намъ, напр., романъ Омулевскаго (И. В. Ѳедорова) [1]) „Шагъ за шагомъ“ („Свѣтловъ“). Все равно, какъ Лопуховъ спасаетъ Вѣру, такъ и Свѣтловъ спасаетъ героиню. Все равно, какъ Лопуховъ наталкиваетъ Вѣру на путь общественной дѣятельности, такъ и Свѣтловъ, избавивъ героиню отъ ужасной семейной обстановки, помогаетъ ей стать образованной женщиной. Роль интеллигенціи огромна, и бодрый, исполненный вѣры призывъ этой интеллигенціи на борьбу съ мракомъ жизни во имя поддержанія человѣческаго достоинства, во имя обезпеченія счастья всѣхъ обездоленныхъ, составляетъ самое красивое и юное, и притягательное, что есть въ Свѣтловѣ.

Еще общей чертой героевъ литературы, созданной 60-ми годами, является то, что всѣ они (хорошіе) непремѣнно общественные дѣятели и признаютъ, что лишь въ общественной дѣятельности человѣкъ можетъ найти въ концѣ концовъ свое полное удовлетвореніе. Конечно, выборъ того или другого рода общественной дѣятельности зависитъ отъ ихъ индивидуальности, но она *должна* быть для полноты жизни. И она, эта общественная дѣятельность настолько высока и привлекательна, что все узко-личное кажется передъ ней ничтожнымъ и мелкимъ. На этой идеѣ построенъ романъ Арнольди „Василиса“, героиня котораго—молодая свѣтская дама, недавно разъѣхавшаяся съ мужемъ и проживающая въ Ниццѣ, страстно любитъ молодого русскаго эмигранта, врача Борисова. Борисовъ — агитаторъ, онъ отдается своему дѣлу со страстью, больше того, съ религіознымъ фанатизмомъ, и на этой-то почвѣ разыгрывается драма. Василиса требуетъ, чтобы возлюбленный принадлежалъ ей, и только ей; Борисовъ, конечно, отказывается, и героиня топится въ Женевскомъ озерѣ.

Перехожу теперь къ другимъ крупнымъ явленіямъ беллетристики 60-хъ годовъ, миновать которыхъ мнѣ нельзя, и замѣчу лишь, что въ тѣ дни „крупное“, особеннаго выдающагося значенія, строго говоря, не имѣло. Передовая литература превосходно дисциплинированная, не особенно нуждалась въ тяжелыхъ осадныхъ орудіяхъ и, очень искусно направляя свои удары все въ ту же сторону, дѣйствовала, если можно такъ выразиться, изъ скорострѣльныхъ орудій мелкаго калибра, осыпая читателя градомъ беллетристическихъ произведеній гг. Бажина, Засодимскаго и друг.

Н. Г. Помяловскій (1835—1863)—дарованіе очень крупное, но слишкомъ рано погибшее, чтобы имѣть возможность высказаться. Сынъ дьякона съ Малой Охты, Помяловскій въ свое время былъ отданъ въ бурсу, гдѣ вытерпѣлъ все, что только можетъ привести человѣка къ озлобленію.

[1]) 1836—1883.

По его собственному приблизительному подсчету, его высѣкли что-то 400 разъ; сколько разъ онъ былъ наказанъ иначе—сосчитать, разумѣется, невозможно. Особенно тяжело пришлось ему вначалѣ, когда, по установившемуся обычаю, всѣ съ какимъ-то азартомъ набросились на восьмилѣтняго новичка. Доставалось отъ товарищей столько же, сколько отъ учителей, доставалось въ видѣ побоевъ, издѣвательства. Суровое было время и суровая школа! Изобразивъ ее впослѣдствіи въ своихъ „Очеркахъ бурсы", Помяловскій произвелъ на читателей впечатлѣніе прямо потрясающее: по русскому обычаю читатели, разумѣется, не знали, что дѣлается у нихъ бокъ-о-бокъ. „Пересѣченъ я или недосѣченъ?" философствовалъ впослѣдствіи Помяловскій по поводу своихъ бурсацкихъ воспоминаній, и какова была эта философія, видно изъ того, что несчастный сейчасъ же хватался за водку. Душа болѣла и ныла, и отъ этого Помяловскій не освободился до конца. По окончаніи семинаріи, онъ, „проболтавшись" годика два, принялся за литературу. Выступилъ онъ въ ней съ огромнымъ запасомъ наблюденій и съ тѣмъ умственнымъ кругозоромъ, который успѣлъ выработать себѣ настойчивымъ, хотя и безпорядочнымъ чтеніемъ. Жажды знанія бурса засѣчь въ немъ не могла; кромѣ того, самая эпоха съ своимъ быстрымъ кровообращеніемъ, своей повышенной жизнью облегчала воспріятіе идей. Конечно, Помяловскій, разночинецъ и семинаристъ, примкнулъ къ передовому кругу, представителемъ котораго былъ „Современникъ". Идеи Добролюбова и Чернышевскаго сформировали его, дали смыслъ и направленіе тому жгучему протесту, который жилъ у него въ душѣ, сформировали самый его идеалъ, который—вполнѣ въ духѣ эпохи—можетъ быть формулированъ такъ: всякій человѣкъ имѣетъ право на счастье. Несчастныхъ нѣтъ, есть только несправедливо обиженные, лишенные своей доли радостей несправедливостью и жестокостью ближнихъ. Литература оказалась истиннымъ призваніемъ Помяловскаго. Исключительно и со страстью занявшись ею, онъ въ теченіе *двухъ* только лѣтъ написалъ: „Мѣщанское счастье", „Молотовъ", „Очерки бурсы"; сдѣлалъ массу набросковъ для своего романа „Братъ и сестра". Онъ умеръ въ 1863 г.

Помяловскій—величина очень крупная. Расширю поэтому его характеристику.

Человѣкъ пилъ, страшно пилъ и умеръ, собственно говоря, отъ того, что совсѣмъ разстроилъ свой организмъ непробуднымъ пьянствомъ. Пилъ мрачно, безъ перерыва, желая заглушить въ себѣ вѣчное безпокойство и тревогу, дикую злобу противъ сытой и довольной жизни. Пилъ безъ жалобъ и умеръ безъ нихъ, сдѣлавши такъ мало, несмотря на свои огромныя силы, оставивъ недоконченными, быть можетъ, лучшія, во всякомъ случаѣ самыя глубокія свои работы, какъ „Гражданскій бракъ", какъ „Братъ и

сестра"—особенно „Братъ и сестра"—эту страшную картину петербургской нищеты и петербургскихъ трущобъ, гдѣ героями должны были явиться отверженные люди. Долго мечталъ Помяловскій объ этомъ своемъ романѣ, набрасывая изъ него рядъ отрывковъ, мечталъ съ злорадствомъ какимъ-то говоря: „вотъ ужо я выставлю эти картинки напоказъ нашему обществу—пусть полюбуется".

Тутъ на первомъ планѣ должна была быть правда, жестокая и обидная для общества, которое создаетъ этихъ отверженныхъ и, сдавши ихъ куда-нибудь въ Вяземскую лавру или на Горячее поле, успокаивается и не хочетъ знать несчастныхъ, а хочетъ лишь того, чтобы они не показывались ему на глаза, выползали бы изъ своихъ трущобъ лишь въ темнотѣ, пробирались бы какъ-нибудь по улицамъ вдоль стѣнъ, таились бы вообще и прятались и никакъ не смѣли бы нарушать гармоніи довольнаго и сытаго міросозерцанія. Потому что они погибшіе, потому что больше съ ними нечего дѣлать. И, пожалуй, погибшими считалъ ихъ и самъ Помяловскій, но въ этой же гибели видѣлъ онъ великую обиду для человѣка и человѣческаго достоинства и хотѣлъ онъ раскрыть всѣ муки и тоску этой гибели, хотѣлъ отомстить за нее своей „правдой"—бросить ее неприкрашенную и грубую въ лицо довольнымъ и сытымъ, чтобы „полюбовались", бросить, какъ лермонтовскій новогодній стихъ, облитый горечью и злостью. „Вы не смѣете быть довольными, потому что тутъ рядомъ *человѣкъ* гибнетъ"—вотъ что хотѣлъ онъ сказать прежде всего.

Онъ много ходилъ по трущобамъ, жилъ въ нихъ цѣлыми недѣлями, изучалъ ихъ, изучалъ не со стороны, не съ высоты величія прославленнаго молодого беллетриста, котораго редакціи рвали на части, отъ котораго, и совсѣмъ основательно, такіе люди, какъ Некрасовъ, Чернышевскій и Писаревъ, особенно Писаревъ, ждали такъ много,—изучалъ съ тоскующимъ и мучительнымъ любопытствомъ, потому что и самъ въ себѣ чувствовалъ отверженнаго, потому что и самъ, какъ и всѣ, кто былъ возлѣ него въ этихъ трущобахъ, страдалъ отъ той же обиды, отъ той же неотомщенной своей гибели и шелъ ей навстрѣчу. Ему надо было сказать правду о нихъ, досказать то недосказанное, что таилось у нихъ на душѣ, проклятіе ихъ и слезы ихъ надо было выразить и такъ, чтобы затрепетали сердца людей, чтобы задрожали они отъ ужаса, отъ этихъ смрадныхъ картинъ нищеты, отъ этихъ ея оголенныхъ язвъ, отъ промозглыхъ трущобъ, гдѣ таится она. Вѣдь эти трущобы—кладбище, и тутъ похоронены неудачные порывы талантливыхъ натуръ, робкія мечты о счастьѣ, надломленныя непосильнымъ трудомъ силы, загубленныя жестокой и холодной жизнью души людей,—эти все же святыя души, не смотря на всю грязь, все униженіе, въ какое попали онѣ. Грустныя, скорбныя тѣни маленькихъ дѣтей, погибшихъ отъ холода и голода,

таинственныя и печальныя, съ невысказанной безсильной жалобой на крошечныхъ личикахъ, съ предсмертнымъ недоумѣніемъ въ этихъ правдивыхъ хорошихъ глазкахъ;—тѣни всѣхъ, кто хотѣлъ счастья, самаго маленькаго, законнаго человѣческаго счастья, но не сумѣлъ рѣшить мудреной задачи жизни и могъ лишь неслышно спрашивать: за что?—рѣютъ надъ этими трущобами. И Помяловскій хотѣлъ быть мстителемъ за нихъ.

Сколько, на самомъ дѣлѣ, непримиримой, здоровой и возрастающей злобы было въ немъ все равно, какъ въ самой жизни его было много такого, о чемъ не могъ онъ вспомнить безъ содраганія и ужаса, безъ жажды мести.

„Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями выражалось его опьяненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно становилось за него. Бывало начнетъ онъ, будто нарочно, представлять передъ собою непріятныя для него личности и припоминаетъ все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, силился вѣрить, что они рано или поздно будутъ отомщены...—„Проклятые!—шепчетъ онъ бывало задыхаясь отъ злости.—Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды!“—И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчасъ же бѣжать и мстить... Тяжело было глядѣть на эти страданія, на эти холодныя, нелегко выдавливаемыя слезы“... (Н. Благовѣщенскій).

Въ глубинѣ души этого могучаго и большого человѣка таилась любовь и жгучая жалость къ людямъ, но на поверхности была злоба и жажда мести. Обида жила въ сердце и рвалась наружу, обида за этихъ погибшихъ и за себя, надломленнаго, истерзаннаго и загубленнаго жизнью и прежде всего бурсой, куда онъ попалъ семилѣтнимъ чистымъ мальчикомъ, а вышелъ мрачнымъ, озлобленныхъ и тоскующимъ кандидатомъ въ духовное званіе. Это званіе было, конечно, не по немъ, и зачѣмъ же въ такомъ случаѣ цѣлыхъ 14 лѣтъ безтолковой долбни и всей той мерзости, которая такъ хорошо знакома намъ даже изъ его отрывочныхъ, въ сущности, только начатыхъ „Очерковъ бурсы“... Вѣдь припомните, на самомъ дѣлѣ, эти картины „зимняго вечера“, этихъ странныхъ, жестокихъ игръ, этого безконечнаго зубрежа, этого вѣчно напряженнаго состоянія отъ голода и холода, отъ ожиданія порки, этихъ жестокихъ кровавыхъ расправъ со стороны полупьяныхъ, озлобленныхъ и тоже обиженныхъ учителей,—всей этой промозглой атмосферы, передъ которой, по мнѣнію Писарева, блѣднѣютъ даже ужасы „Мертваго дома“, и вы поймете, откуда эта злоба, откуда эта жажда мести. Не совсѣмъ погибъ здѣсь Помяловскій; слишкомъ много силы было заложено въ него; долбня

не уничтожила въ немъ страсти къ ученію; розгами не забили его таланта — но здѣсь привилась къ нему та скверная и мрачная болѣзнь, отъ которой погибъ онъ въ концѣ концовъ. И бурсѣ своей онъ отомстилъ, навѣки пригвоздивъ ее къ позорному столбу, расшатавъ тѣ гнилые столбы, на которыхъ она еще держалась въ то время. Онъ разсказалъ о ней правду, только правду, онъ вспомнилъ, описывая ее, весь ея странный воровской языкъ, ея противоестественные воровскіе нравы, ея жестокость, нищету, ея сирадъ; онъ нарисовалъ страшную картину гибели чистой дѣтской души; онъ показалъ намъ во всемъ ея ужасѣ школу, гдѣ учителя и ученики самые жестокіе и непримиримые враги другъ друга, онъ проклялъ ее, и въ этомъ проклятіи было его торжество. Онъ отомстилъ, и вся жестокость нанесенной ему обиды нашла здѣсь, въ этихъ удивительныхъ, полныхъ сдержаннаго великаго добролюбовскаго гнѣва, очеркахъ, свое искупленіе.

Но онъ хотѣлъ большаго. Хотѣлъ мести и за жертвы гибнущихъ и погибшихъ уже въ трущобахъ большихъ городовъ. Хотѣлъ мести путемъ все той же „правды". И, замѣтьте, не къ жалости взывалъ онъ—о нѣтъ!— онъ былъ для этого слишкомъ гордъ и озлобленъ и понималъ, что не жалостью можно исцѣлить эти гнойныя язвы общественной жизни,—и не къ состраданію, а къ чувству чести, къ чувству достоинства, къ стыду людей, допускающихъ все это рядомъ съ собой... Онъ хотѣлъ бы видѣть испуганные „правдой" глаза читателя, видѣть, какъ онъ, ошеломленный, растерявшійся начинаетъ бормотать о „преувеличеніи", о „вредѣ натуралистическаго направленія нашей литературы" и прочихъ глупостяхъ, и злорадно разсмѣяться ему въ лицо; разсыпаться дьявольскимъ смѣхомъ гибнущаго человѣка и мучить правдой его дольше, мучить безъ конца, терзая душу картинами чердаковъ и подваловъ, этими грозными картинами нищеты; мучить эту сытость, это самодовольство, которыя самъ Помяловскій, конечно, ненавидѣлъ всего больше на свѣтѣ.

И этого страшнаго дьявольскаго эффекта, такъ вдохновлявшаго его при первыхъ мазкахъ „Брата и сестры"—романа, блѣдное отраженіе котораго мы имѣемъ въ „Петербургскихъ трущобахъ" Всев. Крестовскаго, въ столичныхъ очеркахъ Левитова, въ набросках Поводворскаго или Кущевскаго—онъ хотѣлъ, говорю я, добиться правдой. Въ правду онъ вѣрилъ, ей онъ хотѣлъ служить.

Въ этой вѣрѣ, въ этомъ служеніи, въ смѣлости, съ какой она высказывалась, въ ея безбрежіи вы видите отраженіе мощнаго духа эпохи. Тогда дѣйствительно люди хотѣли знать жизнь, какъ она есть со всѣми ея ужасами, срывали всѣ сто ризокъ съ насъ возвышающихъ обмановъ, со всего, что можетъ успокоить и убаюкать нашу совѣсть и воображеніе и заставить насъ сказать со вздохомъ удовлетворенности: акъ, какъ хорошо!., Нѣтъ —не

хорошо. Скучно, когда хорошо, а вообще... какъ страшно и больно жить! Почему страшно и больно? Потому что загрязнена, унижена и оскорблена самая святыня жизни—человѣкъ. И надо показать всю глубину, всю мерзость этой грязи, этого униженія и этой обиды. Надо и не страшно сдѣлать это, потому что чувствуется кругомъ, въ только что обновленномъ великими реформами обществѣ, ростъ могучихъ силъ, готовыхъ на борьбу и достойныхъ побѣды.

Безстрашіе правды - самое красивое, самое свѣтлое, что осталось намъ отъ литературной эпохи 60-хъ годовъ. Были кумиры, но не было идоловъ. Была жалость, но не было сантиментальности, рядомъ съ любовью была злоба. Не боялись говорить полную, грубую правду даже о мужикѣ.

Того же - и я думаю, что этого прежде всего—хотѣлъ и Помяловскій. Во имя чего? Во имя жгучей жалости къ людямъ, боли за ихъ неотомщенныя и невидныя, и какъ-то пренебрежительно забываемыя обиды, во имя святая святыхъ жизни—человѣческаго достоинства. Это не былъ натурализмъ, не былъ протоколъ себѣ довлѣющій, не было „констатированіе фактовъ", менѣе всего - рисованіе съ натуры—это, какъ все въ ту эпоху, было пропагандой, проповѣдью, было призывомъ къ работѣ, для успѣшности которой надо знать всю правду, какъ она есть. Это было въ то же время крикомъ боли и мести обиженнаго человѣка, въ основѣ своей такого прямого, честнаго и даже простодушнаго *).

*) То же безстрашіе правды по отношенію къ тѣмъ идеямъ времени, которыя многимъ казались самыми передовыми, а значитъ по убогой логики нашихъ интеллигентовъ и самыми несомнѣнными—видно и изъ замысла его романа „Гражданскій бракъ". Здѣсь онъ намѣревался изобразить невинную нѣсколько экзальтированную дѣвушку, попавшую въ общество пустопорожнихъ прогрессистовъ, въ родѣ Ситниковыхъ и Кукшиныхъ. „Эти господа одуманили ее напыщенными фразами и соблазнили ее вступить въ такъ наз. гражданскій бракъ, что будто бы было нужно для служенія идеѣ" Н. Благовѣщенскій).

Помяловскій хотѣлъ сорвать маску съ этихъ самозванцевъ передового движенія и обнажить весь ихъ цинизмъ, прикрытый громкими фразами. „На насъ клевещутъ, - говорилъ онъ,—и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколѣнія сняли то пятно, которое кладутъ на него эти лица. Всякая сила вызываетъ непремѣнно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судитъ объ оригиналахъ и пріобрѣтаетъ недовѣрчивость къ нимъ. Надо доказать, что они не наши, что наши стремленія не тѣ. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее, потому что это - дѣло нашей чести".

Нечего напоминать читателю, что часто даже большіе люди робко отступали передъ „несомнѣннѣйшими" и „прогрессивнѣйшими" идеями времени, хотя и чувствовали ихъ ложь или напыщенность. Для шага,

Но въ Помяловскомъ, конечно, нисколько не было ненависти противъ культуры. Въ этомъ онъ вѣрный сынъ 60-хъ годовъ, чистый западникъ, который въ формахъ европейскаго общежитія видѣлъ нѣчто заманчивое и обезпечивающее достоинство и счастье человѣка. Онъ раздражался лишь тѣмъ, что блага культуры были распредѣлены такъ неравномѣрно, съ такимъ очевиднымъ капризомъ и несправедливостью. Права же человѣка на личное счастье онъ такъ же мало думалъ отрицать, какъ и самую культуру; страданіе онъ такъ же мало проповѣдывалъ, какъ и опрощеніе. Совершенно въ духѣ времени написаны имъ два романа „Молотовъ“ и „Мѣщанское счастье“, героемъ которыхъ является голодный разночинецъ.

Тутъ замѣчательно все, начиная отъ первой строки до послѣдней—замѣчателенъ и сѣрый будничный колоритъ разсказа и видимая удовлетворенность автора своимъ героемъ и его внутренняя неудовлетворенность „мѣщанскимъ счастьемъ“, которому однако онъ хочетъ любовно сочувствовать. Молотовъ — какъ всѣ герои эпохи — разночинецъ, темнаго происхожденія, и въ то же время новый человѣкъ. Воспитанный изъ милости старикомъ-профессоромъ, Молотовъ вступаетъ въ жизнь одинокимъ и безпомощнымъ и лишь мало-по-малу, кропотливымъ, усерднымъ трудомъ обезпечиваетъ себѣ достатокъ и личное счастье. Въ томъ, что онъ долженъ во что бы то ни стало добиться этого личнаго счастья, что онъ, какъ человѣкъ, имѣетъ на него полное неотъемлемое право—Молотовъ нисколько не сомнѣвается. Это его мѣщанская логика, которой онъ пропитался до мозга костей.

Что же такое Молотовъ? Надо отдать полную справедливость энергіи и настойчивости его характера, грубой и подчасъ прямо жестокой искренности его натуры, нѣсколько зачерствѣвшей въ своемъ духовномъ одиночествѣ. Въ немъ есть что-то цѣльное и сильное, правда угловатое и, пожалуй, неуклюжее, но во всякомъ случаѣ ложь и даже подобіе лжи далеки отъ него. Человѣкъ массы, самый обыкновенный, средній человѣкъ толпы, онъ ни разу однако не думаетъ склониться передъ обстоятельствами, не боится мелкаго кропотливаго труда. Онъ пришелъ въ жизнь, какъ завоеватель, и не сумѣлъ обойтись безъ жертвъ. Совѣсть его спокойна до конца, и самымъ характернымъ для него было то обстоятельство, что онъ ни разу не спросилъ себя: да законенъ ли мой идеалъ личнаго счастья, да стоитъ ли онъ дѣйствительно тѣхъ жертвъ и усилій, какія я приношу ему, и правъ ли я, отождествляя понятіе счастья съ домашнимъ благополучіемъ? Помяловскій, повидимому, все время на сторонѣ своего героя: онъ

на который хотѣлъ рискнуть Помяловскій, дѣйствительно нужно было его безстрашіе правды и вся дерзость его молодой искренней мысли.

раздѣляетъ его негодованіе на Обросимовыхъ, находитъ совершенно естественнымъ поступокъ съ Леночкой, въ концѣ концовъ награждаетъ Молотова любовью такой серьезной и милой дѣвушки, какъ Надя Дорогова и „исполненіемъ всѣхъ желаній“; но спросите себя, точно ли художникъ Помяловскій, эта крупная черноземная и, увы, недоразвившаяся творческая сила русской литературы, считаетъ „счастьемъ“ мѣщанское счастье своего героя и не сочувствуетъ ли онъ ему скорѣе изъ принципа, чѣмъ по влеченію? Конечно, только изъ принципа. Будь Помяловскій удовлетворенъ самъ, онъ не закончилъ бы романъ страннымъ восклицаніемъ: „эхъ, что-то скучно жить на свѣтѣ, господа“,—восклицаніемъ, такъ неподходящимъ къ побѣдному тону послѣдней страницы:—онъ не вывелъ бы на сцену и Череванова съ его мрачной, кладбищенской философіей, давнымъ давно махнувшаго рукой на молотовскіе кумиры,—философіей, отъ которой пахнетъ тлѣномъ, смертью и разложеніемъ. Мнѣ кажется, что въ этомъ, т. е. въ признаніи законности и необходимости для каждаго личнаго счастья съ одной стороны, въ сознаніи невозможности найти удовлетвореніе въ личномъ счастьѣ и, пожалуй, нѣкоторой его незаконности, разъ человѣкъ хотя немного выше толпы и ея пошлаго самодовольства—съ другой, и заключается любопытная черта міросозерцанія 60-хъ годовъ.

Съ точки зрѣнія господствующаго настроенія Помяловскаго, „Молотовъ“ и „Мѣщанское счастье“—пожалуй, ошибка. Не для него это сытое довольство, этотъ покой, заработанный годами канцелярской барщины, этотъ тихій семейный очагъ, расположившійся по близости трущобъ Вяземской лавры. Это лишь временный миръ усталой души, волна бодрости, оживившей измученнаго человѣка, волна, которая роковымъ образомъ должна отхлынуть, чтобы очистить мѣсто мрачнымъ картинамъ бурсы и „Брата и сестры“. Но хорошо въ то же время любовное отношеніе къ человѣческому счастью, даже тусклому и сѣренькому, потому что для Помяловскаго всякій человѣкъ былъ святыней.

Обиду и горечь, минуты радости и годы тоски и томленія, жгучую жалость къ людямъ и жажду мести за нихъ зналъ онъ въ своей короткой двадцати-восьмилѣтней жизни. Въ могилу онъ унесъ съ собой огромную недоразвившуюся силу и тайну своего правдиваго честнаго творчества. Я радъ, что напомнилъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ образъ его, радъ я, и грустно мнѣ въ то же время, потому что не веселое, а тяжелое пришлось напомнить мнѣ — загубленную жизнь, загубленную силу. Силу большую, но не сознавшую себя во всей полнотѣ. Что-то роковое, стихійное, и дай Богъ, чтобы навсегда прошедшее, есть въ судьбѣ Помяловскаго, и прежде всего эта его жажда самосожженія, которая роднитъ его жизнь съ жизнью столькихъ и столькихъ хорошихъ и талантливыхъ русскихъ

людей, ни капли себя не жалѣвшихъ, ни пальцемъ не ударившихъ, чтобы пристроиться какъ-нибудь и утихомирить свою тревожную душу. Не для нихъ это все. Не для нихъ, такъ какъ ежедневно и ежеминутно видѣли они, какъ самое для нихъ дорогое, какъ великій ихъ идеалъ топчется въ грязь, и все питало обиду ихъ сердца. Они хотѣли, и это прежде и больше всего хотѣли, чтобы жизнь хранила и лелѣяла святыню человѣка, чтобы давала ему все нужное для развитія его силъ и способностей, чтобы гордый и счастливый, полный здоровой любви къ ближнему, бодрой вѣры въ себя и свои мечты, шелъ онъ по житейской дорогѣ, а не тащился по ней усталый и измученный, съ ярмомъ на шеѣ, мимо труповъ уже уставшихъ товарищей. И они думали, что такъ оно должно быть.

А. И. Левитовъ. (1842—1877). Послѣ сказаннаго о Помяловскомъ,—о Левитовѣ достаточно нѣсколько словъ. Тотъ же типъ, то же настроеніе, почти та же самая жизнь, сначала въ домѣ бѣднаго сельскаго священника, потомъ въ бурсѣ и семинаріи, наконецъ (послѣ ссылки въ Шенкурскъ и Вологду за какую-то неразъясненную хорошенько исторію)—занятіе литературой, скитальчество и оброшенность. Но Помяловскаго побаловали еще литературные успѣхи, которыхъ Левитовъ видѣлъ очень мало; побаловала еще Помяловскаго и ранняя смерть среди неостывшаго еще общества, среди смѣлыхъ надеждъ и не растерянныхъ упованій. Левитовъ выступилъ на сцену позже и увидѣлъ вокругъ себя лишь разрушенную храмину. Оттого краски его еще мутнѣе, отношеніе къ жизни граничитъ съ полной безнадежностью, сочащаяся кровью рана въ обиженномъ сердцѣ не затягивается ни на минуту. Онъ, извѣрившійся во все, только рыдаетъ и это рыданіе, этотъ стонъ то и дѣло слышны въ его разсказахъ. Онъ описываетъ деревенскую нищету, невѣжество, семейные раздоры, обманутыя ожиданія, жизнь босяковъ и потерянныхъ людей, единственнымъ утѣшеніемъ которымъ служитъ водка. Но въ началѣ литературной карьеры („Степные очерки“ и т. д.) эти картины темнаго царства чередуются съ другими—изъ жизни привольныхъ степей, изъ собственныхъ дѣтскихъ лѣтъ. Потомъ колоритъ все болѣе сгущается. Мракъ безнадежности закрываетъ передъ глазами автора („Горе селъ и деревень“) всю жизнь. Передъ вами талантливый горемыка, затерявшійся среди улицъ большого города, среди его шума и треска, не знающаго куда преклонить свою голову. То злоба, то отчаяніе, то постыдное сознаніе полнаго своего безсилія чередуются у него на душѣ, и—говорю я—онъ плачетъ. Но сквозь слезы слышится смѣхъ, конечно, злобный и сардоническій, нисколько не облегчающій душу. Это прощаніе со всѣми надеждами и мечтами, еще оставшимися гдѣ-то

въ тайникахъ души, это насмѣшка надъ собой, своей минувшей юностью, насмѣшка надъ жизнью, приманивающей къ себѣ человѣка обманчивыми грезами. Насмѣшка и прощеніе—потому что кругомъ тьма и гибель. Левитова зовутъ обыкновенно „южнымъ степнымъ цвѣткомъ, затерявшимся въ холодныхъ пустыняхъ сѣвера". Это красиво и, пожалуй, вѣрно. Его богатое, цвѣтистое и прихотливое воображеніе, неумолкающій лиризмъ, говорятъ о его горячей крови, о его страстныхъ чувствахъ. Но больше всего въ немъ жалости къ погибшимъ и погибающимъ, жалость къ этимъ безчисленнымъ жертвамъ обыденной жизни—скитальцамъ, одинокимъ, горемыкамъ, проституткамъ, жалости къ себѣ и злобы противъ всѣхъ, кто еще находитъ время и возможность быть довольнымъ собой, или достаточно жестокости, чтобы толкать погибающаго.

А. К. Шеллеръ. (1838—1900). Дебютировалъ въ „Современникѣ" двумя большими романами „Гнилыя болота" (1864) и „Жизнь Шупова" (1865), затѣмъ сотрудничалъ въ „Русскомъ Словѣ", редактировалъ „Дѣло", „Недѣлю" и „Живописное Обозрѣніе". Изъ его многочисленныхъ романовъ назову: „Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ", „Въ разбродъ", „Гг. Обносковы", „Старыя гнѣзда", „Хлѣба и зрѣлищъ", „Ртищевъ" и т. п. Кромѣ романовъ онъ написалъ много публицистическихъ работъ, напримѣръ: „Пролетаріатъ во Франціи", „Ассоціаціи во Франціи, Германіи и Англіи", „Наши дѣти" и проч. Онъ былъ истиннымъ сыномъ 60-хъ годовъ, ученикомъ Писарева, публицистомъ въ романахъ, апологетомъ интеллигенціи, человѣкомъ, вѣрующимъ въ великую и даже безусловную силу разума, который призванъ рѣшить всѣ соціальныя противорѣчія и устроить счастливую жизнь здѣсь на землѣ (по программѣ фаланстеровъ). Съ особенной любовью Шеллеръ прослѣживаетъ процессъ выработки критическаго взгляда на дѣйствительную жизнь. Сынъ лакея („Гнилыя болота"), сына помѣщика („Жизнь Шупова"), сынъ дворянина и т. д. въ концѣ концовъ выбиваются изъ состоянія безсознательнаго къ твердому преслѣдованію идеаловъ. Они стоятъ за всѣхъ угнетенныхъ и обиженныхъ; ихъ практическая дѣятельность сводится къ занятіямъ наукой, открытію школъ и вообще всякаго рода культурной работѣ"—къ „маленькимъ дѣламъ" вообще по раціоналистической, писаревской программѣ 60 хъ годовъ.

„Талантъ его не былъ крупный, но произведенія его получали свое значеніе отъ того нравственнаго содержанія, какое онъ вносилъ въ свои труды. Онъ воспитался на той эпохѣ начала шестидесятыхъ годовъ, которая одушевила русское общество перспективою преобразованій, надеждами на лучшее будущее въ умственной и общественной жизни, и люди молодого поколѣнія, съ какими-нибудь задатками идеализма, жадно

устремлялись къ этому будущему,—не воображая, конечно, какія тяжкія испытанія ожидали ихъ уже вскорѣ. Шеллеръ былъ изъ числа тѣхъ, которые сохранили на всю жизнь лучшіе порывы молодости; это сказалось въ его многочисленныхъ романахъ и сообщало имъ живой интересъ, несмотря на художественные недостатки". Онъ не заблуждался,—какъ заблуждается множество второстепенныхъ писателей,—о художественной цѣнѣ своихъ произведеній и справедливо говорилъ: „мои произведенія будутъ дороги тѣмъ людямъ, кому дороги идеи и мысли, сильно выраженныя, о нашей жизни... Писатель всегда силенъ идеями, а не картинами... Что и за картина, если въ ней нѣтъ содаржанія, что и за образъ, если онъ ничего не говоритъ русскому обществу?„

Тотъ же недостатокъ художественности исполненія и горячую преданность идеямъ всегда отмѣчала въ Шеллерѣ и критика, Напр.:

„Пусть въ его сборникахъ нѣтъ такихъ женщинъ, плѣнительныхъ, благоуханныхъ, какъ у Тургенева, нѣтъ той щемящей сердце психологіи какъ у Достоевскаго, нѣтъ глубокаго реализма, какъ у Толстого. Можетъ быть, Михайловъ не владѣетъ тайной художественнаго внушенія, какою владѣютъ даже молодые наши корифеи. Но у Михайлова есть великій даръ внушенія нравственнаго, способность волновать сердце не красотою, а совѣстью своего таланта. Секретъ этого таланта въ томъ, что у него есть, что сказать, и за это существенное читатель охотно прощаетъ ему нѣкоторую блѣдность стиля и разные конструктивные недочеты. Вся сила Михайлова — въ благородномъ отношеніи къ жизни, которымъ онъ особенно заражаетъ молодежь. Вспоминая свою юность, я всѣмъ друзьямъ рекомендую Михайлова, какъ писателя-идеалиста, какъ лучшаго друга для вступающаго въ міръ молодого поколѣнія. Особенно дорогъ онъ для тѣхъ среднихъ слоевъ, которые томятся среди гнилыхъ болотъ жизни или бредутъ въ разбродъ засоренными дорогами, добиваясь дѣятельности достойной и свѣтлой „Жизни Шупова",

Шеллеръ до конца своихъ дней оставался преданнымъ представителемъ идей 60-хъ годовъ, горячо защищалъ ихъ даже въ формѣ увлеченій:

„Я понимаю свободу и счастье человѣка въ зависимости отъ того или другого политическаго порядка вещей, отъ степени образованія въ странѣ, но ничего не понимаю въ „метафизической свободѣ". Если говорятъ о внутренней свободѣ человѣка при любомъ порядкѣ вещей, то... развѣ этимъ и кончается все? Вѣдь этой внутренней свободой нельзя же самого себя тѣшить! Съ нею связаны дѣла и поступки, то-есть нужды времени, опять-таки не вѣчныя, а настоящія.. Таковъ складъ моего ума. Я всегда былъ врагомъ фразерства. Пока русскій народъ будетъ безъ сапогъ,—ему не до Шекспира и Пушкина. Я достаточно понимаю Пушкина, и когда я разстроенъ, то ничто такъ не успокаиваетъ мои нервы какъ чтеніе въ сотый разъ того же Пушкина. Но если до крестьянскихъ школъ доходятъ только сказки Пушкина, и только одинъ старый кабакъ реформируется въ казенную винную лавку, а больше ничего изъ реформъ не попадаетъ въ деревню, то Пушкинъ и Шекспиръ будутъ ему чужды. „Сѣйте рожь, а васильки сами выростутъ".. При такомъ пониманіи эта мысль о ржи ничего не содержитъ въ себѣ пошлаго и ма-

теріалистическаго Разные нынѣшніе учители проповѣдуютъ „метафизическій идеализмъ“ противъ ржи и каши... Они думаютъ, что утилитаризмъ есть предпочтеніе сапоговъ Шекспиру; они думаютъ, что Писаревъ не понималъ превосходства Шекспира. Ошибаются. Писаревъ лучше ихъ понималъ и Пушкина, и Шекспира. А только, пока русскій народъ будетъ безъ сапогъ, не читать ему ни Шекспира, ни Пушкина. Вотъ о чемъ надо заботиться. Никто изъ шестидесятниковъ не опровергалъ идеализмъ, то-есть стремленіе къ тому, чтобы прежде самому быть лучше, а потомъ уже и строй измѣнится... Но мы понимали, что онъ измѣнится не иначе, какъ если мы будемъ сѣять хлѣбъ, а васильки сами народятся“.

Шеллеръ высоко ставилъ преданіе „шестидесятыхъ годовъ“; онъ не скрывалъ отъ себя ихъ недостатковъ, но горячо защищалъ ихъ общій характеръ и направленіе, и съ негодованіемъ возставалъ противъ тѣхъ, кто отрицалъ ихъ значеніе. *„Я вообще за руководительство народа интеллигенціей со всѣми переходными фазами, а народъ мы даже мало знаемъ въ политическомъ значеніи...“*

Въ сущности все это упрощенные взгляды Писарева.

Беллетристы народники.

60-ые годы не боялись правды, какою бы она не была. Напротивъ, ее-то прежде всего они искали, ее-то и требовали. Въ нихъ была органическая ненависть, было и органическое отвращеніе ко всякой лжи, всякому обману, хотя бы и „насъ возвышающему“. Въ свое „представленіе“ о жизни они не хотѣли допускать никакихъ самообольщеній. Оттого-то они производятъ нѣсколько грубоватое, прямо ненавистное разнаго рода эстетикамъ, впечатлѣніе. Правда безъ всякихъ иллюзій, безъ всякой идеализаціи была ихъ девизомъ, и, естественно, имъ не нравилось изображеніе мужика въ нашей старо-барской литературѣ. Они находили его прикрашеннымъ и не безъ основанія спрашивали: откуда бы могло явиться столько доблести и всяческихъ добродѣтелей въ сердцахъ людей, выросшихъ подъ розгой крѣпостного права? Такой способъ изображенія мужика Чернышевскій рѣзко называлъ барскимъ самоуслажденіемъ и сантиментальнымъ чесаніемъ пятокъ.

Н. В. Успенскій (1837—1889). Опроверженіемъ „мужика“ барской литературы являются разсказы изъ народнаго быта Н. В. Успенскаго. Съ перваго же своего появленія въ „Современникѣ“ (1857 г.) эти разсказы обратили на себя общее вниманіе. Автора засыпали похвалами, и на то

были *серьезныя* причины, а не просто новый тонъ, который Успенскій взялъ въ отношеніи къ мужику. Эти серьезныя причины превосходно выяснилъ Н. Г. Чернышевскій въ своей статьѣ „Не начало ли перемѣны"? (1861), посвященной какъ разъ сборнику разсказовъ Н. В. Успенскаго.

„Давнымъ-давно,—писалъ Чернышевскій,—критика стала замѣчать, что въ повѣстяхъ и очеркахъ изъ народнаго быта и характеры, и обычаи, и понятія (народа) *сильно идеализируются*. Стало быть, намъ нечего и доказывать это, когда всѣмъ оно извѣстно. Мы лучше поищемъ причинъ, по которымъ не могъ отстать отъ идеализированія народа никто изъ прежнихъ нашихъ беллетристовъ, несмотря на совѣты критики. По нашему мнѣнію, источникъ непобѣдимаго влеченія къ прикрашиванію народныхъ нравовъ и понятій былъ и похваленъ, и чрезвычайно печаленъ. Замѣчали ли вы, какую разницу въ сужденіяхъ о человѣкѣ, которому вы симпатизируете, производитъ ваше мнѣніе о томъ, можно или нельзя выбиться этому человѣку изъ тяжелаго положенія, внушающаго вамъ состраданіе къ нему? Если положеніе представляется безнадежнымъ, вы толкуете только о томъ, какія хорошія качества находятся въ несчастномъ, какъ безвинно онъ страдаетъ, какъ злы къ нему люди, и т. д. Порицать его самого показалось бы вамъ напрасною жестокостью, говорить о его недостаткахъ—пошлою безчувственностью. Ваша рѣчь о немъ должна быть панегирикомъ ему,—говорить о немъ въ иномъ тонѣ было бы вамъ совѣстно".

По мнѣнію Чернышевскаго, идеализація мужика была необходимостью для барской литературы 40-хъ годовъ, когда положеніе мужика представлялось безвыходнымъ. Но *теперь* выходъ найденъ. Нужна, слѣдовательно, правда и только правда о народѣ, которая помогла бы вывести его на настоящую дорогу. Къ чему,—спрашиваетъ Чернышевскій,—вела идеализація? И отвѣчаетъ:

„...Читайте повѣсти изъ народнаго быта гг. Григоровича и Тургенева со всѣми ихъ подражателями—все это насквозь пропитано запахомъ „шинели" Акакія Акакіевича.

„Прекрасно и благородно,—въ особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза изъ этого—народу? Для насъ польза дѣйствительно была, и очень большая. Какое чистое и вкусное наслажденіе получали мы отъ сострадательныхъ впечатлѣній, сладко щекотавшихъ нашу мысль ощущеніемъ нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастію, проливать надъ нимъ слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрѣе и лучше,—нѣтъ, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрѣе и лучше,—но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая пріятность, ее можно сравнить только съ тѣмъ удовольствіемъ, какое получалъ покойный мужъ Коробочки отъ чесанія пятокъ"...

Словомъ идеализація—это барскій самообманъ, самообольщеніе. И опять отмѣчаю фактъ, какъ въ этомъ вопросѣ о мужикѣ столкнулись двѣ культуры, два общественныхъ слоя. Сколько злой ироніи въ словахъ Чернышевскаго

и съ какимъ очевиднымъ удовольствіемъ сводитъ онъ всю идеализацію къ самоуслажденію, къ сантиментализму. Правду онъ увидѣлъ въ разсказахъ Успенскаго. Была ли она тамъ? Я знаю, какъ трудно отвѣтить на этотъ вопросъ. Имя Н. В. Успенскаго далеко не пользуется популярностью. Слава его расцвѣла такъ же быстро, какъ и упала. Уже въ концѣ 60-хъ годовъ его почти забыли и перестали печатать. Дѣло въ томъ, что требованіе правды и только правды продержалось очень недолго. Скоро и, пожалуй, слишкомъ скоро опять понадобилась идеализація мужика, потому что его бытъ и устои его жизни интеллигенція клала во главу угла зданія будущей счастливой жизни. Понадобилось ипостазированіе крестьянства, по крайней мѣрѣ—самое строгое и любовное отношеніе къ нему. Этого-то у Успенскаго не было: онъ лишь зналъ народъ и ничего больше. Поднявшаяся волна народничества смыла его, его разсказы и его славу. Они стали казаться мелкими, анекдотичными, а главное, легкомысленными. Въ нихъ не было проповѣди, не было требованія служить народу, не было любви. Они никуда не звали. Очень богатые по части подробностей, особенно бытовыхъ, зачастую яркіе, всегда занимательные, они не затрогивали сердца. Больше того: они шли противъ быстро распространявшейся вѣры, что интеллигенція опору своимъ стремленіямъ найдетъ въ народѣ. Напротивъ того, мужикъ Успенскаго былъ грубъ, невѣжественъ и прямо таки непрезентабеленъ. У него мало что можно было найти. За эту-то вотъ „правду“ интеллигенція и не взлюбила Н. В. Успенскаго.

Ѳ. М. Рѣшетниковъ. (1841—1871). Совершенно по той же причинѣ быстро сошелъ со сцены и Ѳ. М. Рѣшетниковъ. Онъ—сынъ дьячка, родился въ Екатеринбургѣ, вынесъ въ своемъ дѣтствѣ столько, сколько, по его собственному выраженію, не дай Боже вынести „безпризорной собакѣ“. Отъ пеленокъ до могилы ближайшимъ его спутникомъ были нищета съ ея свитой: униженіемъ, побоями, шатаніемъ съ мѣста на мѣсто, ожесточенностью и, наконецъ, пьянствомъ. А сердце у него было хорошее, честное, обиженное только жизнью, но не запачканное ею. Добравшись въ 1863 году какими-то путями до Петербурга, онъ въ 1864 году напечаталъ въ „Современникѣ“ свои „Подлиповцы“ и потомъ весь отдался литературѣ. Лучшими его произведеніями считаются: „Между людьми“, „Глумовы“, „Гдѣ лучше“, „Свой хлѣбъ“. Считать его фотографомъ дѣйствительности нѣтъ никакого основанія: въ писанія свои Рѣшетникомъ вкладывалъ всю свою душу, безконечная жалость къ народу видна за грубой ихъ оболочкой. „Я задумалъ описать бурлацкую жизнь съ цѣлью хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженникамъ“,—говорилъ онъ въ письмѣ къ Некрасову, посылая ему „Подлиповцевъ“.

У Рѣшетникова, въ его произведеніяхъ, гораздо болѣе сердца, жалости, чѣмъ у Н. Успенскаго. Онъ любовно слѣдитъ за похожденіями своихъ героевъ, за ихъ напряженными исканіями того уголка въ жизни, гдѣ рабочему люду дѣйствительно лучше.

Несомнѣнно, что для Рѣшетникова, который вышелъ не только изъ народа, а изъ самыхъ низшихъ его слоевъ, то-есть самыхъ обездоленныхъ, это счастье представлялось особенно дорогимъ, и забота о немъ является главной руководительницей его вдохновенія. И это уже безъ всякихъ уступокъ, безъ всякихъ уклоненій въ сторону; вотъ почему его разсказы, несмотря на полное отсутствіе „прикрасъ", не смотря на свою топорность производятъ такое потрясающее впечатлѣніе. Это голосъ самой стихіи, это не писательство, а работа рудокопа, откапывающаго своихъ засыпанныхъ товарищей, чьи стоны онъ слышитъ изъ-подъ земли. Рѣшетникова ничѣмъ соблазнить нельзя, онъ приросъ къ своему дѣлу, къ своимъ Подлиповцамъ и Глуповымъ, знаетъ, что они задыхаются, потому что и самъ всю жизнь задыхался,—и на всѣ прекрасныя слова, на всѣ благороднѣйшія бездѣятельныя чувства, на всѣ указанія благодѣянія культуры и завоеванія прогресса онъ отвѣтитъ своимъ презрительнымъ: „Эхъ, ты, цивилизація парикмахерская". Въ этой неуступчивости и прямолинейности—его сила.

Можно жалѣть бѣдныхъ тружениковъ и желать имъ всякаго счастья какъ жалѣли и желали наши славянофилы и почти всѣ люди сороковыхъ годовъ; но можно и жить этимъ, сдѣлать изъ этого свою религію, наполнить имъ все свое существо, всѣ свои помыслы, стать фанатикомъ, и вотъ тогда-то всякое ваше простое слово и неуклюжая рѣчь пріобрѣтутъ особенное, грозное значеніе. И оно есть, конечно, въ томъ суровомъ приговорѣ „парикмахерской цивилизаціи", въ этомъ воплѣ противъ красоты или, вѣрнѣе, красивости, заставляющей человѣка забывать о настоящемъ дѣлѣ Въ этомъ случаѣ въ творчествѣ Рѣшетникова было много мрачнаго и даже озлобленнаго, не смотря на мягкость и дѣтскую наивность его характера.

Надломленная съ дѣтства жизнь Рѣшетникова протянулась недолго: онъ умеръ 5-го сентября 1871 года, 30-ти лѣтъ съ небольшимъ. Смыслъ его біографіи для его произведеній, конечно, тотъ, что Рѣшетниковъ самъ на своихъ плечахъ вынесъ всю тяготу народной жизни и, говоря о страданіяхъ бѣдныхъ тружениковъ, не только *о нихъ плакалъ*, но плакалъ *съ ними*.

Перехожу къ его сочиненіямъ. Конечно, объ ихъ формѣ, ихъ техникѣ и не скажу ни слова: Рѣшетниковъ рубилъ топоромъ—это ясно для каждаго, знакомаго хотя бы съ двумя написанными имъ страницами. И вообще

какія эстетическія требованія можно предъявлять къ человѣку, вопіявшему противъ красоты, отворачивавшемуся отъ всякихъ прикрасъ, пожалуй, съ тѣмъ же чувствомъ, съ какимъ раскольникъ отъ табачнаго дыма (т. е. съ фанатизмомъ даже), и для котораго польза людей, служеніе имъ были своеобразной, но всеодухотворяющей религіей? Но если вмѣсто требованій красоты, изящества мы предъявимъ Рѣшетникову требованія характерности (чего эстетика нисколько не чуждается), то наша оцѣнка выйдетъ совсѣмъ другая, и Рѣшетникову придется отвести едва ли не одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей литературѣ. На самомъ дѣлѣ до него никто такъ глубоко не заглядывалъ въ народный бытъ и не рисовалъ его такими рѣзкими, простыми и небрежными на первый взглядъ штрихами, какъ онъ. Главное, что простыми и рѣзкими, которые вотъ сразу всей картинѣ или всей фигурѣ лица придаютъ совсѣмъ особенное, только ей свойственное выраженіе, а безъ нихъ это было бы что-то дюжинное, шаблонное. И, благодаря этимъ-то чертамъ и черточкамъ, вы сразу видите, какой эпохѣ, какому мѣсту, какому человѣку принадлежитъ такая-то страница Вѣдь ясно, напр., что беллетристъ 40-хъ годовъ, т. е. беллетристъ старобарской культуры, ни за что не посмѣлъ бы изобразить глубину любви Сысойки къ Апроськѣ тѣмъ, что Сысойка у ней мертвой хочетъ откусить носъ или что начинаетъ драться съ ея отцомъ, потому что тотъ торопится закопать ее. Тотъ же беллетристъ ни въ какомъ бы случаѣ не рѣшился бы втиснуть цѣлую жизненную драму въ двѣ строчки. А Рѣшетниковъ это дѣлалъ постоянно. Изъ любой почти страницы Рѣшетникова опытный беллетристръ легко можетъ составить повѣсть. Но Рѣшетниковъ точно торопился и разбрасывалъ пригоршнями свои драгоцѣнныя наблюденія, нисколько не заботясь о томъ, чтобы облегчить для читателя трудъ ихъ пониманія. Онъ какъ будто говоритъ угрюмо: „сами разберетесь, коли хотите“, и какъ опять въ этомъ онъ (какъ и лицомъ своимъ) похожъ на свою суровую сѣверную природу, которая такъ скупа на все, привлекающее къ себѣ человѣка, ласкающее, и которая требуетъ отъ него труда, терпѣнія, выносливости, чтобы открыть предъ нимъ крошечную частичку своихъ богатствъ. Надо долго пробродить по тайгѣ, пробираясь сквозь частый переплетъ миріадъ вѣтвей и деревьевъ, сидящихъ другъ отъ друга въ такомъ же разстояніи, какъ пальцы на рукѣ, чтобы оцѣнить ея своеобразную прелесть; надо въ теченіе нѣсколькихъ дней, а еще лучше недѣль „прилежаться“ къ своей юртѣ, чтобы понять красоту безконечной тундры. Такъ и сочиненія Рѣшетникова (особенно самыя цѣнныя: “Глумовы“ и „Гдѣ лучше?“) требуютъ значительнаго предварительнаго искуса, чтобы раскрыть свою историческую идею, составляющую ихъ душу.

А въ нихъ—въ этихъ сочиненіяхъ—не только захваченъ, но даже

выраженъ одинъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ нашего недавняго прошлаго. Всѣ они относятся какъ разъ или къ канону освобожденія, или къ первымъ днямъ послѣ него, т. е. къ 59—62 годамъ прошлаго вѣка. Прошлое, т. е. крѣпостное право собственно, захвачено Рѣшетниковымъ только описательно. Его интересуетъ самый моментъ, когда засидѣвшаяся въ одной изъ самыхъ скудныхъ и унылыхъ окраинъ Русь снялась съ своего мѣста и пошла бродить, куда глаза глядятъ, въ поискахъ за такими мѣстами, „гдѣ лучше", гдѣ рабочему человѣку можно жить. Очевидно, ей предстояло долгое и трудное странствованіе. Съ чѣмъ же, съ какими данными, какими силами и запасами вышла она въ дорогу, какая сила стихійно и неотразимо толкала ее впередъ шагъ за шагомъ, довела подлиповцевъ изъ Чердынскаго края до Нижняго, потомъ до Москвы и до Петербурга, что нашли они здѣсь? Передъ вами, конечно, люди, выращенные предыдущей эпохой, когда крѣпостная Русь неподвижно сидѣла на мѣстѣ, люди почти что дикіе, но въ нихъ во всѣхъ есть новая черта какой-то странной, наивной предпріимчивости, которая, очевидно, явилась въ нихъ подъ живительнымъ вліяніемъ освобожденія. Имъ опротивѣло, очертѣло прежнее мѣсто, гдѣ изводили человѣка работой и наказаніями, гдѣ всякая мелкая сошка въ родѣ приказчика играла роль самодержца (одинъ изъ приказчиковъ Рѣшетникова до такой степени проникся своимъ самодержавіемъ, что имѣлъ даже привычку въ день своихъ именинъ облегчать участь всѣхъ пострадавшихъ по его претензіямъ!), гдѣ завтрашній день обѣщалъ лишь точное повтореніе сквернаго сегодня, гдѣ все, созданное годами труда, умомъ или талантомъ, пропадало, какъ отъ пожара, отъ малѣйшей прихоти властителей. Но вотъ двери тюрьмы раскрылись, и огромныя толпы заключенныхъ, грязныхъ и оборванныхъ, пріученныхъ лишь къ безропотному смиренію, какъ бы даже свыкшихся уже со стѣнами острога и рѣшетками камеръ,—вышли въ безпорядкѣ, толкая и давя другъ друга, на вольный Божій свѣтъ и сейчасъ же разлились въ разныя стороны, какъ вода въ половодье. Все было ново для нихъ, все выражало своей необычностью, и они, растерянные отъ массы нахлынувшихъ впечатлѣній, брели шагъ за шагомъ, все впередъ и впередъ, подталкиваемые смутнымъ и радостнымъ сознаніемъ, что руки и ноги у нихъ безъ кандаловъ. Эта-то первая минута воли, когда человѣкъ пошатывался, какъ пьяный, отъ непривычнаго свѣжаго воздуха, зная, что ни право, ни лѣво, ни впередъ ему не заказаны, эта-то первая волна новой бродячей Руси, вдругъ переполнившая города, дороги, всякія вяземскія лавры и катакомбы,—удивительно изображены Рѣшетниковымъ. Точно сцены изъ великаго переселенія народовъ, безъ битвъ на Калкахъ, или Каталаунскихъ поляхъ, но, пожалуй, съ неменьшимъ числомъ жертвъ, не вынесшихъ тяжести пути и умер-

шихъ гдѣ-то въ придорожной канавѣ, какъ Пила и Сысойка, или дѣйствительно добравшіеся до Рима,—слѣдуютъ одна за другой съ поражающей отчетливостью. Шли, куда глаза глядятъ, эти люди, способные заблудиться между трехъ сосенъ, или потому, что дома за ними не оставалось ничего, кромѣ голода и побоевъ, потому что впередъ манилъ ихъ, точно огненный столбъ въ пустынѣ, все дальше и дальше уходившій отъ нихъ кусокъ хлѣба. И вотъ совсѣмъ не героевъ, не личностей надо искать у Рѣшетникова, а надо понять въ его изображеніи жизнь этихъ тысячъ человѣческихъ песчинокъ, разнесенныхъ въ разныя стороны вѣтромъ и волнами, вызванными въ русской жизни великимъ освобожденіемъ. Здѣсь непосѣдливая психологія самого Рѣшетникова какъ-то сливается съ психологіей толпы.

Прямо страшенъ по своей духовной нищетѣ исходный пунктъ движенія—подлиповщина и глумовщина.

Подлиповщина—царство голода, нищеты, безпросвѣтнаго мрака, отъ колыбели до могилы повторяющее одно унылое „ись хоцу“ (хочу ѣсть). Это „ись хоцу“—главный опредѣлитель жизни подлиповцевъ, и подъ его вліяніемъ они то и дѣло озвѣреваютъ, равнодушно смотрятъ на страданія и смерть близкихъ и даже радуются ихъ смерти, особенно смерти дѣтей. Впрочемъ, все хорошее, что въ нихъ есть, Рѣшетниковъ отмѣчаетъ особенно старательно, но это-то „хорошее“ особенно ярко оттѣняетъ тотъ ужасъ нищеты, которую вынесла подлиповщина, и которую она носитъ въ себѣ. И эта подлиповщина—этотъ предѣлъ паденія хронически голодающихъ людей—потянулась бродить, подчиняясь все тому же стихійному, оживляющему всякими надеждами, призыву воли. Можно себѣ представить, сколько мукъ и горя вынесли они на пути. Даже богатырь Пила, который собственноручно убилъ 8 медвѣдей,—и тотъ не выдержалъ. Умеръ и Сысойка,—много народу умерло подъ шумъ и грохотъ самой по себѣ идущей жизни, не обратившей, разумѣется, ни малѣйшаго вниманія на эти жертвы. Но дѣло все же было сдѣлано: подлиповщина тронулась съ мѣста, а дѣти Пилы уже понабрались „кочегарной“ культуры, завели себѣ сундучекъ и зеркальце и даже способны задать вопросъ: „А пошто же не всѣ богаты?“

Тронулась и глумовщина. Глумовщина, впрочемъ, сила болѣе развитая, чѣмъ подлиповщина. Это—заводскіе крестьяне пріуральской области. Изъ-подъ гнета крѣпостного бича она все же вышла съ извѣстнымъ запасомъ знаній (такъ какъ большинство изъ нихъ мастеровые), хитрости и лукавства, выработавшихся въ ежечасной борьбѣ съ начальствомъ,—даже коекакими мыслями въ родѣ той, напр., что въ жизни многаго можно добиться трудомъ и ловкостью. Но въ гражданскомъ отношеніи и глумов-

ская толпа была такая же невѣжественная и безпомощная, какъ и поллиповская.

Половодье, первая волна бродячей новой Руси, говорю я, захватило даже Пилу съ Сысойкой. Но самые тяжелые и неприспособленные элементы быстро осѣли, кто гдѣ и какъ; другіе докатились до Нижняго и даже Питера. Описанію похожденій этихъ послѣднихъ посвященъ лучшій, по-моему, романъ Рѣшетникова — „Гдѣ лучше?“ Какъ эпопея жизни бродячихъ мастеровыхъ и чернорабочихъ, именно эпопея отъ перваго шага до послѣдняго—это своего рода образцовое произведеніе искусства. У Рѣшетникова есть уже и поэтическій, и философскій синтезъ, попытка обобщать жизненныя явленія во всей ихъ массѣ и разнообразіи. Гдѣ же лучше простому трудящемуся человѣку?—спрашиваетъ онъ себя, и его герои то и дѣло возвращаются къ этому вопросу, отвѣчая на-двое, что „богатому вездѣ хорошо, а бѣдному вездѣ плохо“, или „что человѣкъ созданъ для того, чтобы самому себѣ добывать пропитаніе“, и такъ какъ человѣку нужно для этого немного, то онъ былъ бы вполнѣ доволенъ и спокоенъ, если бы его не обижали тѣ, которымъ хочется жить въ свое удовольствіе. Философія немудренная и невѣрная, конечно, но вполнѣ подъ стать людямъ „первой волны“.

Мнѣ нечего, конечно, разъяснять читателю всю важность историческаго момента, изображеннаго Рѣшетниковымъ. Этотъ моментъ начало нашей собственной жизни и насъ самихъ, конечно въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Новая Русь вступила на сцену и разбрелась въ разныя стороны искать своего счастья. Бредетъ она и теперь и въ Приморскую область, и въ Сибирскую тайгу, и Прибалтійскія степи, и на Кавказъ, и въ Закавказье, даже въ Америку... Дай же ей Богъ найти того, чего ищетъ она. Мнѣ же лично надо еще на минуту вернуться къ Рѣшетникову.

То, что онъ былъ разночинецъ, играло, разумѣется, большую роль какъ въ обстоятельствахъ его личной жизни, такъ и въ складѣ его творчества, больше даже—въ исторіи нашей литературы.

„Дореформенная литература наша была порождена не интересами, а идеалами,—говоритъ г. Протопоповъ въ своей статьѣ о Рѣшетниковѣ.— Благородные, гуманные, совѣстливые люди возставали противъ исторической несправедливости, которой они въ то же время были лично много обязаны—и своимъ блестящимъ образованіемъ, и своею независимостью, и всѣмъ изяществомъ своего комфортабельнаго существованія. Добрые сострадательные, чуткіе люди проливали слезы надъ чужой бѣдой, надъ горемъ, которое—язвительная иронія судьбы—собственно имъ, лично имъ, приносила или выгоду въ родѣ „легкаго оброка“ и „ярема барщины старинной“.

Дѣйствіе этого разлада, этого отсутствія гармоніи между идеалами и интересами не могло не сказаться умѣряющимъ образомъ и на силѣ протеста этихъ людей, не могло не отразиться невыгодно и на правдѣ ихъ картинъ и образовъ. „Не съ ними плачешь, а о нихъ",—говорилъ Константинъ Аксаковъ по адресу Некрасова, оплакивающаго въ своихъ стихахъ „сѣятеля и хранителя" русской земли. Этотъ упрекъ—если это упрекъ—долженъ быть отнесенъ не къ Некрасову только, а ко всей господской фракціи нашей литературы, ко всѣмъ нашимъ первостепеннымъ художественнымъ талантамъ, защищавшимъ народъ *не на почвѣ его практическихъ интересовъ, а на почвѣ своихъ теоретическихъ идеаловъ*".

„Но вотъ „порвалася цѣпь великая", народъ призванъ къ активному участію въ историческомъ процессѣ; повѣяло весеннимъ воздухомъ, и въ литературѣ появляются новыя птицы, и слышатся новыя пѣсни. Въ числѣ самыхъ первыхъ ласточекъ, не дѣлающихъ, но знаменующихъ весну, былъ и нашъ скромный, неувѣренный, невзрачный Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ".

Все это представляется мнѣ совершенно справедливымъ. О Рѣшетниковѣ на самомъ дѣлѣ никакъ нельзя сказать, что онъ только о нихъ плачетъ; нѣтъ—онъ плакалъ всегда съ ними. Это даже не значитъ, что онъ умнѣе, честнѣе, благороднѣе и прочее всѣхъ раньше писавшихъ о народѣ: онъ просто ближе къ нему, просто лучше понимаетъ его, самъ знаетъ, что такое голодъ, безработица, неожиданное и грубое насиліе со стороны какой-нибудь мелкой сошки. Вѣдь согласитесь сами, что ни Тургеневъ, ни Григоровичъ, ни Щедринъ не могли постигнуть съ полной очевидностью, что значитъ быть человѣкомъ, надъ которымъ начальниками являются рѣшительно *всѣ* окружающіе. А Рѣшетниковъ это понималъ. Духъ, помыслы, интересы и идеалы народа были его собственными. Оттого-то онъ нисколько не боится говорить о немъ правды, какъ бы неприглядна она ни была; онъ прекрасно знаетъ, что создало эту неприглядную правду (голодъ, невѣжество, крѣпостная зависимость и т. д.), знаетъ и то, что ни подлиповцы, ни глумовцы въ ней не виноваты, что они не виноваты ни въ чемъ, что ихъ надо учить, чтобы они хорошо работали и т. д. Оттого онъ такъ практиченъ и ищетъ прежде всего „дѣла", оттого-то идеалы его на первый взглядъ могутъ показаться такими скудными, какъ бы исчерпывающимися заботами о кускѣ хлѣба. Но вѣдь это лишь первая ступень, и пока она-то не обезпечена за человѣкомъ, пока въ достиженіи ея ему мѣшаютъ на каждомъ шагу,—о чемъ, спрашивается онъ станетъ думать? Оттого-то онъ однимъ изъ первыхъ дѣйствительно серьезно отдѣлался отъ всякаго жалостливаго и сантиментальнаго отношенія къ народу. Онъ любитъ мужика, лучше всякаго другого знаетъ, что мужикъ —

человѣкъ, но знаетъ, что этого мужика можно довести и до дикаго состоянія, и ему не страшно показывать его въ такомъ видѣ. Напротивъ того, это дикое состояніе служитъ для него лучшимъ доказательствомъ всей мишурности, всей лживости культуры, такъ горделиво превозносящей себя. „Эхъ ты, цивилизація парикмахерская!“—сурово восклицалъ онъ, потому что фундаментъ этой цивилизаціи—мужикъ, народъ только страдаетъ и только терпитъ, потому что, пока онъ не будетъ обезпеченъ, уважаемъ и возведенъ на высоту, не будетъ ничего.

Поэты 60-хъ годовъ.

Н. А. Некрасовъ. (1821—1877).

Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хоть единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ,—

говоритъ о себѣ Некрасовъ. Это гордыя, сильныя слова гордаго и сильнаго человѣка. Но это не претензія. Некрасовъ сдѣлалъ то, о чемъ онъ говоритъ; онъ дѣйствительно воспѣлъ страданія „изумляющаго терпѣніемъ народа“, потому что онъ умѣлъ плакать его слезами и болѣть его болью. Онъ пѣвецъ горя народнаго, но и странной, живучей вѣры народа въ себя, его неистребимой бодрости, его чудной способности своимъ юморомъ, своей примитивной удалью становиться выше окружающаго и какимъ-то смутнымъ сознаніемъ, что какъ ни соблазнительны блага міра, какъ ни тянутъ къ себѣ богатство, власть, почетъ—„человѣкъ все же выше этого“.

„Какой же источникъ этой любви Некрасова къ народу?—спрашиваетъ С. А. Андреевскій.—Намъ кажется, здѣсь вліяли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу, во-вторыхъ, событія изъ личной жизни поэта“.

„Проницательный Некрасовъ не заносился въ облака, но общее тяготѣніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ-о-бокъ выстрадалъ голодъ, было ему на руку. Изъ жизни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидѣлъ свой успѣхъ; эта работа его увлекла. По натурѣ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувства прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасовъ нуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ мстить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только „мечту свою“, часто обливался слезами надъ „вымысломъ“. Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго

царства, этихъ необозримо богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужасающаго для сильныхъ міра". „Народъ безмолвствовалъ", но это только придавало еще болѣе трагическій оттѣнокъ пѣснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіею, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видѣлъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то грѣхъ, на который содержатся горькіе, сдержанные намеки въ его поэзіи. Въ теченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣльной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ".

По сложности и разносторонности своей духовной организаціи, Некрасовъ, въ память его великаго и вліятельнаго имени, требуетъ для себя подробнѣйшей, любовно и художественно составленной біографіи, для которой теперь нѣтъ матеріала. Ограничусь немногими внѣшними фактами, чтобы не послѣдовать примѣру тѣхъ, и даже очень почтенныхъ людей, кто изъ неяснаго и недоговореннаго, а иногда просто неизвѣстнаго заключаетъ о глубокихъ нравственныхъ недочетахъ Некрасова.

Некрасовъ происходилъ изъ обѣднѣвшаго дворянскаго рода. Нигдѣ не кончивъ, какъ слѣдуетъ, курса, и не составивъ себѣ никакой оффиціальной карьеры—онъ всю свою жизнь прожилъ по паспорту недоросля изъ дворянъ. Дѣтство сохранило ему главное святое воспоминаніе его жизни—любовь къ матери, обожаніе ея и это навсегда. Потомъ наступила юность полная нищеты и лишеній. Бѣдный оброшенный, одинокій явился онъ въ столицу, но не растерялся, онъ далъ себѣ слово завоевать этотъ гордый шумный городъ и исполнилъ это слово. Нѣсколько лѣтъ пришлось жить буквально впроголодь. Вотъ его университетскія воспоминанія (1839—1841).

„...Ровно три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось есть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ на Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь"...

Некрасовъ на себѣ вынесъ нищету и оброшенность трущобной жизни—кто смѣетъ сомнѣваться въ его искренности, въ его глубокомъ и, конечно, сочувственномъ пониманіи души нищаго и оброшеннаго человѣка. Но такъ какъ я лично совсѣмъ не поклонникъ нищеты и ея будто бы воспитатель-

наго значенія, то думаю, что кое-что изъ вынесенной грязи на душѣ Некрасова осталось.

Какъ онъ выбивался изъ трущобы, какъ завязалъ отношенія къ литературѣ, какъ вошелъ въ кружокъ Бѣлинскаго, какъ, наконецъ, въ 1847 г. очутился во главѣ „Современника",—разсказывать долго, и знаемъ мы обо всемъ этомъ лишь урывками. Долго былъ онъ просто литературнымъ поденщикомъ, тѣмъ болѣе, что его „поэтическая" попытка—изданіе сборника своихъ первыхъ, Богъ знаетъ гдѣ и какъ написанныхъ, стихотвореній „Мечты и звуки" — кончилась полной неудачей. Очень нелегки были и первые 8 лѣтъ изданія „Современника". Приходилось перебиваться, платить долги, писать самому по нѣскольку печатныхъ листовъ въ мѣсяцъ—даже романы (напр. „Три страны свѣта") и только въ 1855—1856 году его журналъ сталъ на ноги, и во всемъ величіи явилась передъ обществомъ его муза „мести и печали". Послѣ прекращенія „Современника" въ 1866 году, онъ вмѣстѣ съ Елисеевымъ (съ 1868 г.), а потомъ и Щедринымъ всталъ во главѣ „Отечественныхъ Записокъ" и создалъ нашъ лучшій передовой журналъ. Въ 1877 г. онъ умеръ.

— — —

Трудно представить себѣ поэта, писателя, журналиста, который такъ близко, такъ вплотную подходилъ бы къ своей эпохѣ, какъ Некрасовъ. Онъ въ своихъ стихахъ раскрылъ всю ея тоску, всѣ ея порывы, всѣ ея страданія и неудовлетворенность, ея смѣлыя надежды и ея глубокую, терзающую близость къ обездоленному. Конечно—

... бывало,
Когда грозилъ неумолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука...—

но эти невѣрные звуки рѣдки и случайны. Вѣрные же звуки Некрасовъ находилъ всегда, когда былъ въ своей огромной и важной области — въ отношеніяхъ передовой интеллигенціи 60-хъ годовъ къ мужику, къ народу. Связующими звеньями этихъ двухъ общественныхъ слоевъ въ его поэзіи является: 1) сознаніе своей дворянско-интеллигентной слабости и оторванности отъ народа и 2) жалость къ обездоленному.

Совѣсть, тоска переплетались въ его душѣ съ чувствами мести и раздраженія. Въ какомъ-то странномъ сочетаніи любви и ненависти, злобы и умиленія онъ восклицалъ:

Отъ ликующихъ, праздно болтающихъ,
Омывающихъ руки въ крови—
Уведи меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви—

но въ тотъ станъ онъ пойти не могъ, хотя и стремился туда въ лучшія минуты своей жизни.

Его поэзія впервые раскрываетъ намъ всю глубину психологіи кающагося дворянина—типа, особенно распространившагося въ 70-ые годы, т. е. человѣка, который прежде всего жилъ (въ лучшіе моменты, конечно), тревогами и муками своей отравленной совѣсти за свое общественное положеніе. Это мотивъ опредѣленный и властный, способный охватить всего человѣка. Совѣсть не знала покоя. Ее тревожили картины прошлаго, собственное безсиліе ея обладателя въ настоящемъ и, вѣроятно, ожиданіе Немезиды въ будущемъ. Прошлое—это грѣхи предковъ, совершенные ими въ привольныя времена крѣпостного права; прошлое — это собственная культурность, пріобрѣтенная за чужой счетъ, за чужой — опять-таки крѣпостной—трудъ. Настоящее—это сознаніе, что отвѣтственность передъ народомъ, долгъ народу—

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусство, науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ—

огроменъ. Расплатиться надо, но есть ли на это силы у того, кому суждены благіе порывы, но кому ничего не дано совершить? Отсюда терзанія и муки, потому что выхода не было.

На эту тему Некрасовъ написалъ одну изъ лучшихъ своихъ вещей „Рыцарь на часъ". Это цѣлая поэма. Понимая буквально—она обращена къ матери. Но образъ матери нарисованъ въ ней такими общими штрихами, что онъ безъ всякаго труда со стороны читателя, безъ всякаго его насилія надъ собой, легко и свободно расширяется до образа русской женщины („все выносящаго русскаго племени — многострадальная мать", какъ любилъ ее называть Некрасовъ), до образа русскаго народа вообще, изумляющаго своимъ долготерпѣніемъ. Что же этотъ кающійся дворянинъ несетъ народу?

Я кручину мою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою.

Это стонъ безсилія. Народъ, русскую женщину, мать ему нечѣмъ утѣшить и съ самобичующей откровенностью, съ жестокостью погибающаго онъ предупреждаетъ:

О, прости! то не пѣснь утѣшенія,
Я заставлю страдать тебя вновь—

Единственное его оправданіе это его собственная гибель.

Но я гибну—и ради спасенія
Я твою призываю любовь!...

Какъ видитъ читатель, это очень сложное отношеніе къ народу. Тутъ и голосъ отравленной совѣсти, и стыдъ, и муки за свое безсиліе, и жалость къ обездоленному, и какой-то наивный эгоизмъ, достойный извиненія лишь за глубину выстраданнаго. Но чѣмъ сложнѣе психологическій мотивъ, тѣмъ роскошнѣе поэзія большого таланта, и роскошной была она у Некрасова. Онъ нашъ первый, и вѣроятно, самый крупный народникъ, потому что народничество движеніе глубоко-этическое, безмѣрно совѣстливое. И исходя изъ основной посылки расплаты съ народомъ, оно требовало отъ человѣка героизма, героическихъ поступковъ, когда же героизмъ оказывался не по плечу, оно давало терзанія.

Нечего и говорить, что народъ не веселилъ Некрасова, да и не за весельемъ шелъ онъ къ тѣмъ,

Кто идетъ по житейской дорогѣ
Въ безразсвѣтной глубокой ночи
Безъ понятья, о правдѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

По собственному признанію поэта—

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родитъ...

И какая, дѣйствительно, услада можетъ исходить отъ толпы, собравшейся возлѣ параднаго подъѣзда? Некрасивы на взглядъ, и мало надежды внушаетъ это приниженное смиреніе...

И пошли они солнцемъ палимы...
Разводя безнадежно руками,
И покуда я видѣть ихъ могъ,
Съ непокрытыми шли головами...

„Возьмите картины Некрасова изъ крестьянскаго быта и что найдете вы тамъ? Описаніе нищеты, голода и холода, болѣзней, мукъ отъ зноя въ страдную пору. трудностей этапнаго перехода, удушливыхъ потемокъ каторжныхъ норъ, вреднаго воздуха фабрики, невыносимой тяготы бурлацкаго труда“ *),—

а главное этого гнетущаго душу безропотнаго смиренія безъ конца и краю, которое заставляетъ спрашивать въ тяжеломъ раздумьи:

Ты проснешься ль, исполненный силъ,
Иль судебъ повинуясь закону,

*) Слова С. А. Андреевскаго изъ его чтенія о Некрасовѣ.

Все что могъ, ты уже совершилъ,
Создалъ пѣсню, подобную стону,
И духовно навѣки почилъ?..

До такого отчаянія доходилъ Некрасовъ въ своихъ сомнѣніяхъ, и характерно, что здѣсь, какъ всегда, спасалъ его образъ женщины, приниженный и страдальческій, но чудно красивый въ ореолѣ своего страданія Онъ изображалъ безсильныхъ героевъ современности въ „Рыцарѣ на часъ". въ „Сашѣ", онъ бросалъ имъ въ лицо жестокіе стихи:

Покорись—о ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ!
Захватило васъ трудное время,
Неготовыми къ трудной борьбѣ:
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно.
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано...

и въ то же время рисовалъ свою Сашу, портреты Трубецкой и Волконской или величавый образъ крестьянки Дарьи („Морозъ Красный носъ")

Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ,
Съ покойною важностью лицъ,
Съ красивою силою въ движеньяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ—
Ихъ развѣ слѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъ говоритъ:
„Пройдетъ—словно солнце освѣтитъ!
Посмотритъ—рублемъ подаритъ".

Эта Дарья послѣ смерти мужа беретъ на себя мужскую работу безъ ропота и справляется съ ней стоически и самоотверженно...

И вотъ этими-то своими героическими образами русской женщины, этой своей жалостью къ обездоленному—этимъ сознаніемъ великой своей отвѣтственности передъ народомъ и страданіемъ, Некрасовъ и подходилъ вплотную къ своей эпохѣ—и сливался совсѣмъ уже съ наступающей эпохой 70-хъ годовъ.

„Мнѣ борьба мѣшаетъ быть поэтомъ"—говоритъ о себѣ Некрасовъ и онъ правъ, но лишь въ томъ случаѣ, если слово поэтъ понимать въ его обычномъ, даже шаблонномъ смыслѣ. „Красота и женская любовь—эти вѣчные родники поэзіи,—почти не пробуждали его вдохновенія". Его вдохновеніе пробуждалось отъ другихъ родниковъ—жалости, печали и мести. Поэтому не безъ упрека даже говоритъ Андреевскій по адресу Некрасова:

„не одна борьба (мѣшала Некрасову быть поэтомъ), но и время, въ которое онъ дѣйствовалъ, и требованія читателей, и вліяніе руководящихъ критиковъ, и конечно, больше всего, собственная натура Некрасова, самая положительная, дѣльная, земная, какую только можно себѣ представить. Пусть онъ былъ энергичнымъ, искреннимъ, даже пламеннымъ дѣятелемъ слова—все-таки грунтъ его природы былъ по преимуществу практическій, вкусы—трезвые и матеріальные“.

Да, это былъ идеалистъ земли въ чистомъ его видѣ. Вмѣстѣ со всѣми своими современниками онъ считалъ счастье—земное конкретное счастье, увѣнчаніемъ зданія человѣческихъ усилій и стремленій. Не даромъ и отъ глубины натуры своей писалъ онъ въ 1874 г.:

Я видѣлъ красный день: въ Россіи нѣтъ раба!
И слезы сладкія я пролилъ въ умиленьи...
„Довольно ликовать въ наивномъ увлеченьи“
Шепнула Муза мнѣ: „Пора итти впередъ:
Народъ освобожденъ, *но счастливъ ли народъ?..*“

И посмотрите въ то же время, какія часто наивныя, милыя формы принимаетъ его идея о народномъ счастьѣ! Когда же, спрашиваетъ онъ, станетъ „сносней крестьянская страда?“ Когда побѣжитъ по лугу „играя и свистя съ отцовскимъ завтракомъ довольное дитя?“ „Цѣли земныя, насущныя всегда оставались наиболѣе близкими сердцу Некрасова“ и тотъ героизмъ, требованіе котораго implicite заключается въ его поэзіи, разрѣшался въ человѣческомъ довольствѣ и счастьѣ.

Человѣкъ 60-хъ годовъ виденъ и въ окончательной его характеристикѣ: „Рѣчь его была сильная, проповѣдь горячая и грозная,—но въ основѣ все-таки сидѣлъ человѣкъ дѣла, рачитель объ общественныхъ нуждахъ, краснорѣчивый гигіенистъ или пламенный соціальный депутатъ“. Но эта трезвая основа міросозерцанія скрашивалась требовательнымъ идеализмомъ земли...

Совершенно естественно, что въ народолюбивое время 60-хъ—70-хъ годовъ истиннымъ успѣхомъ и вліяніемъ могъ пользоваться только Некрасовъ или тѣ, кто ближе всего подходилъ къ его настроенію, напр., Т. Г. Шевченко или И. С. Никитинъ. Другія крупныя поэтическія дарованія, какъ, напр., А. А. Фетъ, А. Н. Майковъ, Ѳ. И. Тютчевъ, Л. А. Мей, Я. П. Полонскій, оставались, въ сущности говоря, въ тѣни, лишь изрѣдка обращая на себя благосклонное вниманіе публики, чаще же возбуждая насмѣшки. Стиховъ, вообще говоря, не долюбливали: ихъ считали какъ бы роскошью, барской за-

бавой и охотно прощали ихъ одному Некрасову. Господствующее настроеніе эпохи было, словомъ, напряженно вытянуто въ одну линію.

Общія заключительныя замѣчанія.

Что же дали намъ 60-ые годы?—И какой періодъ русской жизни можно назвать этимъ именемъ?

На послѣдній вопросъ я могу отвѣтить, если не ошибаюсь, очень опредѣлительно: 50-ые годы продолжались отъ 19-го февраля 1855 (если уже нужна безусловная точность) до 4-го апрѣля 1866 г., т. е. слишкомъ 11 лѣтъ. 19 февраля 1855 г. вступилъ на престолъ Александръ II-ой, и сошла въ могилу система Николая I-го; въ 66-омъ году начались покушенія, которыя дали невозразимое основаніе для робкой до того времени правительственной реакціи,—а эта, все усиливаясь, разростаясь, идя въ ширь и глубь, породила интеллигентное движеніе 70-хъ годовъ, нуждавшееся уже въ иныхъ нравственныхъ, философско-историческихъ принципахъ, чѣмъ движеніе ихъ предшественниковъ. Поворотнымъ пунктомъ исторіи 60-хъ годовъ я считаю 19-ое февраля 1861 года, т. е. день изданія манифеста о волѣ. Я считаю этотъ день поворотнымъ пунктомъ оттого, что единодушная до него передовая интеллигенція, сходившаяся на необходимости освобожденія, раздѣлилась на группы и фракціи: кто пожелалъ здѣсь и остановиться, кто пошелъ направо, а кто налѣво.

Труднѣе отвѣтить на первый изъ поставленныхъ вопросовъ. Однако сдѣлать это необходимо.

Шестидесятые годы называютъ обыкновенно эпохой великихъ реформъ. Это названіе очень хорошо, но далеко не покрываетъ всего движенія эпохи. Но если бы дѣло ограничилось только реформами—и то 60-ые годы заслуживаютъ полнаго уваженія: какъ граждане, мы живемъ только ими; если что дѣлаетъ насъ культурной націей, а не только сосѣдкой Турціи, Персіи и Китая—то опять та же эпоха. Въ ней при первомъ же взглядѣ можно различить нѣкоторыя характерныя особенности. *Во-первыхъ*—стремленіе отдѣлаться отъ наслѣдства барской культуры, стремленіе настолько рѣзкое и часто одностороннее, что оно возстановило противъ себя и даже озлобило всѣхъ людей 40-ыхъ годовъ. Надъ этимъ дѣломъ—и, конечно, не безъ злобы и раздраженія—работалъ разночинецъ, работали и сами дворяне иногда съ юношеской восторженностью, какъ Писаревъ, иногда въ скорбномъ раздумьи, съ проклятіемъ собственному своему безсилію, какъ Некрасовъ Всѣ основы патріархальнаго барскаго строя были объявлены упраздненными, такъ какъ реалистъ работникъ 60-ыхъ годовъ не чувство-

валъ въ нихъ никакой надобности. Славянофилы были прямо не у дѣлъ и вызывали однѣ насмѣшки. Ѣдко смѣялись надъ ними Добролюбовъ и Писаревъ; Чернышевскій не видѣлъ въ ихъ ученіи ничего цѣннаго, кромѣ признанія общины. Патріархальность и оффиціальная народность — вотъ истинныя мишени журнальной канонады 60-ыхъ годовъ. Вмѣсто этого (*во-вторыхъ*) люди желали *автономіи общественной* жизни отъ бюрократической опеки и автономія личности, которая была признана способной руководствоваться собственнымъ разумомъ, собственной критической мыслью, воспитанной и дисциплинированной широкимъ естественно-научнымъ образованіемъ. По этому поводу позволю себѣ небольшую оговорку.

Иные во всей эпохи 60-ыхъ годовъ, за вычетомъ дѣятельности правительства, видятъ какое-то бѣснованіе мысли, какую-то разнузданность чувства, почему и называютъ ее эпохой бѣснованія и разнузданности. Насчетъ бѣснованія мысли литература, какъ мы видѣли, никакихъ указаній не даетъ, болѣе, повидимому, обоснованъ упрекъ въ разнузданности чувствъ Въ подтвержденіе указываютъ обыкновенно на 1) „Что дѣлать?“ Чернышевскаго, 2) проповѣдь Писарева и 3) появленіе нигилистовъ.

Въ „Что дѣлать?“ находятъ проповѣдь свободной любви. Хотя эта проповѣдь и не занимаетъ перваго мѣста — она есть. Мужчина и женщина могутъ жить вмѣстѣ лишь въ томъ случаѣ, если любятъ другъ друга. Разъ любовь по какимъ бы то ни было причинамъ прошла—самое лучшее для нихъ разстаться. Нѣтъ ничего постыднаго въ томъ, если женщина отъ нелюбимаго человѣка уйдетъ къ человѣку любимому. Вотъ что говоритъ авторъ исторіи Вѣры Павловны. Но, посудите сами, какая же тутъ разнузданность? Гдѣ, въ чемъ? Вѣдь у Чернышевскаго всѣ эти сближенія и разставанія „ограничены“ любовью и при томъ самой горячей и искренней. Никакого намека на „безпорядочное половое сожительство“. И потомъ—это самое главное—не надо забывать, что ни Лопуховъ, ни Кирсановъ, ни Вѣра Павловна—совсѣмъ не идеалъ для Чернышевскаго.

Проповѣдь Писарева называютъ обыкновенно проповѣдью сенсуализма или, просто говоря, проповѣдью пріятныхъ ощущеній. Ничто не можетъ быть смѣшнѣе такого названія. На знамени Писарева было написано: любовь, знаніе, трудъ,—насчетъ же ощущенія ровно ничего не сказано. Писаревъ хотѣлъ въ сущности одного,—чтобы человѣкъ, освободившись отъ всякаго рода предразсудковъ, весь отдался истинному своему, опять-таки „общественному“, призванію, развивалъ его до совершенства, просвѣщалъ его наукой и приносилъ обществу возможно большую пользу. Онъ хотѣлъ, конечно, чтобы трудъ человѣка былъ пріятнымъ. Но, скажите, неужели трудъ человѣка долженъ быть непріятнымъ и даже проклятіемъ его жизни? Почему? Зачѣмъ? Какая кому отсюда выгода? Пріятный трудъ, трудъ

творческій, работа по призванію, а не по принужденію, не изъ страха голодной смерти, во всякомъ случаѣ продуктивнѣе, но это не значитъ, что эта работа легкая и обращается лишь въ усладительное времяпрепровожденіе. Напомню еще разъ одинъ небольшой отрывокъ изъ письма Писарева къ матери; быть можетъ, онъ хорошо объяснитъ читателю разнузданность этого столпа сенсуализма и нигилизма: „Теперь мнѣ представляется часто,— пишетъ Писаревъ,—что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дальнимъ занятіямъ“. Хороша распущенность и разнузданность, особенно если вспомнить, что эти строки написаны на 4-й или 5-й годъ заключенія въ крѣпости!

Не разнузданность, а напротивъ того, „самоограниченіе“ являлось характернымъ элементомъ проповѣди главарей литературнаго движенія. Добролюбовъ требовалъ его въ формѣ подвижничества, Писаревъ—работы. Подвижническій характеръ проповѣди Добролюбова отмѣчаютъ даже... постоянные сотрудники „Русскаго Вѣстника“ послѣдней его формаціи. „Добролюбовъ,—говоритъ, напр., г. К. Головинъ,—правда, не разъ призывалъ къ свободѣ отъ стѣсненій, налагаемыхъ семьею—избыткомъ родительской власти и неразрывностью супружескаго союза. Но совсѣмъ не забавы онъ сулилъ молодежи внѣ родительскаго дома, а суровый трудъ; и не во имя наслажденій свободной любви онъ стоялъ за женскую эмансипацію: онъ только перемѣщалъ центръ тяжести нравственнаго долга. Его этическій идеалъ далеко расходится съ общепринятымъ, но онъ все-таки видитъ въ немъ не простое удовлетвореніе прихотливыхъ требованій своенравной воли, а напротивъ того—строгое подчиненіе этой воли обязанностямъ не менѣе тяжелымъ, чѣмъ тѣ, какія налагала на нее традиціонная мораль“.

Въ этихъ словахъ, которыя, конечно, примѣнимы не только къ одному Добролюбову, есть кое-что изъ глубины эпохи взятое. Странное, на самомъ дѣлѣ, было время. Оно началось при несомнѣнномъ подъемѣ настроенія, при нѣкоторой восторженности, при нѣкоторомъ даже феерическомъ освѣщеніи разныхъ упованій и огромныхъ надеждъ; оно закончилось, когда было признано, что все это неосуществимо или, въ лучшемъ случаѣ, отложено на неопредѣленный срокъ. Въ дѣйствительности было пережито только 10 лѣтъ и нѣсколько реформъ, хотя и крупнѣйшихъ. Но въ мечтахъ, упованіяхъ, въ надеждахъ и созерцаніи было пережито страшно много—отъ личности, живущей подъ опекой патріархальныхъ устоевъ,—весь

ужасъ которыхъ такъ удивительно обрисованъ Островскимъ въ его безсмертныхъ драмахъ—до личности, не признающей надъ собой ничего, кромѣ власти разума и добровольно возложенныхъ на себя обязательствъ. Все это, разумѣется, оказалось сномъ, но такимъ сномъ, котораго, разъ его увидѣвши, человѣкъ не могъ уже забыть. Не о пустякахъ шло дѣло, не о подробностяхъ, не о „немножко побольше гласности", не о немножко болѣе правомъ судѣ, а обо всемъ этомъ въ высшей степени. Не на преждевременность такихъ стремленій надо указывать намъ—„благодарному потомству"—ибо преждевременность указана и доказана хронологіей — а надо понять ихъ огромность, понять и то, что и тогда въ массѣ ликующихъ и праздноболтающихъ все же были люди, хотя бы отдѣльные только люди, вліятельные однако и задававшіе тонъ, которые тоже понимали всю серьезность и важность переживаемаго момента. Ужъ никакъ не въ легкомысліи или проповѣди разнузданности можно ихъ упрекнуть, и кто знаетъ, на сколькихъ памятныхъ и хвалимыхъ—и еще больше—на сколькихъ забытыхъ, заброшенныхъ и поросшихъ лопухомъ могилахъ можно было бы написать вмѣсто эпитафіи двустишіе:

Милый другъ, я умираю
Оттого, что былъ я честенъ...

Не слова все это, нѣтъ не слова, какъ не слова и движеніе 60-хъ годовъ. Есть съ немъ, конечно, много наивнаго, въ родѣ непоколебимой и безграничной вѣры въ разумъ, въ возможность раціональнаго устройства человѣческой жизни, но развѣ когда что-нибудь примѣчательное и важное въ жизни людей обходилось безъ примѣси наивнаго?

Но наивность наивностью, однако очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Они думали, что цѣну имѣетъ только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости, которая основана на знаніи. Они думали, что знать нужно многое и прежде всего дѣйствительность жизни. Нужно соразмѣрять свои силы и свои удары,—говорили они. Нужно опредѣлять шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотя бы проистекающая изъ благороднѣйшихъ источниковъ, всегда одинаково вредна. Человѣкъ, не полагаясь только на свои силы, долженъ прислониться къ наукѣ, массѣ народа, долженъ стремиться къ достижимому. Общественный дѣятель, руководящій умами, какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. Поэтому-то ни бубновъ, ни барабановъ не видимъ мы въ лучшихъ статьяхъ того времени, но видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ „истинномъ" направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не „полегоньку" и „потихоньку", не малыя дѣла позднѣйшей эпохи.

Надо помнить, что въ эпоху 60-хъ годовъ человѣкъ вообще, разночинецъ въ особенности, *вѣрилъ* въ себя и свои силы. Мысль о томъ, что онъ служитъ обществу, прогрессу, совершенствованію жизни вообще удваивала его энергію. Это не интеллигентъ нашихъ дней, который, повидимому, всѣ свои упованія возложилъ на кокарду и въ случаѣ ея отсутствія чувствуетъ себя какъ бы оплеваннымъ и ненужнымъ. Въ своей самоувѣренности человѣкъ говорилъ тогда: для защиты праваго дѣла надо напрягать всѣ свои силы, всѣ свои способности, работать, не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и вѣрить въ неминуемое торжество справедливости хотя бы и тамъ, далеко, въ туманѣ голубого дня. Мысль, что ты стоишь на сторонѣ праваго дѣла, что его конечная побѣда настолько же обусловлена твоими личными усиліями, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюціи— единственная, которая въ состояніи придавать человѣку неисчерпаемую вѣру и сдѣлать ее нравственной въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Истинная нравственность не можетъ не основываться на знаніи исторіи и современности: человѣкъ только помогаетъ исторической эволюціи, но не создаетъ ея. Защищать папство и католицизмъ въ XVI-мъ вѣкѣ было не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведеніе—то, которое содѣйствуетъ развитію общества; безнравственное (хотя бы проистекающее изъ честнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ мотивовъ)—то, которое тормозитъ развитіе общества.

Вотъ эта-то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами.

Оцѣнивая 60-е годы (я имѣю въ виду рѣдкіе случаи оцѣнки безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибѣгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: „60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся на нихъ, не имѣли серьезнаго и продолжительнаго успѣха, слѣдовательно, они виновны, хотя, быть-можетъ, и заслуживаютъ снисхожденія“. По моему искреннему убѣжденію, оцѣнивать историческія явленія по ихъ успѣху и неуспѣху— можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критеріумъ, безъ котораго мы непремѣнно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалѣнію, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замѣтимъ прежде всего, что мы люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оцѣнкѣ успѣха или неуспѣха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, „накануне“. Въ исторіи то и дѣло бываютъ временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось, напр., во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали всѣ монархи Европы, и которое

потомъ въ періодъ реакціи оказалось униженнымъ и стоптаннымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала тому же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіи и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получили истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера униженный въ періодъ 1800—1830 гг., опять расправилъ свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ 1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно не истинно, не правдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная mobile donna, сегодня оттолкнетъ, завтра привлечетъ, потомъ опять оттолкнетъ. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можетъ смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Но что же дѣлать ему? Не можетъ же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мнѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется, и грядущія столѣтія разъяснятъ все? Конечно, не можетъ. Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ. Правило это гласитъ: *Только то міросозерцаніе можетъ разсчитывать на побѣду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и нравственно, которое, опираясь на знаніе дѣйствительности и исторіи, соотвѣтствуетъ прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.*

Значитъ насчетъ бѣснованія и разнузданности 60-хъ годовъ можно и не говорить.

Перехожу теперь спокойно къ нигилизму, какъ одному изъ любопытнѣйшихъ теченій мысли въ описываемую эпоху, созданному автономіей личности. Самое слово „нигилизмъ", „нигилистика" хотя и было изобрѣтено гораздо раньше (Надеждинымъ), но упрочилось за нашимъ литературнымъ обиходомъ лишь въ 60 ые годы и пользовалось широкой распространенностью. Но... что такое нигилизмъ? За разъясненіями я позволю себѣ обратиться къ одному человѣку тѣхъ дней, тогда журналисту и довольно видному — Н. Н. Страхову. Онъ въ данномъ случаѣ компетентенъ: вся „исторія" нигилизма прошла на его глазахъ, онъ самъ боролся съ этимъ явленіемъ, насколько могъ. Временами онъ ненавидѣлъ его, если вообще ненависть и Страховъ понятія совмѣстимыя.

„Нигилизмъ,—говоритъ Страховъ,—есть явленіе нашей умственной жизни, представляющее великое множество безобразій. Всѣмъ извѣстны

эти безобразія, они описаны въ повѣстяхъ и романахъ, каждый о нихъ разсказываетъ съ разными добавленіями и варіантами.

„Поэтому первое невольное отношеніе, въ которое мы становимся къ нигилизму, есть высокомѣріе. Мы обыкновенно смотримъ на него презрительно, смѣемся надъ нимъ, какъ надъ дѣтскимъ неразуміемъ или возмужалымъ сумасбродствомъ.

„Справедливо ли это? Справедливо ли судить о какомъ бы то ни было фактѣ умственной жизни по однимъ его безобразнымъ проявленіямъ? Самыя безобразія, чѣмъ чаще и обильнѣе онѣ происходятъ—не свидѣтельствуютъ ли только о силѣ источника, изъ котораго они проистекаютъ, не представляютъ ли очевидно крайностей, до которыхъ неизбѣжно должно вырождаться въ иныхъ послѣдователяхъ настроеніе, глубоко проникающее въ умы?“

Считая нигилизмъ явленіемъ историческимъ и серьезнымъ, Страховъ совѣтуетъ прежде всего не плеваться, а спросить себя, откуда оно? Конечно, съ Запада, отвѣчаетъ онъ, или подробнѣе:

„Прежде всего нигилизмъ есть нѣкоторое западничество. Онъ возникъ подъ вліяніемъ Запада, слѣдовательно, подъ тѣмъ вліяніемъ, которое такъ давно и такъ сильно на насъ дѣйствовало и постоянно дѣйствуетъ. Напрасно у насъ нѣкоторые критики и публицисты, ради пущаго униженія нигилизма, увѣряютъ, что онъ есть наше доморощенное, туземное сумасбродство, что на Западѣ ничего подобнаго не существуетъ, а все идетъ чинно, стройно и благополучно. Совершенно ясно, что умственныя явленія Запада дали точки опоры для развитія нашего нигилизма, явленія, давно тамъ зародившіяся, имѣющія силу и будущность, и потому составляющія постоянный источникъ, постоянную поддержку для нашего нигилистическаго движенія. Нигилизмъ, какого бы оттѣнка онъ не былъ, всегда характеризуется великимъ уваженіемъ къ Западу, всегда имѣетъ тамъ какихъ-нибудь божковъ и оракуловъ, можетъ быть, превратно понимаемыхъ, но отъ всего сердца поклоняемыхъ и славимыхъ. Это та сторона нигилизма, въ которой обнаруживается недостатокъ у насъ самостоятельнаго развитія—наше подчиненіе Западу.

„Во-вторыхъ, нигилизмъ есть не что иное, какъ крайнее западничество, — западничество, послѣдовательно развившееся и дошедшее до конца. Въ этомъ отношеніи онъ преставляетъ дѣйствительный, неизбѣжный прогрессъ, и, напрасно, нѣкоторые наши западники чураются нигилизма, утверждая, что и нынѣ, какъ встарь, можно питаться западными взглядами и идеями, нимало не впадая въ нигилизмъ“.

Западъ, - продолжаетъ Страховъ, —въ умственномъ и нравственномъ отношеніи великъ и многообразенъ. Здѣсь полный просторъ для выбора по вкусу, чего кто хочетъ—отъ праваго гегеліанства до анархизма. Но почему же мы, русскіе люди, показали особую наклонность къ воспріятію доктринъ отрицательныхъ? Потому,—отвѣчаетъ Страховъ,— что:

„Западъ самъ училъ насъ, что его формы преходящія, что все подчинено теченію, измѣненію, прогрессу и мы, *столь жаждавшіе измѣ-*

неній у себя дома, жадно примкнули къ этому ученію. Мы повѣрили всей душой теоріи прогресса, которая утверждала, что рано или поздно не останется въ старой Европѣ камня на камнѣ; мы не захотѣли исповѣдывать то, что должно было скоро отжить и разрушиться, а прямо примкнули къ новому, будущему, къ надеждамъ и порываніямъ впередъ"..

Признавши критику Запада надъ самимъ собою, мы должны были или: 1) преклониться передъ началами собственной народности, или 2) примѣнить методъ и штандпункты западной критики къ своимъ доморощеннымъ порядкамъ. Мы выбрали второй путь, и это естественно тамъ, гдѣ доморощенные порядки даютъ обильнѣйшій матеріалъ, до того обильный, что умъ теряется.

Именно таковъ конечный выводъ Н. Н. Страхова—этого замѣчательнаго и глубокомысленнаго русскаго публициста, который всегда какъ-то удивительно ловко и остроумно приходитъ къ утвержденію тѣхъ выводовъ, которые онъ взялся отрицать!.. Вотъ его слова:

„Нигилизмъ есть прежде всего и главнѣе всего—отрицаніе; это его основная и здоровая, правильная черта. Все, что можетъ служить опорою для отрицанія, все, что даетъ отрицанію разумность и право, все идетъ въ прокъ нигилизму, составляетъ его законную пищу, законный источникъ. *Русская жизнь, которою въ сущности дѣла вызывается это отрицаніе, вызываетъ его съ двухъ сторонъ.* Слабость нашего духовнаго развитія, неясность, неформулированность его глубокихъ основъ, внушаютъ смѣлость отрицать эти основы, отвергать ихъ состоятельность въ силу тѣхъ требованій и задачъ, съ которыми мы, повидимому, имѣемъ полное право приступать къ нимъ. Съ другой стороны, безобразія, которыми преисполнена русская жизнь, составляютъ еще болѣе распространенную и общедоступную пищу отрицанія. Можно сказать утвердительно, что каждое безобразіе, творимое нынѣ на русской землѣ, имѣетъ своимъ непосредственнымъ слѣдствіемъ, между прочимъ, и усиленіе нигилизма, отражается въ его пропорціональномъ нарощеніи.

„Эта здоровая сторона нигилизма никогда не должна быть упускаема изъ виду. Скептицизмъ, недовѣріе, отсутствіе наивности, насмѣшливость, бездѣятельная, но умная лѣность,—всѣ эти черты русскаго характера находятъ здѣсь себѣ исходъ" *).

Словомъ, Западъ далъ орудіе, русская жизнь—матеріалъ, и что удивительнаго, если закипѣла прежде всего чисто отрицательная работа. По Страхову, она не только естественна и необходима, но и здорова въ то же время. И тутъ опять приходится вспомнить знаменитыя слова Чаадаева о нашемъ духовномъ и историческомъ бесчествѣ. О, конечно! Будь у насъ больше ума, культуры, знанія, мы не начали бы съ нигилизма, не увлеклись бы имъ, потому что онъ, въ концѣ-концовъ, сводится на мычаніе.

---

*) Страховъ. Бѣдность нашей литературы. Спб. 1868, стр. 44—52.

Но, по Страхову, нигилизмъ былъ нуженъ для расчистки почвы... Это свое дѣло онъ сдѣлалъ.

Пока, какъ видите, ни слова о разнузданности. Есть мимоходомъ брошенное замѣчаніе о безобразіяхъ нигилизма... Но кто и когда думалъ ихъ отрицать? Но гдѣ общественное движеніе безъ ила и грязи?.. И какое все это имѣетъ отношеніе къ литературѣ 60-хъ годовъ?

Пора однако сказать, въ чемъ ихъ суть, какъ я ее понимаю. Суть эта заключается въ дружномъ, а временами и единодушномъ стремленіи къ общественной самодѣятельности. Не о ней ли говорятъ въ своихъ запискахъ Погодинъ и К. Аксаковъ? Не эту ли ихъ мысль привѣтствуетъ К. Кавелинъ, полностью подписуясь подъ ней? Не о томъ же ли мечталъ Хомяковъ? Не ее ли защищалъ Катковъ въ своемъ англоманствовавшемъ „Русскомъ Вѣстникѣ". Не ту же ли самую цѣль преслѣдовали наконецъ и всѣ наши реформы вплоть до судебной, т. е. до 1866 года? Конечно, да.

Итакъ, стремленіе къ общественной самодѣятельности и къ автономіи личности отъ опеки устоевъ патріархальнаго строя является центральной осью движенія 60-хъ годовъ какъ въ литературѣ, такъ и въ жизни. Эти мечтанія стали для насъ преданіемъ, почти легендой, надъ міромъ они провеслись съ шумомъ... Практическіе результаты эпохи 60-ыхъ годовъ и ея литературы чувствуются и теперь... Откуда иначе наша гражданственность, хотя бы и запуганная, хотя бы ползающая, но все же существующая, какъ нѣкоторый общепризнанный фактъ жизни?

ДОМАШНЯЯ
БИБЛИОТЕКА
УЧ...А
Алексе... ...вича

СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика.

Что-то напряженное, скорбное, часто прямо-таки фантастическое чувствуется въ этой эпохѣ. Она близка къ предшествовавшей ей эпохѣ 60-ыхъ годовъ, родственна ей и въ то же время представляетъ нѣчто особенное, отличное и обособленное. Вѣра въ непреложность и истину науки и ея выводовъ сохраняется, конечно, но даже и здѣсь, въ этой области человѣкъ, личность заявляетъ свои права на верховенство и соглашается, въ концѣ концовъ, принять лишь такіе выводы, которые соотвѣтствуютъ его нравственному идеалу (субъективный методъ). Это грань индивидуализма и своеволія. Религія человѣчества продолжается—это единственная религія двухъ десятилѣтій—но требуетъ она уже не разумнаго, раціональнаго служенія людямъ, а подвижничества прежде всего и самоотреченія. Проповѣдуютъ счастье съ надрывомъ, даже отказываясь отъ собственнаго личнаго счастья, идея котораго вся цѣликомъ поглощена идеей подвига. Тотъ же надрывъ въ отношеніи къ народу. Мысль о немъ, забота о немъ—на первомъ планѣ, какъ и раньше;—но самый народъ или идеализируется или даже является въ мистическомъ ореолѣ сказочнаго богатыря, цѣлые, вѣка спавшаго и теперь готоваго проснуться, чтобы всѣмъ людямъ, всему человѣчеству указать путь и осуществить идею своего нравственнаго миссіонизма, т. е. водворить если и не царство Божіе здѣсь на землѣ то, по крайней мѣрѣ, царство справедливаго распредѣленія земныхъ благъ. Личность еще больше въ своихъ глазахъ, еще могущественнѣе, еще „самоцѣннѣе"—но тѣмъ больше и ея подчиненіе. Не вынося своей свободы и полноты своего своеволія, она жадно ищетъ преклоненія и преклоняется, прежде всего, передъ крестьянской массой, передъ тѣмъ залогомъ грядущаго справедливаго распредѣленія богатствъ и гармонически цѣльной жизни, который она несетъ въ себѣ. Пока же на первомъ планѣ (въ ли-

тературѣ) жалость къ освобожденному, но не счастливому еще народу, жалѣніе его до слезъ, умиленіе передъ сохраненной имъ чистотой своего внутренняго образа, „лика“ такъ сказать и, конечно, непримиримая ненависть къ окружающимъ народъ обстоятельствамъ. Кающійся дворянинъ вноситъ въ эту атмосферу мотивы своей больной совѣсти, жажду покаянія, тотъ духовный надрывъ,—который помогъ-бы ему сразу перешагнуть пропасть, отдѣляющую его отъ народа,—и идею красоты. Она, эта идея, выдвинута на первый планъ. Съ ея точки зрѣнія созерцается, между прочимъ, и крестьянская жизнь,—почему мы то и дѣло слышимъ разговоры о поэзіи земледѣльческаго труда, о праведности (высшая степень красоты этической) крестьянской жизни вообще,—и самая жизнь, отвлеченно взятая. Въ центрѣ представленія о ней лежитъ идея подвига, прекраснаго внѣ отношенія къ своимъ результатамъ, влекущаго къ себѣ внутренней красотой своей. И все это—и огромность стремленій, и жажда подвижничества, и безнадежный утопизмъ въ отношеніи къ народу и интеллигенціи—все это, повторяю, придаетъ эпохѣ ея напряженный, фантастическій характеръ.

Въ общемъ своемъ стремленіи 60-ые годы были скромнѣе. Ихъ часто и справедливо называютъ „просвѣтительными“. Ихъ умственное движеніе сравниваютъ даже съ умственнымъ движеніемъ Европы XVIII в., разумѣется, mutatis mutandis. На самомъ дѣлѣ вѣра въ разумъ, въ возможность построенія жизни на разумныхъ началахъ, требованія школы, образованія, преклоненіе передъ естественными науками—этимъ точнымъ знаніемъ—все это явленія той же категоріи и все это одинаково характерно для эпохи. Шелгуновъ всю свою жизнь твердилъ: намъ нужна школа, еще школа и еще школа. Камнемъ краеугольнымъ ученія Писарева было сознаніе, что мы бѣдны и глупы, и значитъ, наша первая обязанность—учиться, чтобы развивать свои производительныя силы. Вся беллетристика того времени была построена на противоположеніи людей умныхъ, раціонально устраивающихъ свою жизнь, и людей неумныхъ, держащихся рутины, традицій и предразсудковъ. Прибавьте къ этимъ фактамъ женское стремленіе къ образованію, воскресныя школы, массу публичныхъ лекцій, которымъ лишь обстоятельства помѣшали превратиться въ народные университеты, упорную популяризацію, напряженное изданіе дешевыхъ и общедоступныхъ книжекъ, работу на поприщѣ народнаго образованія—и вы увидите, что просвѣщеніе—это нервъ эпохи. Не единственный, конечно, но самый важный, и можно сказать, что, когда исчезли всѣ другія мечты, когда всѣ другія ея вѣрованія оказались разрушенными—эта мечта видѣть народъ умнымъ, образованнымъ и самодѣятельнымъ, эта вѣра въ могуще-

ство разума и знанія уцѣлѣли среди обломковъ и составляютъ необходимые элементы „людей 60-ыхъ годовъ“, очутившихся среди новой обстановки. Слова Писарева, что мы бѣдны и глупы и что, пока мы бѣдны и глупы, ничто намъ не дается, быть можетъ, самое драгоцѣнное, что завѣщано намъ тѣмъ временемъ. Отсюда понятнымъ и опять-таки характернымъ для эпохи, является интересъ къ вопросамъ воспитанія, понятной и характерной—роль лучшихъ нашихъ педагоговъ, напр., Ушинскаго, Водовозова, Стоюнина и т. д.—потому что 60-ые годы это та же мечта о созданіи путемъ науки и просвѣщенія новой породы развитыхъ, умныхъ, здоровыхъ и самодѣятельныхъ людей.

Мечта быстро доказала, если и не свою неосуществимость, то во всякомъ случаѣ — стало очевиднымъ, что ее приходится отложить въ очень долгій ящикъ, разъ въ распоряженіи у людей нѣтъ какихъ-нибудь средствъ кромѣ популяризаціи, лекцій, воскресныхъ школъ...

Это сознаніе неосуществимости мечты становилось изо-дня въ день все очевиднѣе. Все вело къ нему и все укрѣпляло его и прежде всего, конечно, та *реакція, которая началась въ правительственныхъ сферахъ*. Симптомы этой реакціи можно было разсмотрѣть уже съ 62-го года въ такихъ фактахъ, какъ пріостановка „Современника“ и „Русскаго Слова“ на 8 мѣсяцевъ; петербургскіе пожары, и самое главное—польское возстаніе 63-го года дали этой реакціи твердую почву подъ собой. Послѣ выстрѣла Каракозова (1866) она стала фактомъ, обратилась въ систему. Чиновничество и дворянство, какъ бы стушевавшіяся въ эпоху великихъ реформъ, нѣсколько огорошенныя общимъ увлеченіемъ и напуганныя имъ, подняли свои головы. Катковъ началъ свою упорную и въ общемъ побѣдоносную борьбу съ радикалами, либералами, или, какъ онъ презрительно говорилъ, „мальчишками“, волна общественнаго увлеченія отхлынула.

„Нелегко и не весело,—пишетъ, напр., К. Арсеньевъ,—жилось русскимъ людямъ въ ту эпоху, съ которою совпадаетъ второй фазисъ развитія щедринской сатиры. Противодѣйствіе реформамъ, предпринятымъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, не прекращалось, собственно говоря, ни на одну минуту, безпрестанно подбрасывая палки подъ колеса, создавая или сочиняя преграды, ограничивая задуманное, искажая исполненное; перевѣсъ однако оставался сначала на сторонѣ движенія, активъ политической жизни оказывался крупнѣе ея пассива. Въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ, вслѣдъ за великимъ днемъ 19-го февраля, реакціонныя стремленія стали быстро рости и укрѣпляться, но въ свѣтлыхъ промежуткахъ все еще не было недостатка. Окончательно потемнѣлъ горизонтъ не раньше 1866 года; къ 1868 г. темнота была уже явленіемъ нормальнымъ и привычнымъ. Ни одна реформа не была формально отмѣнена, но всѣ были въ большей или меньшей степени обрѣзаны, обезсилены, извращены, выражаясь словами поэта, всѣ рановременныя

мѣры — рановременныя, конечно, только съ реакціонной точки зрѣнія теряли должные размѣры и съ трескомъ пятились назадъ. Осуществленіе преобразованій было отдано, за однимъ лишь исключеніемъ, въ руки людей, имъ враждебныхъ. Закрытіе земскихъ учрежденій въ с.-петербургской губерніи (1867—68) послужило грознымъ предзнаменованіемъ для всего земства. Цѣлые отдѣлы новаго законодательства о печати сдѣлались мертвой буквой, прежде чѣмъ было вполнѣ испытано ихъ дѣйствіе; практика, стѣснительная для печати, была узаконена дополнительными постановленіями 1872 и 1873 г. Новые суды, едва вступивъ въ жизнь, стали предметомъ недоброжелательства и подозрѣній. Отъ крестьянскихъ учрежденій уцѣлѣло почти одно только имя, крестьянскій вопросъ былъ объявленъ навсегда порѣшеннымъ, больше не существующимъ. Податная реформа, поставленная было на очередь самимъ правительствомъ, застыла на одномъ мѣстѣ, несмотря на длинный рядъ сочувственныхъ ей земскихъ постановленій; на первый планъ выдвинулся, взамѣнъ ея, вопросъ объ усиленіи губернаторской власти. Въ общественной жизни все рѣзче и рѣзче заявляли себя обычные результаты реакціи и застоя, зарождались всѣ тѣ явленія, которыя достигли своего апогея къ концу семидесятыхъ годовъ. Мельчали учрежденія, мельчали люди, усиливался духъ хищенія и наживы, всплывало наверхъ все легковѣсное и пустое".

Разсмотримъ хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ положеніе двухъ основныхъ сословій въ государствѣ—дворянскаго и крестьянскаго, и этотъ краткій обзоръ только подтвердитъ справедливость приведенныхъ словъ.

Въ самый разгаръ эпохи бури и натиска многіе, и прежде всего сами дворяне, искренно полагали, что ихъ дворянское сословіе упразднено. Въ историческомъ прошломъ дворянская идея до такой степени срослась съ крѣпостнымъ правомъ, съ рабствомъ и привилегіей, что когда смѣлыя реформы подкопались подъ этотъ фундаментъ, не трудно было, особенно сгоряча, съ перепугу, вообразить полное ниспроверженіе дворянства. Нелицепріятное свидѣтельство на этотъ счетъ мы находимъ у Щедрина.

„Странное дѣло,—читаемъ мы въ „Письмахъ о провинціи":—покуда существовало крѣпостное право, никому не приходило въ голову усомниться въ существованіи русскаго дворянства. Это существованіе заявляло себя цѣлымъ рядомъ такихъ дѣйствій, которыя самаго невѣрующаго человѣка заставляли вѣрить... Трудно было не повѣрить тому, что всегда стояло, какъ живое передъ глазами, то въ видѣ помѣщика, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ исправника, творящаго судъ и расправу, то въ видѣ судьи или засѣдателя, творящихъ судъ и расправу. Это было сословіе, какъ бы предназначенное природой для суда и расправы; оно одно имѣло возможность предъявлять нѣкоторую силу среди общаго безсилія, нѣкоторую иниціативу среди общаго безмолвія. Но главная и самая характеристическая черта, которая проходитъ сквозь всю исторію этой корпоративной силы, заключается, все-таки, въ томъ, что, однажды устроившись, она до самаго конца осталась при этомъ

устройствѣ, занимаясь повтореніемъ задовъ и ни разу не поставивъ себѣ вопроса, возможно ли для нея дальнѣйшее развитіе, въ какомъ именно смыслѣ и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.

„Но будущее имѣетъ за собой то неудобство, что оно непремѣнно является въ срокъ. Въ настоящемъ случаѣ, оно пришло въ видѣ упраздненія крѣпостного права—и что же оказалось? Что одного удара было достаточно, чтобы ослабить всѣ связующія нити, что вмѣстѣ съ исчезновеніемъ крѣпостного права, исчезло и дворянство!"

И, конечно, старое дореформенное дворянство, какъ первая экономическая сила государства обладавшая къ тому же огромными привилегіями, какъ его единственный культурный представитель—исчезло. Но, наперекоръ фактамъ жизни, осталась дворянская идея и она то, при первыхъ признакахъ реакціи, подняла голову. Эта дворянская идея слагалась изъ нѣсколькихъ элементовъ. Прежде всего изъ элемента обиженности, потому что, хотя за крестьянъ было заплачено и заплачено очень щедро, хотя, въ видѣ выкупныхъ платежей, дворянство получило болѣе 400 милліоновъ и почти столько же въ видѣ желѣзнодорожныхъ концессій и ссудъ изъ земельныхъ банковъ, однако крѣпостное право по общему мнѣнію представляло изъ себя такое устройство человѣческой жизни, что лучшаго ничего и не выдумаешь и потому потери его не могли вознаградить никакіе милліоны. Крѣпостное право, какъ нѣчто устойчивое, обезпечивало, полагалось, все будущее дворянство; деньги въ его рукахъ не удержались и только раззадорили аппетитъ. Второй элементъ дворянской идеи заключался въ томъ, что государство обязано содержать и кормить всѣхъ дворянъ, безъ различія пола и возраста. Этотъ элементъ, конечно, самый существенный, и какъ только упала горячка 60-хъ годовъ, замолкли либеральныя фразы, а выкупныя свидѣтельства были проѣдены, мы видимъ поучительное зрѣлище—движеніе дворянства въ города и преимущественно столицы на службу или вѣрнѣе на кормъ.

„Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ дворянскаго оскудѣнія,—пишетъ г. Головинъ,—было исканіе благъ насущныхъ вдали отъ родныхъ гнѣздъ—исканіе, за которое наиболѣе расторопные изъ помѣщиковъ и принялись весьма усердно.

„Шло оно по двумъ главнымъ направленіямъ—въ сторону государственной службы, гдѣ пристроиться особенно старалось молодое поколѣніе, и въ области дѣловой спекуляціи, манившей къ себѣ преимущественно зрѣлыхъ представителей дворянства. Какъ разъ въ половинѣ 60-хъ годовъ на томъ и другомъ поприщѣ открылись широкіе виды на обильную жатву. Реформы значительно размножили административно-судебный персоналъ, обставивъ новыя должности и сытными окладами, а разростаніе желѣзнодорожной сѣти значительно увеличило тяготѣніе провинціи къ столицѣ. Это тяготѣніе и вызванный имъ усиленный обмѣнъ не только людей, но и товаровъ, между деревней и городомъ, въ свою очередь создало, прежде совсѣмъ неизвѣстные, источники обогащенія.

„Сидѣвшее по своимъ угламъ провинціальное дворянство протерло глаза, почуявъ негаданную добычу. Возможность пріобрѣсти нѣсколько учредительныхъ паевъ въ желѣзнодорожной концессіи или пристроиться къ какому-нибудь вновь открывшемуся банку, блестящимъ миражемъ проносилась предъ восхищенными глазами старосвѣтскихъ помѣщиковъ, которымъ прежде и во снѣ не снились сказочныя суммы, теперь представлявшіяся уже не во снѣ только, а и на яву. Въ то же время вѣсти о новыхъ мѣстахъ и неслыханные прежде оклады по судебному, финансовому и другимъ вѣдомствамъ, давали надежду обезпечить сынковъ, которымъ уже не сидѣлось въ деревнѣ и прежняя карьера армейскаго кавалериста, да украшеніе сельскихъ досуговъ прелестями разныхъ Палашекъ и Матрешекъ, казались очень уже мизерными. Аппетитъ разыгрался и у дѣтей, и у отцовъ, и разыгрался не потому только, что дома наступило оскудѣніе, а потому въ особенности, что далекая прежде столица, стала такою доступною, благодаря чугункѣ. Я охотно бы даже сказалъ, что не оскудѣніе вызвало эмиграцію въ Петербургъ, а какъ разъ наоборотъ, пробужденіе новыхъ потребностей и погоня за мишурными приманками столицы, вызывали бросаніе имѣній на произволъ судьбы и потому разорили помѣщичьи хозяйства. Какъ бы то ни было, надежда обогатиться разомъ, вдругъ, естественнымъ образомъ должна была обусловить и готовность достичь такого обогащенія, какимъ бы то ни было путемъ. Погоня за успѣхомъ, во что бы то ни стало, не могла не подѣйствовать разрушающимъ образомъ“.

На интеллигентное движеніе надвигался беззастѣнчивый карьеризмъ и разгулявшіеся аппетиты. И оно было беззащитно, потому что его подавляла масса, а что еще хуже: *правительство, отвернувшись отъ него, стало относиться къ нему сначала подозрительно, а потомъ и прямо враждебно.* Это сразу должно было измѣнить положеніе вещей и, очевидно, не къ выгодѣ для людей 70-ыхъ годовъ. Но было и еще въ жизни нѣчто, если не въ одинаковой степени замѣтное, то въ одинаковой — крупное и стихійное. Я говорю, конечно, о той новой общественной силѣ, которая успѣла такъ сказать сформиться и выступить на сцену жизни (и для многихъ, конечно, совершенно неожиданно) — это сила русской буржуазіи, русскаго мѣщанства. Куда-нибудь да пошли 400 милліоновъ выкупныхъ платежей и столько же милліоновъ земельныхъ ссудъ. Пошли они на упроченіе русскаго кулачества и русскаго капитализма. Изъ своихъ подваловъ и лавокъ, изъ своей скрытой застѣночной жизни купецъ вышелъ на улицу и скоро эту улицу себѣ подчинилъ. Баринъ все же держалъ его въ передней: теперь ему не мѣшали не только зайти въ гостиную, но и разсѣсться тамъ чуть ли даже не въ переднемъ углу. Что онъ несъ съ собою? Конечно, на первыхъ порахъ только духъ хищнической наживы, торгашескаго расчета и того узкаго практицизма, который знаетъ, что рубль долженъ дать рубль, и больше ничего не знаетъ. Вмѣстѣ съ карьеризмомъ

дворянства эти вотъ разнузданные торгашескіе инстинкты и составили господствующій духъ времени. Бороться съ нимъ и побѣдить его хотѣла интеллигенція. Изъ какихъ элементовъ состояла она въ эту эпоху?

Конечно, не все дворянство пошло по пути карьеризма и не все оно сосредоточило свои думы на прокормленіи. Рядомъ съ дворянской идеей была сильна, хотя и не въ одинаковой степени, культурная традиція. Эта культурная традиція, исполненная еще воспоминаніями объ интеллигентномъ движеніи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, какъ бы напрягла теперь всѣ свои силы и, видя себя окруженной врагами извнѣ, тѣснимая предателями изнутри, создала одинъ изъ самыхъ красивыхъ, хотя и болѣзненныхъ русскихъ типовъ— *типъ кающагося дворянина*. Тутъ—голосъ совѣсти, встревоженной воспоминаніями о неправдѣ предковъ, тутъ безкорыстнѣйшее благородство, тутъ надрывъ души, то самообожавшей себя всей полнотой самообожанія, то презиравшей себя всей полнотой презрѣнія.

Въ кающемся дворянинѣ прежде всего и слышнѣе всего голосъ совѣсти. Онъ спрашиваетъ себя, откуда у него образованіе, откуда культурныя стремленія, откуда тонкость вкуса, откуда благороднѣйшія побужденія, и на все это у него готовъ одинъ отвѣтъ: „все оттуда же, все изъ условій крѣпостного состоянія, въ которомъ цѣлые вѣка томился народъ, и этотъ народъ безропотно, а часто и самоотверженно кормилъ, одѣвалъ, услаждалъ моихъ предковъ, а они расплачивались за это зуботычинами, кровавыми расправами на конюшнѣ, полнымъ пренебреженіемъ къ личности человѣка“... Онъ можетъ, конечно, успокоить себя вотъ какимъ разсужденіемъ: „мои пріятели, крѣпостные Ѳедька и Яковъ проданы, и этою цѣною оплачено мое воспитаніе: такимъ образомъ создался образованный гуманный, развитой, либеральный молодой человѣкъ, который, выйдя на стезю жизни, еще болѣе расширитъ предѣлъ гуманности, образованности, развитія и либерализма“,—но онъ не хочетъ, не можетъ сдѣлать этого. Его мучитъ совѣсть. Его тяготитъ дворянское происхожденіе. Онъ знаетъ, что онъ долженъ отвѣтить за все это, долженъ искупить вину. И онъ спѣшитъ, торопится, хотя каждый шагъ дается ему нелегко. Онъ точно взбирается на высокую гору и часто лишь отчаяннымъ приступомъ, надрывомъ беретъ крутизны:

„Но во имя правды,—восклицаетъ онъ,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости“. Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впослѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать труд-

но, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свѣта! Какъ не каяться, если совѣсть мучитъ? Пусть она мучитъ вздоромъ и неправильно, да вѣдь мучитъ. Это—фактъ"...

Историческое прошлое русской барской интеллигенціи (разумѣется, въ лицѣ лучшихъ ея представителей), доказало, что вопросы совѣсти (начиная съ Радищева), не только не чужды ей, а напротивъ того, самые для нея близкіе и родственные. Стоитъ вспомнить имена Лермонтова, Некрасова, Тургенева, Герцена, характеристику декабристовъ въ извѣстномъ стихѣ, „хлѣбъ, воздѣланный рабами, не шелъ имъ въ прокъ" и наконецъ Толстого со всѣми его исканіями, самобичеваніемъ и т. д.—чтобы сдѣлать эту истину очевидной. Что же удивительнаго, если—вполнѣ согласно съ исторической традиціей—вся работа духа у кающагося дворянина подчинилась голосу встревоженной совѣсти? Отсюда предстояло два выхода—или упорная работа самосовершенствованія, или другая болѣе широкая работа въ видѣ расплаты передъ народомъ за грѣхи прошлаго. Кающійся дворянинъ выбралъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ послѣднее.

„Вотъ замѣчательный и, смѣю сказать, историческій фактъ: въ то время, когда Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ то самое время, всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотѣли никакихъ эпитемій и знакомились съ бѣлой горячкой. Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалѣченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возни .али чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себѣ устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная нищета. Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свѣжаго воздуха. Такъ что они, со всѣмъ своимъ ньянствомъ и буйствомъ, спасали насъ".

Эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы спасали, указывая путь искупленія, пробуждая въ барской душѣ несвойственныя ей рѣзкія и рѣшительныя чувства, собственной своей искалѣченной судьбой напоминая кающимся, что

„Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то-есть нужны Ѳедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ „вольные", но во всякомъ случаѣ, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся".

Такова этическая почва, на которой выросло народническое движеніе 70-хъ годовъ. Это была почва истерзанной совѣсти, расплаты, жажды искупленія и *жалѣнія*.

Тутъ не только любовь и уваженіе къ мужику, не только печалованіе объ его участи,—тутъ нѣчто большее, я бы сказалъ даже мистическое тутъ жалѣніе, жалость до боли, до самопожертвованія, тутъ плачъ объ исчезающихъ устояхъ народной жизни, непримиримая обида, наносимая сердцу человѣческому самодовольнымъ ходомъ жестокой дѣйствительности, тутъ жажда вѣрить во что бы то ни стало, несмотря ни на что, желаніе держать мчащійся поѣздъ голыми руками.

Голосъ совѣсти—вотъ что слышнѣе всего. А она не считалась, не соразмѣряла силъ.

„Надѣялись на народъ, на самихъ себя—интеллигенцію. На мужика надѣялись потому, что его идеализировали, а это было вполнѣ естественно въ „кающихся дворянахъ" по отношенію къ тѣмъ, передъ кѣмъ они каялись. Этого мужика горячо любили за надежды, которыя на него возлагались, и за тотъ грѣхъ, въ которомъ себя передъ нимъ винили и, можетъ быть, еще горячѣе любили за тѣ страданья, которыя онъ перенесъ въ прошедшемъ и переносилъ въ настоящемъ: любили-жалѣли. Самихъ себя—интеллигенцію тоже любили, но лишь постольку, поскольку отрекались отъ себя, скидали съ себя барскія „ризки", „сливались" съ народомъ, дѣлая его дѣло... Подъ интеллигенціей разумѣли всѣхъ... „хорошихъ" людей. Въ горячей любви къ мужику, въ великихъ надеждахъ коренился источникъ и великой способности къ самопожертвованію....Къ серединѣ 70-хъ годовъ жизнерадостности уже было немного. Надежды оставались, но уже были не розовыя: онѣ какъ бы свѣтили сквозь какой-то мрачный туманъ отъ тѣхъ трагедій, которыя чуялись въ воздухѣ... Не одна уже была введена поправка, не мало было сдѣлано оговорокъ. Но все-таки надежды были великія. Лирическое, пробавлявшееся однимъ собственнымъ настроеніемъ народничество, уступило мѣсто критическому. Послѣднее уже видѣло, что община—это „чортъ знаетъ что, а не община", но еще держалось—и теперь намъ видится, пожалуй, здѣсь какой-то порывъ отчаянія—держалось за надежду—„безсознательную красоту ржаного поля", стихійное благообразіе формъ народной жизни превратить въ сознательную красоту и благообразіе, и сдѣлать это могла и должна была интеллигенція, которая для того сама должна стать свободной"... *Невѣдомскій*.

Все это такъ, но въ высшей степени, съ надрывомъ даже. Иначе, впрочемъ, и быть не могло. Интеллигентныя стремленія имѣли противъ себя: 1) нежеланіе правительства продолжать дѣло реформъ, 2) новый фактъ жизни—ея „окапитализированіе", такъ сказать, 3) господствующій духъ торгашеской наживы и карьеризма. Словомъ, оно имѣло противъ себя всѣ дѣятельныя, организованныя силы общества. А за себя? Вѣрили и думали, что „за себя" былъ народъ, хотя эта вѣра и эти думы были совершенно

фантастическія. Но все равно онѣ были и были именно въ безмѣрной степени—въ такой же, въ какой была вѣра и въ себя, интеллигенцію, и въ науку и во власть человѣка надъ жизнью. Возьмите хотя бы такую вотъ программу: „русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу мысли и слова, и можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія, и народъ будетъ навѣрное съѣденъ“ и вы поймете, чѣмъ была русская интеллигенція въ своихъ собственныхъ глазахъ.

Шли къ мужику, раздавали свои имѣнія, надѣясь обновить себя, успокоить встревоженную совѣсть, отрѣшиться отъ „проклятаго“ барства, а потомъ чѣмъ дальше тѣмъ больше, тѣмъ напряженнѣе шли къ мужику осуществить идеалъ крестьянскаго царства. На мужика надѣялись, его идеализировали, считали его носителемъ не только „зоологической правды“, правды, выработанной властью земли и вѣками общинной жизни, но правды вообще, способной обезпечить счастье всѣхъ. Но мужикъ спалъ и спалъ глубоко въ какой-то одури отъ своего труда и заботъ. Въ то время, какъ интеллигенція шла къ нему съ своей гордой, самонадѣянной вѣрой, съ своей мечтой о возрожденіи человѣчества, онъ былъ еще въ эпохѣ Даждь Бога и молился аллилуевой женѣ безъ мысли о собственномъ достоинствѣ, собственныхъ правахъ—забитый и заколоченный тяготой недоимокъ, весь—продуктъ и порожденіе крѣпостного права. Онъ былъ, по скорбно-саркастическому опредѣленію Щедрина, Конягой, поражавшимъ своей живучестью, и только.

Произошла во всякомъ случаѣ трагическая встрѣча двухъ міровоззрѣній—народнаго и интеллигентнаго, при чемъ вѣрили и признавали, что народъ и интеллигенція могутъ превосходно столковаться другъ съ другомъ. Думали дальше, что мы, интеллигенція, знаемъ народъ.

Точно ли знаемъ мы его? Можемъ ли мы его знать? А если мы его знаемъ, то можемъ ли мы его понять? Я не говорю уже о глубочайшемъ фатализмѣ земледѣльческаго міросозерцанія *), но и кромѣ него, какъ объяснить эти буржуазные, мѣщанскіе, накопляющіе инстинкты русскаго крестьянина, какъ объяснить то, что стоитъ только человѣку изъ народа

*) Это очень важно, и чтобы фатализмъ земледѣльческаго міросозерцанія не было пустымъ словомъ въ глазахъ читателя, напомню хотя бы слѣдующія вотъ строки изъ сочиненій Гл. Успенскаго; „Корнемъ вліяній (на мужика)—говоритъ этотъ замѣчательный писатель,—я долженъ былъ признать природу. Съ ней человѣкъ дѣлаетъ дѣло, непосредственно отъ

отшатнуться отъ него, и онъ начинаетъ маклачить и кулачествовать? Какую дальше цѣну придать этимъ инстинктамъ?

Щедринъ сурово напоминаетъ хозяйственному мужику, что не о единомъ хлѣбѣ живъ бываетъ человѣкъ. Но мужикъ, конечно, этотъ самый насущный хлѣбъ и заботы о немъ ставитъ на первый планъ своего житейскаго обихода и не можетъ не ставить его. Тургеневъ, который зналъ мужика не хуже нашихъ народниковъ, а пожалуй, что и получше ихъ, писалъ какъ-то Герцену: „Народъ, передъ которымъ вы преклоняетесь, консерваторъ par excellence и даже носитъ въ себѣ зародыши такой буржуазіи въ дубленномъ тулупѣ, теплой и грязной избѣ, съ вѣчно набитымъ до изжоги брюхомъ и отвращеніемъ ко всякой гражданской отвѣтственности и самодѣятельности, что оставитъ за собой всѣ мѣтко вѣрныя черты, которыми ты изобразилъ западную буржуазію въ своихъ письмахъ. Далеко нечего ходить—посмотри на нашихъ купцовъ"...

Тотъ же Тургеневъ написалъ „Новь"—это удивительное произведеніе нашей литературы, безконечно грустную сатиру на наше народничество.

нея зависитъ—чему же она его учитъ? Она учитъ его признавать власть *и при томъ власть безконтрольную, своеобразную, капризно прихотливую и бездушно жестокую.* Въ самомъ дѣлѣ, чего только не выдѣлываетъ природа надъ Иваномъ Ермолаевичемъ! По какому-то необъяснимому злорадству она, напр., изсушаетъ его ниву, буквально облитую потомъ. Съ безпощадной жестокостью она не день, не два, а два—три мѣсяца подъ рядъ томитъ его ежеминутно, ежесекундно мыслію о голодѣ, о нуждѣ, томитъ и молчитъ.. Ежедневно она безъ всякаго милосердія сулитъ ему дождь, урожай, съ утра собираются тучи, ходятъ въ небѣ станицами, громоздятся несмѣтными массами, глыбами, сулятъ благодать и счастье... Нужно быть на мѣстѣ Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду къ этой тучѣ, къ этой водѣ, которую сулитъ небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность къ этому небу, къ этой тучѣ... Вотъ наконецъ, она собралась, вотъ она тронулась и обложило небо со всѣхъ сторонъ, она гремитъ и сверкаетъ, она дышетъ влагою, Иванъ Ермолаевичъ даже собственнымъ горломъ чувствуетъ эту влагу и воду, жаждетъ-жаждетъ и ничего! Прошла туча!.. И все это съ безбожнѣйшимъ несправедливѣйшимъ равнодушіемъ... Терпи, Иванъ Ермолаевичъ! И Иванъ Ермолаевичъ умѣетъ терпѣть, не думая, не объясняя, терпѣть безпрекословно.

„Онъ знакомъ съ этимъ выраженіемъ на фактѣ, на своей шкурѣ, знакомъ до какой степени, что рѣшительно нѣтъ возможности опредѣлить этому терпѣнію болѣе или менѣе точный придѣлъ", Или: „...Случайности въ природѣ онъ (мужикъ) сосредоточиваетъ въ Богѣ, случайности всевозможной политики—въ царѣ. Царь пошелъ воевать, царь далъ волю, царь раздаетъ хлѣбъ. Что царь скажетъ, то и будетъ: деньги платятся царю, а разбирать что такое урядникъ или непремѣнный членъ — это уже совершенно ненужная подробность" (т. II, 541). А въ поясненіе всего

Однако о „Нови“ было принято не говорить, а надъ Тургеневымъ было принято подсмѣиваться, въ чемъ, между прочимъ, не разъ упражнялся и г. Михайловкій.

Но если Тургеневъ правъ, если наша вышедшая изъ народа буржуазія способна заткнуть за поясъ даже западную буржуазію, потому что она дика, какъ лѣсной звѣрь, — то не смѣшно ли самое предположеніе, что кающійся дворянинъ Неждановъ, голова котораго набита сенсимонизмомъ и проектами архитекурныхъ чудесъ XV-го вѣка, можетъ столковаться съ Хоремъ, любящимъ жилой запахъ? А Хорь — это сила, дѣйствительная жизненная сила, не считаться съ которой просто смѣшно: сынъ его откроетъ кабакъ или лавку и не ударитъ въ грязь даже въ роли господина Губонина, будетъ превосходно играть на струнахъ народолюбія и

этого Успенскій говоритъ: „Повинуйся и повелѣвай до такой степени прочно вбиты природою въ сознаніе Ивана Ермолаевича, что ихъ оттуда не вытащишь никакими домкратами. Непосредственная постоянная связь Ивана Ермолаевича съ природой, отъ которой онъ единственно почерпаетъ всѣ свои свѣдѣнія, взгляды, вкореняя въ основаніе всего жизненнаго обихода Ивана Ермолаевича эти два положенія „повинуйся и повелѣвай“ до такой степени послѣдовательно продолжается въ его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организаціи нѣтъ рѣшительно ни возможности, ни смысла. Но и кромѣ этого, читатель долженъ согласиться, что всякія попытки человѣка, имѣющаго о тѣхъ же вещахъ понятія книжныя, бумажныя и т. д. должны непремѣнно оказаться безплодными. Въ отвѣтъ на всѣ такія книжныя разглагольствія Иванъ Ерм. можетъ отвѣтить *только* одно: „безъ этого нельзя“, но это „только“ имѣетъ за собой вѣковѣчность и прочность самой природы“.

Жаль, что мужики поняли такъ поздно и нельзя не воскликнуть: „Бѣдные и интеллигенты!“ Потому бѣдные, что они попали въ самое непріятное положеніе. Они не поняли, да и не хотятъ понять, что крестьянинъ есть собственникъ прежде всего, они дали себя обмануть остатками общиннаго духа, потребительнаго хозяйства, артелей и т. д., они думали, что ихъ идеалъ коммунистическаго благополучія какъ нельзя лучше и проще внѣдрится въ народную жизнь. А между тѣмъ, на ихъ же глазахъ деревня дѣлилась на 2 лагеря—хозяйственныхъ мужиковъ, этихъ упрямыхъ мелкихъ буржуа, способныхъ къ ожесточенному владѣнію собственностью, и голь, для которой единственный выходъ — фабрика. Но что общаго между коммунистическимъ идеаломъ и хозяйственнымъ мужикомъ или невѣжественной, неорганизованной голью,— идеаломъ, который, какъ это прекрасно доказывается исторіей, для своего хотя бы кратковременнаго только осуществленія, требуетъ отъ человѣка высочайшаго подъема идеалистическихъ и религіозныхъ его стремленій?..

пріобрѣтать акціи, очарованіе которыхъ для него, разумѣется, милѣе, чѣмъ очарованіе жилого запаха.

Умственный мужикъ идетъ въ буржуазію—вотъ жизненный фактъ, теперь слишкомъ очевидный, чтобы его оспаривать, но совершенно незамѣтный для интеллигенціи 70-ыхъ годовъ. Не то, чтобы она не знала его, а просто знать не хотѣла, онъ не пугалъ ее, не входилъ необходимымъ элементомъ въ ея мышленіе, онъ не существовалъ для нея, а если и существовалъ, то лишь какъ „грустное явленіе", „какъ ненормальность", какъ матеріалъ для нравственнаго суда и нравственнаго осужденія. И догматъ: „интеллигенція и народъ могутъ превосходно столковаться другъ съ другомъ"—не возбуждалъ вначалѣ никакихъ сомнѣній.

Не хотѣлось бы этого говорить, а надо: на сцену выступаетъ почти невѣроятное сомнѣніе интеллигенціи и замѣтьте—интеллигенціи очень немногочисленной и въ массѣ своей жестоко-некультурной, набиравшейся съ бору да съ сосенки. На ея сторонѣ было нѣсколько крупныхъ литературныхъ талантовъ, нѣсколько проблематическихъ обобщеній несуществующей науки—соціологіи и жажда самопожертвованія—вотъ все, что было на ея сторонѣ. Была еще обида за жестокость жизни, была и жалость къ народу, при полномъ ея непониманіи. Думали, напр., что земледѣльческое міросозерцаніе крестьянина радостно прилѣпится къ высшимъ и даже коммунистическимъ формамъ общежитія, а вотъ Успенскій, самъ изъ числа мечтателей, говоритъ, что по строгой логикѣ своего земледѣльческаго міросозерцанія отвѣтъ мужика „колебателю той или другой изъ основъ долженъ непремѣнно выразиться въ представленіи этого самаго колебателя по начальству" (т. II с. 550). Разберитесь вотъ хотя бы въ этомъ одномъ противорѣчіи, и вамъ станетъ ясна вся шаткость надеждъ и упованій нашихъ народниковъ. Но и понятна въ то же время вся настойчивость *героической* проповѣди съ ихъ стороны, все признаніе, что вѣра двигаетъ горами, потому что кромѣ какъ на это, не на что было бы и опереться. Эта проповѣдь героизма выходила не только изъ больной совѣсти кающагося дворянина, не только изъ гнѣва, жажды отмщенія и жалости разночинца, но и изъ смутнаго сознанія, что воистину надо горы сдвинуть съ мѣста. Потомъ вѣра не могла не ослабѣть и на сценѣ лишь невозможность примиренія, лишь отчаяніе, несущее гибель... Тутъ уже нравственная эстетика на первомъ планѣ, красота порыва и отваги, противопоставленная прозѣ буденъ и сѣраго, за себя дрожащаго, существованія и гложущая жалость сердца.

Философія критической личности.

Въ литературномъ отношеніи эпоху 70-ыхъ годовъ можно начинать съ 1860-го года, когда умеръ Писаревъ, появились „Отечественныя Записки“ подъ обновленной редакціей Некрасова, Елисеева, Щедрина — и Арнольди Лавровъ напечаталъ въ „Недѣлѣ“ свои замѣчательныя и глубоко характерныя для эпохи „Историческія письма“.

Точка зрѣнія „Историческихъ писемъ“—одного изъ первыхъ на русскомъ языкѣ философско-историческихъ произведеній—несмотря на броню, надѣтую на нее высоко образованнымъ авторомъ—чисто этическая. Это спряженіе глагола „быть должнымъ“. Это горячій, полный вѣры призывъ къ борьбѣ во имя прогресса, цѣлью котораго объявлено общечеловѣческое счастье. Это нѣчто большее, это призывъ къ расплатѣ за тѣ жертвы, которыя уже принесены людьми въ ихъ прошломъ во имя все еще неосуществленнаго идеала, т. е. идея, которая не могла не придтись особенно по душѣ кающемуся дворянину. Это утопія, въ которой нельзя не видѣть ни огромной требовательности по отношенію къ каждому отдѣльно человѣку, ни яснаго желанія задѣть его совѣсть, представляя ему безмѣрность цѣны прогресса и выставляя на видъ всю полноту его нравственной отвѣтственности передъ страданіями прошлаго и настоящаго. То было тяжкое бремя, добровольно возлагаемое на себя. „Современникъ,—говорилось тогда,—помни, что у тебя нѣтъ ничего собственнаго. Все, чѣмъ ты гордишься, все, что доставляетъ тебѣ наслажденіе, весь комфортъ, которымъ ты пользуешься, критическая мысль, освободившая тебя отъ предразсудковъ,—все это стоитъ страшно дорого и стоитъ на твоемъ личномъ счету. Расплатись же по этому счету, если у тебя есть честь, совѣсть, сознаніе собственнаго достоинства“... Каковъ, какъ не этотъ, могъ, дѣйствительно, быть смыслъ такой вотъ рѣчи:

„Исторія не кончена. Она совершается около насъ и будетъ совершаться поколѣніями растущимъ и еще не родившимся. Настоящее нельзя оторвать отъ минувшаго, но и минувшее потеряло бы всякое живое и реальное значеніе, если бы оно не было неразрывно связано съ настоящимъ, если бы одинъ великій процессъ не охватывалъ исторію въ ея цѣломъ. Умерли дѣятели минувшаго. Измѣнилась культура общества. Новые конкретные вопросы стали на мѣсто прежнихъ. Девизы минувшаго измѣнили смыслъ и значеніе. *Но общечеловѣческая роль личностей въ настоящемъ осталась та же, что была за тысячи лѣтъ.* Подъ пестрыми формами культуры, въ сложныхъ вопросахъ новаго времени, подъ разнообразными девизами побѣжденныхъ и побѣдителей скрыты все

тѣ же задачи. Внѣ истины и справедливости прогресса никогда не существовало. *Безъ личной критики не добыта ни одна истина. Безъ личной энергіи не осуществилось ничто справедливое. Безъ вѣры въ свое знамя и безъ умѣнья бороться съ противниками не восторжествовала ни одна прогрессивная партія.* Формы культуры требуютъ для своего развитія работы мысли, какъ и въ минувшія тысячелѣтія. Великіе точно такъ же мало застрахованы отъ опасности потерять или замѣнить свой смыслъ. Общественныя условія для возможнаго прогресса не измѣнились. *Требованія уплаты за прогрессъ не могутъ быть игнорируемы развитою личностью*"...

Любопытно отмѣтить, какъ настойчиво повторяется слово „уплата" въ проповѣдяхъ того времени и какъ охотно даже серьезные люди принимаютъ тонъ моралиста и проповѣдника. Создаются формулы прогресса, сочиняются философско-историческіе труды и все это имѣетъ единственною, главнѣйшею цѣлью воздѣйствовать на совѣсть слушателя, пробудить уснувшую или непросыпавшуюся еще, поддержать колеблющуюся. Атмосфера была насыщена нравственною отвѣтственностью, и считалась чѣмъ-то пошлымъ и прямо буржуазнымъ говорить о правѣ каждаго на личное счастье.

Арнольди постоянно и настойчиво возвращается къ мысли о цѣнѣ прогресса, о жертвахъ, понесенныхъ человѣчествомъ.

„Дорого,—продолжаетъ онъ,—заплатило человѣчество за то, чтобы нѣсколько мыслителей, въ своемъ кабинетѣ, могли говорить объ его прогрессѣ. Если бы счесть образованное меньшинство нашего времени, число жизней, погибшихъ въ минувшемъ въ борьбѣ за его существованіе, и оцѣнить работу ряда поколѣній, трудившихся только для поддержанія своей жизни и для развитія другихъ, и если бы вычислить, сколько потерянныхъ человѣческихъ жизней и какая цѣнность труда приходится на каждую личность, нынѣ живущую нѣсколько человѣческою жизнью, — если бы все это сдѣлать, то, вѣроятно, иные наши современники ужаснулись бы при мысли, *какой капиталъ крови и труда израсходованъ на ихъ развитіе.* Къ успокоенію ихъ чуткой совѣсти служитъ то обстоятельство, что подобный расчетъ невозможенъ.

„Впрочемъ, слѣдуетъ ужаснуться не тому, что прогрессъ меньшинства обошелся дорого, но развѣ тому, что онъ обошелся такъ дорого и что за эту цѣну сдѣлано такъ мало. Если бы меньшинство ранѣе и старательнѣе позаботилось о распространеніи около себя развитія, пріобрѣтеннаго въ области культуры и мысли, то число потерянныхъ жизней и труда было бы не такъ велико, сумма, приходящаяся на каждаго изъ насъ, была бы менѣе, и не увеличивалась бы такъ громадно съ каждымъ поколѣніемъ. Надъ законами естественной необходимости мы не властны, а потому раз-

судительный человѣкъ долженъ съ ними помириться, ограничиться ихъ спокойнымъ наслѣдованіемъ и, насколько возможно, воспользоваться ими для своихъ цѣлей. Не властны мы и надъ исторіей, прошедшее доставляетъ намъ лишь факты, которые могутъ намъ иногда служить для исправленія будущаго. За грѣхи отцовъ мы отвѣтственны лишь настолько, насколько продолжаемъ эти грѣхи и пользуемся ими, не стараясь исправить ихъ послѣдствій. Мы властны въ нѣкоторой степени лишь надъ будущимъ, такъ какъ наши мысли и наши дѣйствія составляютъ матеріалъ, изъ котораго организуется все содержаніе будущей истины и справедливости. *Каждое поколѣніе отвѣтственно передъ потомствомъ за то лишь, что оно могло сдѣлать и чего не сдѣлало.* Поэтому и намъ, въ виду суда потомства, предстоитъ рѣшить вопросы: какая доля неизбѣжнаго, естественнаго зла лежитъ въ томъ процессѣ, который мы называемъ громкимъ именемъ историческаго прогресса? Насколько наши предки, доставившіе намъ, цивилизованному меньшинству, возможность воспользоваться выгодами этого процесса, безъ нужды увеличивали и продолжали страданія и труды большинства, выгодами прогресса никогда не пользовавшагося? Въ такомъ случаѣ отвѣтственность за это зло можетъ пасть и на насъ въ глазахъ будущихъ поколѣній.

„Въ виду этого мы должны признать, что выгоды современной цивилизаціи оплачены не только неизбѣжнымъ зломъ, но еще огромнымъ количествомъ совершенно *ненужнаго* зла, отвѣтственность за которое лежитъ на предыдущихъ поколѣніяхъ цивилизованнаго меньшинства, частью по беззаботности, частью по прямому противодѣйствію всякой цивилизующей дѣятельности. Исправить въ прошедшемъ это зло мы уже не можемъ. Страдавшія поколѣнія умерли, не облегченныя въ своемъ трудѣ. Нынѣшнее цивилизованное меньшинство пользуется ихъ трудомъ и страданіями. Мало того; оно пользуется еще страданіями и трудомъ огромнаго числа своихъ современниковъ и можетъ вліять на увеличеніе труда и страданій ихъ внучатъ. Такъ какъ за это послѣднее обстоятельство мы несли и будемъ нести нравственную отвѣтственность передъ потомствомъ, то историческое изслѣдованіе цѣны совершавшагося прогресса приводитъ къ слѣдующему практическому вопросу: какіе средства имѣетъ настоящее поколѣніе, чтобы уменьшить свою отвѣтственность? Если бы живущія личности различнаго развитія спросили себя: что намъ дѣлать, чтобы не отвѣчать передъ потомствомъ за новыя страданія человѣчества?“

Чтобы не нести этой страшной нравственной отвѣтственности и чтобы расплатиться за прошлыя жертвы, человѣкъ долженъ знать, что главнымъ дѣятелемъ прогресса является критически мыслящая личность, которая ставитъ цѣли (идеалъ) и осуществляетъ ихъ.

По прямолинейности это почти писаревская точка зрѣнія. Критическая мысль превознесена, ей воспѣтъ гимнъ, на нее возложены всѣ упованія. Если она разрушила родовой строй, создала науку, искусство, воспитаніе, раздѣленіе промышленныхъ работъ, политическія формы государственной жизни, то можемъ ли хоть на минуту сомнѣваться въ ея великомъ предназначеніи для будущаго. Посмотрите, какъ тщательно удалены всѣ безчисленные элементы культурной эволюціи—дѣятельность подражанія, самостоятельное развитіе формъ жизни путемъ развитія внутреннихъ противорѣчій и т. д. Только критическая мысль объявлена всемогущей, только въ ней сосредоточилось все доброе исторіи. Она выработала, вырабатываетъ и выработаетъ еще обстановку общаго счастья и благоденствія. Конечно, ей отводится первое мѣсто и въ разрѣшеніи экономическихъ неудобствъ и золъ нашей жизни...

Опровергать тутъ въ сущности нечего. Это—вѣра цѣлой эпохи, такой далекой отъ насъ по своему духовному строю, что намъ почти невозможно проникнуть въ ея истинное настроеніе. Въ этихъ нѣсколько неуклюжихъ гимнахъ Арвольди чувствуется и живое слово, и „духъ живъ", чувствуется вѣра, исходившая изъ таинственныхъ глубинъ человѣка. Это не фразы, не наборъ словъ, не систематическое изложеніе тѣхъ и другихъ взглядовъ—это нетерпѣливый, нервный катехизисъ, бывшій такъ страшно нужнымъ для людей считавшихъ себя призванными дѣлать исторію и нравственно отвѣтственными за ея ходъ, за всѣ прошлыя и современныя имъ страданія человѣчества... Измученная совѣсть кающагося дворянина, старо-барская щедрость значительно пресыщеннаго и утомленнаго духа, интеллигентная гордость разночинца, смѣло противоставившая свою критику „вѣкамъ и народамъ"—все соединилось для того, чтобы создать эти искренніе, свѣтлые и бодрящіе призывы. Можно цѣликомъ отрицать эти мысли, можно не видѣть въ нихъ ни крупицы научности, но нельзя смѣяться надъ восторженными рѣчами фанатика, готоваго умереть за свои иллюзіи и призраки.

Эта вѣра, повторяю,—поражаетъ своею огромностью и, быть можетъ, причиной этой огромности было то, что выросла она на чисто нравственной почвѣ отвѣтственности передъ счастьемъ и злополучіемъ людей. Не были спокойны люди, мучительно тревожились они, видя себя окруженными несчастьемъ и страданіемъ. Страшно ненавидѣли они всю эту скверность жизни, всю ея жестокость, и ихъ ненависть была тяжелой болѣзнью. Ничто не ослабляло ея, кромѣ мысли, что зло и неправда сейчасъ же должны быть упразднены, что люди для этого могутъ и должны пожертвовать даже личнымъ своимъ бытіемъ. Нравственныя начала окрашивали собою проповѣдь, въ этихъ воззваніяхъ слышался упрекъ равнодушію и обѣ-

щаніе блаженства. Они усиливались еще воспоминаніями о жертвахъ, уже принесенныхъ Молоху цивилизаціи, и эти воспоминанія, очевидно, стремились пробудить совѣсть, стыдъ и вдохновить на новые подвиги устававшихъ борцовъ...

Я думаю, что представленіе эпохи о смыслѣ жизни, способахъ борьбы со зломъ, счастьѣ личномъ и общечеловѣческомъ имѣютъ огромное значеніе для ея пониманія. Эта философія исторіи отражается и въ критикѣ, и въ поэзіи, и беллетристикѣ. Это центральный пунктъ, который суммируетъ въ счастье. Не зная философіи исторіи даннаго времени, вы не знаете его психологіи. Поэтому я позволю себѣ еще немного остановиться на ученіи Арнольди о прогрессѣ, точнѣе же о формулѣ прогресса, почти безъ перемѣны принятой въ настоящее время многими, напр., Максимомъ Ковалевскимъ.

„Чтобы отвѣтить на вопросъ, въ чемъ могъ состоять прогрессъ, приходится прежде всего опредѣлить его элементы и отыскать въ разнообразныхъ процессахъ, охватываемыхъ словомъ, развитіе, то, что для насъ представляетъ стремленіе къ лучшему.

„Здѣсь намъ представится два процесса, въ которыхъ мы не можемъ не признать, съ перваго же взгляда, процессовъ прогрессивныхъ, но которые какъ бы различаются настолько, что могутъ оказаться противорѣчивыми и дѣйствительно входили между собою въ столкновеніе въ реальной исторіи.

„Предъ нами ростъ личной мысли, съ ея техническими изобрѣтеніями, съ ея научными завоеваніями, съ ея философскими построеніями, художественными созданіями и нравственнымъ героизмомъ. Предъ нами солидарность общества съ ея основными побужденіями: „каждый за всѣхъ, всѣ за каждаго", „всѣмъ все необходимое для жизни и развитія, отъ каждаго всѣ его силы для работы на общественную пользу, для общественнаго блага, для общественнаго развитія".

„Ростъ сознательныхъ процессовъ въ личности, развитіе личности въ области мысли, есть безспорное для насъ явленіе прогресса. Тѣ условія, которыя обезпечиваютъ наибольшій и наибыстрѣйшій ростъ личной мысли въ человѣчествѣ, суть, вслѣдствіе этого, условія прогресса.

„Съ другой стороны, прочность общественной связи является необходимымъ условіемъ здороваго существованія общества и благосостоянія особей въ него входящихъ. Поэтому все, скрѣпляющее эту связь, является намъ элементомъ благодѣтельнымъ, прогрессивнымъ: все, ослабляющее эту связь, все, вызывающее вражду въ обществѣ, создающее неравенство въ его средѣ, есть для насъ явленіе патологическое, регрессивное. Идеаломъ общества является для насъ въ этомъ отношеніи общество личностей равныхъ, солидарныхъ другъ съ другомъ по своимъ интересамъ и по своимъ убѣжденіямъ, живущихъ при одинаковыхъ условіяхъ культуры и устранившихъ, по возможности, изъ своей среды всѣ враждебные другъ другу эффекты, всякую форму борьбы за существованіе между членами общества".

Такимъ образомъ: *„Прогрессъ есть ростъ общественнаго сознанія, насколько оно ведетъ къ усилію и расширенію общественной солидарности, онъ есть усиленіе и расширеніе общественной солидарности, насколько она опирается на растущее въ обществѣ сознаніе. Органомъ прогресса является развивающаяся личность, внѣ дѣятельности которой прогрессъ невозможенъ, которая, въ процессѣ развитія своей мысли, открываетъ законы общественной солидарности, законы соціологіи, прилагаетъ эти законы къ современности, ее окружающей, и въ процессѣ развитія своей энергіи находитъ пути практической дѣятельности, именно перестройки окружающей его современности во имя своего знанія“.*

Важна, впрочемъ, для насъ не сама формула, важно положеніе, что „внѣ дѣятельности развивающейся личности прогрессъ невозможенъ“, и изъ этого простого соціологическаго положенія вытекала уже вся этическая система Арнольди. Во имя своего долга передъ человѣчествомъ, во имя своей отвѣтственности передъ принесенными уже жертвами личность обязана стремиться къ развитію. Это развитіе даетъ ей истинное наслажденіе собственнаго сознаваемаго роста и вмѣстѣ съ тѣмъ вызываетъ желаніе и потребность предоставить возможность и условія развитія *всѣмъ* людямъ, которые по своей внутренней цѣнности равны и одинаковы. Высшимъ проявленіемъ нравственной дѣятельности является поэтому творчество новыхъ соціальныхъ формъ, т. е. формъ, наиболѣе способствующихъ возможности общаго развитія, въ непрестанности и успѣшности котораго находятся всѣ условія человѣческаго счастья.

Народничество.

Съ значительнымъ основаніемъ можемъ мы смотрѣть на народничество, какъ на синтезъ, или, вѣрнѣе говоря, какъ на попытку синтеза двухъ основныхъ теченій русской мысли: западничества и славянофильства. Разумѣется, это замѣчаніе относится только къ теоретической части народничества, которое однако никогда не имѣло вида строго разработанной, систематизированной доктрины. Это было ученіе чисто органическое, т. е. такое, которое отвѣчало не однимъ потребностямъ разсудочной мысли, а и потребностямъ воли, т. е. мечты, надежды, стремленій. Воспитанные преимущественно на образцахъ западной мысли, на теоріяхъ французскихъ утопистовъ, какъ на фундаментѣ,—народники продолжали дѣло западниковъ,

развивая и обостряя ихъ критику окружающихъ условій, относясь съ полнымъ и непримиримымъ отрицаніемъ ко всей совокупности и ко всѣмъ частностямъ доктрины оффиціальной народности. Только въ Россіи неоффиціальной, *крестьянской* прежде всего,—они видѣли существованіе такихъ устоевъ, опираясь на которые, по ихъ мнѣнію, можно было питать самыя смѣлыя надежды. Этими устоями были артель, община, кустарная промышленность и иные остатки „первобытнаго хозяйства", какъ называютъ это явленіе западные соціологи. Это сближало народниковъ съ славянофилами.

Что же отличало народниковъ 70-хъ годовъ отъ народничества-соціализма 60-ыхъ, главнымъ представителемъ котораго былъ, какъ мы видѣли, Чернышевскій? Не программа—нѣтъ. Программы тѣхъ и другихъ совпадали по всѣмъ существеннымъ пунктамъ. Но разница во времени вызвала и различіе въ настроеніи. Народничество 70-хъ годовъ имѣло передъ собой уже совершившійся фактъ—капитализація русской промышленности, а отчасти и земледѣлія. Для Чернышевскаго же это было дѣло будущаго, устраненіе котораго вполнѣ находилось во власти людей. И потому тамъ, гдѣ Чернышевскій обращался къ разуму для предупрежденія и устраненія, народники должны были звать къ борьбѣ, къ героическимъ порывамъ и поступкамъ, которые не только бы направили жизнь по надлежащему руслу, но и повернули бы ее съ одного русла на другое.

Раціоналистическая этика 60-хъ годовъ замѣнилась героической и абсолютной 70-хъ.

Народничество какъ народолюбіе, какъ признаніе за народомъ первенствующаго значенія въ общественной и государственной жизни, какъ стремленіе опереться на народные уклады жизни, не представляло изъ себя чего то единаго, а напротивъ того, раздѣлялось на толки и направленія, усиленно даже враждовавшія одно съ другимъ. Многое раздѣляло и прежде всего самое понятіе народа.

Понятіе народа въ русской литературѣ—категорія чисто историческая. Съ какой-то странной, чисто механической правильностью оно мѣнялось каждое десятилѣтіе,—на которыя судьба подраздѣлила ходъ развитія русской мысли. Отъ народа—„Идемъ—бѣжимъ", перешли къ народу-Горемыкѣ; затѣмъ вѣрили въ народъ, исполненный стремленія къ свободѣ, съ затаеннымъ, но сильнымъ чувствомъ собственнаго достоинства (Добролюбовъ и его школа), явился наконецъ народъ-учитель, передъ которымъ оставалось только снять шапку и низко-низко поклониться въ тайной надеждѣ, что онъ своей вѣковой мудростью, безкорыстіемъ своей правды,

выросшей на почвѣ вѣковыхъ страданій, излѣчить интеллигентную душу отъ всякой скверны и убѣлить ее болѣе снѣга. Такъ и сдѣлали Достоевскій, Толстой и одновременно съ ними въ грубой, топорной формѣ—почему-то такъ безжалостно забытый и всѣми пренебрегаемый (даже народниками, которымъ ужъ оно совсѣмъ не къ лицу)—І. Юзовъ. Нечего, конечно, и говорить, что одинаково, представленіе о народѣ, какъ о стадѣ и быдлѣ ни на минуту не покидало извѣстную часть нашей литературы, но какъ ни могущественна была эта „*часть*“ въ сферѣ своей спеціальности, — на общественную мысль собственно она оказывала вліяніе самое незначительное. Не то, конечно, на административныя мѣры...

Впрочемъ, какъ ни различны опредѣленія понятія „народъ“, въ основѣ его *всегда лежало и лежитъ еще понятіе простонародья и мужика*. Это своеобразное наслѣдіе нашей исторіи, остатокъ дореформеннаго кастоваго строя, отрѣшиться отъ котораго мы никакъ не въ состояніи.

Какъ ни различны опредѣленія отъ „народъ—это мужикъ“, до „народъ—это трудящіеся классы общества, живущіе исключительно на заработокъ“, но для народничества собственно они не характерны. Характерно такое опредѣленіе: *народъ — это трудящаяся крестьянская масса, живущая въ особыхъ экономическихъ* (общинное землевладѣніе, артель, кустарная промышленность и т. д.) *и обычно-правовыхъ* (міръ) *условіяхъ*. Народники вѣрили, что эти экономическія условія представляютъ изъ себя своего рода *устои*, почему одной изъ основныхъ догмъ народничества была такая:

Для насъ русскихъ, путь западнаго экономическаго развитія не обязателенъ. Мы можемъ пойти своимъ путемъ, опираясь на устои крестьянской хозяйственной жизни.

Еще больше, чѣмъ понятіе народа, раздѣлялъ дѣйствительно трудный вопросъ: съ чѣмъ слѣдуетъ (или слѣдовало бы) согласоваться — *съ мнѣніями или интересами народа?* Въ различныхъ рѣшеніяхъ этого вопроса особенно ясно отразилось преобладаніе славянофильской или западнической струи. Начну съ преобладанія первой.

І. Юзовъ. (О. И. Каблицъ). (1848—1893). Въ одномъ изъ некрологовъ Юзова-Каблица мы читаемъ:

„*Народничество* —любимый терминъ покойнаго, было символомъ любовнаго и внимательнаго отношенія къ народу, прислушиванія не къ одной только нуждѣ его (радикальное направленіе), но и къ его думамъ, чувствамъ, всему нравственному и умственному строю, безъ какого-либо признанія за собою права насильственно измѣнять его, но и безъ чув-

ства обязанности быть съ нимъ безусловно слитымъ — что часто не можетъ быть сдѣлано искренно.

„Достаточно было хотя нѣсколько знать покойнаго, или раскрыть и прочесть нѣсколько страницъ изъ его книги, чтобы почувствовать въ собесѣдникѣ или авторѣ прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умныя и сложныя соображенія, или ссылки на авторитеты, еще недавно такъ значущіе и теперь такъ поблекшіе (какъ Спенсеръ и др.), мы никогда не могли быть такъ внимательны къ нимъ, какъ этого желалъ бы покойный; сквозь всѣ эти разсужденія и ссылки мы видѣли нѣчто гораздо болѣе свѣтлое и прочное, чѣмъ они,- *совѣсть*, — которая никогда и ни съ кѣмъ его не допустила бы до насилія. Отсутствіе притѣсненія, въ какой бы формѣ оно ни совершалось, отъ кого бы ни исходило, ради какихъ бы цѣлей ни начиналось, было краеугольнымъ камнемъ всего его міросозерцанія, всякой бесѣды, каждой страницы его писаній; и, съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ вовсе не былъ либераломъ“. *В. Розановъ*

Юзовъ въ своемъ народничествѣ ближе всего къ славянофиламъ. Отъ народа, его общинно-мірскихъ укладовъ, его характера онъ приходилъ въ восторгъ и умиленіе. *Общинно-мірскіе уклады жизни* не были въ его глазахъ формою хозяйственныхъ отношеній ни прежде всего, ни исключительно—они *были воплощеніемъ нравственной стороны народнаго духа*. Этотъ духъ высокъ и крѣпокъ; онъ не ищетъ матеріальной выгоды, не соблазняется ею; онъ ищетъ и хочетъ правды жизни. Онъ достоинъ того, чтобы въ него повѣрили, чтобы его уважали какъ святыню. И поэтому *мнѣнія* народа тоже святыня, которая не подлежитъ никакимъ ни интеллигентнымъ, ни бюрократическимъ, ни интеллигентно-бюрократическимъ экспериментамъ, ни улучшеніямъ. Улучшенія нужны, конечно, но *самъ* народъ лучше всего знаетъ, *что* ему нужно, и въ этомъ случаѣ не только необходимо его выслушать, но необходимо и слушаться его. Юзовъ не то чтобы отрицалъ интеллигенцію и ея возможную роль въ жизни народа, но онъ не довѣрялъ ей. Онъ любилъ распространяться о ея дряблости, книжности, теоретичности, объ отсутствіи у него живого знанія жизни, замѣняемаго мертвымъ знаніемъ журнальныхъ статей; онъ боялся ея сближенія съ народомъ, ея экспериментовъ. Мечта его заключалась въ томъ, чтобы только помогать народу итти, куда онъ хочетъ, куда онъ самъ выбивается. Лучше всего даже не помогать, а только не мѣшать. Очевидно, что любимая мысль Константина Аксакова о совершенствѣ нравственныхъ (но не религіозныхъ) основъ народной жизни крѣпко сидѣла въ душѣ Юзова, и онъ пугливо отстранялся отъ всякаго „насилія“ надъ мнѣніемъ народа все равно съ какою бы цѣлью ни производилось оно. Народъ онъ защищалъ до конца. Готовъ былъ защищать даже сожженіе колдуновъ и вѣдьмъ, даже обращеніе съ „бабами“. Былъ же онъ въ концѣ концовъ тѣмъ,

что мы называемъ благороднымъ мечтателемъ, но съ очень опредѣленной идеей. Главное его сочиненіе „Основы народничества“.

В В. (Воронцовъ). Воронцовъ—извѣстный экономистъ и очень смутный, нудный философъ. Имъ написаны: „Судьбы капитализма въ Россіи“, „Крестьянская община“. „Прогрессивныя теченія въ крестьянскомъ хозяйствѣ“, „Очерки кустарной промышленности“, „Наши направленія“. По существу онъ довольно близокъ къ Юзову и довольно далекъ отъ „Отечественныхъ Записокъ“, гдѣ однако постоянно работалъ. Онъ самъ себя называетъ народникомъ и совершенно основательно.

Основными положеніями его народничества являются слѣдующія:

„Интересы народа, какъ цѣль, формы вырабатываемыя его коллективною мыслью, или другія, соотвѣтствующія его желаніямъ, какъ средства, и самодѣятельность населенія, какъ рычагъ общественной эволюціи—таковы три положенія, характеризующія народничество, какимъ оно опредѣлилось въ пореформенную эпоху нашей исторіи. Практическое осуществленіе этихъ pia desideria требуетъ умственнаго подъема массы, который поэтому и поставленъ, какъ главная задача переживаемаго момента“. (Н. Михайловскій).

Эта программа шире юзовской, культурнѣе. Народничество Юзова—сермяжное; у Воронцова оно, если можно такъ выразиться, въ нѣмецкомъ платьѣ. Но умиленіе передъ общиннымъ землевладѣніемъ, но недовѣріе къ интеллигенціи, боязнь ея—одинаковы у обоихъ.

„Изученіе,—говоритъ, напр., В. В.,—обнаружило *въ народной средѣ наличность такихъ формъ быта* и *такихъ воззрѣній*, которыя *лучше другихъ*, доселѣ осуществлявшихся въ жизни, соотвѣтствуютъ требованіямъ, какія можно предъявить обществу съ точки зрѣнія идеальныхъ представленій о правдѣ и справедливости“.

Нечего и говорить что изъ „такихъ“ формъ быта первое мѣсто занимаетъ община—этотъ нашъ исконный, драгоцѣнный укладъ, на самостоятельное развитіе котораго В. В. и возлагаетъ всѣ свои упованія. Поэтому главная его задача сводится къ тому, чтобы слѣдить за прогрессивными явленіями въ крестьянскомъ хозяйствѣ и тщательно отмѣчать ихъ всѣмъ на удивленіе.

Опредѣленнаго отвѣта на вопросъ, чего надо держаться—мнѣній или интересовъ народа, В. В. не далъ. Похоже на то, что этого вопроса во всей рѣзкости для него и не существуетъ. Онъ успокоился на мысли, что уклады нашей народной жизни лучше другихъ соотвѣтствуютъ идеальнымъ представленіямъ о правдѣ и справедливости. Такими считаетъ ихъ самъ народъ, такими долженъ считать ихъ всякій порядочный человѣкъ

Народу прежде всего надо не мѣшать и содѣйствовать не его экономической эволюціи, а лишь умственному развитію.

Близость В. В. къ Юзову и славянофильству очевидна. Опять-таки все сводится къ выуживанію отрадныхъ и прогрессивныхъ фактовъ крестьянской жизни. Эта близость не разъ отмѣчалась въ печати. Напр., по адресу В. В. „Вѣстникъ Европы“ говоритъ:

„Что касается этическаго вопроса, извѣстно, что именно на этомъ давно настаивала славянофильская школа, утверждавшая, что русскій народъ носитъ въ себѣ высшія нравственныя начала, неизвѣстныя европейскому Западу, даже, что онъ есть единственный истинный христіанскій народъ. Рискованно также сказать, будто бы до народниковъ у нашихъ экономистовъ и публицистовъ не было представленія объ особыхъ условіяхъ экономической жизни русскаго земледѣльческаго народа. Въ обоихъ случаяхъ вѣрнѣе бы было просто сказать, что экономисты, называющіе себя народниками, только дальше ведутъ дѣло изслѣдованія, начатое ихъ предшественниками“. (Н. Михайловскій).

Народники государственники. Программа ихъ очень проста: Инициативу „прогресса“ и руководительство имъ беретъ на себя государство (т. е. бюрократія), которое и дѣйствуетъ въ интересахъ народа. О самодѣятельности народа или о его мнѣніяхъ тутъ не было уже рѣчи. Эта программа какъ бы была списана съ дѣятельности іезуитовъ въ Парагваѣ: іезуиты обезпечивали новообращеннымъ матеріальное довольство и спокойствіе совѣсти на томъ условіи, чтобы тѣ не разсуждали, не сомнѣвались, не думали, а только слушались. Здѣсь весь идеалъ въ счастьѣ сытаго стада...

Критическое народничество.

Народничество „Отечественныхъ Записокъ“ нѣчто другое, или, во всякомъ случаѣ, нѣчто гораздо болѣе сложное, имѣющее съ корнемъ народничества, т. е. славянофильствомъ лишь то общее признаніе, что путь западно-европейскаго экономическаго развитія для насъ не обязателенъ. Въ программѣ „От. Зап.“ гораздо даже болѣе вѣры въ интеллигенцію, въ критическую мысль, чѣмъ въ народъ собственно и уклады его жизни, хотя г. В, В., повторяю, постоянно работалъ въ этомъ журналѣ. По основному вопросу „кого считать народомъ?“ „От. Зап.“ въ лицѣ г. Михайловскаго отвѣчали: всѣ трудящіеся классы общества. По другому вопросу: „держаться ли мнѣній или интересовъ народа? „От. Зап.“ считали нужнымъ считаться и съ

тѣми и другими, склонялись въ пользу „интересовъ". По этому поводу любопытныя разъясненія мы находимъ въ одной изъ позднихъ статей Н. К. Михайловскаго. Напр.:

„Представимъ себѣ, что вы, читатель, присутствуете при той „эксплуатаціи народнаго невѣжества" какимъ-нибудь колдуномъ, которую г. Юзовъ расписалъ даже черезчуръ яркими красками: не то, чтобы колдунъ кого захочетъ отравляетъ, но, положимъ, онъ держитъ въ страхѣ все окрестное населеніе, вѣрующее въ его сверхъ естественную силу, и беретъ съ него всякого рода дани. Въ интересахъ населенія, если вы таковые признаете достойными вашего вниманія, вы постараетесь упразднить вліяніе колдуна, и именно для этого должны будете встать въ оппозицію къ мнѣнію о его могуществѣ. Представимъ себѣ далѣе, что. по мнѣнію выведеннаго наконецъ изъ терпѣнія народа, колдуна надо сжечь. Я надѣюсь, что вы не испугаетесь громовъ г. Юзова насчетъ „покровительства" и „писанной торбы" и рѣшительно не согласитесь съ этимъ мнѣніемъ народа; и при этомъ, препятствуя всѣми доступными вамъ средствами совершенію варварскаго преступленія, вы будете дѣйствовать въ интересахъ народа. Въ послѣдніе холерные безпорядки мнѣніе народа состояло въ томъ, что холеру пускаютъ господа въ подзорную трубу, а хлѣбъ раздаютъ голоднымъ слуги антихриста. Вы можете какъ вамъ угодно думать о происхожденіи подобныхъ мнѣній, винить въ ихъ существованіи самихъ „господъ", скорбѣть объ общемъ порядкѣ вещей, порождающемъ такія отношенія, но съ самыми мнѣніями, согласиться не можете Именно не можете, хотя сообразоваться съ ними, т. е. имѣть ихъ въ виду и поступать съ соотвѣтственною осмотрительностью вамъ, конечно, придется. И это будетъ въ интересахъ народа. Не можете вы согласиться и съ тѣмъ, напримѣръ, очень распространеннымъ въ народѣ мнѣніемъ, что мужъ имѣетъ право „учить" жену т. е. чуть не на смерть ее заколачивать, и. т. п. Это не значитъ, чтобы народъ не имѣлъ иныхъ мнѣній, кромѣ нелѣпыхъ и безобразныхъ. Это значитъ только, что, разбираясь въ мнѣніяхъ народа, вы по необходимости однѣ изъ нихъ признаете правильными, а другія отвергаете, какъ неправильныя, и иного критерія какъ ваше собственное, личное мнѣніе, не имѣете и имѣть не можете при этой разработкѣ. Ваше мнѣніе можетъ, конечно, оказаться ошибочнымъ, но признаете его таковымъ вы только тогда, когда вамъ это докажутъ, а не тогда, когда укажутъ на разногласіе вашего мнѣнія съ чьимъ бы то ни было, въ томъ числѣ и съ мнѣніемъ народа. Поступаться своими интересами ради интересовъ народа или вообще кого бы то ни было—возможно, и при извѣстныхъ обстоятельствахъ на этой почвѣ произрастаютъ цвѣты и плоды великодушныхъ подвиговъ. Поступаться же своими мнѣніями — фактически нельзя; можно лишь подчиниться чужимъ мнѣніямъ и затаить свои собственныя „страха ради іудейска" или по инымъ побочнымъ соображеніямъ, при чемъ очень часто это не только не подвигъ какой-нибудь, а дрянная трусость или лицемѣріе. Поэтому человѣкъ, для котораго интересы народа священны, совсѣмъ не обязанъ признавать таковыми же и его мнѣнія. Великое для него счастіе, если его мнѣнія совпадаютъ съ

мнѣніями народа, и великое несчастіе, если они расходятся, но измѣною своимъ мнѣніямъ эта трагедія не разрѣшается, потому что верховнымъ судьей конфликта остается все-таки наше собственное сознаніе и наша собственная совѣсть. И это фатально, никакими изворотами мысли, а тѣмъ болѣе слова—неотвратимо".

„Отечественныя Зап." слишкомъ вѣрили въ интеллигенцію, въ силу и мощь критической личности, которая должна освободить Россію отъ бѣдствій западно европейской экономической эволюціи, чтобы непосредственно примкнуть къ народничеству. Но у нихъ было народолюбіе, было уваженіе къ устоямъ народной хозяйственной жизни, истиннымъ ихъ героемъ являлся интеллигентъ, посвятившій свои силы служенію народу и его интересамъ, они вѣрили, что при энергической работѣ и героизмѣ критически мыслящихъ людей, сохраняющихъ и развивающихъ народно-хозяйственные устои возможно миновать стадію капитализма, пролетаріата, мѣщанскихъ правовыхъ формъ жизни и устроить здѣсь на землѣ крестьянское интеллигентное царство. Впрочемъ, надо замѣтить, что въ первой половинѣ 70-хъ годовъ „От. Зап." были гораздо ближе къ народничеству, чѣмъ во второй или въ началѣ 80-ыхъ.

„Отечественныя Записки" (1868—1884). Перехожу къ журналистикѣ и главному органу этого времени — „Отечественнымъ Запискамъ". Въ центрѣ программы этого замѣчательнаго журнала стоялъ „мужикъ", мужицкое счастье" и то самое крестьянское царство, о которомъ мечталъ раньше „Современникъ". Собственно даже „От. Зап." были прямымъ продолженіемъ „Современника". Ихъ редакція состояла изъ тѣхъ же лицъ: Некрасова, Елисеева, Щедрина. Не доставало лишь М. Антоновича и Ю. Жуковскаго, но ихъ съ большимъ успѣхомъ замѣнилъ Н. К. Михайловскій, въ вѣдѣніе котораго съ 1870 г. перешло все обществовѣдѣніе, а отчасти и литературная критика. Мало отличались „Отечественныя Записки" отъ „Современника" и по тону, хотя онъ былъ нѣсколько сдержаннѣе и литературно болѣе обработаннымъ. „Современникъ" былъ началомъ, „Отечественныя Записки"—завершеніемъ. Онѣ, въ духѣ времени, говорили о долгѣ, нравственной отвѣтственности, расплатѣ съ народомъ. Онѣ требовали героизма и самопожертвованія. Находясь въ полной оппозиціи къ бюрократіи, все яснѣе вступавшей на путь политической и общественной реакціи, онѣ главную свою надежду возлагали на интеллигенцію и на народъ. Въ лицѣ Елисеева онѣ вѣрили, что въ народной жизни кроется самовозрождающаяся сила. Интеллигенція лишь должна дать толчекъ. Отсюда идеализація крестьянства и той части интеллигенціи, которая ему самоотверженно служила. *Эта идеализація гораздо больше, слыннѣе,*

замѣтнѣе, чѣмъ въ „Современникѣ“ и, на ряду съ полнымъ и окончательнымъ недовѣріемъ къ оффиціальному государству, составляетъ характернѣйшую особенность физіономіи журнала.

Интересъ къ мужику и мужиколюбіе, идеализація крестьянства и вѣра въ него,—а у болѣе скептическихъ умовъ, страстное желаніе постичь мужика, чтобы точно знать, какъ и въ какой мѣрѣ можно на него разсчитывать—были, повторяю, потребностью и насущнѣйшей потребностью эпохи.

Семидесятые годы вообще находились подъ знакомъ „мужика“, который и былъ точкой приложенія ихъ силъ. Одинъ изъ современниковъ, жившій тогда въ провинціи, въ самомъ центрѣ Россіи, такъ характеризуетъ ту эпоху. Характеристика неполная, но интересная.

„Всякій спрашивалъ себя съ недоумѣніемъ, откуда *это* взялось, и вмѣстѣ съ тѣмъ каждый невольно подчинялся тому же настроенію. Стоило только сойтись двумъ-тремъ интеллигентнымъ людямъ, хотя бы самаго различнаго общественнаго положенія, начиная съ предводителей дворянства и кончая студентами университета, какъ немедленно же разговоръ ихъ, точно руководимый какою-то стихійною силою, обращался къ мужику, условіямъ его жизни, его силѣ и его безсилію. Въ сущности только этимъ и интересовались. Всѣ съ грустью чувствовали и сознавали, какъ недостаточно ихъ знакомство съ реальной крестьянской жизнью, поставленной, благодаря недавнимъ реформамъ, въ совершенно особенную обстановку, и отъ всей души создавали широкіе планы экономическихъ, статистическихъ и иныхъ изслѣдованій, которыя должны были наконецъ перекинуть мостъ отъ барина къ мужику. Нетерпѣливые съ нѣкоторымъ презрѣніемъ относились къ проектамъ такихъ работъ и шли въ народъ прямо, надѣясь на свою интуицію, армяки и полушубки.

„Пробовали свои силы. Думали и стремились отрѣшиться отъ фразъ, какъ бы высоки онѣ ни были и какъ бы красиво не звучали составлявшія ихъ слова. Искали прежде всего дѣла, настоящаго дѣла и винили отцовъ за то, что тѣ говорили слишкомъ много, и ничего, кромѣ словъ, послѣ себя не оставили. Одно время было даже въ модѣ жениться на крестьянкахъ и распространить такимъ образомъ народническую доктрину и на свою личную и семейную жизнь. Что въ большинствѣ случаевъ выходило изъ этихъ браковъ—представить себѣ не трудно, но они гармонировали съ настроеніемъ и рѣшительно никого не удивляли: до того вся атмосфера была переполнена призывомъ къ сліянію. Каждая книга журнала приносила въ изобиліи вѣсти изъ мужицкаго міра. Талантливѣйшіе публицисты подъ вліяніемъ всеобщей экзальтаціи писали: „пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же“. Многіе и притомъ совершенно искренно избрали на все „мужицкую“ точку зрѣнія или, по крайней мѣрѣ, такую которая казалась имъ самой естественной для мужика и наиболѣе отвѣчающей его интересамъ. Кто пережилъ то время, тотъ превосходно знаетъ, какъ неправы люди, считавшіе все это однимъ маскарадомъ и нездоровымъ, случайнымъ повѣтріемъ! Напротивъ того, все дѣлалось изъ глубины души. Совѣсть заставляла расплачиваться за вѣковыя

обиды, нанесенныя мужику крѣпостнымъ правомъ, культурою и образованностью. Всѣ брали этотъ историческій грѣхъ на себя, никто не пугался огромности предъявленнаго счета, потому что искали жертвы и самопожертвованія".

Доказать превосходство крестьянскаго царства надъ другими царствами вообще, утвердить читателя въ мысли о его возможности и необходимости, все равно какъ и въ мысли о возможности и необходимости сліянія народа и интеллигенціи, при чемъ народъ дастъ высокій *типъ* своей жизни, а интеллигенція *ступень* своего развитія; воплотить въ общественной жизни *правду-истину* (науку) и *правду-справедливость*; дискредитировать бюрократію; дискредитировать русскій либерализмъ и его надежды на реформы, на общественную самодѣятельность; убѣдить всѣхъ въ недостаточности однихъ только гражданскихъ преобразованій — вотъ пункты программы „Отечественныхъ Записокъ", которые должны выясниться намъ изъ характеристики главныхъ сотрудниковъ журнала: Щедрина, Елисеева, Михайловскаго, Успенскаго, Златовратскаго, В. В. Писарева, М. Протопопова, А. Скабичевскаго, П. Лаврова, Якубовича, Южакова, Новодворскаго-Осиповича, Кущевскаго. Не примыкая къ журналу печатались Островскій и Достоевскій („Подростокъ").

Г. З. Елисеевъ (1821—1891),—собраніе сочиненій котораго такъ долго заставляетъ себя ждать, былъ все время вторымъ редакторомъ „Отеч. Зап.". Происходя изъ духовнаго званія, онъ отличался большими способностями, долгое время занималъ мѣсто профессора казанской духовной академіи, но когда тамошніе порядки пришлись ему не по душѣ, пріѣхалъ въ 1858 году въ Петербургъ и здѣсь быстро сошелся съ редакціями „Искры" и „Современника". Свое литературное положеніе онъ упрочилъ, главнымъ образомъ, внутренними обозрѣніями въ „Современникѣ" (1861—1866 г.) и, какъ думаютъ нѣкоторые, создалъ типъ этого существеннаго отдѣла нашей журналистики. Человѣкъ живой дѣйствительности, съ практической складкой ума, недолюбливавшій философствованій вообще— онъ цѣнилъ жизненные факты въ полнотѣ ихъ значенія, отнюдь однако не подчиняя имъ своей духовной свободы. Центръ его помышленій составлялъ—народъ, что по тому времени значило мужикъ *и, главнымъ вопросомъ представлялся ему всегда такой: какъ та или другая мѣра, какъ то или другое явленіе жизни отразятся на жизни народа, т. е. мужика.* Онъ былъ народникомъ въ томъ смыслѣ, что твердо признавалъ общину, артель, кустарные промыслы, но въ народническую утопію, т. е. въ немедленное обращеніе этихъ утопій въ идеальную форму общежитія, онъ не вѣрилъ. Для этого онъ былъ слишкомъ практиченъ и слишкомъ хорошо сознавалъ, что значитъ дѣйствительность. Ели-

сеевъ былъ настоящимъ, подлиннымъ литераторомъ, представляющимъ въ литературѣ интересы мужика и народа. Эту почетную позицію онъ занималъ долго и съ честью, успѣшно пуская въ ходъ свой грубоватый мужицкій, нѣсколько лукавый, но всегда добродушный юморъ всякій разъ, какъ дѣло шло о томъ, чтобы облагодѣльствовать народъ какими-нибудь бумажными проектами. Конечно, успѣхи нашей промышленности и торговли нисколько не приводили его въ восторгъ, но онъ и не пугался ихъ, раздѣляя общее редакціи „Отеч. Зап.“ мнѣніе, что съ капитализмомъ можно еще справиться. Его соредакторъ по журналу г. Михайловскій даетъ ему такую характеристику: „Елисеевъ былъ, если можно такъ выразиться, аскетъ текущей жизни и непосредственныхъ фактическихъ результатовъ... Въ теоретическія сферы онъ пускался крайне рѣдко. Но онъ не мѣшалъ дѣлать это другимъ, хотя, можетъ быть, и скептически относясь къ подобной работѣ и лишь убѣдившись, что эта работа можетъ быть приведена въ связь, хотя бы отдаленную, съ тѣмъ, что онъ считалъ обязательнымъ центромъ не только литературной дѣятельности, но и всей общественной и государственной жизни. Такимъ центромъ былъ для него народъ, мужикъ... Въ своихъ обозрѣніяхъ онъ цѣнитъ просвѣщеніе и свободу, требуетъ честности и добросовѣстности въ дѣлахъ, клеймитъ самоуправство и произволъ и т. д.“ Но настоящимъ, вполнѣ Елисеевымъ, онъ становится тогда, когда задаетъ себѣ вопросъ: „какъ отзывается или отзовется такое-то явленіе нашей жизни на мужикѣ“.

М. Е. Салтыковъ-Щедринъ (1826—1889). Щедринъ оставилъ послѣ себя очень богатое наслѣдство, заключенное въ 12 томахъ „Полнаго собранія сочиненій“, гдѣ столько прекраснаго историческаго и художественнаго матеріала. Весь этотъ матеріалъ относится къ четыремъ десятилѣтіямъ, написанные въ немъ статьи, очерки и разсказы имѣютъ дѣло съ самыми разнообразными общественными настроеніями и условіями русской политики, и при чтеніи Щедрина это постоянно надо имѣть въ виду, такъ какъ чисто публицистическая струя замолкала въ немъ сравнительно рѣдко. Случалось такъ, что Щедринъ начнетъ какую нибудь работу, затѣмъ оставитъ ее и примется за другую, снова вернется къ первой, опять сдѣлаетъ перерывъ и конецъ ея отсрочивался такимъ образомъ на нѣсколько лѣтъ. Разобраться въ массѣ перемѣняющихся настроеній положительно не легко. Многое притомъ же въ этой блестящей публицистикѣ значительно устарѣло, кромѣ, разумѣется, вкрапленныхъ въ нее чисто художественныхъ сценъ и картинъ, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не въ такой степени, какъ въ дни написанія: даже

самая талантливая публицистика увядаетъ очень скоро. Проходитъ какой-нибудь десятокъ лѣтъ, и общество совершенно измѣняетъ свою физіономію и волнуется другими вопросами, задачами, думами, и отъ живого когда-то организма остается лишь сгнившій трупъ. Къ счастью для долговѣчности памяти Щедрина, онъ умѣлъ даже злобу дня брать въ такомъ широкомъ масштабѣ, связывая ее съ общечеловѣческими вопросами и интересами, что и она лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ является совершенно увядшей и всегда сохраняетъ свое историческое значеніе.

Щедринъ сказалъ самъ о себѣ въ третьемъ лицѣ:

„Всѣ силы своего ума и сердца онъ посвятилъ на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представленіе о свѣтѣ и правдѣ и поддерживать въ ихъ сердцахъ вѣру, что свѣтъ придетъ и мракъ его не обниметъ. Въ этомъ собственно заключалась задача всей его дѣятельности“.

Щедринъ былъ прежде всего огромнымъ художественнымъ дарованіемъ. Но онъ жилъ въ такое время, когда все окружающее каждымъ явленіемъ твердило человѣку: „поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ“. То были 60-е и 70 е годы. Правильно или неправильно, но Щедринъ думалъ, что, создавая свои превосходные по силѣ и глубинѣ мысли, по богатству образовъ, по разнообразію красокъ „Губернскіе очерки“—онъ не въ достаточной степени исполняетъ свой гражданскій долгъ. Ему захотѣлось болѣе близкаго, болѣе непосредственнаго участія въ жизни и коловращеніяхъ судебъ. Онъ сталъ публицистомъ. Въ сущности говоря, этимъ неотразимымъ вліяніемъ эпохи и объясняется такое обиліе публицистическаго матеріала въ произведеніяхъ того времени. Жизнь—нѣсколько, впрочемъ, лицемѣрно—изъявляла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедринъ одинъ изъ первыхъ вступилъ на этотъ путь послѣ 10 лѣтъ работы, заставилъ всѣхъ мыслящихъ людей читать себя. Но художникъ, къ счастію, не замиралъ въ немъ ни на минуту, и лучшія мѣста его фельетоновъ—это несомнѣнно тѣ художественныя вкраплины, которыми они такъ богаты. И здѣсь онъ оставался вѣренъ себѣ, и здѣсь проповѣдь „свѣта и правды“ была для него прежде всего проповѣдью „человѣчности“,—въ самомъ широкомъ и въ то же время, какъ скоро увидимъ, самомъ опредѣленномъ смыслѣ слова.

Онъ былъ человѣкомъ сороковыхъ годовъ. Объ этихъ годахъ онъ сохранилъ самое чистое и свѣтлое воспоминаніе, но это воспоминаніе обнимало, разумѣется, не всю жизнь, а почти исключительно литературу, къ которой у него такъ рано проявилось тяготѣніе. Правда, и литературу эту

далеко нельзя было принимать во всемъ ея цѣломъ, не жертвуя самимъ собой, но все же, по словамъ Щедрина, ей удалось отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась, она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали ей возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Никакого прямого выхода въ жизнь, никакой возможности прямо воздѣйствовать на нее литература, конечно, не имѣла; она, „какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогѣ и только дремала, окутанная сновидѣніями... въ основѣ которыхъ лежало человѣчное, такъ что, ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Больше всего, въ дни молодости, Щедринъ увлекался статьями Бѣлинскаго, и французской литературой и жизнью, гдѣ въ началѣ его литературной дѣятельности все готовилось къ 1848 году. „Я,—вспоминаетъ онъ,—естественно примкнулъ къ западникамъ, къ тому безвѣстному кружку ихъ, который прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана, въ особенности Ж. Зандъ“. Подъ вліяніемъ Франціи въ атмосферѣ дѣйствительно чувствовалась какая-то новая струя свѣжаго воздуха, чуялось броженіе въ умахъ, и романами Жоржъ-Зандъ, готовилось откровеніе, которое и выразилось скоро въ народолюбіи—этомъ знамени русской интеллигенціи, начиная съ сороковыхъ годовъ.

Всѣ идеалистическіе порывы, всѣ хорошія прочитанныя книги французскихъ соціалистовъ о правахъ человѣка и нѣмецкихъ романтиковъ о святости человѣческой личности, все это вело къ отрицанію основы государственно-сословной жизни, т. е. крѣпостного права. Это общеизвѣстно и здѣсь довольно того, если мы признаемъ тотъ несомнѣнный фактъ, что для людей передовой мысли крѣпостное право, главнымъ образомъ, ужасы конюшни, тургеневское „чики-чики“, дѣйствительно представлялось учрежденіемъ отсталымъ и безобразнымъ, и живя у себя въ деревнѣ, они все болѣе проникались ужасомъ.

На всемъ движеніи сороковыхъ годовъ лежитъ печать чего то отвлеченнаго, пожалуй, даже сантиментальнаго. Этотъ послѣдній элементъ мало замѣтенъ у Тургенева, благодаря его огромному художественному дарованію, но у Григоровича онъ на первомъ планѣ. Я надѣюсь показать, что и Щедринъ былъ нѣсколько склоненъ къ нему, хотя сатира и часто преднамѣренная грубость слова и заслоняютъ отъ читателя эту сторону его дарованія. Но все „отвлеченное“ было на первомъ планѣ и въ области философіи, и въ области нравственности, которая понималась какъ стремленіе къ абсолютному самосовершенствованію, и въ области религіи, гдѣ

все вертѣлось на доказательствѣ бытія Божія, и въ области пониманія общественныхъ явленій. Это „отвлеченное“, отъ котораго скорѣе всего отдѣлались Бѣлинскій и Герценъ, и которое заключалось въ полномъ игнорированіи матеріальной стороны историческаго процесса, доходило прямо до крайностей и составляетъ одну изъ самыхъ характерныхъ сторонъ разсматриваемаго времени. Даже въ формулѣ „мужикъ—человѣкъ“ вы безусловно чувствуете его, такъ какъ слово „человѣкъ“ само по себѣ означаетъ очень мало. Но въ немъ же и заключалась сильная сторона умственной жизни эпохи. Оно помогло создать и „идеалы добра и истины“, и „человѣчныя преданія“, и „честную брезгливость“.

Щедринъ полностью пережилъ вѣянія своего времени и, вспоминая о дняхъ своей юности, онъ говорилъ потомъ, по обыкновенію, въ третьемъ лицѣ:

„Еще въ ранней молодости онъ былъ уже идеалистомъ, но это было скорѣе сонное мечтаніе, нежели сознательное служеніе идеаламъ. Глядя на вожаковъ, онъ называлъ себя фурьеристомъ, но въ сущности смѣшивалъ въ одну кучу и сенъ-симонизмъ, и икаризмъ, и фурьеризмъ, и скорѣе всего, примыкалъ къ сенъ-симонизму. Въ особенности его плѣняла Жоржъ-Зандъ въ своихъ первыхъ романахъ. Онъ зачитывался ими до упоенія, находилъ въ нихъ неисчерпаемый источникъ той *анонимной* (т. е. не имѣющей опредѣленнаго объекта) восторженности, которая чаще всего лежитъ въ основаніи юношескихъ вѣрованій и стремленій. Были слова: добро, истина, красота, любовь, свобода, совѣсть которыя производили чарующее дѣйствіе, которыя онъ въ свои юные годы готовъ былъ повторять безчисленное число разъ, и слушая которыя, онъ былъ безконечно счастливъ. Если бы отъ него потребовалось наполнить эти слова содержаніемъ, онъ удивился бы—до того они представлялись ему несомнѣнными и обязательными, до того его прельщалъ самый звукъ ихъ“. Подъ этимъ вліяніемъ онъ написалъ свое „*Запутанное дѣло*“, гдѣ изобразилъ несчастное положеніе одного молодого провинціала, попавшаго въ столицу. Самое важное, конечно, то, что несчастія своего героя Щедринъ объясняетъ не его личнымъ характеромъ, не сплетеніемъ случайностей, а общими причинами. Герой гибнетъ стихійно, задавленный общественной пирамидой, въ низшемъ слоѣ которой находится онъ. Это взглядъ соціалиста, но все же пока на первомъ планѣ находились слова.

Извѣстной дозой реальнаго содержанія высокія слова „любовь, красота, истина“ и пр. наполнялись критикой окружающей русской обстановки. Положимъ, что человѣкъ не зналъ, что такое добро и истина, но онъ твердо зналъ, что все признаваемое за добро и истину обыденной моралью, не

добро и не истина; пусть даже для него былъ непонятенъ истинный смыслъ слова человѣчный, но онъ не сомнѣвался, что „человѣчное“ обыденной морали въ дѣйствительности безчеловѣчно и т. д. Нельзя не согласиться, что это, дѣйствительно, очень оригинальный „методъ“ мышленія „отъ противнаго“, но исторія всероссійской интеллигенціи говоритъ намъ, что онъ примѣнялся всегда и съ одинаковымъ успѣхомъ. Не встрѣчаемъ ли мы его опять въ безчисленныхъ, такъ называемыхъ, семейныхъ драмахъ шестидесятыхъ годовъ, когда къ каждому слову моральныхъ сентенцій своихъ родителей дѣти прибавляли „*не*“? Хорошій женихъ, по этому способу, превращался въ нехорошаго жениха, законные доходы въ доходы незаконные, справедливая кара за непослушаніе отцу или матери или обоимъ вмѣстѣ въ кару несправедливую. Человѣкъ, слетѣвшій съ луны, могъ бы посмѣяться тутъ многому, но людямъ земли тутъ положительно смѣяться не надъ чѣмъ. И совершенно естественно, гдѣ источникъ этого назойливаго и постояннаго „не“. Съ одной стороны кругъ понятій, основанный на преданіи, авторитетѣ и идеалѣ личнаго довольства, съ другой—такой же кругъ понятій, но основанный уже на признаніи личной независимости, на мечтахъ о будущемъ. Столковаться въ то время было совершенно невозможно, и драма смѣнялась драмой, а слезы слезами...

Всѣ высокія слова Щедринъ хотѣлъ возобновить для больного усталаго поколѣнія впослѣдствіи въ памяти подъ именемъ „забытыхъ“. Онъ не успѣлъ этого сдѣлать и такъ и умеръ лишь съ мечтами о такой работѣ. Но настойчивость, съ какой его память возвращалась къ забытымъ словамъ, показываетъ, какъ сильно запали они въ его душу. Расширенные, просвѣтленные сознаніемъ и опытомъ, ставшіе настоящими живыми существами съ плотью и кровью, они на самомъ дѣлѣ являлись истинными руководителями всей его жизни. Они даже не утеряли нисколько своего отвлеченнаго характера, закваска юности оказалась ферментомъ цѣлаго человѣческаго существованія. Эта отвлеченность несомнѣнно обусловливала и огромную требовательность отъ всего окружающаго, и жажду совершенства во всемъ, и вѣчную неудовлетворенность крохоборными усовершенствованіями, — что такъ часто приводило въ недоразумѣніе добрыхъ людей. Конечно, пребываніе въ провинціи только утвердило отрицательное отношеніе Щедрина къ русской дѣйствительности. Идя въ своихъ „Губернскихъ очеркахъ“ за Гоголемъ, онъ не углубилъ, конечно, но расширилъ его сатиру, распространилъ ее на весь государственный и общественный бытъ и тутъ же началъ свою огромную задачу—полнаго дискредитированія русской канцеляріи.

Однимъ изъ самыхъ красивыхъ, привлекательныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неопредѣленныхъ словъ сороковыхъ годовъ было слово „человѣкъ“ и происходящее отъ него „человѣчное“. Щедринъ привязался къ нему со всей

страстностью, на которую только была способна его, вся состоявшая изъ нервовъ, натура, и на развитіе его истиннаго смысла посвятилъ всю свою литературную дѣятельность, при чемъ „публицистика“ являлась простымъ подспорьемъ художественнаго творчества. Насколько такое-то явленіе „человѣчно“—вотъ вопросъ, который интересовалъ его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами. Въ этомъ отношеніи онъ былъ безусловно неуступчивъ и, если мы посмотримъ на него съ этой стороны, то увидимъ, какая огромная доза моралиста скрывалась въ этомъ большомъ русскомъ человѣкѣ—какъ, впрочемъ, и вообще въ большихъ русскихъ людяхъ, близко принимавшихъ къ сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся тѣмъ только, чтобы наблюдать за коловращеніями его судебъ, регистрируя ихъ то въ статистическихъ таблицахъ, то въ художественныхъ образахъ... Очень вѣроятно и даже навѣрное, что по сочиненіямъ Щедрина трудно отвѣтить на вопросъ о сущности красоты и истины, но сущность „человѣческаго“ разъяснена имъ полностью. Впрочемъ *„человѣческое“ было тѣмъ верховнымъ понятіемъ, которому онъ охотно подчинялъ всѣ остальныя. Только человѣческое могло быть дѣйствительно прекраснымъ, только оно могло быть истиннымъ.* Замѣчу, впрочемъ, что по свойству своего ума и дарованія онъ останавливался не столько на положительныхъ опредѣленіяхъ человѣческаго, сколько на уклоненіяхъ отъ него, на его извращенностяхъ. Если онъ мало говоритъ о психологіи настоящаго человѣка, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологіи не-человѣка—раба, куклы и злодѣя онъ говоритъ очень и очень много. Рабъ, кукла и злодѣй—это для него главныя разновидности *не-людей*, все равно какъ и служители формальной правды.

Больше всего онъ говоритъ о психологіи раба. Чувствовалъ ли онъ, что здѣсь заключается главнѣйшій слабый пунктъ русскихъ преуспѣяній, или по какой-нибудь другой причинѣ—судить не берусь. Рабство и его разновидности, хамство, холопство, это непоминаніе своего достоинства, это отрицаніе достоинства въ другихъ, эта жестокость сильнаго, переходящая въ человѣконенавистничество, издѣвательство надъ слабымъ—вотъ наслѣдіе крѣпостного права. И, конечно, корни вдохновенія Щедрина, какъ вдохновенія Тургенева, Гончарова и т. д., находятся здѣсь. Несомнѣнно, что высшее изъ созданнаго имъ относится именно ко времени крѣпостного права. Онъ зналъ его и даже больше чѣмъ зналъ: по его собственному признанію, оно преслѣдовало его „по пятамъ“ въ теченіе всей жизни.

Въ воспоминаніи Щедрина о временахъ крѣпостного „быта“ есть что-то страшное—вплоть до самоубійства дѣтей.

„Я,—говоритъ онъ, — слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право чтобы имѣть возможность забыть его... Я видѣлъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромѣ испуга, я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромѣ физической боли. я былъ свидѣтелемъ звѣрскихъ вожделѣній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлѣба... *Въ царствѣ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нѣтъ* ни одной подробности. которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мнѣ боли...“

Можно привести массу подобныхъ выписокъ, но это совершенно излишне. Дѣло ясно само по себѣ, и смѣшно даже сомнѣваться въ томъ, что впечатлѣнія дореформенной эпохи были, вѣроятно, самыми сильными въ жизни Щедрина: великолѣпная эпопея крѣпостного быта — „Пошехонская старина“ — создана имъ на склонѣ дней, а „Господа Головлевы“ написаны въ теченіе 1872—1876 гг., т. е. 11—15 лѣтъ послѣ реформы... Создавая рабовъ, холоповъ и хамовъ, общую атмосферу лести, подхалимства, жестокости и напуганности, поддерживаемой вѣчной пыткой, крѣпостное право вырабатывало основной элементъ такихъ страстныхъ натуръ, какъ у Щедрина — *негодованіе и тоску о здоровой, человѣчной жизни.*

Крѣпостное право не знало людей собственно, а знало господъ и холоповъ. Первые командовали, вторые слушались, и обѣ стороны взаимно и незамѣтно развращали другъ друга. Когда крѣпостное право было уничтожено, оно исчезло только изъ свода законовъ. Жизнь такъ освоилась съ нимъ, ея уклады такъ примѣнились къ нему, оно пустило такіе глубокіе корни во всѣхъ ея областяхъ и прежде всего въ области нравственности и общественности, что и долгое время спустя можно было видѣть не только „слѣды“ его, но и цѣлый кодексъ морали и общественныхъ отношеній, оставленный имъ на пользованіе и поученіе потомства. Еще Добролюбовъ, говоря о неизбѣжномъ и неминуемомъ паденіи крѣпостного права, строго прибавляетъ, что этимъ задача далеко не исчерпывается, и что всероссійскій гражданинъ отнюдь не имѣетъ полнаго права почить на лаврахъ, что напротивъ того, ему предстоитъ еще труднѣйшая задача бороться съ послѣдствіями крѣпостничества, не только забравшагося во всѣ щели, но и растворившагося, такъ сказать, въ атмосферѣ, общественной жизни. Задача была огромная и, чтобы выполнить ее, нужны были огромныя силы. Щедринъ взялся за нее, начиная съ „Губернскихъ очерковъ“.

Въ основѣ этого духовнаго рабства и всепоглощающаго самосохраненія лежитъ *трусость*. Ей, въ чистомъ ея видѣ, Щедринъ посвятилъ двѣ превосходныхъ сказки: „Премудрый пискарь“ и „Самоотверженный заяцъ“, слишкомъ извѣстныя, чтобы на нихъ останавливаться, и вообще его сочиненія — это галлерея рабовъ, при чемъ обыкновенно рабами оказываются

и тѣ, кто считаетъ себя за господъ. Разное рабство и разнообразное. Рабство прямое, юридическое, какъ крѣпостныя отношенія; рабство духа, съ дѣтства запуганнаго; рабство въ видѣ матеріальной зависимости; рабство подчиненныхъ въ отношеніи къ начальникамъ. „Бѣдная страна эта Россія: ее надо жалѣть“, говоритъ Щедринъ; бѣдная, потому что страна рабовъ...

Премудрые пискари, самоотверженные зайцы, гордыя помѣщицы, какъ Арина Петровна, Іудушка—все это не люди, способные воспринять „истину, добро и красоту“ жизни, а лишь полъ-человѣка, четверть человѣка, вообще какія-то дроби людей. Одни запуганы, какъ премудрый пискарь, и страхъ выѣлъ ихъ душу, у другихъ холопство стало второй натурой и преобразилось въ беззавѣтную преданность, у третьихъ умерло все, кромѣ злобной наклонности къ пакостничеству и негодяйству. „Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались?“—съ ужасомъ спрашиваетъ себя художникъ и снова беретъ въ руки свой діогеновскій фонарь и днемъ съ огнемъ ищетъ человѣка. Но кукольныхъ дѣлъ мастеръ Изувѣровъ объясняетъ ему, что человѣка нѣтъ. „Взглянешь,—говоритъ онъ,—кругомъ—все-то куклы, вездѣ-то куклы. Не есть конца этимъ кукламъ. Мучатъ, тиранятъ, въ отчаянность, въ преступленіе вводятъ. Вѣрите ли, иногда думается: Господи, кабы не куклы, вѣдь десятой бы доли злыхъ дѣлъ не было противъ того, что теперь есть“.

Въ тоску привелъ Изувѣровъ Щедрина, показывая ему своихъ деревянныхъ людишекъ: слишкомъ близки они къ жизни, чтобы отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что настоящая фабрика ихъ тамъ, въ этой путанной сѣти человѣческихъ отношеній, себялюбивыхъ и недовѣрчивыхъ, гдѣ человѣкъ человѣку врагъ, гдѣ гибель одного вызываетъ торжество другого, а торжество другого зависть третьяго и желаніе видѣть гибель удачника.

Куклы—порожденіе столько же дореформеннаго, сколько и пореформеннаго времени, когда процессъ обездушиванія человѣка происходитъ не сразу, а постепенно и систематически, путемъ непрестаннаго воздѣйствія мелочей жизни. Въ добрые старые дни обрядъ оглушенія производился болѣе энергично, сразу: самый фактъ рожденія въ курной избѣ или барскихъ хоромахъ предопредѣлялъ судьбу человѣка отъ колыбели до могилы.

Кромѣ того, въ распоряженіи бурмистровъ и другихъ начальствующихъ лицъ находились сильно дѣйствующія (heroica) средства, быстро приводившія къ общему знаменателю забывшагося человѣка. Экономическая зависимость—тоже рабство, но дѣйствуютъ не казацкими набѣгами, не неожиданными натисками, а гораздо деликатнѣе, хотя результаты, въ концѣ концовъ, тѣ же самые, да и жизнь, въ сущности говоря та же самая—про-

ходящая въ вѣчномъ страхѣ передъ завтрашнимъ днемъ, въ вѣчномъ трепетѣ за свое существованіе. Быть можетъ, горечь такой зависимости усиливается еще близкимъ къ иллюзіи сознаніемъ, что, по дѣйствующимъ законамъ, циркулярамъ и постановленіямъ, возможность добиться довольства и, такъ сказать, „матеріальной“ свободы предоставлена рѣшительно каждому. Могій вмѣстити пусть вмѣститъ, говорятъ эти законы, циркуляры и постановленія человѣку, лукаво подмигивая въ сторону счастливцевъ и удачниковъ. Правда, нѣсколько напряженныхъ попытокъ быстро убѣждаютъ любого изъ нетерпѣливыхъ, что довольст о и обезпеченность – удѣлъ лишь очень и очень немногихъ, и онъ всѣ свои вожделѣнія сводитъ къ скромной формулѣ: „хоть бы какъ-нибудь свести концы съ концами“; но это дѣло очень затруднительно: скудный кусокъ достается лишь подъ условіемъ постояннаго страха утерять его. Этотъ-то страхъ гораздо болѣе, чѣмъ самый трудъ, и есть то иго, которое несетъ современное человѣчество подъ разными широтами, на разныхъ меридіанахъ, представляющее изъ себя поскудное зрѣлище твари дрожащей. Эту грандіозную картину оскудѣнія духа, полнаго забвенія имъ не только уже божественнаго, но и просто человѣческаго своего существованія, сатирикъ изобразилъ въ одной изъ лучшихъ и позднихъ своихъ вещей, названной имъ „Мелочами жизни“...

И вдругъ просыпается душа и, среди окутавшей все существо человѣческое, тьмы мелочей властно и неумолимо раздается ея голосъ: „что ты дѣлалъ? зачѣмъ жилъ?“... Много ухищреній изобрѣтено человѣкомъ, чтобы не слышать этого призыва къ покаянію и раскаянію, но все же, рано или поздно, долженъ наступить этотъ страшный моментъ и „человѣческое“ предъявитъ свои права.

На этой простой мысли Щедринъ строилъ свои драмы: „Господа Головлевы“ кончаются тѣмъ, что даже Іудушка задаетъ себѣ страшный вопросъ, зачѣмъ онъ жилъ и зачѣмъ кровопійствовалъ. Герой эпопеи „Въ средѣ умѣренности и аккуратности“, Молчалинъ въ ужасѣ видитъ, какъ почва уходитъ у него изъ-подъ ногъ, какъ онъ послѣ катастрофы съ сыномъ покатится въ какую-то зіяющую пропасть, и отъ всей его жизни, усилій, кровопійства, человѣконенавистничества не останется ничего, кромѣ, отчаянія и мрака.

Щедринъ вѣрилъ въ человѣка, вѣрилъ въ то, что въ основѣ нашей жизни и нашей природы лежатъ всемогущія нравственныя силы, совершенно устранить которыя изъ своего бытія человѣкъ не въ состояніи. Только давая просторъ этимъ именно силамъ, не заслоняя ихъ ни мелочами, ни ложью, можно разсчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой суетъ, но и грѣхомъ. Правда, иначе грѣшитъ покорный рабъ Черезовъ, чѣмъ злодѣй Іудушка, иначе губитъ

людей бездушная кукла, чѣмъ кровожадный волкъ, но и здѣсь и тамъ все грѣхъ, грѣхъ и грѣхъ. Это точка зрѣнія моралиста? Да, конечно, и, какъ художникъ, Щедринъ обыкновенно стоялъ на ней. Мало того, онъ былъ проникнутъ ею и постигалъ ее во всей ея глубинѣ. Высшимъ верховнымъ судьей человѣка онъ признавалъ его собственную совѣсть, которая надъ собой не знаетъ уже никакого судьи. Ей отмщеніе и она воздастъ... а мы можемъ только вѣрить въ необходимое торжество этого верховнаго начала. Только поэтому Щедринъ примирялъ насъ съ Іудушкой и съ кровожаднымъ волкомъ, который, замученный совѣстью, самъ, учуявъ облаву, спокойно вышелъ навстрѣчу охотникамъ со словами: „вотъ она смерть избавительница". И кто же броситъ камень въ лежащій невдалекѣ отъ погоста холодный трупъ Іудушки или въ этого волка, почти - героя? „Будьте людьми, не давайте мелочамъ жизни заполнить духа своего, не давайте злодѣйству загрязнить его"—вотъ завѣтъ Щедрина... Но что же дѣлаетъ изъ человѣка Іудушку, куклу, Молчалина, кровопійцу, служителя формальной и жестокой правды? Что заставляетъ людей радоваться горю ближнихъ, издѣваться надъ ними, бить лежачаго? Какъ въ „Запутанномъ дѣлѣ", такъ и вообще во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Щедринъ давалъ на это одинъ отвѣтъ: причина такого униженія человѣка кроется въ общественныхъ условіяхъ. Они-то создаютъ изъ человѣка раба. А рабъ есть рабъ. Онъ не можетъ быть правдивъ и честенъ, смѣлость и порывъ недоступны ему, онъ выросъ въ затхлой атмосферѣ обиды и униженія и умѣетъ только обижать и унижать. Жизнь сдѣлала его бездушнымъ, его счастье и спасеніе только въ этомъ бездушіи, и самое страшное, самое трагическое—это *пробужденіе въ рабѣ человѣка...*

Отвлеченный, въ юности воспринятый идеалъ красоты, добра, истины, человѣчности, идеалъ Щедрина нашелъ свое воплощеніе въ крестьянскомъ царствѣ... Умъ огромный и глубоко скептическій, Щедринъ боялся отдаться ему совсѣмъ, но позволялъ ему увлекать себя.

Если отбросить крайности народническаго движенія, то несомнѣнно, что Щедринымъ оно было пережито полностью. Въ крестьянской жизни онъ видѣлъ прежде всего наиболѣе полное воплощеніе идеаловъ правды, добра, справедливости—даже красоты и истины. Онъ любилъ противопоставлять жизнь интеллигентную, чиновничью, барскую—жизнь мужицкой, и читателю ни разу не придется сомнѣваться, на чьей сторонѣ симпатіи художника. Но въ то же время у него есть и очевидные слѣды перелома правовѣрной народнической мысли. Любопытная черта: несомнѣнно идеализируя мужика и устои его существованія,—Щедринъ въ то же время никогда не доходилъ до

идолопоклонства. Его умъ былъ въ высшей степени трезвый, отчасти даже скептическій, который всегда заставлялъ его остановится во время. Онъ не носился ни съ общиной, ни съ міромъ, ни съ артелями, ни съ круговой порукой. Проникая въ истинную „подоплеку“ — его выраженіе, — онъ говорилъ, напр., объ общинѣ:

„Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдѣлались пустопорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ убѣдилось, что *есть община и община*, что община, на которой они созидали благополучіе и силы Россіи, не обезпечиваетъ ни отъ пролетаріата, ни отъ обидъ, приходящихъ извнѣ, что, наконецъ, будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, стоитъ еще для всѣхъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять“.

Можно, какъ кажется, прямо утверждать, что, раздѣляя народническое настроеніе, видя въ крестьянской жизни основу жизни всего народа и всего государства, источникъ его силы и слабости—Щедринъ не раздѣлялъ народническихъ идеаловъ и не соглашался признавать въ устояхъ крестьянскаго быта чего-то самодовлѣющаго. Если община лучше канцеляріи—это еще не значитъ, что она хороша, если крестьянская работа лучше, реальнѣе работы столоначальника—это не значитъ, что она хороша и т. д., съ этой точки зрѣнія извѣстная картина, изображающая Щедрина на опушкѣ лѣса передъ поляной, на которой пашетъ мужикъ,— картина, внушающая, такъ сказать, зрителю, что вотъ этотъ пашущій мужикъ и есть идеалъ сатирика—совершенно неосновательна. Это годилось бы развѣ, да и то съ натяжкой, для Толстого. На самомъ дѣлѣ, если пашущій мужикъ можетъ служить идеаломъ, то отсюда прямой нравоучительный выводъ: „бери соху, паши землю“ и оставь въ сторонѣ искусство и науки. До такого вывода Щедринъ не доходилъ и дойти не могъ, потому что въ немъ очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Есть каверзный вопросъ: кому у кого учиться? интеллигенту у мужика или мужику у интеллигента, или же тому и другому, къ общей радости и благополучію, мѣняться взаимными услугами? Мужикъ, говорятъ, будетъ обучать насъ нравственности и добродѣтели, а мы его грамотѣ, сельскому хозяйству и прочимъ хорошимъ вещамъ. И будетъ въ такомъ случаѣ на землѣ миръ и благоволеніе. Но, во-первыхъ, можно ли научиться нравственности и добродѣтели? Сократъ это признавалъ, это былъ одинъ изъ краеугольныхъ камней его проповѣди, но, въ сущности, научилъ ли онъ кого-нибудь, чему хотѣлъ? Это сомнительно. Наша моральная жизнь является, прежде всего, про-

явленіемъ нашего характера, нашей натуры и лишь въ очень и очень незначительной степени нашихъ идей. Идеи указываютъ точку приложенія силы, но самой силы онѣ никогда никому не давали и давать не могутъ. Вся система нашихъ нравственныхъ понятій находится въ такой близкой органической связи съ условіями нашей жизни, что произвольно ихъ разъединять нѣтъ рѣшительно никакой возможности. Возьмите, напр., отношеніе къ женщинѣ. Вообще говоря, „учить жену“ принято въ крестьянскомъ мірѣ, а мы смотримъ на такого учителя, какъ на варвара и башибузука. Насъ возмущаетъ даже всякое насиліе надъ личностью. Этимъ насиліемъ надъ личностью живетъ община. Насъ приговоръ большинства ничуть не освобождаетъ отъ упрековъ совѣсти, но крестьянинъ, разъ „міръ постановилъ“, хотя и нѣчто завѣдомо несправедливое, умываетъ свои руки и остается совершенно спокойнымъ. Міромъ приковали сумасшедшую на цѣпь и постановили, чтобы она сидѣла на цѣпи до конца дней. Міромъ отправили Ивана Непомнящаго въ Сибирь на поселеніе, и о чемъ еще толковать тутъ... И т. д. Такова система нравственныхъ понятій, неразрывно связанная съ сохой. Взявшись за соху, сдѣлавшись общинникомъ, вы должны принять и эту систему нравственныхъ понятій. Но у насъ многіе склонны смотрѣть на дѣло иначе и видятъ въ „системѣ нравственныхъ понятій“ своего рода шапку, которую съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ можно напялить на любую голову. Крестьянское моральное міросозерцаніе для насъ совершенно не годится, для современнаго крестьянскаго общинника не годится и наше. Что, дѣйствительно, станетъ онъ дѣлать съ нашимъ скептицизмомъ, критикой, нашимъ преувеличеннымъ даже преклоненіемъ передъ личной свободой и независимостью? Онъ на первыхъ же порахъ столкнется съ міромъ, и это столкновеніе сразу же и неизбѣжно станетъ трагическимъ. Міръ себя покажетъ, какъ, по свидѣтельству нашихъ народниковъ, онъ сотни и тысячъ разъ показывалъ себя, продавая за ведро водки свое достоинство, свои права и преимущества.

Мы всегда забываемъ самую простую вещь, что „система нравственныхъ понятій“ общинника есть не что иное, какъ система нравственныхъ понятій нищаго человѣка, жмущагося къ стаду, потому что, въ концѣ концовъ, на міру и смерть красна. Вы хотите крайняго и рѣшающаго доказательства этой простой мысли? Кажется, что за нимъ очень и очень недалеко ходить и стоитъ только обратиться къ свидѣтельству той же самой народнической литературы по части всѣхъ тѣхъ „особей“, которыя экономически прежде всего, а потомъ и духовно выбрались изъ обычнаго для крестьянина полунищенскаго уровня существованія.

Изъ пѣсни слова не выкинешь. Не выкинешь и изъ картины нашей жизни того несомнѣннаго и очевиднаго факта, что всѣ эти Колупаевы и

Разуваевы порожденіе нашего міра, нашей общины, укладовъ нашей крестьянской жизни. Почему же это такъ постоянно случается, что стоитъ только человѣку подняться ступенью выше сравнительно съ ближними своими, стоитъ ему только начать торговать водкой, капорскимъ чаемъ и линючими ситцами, какъ отъ его добродѣтели не останется и слѣда и вмѣсто смиренія духа появляется наглость его, вмѣсто жалости и состраданія—желаніе затоптать ближняго въ грязь, презрѣніе къ слабому и гордое торжество надъ погибшимъ и погибающимъ? Нѣтъ хуже и горше обидъ, которыя чаносили крестьянину въ лицѣ бурмистровъ при крѣпостномъ правѣ, въ лицѣ Колупаевыхъ и Разуваемыхъ теперь.

Повторяю: совершенно неправы поэтому тѣ, кто навязывалъ Щедрину идеалы крестьянскаго быта или преклоненіе передъ его устоями. Все равно, какъ онъ не могъ въ свое время признать нигилизмъ „высшей формой мышленія"—какъ впослѣдствіи онъ не восторгался дѣятельностью земскихъ учрежденій, такъ и къ основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всѣхъ золъ, онъ отнесся прямо отрицательно. Въ отвѣтъ на всѣ пѣснопѣнія слышался его суровый скептическій голосъ: „современная намъ форма крестьянскаго общежитія неудовлетворительна", и „будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, еще загадка для всѣхъ". Только тотъ, кто знаетъ, какую роль играла „община" и „общинность" при созданіи народническихъ утопій, какія надежды возлагались на нихъ, до какой степени незыблемыми онѣ представлялись,—оцѣнитъ по достоинству предостерегающій голосъ Щедрина.

Но въ то время онъ бы не былъ человѣкомъ своего времени и даже вождемъ его, если бы не видѣлъ въ крестьянствѣ и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовалъ бы въ отношеніи къ ней наибольшаго вниманія, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

Но что же дѣлать, если мѣщанскіе инстинкты, обоготвореніе имущества, такъ глубоко заложены въ крестьянскую душу, что ждутъ лишь удобнаго случая для пышнаго своего расцвѣта? На этомъ огромный вопросъ Щедринъ не отвѣтилъ. Въ своемъ отношеніи къ крестьянству и крестьянскому міру онъ былъ столько же трезвымъ мыслителемъ, сколько поэтомъ-идеалистомъ. Онъ отдыхалъ на картинахъ мужицкой жизни и правды, онъ давалъ этимъ картинамъ возможность обманывать - увлекать себя. Сатирикъ часто надѣвалъ на себя костюмъ идиллиста, но, увы, этотъ костюмъ былъ слишкомъ не по мѣркѣ ему, чтобы онъ могъ долго оставаться въ немъ.

Перечтите разсказъ Пименыча о святой землѣ или повѣствованіе о чудесахъ, видѣнныхъ на пути странницей Пахомовной, и скажите, развѣ это не умиленіе? Разве не умилялся и Крамольниковъ, произнося свою

страстную рѣчь на юбилеѣ „Полита Мосеича“, развѣ не то же чувство продиктовало Щедрину слово Искупителя, обращенное къ тѣмъ, кто поливаетъ землю потомъ и кровью своей? Страннаго, неожиданнаго въ нихъ ничего нѣтъ. Щедринъ ничуть не виноватъ, что мы его плохо знаемъ, что для однихъ онъ все еще писатель по смѣшной части, для другихъ „политическій“ сатирикъ по преимуществу, развѣнчавшій и дискредитировавшій всѣхъ ярыжекъ, подъячихъ и канцелярскихъ служителей. Оба взгляда одинаково обидны для Щедрина. Онъ былъ, прежде всего, великимъ русскимъ писателемъ, такимъ же, какъ Гоголь, Толстой, Некрасовъ--значитъ болѣлъ ихъ же болями, значитъ искалъ и находилъ утѣшеніе тамъ же, гдѣ находили они—въ вѣчныхъ завѣтахъ любви и жизни народа, его будущемъ. Обращаясь къ народу, онъ могъ бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью...
Я тебѣ мою пѣсню послѣднюю,
Мою горькую пѣсню спою... *)

---

*) Я думаю, мнѣ нечего даже и прибавлять по этому поводу, что Щедринъ одинаково, какъ и Некрасовъ былъ однимъ изъ нашихъ кающихся дворянъ. Если вообще этотъ типъ сыгралъ существенную роль, то, разумѣется, потому лишь, что онъ имѣлъ въ своей средѣ очень крупныхъ представителей. Однимъ изъ крупнѣйшихъ былъ Щедринъ. Въ доказательство принадлежности его къ кающемуся барству не буду ссылаться, какъ иные, на его служебную карьеру, до которой историку литературы очень мало дѣла. Историкъ литературы скажетъ только, что гуманныя и радикальныя мечты и идеи 40-хъ годовъ были очень широки, лишены дѣйствительно реальнаго содержанія, и что о безусловной отвѣтственности передъ ними не могло быть и рѣчи. Оттого-то такіе люди, какъ Добролюбовъ и Чернышевскій, и не переваривали „барства“. Но по отношенію къ народу стоитъ остановиться. Фактъ былъ тотъ, что освобожденный народъ не былъ счастливъ и, больше того, оказался почти что въ прежней кабалѣ, хотя и у другихъ уже хозяевъ. Такое несчастное положеніе народа должно было во всѣхъ лучшихъ людяхъ,—къ какому бы классу они ни принадлежали, вызывать самое простое и естественное чувство жалости къ нему, желаніе его научить, дать ему въ руки хорошую книгу, дать ему основы гражданскаго существованія. Но кающійся дворянинъ къ этому простому, повторяю, и естественному чувству долженъ былъ прибавить ту напряженность и даже истеричность, которыя зависѣли не отъ исключительной любви къ слабому, а отъ воспоминаній о собственныхъ или отцовскихъ грѣхахъ, т. е. кричащій голосъ своей совѣсти. Это было, значитъ, народолюбіе, ра-

Между Гоголемъ и Щедринымъ есть та разница, что то, что Гоголь преслѣдовалъ съ нравственно-религіозной точки зрѣнія, то Щедринъ клеймилъ какъ моралистъ и общественный дѣятель. Гоголь былъ близокъ къ обстановкѣ своего времени, но эта обстановка интересовала его прежде всего, съ ея метафизической и религіозной стороны. Онъ искалъ отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, выводилъ на сцену людей, которые придаютъ этой жизни какой-то странный и пошлый смыслъ, т. е. обращаютъ ее въ безсмыслицу, и тосковалъ объ этомъ, потому что грозные призраки смерти и вѣчности совсѣмъ не мирились въ его представленіи съ образомъ

зогрѣваемое и разгорячаемое чувствами совершенно посторонними. И такого народолюбія не могло быть, напр., ни у Рѣшетникова, ни у Добролюбова. Здѣсь духовный надрывъ. Здѣсь не только желаніе помочь народу, но и мысль о расплатѣ съ нимъ.

Вообще же къ сказанному мною выше я долженъ прибавить, что барскими и разночинными идеями я считаю совсѣмъ не тѣ, которыя находятся въ головѣ даннаго барина или разночинца. При изслѣдованіи каждаго даннаго случая въ отдѣльности могутъ быть сдѣланы совершенно неожиданныя открытія, діаметрально противоположныя ожидаемымъ. Это значитъ лишь то, что извѣстныя идеи обладаютъ силой внушенія, достаточной для преодолѣнія классовыхъ симпатій или антипатій, разъ тому благопріятствуютъ обстоятельства. Барскія идеи должны быть выработаны и дѣйствительно вырабатываются на почвѣ прочныхъ укладовъ барской, крѣпостнической культуры. Такъ же вырабатываются и барскія натуры, и вся барская связка чувствъ. У разночинцевъ тоже были прочные уклады или лучше сказать отсутствіе этихъ укладовъ, была жизнь, отданная на произволъ каприза, прихоти и случайности, выработавшая свои идеи и настроенія, напр., чувство мести, идею утилитаризма, вопіяніе противъ красоты и т. д. Кто какими идеями увлечется—это часто дѣло житейской случайности, но вообще естественно предположить, что барское ближе барину, чѣмъ кому-нибудь другому и что баринъ-отрицатель останется въ основѣ своей натуры все тѣмъ же Рудинымъ, тѣмъ же Бельтовымъ, т. е. бариномъ, занявшимся отрицаніемъ. И въ отрицаніи будетъ слышаться тотъ же барскій смѣхъ, та же барская избалованность или то же барствованіе во Христѣ. Могутъ быть рѣдчайшія исключенія, но не о нихъ рѣчь.

Кающійся баринъ 70-хъ годовъ шелъ той же дорогой, какъ и протестующій разночинецъ. Во всякомъ случаѣ, той противоположности взаимнаго непониманія и вражды, какая была между бариномъ и разночинцемъ въ 60-ые годы, теперь на сценѣ нѣтъ. Кающійся дворянинъ ушелъ въ свое народолюбіе, нѣсколько сузивъ сферу другихъ своихъ интересовъ, все больше отказываясь отъ широчайшей и всеобъемлющей гуманности 40-хъ годовъ, отъ своего эстетическаго отношенія къ дѣйствительности. Это уже баринъ, переработанный шестидесятниками и ихъ прямолинейными взглядами. Онъ во многомъ подчинился разночинцу, но во многомъ подчинилъ и его себѣ. Въ литературѣ онъ занялъ пер-

жизни, заботами, тревогами и радостями Маниловыхъ, Плюшкиныхъ, Ноздревыхъ и т. д. Когда Гоголю приходилось спрашивать себя, откуда это пониженное существованіе людей, это полное умаленіе ихъ духа, эта непроходимая и пошлая низменность ихъ существованія—онъ отвѣчалъ на это не указаніемъ на исторію, хотя самъ былъ, положимъ случайно, историкомъ, или—на крѣпостное право, которое онъ принималъ, какъ фактъ, не возмущаясь имъ, не допуская, повидимому, даже мысли о возможности и необходимости его упраздненія, и говорилъ: люди оттого живутъ такъ безобразно и даже гадко, оттого они ползаютъ въ грязи, что не понимаютъ своей *судьбы*, тайны своего рожденія и тайны смерти, не понимаютъ и той огромной отвѣтственности, которая ждетъ ихъ за гробомъ; ихъ религіозное мышленіе или бездѣйствуетъ или прилѣпилось лишь къ обрядовой сторонѣ вѣры или, отдѣлившись отъ жизни, не вліяетъ уже на нее. Какъ натура глубоко-религіозная съ нѣкоторымъ даже оттѣнкомъ церковничества, Гоголь и не могъ отвѣчать иначе на тотъ вопросъ о смыслѣ жизни, который онъ поставилъ себѣ.

Какъ всякій крупный русскій человѣкъ, Щедринъ былъ одинаково натурой религіозной. Но его религіозность надо понимать въ томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ ее, напр., Солтеръ въ своей „Religion der Moral". Сущностью этой религіозности является тотъ же вопросъ о смыслѣ жизни, но отвѣтъ на него диктуется прежде всего и даже исключительно нравственнымъ чувствомъ, совѣстью,—тѣмъ, что Кантъ называлъ присущимъ человѣку моральнымъ закономъ. Смыслъ жизни можетъ быть осуществленъ лишь въ той обстановкѣ, которая обезпечиваетъ счастье всѣхъ; теперь смыслъ жизни можетъ быть найденъ лишь въ стремленіи къ этому счастью, что въ глазахъ Щедрина является долгомъ каждаго. *Его нравственность сводилась къ требованію подвижничества во имя общественныхъ цѣлей.*

Онъ весь въ общественныхъ интересахъ, но дышитъ и живетъ ими.

ныя мѣста. Его народолюбіе (какъ расплата съ народомъ, какъ велѣніе больной совѣсти) очень близко подходило къ народолюбію разночинца. Народъ онъ идеализировалъ, между прочимъ, и потому, что кающійся всегда идеализируетъ измученнаго имъ, или такого, кого онъ считаетъ собою измученнымъ, человѣка. Но идеализировалъ народъ и разночинецъ, какъ единственный предметъ своей любви, теперь съ каждымъ днемъ все больше оплевываемый, а не освобождаемый, какъ раньше. И муки совѣсти и единственная любовь возвеличивали красоту безымяннаго даже подвига. Такимъ образомъ въ 70-ые годы мы видимъ своего рода синтезъ разночинца и барина. Это можно прослѣдить даже въ подробностяхъ, напр., въ философіи Арнольди или Михайловскаго, которые, очевидно, синтезировали взгляды 40-хъ и 60-хъ годовъ.

Съ обстоятельностью хроникера онъ слѣдитъ за всѣми перемѣнами общественныхъ мыслей и настроенія, за всякимъ мѣропріятіемъ канцелярскихъ сферъ, за каждымъ выдающимся фактомъ газетной хроники, за всякой интересной книгой. Въ немъ настоящій темпераментъ журналиста: онъ и редакторъ, и сатирикъ, и фельетонистъ, и внутренній обозрѣватель, и библіографъ. Поражаешься его неутомимости и его отзывчивости. Онъ слѣдитъ за всѣмъ и на все откликается. Онъ исполненъ гнѣва и благоволенія, любви и ненависти, подавляющаго презрѣнія, жестокаго сарказма, самаго непримиримаго раздраженія и самой нѣжной жалости. Его письменный столъ—это трибуналъ, передъ которымъ каждый мѣсяцъ должны пройти всѣ факты общественной жизни и отдать ему отчетъ въ своемъ содержаніи. Онъ допрашиваетъ и пытаетъ ихъ, онъ разражается то смѣхомъ, то слезами, онъ вѣчно въ волненіи. И въ этомъ его огромная сила, какъ и въ непримиримости. Всѣ его заботы сосредоточены на томъ, чтобы разбудить наконецъ эту спящую или засыпающую публику. Онъ тормошитъ ее постоянно. То обращается онъ къ ней съ добродушной насмѣшкой, увеселяетъ и развлекаетъ ее разными шутками, уговариваетъ и учитъ ее, даетъ ей совѣты, высмѣиваетъ ея увлеченія, ея скоропреходящихъ героевъ, хохочетъ имъ прямо въ глаза, отъ лирическаго воззванія переходитъ къ художественному изображенію какого-нибудь ужаса жизни, изображаетъ его съ настоящей трагической силой и гнѣвно спрашиваетъ: да неужели вы не понимаете, что скрывается подъ этимъ, чѣмъ это грозитъ вамъ? Онъ прекрасно знаетъ, что публика любитъ его, что у него масса восторженныхъ читателей, что ему простятъ всякія дерзости и оплеваніе кумировъ, и онъ щедръ на дерзости и на оплеваніе. Но въ основѣ своей онъ всегда серьезенъ, потому, что та цѣль, которой онъ служитъ, велика и важна въ его глазахъ, потому что онъ вѣренъ разъ навсегда своей любви и ненависти, потому что онъ непримиримъ въ своей борьбѣ съ канцеляріей и канцелярщиной. Великій мастеръ слова, онъ съ огромнымъ искусствомъ пользуется всѣми его оттѣнками, всѣми родами писательскаго искусства (вплоть до стиховъ)—чтобы расшевелить человѣческую душу своей милой публики, тетеньки, чтобы поднять ея уваженіе къ себѣ, разрушить ея равнодушіе.

Сатира Щедрина преслѣдовала самодовольство и самоуслажденіе во всѣхъ его видахъ и въ чемъ бы оно ни проявлялось. Самодовольство является необходимымъ и неотъемлемымъ элементомъ всѣхъ его отрицательныхъ типовъ, начиная отъ изувѣровскихъ куколъ и кончая Іудушкой Головлевымъ и Угрюмомъ Бурчеевымъ, грозно приказывающимъ рѣчному потоку поворотить свои волны вспять. Самодовольство—синонимъ умственной и нравственной отупѣлости, это броня, защищающая человѣка отъ

всякаго состраданія, отъ всякой любви къ ближнему. Пусть льются слезы, пусть царитъ неправда, пусть нищета высасываетъ послѣдніе соки изъ своихъ жертвъ...—я заплатилъ за мѣсяцъ прислугѣ, я ни копейки не долженъ въ мелочную лавочку, я вызубрилъ краткіе начатки либерализма,— и благо мнѣ"... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побѣждающая сила Іудушекъ, кузинъ Машенекъ и прочей—виноватъ за выраженіе, сволочи? Не въ томъ, разумѣется, что у нихъ есть деньги, такъ какъ начали они все же безъ гроша, и не въ лицемѣріи, потому что на одномъ лицемѣріи далеко не уѣдешь,—ихъ сила въ самодовольствѣ, въ той нравственной тупости, которая позволяетъ имъ бить и добивать лежащихъ людей, и успокаивать свою совѣсть соображеніемъ, что они поступаютъ на законномъ основаніи. И всѣ отступаютъ передъ ними, и всѣ попадаютъ въ ихъ паутину, потому что формальная правда на ихъ сторонѣ. Прямо они не воруютъ, прямо не насильничаютъ, и кто же посмѣетъ придраться къ нимъ. Какъ вороны, издали зачуявъ запахъ тлѣна и разложенія, слетаются къ трупу и падали, такъ Іудушки и кузины Машеньки кружатся возлѣ всѣхъ слабыхъ и гибнущихъ, чтобы, воспользовавшись минутой полной растерянности, доканать ихъ. Нѣтъ у нихъ той неудобной вещи, которая въ общежитіи называется совѣстью, представляющейся съ психологической точки зрѣнія процессомъ самокритики... Самодовольство самодовольству розь. Оно знаетъ самыя различныя степени, ступени и градаціи. Оно можетъ быть наивнымъ и добродушнымъ, какъ у безсмертныхъ героевъ Диккенса, Стерна, Рабле, можетъ соединяться и съ холодной злобой опустошенной души, какъ у большинства героевъ Щедрина. Оттого-то его сатира такъ часто и переходитъ въ драму, что онъ выбиралъ дѣйствующими лицами своихъ разсказовъ людей, пожалуй, и добродушныхъ, но такихъ, руки которыхъ „запачканы кровью". Возьмите, напр., Молчалина. „Я,—разсказываетъ Щедринъ,—видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.—„Алексѣй Степановичъ,— воскликнулъ я въ ужасѣ,—вспомните, вѣдь у васъ руки"...—Я вымылъ,— отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзать пирогъ". Молчалинъ совсѣмъ не злодѣй, онъ превосходный семьянинъ, страстно любитъ своихъ дѣтей и ко всему этому настолько добродушенъ, что откушать у него пирогъ съ капустой прямо пріятно.—Также и старикъ Разумовъ изъ „Вольного мѣста"—тоже добрый человѣкъ. Всю свою жизнь онъ куры не обидѣлъ, служилъ всегда по сущей совѣсти и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, неразсуждающій, онъ жилъ для своего семейства и прежде всего для единственнаго сына—Степы, возлѣ котораго сосредоточивались всѣ лучшія его чувства и всѣ вожделѣнія.

Степа выйдетъ умницей, Степа возвеличитъ родъ Разумовыхъ. Старикъ доживаетъ всю свою жизнь, не зная, за что и въ чемъ упрекнуть себя,—съ точки зрѣнія формальной морали, онъ правъ. „Что-то“ однако заставило одну обездоленную мать провожать его по улицѣ съ проклятіями „сатана, сатана, сатана“,—что-то заставило честнаго Степу кончить жизнь самоубійствомъ послѣ того, какъ онъ подробнѣе ознакомился съ прошлымъ своего отца.

Сатира и трагедія всегда идетъ рука объ руку въ произведеніяхъ Щедрина, и въ этомъ случаѣ онъ представляетъ явленіе исключительное во всей европейской литературѣ! Правда, вы найдете то же самое у Капниста—„Ябеда“, у Гоголя—„Ревизоръ“ и „Мертвыя души“, и у Герцена въ описаніи малиновскихъ нравовъ—но далеко не въ такой степени.

Гоголь опредѣлилъ юморъ, какъ видимый міру смѣхъ сквозь невидимыя міру слезы. Почему-то мы приняли это опредѣленіе безъ всякой критики. Возьмите однако комедію Плавта и его излюбленный типъ „miles gloriosus“, большую часть фигуръ Диккенса и безсмертнаго Пиквика, откормленныхъ Грангузье и Гаргантюа Рабле, мужиковъ малороссовъ у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, гдѣ тутъ слезы? Если я слышу ихъ за сценой „Ревизора“, въ жалобѣ несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высѣкла, если ихъ—этихъ слезъ такъ много въ „Мертвыхъ душахъ“, въ которыя Гоголь вложилъ всю свою глубокую тоску о пустой и безцѣльной человѣческой жизни, поставленный съ глазу на глазъ съ великой тайной мірозданія, гдѣ онъ съ образностью мірового генія воплотилъ страшное противорѣчіе между жизнью „какъ самымъ вѣрнымъ путемъ къ смерти“, и жизнью, наполненной игрой мелкаго тщеславія, — то никто не заставитъ меня видѣть этихъ слезъ ни въ „Коляскѣ“, ни въ „Женитьбѣ“, ни въ „Сорочинской ярмаркѣ“. Гоголь далъ свое опредѣленіе слишкомъ поздно, когда его настроеніе было уже окрашено глубокимъ мистицизмомъ, когда онъ искренно скорбѣлъ о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считалъ ее несоотвѣтствующей по достоинству ни нравственныхъ задачамъ человѣчества, ни его міровой роли.

Но за смѣхомъ Щедрина дѣйствительно почти всегда слышатся слезы—то безсильнаго состраданія, то одинаково безсильнаго гнѣва. Возьмите любую изъ его сказокъ, лучшія страницы изъ „Головлевыхъ“ и „Пошехонской старины“, процессъ дохлаго пискаря, „Повѣсть о правдѣ и торжествующей свиньѣ“, „Губернскіе очерки“ и многое, многое другое, и для васъ станетъ яснымъ, что въ основѣ всего лежитъ тоска — не отвлеченная, не мистическая грусть Гоголя, а *тоска по униженномъ человѣческомъ достоинствѣ*, по этой правдѣ, которая такъ жестоко запоздала своимъ появленіемъ въ свѣтъ. И жалость о судьбѣ этого бѣднаго вороньяго рода, на котораго всѣ эти хищныя ястреба, соколы, копчики, коршуны разсчитываютъ

какъ на „каменную гору“... О, этотъ бѣдный вороній родъ, обреченный на гибель и растерзаніе... И это не мужикъ исключительно, хотя, разумѣется, мужикъ по преимуществу. Кадры его наполняются всѣми довѣрчивыми, наивными душами, всѣми готовыми на жертву и самопожертвованіе во имя любви и правды. Тутъ и заяцъ, мечтающій о снисходительности и милосердіи волка, и премудрый карась, ни для кого не замѣтно попадающій въ разверстую пасть щуки, и сестры-актрисы Аннинька и Любинька, и сельская учительница, нагло обманутая какимъ-то либеральнымъ прохвостомъ, и сотни другихъ пискарей, корчащихся въ кипяткѣ, чтобы была, дѣйствительно вкусная уха для самодовольныхъ и самоуслаждающихся. Гдѣ, въ чемъ эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встрѣчаясь съ нею, намѣченныя рокомъ жертвы притягиваются къ ней съ тою же неотразимой силой, какъ желѣзные опилки магнитомъ, какъ мотыльки сжигающимъ ихъ свѣтомъ? Вѣчно занятый этимъ вопросомъ, понимая его во всей глубинѣ, Щедринъ выростаетъ въ великую, *трагическую* фигуру нашей литературы.

Н. К. Михайловскій (род. 1842 г.). Настроеніе 70-хъ годовъ нуждалось въ научномъ или, по крайней мѣрѣ, наукообразномъ, похожемъ на научное, обоснованіи, такъ какъ предыдущее десятилѣтіе уже пріучило видѣть въ наукѣ главнаго руководителя. И это наукообразное обоснованіе несомнѣнно далъ г. Михайловскій въ своихъ многочисленныхъ статьяхъ, чѣмъ и объясняется значительность его роли въ исторіи русской мысли. Задача, стоявшая передъ нимъ въ началѣ его литературнаго поприща, была велика и существенна, и для своего времени, по крайней мѣрѣ, онъ рѣшилъ ее въ высшей степени успѣшно. Эта задача—борьба съ коренными стихіями русскаго духа: обломовщиной и фатализмомъ, потому что русскаго человѣка гнетъ къ фатализму, къ признанію надъ собой стихійной власти („линіи“, „планиды“), какимъ бы самонадѣяннымъ не представлялся онъ иногда. Это, та же задача, которая стояла передъ Бѣлинскимъ и, особенно, Герценомъ (напр.—въ его письмахъ о дилетантизмѣ и буддизмѣ въ наукѣ), и, я повторяю, для своего времени г. Михайловскій справился съ нею какъ нельзя болѣе успѣшно. Его блестящій публицистическій талантъ, въ которомъ чувствуется или „художникъ-недоносокъ“ или просто невыработавшійся художникъ (потому что для меня вполнѣ несомнѣнна эта художественная закваска г-на Михайловскаго и, не будучи въ состояніи оцѣнить всей глубины его научныхъ открытій, я лучшимъ его наслѣдствомъ считаю „Изъ сказокъ Таволгина“ и нѣкоторыя главы „Въ перемежку“)—его полемическое жестокосердіе, уступающее развѣ жестокосердію Добролюбова или Чернышевскаго, его серьезная научная подготовка, особенно въ области

естественно-историческихъ дисциплинъ, поражающая самоумѣренность его тона, глубокая искренность и красивый, подкупающій лиризмъ—сдѣлали его однимъ изъ самыхъ видныхъ писателей-учителей 70-хъ годовъ. Въ его стилѣ, въ его капризномъ изложеніи, его мѣткой ироніи, его способности передавать негодующія струны духа есть что-то напоминающее Герцена, хотя и умаленное, разжиженное, такъ сказать, журнализмомъ,—но минутами прекрасное; въ его бодромъ идеализмѣ, подернутомъ однако дымкой меланхоліи, скептицизма, а пожалуй, и пессимизма (хорошо говоритъ Таволгинъ: „кабы настояще вѣрилъ, такъ не такъ бы и жилъ, а кабы совсѣмъ не вѣрилъ, такъ тоже иное бы дѣло“)—вы видите истиннаго наслѣдника старобарской культуры, кающагося дворянина, кающагося барина,—въ значительной степени переработаннаго разночинцемъ, но сохранившаго свою художественную подоплеку, свои художественныя требованія и къ жизни отдѣльныхъ людей, и всего общества.

Литературная роль, выпавшая на долю г. Михайловскаго, очень велика, и надо было быть дѣйствительно центральной фигурой своего времени, чтобы отвѣтить на его сложные вопросы. Надо было не создать, конечно, а формулировать „религію“ или такое ученіе, которое связываетъ понятіе о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; надо было для больной, возмущенной и обиженной совѣсти людей указать работу, поведеніе, цѣль въ жизни, которая соотвѣтствовала бы ихъ научному міропониманію. И, конечно, формулированіе такой вотъ этико-научной „религіи“ было самой дорогой, упоительной даже мечтой всей литературной дѣятельности Михайловскаго. Надо, впрочемъ, столковаться о словахъ. Подъ „религіей“ г. Михайловскій разумѣетъ:

...такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой же мѣрѣ невозможно, какъ согласиться, что, напримѣръ, дважды-два равняется стеариновой свѣчкѣ. Очевидно, что первые христіане обладали такимъ ученіемъ. Ихъ понятія о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ вселенной были самымъ тѣснымъ, неразрывнымъ образомъ связаны съ понятіями о нравственной жизни, и связь эта была такого возбуждающаго свойства, что давала имъ возможность дѣйствовать съ полной опредѣленностью. Очевидно также, что мы такого ученія не имѣемъ; наши понятія о существующемъ стоятъ сами по себѣ, понятія о долженствующемъ существовать—тоже сами по себѣ, наконецъ, наши дѣйствія—опять сами по себѣ“.

Въ предисловіи къ полному собранію своихъ сочиненій, опять возвращаясь къ тому же вопросу о задачахъ своей литературной дѣятельности, г. Михайловскій говоритъ:

„Я никогда не могъ повѣрить и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случаѣ, выработка такой точки зрѣнія есть высшая изъ задачъ, какія могутъ представиться человѣческому уму, и нѣтъ жизни, которую жалко было бы потратить на нее. *Безбоязненно смотрѣть въ глаза дѣйствительности и ея отраженію, правдѣ-истинѣ, правдѣ объективной и въ то же время охранять правду-справедливость, правду субъективную — такова задача всей моей жизни*".

Какъ позитивистъ, какъ сынъ 70-хъ годовъ г. Михайловскій, разумѣется, стремился вывести свое зданіе на фундаментѣ точныхъ наукъ. Онъ убѣжденный врагъ всякой метафизики, отчего задача его, разумѣется, только усложнилась. Не желая и не смѣя передъ своей позитивной совѣстью допускать ничего произвольнаго, г. Михайловскій для своей религіи нуждался болѣе всего въ точныхъ выводахъ и обобщеніяхъ соціологіи. Но—увы—такихъ точныхъ выводовъ и обобщеній не существовало, какъ не существовало и самой науки. Если и теперь еще соціологическія работы неизбѣжно и какъ бы роковымъ даже образомъ начинаются съ вопросовъ: „что такое соціологія", какой ея методъ и пр. „ab ovo"—то легко себѣ представить, что было 30 слишкомъ лѣтъ тому назадъ. Надо было начинать сначала, создать самую науку соціологіи, но „тутъ же,—говоритъ г. Михайловскій,— иногда среди самаго процесса теоретической работы, привлекала меня къ себѣ своею яркой и шумной пестротой, всею своей плотью и кровью житейская практика сегодняшняго дня, и я бросалъ высоты теоріи, чтобы черезъ нѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и бросить". Естественно, поэтому, что у г. Михайловскаго, какъ у случайнаго гостя высотъ теоріи, чисто научныя изслѣдованія отличаются какъ бы отрывочностью и нѣкоторой даже неожиданностью и едва ли могутъ удовлетворить полностью кого-нибудь (особенно при такой задачѣ, какъ созданіе религіи!) и лучшее заглавіе имъ, какъ и всему написанному г. Михайловскимъ, это, разумѣется, „въ перемежку". „Въ перемежку" —наука и публицистика, высоты теоріи и плоть и кровь житейской правды сегодняшняго дня, въ перемежку—даже случайныя, чисто беллетристическія работы, и въ результатѣ—почтенные 6 томовъ полнаго собранія сочиненій Михайловскаго, въ которыхъ читателю предоставляется разобраться самому. И, конечно, если въ немъ самомъ есть нѣчто отъ г. Михайловскаго, отъ психологіи кающагося дворянина, отъ голоса больной совѣсти—вообще отъ настроенія 70-хъ годовъ—онъ кое въ чемъ разберется; въ противномъ случаѣ, его недоразумѣнія отъ всего этого недосказаннаго, неполнаго, разбросаннаго и случайнаго, всѣхъ этихъ „высотъ" и „низинъ" могутъ быть очень многочисленны. Цементъ разнообразнѣйшихъ работъ г. Михайловскаго—настроеніе

эпохи, ея идеаловъ, и если ихъ нѣтъ въ насъ самихъ, то эти 6 томовъ не могутъ не показаться чѣмъ-то въ родѣ разрушенной храмины. Это, впрочемъ, прекрасно понималъ г. Михайловскій, когда въ срединѣ 80-хъ годовъ писалъ по поводу предъявленныхъ ему недоразумѣній: „Хорошее это было время (70 е годы)". Тогда писатель зналъ и чувствовалъ, что у него „есть собесѣдники, въ головахъ которыхъ живутъ тѣ же задушевныя мысли, которые стоятъ на одной съ вами почвѣ, поймутъ васъ на полусловѣ, договорятъ для себя недоговоренное вами и, въ свою очередь, однимъ своимъ присутствіемъ начнутъ рѣчь, которую вамъ стоитъ только договорить и развить...„ „Мнѣ случалось тогда писать кромѣ отдѣльныхъ статей по два ежемѣсячныхъ обозрѣнія заразъ по самымъ разнообразнымъ вопросамъ — философскимъ, соціологическимъ, нравственнымъ, чисто практическимъ, литературнымъ. И все это связывалось *единствомъ пульса жизни*, который у меня бился въ тактъ съ моими читателями. Да, хорошее было время!.."

Все это такъ, но все же трудъ читателя, живущаго послѣ этого хорошаго времени, мало облегчается такими соображеніями.

Создать религію (въ положительномъ, позитивномъ смыслѣ этого слова), удовлетворить жаждѣ служить прогрессу, вселяя при этомъ убѣжденіе, что этотъ прогрессъ не мечта, не иллюзія и что формула его имѣетъ за собой серьезнѣйшія, строго научныя основанія,—приподнять то нравственное, героическое, что таится въ душѣ человѣка, взывая къ его совѣсти и чувству чести—этого хотѣлъ и это для своего времени сдѣлалъ г. Михайловскій. Мнѣ онъ представляется, прежде всего, не человѣкомъ науки, не философомъ, а хорошимъ русскимъ публицистомъ, мечтающимъ о созданіи новыхъ общественныхъ формъ жизни, политикомъ, для котораго правда-справедливость, т. е. условія, обезпечивающія человѣческое счастье—первенствуетъ надъ правдой-истиной, т. е. холодными и равнодушными къ судьбѣ людей выводами науки. И онъ служилъ своей мечтѣ въ теченіе цѣлыхъ сорока лѣтъ, служилъ съ огромной страстью и темпераментомъ, и подкупающей искренностью. Что вдохновляло его? Вотъ вопросъ, на который онъ отвѣчаетъ съ полной откровенностью.

„Мы—я говорю „мы", потому что вмѣняю себѣ въ честь стоять въ рядахъ этихъ citoyen'овъ — мы поняли что *сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа*. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ. „Логическимъ ли теченіемъ

идей", какъ вы смѣетесь надъ Герценомъ, или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловѣческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія,—мы пришли къ мысли: *мы должники народа*. Можетъ быть, такого параграфа и нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но *мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности*, хотя, можетъ быть, не всегда вполнѣ сознательно. Мы можемъ спросить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но *долгъ лежитъ на нашей совѣсти*, и мы его отдать желаемъ. Вы смѣетесь надъ нелѣпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальныхъ реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значитъ? Для „общественника", для citoyen'а, для человѣка, вкусившаго плодовъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей, (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанныя съ этой свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвѣтка, — *мы не хотимъ правъ и этой свободы*. Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ. А, г. Достоевскій, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало, для нея самой и для себя самого. Вы, значитъ, знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней—есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія".

Въ другомъ мѣстѣ г. Михайловскій пишетъ въ томъ же духѣ:

„Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя, не привилегій только, объ этомъ и говорить нечего, а самыхъ даже элементарныхъ параграфовъ, того, что въ старину называлося естественнымъ правомъ. Мы были совершенно согласны довольствоваться въ юридическомъ смыслѣ акридами и дикимъ медомъ и лично претерпѣвать всякія невзгоды. Конечно, это отреченіе было, такъ сказать, платоническое, потому что намъ, кромѣ акридъ и дикаго меда, никто ничего и не предлагалъ, но я говорю о настроеніи, а оно именно таково было и доходило до предѣловъ, даже мало вѣроятныхъ, о чемъ въ свое время скажетъ исторія. *„Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же"*—вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали, именно *возможности непосредственнаго перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства*. Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый историческій путь, особливый отъ европейскаго, при чемъ опять-таки для насъ важно не то было, чтобы это былъ какой-то національный путь, а чтобы онъ былъ путь хорошій, а хорошимъ мы признавали путь сознательно практической пригонки національной физіономіи къ интересамъ

народа. Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ проложенія этого пути".

Это очень характерныя строки, изъ которыхъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаетъ фактъ, что толковать г-на Михайловскаго внѣ конкретной, исторической обстановки его времени, внѣ настроенія его эпохи—трудъ совершенно безполезный, потому что очевидно, что никакія теоретическія изысканія не могутъ привести къ формулѣ сердечнаго надрыва: „пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же". Это голосъ совѣсти, все равно, какъ слова: „мы должники народа", „мы не хотимъ правъ и этой свободы", „долгъ (передъ народомъ, мужикомъ) лежитъ на нашей совѣсти и мы его отдать желаемъ"—никому въ мірѣ не могутъ принадлежать, какъ только кающемуся дворянину. Имъ, прежде всего, и былъ г. Михайловскій и въ большомъ, и маломъ, и въ своей формулѣ прогресса, и въ своихъ разсужденіяхъ о томъ, какъ несправедливо въ наши дни вознаграждается трудъ кухарки.

Г-ну Михайловскому принадлежитъ прекрасное произведеніе „Въ перемежку", гдѣ между прочимъ изложены психологія и обстоятельства жизни кающагося дворянина Темкина. Отнюдь не смѣшивая дворянина Темкина съ г. Михайловскимъ, думаю однако, что нѣкоторыя размышленія перваго имѣютъ ближайшее родство и съ такими формулами послѣдняго, какъ только что приведенныя и даже съ „самой" формулой прогресса.

Отецъ Темкина не каялся, хотя чувствовалъ, что въ жизни его есть что-то неладное, во всякомъ случаѣ не отличался непосредственностью дѣдовъ и прадѣдовъ. Сынъ сравниваетъ свой душевный міръ съ водой въ неподвижно стоящемъ сосудѣ, которую подвергаютъ медленному охлажденію. Ртуть давно уже упала ниже нуля, а вода не замерзаетъ, но стоитъ лишь слегка всколыхнуть сосудъ, и на поверхности немедленно же появляется ледъ. Значитъ и тутъ термометръ давно уже стоялъ ниже точки замерзанія, нуженъ былъ самый крошечный толчокъ, и этотъ толчокъ далъ дяденька генералъ своимъ разсказомъ объ одной дѣйствительно крупной и даже занятной несправедливости по отношенію ни къ кому даже другому, а къ своему же ближайшему родственнику—изъ лѣтописей рода Темкиныхъ. Разсказъ слишкомъ длиненъ, чтобы его тутъ приводить,— но неподвижный сосудъ всколыхнулся...

И вотъ дворянинъ Темкинъ сначала мало, потомъ все больше, до истеричности даже, начинаетъ заподозрѣвать правоту своего привиллегированнаго положенія, своего образованія, какъ купленнаго цѣною пота и крови разныхъ крѣпостныхъ ѳедекъ, и конечно, какъ баринъ, какъ прирожденный эстетикъ—потому что идея красоты у насъ вся изъ барской куль-

туры — прежде всего пришелъ въ восторгъ отъ дивной красоты своего покаянія:

„Съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ святая Русь, никто, болѣе насъ, поэтическаго апоѳеоза не заслуживалъ. И мы его, наконецъ, получимъ. Ахъ, если бъ я былъ первоклассный художникъ, если бы я могъ разлиться въ звукахъ, въ образахъ, въ краскахъ—я воспѣлъ бы васъ, братья по духу, изобразилъ бы васъ, мученики исторіи, и изломалъ бы затѣмъ перо, рѣзецъ и кисти, потому что, отвѣдавши сладкаго, не захочешь горькаго, не запоешь подблюдныхъ пѣсенъ... Но дѣло такъ ярко говоритъ само за себя, что даже я, вполнѣ сознавая ничтожество своихъ силъ, надѣюсь дать вамъ, по крайней мѣрѣ, намекъ на *дивную красоту нашего покаянія*".

И конечно, была красота, была красота духовнаго міра, почти что внезапно проснувшагося отъ долгаго сна и вдругъ постигшаго свои глубочайшія связи съ жизнью и ея первоосновой—трудящейся, обездоленной массой народа. Впрочемъ, и красота покаянія, и восторги барина Темкина были ограничены кое чѣмъ существеннымъ...

„Но во имя правды,—пишетъ онъ,—пожалуйста, не говорите о „веселой торопливости". Не правда это. О, сколько муки душевной я вытерпѣлъ впослѣдствіи, вспоминая жидовскія проклятія, службу отца по откупной части и еще многое, многое другое... Нѣтъ, тутъ не было и не могло быть веселья. Торопливость была. Да какъ же не торопиться? Какъ не торопиться изъ угарной комнаты, когда голову ломитъ, дышать трудно, ноги подкашиваются? Какъ не кричать: воздуху! воздуху! свѣта... Какъ не каяться, если совѣсть мучитъ!"

Очевидно, что онъ уже побѣдилъ и, если чему радуется, то никакъ не покаянію, а именно своей побѣдѣ. Жизнь заставила его отказаться отъ даровогo труда, отъ всѣхъ привилегій положенія, мысль, въ концѣ концовъ, указала, что это не зло, а благо, что это-то и есть самое настоящее, чего только можно желать. Изъ угарной комнаты, угарной отъ хаяскихъ предразсудковъ дяденьки-нѣмца, откупной службы отца, зуботычинъ дяденьки-генерала, разврата, насилія, всякой нечести онъ перешелъ хотя и въ коморку, но въ коморку со свѣжимъ воздухомъ.

Онъ дѣйствительно и искренно заподозрилъ правоту своего общественнаго положенія. Опять нѣсколько любуясь собой, нѣсколько торопливо подчеркивая свою современность, онъ говоритъ: „Личное благополучіе, какъ принципъ, есть шутка, конечно, очень, какъ бы сказать... мѣщанская что ли. Стремленіе къ личной чистотѣ и соотвѣтственное покаяніе — штука старая, давшая искусству, кажется, уже все, что съ нея взять можно. Но чувство *личной отвѣтственности за свое общественное положеніе* есть тема *новая*, почти незатронутая".

Какъ ни случайно, повидимому, явилось въ душѣ нашего героя „чув-

ство личной отвѣтственности за свое общественное положеніе", оно все же оказалось достаточнымъ, чтобы перевернуть вверхъ дномъ и его жизнь, и его внутренній міръ. Дѣло, разумѣется, въ томъ, что это не было его личное чувство, а чувство и настроеніе цѣлой эпохи, по крайней мѣрѣ цѣлой общественной группы, часть которой ушла въ карьеру, а другая часть въ себя, чтобы копаться въ душѣ своей, копаться въ ней вплоть до дѣтскихъ воспоминаній и даже дальше того—до лѣтописи и поколѣній, копаться тамъ и мучить себя, переходя отъ рыданій къ восторгамъ передъ дивной красотой новаго чувства. Мелко это или крупно—это въ сущности безразлично, но совсѣмъ не безразлична другая точка зрѣнія на жизнь, выработанная неугомонной совѣстью. Вотъ, напр., совсѣмъ маленькое соображеніе:

„Для того, чтобы изъ меня геніальный комокъ нервовъ выработался, нужно кому-нибудь снять съ меня весь физическій трудъ, необходимый въ данную минуту, то-есть нужны Ѳедьки и Яковы, не крѣпостные, такъ „вольные", но, во всякомъ случаѣ, приспособленные къ стихіи физическаго труда и превосходно съ ней справляющіеся".

Просто любопытно, какъ правильно, какъ даже схематически правильно повторяется въ героѣ 70-хъ годовъ кающійся процессъ всего нашего культурнаго дворянства вообще! И тутъ послѣдній, еще необходимый штрихъ—кромѣ удивительно характерной „дивной красоты покаянія"—изъ котораго видно, что процессъ покаянія у Темкина просто и естественно долженъ былъ перейти въ прекраснодушіе, въ исключительныя заботы о собственномъ нравственномъ благообразіи.

„Вотъ замѣчательный и, смѣю сказать, историческій фактъ: *въ то время, какъ Писаревъ и другіе изыскивали программу чистой, святой жизни, уединенной отъ всякой общественной скверны, а мы, чуть ли не большинство тогдашней молодежи, старались проводить эту программу въ жизнь, въ это самое время, всѣ эти Помяловскіе, Рѣшетниковы, Щаповы, Нибуши и проч. знать не хотѣли никакихъ эпитемій и знакомились съ бѣлой горячкой.* Они были полны ненависти и были правы въ своей ненависти. Ихъ не могло мучить сознаніе личной отвѣтственности за свое общественное положеніе, ихъ могла душить только злоба за искалѣченную жизнь. Но они были все-таки близки намъ, именно своею ненавистью, и изъ этой близости возникали чрезвычайно странныя столкновенія. Прежде всего, они насъ спасли отъ окончательнаго погруженія въ писаревщину. Мы готовы были совершенно закупориться въ тѣсную раковинку собственной чистоты, примирившись съ тѣмъ фактомъ, что въ нижнемъ этажѣ того самаго зданія, гдѣ мы себѣ устроили уютное гнѣздышко, живетъ непроглядное невѣжество, безысходная нищета Но разночинцы выходили именно отсюда, изъ этого страшнаго подвала, и вносили съ собою струю свѣжаго воздуха. Такъ что они, со всѣмъ своимъ пьянствомъ и буйствомъ, спасали насъ.

Разночинецъ не далъ кающемуся дворянину осуществить программу Станкевича и его кружка,—программу чистой святой жизни, уединенной отъ всякой скверны, т. е. программу, такъ подкупавшую наше барство тридцатыхъ годовъ; разночинецъ въ эту прекраснодушную психологію внесъ свою ненависть и больше—правоту своей ненависти, свой гнѣвъ, свою жажду отмщенія и жертвы. Не механически соединились теперь оба эти элемента—кающагося барина и непримиримаго разночинца, идеи красоты и общественнаго служенія, ближайшей пользы, ближайшаго стремленія—помочь голодной массѣ, накормить ее—и лучезарнаго идеала, эстетически созерцаемаго идеала (какъ сейчасъ увидимъ) — гармонически развитой личности,—а полно и органически и создали движеніе 70-хъ годовъ и его философическое отраженіе—6 томовъ собранія сочиненій г-на Михайловскаго.

Г. Михайловскій нѣсколько разъ публично заявлялъ, что онъ не народникъ. И, конечно, онъ не народникъ юзовскаго толка,—такъ понятіе „народъ“ онъ не смѣшиваетъ съ понятіемъ „мужика“, а расширяетъ его до опредѣленія „всѣ трудящіеся классы общества“ и въ вопросѣ о томъ, какъ надо поступать „сообразно ли съ мнѣніями или съ интересами народа?“—высказался скорѣе (хотя нѣсколько неопредѣленно) за интересы, а не за мнѣнія. Въ то же время онъ и не почвенникъ, потому что не находитъ ничего привлекательнаго въ томъ, что „блеститъ и тайно свѣтитъ“ въ смиренной красотѣ русскаго народа или въ простодушіи отставного солдата Кудимыча, у котораго всѣ народы—хорошіе люди, и который всѣхъ этихъ хорошихъ людей „эва сколько перебилъ“. Г. Михайловскій, такъ сказать, убѣжденнѣйшій интеллигентъ, убѣжденнѣйшимъ образомъ исповѣдающій вѣру въ силу критической личности и раздѣлявшій нѣкогда самонадѣянныя мечты и надежды русской интеллигенціи 70-хъ годовъ. Это его слова: „предоставьте *русской интеллигенціи*“ свободу мысли и слова, и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа“. Самая задача его дѣятельности синтезировать правду-истину и правду-справедливость свидѣтельствуетъ о полномъ его уваженіи къ наукѣ, знанію, интеллигентности вообще. Но все же я думаю, что и самъ г. Михайловскій не станетъ отрицать, что въ нѣкоторыхъ существенныхъ пунктахъ онъ очень близокъ не только къ народникамъ, но и къ народникамъ опростителямъ. Такое, напр., признаніе, что онъ вѣрилъ (и вначалѣ, разумѣется, безъ сомнѣній) въ возможность (для Россіи) *непосредственнаго* перехода къ лучшему высшему порядку, *минуя* среднюю стадію европейскаго развитія, стадію европейскаго государства“ — заставляетъ

очень многихъ считать его народникомъ. И, конечно, у него есть или было духовное согласіе съ этимъ существеннымъ пунктомъ программы послѣднихъ. Къ кому же, впрочемъ, какъ не къ народу и было прислониться ему—кающемуся дворянину, кого же больше всего жалѣть, о комъ же мучительнѣе всего думать! Восклицаетъ же дворянинъ Темкинъ, вспоминая о ребяческой своей подлости въ отношеніи къ дворовому человѣку: Ѳедька великодушный, прости меня!—почему бы не поискать того же крика и въ формулѣ прогресса г-на Михайловскаго? Конечно, тутъ строгая наука-формула Бэра и пр., но суть, кажется, не въ этомъ, а въ томъ, что наслѣдственно-утомленная барская культура ищетъ выхода въ идеалѣ опрощенія (не даромъ же увлекалась Руссо двѣнадцативѣковая аристократія Франціи), а русская—въ нѣсколько очищенной отъ грязи, нѣсколько прикрашенной мужицкой жизни.

Напомню центральное мѣсто изъ статьи г. Михайловскаго „Что такое прогрессъ“.

„Первобытное общество представляетъ въ цѣломъ массу совершенно однородную. Всѣ члены его занимаются одними и тѣми же дѣлами, обладаютъ одними и тѣми же свѣдѣніями, имѣютъ одни и тѣ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ, отдѣльно взятый, вполнѣ разнороденъ: онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и пастухъ, онъ и лодки умѣетъ дѣлать, и оружіе, и жилище себѣ самъ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ первобытнаго общества совмѣщаетъ въ себѣ всѣ силы и способности, какія только могутъ родиться при тогдашнемъ уровнѣ культуры и мѣстныхъ физическихъ условіяхъ. Но вотъ происходитъ первое дифференцированіе общества на управляющихъ и управляемыхъ. Общество сдѣлало шагъ отъ однородности къ разнородности, но входящіе въ составъ его недѣлимые перешли, напротивъ, отъ разнородности къ однородности. Мускульная система у однихъ стала развиваться въ ущербъ нервной системѣ, а у другихъ наоборотъ. Прежде каждый членъ общества умѣлъ строить жилище и ловить звѣрей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но зато научилась управлять, лѣчить, гадать и т. д. Слѣдующій шагъ къ соціальной разнородности есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и шагъ дальнѣйшей индивидуальной спеціализаціи, т. е. однородности. Правящій классъ распадается на свѣтскихъ и духовныхъ правителей. Одни сосредоточиваютъ свои силы и способности, главнымъ образомъ, на войнѣ, а другіе на собственно интеллектуальной дѣятельности, въ предѣлахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затѣмъ каждый изъ представителей того и другого подкласса избираетъ себѣ все болѣе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, увеличеніе разнородности общества въ цѣломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недѣлимомъ. Нѣкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цѣломъ ряду поколѣній какъ бы

атрофируются, перестаютъ дѣйствовать, и это отзывается, разумѣется, и на физической организаціи.

„Нельзя сказать, чтобы дѣятельность первобытныхъ людей исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мнѣніе, весьма распространенное, въ сущности совершенно ложно. Если мы примемъ въ соображеніе неудовлетворительность первобытныхъ орудій для добыванія пищи, устройства жилища и т. д., тѣ опасности, среди которыхъ жилъ первобытный человѣкъ, то для насъ станетъ совершенно ясно, что мозгъ его долженъ былъ быть въ постоянномъ напряженіи, быть постоянно насторожѣ, постоянно придумывать весьма трудныя для него комбинаціи, которыя въ настоящее время давно уже готовы и рѣшаются простымъ приложеніемъ механической силы. Умъ и тѣло человѣка первобытнаго работали единовременно и съ одинаковымъ напряженіемъ, и если мы, современные цивилизованные люди, не признаемъ этого, то только потому, что смотримъ на первобытное общество изъ прекраснаго далека, слишкомъ отъ него отличнаго. Современный цивилизованный человѣкъ, вообще говоря, физическаго труда не знаетъ, и потому ему кажется громаднымъ и всепоглощающимъ физическій трудъ человѣка, съ другой стороны, современный цивилизованный человѣкъ обладаетъ такимъ количествомъ знаній, что умственная работа дикаря — представляется ему ничтожною. Придумать топоръ — штука не хитрая, а вотъ дровъ нарубить — такъ тяжело, — такъ разсуждаетъ современный цивилизованный человѣкъ, постоянно видѣвшій топоры и никогда не рубившій дровъ. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытнаго человѣка не работала вовсе и что вся жизнь его сводилась на трудъ физическій. Первобытный человѣкъ, какъ членъ однороднаго общества, до того поворотнаго пункта, на которомъ рѣзко обозначилось раздѣленіе труда, былъ личностью цѣлостною, личностью, въ которой умственная и физическая стороны находились во взаимной гармоніи. Другое дѣло — кругъ его умственной дѣятельности: онъ не былъ и не могъ быть обширенъ. Каждый изъ членовъ первобытнаго общества обладалъ такими же свѣдѣніями и понятіями, какъ и всѣ остальные, но всѣ они имѣли свѣдѣнія весьма ограниченныя. Поэтому въ однородной массѣ первобытнаго общества надѣлимыя были вполнѣ разнородны, насколько это допускались условіями мѣста и времени. Горизонтъ дѣятельности ихъ былъ небольшой, но представлялъ полный кругъ, замкнутую линію. Они были полными, носителями современной имъ культуры. Съ дифференцированіемъ общества на управляющихъ и управляемыхъ, съ диффецированіемъ, обусловившимъ развитіе общества, т. е. переходъ общества отъ однороднаго простого къ разнородному и сложному, началось нарушеніе цѣлости отдѣльныхъ личностей и переходъ ихъ отъ разнороднаго къ однородному. Дальнѣйшія распаденія правящаго класса имѣютъ тотъ же двойственный характеръ: вызываютъ разнородность въ общественномъ строѣ и, напротивъ, однородность и односторонность въ отдѣльныхъ личностяхъ.

„Сравнивая, затѣмъ, первобытное состояніе общества съ современнымъ состояніемъ низшихъ классовъ, мы придемъ къ тому же результату. Возьмите работу дикаря, съ одной стороны, и трудъ современнаго

фабричнаго, съ другой. Дикарь собирается построить себѣ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цѣли деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозитъ ихъ на мѣсто, самъ дѣлаетъ срубъ и доканчиваетъ хижину. Хижину онъ, положимъ, навѣрное слѣпилъ очень плохую, но не въ томъ дѣло. Во все время работы онъ жилъ полною жизнью. Въ то время, какъ онъ потѣлъ и надрывался въ лѣсу, онъ работалъ не только физически: выборъ деревьевъ, мѣста для провоза ихъ, мѣста для постройки— все это требуетъ извѣстной умственной напряженности. Кромѣ того, во все время работы дикарь думаетъ о своей будущей жизни въ той хижинѣ, надъ постройкой которой онъ бьется, о тѣхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всѣ свои физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живетъ во время работы всѣмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тѣхъ областяхъ труда, которыя подверглись наибольшему числу дифференцированій. Напримѣръ, производство карманныхъ часовъ, по Боббеджу, состоитъ изъ ста двухъ отдѣльныхъ операцій, по числу отдѣльныхъ частей часового механизма, такъ что изъ сотни людей, занятыхъ этимъ дѣломъ, каждый всю жизнь сидитъ надъ одними и тѣми же колесами или винтиками, или зубчиками —и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умѣетъ дѣлать что-нибудь, кромѣ своего спеціальнаго дѣла. Понятное дѣло, что это однообразіе занятія исключаетъ какую бы то ни было умственную дѣятельность, или, по крайней мѣрѣ, низводитъ ее до возможнаго minimum'а. Какъ говоритъ Шиллеръ: „Вѣчно возясь съ какимъ-нибудь обрывкомъ цѣлаго, человѣкъ и самъ превращается изъ цѣлаго въ обрывокъ". Въ тульскомъ оружейномъ заводѣ раздѣленіе труда доведено до такой степени, что мастеръ не только всю жизнь свою дѣлаетъ собачки, или курки, или сверлитъ стволы, но передаетъ свое мастерство дѣтямъ по наслѣдству. Постоянное и однообразное занятіе естественно должно выразиться не усложненіемъ, а упрощеніемъ организаціи, должно провести въ организмѣ болѣе или менѣе глубокую, такъ сказать борозду однородности, которая и безъ того, въ силу наслѣдственной передачи особенностей организма, можетъ усвоиться потомствомъ, а въ этомъ случаѣ естественный факторъ—наслѣдственность усиливается содѣйствіемъ соціальнаго фактора. Понятно поэтому, что въ ряду поколѣній тульскихъ оружейниковъ мы должны встрѣчать все большій и большій переходъ отъ разнородности къ однородности. Предки ихъ дѣлали все ружье, и потому должны были принимать въ соображеніе такія данныя, которыя совершенно не нужны и непригодны потомкамъ' только сверлящимъ стволы или дѣлающимъ курки. Поэтому предки были разнороднѣе потомковъ, и въ то же время появленіе этихъ спеціалистовъ-потомковъ способствовало увеличенію разнородности общества, т. е. его развитію".

Я привелъ центральное мѣсто статьи г. Михайловскаго, въ которомъ онъ устанавливаетъ основанія своей формулы прогресса. Не знаю, что собственно

напоминаетъ оно вамъ, мнѣ же лично за этими фразами, такъ горячо и такъ воодушевленно написанными, слышатся мечтанія Руссо и то чувство очарованія и восторга, которое овладѣвало французскимъ философомъ при мысли о первобытномъ состояніи людей, ихъ полной свободѣ и независимости.

„Свобода исчезла и замѣнилась рабствомъ“ —говоритъ Руссо. „Цѣльность личности, ея разнородность, полнота развитія всѣхъ ея силъ и способностей—словомъ всѣ необходимыя условія для счастья—уступили мѣсто экономической и общественной спеціализаціи, тому процессу, который превращаетъ человѣка въ „палецъ отъ ноги“, въ колесико безконечно большой общественной и государственной машины“,—говоритъ г. Михайловскій. Прочтя „Discours sur l'inegalite“, Вольтеръ сказалъ, что ему хочется встать на четвереньки и убѣжать въ лѣсъ; сказать то же самое послѣ прочтенія статьи г-на Михайловскаго, пожалуй, не захочется никому, но если кто дѣйствительно проникнется настроеніемъ его блестящихъ картинъ, тотъ можетъ пожелать уйти, напр., въ деревню и путемъ хотя бы опрощенія достигнуть состоянія прежней цѣльности и полноты.

Конечно, и г. Михайловскому приходится сознаться, что не все въ этой первобытной жизни и среди условій простого сотрудничества такъ уже хорошо и привлекательно. Довольно рѣзко отмѣчаетъ онъ, напр., зависимое и рабское положеніе женщины, но, очевидно, что имъ же нарисованная картина заключаетъ въ себѣ такія черты, которыя искупаютъ всѣ ея недостатки. Онъ любитъ ее и много любитъ, потому что много ненавидитъ противоположную ей картину современнаго строя, гдѣ нѣтъ, разумѣется, и слѣда ни цѣльности личности, ни ея разнородности, гдѣ она не можетъ быть человѣчески-счастлива, потому что необходимость заставила ее развить въ себѣ лишь одну способность, лишь одинъ какой-нибудь органъ,—глаза, голову, руки.

Не можетъ г. Михайловскій одинаково отказаться и отъ мысли, которая являлась однимъ изъ догматовъ вѣры интеллигента 70-хъ годовъ,—той, что золотой вѣкъ не позади, а впереди насъ, что всѣ наши усилія должны быть направлены къ тому, чтобы водворить царство его здѣсь, на землѣ. Но прообразъ этого будущаго вѣка данъ уже въ прошломъ, и наша интеллигентная задача заключается въ томъ, чтобы возстановить типъ этой прошлой жизни, предоставить человѣку полную возможность развитія всѣхъ своихъ силъ и всѣхъ способностей. Человѣкъ долженъ возродиться передъ нами во всей своей „разнородности“ и во всемъ своемъ могуществѣ, долженъ вернуть себѣ отнятое у него обществомъ и государствомъ, экономическимъ и общественнымъ раздѣленіемъ труда, долженъ войти въ жизнь не одной какой-нибудь стороной своего организма—мыслью, или руками, трудомъ только физическимъ и только умственнымъ,—а всѣмъ существомъ своимъ.

Я полагаю, что никто не станетъ оспаривать эту, быть можетъ, даже неумышленную идеализацію первобытнаго бытія со стороны г-на Михайловскаго. Очевидно, что для него „правда“ жизни была тамъ, а затѣмъ исторія дѣлала ошибку за ошибкой. Онъ, впрочемъ, самъ очень откровенно говоритъ объ этомъ:

„Во временныхъ и случайныхъ союзахъ простого сотрудничества эта цѣльность и непосредственность взаимныхъ отношеній остаются во всей своей силѣ... Если бы принципъ простого сотрудничества восторжествовалъ, если бы цивилизація постепенно раздвигала именно этимъ видомъ коопераціи личное существованіе равномѣрно во всѣ стороны, не раздробляя индивидуальности, а пріобщая къ ней все новыя и новыя индивидуальности, столь же цѣльныя, если бы при этомъ воззрѣніе на природу путемъ коллективнаго опыта очищалось отъ объективнаго антропоцентризма... я не знаю, что было бы въ такомъ случаѣ“,—

во всякомъ случаѣ, добавлю я отъ себя, не такая мерзость, которую мы видимъ вокругъ, потому что мерзѣе этой мерзости г. Михайловскій не можетъ себѣ ничего и представить.

„Раздѣленіе труда одолѣло“. „Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стиралъ непосредственность взаимныхъ отношеній и дробилъ индивидуальную цѣльность“. Цивилизація развивалась, но все ея развитіе происходило за счетъ отдѣльнаго человѣка, личности. Чтобы использовать одну какую-нибудь его силу, одинъ его органъ, отъ него отнимались другіе. Цивилизація дѣйствовала такъ же жестоко, какъ спартанцы, которые выкалывали глаза своимъ рабамъ, приставленнымъ къ ручнымъ мельницамъ, чтобы эти несчастные не развлекались, а могли бы молоть и молоть безъ конца.

Исторія вступила на ложный и страшный путь постепенной и систематической кастраціи личности. Правда, на другой путь она и не могла вступить, что и г. Михайловскій признаетъ, но все же путь ея ложенъ и страшенъ. Это путь общественнаго и экономическаго раздѣленія труда, все зло, весь вредъ котораго такъ горячо, такъ убѣжденно выставлены въ статьѣ „Что такое прогрессъ“. Раздѣленіе труда—зло огромное и безусловное, и никакихъ оговорокъ, никакихъ уступокъ г. Михайловскій не дѣлаетъ. Цитируя даже осторожное замѣчаніе Милля насчетъ того, что „раздѣленіе занятій, исполненіе одновременнымъ трудомъ многихъ работы, которая не могла бы быть окончена какимъ бы то ни было числомъ порознь,—вотъ великая школа коопераціи“,—онъ сейчасъ же замѣчаетъ, „великая ли это школа—это вопросъ, подлежащій обсужденію, но это не единственная школа коопераціи, потому что есть еще школа простого сотрудничества“... Во всякомъ случаѣ, чтобы достигнуть счастья, человѣчество должно отъ раздѣленія труда вернуться къ простому сотрудничеству.

Однако, гдѣ же эта первобытная жизнь, высокая по своему типу, хотя и низкая по степени? гдѣ это простое сотрудничество, которое для г. Михайловскаго, дѣйствительно, является великой школой коопераціи? Я думаю, что всякій самъ легко укажетъ источникъ вдохновенія г. Михайловскаго — до того онъ очевиденъ, до того онъ былъ близокъ къ нему.

Русскіе люди исходили изъ обычнаго настроенія всякаго критическаго періода,—изъ настроенія, указывающаго идеалъ въ условіяхъ естественнаго существованія, но они видѣли это естественное существованіе передъ собой, видѣли его на всемъ протяженіи русскаго государства, въ таинственныхъ и молчаливыхъ деревняхъ, устоямъ которыхъ, повидимому, ничто не предрекало скорой гибели. Мало того: прошлое нашей исторіи, почти неизвѣстное тогда, очень плохо понятое и еще хуже истолкованное, говорило о прочности этихъ устоевъ и возможности продолжить ихъ жизнь въ неопредѣленно далекое будущее.

Интеллигентная мечта прилѣпилась къ деревнѣ, въ ней нашла она конкретный образъ своего идеала, и естественна и понятна была ея радость и торжество по этому поводу. За десять-пятнадцать верстъ отъ города находили и Америку, и Эльдорадо, и острова Тихаго Океана, и всѣ условія для возможнаго человѣческаго счастья здѣсь, на землѣ. Находили и простое сотрудничество, и объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе, и возможный minimum раздѣленія труда, и разнородность личности, и отсутствіе спеціализаціи. Находили, словомъ, исходный пунктъ историческаго процесса, тотъ пунктъ, съ котораго исторія Запада въ какомъ-то слѣпомъ и страшномъ заблужденіи свернула, чтобы породить безчисленныя бѣды и безчисленныя противорѣчія.

Въ своей статьѣ „Что такое прогрессъ“ и какъ разъ въ тѣхъ ея мѣстахъ, гдѣ выставляются прелести первобытнаго существованія, г. Михайловскій ни словомъ не обмолвился о мужикѣ. Но, приведенная мною выше характеристика жизни первобытнаго общества прекрасно подходитъ къ нашей деревнѣ: стоитъ только вмѣсто словъ „первобытнаго общества“ подставить „крестьянское общество“, вмѣсто „первобытный человѣкъ“— „мужикъ“. Совпаденіе прямо трогательное. Сдѣлавъ подстановку, мы прочтемъ:

Крестьянское общество представляетъ въ цѣломъ массу, почти однородную. Всѣ члены его занимаются одними и тѣми же дѣлами, обладаютъ одними и тѣми же свѣдѣніями, имѣютъ одни и тѣ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ отдѣльно взятый — вполнѣ разнороденъ: онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и пастухъ, онъ и лодки умѣетъ дѣлать, и оружіе и жилище самъ себѣ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ крестьянскаго однороднаго общества совмѣщаетъ въ себѣ всѣ силы и способности, какія только могутъ родиться при деревенскомъ уровнѣ культуры и мѣстныхъ физическихъ условіяхъ...

Нельзя сказать, чтобы дѣятельность мужика исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мнѣніе, весьма распространенное, въ сущности, совершенно ложно... Возьмите работу мужика, съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаго—съ другой. Мужикъ собирается построить себѣ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цѣли деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозитъ на мѣсто, самъ дѣлаетъ срубъ и доканчиваетъ избу... Во все время работы мужикъ думаетъ о своей будущей жизни въ той избѣ, надъ постройкой которой онъ бьется, о тѣхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи, на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всѣ свои физико-математическія знанія...

И т. д.,—словомъ, до мельчайшихъ подробностей быта и міросозерцанія. Термины „дикарь", „первобытный человѣкъ", „первобытная жизнь" и проч. были просто-на-просто façon de parler. На самомъ дѣлѣ имѣлись въ виду крестьянинъ и крестьянскій трудъ, и такъ въ дѣйствительности всѣ г-на Михайловскаго и поняли.

Напр., одинъ изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, Пигасовъ,—Протасовъ тожъ—очевидно, очень и очень начитанный по части соціологическихъ статей г. Михайловскаго, говоритъ: „Вѣроятно, послѣ морей крови и страданія они, т. е. западные люди, придутъ путемъ огромныхъ усилій знанія и воли къ тому, что ассоціація-то должна быть въ одномъ человѣкѣ, что въ немъ одномъ должны сосредоточиваться, если такъ можно выразиться, всѣ знанія, всѣ науки, ремесла, а союзъ такихъ всесторонне развитыхъ людей будетъ община, общество... То-есть придутъ къ типу нашего мужика, который все самъ, на всѣ руки, все можетъ; ни въ комъ не нуждается и, сосредоточивая въ одномъ себѣ возможность всесторонняго развитія врожденныхъ въ немъ физическихъ и нравственныхъ силъ, представляетъ типъ „полнаго человѣка", а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человѣкъ послѣ всѣхъ усилій ума, знанія и воли, послѣ всѣхъ страданій, послѣ морей крови придетъ къ тому же типу, который въ нашемъ крестьянинѣ уже есть, существуетъ во всей красѣ и силѣ—не завоеванныхъ имъ, а взятыхъ даромъ—тогда уже и самостоятельность, и независимость этого, своей волей выбившагося изъ мрака и холода мукъ, человѣка будетъ вѣковѣчная"...

Крестьянинъ и крестьянскій трудъ, типъ мужицкой жизни, существующій во всей красѣ и силѣ—вотъ истинный идеалъ эпохи, но идеалъ, если можно такъ выразиться, неодушевленный. Это просто-на-просто прекрасная статуя „первоначальнаго сотрудничества", вышедшая изъ рукъ великаго художника—природы, которую надо воодушевить и воодушевить прежде всего интеллигентной мыслью, чтобы сдѣлать ея бытіе вѣковѣчнымъ.

Если все прошлое русской интеллигентной мысли,—о чемъ я подробно говорилъ раньше,—подготовило насъ къ особенному, любовному отношенію къ мужику, къ идеализаціи его жизни, къ взгляду на нее, какъ на законченный, красивый и сильный типъ человѣческаго существованія,—то старое барство, помнившее еще ужасы крѣпостничества, съ своею жалостью къ обиженному и обобранному человѣку, и кающееся дворянство съ своею больною совѣстью—не могли не усилить степени этой идеализаціи.

Эта идеализація была не только психологически, но и логически неизбѣжна. Интеллигентный человѣкъ не могъ отказаться отъ своихъ традицій. Эти традиціи влекли его къ мужику, съ одной стороны, къ преклоненію передъ личнымъ развитіемъ, личной свободой и самостоятельностью, съ другой. Какъ примирить эту личную свободу, личное развитіе и личную самостоятельность съ общинной жизнью? Можно ли ихъ примирить?

Для г-на Михайловскаго простое сотрудничество, т. е. сотрудничество безъ раздѣленія труда,—ненависть и отвращеніе къ которому заставили его признать типъ крестьянской жизни не только высшимъ по отношенію къ типу жизни западно-европейскаго рабочаго, но и высшимъ вообще изъ всѣхъ прошлыхъ, настоящихъ и будущихъ,—наиболѣе обезпечиваетъ индивидуальное развитіе, всесторонность и полнота котораго и даетъ человѣку счастье.

На его формулу критика откликнулась очень вяло. Въ сущности мы имѣемъ по этой части одну статью, резюмировать которую можно въ очень немногихъ словахъ: „Прогрессъ, по взглядамъ г-на Михайловскаго есть постепенное приближеніе къ цѣльности недѣлимыхъ, къ возможно полному раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Возможно ли, вообще говоря, достиженіе такого идеала, т. е. полнаго равенства и всесторонняго развитія индивидуумовъ? Съ одной стороны, различіе пола и возраста, а также прирожденныхъ способностей противопоставляется самой природой возможности полнаго равенства между особями, съ другой,—кратковременность человѣческой жизни мѣшаетъ всестороннему развитію отдѣльной личности, мѣшаетъ тому, чтобы эта личность была всѣмъ для себя, ни въ комъ не нуждалась, все знала, все понимала, все умѣла“.

„Чтобы всѣ были равны и всесторонне развиты, пришлось бы пожертвовать очень немногимъ—устранить, напр., нѣкоторыя отрасли знанія, уменьшить область науки и техники, чего ни въ какомъ случаѣ нельзя назвать прогрессомъ. Съ другой стороны, разъ такой идеалъ достигнутъ, и всѣ особи избѣгаютъ всякой теоретической и практической дѣятельности, которая бы отличала каждую изъ нихъ отъ другихъ, возможенъ ли будетъ тогда дальнѣйшій прогрессъ, и не грозило ли бы это обществу катаклизмомъ? *Наконецъ, вставъ на эту точку зрѣнія*, мы

должны были бы смотрѣть на исторію, какъ на рядъ явленій регрессивныхъ, ибо несомнѣнно, что въ обществѣ дикарей существуетъ большее равенство между индивидуумами и каждый изъ нихъ болѣе способенъ ко всѣмъ родамъ дѣятельности, доступной человѣку въ дикомъ обществѣ, нежели мы видимъ это у цивилизованныхъ народовъ".

Авторъ этой статьи приходитъ къ тому выводу, что формула прогресса г. Михайловскаго въ любой данный моментъ можетъ поставить точку всякому прогрессу. И въ концѣ концовъ, самъ г. Михайловскій, какъ я думаю, ровно ничего противъ этого не имѣетъ. Исторія представляется ему рядомъ явленій регрессивныхъ, раздѣленіе труда онъ отбрасываетъ цѣликомъ. Наконецъ, верховной цѣлью поведенія онъ ставитъ счастье. Если же счастье ставится верховной цѣлью—то не все ли равно, на какой ступени развитія оно достигнуто? Зачѣмъ прогрессъ науки, техники, самосознанія—что ведетъ, въ концѣ концовъ, все къ большей спеціализаціи людей, къ раздѣленію труда между ними, разъ эти самые люди достигли равенства между собой, а условія ихъ жизни обезпечиваютъ имъ устойчивость этого равенства. Исторія—рядъ ошибокъ, вызванныхъ процессомъ общественнаго дифференцированія (раздѣленія труда), отъ *насъ* зависитъ не повторять эти ошибки въ будущемъ, воспользовавшись для этого особенными общинными условіями крестьянской жизни. Надо лишь внести въ нихъ высшее „интеллигентное содержаніе". Та боязнь передъ культурой, передъ развитіемъ, которая такъ характерна для русскаго духа вообще, для славянофиловъ въ частности, недовѣріе къ этой культурѣ и развитію, желаніе обезпечить счастье на нравственно-экономической почвѣ—все это нашло себѣ, несомнѣнно, самое талантливое въ русской литературѣ выраженіе у г. Михайловскаго. Онъ (опять-таки герценовская черта) усталъ духомъ своимъ отъ этой безтолковой исторіи, которая идетъ, сама не зная куда и зачѣмъ идетъ, просто *никакъ*, обращая людей въ орудія и средства для своихъ цѣлей, ломая и уродуя ихъ, идетъ съ слѣпыми глазами, вся въ крови, равнодушная и стихійно жестокая... И вотъ никакъ я не могу отказаться отъ мысли, что глубиной-то своей натуры, своего настроенія—этотъ негодующій и страстный русскій публицистъ, этотъ человѣкъ, всю жизнь боровшійся и звавшій на борьбу, т. е. г. Михайловскій—способенъ увлекаться любимой мыслью о „маленькой колоніи друзей, которыя поселятся въ деревенькахъ и фермахъ, въ пятнадцати или двадцати верстахъ отъ его деревни, какъ попеременно будутъ съѣзжаться каждый день другъ къ другу въ гости, обѣдать, ужинать, танцовать". Конечно, маленькая колонія друзей въ представленіи г. Михайловскаго должна разростись до всего человѣчества,—ѣда и лѣнь отойдутъ на послѣдній планъ но все же чувствуется въ г-нѣ Михайловскомъ такой же хорошій, безко-

нечно добрый русскій утопистъ съ истощающей даже жалостью сердца, съ горячимъ порывомъ остановить это колесо исторіи, воистину колесующее людей, какимъ былъ и Илья Ильичъ Обломовъ, и А. С. Хомяковъ, и наши дѣтски наивные и дѣтски добродушные „трибуны"—Герценъ и Бѣлинскій. Коренной стихійный идеалъ нашего прошлаго—равенство въ бѣдности, а не уравненіе богатства. И не знаю, поэтому, зачѣмъ жалѣлъ г. Михайловскій, что въ Бѣлинскомъ не было немножко Прудона, т. е. его оппортунизма, и что старый солдатъ Кудимычъ, перебившій уйму поляковъ и черкесовъ, такъ безконечно глупъ и такъ безконечно добръ?

Красота ржаного поля, поэзія земледѣльческаго труда, не сознанная нравственность общинныхъ устоевъ жизни, равенство и разнородность людей первобытнаго общества—все это вошло, какъ эстетико-этическіе элементы въ формулу прогресса г. Михайловскаго. Потому что онъ эстетикъ. Истинная жизнь человѣка представляется ему не только нравственной, но и красивой, гармонически цѣльной и ужъ никакъ не жизнью „колесиковъ", „обрубковъ", подробностей государственнаго механизма.

Формула прогресса г. Михайловскаго гласитъ: „нравственно, справедливо, разумно, полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе".

Для своего времени эта формула была своего рода откровеніемъ. За вопросомъ 60-ыхъ гододъ „что дѣлать?" необходимо слѣдовалъ вопросъ, что такое прогрессъ, такъ какъ дѣлать, очевидно, надо что-нибудь прогрессивное, что-нибудь такое, что дало бы возможность самымъ легкимъ и скорымъ способомъ осуществить здѣсь на землѣ идеалъ человѣческаго счастья. Тутъ рѣшена задача, какъ обосновать нравственность наукой, какъ примирить стремленіе къ правдѣ-истинѣ съ стремленіемъ къ правдѣ-справедливости. Люди, разсуждаетъ г. Михайловскій, или устраиваютъ или должны сами взяться за устройство своей жизни, создать свою пригодную для нихъ (по формулѣ прогресса г. Михайловскаго) дѣйствительность, которая и обезпечитъ ихъ счастье. Но согласна ли существующая дѣйствительность, коверкающая и колесующая людей, обратиться въ дѣйствительность, обезпечивающую человѣческое счастье? Да, если люди захотятъ — то согласна, отвѣчаетъ г. Михайловскій, или его собственными словами: „предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильные своею властью, либо своею *многочисленностью* (!!), возьмутъ на себя починъ въ проложеніи этого пути". Но будетъ ли это сообразно съ наукой?

Отвѣчая на этотъ вопросъ, г. Михайловскій создалъ свою собственную науку (исходя изъ ученія Конта и автора „Историческихъ писемъ", а думается, что и статей Герцена и Писарева) или, по крайней мѣрѣ, свой субъективный методъ. Этотъ методъ требуетъ, чтобы человѣческія желанія и стремленія и наши нравственные идеалы вошли необходимымъ элементомъ въ научное соціологическое мышленіе.

У меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія останавливаться на достоинствахъ и недостаткахъ субъективнаго метода. Для меня важно лишь отмѣтить и подчеркнуть то обстоятельство, что методъ этотъ у насъ явился въ семидесятые годы, эпоху оживленной общественности, вѣры въ силы интеллигенціи,—эпоху, когда формула „мы дѣлаемъ исторію и должны дѣлать ее во имя общечеловѣческаго счастья", пользовалась не только успѣхомъ, но, пожалуй, что и общимъ признаніемъ. По мѣрѣ того, какъ жизнь ставила этой превосходной формулѣ все большія ограниченія и доказывала ея несостоятельность,—и субъективный методъ все больше терялъ свой кредитъ. Не измѣнилъ ему окончательно только самъ г. Михайловскій. Иные продолжаютъ признавать его, но все съ большими ограниченіями. Понять его сущность не затруднительно; стоитъ только припомнить, что онъ появился, главнымъ образомъ, для защиты формулы прогресса и способа ея полученія. Можно ли получить эту формулу лишь путемъ безстрастнаго изслѣдованія историческихъ и соціологическихъ фактовъ (какъ хотѣлъ Спенсеръ), или же такой путь недостаточенъ? Субъективисты признали его недостаточнымъ. Такъ какъ, по ихъ мнѣнію, исторія дѣлается людьми, путемъ ихъ личной инціативы, во имя ихъ же собственныхъ желаній и цѣлей, то, слѣдовательно, для построенія правильной формулы прогресса — эти собственныя цѣли и желанія должны быть приняты во вниманіе. Но такъ какъ цѣлей и желаній какъ звѣздъ небесныхъ, то выбираются лишь тѣ, которыя соотвѣтствуютъ высшему нравственному идеалу. Увы, однако и нравственный идеалъ у каждаго свой собственный. Чья же формула прогресса (въ ея субъективныхъ элементахъ) будетъ въ такомъ случаѣ истинной? Разумѣется, того, чья личная нравственность наиболѣе подходитъ къ высшему нравственному идеалу и т. д.

Наука, словомъ, должна быть этической, должна служить человѣку, считаться съ его нравственными идеалами и оправдывать ихъ. Потому что люди, критически мыслящія личности, попросту интеллигенція дѣлаетъ исторію, и они-то могутъ спасти русскій народъ отъ перспективы быть пожраннымъ буржуазіей, и, благодаря ихъ усиліямъ, станетъ возможнымъ миновать среднюю стадію европейскаго развитія, опираясь, конечно, на устои народной жизни.

Все въ концѣ концовъ, сводится къ этикѣ, этическимъ требованіямъ,

проповѣди нравственной и общественно-полезной дѣятельности. Почему, напр., Спенсеръ не годится? „Спенсеръ,—говоритъ г. Михайловскій,—излагаетъ свои мысли въ высшей степени *спокойно и безстрастно*, обставляетъ ихъ множествомъ примѣровъ изъ самыхъ разнообразныхъ отраслей науки и жизни, при чемъ обнаруживаетъ огромныя свѣдѣнія и располагаетъ свои примѣры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументаціи дѣлаютъ ее *чрезвычайно опасною*, и въ особенности для насъ, русскихъ. *Спенсеръ трактуетъ объ общественныхъ вопросахъ совершенно такъ же безстрастно, какъ о гипотезѣ туманныхъ массъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли*" и т. д. [1]).

Научное мышленіе, напротивъ того, должно включить въ себя нравственные идеалы человѣчества, а человѣкъ науки долженъ быть, прежде всего общественнымъ дѣятелемъ. Въ этомъ и долженъ былъ опять отразиться духъ времени, его настроеніе.

70-е годы дѣйствительно отличались и темпераментомъ и характе-

[1]) Субъективная правда требуетъ свободы, равенства и счастья всѣхъ людей, но можно ли эту правду, это наше желаніе оправдать съ точки зрѣнія точной науки? Вопросъ жгучій и если, по мнѣнію нѣкоторыхъ, г. Михайловскій мало сдѣлалъ для его рѣшенія, то во всякомъ случаѣ, онъ много хотѣлъ. Когда точная наука въ лицѣ Спенсера заявила, что до запросовъ человѣческаго счастья ей нѣтъ никакого дѣла г. Михайловскій ополчился на Спенсера; когда явились попытки подвести явленія общественной жизни подъ открытые Дарвиномъ законы біологіи, г. Михайловскій выступилъ противъ этихъ попытокъ; то же было и при нѣкоторыхъ толкованіяхъ теоріи Маркса. Критика Спенсера была первымъ серьезнымъ литературнымъ трудомъ г. Михайловскаго, гдѣ онъ высказался съ полной опредѣленностью. Здѣсь онъ употребилъ и весь свой большой талантъ, и все свое немалое остроуміе, чтобы развѣнчать англійскаго философа въ глазахъ русской публики и чуть ли даже не свести его на нѣтъ. Вѣдь Спенсеръ ровно ничего не говоритъ о величіи критической мысли, не признаетъ героевъ, не упоминаетъ о „крови, слезахъ и страданіяхъ" людей, т. е. „цѣнѣ прогресса", а только безстрастно изслѣдуетъ ходъ развитія,—и ослабить его авторитетъ представлялось для своего времени дѣломъ большимъ, значительнымъ и труднымъ. Оно—это дѣло было велико и значительно, потому что вмѣсто формулы Спенсера: „*мы не дѣлаемъ исторіи*" надо было поставить другую: „*мы дѣлаемъ исторію и должны дѣлать ее*": оно было трудно потому, что за Спенсеромъ стояли европейскіе авторитеты, а къ нему самому, какъ прежде всего естествоиспытателю, невольно склонялись симпатіи русскихъ читателей, еще помнившихъ недавнее увлеченіе естественными науками и Боклемъ — тоже совершенно равнодушнымъ къ судьбѣ отдѣльныхъ людей.

ромъ. Эту справедливость имъ надо отдать въ полной мѣрѣ. Припомните журналистику того времени, ея ожесточенныя полемики, быстрое рѣшеніе, которое получали въ ней самые серьезные вопросы, рѣзкость и опредѣленность ея точекъ зрѣнія и вы увидите, что люди жили или, по крайней мѣрѣ, имъ казалось, что они живутъ полною жизнью. И было несомнѣнно больше опредѣленныхъ физіономій, чѣмъ потомъ. И въ общественной жизни чувствовался тотъ же темпераментъ, та же напряженность ожиданія, тотъ же, повторяю, своего рода фанатизмъ и сектантство. Чувствовалась, словомъ, извѣстная вдохновенность общественностью. Было не мало признанныхъ вожаковъ, и теперь видно, какъ страстно и напряженно работали они, и едва ли кто-нибудь изъ нихъ предполагалъ, какое жестокое разочарованіе ожидаетъ ихъ всѣхъ и притомъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Въ этомъ не ихъ вина, конечно...

Нечего и говорить, что та же требовательная общественность стремилась подчинить себѣ и искусство. Искусство, какъ и наука, должно служить все тому же разрѣшенію общественныхъ вопросовъ: художникъ, какъ и человѣкъ науки, долженъ быть прежде всего общественнымъ дѣятелемъ; одинаково долженъ онъ стремиться не только къ пониманію, объясненію и изображенію—нѣтъ, прежде всего онъ долженъ страдать и радоваться, прежде всего въ его голосѣ должны быть слезы о прошлыхъ и настоящихъ мукахъ человѣчества...

Субъективный методъ въ соціологіи, во всякомъ случаѣ, сослужилъ хорошую службу г-ну Михайловскому: онъ далъ ему возможность выработать нѣсколько соціологическихъ формулъ, которыя могли явиться основаніемъ для нравственнаго поведенія. Идея этого субъективнаго метода внушена не столько отдѣльными фразами положительной философіи Конта, сколько настроеніемъ эпохи, голосомъ ея совѣсти, жаждой расплаты съ народомъ и той русской интеллигентной самонадѣянностью, которая допускала возможность немедленнаго осуществленія человѣческаго счастья въ русской землѣ.

Этотъ субъективный методъ, это вторженіе личности и ея нравственныхъ идеаловъ въ научное мышленіе — это безспорное верховенство личности и ея идеаловъ, которые, въ концѣ концовъ, создаютъ науку, исторію и дѣйствительность, говоритъ о безмѣрныхъ стремленіяхъ и безмѣрной жаждѣ „творчества общественныхъ формъ“, владѣвшихъ русскими интеллигентными людьми 30 лѣтъ тому назадъ, о томъ чисто ре-

лигіозномъ фанатизмѣ, съ какимъ они относились къ служенію обществу и устроенію народнаго счастья. Больная совѣсть кающагося дворянина, тревожная мысль о неоплатномъ долгѣ народу, мстительная непримиримость разночинца, все это слилось въ одномъ настроеніи, требовательно искавшемъ путей для немедленнаго осуществленія своихъ мечтаній. Во имя своихъ нравственныхъ идеаловъ личность декретировала свое верховенство не только надъ формами общественной жизни, но и надъ выводами науки. Тутъ завершеніе нашего процесса „эмансипаціи", ибо личность, ея критическая мысль поглотила въ себѣ *все* — общественныя формы и объективные выводы науки... И все это странно, противорѣчиво соединилось съ любовью къ молчаливой и безличной массѣ народа и даже преклоненіемъ передъ ней.

Г. Ив. Успенскій (род. 1840 г.). Г. Ив. Успенскій одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ художниковъ-публицистовъ 70-хъ годовъ. По удивительной правдивости своей натуры, по способности къ крайнему увлеченію, онъ, быть можетъ, больше кого-нибудь другого напоминаетъ Бѣлинскаго. Онъ народникъ, но народникъ-скептикъ. Каждой своей строкой онъ разрушаетъ вѣру въ прочность устоевъ крестьянской жизни: въ сущности—онъ поетъ распаденія этихъ устоевъ, и особенно ясенъ для него фактъ, что чумазый (капиталъ) „орудуетъ" и въ лѣсахъ, и въ лугахъ, и на пашнѣ, и въ самомъ сердцѣ „пригороднаго" мужика, къ типу котораго приближается роковымъ образомъ все русское крестьянство. Распаденіе деревенскихъ устоевъ, нарожденіе деревенскаго пролетаріата—вотъ пугающее и страшное въ нашей жизни и особенно пугающее и страшное для Успенскаго, который удивительно чутко проникъ и въ гармоничность и цѣлостность земледѣльческаго міросозерцанія, и въ поэзію крестьянскаго труда и красоту ржаного поля. Все это для него святое и прекрасное, истинный храмъ, въ которомъ завоеватель-торгашъ устроилъ свой прилавокъ и стойла для своихъ лошадей. Успенскій понималъ, что торгаши, хищники, Разуваевы расположились очень основательно, что ихъ очень трудно выгнать, но все какъ-то надѣялся, что можетъ быть и удастся выгнать всю эту сволочь, пачкающую, коверкающую и развращающую чудное произведеніе художника-природы—крестьянскую жизнь. Аргументовъ противъ народнической вѣры и даже противъ всякихъ мечтаній о томъ, что „добрый баринъ" можетъ направить крестьянскую жизнь по желательному руслу,—въ произведеніяхъ Успенскаго сколько угодно, но тѣ же произведенія лучше всего другого раскрываютъ намъ глубину этой

вѣры, затрагивавшей и подчинившей себѣ самыя могущественныя струны души человѣческой, жажду земной справедливости, жажду красоты.

Именно и именно красоты. До сихъ поръ мало кто подчеркивалъ эстетическую сторону міровоззрѣній Успенскаго (исключая г. Михайловскаго), а между тѣмъ ее придется, пожалуй, очень и очень выдвинуть впередъ. Дѣло въ томъ, что красота типа народной жизни (конечно, болѣе ясная при патріархально-крѣпостномъ строѣ, чѣмъ теперь, потому что самый типъ былъ нетронутъ), — дѣйствовала на Успенскаго могуче и непосредственно внѣ вліянія всякихъ политическихъ и политико-экономическихъ соображеній. Она такъ же *обязывала*, какъ и страданія народа... Между прочимъ у Успенскаго есть очеркъ „Выпрямила", посвященный Венерѣ Луврской. Стоитъ на немъ остановиться нѣсколько, чтобы примирить эту несообразность — народничество и высшую эстетику. И мы увидимъ, что несообразности никакой здѣсь нѣтъ, такъ какъ восторги Успенскаго передъ луврской Венерой тѣ же самые, что и его восторги передъ красотой крестьянской жизни.

Красота крестьянской жизни, поэзія земледѣльческаго труда, красота самого земледѣльческаго типа по существу своему для Успенскаго то же самое, что красота... луврской Венеры. Я не въ парадоксахъ упражняюсь и не о томъ говорю, что Успенскій нашелъ у Венеры „*мужицкій*" завитокъ волосъ. Но, спросите себя, чѣмъ Венера такъ обрадовала и такъ выпрямила русскаго интеллигента-пролетарія, Тяпушкина-Успенскаго? О впечатлѣніи „женской прелести" не можетъ быть, конечно, и рѣчи. „Я окончательно увѣрилъ себя,—пишетъ Успенскій,—что г. Фетъ *безъ всякихъ резоновъ*, а единственно только подъ впечатлѣніемъ слова „Венера", обязывающаго воспѣвать женскую прелесть, воспѣлъ то, что не составляетъ главнаго въ Венерѣ Милосской, въ общей огромности впечатлѣнія, которое она оставляетъ". Не въ прелести дѣло, а совсѣмъ въ другомъ: „онъ (художникъ) бралъ (при созданіи Венеры) то, что для него было нужно и въ мужской красотѣ и въ женской, не думая о полѣ, а пожалуй, даже и возрастѣ и ловя во всемъ этомъ только человѣческое; изъ этого разнообразнаго матеріала онъ создавалъ то истинное въ человѣкѣ, что составляетъ смыслъ всей его работы, то, чего сейчасъ, сію минуту, *нѣтъ* ни въ комъ, ни въ чемъ, нигдѣ, но что *есть* въ то же время въ *каждомъ* человѣческомъ существѣ, въ настоящее время похожемъ на скомканную перчатку, а не на распрямленную.. И мысль о томъ, когда, какъ, какимъ образомъ человѣческое существо будетъ распрямлено до тѣхъ предѣловъ, которые сулитъ каменная загадка (Венера), не разрѣшая вопроса, тѣмъ не менѣе рисуетъ въ вашемъ воображеніи безконечныя перспективы человѣческаго совершенствованія, человѣческой будущности и зарождаетъ

въ сердцѣ живую *скорбь* о несовершенствѣ теперешняго человѣка". Венера Милосская явилась передъ Успенскимъ съ обломанными руками, съ какими-то даже нашлепками на носу, и все же въ этомъ вотъ обломкѣ онъ увидѣлъ то истинное человѣческое, что есть въ каждомъ, увидѣлъ безконечныя перспективы человѣческаго совершенствованія. Оттого-то онъ и впалъ въ чисто молитвенный восторгъ, что впечатлѣніе красоты человѣческой соединилось въ немъ со скорбью о несовершенствѣ теперешняго человѣка. Будь онъ только эстетикъ, онъ, конечно, увидѣлъ бы въ Венерѣ больше „женщины", чѣмъ увидѣлъ въ дѣйствительности. Но у него эстетика особенная. Это эстетика 70-хъ годовъ, эстетика насквозь этическая, вызывающая скорбь о несовершенствѣ. Вотъ что надо понять: *у чуткихъ художественныхъ натуръ семидесятниковъ не только совѣсть обязывала, обязывала не только истина и справедливость, а дѣйствительно обязывала и красота.* Кое-что въ этомъ смыслѣ можно найти у Михайловскаго, но у Успенскаго оно ярче, полнѣе: восторгъ передъ красотой у него чисто молитвенный, колѣнопреклоненный стоитъ онъ передъ святыней красоты, очарованный этой каменной загадкой, открывающей такія безконечныя перспективы человѣческому совершенствованію. Не приниженнымъ, не скомканнымъ, какъ старая перчатка, не трусливо-безпокойнымъ, а именно божественнымъ, какъ луврская Венера, является передъ нимъ человѣкъ будущаго, и эта мечта, этотъ призракъ обязываетъ. Въ это „этическое" время все становилось этическимъ. И помните, для чего, въ концѣ концовъ, „пригодилась" Венера: „вотъ стало быть и я, Тяпушкинъ, всей моей жизнью обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть въ какомъ-то не моемъ, но трудномъ дѣлѣ ближняго, былъ глубоко радъ, что *великое художественное произведеніе укрѣпляетъ меня въ моемъ тогашнемъ желаніи итти въ темную массу народа.* Теперь, благодаря всему, чему великое художественное произведеніе научило меня, я знаю, что мнѣ по моимъ силамъ можно и должно итти туда", чтобы помочь начинающему жить *человѣку-народу* подняться хоть на единую только ступень къ недосягаемому совершенству того божественно человѣческаго, что воплотилось въ каменной загадкѣ. Тутъ нѣтъ боязни красоты, вопіянія противъ красоты, низведенія красоты къ пользѣ, — словомъ всего, что такъ характерно для разночинца 60-хъ годовъ. Кающійся дворянинъ съ своей барской культурою, эстетической традиціей расширилъ, порою прямо-таки одухотворилъ міросозерцаніе этого разночинца, и вмѣсто вопіянія передъ нами молитвенный восторгъ передъ красотой, пониманіе, къ чему она *обязываетъ.*

Сначала, быть можетъ, это даже смѣшно немного, что луврская Ве-

нера заставляетъ итти туда, въ темную массу народа. Но если пониманіе этого, на первый взглядъ комичнаго обстоятельства ускользнетъ отъ читателя, то ускользнетъ отъ него пониманіе 70-хъ годовъ. Пусть они чужды намъ, пусть черезъ край самонадѣянны и часто „напыщены“ даже гипотезой собственнаго величія, но все же мыслью-то, своей, остаточкомъ своей опустошенной гражданственности можемъ мы приблизиться къ пониманію ихъ основного мотива. Молитвенный восторгъ передъ святыней красоты, заложенной въ человѣкѣ *художникомъ-природой* (именно *художникомъ*, а не *безличной матеріей*), вѣдь это что же такое? Вѣдь это и есть та высь религіозная, та высь религіознаго настроенія, съ которой только и можетъ быть понятной жажда не только уже безполезнаго, но даже и безыменнаго подвига.

Говорю я все это къ тому, чтобы сдѣлать такое заключеніе, что у Глѣба Успенскаго и Златовратскаго красота Венеры Милосской, по впечатлѣнію, которое она производитъ, по типу своему, по скрытому въ ней нравственному обязательству то же самое, что красота Парамона-юродиваго, съ его полупудовымъ желѣзнымъ колпакомъ вмѣсто шапки, народной интеллигенціи, искони—народной жизни, вообще.

„Въ этихъ двухъ характерныхъ чертахъ народнаго строя жизни заключаются всѣ данныя для многостороннѣйшаго проявленія человѣкомъ всего, что въ немъ есть *божескаго* и человѣческаго... Облечь этотъ образчикъ полноты существованія въ такія формы, которыя бы плѣнили мысль и взоръ читателя, не позволяетъ горькая дѣйствительность, и вотъ почему мы не смѣемъ живописать *красоту* существованія Марфы“.

Кажется ясно, въ чемъ дѣло. Красота Венеры Милосской обязываетъ итти въ народъ, чтобы не дать начинающему жить человѣку-народу унизить себя до размѣровъ скомканной перчатки и колесика государственной машины. И къ тому же обязываетъ красота народной жизни, что

Сквозитъ и тайно свѣтитъ
Въ наготѣ *ея* смиренной.

Успенскій, художникъ большой изобразительной силы, не хотѣлъ однако быть художникомъ. Больше даже: этого не позволяла ему его совѣстливая, его кающаяся психологія. Не знаю, были ли у него даже въ юности такія минуты, когда бы онъ совершенно свободно отдавался своему творчеству безъ думы, безъ заботы о томъ, что же изъ этого выйдетъ и выйдетъ ли изъ этого что-нибудь. Но ясно, что такія думы и заботы стали тревожить его очень рано, тревожить настойчиво и властно, несомнѣнно стѣсняя его, налагая оковы и иго на его свободный духъ и свободное вдохновеніе. Рѣдко, поэтому, является онъ передъ читателемъ во весь свой

ростъ: онъ точно робѣетъ, точно прячется за свои длинныя „разсужденія публицистическаго характера“, точно боится тѣхъ простыхъ и ясныхъ вещей, которыя подсказываетъ ему его огромная наблюдательность и его неменьшая художественная интуиц'я. Кто знаетъ, что вышло бы изъ него при полной внутренней свободѣ, объ этомъ можно только гадать, но очевидно, что мы имѣемъ полное право гордиться и тѣмъ, что вышло въ дѣйствительности. Но все же повторяю, Успенскій боялся самого себя, и этимъ прежде всего, этой его робѣющей совѣстливостью, его *застѣнчивостью* объясняется обиліе публицистики, часто остроумной, часто дѣтски наивной, въ его произведеніяхъ.

Надо на минуту хотя бы припомнить время, когда онъ началъ работать, историческую идею этого момента и общее ожиданіе обновленія жизни черезъ мужика.

Оказалось, что для новой цѣли прежнія рамки беллетриста, драматурга, статистика, публициста никуда не годятся. Вопросъ о мужицкомъ счастьѣ засталъ насъ врасплохъ. Не было исторіи крестьянъ, не знали, что такое расколъ, спорили объ общинѣ, и не въ томъ бѣда, что спорили, а въ томъ, что доказательства брались не изъ фактовъ и опыта, а или изъ глубины благороднаго сердца, или изъ какого-нибудь другого не менѣе подозрительнаго источника. Писатель, воспринявшій къ сердцу вопросъ о мужицкомъ счастьѣ, долженъ былъ, какъ это оказалось по опыту, въ литературно-критическихъ статьяхъ разорвать политико-экономическія истины, въ разсказъ о страданіи двухъ сердецъ вставлять разсужденіе о круговой порукѣ или общинѣ. Романы, повѣсти, драмы, статистика и этнографія перепутались между собой до такой степени, что, казалось, святое искусство окончательно упразднено, пьяные мужики, опохмѣлившіеся фабричные кричали и безобразили на страницахъ литературныхъ произведеній, кровянили другъ другу „рыла“, давали другъ другу въ „эту самую кость“, а Антонъ-Горемыка, этотъ меланхолическій страдалецъ, рѣшительно заявлялъ: „а теперь, братецъ, въ кабакъ“... Самъ писатель бросался изъ стороны въ сторону, наскоро сочинялъ очерки, разсказы, наброски, сцены, не думалъ о красотѣ и стройности, а лишь о томъ, какъ бы успѣть, какъ бы не упустить чего. Все, что важно въ мужицкой жизни, все это имѣетъ полное законнѣйшее право на вниманіе писателя. Г. И. Успенскій, самый яркій и талантливый представитель этой новой народолюбивой литературы, не могъ не воспринять того же принципа во всей его полнотѣ и прямолинейности. Попробуйте опредѣлить, кто онъ, какова его литературная спеціальность—и вамъ этого не удастся. Его сочиненія вы съ одинаковой свободой можете разбирать, вооружившись и курсомъ эстетики, и лучшими преданіями литературной критики, и сборникомъ статистическихъ таблицъ.

Передъ вами то художественные перлы, то художественныя иллюстраціи, то этнографическія замѣтки, то чуть ли не статистическія таблицы. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, во всемъ этомъ разнообразіи вы видите самое строгое единство. Народная жизнь—вотъ что дѣлаетъ стройнымъ цѣлымъ всѣ эти безчисленные очерки, разсказы, сцены, наброски, „мимоходомъ", „изъ разговоровъ", и проч. Разъ трава, рекомендуемая крестьянскимъ лѣчебникомъ и „полезная отъ сѣченія". играетъ роль въ мужицкой жизни, то Успенскій уже не преминетъ посвятить ей нѣсколько страницъ. Онъ не затруднится оборвать разсказъ на самомъ интересномъ мѣстѣ и вставить разсужденіе о круговой порукѣ или народномъ суевѣріи. Важно все, что важно для мужика, а въ какую форму воплотится это важное—не все ли равно? Поэтому-то и нельзя писать объ одномъ разсказѣ Успенскаго, объ одномъ его очеркѣ, о наброскѣ, можно писать лишь обо всемъ, что вышло изъ-подъ его пера, такъ какъ все это органически между собою связано: беллетристика дополняется публицистикой, публицистика статистикой.

Очевидно для всѣхъ и каждаго, что между Успенскимъ и мужикомъ такая крѣпкая, органическая связь, что нѣтъ никакой возможности говорить о нихъ въ отдѣльности. Если Успенскій не потонулъ окончательно въ трясинѣ самоѣденія и самобичеванія, о чемъ ниже, несмотря на глубоко меланхолическій темпераментъ, если веселая, дѣтски-простая и откровенная улыбка то и дѣло освѣщаетъ страницы его писаній, если онъ является предъ вами бодрымъ и радостнымъ или же, наоборотъ, тоскующимъ и хмурымъ, если онъ пишетъ на такую тему, а не на другую, —то за все это приходится и благодарить, и винить мужика. Возьмете ли вы слогъ Успенскаго, или его юморъ, или его міросозерцаніе, или его манеру писать, куда бы, словомъ, вы ни обратили свой взглядъ—вездѣ мужикъ, вездѣ вліяніе его жизни, интересовъ и характера.

Если мужикъ многимъ обязанъ Успенскому, то ничуть не меньшимъ обязанъ и Успенскій мужику. Между ними произошелъ взаимный обмѣнъ одолженій. Приведу слѣдующій эпизодъ изъ литературной біографіи Успенскаго, оговорюсь только, что эта литературная біографія намъ извѣстна лишь съ внѣшней стороны, и притомъ въ самыхъ общихъ чертахъ.

Успенскій не сразу нашелъ мужика. Въ первыхъ его произведеніяхъ мужикъ почти не фигурируетъ. Здѣсь передъ нами не сценѣ фабричный, приказчикъ, мелкій чиновникъ, городская голытьба, разорившійся помѣщикъ. Но коренного земледѣльца, того земледѣльца, во имя котораго впослѣдствіи сталъ исключительно страдать и радоваться Успенскій, здѣсь нѣтъ. Описывая эту городскую жизнь, Успенскій постоянно чувствовалъ какую-то вполнѣ, впрочемъ, понятную неудовлетворенность. Его пьяные, съ опустошенной душой, герои, ихъ пустая, лишенная какого бы то ни

было живого чувства и наслажденія, жизнь едва ли могла навести что-нибудь, кромѣ унынія. Измученная писательская душа искала отдыха, успокоенія, гармоніи. Но ихъ не было, и естественно Успенскій сталъ отрицать себя и свою работу. Она представлялась ему неважной и ненужной даже. Общее народническое пробужденіе сулило ему какъ будто какое-то большое дѣло, куда можно было бы уйти цѣликомъ, всей душою, но тогда онъ не зналъ еще, какое это дѣло. „Общество,—пишетъ онъ,—вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы—и имѣло на это право—многосложной и внимательной работы. Такимъ образомъ, какъ отсутствіе школы, такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что „теперь“ обновляющаяся жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи, дѣлали то, что незначительная способность написать „разсказецъ“ или „очеркъ“ ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. „Все это не то“,—думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, кое-какъ, появляясь въ видѣ отрывковъ безъ начала и конца“.

Зная нервную, болѣзненно впечатлительную натуру Успенскаго, не трудно предсказать, чѣмъ закончилось бы это мучительное сознаніе ненужности и безполезности работы, какъ бы ни тянулъ къ ней талантъ, какъ бы ни звало вдохновеніе. И время-то не такое было, чтобы писать для писанія, а тутъ еще этотъ страшный писательскій червь: „не нужно, не надо, безполезно...“ Но вотъ явился мужикъ, и Успенскій сразу воспрянулъ духомъ, сразу увидѣлъ передъ собой безконечную перспективу необходимой и привлекательной работы. Его удивительный жанровый талантъ нашелъ себѣ полный просторъ и примѣненіе, сознаніе, что онъ не только пишетъ, а и дѣло дѣлаетъ, что передъ нимъ громадная, никому неизвѣстная жизнь, отъ блага которой однако все зависитъ, не могло не придать непоколебимой бодрости и энергіи. Юморъ развивался и „освѣжѣлъ“, практическая дѣйствующая складка ума оказалась удовлетворенной, и посмотрите, какимъ глубокимъ сознаніемъ собственной надобности и спокойствіемъ дышатъ слѣдующія слова:

„Вы, вотъ, все жалуетесь, что нѣтъ изящной словесности,—все только о мужикѣ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имѣете ежемѣсячную массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикѣ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачѣмъ вы читаете объ этомъ мужикѣ и, главное, зачѣмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности? Посмотрите, пожалуйста, повнимательнѣе въ оглавленіи, и тамъ сказано, „замѣтки...“, „отрывки...“ Какая это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью, вѣроятно, надобно повременить...“

Благодаря мужику, Успенскій примирился и самъ съ собой, и съ спо-

собомъ своего писанія, и со всей отрывочной работой, онъ ясно увидѣлъ, что это нужно.

Найдя „мужика“, Успенскій сталъ пользоваться своимъ художественнымъ талантомъ, главнымъ образомъ, для иллюстраціи. Добровольно возложенная на себя громадная задача опредѣлить наконецъ, что же это за „таинственный незнакомецъ“, вынесшій на своихъ плечахъ всю тяжесть русской исторіи, эта „святая скотина“, сохранившая свое золотое сердце, несмотря на татарщину, крѣпостничество, заставляла его бросаться изъ стороны въ сторону, выискивая повсюду мужицкую подоплеку, приходить въ отчаяніе при видѣ неизъяснимыхъ противорѣчій, торжествовать, когда мужикъ оправдалъ себя, и недоумѣвать, когда его дѣтски-наивная простая душа вдругъ оказывается способной на всякія мерзости: забиваетъ въ гробъ жену, обращается въ міроѣда, опаиваетъ водкой грудныхъ дѣтей,—такъ какъ они ненужные, лишніе рты. Некогда было высиживать, выдумывать и, написавши что-нибудь, положить, по рецепту Гоголя, въ ящикъ на нѣсколько лѣтъ и затѣмъ семь разъ передѣлать и семь разъ собственноручно переписать. Не о созданіи художественнаго произведенія шла тутъ рѣчь, а о мужицкомъ счастьѣ; передъ вами не поэтъ, не художникъ, а поэтъ-журналистъ, художникъ-журналистъ, у котораго не просто тенденція, а вполнѣ опредѣленная практическая программа, въ которой и общественныя запашки, и волостные суды должны найти и находятъ свое опредѣленное мѣсто.

Мнѣ думается, что и самая сущность таланта Успенскаго какъ нельзя болѣе подходила къ этой разбросанной, отрывочной работѣ. Онъ не мастеръ въ дѣлѣ выдумки, интриги, развитія характера, онъ не любитъ описывать природу, сторонится отъ сильныхъ драматическихъ коллизій, онъ слишкомъ приверженъ къ факту, къ дѣйствительности, чтобы посягнуть на созданіе чего-нибудь крупнаго, цѣлостнаго. Пишетъ онъ всегда сразу, безъ подготовки, даже безъ помарокъ. Мгновеннаго впечатлѣнія ему совершенно достаточно, чтобы творчество заработало, фигура человѣка обратилась въ характеръ, въ типъ, а фактъ дѣйствительной жизни—въ образъ. Онъ пишетъ штрихами, даетъ всегда самое необходимое, удовлетворяется отдѣльными картинами и не чувствуетъ ни малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, оставляя героя на самомъ интересномъ мѣстѣ.

По всѣмъ этимъ пріемамъ вы безъ труда узнаете жанриста. Вѣдь тому тоже все равно, подъ какимъ небомъ—голубымъ или перламутровымъ, при какомъ освѣщеніи и въ сосѣдствѣ съ какими цвѣтами и полями происходила та или другая сцена. Ничто такъ хорошо не передается гравюрой, фотографіей или просто карандашомъ, какъ жанровая сцена. Именно карандашомъ, а не красками, и рисуетъ обыкновенно Успенскій. Его прежде

и больше всего интересуетъ душа и ея бытовое проявленіе, и если это проявленіе ясно изъ одного штриха, то ничего больше и не требуется.

Въ альбомѣ произведеній Ѳедотова есть снимки съ недоконченныхъ, на скорую руку перомъ или карандашомъ набросанныхъ рисунковъ. Не хватаетъ иногда цѣлой половины рисунка: тамъ недорисована рука или нога, тамъ ротъ или глаза едва намѣчены. И все же вы понимаете, въ чемъ бытовая душа такого рисунка, по одному штриху угадываете мысль художника, такъ какъ этотъ штрихъ вѣренъ, смѣлъ и такъ близокъ къ дѣйствительной жизни, что для васъ онъ является вполнѣ достаточнымъ и даже богатымъ намекомъ.

Совершенно такъ же работаетъ обыкновенно и Успенскій. Въ жанрѣ— сущность и прелесть его дарованія, жанръ дастъ ему такую свободу, какой не можетъ дать ни одинъ изъ родовъ искусства, онъ какъ нельзя лучше подходитъ къ разбросаннымъ и отрывочнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокимъ наблюденіямъ Успенскаго.

Однако эти глубоко-проникновенныя наблюденія, эти художественные штрихи, на каждой страницѣ разбросанные и точно молніей освѣщающіе эти длинныя, скучныя разсужденія, лишь въ самыхъ рѣдкихъ, пожалуй, даже исключительныхъ случаяхъ складывались у Успенскаго въ яркій образъ, въ опредѣленную картину. Много сдѣлалъ Успенскій, но и послѣ всего того, что онъ сдѣлалъ, таинственный незнакомецъ— народъ такъ и остался таинственнымъ незнакомцемъ. „Некогда было такимъ дѣломъ заниматься, работа не ждала, не ждала и самая жизнь, взволнованная и ищущая пути, исполненная противорѣчій и всякаго рода неожиданностей. Надо было ловить моментъ, закрѣплять, хотя бы въ штрихахъ, хотя бы въ эскизахъ постоянно мѣняющуюся физіономію мужика и мужицкой жизни. Вѣдь незадолго до насъ „порвалась цѣпь великая, порвалась-раскачалася“, горы еще наканунѣ сошли съ мѣста своего, и было некогда...“

Новое всегда разрозненно, разбито на куски, разбросано и тамъ, и здѣсь. Извольте подобрать всѣ эти его части и слить ихъ воедино. Если и есть примѣры такой удачной работы, то они— счастливыя исключенія, которыя могутъ не итти въ счетъ. Любопытно, что равнаго Платону Каратаеву или Поликушкѣ Толстого у Успенскаго нѣтъ ни одного типа. И причина этого не только въ томъ, что дарованіе Толстого выше, а и въ томъ еще, что до мужиковъ Успенскаго уже коснулось новое: коснулся кабакъ, воля, трактирная цивилизація, кредитъ, міроѣдъ и пр. Каратаевъ тѣмъ и удивителенъ, что въ немъ нѣтъ никакого противорѣчія, что онъ весь тутъ, какъ порожденіе вполнѣ опредѣленнаго строя, вполнѣ ясно выразившейся системы жизни. А мужикъ Успенскаго носитъ на себѣ отпечатокъ разрозненности: онъ то и дѣло двоится, какъ двоится и самая жизнь, создавшая его, какъ двоится наша община между кулакомъ и старыми порядками и преданіями.

Платонъ Каратаевъ выросъ и могъ вырости только въ обстановкѣ крѣпостного права. Онъ рабъ, и только рабъ. Въ немъ вы видите идеальное отреченіе отъ самого себя и своей личности; забота о себѣ, о своемъ счастьѣ, очевидно, никогда не тревожила этой младенчески-чистой души. Вся жизнь Каратаева ушла на служеніе кому-то другому, о чемъ онъ едва ли и знаетъ что-нибудь опредѣленное, и на всѣ обиды, на всѣ страданія, вынесенныя имъ, онъ отвѣчаетъ одной дѣтской, безконечно ласковой улыбкой. Красота такого типа—если вообще тутъ можетъ быть рѣчь о красотѣ—въ томъ и заключается, что онъ простъ, что ему не приходится бороться съ собой, что изъ утробы матери онъ вышелъ на свѣтъ такимъ же, какимъ уйдетъ въ могилу. Онъ просто живетъ и просто умираетъ, какъ листъ на деревѣ, какъ колосъ въ полѣ. И эта удивительная гармонія внутренняго міра освѣщаетъ всю фигуру Каратаева мягкимъ и ровнымъ свѣтомъ. Его не можетъ не полюбить всякій, кто любитъ природу.

Мужикъ Успенскаго „двоится". Земля еще не утеряла своей власти надъ нимъ: она все еще его поилица и кормилица, она все еще руководитъ его жизнью, указываетъ, когда надо ложиться и вставать, во что вѣрить, чего бояться, чему радоваться. Но рядомъ съ землею явился всемогущій кабакъ, рядомъ съ земледѣльческимъ трудомъ—нажива, проценты, обороты. Внутренняя жизнь мужика утеряла свою стройность, такъ какъ та же стройность исчезла изъ внѣшней обстановки его бытія. Это мужикъ переходнаго времени, безъ опредѣленной физіономіи: безъ прочныхъ устоевъ. Это что-то нарождающееся, формирующееся, не принявшее ни опредѣленной формы, ни подобія. Его пинжакъ и его душа никакъ не могутъ сговориться между собою. Пинжакъ тянетъ къ легкой жизни, легкому труду, къ сладострастію, наживѣ, чувственнымъ наслажденіямъ; душа, не забывшая еще старыхъ устоевъ, то тоскуетъ, то злобствуетъ или человѣконенавистничаетъ. Пинжакъ уже заставляетъ ее быть жадной, себялюбивой, возстать противъ всего во имя личнаго счастья. Но это мудреная задача, какъ мудрены всѣ задачи переходнаго времени.

Создать что нибудь цѣльное среди этой разорванной жизни мудрено. Переходное время каждую минуту создаетъ что-нибудь новое, неожиданное, не идетъ ни подъ какую формулу. Люди какъ будто не люди, а что-то среднее „съ песьими головами", міръ какъ будто община, а какъ будто и кабакъ, мужицкая добродѣтель какъ будто добродѣтель, а какъ будто и непроходимая глупость. Растеряться во всемъ этомъ немудрено. Но громадный талантъ жанриста выручаетъ Успенскаго. За невозможностью создать и найти въ жизни Каратаева полную и законченную фигуру, характеръ, онъ рисуетъ лишь полныя и законченныя отдѣльныя сцены, гдѣ опять-таки полно и законченно проявляется одна какая-нибудь отдѣльная

сторона души, одна отдѣльная сторона жизни. Бытописатель формирующейся жизни, онъ выводитъ на сцену лишь формирующихся людей, половина которыхъ тамъ, въ крѣпостномъ правѣ, а половина тамъ—въ невѣдомомъ будущемъ.

Успенскій изъ ищущихъ, изъ вѣчно взыскующихъ града и не обрѣтающихъ его. Онъ „присматривается". Онъ страстно любитъ мужика, но его любовь проникнута болѣзненнымъ скептицизмомъ. Это не вдумчивый, меланхолическій скептицизмъ Некрасова, который, обращаясь къ народу, говоритъ:

Ты проснешься ль исполненный силъ?

Скептицизмъ Успенскаго—продуктъ въ высшей степени интеллигентнаго, безъ конца анализирующаго ума. Оттого-то чтеніе его книгъ и производитъ, на нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, такое болѣзненное впечатлѣніе. Я лично не только не знаю самъ, на чемъ остановиться, во что вѣрить, я не знаю даже—на чемъ остановился, во что вѣруетъ и самъ авторъ. Надо ли чему-нибудь учиться у мужика, или наоборотъ, мужика всему учить надо? Или положить упованія свои на „взаимодѣйствіе"? Хорошъ ли мужикъ, или нѣтъ? Есть ли у него добродѣтель, или такой за нимъ не значится? Существуетъ ли въ деревнѣ общественность, или господствуетъ рознь? Кто одолѣетъ: мужицкая идея или кулакъ? Разъ у мужика есть добродѣтели, то въ какомъ смыслѣ ихъ понимать надо: настоящая ли добродѣтель это, или стадность, вліяніе обстановки, а не нѣчто сознательное и т. д. Правда, никто такъ рѣзко мнѣ этихъ вопросовъ не поставитъ, какъ Г. И. Успенскій, никто не воплотитъ своихъ сомнѣній въ такихъ художественныхъ образахъ, но все же вопросы такъ вопросами и остаются. Любопытно было бы хоть попытаться осуществить программу лучшаго изъ нашихъ народниковъ, я полагаю, что пришлось бы „по суху плыть, а по водѣ ходить". Передо мной самое искреннее, но болѣзненное, надрывами какими-то, стремленіе полюбить мужика цѣльностью, рядомъ съ этимъ поразительный здравый смыслъ, который насквозь видитъ все зло деревенской жизни, и тутъ же мучительный, до послѣдней буквы правдивый анализъ, не смѣющій отдаться спасительной вѣрѣ и глубоко страдающій отъ этой самой причины. Кого люблю, того и бью—говорятъ обыкновенно про отношеніе Г. И. Успенскаго къ народу. Но онъ мало того, что бьетъ, а просто хлещетъ, при чемъ видно, что ни въ чьемъ сердцѣ эти удары не отражаются съ такою болью, какъ въ сердцѣ самого Г. И. Успенскаго. Ему бы до страсти хотѣлось идилліи рисовать, да своихъ мужичковъ выводить все умными, да пригожими, да добродѣтельными, но перо, подчиняясь художественной правдѣ и здравому смыслу, пишетъ и рисуетъ совершенно другое. Прочтя иныя страницы изъ произведеній

Успенскаго, трудно, не воскликнуть: „Однако, этотъ мужикъ“... Но авторъ, какъ бы самъ замѣчая неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное его кумиромъ, сейчасъ начинаетъ толковать про тысячу одно обстоятельство, препятствующее добродѣтели кумира, набрасывается на интеллигенцію и этимъ самымъ доводитъ курсъ кумира до нормы. „Дѣйствительно, думаете вы, обстоятельства — вещь существенная, да и интеллигенція бездѣльничаетъ... Нельзя же мужичку самому выбираться“. Переверните еще нѣсколько страницъ, и опять васъ начинаютъ охватывать сомнѣнія: „Ну, а если бы земли побольше, а если бы интеллигенція принялась дружно за работу?“ Повторяю, большинство вопросовъ остается безъ отвѣта.

Успенскій любитъ мужика, но и вѣритъ въ него въ то же время. Онъ любитъ его то какъ эстетикъ, находя въ бытѣ его дивную красоту, то какъ человѣкъ, утерявшій въ своей личной жизни всѣ цѣли и весь смыслъ и знающій почему-то, что только мужикъ можетъ вернуть единство и здоровье его нравственному міру, любитъ его то съ оттѣнкомъ покровительства, то съ надрывомъ раскаянія и душевной растерянности. Никогда ни одинъ писатель не находился на такой опасной дорогѣ, какъ Успенскій, никогда ложь не представлялась такимъ естественнымъ и пожалуй, необходимымъ исходомъ для наболѣвшаго духа, какъ при его работѣ, при его цѣляхъ и задачахъ, и никто не сказалъ такъ много голой и страшной правды, какъ онъ. Все влекло его къ идеализаціи, все дѣлало соблазнъ ея неотразимымъ:—и настроеніе эпохи, и „разговоры съ пріятелями“, и заранѣе готовый выводъ, что въ мужикѣ и торжествѣ мужицкой идеи—единственный исходъ изъ зла, единственное наше спасеніе, и никто бы не сталъ обвинять Успенскаго, если бы онъ только идеализировалъ: всякій бы понялъ, что эта идеализація—его личное дѣло, дѣло его больной совѣсти. Но отъ лжи и идеализаціи его спасла могучая художественная сила, какая-то поразительная чуткость къ жизненной правдѣ, пожалуй, даже смиреніе передъ ней.

Однако всякій, кто внимательно читалъ Успенскаго, не могъ не замѣтить, что окраска рисуемой имъ подлинной правды жизни произвольна. Въ этой окраскѣ такъ много любви, такъ много добродушія, что рѣшительно нѣтъ возможности сердиться, негодовать; какой-нибудь одинъ мелкій штрихъ совсѣмъ васъ обезоруживаетъ, готовое вырваться у васъ рѣзкое слово замираетъ. Въ этомъ дѣлѣ Успенскій—великій мастеръ. Разсказываетъ онъ вамъ, напримѣръ, про то, какъ трое случайно встрѣтившихся послѣ урожая мужиковъ и распившихъ по этому поводу бутылку, завалились спать и задавили ребенка на смерть. Сцена, кажется, довольно отвратительна, но, описывая ее, Успенскій умѣетъ, пожалуй даже и не разжалобить васъ, а просто обезоружить случайной подробностью, представить

вамъ этихъ мужиковъ до того наивно растерянными и съ такимъ недоумѣніемъ повторяющими: „Вино-то дюже забрало... Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сортъ“,—что вы готовы, чего добраго, улыбнуться. Задавленный мальчикъ остался гдѣ-то тамъ, въ полѣ, а тутъ на первомъ планѣ серьезная и дѣльно-простодушная похвала вину, которое, „надо сказать, прямо первый сортъ“. И дюже хорошее вино заслонило въ вашихъ глазахъ холодный трупикъ...

Мужъ торгуетъ женой. Мужикъ жаденъ и хочетъ во что бы то ни стало разжиться. Жадна и баба, къ тому же и красавица она. Подвернулся случай и началась бойкая торговля. Но любопытное впечатлѣніе остается у васъ въ душѣ, хотя Успенскій ровно ничего не скрываетъ и не утаиваетъ.

„И не какъ-нибудь зря стала Аграфена заниматься этимъ дѣломъ, а такъ что самый разсчетливый, самый основательный человѣкъ, осуждая ея поведеніе, могъ, въ концѣ концовъ, только похваливать ее, признать въ ней необыкновенный умъ, направленный безъ всякихъ послабленій и увлеченій только къ одной цѣли, которую она и достигла не какъ-нибудь, а съ толкомъ, умно, разсчетливо. Она сумѣла вытянуть изъ всѣхъ пятерыхъ все, что у нихъ было, вытягивала все лѣто возможными цѣнностями, при чемъ вниманіемъ удостаивала далеко не всѣхъ, довела ихъ до ссоры, чуть не до дуэли и въ то же время не только не измѣнила обличья крестьянской жены, работящей и молчаливой, но даже и тѣни гордости не выказывала передъ завидовавшими ей пріятельницами. Вставала она попрежнему въ три часа, гнала коровъ, шла на рѣку съ тяжелыми ведрами, жала въ полѣ, ходила босикомъ по грязи, словомъ — ни на волосъ не давала замѣтить ни господамъ, что они нужны ей, ни своимъ, деревенскимъ соперницамъ, что онѣ нужны ей. „Къ намъ опять, баринушки, милости просимъ. Не оставьте ужъ насъ опять-то, оченно мы вами благодарны“—какъ простая деревенская баба говорила она, кланяясь и держа конецъ фартука у губъ, когда баринушки осенью разъѣзжались по домамъ, унося, быть можетъ, истинную любовь въ сердцѣ. —„Непремѣнно, непремѣнно“,—кричали ей искреннѣйшимъ образомъ баринушки и махали шляпами. - „Присылайте другихъ, побогаче“, - прибавила она грубо и безсердечно, когда баринушки умчались, и Аграфена осталась съ мужикомъ съ глазу на глазъ. Никакихъ больше разговоровъ, ни воспоминаній, ни даже именъ этихъ баринушекъ не повторялось. Точно ничего не было такого, о чемъ можно было шепнуть другъ другу пару словъ. Веселая и радостная послѣ отъѣзда постояльцевъ, Аграфена потомъ поставила самоваръ и сама начала такую рѣчь: „А ты вотъ что, Михайла: ты вотъ лошаденокъ парочку безпремѣнно у Барсукова купи. Лошади первый сортъ“...—„За лошадьми надо въ Поговково... У Барсукова что?“ И пошелъ дѣловитѣйшій изъ дѣловитыхъ разговоровъ“.

Успенскій и здѣсь добился своего. Онъ сказалъ всю правду, какую только зналъ, ничего не утаилъ, не прикрасилъ даже но все дѣйстви-

тельно отвратительное отодвинуто куда-то на второй планъ, заслонено и затушевано дѣловитостью Аграфены, ея огромной выдержкой, ея преданностью интересамъ хозяйства. И вы уже прекрасно подготовлены къ обычному заключенію Успенскаго: „нѣтъ, не виновны“, ни Аграфена, ни мужъ ея не виновны, хотя все истинно человѣческое убито уже въ нихъ, выѣдено этой страшной ржавчиной наживы и жадности.

Мужикъ не виноватъ ни въ чемъ: онъ не можетъ быть ни въ чемъ виноватъ, —онъ никогда ни въ чемъ виноватъ не бываетъ. Даже странно какъ-то звучатъ такія вотъ слова Успенскаго: „Разъ онъ (мужикъ) дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь, — и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ“. Словомъ, сваливъ всю отвѣтственность за хорошіе и дурные поступки съ мужика на землю, на интересы хозяйства, Успенскій этимъ самымъ какъ будто совершенно отрицалъ въ мужикѣ личность, т. е. самое дорогое, что есть въ человѣкѣ, безъ чего его жизнь—не жизнь, а произрастаніе, а самое поведеніе такъ же нравственно или безнравственно, какъ полетъ галки. Обидно...

Нечего и говорить, что этой привиллегіей полной невинности въ глазахъ Успенскаго пользуется только мужикъ. Другіе, особенно баринъ, тѣ могутъ быть виноваты, и тѣхъ совѣсть мучаетъ и укоряетъ по всей истинѣ и справедливости.

Надо замѣтить, что къ сатирѣ ни склонности, ни дарованія Успенскій не имѣетъ. Разъ онъ хочетъ бичевать—у него получается каррикатура; къ злобѣ, ненависти у него нѣтъ влеченія, въ крайнемъ случаѣ, онъ раздражается и только заставитъ своего „барина не у дѣлъ“ бить мухъ или напяливать на себя ордена отъ обезьяньей княгини, и затѣмъ разсмѣется самъ своей обычной, добродушной улыбкой. Юморъ его проявляется лишь тамъ, гдѣ его любовь, т. е. въ описаніи мужицкой жизни, изображая же господъ или интеллигентовъ-разночинцевъ („Тише воды, ниже травы“, „Волей-неволей“, „Овца безъ стада“), онъ или раздражается, или тоскуетъ—тоскуетъ до полнаго умопомраченія. Но стоитъ лишь вынырнуть мужицкой фигурѣ, хотя бы грязной, растрепанной, пьяной, Успенскій оживаетъ и становится неподражаемъ.

Любитъ Успенскій мужика и любитъ, очевидно, не за звѣриную правду, а за то же, за что любитъ его Толстой и Достоевскій,—за „интеллигентное“

сердце, или, лучше сказать, за остатокъ этого интеллигентнаго сердца, за какіе-то признаки его, которыхъ зачастую онъ и самъ не признаетъ.

И вотъ этому-то интеллигентному сердцу онъ хотѣлъ бы предоставить полный просторъ въ жизни. Читая его, вы, особенно при тщетныхъ попыткахъ разобраться во всѣхъ его безчисленныхъ противорѣчіяхъ чувствуете, что какая-то чуждая волна вторглась въ его творчество, его внутренній міръ, и замутила его. Сильно, настойчиво бьется онъ въ этой паутинѣ теоретическихъ выкладокъ, очевидно; самъ увлекаясь формулой прогресса, и только порою нѣтъ-нѣтъ и брякнетъ онъ что-нибудь такое, за что всѣ жрецы прогресса и формулы должны бы предать его анафемѣ. Но черезъ нѣсколько строкъ Успенскій опять начинаетъ кадить культурнымъ идеаламъ, хотя по существу ни до какой культуры дѣла ему нѣтъ, и кромѣ зла, кромѣ мерзости ничего онъ въ ней не видитъ. Не хватаетъ у него смѣлости сказать то, на что рѣшился наконецъ Толстой: „да уходите вы прочь съ вашей культурой... никому и ни на какого чорта не нужна она.. ложь она, ваша культура, и источникъ лжи". Искренній художникъ Успенскій почему-то очень цѣнитъ этикетку прогрессиста...

Въ Успенскомъ много отъ голоса больной совѣсти и даже отъ психологіи кающагося дворянина. И отсюда страстное стремленіе его героевъ къ сліянію съ народомъ.

Все равно какъ человѣкъ нашихъ дней, чувствующій, что погрязаетъ онъ все болѣе въ мелочныхъ, чисто буржуазныхъ заботахъ о завтрашнемъ днѣ, о шести парахъ брюкъ, о томъ, чтобы жить не хуже, чѣмъ живутъ другіе и пр.,—что гаснетъ то героическое, то красивое, что было у него когда-то въ душѣ, что эта вотъ паутина мелочныхъ заботъ, соображеній, лжи, уступокъ, лицемѣрія, всегда въ большей или меньшей степени полезныхъ, а часто и необходимыхъ, становится господиномъ, властно распоряжающимся его внутреннимъ міромъ,—иногда въ минуту просвѣтленнаго отчаянія завидуетъ хотя бы босяку, не знающему страха жизни, этого пошлаго, мучительнаго страха, и готовъ идеализировать беззаботное и даже дерзкое существованіе нашей нищей городской вольницы—такъ баринъ, не видавшій покоя и свободы, превозносилъ крестьянскую жизнь, съ которой у него все же были какіе-то неоконченные старые счеты. Ему казалось, что онъ не можетъ иначе достигнуть счастья, какъ если молчаливая крестьянская масса поглотитъ его цѣликомъ и безъ остатка, какъ если онъ уничтожится въ ней и сольетъ свою больную психику съ безбрежной и здоровой психикой народа. Отношенія къ крестьянскому міру, заботы объ его счастьѣ и благополучіи были вопросами чести и совѣсти, вопросами личнаго счастья и воплощеніемъ общественныхъ мечтаній и

утопій. Ходили въ народъ, носили армяки и тулупы, женились на крестьянкахъ—все во имя того же и того же прекраснаго и недостижимаго крестьянскаго царства—царства труда, братскаго единенія, здоровой и хорошей жизни.

Какъ художникъ, Успенскій не только понималъ, но и зналъ великолѣпно, что никакихъ нужныхъ для утопіи данныхъ въ народной жизни уже нѣтъ, что эта жизнь пошла уже другой дорогой, но и его не могло не заразить господствующее настроеніе. Онъ даже подчинился ему: онъ увлекся теоретическимъ представленіемъ о народной жизни, о ея красивомъ типѣ, ея могучихъ устояхъ.

Это было нужно ему прежде всего для души, нужно какъ опора своего интеллигентнаго существованія, какого-то безпочвеннаго, пожалуй, даже оторваннаго отъ всего. И что на самомъ дѣлѣ оставалось интеллигенту? Содѣйствовать прогрессу промышленности и торговли, увеличивать собою и такъ уже густые ряды чиновниковъ и людей формальной правды? Нѣтъ, очевидно, не это его дѣло, не здѣсь его призваніе и назначеніе, а совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Видя и зная, что крестьянской жизни уже нѣтъ, или кое-гдѣ уцѣлѣли лишь обломки ея прежняго строя, Успенскій все же неотступно и настойчиво звалъ туда, въ этотъ призрачный міръ, интеллигентнаго барина, указывалъ ему, что онъ можетъ, что онъ долженъ дѣлать и какая огромная награда въ смыслѣ нравственнаго успокоенія и нравственнаго здоровья ожидаетъ его за это. Безжалостно опровергалъ онъ самъ себя, иронизировалъ даже надъ собой и, сказавши такъ прямо, такъ рѣзко, какъ никто, что мужикъ и баринъ столковаться не могутъ, что общины нѣтъ, что забота о рублѣ, о деньгахъ поѣла злою ржавчиной устой мужицкаго существованія, что и самого барина-то нѣтъ, онъ все же съ какой-то дѣтской, простодушной и, право, милой наивностью начинаетъ писать на тему, что баринъ вотъ пріѣдетъ, баринъ все разсудитъ по-хорошему и по-благородному.

Когда эта чужая повязка спадала съ глазъ Успенскаго, что видѣлъ онъ передъ собой въ этой дивно-красивой мужицкой жизни? То только, что хранить и беречь ее нельзя, да и не къ чему, что въ сущности даже и нѣтъ ея, этой жизни, по крайней мѣрѣ, въ освѣщеніи, приданномъ ей тревожной совѣстью кающагося дворянина.

„Вѣдь пора же знать, что сельское общество тогда только было, въ самомъ дѣлѣ, самоуправляющейся крестьянской общиной, когда основаніемъ средствъ къ существованію всѣхъ ея обывателей была земля и исключительно для всѣхъ одинаковый крестьянскій трудъ. Какіе же это общинники теперь, если сосѣдъ наживаетъ на сосѣдѣ капиталъ, - скромную деревенскую копеечку на копеечку?“

— „Главная причина, братецъ ты мой,—говоритъ одинъ изъ героевъ Успенскаго,—пищи нѣту у насъ,—вотъ“...

Это отсутствіе въ деревнѣ новыхъ элементовъ, расширяющихъ размѣры „общественнаго вниманія“, дѣлаетъ то, что самое общинное пользованіе землею въ настоящихъ условіяхъ деревенской жизни вовсе не избавляетъ члена общины отъ голодной смерти.

Но если нѣтъ общины, т. е. камня краеугольнаго народной жизни, если община только пустое слово, о чемъ Успенскій повторяетъ тысячу разъ, слово радостное и многообѣщающее для кающагося дворянина и нужное для соціологовъ-народниковъ совсѣмъ въ такой же степени, какъ разрывъ-трава или мечъ-кладенецъ для героевъ нашихъ легендъ и сказокъ, то спрашивается,—что же осталось? Вѣдь безъ общины никакой переходъ къ совершенному будущему немыслимъ, вѣдь если нѣтъ общиннаго духа, то, очевидное дѣло, надо поставить крестъ и надъ всѣми народническими утопіями... А этого общиннаго духа дѣйствительно нѣтъ. Всякъ за себя—Богъ за всѣхъ. Рубль, деньги „нужны до умопомраченія“, и стремленіе добыть этотъ рубль, эту кредитную бумажку,—цѣлая трагедія, унизительная и развращающая.

Рубль рядомъ съ какимъ-то общимъ стихійнымъ обнищаніемъ природы, внесъ страшную разладицу въ крестьянскую жизнь. Но не только рубль, а все—и хорошее, и дурное—и кабакъ, и лавочка, и школа даже вносятъ ту же разладицу. Успенскій признаетъ, что есть во всемъ этомъ что-то стихійное и неизбѣжное, а съ еще большей грустью долженъ сознаться, что никакой силы сопротивленія у мужика нѣтъ, что онъ самъ по слабости первый идетъ навстрѣчу тому, что грозитъ ему уничтоженіемъ.

Вліяніе цивилизаціи отражается на простодушномъ поселянинѣ рѣшительно при самомъ ничтожнѣйшемъ прикосновеніи. Буквально „прикосновеніе“, одно только легкое касаніе—и тысячелѣтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки. Вотъ передъ вами трудолюбивый, деликатный, умный, цѣломудренный крестьянинъ, но поѣздилъ онъ двѣ зимы легковымъ извозчикомъ и ужъ развратился. Скажите, пожалуйста, какая же тутъ можетъ быть цивилизація ѣздить зимой въ морозы на облучкѣ и сидя спать въ трактирахъ, опустивъ голову на столъ? А между тѣмъ развращается. Въ двѣ зимы человѣкъ „насобачивается“ такъ, что ужъ дѣлается чужимъ въ родномъ своемъ семействѣ. Гордость рождается у него, фанаберія и насмѣшка, пріучается прятать деньги отъ матери, отъ большака, и непремѣнно задумываетъ дѣлиться. И это въ лучшемъ случаѣ, а то просто дѣлается мерзавцемъ: иной пріѣдетъ изъ Петербурга безъ копейки, хоть и „при часахъ“, ничего не дѣлаетъ, не работаетъ, а свою же родную мать посылаетъ ходить по міру и ждетъ ее, поглядывая на свои часы“.

И выходитъ, поэтому, для всякаго, что-нибудь думающаго о народѣ, человѣка задача поистинѣ неразрѣшимая: цивилизація идетъ, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того что не можешь остановить этого шествія, но даже, какъ увѣряютъ тебя и какъ доказываетъ самъ Иванъ Ермолаевичъ, не долженъ, не имѣешь ни права, ни резона соваться въ виду того, что идеалы земледѣльческіе — прекрасны и совершенны. Изъ этого бѣглаго очерка уже можно видѣть, что разъединеніе деревенскаго общества на разные лагери, и лагери не вполнѣ дружелюбные, сулитъ въ перспективѣ явленія, весьма неблагопріятныя. Теперь ужъ надобно дѣлать усиліе, несправедливость для того, чтобы поравнять всѣхъ такъ, какъ всѣ были уравнены крѣпостнымъ правомъ. Преслѣдуя тѣ же идеалы, Иваны Ермолаевичи должны уже бороться за нихъ, враждовать съ извѣстною частью своихъ односельчанъ, когда-то имъ равныхъ, и помышлять объ отдѣленіи отъ нихъ, о выходѣ изъ общества. Съ другой стороны, и противная партія, преслѣдующая тѣ же земледѣльческіе идеалы, не можетъ равнодушно сносить превосходства людей, когда-то равныхъ съ ними. Замѣчательно при этомъ слѣдующее: хромоногій солдатъ, или тотъ работникъ, на котораго жаловалась баба, всѣ они изнываютъ и нищаютъ потому, что имъ и мысли не приходитъ о томъ, чтобы работать товариществомъ; напротивъ, живя старыми земледѣльческими идеалами, каждый полагаетъ, что въ вознѣ на собственномъ дворѣ и должна быть сосредоточена вся жизнь и всѣ интересы, и всѣ удовлетворенія.

Нѣтъ общины, нѣтъ міра, нѣтъ единенія, нѣтъ уже народнаго интеллигента, который вносилъ бы свѣтъ и правду въ эту нищую и озлобленную жизнь, но было бы слишкомъ грустно разстаться съ утопіей мужицкаго царства,— и Успенскій настойчиво начинаетъ доказывать, что оно все же возможно. Но чтобы оно было возможно, надо возстановить власть земли.

Но точно ли крестьянская жизнь была когда-нибудь на вершинѣ горы, точно ли она была такой дивно прекрасной? Не призракъ ли этотъ исходный пунктъ и вѣры народниковъ, и ихъ отчаянія,—вѣры, всецѣло раздѣлявшейся Успенскимъ, и отчаянія, такъ мучительно высказаннаго имъ. Если былъ такой исходный пунктъ, о которомъ стоило бы жалѣть, то когда же былъ онъ?

Прочтите „Власть земли“ — эти удивительно остроумныя, воистину блестящія страницы, и странный отвѣтъ получится на поставленный только что вопросъ. Крестьянская жизнь была дивно прекрасной въ самый разгаръ кабальнаго холопства и крѣпостного права, когда ею владѣла стихійная сила ржаного поля, когда никто и ничто не вносили въ нее разлада, когда мужикъ безъ думы, слѣпо, опять-таки стихійно работалъ всю

свою жизнь отъ колыбели до могилы, не отрывая глазъ отъ доставшагося ему клочка земли, порабощенный имъ и требовательными заботами съ его стороны, когда онъ былъ автоматомъ-пахаремъ и ничего больше. Нужна была невѣроятная тягость труда, нужно было полное закрѣпощеніе человѣка, чтобы произрастала здѣсь, на землѣ, дивно-красивая жизнь. Развратъ пришелъ лишь вмѣстѣ съ культурой, школой, лавкой, возможностью другого, не чисто земледѣльческаго заработка, и развратъ этотъ развивается все шире, расходясь все возрастающими кругами отъ центровъ городской жизни.

Жизнь подъ невообразимо тяжелымъ давленіемъ, жизнь, постоянно пригибающая человѣка къ землѣ, не дающая даже ему свободной минуты, чтобы расправить спину, чтобы подумать о себѣ, жизнь вся, цѣликомъ отданная въ кабалу земледѣльческому труду, безъ своей воли, безъ слѣда сознанія, жизнь, продиктованная ржанымъ полемъ—вотъ она настоящая крестьянская жизнь, и она дивно прекрасная... Прекрасна и потому, между прочимъ, что безъ мукъ, безъ исканій, безъ надрыва досталась она человѣку, а просто такъ. И мужикъ хорошо живетъ, честно и красиво живетъ тогда только, когда нѣтъ въ жизни его никакого ума, никакого своего стремленія, никакой своей воли.

„Онъ живетъ, лишь подчиняясь волѣ своего труда... А такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ разнообразныхъ законовъ природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой своей мысли. Вынуть изъ этой жизни, гармонической, но подчиняющейся чужой волѣ, хотя капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заполнить своей волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а это такъ трудно, такъ мучительно...

„Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, иныя въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ. А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ. Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ пучить, и въ концѣ концовъ, получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліонъ разъ умнѣе и лучше выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строенія безъ собственнаго ума, а просто такъ. И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, стройна, гармонична, красива, просто такъ“.

Галка премудро устроена и прежде всего потому, конечно, что ни

капли своей воли, своего ума не приложила она къ этому устройству, и, разумѣется, самую сильную обиду ея галочьему совершенству можно нанести лишь попыткой вмѣшательства въ стройность и гармоничность ея бытія. Ничего, кромѣ даннаго ей отъ природы — галкѣ не надо. Ничего не надо и мужику, даже школы не надо, потому что школа, потребность въ ней только показываетъ и утверждаетъ разладъ въ крестьянской жизни. „Развѣ въ этой жизни,—спрашиваетъ Успенскій,—основанной на власти земли, власти все проницающей, все устраняющей и все въ народной жизни уясняющей, развѣ тамъ есть мѣсто какой-нибудь книжкѣ, какой-нибудь наукѣ? Зачѣмъ она тутъ? Зачѣмъ сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни въ какихъ указаніяхъ, кромѣ указаній природы, не нуждающейся жизни?“

Да и кто сунется? Конечно, баринъ, культурный человѣкъ, сунется съ своею книжкой и наукой, съ гордыней своей мысли, съ своею больною совѣстью и внесетъ сюда муки сознанія и все несовершенство дѣла рукъ человѣческихъ.

„Культурный человѣкъ—это человѣкъ, выгнанный изъ рая невѣдѣнія, изъ рая, гдѣ всякая тварь служила ему, какъ служитъ теперь нашему мужику, подъ условіемъ не касаться древа знанія... Его выгнали въ пустыню, въ голую безжизненную степь, на полную волю. И въ обидѣ на неправду, а также и въ гордомъ сознаніи силы своего ума, вѣдь онъ вкусилъ отъ древа-то, онъ, вѣроятно, сказалъ, уходя изъ рая. „Такъ будетъ же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого“... И вотъ надъ созданіемъ этого рая онъ и бьется несчетное число вѣковъ: Ему не служатъ твари—онъ сдѣлалъ своихъ: локомотивъ его бѣгаетъ лучше лошади, онъ выдумалъ своимъ собственнымъ умомъ выдуманныхъ ихтіозавровъ—корабли, онъ хочетъ летать, какъ летаетъ птица... И вѣроятно, когда-нибудь въ безконечные вѣка онъ добьется своего... Будетъ у него свой собственный, выдуманный, взятый умомъ и волею рай. Но какъ еще ужасно, ужасно далеко это время. Когда-то еще его мертвое животное, локомотивъ, достигнетъ поворотливости любой деревенской кобыленки... Когда-то еще его упорное желаніе летать птицей осуществится хотя въ приблизительныхъ только размѣрахъ того совершенства, которымъ уже обладаетъ галка, обладаетъ такъ, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, а просто такъ... галка такъ галка и есть, взяла да и полетѣла. А Надары еще лѣтъ тысячи будутъ разбивать себѣ головы и тонуть въ моряхъ прежде, нежели добьются умѣнья произвольно перелетать съ крыши на крышу... Вотъ точно такъ же и народная жизнь“...

Изъ-за чего собственно бьется Успенскій? Вѣдь то, что онъ въ приведенныхъ строкахъ говоритъ о культурномъ человѣкѣ,—еще далеко не самое рѣзкое, что можно найти на этотъ счетъ въ его произведеніяхъ. Это еще довольно милостивая характеристика. Если же вы возьмете рисуемые

имъ портреты культурныхъ людей вообще, то какая всѣ они, съ позволенія сказать, дрянь, выѣденная молью: какъ малосильны они, какъ безпомощны какъ не умѣютъ они ничего сдѣлать и какъ не нужны они мужику, съ которымъ и двухъ-то словъ сказать они не умѣютъ. „Не суйся",—вотъ единственное, что говоритъ имъ коренной мужикъ, для нихъ непонятный совсѣмъ и ими непонятый. „Не суйся",—говоритъ и мужицкая жизнь, одинаково непонятная и одинаково непонятая. Кажется, ясно, а между тѣмъ, черезъ нѣсколько страницъ Успенскій начинаетъ горячо звать барина въ деревню и, тоскуя о разстройствѣ деревенской жизни, объ исчезновеніи ея дивной красоты, ея стройности и гармоніи, пишетъ и такія воистину наивныя строки:

„Конечно, масса случайностей была бы отстранена, если бы „хорошій" баринъ подумалъ серьезно о народномъ кредитѣ, который, въ самомъ дѣлѣ нуженъ, какъ и самому „хорошему барину".

Умный человѣкъ Успенскій и понимаетъ онъ, что хорошій баринъ—миѳъ, и никакими кредитами не возстановишь совершенства мужицкаго бытія, а подите же... Тутъ прямо напуганность какая-то, тутъ человѣкъ передъ вами хватается за соломинку. Или такая вотъ картина:

„Въ строѣ жизни, повинующейся законамъ природы, несомнѣнна и особенно плѣнительна та правда, та справедливость, которою освѣщена въ ней самая ничтожнѣйшая жизненная подробность. Тутъ все дѣлается, думается такъ, что даже нельзя себѣ представить, какъ могло бы дѣлаться иначе при тѣхъ же условіяхъ. Лжи, въ смыслѣ выдумки, хитрости, здѣсь нѣтъ—не перехитришь ни земли, ни вѣтра, ни солнца, ни дождя,—а стало быть, и нѣтъ ея и во всемъ жизненномъ обиходѣ. Въ этомъ отсутствіи лжи, проникающемъ собою всѣ даже, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье, и есть основаніе той вѣры въ себя, о которой говоритъ Герценъ. У насъ милліонныя массы народа живутъ, не зная лжи, въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ,—вотъ въ чемъ держится наша вѣра. Впослѣдствіи мы постараемся разсказать нѣсколько самыхъ, повидимому, возмутительныхъ жестокостей въ народной жизни, и всѣ онѣ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбѣжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби".

И опять, очевидно, на сцену долженъ явиться молью изъѣденный культурный человѣкъ, чтобы возстановить и сохранить отнынѣ и до вѣка наше русское счастье, расползающееся и расползшееся уже по всѣмъ швамъ.

Нѣтъ, не культуртрегеръ тутъ нуженъ, вѣчно пьяный къ тому же, и ни слова бы не сказалъ о немъ Успенскій, если бы не кающіеся господа, внушившіе ему свои идеалы. Суть-то въ томъ, что, съ точки зрѣнія самого же Успенскаго, не только культуртрегера, а и вообще никого и ни-

чего не нужно, кромѣ власти земли и крѣпостной отъ нея зависимости. И кредита не надо мужику, какъ не надо его и галкѣ, и школы не надо, а больше всего не надо барина, потому что:

„Проникнувшись непреложностью и послѣдовательностью взглядовъ исповѣдуемыхъ Иваномъ Ермолаевичемъ, я почувствовалъ, что они совершенно устраняютъ меня съ поверхности земного шара".

„На мой взглядъ, жизнь современнаго крестьянина на каждомъ шагу, кажется, вопіетъ о томъ, что только дружество, товарищество, взаимное сознаніе пользы общиннаго, коллективнаго труда на общую пользу суть единственная надежда крестьянскаго міра на болѣе или менѣе лучшее будущее, единственная возможность „сократить" тѣ невѣроятные размѣры труда, поглощающаго всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежитъ на крестьянинѣ такимъ тяжелымъ и, какъ мнѣ казалось и кажется, безплоднымъ бременемъ".

„Но это только — на *мой* взглядъ, а *никакъ не на взглядъ мужика*, который всѣмъ существомъ своимъ противъ коллективности, и знать ея не хочетъ, который покорно и рабски подчиняется новымъ условіямъ, выдѣляя изъ своей среды Мишенекъ, какъ раньше покорно и рабски подчинялся онъ власти ржаного поля".

Что выставить противъ этой силы?

Въ отвѣтъ на это душевная тоска, душевная растерянность, необходимость все увеличивать дозу и такъ уже отравившаго народную жизнь культурнаго яда... А не хочетъ этого Успенскій, не хочетъ онъ всѣмъ существомъ своимъ... Была бы сила, была бы возможность, взялъ бы онъ эту дивную, прекрасную мужицкую жизнь и унесъ бы ее куда-нибудь за лѣса и болота, скрылъ бы ее отъ нескромныхъ взоровъ представителей культурнаго человѣчества, скрылъ бы съ ревнивымъ опасеніемъ за ея цѣльность, стройность, гармонію. Онъ бы оставилъ ее тамъ скрытую и запрятанную въ царственномъ довольствѣ собой, безъ мысли и знанія, подъ властью тяжелаго и непрестаннаго труда, законовъ природы и ржаного поля, законовъ непреложныхъ и истинныхъ, смиреніе передъ которыми даетъ человѣку счастье. Богъ съ ней, съ культурой, и кому, для чего, на какой конецъ она нужна? Что несетъ она взамѣнъ безжалостно и жестоко нарушаемой стройности жизни? Вражду, злобу, ожесточеніе, гнѣвъ противъ жизни, обнищаніе природы, разладъ между людьми. Все это страшно. Правда, есть и приманки: гдѣ-то тамъ, вдали, за рядомъ вѣковъ, за милліонами усилій, тщетныхъ попытокъ, за грудами жертвъ вырисовывается идеалъ сознательнаго довольства и сознательнаго счастья, но—улита ѣдетъ, когда-то будетъ она, и будетъ ли она? Какъ бы хорошо было остаться безъ нея, остаться при томъ, что есть, не тратить цѣлыхъ поколѣній для проблематическаго будущаго проблематическихъ потомковъ.

Но нельзя этого, и въ этомъ „нельзя“ источникъ душевной драмы Успенскаго. Влюбленный въ народную жизнь въ тѣхъ формахъ, которыя приданы ей властью ржаного поля, влюбленный въ это стихійное, безсознательное событіе, ставящій выше всего его слѣпое счастье, его спокойствіе, онъ долженъ каждую минуту говорить объ изчезновеніи этого бытія, показывать неизбѣжность этого исчезновенія, хотя вмѣстѣ съ нимъ исчезаетъ и святая святыхъ его жизни, его вѣры, долженъ призывать эту ненавистную, злую культуру, хотя бы въ формѣ пьянаго хорошаго барина.

Это тяжелый и мучительный разладъ между человѣкомъ и исторіей, между идеалами добраго сердца, пугливо отстраняющагося отъ всякаго страданія и жестокой правдой, не нами устроенной, намъ навязанной жизни. И нѣтъ выхода отсюда: отстранить себя исторія не хочетъ и не можетъ, остается отстранить себя человѣку.

Успенскій не вынесъ тяготы разлада. Въ своихъ произведеніяхъ вскрылъ онъ передъ нами муки своего сердца: страстный народникъ разрушилъ всѣ утопіи народничества, но всякій знаетъ, что стоило ему это, эта суровая правда, воистину добытая имъ кровью своего сердца и сокомъ своихъ нервовъ. Нѣтъ больше мужика, нѣтъ больше мужицкой жизни, есть уже рабъ чумазаго, и чумазый побѣдитъ, покоритъ это красивое бытіе и замѣнитъ ложью своей культуры его безыскусственную, стихійную правду.

Н. Н. Златовратскій (род. 1845 г.). Златовратскій—не ищетъ вѣры въ мужика: она далась ему отъ природы. Онъ не спрашиваетъ себя каждую минуту: „хорошъ ли мужикъ, или нѣтъ?“ Онъ знаетъ, что мужикъ хорошъ, и не тратитъ времени на ненужныя колебанія. Никакихъ надрывовъ, никакихъ вивисекцій надъ народомъ въ произведеніяхъ г. Златовратскаго замѣтить нельзя. Всѣ свои сомнѣнія, муки, вопросы, ежели таковые были, онъ разрѣшилъ безапелляціонно глубокой, всепроникающей вѣрой и любовью къ народу, къ мужику, и чувствуетъ себя совершенно спокойнымъ возлѣ нарушенной, но все еще живой святыни народной жизни.

Г. Златовратскій, самъ того не замѣчая, постоянно рисуетъ вамъ идилліи изъ крестьянской жизни, хотя, видимо, старается говорить правду. Но ему больно было бы навести хоть какую-нибудь тѣнь на излюбленную деревенскую жизнь, и онъ, о чемъ бы ни говорилъ, какіе бы ужасы ни описывалъ, все же приведетъ къ тому, что читатель вынесетъ, въ концѣ-концовъ, изъ своего знакомства съ мужицкимъ обиходомъ, отрадное и бодрящее впечатлѣніе, то самое, которое вынесъ и постоянно выноситъ самъ авторъ. Любопытно, между прочимъ, что тѣ самые кулаки изъ народа, о

которыхъ мы такъ много наслышались, почти не фигурируютъ въ произведеніяхъ г Златовратскаго. Если они и появляются, то такъ себѣ, мимоходомъ. Вывести ихъ во всей наготѣ было бы обидно для автора-мужиколюбца. Г. Златовратскій вѣруетъ, и вѣра наполняетъ все существо его. Когда онъ говоритъ о мужикахъ, онъ становится эпически спокоенъ и благолѣпенъ и ветхозавѣтенъ даже. Онъ не боится, напримѣръ, перемѣшивать свой разсказъ отступленіями страницъ по 20, да и чего бояться? Вѣдь эти отступленія касаются все того же мужика, какъ же можно не интересоваться ими, какъ же можно, напримѣръ, зѣвать, читая безчисленныя біографіи Пимановъ, Мысеевъ, Груздей, Ефимичей, Миновъ, Евтроповъ и еще кого тамъ? Эти мужики-радѣтели, ихъ жизнь — настоящая жизнь, не то, что „гниль интеллигентная"... У мужика все хорошо, даже разговоръ хорошъ, даже выговоръ „чаво", вмѣсто „чего", мелодиченъ, но лучше всего — это „довольство въ себѣ", вѣра въ свою правоту, въ нужность своей жизни. Златовратскій, дѣйствительно, ничего не боится и ни въ чемъ не сомнѣвается. Не то, чтобы онъ въ то же время не видѣлъ ничего страшнаго, пугающаго. Онъ и его видитъ въ достаточной степени: видитъ рознь между обыкновенными мужиками и умственными, видитъ нашествіе кулака, безземеліе, но вѣдь сила его вѣры слишкомъ велика, чтобы не считать всего этого преходящимъ явленіемъ крестьянской жизни, отъ котораго она легко и просто можетъ освободиться сама собой. Наши интеллигентные страхи не знакомы ему, и онъ ни на минуту не поддается имъ. Жизнь народа для него постоянный и неизсякаемый источникъ бодрости. Это уже полная увѣренность, это знаніе. Что за бѣда, если на крестьянина и его жизнь насѣли всякіе враги: стоитъ ему только развернуться во всю свою могучую ширь и силу — и враговъ какъ не бывало. Посмотрите, напримѣръ, какъ описываетъ старикъ Минъ, „слушать котораго все равно, что въ церковь ходить", мужицкую жизнь, противопоставляя ей жизнь кулака.

„Такъ вотъ, говорю вамъ, кулакамъ и міроѣдамъ не жить... А не жить имъ потому, что у нихъ сытости нѣтъ... Коли сытости нѣтъ — шабашъ, пропало... А у нихъ, милые, даже ни чуточки ея нѣтъ. У барина хоть малость да было, а у кулака нѣтъ, у него одна злоба, жадность, гладъ душевный и тѣлесный. Чѣмъ больше жретъ, тѣмъ больше утроба проситъ. Вотъ, что у пьяницъ: чѣмъ больше пьетъ, тѣмъ больше хочется. Онъ думаетъ: вотъ волью еще,—буду въ довольствѣ, сытости, а его пуще алчба мучаетъ... Вотъ отъ этого самаго. А отчего эта алчба? Отъ неправоты. Правоты въ своемъ положеніи не видитъ... Коли кто правоту чувствуетъ свою, онъ всегда и сытость чувствуетъ, у него есть предѣлъ, у него довольство въ себѣ есть. Вотъ, милые, гдѣ ихъ гибель ожидаетъ".

Это приговоръ не только дяди Мина, а самого Златовратскаго, приговоръ рѣшительный, рѣзкій и безъ всякихъ смягчающихъ обстоятельствъ. Это приговоръ праведной жизни надъ другой жизнью, полной неудовлетворенныхъ стремленій, полной насилія надъ собой, полной грѣха, а значитъ, и обреченной на гибель. Кулаческому существованію не на чемъ держаться. У него нѣтъ никакой опоры, такъ какъ, очевидно, что „алчба" такой опорой служить не можетъ. И крестьянину нечего даже бороться съ кулакомъ, потому что неправильная, скверная жизнь послѣдняго сама исчезнетъ, собой же съѣденная,—исчезнетъ какъ дымъ отъ лица огня, какъ темнота ночи передъ разсвѣтомъ. Крестьянинъ доволенъ собой—и въ этомъ его огромная сила, его огромное преимущество. У лучшихъ нашихъ крестьянъ:

„Нѣтъ ни зависти къ людямъ, ни жадности: малымъ довольны, всѣхъ любятъ, душою равны, все въ нихъ, словно въ младенцахъ играетъ... Посмотри на него, онъ весь наружу, точно стеклянный... Поговоришь съ нимъ,—словно сходишь въ Божію церковь"...

Или послушайте разсказъ того же Мина о своемъ разговорѣ съ бариномъ.

„Бывало молодой баринъ такъ-то однажды мнѣ говорилъ: „Минька отчего ты всегда такъ доволенъ и веселъ?—„Оттого, говорю, баринъ, что у меня въ душѣ довольство"—„Отчего же, говоритъ, это у тебя въ душѣ довольство?"—„А оттого, говорю, что я при правомъ дѣлѣ состою—хлѣбъ рощу. Безъ хлѣба людямъ жить нельзя."—„Ну а у Захарки, Захарка камардинъ былъ, при немъ значитъ нѣтъ такого довольства?"—„Нѣтъ, говорю".—„Да ты, говоритъ, посмотри на него: вся рожа у него оплыла... Видишь, какъ улыбается."—Нѣтъ, говорю, не можетъ быть у него довольства, потому не при правомъ дѣлѣ состоитъ."—„Какъ, говоритъ, не при правомъ? Вѣдь онъ тоже работаетъ. Вѣдь и поваръ Васька работаетъ, и Савельевна работаетъ". Савельевна была тогда нянюшкой взята.—„Савельевна, говорю, точно имѣетъ въ душѣ довольство, потому что она при правомъ дѣлѣ: при дѣточкахъ, дѣточекъ произростаетъ. А при дѣточкахъ наблюдать, все равно, что при молодомъ хлѣбѣ... Въ дѣточкахъ неправаго дѣла нѣтъ" и т. д.

На сторонѣ этого Мина, очевидно, и самъ авторъ.

Чтобы имѣть довольство въ душѣ, надо состоять при правомъ дѣлѣ. Это прежде всего. Но развѣ есть дѣло болѣе правое, чѣмъ дѣло крестьянина? Онъ „произростаетъ" молодой хлѣбъ, создаетъ только полезное и необходимое и не больше, чѣмъ нужно его. Его трудъ—это молитва, служеніе Богу и людямъ, трудъ, устанавливающій равенство и любовь между людьми, исключающій между ними зависть и злобу, это трудъ, для всѣхъ нужный, возлѣ котораго каждая человѣческая сила можетъ найти себѣ примѣненіе, не тѣсня другую, не вступая съ нею въ борьбу. Это трудъ „совѣстливый", красивый и поэтичный, трудъ, служащій источни-

комъ общаго единенія. Таковы же и люди, созданные имъ и выросшіе въ немъ.

Для Златовратскаго крестьянская жизнь—единственно истинная и правая, мало того, она поэтичная, и авторъ то и дѣло выставляетъ вамъ на видъ эту самую поэтичность, описывая деревенскій трудъ, деревенскую природу, деревенскую жизнь вообще. Возьмите мужиковъ г. Златовратскаго. Въ сущности, всѣ они хороши. Хорошъ старикъ Михей, твердо вѣрующій, что „всѣмъ хватитъ", хорошъ хозяйственный Пиманъ, хорошъ Груздь, еще лучше романтикъ Минъ Афанасьевъ. Мужицкая глупость у г. Златовратскаго прикрывается такой массой добродушія, напримѣръ, у Лимподиста или у Вонифатія, что даже, эта самая глупость становится намъ симпатична. Индивидуалистическіе наклонности „умственнаго" мужика непремѣнно сочетаются съ идеаломъ всеобщаго благополучія, съ непремѣннымъ, хотя бы и неумѣлымъ желаніемъ осчастливить всѣхъ. Хитрый хлопотливый староста Макридій, только и думающій о томъ, какъ бы „спустить" ненужные, т. е. неплатящіе элементы общины, очевидно, преслѣдуетъ „обчественныя" выгоды. Ни одного кулака, конокрада, непробуднаго пьяницы. Прочтите описаніе жизни въ „Мысеевомъ поселкѣ" и вы увидьте передъ собою несомнѣнно идеализированную маленькую крестьянскую общину, радостно принимающую къ себѣ всѣхъ несчастныхъ, готовую безъ всякой бережности дѣлиться съ нимъ землей и послѣднимъ кускомъ хлѣба. Тутъ и общественныя запашки, и общіе закрома, и чего еще тутъ нѣтъ. Сравните теперь все это вмѣстѣ взятое съ картинами Гл. Ив. Успенскаго и скажите, да неужто это не идиллія? Ну, хорошо, если это слово вамъ не нравится, возьмите другое — оптимизмъ, хотя, по-моему, художникъ-оптимистъ ничего другого, кромѣ идилліи, рисовать не можетъ. Г. Златовратскій вѣруетъ, что основы народной жизни здоровы, хороши, идеальны, что эти основы выдержатъ какія бы то ни было сотрясенія и что все, въ концѣ-концовъ, сольется въ крестьянскомъ морѣ. Эта-то глубокая, непоколебимая вѣра и льетъ на всѣ картины, рисуемыя г. Златовратскимъ, на всѣ картины, выводимыя имъ, ровный мягкій свѣтъ, заставляетъ его подчасъ писать гомерическимъ дактилемъ и выдвигать на первый планъ не конокрадовъ, кулаковъ и пр., а идеально-честныхъ Миновъ, идеально-хозяйственныхъ Пимановъ и всѣхъ другихъ многочисленныхъ и прекрасныхъ рыцарей труда; это и дѣлаетъ его самого эпически наивнымъ и простодушнымъ авторомъ героическихъ легендъ, одъ и балладъ, цѣлыхъ эпопей нашего народничества. Его вѣра—не купленная, не взятая на прокатъ, не выработанная въ поискахъ и разочарованіяхъ, но взятая приступомъ въ минуту душевнаго надрыва—это что-то спокойное, могучее и цѣльное.

Для Златовратскаго община не только устой, не просто результатъ инстинктивнаго приспособленія, а—идеалъ, сознанный и прочувствованный крестьянствомъ. Въ подтвержденіе этого я могъ бы привести много цитатъ, но ограничусь наиболѣе характерными, изъ которыхъ, очевидно, слѣдуетъ, что сравненіе „общинниковъ“ съ тупорылыми сазанами, общины съ коллективнымъ рыломъ даже и въ голову не могло притти г. Златовратскому. „Вотъ,—говоритъ онъ,—какія широкія и глубоко-гуманныя основы, для совмѣстнаго существованія человѣческихъ индивидуумовъ, выработалъ народъ. Эти же основы – краеугольный камень нашей народной жизни: на нихъ покоится все міровоззрѣніе народа, его инстинкты, его будущее“. Община не только коллективное рыло, нѣтъ, по чувству справедливости она является даже „покровительницей нравственной индивидуальной свободы“, о чемъ едва ли думаетъ волжская рыба сазанъ. Самая народная жизнь сохранила, къ нашему счастью, въ своихъ, еще мало извѣданныхъ глубинахъ драгоцѣнные чистые перлы, тѣ великіе зачатки общественныхъ идеаловъ, которые она излюбила когда-то и который пронесла неприкосновенными черезъ весь ужасъ стихійной борьбы. Какъ ни глубоко затерялись эти перлы подъ игомъ всевозможныхъ внѣшнихъ, историческихъ воздѣйствій, какъ ни трудно повидимому, открыть ихъ теперь, но, при мало-мальски честномъ, добросовѣстномъ наблюденіи народнаго быта, ихъ присутствіе чувствуется всюду—они, какъ золотой песокъ, разсыпаны по жиламъ народнаго организма. А тамъ, гдѣ сила внѣшнихъ вліяній была наименьшая, была сведена до нуля, тамъ уже теперь есть цѣлые самородки, блистающіе яркимъ, свѣтлымъ отблескомъ первобытнаго идеала...

Какое благородное поприще, какая великая сокровищница для мыслящаго человѣка эта народная жизнь... Хорошо.

Но оставимъ г. Златовратскаго какъ публициста, обратимся къ нему опять какъ къ художнику. Тутъ еще яснѣе, конкретнѣе, понятнѣе. Для него крестьянинъ прежде всего—нравственная личность, проникнутая сознаніемъ правоты и нужности своего дѣла. Старикъ Минъ прямо утверждаетъ: „ Да что намъ, други, съ чего горевать-то? Никто нашей правоты отъ насъ не возьметъ... Какъ нашу правоту отъ насъ взять-то? Да ты меня куда хочешь посади, куда хошь пошли —я все-таки при своей правотѣ останусь“. Въ этомъ человѣкѣ есть нравственная основа. Это не волжская рыба-сазанъ, не дубъ, который растетъ, самъ не зная для чего. Онъ не только знаетъ, но и прекрасно знаетъ, къ чему клонятъ эти условія, торжество какой идеи преслѣдуетъ онъ. Это — мужицкая идея, торжество мужицкой правоты. Вы полагаете, что онъ неподвиженъ, что вліяніе климата, параллели и меридіана выработала въ немъ извѣстныя догмы, дальше которыхъ онъ не можетъ ступить ни шагу? По г. Злато-

вратскому, самъ народъ сознательно, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, стремится приспособить формулу своей старой общинной жизни къ новымъ условіямъ. „Въ то время,—читаемъ мы у него,—какъ столько людей, носителей старой правды, уже сгибло, извѣрилось въ эту старую правду или закорузло въ ней фанатически, когда измѣнилось положеніе—являлась необходимая поправка въ этой старой правдѣ. Минъ уже творилъ новую правду... или нѣтъ, не новую правду: правда всегда оставалась неизмѣнной, въ какія бы путы или паутины не была заткана,—эта неизбываемая правда къ себѣ, внутренняя правота собственнаго существованія всѣхъ труждающихся и обремененныхъ, такъ какъ у народа только и есть правота производителей необходимыхъ потребностей жизни, и правота романтика, какъ безкорыстнаго носителя и ратника идей этой правоты. Нѣтъ, не новую правду творилъ Минъ, такъ какъ никакой новой правды сотворить народъ не можетъ, а творилъ новыя ея формы". Итакъ, дѣятельность Мина, т. е. сознательное стремленіе приспособить формулы старой общинной правды къ новымъ условіямъ жизни,—самъ г. Златовратскій объединяетъ съ дѣятельностью народа... При чемъ тутъ коллективное рыло?.. Въ сущности, только одинъ типъ хозяйственнаго мужика, выведенный Златовратскимъ, подходитъ подъ теорію власти земли, да и то не совсѣмъ. Чтобы этотъ самый хозяйственный мужикъ могъ чувствовать себя невиннымъ, правымъ, убивъ конокрада, вогнавъ въ гробъ и пр.—это невѣроятно съ точки зрѣнія г. Златовратскаго. Повторяю, въ его произведеніяхъ,—мужикъ не сазанъ и не дубъ, община—не коллективное рыло, народная жизнь—сознательна и проникнута идеаломъ, въ ея представителяхъ господствуетъ стремленіе выйти на свѣжій путь и осуществить мужицкую идею, распространить ее на всю жизнь, на всѣ отношенія людей другъ къ другу.

Не народъ собственно и не народная жизнь внушаетъ такую вѣру Златовратскому, а народная интеллигенція—богатыри и рыцари молчаливой крестьянской массы, существованіе которыхъ онъ не считаетъ ни минувшимъ достояніемъ прошлаго, ни призрачнымъ. Напротивъ того, онъ твердо знаетъ, что народная интеллигенція была, есть и будетъ, что она въ концѣ концовъ повернетъ мужицкую жизнь въ то русло, которое ей надлежитъ принять.

„Принимая отъ земли, отъ природы указанія для своей нравственности, человѣкъ, т. е. крестьянинъ-земледѣлецъ вносилъ волей-неволей въ людскую жизнь слишкомъ много тенденцій дремучаго лѣса, слишкомъ много наивнаго лѣсного звѣрства, слишкомъ много наивной волчьей жадности... Но не эту зоологическую, не лѣсную, а божескую правду вносила въ народную среду народная интеллигенція. Она поднимала слабаго, безпомощно

брошеннаго безсердечною природой на произволъ судьбы, она помогала, и всегда дѣломъ, противъ слишкомъ жестокаго напора зоологической правды: она не давала этой правдѣ слишкомъ много простора, полагала ей предѣлы".

Такъ говоритъ Успенскій по поводу народной интеллигенціи. Но этотъ скептикъ, этотъ вѣчно сомнѣвающійся и вѣчно ищущій человѣкъ, этотъ страстный народникъ, боящійся вѣры въ народъ, немедленно же прибавляетъ: „теперь нѣтъ въ народѣ такого типа, такого работника, никто не пачкаетъ своего платья изъ-за чужой бѣды. Всѣ добрыя дѣла обязались дѣлать земскія собранія за умѣренное вознагражденіе. Народная душа опустошена и, пожалуй, ожесточена, такъ какъ и трудъ—не трудъ и жизнь одновременно, а только трудъ". Этой-то вотъ прибавки и не могъ, какъ всякій понимаетъ, сдѣлать Златовратскій. Прежде, теперь, послѣ—все равно когда, во времена Ильи Муромца, подъ гнетомъ ли крѣпостничества или въ переходную эпоху къ невѣдомой, но все же чудной, красивой жизни—народная интеллигенція не сходила и не сходитъ со сцены, и ея роль во всякое время одна и та же: роль глашатая правды, христіанской любви и братскаго единенія.

Удивительно красивы типы народныхъ интеллигентовъ у г. Златовратскаго. Это ничего, что они ободранные и въ лохмотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, это ничего, что они знать не хотятъ своего хозяйства, не блюдутъ его, считаютъ его даже какой-то помѣхой для себя. Они чудно привлекательны неизсякаемымъ запасомъ своей любви и своей жизненной неустрашимостью. Нѣтъ въ сердцѣ ихъ мѣста для страха іудейскаго, нѣтъ унижающей заботы о завтрашнемъ днѣ,—какое-то ровное, спокойное, пожалуй, торжественное настроеніе постоянно владѣетъ ими. Только своей внутренней мощью, не опираясь ни на какую внѣшнюю силу, поднялись они на почти что недосягаемую высоту любви, безстрашія и смиренія. Они непобѣдимы: никакой жизненный соблазнъ не подкупитъ ихъ, никакая сила не склонитъ ихъ передъ собой, не вырветъ у нихъ слова лжи, неправды и лицемѣрія, ничто не испугаетъ ихъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себѣ, въ этомъ цѣльномъ духѣ, постигшемъ всю красоту, всю радость жизни. Именно красоту ея и радость. Точно боги какіе, точно греческіе боги, восприняли они въ духъ свой всю красоту, всю радость бытія и достигли высшаго блаженства, доступнаго человѣку—блаженства безстрашія. Они видятъ постоянное торжество кулаковъ и кулаческихъ идеаловъ, видятъ, какъ неправда привольно чувствуетъ себя въ ихъ же собственной средѣ, видятъ зло и побѣду этого зла, видятъ собственныя неудачи, наконецъ, но свѣтлый и радостный духъ ихъ ни на минуту не омрачается этими картинами. Они знаютъ, кто и что побѣдитъ, и вѣка

тому назадъ, и теперь, и вѣка спустя будутъ дѣлами напоминать о высшей, божественной правдѣ и полагать предѣлъ лѣсной и зоологической правдѣ—правдѣ борьбы за существованіе. Возьмите любую изъ выведенныхъ имъ фигуръ, хотя бы дядю Мина, „поговорить съ которымъ то же самое, что въ церковь сходить“, и вы сейчасъ увидите, въ чемъ дѣло. Въ Минѣ на первомъ планѣ — все равно, въ словахъ ли, устахъ ли, поступкахъ ли, въ его отношеніи къ природѣ и людямъ—сердце. Гуманность его обходится безъ всякихъ теорій, безъ всякихъ стороннихъ соображеній, она непосредственна и свободна, какъ ростъ цвѣтка, какъ пѣніе птицъ. Сердце народнаго интеллигента тянетъ, неотразимо тянетъ къ любви и правдѣ, просто потому, что онъ инстинктивно, какъ настоящій „художникъ добра“, чувствуетъ ихъ красоту и прелесть, такую же красоту и прелесть, какъ въ небѣ, лѣсѣ, поляхъ, природѣ вообще. Ему жаль сорвать и бросить въ грязь красивый цвѣтокъ, жаль сломить молодое деревцо, только что выбравшееся изъ-подъ земли, жаль нарушить красоту человѣческой жизни зломъ и несправедливостью. Онъ просто добродѣтеленъ и нравственъ,—онъ въ то же время поэтиченъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, и Златовратскій никогда не устаетъ отмѣчать именно эту черту народнаго интеллигента, на счетъ которой можно спорить лишь въ томъ смыслѣ: обычна ли она, или необычна, часто ли она встрѣчается, или рѣдко, но отрицать ея нельзя. Откуда бы иначе взялась поэзія у Кольцова? У него добро и красота также идутъ всегда рука объ руку.

Но это еще не все. Въ любви народнаго интеллигента нѣтъ ничего теоретическаго, нѣтъ въ немъ, словомъ, той любви, которую вырабатываетъ наша интеллигентная жизнь. Мы, грѣшные, можемъ, напримѣръ любить массу и презирать или быть постыдно равнодушными къ каждому изъ малыхъ сихъ въ отдѣльности. Какъ одинъ изъ героевъ Успенскаго, каждый изъ насъ смѣло можетъ сказать про себя: „личное участіе, личная жалость мнѣ незнакомы и чужды, въ моемъ сердцѣ нѣтъ запаса человѣческаго чувства, человѣческаго состраданія, которое я могъ бы раздавать всѣмъ этимъ песчинкамъ, милліоны же, которые въ видѣ цифры занимаютъ одну десятую часть вершка на печатной строкѣ, напротивъ, меня потрясали“. На такую отвлеченность чувства народный интеллигентъ не способенъ: онъ любитъ не людей вообще, а каждаго человѣка въ отдѣльности, не отвлеченную справедливость, во имя которой можно быть иногда ужасно жестокимъ, а справедливость, пригрѣвающую всѣхъ и каждаго, даже преступника, злодѣя, врага.

Вотъ эти-то черты народнаго характера постоянно и тянули къ мужику всѣхъ нашихъ писателей: Григоровича, Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Златовратскаго, привязанность именно къ этимъ чертамъ и даетъ нашему

народничеству вполнѣ опредѣленную физіономію, краски которой, конечно, сгущены примѣшавшимся сюда барскимъ покаяніемъ.

Народная интеллигенція у Златовратскаго — вся въ духѣ своемъ и нравственныхъ основахъ этого духа, не смущеннаго правилами человѣконенавистничества и борьбы за существованіе. По внѣшности она нищая, безграмотная, въ ней есть даже что-то юродивое. Но внѣшней силы, хотя бы то была сила знанія, ей и не нужно. Эта внѣшняя сила обманчива, въ ней есть ядъ, отравляющій сердце, есть источникъ какого-то обмана, есть и могущественное стремленіе заглушить голосъ внутренняго человѣка и внутренней правды. Оттого-то Златовратскій и не зоветъ интеллигенцію въ народъ, т. е. нашу образованную и начитанную интеллигенцію. Онъ просто-на-просто не довѣряетъ ей. Онъ видитъ въ ея средѣ людей крупныхъ, безусловно честныхъ и искреннихъ, людей готовыхъ къ преданной самоотверженной дѣятельности, но не видитъ праведниковъ и чистыхъ духомъ. Много, конечно, могутъ они сдѣлать, но могутъ внести и заразу въ эту чудно-красивую крестьянскую жизнь, въ это царство божеской правды, съ ея свѣточемъ христіанской любви и единенія. Кто изъ этой начитанной интеллигенціи ослабъ уже духомъ и пропадаетъ за скверной бутылкой водки, кто весь ушелъ въ заботы о собственномъ благополучіи, въ мебель, квартиру, затягивающую тишь счастливой семейной жизни. И отъ прежнихъ увлеченій, отъ прежней гордыни самоотверженныхъ порывовъ у нихъ осталось лишь воспоминаніе, смутный и непріятный упрекъ.

Златовратскій знаетъ и вѣритъ, что такіе люди не нужны въ крестьянской жизни, что въ этой жизни есть собственный запасъ мощной силы и мощной интеллигентности, которыя рано или поздно сами преодолѣваютъ всякое зло. Онъ знаетъ и вѣритъ, что та же крестьянская жизнь стремится сама собой къ тому, чтобы выбраться на истинный путь, развить свою мужицкую идею въ духѣ устоевъ прошлаго его: общины, артели, взаимопомощи. Онъ знаетъ и вѣритъ, что если есть зло и нищета, то это зло и нищета — временны и случайны, призрачны, пожалуй, что основы народнаго духа они нисколько не затронули, что духъ этотъ, несмотря на все вынесенное и претерпѣнное, сохранился чистымъ и радостнымъ, и въ этой-то его чистотѣ и радостности, дающихъ носящему ихъ въ себѣ возможность быть щедрымъ въ отношеніи другихъ, и заключается залогъ будущаго общечеловѣческаго, по крестьянскому образцу устроеннаго счастья.

Д[illegible]Я
БИБЛ[illegible]ЕКА
УЛ[illegible]А
Алексея Ви[illegible]ровича

Невѣрующіе народники.

Эта меланхолическая группа имѣетъ нѣсколько крупныхъ представителей—А. О. Новодворскаго, В. Гаршина, С. Надсона и, наконецъ, въ высшей степени оригинальнаго и самостоятельнаго писателя—Дм. Мамина (Сибиряка). Попытки теоретическаго обоснованія народничества, такъ и остались попытками, отъ которыхъ рѣшительно никому ни тепло, ни холодно: никого онѣ не задѣли, никого и задѣть не могутъ. Народничество было прежде всего настроеніемъ, жалостью, голосомъ совѣсти за свои общественныя привилегіи. Оно было прекрасно и могущественно, когда жило въ сердцѣ человѣка, но когда „народъ ушелъ изъ сердца",—исчезло и народничество, и когда этотъ фактъ былъ сознанъ—русскій интеллигентъ почувствовалъ себя какимъ-то ненужнымъ и совсѣмъ одинокимъ. Еще вчера все было такъ ясно: былъ кумиръ, идолъ, которому слѣдовало поклоняться; были устои, которые надо было защищать; ими опредѣлялась и любовь, и ненависть; было самое важное—было сознаніе своего родства, своей духовной близости съ молчаливой, сѣрой массой; былъ и выходъ, совершенно ясный и опредѣленный, изъ своего положенія: „Въ народъ!"—и это слово, написанное на знамени, заключало въ себѣ цѣлую программу, цѣлую философію, цѣлый кодексъ морали. Оно было жизненно и способно наполнить собой бытіе. Вспомните, на самомъ дѣлѣ, созданные 70-ми годами типы народнаго учителя и особенно „учительки", земскаго врача, земца просто, и для васъ станетъ яснымъ, какъ много внутренняго содержанія заключалось въ этомъ коротенькомъ словѣ „народъ". И слезы кающихся дворянъ, и цѣломудріе духа, отвернувшагося отъ соблазновъ жизни, и жажда самопожертвованія, и вѣра въ чудное будущее этой сѣрой массы, только что освободившейся отъ крѣпостной опеки, и понятная, законная гордость отъ сознанія, что и ты участвуешь въ великомъ процессѣ созиданія новой жизни,—все шло въ дѣло, все соединялось для того, чтобы создать одно изъ самыхъ оригинальныхъ и привлекательныхъ общественныхъ теченій... и все это рухнуло или, лучше сказать, все это расплылось въ мутномъ туманѣ сѣренькой жизни, въ которой сталъ уже орудовать хищникъ.

„Хищникъ,—писалъ Щедринъ еще въ 73-мъ году,—вотъ истинный представитель нашего времени, вотъ высшее выраженіе типа новаго, ветхаго человѣка. Хищникъ проникаетъ всюду, захватываетъ всѣ мѣста, захватываетъ всѣ куски, интригуетъ, сгораетъ завистью, подставляетъ ногу, стремится, спотыкается, встаетъ и опять стремится... Хищникъ—это дикій, въ полномъ смыслѣ этого слова; это человѣкъ, у котораго на языкѣ нѣтъ другого слова, кромѣ глагола „отнять". Но такъ какъ кусковъ разбросано

много, и это заставляетъ глаза разбѣгаться; такъ какъ съ другой стороны, и хищниковъ развелось не мало, и строгаго распредѣленія занятій между ними не имѣется, то, понятно, какая масса злобы должна накипѣть въ этихъ вѣчно алчущихъ сердцахъ. Самое „торжество хищника“ является озлобленнымъ. Онъ достигъ, онъ удовлетворенъ, но у него, во-первыхъ, есть еще нѣчто впереди и, во-вторыхъ, есть счеты позади“.

Хищника—съ одной стороны; полную инертность крестьянской массы, съ другой—вотъ что встрѣтило народничество въ жизни съ перваго же дня своего появленія на свѣтъ Божій, вотъ обо что разбились. да и не могли не разбиться всѣ его усилія. Такъ что говорить о меловомъ мѣсяцѣ народничества какъ-то даже не приходится, если не разумѣть подъ этимъ общераспространеннаго въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ „хожденія въ народъ“, женитьбы на крестьянкахъ и тому подобныхъ разновидностей „опрощенія“.

Понадобились жертвы и жертвы, особенное мужество, отказъ отъ личнаго счастья, не изъ аскетическаго пренебреженія къ нему, а потому, что господствовавшій этическій принципъ признавалъ полную его невозможность рядомъ съ страданіемъ и горемъ народнымъ.

Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?—

спрашивалъ еще Некрасовъ. Пришлось отвѣтить ясно и просто: счастья нѣтъ. Нищета, граничащая съ голодомъ, невѣжество, поклоняющееся „святой Пятницѣ“, полное безправіе, жестокая экономическая кабала у хищниковъ,—вотъ обычные факты народной жизни, о какомъ уже тутъ счастьѣ можетъ итти рѣчь?

Народническое настроеніе, вошедшее въ плоть и кровь естественно обращалось въ жажду подвижничества и прямо-таки требовало этого подвижничества, потому что на пути народнаго счастья и идеала крестьянскаго царства было слишкомъ много преградъ. Ни перескочить черезъ нихъ, ни обойти было невозможно, надо было сдвинуть ихъ съ мѣста, чтобы очистить дорогу, и сдвигать приходилось горы. Тутъ нуженъ былъ духовный восторгъ, фанатическая вѣра и фанатическая любовь. Если устами одного изъ своихъ вождей 60-ые годы говорили: прекрасное есть жизнь, и что при извѣстной умѣренности желаній, можно быть счастливымъ здѣсь на землѣ, то огромность задачи сдѣлать народъ счастливымъ и развившееся, пожалуй что, до художественной полноты противорѣчіе между административными и интеллигентными стремленіями, потребовали другихъ формулъ: „жизнь есть борьба и подвижничество“ и „личное счастье, при несчастьи народа, незаконно“. Но для всего этого надо быть героемъ.

Муки своего безсилія, наряду съ непомѣрной, иногда прямо болѣзнен-

ной жалостью къ обездоленнымъ, жажду вѣры, наряду съ крѣпнущимъ сознаніемъ, что почва идеала уходитъ изъ-подъ ногъ, жажду личнаго счастья вмѣстѣ съ ригористическимъ признаніемъ его незаконности—мы находимъ и у Новодворскаго (Осиповича), и у Гаршина, и у Надсона. Въ сущности—это паденіе народничества, потому что всякое жизненное теченіе держится лишь вѣрой и душевной бодростью.

А. Н. Новодворскій-Осиповичъ (1853—1882). Человѣкъ голодалъ всю молодость, почти всю жизнь; не разъ былъ на краю самоубійства. Началъ писать въ 1877 г., немного оправился, но скоро умеръ отъ ранѣе запасенной чахотки. Былъ чутокъ, впечатлителенъ, наполненъ порывами болѣзненнаго безсилія. Онъ хотѣлъ итти навстрѣчу трудящимся массамъ и отрѣшиться отъ традицій и условностей буржуазно-дворянской культуры. Для этого надо было сжечь корабли. Но „сжиганіе кораблей", т.-е. отреченіе отъ личнаго счастья и своей семьи тяжело обходится героямъ Новодворскаго, лучшія страницы его произведеній, посвящены именно анализу внутренней борьбы героевъ, борьбы между чувствомъ общественнаго долга и „жаждой покоя и супружеской жизни". Изъ этой внутренней борьбы герои выходятъ изломанными людьми, которыми владѣетъ скверное чувство „отчужденности, ненужности, непутности". Эти люди представляютъ изъ себя типъ „ни павы, ни вороны", типъ „кающагося дворянина", не способнаго ни къ какой продуктивной работѣ. Но послѣ этой общей характеристики, остановлюсь подробно на произведеніяхъ Новодворскаго.

Двадцать лѣтъ уже прошло со дня смерти Новодворскаго, и развѣ вамъ не кажется порою, что за эти годы мы пережили цѣлую вѣчность? Найдите вы теперь на улицахъ столицы хотя бы человѣка въ пледѣ... Едва ли вамъ это удастся, а въ тѣ времена человѣкъ въ пледѣ былъ злобой дня, и съ чего бы ни начиналась рѣчь, все же, въ концѣ концовъ, она сводилась къ тому таинственному процессу, который совершается подъ этимъ пледомъ. Но это, конечно, подробность, хотя и любопытная. Самое важное то, что тонъ, интересы, темы нашей современной литературы совершенно отдалились отъ Новодворскаго и его героевъ. Съ кающимся дворяниномъ тихо, такъ же тихо, какъ и съ мужиковъ, къ которому онъ хотѣлъ приблизиться, котораго онъ любилъ съ какимъ-то надрывомъ и даже отчаяніемъ. Новыя лица—новыя пѣсни, и, можетъ быть, ни одна страница Новодворскаго не найдетъ уже настоящаго отклика въ нашей душѣ, потому что совсѣмъ другіе теперь интересы. А Новодворскій сдѣлалъ не мало, хотя главное изъ сдѣланнаго имъ чисто отрицальнаго характера: онъ испыталъ весь ужасъ безсилія и частичку этого ужаса сумѣлъ передать читателю.

Строго говоря, у Надворскаго только одинъ герой - онъ самъ, есть правда, другіе, но они едва намѣчены, являются на сцену какъ-то случайно и исчезаютъ неизвѣстно куда. Эти другіе—люди, въ большей или меньшей степени, сильные, вѣрующіе, преданные своимъ убѣжденіямъ иногда съ фанатизмомъ и всегда до готовности пожертвовать собою, самъ Новодворскій только стонетъ, подавленный невыносимой тяготою жизни и гнетущими мыслями о собственномъ безсиліи. Напрасно старается онъ облегчить свою тоску насмѣшкой, сарказмомъ, каламбурохъ даже -- она слѣдуетъ за нимъ, какъ тѣнь и какъ червь подтачиваетъ его лучшія мысли, его молодыя силы; эта тоска—не апатія, она выросла на почвѣ полной неприспособленности къ жизни и больной, надорванной совѣсти.

Я не стану разсказывать біографію Новодворскаго, хотя бы потому, что, въ сущности, никакой біографіи нѣтъ. Бѣдность въ дѣтствѣ, бѣдность въ гимназическіе и студенческіе годы, потомъ бѣганье по грошовымъ урокамъ, простуда, чахотка и смерть въ Ниццѣ на казенной больничной койкѣ. И это вся жизнь, слегка прикрашенная литературнымъ успѣхомъ и, очевидно, рѣдкими минутами свободнаго творчества. Литературная біографія—шире, богаче, и только въ ней тоскующій, надорванный духъ тихаго и придавленнаго жизнью человѣка успѣваетъ заявить о своемъ существованіи, о вынесенныхъ имъ мукахъ и потребовать отвѣта на эти вѣчные „за что“ и „почему“. Нечего и говорить, что эти вопросы остаются безъ разрѣшенія, тѣмъ болѣе, что встать на шаблонную и патентованную точку зрѣнія Новодворскій не хочетъ.

О его дѣтствѣ нечего распространяться. Это рядъ картинъ дворянской, т. е. самой неприкрытой нищеты. Но вотъ юность.

„Домашніе уроки“ дали ему возможность привести въ порядокъ свою внѣшность, хотя немного облегчить участь семьи и побывать даже въ университетѣ, гдѣ все же онъ узналъ, наконецъ, эту таинственную науку, хотя все время приходилось питаться кониной. Впрочемъ, конина—пустяки. По искреннему убѣжденію самого героя, „ее слѣдуетъ только хорошенько разбить гимнастическими гирями, бросить въ котелокъ, сварить съ должнымъ количествомъ соли и перцу и потомъ съѣсть. Больше ничего“. Гораздо труднѣе справиться съ жизнью. Странно даже. Прошла она въ самой реальной обстановкѣ, весь ея горизонтъ ограничивался провинціальнымъ городишкой, а въ періодъ лежанія на диванѣ— плетнемъ, на которомъ съ утра до ночи сушилось бѣлье унтера и его сожительницы, потомъ наступило шатаніе по урокамъ, сразу и томительное, и унизительное—а между тѣмъ душа героя полна самыхъ фантастическихъ настроеній и идей. Онъ никакъ не можетъ приспособиться къ жизни, никакъ не можетъ понять, чего та хочетъ отъ него. Казалось, ему отчитали только-

что по книгѣ цѣлый рядъ нравоученій, доказали ему, что онъ ничто, нуль, что ни на какую счастливую случайность онъ разсчитывать не можетъ, что лишь въ потѣ лица добьется онъ хотя частицы личнаго счастья. Но нѣтъ. Онъ не хочетъ сдаваться, онъ точно забываетъ всѣ полученные имъ щелчки и пинки, становится выше конины, нетопленой комнаты, разстроеннаго здоровья и, проводя за думами безсонныя ночи, приходитъ, къ фантастическому представленію, что онъ долженъ быть героемъ. Отсюда прямой, логически необходимый выводъ: „я не имѣю права на личное счастье“.

Въ разсказѣ о его первой любви, вамъ въ глаза прежде всего бросается невѣроятное обиліе каламбуровъ и шутокъ. Вы думаете, и вправду весело человѣку. Нисколько,— ему больно, у него сердце бьется, какъ подстрѣленная птица, при воспоминаніи о той минутѣ, когда любовь едва не подхватила его на своихъ золотыхъ крыльяхъ куда-то далеко, далеко отъ всѣхъ этихъ проклятыхъ вопросовъ и мукъ больной совѣсти. Но, разсказывая, онъ хочетъ смѣяться, во что бы то ни стало смѣяться, хотя бы цинично и грубо, чтобы никто не разглядѣлъ его слезъ, чтобы никто не услыхалъ его рыданій. Вѣдь онъ обиженный и озлобленный человѣкъ и кромѣ того застѣнчивъ и самолюбивъ. Теперь, когда онъ пишетъ, т. е. творитъ судъ надъ собой—онъ безпощаденъ къ самому себѣ, какъ палачъ. Кто знаетъ, не мелькаетъ ли въ эту минуту въ его головѣ мысль: „отказавшись отъ любви, ты пересталъ жить“... Но онъ не выскажетъ вамъ ея, онъ спрячетъ ее за каламбуромъ и лучше состроитъ шутовскую гримасу, чѣмъ попроситъ васъ о состраданіи.

Вотъ конецъ исторіи:

„Какъ она на меня посмотрѣла. Во всякомъ случаѣ, скала почувствовала себя весьма тоскливо. Я тогда взялъ ее за руку и произнесъ глубокопрочувствованную рѣчь слѣдующаго приблизительно содержанія: „Другъ мой,—я вовсе не скала, *я скорѣе слабъ, чѣмъ силенъ*, но во мнѣ есть кое-какой огонекъ, кое-какіе желанія и планы, и я хочу ихъ осуществить. *Я не имѣю права на личное счастье*, хотя бы съ тобою: я его не заслужилъ. Я долженъ итти, куда ты не можешь слѣдовать за мной, а если бы ты пошла, то это принесло бы только вредъ: меня связала бы любовь къ тебѣ. Если силы мои окажутся достаточно большими, чтобы вести насъ обоихъ, и если въ твоемъ сердцѣ не угаснетъ любовь ко мнѣ, то я приду, упаду къ твоимъ ногамъ, если же“... Она упала въ обморокъ. Ея обезсиленное гибкое тѣло лежало у меня на рукахъ, я осыпалъ ее поцѣлуями... Часа черезъ два я уѣхалъ изъ Севастополя“.

Бѣдный фантастическій человѣкъ. Онъ боится любви и счастья, онъ не можетъ представить ихъ себѣ иначе, какъ въ самой будничной, филистерской обстановкѣ. Онъ вѣритъ, что любовь женщины потянетъ его

внизъ, отниметъ у него бодрость духа и жажду самопожертвованія. Въ ту минуту, когда могъ бы настать переломъ въ его жизни и вздохнула бы его усталая грудь,—его воображеніе заглядываетъ далеко, далеко впередъ и видитъ, какъ онъ отяжелѣлъ, опустился, какъ всѣ его заботы свелись къ кофейку и ветчинкѣ. Въ ужасѣ передъ этимъ онъ говоритъ свое „нѣтъ" Доминикѣ Павловнѣ и читаетъ ей нотацію, не хуже, чѣмъ Евгеній—Татьянѣ. Онъ такъ запутался въ своихъ мысляхъ, въ своихъ теоріяхъ, что въ сущности не можетъ даже разобрать, любитъ онъ дѣйствительно или нѣтъ? Онъ знаетъ только, что ему надо совершить подвигъ. И навѣрное онъ долго готовился къ этому подвигу, прибавляя дни вольнаго голоданія къ днямъ невольнаго, быть можетъ, даже, какъ Рахметовъ, спалъ на доскѣ, утыканной гвоздями, въ тоскѣ по правдѣ сурово истреблялъ всякій признакъ наслажденія и удобства изъ своей жизни. Но вѣдь онъ любилъ—и стонъ, который то и дѣло вырывается у него, слишкомъ ясно говоритъ объ этомъ.

Настала, наконецъ, минута испытанія. Онъ нанялся на барку таскать бревна.

„Въ эту минуту на берегу раздался рѣзкій крикъ подрядчика: „Эй вы, принимайся"... Мужики встали, перекрестились, скинули съ себя верхнюю одежду и принялись за работу. Два бѣлоруса подавали бревна, остальные—каждый по одному носили ихъ по перекинутой съ барки доскѣ на берегъ. Въ какомъ-то сладострастномъ опьяненіи подошелъ я къ полѣну, но... въ этомъ полѣнѣ, казалось, сосредоточилось, какъ въ фокусѣ, все тяжелое, такое тяжелое, что при попыткѣ поднять его, меня всего бросило въ жаръ. „Задержанное движеніе всегда превращается въ теплоту", плаксивно притворился я, яко бы хладнокровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей въ головѣ не было: было только одно чувство... Ахъ, какое это было чувство, прекрасная читательница... Если бы съ молодой дѣвушки, въ первый разъ выѣхавшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ бала свалилось платье, если бы только что обвѣнчавшійся страстно влюбленный юноша, выводя изъ церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на ласки любимой женщины можетъ отвѣчать лишь слезами отчаянія—ни та, ни другой, навѣрно, не испытывали бы такого жгучаго стыда, такого пламеннаго желанія провалиться сквозь землю. Я употребилъ нечеловѣческое усиліе и поднялъ. Въ спинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три погибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это другое, было еще тяжелѣе. У меня не хватило силъ донести его, я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и самъ повалился на скользкія доски барки. „Ха, ха. Небось, не сладко?—слышались голоса товарищей. Я смутно сознавалъ все происходившее вокругъ. Мнѣ было невыносимо жутко. „Но, парень, серьезно проговорилъ старый рабочій,—это, видно, не твое дѣло; тебѣ бы сюда не соваться... Дай, помогу, что-ли?" Но мнѣ не нужна была его помощь. Я всталъ, молча поднялъ упавшую съ головы шапку

и, тихо шатаясь, пошелъ прочь.—„Утекъ, хлопцы, ей-Богу... ха, ха, ха"! слышалось сзади.—Ишь щелкоперъ".—„Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно парень хворый. Изъ лакеевъ, должно быть". А у—меня полнѣйшій хаосъ въ головѣ. Я брелъ наудачу, едва различая предметы, въ глазахъ дрожали слезы, въ ушахъ раздавалось „хворый, хворый"...

А дальше—проклятія по адресу какихъ-то варваровъ, и бѣдный освистанный актеръ бросается въ воду съ моста.

Такова біографія литературнаго двойника Новодворскаго, которую мы отрывками находимъ въ его разсказахъ. Герои Новодворскаго и его литературный двойникъ, такъ саркастически разсказывающій о своей любви, были и быльемъ поросли. Тутъ дѣло, разумѣется, не въ конинѣ, которую и теперь ѣдятъ многіе, а именно въ этой несоразмѣрной фантастичности, въ этой жаждѣ подвига, въ этой экзальтаціи чувства и въ какомъ-то теоретическомъ фанатизмѣ, заставляющемъ отказаться отъ единственнаго луча счастья, изъ боязни загрязнить свою душу прикосновеніемъ къ жизненному пиру. Кто такой герой Новодворскаго? Неждановъ? Судьба ихъ, обстановка ихъ дѣятельности та же самая, но въ то же время это два разные типа. Неждановъ у Тургенева—аристократъ по крови и эстетикъ. Герой Новодворскаго искреннѣе, фанатичнѣе, и пожалуй, серьезнѣе. Все же его душа тамъ, куда онъ идетъ,—въ толпѣ меньшой братіи. Онъ много вынесъ, много голодалъ, и меньшая братія для него понятнѣе и ближе, чѣмъ для Нежданова. Дѣтски наивно совершаетъ онъ свой геройскій поступокъ, отказываясь отъ любви Доминики Павловны, но все же это—подвигъ, и этотъ подвигъ говоритъ о глубинѣ его чувства. Это—не вѣра. Это—напряженное, дошедшее до слѣпоты чувство, которое вышло не столько изъ любви къ народу, сколько изъ сознанія своей отвѣтственности за его невѣжество и его несчастіе. Надо итти и спасать, надо слиться безъ остатка съ этой сѣрой массой, и, забравшись въ самую ея сердцевину, вести ее къ свѣту и истинѣ. Для него, слѣпого романтика, нѣтъ жертвы, которую нельзя было бы принести во имя этого, нѣтъ невозможнаго дѣла. И онъ рвется туда... до первой неудачи, потому что чувство, напряженное до послѣдней степени, обрывается, какъ слишкомъ натянутая струна. Все, что въ немъ есть,—это слѣпая, стихійная сила чувства и рядомъ съ этимъ тоска по правдѣ. Онъ не ищетъ правды, не добивается ея,—онъ хочетъ сразу овладѣть ею. А когда жизнь еще разъ ударяетъ по головѣ проученнаго мечтателя, онъ падаетъ тутъ же, чтобы подняться, но уже безъ силы, безъ надежды, съ одною тупою тоскою въ сердцѣ, съ подавляющимъ сознаніемъ своего безсилія.

Такіе герои были и... быльемъ поросли. Но если ихъ и нѣтъ теперь, то развѣ это мѣшаетъ намъ интересоваться произведеніями Новодворскаго?

Поэтому, въ заключеніе—еще два слова о его стилѣ. Странный стиль,

опять-таки неимѣющій ничего подобнаго себѣ въ текущей беллетристикѣ. Это стиль надорваннаго духа и, вѣроятно, разбитаго сердца. Это стиль человѣка, обойденнаго жизнью, который къ тому же гордъ и застѣнчивъ. Нѣтъ порядка въ ходѣ разсказа. Событія нагромождаются одно на другое, лирическія отступленія пестрятъ страницы. Чувство такъ и рвется наружу, кажется, хочетъ растопить сердце, увлечь за собою людей, по крайней мѣрѣ, закрутить ихъ въ вихрѣ тоскливыхъ ощущеній, но сейчасъ же за признаніемъ, за исповѣдью слѣдуетъ сарказмъ, иногда простой каламбуръ. Новодворскій не хочетъ даваться въ руки!.. Онъ прячется то за безпорядокъ своего разсказа, то за насмѣшку. Онъ какъ будто мститъ и себѣ, и вамъ. Вамъ, впрочемъ, онъ не вѣритъ. Онъ боится быть слишкомъ откровеннымъ, боится плакать передъ вами, чтобы не оказаться въ положеніи актера, надъ страстью котораго подсмѣивается публика. Онъ знаетъ, что вы прочтете его разсказъ и... забудете. А вѣдь это—кровь его сердца, все это, начиная съ конины, онъ дѣйствительно вынесъ, вся эта тоска, на самомъ дѣлѣ, свела его въ гробъ. И онъ хочетъ стать выше своихъ страданій, смѣется искривленной улыбкой, надорваннымъ смѣхомъ, и зачастую его лирика не что иное, какъ пляска гейневскихъ мертвецовъ надъ собственными могилами. Что подѣлаете? Жизнь обманула человѣка. Она внушила ему вѣру во всемогущество его благородныхъ порывовъ, но не дала ему ни дѣйствительной силы, ни знанія той обстановки, среди которой ему пришлось жить и бороться. Она твердила ему, что надо быть героемъ, она рисовала ему будущее въ самыхъ радужныхъ краскахъ, и онъ шелъ навстрѣчу ему голодный и оборванный, могущественный своими иллюзіями, но безъ силъ и средствъ, шелъ по направленію миража пустыни, не обращая вниманія на свои израненныя ноги, на смертельную болѣзнь своего духа, уже не вѣровавшаго, а только старавшагося вѣрить съ надрывомъ отчаянія, преслѣдуемый своимъ насмѣшливыхъ Горе-Злосчастіемъ...

Полетѣлъ молодецъ яснымъ соколомъ,
А Горе за нимъ—бѣлымъ кречетомъ,
Молодецъ полетѣлъ сизымъ голубемъ,
А Горе за нимъ сѣрымъ ястребомъ...

Новодворскій одинъ изъ излюбленныхъ людей семидесятниковъ, признавшихъ его своимъ. И, конечно, онъ былъ своимъ потому, что съ страшною силою разыгрался въ немъ драматическій моментъ эпохи и жажда личнаго счастья, и добровольно-мученическій отказъ отъ него, и стремленіе слиться съ народомъ, войти въ него, въ его тяжелую трудовую жизнь, въ его голодовку и холодовку, завершился слишкомъ ужъ ясныхъ

и убійственнымъ сознаніемъ собственнаго своего безсилія. Онъ не только не выполнилъ наложенной на себя задачи, но хуже того, — онъ понялъ, что не можетъ выполнить ее...

Его господствующее настроеніе — безнадежная тоска и мучительная жажда вѣрить, когда вѣра ушла уже изъ сердца...

В. М. Гаршинъ (1855—1888)—тоже излюбленный человѣкъ, тоже съ такимъ же основаніемъ признанный своимъ, еще яснѣе, еще шире, и безнадежнѣе поэтому, взглянулъ на дѣло.

На могилѣ Гаршина г. Минскій произнесъ одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній:

Ты грустно прожилъ жизнь. Больная совѣсть вѣка
Тебя отмѣтила глашатаемъ своимъ.
Въ дни злобы ты любилъ людей и человѣка
И жаждалъ вѣровать, безвѣріемъ томимъ.
Но слишкомъ былъ глубокъ родникъ твоей печали:
Ты изнемогъ душой, правдивѣйшій изъ насъ, —
И струны порвались, рыданья отзвучали...
Въ безвременье ты жилъ, безвременно угасъ...
...И творчество твое, и красота лица
Въ одну гармонію слились съ твоей судьбою,
И жребій твой похожъ, до страшнаго конца,
На грустный вымыселъ, разсказанный тобою...

Грустный вымыселъ—это, быть можетъ, все, созданное Гаршинымъ, а можетъ быть, только „Красный цвѣтокъ". Но, въ сущности, это безразлично. Тамъ и здѣсь—темы одинаково унылыя, настроеніе одинаково печальное и безнадежное. Тамъ и здѣсь — отказъ отъ вѣры своего вѣка, отказъ мучительный, тамъ и здѣсь—страстная жажда вѣры... хотя бы безумной, ведущей за собою смерть.

Гаршинъ былъ больной человѣкъ, но, кажется, не надо уже слишкомъ подчеркивать это обстоятельство, потому что онъ зналъ и минуты полной ясности духа. Тогда онъ творилъ бережно и робко, недовѣрчиво относясь къ каждому своему слову. Быть можетъ, его пугала глубина невѣрія и отчаянія собственнаго духа, и онъ не зналъ, можетъ ли, долженъ ли онъ, имѣетъ ли онъ, наконецъ, право передать ихъ другимъ. На самомъ дѣлѣ, что могъ онъ сказать имъ, самъ подавленный огромностью жизненнаго зла? Прекрасно отвѣчаетъ на этотъ вопросъ Успенскій:

„Жизнь не только не сулила Гаршину хотя бы малѣйшаго движенія отъ глубоко сознаннаго зла къ чему-нибудь... да, хоть къ чему-нибудь лучшему, но, напротивъ, какъ бы окаменѣла въ неподвижности, сжесточилась на

малѣйшія попытки не только хорошо думать, но и хорошо дѣлать. Изо дня въ день, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ, изъ года въ годъ и цѣлые годы, и цѣлые десятки лѣтъ, каждое мгновеніе, остановившаяся въ своемъ теченіи жизнь била по тѣмъ же самымъ ранамъ и язвамъ, какія давно уже наложила та же жизнь на мысль и сердце. Одинъ и тотъ же ежедневный „слухъ“ - и всегда мрачный и тревожный, одинъ и тотъ же ударъ по одному и тому же больному мѣсту, которому надобно зажить, поправиться, отдохнуть отъ страданія, ударъ по сердцу, которое проситъ добраго ощущенія, ударъ по мысли, жаждущей права жить, ударъ по совѣсти, которая хочетъ ощущать себя. Десятками лѣтъ идетъ какое-то безпрерывное, непрестанное, неумолимо-настойчивое отталкиваніе человѣка отъ малѣйшей попытки „поступить“ вотъ что дала Гаршину жизнь послѣ того, какъ, онъ уже жгуче перестрадалъ ея горе. Немудрено послѣ этого понять, что загипнотизированный окаменѣвшей на десятки лѣтъ дѣйствительностью, подавленный неподвижностью грозныхъ вопросовъ жизни, онъ могъ, при обиліи мыслей о своихъ обязанностяхъ къ этой дѣйствительности, потерять даже тѣнь хотѣнья жить во имя желательнаго“.

Жизнь пугала Гаршина, все, чего онъ хотѣлъ, воспитанный на лучшихъ началахъ идеализма, представлялось ему недостижимымъ. Всѣ герои его считаютъ себя „пальцемъ отъ ноги“. И естественно, что каждый его разсказъ пропитанъ ужасомъ передъ безсмысленностью, стихійностью, огромностью и неотвратимостью зла. Каждый разсказъ—сплошное черное или кровавое пятно. Опять обращаюсь къ статьѣ Успенскаго:

„Четыре дня“, — говоритъ онъ, — ужасная драма, непостижимая ни совѣстью, ни умомъ: убійство другъ друга людьми, не имѣющими къ этому ни тѣни надобности, — фактъ огромной важности, тяготѣющій надъ всѣмъ человѣчествомъ и обязывающій не выдѣлять его изъ общаго строя неправдъ. Думая о связи этого непонятнаго явленія жизни, есть отъ чего притти въ отчаяніе и есть отъ чего помутиться умомъ. А вотъ намъ просто кочегаръ, котораго также общія явленія жизни терзаютъ и молотомъ, и огнемъ, и бѣдностью,—и опять весь строй жизни долженъ быть притянутъ къ отвѣту за это терзаніе несправедливостью человѣческаго существа. Точно такъ же весь строй жизни овладѣваетъ мыслью Гаршина, когда онъ пишетъ о женщинѣ легкаго поведенія, которая пришла къ необходимости броситься въ Неву, и тогда, когда онъ пишетъ о человѣкѣ, который всю ночь борется съ необходимостью пустить себѣ пулю въ лобъ и желаніемъ жить на свѣтѣ. И такъ все въ томъ же родѣ. Все это вокругъ насъ, все это обыкновенно, со всѣмъ этимъ мы, большинство, слились, а еще большее большинство даже и не думало, что можно обо всемъ этомъ безпокоиться. Но соберите

всѣ эти обыкновеннѣйшіе сюжеты: война, самоубійство, каторжный трудъ невѣдомому богу, невольный развратъ, невольное убійство ближняго,—и вы увидите, что вся совокупность этихъ обыденныхъ явленій есть именно существеннѣйшія язвы современнаго строя жизни, что за ними не видно хорошаго, что времени, возможности даже нѣтъ выдѣлить это хорошее изъ неотразимо дѣйствующихъ фактовъ зла. Нельзя не мучить себя сознаніемъ, что все это страшный грѣхъ человѣка противъ человѣка, и что этотъ ужасный грѣхъ—наша жизнь, что мы привыкли жить среди него, что мы не можемъ не жить именно такъ, чтобы нашей, страдающей отъ собственныхъ неправдъ, душой не приносились эти безчисленныя жертвы".

Совѣсть мучила Гаршина, но уже не за его общественное положеніе, а за огромность царящаго въ мірѣ зла. Безбрежностью и могуществомъ этого зла онъ былъ подавленъ. Онъ не отказывается отъ борьбы съ нимъ, онъ требуетъ этой борьбы во имя всего святого и чистаго, что есть въ душѣ человѣка, но знаетъ въ то же время, что эта борьба—безуміе, что нѣтъ силъ распутать жизненныхъ противорѣчій, воистину стихійныхъ и грозныхъ и все растущихъ въ своемъ всемогуществѣ. Гаршинъ—опять-таки признанный всѣми главными представителями семидесятыхъ годовъ не только за своего, но даже за лучшаго изъ „своихъ"—прекрасно и глубоко понималъ силу исторіи и безсиліе человѣка и личности. Онъ даже доводилъ эту мысль до крайности. „Ты идешь,—говоритъ онъ въ разсказѣ „Трусъ",—вмѣстѣ съ тысячами тебѣ подобныхъ на край свѣта, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. Объ умственныхъ забудь: онѣ никому не нужны. Что до того, что многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то примѣнить ихъ? Огромному невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что ты можешь сдѣлать противъ такого желанія, ты—палецъ отъ ноги?"... То же самое говоритъ и герой „Четырехъ дней", лежа на полѣ сраженія возлѣ убитаго имъ турка: „За что я его убилъ? Онъ лежитъ здѣсь мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ и у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у крыльца своей мазанки да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ? А я? И я также... Я бы даже помѣнялся съ нимъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ раны, ни жажды. Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая, черная дыра, вокругъ нея кровь. Это сдѣлалъ я,—я не хотѣлъ этого"...

Каждый разсказъ, каждая сказка Гаршина—отрицаніе силы человѣка. Только безумцы вступаютъ въ борьбу, но они не побѣждаютъ. На эту тему написанъ „Красный цвѣтокъ"—самая сильная и глубокая вещь Гаршина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самая жестокая. Здѣсь—высокое желаніе принести счастье

человѣчеству, но это стремленіе живетъ въ безнадежно-больной головѣ и въ формѣ больной идеи. Сумасшедшій рветъ цвѣты мака, онъ думаетъ, что въ красномъ цвѣткѣ живетъ все зло міра, обагреннаго кровью, что этотъ цвѣтокъ надо сорвать и уничтожить и при этомъ отравиться его ядовитымъ дыханіемъ, чтобы погибнуть и умереть, „какъ честный боецъ". Онъ сорвалъ цвѣтокъ и умеръ. „Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ, но рука закоченѣла, онъ унесъ свой трофей въ могилу". Зло же міра осталось попрежнему обагренное кровью, попрежнему торжествующее.

„Пессимизмъ", невѣріе въ человѣческія силы, оскорбленная совѣсть, подавленность духа, быть можетъ, даже переломъ воли, на что намекаетъ въ своей статьѣ Успенскій—все это, конечно, есть и у Гаршина. Но онъ не весь еще въ этомъ, и это лишь путемъ какой-то иллюзіи дѣлало его близкимъ человѣкомъ для людей его времени. На самомъ дѣлѣ, что могли сказать ему эти люди? Они могли лишь прочесть ему холодное нравоученіе въ родѣ слѣдующаго: „Мы хотѣли бы только видѣть его болѣе добрымъ, хотѣли бы устранить преслѣдующія его безнадежныя перспективы. И наша читательская любовь чего-нибудь да стоитъ въ этомъ отношеніи. Мы вѣдь не безотчетно личною любовью любимъ: изъ любви Гаршинъ можетъ почерпнуть вѣру и надежду". Холодныя и скучныя слова, и Гаршинъ отвѣтилъ на нихъ своею смертью. Никакой вѣры и надежды онъ питать не могъ.

Въ немъ, прежде всего, съ полной очевидностью выступаетъ наружу болѣзненная глубина психической жизни. Вся его психика—сплошная рана, и довольно самаго ничтожнаго удара, чтобы заболѣлъ, застрадалъ весь человѣкъ. Для него нѣтъ зла малаго и зла большого, онъ знаетъ лишь одно царящее зло, и этотъ пугающій призракъ всегда предъ его глазами. Это ночь, распростершая надъ нимъ свои черныя крылья. „Никакой трудъ не можетъ быть такъ тяжелъ, какъ трудъ писателя,—говорилъ онъ,—писатель страдаетъ за всѣхъ, о комъ пишетъ"—и за тысячи людей, распростертыхъ на полѣ сраженія, и за разстрѣлянныхъ медвѣдей, и даже за раздавленныхъ ногою жуковъ и букашекъ, потому что для него все это тотъ же самый „Красный цвѣтокъ". Безграничная жалость ко всякому страданію внѣ его размѣровъ, условій, обстановки такъ же характерна для Гаршина, какъ и признаніе своего безсилія. Слишкомъ чуткое, больное сердце попало въ суровую обстановку и на всѣ уколы и удары могло отвѣчать только стономъ. Онъ даже не искалъ утѣшенія и въ мужикѣ. Онъ не хотѣлъ этого утѣшенія,—онъ хотѣлъ лишь подвига, на который не могъ отважиться, и смерти,—хотѣлъ того же, чего и больной „Краснаго цвѣтка". Такая безграничная жалость—смертельная болѣзнь духа, и Гаршинъ страдалъ ею.

Науки онъ не зналъ, а то, что онъ зналъ изъ нея, представлялось ему

слишкомъ холоднымъ и безсердечнымъ. Съ мужикомъ онъ встрѣтился, какъ съ солдатомъ, но эта встрѣча глубокаго впечатлѣнія на него не произвела, хотя обѣ стороны поняли другъ друга и полюбили. Онъ жилъ исключительно жизнью своего сердца, и все, чего онъ хотѣлъ бы дѣйствительно хотѣть, но не умѣлъ, можетъ быть выражено словомъ: диктатура сердца— диктатура полная, безусловная, безграничная. Не надо никакихъ формулъ, не надо никакой правды, ограниченной и урѣзанной статьями и параграфами, не надо никакихъ укладовъ и строя жизни, больше всего не надо уступокъ неизбѣжности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу, полный просторъ ему, чтобы оно своей безграничной любовью и безграничною жалостью излѣчило безграничность зла. Это уже не мечта поэта, это мечта безумца... или мечта тѣхъ, далекихъ отъ насъ людей, которые будутъ въ ужасѣ и смятеніи ожидать послѣдняго дня земли, обреченной на гибель. Это человѣческое сердце, преисполненное жалости и состраданія, проникнутое любовью и всепрощеніемъ, лишь робко и трусливо заявляетъ о себѣ, ежеминутно ощущая свою полную безпомощность. Оно живетъ лишь порывами, почти или совсѣмъ не переходя въ дѣйствіе. Оно встрѣчается съ преградами прямо непреодолимыми, оно мучится противорѣчіемъ двухъ правдъ, напр., правды войны за свободу угнетеннаго народа или правды— „не убій"... и не знаетъ выхода и чувствуетъ, что не можетъ найти его, что этого выхода нѣтъ, и уходитъ въ себя, обиженное и трепещущее, готовое жалостью своей обнять весь міръ, но безсильное облегчить страданіе хотя бы маленькой букашки. И на помощь міру оно несетъ лишь свои стоны и слезы, свою безграничную жалость, несетъ стыдливо и совѣстливо,—такъ же стыдливо и робко, какъ несла свою лепту вдовица...

С. Я. Надсонъ (1882—1887) превосходно дополняетъ Гаршина и Новодворскаго. Но Надсонъ гораздо уже. Вмѣсто безусловнаго и безнадежнаго отрицанія — у него лишь сомнѣнія, лишь робкое желаніе отрицать. Однако мотивы тѣ же самые, мотивы разсматриваемой мною драмы.

Онъ любитъ народъ, называетъ его „апостоломъ труда и терпѣнья", но эта любовь не приноситъ ему покоя. Въ ней нѣтъ увѣренности, и она слишкомъ заслоняется глубокимъ сознаніемъ личнаго своего безсилія. Это безсиліе — источникъ его грусти. Онъ хотѣлъ бы подвига и знаетъ, „глубоко" знаетъ, что не можетъ совершить его. Этотъ подвигъ — такая же недосягаемая мечта, какъ „смѣлый и гордый стихъ". Вмѣсто подвига лишь быстро исчезающій въ тоскѣ и невѣріи порывъ, послѣ котораго:

Твоя любовь казалась мнѣ слѣпой,
Моя любовь—преступной мнѣ казалась...

Конечно, неизлѣчимая болѣзнь Надсона, — все равно, какъ такія же неизлѣчимыя болѣзни Гаршина и Новодворскаго, сыграла огромную роль въ его жизни, но повторяю, не все же объясняется одною болѣзнью. Драматическій моментъ эпохи, познавшей тщету своихъ усилій, замѣнявшей вѣру лишь жаждой вѣры, сказался здѣсь не менѣе сильно. Подвигъ великаго отрицанія оказался не подъ силу.

Но все же подвигъ манилъ своимъ величіемъ и суровостью, своими требованіями самоотреченія,—манилъ, какъ смерть на полѣ битвы, хотя бы и проигранной уже. Онъ приказывалъ человѣку признать незаконность и преступность личнаго счастья.

Однако манило и оно. Помните это превосходное стихотвореніе Надсона, гдѣ онъ выразилъ всю слабость своего духа, всю свою жажду личной жизни и ея полноты въ ея борьбѣ съ суровыми требованіями долга. Оно едва не заканчивается слезами:

Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья,
Я презрѣньемъ клеймилъ этихъ сытыхъ людей.
Промѣнявшихъ туманы и холодъ ненастья
На отраду и ласку весеннихъ лучей.
Я твердилъ, что покуда на свѣтѣ есть слезы
И покуда царитъ непроглядная мгла,
Безконечно-постыдны заботы и грезы
О теплѣ и довольствѣ родного угла.
А сегодня—сегодня весна золотая,
Вся въ цвѣтахъ, и въ мое заглянула окно,
И забилось усталое сердце, страдая,
Что такъ бѣдно за этимъ окномъ и темно...
Милый взглядъ, мимолетнаго полный участья,
Грусть въ прекрасныхъ чертахъ молодого лица—
И безумно, мучительно хочется счастья,
Женской ласки и слезъ, и любви безъ конца!..

И совсѣмъ понятно, что все равно, какъ Гаршинъ весь вылился въ своемъ „Красномъ цвѣткѣ“, такъ по той же причинѣ, по тѣмъ же мотивамъ, Надсонъ создалъ своего Герострата—не пѣснь торжествующей любви, а пѣснь прекраснаго, даже въ безуміи своемъ, подвига...

Гораздо глубже, иногда въ самую глубь дѣла, заглянулъ другой нашъ писатель, который лишь по какому-то случайному недоразумѣнію держится точно въ тѣни и не занимаетъ по всѣмъ правамъ принадлежащаго ему высокаго мѣста. Я говорю о Маминѣ-Сибирякѣ.

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ (род. 1852 года) — писатель съ совершенно опредѣленнымъ философскимъ взглядомъ на коловращеніе су-

дебъ человѣческихъ, и надо согласиться, что въ этомъ взглядѣ очень мало отраднаго, вливающаго вѣру и утѣшеніе въ сердце человѣческое, и еще меньше утопическаго. Маминъ—поэтъ съ большой изобразительной силой, съ такимъ художественнымъ воображеніемъ, которое,—нѣсколько лѣнивое и чисто русское, любвеобильно обломовское (потому что и Илья Ильичъ красиво даже мечталъ о мирѣ всего міра) и измученное въ то же время всей этой ненужной, безсмысленной и непомѣрно жестокой суетой человѣческаго существованія,—любитъ отдыхать на жизни глухихъ угловъ, затерявшихся среди горъ и тайги, любитъ, по крайней мѣрѣ, уходить туда, чтобы найти хоть что-нибудь истинно человѣческое, а не только хищническое и страшное. Можно было бы ждать, повидимому, идилліи, но идилліи не для Мамина, какъ и онъ не для нихъ. Чувству правды измѣнить онъ не можетъ, проницательная наблюдательность не оставляетъ его ни на минуту, и вотъ, вмѣсто того, чтобы найти успокоеніе и порадовать читателя, онъ, какъ всегда, начинаетъ терзать и мучить его, потому что терзается самъ. Глухіе углы, обломки старой жизни съ каждымъ днемъ все дальше и глубже отходятъ въ область преданія: нѣтъ ихъ больше, и въ нихъ забрался хищникъ, развелъ свои костры, сжегъ на нихъ все древнее благополучіе, подкопался подъ устои, опрокинулъ и растопталъ ихъ, и водворилъ свою холодную, жадную, хищническую жизнь. И приходится Мамину каждой страницей своей отмѣчать все новые успѣхи хищника и очевидное разложеніе дорогой для него картины мирной и невидной, поэтическимъ вдохновеніемъ возводимой до святости, народной жизни.

Впечатлительности и чуткости у Мамина страшно много, много пониманія правды жизни, которую онъ не можетъ не видѣть, хотя и хотѣлъ бы не видѣть ея.

Въ нашей литературѣ интересное изложеніе міросозерцанія Мамина сдѣлалъ г. Альбовъ. Я приведу это изложеніе, дополнивъ его нѣкоторыми своими данными.

„Въ жизни господствуетъ не разумъ и не воля людей, а слѣпыя стихійныя силы. Изъ-за необозримыхъ рядовъ отдѣльныхъ личностей, которыя кажутся какими-то живыми точками на жизненной сценѣ, передъ глазами читателя вырисовывается невидимая сѣть взаимно перекрещивающихся и причудливо перепутанныхъ силъ, гигантская система невидимыхъ колесъ, шестерней, валовъ и приводовъ, которая связываетъ людей въ односложное цѣлое. Въ этой стихійной связи все обусловлено, все идетъ со страшной послѣдовательностью и одно связано съ другимъ, какъ кольца желѣзной цѣпи. „Въ жизни,—говоритъ Маминъ,—всѣ явленія и всѣ люди связаны между собой невидимыми для глаза нитями. Эта внутренняя глубокая связь раскрывается только при исключительныхъ случаяхъ, когда только

обнаруживается внутренній остовъ этихъ отношеній". Добро и зло связаны другъ съ другомъ, какъ причина и слѣдствіе, и наоборотъ. Самыя цѣнныя завоеванія ума, таланта, генія стоятъ дорогихъ, ни въ чемъ неповинныхъ жертвъ; одно зло рождаетъ другое, это, въ свою очередь, покрывается третьимъ, одно служитъ другому. „Вотъ въ этой сочной травѣ, подернутой утренней росой, съ виду такъ же тихо, какъ и въ воздухѣ, но сколько въ этотъ моментъ тамъ и здѣсь погибаетъ живыхъ существованій, погибаетъ безъ крика и стона, въ нѣмыхъ конвульсіяхъ. Одна букашка душитъ другую, червякъ точитъ червяка, весело чирикающая птичка одинаково весело ѣстъ и букашку, и червяка, дѣлаясь въ свою очередь, добычей кошки или ястреба. Въ этомъ концертѣ пожиранія другъ друга творится тайна жизни". „Вся исторія человѣчества создана на подобныхъ жертвахъ, подъ каждымъ благодѣяніемъ цивилизаціи таятся тысячи и милліоны безвременно погибшихъ въ непосильной борьбѣ существованій, каждый вершокъ земли, на которомъ мы живемъ, напоенъ кровью аборигеновъ и каждый глотокъ воздуха, каждая наша радость отравлена миріадами безвѣстныхъ страданій, о которыхъ позабыла исторія, которымъ мы не приберемъ названія и которыя каждый новый день хоронитъ мать-земля въ своихъ нѣдрахъ". Но и сильный, и слабый являются одинаково жертвами стихійной связи вещей, жертвами взаимныхъ отношеній.

Отдѣльный человѣкъ— ничтожная точка въ этой стихійной связи вещей, жалкій матеріалъ въ рукахъ стихійныхъ силъ, слѣпое орудіе въ стихійномъ процессѣ развитія. Прошлое имѣетъ огромную власть надъ его судьбой. Жизнь течетъ по руслу, вырытому покойниками. „Какая это ужасная мысль, что міръ управляется именно покойниками, которые заставляютъ насъ жить опредѣленнымъ образомъ, оставляютъ намъ свои правила морали, свои стремленія, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы безсильны стряхнуть съ себя это иго мертвыхъ". Его настоящее—результатъ стихійныхъ силъ, сталкивающихся, ослабляющихъ и усиливающихъ одна другую. „Есть роковыя силы, которыя заставляютъ человѣка дѣлаться тѣмъ или другимъ, и я увѣренъ, что никакой преступникъ не думаетъ о скамьѣ подсудимыхъ, а тюремщикъ, который своимъ ключомъ замыкаетъ ему весь вольный бѣлый свѣтъ, никогда не думалъ быть тюремщикомъ". Съ этой точки зрѣнія, „жизнь положительно страшная вещь". Нельзя сдѣлать шагу, чтобы не натолкнуться на что-нибудь неизбѣжное и безпощадное, какъ сама судьба, что властно вторгается въ человѣческую жизнь, вопреки всякимъ расчетамъ и соображеніямъ, логикѣ и разсудку. Длинный рядъ цѣпляющихся другъ за друга фактовъ, начало котораго скрывается въ глубинѣ исторіи, обложилъ человѣка желѣзнымъ кольцомъ, котораго онъ даже не пытался разорвать, потому что въ большинствѣ случаевъ не замѣчаетъ и не видитъ его, и,

благодаря которому, онъ зайдетъ въ такую трясину, гдѣ нѣтъ просвѣта и изъ которой нѣтъ выхода. Какая-то безпощадная и безжалостная рука властно распоряжается человѣческой судьбой и, вопреки всякимъ надеждамъ и планамъ, рисуетъ на ней свои собственные узоры. „Идешь туда, а глядишь, пришелъ совсѣмъ въ другое мѣсто, хочешь принести человѣку пользу, получается вредъ, любишь человѣка—платятъ ненавистью, хочешь исправиться—только глубже опускаешься". „Мы, какъ дѣти, утѣшаемся карточными домиками, а природа насъ хлопъ да хлопъ по носу". Нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что этотъ слѣпой, стихійный характеръ развитія жизни отражается въ сознаніи людей, какъ дѣйствіе рока.

Если въ жизни господствуютъ слѣпыя, стихійныя силы, а человѣкъ—игрушка этихъ силъ, то отсюда ясенъ выводъ: жизнь —мрачная трагедія въ самыхъ основахъ своихъ, трагедія, въ которой нѣтъ виноватыхъ. Зло коренится въ условіяхъ жизни, „не имѣетъ личной формы, а представляется чѣмъ-то стихійнымъ, безразличнымъ и неуловимымъ". Оно не концентрируется въ какой-нибудь отдѣльной личности или классѣ общества, оно въ самомъ строѣ вещей. За него никто исключительно не въ отвѣтѣ, въ немъ никто исключительно не виноватъ Всѣ одинаково виноваты и одинаково правы. Но есть же возмездіе за существующее зло, есть карающая рука. „Каждый день, — говоритъ Маминъ, — день итога, день посѣщенія, день послѣдняго отвѣта". Изъ круговой стихійной несправедливости ткется безконечная паутина человѣческой жизни. Но вотъ надъ этой паутиной пронеслось холодное дыханіе смерти. Зданіе, воздвигавшееся неимовѣрными усиліями въ продолженіе многихъ столѣтій, готово рухнуть. Оно подгниваетъ въ своихъ собственныхъ основаніяхъ. Являются зловѣщіе признаки разложенія. Немезида вступаетъ въ свои права, и ея мечъ поражаетъ безъ разбора перваго встрѣчнаго, часто совсѣмъ непричастнаго къ данному проявленію зла; вѣдь всѣ люди служатъ жалкимъ матеріаломъ въ рукахъ слѣпыхъ стихійныхъ силъ, строющихъ человѣческое общество. Въ этихъ кризисахъ личной и общественной жизни выражается стихійное требованіе личной и общественной правды...

Основная, вдохновляющая идея Мамина, очевидно, выросла на почвѣ перелома жизни подъ вліяніемъ новыхъ, мѣщански-капиталистическихъ, культурныхъ условій. Живутъ себѣ люди мирно и тихо среди извѣстныхъ сложившихся и даже окаменѣвшихъ устоевъ, которымъ, казалось бы, и навѣки такими предназначено оставаться, и вдругъ налетаютъ на нихъ грозныя силы, въ видѣ чугунки, капитала, новыхъ вѣяній, и въ мгновеніе ока отъ прежняго благополучія не остается и слѣда. Наступаетъ моментъ шалости, тихіе начинаютъ буянить; звѣрь просыпается въ самыхъ благонадежныхъ, другіе каменѣютъ, а среди невообразимаго хаоса и путаницы

начинаютъ дымить фабричныя трубы, возникаютъ винокуренные и иные заводы, пароходныя пристани, желѣзнодорожныя станціи. Жизнь переворачивается вверхъ дномъ, и чумазый орудуетъ, не смѣхотворный какой-нибудь чумазый, а могущественный, грозный и властный. Ничего не понимаютъ люди стараго порядка и лишь въ недоумѣніи спрашиваютъ себя: да какъ же это такъ? Что за пестрыя, поражающія, исполненныя всякихъ катастрофъ и неожиданностей, картины вырисовываютъ на этомъ хаосѣ, освѣщенномъ заревомъ далекаго и страшнаго пожара—рубежъ двухъ эпохъ, двухъ „жизней". Совершая свои подвиги и безобразія по поверхности и все болѣе убѣждаясь въ своемъ могуществѣ, капиталъ забирается и въ души людей. Съ особымъ, полнымъ мѣткой проницательности, искусствомъ Маминъ слѣдитъ за „проникновеніемъ капитализма во всѣ сферы человѣческой жизни, въ семью, въ область правовыхъ отношеній, въ нравы и понятія, въ науку и литературу. Его герои не ярлыки тѣхъ или иныхъ экономическихъ категорій, а живые люди съ разнообразной и сложной психической структурой. Захваченные стихійнымъ процессомъ—одни изъ нихъ легко и быстро приспособляются, другіе переживаютъ внутренній мучительный процессъ разложенія прежняго духовнаго человѣка и формированія новаго. Лишь немногіе остаются въ сторонѣ".

Процессъ „капитализаціи" общественныхъ отношеній является для Мамина, прежде всего, процессомъ ихъ разложенія. Это совершенно понятно и естественно, если припомнить, что капиталъ, подвиги котораго онъ изображаетъ, прежде всего хищническій, безъ всякой миссіи, кромѣ сто на сто или двѣсти на сто. На глазахъ у читателя горитъ подожженный съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ лѣсъ, на мѣстѣ котораго, можетъ быть, и будетъ потомъ золотистая нива,—а пока кромѣ дыма и огня ничего не видно. И яркій, безпорядочный стиль Мамина, его воображеніе очень горячее, стремительное, но и отрывочное и въ то же время, его настроеніе всегда нѣсколько сумбурное, благодаря многимъ нерѣшеннымъ противорѣчіямъ, какъ нельзя лучше приспособлено къ такого рода картинамъ. Маминъ, какъ и главный герой его произведеній—капиталъ-хищникъ, вообще не умѣетъ владѣть собой и своими огромными художественными силами. Онъ въ подчиненіи у своего необузданнаго, лишеннаго всякой мѣры творчества, которому онъ даетъ полный просторъ. Картины столкновенія, перипетіи страстей, комбинаціи сложнѣйшихъ психологическихъ моментовъ возникаютъ передъ нимъ съ такою быстротою и яркостью, что онъ и не думаетъ дорисовывать ихъ и часто бросаетъ начатое на полъ-дорогѣ. Точно онъ описываетъ ураганъ, вырывающій съ корнемъ вѣковые кедры, или землетрясеніе какое-нибудь. Слышенъ грозный шумъ, трескъ, и грохотъ; багрово-красное, точно налитое кровью, солнце съ пророческой угрозой

смотритъ на бѣдную землю, всю въ пыли и обломкахъ, дрожащую отъ ужаса, залитую подземнымъ огнемъ, и страшно рвущуюся къ скорѣйшей гибели, которая прекратила бы наконецъ эту ея муку, эту ея невыносимую пытку. А человѣкъ? Самое печальное и даже пугающее—то, конечно, что онъ, какъ существо мыслящее и волящее, тутъ совершенно не при чемъ, все происходитъ у него за спиной; онъ не видитъ ни завязки, ни развязки драмы, ему выносится лишь приговоръ, не подчиниться которому онъ не можетъ, и сумѣетъ ли онъ подчиниться ему такъ, чтобы спасти хоть шкуру свою—это уже его дѣло. И, въ концѣ концовъ, становится дѣйствительно страшно, потому что кромѣ пыли и обломковъ вы ничего не видите, и самый запахъ гари одуряетъ васъ. Повсюду обломки, и изъ-подъ нихъ слышатся стоны пришибленныхъ и раздавленныхъ людей или ликующіе возгласы тѣхъ, кто успѣлъ уже нажиться и приспособиться. Хорошій, доброй души человѣкъ—Маминъ терзается особенно, когда приходится ему выводить на сцену ребятишекъ, со стихійной жестокостью брошенныхъ въ общую свалку, и страшно и больно за нихъ, какъ вообще страшно и больно за человѣка. Ну, а къ чему все это?.. А ни къ чему,—отвѣчаетъ Маминъ своей саркастической и мрачной рождественской фантазіей.

Тутъ больше, чѣмъ напуганность передъ капиталомъ-хищникомъ, тутъ чувствуется ужасъ, скорбь и безнадежность.

Реакціонная литература 60-хъ и 70-хъ годовъ.

Въ центрѣ ея надо поставить „Московскія Вѣдомости“ Каткова, который однако не сразу разстался съ своимъ либерализмомъ. Только съ конца 60-хъ годовъ „Московскія Вѣдомости“ приняли ту свою физіономію, которая является для нихъ наиболѣе характерною и какъ бы присвоенною. Катковъ теперь ясно опредѣлилъ свою задачу и этой задачей была борьба съ революціей во всѣхъ ея проявленіяхъ. Больше—Катковъ хотѣлъ предупредить возможность какого бы то ни было революціоннаго движенія, при чемъ слово революція понималось имъ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Подъ этимъ именемъ понимались: 1) стремленія окраинъ къ самостоятельности; 2) земскія начинанія и земская иниціатива; 3) хожденіе въ народъ и народническіе идеалы вообще; 4) общественная самостоятельность. Въ концѣ концовъ, все не катковское, все не прямо и не непосредственно исходившее съ Страстного бульвара стало революціей и подвергалось преслѣдованію „Московскихъ Вѣдомостей“. Идеалъ Каткова, окончательно оформившійся, можетъ быть выраженъ тремя словами—государственность, централизація и полицейская благонадежность. Во имя

государственности Катковъ боролся съ идеей 60-хъ годовъ, которая, какъ мы видѣли, сводилась къ требованію общественной и личной самодѣятельности. Ту и другую онъ отрицалъ въ корнѣ, и земскія начинанія казались ему такими же отвратительными и незаконными, какъ и женская эмансипація, напримѣръ. Польская интрига,—проповѣдывалъ онъ,—не замерла послѣ 1863 года. Она только спряталась. Не выступая на сцену лично, она продолжаетъ дѣйствовать черезъ посредство русскихъ революціонеровъ. Ея рука видна въ студенческихъ безпорядкахъ прежде всего; она снабжаетъ деньгами нашихъ нигилистовъ; она является постояннымъ ферментомъ недовольства. Русская революція—это что-то наносное, внушенное, это желаніе маленькихъ людей играть большую роль. Это результатъ невѣжества, безобразнаго состоянія нашей школы, въ которой нѣтъ серьезной науки и серьезнаго преподаванія, гдѣ учителя либеральничаютъ ради снисканія популярности, а ученики бездѣльничаютъ, занимаясь чѣмъ угодно, только не прямымъ своимъ дѣломъ. Серьезную науку и серьезное преподаваніе нашей школы Катковъ хотѣлъ дать путемъ введенія классической реформы, за которую онъ усиленно боролся съ либеральной прессой („Голосъ", „Вѣстникъ Европы", „Современныя Извѣстія" и т. д.),—съ обществомъ и даже администраціей цѣлыхъ 7 лѣтъ. Эта классическая реформа, эти учителя-чехи, этотъ полицейскій режимъ школы должны были, по его мнѣнію, подрѣзать революціи крылья. Къ тому же должно было вести обрусѣніе окраинъ, особенно сѣверо-и юго-западныхъ, какими бы суровыми мѣрами оно ни сопровождалось. Въ этомъ случаѣ все отступавшее отъ генералъ-губернаторской программы Муравьева, казалось ему послабленіемъ и заискиваніемъ передъ инородческими элементами. Не Россія должна считаться съ ними, а они должны считаться съ Россіей и итти ея путями. Но это возможно лишь въ томъ случаѣ, если Россія возстановитъ основу своей жизни — твердую центральную власть, въ значительной степени расшатанную реформами 60-хъ годовъ. Эта твердая центральная власть должна безусловно избѣгать какихъ бы то ни было уступокъ тѣмъ общественнымъ элементамъ, которые посягаютъ на ея полноту. Истинная ея опора — коренное дворянство, такъ какъ бюрократія уже заражена либерализмомъ, особенно судебное вѣдомство. Конечно, не о возстановленіи крѣпостного права мечталъ Катковъ. Для этого онъ былъ слишкомъ уменъ, но онъ признавалъ, что реформы 60-хъ годовъ зашли слишкомъ далеко, что онѣ разнуздали человѣка, открыли ему совершенно неосуществимыя перспективы, а главное, вызвали къ жизни элементы, которые по своей некультурности должны были бы оставаться подъ спудомъ. Эти элементы разночинцевъ, нигилистовъ, инородцевъ, всякаго рода эмансипаторовъ вообще. Ихъ необходимо водворить на

прежнее мѣсто жительства — внизу, и дворянство своей тяжестью можетъ это сдѣлать. Но пусть дворянство въ томъ или другомъ видѣ будетъ облечено властью, основы которой должны быть такія же, какъ у власти помѣщиковъ.

Реакціонная литература той или другой своей стороной примыкаетъ къ его программѣ.

„Въ романахъ реакціоннаго лагеря, — говоритъ А. М. Скабичевскій,—аристократическіе и дворянскіе классы рисуются въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Въ нихъ однихъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются вѣрными исконнымъ, старо-русскимъ традиціямъ. Представители же движенія 60-хъ годовъ изображаются безшабашными отрицателями-нигилистами, которые отвергаютъ религію, семью, собственность, нагло смѣются надъ всѣмъ святымъ и завѣтнымъ и ради матеріальныхъ выгодъ готовы на всякое преступленіе.

„На первомъ планѣ въ каждомъ реакціонномъ романѣ рисуется герой-охранитель, — красивый, статный, съ изысканно-свѣтскими манерами и непремѣнно эстетикъ. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случаѣ, принадлежитъ къ очень древнему роду. Характера онъ долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного, пожалуй, вспыльчиваго. Онъ проникнутъ самыми благоразумными и спасительно-консервативными убѣжденіями. Всѣ силы его души стремятся къ борьбѣ съ неправдою и зломъ, на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности и въ особенности окраинъ Россійской Имперіи.

„Еще до служебнаго поприща онъ начинаетъ спасать отечество въ либеральной гостиной губернскаго города, разражаясь тирадами о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки (т. е. естествознаніе) никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, которое возбуждается сонатой Бетховена, сыгранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить изящное и любить родину больше жизни.

„Подобная рѣчь возбуждаетъ смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи затуманиваются тихой задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою, мимоходомъ, среди споровъ удается сбить съ толку отрицателя гимназиста или до такой степени сконфузить пана Взексержинскаго, что панъ, схвативши конфедератку, быстро улепетываетъ, кипя злобой и обѣщаясь мстить герою до смерти.

„Затѣмъ герой опредѣляется на государственную или земскую службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь начинается уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это представляется въ двоякомъ видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной во образѣ пана Взексержинскаго, который подъ

предлогомъ служенія отчизнѣ на самомъ дѣлѣ только и помышляетъ, какъ бы ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствіи синеокой дѣвы обиду; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, которая изображается въ романахъ не иначе, какъ панурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающихъ, наконецъ, на самую жизнь героя,—и все это подъ вліяніемъ все той же польской интриги. Въ борьбѣ со всѣми этими исчадіями ада герой бываетъ оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляютъ, нѣсколько разъ истекаетъ онъ кровью отъ ранъ, но, въ концѣ концовъ, выходитъ сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Варіаціями служатъ современныя событія, которыя стоятъ на первомъ планѣ. Если авторъ главное вниманіе обращаетъ на польскую интригу, онъ посылаетъ героя въ западный край геройствовать на славу; если же романистъ напираетъ на панургово стадо, то герой ѣдетъ въ Петербургъ въ разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается здѣсь въ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или же отправляется за границу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь юнца, выбросившій за бортъ парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

„Въ перемежку между общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя, обладающаго, между прочимъ, и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взапуски влюбляются въ него съ первой встрѣчи, и герой переживаетъ три вида любви. Одна имѣетъ игривый и скабрезный характеръ, предметомъ ея является или роскошная губернаторша, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычнаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не предполагаетъ сходиться близко, но ему приходится ночевать съ ней въ двухъ смежныхъ комнатахъ, и неожиданно онъ дѣлается жертвою ея страстности. Другая любовь вспыхиваетъ внезапно, какъ ураганъ, доводитъ героя до высшаго экстаза страстности и повергаетъ его въ крайнее изнеможеніе и нравственное ослѣпленіе, это—любовь къ юной полькѣ, сестрѣ пана Бзексержинскаго, или къ россіянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей кровавой смертью. Наконецъ, третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но впослѣдствіи самая глубокая, истинная и безконечная, это -любовь къ той синеокой дѣвѣ, которая, въ pendant герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всѣхъ отношеніяхъ идеальной своей суженой герой почиваетъ отъ всѣхъ треволненій и, уставши охранять отечество собственной грудью, посвящаетъ остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

„Къ этому ко всему слѣдуетъ присоединить страсть изображать въ обольстительномъ свѣтѣ великосвѣтскіе нравы, балы, рауты, придворные выходы и пріемы, парадные обѣды, пирушки золотой молодежи и пр.,

и пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго, со словъ Ив. Панаева, обозвать писателей этого рода „коленкоровыхъ манишекъ безпощадными Ювеналами“.

Къ нашей реакціонной беллетристикѣ часто причисляютъ „Взбаламученное море“ Писемскаго, „Преступленіе и наказаніе и „Бѣсовъ“ Достоевскаго, и даже „Обрывъ“ Гончарова. Такое несомнѣнно остроумное открытіе исторія литературы должна однако счесть за простое недоразумѣніе. Дѣло въ томъ, что все *положительное*, что есть въ указанныхъ произведеніяхъ, не имѣетъ ничего общаго съ положительнымъ реакціонной беллетристики собственно. Ея положительное—это программа Каткова и *дворянская* идея, тогда какъ положительное, скажемъ, Достоевскаго тамъ, гдѣ-то въ облакахъ и во всякомъ случаѣ не имѣетъ ничего общаго съ интересами оффиціальной, административной или дворянской Россіи. Эффекты реакціонной беллетристики нуждаются въ бубнахъ и литаврахъ, встрѣчающихъ появленіе на сцену аристократическихъ патріотовъ,—въ свисткахъ и шиканьи, сопровождающихъ каждый шагъ и поступокъ нигилиста: ни Писемскій, ни Гончаровъ, ни тѣмъ болѣе Достоевскій,—ни въ чемъ подобномъ надобности не ощущаютъ эти трое, какъ ни различны они, сами по себѣ. Что такое нигилистъ для Достоевскаго? Это, прежде всего, человѣкъ, не вѣрующій въ Бога, желающій, стремящійся преступить противъ заповѣдей не только общественныхъ, но и божескихъ. Это человѣкъ богомъ своимъ провозгласившій личный произволъ и *своеволіе* (Кирилловъ въ „Бѣсахъ“, Раскольниковъ и т. д.). *Такъ* это глубоко и мистично у Достоевскаго. У Писемскаго и Гончарова проще и плоше. Но и они могли бы сказать многое противъ своеволія—и ни во что не вѣрующій Писемскій, и вѣрующій въ медленную постепенную работу Гончаровъ. Особенно послѣдній, который въ лицѣ Тушина какъ бы отдаетъ будущее Россіи въ руки среднепомѣстныхъ *работающихъ* дворянъ, дворянъ-земледѣльцевъ. Интересы же реакціонной беллетристики часто сословные, оффиціальные, особенно у Маркевича, Орловскаго (Голосина) или Всев. Крестовскаго: не по своему отрицательному отношенію къ нигилистамъ реакціонна она, а по своей положительной, публицистической проповѣди, по своей пропагандѣ еще болѣе суженной Катковской программы.

В. П. Клюшниковъ. (1841—1892 г.). Это все же не Маркевичъ и не Крестовскій. Въ извѣстной степени идеалистъ и эстетикъ, выросшій въ традиціяхъ сороковыхъ годовъ, онъ съ ужасомъ и отвращеніемъ от-

вернулся отъ движенія шестидесятыхъ. Ничего здороваго, буйно красиваго онъ въ немъ не нашелъ; нашелъ одно отвратительное, отталкивающее впечатлѣніе, что и поторопился закрѣпить въ своемъ извѣстномъ романѣ „Марево", извѣстномъ, впрочемъ, не столько по художественнымъ своимъ достоинствамъ, сколько по сокрушающей юношеской критикѣ Писарева. Писаревъ, какъ дважды два доказалъ, что всѣ герои „Марево" люди очень ограниченные, даже болѣе, чѣмъ ограниченные, и что причиной всѣхъ бѣдъ, постигающихъ ихъ, является ихъ собственное ничтожество. Но зато у нихъ много претензій, и больше всего претензій у героини Нины, которая, послѣ долгихъ поисковъ „правды" въ движеніи 60-хъ годовъ, пришла къ такому вотъ выводу:

„Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видѣла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ—звучный предлогъ для возвышенія однихъ тирановъ на счетъ другихъ; я знаю всѣ ихъ средства къ достиженію цѣли самой низкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тѣмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры по времени. Это было послѣднею гирею на колеблющіеся вѣсы... Нѣтъ словъ выразить презрѣніе, нѣтъ мѣрки для ненависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ.. Тамъ, за мною осталась Вѣрочка сперва творившая себѣ потѣху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ. тамъ, наконецъ, накопилась мелюзга, уже въ сравненіи съ которой эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высотѣ, изломанная, искалѣченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность..."

Надо отдать Клюшникову полную справедливость: онъ пишетъ совершенно искренне, совершенно искренне не умѣетъ онъ отдѣлить пшеницы отъ плевелъ, совершенно искренне видитъ онъ только одно временное, случайное и часто дѣйствительно безобразное въ эпохѣ нашего возрожденія. Онъ не различилъ того глубокаго и прекраснаго, что таилось въ ней: мелочи, въ родѣ самодовольства, самообольщенія, умственной наглости „нигилистовъ", заслонили отъ него горизонтъ и онъ, повторяю, поторопился съ своимъ приговоромъ. Къ нему отнеслись жестоко, онъ сталъ притчей во языцѣхъ, сталъ посмѣшищемъ передового лагеря, тѣмъ болѣе, что его положительные типы, на самомъ дѣлѣ, производятъ довольно смѣхотворное впечатлѣніе: они низменны, несмотря на весь свой патріотизмъ.

Н. С. Лѣсковъ (1831—1895). Лѣсковъ—натура страстная, экспансивная и озлобленная. „Нигилистовъ“ онъ преслѣдовалъ съ какимъ-то ожесточеніемъ въ своихъ романахъ „Некуда“ и „На ножахъ“, отчасти въ „Соборянахъ“. Это, разумѣется, нисколько не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ крупныхъ художественныхъ ларованій, ярко выдвинувшихъ религіозную проблему русскаго духа. Но въ то же время это очень неуравновѣшенное дарованіе, часто падавшее до степени второ- и третьестепеннаго дарованія и лишь изрѣдка возвышавшееся до созданія глубокихъ, вѣрующихъ типовъ.

Лично мнѣ Лѣсковъ представляется писателемъ съ большимъ, нетерпѣливымъ самолюбіемъ, зачастую очень неискреннимъ и такимъ, который часто всѣ свои усилія устремлялъ на то, чтобы выдѣлиться чѣмъ-нибудь и прослыть оригинальнымъ. Но у него не было идеи, не было опредѣленнаго отношенія къ жизни, и онъ то и дѣло бѣжалъ за тѣмъ, что въ данную минуту обѣщало ему успѣхъ, попадая при этомъ въ большинствѣ случаевъ въ просакъ, потому что говорилъ онъ не отъ себя, а отъ своего мстительнаго раздраженія противъ либераловъ. Его литературная карьера началась очень скверно—статьями, въ которыхъ онъ, ничуть не сочувствуя женскому эмансипаціонному движенію,—что впослѣдствіи и высказалъ совершенно откровенно,—заигрывалъ съ нимъ однако, понимая все его могущество и даже властность его, и другими подобными же статьями хоть и по инымъ вопросамъ. Но случился съ нимъ въ это же время, (въ началѣ 60-ыхъ годовъ, именно въ 62-омъ году,) и еще худшій эпизодъ,—рѣзкій и возмущающій. Въ Петербургѣ происходили пожары. Полиція сбилась съ ногъ, такъ какъ бѣдствіе принимало прямо-таки стихійные размѣры. Обыватели окончательно растерялись. Лѣсковъ выступилъ тогда со своими „разоблаченіями“ въ „Сѣверной Пчелѣ“ и среди общаго тревожнаго настроенія, которое искало себѣ не только выхода, но и жертвъ для отмщенія, заговорилъ о поджогахъ и поджигателяхъ, о прокламаціяхъ, о студентахъ и, наконецъ, прямо обвинилъ въ пожарахъ „неизвѣстную коалицію изъ нѣмцевъ“, преслѣдующую цѣли грабежа! Иные называютъ это безтактностью. Нѣтъ, тутъ что-то худшее, гораздо худшее, и надо припомнить, съ какимъ возмущеніемъ возстала на Лѣскова вся печать, съ какимъ негодованіемъ приводились выдержки изъ его статей. И послѣ этого эпизода Лѣсковъ разошелся съ либеральной журналистикой,—вѣрнѣе,—со всѣми порядочными людьми. Онъ озлобился послѣ этихъ неудачныхъ дебютовъ и, нисколько не думая взять хоть часть вины на себя, весь ушелъ въ раздраженное самолюбіе, въ жажду мести. Онъ сталъ преслѣдовать „нигилистовъ“, и это тогда, когда нигилисты свою роль уже сыграли и подверглись другимъ болѣе серьезнымъ преслѣдованіямъ. Въ результатѣ такого настроенія явились знаменитые романы: „Некуда“ и „На ножахъ“. Посрамленію

нигилистовъ, самому пошлому, разнузданному посрамленію уже лежащихъ людей, отведена и большая часть романа „Соборяне“—несомнѣнно лучшаго изъ произведеній Лѣскова. Реакціонный и „консервативный“ лагерь,— что въ тѣ дни (начало 70-хъ годовъ) значило то же самое,—послужилъ ему литературнымъ пристанищемъ. Но онъ понималъ, что здѣсь рядомъ не только съ Катковымъ и Леонтьевымъ, но даже Волеславомъ Маркевичемъ онъ не можетъ играть никакой роли. А ему нужна была роль, прежде всего роль, потому что этотъ человѣкъ самъ въ своихъ собственныхъ глазахъ наполнялъ собою все бытіе, былъ выше всего окружающаго, не признавалъ никого и ничего. Онъ завидовалъ всякому успѣху и отъ своей злобной раздраженной зависти Лѣсковъ не могъ отдѣлаться до конца дней своихъ. Ему страстно хотѣлось видѣть крушеніе враговъ своихъ,—людей передового лагеря,—но тѣ стояли твердо, хотя бы только въ общественномъ мнѣніи. Пользуясь умственной сумятицей восьмидесятыхъ годовъ, онъ изрѣдка сталъ печататься въ ихъ органахъ. Но это было ему не во пользу. Духовное одиночество можетъ воспитать и закалить только сильную душу. Душа слабая и себялюбивая, съ узкимъ горизонтомъ, становится еще меньше, еще мелочнѣе отъ нанесенной ей обиды, которая, какъ проказа, расползается по всему ея существу, не оставляя, въ концѣ концовъ, ни единаго живого мѣста, не отравленнаго заразою. Такъ случилось и съ Лѣсковымъ. Его художественный талантъ сталъ проявляться очень и очень рѣдко. Часто являлась поддѣлка подъ художество. Онъ создалъ тотъ невозможный вычурный стиль, ту лубочную поддѣлку подъ языкъ древнихъ сказаній, который характеризуетъ произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни,—эти плохо, но съ претензіей на остроуміе разсказанные анекдоты, полные смакующаго сладострастія, безсильной, но голодной чувственности. Этотъ стиль Лѣскова—прямо позоръ нашей литературы и нашего языка. Напр., обрушиваясь на „цыбастыхъ“ женщинъ, онъ увѣряетъ, что настоящая женщина должна быть „понѣдристѣе“, „потѣльнѣе и помясистѣе“. Настоящія женщины—это славянскія красавицы, у которыхъ „носина не горбылемъ, а все будто пипочкой; но этакая пипочка, она какъ вамъ угодно, въ семейномъ быту гораздо поувѣтливѣе...“ Или на одной только страницѣ одного изъ разсказовъ Лѣскова г. Волынскій отмѣтилъ такія вотъ слова: „вздрючка“, „взгефантулка“, „пришпанлорка“, „изутіе“, „изутіе сапога“, „выгонъ на ять—голубей гонять“—и такую вотъ образцовую фразу: „это нигдѣ не написано закономъ, но преданіемъ блюдется до такой степени чинно и безспорно, что когда съ упраздненіемъ выволочки и изутія, вошелъ въ обычай болѣе сообразный съ мягкостью вѣка—выгонъ на ять голубей гонять, то чины не обманулись, и это мѣропріятіе ими прямо было отнесено къ самой тяжелой категоріи, т. е. къ взгефантулкѣ...“ Это уже пас-

ничество, это полная проострація не только языка, но и писательства, ибо тутъ все непристойность.

Но все же художественныя заслуги Лѣскова несомнѣнны. Къ нимъ относятся нѣкоторыя главы изъ „Соборянъ“ и немногіе разсказы. Талантъ Лѣскова вообще говоря, чаще зналъ паденіе, чѣмъ подъемъ.

Всев. Крестовскій (1840—1895). Его романъ „Петербургскія трущобы“ извѣстенъ всей читающей Россіи. Въ немъ какъ бы закончено то, о чемъ мечталъ и что началъ Помяловскій въ своихъ набросках „Брата и сестры“—дана полная, сравнительно, и поражающая до ужаса картина жизни петербургской нищеты и петербургскихъ вертеповъ. Здѣсь впервые явилась она передъ читателемъ оголенной, ничемъ не прикрашенной, безнадежной и пугающей. Это настоящій дантовскій адъ, настоящее позорище, ибо большаго паденія человѣческаго невозможно себѣ и представить. Въ противоположность отверженнымъ, Крестовскій выводитъ кружокъ хищныхъ аристократовъ, но эти послѣдніе обрисованы безъ всякаго таланта, по шаблону французскихъ бульварныхъ романовъ, гдѣ злодѣй всѣмъ существомъ своимъ просится на гильотину. Зато, повторяю, описаніе вертеповъ, несмотря на очевидно сгущенныя краски и въ одномъ фокусѣ собранные эффекты, способно заставить наши волосы подняться дыбомъ, и что особенно страшно—это очевидная невозможность возрожденія ни одной изъ жертвъ петербургскихъ трущобъ, до того насквозь пропиталась она ихъ міазмами, ихъ гнилью, алькоголизмомъ.

Остальныя произведенія Крестовскаго („Панургово стадо“, „Двѣ силы“, „Тьма Египетская“) направлены къ посрамленію „нигилистовъ“ въ частности, движенія 60-хъ годовъ вообще. Заглавіе „Панургово стадо“ особенно характерно для автора. Мелочно и злобно относится онъ къ описываемой имъ жизни, онъ видитъ въ ней что-то стадное, нелѣпое, прыжки барановъ въ море за прыжкомъ перваго барана. Такъ что нѣтъ ничего удивительнаго, если нѣсколько лѣтъ спустя Вс. Крестовскій явился во главѣ „Варшавскаго дневника“, принявшаго при немъ оффиціально-обрусительный характеръ.

Б. Маркевичъ. (1822—1884 г.). Въ произведеніяхъ Маркевича и Орловскаго катковская программа и дворянская идея торжествуютъ, отличаясь то наивнымъ, то грубымъ, то озлобленнымъ характеромъ. Изъ произведеній Маркевича особенно читались: „Четверть вѣка назадъ“, „Переломъ и бездна“. Дѣйствіе ихъ происходитъ въ великосвѣтскомъ кругу, ко-

торый для Маркевича являлся воплощеніемъ всякаго совершенства. Положительные герои — непремѣнно титулованные — отличаются изяществомъ вкуса и манеръ, а также заботами о благѣ Россіи. Жизнь въ концѣ концовъ, увѣнчиваетъ ихъ служебными лаврами и награждаетъ любовью красивыхъ милыхъ женщинъ. Отрицательные герои изъ разночинцевъ полны зависти, злобы, тщеславія; они грубы, невѣжественны и оказываются посрамленными. Ничего искренняго въ ихъ душѣ, кромѣ привязанности къ рублю и самой низкой трусости.

Къ „школѣ" Маркевича принадлежатъ В. Г. Авсѣенко и Орловскій (К. Головинъ). Но, во-первыхъ, они оба гораздо талантливѣе, а во-вторыхъ, искреннѣе. Маркевичъ зналъ только два цвѣта—бѣлый и черный, при чемъ бѣлымъ въ его глазахъ являлось все титулованное, важно-чиновное, родовитое, а чернымъ—все разночинное. Авсѣенко и Орловскій разнообразнѣе. Они не щадятъ и высокопоставленныхъ лицъ, когда того требуетъ художественная правда. Наибольшія свои надежды въ дѣлѣ исцѣленія русской жизни оба они возлагаютъ, повидимому, на среднее дворянство, которое должно понять, въ концѣ концовъ, что его спасеніе въ землѣ, въ работѣ надъ землею, въ заботѣ о ней и о благосостояніи крестьянъ. Эти послѣдніе должны возстановить нравственный престижъ дворянства въ глазахъ народа.

Какъ видитъ читатель, наша консервативно-реакціонная литература очень мала и слаба. Только одно дѣйствительно крупное и вліятельное имя можетъ она выставить изъ своихъ рядовъ — это имя М. Н. Каткова. Но я уже говорилъ выше, что это крупное имя, но не крупный человѣкъ, не крупный характеръ,—а лишь, если можно такъ выразиться, проницательный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ. Но все же его идеи по своей опредѣленности и прямолинейности, по элементарности своего содержанія могли служить и дѣйствительно служили пищей для многихъ, такъ или иначе разсорившихся съ движеніемъ 60-хъ годовъ. Но все же это характерно—одинъ Катковъ, только Катковъ, какъ литературный представитель оффиціальной народности, защитникъ ея основъ —властный, требовательный и непреклонный. Катковъ и никого больше, или рядъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ беллетристовъ и публицистовъ, кормившихся крохами съ его стола. Вотъ нашъ консерватизмъ безъ юродства, мистики, консерватизмъ, какъ политическая доктрина. Юродствующій консерватизмъ имѣлъ и имѣетъ другихъ представителей, напр., Аскоченскаго, князя Мещерскаго, Грингмута и т. д. Но съ нимъ не считались никогда и теперь не считаются. Надъ нимъ подсмѣиваются въ собственномъ лагерѣ. Это не Катковъ.

Тотъ зналъ, чего хотѣлъ, изо дня въ день въ теченіе 25-ти лѣтъ онъ билъ въ ту же точку, стараясь ввести человѣка и общество въ рамку полицейской благонадежности, злобно набрасываясь на всякое проявленіе общественной самостоятельности и самодѣятельности. Но онъ, повторяю, одинъ, одинъ какъ нѣкій столпъ среди пустыни. Есть ли у нашихъ консерваторовъ и реакціонеровъ идеи? убѣжденія? талантливо ли они пишутъ? Знаютъ ли чего хотятъ? Что защищаютъ? Есть ли у нихъ идеалъ? На все одинъ отвѣтъ—да, Михаилъ Никифоровичъ Катковъ.

Толстой и Достоевскій.

Эти двое самые, быть можетъ, крупные и глубокіе изъ всѣхъ русскихъ писателей, конечно, ни въ какое десятилѣтіе не войдутъ. Своими вопросами объ отношеніи человѣка къ Богу, о смыслѣ жизни, о конечной цѣли нашихъ стремленій они создали своеобразное теченіе русской мысли, которому было бы трудно подыскать другое названіе, кромѣ религіознаго. Но пережитое нами въ 60-ые и 70-ые годы все же особенно рѣзко отразилось на ихъ духовной физіономіи. Реформы 60-ыхъ годовъ, упразднившія патріархально-государственный строй и патріархальные уклады жизни, выдвинули въ первую голову вопросъ о *личности*. Личный разумъ, личная воля, личная вѣра и личное невѣріе стали фактомъ, съ которымъ пришлось считаться. Въ произведеніяхъ Толстого и Достоевскаго личность, отдѣленное человѣческое „я“, стремится вырѣшить всѣ вопросы, связанные съ ея бытіемъ, какъ отдѣльной и самостоятельной, внѣ государства, церкви и преданій стоящей сущности. И какъ это характерно и естественно даже для насъ русскихъ людей съ нашей глубоко практичной и этической наклонностью ума, личность Толстого и Достоевскаго всѣ свои исканія и вопросы сосредоточила на одномъ: „что и во имя чего надо дѣлать?“

Л. Н. Толстой (род. 1828). Большая часть художественныхъ произведеній Толстого—это геніальная лѣтопись жизни нашего стараго родовитаго барства—его Иліада и Одиссея. Если Тургеневъ—поэтъ лишнихъ людей, красивыхъ и талантливыхъ, но ненужныхъ представителей дворянской среды, то Толстой—поэтъ людей сильныхъ и крѣпкихъ, которыми держалась дворянская жизнь. Онъ страстно любитъ эту жизнь, близкую къ природѣ и народу—любитъ въ ея хозяйственной работѣ и ея отдыхѣ, ея развлеченіяхъ и забавахъ, ея горестяхъ, въ ея щедрости и ея домостроительствѣ.

Въ такихъ типахъ, какъ Николай Ростовъ или его сестра Наташа, онъ воплотилъ все устойчивое и положительное, что было создано тою обстановкой и чѣмъ она держалась „твердо и нерушимо“. Но уже въ Андреѣ Болконскомъ и Безуховѣ онъ замѣтилъ необходимые элементы ея разложенія.

Рядомъ съ барской была жизнь народная. Самъ вышедшій изъ родовитой среды, Толстой почти всю жизнь промучился надъ противорѣчіемъ между бариномъ и мужикомъ, особенно послѣ того, какъ ему пришлось побывать на севастопольскихъ бастіонахъ. Тутъ онъ научился уважать „простыхъ“ людей, великихъ въ своемъ смиренномъ и молчаливомъ героизмѣ. Онъ понялъ, что чѣмъ-то онъ обязанъ передъ ними, и вскорѣ, въ началѣ 60-хъ годовъ, находясь еще весь во власти теоріи совершенствованія, онъ принялся учить крестьянскихъ дѣтей въ своей яснополянской школѣ. Но это ученіе быстро пріѣлось ему, какъ барская затѣя, и онъ занялся своими хозяйственными и интеллигентными дѣлами. Только все же ни литературой, ни домашнимъ счастьемъ, ни великой славой, ни полнымъ успѣхомъ во всѣхъ дѣлахъ не могъ онъ вытравить изъ души своей какого-то стыда, какой то совѣстливости за свое привилегированное положеніе. И вотъ настала минута, когда этотъ стыдъ и совѣстливость всецѣло овладѣли его душой, когда онъ сталъ мечтать о самоубійствѣ, о раздачѣ имѣнія, когда онъ захотѣлъ стать мужикомъ, какъ всѣ мужики вокругъ него, когда онъ отрекся отъ своего художества и предалъ анаѳемѣ науку и искусство.

Въ этой личной драмѣ Толстого—всѣ мотивы, пережитые нашей интеллигенціей въ отношеніи къ народу. Сначала спокойное пользованіе дарами судьбы и чужимъ трудомъ крѣпостныхъ, потомъ уваженіе къ этой „округлой“, гармонической жизни мужика и его смиренному героизму, какое-то смутное пониманіе, что тревоги интеллигентнаго сердца могутъ прекратиться, лишь когда оно проникнется стихійнымъ міросозерцаніемъ народа, потомъ желаніе 60-хъ годовъ „учить“ мужика, до себя поднять его, и наконецъ упреки совѣсти за свое привилегированное положеніе и стремленіе учиться у народа правдѣ его трудовой жизни.

Баринъ и мужикъ—вотъ основное противорѣчіе. Какъ и въ чемъ примирить его? Толстой всю жизнь искалъ этого примиренія и не нашелъ, потому что примирить - значитъ въ этомъ случаѣ разрѣшить всѣ сомнѣнія нашей прошлой исторіи. Толстой былъ то бариномъ-мужикомъ, то мужикомъ-бариномъ и лишь въ рѣдкія минуты однимъ чѣмъ-нибудь. Стихійно влекла его къ себѣ барская жизнь, въ обстановкѣ которой цѣлые вѣка жили его предки, стихійно влекла его къ себѣ и мужицкая жизнь, чья красота постоянно „металась“ ему въ глаза, чьей правды онъ не могъ не

признать. И онъ сталъ на распутьи, не разрѣшивъ ни одного изъ своихъ сомнѣній, но собравъ въ своей личной жизни всѣ исканія русскаго прошлаго—исканія осмысленнаго и правдиваго „бытія". Онъ—великій мечтатель, каждый новый день увлекающійся новымъ идеаломъ во имя голоса своей непримиримой совѣсти и неудовлетвореннаго представленія о правдѣ личной жизни и общественныхъ отношеній.

Прослѣдить отношеніе Толстого къ мужику значитъ прослѣдить всю исторію его духовнаго развитія. Это потребовало бы цѣлаго трактата. Ограничусь лишь кое-чѣмъ, что мнѣ представляется существеннымъ. Несомнѣнно, что мужицкая жизнь, ея потребности и устои были въ теченіе очень и очень долгаго времени тѣмъ критеріумомъ, съ какимъ Толстой относился къ нашей наукѣ, нашему искусству, нашей культурѣ вообще, заставляя его метать на нихъ громы и молніи. Несомнѣнно, затѣмъ, что основныя посылки нашего народничества и народолюбія Толстой со свойственной ему прямолинейностью довелъ до ихъ послѣднихъ, логическихъ выводовъ. Онъ говорилъ: если интеллигентная жизнь лжива въ самой сущности своей, если мужицкая жизнь имѣетъ свое незапятнанное святая святыхъ, если трудъ крестьянина, ограниченность его потребностей дѣйствительно обезпечиваютъ не только спокойствіе но и чистоту, святость совѣсти— то *надо* опроститься, надо стать мужикомъ. Въ этой формулѣ нашла истинное свое рѣшеніе великая драма, великое столкновеніе между бариномъ и мужикомъ, болѣе полустолѣтія разыгрывавшаяся въ нашей духовной жизни. Эта формула Толстого явилась въ дни тяжелаго, сумрачнаго разочарованія въ успѣшности нашихъ интеллигентныхъ усилій. Люди шли на сѣть идеала опрощенія; умственная работа была признана не только безполезной, но и вредной. Работа головой представлялась въ образѣ умственнаго человѣка, считающаго лбомъ и затылкомъ ступени при паденіи съ лѣстницы. Всѣ „плоды просвѣщенія" сводились къ ученому педантизму, къ полной нравственной распущенности, къ увлеченію всякой модной глупостью, какимъ-нибудь новымъ „измомъ", хотя бы то былъ спиритизмъ.

Присмотримся поближе къ тому, какъ Толстой критиковалъ культуру, съ мужицкой, или казавшейся ему мужицкой, точки зрѣнія.

Въ знаменитой пьесѣ Толстого „Плоды просвѣщенія" горничная Таня, простая деревенская дѣвушка, играетъ въ отношеніи учености совершенно такую же роль, какую сыгралъ 100 лѣтъ тому назадъ Фигаро въ отношеніи напыщеннаго и самодовольнаго дворянства. Въ ея лицѣ здоровый смыслъ и не испорченная примитивная натура побѣждаютъ „просвѣщеніе", и то, бѣдное, посрамленное и оплеванное, уходитъ со сцены. Въ концѣ

концовъ, Толстой предложилъ намъ совершенно отказаться отъ культуры. Культура и развратъ стали для него синонимами, все равно въ чемъ бы ни выражалась эта культура—въ спиритизмѣ, нравственной распущенности или музыкѣ Бетховена. Заставляя насъ забывать о человѣкѣ, забывать о своихъ естественныхъ потребностяхъ—работы, здоровья, общенія съ людьми, нравственнаго совершенствованія—она создаетъ лишь потребности искусственныя, потребности раздраженныхъ и пресыщенныхъ нервовъ, которые все равно, какъ нервы морфиномана или алкоголика, дѣйствительно насытиться и успокоиться не могутъ никогда.

Что даетъ намъ наука? Отвѣчая на тысячи и тысячи мелкихъ вопросовъ, удовлетворяя нашу пустую любознательность, она заставляетъ насъ забывать о тѣхъ вѣчныхъ вопросахъ, которые наиболѣе дороги для человѣка. Говоря о химическомъ составѣ звѣздъ небесныхъ, она не говоритъ ни слова о смыслѣ жизни; возбуждая пустое любопытство людей и поддерживая интересъ къ себѣ своими будто бы важными и важнѣйшими открытіями, она закрываетъ, на самомъ дѣлѣ, роковую и страшную, одинаково роковую и страшную для всѣхъ большихъ и малыхъ, слабыхъ и сильныхъ, богатыхъ и бѣдныхъ загадку жизни и смерти. Но даже не въ этомъ ея первое зло. Первое ея зло точно такъ же, какъ и первое зло искусства, заключается въ томъ, что она служитъ лишь интересамъ богатыхъ и сильныхъ и, подчиняя себя природу, отдаетъ ее во власть этимъ богатымъ и сильнымъ людямъ, обезпечивая ихъ праздность...

Впрочемъ, на взглядахъ Толстого, высказанныхъ имъ въ статьѣ „Что такое искусство“, надо остановиться подробнѣе. Превосходно излагаетъ ихъ, между прочимъ г. Шестовъ:

„Толстой разсказываетъ о томъ, какъ ему однажды пришлось присутствовать на репетиціи плохой оперы. По этому поводу онъ дѣлаетъ расчеты, сколько должна была стоить эта нелѣпая затѣя. Оказывается что очень дорого. Затѣмъ онъ сообщаетъ, что капельмейстеръ грубо бранилъ хористовъ и статистовъ, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы дѣлали сладострастныя движенія. Огромные расходы на постановку дурныхъ произведеній искусства и безобразное отношеніе старшихъ къ младшимъ, безправнымъ сотрудникамъ по общему дѣлу, возводятся гр. Толстымъ въ правило и предъявляются къ искусству вообще, какъ первый тяжелый и серьезный обвинительный пунктъ. Что могутъ отвѣтить на это составители драмъ и симфоній? „Хорошо было бы, если бы художники все свое дѣло дѣлали сами, а то имъ всѣмъ нужна помощь рабочихъ не только для производства искусства, но и для ихъ большей частью роскошнаго существованія, и такъ или иначе, они получаютъ ее или въ видѣ платы отъ богатыхъ людей, или въ видѣ субсидій отъ правительства, которыя милліонами даются имъ на театры, консерваторіи, академіи. Деньги же эти собираются съ

народа, который никогда не пользуется тѣми эстетическими наслажденіями, которыя даетъ искусство". Въ этомъ исходная точка зрѣнія Толстого; искусство стоитъ огромныхъ денегъ, деньги собираются съ народа, народъ же благами, приносимыми искусствомъ, не пользуется. Сверхъ того, подъ видомъ искусства, намъ преподносятъ множество всякихъ глупостей и гадостей, подобныхъ той оперѣ, на репетиціи которой присутствовалъ гр. Толстой, во имя искусства одни люди оскорбляютъ человѣческое достоинство другихъ. Возникаетъ вопросъ: дѣйствительно ли искусство такое важное дѣло, чтобы изъ-за него приносить подобныя жертвы? Не лучше ли совсѣмъ отказаться отъ искусства, а затрачиваемыя на него силы и средства употребить на что-нибудь другое—хотя бы на народное образованіе, о которомъ такъ мало заботятся? Такъ поставленъ вопросъ гр. Толстымъ.

„Едва ли кто-нибудь изъ его читателей не угадалъ въ самомъ началѣ книжки отвѣта. Народъ такъ дорого расплачивается за искусство и не пользуется имъ. Развѣ можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что такое положеніе вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которыхъ все есть, идутъ къ бѣднымъ и отнимаютъ у нихъ необходимыя не только на образованіе, но и на пропитаніе средства, чтобы устраивать театры, концерты, выставки. Развѣ во время голода въ большихъ городахъ прекратились спектакли, развѣ богатые отказались отъ эстетическихъ наслажденій, чтобы помочь несчастнымъ ближнимъ? Въ справедливости такого вопроса, повидимому, не можетъ быть сомнѣнія".

И его нѣтъ,—говоритъ Толстой.- Истинная наука и истинное искусство,—учитъ онъ дальше,—должны преслѣдовать только религіозныя цѣли. Современная наука и современное искусство преслѣдуютъ цѣли ничтожныя и похотливыя.

Толстой заканчиваетъ превосходнымъ афоризмомъ:

„Искусство—это то средство, которымъ люди передаютъ чувства другъ другу; искусство законно только при томъ условіи, если оно передаетъ чувства, полезныя цѣли общества, какой является взаимная любовь людей, иначе говоря, если оно переводитъ религіозныя понятія изъ области разума въ область чувства при томъ предположеніи, что религіозныя понятія означаютъ человѣческое братство".

Вотъ истины, которымъ, между прочимъ, мужикъ научилъ Толстого:

1) *Основная идея жизни—идея религіозная.*

„Какъ ни храбрись,—говоритъ Толстой,—привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что она рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни".

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

„Философія, наука, общественное мнѣніе говорятъ: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человѣка зависитъ не отъ одного свѣта

разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освѣщать эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живется, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса, историческаго, соціологическаго и другихъ, послѣ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей..“

Такіе нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ „историческихъ“,, „соціологическихъ“ и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что искалъ онъ въ ней успокоенія своей привилегированной совѣсти.

2) *Религіозная идея практична*, т. е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даетъ человѣку правила жизни и прежде всего выводитъ его изъ заколдованнаго круга личнаго эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рѣшительно это отрицаетъ.

„Всѣ тѣ безчисленныя дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни: точно такъ же мы вообразили себѣ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имѣемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ни передъ кѣмъ не имѣя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны „понимать и чувствовать“, что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ кѣмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего“.

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ понятнѣе: „жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содѣйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей“.

Толстой вообще не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на отреченіи отъ себя для служенія людямъ.

3) *Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа.* Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться, въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. „Евангеліе чи-

талъ?"—спросилъ сторожа Толстой. „Читалъ".—„А читалъ: „и кто накормитъ голоднаго?.." Я указалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его, выслушалъ. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Ему, видно, больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и видимо искалъ отговорки. Вдругъ въ умныхъ черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ; онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. „А нашъ уставъ читалъ?"—спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читалъ. „Такъ и не говори",—сказалъ сторожъ, тряхнувъ побѣдоносно головой, и, запахнувъ тулупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мною и стоитъ передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ".

Ученіе Христа построено на любви и братствѣ, наша жизнь на силѣ. Сильный преобладаетъ надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ бѣднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что же дѣлать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приноситъ ли мнѣ счастье та самая жизнь, на которую я трачу всѣ свои силы? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого, быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходствѣ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, безпокоимся, мучаемся и все это изъ-за чего? Изъ-за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: „въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ, счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всѣ самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь,—все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслѣ, жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра, только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо".

„Пройдите по большой толпѣ людей, особенно городскихъ, и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всѣ тѣ насильственныя смерти, всѣ тѣ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всѣ эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?"

Отвѣтъ Толстого простъ: мы—мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведетъ насъ къ братоубійственной борьбѣ, злобѣ, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляетъ насъ желать гибели ближняго и опускаетъ руку, протянутую на помощь ему. Оно ставитъ для нашей дѣятельности ненужныя и пустыя цѣли, преслѣдуя которыя, мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не проходитъ даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гоняясь за призраками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нѣтъ *счастливыхъ* людей. „Поищите,—говоритъ Толстой,—между этими людьми и найдите отъ бѣдняка до богача человѣка, которому бы хватало то, что онъ зарабатываетъ, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всѣхъ силъ, чтобы пріобрѣсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаетъ для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрѣтетъ то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей“.

Итакъ, виновато „ученіе міра“, и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки—вотъ, повидимому, тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой-нибудь „отрадный фактъ“, такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ же тутъ говорить о счастьѣ?

4) Въ отвѣтъ на вопросъ, что же дѣлать? какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра, какъ добиться гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью—Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

„На вопросъ, что нужно дѣлать?—пишетъ гр. Толстой,—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно—мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать... На вопросъ, нужно ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ,—оказалось, что все это не нужно, ибо человѣкъ, трудящійся самъ собой, естественно, примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ

не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ, — ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ".

Истинное, къ чему нужно стремиться — это солидарность со всѣми, всѣмъ міромъ и человѣчествомъ въ своей работѣ, это жизнь только на счетъ своего труда безъ малѣйшей тѣни эксплуатаціи другихъ, это полное *неучастіе* во всѣхъ тѣхъ отправленіяхъ жизни, которыя такъ или иначе связаны съ насиліемъ надъ ближнимъ и эксплуатаціей его. Въ томъ, что совѣсть Толстого ни съ чѣмъ подобнымъ не мирится, главный источникъ его идеализма. Онъ дѣйствительно идеалистъ, но идеалистъ земли, для котораго вопросъ о человѣческомъ счастьѣ — первый вопросъ. Поэтому онъ такъ, повторяю, практиченъ.

Источниковъ идеализма Толстого два:

1) религіозность,

2) неудовлетворенная совѣсть.

Изъ всего того, что написалъ Вогюэ о Толстомъ, — а онъ написалъ очень много умнаго, — мнѣ больше всего нравится одно, блестяще развитое французскимъ критикомъ: „За всѣмъ, что изображено Толстымъ, — говоритъ Вогюэ, — чувствуется присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго"... Это присутствіе чего-то огромнаго, страшнаго, таинственнаго поражаетъ французскаго критика, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и — хотѣлось бы прибавить — Лермонтова. Это что-то огромное, страшное таинственное есть загадка человѣческой жизни, вопросъ объ ея смыслѣ.

Позволю себѣ привести изъ „Войны и Мира" страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

„Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, страшный узелъ жизни, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина, онъ говорилъ себѣ: „Это ничего. Это я распутаю — вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда, — я послѣ обдумаю все это". Но это послѣ никогда не наступало.

„Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

„Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: „кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю,—думалъ Пьеръ.—Только бы не видѣть ее, эту страшную ее".

„Только бы не видѣть ее". Да развѣ драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развѣ не приходилось ему десятки, сотни разъ завидовать людямъ, у которыхъ на все готовыя формулы, на все готовыя меню—на обѣдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?.. Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видѣлъ онъ передъ собой таинственную пропасть вѣчности. Онъ сказалъ недавно объ Аміэлѣ вотъ что:

„Впродолженіе всѣхъ 30-ти лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены къ смерти, и казнь наша только отсрочена. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга".

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значитъ и себя самого, къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что же онъ нашелъ?.. Спокойствіе духа... Изъ-за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастьѣ и пр., раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его, наконецъ, на Голгофѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы тебя не было—вотъ единственный путь человѣческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ сдѣлалъ Левинъ. Возьми народъ

и уйди въ его жизнь. Такъ сдѣлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгоизмъ—такъ сдѣлалъ опять-таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было бы твоей требовательной, себялюбивой личности, иначе—страхъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема-всегда представлялась Толстому наиважнѣйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всѣ его герои, заняты прежде всего исканіемъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ „Войнѣ и Мирѣ", Левинъ въ „Аннѣ Карениной",—десятки другихъ лицъ, несмотря на всю внѣшнюю счастливую обстановку, постоянно ощущаютъ какую то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надѣляя главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ муками невѣрующей души, ставя ихъ то и дѣло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дѣло задаетъ себѣ и рѣшаетъ нравственно-религіозные вопросы.

Въ отвѣтахъ, которые онъ даетъ, можно замѣтить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работѣ, къ дѣятельности. Изъ религіи онъ, прежде всего, извлекаетъ ея дѣйственный элементъ. Вопросъ о смыслѣ жизни то и дѣло подмѣняется у него вопросомъ: „что же мнѣ дѣлать?..."

Вопросъ о смыслѣ жизни, какъ о своей нравственной удовлетворенности, всю жизнь тревожилъ Толстого. Ни этого смысла, ни этой удовлетворенности не могъ онъ найти въ фактахъ нашей матеріальной культуры, основанной на порабощеніи человѣка человѣкомъ.

Толстой — этотъ огромный, стихійный разумъ—лишь зло промолчитъ на изложеніе культурныхъ начатковъ. Все то, что онъ знаетъ о современной культурной жизни, все, что онъ *можетъ* знать о ней, вызываетъ въ немъ одно могучее, дивное по своей непримиримости:

„— Это не то... Это вы оставьте..."

Толстой въ ссорѣ съ нашей культурой, потому что она всей своей тяжестью и своими приличіями, и своими жестокостями лежитъ на его *совѣсти*. Объективной критики культуры онъ не давалъ никогда, даже разбирая вопросъ о роли и значеніи денегъ. Онъ и не нуждается въ этой критикѣ; для него совершенно достаточно знать и чувствовать, что онъ самъ недоволенъ, что онъ не знаетъ покоя. Всѣ его усилія какъ теперь, такъ и раньше были направлены къ тому, чтобы достигнуть душевнаго равновѣсія, и во имя этого равновѣсія создавалась теорія за теоріею, одна грандіознѣе, одна смѣлѣе другой. Что эта работа великаго духа еще не

закончена - я полагаю, знаетъ всякій; что, быть можетъ, она и совсѣмъ не закончится — это тоже вѣроятно, потому что не въ своемъ личномъ грѣхѣ ищетъ утѣшенія и искупленія Толстой, а въ грѣхѣ всей прошлой культуры, всей прежней исторіи. Онъ — кающійся дворянинъ въ самомъ чистомъ и высокомъ его выраженіи, и насколько вообще психологія кающагося дворянина, сознавшаго неправоту своего привилегированнаго положенія, привлекаетъ его вниманіе и какія мучительныя задачи ставитъ она передъ нимъ, вы видите столько же изъ „Исповѣди", сколько и изъ послѣдняго романа „Воскресеніе"—этой величавой эпопеи пробудившейся совѣсти. Но „Воскресеніе"—это конецъ. Съ самаго начала своей дѣятельности Толстой поставилъ себѣ вопросъ о причинахъ зла и страданій культурной жизни и такъ или иначе старался отвѣтить на него. Отвѣты получались иногда неожиданно жестокіе: они были какъ бы оправданіемъ зла, какъ бы признаніемъ его необходимости, и это мы видимъ, заглянувъ въ „Войну и Миръ" или „Анну Каренину".

Но вотъ во время московской переписи Толстой столкнулся съ босяками и нищими ночлежныхъ домовъ. Совѣсть заговорила громко и властно, и опять пришлось пересмотрѣть всѣ свои взгляды на доброе и злое въ жизни. Вотъ до чего доходило дѣло:

„И прежде,—пишетъ Толстой въ „Мысляхъ", вызванныхъ переписью въ Москвѣ,—чуждая мнѣ и странная городская жизнь, теперь опротивѣла мнѣ такъ, что всѣ радости роскошной жизни, которыя прежде мнѣ казались радостями, стали для меня мученіемъ. *И какъ я ни старался найти въ своей душѣ хоть какія-нибудь оправданія нашей жизни, я не могъ безъ раздраженія видѣть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытаго стола, ни экипажа, сытаго кучера и лошадей, ни магазиновъ, театровъ, собраній.* Я не могъ не видѣть рядомъ съ этимъ голодныхъ, холодныхъ и униженныхъ жителей ляпинскаго дома".

Для меня, по крайней мѣрѣ, несомнѣнно, что, несмотря на свои 50 слишкомъ лѣтъ и уже всемірную славу, авторъ „Войны и Мира" и „Анны Карениной" увидѣлъ для себя нѣчто новое. Мнѣ кажется, что это-то и есть одна изъ особенностей барской психики, красной нитью проходящая, между прочимъ, въ исторіи перерожденія князя Нехлюдова (героя „Воскресенія")—что тамъ въ этой чуждой для насъ обстановкѣ, мѣрка героизма и необычнаго—какая-то совершенно другая. Надѣть на себя полушубокъ и въ немъ пройтись по московскимъ улицамъ- это героизмъ; не сдѣлать визита и вообще не дѣлать визитовъ—тоже героизмъ; заняться физическимъ трудомъ—подвигъ; увидѣть старуху, которая два дня ничего не ѣла потому, что „прежде была распутная, а теперь никто не беретъ, и взять неоткуда"—значитъ увидѣть нѣчто необычайное и т. д. Оттого-то, вѣроятно, психологія кающагося дворянина всегда до такой степени экспансивна, потому что, на самомъ

дѣлѣ, стоитъ ему лишь немного уклониться отъ условностей и обычаевъ своего круга, вынуть хоть одинъ камень изъ тщательно возведеннаго зданія привычной жизни, какъ вся его жизнь превращается въ рядъ для него вопіяну героическихъ дѣяній: сегодня онъ не принялъ душа, завтра поѣлъ въ сухомятку, потомъ не спалъ всю ночь, потомъ перемѣнилъ бѣлье не три, а два раза въ сутки, потомъ, какъ тотъ же князь Нехлюдовъ, выдержалъ борьбу съ насѣкомыми,—и что удивительнаго, если въ душу его, въ концѣ концовъ, западаетъ мысль, что онъ герой, что его подвиги самопожертвованія идутъ рука объ руку съ самолюбованіемъ, отъ котораго онъ не можетъ отдѣлаться, какъ бы ни хотѣлъ того?

Въ ляпинскомъ домѣ Толстой увидѣлъ нѣчто для себя дѣйствительно новое и необычайное. Впечатлѣніе было огромное, потрясающее, потому что о существованіи чего-нибудь подобнаго Толстой раньше и не подозрѣвалъ. Въ Севастопольскую кампанію онъ, видѣлъ, конечно, страданія и лишенія еще, пожалуй, большія, но тамъ они являлись въ ореолѣ героическихъ поступковъ; видѣлъ онъ и хроническое недоѣданіе въ деревнѣ, но въ нашей деревнѣ умѣютъ голодать съ достоинствомъ, по крайней мѣрѣ съ кротостью. Здѣсь же—въ ляпинскомъ домѣ—медленное, тоскливое умираніе, развратъ и грязь, ожесточенныя проклятія, люди, доведенные до образа и подобія звѣрей. Тѣмъ мучительнѣе всталъ передъ Толстымъ вопросъ о привилегіяхъ его собственной жизни. „Я, самъ не замѣчая того,—разсказываетъ онъ,—со слезами въ голосѣ кричалъ и махалъ на своего пріятеля. Я кричалъ: *„такъ нельзя жить, нельзя такъ жить, нельзя!“* Но потомъ всѣ ему стали говорить, что онъ волнуется такъ не потому, что видѣнное имъ зрѣлище—ужасно, а лишь потому, что „самъ онъ очень добрый и хорошій человѣкъ“. И эти разговоры убѣдили его: „Я охотно повѣрилъ этому. И не успѣлъ оглянуться, какъ вмѣсто чувства упрека и раскаянія, которое я испытывалъ сначала, во мнѣ было *чувство довольства своею добродѣтелью и желаніе высказать ее людямъ*“.

Сейчасъ же послѣ переписки онъ занялся благотворительностью. Это успокаивало совѣсть, это подтверждало его мысль о себѣ, что онъ очень „хорошій и добрый человѣкъ“, это доставляло ему много пріятныхъ минутъ. Когда онъ голодающей старухѣ, бывшей проституткѣ, далъ рубль, то, говоритъ онъ: „Я помню, что очень былъ радъ, что *другіе видѣли это*“...

Въ Толстомъ есть откровенность и наивность генія, но генія, выросшаго въ экзотическомъ, барскомъ кругу и въ теченіе всей своей жизни часто мучительно, часто безплодно, но всегда съ порывомъ огромной искренности старающагося освободиться отъ внушенныхъ обстановкой впечатлѣній дѣтства, отрочества, юности и дальше того—зрѣлыхъ лѣтъ. Это

борьба титана съ путами, борьба жестокая и упорная, но я и теперь еще не берусь сказать, кто побѣдилъ — духъ ли, рвущійся къ полной свободѣ и независимости, или эти внушенныя впечатлѣнія, эти пережитки вѣковыхъ условностей, эта экзотическая психологія, принимающая простую одежду и появленіе въ гостяхъ безъ галстуха за какой-то героизмъ, а голую, неприкрытую ничѣмъ, кромѣ босяцкаго цинизма, нищету за что-то необычайное.

Но, какъ бы то ни было, Толстой старался утихомирить свою взволнованную совѣсть благотворительностью. Скоро однако онъ убѣдился, что помочь бѣднымъ нельзя и что даже *не надо* имъ помогать. Конецъ этой исторіи извѣстенъ: Толстой бросилъ московскихъ бѣдныхъ, потому что, какъ онъ подробно объясняетъ, имъ нельзя было помочь. Онъ кой-кому изъ нихъ давалъ деньги—и разъ, и два, и три раза, и давалъ столько, сколько по ихъ собственнымъ расчетамъ нужно было, чтобы стать на ноги,—но все это ни къ чему не повело. Ни одного изъ нихъ Толстому не удалось спасти. Тогда онъ уѣхалъ въ свою деревню, чтобъ на досугѣ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ и найти выходъ изъ тяжелаго положенія. А положеніе было дѣйствительно ужасное. Слова, которыми опредѣлялъ Толстой свое настроеніе: „такъ нельзя жить“, показываютъ намъ, — если его разсказы о московской бѣднотѣ и не произвели на насъ должнаго впечатлѣнія, – какъ онъ самъ отнесся къ обнажившимся передъ нимъ язвамъ столичной жизни. И точно, какъ можетъ такой человѣкъ, какъ Толстой, жить, если на ряду съ нимъ существуютъ обитатели ночлежныхъ домовъ? Хорошо тѣмъ, которые никогда не открывали глазъ на эти ужасы. Но какъ быть тому, кто ихъ видѣлъ, кто ихъ не можетъ забыть, не хочетъ, не долженъ забыть? Можно ли ихъ забыть?

Убѣдившись (слишкомъ, впрочемъ, скоро) въ безполезности и ненужности филантропіи, Толстой рѣшилъ начать съ самого себя и въ своей жизни упразднить всѣ потребности и ту обстановку, и тѣ условія, которыя, какъ нѣчто общественное и практикуемое тысячами привилегированныхъ людей, создаютъ босячество и пролетаріатъ. Бѣдняки и пропойцы ночлежныхъ домовъ внушили Толстому мысль, что для излѣченія зла жизни надо, прежде всего, излѣчить самого себя, что внѣшняя неправда неизбѣжна при существованіи неправды внутренней, что, въ концѣ концовъ, надо начинать съ самихъ себя, безъ чего тщетны и ничтожны будутъ всѣ попытки общественнаго переустройства и если поведутъ къ чему, то развѣ къ созданію новаго рабства взамѣнъ нынѣшняго. Вполнѣ естественно и даже неизбѣжно для Толстого, какъ кающагося дворянина, какъ человѣка съ юности носившаго въ себѣ сознаніе трагическаго противорѣчія между бариномъ и мужикомъ, привилегированнымъ и непривилегированнымъ, было обратиться къ старику Акиму и въ его жизни искать указаній.

Совѣсть великаго писателя, возмущенная безобразіями и неправдой культуры, нашла свое успокоеніе въ подобіи крастьянской жизни. Съ этой поры онъ не разстается съ мыслью о долгѣ передъ народомъ, о необходимости расплаты съ нимъ и въ каждомъ вопросѣ онъ старается встать на мужицкую будто бы общинную точку зрѣнія. Критикуя современное искусство, Толстой говоритъ между прочимъ:

„Нынче вѣдь куда ни пойди—въ книжный магазинъ, въ посудный, ювелирный—вездѣ искусство. И не какое-нибудь любительское искусство, а патентованное, съ дипломами и золотыми медалями. Пойдите въ театръ—тамъ опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задираетъ. И эта гадкая глупость не только не считается неприличнымъ дѣломъ, а, напротивъ, возводится въ нѣчто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится въ газетахъ даже постоянное мѣсто, на ряду съ величайшими міровыми событіями. Нѣкоторые органы печати имѣютъ еще для этого и постоянныхъ цѣнителей, которые часто ночью, прямо изъ театра, ѣдутъ въ типографію и тамъ немедленно, при грохотѣ машинъ, пишутъ свои впечатлѣнія, поспѣшая, дабы міръ заутра могъ уже знать, какъ именно вчера такая-то госпожа въ такомъ-то театрѣ ноги вверхъ задирала“.

Недовольство рѣзкое, полное и есть верховный принципъ этого недовольства:

„Да, мы ѣдимъ, пьемъ, одѣваемся и наслаждаемся. Мы рисуемъ лѣпимъ, пишемъ, музицируемъ такъ, что „они“ насъ не понимаютъ. Для собственнаго развлеченія мы пропагандируемъ какія-то „пакостныя“ идеи и теоріи, мы даемъ просторъ своему извращенному и пресыщенному вкусу, восторгаемся „гнилымъ“ декадентствомъ и „наглымъ“ ницшеніанствомъ, тогда какъ мужикъ хочетъ и требуетъ, прежде всего, чтобы искусство возбуждало въ немъ *добрыя чувства*“. „Съ этой точки зрѣнія, — замѣчаетъ г. Шестовъ, — Толстой осуждаетъ все современное искусство, начиная съ собственныхъ произведеній и кончая Шекспиромъ, Данте, Гете, не говоря уже о менѣе видныхъ и особенно болѣе новыхъ писателяхъ, для осужденія которыхъ онъ въ своемъ краткомъ репертуарѣ добродѣтельно-бранныхъ словъ не находитъ достаточно сильныхъ выраженій“.

Посѣщеніе ляпинскаго дома, — хотя, разумѣется, этому посѣщенію совсѣмъ нельзя приписывать роли послѣдняго рѣшающаго момента, — показало Толстому весь ужасъ, весь цинизмъ жизни „безъ труда“. Страстно взялся онъ за трудъ, но не тотъ, который считался нужнымъ и важнымъ въ его кружкѣ и которымъ онъ занимался и раньше, а трудъ, наиболѣе соотвѣтствующій его ярко выраженному индивидуализму, цѣлью котораго было бы самолично и полное удовлетвореніе всѣхъ своихъ потребностей. Онъ сталъ пахать и сѣять, тачать сапоги и класть печи и, благодаря тому, что ему казалось, что онъ достигъ идеала, т. е. простоты мужиц-

каго существованія, и что самой жизнью своей онъ расплачивается за старый барскій грѣхъ жированія на чужой счетъ — на него нахлынула радостная волна бодраго и смѣлаго настроенія. Мрачное и тоскливое „такъ жить нельзя!“ смѣнилось увѣреніемъ, что черезъ *15 лѣтъ* все зло и страданіе жизни исчезнутъ.

Толстой увлекся сначала, такъ сказать, чисто внѣшнимъ обиходомъ крестьянской жизни, но по мѣрѣ того, какъ назначенный имъ для исцѣленія человѣчества пятнадцатилѣтній срокъ приходилъ къ концу, а человѣчество продолжало пребывать въ прежней грязи нищеты и униженія,— это увлеченіе крестьянской жизнью, стало принимать барски-мистическій характеръ подвижничества во имя искупленія грѣховъ. Къ этому времени относятся его мечты о нищей жизни, о раздачѣ своего имущества ближнимъ; здѣсь же зародилась его теорія безбрачія и вегетеріанства.

Мужикъ и мужицкая жизнь продолжали служить огненнымъ столпомъ во время этого долгаго и утомительнаго странствованія по песчанной пустынѣ въ поискахъ за живой водой вѣры и догмата, но это былъ уже мужикъ преобразованный — скорѣе раскольникъ, чѣмъ „мирный землепашецъ“, мужикъ, осмыслившій свою жизнь, знающій, гдѣ и въ чемъ ея правда и въ то же время сохранившій во всей его цѣлости крестьянскій обиходъ. „Правда жизни въ трудѣ и братскомъ единеніи“.

Толстой отказался отъ мысли, но не могъ отказаться отъ проповѣди, которая давала ему власть надъ людьми, потому что эта власть нужна ему, потому что самолюбіе его безмѣрно. Даже почтительный Сергѣенко дѣлаетъ положительно остроумное замѣчаніе, говоря: „Л. Н. Толстой въ то же время обладаетъ всеобъемлющей душой, жаждущей самосовершенствованія. Съ одной стороны — *ненасытная жажда власти* надъ людьми, съ другой—неодолимое рвеніе къ внутренней чистотѣ и сладости смиренія“—что легко объясняется встревоженнымъ голосомъ „привилегированной совѣсти“, неправдой привилегированной жизни вообще и ненепріятнымъ сознаніемъ своего безсилія отдѣлаться отъ этихъ привилегій, такъ облегчающихъ и красящихъ человѣческую жизнь...

Къ чему же привели исканія Толстого правдивой и осмысленной жизни? его ужасъ передъ направдами современной культуры, его отвращеніе къ ея рабству, распущенности? Къ тому конечно, что совѣсть и разсудокъ являются и должны являться первыми и главными руководителями жизни, что совѣсть человѣка запрещаетъ ему жить на счетъ труда ближняго, обращать этого ближняго въ раба, - а значитъ и участвовать въ какомъ бы то ни было организованномъ или неорганизованномъ насиліи надъ себѣ подобными. Совѣсть — верховный руководитель и если не въ силахъ человѣка уничтожить зло, то въ его силахъ удержаться отъ участія въ

практикѣ зла или отъ содѣйствія тѣмъ, кто это зло узаконяетъ и увѣковѣчиваетъ.

Несмотря на приступы мрачнаго отчаянія, о которыхъ самъ Толстой подробно разсказалъ въ „Исповѣди“, такіе приступы, когда онъ, счастливѣйшій изъ смертныхъ, прячетъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься, и не ходитъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни—въ немъ огромно и велико хотѣніе жить, все равно какъ огроменъ и великъ страхъ передъ смертью.

Вся его философія, всѣ противорѣчія его философіи, всѣ измѣны вчерашнему во имя сегодняшняго новаго и лучшаго или такого, которое кажется лучшимъ, объясняются его жаждой духовнаго самосохраненія. Человѣкъ могучей энергіи, онъ не хочетъ и не можетъ допустить отсутствія въ себѣ цѣльнаго и гармоническаго міросозерцанія, онъ хочетъ знать и понимать все. Его безпокоитъ печальная фигура Сони въ „Войнѣ и Мирѣ“—и онъ жестоко, страннымъ и наивнымъ толкованіемъ евангельскаго текста оправдываетъ смерть ея духа и увяданіе ея жизни; онъ ведетъ на гибель Анну и Вронскаго потому, что въ ту минуту, когда онъ ведетъ ихъ, ему для собственнаго спокойствія, блага и равновѣсія нужны абсолютныя правила, торжество которыхъ—самое важное и цѣнное, безконечно болѣе важное и цѣнное, чѣмъ личное счастье человѣка. Онъ напуганъ циничной гибелью обитателей ляпинскаго и рожновскаго домовъ, сначала „благотворитъ“ имъ, но потомъ, понявъ, правильно или неправильно—безразлично, что эта циничная гибель явилась результатомъ пренебреженія къ труду, страстно берется за этотъ самый трудъ, стараясь наполнить имъ весь свой день. Культура со всѣми своими условностями, всей своей нищетой и развратомъ камнемъ ложится на его совѣсть, и онъ всѣми силами старается отдѣлаться отъ нея.

Это исканіе правды и смысла жизни, это страстное желаніе отдѣлаться отъ привилегій, чтобы стать просто человѣкомъ — дѣйствительно прекрасное и всемірно историческое зрѣлище. Конечно, во всемъ этомъ много мечтательности, много чрезмѣрныхъ заботъ о собственной нравственной чистотѣ, даже чистоплотности, но когда говорятъ объ этомъ, то забываютъ, что всѣ указанныя черты только частичка гиганта Толстого, а не весь онъ, что весь онъ и не понятъ еще нами, что мы поймемъ его не раньше, чѣмъ поймемъ всю нашу прошлую культуру, самымъ типичнымъ, самымъ мощнымъ, красивымъ и самонадѣяннымъ представителемъ которой онъ является.

Не начатки Толстого важны и не его проповѣдь важна,—важна его суровая критика, полная искренности, важно то, что въ Москвѣ или Ясной Полянѣ живетъ человѣкъ, который, какъ всѣ люди, можетъ испытать

обманъ и иллюзію, но не можетъ примѣниться къ нимъ, который все самъ то дерзко, то съ несомнѣннымъ страданіемъ и мукой срываетъ мишуру нашего культурнаго бытія. Что бы тамъ ни говорили, это во всякомъ случаѣ „человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенской жизнью. Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный". Это, говоря высокимъ слогомъ, герой-богатырь и Микула Селяниновичъ не только нашей литературы, но и нашей жизни, человѣкъ, не знающій, что такое *трусость мысли*...

„Воскресеніе" Толстого лучше всего доказываетъ, какъ неутомимо работаетъ его критическая мысль, какъ старается онъ вскрыть язвы нашей жизни, похоронить мертвецовъ и еще разъ напомнить людямъ, что „суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы", что „веселы растенія, птицы и насѣкомыя и дѣти, но люди—большіе, взрослые люди—не перестаютъ обманывать и мучить другъ друга", что они считаютъ, что „важно не это весеннее утро, не эта красота міра Божія, данная для блага всѣхъ существъ, красота, располагающая къ миру, согласію и любви, а священно и важно то, что мы сами выдумали, чтобы властвовать надъ людьми..."

Толстой въ своемъ романѣ перечисляетъ всѣ тѣ субботы, въ жертву которымъ люди приносятъ живущее въ ихъ душѣ царство Божіе. Это субботы условностей, обычаевъ и приличій, жестокости и власти надъ другими, субботы формализма, рутины и правилъ, желанія стать выше другихъ и показать свое превосходство надъ ними. Въ этомъ смыслѣ воистину геніальнаго романа...

„Суббота для человѣка,—а не человѣкъ для субботы",—эта простая истина имѣетъ универсальный, общеисторическій смыслъ. Было всегда и есть теперь много ненужныхъ субботъ, которыя стѣсняютъ и давятъ людей. Онѣ, созданныя когда-то жизнью, скоро перерастаютъ ее и затѣмъ продолжаютъ существовать независимо отъ общественныхъ нуждъ. Вмѣсто того, чтобы служить человѣку, человѣкъ начинаетъ служить имъ. Это то, къ чему мы привыкли, но что не нужно намъ. Это то, что усложняетъ жизнь механически, лишая ее органической цѣльности. Это общественные предразсудки и установленія въ тѣ историческіе моменты, когда они отслужили свою службу обществу. Это мертвецы, которыми мы окружены и которые сами не живутъ и другимъ не даютъ жить. И именно противъ этихъ механическихъ усложненій жизни протестовали лучшіе люди въ исторіи. То упрощеніе жизни, къ которому они стремились есть такимъ образомъ не сокращеніе ея органическаго роста, а отрицаніе всевозможныхъ условныхъ, отжившихъ институтовъ".

Но Толстой не только протестуетъ, онъ требуетъ борьбы во имя жалости и состраданія, во имя человѣческаго достоинства и голоса правды,

живущаго въ каждомъ изъ насъ,—голоса, который не можетъ заглушить ни грязь, ни униженія жизни. Онъ говоритъ намъ: вотъ передъ вами непохороненные мертвецы, вотъ призраки, пугающіе васъ, вотъ тѣни прошлаго и его пережитки, ничего не дающіе живой жизни и требующіе лишь новыхъ и новыхъ жертвъ... Устыдитесь, воспряньте духомъ: борьба въ сердцѣ вашемъ возможна, необходима, легка и несетъ за собой радость.

Подведу итоги. Прежде всего для меня очевидно, что между Толстымъ-художникомъ и Толстымъ-моралистомъ и проповѣдникомъ существуетъ непримиримое противорѣчіе. Толстой-художникъ отрицаетъ роль личности въ исторіи, ея силу, Толстой-моралистъ строитъ свою проповѣдь на признаніи этой роли и силы. Для Толстого-художника человѣкъ, прежде всего жертва, для Толстого-моралиста человѣкъ герой.

Да, это такъ... И чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только спросить себя: развѣ идея необходимости не составляла всегда той оси, вокругъ которой творчество Толстого сдѣлало свой полный оборотъ? Развѣ не это идея „Войны и Мира“, „Анны Карениной“ и даже „Крейцеровой сонаты“ или „Власти тьмы?“ Развѣ, читая эти дивныя произведенія, вы не убѣждаетесь на каждой страницѣ, что все случилось именно такъ, какъ должно было случиться, и что иначе оно и случиться не могло, что въ жизни есть какая-то страшная, неотразимая логика, не видя, не понимая которой, люди живутъ иллюзіями страстей и своей будто бы свободной воли... Развѣ Соня могла добиться личнаго счастья, развѣ Анна могла не кончить самоубійствомъ?

Прекрасно замѣтилъ одинъ изъ нашихъ критиковъ, имѣя въ виду именно этотъ самонадѣянный элементъ проповѣди Толстого:

„...Нужно удивляться,—говорилъ онъ,—какъ графъ Толстой не понялъ этого въ человѣческой природѣ. И особенно странно это будетъ для всякаго, кто вчитываясь въ художественныя произведенія его, наблюдалъ, какъ всюду, рисуя жизнь человѣческую, онъ оттѣняетъ *принудительность* всѣхъ движеній человѣческаго сердца, его страстей и антипатій и вытекающихъ отсюда дѣйствій. Неопредѣленности, хаотичности, безбрежнаго произвола онъ мудро не нашелъ въ жизни и не изобразилъ. Все движется у него свободно и однако *по опредѣленнымъ путямъ отъ которыхъ не уклонится*. Красота жизни, по этимъ путямъ движущейся и развивающейся, *только повидимому свободной*, но уже данной, заложенной въ характерахъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ,—это и составляетъ неисчерпаемый художественный и философскій интересъ его произведеній.

„И вотъ, такъ мудро и такъ глубоко понявъ жизнь, онъ непости-

жимымъ образомъ на самый источникъ ея—человѣка, въ моментъ такихъ страшныхъ для себя тревогъ и рѣшеній, вдругъ посмотрѣлъ, какъ ребенокъ. Все непонятно въ этомъ, и однако все это такъ. Самъ изливший такое богатство идей, самъ невольно и, быть можетъ, иногда безсознательно бравшій перо и писавшій чудныя страницы своихъ произведеній, Богъ знаетъ откуда и однако нетерпѣливо выливавшіяся,—этотъ человѣкъ могъ подумать и сказать, что другіе люди, милліоны подобныхъ ему существъ, могутъ по произволу заставлять себя или тачать сапоги, или заниматься философіей; что человѣкъ есть самодвижущаяся кукла, которая можетъ опредѣлить себѣ: „пойду до этого", или, еще—„никогда не сверну направо". Удивительное зрѣлище пророка истиннаго пророка, который подумалъ бы, что вдохновенныя рѣчи говоритъ черезъ него не Богъ, но обманщикъ-жрецъ, за нимъ сидящій.

„Какъ только произошла эта ошибка въ главномъ,—еще въ тѣ старые тревожные дни, которые пережилъ въ своей совѣсти нашъ знаменитый писатель,—такъ тотчасъ все смѣшалось въ хаосъ въ его идеяхъ и требованіяхъ. Все стало ошибочно и однако ужъ непреодолимо,—разъ отклонились въ сторону при разрѣшеніи центральнаго вопроса его высокое сердце и благородный умъ. Неизбѣжно стало отрицаніе всего, что, за отсутствіемъ связи съ какой-либо высшею цѣлью, потеряло опору въ себѣ. Все, что наросло на человѣкѣ въ исторіи,—представилось ему,—наросло фатально и ненужно, безъ какого-либо опредѣленнаго смысла и безъ прочнаго основанія. Все это не выросло изъ человѣка, но придумано имъ, какъ забава для своего пустого ума или для заглохшаго сердца. Только безъ цѣли все это давитъ людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать передъ природой такъ же легко, какъ стояли тысячелѣтія тому назадъ". (*В. Розановъ.*)

Это вѣрно. „*Теперь* Толстой хочетъ *сразу* перешагнуть въ царство любви и правды, онъ призналъ полную, абсолютную свободу человѣческой воли, полную и безусловную возможность согласовать историческій ходъ развитія съ нашими желаніями и такъ же смѣло сталъ отрицать необходимость и закономѣрность нашей жизни".

То же говоритъ и г. Шестовъ съ своимъ обычнымъ недовѣріемъ къ Толстому:

„Несомнѣнно, что не только Ницше, но и гр. Толстой съ учениками разговариваетъ по-школьному, дѣлясь съ ними только „выводами" и утаивая отъ нихъ ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительнымъ удѣломъ „учителя". Оттого у него на первый планъ выдвигается чисто писаревская, т. е. юношеская увѣренность, что „стоитъ только захотѣть людямъ", и искусство для искусства будетъ замѣнено другимъ хорошимъ искусствомъ. Гр. Толстой знаетъ, что кроется подъ этимъ „стоитъ людямъ захотѣть". Въ этихъ словахъ говоритъ не писаревская молодая вѣра, а разочарованіе долго и упорно боровшагося стараго человѣка, рѣшившагося отказаться отъ неравной

борьбы. Онъ эти слова не для себя придумалъ, а для учениковъ, для другихъ, чтобы имѣть возможность отвязаться отъ преслѣдующихъ сомнѣній и перейти отъ ставшаго невыносимо тяжелымъ дѣла—философіи—къ болѣе легкому, простому и утѣшительному занятію—проповѣди".

Но имѣя въ виду это противорѣчіе можно согласиться, какъ кажется, въ слѣдующемъ:

1) Толстой, съ моей точки зрѣнія, является самымъ крупнымъ и яркимъ выразителемъ всѣхъ лучшихъ идеалистическихъ сторонъ нашей прежней старо-барской культуры. Въ своихъ произведеніяхъ онъ подвелъ ей итоги, онъ далъ ея отрицаніе, но не могъ, конечно, освободиться отъ ея власти, потому что это власть вѣковъ и поколѣній. Онъ говоритъ не отъ себя, онъ говоритъ отъ всего прошлаго, вѣрнѣе сказать, его верховъ—его высшаго слоя, почему естественно, что

2) мотивъ совѣсти является преобладающимъ въ его книгахъ, его работахъ, всей его жизни. Его основная задача найти миръ и спокойствіе своей встревоженной совѣсти. Съ самаго начала эта задача встала передъ нимъ во всей ея огромности. Онъ зналъ ее еще въ дни юности, когда онъ увлекался Лермонтовымъ, когда вмѣстѣ съ нимъ, смотря на картины войны, онъ могъ сказать:

Я думалъ: „жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ*?.."

И это „зачѣмъ?" —вопросъ неотвязный, вопросъ на всю жизнь. Сначала на Кавказѣ или подъ Севастополемъ странно и дико было видѣть среди этой грандіозной, могучей природы маленькихъ людей мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ, и странной казалась смерть живого и страстно хотящаго жить существа отъ крошечной пульки, у подножья суроваго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, таинственномъ; потомъ все болѣе странной и дикой стала казаться вся человѣческая жизнь съ случайнымъ и жестоко-несправедливымъ распредѣленіемъ счастья и страданія... Культура и культурное существованіе все болѣе тяготили совѣсть;

3) у Толстого, какъ у кающагося дворянина, *между прочимъ*, какъ у человѣка, по праву своего рожденія получившаго огромныя привилегіи, совѣсть должна была говорить особенно властно и сильно. Я указывалъ выше, что мѣрка кающагося дворянина, какъ слишкомъ узкая, хотя и глубокая, исторически такъ превосходно покрывающая нашихъ самобытныхъ „радикаловъ"—далеко не покрываетъ собой сложной и огромной психологіи Тол-

стого, но и этого элемента не вычеркнешь изъ его души, и онъ самъ дорожитъ имъ, самъ цѣнитъ его, что доказывается его любовнымъ отношеніемъ хотя бы къ пустопорожнему князю Нехлюдову. Толстой позналъ муки за свое привилегированное общественное положеніе: оно стѣсняло его, какъ сытость среди голодныхъ, какъ слишкомъ яркій и дорогой костюмъ среди оборванцевъ человѣчества, но совсѣмъ разстаться съ нимъ онъ, конечно, не могъ, хотя, какъ раньше, такъ и теперь, мысль о тѣхъ—

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Заниматься искусствомъ, наукой,
Предаваться мечтамъ и страстямъ

—болѣзненно смущаетъ его. Чтобы примирить свой внутренній міръ, гармонія котораго постоянно нарушалась „жертвами культуры и цивилизаціи", онъ сталъ

4) стремиться къ простотѣ жизни. Конкретный образъ этой простой, правдивой жизни былъ данъ ему мужикомъ. Сначала онъ постарался приблизиться къ нему съ внѣшней стороны; сталъ пахать, косить и сѣять, тачать сапоги, класть печи, но постепенно мужицкое міросозерцаніе все больше овладѣвало имъ. И онъ сталъ громить культуру, науку, цивилизацію, сталъ ставить имъ строго утилитарныя, практическія цѣли, сталъ требовать отъ нихъ немедленнаго исцѣленія язвъ человѣчества, проповѣди добра и братскаго единенія и, находя, что они въ этомъ случаѣ безсильны, отвергъ ихъ Главные пункты его обвиненія сводятся къ тому, что

5) культура, наука и искусство, служа интересу лишь сильныхъ и богатыхъ, только усложняютъ жизнь и находятъ это служеніе богатымъ и сильнымъ настолько для себя пріятнымъ и выгоднымъ, что еще больше угнетаютъ и принижаютъ массу, которая можетъ подняться лишь съ торжествомъ добра и братскаго единенія. Между тѣмъ и добро, и братское единеніе совершенно забыты культурой, наукой и цивилизаціей. Эти послѣднія „три" только *усложняютъ жизнь, господиномъ которой каждый можетъ быть лишь при ея безусловной простотѣ, при ея потребительно-хозяйственныхъ и общинныхъ укладахъ*. Каждый самъ долженъ удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ и имѣть для этого достаточныя средства. Идеаломъ является близость къ природѣ и жизнь, согласно ея указаніямъ, которыя воистину прекрасны. Въ этомъ идеалѣ наиболѣе ярко проявился титаническій индивидуализмъ Толстого, какъ проявился онъ и

6) въ его нравственной проповѣди, и между прочимъ, въ требованіи непротивленія злу, которое напрасно понимается, какъ голосъ смиренномудрія. Смиренномудрія у Толстого нѣтъ, есть

7) гордыня мысли, есть пугающая даже сила вѣры въ свою мысль и ея безусловную истинность. Эта сила вѣры, порожденная геніемъ, безконечными удачами, тѣмъ, что Толстой говоритъ не отъ себя, а отъ стихійной мудрости вѣковъ и поколѣній, отъ радостей и разочарованій всей нашей старо-барской культуры,—вынесла испытанія почти невѣроятныя, но и теперь осталась такой же могучей, юной и смѣлой, какой была десятки лѣтъ тому назадъ. Сомнѣнія безмѣрныя, отчаяніе глубокое, внушающее даже мысль о самоубійствѣ—все „образовалось", и старый, великій человѣкъ не знаетъ дряхлости мысли, какъ не знаетъ онъ дряхлости тѣла. Онъ попрежнему дѣятеленъ, попрежнему ищетъ, попрежнему учитъ, попрежнему презрительно отвергаетъ всѣ отвѣты, идущіе извнѣ, и говоритъ: „это не то, это вы оставьте. Это лѣнь вашей мысли и равнодушіе вашего сердца, это робкая жажда покоя и примиренія заставляетъ васъ привѣтствовать пустыя и ничтожныя поправки нашего знанія и нашего общежитія..." А самъ онъ непримиримъ, потому что онъ вѣритъ въ силу человѣческаго хотѣнія, во всемогущество голоса внутренней правды, въ возможность воскресенія для каждаго, какъ бы низко онъ ни палъ, въ возможность воскресенія всей жизни и, какъ проповѣдникъ,

9) совершенно отрицаетъ внушенную намъ наукой, культурой и сложностью жизни вообще, идею исторической необходимости. Онъ считаетъ ее ненужной и ничтожной, быть можетъ, главнымъ врагомъ своей проповѣди. Не видитъ и не хочетъ видѣть, какую силу придаетъ она людямъ, какъ, опираясь лишь на нее, могутъ они создавать свои воздушные замки на каменномъ фундаментѣ. Онъ говоритъ намъ о фикціи свободнаго человѣка, и въ этомъ

9) дивная красота и привлекательность его проповѣди...

10) Толстой понялъ, что наша культура—это прежде всего обязательство, это прежде всего уступка части или всего себя другимъ для „пользы цѣлаго", для построенія какого-то, невѣдомаго никому зданія проблематическаго будущаго. Какъ и Толстой, каждый человѣкъ, въ большей или меньшей степени чутній, сознаетъ, что культура требуетъ отъ него очень многаго, даетъ же ему взамѣнъ очень мало, если только онъ весь не ушелъ въ свое собственное довольство—этотъ счастливый исходъ большинства.

Ѳ. М. Достоевскій (1822—1881). Имя Достоевскаго упоминается, обыкновенно, на ряду съ именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станетъ отрицать за нимъ права быть поставленнымъ въ первыхъ рядахъ „стаи славной" беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но если и возможно сближать Достоевскаго съ его сверстниками съ точки зрѣнія мѣста,

времени, силы таланта и общности „литературнаго происхожденія“ отъ Гоголя, то подобное сближеніе очень трудно и потребуетъ самыхъ замысловатыхъ натяжекъ, разъ мы перейдемъ къ духу, смыслу и формѣ произведеній. Всѣмъ этимъ Достоевскій уже обязанъ преимущественно себѣ и страннымъ обстоятельствамъ своей личной жизни. Это—его неотъемлемая собственность, въ которой ярко выразилась его рѣзко очерченная индивидуальность, его болѣзненный психопатическій геній, оригинальность его мышленія и фантазіи, не имѣющая ничего подобнаго и равнаго въ русской литературѣ. Положительно трудно не согласиться съ словами Н. Н. Страхова изъ его письма къ Достоевскому: „очевидно, по содержанію, по обилію и разнообразію идей вы—у насъ первый человѣкъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не противорѣчитъ то, что на всемъ вашемъ лежитъ особенный и рѣзкій колоритъ“. Въ чемъ же эта, всѣми замѣченная, но никѣмъ вполнѣ ясно не формулированная особенность всей жизни и всей дѣятельности Достоевскаго? Кой-какія параллели дадутъ намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Въ произведеніяхъ Гончарова и, въ особенности Тургенева, вамъ прежде всего, бросается въ глаза удивительная отдѣлка формы. Все вызолочено, вылощено, отлакировано, отполировано, каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, въ которой было бы замѣтно утомленіе или неровность таланта. Каждое произведеніе такъ и просится въ переплетъ съ золотымъ обрѣзомъ. Каждая фигура, каждая, даже мимолетно проявляющаяся на сцену личность у Тургенева—точно изъ мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки разъ обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потомъ уже давалось публикѣ на прочтеніе, съ полной увѣренностью въ успѣхѣ, безъ всякой торопливости, безъ всякихъ заискиваній. Хорошо такъ работать, и счастливъ тотъ художникъ, который можетъ такъ работать. Но для этого нужны, прежде всего, средства и выдержка, внутренняя дисциплина. Ни того, ни другого у Достоевскаго не было. Во всю свою жизнь только двѣ вещи онъ написалъ не на спѣхъ и не къ сроку. Это—„Бѣдные люди“—первый его романъ и „Братья Карамазовы“—послѣдній. Все остальное писалось столько же изъ потребности, сколько и изъ-за заработка, когда, бывало, и ѣсть нечего, и самъ Достоевскій по уши въ долгахъ сидитъ въ Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключеніями, у Достоевскаго нѣтъ ничего выдержаннаго, обработаннаго. Иногда цѣлая сотня страницъ производитъ впечатлѣніе какого-то набора словъ, и только вдругъ, въ концѣ, геній, преодолѣвъ усталость, проявляется во всю мощь, точно молнія прорѣзываетъ тучи и освѣщаетъ всю картину фантастическимъ,

дивнымъ блескомъ. Обыкновенно же—это тысячи ненужныхъ подробностей, десятки отдѣльныхъ интригъ, нагроможденныхъ другъ на друга, частыя перемѣны темъ, внезапныя появленія новыхъ героевъ и героинь. Все это на спѣхъ, на-скоро, съ натугами и порывами, кризисами творчества, молніеносными проблесками генія и удручающимъ вымучиваніемъ. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевскій не умѣлъ и зачастую запродавалъ, вмѣсто романа, бѣлый листъ бумаги, при чемъ „мошенники издатели" огораживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевскаго, вѣдь это одинъ и тотъ же мотивъ: „денегъ, денегъ, денегъ", и мало-мальски чувствующій и мыслящій человѣкъ пойметъ, какая трагедія разыгрывалась въ душѣ великаго писателя, которому къ такому-то сроку непремѣнно надо приготовить такое-то количество листовъ. Разъ попавши въ лапы гг. Краевскихъ, Стелловскихъ, Достоевскій только подъ конецъ жизни вырвался изъ нихъ. Какой же силы долженъ былъ быть талантъ, успѣвшій проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и рѣзкіе признаки если и не помраченія, то, во всякомъ случаѣ, психопатизма, по нашему – истеричности?..

Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ писали и пишутъ, потому что у нихъ была потребность писать, такая же неотразимая, „органическая", какъ у другихъ ѣсть, пить, спать. Литература для нихъ—главное дѣло жизни, но не будь у нихъ таланта, они преспокойно прожили бы и безъ нея. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевскаго литературная дѣятельность была столько же потребностью, сколько и необходимостью. Онъ самъ себя не разъ называлъ литературнымъ пролетаріемъ и называлъ совершенно основательно, хотя успѣхъ и удача пріобрѣтались имъ сравнительно легко. Какъ ни великъ былъ его геній, спѣшка портила дѣло, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя, то со злобой, то съ отчаяніемъ повторять: „эхъ, кабы хоть одинъ романъ написать такъ, какъ пишутъ Тургеневы да Толстые"... А сколько униженій, сколько невидныхъ самолюбивыхъ мукъ, сколько зависти и ревности къ другимъ, болѣе счастливымъ, которымъ отъ рожденія дано то, чего ему Достоевскому, удалось достичь лишь трудомъ цѣлой жизни, т. е. матеріальнаго обезпеченія. Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказовъ, писать, несмотря на припадки, и пр. Жизнь Достоевскаго—это полная трагизма борьба генія съ рынкомъ...

Но, вмѣстѣ съ этимъ, Достоевскій до страсти любилъ литературу и внѣ ея не искалъ ни заработковъ, ни занятій. Онъ съ гордостью называлъ себя литераторомъ, хотя и нищимъ литераторомъ, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую-нибудь казенную должность или что-нибудь въ

этомъ родѣ. Только по временамъ срывались у него невольныя проклятія, когда нужда слишкомъ ужъ начинала давить, но и тутъ онъ твердо оставался на посту. Вотъ любопытный отрывокъ изъ одного письма, достаточно характеризующій эту душевную трагедію литературнаго пролетарія. Дѣло въ томъ, что Канширевъ, редакторъ „Зари", не выслалъ ему къ сроку 75 р. Достоевскій разражается слѣдующими строками: „Неужели онъ думаетъ, что я писалъ ему о своей нуждѣ только для красоты слога. Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ. Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ. Но, вѣдь, моя жена кормитъ ребенка, что жъ, если она послѣднюю свою шерстяную юбку идетъ сама закладывать. А, вѣдь, у насъ второй день снѣгъ идетъ, не вру справьтесь въ газетахъ,—вѣдь она простудиться можетъ. Неужели онъ не можетъ понять, что мнѣ стыдно объяснять ему все это. Да неужели уже онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я писалъ ему о нуждахъ жены. Оскорбилъ, оскорбилъ... — Онъ скажетъ, можетъ быть: „а чортъ съ нимъ и съ его нуждой. Онъ долженъ просить, а не требовать" и т. д. И такую вещь приходится писать автору „Бѣдныхъ людей", „Записокъ изъ Мертваго дома", „Преступленія и наказанія"... Фразы же, въ родѣ— „я до того заработался, что отупѣлъ, и голова какъ забитая"—повторяются постоянно.

И все же Достоевскій не только не оставлялъ, но даже и не думалъ оставить своей литературной лямки.

Оставимъ однако борьбу съ рынкомъ и перейдемъ къ другой сторонѣ вопроса. „Ловкій французъ или нѣмецъ,—писалъ Н. Н. Страховъ къ Достоевскому,—имѣй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошелъ бы первостепеннымъ свѣтиломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секретъ, мнѣ кажется, въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вмѣсто двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образѣ и десяткѣ сценъ". Этотъ совершенно вѣрно указанный недостатокъ—такъ какъ сущность литературнаго таланта въ томъ и состоитъ, чтобы съ наименьшими затратами выраженія, въ широкомъ смыслѣ слова, произвести наибольшее впечатлѣніе на читателей—происходитъ отчасти отъ спѣшки въ работѣ, отчасти и отъ другихъ причинъ. Дѣло въ томъ, что талантъ Достоевскаго,—талантъ совсѣмъ особенный, исключительный. Владѣть имъ онъ такъ и не научился до конца жизни. Это талантъ неровный, вспыльчивый, раздражительный, до послѣдней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновеніе, иначе у него и двухъ строкъ не выходило. Свои темы онъ бралъ сразу, приступомъ, однимъ размахомъ

рисовалъ самые сложные сгоп типы, напр., Ив. Карамазовъ, Раскольниковъ, Свидригайловъ, а не подбирался къ нимъ исподтишка, понемногу. Великій мастеръ въ психологическомъ анализѣ, Достоевскій совсѣмъ не былъ мастеромъ въ детальной живописи. Онъ не могъ такъ возиться, такъ разглядывать по частямъ своихъ героевъ, какъ Толстой, не умѣлъ такъ вырисовывать ихъ, какъ Тургеневъ, но онъ, какъ никто, умѣлъ жить съ ними, страдать съ ними, мучиться и волноваться. Созерцательности въ немъ не было ни на іоту, оттого-то творчество такъ истощало его. Въ то время, какъ Гончаровъ смотритъ на жизнь удивительно умнымъ, понимающимъ и въ то же время удивительно сытымъ взглядомъ, Достоевскій—весь нервы, весь напряженіе, весь мука и томленіе. Когда Толстой стоитъ передъ вами, вперивъ свой испытующій геніальный взглядъ въ самую глубину души человѣческой, творя судъ надъ правымъ и неправымъ съ медлительностью все испытавшаго и все постигшаго генія, Достоевскій или проклинаетъ, или благословляетъ, съ любовью или съ ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность таланта, это вѣчное клокотаніе въ груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виноватъ въ этомъ личный, по наслѣдству полученный Достоевскимъ характеръ, его, какъ сейчасъ увидимъ, истеричность, а потомъ и еще одно обстоятельство. „Въ то время, какъ большинство беллетристовъ 40-хъ годовъ, будучи выходцами изъ деревень, принадлежатъ къ рыхлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически нервнымъ сыномъ города, а во-вторыхъ, въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата“. Этому сыну города, интеллигентному пролетарію всегда раздраженному, всегда разстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу съ жизнью и рынкомъ, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своихъ героевъ. Его безпокоитъ жизнь, ея матеріальная сторона, ея нравственныя проблемы. Онъ какъ бы сторонится отъ красоты, изящества, наслажденія. Онъ терпѣть не можетъ никакихъ художественныхъ аксессуаровъ. Жизнь—это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Гдѣ тутъ цѣловаться да миловаться—или описывать поцѣлуи да милованія. Жизнь—задача, долгъ, обязанность, борьба, наконецъ, послѣ которой руки и ноги будутъ въ крови. Поэтому въ произведеніяхъ Достоевскаго вы не найдете ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни обворожительныхъ женскихъ типовъ. Все это Достоевскій отрицаетъ въ принципѣ. Въ „Вѣсахъ“, въ лицѣ писателя Карамазинова, онъ потѣшался надъ Тургеневымъ за его „страсть изображать, напр., поцѣлуи не такъ,

какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться въ ботаникѣ, при чемъ и на немъ долженъ быть непремѣнно какой нибудь фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно, никто не видалъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непремѣнно какого-нибудь оранжеваго цвѣта". Этотъ пуризмъ, очевидно, происходилъ отъ слишкомъ серьезнаго, слишкомъ вдумчиваго отношенія къ жизни, которая представлялась Достоевскому, какъ религіозная проблема прежде всего. Все равно, какъ каждаго его героя жизнь прежде всего мучаетъ, такъ она мучила и его самого. Гдѣ тутъ описывать поцѣлуи интересныхъ паръ... Это-то ужъ, несомнѣнно, взглядъ тяжкодума, городского пролетарія на жизнь.

Сынъ города виденъ также и въ выборѣ сюжетовъ. Баре Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ баръ прежде всего и рисовали и, какъ дополненіе къ нимъ, мужика. Третьяго сословія, горожанъ, мѣщанъ, разночинцевъ, они почти не затрагивали, иногда развѣ, преимущественно для ради „опроверженія". Изящнаго общества Достоевскій не зналъ и не выводилъ на сцену въ своихъ произведеніяхъ. Міръ чиновничества, интеллигенціи, городского пролетаріата — вотъ его сфера. „Онъ любитъ вводить читателя въ городскіе вертепы, трущобы, гдѣ царятъ нищета и развратъ. Онъ даже, какъ Диккенсъ, проникнутъ ихъ мрачной поэзіей. Не вдаваясь въ описаніе красотъ природы, онъ очень часто развертываетъ передъ читателемъ иного рода ужасающія картины, отъ которыхъ мурашки ползутъ по спинѣ. Это въ особенности Петербургу свойственная картина городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье, или зимнюю вьюгу, когда всѣ, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ завываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголкахъ, и лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ снѣгомъ, пронизываемыя вѣтромъ и погруженныя въ какія-нибудь полубезумныя грезы".

Къ довершенію всего, т. е. своей особенности, Достоевскій былъ несомнѣннымъ психопатомъ, не помѣшаннымъ, говорю я, а психопатомъ, что не то же самое. Въ дѣтствѣ онъ страдалъ галлюцинаціями, потомъ падучей. Но и кромѣ этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знаетъ всякій, это мучительное недовѣріе къ себѣ, своимъ силамъ, жизни, это подозрительность въ отношеніи ко всякому, опять-таки начиная съ себя, это боязнь, испуганность передъ жизнью вообще. Что же такое „истеричность", объ этомъ лучше всего скажетъ намъ самъ Достоевскій — величайшій изъ психопатологовъ. Отсылая за подробностями къ „Братьямъ Карамазовымъ", я беру характеристику истерической натуры въ изложеніи д-ра Чижа: это

„неустойчивое равновѣсіе психическихъ отправленій, чрезмѣрно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакція психическаго механизма и быстрая смѣна его возбужденій. Въ характерѣ такого рода больныхъ бросается въ глаза пестрая смѣсь настроеній и аффектовъ, симпатій и антипатій, представленій то веселыхъ, то грозныхъ, то серьезныхъ, то низменныхъ, то съ философскимъ пошибомъ, стремленій, полныхъ энергіи, но скоро и пропадающихъ... У этихъ же больныхъ есть и другая замѣчательная черта—самолюбіе. Они самые наивные эгоисты, говорятъ только о себѣ и постоянно, съ самымъ живымъ интересомъ, стараются обратить на себя общее вниманіе, возбудить участіе, заинтересовать всѣхъ своею личностью, своею болѣзнью, даже пороками". Въ этомъ портретѣ трудно не узнать Ѳед. Мих. Достоевскаго, его неуравновѣшенную, неровную натуру, полное отсутствіе внутренней дисциплины, капризность, быструю, безпричинную смѣну восторговъ и отчаянія, симпатій и антипатій, крайняго увлеченія и холоднаго равнодушія. Страшно за человѣка, которому приходится жизнь прожить съ такимъ характеромъ, а къ тому же если этотъ человѣкъ талантливъ, бѣденъ, наивенъ, какъ ребенокъ...

* * * *

Литературную дѣятельность Достоевскаго можно грубо раздѣлить на два періода: до каторги и послѣ каторги. Первый былъ главнымъ образомъ посвященъ униженнымъ и оскорбленнымъ, человѣческому страданію вообще и протесту противъ него съ точки зрѣнія гуманныхъ началъ, выработанныхъ движеніемъ 40-хъ годовъ. Во второмъ періодѣ Достоевскій сосредоточилъ главное свое вниманіе на изученіи русскаго „своеволія", которому и посвящены лучшіе его романы „Преступленіе и наказаніе", „Бѣсы", „Братья Карамазовы".

Опредѣляя свое литературное происхожденіе, онъ говоритъ: „всѣ мы вышли изъ Гоголевской „Шинели". Не изъ „Шинели" вышли, конечно, „Преступленіе и наказаніе" или „Братья Карамазовы", но „Шинель" могла дать толчокъ къ вдохновенію для „Бѣдныхъ людей", „Двойника", „Униженныхъ и оскорбленныхъ" и т. д. Важнѣе „Шинели" общее филантропическое настроеніе эпохи, которое заступилось за права угнетенныхъ, на какой бы ступени общественной лѣстницы они ни находились. Самъ больной, несчастный и всю жизнь нищій, Достоевскій такъ глубоко, какъ никто, могъ заглянуть въ эти подполья и чердаки нашей общественной жизни и въ психологію оскорбленнаго, въ которомъ теплится еще искорка собственнаго достоинства. Оскорбленнаго за что? Вотъ вопросъ, который мучаетъ героевъ первой половины его литературной дѣятельности, и этотъ вопросъ задаютъ себѣ одинаково настойчиво и Дѣвушкинъ, и Голядкинъ, и Иванъ

Петровичъ, стоя передъ глухой стальной сѣткой общаго равнодушія человѣка къ человѣку. „За что? Развѣ мнѣ нѣтъ мѣста на землѣ? Развѣ крупица счастья не должна бы выпасть и на мою долю?“—робко вообще и смѣло лишь въ припадкахъ сумасшествія, съ тоской безнадежности и взрывами негодованія, съ жгучей ненавистью и съ жгучей любовью къ людямъ спрашиваютъ себя эти замухрышки-чиновники и замухрышки—писатели, у которыхъ лишь изрѣдка достаетъ силы, чтобы совсѣмъ уйти въ подполье и оттуда „мстить“ людямъ, но мстить, терзая себя и полосуя свое сердце каждой местью. Тутъ у Достоевскаго глубочайшая психологія современнаго человѣка—пролетарія, рвущагося къ жизни и безжалостно отталкиваемаго отъ нея то дворянскими привилегіями, то наглостью сильныхъ, то чѣмъ-то стихійнымъ, вырастающимъ до размѣровъ судебъ. Но что же дѣлать съ этимъ выпавшимъ на долю униженіемъ, какъ принять его? Какое фантастическое зданіе смиренія, радостно воспринимающаго удары, или же борьбы, свирѣпо расточающей эти удары, надо выстроить, чтобы жить? И каждый романъ Достоевскаго—такое новое зданіе, въ которомъ могъ бы жить живой Богъ человѣка, давая ему отвѣты на всѣ вопросы, разрѣшая всѣ сомнѣнія, обрекая на смиренную любовь или гордое возстаніе. И зданіе все равно какое: съ Богомъ или безъ Него—должно быть воздвигнуто, такъ какъ *убить* человѣка нельзя, такъ какъ въ каждомъ, самомъ большомъ и самомъ маленькомъ, богатомъ и бѣдномъ, вѣчномъ каторжникѣ и выпачканномъ чернилами чиновникѣ—лежитъ одинаковое, священное право на счастье и смыслъ своей жизни.

Какой смыслъ человѣческаго страданія? Есть ли въ немъ смыслъ вообще? Какъ примирить страданіе человѣка съ сострадающимъ Богомъ?—вотъ вопросы, къ которымъ прилѣпился геній Достоевскаго. И первый фактъ, который онъ здѣсь увидѣлъ, это тотъ, что страданіе приводитъ и къ полному паденію, прострации, и къ высочайшей нравственной чистотѣ, къ святости. Паденіе такъ же влекло его къ себѣ, какъ и святость, быть можетъ, даже больше. Человѣка въ безднѣ его паденія онъ больше всего понималъ, больше всего любилъ.

„Какъ ни привлекателенъ міръ красоты,—говоритъ одинъ изъ его критиковъ—есть нѣчто еще болѣе привлекательное нежели онъ: это паденія человѣческой души, странная дисгармонія жизни, далеко заглушающая ея немногіе стройные звуки. Въ формахъ этой дисгармоніи проходятъ тысячелѣтнія судьбы человѣчества и, если мы посмотримъ на всемірную литературу, мы увидимъ, что ничей взоръ въ ней не былъ устремленъ съ такимъ проникновеніемъ на причины этой дисгармоніи, какъ взоръ писателя, котораго мы разбираемъ (Достоевскаго). Оттого среди всего хаоса его произведеній мы ни у кого не найдемъ такой цѣльности и полноты: есть что-то кощунственное въ

немъ и вмѣстѣ религіозное. Онъ не избираетъ ни одной картины въ природѣ, чтобы любить ее и возсоздавать; его интересуютъ только швы, которыми стянуты всѣ эти картины, но онъ холодный аналитикъ всматривается въ нихъ и хочетъ узнать: *почему весь образъ Божьяго міра такъ искаженъ и неправиленъ?* И съ этимъ анализомъ онъ непостижимымъ образомъ соединилъ въ себѣ чувство самой горячей любви ко всему страдающему. Какъ будто то искаженіе, которое проходитъ по лицу Божьяго міра, особенно глубоко прошло по немъ самомъ, тронуло его внутренній міръ, и, какъ никто другой, онъ ярко почувствовалъ и все страданіе, которое онъ несетъ въ себѣ, и приблизился къ пониманію его скрытой сущности. Отсюда вытекаетъ глубокая субъективность его произведеній и ихъ страстность: онъ не извнѣ зоветъ насъ пойти и раздѣлить съ нимъ его интересы, которыми мы можемъ заняться наравнѣ со всякими другими, его голосъ доходитъ до насъ какъ будто издали, и когда мы приближаемся, мы видимъ одинокое и странное существо тамъ, гдѣ никого другого нѣтъ, и онъ говоритъ намъ о нестерпимыхъ мученіяхъ человѣческой природы, о совершенной невозможности выносить ихъ и о необходимости найти какіе-нибудь пути, чтобы изъ нихъ выйти. Отсюда болѣзненный тонъ всѣхъ его произведеній, отсутствіе въ нихъ внѣшней гармоніи частей, и міръ неутолимаго страданія, который онъ открываетъ, переплетенный съ мыслью о его непонятныхъ причинахъ, о его непостижимыхъ цѣляхъ".

Чувство трагическаго было особенно сильно развито въ Достоевскомъ. Оттого-то, быть-можетъ, центральной осью своихъ произведеній онъ выбиралъ убійство. Здѣсь въ убійствѣ онъ видѣлъ самое страшное, извращенное проявленіе измученной человѣческой души, крайній ея протестъ противъ личнаго невыносимаго страданія и крайнее проявленіе ея своеволія. И онъ пристально всматривался въ убійцу, находя въ немъ безконечно униженнаго и безконечно своевольнаго человѣка. Убійца это рабъ (напр., рабство идеѣ у Раскольникова, рабство похоти у Свидригайлова, рабство опять-таки идеѣ у Верховенскаго, рабство въ своемъ соціальномъ положеніи у Смердякова и т. д.), ставшій анархистомъ и въ анархизмѣ своемъ „преступающій черезъ святыню человѣческой личности".

Жизнь—страданіе. Въ ней есть злое начало, дѣлающее это страданіе необходимымъ, искажающее свѣтлый и радостный ликъ Божьяго міра. Но что же дѣлать въ такомъ случаѣ съ стремленіемъ человѣка къ счастью. Что *вначалѣ* Достоевскій сочувствовалъ ему, видѣлъ въ немъ что-то хорошее и милое—это несомнѣнно какъ и то, что онъ *до конца* жалѣлъ несчастныхъ. Но все же онъ пришелъ къ выводу, что страданіе необхо-

димо и что только оно, очищая огнемъ мукъ своихъ душу, доводитъ ее до святости.

Между тѣмъ онъ жилъ въ такое время, когда счастье людей являлось какъ бы основой и стержнемъ стремленій всей русской интеллигенціи. Почти каждый изъ героевъ его произведеній создаетъ свой собственный идеалъ общественнаго и государственнаго устройства, который бы обезпечивалъ человѣческое счастье. Вѣдь это было время, когда каждый считалъ себя какъ бы призваннымъ распоряжаться судьбами государства и народа. Это было время русской народнической революціи. Возьмите Раскольникова. По его теоріи лишніе люди должны быть убраны со сцены. Они, ихъ жизнь и личность простой матеріалъ для постройки зданія. Безконечно высоко надъ ними стоитъ Сверхчеловѣкъ. герой, которому все позволено, даже убійство. Онъ самъ для себя Богъ; отъ себя получаетъ онъ свои велѣнія, онъ имѣетъ право надъ жизнью и смертью другихъ. Еще дальше идетъ полупомѣшанный Кирилловъ. Онъ долго искалъ и нашелъ наконецъ своего Бога—*своеволіе*. Этому Богу онъ хочетъ научить людей. „Тогда новая жизнь, - говоритъ онъ Ставрогину,—тогда новый человѣкъ, тогда все новое. Тогда исторію будутъ раздѣлять на двѣ части: отъ гориллы до уничтоженія Бога и отъ уничтоженія Бога до...“—„До гориллы—съ холодной усмѣшкой подхватываетъ Ставрогинъ“.—„До перемѣны земли и человѣка физически“—продолжаетъ Кирилловъ съ невозмутимостью. *Будетъ Богомъ* человѣкъ и перемѣнится физически. И міръ перемѣнится и дѣла перемѣнятся, и мысли и чувства“. Даже педантъ и нелѣпѣйшій изъ нелѣпыхъ Шигалевъ весь въ вопросѣ объ устроеніи человѣческаго счастья. „Онъ предлагалъ въ видѣ конечнаго разрѣшенія вопроса—раздѣленіе человѣчества на двѣ неравныя части. Одна десятая доля получаетъ свободу личности и безграничное право надъ остальными девятью десятыми. Тѣ же должны потерять личность и обратиться въ родѣ какъ въ стадо и при безграничномъ повиновеніи достигнуть рядомъ перерожденій первобытной невинности, въ родѣ какъ бы первобытнаго рая, хотя, впрочемъ, и будутъ работать“. У Шигалева все разработано и предусмотрѣно... „Онъ выдумалъ равенство—говоритъ про него Верховенскій.—У него хорошо въ тетради,—у него шпіонство. У него каждый членъ общества смотритъ одинъ за другимъ и обязанъ доносомъ. Каждый принадлежитъ всѣмъ и всѣ каждому. Всѣ—рабы и въ рабствѣ равны. Въ крайнихъ случаяхъ — клевета и убійство, а, главное, равенство. Первымъ дѣломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ доступенъ только высшимъ способностямъ, не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могутъ не быть деспотами и всегда развращали болѣе

чѣмъ приносили пользы. Рабы должны быть равны. Безъ деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но въ стадѣ должно быть равенство, и вотъ Шигалевщина!" Высказывается, наконецъ, и самъ Верховенскій: „Я за Шигалевщину... Слушайте, Ставрогинъ, горы сравнять — хорошая мысль, не смѣшная. Я за Шигалева! Не надо образованія, довольно науки! И безъ науки хватитъ матеріалу на тысячу лѣтъ, но надо устроиться послушанію. Въ мірѣ одного только не достаетъ — послушанія! Жажда образованія есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь — вотъ уже жажда собственности. Мы уморимъ желаніе; мы пустимъ пьянство, сплетни, доносъ, мы пустимъ неслыханный развратъ, мы всякаго генія потушимъ въ младенчествѣ. Все къ одному знаменателю, полное равенство. Необходимо лишь необходимое, вотъ девизъ земного шара отсель. Но нужна и судорога. Объ этомъ позаботимся мы, правители. У рабовъ должны быть правители. Полное послушаніе, полная безличность, но разъ въ тридцать лѣтъ Шигалевъ пускаетъ и судорогу и всѣ вдругъ начинаютъ поѣдать другъ друга до извѣстной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущеніе аристократическое; въ Шигалевщинѣ не будетъ желаній"... И т. д.

Достоевскаго не разъ упрекали въ преувеличеніи и даже издѣвательствѣ. Нѣкоторое преувеличеніе, вѣроятно, есть, хотя и трудно судить о неизслѣдованной и неизученной страницѣ исторіи „русской мысли" Нами, людямъ въ значительной степени не только наученнымъ, но и проученнымъ „опытомъ исторіи", трудно, невозможно даже проникнуть въ то настроеніе. Но вѣдь тутъ было вотъ что прежде всего: ненависть къ барству, ожесточенная и непримиримая, ненависть, требовавшая мести и рядомъ съ этимъ жалость къ массѣ, которая во что бы то ни стало — хочетъ ли она этого или не хочетъ — должна быть возвращена къ первобытной невинности въ родѣ какъ бы въ первобытный рай.

Со всѣми этими дикими проектами соціальнаго преобразованія у Достоевскаго соединялся одинъ величайшій вопросъ: *въ чемъ назначеніе человѣка—въ свободѣ или рабствѣ.* Этотъ вопросъ—ось, вокругъ которой вертятся всѣ его разсужденія. Онъ боится свободы и ненавидитъ рабство. Изъ этого противорѣчія онъ не вышелъ и не могъ выйти. Онъ понималъ, что свободы человѣка не убьешь, что нѣтъ, въ концѣ концовъ, ничего, передъ чѣмъ бы она распростерлась. Во имя своей свободы личность способна не только итти противъ расчета, выгоды, но и противъ самого Бога. Декретировать свою свободу, своеволіе свое, даже въ самой дикой безразсудной формѣ—это потребность, глубочайшая потребность человѣка, хотя бы какъ у Раскольникова или Свидригайлова черезъ убійство, даже черезъ кощунство. Но тутъ, въ своемъ гипостазированіи, личность встрѣ-

чается съ Богомъ, съ идеей Божества. И тутъ-то Достоевскій приходитъ въ ужасъ отъ одиночества человѣка и снова готовъ отдать его подъ только что свергнутое иго совѣсти, страданія, вѣры — словомъ, всего того, что свою дѣйствительную санкцію имѣетъ въ Богѣ. Оттого-то стремящаяся къ неограниченной свободѣ личность человѣка чувствуетъ, что это главное ея препятствіе, главный камень, о который спотыкаются ея вожделѣнія. Оттого-то религіозные вопросы всегда на первомъ планѣ. Возлѣ нихъ *все* вертится и ужъ конечно для Достоевскаго они въ центрѣ бурнаго движенія 60-хъ и 70 хъ годовъ.

Здѣсь не только о счастьѣ людей идетъ рѣчь, но даже о физическомъ ихъ перерожденіи, и вотъ Кирилловъ, напр., прямо думаетъ, что научивши людей *своеволію*, онъ тѣмъ самымъ добьется и ихъ физическаго перерожденія. Въ центрѣ всего движенія Богъ, вопросъ о Богѣ, о смыслѣ жизни, и эту самую дорогую, самую серьезную для Достоевскаго мысль чуть-чуть иронически высказываетъ Иванъ Карамазовъ (потому что Достоевскій вообще имѣлъ привычку самыя дорогія, самыя серьезныя для него мысли высказывать чуть-чуть иронически): „другимъ одно,—говоритъ Иванъ,—а намъ, желторотымъ, другое, намъ прежде всего надо предвѣчные вопросы рѣшить. Вся *молодая Россія только лишь о вѣковѣчныхъ вопросахъ и толкуетъ*. Именно теперь, какъ старики всѣ полѣзли вдругъ практическими вопросами заниматься... Вѣдь русскіе мальчики какъ до сихъ поръ орудуютъ, иные то-есть? Вотъ, напр., здѣшній вонючій трактиръ, вотъ они и сходятся, засѣли въ уголъ. Всю жизнь прежде не знали другъ друга, а выйдутъ изъ трактира, сорокъ лѣтъ опять не будутъ знать другъ друга,—ну и что-же, о чемъ они будутъ разсуждать, пока поймали минутку въ трактирѣ-то?.. О міровыхъ вопросахъ, не иначе: есть ли Богъ, есть ли безсмертіе? А которые въ Бога не вѣруютъ, ну, тѣ о соціализмѣ и объ анархизмѣ заговорятъ, о передѣлкѣ всего человѣчества по новому штату,—такъ вѣдь это одинъ же чортъ выйдетъ: *все тѣ же вопросы, только съ другого конца*“. Алеша совсѣмъ согласенъ съ братомъ: „да“,—отвѣчаетъ онъ,—настоящимъ русскимъ вопросы о томъ: есть ли Богъ и есть ли безсмертіе, или какъ ты вотъ говоришь, вопросы съ другого конца, конечно, первые вопросы и прежде всего, да *такъ и надо*“.

Но, конечно, глубже всего эти вопросы сидѣли въ самомъ Достоевскомъ и при разсмотрѣніи ихъ, онъ, несмотря на всю истеричность и ирраціональность своей натуры, проявляетъ даже удивительно строгую логику. Есть ли Богъ, спрашиваетъ онъ себя. Толстой *знаетъ*, что какой-то Богъ есть, только не знаетъ *какой*. Достоевскій не знаетъ ничего. Онъ мучительно думаетъ и ищетъ. Совмѣстима ли, спрашиваетъ онъ себя,

идея Бога сострадающаго съ человѣческимъ страданіемъ? и, очевидно, что лично онъ, въ глубинѣ души своей, этихъ идей совмѣстить не можетъ. Но хотѣлъ бы, страстно бы хотѣлъ совмѣстить ихъ. „Я клонъ,—говоритъ Ив. Карамазовъ,—и признаю со всѣмъ приниженіемъ, что ничего не могу понять, для чего все такъ устроено. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страданіе есть, что виновныхъ нѣтъ, что все одно изъ другого выходитъ прямо и просто, что все течетъ и уравновѣшивается,—но вѣдь это лишь эвклидовская дичь, вѣдь я знаю же это; вѣдь жить по ней я не могу же согласиться. Что мнѣ въ томъ, что виновныхъ нѣтъ и что я это знаю—мнѣ надо возмездіе, иначе вѣдь я истреблю себя“...

Ни передъ кѣмъ—ни изъ русскихъ, ни изъ европейскихъ писателей вопросъ о страданіи человѣка не являлся такимъ огромнымъ и пугающимъ, какъ передъ Достоевскимъ. Тѣмъ, что ему, его земной жалости, нужно было возмездіе и не въ безконечности гдѣ-нибудь и когда-нибудь, а здѣсь уже на землѣ—онъ какъ будто оправдываетъ своеволіе личности, оправдываетъ это возстаніе противъ боговъ, которое такъ характерно и необходимо для всѣхъ его героевъ, но утвердиться на этомъ онъ не можетъ и не смѣетъ. По истеричности своей натуры онъ преклоняется передъ свободой человѣка и ненавидитъ ее. Все равно какъ къ Богу онъ относится и кощунственно, и религіозно, ежеминутно призывая его къ отвѣту и проклиная его и падая передъ нимъ ницъ—такъ и къ свободѣ человѣческой. Ничего болѣе священнаго и болѣе ужаснаго, болѣе отвратительнаго. Потому что въ Достоевскомъ одинаково сидѣли и анархистъ и рабъ, способный даже познать все наслажденіе рабства, самоуниженія и самоуничтоженія.

„Ужаса“ свободы и вѣры онъ не вынесъ, хотя одинаково не могъ до конца отдѣлаться отъ ихъ обаянія.

Въ своемъ взглядѣ на русскій народъ Достоевскій близокъ къ славянофиламъ. Полнѣе всего этотъ свой взглядъ онъ изложилъ въ знаменитой московской рѣчи о Пушкинѣ. Тутъ онъ даетъ полный просторъ фантастичности своего воображенія. Рѣзко и непримиримо высказываетъ онъ мысль, что нашъ народъ Богоносецъ.

Достоевскій (въ своей знаменитой пушкинской рѣчи) прежде всего ссылается на реформу Петра. Допуская, что вначалѣ она производилась лишь въ смыслѣ ближайше утилитарномъ, онъ думаетъ однако, что „въ дальнѣйшемъ развитіи имъ своей идеи, Петръ несомнѣнно повиновался нѣкоторому затаенному чутью, которое влекло его, въ его дѣлѣ, къ цѣ-

лямъ будущимъ, несомнѣнно огромнѣйшимъ, чѣмъ одинъ только ближайшій утилитаризмъ". Не указавъ этихъ цѣлей, даже не намекнувъ ни на нихъ, ни на пророческое содержаніе „нѣкотораго затаеннаго чутья", Достоевскій прямо переходитъ къ утвержденію, что „и русскій народъ не изъ одного только утилитаризма принялъ реформу, а несомнѣнно уже ощутивъ своимъ предчувствіемъ почти тотчасъ же нѣкоторую дальнѣйшую, несравненно болѣе высшую цѣль, чѣмъ ближайшій утилитаризмъ, - ощутивъ эту цѣль опять-таки, конечно, повторяю это, безсознательно, но однако же непосредственно и вполнѣ жизненно". „Вѣдь мы разомъ устремились тогда къ самому жизненному возсоединенію, къ единенію всечеловѣческому! Мы не враждебно (какъ, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, съ полною любовью приняли въ душу нашу геніевъ чужой націи, всѣхъ вмѣстѣ, не дѣлая преимущественныхъ племенныхъ различій, умѣя инстинктомъ, почти съ перваго шага различать, снимать противорѣчія, извинять и примирять различія, и тѣмъ уже выказали готовность и наклонность нашу, намъ самимъ только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловѣческому возсоединенію со всѣми племенами великаго арійскаго рода. Да, назначеніе русскаго человѣка есть всеевропейское и всемірное. Стать настоящимъ русскимъ, стать вполнѣ русскимъ, можетъ быть, и значитъ только (въ концѣ концовъ, это подчеркните) *стать братомъ всѣхъ людей, всечеловѣкомъ, если хотите*".

Онъ говоритъ дальше о томъ, что въ теченіе двухъ столѣтій Россія только и дѣлала, что служила Европѣ, можетъ быть, гораздо болѣе, чѣмъ себѣ самой. Служила изъ за любви, изъ-за своего христіанскаго смиренія. И будетъ служить до конца, потому что духовно Европа уже умерла, тамъ остались лишь святые камни, святые покойники, задача же христіанскаго возрожденія человѣка вся въ нашихъ рукахъ.

Гимнообразно заканчиваетъ свою рѣчь Достоевскій: „Все это—говоритъ онъ.—покажется самонадѣяннымъ: это намъ-то, дескать нашей-то нищей, нашей-то грубой землѣ такой удѣлъ? Это намъ-то предназначено въ человѣчествѣ высказать новое слово? Что же, развѣ я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братствѣ людей и о томъ, что къ всемірному, къ всечеловѣчески-братскому единенію сердце русское, можетъ быть, изъ всѣхъ народовъ наиболѣе предназначено, вижу слѣды сего въ нашей исторіи, въ нашихъ даровитыхъ людяхъ, въ художественномъ геніи Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „въ рабскомъ видѣ исходилъ благословляя Христосъ". Почему же намъ не вмѣстить послѣдняго слова Его? Да и самъ Онъ не въ ясляхъ ли родился"?..

Превосходныя слова, но превосходно и это пренебреженіе къ нашей нищетѣ! Разъясняя эту свою мысль, Достоевскій впослѣдствіи написалъ строки, въ которыхъ, по моему мнѣнію, и скрывается весь секретъ его рѣчи, вся истинная подоплека, вся причина ея головокружащей восторженности. Вотъ эти строки: „Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не можетъ заключать въ себѣ столь высокія стремленія, пока не сдѣлается экономически и гражданственно подобною Западу,—*есть уже просто нелѣпость. Основныя нравственныя сокровища духа, въ основной сущности своей, по крайней мѣрѣ, не зависятъ отъ экономической силы.* Наша нищая неурядная земля, кромѣ высшаго своего слоя, вся сплошь какъ одинъ человѣкъ. Всѣ 80 милліоновъ ея населенія представляютъ собою такое духовное единеніе, какого, конечно, въ Европѣ нѣтъ нигдѣ и *не можетъ* быть, а стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядная, даже въ строгомъ смыслѣ нельзя сказать, что и нищая“.

Еще: „Мы утверждаемъ, что вмѣщать и носить въ себѣ силу любящаго духа можно и при теперешней экономической нищетѣ нашей, *да и не при такой еще нищетѣ, какъ теперь:* ее можно сохранять и вмѣщать въ себѣ и при такой нищетѣ, какая была послѣ нашествія Батыева или послѣ погрома Смутнаго времени, когда единственно всеединящимъ духомъ народнымъ была спасена Россія“.

Это уже національный мистицизмъ. Это идеи Хомякова, Аксаковыхъ, Н. Я. Данилевскаго, но возведенныя въ квадратъ и кубъ и освѣщенныя фантастическимъ свѣтомъ восторженнаго даже болѣзненно-восторженнаго воображенія.

Что же далъ намъ Ѳед. Мих. Достоевскій, какъ литераторъ, какъ общественный дѣятель? Постараемся отвѣтить на этотъ вопросъ безпристрастно. Но сначала замѣтимъ, что этотъ вопросъ вводитъ насъ въ самую трудную область идей, а Достоевскій все же, прежде всего, былъ художникомъ. Но его постоянно тянуло къ публицистикѣ, къ злобѣ дня. Даже многіе его романы, напр., „Бѣсы“, имѣютъ очень замѣтную публицистическую тенденцію. Да и въ остальныхъ произведеніяхъ онъ формой разсказа часто прикрываетъ проповѣдь. Поэтому насчетъ идей Достоевскаго можно бы толковать съ полной основательностью, не будь у него даже „Дневника Писателя“. Онъ всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда съ большой легкостью провозглашалъ онъ, что Константинополь долженъ быть нашъ и что совсѣмъ уже пришла пора захватить его въ свои руки, иногда утверждалъ, что завершеніе европейской культуры —

наше русское дѣло. Конечно, такое мнѣніе очень пріятно. Но на немъ, какъ и на всѣхъ взглядахъ Достоевскаго о взаимныхъ отношеніяхъ Россіи и Европы, теперь останавливаться не будемъ, потому что опредѣленнаго тутъ все же ничего нѣтъ.

Обратимся къ другой сторонѣ взглядовъ его, когда онъ говоритъ о народѣ и интеллигенціи, думаетъ о нихъ, страдаетъ за нихъ. Сочувствіе къ народу, стояніе за него, даже подвижничество появилось у Достоевскаго еще въ юные годы. Особенно рѣзкую форму это „стояніе" приняло во время участія въ дуровскомъ кружкѣ. Тутъ Достоевскій часто говорилъ объ ужасахъ крѣпостного права, часто называлъ его самымъ мерзкимъ и отвратительнымъ явленіемъ русской жизни. Образъ крѣпостного мужика являлся въ его глазахъ однимъ изъ воплощеній безысходнаго горя, того громаднаго и мутнаго потока униженности и оскорбленія, который такъ жестоко, такъ бурно разливается по всей жизни. Достоевскій былъ впечатлителенъ, всякое чужое страданіе болѣзненно раздражало и мучило его. Онъ не могъ выносить никакого насилія, хотя и утверждалъ, что въ каждомъ человѣкѣ есть наклонность къ мучительству. Но самъ онъ никого не мучилъ, въ самомъ-то въ немъ никакой жестокости не было. Наоборотъ даже. „Всѣ мы вышли изъ гоголевской „Шинели"—говорилъ онъ, и съ этого ясно выраженнаго сочувствія къ униженному и оскорбленному и началась его литературная дѣятельность. Только потомъ, напуганный свободой, тѣмъ анархизмомъ, которому онъ придалъ слишкомъ большое значеніе, онъ сталъ проповѣдывать страданіе и каторгу, до конца однако мучительно содрагаясь при видѣ его. Дѣйствительно, онъ проповѣдывалъ смиреніе, онъ признавалъ, что страданіе полезно... но только для кого?—для гордаго невѣрующаго интеллигента, прежде всего полагающаго, что онъ имѣетъ право распоряжаться по своему образцу съ жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевскій говорилъ: „смирись, гордый человѣкъ"...

Въ общемъ же великомъ движеніи всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенціи—въ стремленіи сблизиться съ народомъ, въ проповѣди той мысли, что, забывши о народѣ, внѣ народа, такъ сказать, нельзя сдѣлать ничего—Достоевскій, все равно какъ своей публицистикой, такъ и нѣкоторыми своими произведеніями, сыгралъ большую и руководящую роль. Правда, мы не раздѣляемъ нѣкоторыхъ мистическихъ идей Достоевскаго и не настолько увлекаемся имъ, чтобы не видѣть, какъ его нервный, истерическій темпераментъ постоянно вводилъ его въ противорѣчіе съ самимъ собою и заставлялъ высказывать совсѣмъ не остроумные парадоксы въ родѣ того, напр., что народъ ищетъ страданія, но намъ думается, что міросозерцаніе Достоевскаго безъ его мистическихъ и шовинистскихъ угловатостей очень просто, ясно и не можетъ остаться непоня-

тымъ ни однимъ изъ русскихъ интеллигентовъ. Краеугольный камень этого міросозерцанія народъ, грязный, приниженный, скверный, но сохраняющій въ глубинѣ души своей внутреннюю, высокую правду. Внѣ народа, забывши о народѣ,—нѣтъ правдивой жизни, нѣтъ настоящей дѣятельности. Уклоняясь во многомъ, Достоевскій въ этомъ пунктѣ, по крайней мѣрѣ, сходился со всѣми лучшими умами русской интеллигенціи. Его отношеніе къ народу бережно - любовное. Напомнимъ хотя бы общеизвѣстный разсказъ о мужикѣ Марѣѣ. Благодаря такому-то краеугольному камню любви къ народу, русская литература и русская интеллигенція имѣютъ передъ собой несомнѣнно великую будущность, въ которой не забудется, конечно, и имя Достоевскаго. Онъ тоже интеллигентъ и даже одинъ изъ вождей интеллигенціи... А что такое русская интеллигенція? Позволю себѣ привести одинъ отрывокъ, нѣсколько рѣзкій по формѣ, нѣсколько крайній по мысли, но недурно передающій самую суть дѣла. Вотъ онъ въ видѣ рѣчи, обращенной однимъ дѣйствующимъ лицомъ разсказа къ другому: „Скажу я тебѣ, что всероссійская интеллигенція самая лучшая и привлекательная изъ всѣхъ существующихъ. Обойди ты весь свѣтъ и ничего подобнаго ей не найдешь. Это своего рода роскошь и великолѣпіе, недостаточно еще оцѣненное, но поразительно прекрасное. И суть ея жизни именно въ этой совѣстливости. Ступай куда угодно -- въ Америку, во Францію, въ Англію или хоть въ Патагонію, и начни ты проповѣдывать, что личное счастье — незаконно, что любовь, эгоизмъ и пр. — преступны. Да отъ тебя всѣ отвернутся. Какъ это такъ, что личное счастье не законно? Да что же законно послѣ этого? А русскій интеллигентъ пойметъ это и прочувствуетъ. Съ той самой минуты, какъ онъ проснулся, онъ почувствовалъ упреки и угрызенія совѣсти и сталъ онъ философствовать. Беретъ онъ, напр., въ руки булку и сейчасъ же передъ его совѣстливымъ воображеніемъ какая-нибудь плантаторская картина. „Хлѣбъ. воздѣланный рабами“,—говоритъ онъ, и эта самая булка кажется ему горькою. Онъ любитъ, а передъ его глазами униженный „меньшой братъ“, продающій за пятакъ все свое человѣческое достоинство, и любовь теряетъ въ его глазахъ всю свою привлекательность. Онъ помѣшался на народѣ, онъ ищетъ пути, чтобы приблизиться къ нему и слиться съ этой молчаливой массой, тысячелѣтіе выносившей на плечахъ всю русскую исторію. Безъ этого народа, безъ любви къ нему, любви дѣтской, наивной, мистической—немыслимъ россійскій интеллигентъ. Посмотри-ка, что онъ теперь дѣлаетъ: сколько тоски, сколько совѣстливости въ его постоянныхъ исканіяхъ правды и именно мужицкой, народной правды. Онъ отрекается отъ всего, что составляетъ гордость и счастье обыкновеннаго смертнаго... Оттуда-то, изъ этихъ деревень, изъ этихъ болотъ и полей черноземныхъ русская интеллигенція всегда получала

ы получаетъ свое душевное содержаніе. Ей совѣстно, именно совѣстно жить, забывъ мужичка, и отъ него же заимствовала она свою знаменитую формулу: „жизнь по правдѣ“—а не по праву или доктринѣ. Если на западѣ господствуетъ наука, сознаніе необходимости—юридической или исторической, все равно,—то у насъ—любовь. Мы вѣруемъ въ нее, какъ въ какую-то таинственную силу, которая сразу разрушитъ всѣ преграды и установитъ новую жизнь прямо въ одно мгновеніе, безъ всякихъ этихъ „развитій экономическихъ противорѣчій“. Въ головѣ и сердцѣ каждаго русскаго интеллигента вѣчно сидитъ этотъ образъ новой, любовной жизни, и если мы когда-нибудь, чѣмъ-нибудь искренно вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви къ ближнему, не признающей никакихъ формулъ, кромѣ тѣхъ, которыя диктуются сердцемъ“... Такова одна изъ формъ русскаго народничества, къ которой довольно рѣзко примыкалъ Достоевскій.

Народъ и оторванный отъ народа интеллигентъ — это противорѣчіе больше всего занимало и мучило Достоевскаго. Къ оторванному отъ народа интеллигенту онъ былъ положительно безжалостенъ. Не стѣсняясь, выставлялъ онъ его въ самомъ ужасномъ видѣ, напр., въ „Бѣсахъ“, требовалъ отъ него не только покаянія, но и страданія. Сердце Раскольникова открылось только на каторгѣ. Каторга была нужна ему, необходима даже. Въ чемъ же вина его? Прежде всего въ гордости и – послѣ всего въ гордости. Это гордость личной мысли, это самомнѣніе личнаго чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человѣкъ прежде всего смириться долженъ, чтобы понять, что не одинъ онъ въ жизни, что до личнаго его счастья никому и дѣла то въ сущности нѣтъ, что никакого права требовать его онъ не имѣетъ. Жизнь всегда представлялась ему ужасно труднымъ, ужасно серьезнымъ дѣломъ, своего рода подвигомъ, который каждому надлежитъ осуществить по мѣрѣ силъ и способностей. Осуществить же его можно при самоотреченіи, извѣстномъ даже аскетизмѣ. Себя забыть надо, а полюбить дѣло, себя побѣдить надо прежде, чѣмъ взяться за него. Отрицая право на личное счастье, Достоевскій тѣмъ энергичнѣе проповѣдывалъ личное самосовершенствованіе, борьбу съ той самой карамазовщиной и анархизмомъ, которые сидятъ въ каждомъ изъ насъ. Все личное, индивидуальное, самовольное—грѣховно, и типъ кающагося грѣшника—любимый типъ Достоевскаго. Онъ даже романъ хотѣлъ писать подъ заглавіемъ „Великій грѣшникъ“. Не то, чтобы онъ требовалъ отреченія отъ себя, своихъ силъ и способностей: онъ ненавидѣлъ, преслѣдовалъ только личную волю, стремленіе къ личному счастью. Его любимецъ—это старецъ Зосима въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“. Грѣшилъ человѣкъ, много грѣшилъ, кутилъ, распутничалъ, на другого поднималъ руку. И пострадалъ онъ

именно за властность своей натуры, за то, что смѣлъ самого себя противопоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нѣчто высшее, чѣмъ достоинство другого человѣка; онъ спасся смиреніемъ, онъ сталъ человѣкомъ, лишь отрѣшившись отъ своего „я", выбросивъ изъ головы даже мысль, что это „я" есть нѣчто особенное, исключительно такое, что имѣетъ право на „все". Послѣ побѣды надъ собой, можно и должно начинать дѣятельность. Гдѣ же, въ чемъ найти ее? — Въ служеніи народу.

Эту мысль Достоевскій десятки разъ повторяетъ въ своемъ „Дневникѣ", призывая каждаго принести „хоть лепту". Не о великомъ дѣлѣ надо заботиться, а чтобы было оно любовно, чтобы исходило оно отъ сердца и шло въ народъ. „Не раздача имѣній обязательна,—говоритъ онъ, напр.,— и не надѣвайте зипуна: все это лишь буква и формальность: обязательна и важна лишь рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви, всеч что возможно вамъ, что сами искренне признаете для себя возможнымъ. Всѣ же старанія опроститься—лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже по отношенію къ народу и васъ самихъ унижающее. Вы слишкомъ сложны, чтобы опроститься, да и образованіе ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякаго опрощенія. Одна награда вамъ—любовь, если ее заслужите. Вѣдь глупъ мужикъ, дикъ мужикъ, необразованъ онъ, какъ же говорить: что дѣла нѣтъ?"..

Какъ же смотрѣлъ Достоевскій на народъ, разъ служеніе ему является первымъ, самымъ большимъ и важнымъ дѣломъ въ жизни интеллигента? „Обстоятельствами всей почти русской исторіи,—говоритъ онъ,—народъ нашъ до того былъ преданъ разврату и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ, мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человѣческій образъ, не то что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ красоту своего образа. Кто истинный другъ человѣчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметъ и извинитъ всю непроходимую пакостную грязь, въ какую погруженъ народъ нашъ, и сумѣетъ въ этой грязи найти бриллiанты. Повторяю: судите русскій народъ не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и свѣтлымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно вздыхаетъ. Идеалы его чисты, сильны и святы". Это — христіанскіе идеалы. Они проявляются въ отреченіи отъ самого себя, въ стремленіи послужить другому, въ любви и состраданіи къ несчастному. Или вотъ какія, между прочимъ, наблюденія надъ народомъ сдѣлалъ Достоевскій на каторгѣ: въ каждомъ мужикѣ, даже арестантѣ, онъ увидѣлъ не только

чувство правды, душу, но и сознаніе собственнаго достоинства, требованіе справедливости.

„Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа,— это чувство справедливости и жажда ея“. Или: „Арестантъ самъ знаетъ, что онъ арестантъ-отверженецъ, и знаетъ свое мѣсто передъ начальникомъ: но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что онъ—человѣкъ. А такъ какъ онъ дѣйствительно человѣкъ, то, слѣдственно, и надо обращаться съ нимъ по-человѣчески. Боже мой, да человѣческое обращеніе можетъ очеловѣчить даже такого, на которомъ давно уже потускнѣлъ образъ Божій. Съ этими-то несчастными и надо обращаться наиболѣе по-человѣчески“. Какой вмѣстѣ съ тѣмъ глубокой гуманностью проникнуто его отношеніе къ арестантамъ. Вездѣ онъ не только жалѣетъ ихъ, онъ въ нихъ видитъ людей, онъ за ними признаетъ человѣческое достоинство: „И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ. Вѣдь надо уже все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно безвозвратно. А кто виноватъ?.. То-то, кто виноватъ?“

Въ каждомъ человѣкѣ личность есть, сознаніе собственнаго достоинства, стремленіе къ счастью, требованіе справедливости. Подавите все это-оно непремѣнно проявится, хоть судорогой, но проявится. Припомните разсужденія Достоевскаго о значеніи денегъ въ острогѣ, или вотъ этотъ глубоко замѣчательный отрывокъ:

„Удивляются иногда начальники, что вотъ—какой-нибудь арестантъ жилъ себѣ нѣсколько лѣтъ тамъ смирно, примѣрно, даже десяточнымъ его сдѣлали за похвальное поведеніе, и вдругъ рѣшительно ни съ того, ни съ сего,—точно бѣсъ въ него влѣзъ,—зашалилъ, закутилъ, набуянилъ, а иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ, или на явную непочтительность передъ высшимъ начальствомъ, или убилъ кого-нибудь, или изнасиловалъ и проч. Смотрятъ на него и удивляются. А между тѣмъ вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ человѣкѣ, отъ котораго всего менѣе можно было ожидать его,—это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинктивная тоска по самомъ себѣ, желаніе заявить себя, свою приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее до злобы, до бѣшенства, до омраченія разсудка, до припадка, до судорогъ. Такъ, можетъ быть, заживо схороненный въ гробу и проснувшійся въ немъ колотитъ въ свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумѣется, разсудокъ могъ бы убѣдить его, что всѣ усилія останутся тщетными. Но въ томъ-то и дѣло, что тутъ уже не до разсудка, тутъ судороги“.

Правда, такіе взгляды на народъ оказались слишкомъ „здравыми“ для Достоевскаго. Зачастую принимали они другую, очень замѣтную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось ему на первый планъ,—а смиреніе, способность побѣждать жизненное зло внутренней силой. Народъ за этотъ послѣдній періодъ является для Достоевскаго великой, молчаливой массой, въ глубинѣ которой таится вся жизненная правда, рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, помощью любви, вѣры, нравственнаго, первенствующаго во всемъ начала. Это, такъ сказать, кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущаго нашего и европейскаго, и мѣнять его жизнь по собственной программѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ идеаламъ не только нельзя, но и прямо грѣшно. Народъ лучше знаетъ, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

Съ какой-то ненавистью даже Достоевскій отгонялъ отъ своего излюбленнаго народа всѣхъ интеллигентныхъ реформаторовъ. Что есть у тѣхъ? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа—больше, у него правда. „Послушаемъ сѣрыхъ зипуновъ,—писалъ Достоевскій въ послѣднемъ номерѣ своего „Дневника“, „что-то они скажутъ... А мы пока постоимъ въ сторонкѣ, чтобы научиться“. Иногда же отрицаніе права интеллигенціи вмѣшиваться въ народную жизнь принимало гораздо болѣе рѣзкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающійся, всегда рѣшающійся на крайности умъ не зналъ удержу и въ этомъ вопросѣ. Но все же Достоевскій—народникъ прежде всего,—народникъ потому, что изъ всѣхъ факторовъ русской жизни считалъ народъ за самый важный, большой. Внѣ народа нѣтъ дѣятельности, нѣтъ жизни. Это—сила, которой предназначено претворить въ себѣ все и разрѣшить всѣ наши вопросы однимъ великимъ, выстраданнымъ принципомъ—любовью.

Славянофилы.

Въ 70-хъ годахъ славянофилы обрѣли прежнюю энергію, но и она не привела ни къ какимъ замѣтнымъ результатамъ. Неуспѣхъ отъ начала до конца преслѣдовалъ это направленіе, хотя ему и не приходилось жаловаться на отсутствіе дарованій. Въ описываемую эпоху, кромѣ Достоевскаго, во главѣ его стояли: извѣстный Ив. С. Аксаковъ и Н. Я. Данилевскій, попытавшійся въ своей любопытной книгѣ „Россія и Европа“ представить славянофильское ученіе въ систематическомъ видѣ. Роль Ив. С. Аксакова, какъ публициста и оратора, была до-

вольно странная; онъ постоянно не ладилъ съ администраціей за свой либерализмъ, особенно за защиту свободнаго слова, и въ то же время либерально настроенное общественное мнѣніе относилось къ нему равнодушно, порою даже пренебрежительно. Онъ самъ тоскливо чувствовалъ, что любимыя его панславистскія идеи не пользуются ни любовью, ни вѣсомъ. Рыцарски, хотя и безнадежно служилъ онъ имъ до конца, все больше сознавая свое одиночество и безнадежность своей проповѣди. Онъ воспрянулъ было духомъ въ подготовительный періодъ русско-турецкой войны, его рѣчи гремѣли на всю Россію. Но интеллигенція все же не хотѣла ихъ знать: въ міросозерцаніи Аксакова было слишкомъ много патріархальнаго, чтобы передовой лагерь призналъ его своимъ. Панславизмъ же въ русскомъ обществѣ почвы не имѣетъ. Любопытно отмѣтить, между прочимъ, то обстоятоятельство, что наибольшею популярностью Аксаковъ пользовался среди крупной московской буржуазіи. Та прямо обожала его за его патріотизмъ и воинственность. Къ Ивану Аксакову особенно хорошо идетъ одна изъ послѣднихъ характеристикъ славянофильства, данная въ нашей литературѣ: „славянофильство—это націоналистическій либерализмъ, одинаково благосклонный и къ господствующему аграрному классу, и къ промышленной буржуазіи, и въ то же время проникнутый романтическими симпатіями ко всѣмъ исторически сложившимся и упрочившимся силамъ, учрежденіямъ и бытовымъ формамъ страны. Какъ либерализмъ, славянофильство было за свободу печати, за независимый судъ, противъ крѣпостного права; какъ историческая романтика, оно отстаивало освобожденіе крестьянъ съ землей и историческій „міръ“, благосклонность его къ дворянству выражалась въ принципіальномъ признаніи историческаго сословнаго строя; отношеніе его къ промышленной буржуазіи характеризуется отстаиваніемъ протекціонизма и даже специфически предпринимательскихъ интересовъ (напр., противъ фабричной инспекціи). Кому, какому общественному слою больше всего пошло на пользу славянофильское міровоззрѣніе, какъ дѣйственная сила, и выразителемъ какого соціальнаго класса слѣдуетъ, потому, въ конечномъ счетѣ считать настоящее славянофильство,—это вопросъ сложный и, я думаю, послѣ любопытной попытки Шульце-Геверница—открытый“ (П. Струве). Для меня, впрочемъ, во всякомъ случаѣ патріархально-дворянскія симпатіи Аксакова, яснѣе его либерализма и сочувствія промышленному сословію, хотя онъ и состоялъ на службѣ у послѣдняго, какъ предсѣдатель одного изъ московскихъ банковъ.—*Н. Я. Данилевскій*, какъ я сказалъ выше, задумалъ дать систематическое изложеніе славянофильства. Славянство онъ считаетъ особымъ культурно-историческимъ типомъ, назначеніе котораго—завершить міровую культуру. „Мы можемъ надѣяться,—говоритъ онъ,—что славянофильскій типъ будетъ

первымъ полнымъ четырехъ-основнымъ (т. е. сочетающимъ къ себѣ дѣятельность религіозную, культурную, политическую и общественно-экономическую) культурно-историческимъ типомъ. Особенно оригинальною чертою его должно быть имѣющее въ первый разъ осуществиться удовлетворительное рѣшеніе общественно-экономической задачи". Надо однако сказать, что прекрасныя надежды Данилевскаго обоснованы далеко не убѣдительно и не выдержали даже довольно поверхностной критики Вл. С. Соловьева.

Общія замѣчанія о литературѣ 70-хъ годовъ.

Главное ея русло—радикально-народническое, вызвавшее ярую оппозицію со стороны дворянско-государственной программы Каткова. Въ сущности продолжалось дѣло 60-хъ годовъ и „Современника", но уже съ яркимъ характеромъ романтизма.

Выше я ограничился лишь самой общей характеристикой этихъ слишкомъ близкихъ отъ насъ, часто неясныхъ и часто таинственныхъ 70-хъ годовъ. Одинъ только фактъ съ полной очевидностью выступаетъ наружу, что, разочаровавшись въ правительственныхъ реформахъ, бѣдная и малосильная русская интеллигенція рѣшила все же настаивать на нихъ. Это была безумная мечта. Малость, обидная недостаточность силъ, полное незнаніе дѣйствительности, фантастичность всѣхъ надеждъ на народъ, который долженъ понять интеллигенцію, и рядомъ съ этимъ безмѣрность стремленій—вотъ что прежде всего бросается въ глаза. Что хотя отчасти оправдывало эту безмѣрность—мы видѣли выше. Пока же литературная картина эпохи почти что умѣщается для меня въ такомъ вотъ образѣ. Представьте себѣ, что люди—достаточно смѣлые взбираются вверхъ по катящемуся внизъ леднику. Имъ самимъ и тѣмъ, кто смотритъ на нихъ со стороны, кажется, что идутъ они чрезвычайно скоро. Въ дѣйствительности такъ оно и есть, но—увы—какъ ни старались наши путники, они, въ концѣ концовъ, остались на прежнемъ мѣстѣ, а можетъ быть спустились даже ниже, потому что ниже и ниже катился самъ могущественный ледникъ жизни. Дѣло шло не къ упроченію связи и братства между людьми, а къ ихъ большей разрозненности, не къ торжеству крестьянскихъ общинныхъ устоевъ, а къ торжеству капитализма, не къ развитію общественной самодѣятельности, а къ обращенію ея въ ничто. Но все же была минута, когда бѣдная и малосильная русская интеллигенція думала и вѣрила, что она преодолѣетъ все ей враждебное.

Въ 70-хъ годахъ выяснился фактъ рѣшительной побѣды капитализма надъ устоями крестьянскаго хозяйства и могущество дворянской, государственной традиціи. Это вызвало разочарованіе интеллигенціи въ своихъ силахъ и въ общемъ отреченіе отъ прежнихъ надеждъ (80-ые годы).

Но въ литературномъ отношеніи это несомнѣнно одна изъ самыхъ богатыхъ и содержательныхъ эпохъ. Нравственная идея, признающая святость, высокое достоинство и равноцѣнность человѣческихъ личностей, окончательно закрѣпилась за нашей литературой, ярко обозначивъ ея характеръ религіозно общественнаго служенія. Въ основѣ—подвижничество во имя міровыхъ, по существу чисто христіанскихъ цѣлей.

ДОМАШНЯЯ
БИБЛІОТЕКА
УЛИТИНА
Алексея Викторовича

80-ЫЕ И 90-ЫЕ ГОДЫ.

Общая характеристика 80-ыхъ годовъ.

Это годы не только развитія и укрѣпленія капитализма, но и значительнаго торжества его духа въ обществѣ и литературѣ, годы хищническаго раззоренія хозяйства и хищническаго раззоренія человѣческой души борьбой за существованіе. Это годы отказа отъ наслѣдства отцовъ, торопливаго исканія новыхъ словъ и путей, годы тоски и приниженности и въ то же время годы наглаго глумленія надъ святыней прежнихъ идеаловъ.

Поколѣнію 80-хъ годовъ была завѣщана мечтательная, но великолѣпная идея „облагодѣтельствовать народъ" и устроить общее благополучіе. Такая задача была неизмѣримо трудной, пришлось отказаться отъ нея, или, по крайней мѣрѣ, сузить и ограничить ее до неузнаваемости, свести къ работамъ самосовершенствованія и удаленія отъ соблазновъ жизни или къ собиранію отбросовъ въ пользу страждущихъ и угнетенныхъ. Не всѣ примирились съ такимъ исходомъ, а у тѣхъ, чьи замыслы были шире, чьи чувства восторженнѣе, чья впечатлительность больше,—разочарованіе навсегда осталось въ душѣ. Эта, вынужденная обстоятельствами, измѣна грезамъ юности и послужила исходнымъ пунктомъ все разроставшагося мрачнаго и неудовлетвореннаго настроенія. Если,—разсуждали,—я ничего не могу сдѣлать для народа, кромѣ какъ дать ему свою ненужную жалость,—то что могу я сдѣлать вообще? Что я могу знать? Что я могу любить, во что я могу вѣрить? Основные вопросы бытія выступали на сцену, но разумъ отвѣчалъ на нихъ полнымъ молчаніемъ. Онъ не сказалъ, да и не могъ сказать ни слова о загадкѣ жизни и смерти, о таинственномъ прошломъ и таинственномъ будущемъ нашего сознанія. Чувство безсилія отъ постоянной встрѣчи все съ новыми неразрѣшимыми метафизическими и нравственными задачами увеличивалось и удесятирялось. Было ясно одно, что старыя народническія формулы обветшали и больше не годились, что дававшее имъ плоть, кровь и силу настроеніе—исчезло, что

вѣры въ мужика больше нѣтъ... Куда же было приткнуться? Какъ бы отвѣчая настроенію, г. Минскій написалъ недурное стихотвореніе, довольно ярко передающее настроеніе растерянности:

...Впереди
Съ тайной надписью камень стоялъ одинокій.
И прочелъ я на немъ приговоръ свой жестокій.
Я прочелъ: „Здѣсь лежатъ предъ тобой три пути.
Здѣсь раскрыты три къ жизни ведущія двери,
Выбирай, что твоимъ отвѣчаетъ мечтамъ:
Пойдешь вправо: жди совѣсти тяжкой потери,
Пойдешь прямо—съѣдятъ тебя лютые звѣри,
А налѣво пойдешь—станешь звѣремъ ты самъ"...
—И заснуть, о друзья, предпочелъ я въ предверьи...

Г. Минскій человѣкъ умный и талантливый и прекрасно понимаетъ, что такое съ нимъ случилось и какая струна оборвалась въ его поэтической „лирѣ". Прежде муза звала его „туда, на тѣсный путь лишеній и борьбы, гдѣ счастье—рѣдкій гость, гдѣ горе—гость привычный", и внушала ему такія прекрасныя филантропическія мысли, какъ: „ступай передъ толпой со словомъ окрыленнымъ, съ ней вмѣстѣ и живи, и вмѣстѣ умирай"—теперь, подчиняясь общему духовному маразму, общей растерянности, онъ понялъ, что все это не для него,—для него что-нибудь другое...

Сказалъ: „прости" онъ людямъ безсердечнымъ
И въ глушь пустынь бѣжалъ отъ нихъ какъ звѣрь.

Кого не смущало тогда это новое слово? Кто не тщился сказать его уже просто потому, что большой спросъ не можетъ не вызвать, въ концѣ концовъ, и большого предложенія? Ницше, символисты, декаденты, маги, импрессіонисты, и Гегель, Фихте, Шеллингъ, Шопенгауэръ, Юркевичъ и ужъ я не знаю кто, былъ призванъ на помощь пошатнувшейся русской мысли и, чортъ знаетъ, что за сутолока была на сценѣ,—точно въ третьемъ отдѣленіи психіатрической лѣчебницы... Теперь, повторяю, когда кризисъ миновалъ и мы опять выбрались на дорогу, когда намъ предстоитъ такая работа, какъ пересмотръ всѣхъ прежнихъ вѣрованій, взглядовъ на задачи жизни и дѣятельности, на роль искусства и науки съ новой точки зрѣнія, когда все яснѣе вырисовывается мысль, что до сихъ поръ мы въ умственномъ и нравственномъ отношеніи все еще жили традиціями крѣпостной культуры съ примѣсью благороднѣйшихъ утопій, когда мы дѣйствительно нашли орудія, при помощи которыхъ можемъ исполнить наконецъ завѣты хорошихъ людей въ родѣ Добролюбова, Щедрина и т. д. и искоренить въ себѣ и кругомъ всѣ слѣды крѣпостниче-

ства, когда наконецъ въ роли жизненнаго руководителя является не просто прекрасная во всѣхъ отношеніяхъ и гуманнѣйшая идея, а идея, продиктованная исторіей,—непонятно, какъ могли мы считать чѣмъ-то серьезнымъ, напр., толстовщину, представляющую изъ себя отъ начала до конца сплошное недоразумѣніе съ философской точки зрѣнія и рѣшительно ни для кого не обязательное лирическое вліяніе старо-барскаго духа со всякой другой. Прежняя утопическая закваска была еще слишкомъ сильна, только поэтому толстовщина и имѣла нѣкоторый успѣхъ: конечно, что можетъ быть пріятнѣе, какъ одной вѣрой заставлять ходить горы, одной любовью кормить голодныхъ мужиковъ и получать въ Ясной Полянѣ отпущеніе грѣховъ, отвѣты на всѣ вопросы и сомнѣнія взволнованной совѣсти?

Но Л. Н. Толстой страшно крупный человѣкъ, поэтому и его ошибка была крупныхъ размѣровъ и, въ концѣ концовъ, ничего, кромѣ пользы, не принесла. Толстой въ сущности сдѣлалъ очень простую вещь: онъ взялъ всѣ посылки народничества, настоящаго, коренного, и сдѣлалъ изъ нихъ крайніе выводы. Вѣчное заигрываніе съ мужикомъ было ему противно, платоническіе восторги передъ мужицкой добродѣтелью также. Съ геніальной прямолинейностью онъ сказалъ людямъ: „вы утверждаете, что крестьянская жизнь выше, разумнѣе вашей, въ такомъ случаѣ живите какъ крестьяне и въ основу всего положите самоличное удовлетвореніе всѣхъ своихъ потребностей“. Онъ сказалъ дальше: „вы сами видите, что культура не удовлетворяетъ васъ, строй же мужицкаго бытія она несомнѣнно рушитъ: въ такомъ случаѣ откажитесь отъ культуры“. Больше Толстой ничего не говорилъ, но его слово было прямо и твердо, и мужиколюбіе не вынеся такого испытанія водой, мечомъ и огнемъ, не могло не рухнуть.

Толстой могъ дѣйствовать обаяніемъ своего имени, своимъ огромнымъ художественнымъ талантомъ, тѣмъ, наконецъ, что онъ ни на шагъ не уклонялся отъ главнаго теченія русской интеллигентной мысли XIX вѣка, руководился въ пустынѣ сомнѣнія прежнимъ огненнымъ столпомъ и предоставлялъ полную возможность „расплаты“ и притомъ расплаты суровой „за роскошныя забавы предковъ“, „ихъ легкомысленный гребяческій развратъ“—и это понятно. Меланхолическая славянская натура, только что начинающая вываривaться въ котлѣ цивилизаціи, въ концѣ концовъ, вялая и не энергичная, любящая грезы, нравственную схоластику и бродяжество по мати-пустынѣ, чуть-чуть хватившая науки, но далеко еще не увѣровавшая въ нее, какъ въ непреложное условіе земного человѣческаго бытія, или же готовая ежеминутно обратиться къ ней съ наивной дѣтской просьбой: „мама, достань мнѣ луну съ неба и объясни мнѣ тайну жизни

и смерти“ — не могла не откликнуться на призывъ къ мужицкой нирванѣ, и былъ сдѣланъ десятокъ, другой попытокъ въ этомъ направленіи, кончившихся или неудачей, или какой-нибудь пошлостью, въ родѣ самолюбивой ссоры между участниками. Но толстовщина—это частица 80-хъ годовъ, у которыхъ, какъ я выше замѣтилъ, дюжина дюжинъ еще другихъ настроеній, теперь уже окончательно похороненныхъ и мало даже понятныхъ. Возьмите хотя бы г. Волынскаго или нашихъ новаторовъ символизма, декаданса, эстетики. Г-нъ Волынскій тоже вѣдь шумѣлъ и изображалъ изъ себя фигуру. Почему же онъ изображалъ изъ себя фигуру? Потому, конечно, что онъ задумалъ переоцѣнку литературныхъ цѣнностей, но принялся за дѣло такъ безтактно, такъ плохо понимая, какія стремленія связаны съ нѣкоторыми именами, что естественно, если скоро его перестали совершенно слушать. Онъ не понялъ Бѣлинскаго, онъ не понялъ шестидесятыхъ годовъ, доказывая, какъ Бѣлинскій, Чернышевскій, Писаревъ и Добролюбовъ и др. были мало образованы и мало начитаны по части нѣмецкой идеалистической философіи. Смотрѣть такъ на дѣло—значитъ заниматься китайской живописью и не признавать никакихъ условій исторической перспективы. Допустимъ даже, что Бѣлинскій и не понималъ Гегеля,—это въ сущности несправедливо: можно ли на основаніи такихъ соображеній ставить ему обвинительный приговоръ? Конечно, нѣтъ. Задача Бѣлинскаго сводилась совсѣмъ не къ тому, чтобы растолковать русской публикѣ діалектическій методъ, а къ чему-то совершенно другому—къ тому, чтобы поднять въ обывателѣ уваженіе къ себѣ и къ личности человѣческой вообще, чтобы выяснить ему общественную роль и значеніе литературы въ жизни, чтобы внушить пониманіе дѣйствительно прекраснаго и цѣннаго и отучить отъ восторговъ передъ громомъ и трескомъ классической музы. Если бы даже онъ никогда не слыхалъ имени Гегеля и ни словомъ не обмолвился объ „единой, вѣчно развивающейся идеѣ“, дѣло обстояло бы такъ же, какъ оно обстоитъ и въ настоящую минуту. Потому Бѣлинскій во всемъ, что не относилось прямо къ вопросу о красотѣ, былъ истымъ моралистомъ и, какъ человѣкъ не просто честный, а благородный въ лучшемъ смыслѣ этого слова, имѣлъ право имъ быть. Чтобы понять его, надо перенестись въ ту обстановку, когда сцена была переполнена еще троглодитами классической эстетики, мастодонтами піитики и предателями, предателями, предателями,—а сопоставлять такую-то страницу Бѣлинскаго съ такой-то страницей Гегеля—занятіе столь же плодотворное, какъ съ Грогомъ въ рукахъ выискивать орѳографическія ошибки въ рукописяхъ Гоголя. Историкъ литературы, занимающійся подобными дѣлами, по всей истинѣ и справедливости заслуживаетъ забвенія. Это значитъ, что онъ или педантъ, или пришлый человѣкъ, кичащійся своею начитанностью, въ которой, взятой самой

по себѣ, ровно столько же проку, сколько въ картонныхъ орденахъ. Достигаетъ идеала непониманія г. Волынскій въ разборѣ знаменитаго спора между Юркевичемъ и Чернышевскимъ. Онъ серьезно думаетъ, что Чернышевскаго Богъ вѣсть какъ интересовалъ вопросъ о философскихъ преимуществахъ матеріализма надъ идеализмомъ и приходитъ въ ужасъ отъ пріемовъ его, но все-таки и не хочетъ, и не можетъ понять того простого обстоятельства, что Чернышевскаго интересовала не философская, а чисто публицистическая сторона дѣла, что въ матеріализмѣ онъ видѣлъ прежде всего могущественное орудіе для борьбы съ пережитками старины, что онъ хлопоталъ о выводахъ, результатахъ, а не о стройной аргументаціи. Онъ видѣлъ себя въ центрѣ общества, очень взволнованнаго готовившимися и совершенными реформами, кипѣвшаго надеждами, часто несбыточными, но несомнѣнно гуманнѣйшими, почуявшаго въ себѣ гражданскій духъ въ размѣрахъ, доселѣ неслыханныхъ, видѣлъ ежеминутное нарожденіе все новыхъ вопросовъ, настойчиво требовавшихъ разрѣшенія, онъ искалъ формулъ точныхъ, самоочевидныхъ, способныхъ къ немедленному осуществленію, и когда такіе люди, какъ Юркевичъ, старались затянуть его въ безконечный споръ на тему „такъ какъ человѣкъ съ одной стороны духъ, съ другой стороны матерія—то почему сіе важно въ пятыхъ“,—онъ не могъ отвѣчать иначе, какъ нанося презрительные полемическіе удары и произнося слова такимъ тономъ, чтобы люди ясно увидѣли, какъ Юркевичъ и К° не вѣдаютъ, что творятъ... Вѣдь тогда не было науки, не было философіи, художественной литературы,—все было окрашено публицистикой и проповѣдью, проповѣдью и публицистикой, и, повторяю, невѣроятно просто, какъ г. Волынскій могъ находить слушателей... Но все же это знаменіе времени. Конечно, г. Волынскаго очень наказали, но уже послѣ того, какъ онъ сталъ декретировать символизмъ и декадентство и кому же? — намъ, еще не жившимъ совсѣмъ сознательной жизнью и ни на іоту не обезпеченнымъ отъ всевозможныхъ внезапныхъ пощечинъ! Очевидно, что нѣтъ ничего легче, какъ вышутить восьмидесятые годы, съ ихъ китайскимъ оркестромъ, ихъ разнузданнымъ самомнѣніемъ, самодовольными физіономіями новаторовъ, дамами-меценатками, патріотическими балалаечниками, зудомъ тщеславія, философскимъ кувырканьемъ, символическимъ чирканьемъ и декадентскими многоточіями, но, повторяю, не всѣ кувыркались, многіе искали, мучительно переходя отъ одного сомнѣнія къ другому, отъ одной наглухо запертой двери къ другой, и тяжело было это исканіе. Съ истинной жаждой обновленія шли въ пустыню питаться акридами и дикимъ медомъ, подвижнически отрѣшались отъ соблазновъ жизни, истязали тѣло свое непосильнымъ трудомъ, нарочно вязали духъ свой, чтобы онъ въ рабствѣ, тоскѣ, унынiи, отсутствіи жизнен-

ныхъ впечатлѣній воспринялъ крещеніе огненное, отказался отъ гордыни и достигъ блаженства равновѣсія. Не все дѣланное въ этомъ нытьѣ, страхѣ передъ смертью, меланхолическомъ сознаніи своего безсилія, своей безцѣльности и ненужности. За крикливыми фразами слышался стонъ духа, затерявшагося въ поискахъ безусловной правды. Развѣ мало мы видѣли молодыхъ, здоровыхъ и образованныхъ людей, но недостаточно бодрыхъ и культурно дисциплинированныхъ, которые основывали колоніи, чтобы стать ближе къ правдѣ— по коренному русскому предразсудку, скрытой въ землѣ. Говорю, тяжелы муки родовъ. Когда какое-нибудь міросозерцаніе, долго и властно господствующее надъ землей,—настроеніе, захватывавшее сердце,—цѣль, казавшаяся такой самоочевидной и высокой,—изнашивается, наступаетъ мучительный кризисъ. Никогда не твердое и даже сбивчивое въ своихъ теоретическихъ взглядахъ, народничество держалось лишь мистической вѣрой въ мужика, той невольной близостью народа и интеллигенціи, которая обусловливалась сущностью крѣпостного строя. „Порвалась цѣпь великая“ и разъединила оба элемента. Не стало дѣтскихъ воспоминаній, всегда могущественныхъ—особенно же для художественныхъ натуръ, не стало грезъ юности, поневолѣ сосредоточившихся возлѣ освобожденія закабаленной массы,—остались слова—это жалкое рубище мысли и чувства, слова красивыя, но—„слова, слова, слова“... Пришлось убѣдиться въ одной непріятной вещи, что силы и значеніе интеллигенціи разсматривались до сихъ поръ въ увеличительное стекло и въ такое же увеличительное стекло разсматривались и тѣ устои крестьянской жизни, которые, казалось, должны были сдѣлать наилегчайшимъ переходъ къ новымъ общественно-экономическимъ отношеніямъ, полнѣе другихъ воплощающимъ христіанскій идеалъ общаго мира и братства. Но крестьянскій міръ не есть миръ среди людей, крестьянская община такъ же далека отъ братолюбія, какъ любая акціонерная компанія, а артели, по злому выраженію одного изъ героевъ Гл. Ив. Успенскаго, созданы не сознаніемъ, не чувствомъ, а... „ну хоть вотъ этимъ самымъ сазаномъ, котораго артель, ловитъ“. Что, казалось бы, проще и удобопонятнѣе мысли, что изъ „ничего не выйдетъ ничего“ et nihilo nihil fit, но воспринять и осмыслить ее дѣло совсѣмъ не легкое...

Это предвзятыя идеи—главныя цѣпи человѣческой мысли, еще въ XIX вѣкѣ носящей на себѣ очевидные слѣды ледниковаго періода. Изъ ничего не выйдетъ ничего. Нельзя предполагать появленія чего-нибудь прекраснаго и разумнаго тамъ, гдѣ полновластно царитъ нищета и невѣжество, гдѣ чтеніе по складамъ является рѣдкостью, гдѣ человѣкъ имѣетъ такое же смутное понятіе о собственномъ достоинствѣ и удобствахъ жизни, какъ рабочая лошадь, гдѣ потребности сведены къ тому minimum'у, когда люди

не могутъ не обратиться въ звѣрей. Жаль, страшно жаль этихъ несчастныхъ—но увы, жалость, только жалость—чувство совершенно безполезное.

Когда исчезла вѣра въ народъ (очевидно, вслѣдствіе его полной неподвижности) и сознаніе неприкрашенной правды жизни, правды очень жестокой и рѣзкой, почти достигло степени очевидности—вмѣсто прежняго, все же до извѣстной степени стройнаго и опредѣленнаго міросозерцанія оказалось пустое мѣсто. Крикливыя идейки, наскоро выхваченныя изъ западной литературы, идейки по грошу за фунтъ,—зародившіяся въ парижскихъ кабакахъ подъ звуки канкана,—идейки не пресытившейся цивилизаціи, а ея пресытившихся уродцевъ—разумѣется, не могли заполнить пустоты. Съ своей славянской меланхоліей и не вовсѣмъ еще исчезнувшей скромностью, мало видѣвшіе и мало пережившіе, очень мало сдѣлавшіе для науки и общества, мы чуть ли не возмнили себя экзотиками и, съ комической серьезностью образованныхъ шимпанзе, стали выискивать зеленые оттѣнки луннаго свѣта и коричневые оттѣнки тумана при закатѣ солнца. Оскары Уайльды—да и только. Вы скажете, быть можетъ, что все это такъ себѣ—пустяки. Но позвольте вамъ напомнить одинъ любопытный фактъ. Когда въ 1896 г. молодежь задумала свой студенческій сборникъ, она поручила главную его редакцію экзотическому дипломату изъ „Новаго Времени“ г-ну Сигмѣ и наполнила его такими пикантными, „возвышенно-порнографическими“ произведеніями, что совѣстно было читать.

Нѣтъ, растерянность была полная, и кто пережилъ то время—тотъ согласится со мной. Я ничего не преувеличиваю, никого не оправдываю. Я просто констатирую фактъ и—чтобы перейти послѣ этого затянувшагося предисловія къ своей темѣ—ставлю вопросъ: какъ должно было чувствовать себя среди общаго сумбура мысли и настроеній молодое, еще не окрѣпшее дарованіе? По-моему, въ достаточной степени скверно. Не къ чему было приткнуться, не съ чего было начать. Если дарованіе было слабо и мало энергично, оно поневолѣ увлекалось первымъ, на лету подхваченнымъ новымъ словомъ, казавшимся наиболѣе соблазнительнымъ, и тѣмъ сразу же губило себя, потому что сразу же пріучалось къ неискренности, лжи, самовзвинчиванію. Вѣдь приходилось именно выдумывать такія глупости, какія раньше не грезились даже дикому, въ родѣ гимна блѣднымъ ночамъ или романа восьмидесятилѣтней дѣвственности или чего-нибудь такого дикаго, чтобы у учителя глаза выскочили изъ орбитъ. Фраза являлась, въ концѣ концовъ, самодовлѣющей и господствующей и тѣмъ большая слава устоявшимъ противъ ея соблазна, какъ противъ соблазна всѣхъ новыхъ словъ изъ душной и развратной атмосферы парижскихъ cabarets.

Мѣщанство. А между тѣмъ въ эту по виду такую сѣрую эпоху въ общественной жизни довершался процессъ развитія и укрѣпленія *мѣщанства*. Давно уже выступившая на сцену эта новая общественная группа стала какъ бы даже задавать тонъ жизни, выставляя противъ всякаго идеалистическаго порыва, послѣ всего святаго и цѣннаго въ жизни свои грубые матеріальные расчеты, свой низменный пошлый вкусъ, свою приниженную, погрязшую въ тинѣ мелкихъ стычекъ борьбы за существованіе, натуру. Распространялся не только уже капитализмъ, а духъ капиталистическаго общества—безыдейный, ограниченный и по существу жестокій. Изъ обозрѣнія народнической литературы читатель уже знаетъ, что нашъ капитализмъ имѣетъ особенный и яркій характеръ кулачества и хищничества вообще. Идейной исторической миссіи у него нѣтъ,—онъ не завоеватель, какъ капитализмъ Запада, а „чортъ совсѣмъ другого сорта"—чиномъ пониже.

Мнѣ кажется, что если внимательно разсмотрѣть нашу литературу за послѣднія 25 лѣтъ, то общій характеръ русскаго мѣщанства обрисуется въ очень опредѣленныхъ чертахъ. Ничего грандіознаго, увлекающаго, возбуждающаго вдохновеніе широкими замыслами, смѣлостью и дерзостью мысли, ничего такого, что мы видимъ на западѣ, у насъ—по крайней мѣрѣ въ литературномъ отраженіи мѣщанства—нѣтъ и въ поминѣ. Все, напротивъ того, очень мелко, и крупны лишь бумажники. Кромѣ того еще непочатый уголъ традиціоннаго холопства и хамства, аршинничества и самоварничества настолько очевиднаго и такъ ярко мечущагося въ глаза, что старо-барская литература, расцвѣтъ которой совпадаетъ съ 70-ми годами, имѣла значительное основаніе презрительно относиться къ этимъ кулакамъ и міроѣдамъ, третировать ихъ, говорить о ихъ силѣ, но совсѣмъ не бояться ихъ. Еще любопытнѣе, быть можетъ, что Достоевскій совсѣмъ даже не затронулъ мѣщанства: очевидно, что оно совсѣмъ не интересовало его, хоть онъ былъ самымъ нервнымъ, впечатлительнымъ и геніальнымъ сыномъ русскаго города—этой все еще полудеревни. Щедринъ постоянно говоритъ о нашихъ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ, нашихъ биржевикахъ и Губониныхъ, но рѣшительно отказывается видѣть въ нихъ грядущую общественную силу. Для этого онъ слишкомъ баринъ, и еще болѣе баринъ, разумѣется, Толстой, но Толстому уже пришлось кой-чѣмъ поступаться, хотя и съ большой неохотой, пришлось—хотя только теоретически—признать власть денегъ въ своей брошюркѣ „Что такое деньги" и даже изобразить перевернутые вверхъ дномъ, подъ вліяніемъ новыхъ капиталистическихъ отношеній, деревенскіе нравы въ своей „Власти тьмы". Но Толстой стоитъ слишкомъ высоко надъ жизнью, слишкомъ вѣритъ и въ мощь народа, и въ мощь души человѣческой, способной къ возрожденію,—какая бы жизненная грязь не насѣла на нее,—чтобы принимать въ расчетъ силу

мѣщанства. Собственно говоря, до нея ему ровно никакого дѣла нѣтъ. „Отечественныя Записки“, какъ журнальная группа, считали возможнымъ третировать мѣщанство, что понятно, хотя и не доказываетъ ихъ проницательности. Но одинъ изъ самыхъ крупныхъ представителей этой журнальной группы — Г. Ив. Успенскій, серьезнѣе другихъ отнесся къ тому, какъ орудуетъ чумазый, и въ сущности былъ очень близокъ къ признанію за нимъ побѣды въ недалекомъ будущемъ, но помѣшало этому странное обстоятельство — почти мистическая надежда на барина-интеллигента, который вотъ вотъ придетъ въ деревню и устроитъ тамъ благорастворенiе воздуховъ. Маминъ Сибирякъ пошелъ гораздо дальше и сохранилъ лишь свои народническія симпатіи просто какъ дорогую, красивую мечту, какъ чудный сонъ, видѣнный когда-то въ дѣтствѣ, который для дѣйствительности и для котораго дѣйствительность не имѣетъ никакого значенія. Честь провозглашенія мѣщанства, какъ новой общественной силы, несомнѣнно принадлежитъ г. Боборыкину, но необходимо замѣтить, что совершилъ онъ это хотя и восторженно, но неубѣдительно. Онъ ограничился громкими словами, кое-какими эффектными проявленіями денежнаго могущества, а затѣмъ далъ шаблонъ французскихъ адюльтерно психологическихъ романовъ. Жизненнаго матеріала у него для общественной картины не хватило, потому что для этого недостаточно побывать на московскихъ амбарахъ и еще менѣе достаточно прочесть, сидя на лихачѣ, полуграмотную вывѣску на нихъ. Но какъ бы то ни было, литература заинтересовалась мѣщанствомъ особенно въ 80-ые и 90-ые годы, когда жизнь выяснила, что такой интересъ имѣетъ глубочайшее основаніе въ дѣйствительности — заинтересовалась и общественной противоположностью мѣщанства, т. е. рабочими и пролетаріями, какъ продуктомъ новыхъ экономическихъ отношеній. Всѣмъ было очевидно, что приходится уже имѣть дѣло не съ купцами Гоголя или Островскаго, а съ новой породой людей, присвоившей себѣ, если не общественныя привилегіи дворянства, то во всякомъ случаѣ его матеріальную силу и даже сознавшей ее. Знаменитая фраза какого-то московскаго милліонера: „мы все можемъ!“ — показалась, разумѣется, смѣшной и была объяснена лишь многочисленностью тостовъ во славу и за процвѣтаніе россійской промышленности, но самая возможность такой фразы и крупицы истины, заключавшаяся въ ней, были, во всякомъ случаѣ, однимъ изъ знаменій времени. Мѣщанство нашло своихъ пѣвцовъ и толкователей, такихъ милыхъ молодыхъ людей, которые старались даже показать намъ всю глубину и красоту его психики, напр., Вл. Ив. Немировича-Данченко, который съ ловкостью совершенно военнаго человѣка расшаркивался передъ своими дамами и кавалерами и въ своей пьесѣ „Цѣль жизни“, и въ своихъ романахъ, названія которыхъ къ сожалѣнію

не помню. Кое-что, но къ счастью въ другомъ тонѣ можно найти у Вас. Ив. Данченко въ его „Волчьей сыти“ и другихъ вещахъ („На пути къ счастью“ и пр.). Но все же больше всего въ этомъ отношеніи сдѣлали— Маминъ, Чеховъ и Горькій. Горькій въ своемъ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“ нарисовалъ двѣ дѣйствительно крупныя фигуры мѣщанства—Щурова и Маякина, намѣтивъ очень интересный и новый типъ въ лицѣ Тарасова и человѣка такой же складки, хотя и меньшаго размаха — сына купца Пѣтунникова (Бывшіе люди). Щуровъ Горькаго—прежде всего хищникъ крупной породы, не останавливающійся даже передъ уголовными преступленіями, въ родѣ дѣланія фальшивыхъ денегъ и убійства. Маякинъ—тоже хищникъ, но не безъ идеи купеческаго могущества. Щуровъ просто разбойникъ, Маякинъ уже постигъ все великое значеніе формальной правды, законнаго основанія, и проворовываться для него немыслимо. Грѣхъ, за который надо отвѣчать лишь передъ Богомъ и совѣстью, онъ возьметъ на душу, но на явное преступленіе съ его непріятными уголовными послѣдствіями онъ не пойдетъ. Самое цѣнное въ немъ—это сознаніе собственной силы, признанія которой онъ требуетъ отъ жизни и съ увѣренностью ждетъ его. Однако въ основѣ своей натуры онъ все еще хищникъ, хотя и чествуемый, хотя и узаконенный, хотя и не нарушающій постановленій свода законовъ. Вся суть лишь въ томъ, что его хищничество систематическое, а не внезапныя нападенія и грабежи среди бѣлаго дня и на большой дорогѣ, какъ нападенія Щурова. Но дѣйствительно великое по художественной полнотѣ, по цѣльности производимаго впечатлѣнія, по той красочности, которая напоминаетъ лучшія созданія великихъ мастеровъ искусства, выраженіе мѣщанскаго хищничества мы находимъ въ произведеніи Чехова „Въ оврагѣ“. Я не могу здѣсь подробно поговорить объ этомъ изумительномъ разсказѣ— или нѣтъ, не разсказѣ даже, а цѣлой поэмѣ,—такъ что ограничусь всего нѣсколькими словами. Героиней „Въ оврагѣ“ является Аксинья — этотъ настоящій Бридо Бальзака въ юбкѣ, только безъ его размаха, безъ его словъ. Аксинья все время молчитъ и говоритъ только во время убійства ребенка, но тѣмъ она страшнѣе. Въ этомъ ея молчаніи есть что-то дѣйствительно пугающее и болѣе страшное, чѣмъ въ цѣломъ лексиконѣ самыхъ пугающихъ и страшныхъ словъ. Это сдержанная злость, глубочайшее человѣконенавистничество. И это чувствуется. „А теперь,—говоритъ наивная простенькая Липа, — Аксиньи боюсь. Она ничего, все усмѣхается, а только часомъ взглянетъ въ окошко, а глаза у ней такіе сердитые и горятъ зеленые, точно въ хлѣву у овцы... Вчера за обѣдомъ Аксинья говоритъ старику: „Я, говоритъ, хочу въ Бутскомъ кирпичный заводъ ставить, буду сама купчиха“. Говоритъ и усмѣхается... А Григорій Петровичъ съ лица потемнѣлъ: видно, не понравилось. „Пока, говоритъ, я живъ, нельзя

врозь; всѣмъ вмѣстѣ". А она глазами мотнула, зубами заскрипѣла, „Подали оладьи—не ѣстъ!"—А-а-а!.. удивился Костыль.—Не ѣстъ."—„И скажи, сдѣлай милость, когда она спитъ!—продолжала Липа.—Съ полчасика поспитъ, а тамъ вскочитъ, ходитъ, все ходитъ; не сожгли бы чего мужики, не украли бы чего. Страшно съ ней!"... И не даромъ боялась Липа: Аксинья на смерть обварила ея ребенка кипяткомъ, потомъ забрала все хозяйство и имущество въ руки, пустила всѣхъ по міру и ничего: ничто человѣческое не проснулось въ ней. Она восторжествовала, какъ темная стихійная сила и тоже безъ капли сознанія.

Если мы примемъ за установленный литературой фактъ, что нашъ мѣщанинъ хищникъ прежде всего, очень похожій на чеховскую Аксинью, то уже изъ одного этого, съ виду столь незначительнаго обстоятельства, многое должно выясниться. Я, разумѣется, далекъ отъ мысли унижать западнаго буржуа и увѣрять, что онъ не хищникъ. Онъ *тоже* хищникъ—это его неотъемлемое, но *не только* хищникъ. И потому съ нимъ должна быть и другая политика, и другое обращеніе. Напомню поэтому случай Щедрина, который въ одномъ изъ своихъ очерковъ пытался было по умному разговаривать съ Разуваевымъ, но кончилъ все же тѣмъ, что такъ-таки взялъ и плюнулъ ему въ личность. И вообразите себѣ, оказалось, что какъ разъ съ этого-то и надо было начать, потому что Разуваевъ уразумѣлъ и проникся. Но, очевидно, что съ Родсомъ или Чемберленомъ такой штуки вы не сдѣлаете; да вамъ и въ голову не придетъ подобный образъ поведенія, хотя разуваевская мощна одинаково, можетъ быть, безграничныхъ размѣровъ. Но у Разуваева хотя и бываетъ игра ума, но настоящей предпріимчивости, духа промышленнаго мессіанизма—нѣтъ и въ поминѣ. Онъ даже внутренняго обозрѣнія не читаетъ и нисколько имъ не интересуется. Тѣмъ не менѣе, его вторженіе въ область искусства и литературы интересны.

Вліяніе его духа—это пониженіе идейности, потому что мѣщанину, въ концѣ концовъ, нечего проповѣдывать, не къ чему стремиться, кромѣ того же—накопленія.

Хищничество вообще въ земледѣліи, торговлѣ, промышленности, администраціи ведетъ къ оскудѣнію и одичанію, хищническій индивидуализмъ такъ же необходимо ведетъ къ оскудѣнію и одичанію духа. Это почти трагизмъ и въ то же время нѣчто неизбѣжное. Хищническій индивидуализмъ дичаетъ и оскудѣваетъ, потому что ему некуда расширяться. Ну хорошо, человѣкъ скажетъ, такъ, „если хочешь—иди согрѣши"; или „я люблю безумную свободу"; или „мнѣ все позволено"; или „я оплевалъ святыни человѣчества"—а дальше что? Разъ согрѣшить, преступить, какъ говорилъ Достоевскій, хорошо, быть можетъ, но что за удовольствіе стать грѣховод-

никомъ сначала молодымъ, а потомъ старымъ грѣховодникомъ? Одинаково печально положеніе того, кто, по рецепту Минскаго. освободится отъ философіи, истины, добра. Просто даже въ толкъ не могу взять, что станетъ дѣлать такой несчастный человѣкъ? Онъ изойдетъ отъ скуки и, чтобы хоть чѣмъ-нибудь наполнить свою жизнь, начнетъ, какъ Альма, цѣловаться съ прокаженными. Быть можетъ, единственно цѣннымъ выходомъ для него оказался бы религіозный экстазъ, но вопросъ, насколько религіозный экстазъ можетъ быть глубокъ и длителенъ въ наши дни послѣ вѣковой скептической работы и послѣ вѣковыхъ разочарованій.

Единственное исторически возможное и исторически мыслимое расширеніе индивидуализма можетъ происходить лишь въ сферѣ соціальности. На самомъ дѣлѣ: сдѣлать общечеловѣческое знаніе своимъ знаніемъ, общечеловѣческое искусство — близкимъ и дорогимъ, т. е. цѣннымъ для себя, общечеловѣческія стремленія своими стремленіями—не значитъ развѣ расширить свою личность? Но мнѣ думается, что мѣщанскій индивидуализмъ совершенно не въ состояніи осуществить эту цѣль и задачи, потому что его методъ и его нравственное содержаніе для этого недостаточны. Въ хищническомъ своемъ выраженіи, т. е. въ наиболѣе для него типичномъ, онъ начинаетъ съ того, что кастрируетъ личность, освобождая ее отъ общественнаго содержанія. Нѣтъ общества или, лучше сказать, общество существуетъ лишь какъ арена борьбы между индивидами, какъ ристалище конкуренціи и карьеризма. Самый верховный принципъ, который провозглашаетъ мѣщанскій индивидуализмъ—слишкомъ узокъ и одностороненъ для полноты развитія. Это принципъ накопленія. Здѣсь все величіе и все ничтожество мѣщанства. Величіе потому, что принципъ накопленія, конкуренціи, промышленной иниціативы и предпріимчивости даетъ, даже ригористически примѣняемый, огромный толчокъ развитію производительныхъ силъ, безъ котораго, разумѣется, человѣчеству не только нельзя сдѣлать хотя бы шага впередъ, но и жить. Ничтожество потому, что вызванное такимъ образомъ національное богатство дастъ слишкомъ мало для духовнаго развитія людей и скорѣе даже ведетъ ихъ къ одичанію, что блистательно подтверждаютъ трансваальскіе и китайскіе подвиги, совершенные культурной Европой за послѣднее время, или эта ничтожная литература завитковъ и завитушекъ, на которые перешла американская и французская беллетристика и поэзія, на которые переходитъ и наша. Принципъ накопленія и роста разсматриваетъ человѣка лишь какъ орудіе, какъ средство, и очевидно, что мысль о полнотѣ его развитія даже не можетъ входить въ его содержаніе. Все равно, какъ въ области „добродѣтели“ мѣщанство можетъ возвышаться до высокой честности и никогда до справедливости, такъ въ сферѣ жизни вообще оно можетъ охранять всѣ права соб-

ственника и никогда достоинство человѣка. Потому что идеи справедливости и человѣческаго достоинства относятся къ принципу распредѣленія, а не накопленія. Задачи же распредѣленія мѣщанство на себя не беретъ, чувствуя, что здѣсь оно встрѣтится съ разными неожиданными препятствіями и сюрпризами. Оно естественно предоставило ее игрѣ стихійныхъ силъ и случайностей, на биржѣ довело эту случайность до высоты вавилонской башни. Это все равно, какъ въ игорномъ домѣ: расплата за проигрышъ и выигрышъ можетъ быть скрупулезно честна, но при чемъ тутъ справедливость? И я люблю, когда мѣщане говорятъ о промышленной предпріимчивости и ростѣ національнаго богатства—это выходитъ у нихъ хорошо, даже восторженно, и я ничего не имѣю, когда они говорятъ о добродѣтели и честности—это можетъ быть по ихъ части, но терпѣть не могу, когда они разсуждаютъ о справедливости. Что имъ справедливость и что они ей... Ибо справедливость—изъ области распредѣленія.

Въ изображеніи этой плоскости и безыдейности мѣщанства и борьбѣ съ нимъ русская литература должна опять найти свою идею, свое возрожденіе.

А. П. Чеховъ (1860). Несомнѣнно самое крупное художественное дарованіе, созданное печальной памяти десятилѣтіемъ 80-хъ годовъ. „Большинство героевъ Чехова лишены того огонька, который свѣтилъ бы имъ вдали и къ которому они могли бы стремиться. Изнывая въ жизненной пошлости, они поражаются въ человѣческихъ дѣлахъ полной безсмысленностью и случайностью всего совершающагося: безсмысленно дѣятельное стремленіе къ добру, потому что черезъ 200 лѣтъ люди насъ не вспомнятъ, безсмысленно зло, потому что оно вредитъ однимъ, а другимъ не приноситъ никакой пользы, безсмысленно равнодушіе, потому что его удѣлъ такъ же, какъ удѣлъ протестантовъ, сдѣлаться жертвой зла... Апатія, болѣзненная раздражительность, неврастенія — таковы неизбѣжныя свойства героевъ Чехова, которые вмѣстѣ съ типичными особенностями своего класса и среды сохраняютъ общія черты унынія и болѣзненнаго сознанія безсмысленности человѣческаго страданія... Въ длинной серіи разсказовъ Чехова несчастны всѣ: и жертвы, и обидчики, и возстающіе противъ зла и безразлично относящіеся къ нему“.

Изъ крупныхъ вещей Чехова упомяну: „Степь“, „Дуэль“, „Палата № 6“, „Моя жизнь“, „Мужики“, „Въ оврагѣ“; драмы: „Чайка“ „Ивановъ“, „Дядя Ваня“, „Три сестры“ и т. д.

Со своимъ огромнымъ талантомъ, своимъ невѣріемъ въ счастливое

будущее людей, Чеховъ пришелъ уже на оголенное хищниками и кулаками мѣсто, и оно поразило его своимъ унылымъ однообразіемъ, своею безжизненностью, слѣдами разрушенія, печатью отчаянія и ненужности. Точно на какомъ-то пожарищѣ, маленькіе, грязные, ошеломленные несчастіемъ люди копошатся, разворачивая обуглившіеся обломки, и огонь хищничества дѣйствительно истребилъ и рыбу въ водѣ, и птицъ въ воздухѣ, и народническое настроеніе въ душѣ интеллигента. Мнѣ думается даже, что рѣчь Астрова въ „Дядѣ Ванѣ“ чисто символическая и понимать ее надо шире. „Картина уѣзда въ настоящемъ:—говоритъ Астровъ,—зеленая краска лѣса лежитъ кое-гдѣ, но не сплошь, а пятнами: исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... Отъ прежнихъ выселковъ, хуторковъ, скитовъ, мельницъ и слѣда нѣтъ. Въ общемъ—картина постепеннаго и несомнѣннаго вырожденія, которому, повидимому, остается какихъ-нибудь 10—15 лѣтъ, чтобы стать полнымъ. Вы скажете, что тутъ культурныя вліянія, что старая жизнь естественно должна была уступить мѣсто новой. Да, я понимаю, если бы на мѣстѣ этихъ истребленныхъ лѣсовъ пролегли шоссе, желѣзныя дороги, если бы тутъ были заводы, фабрики, школы,—народъ сталъ бы здоровѣе, умнѣе, богаче,—но вѣдь тутъ ничего подобнаго. Въ уѣздѣ тѣ же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тифъ, дифтеритъ, пожары... Тутъ мы имѣемъ дѣло съ вырожденіемъ вслѣдствіе непосильной борьбы съ природой, непосильной борьбы за существованіе. Это вырожденіе отъ косности, отъ невѣжества, отъ полнѣйшаго отсутствія самосознанія, когда озябшій, голодный, больной человѣкъ, чтобы спасти остатки жизни, чтобы спасти своихъ дѣтей, инстинктивно, безсознательно хватается за все, чѣмъ только можетъ утолить голодъ, согрѣться, разрушаетъ все, не думая о завтрашнемъ днѣ... Разрушено уже почти все, но взамѣнъ не создано еще ничего...“

Дѣло тутъ, очевидно, не въ лосяхъ и лебедяхъ, а въ томъ, что озябшій, голодный, больной человѣкъ долженъ всю жизнь вести непосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послѣднее, что попадается подъ руку, потому что ему, подъ угрозой голодной смерти дѣтей, нельзя и думать о завтрашнемъ днѣ. Дѣло тутъ въ опустошенной, расхищенной природѣ и въ опустошенной, тоже „расхищенной“, душѣ человѣка, коснѣющаго въ нищетѣ и невѣжествѣ, ошалѣвшаго и ополоумѣвшаго отъ нищеты, невѣжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было, а теперь ничего нѣтъ, все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цѣлые уѣзды точно повторяютъ собою картины прошлаго послѣ нашествія татаръ. И это-то „разореніе“ и есть та соціологическая почва, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненныя драмы.

Чеховъ, какъ никто другой, разработалъ психологію людей, которымъ

пришлось работать на голомъ мѣстѣ, разоренномъ хищниками. „Непосильная борьба съ природой“, „непосильная борьба за существованіе“, „обнищаніе природы“ и „обнищаніе человѣка“—вотъ что опредѣляетъ основные моменты: усталость, даже переутомленіе и одиночество, доводящее до самоубійства, потому что ничего другого на пустомъ мѣстѣ не можетъ и возникнуть.

Семидесятники звали къ борьбѣ. Они обращались къ совѣсти людей, ихъ чувству стыда, любили говорить о расплатѣ съ народомъ за вынесенное имъ въ прошломъ, за выносимое въ настоящемъ; угасавшее на ихъ глазахъ народолюбіе они старались подогрѣть картинами крѣпостного права и статистикой мужицкаго обнищанія. Они хотѣли разжалобить и вдохновить, и величіе ихъ проповѣди заключалось въ томъ, что они говорили о безкорыстіи и справедливости, что они обращались всегда къ лучшему, что есть въ человѣкѣ, старались внушить ему вѣру въ себя и свои силы, направленныя на борьбу со зломъ. Но когда оказались расхищенными и природа, и вѣра въ народъ,—на сцену выступили другіе мотивы и, прежде всего, повторяю, мотивъ одиночества и непосильной борьбы. Ихъ то и взялъ себѣ Чеховъ.

Призыва къ борьбѣ у него нѣтъ. Наоборотъ даже: вы найдете у него признаніе „рокового, неизбѣжнаго и стихійнаго хода событій“. Есть даже растерянность, которая такъ естественна и понятна въ человѣкѣ, неожиданно для себя очутившемся на пожарищѣ. За что, на самомъ дѣлѣ, взяться, когда „разрушено почти все, а взамѣнъ не создано еще ничего“? Съ чего начать, если голодные, больные люди расхищаютъ послѣдніе остатки? Конечно, не всѣ еще дѣятели сошли со сцены. Между ними есть сильные духомъ, нисколько не жалѣющіе себя, радостно берущіеся за всѣ подвиги, нужность которыхъ подсказываетъ имъ жизнь. Но проходитъ нѣсколько лѣтъ „непрестаннаго горѣнія“ и—посмотрите, во что обращаются эти борцы? Вотъ докторъ Астровъ, талантъ и умница, хлопающій рюмку за рюмкой, вотъ земецъ Ивановъ, совсѣмъ надорванный и переутомленный, у котораго достаетъ силы лишь на самоубійство, вотъ честный и добрый дядя Ваня, отдавшій свою жизнь на безсмысленный подвигъ, потому что на голомъ мѣстѣ осмысленныхъ подвиговъ нѣтъ и быть не можетъ. Духъ живъ ушелъ изъ человѣка, ушла у него идея служенія, единственная идея, во имя которой можно и стоитъ жить, и вся жизнь погрузилась въ унылое, сѣрое однообразіе.

У Поэ есть картина, гдѣ все окрашено въ одинъ желтый цвѣтъ—и земля, и деревья, и небо, и люди. Какъ что-то необычное — это наводитъ на васъ ужасъ. Господствующій тонъ всѣхъ картинъ Чехова—тусклый и сѣрый, даже мутный и тяжелый осадокъ тоски: ощущеніе полной не-

нужности, безцѣльности жизни остается послѣ всякаго его разсказа. О! Это великій мастеръ рисовать гнетущее и опустошающее впечатлѣніе однообразія житейской обстановки. До ужаса, до содраганія ясно вы видите, какъ тина нищей, безыдейной жизни затягиваетъ человѣка, какъ все глубже и глубже погружается онъ въ предательское болото житейскихъ мелочей, дрязгъ, сплетенъ, пересудовъ. Сначала онъ барахтается, кричитъ о помощи, проклинаетъ, но понемногу тупое равнодушіе начинаетъ овладѣвать имъ. И тутъ онъ погибъ, и тутъ уже нѣтъ силы на землѣ, которая могла бы спасти его. Онъ—обреченный и всѣ вокругъ него—тоже обреченные въ этой удивительно тихой, стихійно-вырождающейся жизни. Только порою на поверхность всплываетъ что то безобразно-жестокое, и опять все мертво и тихо, тихо.

Люди растерялись, озлобились, сознательно или безсознательно подчинялись „роковымъ процессамъ“ разоренія, коснѣютъ въ нищетѣ, невѣжествѣ, эпидемическихъ болѣзняхъ, и нѣтъ у нихъ въ душѣ ничего такого, что бы звало ихъ къ ближнимъ, что бы вырвало ихъ изъ тисковъ гнетущаго одиночества. Подавленные непосильной работой,- не видя отъ нея никакого прока, озлобленные на себя, на это нищее, голое окружающее ихъ мѣсто, они ежеминутно готовы на ссору. Изъ-за чего они ссорятся? А такъ, въ сущности, просто ни изъ-за чего. Просто душа изныла, просто на душѣ накопилось слишкомъ много злобы и раздраженія, просто они чувствуютъ себя во власти опутавшихъ ихъ мелочей жизни и не знаютъ, какъ освободиться отъ нея, больше—знаютъ, что имъ никакъ отъ нея не освободиться. И они уже враги одинъ другого, прежде даже, чѣмъ увидѣли другъ друга, прежде чѣмъ встрѣтились. Имъ не о чемъ говорить, когда они сойдутся, нечего дѣлать сообща. Они воистину „одинокіе люди“.

Чеховъ часто описываетъ ссоры, и всякій разъ, какъ онъ описываетъ ихъ, поражаешься случайностью поводовъ къ нимъ и основательностью въ глубинѣ души лежащихъ причинъ. Какъ все у Чехова—эти ссоры стихійны и необходимы, потому что разладъ между людьми есть только отраженіе разлада самой жизни, которая бьетъ, мучаетъ, насилуетъ человѣка, доводитъ его до одичанія и непримиримаго человѣконенавистничества. Все высшее, идейное или замерло совсѣмъ, или проявляется въ какихъ-то безсильныхъ, полузадавленныхъ стонахъ, жизнь—это или ярмо, или безпросвѣтная муть сырого тумана, въ которой всѣ предметы теряютъ свои опредѣленныя очертанія, становятся безформенными, почти призраками, тяжелыми и угнетающими. Нѣтъ просвѣта и нѣтъ дороги, не за что ухватиться, не на что надѣяться, не во что вѣрить, такъ какъ вся жизнь отдана во власть хищника, его подвиговъ и его растлѣвающаго человѣконенавистничества.

И у Чехова всегда такъ: побѣждаетъ исключительно пошлость жизни и тѣ люди, которые особенно втянулись въ нее, и являются ея талантливѣйшими „представителями“. Нравственное мужество, образованіе, благородство, прекрасные замыслы, даровитость—все это, въ концѣ концовъ, гибнетъ, сдается въ непосильной борьбѣ съ нравственной тупостью, невѣжествомъ, низостью духа, бездарностью. На этой-то почвѣ и происходятъ чеховскія „трагедіи обыденной жизни“ и въ этомъ, прежде всего, ихъ историческое и общественное значеніе. Въ разсказѣ „Человѣкъ въ футлярѣ“—какой-то пошлякъ держитъ въ постоянномъ страхѣ и трепетѣ учениковъ цѣлой гимназіи, своихъ товарищей-учителей, весь педагогическій совѣтъ и даже весь городъ, потому что самъ соблюдаетъ всѣ правила, самъ всего опасается и, по своей ограниченности, прямолинеенъ до послѣдней степени. Въ „Дядѣ Ванѣ“ — побѣда остается на сторонѣ деревяннаго профессора, который, благодаря своему тупому самодовольству, своему упрямому эгоизму, заставляетъ всѣхъ служить себѣ. А порывы, мечтанія, благородные замыслы—все это пропадаетъ даромъ, все это ни къ чему въ мелкой и нищей жизни, которая не знаетъ, что съ ними дѣлать и какъ ими воспользоваться. Чтобы героизмъ и высокіе замыслы нашли себѣ мѣсто и примѣненіе, чтобы они не казались чѣмъ-то лишнимъ и обременительнымъ, жизнь должна быть духовно богата. Въ другую эпоху и при другихъ обстоятельствахъ Лютеръ не сталъ бы реформаторомъ, а писалъ бы себѣ тихо, мирно и благородно огромные, неуклюжіе схоластическіе трактаты, въ другую эпоху Гуттенъ оставилъ бы послѣ себя не геніальные „разговоры“, а лишь память о безобразныхъ бреттерскихъ поступкахъ, и самъ Эразмъ не пошелъ бы дальше изобрѣтенія новаго вида силлогизма сверхъ 60-ти или 70-ти извѣстныхъ схоластической логики. И въ другой обстановкѣ не надорвался бы Ивановъ или дядя Ваня, не растерялся бы въ тоскѣ одиночества Треплевъ, и не являлись бы въ роли побѣдителей Аксиньи и „человѣки въ футлярѣ“.

Реальную обстановку этихъ жизненныхъ драмъ, слишкомъ даже обычныхъ, чтобы не давать тона жизни, Чеховъ находитъ въ провинціальной скукѣ, однообразіи провинціальнаго существованія, его уныніи и безыдейности. Провинцію онъ великолѣпно знаетъ, и, кажется, у насъ не было еще писателя, который захватилъ бы ее такъ глубоко и взглянулъ на нее такъ безнадежно, какъ онъ. У него нѣтъ жалобъ и проклятій, какъ у Герцена и Щедрина, нѣтъ невольной органической любви къ этой тихой и мирной жизни, невольнаго тяготѣнія къ ней, какъ у Островскаго. Все тускло, сѣро, а главное — безнадежно, вездѣ слѣды хищничества и разоренія, вездѣ нищета духовная и матеріальная. Теперь вышло въ свѣтъ полное собраніе сочиненій Чехова-

Надо перечесть ихъ страницу за страницей, чтобы изъ этой мозаики случайныхъ, повидимому, фактовъ, часто анекдотовъ, сложилась стройная и воистину грозная картина опустошенія природы и человѣческаго духа, и то обстоятельство, что Чеховъ не жалуется, не протестуетъ, совѣстливо воздерживается отъ какихъ бы то ни было „отрадныхъ фактовъ", даже самыхъ крохотныхъ, разумѣется, только усиливаетъ впечатлѣніе. Все, вплоть до надеждъ, мечтаній, порывовъ, до честныхъ и размашистыхъ стремленій юности, разграблено, и на этомъ голомъ мѣстѣ человѣкъ одинокъ и тѣмъ болѣе одинокъ, чѣмъ онъ умнѣе, талантливѣе, лучше.

Но Чеховъ слишкомъ поэтъ, слишкомъ художникъ, чтобы оставаться на реальной соціологической почвѣ. Разработавъ, какъ никто, психологію людей, живущихъ на голомъ мѣстѣ и во имя своего озлобленнаго культа самосохраненія губящихъ и душащихъ все талантливое и идейное,—онъ хочетъ символизировать, выйти изъ узкихъ и тѣсныхъ рамокъ даннаго историческаго момента, данной провинціальной обстановки и свой безнадежный пессимизмъ, свою тоску невѣрія распространить на жизнь вообще, связать ея ничтожество не съ временными обстоятельствами, которыя могутъ измѣниться, а съ органическими свойствами человѣческой природы, и вмѣсто образа обреченнаго поколѣнія дать образъ обреченнаго человѣчества. Здѣсь, стоя на этой высотѣ, онъ по необходимости становится сатирикомъ, потому что постоянно указываетъ на противорѣчіе между мечтами и прозой жизни, между созданной себѣ человѣкомъ иллюзіей собственнаго могущества и его дѣйствительнымъ ничтожествомъ.

Въ глазахъ Чехова случай въ человѣческой жизни превращается въ необходимость, и нѣтъ ровно ничего случайнаго, потому что все случайно. Возьмите такое происшествіе, какъ разрушеніе Помпеи, за полчаса до котораго цѣловались влюбленные, или лиссабонское землетрясеніе, остановившее какую-нибудь дьявольскую интригу, или что-нибудь въ томъ же родѣ, такъ же мало зависящее отъ воли человѣка, какъ погода или солнечное затменіе, распространите вліяніе такого рода событій, меньшихъ по размѣру и объему, но и безчисленныхъ зато, на всю жизнь, прослѣдите ихъ могущество, ихъ трагическія послѣдствія—и вы получите міросозерцаніе Чехова. Наше земное существованіе для него калейдоскопъ, вырисовывающій драму за драмой. Дѣвочкѣ хочется спать, а ребенокъ, котораго она нянчитъ, мѣшаетъ ей, и спросонокъ она его душитъ. Бродяга земли русской встрѣчаетъ на почтовой станціи чудную дѣвушку и чувствуетъ—больше, чѣмъ чувствуетъ—знаетъ, что онъ бы могъ полюбить ее всѣми силами своего восторженнаго духа и быть счастливымъ и что она могла бы одинаково полюбить его и также быть счастливой, но вотъ 7 часовъ утра и надо разъѣзжаться въ разныя стороны, и за этой слу-

чайной встрѣчей вы видите двѣ совсѣмъ разбитыхъ жизни. Совсѣмъ уравновѣшанный человѣкъ, семьянинъ, начинающій уже сѣдѣть, давно уже вошедшій въ колею мѣщанскаго счастья, подсаживается изъ-за капризной прихоти къ хорошенькой незнакомкѣ, и нѣтъ больше ни его мѣщанскаго счастья, ни самодовольной уравновѣшанности, а капризная прихоть превращается въ любовь и страсть.

Изъ-за чего же собственно люди борятся и страдаютъ, что заставляетъ ихъ радоваться? А между тѣмъ, постоянная безплодная борьба утомляетъ, духъ устаетъ отъ порывовъ, которымъ нѣтъ исхода въ жизни, стыдъ за свое безсиліе овладѣваетъ человѣкомъ: онъ не можетъ обдумать, разсчитать, устроить ничего. Онъ не можетъ ничего и найти. И вообще, нужно ли искать что-нибудь? Не успокоиться ли на томъ, что жизнь пустая и глупая шутка, надъ которой не стоитъ даже и задумываться? Пусть идутъ день за днемъ, завтра и вчера, пусть люди встаютъ и ложатся съ тѣмъ же недоумѣніемъ и тѣмъ же непониманіемъ, тѣми же безтолковыми заботами, тѣмъ же томительнымъ ожиданіемъ случайныхъ катастрофъ въ тѣ дни, когда война или градъ на другомъ концѣ свѣта дѣлаетъ богатыми однихъ и выбрасываетъ на мостовую тысячи тысячъ голодныхъ людей... Не все ли равно? Вѣдь самаго дорого—свободы, значенія, счастья—намъ не дано. Великое и малое, глупое и разумное, честное и безчестное свалится черезъ столько-то дней, часовъ и минутъ въ ту же могилу. Отъ жизни, отъ всѣхъ ея впечатлѣній, отъ всей борьбы порывовъ, ненужныхъ страданій не останется ничего.

Стоитъ ли въ такомъ случаѣ искать, томиться, не проще ли махнуть рукой?..

Пессимизмъ Чехова чисто умственный, корень котораго въ мышленіи, а не въ настроеніи, въ своеобразномъ пониманіи хода человѣческой жизни и тѣхъ, то насмѣшливыхъ, то трагическихъ каверзъ, которыя устраиваетъ съ ней судьба. Но тамъ же и источникъ его сатиры, сатиры не по адресу отдѣльнаго человѣка, а по адресу всей жизни вообще, въ которой люди играютъ какую-то странную и обидную для ихъ самомнѣнія роль. Это, если хотите, точка зрѣнія одного изъ величайшихъ умовъ Европы—Свифта. Вѣдь что въ сущности говорилъ Свифтъ людямъ? Онъ твердилъ имъ, что они очень крикливы и безпокойны, думаютъ, что совершаютъ великія дѣла, а между тѣмъ, они лилипуты, весь флотъ которыхъ Гулливеръ уводитъ въ плѣнъ однимъ пальцемъ. Далѣе онъ твердилъ, что напрасно они считаютъ себя прекрасными, что въ сущности они безобразны и даже отвратительны, если посмотрѣть на нихъ болѣе проницательнымъ взглядомъ, чѣмъ взглядъ человѣка, и что, въ концѣ концовъ, лошади куда лучше ихъ. Такое пониманіе дѣла нисколько не исключаетъ любви и гу-

манности и всѣхъ другихъ хорошихъ чувствъ, но странность остается странностью и вызываетъ какое-то обидное недоумѣніе. Ну, какъ объяснить, напр., что какой-нибудь осиновый колъ въ образѣ профессора умѣетъ окружить себя хорошими людьми, заставить этихъ хорошихъ людей самоотверженно служить себѣ всю жизнь, тратить на себя эту чужую жизнь, не давая ей не только распуститься, но и отдохнуть. А вѣдь тутъ скрывается драма, тутъ опустошается душа людей, и эту драму Чеховъ изображаетъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ произведеній—пьесѣ „Дядя Ваня". И онъ не разъ обращается къ ней, и очевидно, какъ сильно привлекаетъ его вниманіе это обидное торжество самодовольства и глупости надъ жизнью хорошихъ людей, эта ихъ обидная власть. Онъ остается сатирикомъ, но такія его сатиры кончаются трагедіей, какъ у Вольтера, Свифта или нашего Щедрина.

Сатира Чехова не сатира насмѣшки, конечно, какъ у Горація, и не сатира негодованія, какъ у Ювенала или Щедрина, со смѣхомъ вообще она имѣетъ очень мало дѣла, хотя,—надо замѣтить,—юморъ Чехова одна изъ самыхъ красивыхъ сторонъ его дарованія—этотъ удивительно тонкій, сдержанный джентльменскій въ лучшемъ смыслѣ этого слова юморъ, эта какъ разъ сатира, которую только и могла создать невѣрующая, скептическая и метафизически настроенная эпоха 80-хъ годовъ. Ближе всего точка зрѣнія Чехова подходитъ къ гоголевской, но Гоголь своими образами человѣческаго ничтожества и пошлости велъ или думалъ вести къ религіи. Чеховъ не ведетъ никуда.

Его сатира вся построена на основныхъ противорѣчіяхъ: иллюзіи и дѣйствительности, мечты и прозы жизни, крошечныхъ силъ человѣка и огромности силъ стихійныхъ, претензій человѣческаго разума и не только не считающагося съ ними, но и жестоко надъ ними надсмѣхающагося величія жизни. И потому-то, говорю я, обреченное поколѣніе, стиснутое и сдавленное историческими условіями своего существованія, обращается въ его глазахъ въ символъ обреченнаго человѣчества. Гдѣ и въ чемъ выходъ изъ этого страннаго сплетенія ничтожныхъ случайностей—Чеховъ прямо не говоритъ. На поставленный вопросъ онъ отвѣчаетъ лишь развязками своихъ драмъ, и эти развязки („Ивановъ", „Чайка", „Дядя Ваня", „Три сестры") не обходятся безъ револьвера. Человѣку душно, ему нечѣмъ жить больше, и онъ убиваетъ себя или... или начинаетъ жизнь, со стороны, горшую самой смерти,—жизнь, съ ужасающей ясностью сознавшую, что въ ней нѣтъ никакого смысла и нѣтъ никакого и никуда выхода („Дядя Ваня", „Три сестры").

„Признать, что нѣтъ выхода—есть уже своего рода выходъ", —сказалъ какъ-то Герценъ, но, конечно, только „своего рода", и Герценъ,

очень чуткій къ тайному смыслу своихъ словъ, почти сейчасъ же прибавляетъ: „но чему-нибудь послужили и мы. Наше историческое дѣяніе въ томъ состоитъ, что мы нашимъ разочарованіемъ, нашимъ страданіемъ доходимъ до смиренія и покорности передъ истиной и избавляемъ отъ этихъ скорбей слѣдующія поколѣнія. Наше человѣчество протрезвляется, мы его похмелье, мы его боли родовъ“.

Въ этихъ словахъ передъ вами все еще идеалистъ, думающій о судьбахъ человѣчества въ минуту полной разочарованности и устали и вѣрующій въ грядущіе лучшіе дни, смиренно принимая на себя въ то же время роль „похмелья“ людей. Но любопытно, что о грядущихъ лучшихъ дняхъ у Чехова говорятъ самые глупые люди, въ родѣ полковника Вершинина („Три сестры“).

Но все-таки... что же остается человѣку?

Конечно, отъ художника никто не имѣетъ права требовать такого точнаго и опредѣленнаго отвѣта, какъ отъ критика и публициста, который не только долженъ отвѣтить да или нѣтъ, но и разъяснить, почему въ одномъ случаѣ онъ говоритъ „да“, а въ другомъ „нѣтъ“. Отъ такого обязательства художникъ въ большей или меньшей степени свободенъ, какъ свободна отъ него самая жизнь, предоставляющая каждому право произвольнаго толкованія.

Быть можетъ, на поставленный вопросъ Чеховъ всего яснѣе отвѣтилъ развязками своихъ драмъ и своими женскими и женственными типами, какъ „Дядя Ваня“, или герой большого разсказа „Моя жизнь“. Въ развязкахъ драмъ человѣкъ, разъ онъ не кончилъ жизнь самоубійствомъ, смиряется, ограничиваетъ себя до конца, беретъ на плечи крестъ свой съ тѣмъ, чтобы нести его безъ надежды на отдыхъ развѣ послѣ смерти, безъ мысли о томъ, что какъ-нибудь и когда нибудь его ноша можетъ быть сброшена. Одни подчиняются этому съ глухимъ ропотомъ, съ затаеннымъ проклятіемъ, насилуя все существо свое. Они какъ будто послѣ долгаго выхода изъ подземной пещеры, гдѣ имъ пришлось заблудиться, усталые и измученные до конца, бросаютъ въ пропасть послѣднюю коробку спичекъ, послѣднюю свѣчку, чтобы больше не искать и не томить себя надеждой. Еще на минуту передъ этимъ они торопливо переходили изъ галлереи въ галлерею, изранили себѣ ноги этой тяжелой ходьбой, надорвали грудь отчаяннымъ громкимъ крикомъ о помощи—но теперь они поняли, что все кончено, и съ тупымъ равнодушіемъ забрались въ уголъ и сѣли тамъ среди непросвѣтной мглы, безъ мысли, безъ надежды, безъ силы. Такъ кончаетъ дядя Ваня.

Героини Чехова относятся къ дѣлу иначе. Вообще говоря, это удивительно красивыя созданія, повторяющія собой героинь Тургенева. Но въ

нихъ еще больше страстной религіозной экзальтаціи, еще больше готовности къ самоотверженному подвижничеству. Въ Сонѣ, напр., вы совсѣмъ даже не чувствуете тѣла или чего-нибудь земного. Это—сплошная любовь, сплошная жалость къ людямъ, вѣра въ красоту загробнаго міра и ожиданіе его. Героини Тургенева все же чувствуютъ и смутно сознаютъ даже, что онѣ стоятъ на порогѣ новой жизни и ея требовательныхъ запросовъ. И онѣ, какъ Елена изъ „Наканунѣ", какъ Наташа въ „Рудинѣ", рвутся имъ навстрѣчу. Что-то подсказываетъ, что новая жизнь, принесетъ имъ много хорошаго, расширитъ границы ихъ маленькаго деревенскаго существованія, и это дастъ имъ силу, бодрость, какую-то особенную красоту чувства собственнаго достоинства. Рядомъ съ Еленой, Наташей, Маріанной,—любимый образъ Тургенева, это настоящая его мечта, какъ поэта,—образъ Лизы изъ „Дворянскаго гнѣзда", ушедшей въ монастырь, чтобы молиться о грѣхахъ міра, потому что никакихъ своихъ грѣховъ у нея не было. Это бѣдное, маленькое, глубоко обиженное жизнью существо нашло въ себѣ силы для подвига, въ смыслѣ котораго не отдало даже себѣ отчета, все равно, какъ нашла въ себѣ силы и совершенно для такого же подвига чеховская Соня, Когда личная жизнь Сони совершенно оборвалась и впереди не стало уже чего ждать, когда тьма безнадежности окутала ее со всѣхъ сторонъ, она, сдерживая слезы и занятая лишь одной мыслью, какъ бы утѣшить одинаково страдающаго возлѣ нея человѣка, говоритъ ему: „Что же дѣлать? Надо жить... Мы, дядя Ваня, проживемъ длинный, длинный рядъ дней, долгихъ вечеровъ, будемъ терпѣливо сносить испытанія, какія пошлетъ намъ судьба, будемъ трудиться для другихъ и теперь, и въ старости, не зная покоя, а когда наступитъ нашъ часъ, мы покорно умремъ и тамъ, за гробомъ, мы скажемъ, что мы страдали, мы плакали, что намъ было горько, и мы съ тобой, дядя, милый дядя, увидимъ жизнь свѣтлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешнія наши несчастія оглянемся съ умиленіемъ, съ улыбкой—и отдохнемъ. Я вѣрую, дядя, я вѣрую горячо, страстно... Мы отдохнемъ"...

Занавѣсъ въ „Дядѣ Ванѣ" медленно опускается „надъ невыплаканными слезами, надъ загубленной жизнью"... Вѣдь эти слова Сони, это ея самоотреченіе, такъ же, какъ и самоотреченіе дяди Вани, теперь уже окончательно рѣшившаго отдать всю свою работу на служеніе профессору и его подагрѣ,—тоже самоубійство. И чѣмъ другимъ можетъ закончиться жизнь, обреченная на одиночество? И въ этихъ-то развязкахъ драмъ Чехова открывается таинственный и грозный смыслъ великихъ словъ—не хорошо человѣку быть одному. А для Чехова человѣкъ одинъ, всегда одинъ: одинъ въ реальной обстановкѣ жизни, разграбленной хищниками и превратившейся въ голое мѣсто, одинъ въ своихъ высокихъ порывахъ и

благородныхъ стремленіяхъ, одинъ среди природы, вынуждающей его на непосильную борьбу съ собой, одинъ передъ молчаніемъ неба...

И это — воистину глубокая драма, вызвавшая на свѣтъ Божій мрачную Чеховскую сатиру.

Вообще я долженъ замѣтить, что говорить о литературѣ 80-ыхъ годовъ очень трудно: даже при нѣкоторомъ знакомствѣ съ ней начинаетъ прямо-таки рябить въ глазахъ отъ пестроты мыслей и направленій. Былъ на сценѣ совершенно несыгравшійся оркестръ, безъ всякаго признака присутствія среди него капельмейстера. Но даже не одна пестрота мыслей такъ удручающе дѣйствуетъ на душу, а больше всего ихъ отрывочность, неполнота, неопредѣленность. Каждый старался говорить отъ себя, и ни у кого не достало силъ и средствъ заставить себя слушать. Было ясно, что ищутся новые пути, что догматы 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ имѣютъ уже очень мало преданныхъ сторонниковъ, что большинству очень дорого ихъ „я", но они не желаютъ болѣе отдавать этого „я" на служеніе общественности, что самое для нихъ важное, это обязанности по отношенію къ своему я и прежде всего, его даже не нравственному, а эстетическому развитію. Но даже такая простая мысль не нашла себѣ достаточно яркой формулировки. Увлекались затѣмъ пессимистической философіей вообще и философіей Шопенгауэра въ частности. Но опять-таки ни одного талантливаго пессимиста и скептика литература не дала. Въ душной атмосферѣ этого десятилѣтія угасли и захирѣли даже тѣ немногіе таланты, которые едва-едва успѣвали проявиться. Достаточно взглянуть на журналистику того времени, чтобы увидѣть полное оскудѣніе и запуганность духа. Наибольшею популярностью пользовались не толстые журналы, а газеты, что для насъ ново и необычно. „Вѣстникъ Европы" (1866) продолжалъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, аккуратно выходить каждое первое число, твердо держась той же программы, сущность которой сводилась къ тому, чтобы утвердить за нашимъ самосознаніемъ принципы законности, утвержденные въ западныхъ государствахъ; очень читалась „Русская мысль" — журналъ крайне отвлеченнаго направленія, сталъ издаваться „Сѣверный Вѣстникъ", главная роль въ которомъ перешла скоро къ г-ну Волынскому, пытавшемуся дать идеалистическія основанія бѣдной „русской мысли",—но въ этомъ не успѣлъ. „Недѣля" въ лицѣ Я. Абрамова звала къ малымъ дѣламъ, проповѣдуя ихъ съ сытымъ самодовольствомъ, тамъ же г. Дѣдловъ приглашалъ русскую молодежь давать клятву (!) что она обратится безъ исключенія въ доброкачественныхъ чиновниковъ; г. Михайловскій брюзжалъ, негодовалъ, полемизиро-

валъ съ Толстымъ, и говорятъ, удачно. Большою популярностью, благодаря своей искренности, пользовался Н. В. Щелгуновъ, поражавшій удачно г. Абрамова и „Недѣлю“ и призывавшій молодежь къ идеаламъ общественности. Однако во всемъ, благодаря общей запуганности, безпросвѣтному господству канцеляризма и формальности, лежалъ отпечатокъ сѣрости, ненужности, разрозненности. Таланты, подававшіе большія надежды, напр., К. М. Фофановъ, Д. С. Мережковскій, И. Н. Потапенко и т. д. не въ достаточной степени оправдали ихъ. Старые принципы, вдохновлявшіе „отцовъ“, выдохлись, новыхъ не было. Капитализмъ медленно, но вѣрно подрывалъ всѣ старые устои и, въ концѣ концовъ, мало чѣмъ можно вспомнить эти тусклые годы развѣ произведеніями исключительнаго дарованія А. П. Чехова. Литература была сѣрая, безъ идеи и темперамента и мѣщански приличная. Она рѣдко спускается въ подвалы, въ деревни — рѣдко поднимается наверхъ — въ чердаки, предпочитая средину, и здѣсь она находитъ неисчерпаемое вдохновеніе. За послѣдніе годы она сдѣлала очень много. Такъ она, т. е. наша литература, подробно и всесторонне изучила психологію женщины бальзаковскаго возраста, и хотя беллетристы не вполнѣ согласны другъ съ другомъ въ подробностяхъ, ею въ общемъ указанная психологія установлена на незыблемыхъ основаніяхъ. Эти основанія— стрѣлка, Фелисьенъ, курортъ и, разумѣется, онъ, пробуждающій вторую молодость. Затѣмъ многіе гг. беллетристы съ г. Боборыкинымъ во главѣ, предприняли нѣсколько экскурсій въ страну, населенную замоскворѣцкими купчихами, и произвели въ высшей степени плодотворныя изслѣдованія этого страннаго и таинственнаго племени. Изъ опубликованныхъ ими для всеобщаго свѣдѣнія данныхъ слѣдуетъ, что замоскворѣцкія купчихи не выпиваютъ теперь двадцати самоваровъ въ день, или не бесѣдуютъ со странницами и не вяжутъ шерстяныхъ чулокъ. Напротивъ того, большинство изъ нихъ верхъ ума, красоты и образованности. Онѣ, кромѣ того, обладаютъ пріятной полнотой и, разумѣется, милліонами. Не трудно оцѣнить всю важность, которую имѣетъ изученіе нравовъ, быта и адюльтеровъ замоскворѣцкихъ купчихъ хотя бы только для отечественной этнографіи. Далѣе, сдѣлана попытка, преимущественно дамами-писательницами, открыть читателю всѣ сердечныя тайны скучающей вдовы, одаренной красотой, жаждой любви и обезпеченнымъ состояніемъ. Несомнѣнная трудность и сложность затронутаго предмета не позволили пока довести до конца блестяще начатое дѣло, но судя по первымъ шагамъ, дальнѣйшая разработка предмета должна обогатить современную дамскую психологію другими крупными и важными открытіями. Именно, намѣченъ уже тотъ циклъ чувствъ, среди котораго

вращается душа скучающей вдовы, но осталось совершенно невыясненнымъ, какое отношеніе имѣетъ вдова и ея скука къ русской литературѣ?

Декаденты. Литература 80 хъ годовъ выдѣлила между прочимъ изъ себя группу молодыхъ писателей, которые безъ достаточнаго основанія получили названіе декадентовъ или „упадочниковъ". Но съ западными декадентами собственно эти русскіе молодые люди имѣютъ очень мало общаго. Западное декадентство—явленіе серьезное, почему и создало уже серьезныя литературныя явленія, напр., поэзію Бодлэра. Его почва—общественное вырожденіе. Несомнѣнно, что наша цивилизація, вообще говоря, богата всякаго рода нечистью, грязью, болѣзнями, нищетой, отчаяніемъ, невѣріемъ и т. д. Эти мутныя воды должны имѣть своихъ пѣвцовъ и героевъ, и такимъ пѣвцомъ былъ Бодлэръ. Онъ обладалъ особенной чувствительностью къ грязи жизни. Порою онъ прямо смаковалъ ее. Онъ безтрепетно шелъ туда, куда, быть можетъ, не пойдетъ никто изъ насъ. Онъ не отступалъ ни передъ какими ужасами извращенности и паденія. Онъ понималъ все это, какъ что-то свое, близкое, но, окунаясь головой въ грязь, онъ все же оставался благородной, эстетической натурой. Разумѣется, онъ не выставилъ бы наружу съ такой поразительной художественной яркостью всей грязи современности, если бы она не жила въ немъ самомъ, хотя бы въ подпольяхъ его существа, и если бы какой-то щупальцей своего существа онъ не любилъ ее.

Но наши „декаденты" увлеклись не этимъ, а скорѣе одной лишь формой молодой французской поэзіи и ея вычурность, ея стремленіе къ оригинальности, хотя бы чисто внѣшней, такъ сказать звуковой, словесной, довели до крайности. Въ ихъ средѣ есть несомнѣнно талантливые люди, напр., К. Д. Бальмонтъ. Но въ общемъ ничего талантливаго они не создали и если пріобрѣли нѣкоторую извѣстность, то благодаря прямо-таки дикимъ литературнымъ выходкамъ удивительно похожимъ на пародіи настоящаго искусства. Такіе стихи, какъ напр.:

День прошелъ въ свободномъ славословьи,
Окна улицы въ снѣгахъ я вскрылъ,
Много было добраго, восторга и здоровья,
И себя я искренне, хоть первый мигъ любилъ.
Ахъ! о томъ больное безпокойство,
Все ли сдѣлано руками и умомъ—и т. д.

едва-ли могутъ быть причислены къ поэзіи и даже названы стихами. Но встрѣчаются и еще болѣе безтолковыя произведенія, что и заставляетъ нѣкоторыхъ предполагать, что такъ называемые декаденты нарочно и преду-

мышленно создаютъ дикія и даже юродивыя вещи, чтобы хотя такимъ вотъ путемъ обратить на себя вниманіе. Литература тутъ собственно ни при чемъ или значитъ столько же, сколько вообще другіе „пріемы“.

Про одного изъ наиболѣе юродствующихъ декадентовъ разсказываютъ, напр., слѣдующее:

„Помню Александра Д—а гимназистомъ съ большими черными глазами на выкатѣ, съ тихимъ голосомъ, мальчишески дерзкими словами съ тетрадкой тогда модныхъ, безсмысленныхъ и очень скучныхъ стиховъ. Въ тѣ молодые неустойчивые дни увлеченій европейской игрушкой, только что выдуманной, у Д—а были товарищи, но для которыхъ игрушка и была игрушкой, свойственной легкому (?) дѣтству. Увлекались и отпали, пошли пробовать общаться съ людьми по своимъ путямъ, и наноснаго въ его стихахъ, словахъ, даже презрительности къ чужимъ мнѣніямъ—тоже было мало. Впрочемъ, эта презрительность всегда есть и всегда искренна у людей, которые особенно горячо хотятъ высказать себя, подойти къ другимъ. Ее надо понять и повѣрить ей, такой естественной, такой трогательной.

„Встрѣчался мнѣ Д—овъ рѣдко, потому что въ самомъ дѣлѣ производилъ непріятное, жалкое, досадное впечатлѣніе, а мы отъ такихъ впечатлѣній себя заботливо охраняемъ..

„ ...Разсказывали, что Д—овъ чудитъ все болѣе и болѣе, хотя при этомъ много читаетъ и много работаетъ. Чудачества его носили самый разнородный характеръ: то были дѣтски-невинны и наивны, то опасны. Онъ оклеивалъ потолокъ своей комнаты черной бумагой и *убѣждалъ молодыхъ дѣвушекъ убивать себя.* Письма онъ писалъ дикія, ни на что не похожія, безъ обращенія, изломаннымъ почеркомъ, и точно поддѣлываясь подъ бредъ. Его стихи попрежнему были и не талантливы, и тягостны. Въ послѣднее мое свиданіе съ нимъ, раннимъ осеннимъ вечеромъ, въ чужой комнатѣ, онъ велъ себя тоже странно, говорилъ какъ будто не то, что ему хотѣлось, и лицо у него было измученное и дикое—лицо человѣка въ послѣднемъ отчаяніи. Но и тогда онъ былъ непріятенъ, досаденъ,—хотѣлось уйти отъ него съ брезгливостью, съ сознаніемъ своей правоты“...

Дальше опять любопытныя строки:

„Года три тому назадъ, онъ ушелъ изъ литературы, изъ университета, изъ Петербурга, отъ матери, одѣтый по-страннически, замолчавшій и дикій. Говорятъ, что онъ долго жилъ въ какомъ-то далекомъ монастырѣ, работалъ, какъ послушникъ, носилъ вериги, хотя и не постригся. Черезъ годъ онъ пришелъ въ Петербургъ пѣшкомъ, былъ у товарища. Товарищъ говорилъ, что велъ себя Д—овъ странно: сидѣлъ на полу, пѣлъ псалмы или молчалъ. На юродиваго, впрочемъ, не походилъ, а такъ, молчалъ, не желая говорить. Денегъ у него не было,—онъ питался милостыней. Спустя нѣсколько дней, онъ снова ушелъ и гдѣ теперь, и вернется ли —неизвѣстно“.

Трудно разобраться гдѣ тутъ искреннее и настоящее, гдѣ искусствен-

ное, неизвѣстно для чего на себя наваленное? Такъ и въ произведеніяхъ нашихъ декадентовъ. Но все же есть въ нихъ нѣчто отъ эпохи и ея настроенія взятое. Есть, напр., отрицаніе общественныхъ цѣлей искусства, есть стремленіе возвести его въ сущность самодовлѣющую, есть желаніе отдѣлаться отъ того шаблона, который все еще тяготѣетъ надъ нашимъ творчествомъ. Но—увы—все это лишь намеки, все это лепетъ; пока ничего яркаго и талантливаго...

Новыя вѣянія. 80-е годы прошли подъ высокимъ давленіемъ интересовъ общественнаго спокойствія, которое понималось исключительно въ томъ смыслѣ, какой придавалъ ему Катковъ. Реакція восторжествовала по всѣмъ пунктамъ. На ряду съ очевиднымъ хотя и временнымъ, быть можетъ, крушеніемъ всѣхъ надеждъ 60-хъ и 70-хъ годовъ—высокое давленіе заставила личность уйти въ себя, сосредоточиться на задачахъ собственнаго нравственнаго совершенствованія или на вопросахъ религіозно-метафизическихъ. Тоска исканія — это истинное божество нашей литературы—пошла по руслу скептицизма, пессимизма, индивидуализма и т. п.

Что вывело насъ изъ этого тяжелаго состоянія, слѣды котораго, конечно, все еще остаются въ нашемъ духовномъ мірѣ? Многое, конечно, и мнѣ легко было бы перечислить это многое по пунктамъ, но я не могу затрагивать событій вчерашняго дня и ограничусь лишь указаніемъ на то, что на сцену выступило новое общественное сословіе. Во всякомъ случаѣ явился нѣкоторый просвѣтъ, нѣкоторая надежда, навстрѣчу которымъ пошла молодая и нарождающаяся литература. Но признаки наступающаго возрожденія замѣтны уже у Чехова.

Если онъ въ раннихъ своихъ произведеніяхъ несомнѣнно склонялся въ сторону подчиненія дѣйствительности, въ признаніи ея огромной непобѣдимой власти надъ отдѣльнымъ человѣкомъ столько же, сколько надъ цѣлыми поколѣніями, то теперь, не отказываясь отъ основной своей мысли („жизнь—сплетеніе мелочей, глупостей, случайностей"),—онъ даетъ все большій просторъ другому своему настроенію, сущность котораго — порывъ къ свободѣ.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ („Крыжовникъ") 1900 г, Чеховъ высказываетъ такую вотъ мысль, которой, очевидно, онъ очень сочувствуетъ и которую цѣнитъ: „Принято говорить, что человѣку нужно только три аршина земли. Но вѣдь три аршина нужны трупу, а не человѣку. Человѣку нужно не три аршина земли, не усадьба, а *весь земной шаръ, вся природа, гдѣ на просторѣ онъ могъ бы проявить всѣ свойства и особенности своего свободнаго духа*".

Я бы поставилъ эти слова эпиграфомъ ко всему написанному въ последнее время Чеховымъ. Это—лучшая критика той жизни, которую онъ изображаетъ. Человѣку нужны весь земной шаръ, вся природа, всѣ откровенія мысли и творчества, а ему, какъ трупу, отводится три аршина. На самомъ дѣлѣ сколько аршинъ пространства отведено героямъ „Трехъ сестеръ“ или „Въ оврагѣ“? Ровно столько, чтобы они каждую минуту натыкались на глухую стѣну, чувствовали при каждомъ движеніи что-то тяжелое, придавившее ихъ, какъ земля покойниковъ, и задыхались съ убійственной медленностью. Какова же должна быть жизнь, которая ихъ окружаетъ?

Я бы такъ формулировалъ новую идею Чехова: „тусклая, бѣдная духомъ жизнь создаетъ лишь тусклыхъ, бѣдныхъ духомъ людей. Если же случайно проявится среди этой скучной толпы человѣкъ, лучше одаренный и носящій въ себѣ Божью искру героическаго порыва, жажды подвига и совершенства, то болото, рано или поздно, все равно, затянетъ его,—это необозримое болото всякой пошлости, невѣжества, хамства и рабскаго духа. Человѣку, чтобы онъ могъ проявить всѣ богатства и все разнообразіе своего духа, нужна вся земля, вся природа, а не тотъ крошечный клочокъ знанія, мысли, свободы,— словомъ, не тѣ три аршина земли, которыми его надѣляютъ, какъ трупъ, въ настоящее время“.

Это не весело, но это гордо, требовательно и не безнадежно.

Выясняя соціологическую почву, на которой Чеховъ рисуетъ свои жизненныя драмы, мы находимъ, что эта почва—бѣдность и „разореніе“. Подкладка этихъ драмъ, скажу еще разъ, въ томъ, что озябшій, голодный, больной человѣкъ долженъ всю свою жизнь вести непосильную борьбу съ обнищавшей и расхищенной природой и разрушать все послѣднее, что попадается ему подъ руку, потому, что ему, подъ угрозой голодной смерти дѣтей, нельзя и думать о завтрашнемъ днѣ, объ устроеніи и созиданіи жизни. Дѣло тутъ въ опустошенной, расхищенной природѣ и въ опустошенной, тоже „расхищенной“, душѣ человѣка, коснѣющаго въ нищетѣ и невѣжествѣ, ошалѣвшаго и ополоумѣвшаго отъ нищеты, невѣжества, угрозъ завтрашняго голоднаго дня. Все было въ прекрасной и богатой природѣ, а теперь ничего нѣтъ; все водилось, а теперь все растащено и расхищено. Цѣлые уѣзды точно повторяютъ собою картины прошлаго послѣ нашествія татаръ. У такой жизни можетъ быть только одинъ герой, которому и книги въ руки, который все и всѣхъ побѣждаетъ,—это хищникъ.

Съ этой точки зрѣнія Чеховъ гораздо больше поэтъ нашего разоренія, чѣмъ, напримѣръ, Гл. Успенскій, потому что у Успенскаго была еще вѣра въ цѣлостность, красоту и силу народной жизни и кое-какіе, хотя бы самые маленькіе, факты для подтвержденія этой вѣры. У Чехова же ни-

чего подобнаго нѣтъ. Онъ уже съ тоской видитъ передъ собою одно пустое, голое мѣсто. Что хищникъ пришелъ,—это было ясно уже въ 70-е годы, но тогда вѣрили, что народническая идея можетъ побѣдить его. Что хищникъ пришелъ, расплодился и окрѣпъ,—это твердо знали 80-е годы, но не видѣли никакой идеи, которую бы можно было противопоставить ему. Ихъ настроеніе было сѣрымъ и смутнымъ, и это-то настроеніе ярко выразилось и продолжаетъ выражаться въ произведеніяхъ Чехова, но уже съ преобладающимъ оттѣнкомъ порыва и свободолюбія.

Резюмируя все вышесказанное, я думаю, что Чеховъ былъ слишкомъ даже сильно захваченъ эпохой 80-ыхъ годовъ, а эта эпоха могла внушить мыслящему человѣку очень мало утѣшительнаго насчетъ близости той поры, когда человѣку будетъ предоставлена возможность проявлять все богатство и разнообразіе своего свободнаго духа. Онъ видѣлъ крушеніе всѣхъ народническихъ надеждъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и крушеніе того высокаго духа, которымъ онѣ сопровождались. Волны, начавшіяся еще съ 60-ыхъ годовъ, отхлынули и открылся голый песчаный берегъ. Мель съ каждымъ днемъ становилась все больше, все замѣтнѣе, и общество довольно-таки спокойно усаживалось на нее. Вмѣсто подъема духа на сценѣ оказался карьеризмъ, шовинизмъ и прочіе измы, которые, конечно не могли радовать чуткую душу. Пошли и дальше въ сторону старательнаго оплеванія недавняго прошлаго и той откровенной наглости, духовнаго цинизма и распущенности, которыми вообще отличалась та милая эпоха. Все заснуло, и какъ было не признать поколѣніе „обреченнымъ“,—терминъ, который, кстати сказать, очень любитъ одинъ изъ героевъ Чехова. Въ это время и хищникъ, не встрѣчая уже никакихъ препонъ и препятствій своему поведенію, заработалъ на славу, во всю, не презираемый уже какъ наканунѣ, а возвеличиваемый и одобряемый. Онъ творилъ свое дѣло, какъ бы даже священнодѣйствуя, какъ бы сознавая, что онъ преслѣдуетъ нѣкоторую важную общественную задачу—оздоровленія корней, укрѣпленія основъ и пр. Онъ сталъ персоной и, снося лѣса, обмеляя рѣки, засыпая пескомъ степи, чувствовалъ себя человѣкомъ момента, чуть ли даже не государственнымъ мужемъ и былъ важенъ „въ сорокъ пудъ“, безъ поклона принимая воскуряемые ему фаміамы. Литература, кромѣ цинизма, шовинизма, всякаго рода предательства и хамства, выработала себѣ тотъ чахлый тщедушный индивидуализмъ, которымъ отличается русскій индивидуализмъ вообще, такъ какъ до настоящаго индивидуализма мы, строго говоря, еще очень и очень не доросли. Но время было такое, что и это принималось за „нѣчто“ и мнило о себѣ со смѣшной напыщенностью, ребяческимъ самодовольствомъ и надменностью. И никто, никто не бросилъ въ то время въ лицо всѣмъ этимъ господамъ „стихъ, облитый горечью и

злостью". Все это закончилось мутной струей бездарнаго декадентства, по поводу котораго будущему историку съ удивленіемъ придется отмѣтить тотъ лишь фактъ, что и *на него* обращали вниманіе, и съ нимъ считались!.. Все это, вмѣстѣ взятое,— и оздоровленіе корней, и странный русскій индивидуализмъ, и хищничество,—создало полную разрозненность людей, полное ихъ духовное одиночество. Чуткому человѣку трудно было не проникнуться этими ежедневными и уныло однообразными впечатлѣніями жизни, нельзя было не признать и ихъ стихійности, и могущества. Они на самомъ дѣлѣ распоряжались жизнью людей по собственному усмотрѣнію, неизвѣстно какъ вторгались въ ихъ судьбу, все сокрушая на своемъ пути. И Чеховъ проникся...

Но проникновеніе проникновенію рознь. Одно проникновеніе отличается характеромъ нѣсколько легкомысленнымъ, но все же жизнерадостнымъ. Оно признаетъ, что фактъ есть фактъ, обстоятельство есть обстоятельство, а обстоятельствами надо пользоваться. Другое проникновеніе есть одинаково признаніе факта, но съ полнымъ отрицаніемъ его разумности, цѣнности его нравственнаго содержанія. Какого рода проникновеніе Чехова,— мнѣ нечего даже и говорить, ибо никогда, ни въ началѣ, ни въ концѣ онъ не былъ въ станѣ ликующихъ, въ станѣ праздно болтающихъ.

Когда вы берете его произведенія въ ихъ цѣломъ, вы не можете не замѣтить изъ фразы, изъ стиля, изъ содержанія той грусти и даже тоски, которая разлита по нимъ, той глубокой жалости къ людямъ, которая заставила одного изъ его героевъ сказать: „Надо, чтобы за дверью каждаго довольнаго, счастливаго человѣка стоялъ кто-нибудь съ молоточкомъ и постоянно напоминалъ бы стукомъ, что есть несчастные"; или: „Вы ссылаетесь на естественный порядокъ вещей, на законность явленій, но есть ли порядокъ и законность въ томъ, что я, живо мыслящій человѣкъ, стою надъ рвомъ и жду, когда онъ заростетъ самъ или затянетъ его илонъ въ то время, какъ, быть можетъ, я могъ бы перескочить черезъ него или построить черезъ него мостъ? И опять-таки *во имя чего* ждать? Ждать, когда нѣтъ силы жить, а между тѣмъ *жить нужно и хочется жить*".

„Жить нужно, хочется жить", — но какая же жизнь возможна при трехъ аршинахъ, отведенныхъ человѣку, а вы поймите, что „человѣку нужна вся земля, вся природа, чтобы онъ могъ проявить всѣ богатства и все разнообазіе своего свободнаго духа".

И выразителемъ этой, все расширяющейся и негодующей жажды жизни явился „новый человѣкъ"—Максимъ Горькій

М. Горькій (Характеристика). Успѣхъ произведеній Максима Горькаго достигъ въ настоящее время той степени, когда онъ обратился въ любовь и даже по русской національной привычкѣ—въ поклоненіе. Горькаго читаютъ рѣшительно всѣ классы общества отъ высшихъ до низшихъ; издаваемые имъ повѣсти и разсказы раскупаются нарасхватъ; многіе смотрятъ на молодого писателя, какъ на учителя жизни и ждутъ отъ него горячей положительной проповѣди, которая разсѣяла бы недоразумѣнія прошлыхъ двухъ десятилѣтій и вывела бы, наконецъ, вѣчно мятущуюся русскую интеллигенцію на прямую дорогу. Оттого-то съ такимъ восторгомъ было встрѣчено начало (единственнаго неудачнаго) произведенія Горькаго „Мужикъ"; читатели, судя по первымъ главамъ, думали, что здѣсь они найдутъ, наконецъ, отвѣтъ на тревожный вопросъ: „что дѣлать?".

Для очень и очень многихъ успѣхъ Максима Горькаго былъ полной неожиданностью. Этотъ успѣхъ создался внезапно (1898—99 г.), какъ-то сразу и выросъ до большихъ размѣровъ просто и легко. Этотъ успѣхъ—точно красивый цвѣтокъ, распустившійся въ одну ночь и поражающій всякаго своимъ великолѣпіемъ. И въ то же время нельзя не чувствовать, что этотъ успѣхъ не имѣетъ въ себѣ ничего случайнаго и легковѣснаго, что Горькій заставляетъ звучать въ душѣ читателя такія струны, которыхъ давно уже не удавалось съ одинаковой силой затронуть ни одному писателю: это чисто русскія струны босячества, „отчаянности", неукротимой удали и несомнѣннаго презрѣнія къ благамъ міра. Оттого-то знакомство съ произведеніями Горькаго особенно интересно. Значеніе ихъ далеко не исчерпывается одною художественной стороной (которая, какъ бы высока она ни была, все же не могла бы обратить на себя такого вниманія): оно шире и глубже. Горькій, по моему мнѣнію, бросилъ проницательный взглядъ въ глубочайшіе тайники нашего невоспитаннаго, полуевропейскаго, полуазіатскаго русскаго духа; онъ увидѣлъ, что, несмотря на двухвѣковую жестокую дрессировку государства, несмотря на европейское образованіе, несмотря на насѣдающій на насъ капитализмъ и дисциплину его строя—бродяжническіе и мистическіе мотивы старой русской исторіи и общеславянская наклонность къ меланхоліи, созерцанію, къ безшабашному разгулу, смѣняющемуся полной прострацией покаянія, еще не исчезли въ нашей русской душѣ, живутъ въ насъ хотя бы подавленныя и забитыя, и ихъ вѣроятно, замирающій голосъ даетъ себя чувствовать особенно сильно теперь, когда усиливающійся капитализмъ дружно и жестоко принялся за окончательную муштровку русскаго духа и русской натуры, которымъ исторія не безъ основанія, а также и не безъ ироніи присвоила эпитетъ широкихъ.

Но на первомъ планѣ, конечно, — эта жажда жизни и свободы,

этотъ крикъ человѣка, чувствующаго себя въ оковахъ и путахъ, этотъ анархизмъ мысли и настроенія, не признающій никакихъ властелиновъ, никакого стѣсненія. Тутъ протестъ и проклятіе, тутъ переоцѣнка всѣхъ цѣнностей; тутъ вызовъ, брошенный человѣкомъ, сознавшимъ свою личность, силѣ всѣхъ сильныхъ и самодовольству всѣхъ власть имѣющихъ. Теперь „Горькій для многихъ откровеніе, сила вдохновляющая, когда онъ показываетъ, что жить не страшно тому, кто не считаетъ за жизнь обстановку, которой мы окружили себя, и кто помнитъ, что, прикрываясь ложью, мы часто придуманное нами выдаемъ за необходимое". Жить надо начинать однимъ отрицаніемъ,—говоритъ Горькій,—потому что все, что мы признаемъ, въ сущности давно уже сгнило.

Горькій, конечно, вышелъ изъ Толстого, нашего величайшаго русскаго и притомъ типичнаго русскаго писателя. Толстой очень рано узналъ и понялъ, что наша жизнь есть ложь и насиліе. Онъ понялъ, и то, что мы живемъ и можемъ жить лишь на счетъ другого. Онъ понялъ, сколько остроумія, жестокости и хитрости должны мы тратить на то, чтобы заставить другого работать на себя. Онъ постигъ весь развратъ и хищничество нашей культуры и проклялъ ее... Но не смотря на всю странность проклятія, культура всю жизнь преслѣдовала и продолжаетъ еще преслѣдовать его. Онъ не знаетъ, что съ ней дѣлать. Онъ такъ и чувствуетъ ея огромную стихійную силу. Онъ склоняется даже къ компромиссу. Онъ зоветъ къ мужику, къ опрощенію. Но не значитъ ли это изъ одной стадіи культуры и цивилизаціи перейти въ другую? Многое мѣшаетъ Толстому рѣшительно покончить съ этимъ вопросомъ, и только Горькій не побоялся во всеуслышаніе сказать то слово, которое, быть можетъ, всю жизнь вертѣлось на языкѣ у Толстого. Горькій разрубилъ тотъ Гордіевъ узелъ, который Толстой напрасно старался развязать. Если культура ложь и закабаленіе человѣка, то очевидно, что всѣ ея соблазны и блага не стоятъ минуты воли. Надо уйти отъ нашей культуры не въ другую культуру, разумѣется, а въ степь, въ босячество, въ отказъ отъ всѣхъ соблазновъ и отреченіе отъ всѣхъ обязательствъ. Онъ показалъ природу и волю—эти два великихъ начала, по которымъ всегда томится духъ человѣка, какъ бы глубоко ни ушелъ онъ въ условность, ложь и форму. Онъ показалъ намъ своего босяка, и мы задумались надъ этимъ смѣлымъ, удивительно художественно нарисованнымъ образомъ, задумались потому, что спросили себя, на что же собственно промѣняли мы эти великія блага и радости жизни—свободу и волю? И вотъ—десятки и сотни тысячъ обремененныхъ и труждающихся съ жадностью и очарованіемъ вдыхаютъ свѣжесть давно неслыханныхъ словъ и смѣются надъ тѣмъ, кто изучивъ многое, не постигаетъ простой истины, что счастье человѣка только въ такомъ развитіи своихъ духовныхъ и физическихъ силъ,

которое не давитъ другихъ. На книги Горькаго набрасываются массы, потому что онъ дорогъ имъ, только что просыпающимся къ жизни, онъ имъ раскрываетъ глаза на то, чего они въ сущности хотятъ.

Личная жизнь Горькаго—очень интересная и романтическая даже въ общихъ своихъ контурахъ—не могла не закрѣпить въ его душѣ мотивовъ, которые онъ такъ художественно и съ такимъ успѣхомъ разработалъ. Это жизнь босяка, бродяги, русскаго неудачника—пролетарія, неожиданно для всѣхъ оказавшагося на вершинѣ славы. Нѣсколько отрывковъ изъ его коротенькой автобіографіи значительно облегчатъ мою задачу характеристики его героевъ и его творчества, почему и привожу ихъ. „Родился я,—пишетъ Горькій, — 14-го марта 1868 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ семьѣ красильщика Каширина отъ дочери его Варвары и мѣщанина Пѣшкова, по ремеслу обойщика. Съ тѣхъ поръ съ честью и незапятнанно ношу званіе цехового малярнаго цеха... Отецъ умеръ въ Астрахани, когда мнѣ было 5 лѣтъ, мать въ то же время умерла въ Канавинѣ. По смерти матери дѣдушка отдалъ меня въ магазинъ обуви; въ ту пору имѣлъ я 9 лѣтъ отъ роду и былъ дѣдомъ обученъ по Псалтири и Часослову. Изъ „мальчиковъ“ сбѣжалъ и поступилъ въ ученики къ чертежнику,—сбѣжалъ и поступилъ въ иконописную мастерскую, потомъ на пароходъ въ поварята, потомъ въ помощники садовника. Въ сихъ занятіяхъ прожилъ до 15-ти лѣтъ, все время занимаясь усердно чтеніемъ лубочныхъ произведеній неизвѣстныхъ авторовъ, какъ-то: „Гуакъ, или непреоборимая вѣрность“, „Андрей безстрашный“ и т. д... На пароходѣ, когда былъ поваренкомъ, на образованіе мое сильно вліялъ поваръ Смурый, который заставлялъ меня читать житія святыхъ, Эккартгаузена, Гоголя, Успенскаго, Дюма-отца и многія книги франкъ-масоновъ. До повара—терпѣть не могъ книгъ и всякой печатной бумаги до паспорта включительно... Послѣ 15 лѣтъ возымѣлъ я свирѣпое желаніе учиться, съ какою цѣлью поѣхалъ въ Казань, предполагая, что наука желающимъ даромъ преподается. Оказалось, что это не принято, вслѣдствіе чего я поступилъ въ крендельное заведеніе по 3 рубля въ мѣсяцъ. Это самая скверная работа, изъ всѣхъ опробованныхъ мною“.

Но это уже послѣднее тяжелое испытаніе. Дальше призваніе и случай сдѣлали Горькаго писателемъ.

Перехожу теперь къ героямъ его произведеній. Собственно говоря это тѣ же неудачники, тѣ же лишніе люди и талантливыя натуры, не нашедшіе примѣненія своимъ талантамъ въ жизни, къ которымъ пріучила насъ прежняя русская литература. Въ сущности, это даже ея „излюбленные люди“.

Но у Горькаго они являются въ нѣсколько новомъ видѣ, а главное при совершенно новомъ освѣщеніи. Если условія нашей общественности создали особый интересъ къ бродячему и босому народу, то тѣ же условія вызвали и особое отношеніе къ нему, отношеніе глубокой жалости и состраданія, какъ къ даромъ пропадающимъ силамъ, которымъ, разумѣется, надо прежде всего школу и школу, чтобы онѣ нашли истинное свое примѣненіе. Не спорю,—и жалость и состраданіе—превосходныя чувства, одинаково прекрасно стоять на стражѣ интересовъ культуры и высоко держать ея знамя. Но оригинальность Горькаго прежде всего въ томъ и заключается, что никакой въ сущности жалости онъ къ своимъ босякамъ не питаетъ, никакого состраданія къ нимъ не высказываетъ, никакихъ интересовъ культуры подъ свою защиту не беретъ, а, очень часто любуется ими, какъ цѣльными, искренними и „глубоко алчущими“ натурами, нисколько не отрицая того, что они „очень злы“, никакихъ общественныхъ чувствъ не имѣютъ и любви къ ближнему не питаютъ. Для нашей беллетристики это что-то совсѣмъ новое, да—насколько я знакомъ съ литературой вообще,—и не только для нашей. Это, если хотите, разнузданный, но удивительно привлекательный культъ „свободы“, это дерзкій вызовъ, брошенный въ лицо культурному обществу, одинаково изолгавшемуся въ своихъ добродѣтеляхъ и порокахъ, это живой вопросъ намъ: „Почему вы такъ довольны собой и въ то же время такъ боитесь всего, точно совершили какое-нибудь преступленіе?“—и въ этомъ вопросѣ слышится упрекъ и негодованіе.

За такое свое отношеніе къ босому народу Горькій не разъ подвергался упрекамъ со стороны критики, вообще говоря, очень и очень къ нему расположенной. Его винили въ томъ, что онъ идеализируетъ и разукрашиваетъ своего босяка, приписываетъ ему такія мысли и чувства, которыхъ тотъ въ дѣйствительности не имѣетъ, хочетъ выставить его свѣточемъ и носителемъ правды. *Отчасти* все это, разумѣется, есть, но только отчасти. Правда въ томъ, что Горькій совсѣмъ не въ восторгѣ отъ успѣховъ культуры и цивилизаціи. Къ интеллигенціи онъ относится съ нескрываемымъ презрѣніемъ и съ особеннымъ удовольствіемъ выставляетъ на видъ ея духовную дряблость, пошлое и низкое самодовольство, ея безнадежную трусость. Еще съ большимъ презрѣніемъ относится онъ къ идеалу мѣщанской сытости, размѣреннаго и уравновѣшеннаго существованія, какъ илъ затягивающаго человѣка и оставляющаго просторъ лишь его инстинктамъ стяжанія. И эти мѣщане-интеллигенты, и эти просто мѣщане для Горькаго, прежде всего, представители того великаго тормаза и тѣхъ великихъ путъ, которые онъ называетъ страхомъ жизни, отнимающимъ отъ человѣческаго существованія самое красивое и цѣнное, что въ немъ есть—героизмъ и свободу. Видя въ босякѣ, прежде всего, человѣка, освободившагося

отъ этого гнетущаго, мучительнаго, позорнаго страха передъ жизнью— Горькій рѣшительно становится на его сторону и, обращаясь къ мѣщанамъ, говоритъ: „трусы вы“...

Порою смотритъ онъ на своихъ героевъ не только какъ на обездоленныхъ и обиженныхъ жизнью, но и какъ на людей съ высшими запросами, неудовлетворенныхъ дѣйствительностью. И они готовы жадно ухватиться за всякую мечту, за всякій призракъ, за всякую иллюзію, способную дополнить ихъ жизнь и дать выходъ ихъ цѣломудреннымъ (да, даже цѣломудреннымъ) и религіознымъ требованіямъ. На эту тему Горькій написалъ одинъ изъ своихъ лучшихъ и красивыхъ разсказовъ „Двадцать шесть и одна“. Запертые въ темномъ и сыромъ погребѣ, отданные въ кабалу очертѣвшей имъ работы, люди все же не забыли, что они люди, и они, изъѣденные сифилисомъ, чесоткой и всякими другими грязными болѣзнями, нуждаются въ лучѣ свѣта, который освѣтилъ бы ихъ мрачную жизнь, и, найдя этотъ лучъ въ лицѣ бѣдной швейки, окружаютъ его чисто религіознымъ поклоненіемъ, цѣломудренно оберегаютъ его въ самыхъ мечтахъ своихъ отъ всякой грязи. Это настоящій культъ Мадонны—Marienkultus. И когда Мадонна оказывается самой обыкновенной швейкой, когда пошлость жизни срываетъ съ нея вѣнокъ дѣвственности—сколько тоски, страданія и злобы пробуждается въ обиженныхъ душахъ этихъ отверженныхъ.

Ясно, значитъ, что передъ вами люди съ высшими запросами.

„Зачѣмъ“ и притомъ очень серьезное „зачѣмъ“ глубоко засѣло въ ихъ сердцѣ. Въ сущности все сводится къ этому вопросу и притомъ у такихъ разнообразныхъ и даже противоположныхъ натуръ, какъ Коноваловъ, Ѳома, Гришка Орловъ, Мальва...

„Мальва посмотрѣла на него и опять спросила:

„— А тебѣ хочется книжки читать?

„— Мнѣ? Нѣтъ. Чего тамъ?

„— А я люблю... вотъ и теперь выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю.

„— Про что?

„— Про Алексѣя, Божія человѣка“.

„И задумчиво разсказавъ ему о томъ, какъ юноша, сынъ богатыхъ и важныхъ родителей, ушелъ отъ нихъ и отъ своего счастья, а потомъ вернулся къ нимъ нищій и оборванный, жилъ на дворѣ у нихъ вмѣстѣ съ собаками, не говоря имъ до смерти своей, кто онъ, Мальва тихо спросила у Якова:

„— *Зачѣмъ* это онъ такъ“?

Возлѣ этого вопроса вертится вся босяцкая философія. Каждаго изъ нихъ интересуетъ, прежде всего, зачѣмъ и почему сталъ онъ босякомъ, что

оторвало его отъ людей и міра, что заставило утерять свою „точку“, порвать всѣ привязанности, голодать и холодать вмѣсто того, чтобы жить сытымъ и въ теплѣ. Отвѣта они не находятъ или находятъ отвѣты, неудовлетворяющіе ихъ самихъ: до того они неопредѣленны и даже несуразны. Но люди гордые, очень высоко ставящіе свое личное „я“, они ничуть не расположены пренебрежительно относиться къ тѣмъ мыслямъ, которыя безпокоятъ ихъ буйныя головы. Они разсуждаютъ и очень настойчиво разсуждаютъ, возвращаясь все къ тому же пункту: „почему и зачѣмъ“?

И несомнѣнно, что утомленный унылымъ однообразіемъ окружающей его обстановки, давая полный просторъ владѣющему имъ героическому одушевленію—потому что красоту жизни Горькій видитъ лишь въ героизмѣ и героическихъ порывахъ—Горькій идеализируетъ своего босяка.

Но и для него босякъ—не выходъ, не идеалъ и, въ сущности говоря, ровно ничего привлекательнаго въ немъ нѣтъ. И если Горькій такъ приподнимаетъ его, то лишь потому, что видитъ въ немъ мятежный и непримиримый духъ человѣка. Его-то онъ въ сущности описываетъ, его любитъ, имъ восторгается. И на это, конечно, онъ имѣетъ полное право, потому что реальный босякъ, строго говоря, пропойца, а мятежный духъ, сидящій хотя бы въ пропойцѣ, не то, совсѣмъ не то...

И здѣсь, въ этомъ „не то“, въ наше мѣщанское или „обмѣщанивающееся время все безуміе и все очарованіе романтизма вступаетъ въ свои права. Смотря на этихъ людей, отрѣшившихся отъ страха жизни, развязавшихся съ самымъ неотвязнымъ—съ привычкой, вы забываете объ ихъ жестокости, себялюбіи, этой жаждѣ жизни, не останавливающейся передъ страданіями другого, объ этомъ полномъ отсутствіи общественности...—вы просто довольны тѣмъ, что на васъ пахнуло струей свѣжаго воздуха, и вы увидѣли призракъ свободнаго собрата... Это ничего, что передъ вами люди ободранные и въ лохмотьяхъ, это ничего, что у нихъ ни кола, ни двора, что они знать не хотятъ ничего прошлаго въ жизни, не оберегаютъ его, считаютъ его даже какой-то помѣхой для себя. Они привлекательны прежде всего своей жизненной неустрашимостью и это въ наши дни, когда на лбу у всѣхъ написано: „если хочешь жизнью жуировать—смотри въ оба“, когда страхъ, мучительный и принижающій, страхъ потери всего, рано или поздно неизбѣжной, преслѣдуетъ каждаго изъ насъ отъ колыбели до могилы. У этихъ отверженныхъ нѣтъ мѣста для страха іудейска въ душѣ, нѣтъ унижающей заботы о будущемъ; они постигли великое искусство брать у настоящей минуты все хорошее, что въ ней

есть, не отравляя ее страхомъ пресыщенія или потери. Среди общаго хамства они высоки въ своей дерзости.

И потомъ - эта властность ихъ натуры, этотъ ихъ аристократизмъ, это высокомѣрное презрѣніе къ благамъ міра. Вѣдь, какъ хотите, а въ разсказахъ Горькаго, по крайней мѣрѣ, они вырисовываются на какой-то горной, холодной, почти недосягаемой высотѣ. Они непобѣдимы: никакой жизненный соблазнъ не подкупитъ ихъ, никакая сила не склонитъ ихъ передъ собою, не вырветъ у нихъ слова лжи, неправды и лицемѣрія; ничто ихъ не пугаетъ. Имъ нечего терять: у нихъ все въ себѣ, въ этомъ цѣльномъ духѣ, постигшемъ все ничтожество жизни, все ничтожество и мучительность человѣческихъ привязанностей. Они видятъ вокругъ себя то трусливую, то ожесточенную борьбу за радости бытія, видятъ торопливо бѣгущихъ и суетящихся людей съ лицами, искаженными жадностью, злобой, завистью, и горделиво стоятъ въ сторонѣ, полные высокомѣрнаго презрѣнія.

И они живы, между прочимъ, и этимъ своимъ превосходствомъ надъ трусами и лицемѣрами. О чемъ они мечтаютъ? Многіе ни о чемъ, а просто ѣдятъ, когда хочется ѣсть и когда находится что подъ рукой, спятъ, когда спится, говорятъ съ людьми, когда хочется говорить, и молчатъ, когда говорить не о чемъ. У другихъ внутренній міръ дѣятельнѣе. Коновалову хотѣлось бы забраться на необитаемый островъ и жить такъ, какъ жилъ Робинзонъ Крузоэ; Мальвѣ—улечься на дно лодки и плыть, плыть неизвѣстно куда и зачѣмъ, по волѣ вѣтра и волнъ; мрачное воображеніе Григорія Орлова рисуетъ ему картины общей свалки и суматохи, среди которыхъ онъ почувствовалъ бы себя такъ привольно, какъ нигдѣ. И, конечно, много бы босяковъ — этихъ злыхъ, самолюбивыхъ и мстительныхъ людей, людей, во всякомъ случаѣ отмѣченныхъ печатью если не дарованія, то все же нѣкоторой исключительности натуры—пошли бы за нимъ. Но большинство, повторяю, ни о чемъ не мечтаетъ, потому что рядомъ съ порывистымъ и мятежнымъ духомъ у героевъ Горькаго слишкомъ смутная, неокрыленная и лѣнивая мысль. То усталые, то добрые, то сытые или голодные, бредутъ они по дорогѣ жизни, стараясь не заглядывать въ будущее дальше ближайшаго ночлега, не видя даже никакой надобности заглядывать въ него. Все дѣло, совершенное ими,—въ прошломъ: въ минутѣ отказа отъ упроченнаго существованія. Быть можетъ, вся эта минута вылилась въ одномъ мгновенномъ порывѣ, въ нежеланіи оттолкнуть отъ себя водку; но все равно: босякомъ можетъ быть только тотъ, кто этотъ отказъ принялъ для самого себя на всю жизнь и сжегъ всѣ свои корабли, не чувствуя къ нимъ даже сожалѣнія.

Но положительнаго во всемъ этомъ ничего нѣтъ. Это лишь крикъ про-

теста гордаго и свободолюбиваго человѣка, какимъ и является Горькій въ своихъ произведеніяхъ—крикъ, полной скорби и ненависти.

Я спрашиваю себя, фактъ ли это и огромной ли это важности фактъ, что является писатель, одаренный большой чуткостью по части всѣхъ современныхъ вѣяній и обладающій въ то же время первоклассным художественнымъ дарованіемъ, и смѣло возстаетъ противъ мѣщанской проказы, мѣщанской приниженности духа, мѣщанскаго самодовольства и говоритъ: не въ томъ счастье, — отвѣчаю: „да, этотъ фактъ заслуживаетъ всесторонняго и любовнаго разсмотрѣнія“, потому что сущность лирическихъ поэмъ и изліяній Горькаго въ томъ, по моему убѣжденію, и заключается, что въ нихъ гордый и мятежный духъ человѣка не хочетъ примириться съ потерей своего достоинства ради чечевичной похлебки и всѣхъ соблазновъ мѣщанской культуры, и, какъ проклятый (le damne) Бодлэра, говоритъ свое „je ne veux pas“ передъ дверьми мѣщанскаго рая, куда (о, иронія!) его всяческими способами стараются водворить, какъ въ какую-нибудь черту осѣдлости. Напрасно говорятъ ему: „тамъ тебѣ будетъ тепло, хорошо и уютно, тамъ найдешь ты покой и довольство, сытый столъ, пожалуй, даже вегетаріанскій, если у тебя разстроена печень или не совсѣмъ спокойна совѣсть, физическую работу за верстакомъ или сапожной табуреткой, чтобы укрѣпить твои дряблые мускулы и приблизить къ первоисточнику жизни, т. е. труду народа, массъ; тамъ найдешь ты любящую супругу, всегда ласковую, всегда беременную и ухаживающую за тобой и дѣтьми, какъ преданная нянька, моющую тебя, одѣвающую и причесывающую,—тамъ найдешь ты почетъ и уваженіе ближнихъ“,—проклятый отвѣчаетъ своимъ—„не хочу“.

Это „не хочу“ у Горькаго воплотилось въ конкретномъ, яркомъ, полномъ трепета крови и мощи образѣ босяка. И я думаю, что этотъ босякъ—греза, мечта, образъ чисто лирическій, созданный тоской и обидой, накапливающимися въ душѣ подъ вліяніемъ современности, созданный злобой на ложь, пошлость и лицемѣріемъ, сѣрымъ, промозглымъ туманомъ, окутывающимъ наши думы и все наше бытіе. Въ полную, этнографическую реальность этого босяка я не вѣрю, какъ не вѣрю въ реальность романтическихъ типовъ вообще и „человѣка, который смѣется“, и „Жана Вальжана“, и Квазимодо. Но дѣло тутъ не въ реализмѣ, а въ богатомъ идейномъ содержаніи образа, его манометрическомъ указаніи той огромной силы давленія, которая выноситъ духъ современнаго человѣка отъ тяжестей мѣщанской культуры. И это давленіе дѣлаетъ человѣка приниженнымъ и трусливымъ или просто гаденькимъ или же узколобымъ прямолинейнымъ хищникомъ.

Марксизмъ. Утерянную нами въ 80-ые годы догму намъ опять таки далъ Западъ въ видѣ марксизма. Марксизмъ—это не просто ученіе Маркса и міросозерцаніе, построенное на немъ, такъ какъ Маркса знали у насъ раньше, штудировали его въ высшей степени старательно и поклонялись ему. Книга его „Капиталъ“ была однимъ изъ камней краеугольныхъ человѣческаго мышленія въ глазахъ народнической интеллигенціи 70-хъ годовъ. Но тогда въ Марксѣ видѣли, прежде всего, идеолога западно-европейскаго строя, великаго ученаго, разъяснившаго и истолковавшаго путь западно-европейскаго экономическаго развитія и его необходимое будущее. Россію отдѣляли; ей предназначалась другая дорога, по которой она придетъ туда же, куда придутъ и народы Запада, но проще, легче, быть можетъ, даже скорѣе, такъ какъ опираясь на устои народной жизни, т. е. на общину, кустарную промышленность, артель и т. д.—она въ состояніи избѣгнуть стадіи промышленнаго капитализма. Теперь же не открыли Маркса, а постарались примѣнить полностью его ученіе и къ Россіи. Стали утверждать и доказывать, что капитализмъ неизбѣженъ и для насъ, что волей неволей мы должны будемъ побывать въ его наукѣ. Особенно ярко эта мысль была проведена въ двухъ книгахъ: „Къ вопросу о развитіи монистическаго взгляда на исторію“ Н. Бельтова и „Критическихъ замѣткахъ“ П. Струве.

Въ извѣстномъ смыслѣ марксизмъ можно назвать еще шагомъ впередъ по пути развитія западнической идеи. Здѣсь уже полное и всестороннее отрицаніе нашей самобытности, здѣсь полная покорность передъ игрой стихійныхъ силъ, предопредѣлившихъ Западной Европѣ „вывариться въ котлѣ капитализма“, пережить господство третьяго сословія. И для насъ то же самое. Вотъ что утверждали вначалѣ русскіе марксисты.

Первая стадія нашего марксизма была рѣзко полемической. Шла жестокая борьба съ уцѣлѣвшими остатками народническаго міросозерцанія и его живыми представителями. Полемика эта выяснила, что народничество своей позиціи сохранить не можетъ, что сила вещей и ходъ исторіи, т. е. факты жизни, ея цифры противъ его надеждъ, упованій, противъ его утопизма, что его герои—мечтатели, возлагавшіе на русскую интеллигенцію, какъ передовой отрядъ русскаго народа, непосильныя и неисторическія задачи.

Капитализмъ растетъ. Экономическая жизнь народа слишкомъ слаба, слишкомъ низенькая, чтобы она могла противопоставить этому росту какія-нибудь серьезныя препятствія. Самая эта жизнь идетъ не тѣмъ путемъ, какъ мечтали народники, а діаметрально-противоположнымъ—не въ сторону развитія общинныхъ началъ, а въ сторону индивидуализаціи, которая возстаетъ уже и противъ порядковъ, и противъ власти „міра“, и противъ

круговой поруки и т. д. На ряду съ этимъ все большее и количественное, и качественное значеніе получаетъ новый слой общества—фабрично-заводское населеніе, четвертое сословіе, какъ его называютъ на Западѣ.

Внѣ своихъ естественныхъ и неизбѣжныхъ увлеченій, марксизмъ несомнѣнно былъ или, по крайней мѣрѣ, старался быть возможно *реалистичнымъ*, т. е. опираться на фактъ жизни и цифровыя данныя „силы вещей". Въ этомъ его значительнѣйшая поправка къ народническому міросозерцанію. Не то чтобы народничество игнорировало факты—нѣтъ. Но при своей вѣрѣ въ силу критической личности, оно за самыми малыми исключеніями (особенно труды Н.—она) или не представляло себѣ ихъ дѣйствительной силы и значенія, или опиралось лишь на тѣ, которые говорили въ его пользу (особенно г. В. Воронцовъ), или представляло ихъ въ такой общей формѣ, что ихъ *идея* оставалась совершенно скрытой для читателя. Напр., вмѣсто формулы: „капитализмъ развивается" народники любили говорить: „чумазый идетъ", при чемъ словомъ чумазый ясно выражали нѣкоторое свое пренебреженіе.

Но реализмъ, факты и цифры въ дѣлѣ истолкованія народной экономической жизни, необходимо выдвинулъ на первый планъ огромный и трудный вопросъ о роли критической личности въ исторіи. Этотъ вопросъ и въ наши дни стоитъ еще на очереди, такъ что укажу лишь его исходные пункты.

60-ые и 70-ые годы прошли подъ *знакомъ* теоретическаго господства идеи о могуществѣ, а иногда о рѣшающемъ значеніи роли критической личности въ ходѣ историческаго развитія. Разумныя оговорки и какъ бы предупрежденія, сдѣланныя въ этой области основателемъ доктрины въ „Историческихъ письмахъ"—были забыты. Несомнѣнно, что г. Михайловскій своею борьбой за индивидуальность, своей абсолютной нравственностью особенно способствовалъ этому. При проповѣди героизма, вообще говоря неудобно настаивать на ограниченіяхъ вліянія личности. Низведя соціологію къ *искусству*, путемъ критической работы мысли, обезпечить счастье всѣхъ людей здѣсь на землѣ, г. Михайловскій тѣмъ самымъ упразднилъ соціологію какъ науку, а вмѣстѣ съ ней и научное объективное отношеніе къ жизни (субъективный методъ соціологіи).

Появленіе и успѣхъ марксизма доказали, что сила вещей, ходъ исторіи, какъ нѣчто независимое отъ личной воли человѣка, дали себя знать. Увлекаясь именно этой стороной общественныхъ явленій, марксисты (на первыхъ порахъ) совершенно отрицали какую бы то ни было роль личности въ исторіи. Личность—это *quantité négligeable* (соціологическая величина, которой можно пренебречь) и „величайшая ошибка полагать, что думаетъ человѣкъ"—вотъ формулы, наиболѣе отвѣчавшія ихъ настроенію.

Реализмъ мышленія, усталь общественнаго духа, среди котораго они выросли, воистину печальное крушеніе народничества и его идеаловъ,—все это заставило духовно прилѣпиться къ вышеприведеннымъ формуламъ.

Кто же дѣйствуетъ въ исторіи, если не личность? Классы общества т. е. экономически и соціально однородныя группы людей, — отвѣчалъ марксизмъ. Кто же думаетъ, если не личность? Опять-таки думаетъ, прежде всего, классъ, сословіе, при чемъ его мысль—простое, теоретическое выраженіе его интересовъ. Эти интересы (борьба за право, за преобладаніе, за удержаніе господства и т. д.) создаетъ или опредѣляетъ его религію, его философію, его нравственность, его политическую программу.

Словомъ, рѣшивъ вопросъ о ходѣ экономическаго развитія, марксисты перешли къ другому, труднѣйшему—къ вопросу о свободѣ и необходимости, который и стоитъ теперь на очереди. Смерть журналовъ „Новое слово", „Начало" и „Жизнь" остановила теоретическую разработку марксизма едва ли не на самомъ интересномъ мѣстѣ, какъ разъ въ томъ, гдѣ онъ раздѣлился на нѣсколько теченій. Это раздѣленіе, а также и смерть журналовъ дали поводъ многимъ неосторожнымъ публицистамъ заявить съ очевиднымъ торжествомъ и злорадствомъ, что марксизмъ умеръ. Въ эту смерть мнѣ не вѣрится, такъ какъ подъ вліяніемъ Бернштейна отъ марксизма отдѣлились самые ненадежные элементы, тѣ самые, о которыхъ давно сказано, что сверху на душѣ лежитъ у нихъ всегда сказанное послѣдней книгой. Но марксизму собственно нѣтъ рѣшительно никакой причины умирать.

Текущая литература.

Здѣсь я опять пользуюсь случаемъ, чтобы повторить сказанное мною выше; отдѣльныя лица, строго говоря, для меня не существуютъ; — для меня существуютъ лишь общественныя настроенія, — настроенія общественной мысли, точнѣе говоря,—насколько онѣ отразились въ литературѣ. Отдѣльное лицо въ литературѣ, тѣмъ болѣе въ литературѣ художественной—предметъ въ высокой степени важный. Для истиннаго критика его творческіе пріемы представляютъ изъ себя вещь цѣнную въ себѣ. Онъ изучаетъ ихъ какъ нѣчто самодовлѣющее. Въ глазахъ историка литературы индивидуальности сглаживаются. Онъ видитъ передъ собой направленія, группы однородныхъ талантовъ, видитъ власть традиціи, психологію классовъ, видитъ постепенное нарастаніе идеи путемъ чуть ли не безконечно

малыхъ приращеній—измѣненій. Талантъ для него лишь яркій выразитель извѣстнаго момента въ развитіи идеи и только. Для него однако не всегда интереснѣе тотъ, кто талантливѣе, а часто тотъ, кто характернѣе,—иногда просто раньше высказавшій извѣстную мысль и раньше пустившій ее въ обращеніе. Если читатель согласенъ со мною въ этомъ, то онъ пойметъ, почему напр., я не говорю о такихъ крупныхъ художникахъ слова, какъ Мих. Н. Альбовъ или В. Г. Короленко, о такихъ симпатичныхъ дарованіяхъ какъ К. Баранцевичъ или Е. Чириковъ, о многихъ прекрасныхъ трудахъ нашихъ женщинъ писательницъ, среди которыхъ г-жи Шабельская, Лѣткова, Вербицкая, Микуличъ, В. Крестовская и мн. др. давно пріобрѣли себѣ почетную извѣстность. Повторяю, въ этомъ трудѣ—я совсѣмъ не претендую на роль критика. Правильно или неправильно, успѣшно или нѣтъ, но я преслѣдую лишь цѣли историка литературы, которыя по моему имѣютъ очень мало общаго съ цѣлями критика. Я бы склоненъ былъ совсѣмъ разграничить оба эти „ремесла"—одно преслѣдующее задачи преимущественно психологическія, другое — соціологическія, но знаю, что практически это почти неосуществимо.

Возвращаясь однако къ темѣ, обозначенной въ заголовкѣ этой статьи, повторяю, что если я не говорю о многихъ крупныхъ представителяхъ текущей литературы, то никакъ не изъ пренебреженія къ нимъ, а потому лишь, что они своимъ намѣреніемъ или направленіемъ подходятъ—въ большей или меньшей степени, разумѣется, подъ данныя мною выше групповыя характеристики.

Я, впрочемъ, давно уже говорю о текущей литературѣ, такъ что формально имѣлъ бы полное основаніе и не выдѣлять этой особенной главы. Живы и работаютъ еще многіе дѣятели 60-хъ годовъ (гг. М. Антоновичъ, К. М. Станюковичъ, Баживъ, Засодимскій и т. д.) еще больше разумѣется живыхъ и работающихъ изъ писателей семидесятниковъ; литература 70-хъ годовъ почти вся на лицо и въ большинствѣ случаевъ все еще подаетъ надежды. Не мало новыхъ дѣятелей, выступавшихъ на сцену въ послѣднее десятилѣтіе, а одинъ изъ нихъ — Максимъ Горькій по своему вліянію сравнялся уже съ первоклассными дарованіями прежнихъ эпохъ. Но все же отдѣльныя имена изъ области текущей литературы мало что могутъ сказать читателю, потому, во-первыхъ, что она безбрежна, потому, во-вторыхъ, что очень разбросана. Разбросана, такъ какъ, повторяю, ни своего центра, ни своей идеи она еще не нашла. Я лично нисколько не сомнѣваюсь, что этой идеей можетъ быть лишь та же миссіонерская и освободительная цѣль и задача, которая создала литературныя эпохи 40-ыхъ, 60-ыхъ и 70-ыхъ годовъ. Благодаря разбросанности, впечатлѣніе получается пестрое, до такой степени пестрое, что отъ

него рябитъ въ глазахъ. Ничего равнаго по значенію дѣятелямъ прежнихъ эпохъ современная литература представить не можетъ. Но изъ этого совсѣмъ не слѣдуетъ, что ее надо игнорировать. Напротивъ: свое небольшое дѣло она дѣлаетъ, хотя и мало въ ней, вообще говоря, темперамента, мало вѣры, мало убѣжденности, не можетъ она отвѣтить на самые насущные вопросы современнаго человѣка. Эту небольшую главу мнѣ хочется посвятить тому ея теченію, несомнѣнно преобладающему и даже въ подавляющей степени, во главѣ которой стоитъ П. Д. Боборыкинъ.

П. Д. Боборыкинъ (род. 1836 г.). Онъ — отдѣльное настроеніе вѣрнѣе—отсутствіе его. Онъ занимается и при томъ съ большимъ талантомъ, знаніемъ, искусствомъ —дѣломъ большинства современныхъ литераторовъ,—дѣломъ, которое можетъ быть названо беллетристической регистраціей жизни. Здѣсь задача художника не въ томъ, чтобы возводить дѣйствительность и идеалы въ перлъ созданія, и не въ томъ, чтобы давать художественные образы, а въ томъ, чтобы слѣдить за жизнью, не упускать изъ вида ея движенія и держать читателя au courant всего совершающагося въ ней. Такая задача могла стать задачей литературы лишь подъ вліяніемъ газетъ и французской натуралистической школы, объявившей своей цѣлью—протоколировать дѣйствительность. И къ этой задачѣ г. Боборыкинъ приспособленъ лучше всякаго другого.

Злыя слова Тургенева о Боборыкинѣ общеизвѣстны. Вотъ что писалъ Тургеневъ Салтыкову еще въ 1882 году: „То, что вы пишите мнѣ о Боборыкинѣ, меня не удивляетъ. Я легко могу себѣ представить его на развалинахъ міра, строчащаго романъ, въ которомъ будутъ воспроизведены самыя послѣднія вѣянія погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нѣтъ другого примѣра въ исторіи всѣхъ литературъ. Посмотрите, онъ кончитъ тѣмъ, что будетъ возсоздавать жизненные факты за пять минутъ до ихъ нарожденія“.

Это очень зло, и въ сущности всѣ, кто писалъ о Боборыкинѣ, только повторяли слова Тургенева, забывая при этомъ спросить себя, дѣйствительно ли это такъ дурно, какъ кажется съ перваго взгляда? Дурно? хорошо?—„Ça dépend“... какъ говорятъ французы, потому что есть литература и литература.

Возьмите, напр., листъ газеты или книгу журнала, положите рядомъ съ ними сочиненія Гоголя или Толстого и спросите себя, есть ли что-нибудь общее между этими двумя литературами? Общее, разумѣется, есть (писано перомъ на бумагѣ, отпечатано, издано на потребу современни-

ковъ и т. д.)—но только съ внѣшней стороны. Суть же, нутро, душа тамъ и здѣсь разныя. Здѣсь старинныя, суровыя правила: „напиши, положи на столъ и продержи нѣсколько лѣтъ, потомъ перепиши и еще разъ перепиши, и такъ до семи и восьми разъ, пока самъ не будешь доволенъ, пока тебѣ самому не будетъ очевидно, что ни прибавить, ни убавить ты уже не можешь ничего“. Здѣсь мысль о возрожденіи людей, о вліяніи на всю жизнь, здѣсь проповѣдь и подвижничество, молитва художника о спасеніи міра—тамъ срочная телеграмма нашего собственнаго корреспондента, на лету схватившаго, быть можетъ, правду, быть можетъ, ложь, и телеграмма, тоже нужная нашей жизни, тоже волнующая людей, тоже расширяющая предѣлы ихъ бытія. Лично я не согласенъ остаться только съ Толстымъ и Гоголемъ безъ газеты или журнала, но одинаково не согласенъ остаться съ газетой безъ Толстого и Гоголя.

Представьте себѣ умнаго, европейски образованнаго и несомнѣнно проницательнаго человѣка, который взялъ на себя задачу писать на самомъ дѣлѣ интересныя, а порою и художественныя корреспонденціи о русской жизни въ ея общихъ и важныхъ проявленіяхъ, и вы получите Боборыкина. И ясно, что вопросъ не въ томъ, насколько онъ ниже Толстого и Гоголя, а въ томъ, какъ исполняетъ онъ эту свою задачу? А на этотъ вопросъ двухъ отвѣтовъ быть не можетъ, потому что, какъ часто хорошо, часто недостаточно освѣдомленный, но всегда внимательный нашъ собственный корреспондентъ, Боборыкинъ, великолѣпенъ. Равнаго ему въ этой области у насъ нѣтъ. Упрекать же его или недостаточно серьезно къ нему относиться только потому, что рядомъ съ нимъ есть Толстой, такъ же неосновательно, какъ пренебрегать пернатыми вообще, потому лишь, что существуетъ птица орелъ, хотя и тѣ и другой исполняютъ свое предназначеніе; одинъ мощными когтями схватываетъ душу человѣковъ, возноситъ ее къ небесамъ и низвергаетъ въ пропасть, другія же ни высей, ни глубинъ жизни не знаютъ.

Я вотъ шучу, а мнѣ право не до шутокъ. Я еще понимаю, когда Тургеневъ, этотъ настоящій, огромной глубины аристократъ литературы, какъ будто свысока говоритъ о Боборыкинѣ, но когда, какъ будто свысока говоритъ о немъ мразь какая-нибудь, не только не возсоздающая жизненные факты за пять минутъ до ихъ нарожденія, но перевираюшая ихъ сто лѣтъ спустя послѣ ихъ совершенія — становится больно и обидно. Ну, да не въ томъ дѣло.

Надо, по завѣту Бѣлинскаго, опредѣлить „паѳосъ“, т. е. господствующую страсть писателя, чтобы истинно уразумѣть его. Паѳосъ Боборыкина — любознательность, даже любопытство, и это какъ нельзя болѣе приличествуетъ художнику-корреспонденту. „У П. Д. Боборыкина, — пишетъ

г. Спасовичъ въ „Вѣстникѣ Европы",—умъ, что называется непосѣдокъ, всегда подвижной, воображеніе живое, наблюдательность большая и острая. Едва замѣтныя новыя настроенія, новыя состоянія сознанія, едва выклевывающіеся новые человѣческіе типы хватаемы были Боборыкинымъ, такъ сказать, на лету. Онъ, точно энтомологъ по отношенію къ насѣкомымъ, накалывалъ ихъ тотчасъ на шпильки".

Нѣсколько безпорядочная любознательность, граничащая съ любопытствомъ, быть можетъ, порокъ, во всякомъ случаѣ недостатокъ для смертнаго вообще, но для корреспондента и хроникера это воистину незамѣнимое и драгоцѣнное качество. Это то, чѣмъ онъ живъ. Хватать на лету, сейчасъ же обобщать, пришпиливать — все это прямая его обязанность, такъ какъ жизнь творитъ все новыя формы.

Любознательность Боборыкина воистину поразительна. Чему только и гдѣ только онъ не учился. Въ Казани онъ слушалъ лекціи по камеральному отдѣленію юридическаго факультета, какъ-то заинтересовался химіей, перешелъ въ Дерптъ на физико-математическое отдѣленіе, заинтересовался медициной, прослушалъ всѣ теоретическіе и практическіе предметы, нужные врачу.

„Въ петербургскомъ университетѣ,—продолжаетъ онъ свою автобіографію,—я значился вольнослушателемъ, экзаменъ держалъ изъ всѣхъ предметовъ административнаго разряда. По закрытіи университета слушалъ я въ залахъ думы публичныя лекціи многихъ профессоровъ. Всего чаще бывалъ на лекціяхъ Лохвицкаго и Костомарова... Въ концѣ 70-хъ и въ началѣ 80-хъ годовъ, кромѣ разныхъ публичныхъ лекцій въ Москвѣ и Петербургѣ, слушалъ въ московскомъ университетѣ римское право, исторію, философію и политическую экономію, а въ петербургскомъ—государственное право. Въ Парижѣ, въ теченіе нѣсколькихъ зимъ, слушалъ я лекціи въ College de France, Сорбоннѣ, медицинской школѣ, въ музеѣ и школѣ изящныхъ искусствъ, по философіи, исторіи, старому французскому языку, исторіи всеобщей и французской литературы, политическимъ наукамъ, исторіи искусства, естественнымъ наукамъ, по нѣкоторымъ частямъ медицины. Въ парижской консерваторіи я въ концѣ 60-хъ годовъ посѣщалъ лекціи театральнаго искусства. Въ теченіе двухъ сезоновъ бралъ я уроки декламаціи. Въ вѣнской консерваторіи присутствовалъ на урокахъ декламаціи. Въ Вѣнѣ же для подготовки себя къ преподаванію дикціи и декламаціи бралъ уроки сольфеджіо. Въ Парижѣ прослушалъ курсъ гармоніи"... Все? Нѣтъ. „Новымъ языкамъ учился всю жизнь... Изъ семи новыхъ, мнѣ извѣстныхъ языковъ, я могу свободно говорить и писать на пяти, читать и понимать, говорить и писать менѣе,—на двухъ. Мое знаніе этихъ языковъ стоитъ въ такомъ порядкѣ: русскій, французскій, нѣмецкій,

итальянскій, англійскій, польскій, испанскій. Учился по-чешски... Въ зиму 75—76 гг. бралъ заново уроки латинскаго языка; въ 1892 г. началъ учиться по-гречески".

Это просто изумительный послужной списокъ. Тутъ жажда познанія неугомонная, непосѣдливая и ненасытимая, перепрыгивающая съ предмета на предметъ, за все хватающаяся и все пытающаяся охватить—даже дикцію, декламацію и сольфеджіо. Будь у этой жажды познанія руководящая идея, Боборыкинъ сталъ бы русскимъ Фаустомъ или Сенъ-Симономъ, но такъ какъ такой руководящей идеи у Боборыкина не было, то ни Фаустомъ, ни Сенъ-Симономъ онъ не сдѣлался, а остался просто Боборыкинымъ. Потому что только идея, которая коренится въ глубинѣ натуры человѣка и въ окружающей его исторической обстановкѣ, даетъ смыслъ и цѣль его жаждѣ познанія и одухотворяетъ ее. Безъ идеи она обращается въ любопытство.

Любопытные люди, вообще говоря, непріятный народъ или лучше не столько непріятный, сколько ихъ жаль. Жаль не потому, конечно, что они, какъ Бобчинскій, могутъ получить нашлепку на непоказанное мѣсто, а потому, что силы-то свои, и часто недюжинныя силы, тратятъ они чортъ знаетъ на что. До всего имъ есть дѣло, все они какъ нельзя ближе принимаютъ къ сердцу, волнуются, кипятятся, вѣчно впопыхахъ, спѣшатъ и бѣгутъ, потому что на каждый часъ у нихъ самое неотложное дѣло. И какія неотложныя дѣла — просто диву даешься, просто руками разводишь, какъ, напр., по поводу просто-таки нечеловѣческихъ хлопотъ Боборыкина увидѣть римскаго папу. Ну, скажите на милость, зачѣмъ Боборыкину понадобился римскій папа? А онъ все же своего добился, повидалъ и сочинилъ объ этомъ чуть-ли не цѣлую книгу. Фурье, вся задача котораго сводилась къ тому, чтобы каждой человѣческой силѣ и способности найти наилучшее, т. е. наивыгоднѣйшее для самого человѣка и общества примѣненіе, кратко сказалъ про любопытныхъ: они могутъ наполнять своими писаніями газеты.

Просматривая списокъ предметовъ, прослушанныхъ и проштудированныхъ Боборыкинымъ, вы не можете отдѣлаться отъ мысли, что, собственно говоря, ему было рѣшительно все равно, что ни изучать, лишь бы изучать. Но такимъ какъ разъ онъ остается и въ большинствѣ своихъ произведеній, лишь бы описывать. Кажется нѣтъ темы, которая бы его не интересовала, нѣтъ такой мелочи жизни, мелочи обстановки, которой бы онъ не удѣлилъ своего вниманія. И всегда это вниманіе одинаковое, не глубокое, не вдумчивое, не то, которое стремится установить связь личной человѣческой жизни съ жизнью міра, т. е. отвѣтить на вопросъ о смыслѣ нашего существованія, а то, которое разрѣшаетъ шараду или разсматриваетъ необычное,

въ родѣ ихтіозауроса, или плезіозауроса, или созерцаетъ ошибку природы. Занятно и только, и вотъ человѣкъ весь ушелъ во всестороннее разсмотрѣніе занятнаго и описаніе его. Прогрессивный параличъ и постепенно надвигающаяся на человѣка слѣпота, картины ножовой линіи и охотнаго ряда, состязанія въ клубѣ атлетовъ и туалеты отъ Ворта, жизнь бомонда и „жужжаніе“ городового на посту—все это какъ-то странно въ равной степени интересуетъ Боборыкина. Не видно, чтобы одно захватывало его больше, другое меньше, онъ à fond изучаетъ бульварный жаргонъ, ходъ болѣзни, обстановку редакціи, человѣка, танцующаго кадриль fin de siècle, или чуть-чуть не умирающаго отъ безработицы. Это все равно, какъ хроникеръ: въ мирное время онъ описываетъ балы, рауты. five o'clock thea. наряды дамъ, а въ военное—ужасы, присвоенные военному времени.

Выручаетъ Боборыкина умъ и европейское образованіе, которое одно время позволило ему даже играть видную роль во французской журналистикѣ. По любопытству натуры своей, онъ заглядываетъ всюду и все готовъ занести въ свою хронику, но необъемлемаго—не объемлешь, и онъ дѣлаетъ выборъ. Онъ группируетъ явленія, подраздѣляетъ ихъ, старается всегда дать связную картину жизни, хотя и не всегда ему это удается. Только благодаря своему уму, онъ не совсѣмъ растерялся, хотя чувствуется, что часто онъ близокъ къ этому, такъ какъ накопленные острой наблюдательностью факты за отсутствіемъ руководящей идеи представляютъ изъ себя иррегулярное войско, или толпу, или сбродъ, сумбурно, въ безпорядкѣ двигающійся, поражающій многочисленностью, нестройностью и часто ненужностью... И несомнѣнно, тотъ же умъ, та же западно-европейская дисциплина дала Боборыкину и точку зрѣнія, благодаря чему онъ, несмотря на восторженность своей натуры, не поклонился дѣльцамъ и написалъ, вѣроятно, лучшую свою вещь, „Поумнѣлъ“. Вотъ эта точка зрѣнія, какъ самъ Боборыкинъ излагаетъ ее въ автобіографіи:

„То, что принесло съ собою послѣднее десятилѣтіе,—говоритъ П. Д. и на западѣ, и у себя дома, дало не одному мнѣ чувство законной неудовлетворенности. Мы не ожидали, чтобы конецъ вѣка принесъ съ собою столько нравственныхъ дефицитовъ, и чтобы мы очутились въ такомъ ничтожномъ меньшинствѣ, принужденные, противъ воли, стоять въ сторонѣ, видя все яснѣе, что мы „не ко двору“ и что успѣхъ и фактическое преобладаніе у тѣхъ, кто еще двадцать лѣтъ назадъ сохранялъ хоть нѣкоторое чувство стыдливости, а теперь чувствуетъ лишь страхъ передъ завоеваніями разума, правды и человѣчности.

„Но я долженъ признать, что послѣднее десятилѣтіе, всѣми своими тяжелыми для насъ проявленіями, ставило передо мною болѣе строгія задачи, углубляло преданность дорогимъ идеямъ, освобождало отъ предвзя-

тости, отъ всего суетнаго и дилетантскаго, усиливало потребность: „воспользоваться остаткомъ жизни для болѣе крупныхъ замысловъ, искреннѣе и теплѣе сливаться душою съ своей родиной, успѣть во многомъ пополнить свои знанія, отбросить все несущественное и сосредоточить себя на томъ, что стоитъ высшаго напряженія, что слѣдуетъ воспроизводить, не смущаясь никакими малодушными соображеніями. Личныя обстоятельства сдѣлали болѣе возможнымъ выполненіе такой программы писателя и гражданина“.

Резюмирую.

Несмотря на слишкомъ 40 лѣтъ работы, Боборыкинъ пользуется только положеніемъ въ литературѣ, но не вліяніемъ въ ней. Его точка зрѣнія на жизнь, такая же, какъ у образованнаго западно-европейскаго человѣка средней руки, мало можетъ заинтересовать кого-нибудь. Это не для насъ.

Вокругъ г-на Боборыкина группируется цѣлая толпа беллетристовъ, отчасти художниковъ, но больше хроникеровъ. Но я не могу остановиться на ихъ произведеніяхъ за недостаткомъ мѣста.

Въ своей плоскости Боборыкинъ не только замѣтная, но прямо крупная величина, и въ его художественныхъ корреспонденціяхъ о послѣднихъ сорока годахъ русской жизни много умнаго и цѣннаго, вѣрнаго и невѣрнаго, наскоро записаннаго и проницательно угаданнаго, много... вообще всего. И это много, много всего, какъ бы символъ текущей русской литературы.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Я прослѣдилъ исторію русскаго литературнаго развитія за сто лѣтъ слишкомъ. При этомъ я нисколько не заботился о полнотѣ картины, а лишь о томъ, чтобы не упустить изъ виду ничего характернаго—такого, что явилось литературнымъ отраженіемъ перелома общественной мысли и настроенія. Я далъ сначала общую характеристику барской литературы, затѣмъ ея противоположности—литературы разночинной и, наконецъ, литературы, созданной кающимся дворяниномъ. Эти три фигуры—барина-идеалиста 40-ыхъ годовъ, разночинца 60-ыхъ и кающагося дворянина 60-ыхъ, 70-ыхъ годовъ я считаю основными въ исторіи нашего литературнаго развитія. Вражда принциповъ, внесенныхъ въ литературу бариномъ и разночинцемъ, и затѣмъ примиреніе этихъ принциповъ—вотъ схема, по которой я расположилъ свою книгу.

Схема только остовъ. Она въ такой же степени вытекаетъ изъ существа дѣла, сколько создается, сочиняется въ интересахъ порядка и стройности изложенія. Ни одна схема не можетъ охватить всего разнообразія жизненныхъ явленій. Каждое явленіе жизни, взятое въ его сложности, можетъ потребовать для себя отдѣльной графы въ классификаціи. Съ этой точки зрѣнія схема незаконна. Но она неизбѣжна въ то же время, такъ какъ безъ нея мы способны лишь растеряться въ пестротѣ и разнообразіи жизни.

Баринъ-идеалистъ 40-ыхъ годовъ представляетъ изъ себя въ нашей литературѣ начало прежде всего *созерцательное*. Его историческая миссія привить нашей литературѣ общія идеи добра, истины и справедливости. Это теоретикъ и созерцатель; это художественная натура, поклонникъ красоты и дилетантъ разъ дѣло касается дѣйствительности и дѣятельности. Венера луврская для него несомнѣннѣе всѣхъ принциповъ 89-го года и всѣхъ тѣхъ принциповъ, за которые вообще билось человѣчество. Въ немъ жного искусственнаго и тепличнаго, такого, что боится работы на свѣмемъ воздухѣ. Какъ эстетику ему нужна красивая обстановка въ такой же

степени, въ какой и благородная сущность. Природа богато одарила его, но какъ бы въ отместку за свою щедрость дала ему и слабость воли, и склонность къ пессимизму. Роль его велика и плодотворна. Для закрѣпленія общихъ принциповъ во всей ихъ широтѣ, для выясненія нашему обществу высшаго культурнаго типа общественной жизни—онъ былъ самымъ подходящимъ человѣкомъ. Быть можетъ, и лучше было не знать мелочей, не пачкаться въ грязи жизни и не отвлекаться въ сторону практическими соображеніями, чтобы исполнить такую задачу. Быть можетъ, самымъ настоящимъ дѣломъ было брать у Запада идеи свободы, красоты и гуманности, нисколько не заботясь о томъ, что изъ этого выйдетъ въ сферѣ практической дѣйствительности. Но все же и самая жизнь, и созданныя ею идеи были половинчатыя. Онѣ не могли не привести къ меланхолическому вопросу: „что такое свобода—безъ участія въ благахъ жизни? Что такое развитіе—безъ ясно намѣченной конечной цѣли? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?“ Такая меланхолія такъ же характерна, какъ и художественность барской натуры. Она наказаніе за отвлеченность, бездѣятельность жизни, за ея раздвоеніе на область созерцанія и дѣйствительности.

Наиболѣе чистыми представителями эстетически созерцаемаго идеализма 40-ыхъ годовъ я считаю первыхъ нашихъ славянофиловъ, особенно Хомякова, К. Аксакова, братьевъ Кирѣевскихъ. Обломовская основа, обломовская сущность ихъ натуры и ея благородство были какъ нельзя лучше приспособлены къ общимъ гуманнымъ идеямъ, которыя въ сущности ни къ чему не обязывали.

Но идея обязываетъ и чѣмъ гуманнѣе идея, тѣмъ болѣе она обязываетъ къ служенію массѣ и ея интересамъ. Такова формула, въ которой воплотилось разночинное *волевое* начало нашей литературы. Конечно, я опять говорю схематически, но мнѣ думается, что противорѣчіе двухъ вѣрованій—одного, что идея прекрасна и другого, что идея требуетъ своего воплощенія въ жизнь, что нѣтъ справедливости безъ огня самоотверженности и любви—и создало не только противорѣчіе, но и вражду двухъ эпохъ. Славянофильство было окончательно загнано въ уголъ, оплевано и осмѣяно. Кумиры прежней литературы отчасти были поколеблены, отчасти сами отстранились отъ дѣла. „Эстетическое созерцаніе“—возбуждало прямо-таки ненависть и вопіяніе противъ себя. И понятно почему: оно наиболѣе подходило къ прошлой барской жизни и было единственнымъ, что придавало ей хоть какую-нибудь цѣнность. Разночинецъ принялъ большую часть идей, которыми жили 40-ые годы, но придалъ имъ утилитарный, практическій характеръ. Главной его задачей была перестройка дѣйствительности. Время созерцанія и мечтаній при лунѣ прошло. И я настаиваю на томъ,

что такой взрывъ воли, такая напряженность ея обусловливается не только величіемъ задачи—осчастливить массу, но и значительной примѣсью злобы и чувства мести. Наша воля, какъ извѣстно, нуждается столько же въ положительныхъ, сколько и отрицательныхъ стимулахъ. Ей нужны близкія и ненавистныя преграды, чтобы проявить свою мощь. Ей нужно гордое сознаніе своего я, своихъ неотъемлемыхъ правъ личности, которыя она при извѣстныхъ обстоятельствахъ распространяетъ на всѣхъ людей. Она должна бороться и сознавать себя въ состояніи борьбы. Такъ было и у насъ въ ту эпоху, когда выступилъ на сцену разночинецъ. Разночинецъ вскормленъ ненавистью къ гнету жизни и уваженіемъ къ человѣку. Тѣмъ гнетомъ, который воспитываетъ *волю* человѣка

Онъ отбросилъ идею красоты, потому что съ ней въ его представленіи соединялось слишкомъ много непріятныхъ ассоціацій. Онъ еще помнилъ объ армидиныхъ садахъ и объ эстетикѣ разврата. Онъ прекрасно понималъ, что служеніе красотѣ отвлекаетъ человѣка отъ ближайшихъ практическихъ задачъ и цѣлей, открещивался отъ него и самаго слова „красота“ боялся, какъ раскольникъ дыму. Онъ отбросилъ не только идею красоты, но и идею барской гуманности, такую распространенную, такую излюбленную идею 40-ыхъ годовъ. Но тутъ надо сдѣлать оговорку. Барская гуманность—это не совсѣмъ то, что гуманность вообще. Она никакъ не можетъ отрѣшиться отъ нѣкотораго аристократизма, отъ нѣкотораго „свысока“ въ отношеніи униженнаго и обиженнаго. На первый планъ она выдвигаетъ жалость, состраданіе—пріятныя для однихъ, непріятныя для другихъ. Въ ней есть нѣчто филантропическое, нѣчто въ родѣ подачки отъ избытка сердечнаго благородства. Это очень оскорбляло разночинца, который, особенно въ ту эпоху, въ филантропіи не нуждался. Повидимому, онъ склоненъ былъ разсуждать такъ: любить или не любить человѣка—дѣло твое, жалѣть или не жалѣть человѣка—тоже твое дѣло, но не признавать человѣка въ человѣкѣ и пользоваться трудомъ ближняго для изобрѣтенія летательныхъ машинъ, или написанія „Семирамиды“, или для филологическихъ турнировъ во вкусѣ К. Аксакова—этого *нельзя*. И это нельзя должно быть закрѣплено за жизнью, какъ нѣчто незыблемое и неприкосновенное. Сущность тутъ въ различіи настроенія. Одно настроеніе выработалось въ средѣ, гдѣ личныя обиды, личное униженіе отъ жизни чувствовалось мало и съ избыткомъ окупалось всякаго рода благами жизни; другое тамъ, гдѣ личныя обиды и униженія отзывались одинаково и на собственной шкурѣ, и на шкурѣ ближнихъ. Одни *давали* отъ щедротъ и избытка, другіе *требовали* во имя достоинства и правъ человѣка.

„Разночинная“ литература 60-хъ годовъ—второй членъ діалектической тріады, имѣла вполнѣ опредѣленную и ясную цѣль—борьбу съ эстетиче-

скимъ созерцаніемъ жизни, выработаннымъ высшимъ культурнымъ слоемъ русскаго общества—барствомъ еще въ эпоху дореформенной Россіи. Это богатая литературная эпоха, полная жизни, вдохновенія и темперамента; это эпоха, когда заговорили страстная воля и вѣра. Съ перваго же взгляда особенно рѣзко бросается въ глаза ея *„человѣческій, слишкомъ человѣческій характеръ“* (menschliches allzu menschliches), какъ бы предопредѣлившій главную ея цѣль—*освобожденіе личности не только изъ-подъ власти оффиціальной государственности, но и стихіи народности съ ея патріархальными укладами.* Отсюда краеугольными камнями литературнаго мышленія являются —наука, раціонализмъ и самая раціоналистическая, прямо укладывавшаяся въ математическія, даже ариѳметическія формулы, изъ раціоналистическихъ идей—идея пользы. Все это указываетъ на напряженіе волевого и гражданскаго элемента общественной мысли, стремившейся къ „эмансипаціи“ во всѣхъ ея проявленіяхъ: эмансипаціи крѣпостного мужика, дѣтей и женщины, общества и мышленія. Все это во имя земного, осязаемаго человѣческаго счастья, чаще всего рисовавшагося какъ жизнь въ фаланстерахъ Фурье, какъ осуществленіе коммунистическихъ утопій, причемъ переходомъ къ этому будущему являлась та же крестьянская деревенская община съ ея потребительнымъ хозяйствомъ (Добролюбовъ и Чернышевскій).

Литература 60-ыхъ годовъ въ идейномъ отношеніи опиралась цѣликомъ на литературу барина-идеалиста, т. е. литературу 40-ыхъ годовъ, имѣла съ ней связующее звено—дѣятельность Бѣлинскаго, дѣйствительно понятаго и оцѣненнаго лишь въ 60-ые годы—и въ то же время постоянно враждовала съ ней и отрицала ее. Почему? Прежде всего потому, что литература 40-ыхъ годовъ носила ясно выраженный эстетическій и созерцательный характеръ. Ея центральная, господствующая идея—это *идея красоты.*

Литературу, созданную нашимъ бариномъ-идеалистомъ, Щедринъ называетъ спящей царевной, которая во снѣ всякіе хорошіе сны видѣла. Эти мечты, эти грезы, немного маниловскія, немного обломовскія, были преисполнены благожелательнѣйшаго отношенія къ крѣпостному мужику, и ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ вообще. Широкое сердце было у нашего барина-идеалиста, вмѣщавшее въ себѣ многообразные благородные помыслы и тѣ порывы, о которыхъ сказано давно: суждены намъ благіе порывы, но свершить ничего не дано. Возьмемъ самое главное—отношеніе къ народу, къ закабаленному мужику. Здѣсь, въ этомъ отношеніи всѣ гуманныя идеи Запада нашли свое примѣненіе. Здѣсь же, въ литературѣ, созданной бариномъ-идеалистомъ, закабаленный мужикъ впервые воззвалъ къ разуму и совѣсти. Баринъ увидѣлъ въ немъ человѣка, баринъ призналъ

борьбу со всѣми идеями, на которыхъ зиждился крѣпостной строй. Эти идеи въ свою очередь формулировались все яснѣе и опредѣленнѣе и вылились наконецъ въ систему оффиціальной народности. Эта система утверждала крѣпостное состояніе навсегда. Она находила въ немъ ясные признаки высшаго, небеснаго происхожденія. Проникнутая самодовольствомъ она объявила, что всякія перемѣны для насъ вредны. Она распространялась не только на отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ, но и на всю сферу семейныхъ и общественныхъ отношеній безъ исключенія. Властная и гордая, она требовала отъ личности только подчиненія. Этой системѣ оффиціальной народности литература противопоставила идею гуманности и личной эмансипаціи. Она возвела мужика въ человѣка. Сначала она говорила, что мужикъ страдаетъ, что онъ такъ же чувствуетъ все доброе и злое, какъ и мы; потомъ она сказала, что онъ лучше насъ, и наконецъ, преклонилась передъ нимъ. Какъ бы то ни было, если въ жизни, въ практической дѣйствительности мужикъ измѣнился очень мало, то въ идеѣ, благодаря литературной пропагандѣ, онъ выросъ неизмѣримо. И это можно сказать не только о мужикѣ, но и о человѣкѣ вообще.

Если вспомнить, какую борьбу пришлось выдержать нашей литературѣ, при какихъ условіяхъ происходила эта борьба—то нельзя не почувствовать къ ней значительнаго уваженія. Что руководило ею? Въ сущности одна мысль, что никто не можетъ быть спокойнымъ и довольнымъ, разъ рядомъ существуютъ несчастные и униженные. Какъ ни различны формы воплощенія этой мысли, она всегда здѣсь, она всегда мысль вдохновительница.

Сознаніе необходимости бороться съ рабствомъ человѣка, въ какихъ бы видахъ оно ни проявлялось—бороться во имя голоса своей совѣсти, интересовъ человѣческаго развитія, чувства чести и достоинства—живетъ въ нашей литературѣ. Борьба за мужика собственно закончилась.

Теперь мужикъ можетъ получить лишь то, что получитъ человѣкъ вообще. Но борьба за человѣка вообще, за пролетарія только началась.

Грустно, что приходится констатировать успѣхи промышленной литературы и ея распространеніе. Г. Рынокъ даетъ себя знать. Можно, разумѣется, утѣшаться мыслью, что число читателей растетъ, что печатная бумага проникаетъ всюду. Но нельзя представить себѣ ничего болѣе печальнаго, если промышленная литература заглушитъ истинную литературу.

Но я не вѣрю, что такъ можетъ случиться.

Въ томъ, что русская, молодая литература (въ лицѣ, напр., Горькаго и Чехова) объявила непримиримую войну мѣщанству и духу его, все болѣе распространяющемуся въ нашемъ обществѣ—я вижу залогъ ея грядущихъ успѣховъ, ея близкаго возрожденія. Опираясь на идеалистическія традиціи прошлаго, она не отдастъ себя въ полную кабалу господина Рынка и, быть

можетъ, недалеко то время, когда она свергнетъ иго его такъ же легко и не колеблясь, какъ когда-то свергла иго меценатства. Давай ей этого Богъ, потому что это она полностью заслужила въ своей суровой борьбѣ со всѣмъ, что порабощаетъ личность и общество, что порабощаетъ человѣка.

ДОМАШНЯЯ
БИБЛІОТЕКА
УЛИ А
Алексея В.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
Предисловіе	1—2
Вступительная статья и предисловіе Петра Пильскаго	3—24
Вмѣсто предисловія	III—XXXV
Литература крѣпостной Россіи	1—196
Тезисъ русской литературы	1
Радищевъ и скептическое движеніе въ Россіи	3
Радищевъ—3. Скептическое движеніе въ русской литературѣ—5.	
Литература первой четверти вѣка	18
А. С. Пушкинъ	24
Бѣлинскій о Пушкинѣ—24. Пушкинъ въ исторіи—28. Характеристика Пушкина—30. Поэты Пушкинской эпохи. Рылѣевъ—41.	
Эпоха Николая 1-го. Система	42
Журналистика эпохи Николая 1-го	51
Грибоѣдовъ, Гоголь, Лермонтовъ	68
А. С. Грибоѣдовъ—70. Н. В. Гоголь—73. М. Ю. Лермонтовъ—78.	
Славянофилы и западники	82
Славянофилы—86. Западники—112. П. Я. Чаадаевъ—115. В. Г. Бѣлинскій—119. Мужикъ въ русской литературѣ—130. Д. В. Григоровичъ—137. И. С. Тургеневъ—140. А. И. Герценъ—150. Н. П. Огаревъ—174. И. А. Гончаровъ—176. Общія замѣчанія о литературѣ 40-хъ годовъ—184.	
Шестидесятые годы	197—326
Общая характеристика	197
Литература записокъ и писемъ, какъ предисловіе къ литературѣ 60-хъ гг. собственно	210
Журналистика 60-хъ годовъ	216
„Современникъ"—218. Н. Г. Чернышевскій—220. Н. А. Добролюбовъ—230. „Русское Слово"—239. Д. И. Писаревъ—241. Н. В. Шелгу-	

СТРАН.

новъ—257. М. Н. Катковъ и „Русскій Вѣстникъ“—258. „Искра“—266. Славянофильскіе органы—267. Ап. А. Григорьевъ—271. Н. Н. Страховъ—275. Полемика—279.

Беллетристика 60-хъ годовъ 281

Беллетристика Чернышевскаго—282. Н. Г. Помяловскій—291. А. И. Левитовъ—299. А. К. Шеллеръ—300.

Беллетристы-народники 304

Н. В. Успенскій—302. Ѳ. М. Рѣшетниковъ—304.

Поэты 60-хъ годовъ. Н. А. Некрасовъ 311

Общія заключительныя замѣчанія . . . 318

Семидесятые годы . . . . . 327—500

Общая характеристика. 327

Философія критической личности . . . 340

Народничество 345

І. Юзовъ (О. И. Каблицъ)—347. В. В. (Воронцовъ) — 349. Народники - государственники—350.

Критическое народничество 350

„Отечественныя Записки“—352. Г. З. Елисѣевъ—354. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ—355. Н. К. Михайловскій—374. Н. И. Успенскій—396. Н. Н. Златовратскій—418.

Невѣрующіе народники 427

А. М. Новодворскій-Осиповичъ—429. В. М. Гаршинъ—435. С. Я. Надсонъ—439. Д. Н. Маминъ-Сибирякъ—440.

Реакціонная литература 60-хъ и 70-хъ гг. 445

В. П. Клюшниковъ—449. Н. С. Лѣсковъ—451. Всев. Крестовскій—453. Б. Маркевичъ—453.

Толстой и Достоевскій 455

Л. Н. Толстой—455. Ѳ. М. Достоевскій—477.

Слафянофилы 497

Общія замѣчанія о литературѣ 70-хъ гг. 499

80-ые и 90-ые годы . . . . . 501—548

Общая характеристика 80-хъ годовъ . . 501

Мѣщанство—508. А. П. Чеховъ—513. Декаденты—525. Новыя вѣянія—527. М. Горькій—531. Марксизмъ—539.

Текущая литература 541

П. Д. Боборыкинъ—543.

Заключеніе. . . . . 549—564

Крестовскій, В. Собраніе сочиненій, въ 8 томахъ. Спб. Ц. 10 р.

Кропоткинъ, П. Идеалы и дѣйствительность въ русской литературѣ. Съ Англійскаго. Переводъ В. Батуринскаго подъ редакціей автора. Спб. 1907 г. Ц. 1 р.

Крыловъ, Викторъ (**Александровъ**). Драматическія сочиненія, въ 8 томахъ. Ц. каждому тому 1 р. 50 к.

Его-же „Для сцены", въ 9 том. Ц. каждому тому 1 р. 50 к.

Лажечниковъ, И. Полное собраніе сочиненій въ 12-ти томахъ. Съ портретомъ Спб. 1902 г. Ц. 15 р.

Лермонтовъ, М. Ю. Сочиненія. Полное собраніе въ одномъ томѣ. Подъ редакц. А. Скабичевскаго, съ портрет. Лермонтова, его біографіей и съ 115-ю рисунками. Спб. Ц. 1 р.

— Полное собраніе сочиненій. Подъ редакц. Арс. И. Введенскаго. Въ 4-хъ том., съ біографическимъ очеркомъ, факсимиле и портретомъ Лермонтова. Спб. Ц. 1 р. 50 к.

Луговой, А. А. Сочиненія, въ 5-ти томахъ. Спб. 1895—1901 г. Ц. 10 р.

Лѣсковъ, Н. Собраніе сочиненій въ 12-ти томахъ. Спб. 1897 г. Ц. 15 р.

Майковъ, А. Н. Полное собраніе сочиненій въ четырехъ томахъ. Изд. 6-е. Спб. 4 р.

Мей, Л. А. Полное собраніе сочиненій, въ 5-ти томахъ. Спб. 1887 г. Ц. 12 р. 50 к.

Милюковъ, П. Изъ исторіи русской интеллигенціи. Сборникъ статей и этюдовъ. Изд. II-е Спб. 1903 г. Ц. 1 р. 50 к.

Михайловъ, А. (Шеллеръ). Сочиненія въ 15 томахъ Спб. 1896 г. Ц. 25 р.

Михайловскій, Н. К. Сочиненія, въ 6-ти томахъ. Спб. 1897 г. Ц. 12 р.

Надсонъ, С. Я. Стихотворенія. Съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ очеркомъ. Изд. 22-е. Спб. Ц. 2 р.

Никитинъ, И. С. Сочиненія, въ 2-хъ томахъ, съ его портретомъ fac-simile и біографіей. Изд. 10-е М. 1904 г. Ц. 5 р.

То-же. Школьное изданіе М. 1904 г. Ц. 1 р. 50 к.

Некрасовъ, Н. А. Полное собраніе стихотвореній, въ двухъ томахъ. Спб. 1905 г. Ц. 5 р.

Овсянико-Куликовскій, Д. Н. Исторія русской интеллигенціи М. 1906 г. Ц. 1 р. 50 к.

Полонскій, Я. П. Собраніе стихотвореній, въ 5 том. Спб. 1896 г. Ц. 6 р.

Помяловскій, Н. Г. Полное собраніе сочиненій съ портретомъ и біографіей автора, составленною Н. А Благовѣщенскимъ. 10-е. изд. Спб. 1904 г. Ц. 3 р.

Порфирьевъ, И. Исторія русской словесности ч. 1 изд. 7-е Ц. 2 р.
Ч. II отд. I. Изд. 4-е Ц. 1 р. 50 к.
Ч. II отд. II. Изд. 3-е Ц. 2 р.
Ч. II отд. III. Изд. 3-е Ц. 1 р. 20 к.

Прутковъ, Козьма. Полное собраніе сочиненій. Съ портретомъ, fac-simile и біографическими свѣдѣніями. Изд. 9-е. Спб. 1903 г. Ц. 2 р.

Пушкинъ, А. С. Собран. сочиненій въ 3-хъ томахъ. Изд. Кончаловскаго. М. 1899 г. Ц. 6 р.

То-же. Лучшее изд., 3 том. М. 1899 г. Ц. 10 р.

Сочиненія въ 1-мъ томѣ. Изд. Павленкова. Спб. 1902 г. Ц. 1 р. 50 к,

Пыпинъ, А. Н. Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ. Изд. 3-е Спб. 1906 г. Ц. 3 р.

Исторія русской литературы. Изд. 2-е въ 4-хъ томахъ. Спб. 1907 г. Ц. за 4 т. 10 р.

Рѣшетниковъ, Ѳ. М. Сочиненія, въ 2-хъ томахъ. Съ портретомъ автора и съ вступительной статьей А. М. Скабичевскаго, Спб., 1904 г. Ц. 3 р. 50 к.

Салтыковъ, М. Е. (**Щедринъ**). Полное собраніе сочиненій, въ 12-ти том. Спб. 1900 г. Ц. 18 руб.

Скабичевскій, А. Сочиненія въ 2 томахъ. Критическіе этюды, публицистическіе очерки, литературныя характеристики, Спб. 1903 г. Ц. 3 р.

Скабичевскій, А. М. Исторія новѣйшей Русской литературы 1848—1906 г. Изд. 6-е съ 55 портретами въ текстѣ Спб. 1906 г. Ц. 2 р.

Случевскій, К. К. Сочиненія въ 6-ти томахъ. Спб. 1898 г. Ц. 8 р.

Сумбатовъ, А. И. Полное собраніе сочин., въ 3-хъ томахъ, М. 1901 г. Ц. 5 р.

Толстой, А. К. гр. Собраніе сочиненій въ 4 томахъ. Спб. Ц. 7 р.

Толстой, Л. Н. гр. Полное собраніе сочиненій въ 14 томахъ. М. 1903 г. 14 р.

Тургеневъ, И. С. собраніе сочиненій, въ 10-ти том. Спб. 1897 г. Ц. 15 р.

Успенскій, Глѣбъ. Сочиненія, въ 12 томахъ, съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. К. Михайловскаго. Ц. 6 р.

Фетъ, А. А. Стихотв. Спб. 1901 г. Ц. за 3 тома 5 р.

Энгельгардтъ, Н. Исторія русской литературы XIX столѣтія т. I-й. Спб. 1902 г. Ц. 2 р.
томъ II-й. Спб. 1903 г. Ц. 2 р.

ЛИ 359090 35-
14-
053508/520

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Н. П. КАРБАСНИКОВА

ПРОДАЮТСЯ, МЕЖДУ ПРОЧИМЪ

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Е. А. Соловьевъ. Въ раздумьи. Очерки и разсказы. Изъ жизни русской интеллигенціи. (Изд. Павленкова) Ц. 75 коп.

Евг. Соловьевъ (Скриба). В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ (1810--1848 г.). Спб. Ц. 1 руб. 75 коп.

Е. Андреевичъ. Книга о Чеховѣ и о Горькомъ. Спб. Ц. 1 руб. 50 коп.

Андреевичъ. Монографія. Л. Н. Толстой. Спб. Ц. 1 р

Андреевичъ. Опытъ философіи русской литературы. Спб. Ц. 1 руб. 20 коп.

Евг. Соловьевъ (Андреевичъ). Рабочіе люди и новыя идеи. (Послѣдніе труды). Ц. 80 коп.

Жизнь замѣчательныхъ людей. Біографическая библіотека **Ф. Павленкова.**

Евг. Соловьева: Писаревъ, Левъ Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, Герценъ, Гончаровъ, Сенковскій, Аксаковы, Іоаннъ Грозный, Ротшильды, Мильтонъ, Бокль, Гегель, Кромвель.

Тип. Монтвида. Уг. Конной ул. и Телѣжнаго пер., д. 3—5.

3 393
15

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

CANCELLED
MAY 1 1 1985
MAY 1 0 1985
1563812